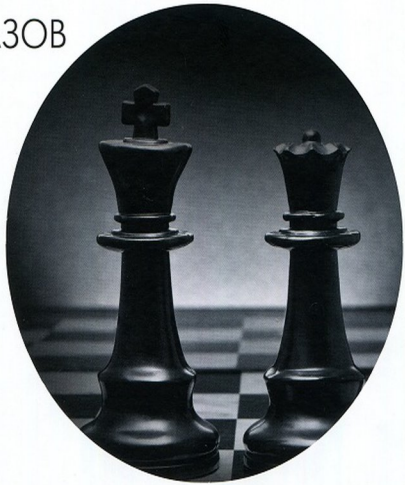
КУРТ ВОННЕГУТ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ

ШЕДЕВРЫ В ОДНОМ ТОМЕ

ШЕДЕВРЫ В ОДНОМ ТОМЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ



КУРТ ВОННЕГУТ

Полное собрание рассказов
Курт Воннегут

Аннотация
Untitled
Предисловие
Вступительное слово
Немного о том, как писались рассказы в Америке 50-х
Как Воннегут научился писать рассказы
Раздел 1. ВОЙНА
  Вся королевская конница
  Перемещенное лицо
  Пилотируемые снаряды
  Танасфера
  Сувенир
  Плавание на «Веселом Роджере»
  Der Arme Dolmetscher
  Табакерка из Багомбо
  Великий день
  Сначала пушки, потом масло
  1951 год — с днем рождения
  Больше жизни!
  Ловушка для единорога
  Трофей

Только ты и я, Сэмми
Стол коменданта
Армагеддон в ретроспективе
Ископаемые муравьи
История одного злодеяния
Раздел 2. ЖЕНЩИНЫ
Мисс Соблазн
Капелька за капелькой
Дженни
Эпизоотия
Сто долларов за поцелуй
Руфь
Дотлел огарок
Мистер Зет
Рука на рычаге
Эдем на берегу реки
Анонимные воздыхатели
Раздел 3. НАУКА
Соседи
Доклад об «Эффекте Барнхауза»
Эйфо
Налегке
ЭПИКАК
Мнемотехника
Конфидо
Зеркальная зала

Милые маленькие человечки
Сейчас вылетит птичка!
Между вредом и времянкой
Раздел 4. РОМАНТИКА
Кто я теперь?
Долгая прогулка в вечность
Ночь для любви
Найди мне мечту
Глуз
Девичье бюро
Рим
Мисс Сноу, вы уволены
Париж, Франция
Город
Раздел 5. ТРУДОВАЯ ЭТИКА ПРОТИВ БОГАТСТВА И СЛАВЫ
Дворцы побогаче
История в Хайаннис-Порте
Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну
Ложь
Олень
Любое разумное предложение
Упаковка
Бедный маленький богатый город
Подарочек Святому Большому Нику

Этот сын мой
Волшебная лампа Хэла Ирвина
Кричать о ней на всех перекрестках
Закрытый клуб Эда Луби
Часть I
Часть II
Король и королева Вселенной
Легкие десять тысяч в год
Миллионы Килрейна
Пока смертные спят
Танго
Обманщики
Раздел 6. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
Портфель Фостера
Невеста на заказ
Бесплатный консультант
Портфель сосунка
Король трутней
Привет, Рыжий
Слово чести
Лохматый пес Тома Эдисона
Человек без единой поченьки
Изысканно-синий дракон
Беглецы
Ты всегда умел объяснить
Попечитель

Бомар
Реквием по Цайтгайсту
А слева от вас...
Раздел 7. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРА
Мальчишка, с которым никто не мог сладить
Бездарь
Второкурсник с амбициями
Юный женоненавистник
Песня для Сельмы
Раздел 8. ФУТУРИЗМ
Гаррисон Бержерон
Добро пожаловать в обезьянник
Адам
Завтра, и завтра, и завтра...
Большая космическая случка
2BR02B
Неизвестный солдат
Копирайты

Аннотация

УДК 821.111-32(73)
ББК 84(7Сое)-44
В73

Kurt Vonnegut
COMPLETE STORIES
Originally published by Seven Stories Press, New York, USA.

Серийное оформление и компьютерный дизайн *В. Воронина*
Печатается с разрешения издательства Seven Stories Press и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Воннегут, Курт.
Полное собрание рассказов : [сборник : перевод с английского] /
Курт Воннегут. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 1152 с.
— (Шедевры в одном томе).

ISBN 978-5-17-106687-1

Курт Воннегут — культовая фигура в ли-

тературе XX века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого «прошел» чуть ли не весь двадцатый. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века нашли отражение в его произведениях. Творческую манеру Воннегута отличает блистательное сочетание черного юмора и романтики, увлекательного сюжета и философской глубины, безудержной фантазии и реализма.

Предлагаемый сборник представляет собой самое полное собрание короткой прозы писателя, включая рассказы, впервые публикующиеся на русском языке.

© Kurt Vonnegut LLC, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2021

КУРТ ВОННЕГУТ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ

КУРТ ВОННЕГУТ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ



КУРТ ВОННЕГУТ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ



Издательство АСТ
Москва

Предисловие

© Перевод. А. Комаринец, 2021

Моралитэ ушла в прошлое. Так же, как и басня. Их не найти в современной литературе. Даже в детской. Писатели больше не намерены поучать человечество, как ему жить.

Однако большая часть рассказов в этом сборнике как раз о нравственном — о том, что правильно, а что нет, и о том, как надо бы жить. В 2017 году это выглядит чуть ли не экстремистским подходом[1].

Как и многие американские писатели, публиковавшие свои рассказы в 1950-е годы, Воннегут писал лаконичные назидательные истории, разворачивающиеся на фоне экономического расцвета. Как правило, в них все однозначно. Лжецы наказаны, прелюбодеев ждет заслуженная кара, алчных капиталистов ставят на место, а чистые духом идеалисты умудряются хранить верность своим идеалам наперекор коррупции в различных ее проявлениях.

---

[1] Примечания: 1

Предисловие было написано для оригинального издания на английском языке в 2017 году.

В 60-е и 70-е годы интерес американцев к подобным рассказам начал угасать. Убили президента. Затем его брата. Это было сродни убийству короля в Европе. Другой президент подал в отставку под угрозой импичмента. Десятки тысяч молодых людей погибли на бессмысленной войне в другом полушарии.

И новеллистика того времени тоже начала меняться, пытаясь отобразить мрачную двойственность новой эпохи. Какие бы формы ни принимал за последние полвека рассказ, нравственность в нем проповедовалась крайне редко. У нас есть бытописательный рассказ, рассказ о недугах общества, о скуке и попранных мечтах. У нас есть гиперреалистичный рассказ, который описывает некрасивые и скучные стороны жизни, в которой нет надежды на перемены. У нас есть экспериментальный рассказ, микрорассказ, истории о порядочных людях, совершающих проступки, и о несимпатичных людях, одерживающих победу лишь потому, что автору хочется продемонстрировать фундаментальную несправедливость бытия. Но очень и очень давно рассказ не напоминал нам о том, что такое благородство и что такое зло, и как нам следует поступать, чтобы жить, не теряя самоуважения.

Курт Воннегут написал рассказ под названием «Слово чести», и, возможно, этот рассказ лучше всего демонстрирует, каким прямолинейным писателем был Воннегут в годы своей юности. Нравственный вопрос оказывается стержневым для всей истории, которая, учитывая спрос на короткую прозу в те годы, начинается сенсационно. Убита женщина по имени Эстель, и главный подозреваемый — ее любовник, бездельник по имени Эрл. Однако у него есть алиби. Его не было в городе, он навещал брата, и это алиби будто бы подтверждает стопка неразвернутых газет на крыльце Эрла. Но, пересчитав газеты, шериф Чарли Хоуз замечает, что не хватает номера за среду, а ведь именно в среду была убита Эстель. У шерифа появляется гипотеза, что Эрл вернулся из дома брата, чтобы убить Эстель, но в силу давней привычки следить за котировками акций не смог устоять перед искушением посмотреть в газете текущий индекс Доу-Джонса. Эрл пытается оправдаться, заявляя, что газету в тот день не приносили.

А дальше на сцену выходит мальчишка — разносчик газет — и «честное слово»[2]. Мальчик,

[2] Примечания: 2

Сюжет рассказа закольцован вокруг «честного слова», которое по очереди дают персонажи, утверждая прямо противоположные вещи.

которого зовут Марк, утверждает, что доставил газету.

> «Если газеты не забирают, но от доставки не отказываются, их приносят еще шесть дней. — Мальчишка кивнул. — Таковы правила, мистер Хоуз».

Перед шерифом Чарли Хоузом стоит выбор, поверить известному бездельнику, который живет в запущенном домишке на окраине города, или десятилетнему разносчику газет. В современном рассказе мальчишка оказался бы ловким манипулятором. Или убийцей оказался бы сам шериф. Но в 1950-е шериф — это шериф, незыблемый столп общества, а газетчик — воплощение праведности.

> «Серьезность, с которой Марк рассуждал о правилах, заставила полицейского вспомнить о том, как славно быть десятилетним. “Жаль, что нельзя остаться таким навсегда, — подумал Чарли. — Если бы люди оставались десятилетними, возможно, у правил, приличий и здравого смысла был бы хоть мизерный шанс”».

* * *

Подобные рассказы Воннегут писал на протяжении десяти лет, а после взялся писать романы, продолжая писать о том, что было интересно ему самому и ничуть не заботясь о читательском спросе. Разумеется, романы были уже гораздо серьезнее и сложнее, но и в них прослеживается все тот же высокий нравственный камертон. На протяжении всей своей жизни писатель сохранял неизменной свою нравственную позицию, что сравнительно редко встречается в нашем амбивалентном двадцатом веке.

«Надо быть добрым, черт побери». Такая эпитафия выбита на могильном камне, ее написал и прислал мне сам Воннегут. Разумеется, жизненная философия Воннегута не сводилась к столь простой формуле, но попытки ее усложнить не приблизят нас к истине. Будьте добрыми. Не причиняйте зла. Берегите близких. Не развязывайте войны.

Мне посчастливилось познакомиться с Воннегутом лично. Первая наша встреча была комичной и чем-то напоминала сцену из его романа. Шел 2000-й год, и жена Воннегута Джил устроила небольшой прием в их доме на Манхэттене. На

обеде присутствовали Колсон Уайтхед и критик Джон Леонард, подготовивший к изданию книгу, которую вы держите сейчас в руках. Мы с Колсоном были сравнительно молоды, нам было лет под тридцать; мы, разумеется, волновались и были в восторге оттого, что нам выпало счастье познакомиться с Куртом Воннегутом. Однако выделенное нам время занял какой-то человек, который опоздал и чье имя я даже не расслышал. Мы с Колсоном получили аудиенцию у Курта Воннегута, но жестокая ирония судьбы заключалась в том, что нам пришлось выслушивать болтовню какого-то неизвестного парня. Минуты тикали, а малый все болтал, наслаждаясь звуками собственного голоса, наводняя комнату потоками слов. Воннегут, прикуривая одну сигарету от другой, время от времени вежливо кивал седой головой. Помню, за все это время Воннегуту удалось вставить всего одну фразу — что-то про джаз.

Позднее Джил устроила нам еще одну встречу, и на сей раз мы с Воннегутом были одни и смогли поговорить. Или точнее, я смог его послушать. Он полностью соответствовал самым лучшим моим ожиданиям — был мягким, забавным, с удовольствием смеялся, ко всем относился с сочувствием

— к официанту в ресторане, к девушке, которая усадила нас за столик, — но в его глазах с набрякшими веками читалась бесконечная усталость от всех тех глупостей и преступлений, которые творит человечество.

До 11 сентября оставалось всего несколько месяцев, но когда появились новости о вторжении Соединенных Штатов в Афганистан и Ирак, Воннегут написал череду превосходных эссе о бессмысленности войны вообще. Это было логичным завершением его литературной карьеры. В то время работа над его последним романом под названием «Времетрясение» продвигалась тяжело. И эти короткие эссе стали последней попыткой образумить заблуждающееся человечество, попыткой, предпринятой писателем, который более полувека старался проповедовать нравственные ценности в своих романах и рассказах.

Под конец «Слова чести» шериф видит свое отражение в окне.

> «Из-за Марка у Чарли так защемило сердце, что он прислонился к стене и на миг прикрыл глаза. Открыв их, он увидел в окне свое отражение: пожилого

и усталого мужчину, состарившегося в попытках сделать мир таким, каким он видится десятилетним мальчишкам».

Надеюсь, этот сборник доставит вам такое же удовольствие, какое он доставил мне. Редакторы, давние друзья Воннегута Джером Клинковиц и Дэн Уэйкфилд, проделали огромную работу, упорядочив рассказы и снабдив их вступлениями. Их личное знакомство с писателем и беззаветная преданность этому великому человеку сквозят в каждой странице.

И последнее. Мне бы не хотелось, чтобы у вас создалось впечатление, будто эти рассказы имеют ценность лишь как свидетельства о начале карьеры великого писателя или как документы давно ушедшей эпохи. Вы получите невероятное удовольствие от его ясного прозрачного языка, стремительного темпа повествования и нравственной чистоты.

Дэйв Эггерс

Вступительное слово

© Перевод. А. Комаринец, 2021

«Полное собрание рассказов» объединяет весь свод короткой прозы автора, взятой из трех источников. Во-первых, это — рассказы, опубликованные при жизни автора — в журналах и позднее, в сборниках «Канарейка в шахте» (1961), «Добро пожаловать в обезьянник» (1968), «Вербное воскресенье» (1981) и «Табакерка из Багомбо» (1999). Во-вторых, это — законченные, но не опубликованные рассказы, собранные после смерти автора его душеприказчиком Дональдом Фарбером и изданные в сборниках «Армагеддон в ретроспективе» (2008), «Сейчас вылетит птичка» (2009), «Пока смертные спят» (2011) и «Портфель сосунка» (2013). В-третьих, это — законченные, но не опубликованные рассказы из архива Курта Воннегута за 1941–2007 годы, который хранится в Библиотеке редких книг им. Лилли Индианского университета в Блумингтоне.

Сборник разделен на несколько тематических разделов с учетом творческого метода автора. Тем самым отвергнутые журналами рассказы оказы-

ваются в контексте тех, которые были приняты к публикации, что дает читателям возможность увидеть, как и в чем Курт Воннегут опередил свое время. В сборник также включены те тексты из архива Библиотеки им. Лилли, которые, по мнению литературных агентов Воннегута того времени и редакторов настоящего сборника, являются законченными произведениями.

В архиве Воннегута содержится много неудачных заготовок произведений (в различных жанрах), а также различные черновые варианты тех рассказов, которые впоследствии вышли в печати. При оценке того, какое место занимает тот или иной текст в корпусе произведений автора, крайне важно установить, хотел бы сам автор опубликовать данный текст или нет. Трудно себе представить, чтобы после появления в свет финальной версии автор захотел бы публиковать черновые материалы. В истории литературы известны случаи, когда публиковались альтернативные версии, например, история публикации романа «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя. Оба раза этот роман издавался уже после смерти автора — в 1964 и в 1992 годах, однако публикация второй версии в новой редакции была предпринята, чтобы восстановить

первоначальный замысел автора. Разбирая обширные архивы Воннегута, его душеприказчики и редакторы сосредоточили свое внимание на законченных произведениях, поэтому в данный сборник не вошли черновые тексты и наброски.

В сборнике представлено только то, что Курт Воннегут сам хотел бы предложить на суд читателя. При жизни ему посчастливилось издать чуть меньше половины своих рассказов. Остальные по тем или иным причинам были отклонены редакциями журналов. В этих случаях литературный агент Воннегута без тени иронии советовал приберечь очередной отвергнутый рассказ «для собрания сочинений, которое обязательно опубликуют, когда ты станешь знаменитым. Но этого придется подождать». Приведенная выше цитата взята из письма Кеннета Литтауэра из литературного агентства «Литтауэр и Уилкинсон», письмо было написано 24 марта 1958 г., и время подтвердило его правоту.

Историю и хронологию публикации этих рассказов необходимо проследить в контексте истории журнальных публикаций Америки и роли в ней самого Курта Воннегута. В этом вопросе редакторы настоящего сборника опираются на собственный обширный опыт: Джером Клин-

ковиц — историк литературы того периода, Дэн Уэйкфилд — писатель, сам публиковавшийся в то время. Оба дружили с Куртом Воннегутом и вращались в литературных кругах. А еще они были его читателями. Клинковиц вспоминает, как в 1950-е годы подростком читал рассказы Воннегута в журнале «Сэтердей ивнинг пост», на который подписывались его родители. Этот же журнал читал в свое время, в 30-е годы, сам Воннегут. Как с удовольствием вспоминает Дэн Уэйкфилд, впервые он наткнулся на рассказ Воннегута, когда ждал своей очереди в парикмахерской. Клинковиц, как и многие его сверстники, стал поклонником романов Воннегута, когда учился в колледже в середине 60-х годов. Хотя к тому времени, когда Уэйкфилд прочитал романы Воннегута, он уже состоялся как журналист в Бюро новостей Нью-Йорка, его собственная литературная карьера только начиналась, ему еще предстояло написать основные свои бестселлеры. В 1971 году Клинковиц и Уэйкфилд написали по статье в сборник литературоведческих эссе «Констатация Воннегута». Опубликованный в начале 1973 года, этот сборник задал тон потоку литературоведческих исследований, который не оскудевает по сей день.

Для данного сборника Клинковиц и Уйэкфилд написали не только предисловия для каждого из тематических разделов, но и краткие литературоведческие, в которых рассмотрели рассказы Курта Воннегута в контексте остального его творчества. Большинство американских читателей начало свое знакомство с творчеством Воннегута с самого известного его романа «Бойня номер пять» в 1969 году. До того времени его романы выходили небольшими тиражами в дешевых изданиях, и их читательскую аудиторию составляли главным образом студенты. Однако к тому времени за плечами самого Воннегута уже была многолетняя карьера автора рассказов для журналов. В эссе «Немного о том, как писались рассказы в Америке 50-х» Джером Клинковиц показывает, как подобные произведения дали старт основной карьере Воннегута и упрочили за ним славу бытописателя обычаев и нравов американцев среднего класса. В эссе «Как Воннегут научился писать короткие рассказы» Дэн Уэйкфилд прослеживает историю отношений Воннегута и его литературных агентов, показывая, что в 1950-е годы редакторы журналов и литературные агенты выполняли ту же функцию, что и творческие семинары и курсы литератур-

ного мастерства сегодня. Тем самым они дают читателю возможность увидеть творчество Воннегута в контексте времени.

Воннегут воспитывал своих детей в Америке республиканца Эйзенхауэра, но на каждых выборах голосовал за демократа Стивенсона, он был свидетелем прихода к власти Джона Ф. Кеннеди, семья которого жила неподалеку от Воннегутов — на той стороне полуострова Кейп-Код, где селились люди побогаче. Мировоззрение Воннегутов вполне укладывалось в систему ценностей ориентированных на семейное чтение журналов, в которые предлагали его рассказы литературные агенты. Историю публикаций этих рассказов можно излагать с разных точек зрения. Первая жена Курта, в девичестве Джейн Кокс, а позднее — Джейн Воннегут-Ярмолински, писала об этом в своих воспоминаниях «Ангелы без крыльев» (1987). Их сын Марк добавил кое-какие факты в собственных мемуарах «Райский экспресс» (1975) и «Как человек без душевного заболевания, только еще больше» (2010). В предисловии к изданным посмертно мемуарам «Мы те, за кого себя выдаем» (2012) Нанетт Воннегут рассказывала, как работал ее отец, будучи начинающим писателем, и как он писал на закате жизни. При составлении

настоящего сборника Джером Клинковиц и Дэн Уэйкфилд постарались воссоздать картину взлета писательской карьеры Воннегута и ее падения в связи с изменениями в издательской сфере и в окружающем мире.

Ранние произведения писателя были в значительной степени основаны на жизненном опыте самого Воннегута, в котором было много от среднего американца из Индианаполиса: он учился в Корнеллском университете, воевал в годы Второй мировой войны, после заканчивал образование в Чикагском университете и работал журналистом в бюро новостей и сотрудником в отделе по связям с общественностью крупной корпорации. Лишь по прошествии нескольких лет он полностью посвятил себя художественной прозе.

Все, о чем он тогда писал, отражало его собственный жизненный опыт. Он использовал свою курсовую работу по биохимии, когда писал о науке, лекции по антропологии помогли ему в моделировании поведения людей в различных сообществах, воспоминания о битве при Балге и немецком плену легли в основу его военной прозы. Он писал о людях из среднего класса, поскольку наблюдал их в детстве в Индиане, потом на северо-востоке в штате Нью-Йорк и в

корпоративном муравейнике компании «Дженерал электрик», но самый богатый материал ему предоставили жители небольшого городка в Новой Англии[3]. Живя в Западном Барнстейбле в штате Массачусетс, располагавшемся ближе к материковой части полуострова Кейп-Код, он часто переносил место действия своих произведений в Северный Кроуфорд в штате Нью-Гэмпшир — вымышленный город, собирательный образ типичного американского городка. Кстати сказать, любимой пьесой Воннегута был «Наш городок» Торнтона Уайлдера.

Его семья, в которой уже было трое детей, внезапно разрослась — они с женой усыновили детей его скончавшейся сестры. Когда его рассказы не принимали в журналы, он подрабатывал составлением рекламных объявлений для одной фирмы в Бостоне, дилерской продажей автомобилей и преподаванием английского в школе для трудных детей. Романы его в то время не привлекали особого внимания читателей и критиков и плохо продавались. Они выходили в дешевых изданиях в бумажной обложке, которые покупа-

[3] Примечания: 3

Новая Англия — регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт.

ли студенты, — пройдет еще некоторое время, прежде чем это направление получит признание как контркультура. Писателю пришлось на два года оставить дом и семью и отправиться вести курс литературного мастерства в Университет Айовы. Там окончательно сложилась композиция романа, который Воннегут обдумывал много лет, — «Бойня номер пять». Эта книга была опубликована в 1969 году, остальные подробности оставим истории.

Многое можно узнать про этого романиста, которого еще только ждала мировая слава, обратившись к тому времени, когда он писал для еженедельных и ежемесячных журналов. По счастью, материала для изучения достаточно. В Библиотеке имени Лилли неоценимую помощь в составлении данного сборника оказали Шерри Уильямс и Сара Митчелл. В университете Луисвилля литературовед Джош Симпсон, посвятивший творчеству Воннегута докторскую диссертацию, предоставил информацию о материалах, хранящихся в архиве этого учебного заведения. Среди тех, кого уже нет рядом с нами, особой благодарности заслуживают литературные агенты Кеннет Литтауэр и Макс Уилкинсон и редактор Нокс Берджер. В 50-е и начале 60-х годов

эти люди оказывали поддержку своему молодому клиенту — задолго до того, как к нему пришла заслуженная слава. И самое главное — все почитатели Воннегута находятся в неоплатном долгу перед его покойной женой Джейн, поскольку именно она в те голодные годы тщательно собирала архив, куда вошли как опубликованные, так и неизданные рассказы. Когда творчество ее мужа стало привлекать внимание критиков, она терпеливо предоставляла им биографические сведения и в 1971 году прислала Джерому Клинковицу подробную библиографию творчества Воннегута, оказав тем самым неоценимую помощь литературоведам. Сегодня в Библиотеке имени Лилли исследователи могут увидеть следы ее организаторской деятельности повсюду, а потому объявили ее своей святой покровительницей. Доживи Курт Воннегут до сегодняшнего дня, он, вероятно, отдав должное Литтауэру, Уилкинсону и Берджеру, все же посвятил бы это издание именно ей, своей верной жене и подруге.

Историческая справка

Из двенадцати рассказов Воннегута (все опубликованы раньше в журналах), вошедших в сборник «Канарейка в шахте» (Greenwich, CT;

Facett Publications/Gold Medal Books, 1962), одиннадцать были переизданы в сборнике «Добро пожаловать в обезьянник» в 1968 году:

«Доклад об “Эффекте Барнхауза”»
«Вся королевская конница»
«Перемещенное лицо»
«Пилотируемые снаряды»
«Эйфо»
«Дворцы побогаче»
«Портфель Фостера»
«Олень»
«Лохматый пес Тома Эдисона»
«Налегке»
«Завтра, и завтра, и завтра»

Двенадцатый рассказ «Волшебная лампа Хэла Ирвина» был переиздан с авторской правкой в «Табакерке из Багомбо» в 1999 году.

В предисловиях к сборникам «Добро пожаловать в обезьянник» и «Табакерка из Багомбо» указано, в каких журналах публиковались рассказы, но не упомянута их публикация в сборнике «Канарейка в шахте» (он вышел в бумажной обложке, как и второй и третий романы Воннегута «Сирены Титана» (1959) и «Матерь Тьма» (1961).

Джером Клинковиц и Дэн Уэйкфилд

Немного о том, как писались рассказы в Америке 50-х

© Перевод. А. Комаринец, 2021

К малому жанру у Курта Воннегута было особое отношение. Расхожее мнение утверждает, будто он покончил с рассказами в 1968 году, когда совместно со своим новым издателем Сеймуром Лоуренсом подготовил сборник «Добро пожаловать в обезьянник», включив в него двадцать три рассказа из тех, что уже были опубликованы, вступительное эссе и литературную рецензию.

В то время Воннегут был еще сравнительно малоизвестным автором. Лоуренс обратил на него внимание, прочитав его рецензию на новый «Словарь издательства “Рэндом хаус”» в литературном приложении «Нью-Йорк таймс». Эта рецензия представляла собой один из лучших юмористических образчиков воннегутовской прозы. В особенности Лоуренс оценил изящное подтрунивание Курта над Беннетом Серфом, главным редактором «Рэндом хаус», под началом которого Лоуренс и сам когда-то работал.

Пять предыдущих романов Воннегута разо-

шлись тиражом всего в несколько тысяч экземпляров, поэтому предложенный Лоуренсом контракт пришелся как нельзя кстати, тем более что других источников дохода у Воннегута на тот момент не было. Начиная с 1950-х годов Воннегут содержал свое многочисленное семейство на гонорары от рассказов, регулярно печатавшихся в крупнейших семейных еженедельных журналах того времени «Кольерз» и «Сэтерди ивнинг пост». Некоторый дополнительный доход давали случайные публикации в журналах для женщин — таких, как «Космополитэн» и «Лейдиз хоум джорнал». Все это были массовые, популярные издания, а потому как нельзя лучше подходили для статей о темах и событиях, касавшихся жизни среднего класса. Перемежались эти статьи литературными произведениями на те же темы, что и статьи, но с толикой фантазии и поэтической вольности.

Курт Воннегут знал, как живут семьи среднего класса, читающие подобные журналы, поскольку сам жил среди таких людей в Западном Барнстейбле, штат Массачусетс, — «на бицепсе руки, составляющей Кейп-Код» (как он любил говорить). Местные жители работали в сфере услуг или имели свое небольшое дело. Для Курта таким

делом были рассказы. Кабинетом ему служила пристройка, которую он сам соорудил на задворках большого дома, в котором обитали преданная жена и ни много ни мало шестеро ребятишек, трое из которых были его собственными, а еще трое — приемными. Так случилось, что его сестра и зять скончались буквально с разницей в один день. Здесь он жил и наблюдал за людьми другого социального слоя, обитавшими в прибрежном поселке Хайаннис-Порт. Иногда случались выдающиеся события — однажды сосед Воннегута подрезал семейную яхту Кеннеди.

Чуть дальше располагался Провинс-Таун — излюбленное место отдыха богемы. Курт и за ними мог наблюдать, но лишь издалека. Пройдет еще много лет, прежде чем он станет жить и работать среди людей искусства. Пока же спросом пользовались только рассказы, и жить приходилось на журнальные гонорары и подачки от издателей, согласившихся напечатать пять его романов, однако не слишком преуспевших с продажами.

Этот период закончился в 1963 году, когда Курт предложил очередной рассказ, «История в Хайаннис-Порте», в «Сэтерди ивнинг пост». Рассказ был замечательный, но журнал отменил публикацию в связи с покушением на президента Кеннеди. Но

еще до того продажи начали падать одновременно с уменьшением объема рекламы и тиражей. В журнальном бизнесе случился застой, а медиагигант «Кольерз» и вовсе закрылся. Причины произошедшего известны: в шестидесятые годы телевидение оттянуло на себя значительную часть рекламы. Курт Воннегут как автор рассказов остался без работы.

В 1965 году он был вынужден временно расстаться с семьей — его пригласили вести курс литературного мастерства в Университете Айовы. Среди таких же, как он, приглашенных преподавателей там подвизались Нельсон Олгрен, Ричард Йейтс и Жозе Доносо, а также постоянные преподаватели — Вэнс Бурджейли и Р. В. Кассилл. Как и Воннегут, эти писатели были профессионалами. В отличие от Воннегута, их ранние романы имели некоторый успех, у Олгрена — и вовсе оглушительный. В противоположность им у Воннегута едва-едва расходились малотиражные издания.

Все изменилось спустя всего несколько лет. Вдохновленный обществом этих писателей и одаренных студентов, среди которых были такие будущие титаны, как Джон Ирвинг и Гейл Годвин, Курт Воннегут решил взяться за романы

всерьез. И так же серьезно его поддержал преподаватель с факультета английской литературы того же университета. Этим преподавателем был литературный критик Роберт Шоулс, который подружился с Воннегутом и начал продвигать его тексты. В 1967 году, как раз когда Курт заканчивал свой двухгодичный курс, в издательстве «Оксфорд юниверсити пресс» вышла монография Шоулса «Авторы фантазий». В этом новаторском исследовании художественной литературы второй половины XX века были выделены ключевые авторы того периода, каждому из которых посвящалась отдельная статья. Среди них были такие выдающиеся писатели, как Айрис Мёрдок и Лоренс Даррелл, а также… Курт Воннегут, чьи романы, на взгляд автора монографии, не уступали «Александрийскому квартету» Даррелла. Получив столь лестный отзыв, наш бывший новеллист с жаром принялся за рукопись «Бойни номер пять». Но оставались еще и рассказы, отличные рассказы, которые, по мнению нового издателя, заслуживали издания отдельным сборником.

Были и другие ценители короткой прозы Воннегута. В 1961 году Нокс Берджер, курировавший отдел художественной прозы в журнале «Ко-

льерз», перешел на работу в «Голд медал букс», входивший в состав «Фоусетт пабликейшнз», и купил с десяток рассказов Воннегута для рассчитанного на массового читателя сборника «Канарейка в шахте». Составляя в 1968 году этот сборник, Курт и Сеймур Лоуренс взяли для него все, кроме одного рассказа — «Волшебной лампы Хэла Ирвина», — возможно, потому, что он содержал не вполне политкорректную характеристику черной служанки. Впрочем, выбирать им было из чего — точнее из сорока шести произведений, которые Воннегут успел опубликовать к этому времени, включая недавно законченный рассказ «Добро пожаловать в обезьянник», опубликованный «Плейбоем» в качестве рекламы одноименного сборника. В этот сборник вошли двадцать три рассказа, но оставалось еще столько же. Публикация этих рассказов и тех, что вообще не увидели свет при жизни автора, придает особую ценность «Полному собранию рассказов», которое вы держите в руках.

В 1974 году Воннегут предложил Сеймуру Лоуренсу двадцать три рассказа, ранее публиковавшихся в журналах, но не выходивших в сборниках, присовокупив к ним эссе, литературные рецензии и тексты выступлений. Книга

получила рабочее название «Редкости Воннегута». «Звучит ужасающе посмертно, — жаловался Курт, утверждая, что «назваться автором некоторых из этих рассказов все равно что быть обвиненным в мелких правонарушениях и уголовных преступлениях». Но ему понравилась мысль опубликовать эссе и тексты выступлений, которые в конечном итоге вышли под заголовком «Вампитеры, фома и гранфаллоны» (1974). Критический разбор этих двадцати трех рассказов содержался в эссе «Короткая проза-сделай-сам», вошедшем в состав сборника «Воннегут в Америке», который опубликовал в 1977 году Сеймур Лоуренс. Из него читатель мог узнать не только о существовании рассказов, но и о том, где их найти, — с приблизительным указанием, сколько десятицентовых монет понадобится для изготовления ксерокопии. Так что «пропавшие двадцать три рассказа» продолжали жить, пусть и в некотором забвении, пока Курт не согласился включить их в сборник 1999 года под заголовком «Табакерка из Багомбо».

Совместная работа над сборником с литературоведом Питером Ридом сложилась для Воннегута особенно удачно. Свидетельством тому служат теплый тон и дружеская манера

вступления, которое он написал к этой книге. В предисловии к сборнику «Добро пожаловать в обезьянник», вышедшему тридцатью годами ранее, до того, как к нему пришла слава, Воннегут писал о себе в юмористическом ключе. Он никак не мог забыть разгромную рецензию, в которой его произведения обозвали набором «нарциссических прибауток». Его беспокоило, не вызовет ли сходных откликов и новый сборник. «Возможно, читателю было бы полезно вообразить меня девушкой с Белой скалы, прикорнувшей на валуне в ночной рубашке либо восхищающейся собственным отражением в воде». Заметьте, его сравнение отсылает не к мифу о Нарциссе, а к его довольно сниженному использованию в форме рекламы в тех самых журналах, для которых писал Воннегут. Разгромная рецензия не случайно появилась именно в «Нью-Йоркере» — там никогда не напечатали бы столь банальное рекламное объявление. Но, имея за плечами успех «Бойни номер пять» и других романов, автор уже мог подтрунивать и над собой, и над искусством писать рассказы в своем обращении к читателям «Табакерки из Багомбо».

И в романах, и в короткой прозе Курт Воннегут стремился к ясному и предельно понятному

стилю, — это было своего рода наследие его студенческой журналистики и работы в отделе по связям с общественностью крупной корпорации. В его произведениях читатель сталкивался с просторечиями, не встречавшимися на страницах художественных произведений со времен Марка Твена, стилем, который попытался выкорчевать холодный рассудок модернизма. В «Вербном воскресенье» (1981) Воннегут намекает, что даже перевод Евангелия можно улучшить, если вдуматься, как на самом деле могли разговаривать евреи. Речь идет об одной беседе Иисуса, в которой Иисус отвечает Иуде, упрекнувшему его в растрачивании ценного масла, которое можно было бы продать ради пропитания нищих. В Библии Господь отвечает: «…ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете»[4]. По мнению Воннегута, тут налицо стилистические огрехи евангелистов, или по меньшей мере скверный перевод на английский, который позволяет богачам цитировать Иисуса, игнорируя потребности общества. Курт также предлагает читателю рассмотреть контекст. У Иисуса вы-

[4] Примечания: 4

Возможно, автор предисловия что-то напутал: речь идет о Евангелии от Матфея, гл. 26, и укоряет Иисуса не конкретно Иуда, а «ученики». — *Примеч. пер.*

дался тяжелый и долгий день, он знает, что его предаст ученик, заделавшийся вдруг самым что ни на есть праведным, и что его ждут поругание и распятие. Что он может сказать? А что бы сказали в сходных обстоятельствах Авраам Линкольн или Марк Твен? «Не тревожься об этом, Иуда. Бедных останется немало и после того, как меня не станет». Такова красота и эффективность простого языка. Иуду пожурили, но так, что он не чувствует себя «чем-то, налипшим на подошву» — еще одно излюбленное просторечие Воннегута. И истина ясно отражена.

В эпоху Курта Воннегута, в столетие, которое часто называют «американским веком», те же истины несли в себе культура и ценности, пропагандируемые со страниц популярных журналов. И — подумать только! — они сформировали целых три поколения успешных писателей! В начале двадцатого столетия юнец из Сен-Поля по имени Фрэнсис Скотт Фицджеральд прочитал уйму популярных журналов в роскошной гостиной родительского дома. Отправляясь в колледж, он видел себя будущим драматургом, но в конечном итоге стал писателем и печатал свои рассказы в «Сэтерди ивнинг пост» (в то время эти публикации принесли ему больше славы и денег,

чем «Великий Гэтсби»). В сороковые годы другой юноша, на сей раз из глубинки Пенсильвании, с упоением читал, лежа на ковре, «Нью-Йоркер». На журнал подписывалась его мать, которая надеялась писать прозу в стиле этого журнала и сама продавать в него рассказы. Ее сын, Джон Апдайк, хотел стать карикатуристом. Но догадайтесь, чей рассказ (и не один) напечатали в «Нью-Йоркере»? Между Фицджеральдом и Апдайком был (в тридцатые годы) Воннегут, который, вернувшись из школы, мог взять свежий номер «Сэтерди ивнинг пост» и провести мирные полчаса за чтением одного из многих напечатанных в нем рассказов. Иногда он отмечал какой-нибудь для отца, и позднее семья обсуждала прочитанное за обедом. В предисловии к «Табакерке из Багомбо» Курт описывает это не только с ностальгией, но и с любовью. Это воспоминания о давно утраченном мире, однако они обладают огромной силой: прочитанное тогда в «Пост» словно бы наметило тот жизненный путь, которым он пойдет после колледжа, после войны, после университета и после работы специалистом по связям с общественностью в «Дженерал электрик».

Этот длинный перечень «после» предваряет литературную карьеру, которая целиком погло-

тила писателя в пятидесятые годы и затянулась вплоть до 1963 года. За эти годы он опубликовал четыре романа: «Механическое пианино», «Сирены Титана», «Матерь Тьма» и «Колыбельная для кошки», и ни один из них не принес ему достаточно средств, чтобы хватало на жизнь. Кормить семью ему помогали рассказы, печатавшиеся в самых разных журналах; они разнились по тематике, однако все были рассчитаны на среднеамериканского читателя. Наиболее часто его произведения печатались в «Кольерз» и «Сэтерди ивнинг пост» — еженедельных изданиях, которые могли бы заинтересовать всех членов семьи. В каждом номере этих журналов наряду с тематическими статьями по самым разным вопросам — от страхов «холодной войны» и историй о знаменитостях, от повседневных экономических проблем до новостей из мира науки — публиковалось пять или шесть рассказов на те же темы. В типичной американской семье того времени обычно было двое детей, и Курт Воннегут умел завладеть вниманием каждого члена семьи. С 1952 по 1956 год в «Пост» вышло по меньшей мере четыре рассказа, в которых фигурировал руководитель школьного оркестра Джордж М. Гельмгольц, который пытался найти и зачастую

(но не всегда) находил решение проблем своих юных учеников. Последняя история про Гельмгольца появилась в 1959 году, в ней дирижера поставил в тупик интерес его учеников к новомодному феномену IQ. Литературным агентам больше всего понравился вариант, который включен в данный сборник под названием «Песня для Сельмы», но журнал, объем полос которого под художественную прозу уже сокращался, отказался от публикации, поскольку как раз эта версия (из трех предложенных) не укладывалась в новые, более жесткие рамки. Не случайно, что в романе «Сирены Титана» (1959), который в то время писал Воннегут, он вывел Гельмгольца и одного его недавно ушедшего на пенсию коллегу в качестве уже знакомых типажей — получились эдакие «два персонажа “Сэтерди ивнинг пост” в конце пути». Но в предшествующие годы рассказы о вдумчивом, заботливом руководителе оркестра утешили многих одиноких и непонятых подростков.

Также «Кольерз» и «Пост» публиковали рассказы Воннегута, в которых главными героями были супружеские пары. Иногда это были счастливые браки, иногда нет, но всегда находился кто-то третий, благодаря кому в семье воцарялся

мир. Миротворцем мог оказаться консультант по инвестициям или коммивояжер, продающий противоураганные окна, — словом, типичный житель американского городка 1950-х годов. Если любовная линия получалась особенно крепкой, литературный агент предлагал рассказ в популярные журналы для женщин — «Лейдиз хоум джорнал», «Редбук» или «Космополитэн». Последний «не всегда был пособием по сексу», напомнил Воннегут журналисту Майклу Фельдману в 1999 году, когда тот брал у него интервью для радиопрограммы «Много же вы понимаете». В том же интервью Курт признался, что «может писать и для мужчин», объясняя, почему один рассказ был продан в «Эсквайр», а другой — в «Аргоси», — эти издания в то время были ориентированы на практически противоположные сегменты мужской аудитории. Между этими двумя полюсами было множество других изданий, и в 1950-е годы для них писало множество авторов, которых позднее ждал большой успех на поприще романов, — не последним из них был Марио Пьюзо.

И всегда оставался рынок научной фантастики, где Курт Воннегут наткнулся на сопротивление признанных критиков. Только пять рассказов Воннегута в этом жанре увидели свет при жиз-

ни автора, и самый лучший из них, «Гаррис Бержерон», был, как известно, перепечатан в политическом журнале «Нэшнл ревю», поскольку был любимым рассказом его редактора и политического комментатора Уильяма Ф. Бакли. Но в трех из четырех первых романов Воннегута, равно как и во многих коротких произведениях, печатавшихся в семейных еженедельниках, речь шла о науке. Курт разбирался в вопросах науки и хотел писать о них, особенно в 1950-е годы, поскольку сумел понять, какое влияние наука оказывает на жизнь простых американцев. В 1973 году Нокс Берджер рассказывал редакторам сборника «Констатация Воннегута», что в свое время все литературные агенты подавали рассказы своих клиентов сначала в те журналы, где платили больше всего, и только после ряда отказов произведение «скатывалось» с уровня полдоллара за слово до уровня пенни за слово в сфере дешевой бульварной литературы. В своем пятом романе «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер!» (1965) Курт Воннегут отправляет героя на конвент писателей-фантастов и восхваляет их как «единственных, кто готов говорить о потрясающих переменах, которые перевернут всю нашу жизнь и первые признаки которых мы наблюдаем уже

сейчас… единственных, у кого хватает смелости беспокоиться о будущем, кто подмечает, как нас меняют машины, войны, крупные города, и к каким чудовищным последствиям могут привести недопонимание, ошибки, несчастные случаи и катастрофы». Этот перечень тревог очень близок к тому, о чем сам Курт Воннегут писал в своих романах и рассказах. Впрочем, его герой, Элиот Розуотер, произносит эту речь под хмельком, а на трезвую голову признает, что писатели-фантасты «ничего путного написать не способны», что они просто жонглируют идеями.

В своем эссе «Участи похуже смерти» (1991) Курт писал, как гордился им его отец, когда он продал в журнал свой первый рассказ. И можно предположить, что мать тоже гордилась бы, будь она жива; мать Воннегута покончила с собой в порыве отчаяния, когда они потеряли все свое состояние. После того, как семья разорилась, мать сделала попытку писать рассказы для глянцевых журналов. Как вспоминает в «Интервью самому себе» Курт Воннегут (вошло в сборник «Вербное воскресенье»), «она была исключительно умной, образованной женщиной, которая получала пять с плюсом по всем предметам в колледже, включая литературное мастерство, и научилась писать на

очень высоком уровне. Она действительно умела писать, — вспоминал ее сын, — но глянцевые журналы не брали ее рассказы, потому что ей не хватало вульгарности. Под «вульгарностью» Курт, несомненно, понимал просторечия, которые презирали преподаватели английского языка того времени (и высший свет, к которому принадлежала семья его матери). «К счастью, у меня с вульгарностью не было проблем, — продолжает он, — что и позволило мне воплотить ее мечты».

Читатели «Полного собрания рассказов» могут усмотреть такую «вульгарность» в рассказе, написанном «с фигой в кармане» для антологии научной фантастики. Уже само название выдает его с головой[5]. В остальном же рассказы для «Кольерз», «Сэтерди ивнинг пост», «Лейдиз хоум джорнал» и прочих периодических изданий отличаются оригинальностью, лаконичностью и четкостью языка, которые впоследствии стали его фирменным стилем. Он наполняет свои рассказы о науке и далеком будущем яркими бытовыми реалиями — такими же знакомыми, как холодильник на кухне (он, между прочим,

[5] Примечания: 5
Речь идет о рассказе «Большая космическая случка».

весьма гордился, что знает принцип работы этого агрегата). У его рассказчиков реальные профессии: продажа и установка «противоураганных окон», консультации по инвестициям, руководство школьным оркестром. Курт Воннегут был представителем своего времени и своего поколения: родился в состоятельной семье в «ревущие двадцатые», затем стал свидетелем того, как семья, а вместе с ней и другие американские семьи, потеряла почти все свое состояние в годы Великой депрессии, потом участвовал в сражениях Второй мировой войны, потом вернулся в университет и продолжил учебу, затем попытался сделать карьеру в нарождающемся мире корпораций, но в конце концов ушел из него, чтобы открыть собственное «дело» — писать рассказы. А то, что вам предстоит прочитать, это его — и наша — прибыль.

Джером Клинковиц

Как Воннегут научился писать рассказы

© Перевод. А. Комаринец, 2021

Фамилия, нацарапанная внизу письма с отказом из журнала «Кольерз», открыла Курту Воннегуту путь к карьере профессионального писателя. Поначалу он этого не понял. Он прочитал приписку, которая гласила: «Для нас это чересчур нравоучительно. А вы, случаем, не Курт Воннегут, работавший в 1942 году в «Корнелл дэйли сан»?» Курт подумал, что неразборчивая подпись может расшифровываться как Оуэн Байер, Ормс Байер или Данк Бриджес — «сплошь незнакомые мне люди» — так вспоминал он об этом позднее. Некоторое время спустя — по воле судьбы, удачи или муз — фотограф, с которым Курт работал в «Дженерал электрик», предложил отправить рассказы его армейскому приятелю — в годы войны фотограф знал его по журналу «Янки». Звали этого приятеля Нокс Берджер, и на тот момент он работал в «Кольерз», в отделе художественной литературы.

«Кольерз».

Курт откопал письмо с отказом и расшифровал подпись, которую не сумел разобрать раньше, — Нокс Берджер. Вспомнил Воннегут и еще кое-что: Берджер был редактором юмористического журнала под названием «Корнелл уиндоу» в то время, когда Курт подвизался соредактором «Корнелл дэйли сан». Не тратя времени попусту, Воннегут поехал в Нью-Йорк, чтобы за ланчем встретиться с Берджером. Так начались дружба и наставничество, которые продлились долгие годы.

Курт послал Берджеру подборку недавно написанных рассказов, а Нокс ответил так, как отвечал в те времена каждый хороший редактор, — письмом (от 13 июля 1949 г.) с подробными указаниями, как улучшить рассказ, в котором он разглядел потенциал, — речь шла о рассказе «Мнемотехника». Позднее Воннегут вспоминал: «В те времена литературные агенты и редакторы умели объяснить автору, как «подтянуть» рассказ, точно они — механики на пит-стопе, а рассказ — гоночный болид» (во вступлении к сборнику «Табакерка из Багомбо»).

Советы Берджера действительно были такими же подробными, как пособие по сборке автомобиля: напечатанная через один интервал страница рекомендаций, за которыми следовала

поощрительная фраза, дескать, у рассказа есть… потенциал. Нокс писал, что такому-то персонажу не хватает мотивации, и объяснял, как это исправить; он считал, что списку покупок жены не хватает оригинальности, и приводил в качестве примера предметы, которые она могла бы захотеть купить. Одна из отсылок показалась ему натянутой, и он попросил ее заменить… И так далее, и так далее.

Курт тут же взялся за исправления, а в ответ получил письмо с дальнейшей правкой. Дабы избежать новых исправлений, Курт заодно переписал все те фрагменты, на которые обращал его внимание редактор, и в конечном итоге получил ответ, что, по мнению издателя, рассказ не только не удался, но «от него остается неприятный привкус во рту»!

Прочитав такое в романе про начинающего писателя, я побоялся бы переворачивать страницу: вдруг герой бросится в реку с ближайшего обрыва или, по меньшей мере, бросит в нее пишущую машинку. Но Курт Воннегут даже рассказа не выбросил. Нет, он снова разобрал его на части, работал над ним еще упорнее и еще дольше, поскольку почти два года спустя (28 апреля, 1951 г.) «Мнемотехника», наконец, была опубликова-

на в «Кольерз». Как проницательно заметила в своих мемуарах «Братья Воннегут» Джинджер Стрэнд: «Тысячи парней мечтают прославиться на литературном поприще, но у Курта была еще и дисциплина».

В то время, как большинство писателей-новичков, столкнувшись с потоком отказов, приходят к выводу, что редакторы в силу своей тупости и бездушия просто не способны оценить их бессмертную прозу, и в конце концов опускают руки, Курт признавал, что его рассказы недостаточно хороши, и продолжал совершенствовать письмо. В эссе «Как закончилась моя карьера в периодике» (в сборнике «Табакерка из Багомбо») Воннегут писал, что, когда он начинал, существовали журналы, которые, «надо отдать им должное, не прикоснулись бы к моим произведениям даже в резиновых перчатках. Я не оскорбился, и мне не было стыдно. Я понял. Я был более чем скромен».

За годы, когда он посылал рассказы в различные журналы (с 1947 по 1963 г.), Воннегут в тот или иной момент получал отказ от следующих изданий: «Тудейз вумен», «Тиз уик», «Атлэнтик», «Редбук», «Лайф», «Кольерз», «Либерти», «Нью-Йоркер», «Стори», «Эсквайр», «Томмороу», «Харперз», «Макколлз», «Тайгерз ай», «Йель

ревю», «Коронет», «Американ мэгэзин», «Космополитэн», «Американ меркьюри», «Сайэнтифик Американ», «Дирекшн», «Наггет», «Сайэнс фикшн энд фэнтези», «Фэмили серкл», «Вумэнз дэй», «Мадемуазель».

Он знал, что должен научиться писать рассказы, которые будут востребованы, но у Берджера не было времени постоянно его учить. Будучи редактором отдела художественной литературы в «Кольерз», он должен был готовить к публикации по шесть рассказов в неделю. Однако он счел, что этого начинающего автора следует поощрять и опекать, а потому нашел ему литературного агента.

Курт уже пытался обращаться в «Агентство Рассела и Волкенинга», представлявшего таких маститых писателей, как Сол Беллоу, Юдора Уэлти и Генри Миллера, но был отвергнут. Нокс порекомендовал ему агентство «Литтауэр и Уилкинсон», сказав агентам, что считает Воннегута «подающим надежды дарованием, к тому же, возможно плодовитым». Кен Литтауэр был предшественником Нокса на посту редактора в «Кольерз», а его партнер Макс Уилкинсон некогда работал литературным редактором на киностудии «Метро Голдвен Майер». Сам Курт не мог бы

создать более колоритных персонажей на роль литературных агентов для романа о карьере начинающего писателя: Литтауэр некогда служил полковником в эскадрилье «Лафайет», носил ворсистый котелок и зонтик-трость, а Уилкинсон отличился тем, что ему расквасил нос сам Фрэнсис Скотт Фицджеральд — в благодарность за то, что Уилкинсон пытался выбить для него кое-какие деньги в Голливуде.

Литтауэр умело взялся за дело там, где остановился Берджер. Как позднее писал во вступлении к «Табакерке из Багомбо» Курт Воннегут, «если я посылал [Литтауэру] рассказ, который был недостаточно хорош, не вполне удовлетворил бы читателя, он объяснял, как его подправить». Для одного такого «исправления» Литтауэр написал двухстраничный анализ рассказа «Слово чести», включая страницу диалога между персонажами, который должен был упростить сюжет. Литтауэр писал подробный комментарий на каждый новый рассказ с предложениями, как его улучшить.

28 августа 1959 года он жестко раскритиковал рассказ «ГЛУЗ» и объяснил мотив своей критики: «Если вышеизложенное [критика] приводит вас в ярость, значит, я добился своей цели, а именно

— подстегнуть ваше воображение, сыграв на эмоциях. А потому костерите меня, сколько душе угодно, но перепишите рассказ!»

В юности Курт писал больше для удовольствия, но, вернувшись с войны, начал писать с упорством истинного писателя. Это чувствуется по его первому письму домой после того, как его освободили из лагеря для военнопленных в Дрездене, где он стал свидетелем бомбежки, разрушившей город.

«Нас отрядили выносить трупы из бомбоубежищ — женщин, детей, стариков, погибших от контузии, пожара или удушья. Гражданские нас проклинали и бросали в нас камни, пока мы сносили тела к огромным погребальным кострам в черте города». Бомбежка разрушила весь Дрезден целиком, «но не меня», — эта мысль раз за разом повторялась в письме, как более поздняя фраза «Такие дела» будет раз за разом повторяться в его ставшем классикой романе «Бойня номер пять».

Очутившись перед демобилизацией в Форт-Райли, штат Канзас, на должности писаря со знанием машинописи, Курт писал рассказы и посылал их в журналы, и его молодая жена Джейн, которая работала редактором литературного журнала «Суотмур», горячо поддерживала его в

этом начинании и помогала советами. В медовый месяц она заставила его прочесть «Братьев Карамазовых».

Честно говоря, мне было не по себе, когда я читал, как Джейн отправила кое-какие тексты мужа «литературному консультанту». Когда я начинал свою литературную карьеру в пятидесятые годы в Нью-Йорке, молодые женщины, недавно окончившие колледж и получившие подобную «литературную работу», были готовы увидеть «потенциал» в любом начинающем писателе, лишь бы он платил им за «профессиональные рекомендации». Разумеется, Курт получил поощрительное письмо, но, по счастью (в данном случае), ни у него, ни у Джейн не нашлось двадцати долларов, чтобы оплатить дальнейшие «рекомендации и советы». Это не помешало Курту писать, а Джейн — поощрять его.

Он продолжал писать рассказы, пока заканчивал высшее образование на факультете антропологии в Чикагском университете, пока осваивал профессию репортера в Нью-Йоркском бюро новостей (как до него Хемингуэй в «Канзас-Сити стар»). Позже, сочиняя пресс-релизы и статьи о новой продукции в «Дженерал электрик», Курт не переставал писать рассказы — по ночам и в

выходные, и упорно продолжал рассылать их в журналы.

Знакомство с Берджером, который передал его Литтауэру, положило начало профессиональному творческому пути Курта. Именно Берджер опубликовал первый рассказ Курта «Эффект Барнхауза»» — после того, как Кен Литтауэр заставил писателя переработать концовку, превратив ее из речи в драматическую развязку. Получившийся в результате текст удовлетворял стандартам Берджера, и Воннегут получил чек на 750 долларов — минус десять процентов литературному агенту.

28 октября 1949 года Курт с гордостью сообщил новость отцу:

> *«Дорогой папа*
>
> *Я продал мой первый рассказ в «Кольерз». Вчера днем получил чек ($750 минус 10 % комиссии литагентам [агентство Литтауэра и Уилкинсона]. Теперь, сдается, и еще у двух-трех моих произведений есть недурной шанс продаться в ближайшем будущем.*
>
> *Думаю, я на [верном] пути. Я перевел свой первый чек на сберегательный счет*

и в дальнейшем намереваюсь переводить на счет все заработанные на рассказах деньги. До тех пор, пока не наберется сумма, равная годовому заработку в «ДжЭ». Я посчитал, что хватит четырех рассказов, кое-что еще даже останется (раньше мы о такой роскоши и не думали). Тогда я уйду с этой кошмарной работы и больше никогда в жизни не вернусь к ней, да поможет мне Бог.

Я уже много лет не был так счастлив.

С любовью

К.»

Несколько десятилетий спустя в «Участи похуже смерти» Воннегут писал, что, пусть этот рассказ «и не веха в литературе… Но он высится Стоунхенджем на моей скромной тропинке от рождения к смерти». Он писал, что его отец всегда наклеивал письма с добрыми вестями и позитивные заметки на картон и покрывал их лаком. Так он поступил и с тем письмом Курта, а на обороте картонки вывел каллиграфическим почерком цитату из «Венецианского купца»: «А клятва? Клятва? Небу дал я клятву!»

О профессиональной компетентности своих

литературных агентов Курт Воннегут писал во вступлении к «Табакерке из Багомбо»: «Благодаря им я продал один, потом второй, потом третий рассказ, и на счету в банке у меня скопилось больше, чем я зарабатывал за год в “ДжЭ”». Позже Курт продал «Эффект Барнхауза», «Танасферу», «Der Arme Dolmetsher», «ЭПИКАК» и «Всю королевскую конницу». Он смог распрощаться с «кошмарной работой» в начале 1951 года.

Помимо литературных агентов, его главным помощником была Джейн. Как и многие жены писателей в те дни, она вычитывала рукописи Курта, и они вместе анализировали рассказы в глянцевых журналах, пытаясь понять, в чем состоит их привлекательность для читателя. Свое название глянцевые журналы получили от глянцевой бумаги, на которой печатались (в противоположность «бульварному чтиву», печатавшемуся на более грубой, пористой бумаге и с более «грубым» содержанием, на что указывали и названия: «Истинные мужчины», «Мужские приключения» и т.д.). «Глянцы» же могли похвастаться публикациями рассказов таких маститых авторов, как Хемингуэй, Стейнбек, Фицджеральд или Фолкнер.

Джейн твердо верила, что однажды Курт всту-

пит в ряды великих американских писателей. «Она знала, что мой отец станет знаменитым и что все это того стоит», — вспоминал в своих мемуарах «Как человек без душевной болезни, только еще больше» их сын Марк. Курт писал о своей вере в Джейн в письме к Берджеру (1 февраля 1955 г.), где говорил заодно о своих тревогах из-за покупки нового дома, в то время, как старый еще не продан: «Но все будет просто замечательно. Джейн так говорит. Она говорит, что нутром чует. И, кроме шуток, я ей верю. Да и как мне не верить, когда у меня два дома и на $20.000 закладных».

Постепенно на смену журналам и литературным приложениям пришло телевидение.

«Когда телевидение отправило в утиль моих дойных коров — глянцевые журналы, я писал тексты для промышленной рекламы и продавал машины, изобрел новую настольную игру и преподавал в частной школе для богатеньких детишек с мозгами набекрень, и много чего еще делал всякого» («Участи похуже смерти»).

Как писал в своих мемуарах его сын Марк, «чтобы заработать, отец оставил писательский труд и занялся продажей автомобилей. Однако нельзя сказать, что у него это получалось». Когда

Марку было десять лет, Курт попросил у него в долг триста долларов, которые сын скопил, развозя газеты. Марк окончил колледж Суортмур в 1968 году, за год до того, как увидела свет «Бойня номер пять». В своих мемуарах он вспоминал: «Я никогда не знал, что мой отец богатый и известный писатель. Я знал его как человека, которого не взяли на место учителя английского языка в муниципальном колледже на мысе Кейп-Код».

В этот сложный период Воннегут умудрился написать пять целых романов, правда, денег они ему не принесли. Глянцевые журналы иной раз больше платили ему за рассказ в те старые «золотые» времена, чем сейчас он получал за роман. От финансового краха семью спасли творческие курсы писательского мастерства в Айове, стипендия Гуггенхайма и аванс от издателя Сеймура Лоуренса (купившего в 1969 г. «Бойню номер пять»). Карьера Курта как автора рассказов закончилась на одном из лучших — на «Истории в Хайаннис-Порте», которая была продана «Сэтерди ивнинг пост». Рассказ должен был появиться в номере, выпуск которого отменили после покушения на Кеннеди.

В 1999 г. газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала эссе «Можно ли научить писать художествен-

ные произведения?», где Воннегут писал, что «благодаря популярным журналам я овладел профессией писателя. Подобного оплачиваемого ученичества больше не существует. А потому закончите курсы литературного мастерства… Обычно, когда поднимается тема литературного мастерства, тут же раздается вопрос: “Неужели кого-то и впрямь можно научить писать?” Редактор газеты, в которой вы читаете это эссе, задал мне этот вопрос не далее, как два дня назад… Послушайте, преподаватели литературного мастерства существовали задолго до творческих мастерских и творческих курсов, и их называли и по сей день называют *редакторами*».

И хорошие преподаватели сегодня делают то же, что делали хорошие редакторы во времена Воннегута. То же самое делал и Воннегут, когда преподавал на курсах литературного мастерства в Айове, в Гарварде и в городском колледже Нью-Йорка.

Смерть друга — Джона Д. Макдональда — популярного автора в жанре детектива и мистики, побудила Воннегута написать письмо его вдове, в котором он заметил: «Как жаль, что лишь немногие знают: мы с Джоном принадлежим к непризнанной школе литературного мастерства,

уходящей корнями в золотой век журналов, когда такие имена, как Нокс Берджер, Кен Литтауэр и Макс Уилкинсон были для нас сродни заклинаниям».

То же самое можно сказать сегодня про имя **Курт Воннегут**.

Дэн Уэйкфилд

Раздел 1.
ВОЙНА

© Перевод. А. Комаринец, 2021

Очевидным мостиком между Воннегутом-романистом и Воннегутом — автором рассказов выступает тема войны. Четвертый его роман «Бойня номер пять» и по сей день остается самым известным произведением, определяющим его творчество. В этом романе, как и во многих рассказах о войне, Воннегут избегает реалистичных описаний сражений. Когда автор подвергает солдат испытаниям, это происходит либо в фантастических обстоятельствах, как, например, в литературной смертельной игре, которая ведется в рассказе «Вся королевская конница», либо в явно галлюцинаторных боях в «Великом дне».

«Меня глубоко занимают войны, можно даже сказать — я фанат войны» — признавался этот ярый пацифист в интервью Генри Джеймсу Каргасу и в телефонном интервью 1988 г. Джону Киджену (запись этого телефонного интервью хранится в Библиотеке имени Лилли). «Мне интересны тактика, стратегия и тому подобное».

Воннегут возводил свой интерес к чему-то более глубинному, чем его собственные переживания на фронте и в лагере во время Второй мировой войны. «Думается, это нехороший интерес и, возможно, он как-то связан с шахматами. Я играл в шахматы всю свою жизнь, и в этой игре тоже есть разные стратегии и тактики». Конечно, игру в шахматы вряд ли можно назвать удачным материалом для массовой литературы, но когда шахматы становятся литературным приемом, метафорой войны, получается уже далеко не скучный и не тривиальный результат.

«О чем мы говорим, когда говорим о войне?» Начиная карьеру писателя в двадцать четыре года, Курт Воннегут точно знал: для того, чтобы повествование обрело смысл, оно должно быть не о пушках, бомбах или взрывах. Об этом писала уйма других авторов, и он боялся, что подобные произведения только подстегнут молодежь к новым войнам, поскольку сражения всегда притягивают молодых. Ему самому не довелось принять участие в боевых действиях, поскольку его взвод пехотной разведки заблудился среди линий фронтов и был захвачен в плен в ходе Арденнского контрнаступления немцев в конце 1944 года. Для него война закончилась. На протя-

жении пяти месяцев он старался выжить в лагере для военнопленных в Дрездене, а после капитуляции Германии — еще несколько дней среди голодающих беженцев. Как известно каждому начинающему писателю, читавшему Хемингуэя (а они все его читали), «писать следует о том, что знаешь». Так Курт и поступал. Проблема была в том, что никто не хотел этого читать.

В июне 1946 года он отправил статью о пережитом в «Американ меркьюри» и получил отказ. Спустя год он отправил туда рассказ. Предположив, что редактор Чарльз Энгофф оценит его чуть выше, если рассказ будет написан на фактическом материале, Воннегут в сопроводительном письме упомянул, что «описываемые события действительно имели место в Дрездене». Воннегут утверждал, что хотя рассказ «Больше жизни!» выглядит как художественное повествование со всеми положенными литературными приемами, каждое слово в нем — правда. Возможно, в этом и заключалась проблема, потому что Энгофф рассказ отверг. Рассказ «Больше жизни!», наряду с другими рассказами о Второй мировой войне и ранним эссе Курта о бомбежке Дрездена «И будет гул по всей земле» увидел свет только в 2008 году. Это случилось через год после смерти писателя,

когда его сын Марк помогал составлять посмертный сборник «Армагеддон в ретроспективе и другие новые и неопубликованные произведения о войне и мире». К тому времени точка зрения автора на войну и в особенности его уникальный подход к ее изображению помогли Америке переосмыслить события Второй мировой войны и других войн второй половины XX века.

А в 1946–1947 годах Курту нужно было кормить семью. Когда писался «Больше жизни!», Марк был еще в пеленках, а вслед за ним последовали еще пятеро детей: две дочери, рожденные в браке с женой Джейн, и трое племянников, которых они с Джейн взяли на воспитание после смерти их родителей.

В первом военном рассказе Воннегута сражение разворачивалось не на поле боя, а на шахматной доске, и американцы (включая женщин и детей) сталкивались в нем не с немцами, а с вероятностью попасть в плен к некоему азиатскому военачальнику — отсылка к Корейской войне, начавшейся в июне 1950 года. Рассказ «Вся королевская конница» вышел в «Кольерз» 10 февраля 1951 года, и эта дата говорит нам о том, что ветеран Второй мировой опередил свое время — во всяком случае в вопросах войны. В отличие

от предыдущего конфликта, когда на волне возмущения нападением Японии на Пирл-Харбор у американского правительства не возникло проблем с мобилизацией в армию, происходящее на Корейском полуострове не вызвало должного отклика у американцев. Существовало две Кореи: Северная и Южная. Одну поддерживали Советский Союз и Китай, другую — не столько Соединенные Штаты, сколько Организация Объединенных Наций, что в случае Южной Кореи рассматривалось не как военная помощь, а как «полицейская акция». Особенно тревожил тот факт, что Советы располагали авиацией дальнего действия, а следовательно, могли нанести удар по материковой части Соединенных Штатов. И не только традиционными бомбами, но и ядерными ракетами. США и СССР не вели между собой боевых действий, однако к этому моменту уже начиналась не менее зловещая холодная война.

На протяжении 50-х годов Курт Воннегут обнаружил, что истории про холодную войну продаются лучше, чем собственно военные рассказы. Рассказ «Танасфера», опубликованный в «Кольерз» 5 сентября 1950 года, еще до того, как развернутся баталии на шахматной доске, переносит действие рассказа в мирное время — но

мирное время, увиденное глазами офицера военно-воздушных сил США, отправленного в космос наблюдать за военными действиями русских. То, что он взаправду слышит, мог придумать только такой писатель, как Курт Воннегут. В рассказе «Пилотируемые снаряды», опубликованном в июльском номере «Космополитэн» за 1958 год, автор приводит несколько писем, которыми обмениваются отцы двух погибших молодых космонавтов — русского и американца. Здесь эмоции и чувства берут верх над холодом технологий и жаром конфликта. Только таким путем можно было притупить страхи.

Сегодня поклонникам Воннегута известно, что их любимый писатель лучше всего изображал «свою» войну опосредованно. Бомбежка Дрездена силами союзников 13 февраля 1945 года, возможно, была кульминацией «Бойни номер пять», но в романе она сама по себе не описывается, показаны только ее последствия. В романе «Матерь Тьма», который практически полностью посвящен Второй мировой войне, показаны реалии жизни Германии того периода. И только в новом вступлении к переизданию романа в 1966 г. Воннегут, описывая ту бомбардировку, позволил прозвучать первым звукам уверенного

«среднеамериканского» голоса. В отличие от скучного описательного эссе «И будет гул по всей земле», это произведение — глубоко личностное повествование о той ночи в бомбоубежище, когда он «слышал, как над головами ходят бомбы». И воспринимается это повествование так, как если бы один человек из Индианаполиса рассказывал историю своему приятелю, который в Дрездене не был, но, несомненно, способен понять, каково это, когда над головой, этажом выше, топает докучный сосед.

И всегда остается проблема, как описать пережитое, когда не существует слов, способных его передать. И потому, когда мы говорим о войне, мы говорим о ее последствиях. Действие всех рассказов Воннегута о Второй мировой войне разворачивается в месяцы, последовавшие за тем, как он попал в плен, в дни, последовавшие за капитуляцией Германии, или в период американской оккупации разгромленного Третьего рейха. В рассказах «Перемещенное лицо» (опубликован в «Лейдиз хоум джорнал» за август 1953 г.) и «Стол коменданта» (в журналах не публиковался) солдаты оккупационной американской армии противопоставлены гражданским, вынужденным оцепенело сносить ужас поражения.

В восторге, что может бросить работу в отделе по связям с общественностью «Дженерал электрик» и готовясь переехать в более благоприятную атмосферу Кейп-Кода, где он мог бы полностью посвятить себя творчеству, Курт Воннегут отправил рассказ Ноксу Берджеру в «Кольерз» с письмом (от 14 апреля 1951 г.), в котором расхваливал собственное произведение и просил «жирную премию». 18 мая Нокс ответил пространным письмом на две тысячи слов, полным рекомендаций, правок и критики. «Персонаж, отражающий точку зрения автора, недостаточно интересен, чтобы строить на нем сюжет»» Повествованию от первого лица нужен «особый привкус, который обычно «зиждется на личности рассказчика». 22 мая Берджер снова написал Воннегуту и посоветовал «уделить больше внимания “Столу коменданта”», поскольку приближался крайний срок сдачи — 15 июня. В конечном итоге все труды были напрасны, и рассказ был опубликован лишь через год после кончины самого Воннегута.

В другом военном рассказе, действие которого разворачивается в 1067 году, после битвы при Гастингсе, недавно завоеванные бритты обсуждают своих новых французских правителей. Нокса

Берджера этот рассказ под названием «Ловушка для единорога» совершенно не заинтересовал. В ноябре 1954 г. он выразился прямо: «Отложите его, Курт, [просил он.] Тут чувствуется гений, но с толикой безумия». Журналы, по крайней мере журналы того времени, были слишком «линейными» для подобных литературных кульбитов, однако их редакторы были мудры: Берджер советовал не выбрасывать рассказ, и это произведение тоже дождалось своей публикации спустя почти полвека.

Полвека спустя этот и еще восемь других военных рассказов молодого Воннегута войдут в сборник «Армагеддон в ретроспективе», — как и надеялись редакторы и литературные агенты Воннегута конца 1940-х и 1950-х годов. Все вместе эти произведения складываются в единую картину и дополняют друг друга. Взаимно усиливают друг друга сцены лагеря для военнопленных, голода, берущего верх над желаниями, главенствовавшими в жизни молодых солдат в мирное время, и их отношений друг с другом (есть хорошие парни и не слишком хорошие). Один ранний рассказ, не включенный в «Армагеддон», публикуется в нынешнем сборнике впервые. Речь идет о рассказе «История одного злодеяния».

Как и большинство произведений Воннегута о Второй мировой войне, он основан на фактах: после бомбежки пленным поручают собирать трупы, одного из них ловят на мародерстве и расстреливают. Украденное, вполне естественно, оказывается едой. В «Бойне номер пять» — это чайник, а в кинофильме — более эффектно — дрезденская статуэтка, в точности похожая на ту, что случайно разбил до войны неловкий ребенок. Хотя Курт Воннегут не участвовал в написании сценария, он высоко отзывался о работе Стивена Джеллера, сожалея только, что в отличие от романа в фильме не хватает одного персонажа — «меня». Однако в тот день, когда Воннегут присутствовал на съемках, он все-таки исхитрился попасть в кадр — пусть и традиционно литературным образом. Это произошло при съемках эпизода в больнице, где Билли Пилигрим лежит в одной палате с историком военно-воздушных сил Бертрамом Коуплендом Ремфордом, воинственным отставным полковником, не питающим ни малейшего сочувствия ни к Дрездену, ни к тем, кто там пострадал. Как это часто бывает при съемках фильма, первые дубли не удавались. Сцена была простроена четко, психологическое напряжение между Билли (то теряющим

сознание, то приходящим в себя) и Ремфордом (поправляющимся после несчастного случая на лыжах) было налицо, и режиссер Джордж Рой Хилл считал, что переход к следующему эпизоду должен быть совершенно ясен, — вот только никто не знал, как «выпутаться» из сцены. Зато знал Курт Воннегут, который предложил: пусть после высокопарных возмущений Ремфорда по поводу незначительности авиаудара для истории и внезапной фразы Билли «Я был там» напыщенный отставной полковник фыркнет: «Тогда собственную книгу напишите!»

Действие рассказа «Великий день», вошедшего в сборник «Армагеддон в ретроспективе», перенесено в будущее. Перенестись туда силой воображения никогда не составляло для писателей проблемы, и во многих своих ранних произведениях Воннегут прибегал к футуристическому антуражу, чтобы создать контраст между чаяниями людей и антиутопиями, которые те же люди так часто строят вместо утопий. Однако подобный «футуристический подход» был неуместен для военного рассказа того типа, который он хотел написать. И действительно, учитывая то, как развивались методы ведения войны, существовала вероятность, что у человечества вообще не

будет будущего. Поэтому он прибегнул к приему, который с успехом использовал для рассказа, где смешались наука и трагедия, — «Между вредом и времянкой». Как позднее скажет один персонаж в романе Воннегута «Сирены Титана», все в словаре между этими двумя словами так или иначе связано со «временем». На протяжении всей своей жизни Воннегут был буквально одержим вопросами времени, причем не заезженной темой бренности всего сущего, но проблемой относительности и, возможно, «проницаемости» времени. Возможен ли такой феномен, как «путешествие во времени»? В «Великом дне» автор впервые экспериментирует с литературным приемом, который позднее сыграет столь важную роль в успехе «Бойни номер пять».

Не случайно, что путешествие оказалось единственно возможным для Воннегута приемом для описания традиционного сражения — не битвы на шахматной доске, не тягот в лагере военнопленных или в хаосе послевоенных дней, но на реальном поле боя с реальными солдатами, убитыми не понарошку. Тех, кто читает «Великий день» впервые, ждет сюрприз: их может удивить и место действия, и то, каким образом будет перенесено туда повествование. Удивит их и сам смысл названия «Великий день». Но главное — рассказ заставит читателя задуматься, а это было очень важно для автора «Великого дня» и других военных рассказов — так же важно, как прокормить свою семью.

Джером Клинковиц

Вся королевская конница

© Перевод. Е. Романова, 2021

Полковник Брайан Келли, загораживая своим огромным телом свет, сочившийся из коридора, на минуту прислонился к запертой двери — его одолели беспомощный гнев и отчаяние. Маленький китаец-охранник перебирал связку ключей, подыскивая нужный. Полковник Келли прислушался к голосам за дверью.

— Сержант, они ведь не посмеют тронуть американцев, а? — Голос был юный и неуверенный. — Им тогда такое устроят…

— Заткнись, не то разбудишь ребят Келли. Хочешь, чтобы они услышали, какой ты трус? — Второй голос был грубый и уставший.

— Но долго нас не продержат — так ведь, сержант? — не унимался юный голос.

— Конечно, малыш, они тут души не чают в американцах. Для этого и вызвали Келли — передать ему провизию в дорогу, пиво и сандвичи с ветчиной. Понимаешь, с сандвичами заминка вышла: они не знали, сколько делать с горчицей, а сколько — без. Ты как любишь, с горчицей?

— Да я просто хотел…

— Заткнись.

— Ладно, я только…

— Заткнись.

— Я хочу разобраться, что происходит, вот и все! — Молодой солдат закашлялся.

— Заткнись и дай мне чинарик, — раздраженно вставил третий голос. — Там еще затяжек десять осталось, не меньше. Делиться надо, малыш. — Еще несколько голосов одобрительно забормотали.

Полковник Келли открыл дверь и тревожно сцепил руки. Как же рассказать пятнадцати живым людям о разговоре с Пи-Ином и безумном испытании, которое им всем предстоит пройти? Пи-Ин сказал, что с философской точки зрения намеченная битва со смертью почти не отличается от того, к чему они (кроме жены Келли и маленьких детей, конечно) привыкли на войне. В самом деле, если рассуждать отстраненно и философски, китаец был прав. Но полковник Келли от ужаса полностью потерял самообладание, чего с ним не случалось ни перед одним сражением.

Два дня назад самолет с полковником Келли и еще пятнадцатью людьми на борту потерпел крушение в Восточной Азии — после того как

внезапно налетевший ураган сдул их с курса и радиосвязь прервалась. Полковник Келли летел работать в Индию в качестве военного атташе. Кроме его семьи на борту находились военнослужащие — технические специалисты, откомандированные на Ближний Восток. Самолет упал на территорию, принадлежащую китайскому партизану Пи-Ину.

Все выжили: полковник Келли, его жена Маргарет, сыновья-близняшки, оба пилота и десять солдат. Когда они выбрались из самолета, снаружи их уже поджидали вооруженные люди Пи-Ина. Партизаны не знали английского и целый день вели пленных по рисовым полям и джунглям — неизвестно куда. На закате они вышли к старому полуразрушенному дворцу. Там их заперли в подвале, так и не объяснив, что будет дальше.

Пи-Ин вызвал полковника Келли на допрос, в ходе которого сообщил ему, какая судьба постигнет шестнадцать американских пленников. Шестнадцать — число вновь и вновь отдавалось в мыслях Келли. Он потряс головой.

Охранник пихнул его пистолетом в бок и загремел ключом в замке. Дверь отворилась. Келли молча замер на пороге.

Солдаты передавали по кругу сигарету. Огонек ее, на секунду освещавший нетерпеливые лица, сначала выхватил из темноты румяные щеки болтливого младшего сержанта из Миннеаполиса, затем проложил рваные тени над глазами и тяжелыми бровями пилота из Солт-Лейк-Сити, а следом раскрасил алым тонкие губы сержанта.

Келли перевел взгляд с военных на нечто казавшееся в тусклом свете маленьким холмиком у двери. Там сидела его жена Маргарет, а на коленях у нее лежали белокурые головы двух сыновей. Она подняла глаза и улыбнулась мужу — белая как полотно.

— Милый… все хорошо? — тихо спросила она.

— Да, нормально.

— Сержант, — сказал румяный капрал из Миннеаполиса, — спросите его, что сказал Пи-Ин.

— Заткнись. — Сержант помолчал. — Ну что, сэр, какие новости? Хорошие или плохие?

Келли погладил жену по плечу, пытаясь подобрать верные слова — они должны были вселить в людей мужество, которого у него больше не было.

— Плохие. Хуже не бывает, — наконец выдавил он.

— Не томите, — громко сказал первый пилот.

Келли подумал, что за его показной грубостью и громким голосом кроется желание как-то подбодрить себя. — Он решил нас убить, так? Хуже этого ничего быть не может. — Пилот встал и сунул руки в карманы.

— Он не посмеет! — угрожающе вскричал юный капрал, словно по первому же щелчку его пальцев на Китай обрушились бы гнев и мощь всей армии США.

Полковник Келли взглянул на юношу с любопытством и грустью.

— Давайте признаем: у этого человечка наверху — все козыри. — «Выражение из совсем другой игры», — подумал Келли про себя. — Он вне закона. Ему плевать, что подумают о нем Соединенные Штаты.

— Если он хочет нас убить, так и скажите! — взорвался пилот. — Ну да, мы в его власти! И что дальше?

— Он считает нас военнопленными, — сказал Келли, пытаясь говорить как можно ровнее. — Он бы с удовольствием нас пристрелил. — Полковник пожал плечами. — Я не нарочно время тяну, просто не могу подобрать нужные слова… Нет таких слов. Пи-Ин хочет с нами поразвлечься. А если он нас пристрелит, веселья никакого не

выйдет. Он хочет доказать свое превосходство над нами.

— Как? — спросила Маргарет, распахнув глаза. Дети начали просыпаться.

— Через некоторое время мы с Пи-Ином сыграем в шахматы. Ставкой будут ваши жизни. — Он стиснул в кулаке обмякшую руку Маргарет. — И жизни моей семьи. Другого шанса Пи-Ин нам не даст. Либо победа, либо смерть. — Келли снова пожал плечами и криво усмехнулся. — Я играю чуть лучше среднего.

— Он ненормальный? — спросил сержант.

— Скоро сами увидите, — просто ответил полковник. — Когда мы начнем игру, вы увидите и самого Пи-Ина, и его друга майора Барзова. — Он вскинул брови. — Майор утверждает, что он только военный наблюдатель от России и совершенно бессилен в этой ситуации. Еще он говорит, что очень нам сочувствует. Думаю, врет по обеим статьям. Пи-Ин почему-то боится его как черта.

— Нам придется наблюдать за игрой? — напряженно прошептал сержант.

— Не просто наблюдать. Мы все будем шахматными фигурами.

Дверь отворилась…

— Надеюсь, вы хорошо видите доску, Белый

Король? — весело спросил Пи-Ин, стоя на балконе в огромном зале под лазурным куполом. Он улыбнулся полковнику Брайану Келли, его семье и солдатам. — Вы, разумеется, будете Белым Королем — иначе я не смогу быть уверен, что вы доведете игру до конца. — Лицо партизанского главаря разрумянилось от приятного волнения, на лице сияла напускная любезная улыбка. — Безмерно рад, что вы пришли!

Справа от Пи-Ина, в тени, стоял майор Барзов, молчаливый русский военный наблюдатель. На пристальный взгляд Келли он ответил медленным кивком. Келли не отвел глаз. Высокомерный майор с коротким «ежиком» принялся беспокойно стискивать и разжимать кулаки, покачиваясь туда-сюда на каблуках черных сапог.

— Простите, что не могу вам помочь, — наконец сказал он — без всякого сочувствия, скорее с презрительной насмешкой. — Я всего лишь наблюдатель и ничего здесь не решаю. — Барзов говорил очень тяжело и медленно. — Желаю удачи, полковник, — добавил он и отвернулся.

Слева от Пи-Ина сидела красивая молодая китаянка. Ее пустой взгляд упирался в стену над головами американцев. И девушка, и Барзов присутствовали на допросе, когда Пи-Ин впервые

заявил полковнику о своем желании сыграть в шахматы. Когда Келли обратился к Пи-Ину с мольбой помиловать хотя бы его жену и детей, в ее глазах, кажется, промелькнула искра жалости. Но теперь, глядя на эту неподвижную девушку, больше похожую на изящную статуэтку, полковник решил, что ему почудилось.

— Этот зал — прихоть моих предшественников, которые на протяжении многих поколений держали рабов, — нравоучительно произнес Пи-Ин. — Здесь был великолепный тронный зал, только пол выложили крупными черно-белыми плитами — всего их шестьдесят четыре. Получилась шахматная доска, видите? У прежних хозяев были красивые резные фигуры в человеческий рост. Они сидели на балконе и отдавали приказы слугам, которые передвигали фигуры с поля на поле. — Он покрутил кольцо на пальце. — Весьма изобретательно, не находите? Сегодня нам выпал случай продолжить чудесную традицию. Фигуры, правда, будут только мои, черные. — Он повернулся к майору Барзову, нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу. — Американцы придумали себе другие фигуры. Блестящая идея! — Его улыбка померкла, когда он увидел невозмутимое лицо Барзова. Пи-Ин, казалось, зачем-то

хотел угодить русскому, но тот не принимал его всерьез.

Вдоль стены выстроились двенадцать американцев. Они инстинктивно жались друг к другу и злобно поглядывали на хозяина дворца.

— Соберитесь с духом, — сказал им Келли. — Не то мы потеряем и этот шанс.

Он бросил быстрый взгляд на своих сыновей, Джерри и Пола, которые с интересом глазели по сторонам и сонно моргали. Рядом стояла их ошеломленная мать. Келли не понимал, почему он так спокоен перед лицом верной смерти для всей его семьи. Страх, который охватил его в подвале, исчез. На смену ему пришло знакомое жутковатое безразличие — его давний армейский друг, — которое давало волю только холодной машинерии ума и органов чувств. То был наркотик власти. Самая соль войны.

— А теперь, друзья, внимание! — торжественно произнес Пи-Ин и поднялся. — Правила игры запомнить легко: вы должны беспрекословно подчиняться полковнику Келли. Те, кого съедят мои фигуры, будут легко, безболезненно и быстро убиты.

Майор Барзов поднял глаза к потолку, словно порицая Пи-Ина за жестокость.

С губ капрала вдруг сорвался обжигающий поток ругательств — наполовину оскорбительных, наполовину жалобных. Сержант рукой зажал ему рот.

Пи-Ин перегнулся через балюстраду и указал пальцем на выругавшегося солдата.

— Тем, кто попытается сбежать с доски или закричит, мы устроим особую смерть, — строго проговорил он. — Нам с полковником необходима полная тишина, чтобы сосредоточиться. Если полковник одержит победу, всех выживших я обязуюсь помиловать и в целости вывезти со своих земель. Если же он проиграет… — Пи-Ин пожал плечами и снова откинулся на подушки. — Словом, держитесь молодцом, договорились? Я знаю, что американцы это умеют. Полковник Келли подтвердит: шахматную партию почти невозможно выиграть без потерь. Правда, полковник?

Келли машинально кивнул. Ему вспомнились недавние слова Пи-Ина о том, что предстоящая им игра мало чем отличается от того, что он познал на войне.

— Как вы можете поступать так с детьми?! — вскричала Маргарет. Она растолкала охрану и зашагала по черно-белым плитам к балкону.

— Ради Бога… — начала она.

— Уж не ради ли Бога американцы создают бомбы, танки и истребители? — раздраженно осадил ее Пи-Ин и нетерпеливо отмахнулся. — Вернуть ее в строй. — Он закрыл глаза. — Так, о чем это я? Мы говорили о потерях, о вынужденных жертвах, верно? Хотелось бы узнать, кто из вас станет королевской пешкой. Если вы еще не выбрали, полковник Келли, я бы порекомендовал того шумного юношу — его сейчас держит сержант. У королевской пешки нелегкая судьба.

Капрал стал вырываться и брыкаться с новой силой. Сержант схватил его покрепче.

— Мальчик сейчас успокоится, дайте ему минуту, — выдавил он, а затем обратился к полковнику: — Не знаю, что такое королевская пешка, но я готов ей стать. Укажите мне место, сэр.

Юноша успокоился и обмяк. Сержант его отпустил.

Келли указал на четвертую плиту во втором ряду огромной шахматной доски. Сержант прошел на нужное поле и сгорбил широкие плечи. Капрал, пробормотав что-то нечленораздельное, занял место второй — ферзевой — пешки. Остальные по-прежнему стояли вдоль стены.

— Полковник, расставьте фигуры, — неуверен-

но проговорил долговязый техник. — Мы-то в шахматах вообще ничего не смыслим. Ставьте нас куда сочтете нужным. — Его кадык дрогнул. — Самые безопасные места отведите жене и детям. Главное — их спасти. Мы выполним любые ваши приказы.

— Безопасных мест нет, — язвительно сказал пилот. — Никому не отвертеться. Выбирайте себе поле — любое, какое приглянется. — Он шагнул на плиту. — Какая я теперь фигура?

— Вы слон, лейтенант, — ответил Келли.

Он вдруг заметил, что перестал видеть в лейтенанте человека — тот превратился в фигуру, способную двигаться по диагонали и на пару с ферзем-королевой сеять хаос и разрушение среди черных фигур на доске.

— Слон? Я этих тварей и живьем-то ни разу не видел. Эй, Пи-Ин! — надменно обратился он к хозяину дворца. — Чего стоит слон?

Пи-Ин как будто развеселился.

— Одной пешки и коня, мой мальчик! Одной пешки и коня.

Келли мысленно возблагодарил Бога за то, что у него есть лейтенант. Один из американских солдат ухмыльнулся. Сбившись в тесную кучу, они стояли у стены и тихо переговаривались

— ни дать ни взять бейсбольная команда перед игрой. По приказу Келли они, явно не понимая, что делают, заняли фланги.

Пи-Ин вновь заговорил:

— Что ж, все ваши фигуры расставлены, Келли, кроме коней и королевы. А вы, разумеется, король. Ну же, поторопитесь! Мне бы хотелось доиграть к ужину.

Осторожно приобняв жену и детей, Келли повел их на нужные места. Он презирал себя за спокойствие, за отстраненность, с которой это делал. В глазах Маргарет читался страх и упрек. Она не понимала, что иначе им не спастись: его холодность — их единственная надежда на выживание. Келли отвернулся от жены.

Пи-Ин хлопнул в ладоши, призывая всех к тишине.

— Что ж, наконец-то можно начать! — Он задумчиво подергал мочку уха. — По мне, так это замечательный способ объединить восточный и западный умы, не находите, полковник? Вам представляется чудесная возможность увидеть американский азарт в сочетании с нашей любовью к драме и философии. — Майор Барзов что-то нетерпеливо прошептал ему на ухо. — Ах да, — сказал Пи-Ин. — Еще два правила: на каждый

ход игрокам дается не больше десяти минут, и — впрочем, это само собой разумеется, — когда ход сделан, передумать уже нельзя. Прекрасно. — Он нажал кнопку на часах и поставил их на перила балюстрады. — Белым предоставляется право первого хода. — Он ухмыльнулся. — Древняя традиция.

— Сержант, — напряженно выговорил полковник Келли, — на два поля вперед. — Он опустил глаза на свои руки. Они начали мелко дрожать.

— Мой ход будет несколько нетрадиционным, — сказал Пи-Ин, повернувшись к молодой девушке — ему словно хотелось убедиться, что она разделяет его наслаждение игрой. — Ферзевую пешку на два поля вперед! — приказал он слуге.

Полковник Келли молча наблюдал, как слуга передвинул огромную резную фигуру туда, где под ударом оказался его сержант. Тот вопросительно поглядел на Келли.

— Все нормально, сэр? — Он слабо улыбнулся.

— Надеюсь, — проговорил Келли. — Вот твоя защита. Солдат, — обратился он к юному капралу, — шаг вперед! — Больше он ничем помочь сержанту не мог. Теперь съеденная пешка не дала бы Пи-Ину никакого преимущества, потому что он тут же лишился бы своей. Пешка за пешку

— бессмысленная торговля.

— Скверное дело, я знаю, — обходительно произнес Пи-Ин и немного помолчал. — С моей стороны, конечно, подобный обмен неразумен. Имея такого блестящего противника, я должен играть безупречно и не поддаваться на искушения. — Майор Барзов что-то прошептал ему на ухо. — Но если я съем вашу пешку, это позволит нам быстрее прочувствовать атмосферу игры, не так ли?

— Что он мелет, сэр? — непонимающе спросил сержант.

Не успел Келли собраться с мыслями, как Пи-Ин отдал приказ:

— Взять королевскую пешку!

— Полковник! Что вы наделали! — вскричал сержант.

Охранники вывели его с доски, а затем из комнаты. Громко хлопнула дверь.

— Убейте и меня! — заорал Келли, рванувшись со своего поля вслед за ними. Полдюжины штыков вернули его на место.

* * *

Слуга Пи-Ина с безразличным видом передвинул пешку хозяина на освободившееся поле.

Из-за двери донесся выстрел, потом охранники вернулись в зал. Пи-Ин больше не улыбался.

— Ваш ход, полковник. Живо, живо — уже четыре минуты прошло.

Спокойствие Келли тут же рухнуло, а с ним пропало и ощущение нереальности происходящего. Фигуры вновь превратились в людей. У полковника отняли бесценный дар — дар слепого командования. Теперь решения о жизни и смерти давались ему не легче, чем самому зеленому рядовому. Келли в отчаянии осознал, что цель Пи-Ина — не быстрая победа, а беспощадно медленное истребление американцев. Прошло еще две минуты, а он все никак не мог собраться с силами.

— Я пас, — прошептал он наконец и повесил голову.

— Хотите, чтобы я немедленно всех расстрелял? — спросил Пи-Ин. — Должен сказать, что вы — никудышный полковник. Неужели все американские офицеры так легко сдаются?

— Соберитесь, полковник! — сказал пилот. — Слышите? Вперед!

— Тебе опасность больше не грозит, — сказал Келли молодому капралу. — Бери его пешку.

— Откуда мне знать, что вы не врете? — злобно

спросил юноша. — Вдруг я отправлюсь следом?

— А ну быстро на место! — рявкнул на него пилот.

— Нет!

Охранники, казнившие сержанта, схватили капрала под руки и вопросительно посмотрели на Пи-Ина.

— Молодой человек, — услужливо осведомился Пи-Ин, — что вам больше по душе: умереть от пыток или выполнить приказ полковника?

Капрал резко развернулся и скинул с себя обоих охранников. Затем шагнул на поле с пешкой, убившей сержанта, пинком отшвырнул фигуру в сторону и занял ее место, широко расставив ноги.

Майор Барзов захохотал.

— Он еще научится быть пешкой! — взревел он. — Это восточное искусство американцы успеют освоить в будущем, не так ли?

Пи-Ин рассмеялся вместе с Барзовым и погладил по колену свою красавицу, которая сидела рядом с ним и отрешенно смотрела перед собой.

— Что ж, пока все идет отлично — пусть и пришлось бессмысленно погубить две пешки. Теперь начинаем играть всерьез. — Он щелкнул пальцами, привлекая внимание слуги. — Королевскую

пешку на два поля вперед! — скомандовал он. — Вот так, теперь мой слон и королева готовы к вылазке на вражескую территорию. — Он нажал кнопку на часах. — Ваш ход, полковник.

По старой привычке полковник Брайан Келли с надеждой посмотрел на жену, надеясь увидеть в ее глазах сочувствие и одобрение. Однако он сразу отвернулся: от страшного вида Маргарет его пробил озноб. У нее был пустой взгляд, почти бессмысленный. Она нашла укрытие в полной слепоте и глухоте. И Келли ничего не мог для нее сделать — только выиграть. Ничего.

Он сосчитал оставшиеся на доске фигуры. Прошел уже час с начала игры. Пять пешек еще были живы, включая юного капрала. Один слон — самоуверенный пилот; две ладьи; два коня, маленьких и напуганных; Маргарет — оцепеневшая королева и, наконец, он сам, король. Остальные четверо? Убиты, зверски убиты в бессмысленных схватках, стоивших Пи-Ину лишь нескольких деревянных фигур. Уцелевшие солдаты молчали, целиком погрузившись в собственные отдельные миры.

— Мне кажется, вам пора сдаваться, полковник, — сказал Пи-Ин. — Исход игры близок. Вы сдаетесь? — Майор Барзов окинул пешки мудрым

взглядом, нахмурился, медленно покачал головой и зевнул.

Полковник Келли попытался сосредоточиться. У него было чувство, будто он все пробивался и пробивался сквозь гору из раскаленного песка: рыл, корчился от боли, задыхался, но остановиться не мог. «К черту!» — пробормотал Келли себе под нос и усилием воли заставил себя сосредоточиться на фигурах. Игра давно перестала походить на шахматы. Пи-Ин передвигал фигуры по доске с единственной целью: уничтожать белых. Келли вынужден был ходить так, чтобы любой ценой отстаивать каждую свою фигуру и никем не рисковать. Почти не пользуясь сильными конями, ладьями и королевой, он держал их в относительной безопасности двух последних рядов. Келли в отчаянии стиснул и разжал кулаки. Беспорядочные ряды врага стояли открытыми настежь. Он мог бы запросто поставить мат королю Пи-Ина, если б посреди доски не возвышалась его черная королева.

— Ваш ход, полковник. Осталось две минуты, — поддразнил его Пи-Ин.

И тут Келли увидел, какую цену ему придется заплатить — им всем придется — за то, что они живые люди, а не деревянные фигуры. Пи-Ину

достаточно было сдвинуть королеву всего на три поля по диагонали — и Келли будет шах. Затем еще один ход — соблазнительный, неизбежный, — и все, белым мат. Пи-Ин его сделает, иначе и быть не может. Игра давно потеряла для него пикантность и интерес, всем своим видом он давал понять, что с удовольствием занялся бы чем-нибудь другим.

Предводитель партизан теперь стоял, опершись на перила балюстрады. Майор Барзов стоял чуть поодаль, держа сигарету в длинном резном мундштуке слоновой кости.

— У этой игры есть одна весьма досадная особенность, — сказал Барзов, любуясь мундштуком и разглядывая его с разных сторон. — Удача не играет в ней никакой роли, важен лишь расчет. Соответственно у проигравшего нет и не может быть оправданий. — Он говорил все это надменно-дотошным тоном учителя, сообщающего прописные истины ученикам, которым еще не хватает ума их понять.

Пи-Ин пожал плечами.

— Победа в этой игре не принесет мне никакого удовлетворения. Полковник Келли меня разочаровал. Отказавшись рисковать, он лишил игру ее неповторимого духа. Мой повар — и тот бы

лучше справился.

Алое пламя гнева опалило щеки и уши полковника Келли. Мышцы его живота сжались в тугой узел, ноги подкосились. Пи-Ин не должен сходить королевой. Если он сдвинет ее, белым конец. Если же Пи-Ин уберет своего коня с линии атаки Келли, белые победят. Лишь одно может заставить Пи-Ина сдвинуть коня — соблазн испытать свежее удовольствие.

— Сдавайтесь, полковник. Время — деньги, — сказал Пи-Ин.

— Неужели все кончено? — спросил капрал.

— Молчи и стой на месте, — отрезал Келли. Он прищурился и посмотрел на резного коня Пи-Ина, стоящего среди живых шахматных фигур. Конская шея изогнулась аркой, ноздри вздуты…

Осознание чистой геометрии шахматной партии захлестнуло Келли, ее простота была подобна освежающему холодному ветру. Коню Пи-Ина нужна жертва — только тогда он сдвинется с места, только в таком случае белые победят. Идеальная ловушка, если не считать одного — приманки.

— Осталась минута, полковник.

Взгляд Келли забегал между его людьми, не обращая внимания на враждебность, недоверие

и страх в каждой паре глаз. Одного за другим он отметал кандидатов. Эти четверо жизненно необходимы для последнего, рокового удара, а эти охраняют короля… Судьба точно прочитала детскую считалочку и показала пальцем на фигуру, которой можно было пожертвовать. Единственную фигуру.

Келли заставил себя не видеть за фигурой человека. То была лишь неизвестная в математическом уравнении: если *x* умрет, остальные выживут. Трагедию своего выбора он осознавал лишь как человек, знающий определение трагедии, и потому боли не чувствовал.

— Двадцать секунд! — рявкнул Барзов. Он отобрал часы у Пи-Ина.

Холодная решимость на миг покинула Келли, и он увидел всю беспомощность своего положения: дилемма была стара, как мир, и нова, как война между Востоком и Западом. Когда на людей нападают, *x* — представленный тысячами и сотнями тысяч людей — должен умереть. И отправит его на верную смерть тот, кто больше всего любит. Профессиональным долгом Келли было выбрать *x*.

— Десять секунд, — произнес Барзов.

— Джерри, — громко и решительно сказал Кел-

ли, — сделай шаг вперед и два влево. — Его сын доверчиво вышел из последнего ряда и скрылся в тени черного коня. Во взгляде Маргарет забрезжило сознание, и она повернула голову на голос мужа.

Пи-Ин озадаченно уставился на доску.

— Вы в своем уме, полковник? — спросил он наконец. — Вы понимаете, что натворили?

Едва заметная улыбка показалась на лице Барзова. Он нагнулся и, видимо, хотел что-то прошептать Пи-Ину, но в последний момент передумал и снова оперся спиной о колонну, чтобы следить за Келли из-за прозрачного дымного занавеса.

Келли сделал вид, что не понимает, о чем говорит Пи-Ин. Затем он спрятал лицо в ладонях и скорбно закричал:

— О боже! Нет!

— Вы допустили весьма изящную ошибку, — сказал Пи-Ин и взбудораженно объяснил происходящее красавице. Она отвернулась. Его это разозлило.

— Умоляю, позвольте мне передумать! — проговорил раздавленный Келли.

Пи-Ин постучал пальцами по перилам балюстрады.

— Без правил любая игра лишена смысла. Мы заранее договорились, что ход отменить нельзя, — значит, нельзя. — Он повернулся к слуге. — Королевского коня на шестое поле линии королевского слона! — Слуга передвинул коня на поле, где стоял Джерри. Пи-Ин съел приманку и проиграл игру.

— Что это значит? — вопросила Маргарет.

— К чему держать жену в неведении, полковник? — спросил Пи-Ин. — Будьте хорошим мужем, ответьте на ее вопрос. Или лучше отвечу я?

— Ваш муж пожертвовал конем, — перебил Барзов Пи-Ина. — Вы только что потеряли сына. — Майор был похож на любознательного испытателя: так завороженно он смотрел на Маргарет.

Келли услышал, как Маргарет захрипела, и успел ее подхватить. Он поставил жену на ноги и стал растирать ей руки.

— Милая, прошу тебя, выслушай! — Он схватил ее за плечи и встряхнул — куда сильнее, чем хотел. Маргарет взорвалась. Из ее рта посыпались проклятия — отчаянные невразумительные упреки. Келли держал ее за руки и оцепенело слушал горестное бормотание.

Пи-Ин вытаращил глаза, любуясь развернувшейся внизу драмой и не обращая внимания на

гневные слезы красивой девушки, что сидела рядом. Она рвала на себе одежду, она молила. Пи-Ин молча отодвинул ее в сторону и снова уставился на доску.

Долговязый солдат внезапно рванулся к ближайшему охраннику и ударил его плечом в грудь, затем кулаком в живот. Подданные Пи-Ина вмиг окружили его, уложили на пол и оттащили на прежнее место.

Посреди этого бедлама Джерри вдруг разрыдался и подбежал к папе с мамой. Келли отпустил Маргарет, и та рухнула на колени, обнимая дрожащего сына. Пол, брат-близнец Джерри, стоял на месте, трясся всем телом и невидящими глазами смотрел перед собой.

— Продолжим игру, полковник? — громко и пронзительно спросил Пи-Ин. Барзов отвернулся от доски, не собираясь мешать Келли — и, видимо, не желая смотреть на его следующий ход.

Келли закрыл глаза и стал ждать, когда Пи-Ин отдаст приказ палачам. Он не мог заставить себя еще раз взглянуть на Маргарет и Джерри. Пи-Ин махнул рукой, призывая всех к тишине.

— С глубоким прискорбием… — начал он. И вдруг умолк. С лица как рукой сняло всякое ехидство, осталось лишь глупое удивление.

Маленький китаец перегнулся через перила, скользнул вниз и рухнул среди своих же солдат.

Майор Барзов боролся с красивой китаянкой. В ее крошечной ручке, которую он пока не успел схватить, блеснул тонкий нож. В следующий миг она вонзила его себе в грудь и повалилась на майора. Он бросил ее на пол и подошел к балюстраде.

— Следите за пленниками, пусть остаются на местах! — приказал Барзов охране. — Он жив? — В его голосе не было ни гнева, ни скорби — лишь раздражение и досада. Один из слуг покачал головой.

Барзов распорядился, чтобы вынесли тела Пи-Ина и девушки. То был поступок скорее прилежной домработницы, чем набожного скорбящего. Никто не удивился, что власть над слугами и охраной внезапно перешла к нему.

— Значит, игра все-таки ваша, — сказал Келли.

— Народ Азии потерял великого предводителя, — мрачно произнес Барзов, а затем странно улыбнулся полковнику. — Впрочем, и у него были недостатки, правда? — Он пожал плечами. — Тем не менее игру вы пока не выиграли. Вашим новым противником буду я. Никуда не уходите, полковник, я скоро вернусь.

Он потушил сигарету о резные перила, эффектно взмахнул мундштуком, сунул его в карман и скрылся за занавесями.

— Что теперь будет с Джерри? — прошептала Маргарет. То была мольба, а не вопрос, словно судьба ее сына зависела от Келли.

— Только Барзов знает, — ответил он.

Ему безумно хотелось объясниться с женой, дать понять, что выбора у него не было, но он сознавал, что это объяснение только сделает трагедию неизмеримо более жестокой для нее. Убийство сына по ошибке она еще сможет понять и простить, но убийство по холодному расчету — никогда. Маргарет бы предпочла, чтобы они все умерли.

— Только Барзов знает, — изнуренно повторил Келли. Сделка была еще в силе, цена победы оговорена. Барзову, по всей видимости, только предстояло осознать, что именно купил Келли жизнью своего сына.

— Откуда нам знать, что в случае нашей победы Барзов нас отпустит? — спросил долговязый техник.

— Мы не можем этого знать, солдат. Не можем. — Очередное сомнение закралось в душу полковника. Возможно, своим решением он выиграл

лишь право на короткую передышку…

Полковник Келли потерял счет минутам, проведенным в ожидании Барзова на гигантской шахматной доске. Его нервы окончательно сдали, не выдержав то и дело накатывающих волн раскаяния и груза постоянной страшной ответственности. Сознание полковника затуманилось. Изможденная Маргарет уснула, обняв Джерри, на чью жизнь пока никто не претендовал. Пол свернулся калачиком на своей клетке, под кителем юного капрала. На клетке Джерри, скаля зубы и чуть не изрыгая пламя из раздутых ноздрей, стоял черный конь Пи-Ина.

Келли едва расслышал мужской голос на балконе — сперва принял его за очередной зазубренный фрагмент кошмарного сна. Его мозг не понимал смысла сказанного. Наконец Келли открыл глаза и увидел двигающиеся губы майора Барзова. Увидел надменный блеск в его глазах, понял смысл слов.

— Поскольку в этой игре уже пролито столько крови, было бы несправедливо бросать ее в такой ответственный момент.

Барзов царственно развалился на подушках Пи-Ина и скрестил ноги в черных сапогах.

— Я планирую вас разбить, полковник, и буду

очень удивлен, если проиграю. Столь очевидная уловка, которой вы одурачили Пи-Ина, не может подарить вам победу — это было бы в высшей степени досадно. С этого момента мы начинаем играть всерьез. Теперь ваш противник — я. Пока преимущество за вами, но я это исправлю. Давайте же скорей продолжим.

Келли поднялся: его внушительный силуэт возвышался над остальными белыми фигурами, сидящими на своих полях. Майору Барзову были не чужды развлечения, которые находил столь забавными Пи-Ин. Однако в поведении майора и партизанского вожака чувствовалась какая-то разница. Майор решил довести игру до конца — не потому, что она ему нравилась, нет. Он хотел доказать свое умственное превосходство над никчемными американцами. Очевидно, Барзов не понимал, что Пи-Ин уже проиграл бой. Или же просчитался Келли…

Полковник мысленно подвигал все фигуры на доске, пытаясь найти изъян в своем плане — на случай если его чудовищная, невыносимая жертва оказалась напрасной. Будь это обычная игра, Келли уже предложил бы противнику сдаться, и игра бы закончилась. Но теперь, когда на кону была плоть и кровь живых людей, даже в про-

считанную до мелочей стратегию вкрадывались мучительные и неистребимые сомнения. Келли не смел поставить Барзова перед фактом: еще три хода, и победа за белыми, — пока тот не сделает эти три хода, пока не потеряет последний крохотный шанс выйти из положения, если он вообще есть.

— Что будет с Джерри?! — вопросила Маргарет.

— Джерри? Ах да, ваш сын! Что будет с Джерри, полковник? — обратился к нему Барзов. — Ради вас я готов пойти на уступку, если пожелаете. Разрешаю вам переходить. — Майор говорил с напускной учтивостью, строя из себя веселого и радушного хозяина.

— Без правил, майор, любая игра лишена смысла, — проговорил Келли ровным тоном. — Я последний, кто предложит вам их нарушить.

Лицо Барзова омрачила глубокая скорбь.

— Заметьте, это решение вашего мужа, мадам, не мое. — Он нажал кнопку на часах. — Так и быть, пусть мальчик побудет с вами, пока полковник проигрывает остальные жизни. Ваш ход, Келли. Десять минут.

— Возьми его пешку, — приказал он жене. Та не двинулась с места. — Маргарет! Ты меня слышишь?

— Ну что же вы, полковник, помогите ей! — с упреком сказал майор Барзов. Келли взял Маргарет под локоть и отвел на поле с черной пешкой. Она не сопротивлялась. Джерри плелся следом, прячась от Келли за мать. Полковник вернулся на свое поле, сунул руки в карманы и молча наблюдал, как слуга унес взятую пешку с доски.

— Шах, майор. Вашему королю шах.

Барзов приподнял бровь.

— Шах, говорите? И как же мне поступить с этим досадным недоразумением? Как привлечь ваше внимание к другим интересным задачам на доске? — Он кивнул слуге. — Передвиньте моего короля на одно поле влево.

— Лейтенант, один шаг по диагонали ко мне, — приказал Келли пилоту. Тот помедлил. — Живо! Слышите?

— Так точно, сэр, — издевательским тоном ответил пилот. — Никак отступаете? — Лейтенант поплелся на соседнее поле по диагонали — медленно, высокомерно.

— И снова шах, майор, — проговорил Келли невозмутимым тоном и показал на лейтенанта. — Теперь вашему королю угрожает мой слон. — Он закрыл глаза и в сотый раз мысленно повторил себе, что ошибки быть не может, что

страшная жертва обеспечила ему верную победу в игре и Барзову не выкрутиться. Решающий момент настал.

— Это все, на что вы способны? — спросил Барзов. — Я просто поставлю королеву перед королем. — Слуга передвинул фигуру. — Вот, теперь совсем другое дело.

— Взять его королеву, — тотчас приказал Келли своей пешке, издерганному и помятому технику.

Барзов вскочил на ноги:

— Стойте!

— Что, не заметили моей пешки? Хотите передумать? — поддразнил его Келли.

Барзов, тяжело дыша, зашагал туда-сюда по балкону.

— Конечно, заметил!

— Это был ваш единственный способ защитить короля, — добавил Келли. — Разрешаю вам взять ход обратно, но скоро вы убедитесь, что ничего другого вам не остается.

— Забирайте королеву, и покончим с игрой, — крикнул Барзов. — Забирайте!

— Забирайте, — эхом повторил его слова Келли, и слуга стащил огромную фигуру с доски.

Техник, часто моргая, глазел на черного короля в нескольких дюймах от себя.

— Мат, — очень тихо произнес Келли.

Барзов негодующе выдохнул воздух из легких.

— В самом деле, мат. — И громче добавил: — Это не ваша заслуга, скажите спасибо болвану Пи-Ину!

— Такова игра, майор. Ничего не поделаешь.

Долговязый техник истерически захихикал, капрал сел, а лейтенант заключил полковника в объятия. Дети радостно закричали. Только Маргарет, все еще напуганная, стояла неподвижно.

— Но жертву, которая обеспечила вам победу, придется принести, — язвительно проговорил Барзов. — Полагаю, вы готовы?

Келли побелел.

— Уговор есть уговор. Если вы не можете отказать себе в этом удовольствии, я выполню условия.

Барзов неторопливо поместил в мундштук новую сигарету и заговорил прежним дотошно-надменным тоном великого мудреца:

— Нет, я не стану забирать у вас мальчика. Американцы для меня, как и для Пи-Ина, — враги, объявлена война или нет. Ваши люди, полковник, для меня военнопленные. Однако, поскольку с формальной точки зрения мы не воюем, у меня нет выбора: я должен удостовериться, что всех

вас благополучно перевезут через границу. Я принял это решение сразу после выхода Пи-Ина из игры, и оно не зависело ни от исхода игры, ни от моего личного отношения к вам. Моя победа принесла бы мне радость, а вам преподала бы полезный урок, но судьба ваша решена уже давно. — Он прикурил сигарету и сурово посмотрел на полковника Келли.

— Очень благородно с вашей стороны, майор, — проговорил тот.

— О, это лишь дипломатический ход, уверяю вас. Подобный инцидент не помог бы налаживанию мира между нашими странами. Русский не может благородно обойтись с американцем — по определению. За всю долгую и печальную историю мы научились приберегать благородство исключительно для русских. — На лице его читалось нескрываемое презрение. — Быть может, мы с вами еще сыграем в шахматы, полковник, — обычными фигурами, без этих Пи-Иновых изысков. Не хочу, чтобы вы думали, будто я играю хуже вас.

— Спасибо за предложение, но не сегодня.

— Что ж, как-нибудь в другой раз. — Майор Барзов жестом велел охранникам отворить двери тронного зала. — В другой раз, — повторил он.

— Однажды найдутся и другие желающие вроде Пи-Ина поиграть живыми людьми, и я, надеюсь, смогу вновь понаблюдать за игрой. — Он широко улыбнулся. — Когда бы вы предпочли повторить?

— Увы, время и место выбирать вам, — устало проговорил Келли. — Если захотите поиграть, просто пришлите мне приглашение, майор, и я непременно буду.

Перемещенное лицо

© Перевод. Е. Романова, 2021

Восемьдесят одна искра человеческой жизни теплилась в сиротском приюте, который монахини католического монастыря устроили в домике лесничего. Большое имение, к которому принадлежали лес и домик, стояло на самом берегу Рейна, а деревня называлась Карлсвальд и располагалась в американской зоне оккупации Германии. Если бы сирот не держали здесь, если б монахини не давали им кров, тепло и одежду, выпрошенную у деревенских жителей, дети бы уже давно разбрелись по всему свету в поисках родителей, которые давно перестали их искать.

В теплые дни монахини выстраивали детей парами и вели на прогулку: через лес в деревню и обратно. Деревенский плотник, старик, склонный между взмахами рубанка предаваться праздным раздумьям, всегда выходил из мастерской поглазеть на этот прыгучий, веселый, крикливый и говорливый парад, а заодно погадать — вместе с зеваками, которых неизменно притягивала его мастерская, — какой национальности были

родители проходящих мимо малышей.

— Глянь вон на ту маленькую француженку, — сказал он однажды. — Глазенки так и сверкают!

— А вон поляк руками размахивает! Поляков хлебом не корми, дай помаршировать, — подхватил молодой механик.

— Поляк? Где это ты поляка увидал?

— Да вон тот, худющий, с серьезной миной. Впереди вышагивает, — ответил механик.

— А-а-а… Нет, этот шибко высокий для поляка, — сказал плотник. — Да и разве бывают у поляков такие белые волосы? Немец он, как пить дать.

Механик пожал плечами.

— Они нынче все немцы, так что какая разница? Разве кто теперь докажет, кем были его родители? А ты, если б повоевал в Польше, тоже бы согласился, что он вылитый поляк.

— Глянь… глянь, кто идет! — ухмыляясь, перебил его старик. — Ты хоть и не дурак поспорить, а про этого спорить не станешь! Американец, зуб даю! — Он окликнул ребенка. — Джо, когда ты уже вернешь себе чемпионский титул?

— Джо! — крикнул механик. — Как дела, Коричневый Бомбардир?

На их крик развернулся одинокий чернокожий мальчик с голубыми глазами, шедший в самом

хвосте парада: он трогательно-робко улыбнулся и вежливо кивнул, пробормотав приветствие на немецком — единственном языке, который он знал.

Монахини недолго думая окрестили его Карлом Хайнцем. Но плотник дал ему другое имя — единственного чернокожего, оставившего след в памяти деревенских жителей, — имя Джо Луиса, боксера и бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Оно-то к мальчику и прицепилось.

— Джо! — крикнул плотник. — Выше нос! Гляди веселей! Покажи нам свою ослепительную улыбку, Джо!

Джо застенчиво повиновался.

Плотник хлопнул механика по спине.

— И ведь немец тоже, а? Может, хоть так у нас будет свой чемпион по боксу!

Молодая монахиня, замыкавшая шествие, сердито шикнула на Джо, и тот спешно свернул за угол. Куда бы Джо ни ставили, рано или поздно он всегда оказывался в хвосте, так что они с монахиней проводили вместе немало времени.

— Джо! — сказала она. — Ты такой мечтатель! Неужто весь твой народ так любит витать в облаках?

— Простите, сестра, — ответил Джо. — Я просто

задумался.

— Замечтался.

— Сестра, а правда, что я сын американского солдата?

— Кто это тебе сказал?

— Петер. Он говорит, моя мама была немка, а папа — американец, который сбежал. А еще он говорит, что мама бросила меня и тоже сбежала. — В его голосе не было печали, только растерянность.

Петер был самым взрослым в приюте — хлебнувший горя старик четырнадцати лет, немецкий мальчик, который помнил и своих родителей, и братьев, и сестер, и дом, и войну, и всякие вкусности, которых Джо не мог даже вообразить. Петер был для Джо сверхчеловеком — он побывал в раю, аду и вернулся на этот свет, точно зная, где они, как сюда попали и куда отправятся потом.

— Не забивай себе голову, Джо, — сказала монахиня. — Никто теперь не знает, кем были твои родители. Но наверняка люди они славные, поэтому и ты такой славный получился.

— А кто это — «американец»?

— Человек из другой страны.

— Она рядом?

— Американцы есть и поблизости, но их родина

— далеко-далеко, за большой водой.

— Вроде реки?

— Нет, еще больше. Ты столько воды в жизни не видел — даже другого берега не разглядеть. А если сесть на корабль, можно плыть и плыть целыми днями — и все равно не добраться до суши. Я как-нибудь покажу тебе карту. А Петера ты не слушай, он все выдумывает. Ничего он про тебя не знает и знать не может. Ну давай догоняй остальных.

Джо поспешил и вскоре нагнал своих, а потом несколько минут шел прилежно и целенаправленно. Но потом он снова зазевался, гоняя в уме слова, смысл которых от него то и дело ускользал: солдат… немец… американец… твой народ… чемпион… Коричневый Бомбардир… в жизни столько воды не видел…

— Сестра, — снова обратился Джо к монахине, — а что, все американцы похожи на меня? Они тоже коричневые?

— Одни да, другие нет.

— Но таких, как я, много?

— Да. Очень-очень много.

— Что же я их никогда не встречал?

— Они не бывают в наших местах, Джо. Они живут у себя.

— Тогда я хочу к ним.

— Разве тебе не нравится здесь?

— Нравится, но Петер сказал, что мне тут не место. Я не немец и никогда им не стану.

— Ох уж этот Петер! Не слушай ты его!

— Почему все улыбаются, завидев меня? Почему просят спеть и сплясать, а потом смеются, когда я это делаю?

— Джо, Джо! Смотри скорей! — воскликнула монахиня. — Гляди, вон там, на дереве! Воробушек со сломанной ножкой! Бедный, поранился, а все равно скачет. Вот храбрец. Гляди: скок да скок, скок да скок!

Однажды жарким летним днем, когда шествие в очередной раз проходило мимо плотницкой мастерской, плотник снова вышел на улицу и сообщил Джо удивительную новость, которая напугала и заворожила мальчика.

— Джо! Эй, Джо! Твой отец в деревню пожаловал! Видал его?

— Нет, сэр… не видал. А где он?

— Не слушай его, он дразнится, — оборвала их монахиня.

— Не дразнюсь я, Джо! — возразил плотник. — Когда будешь проходить мимо школы, смотри в оба — сам все увидишь! Только хорошенько смот-

ри, не зевай — на вершину холма, где лес растет.

— Интересно, как поживает наш дружок воробушек? — весело спросила монахиня. — Надеюсь, его ножке уже лучше! А ты, Джо?

— Да-да, сестра. Я тоже надеюсь.

Всю дорогу до школы она без умолку болтала о воробушке, облаках и цветочках, так что Джо и слова вставить не мог.

Лес на холме возле школы казался тихим и пустым.

Но потом из-за деревьев вышел огромный коричневый человек, голый по пояс и с пистолетом в кобуре. Он глотнул воды из фляги, вытер губы тыльной стороной ладони, улыбнулся миру с обаятельным пренебрежением и снова исчез в темной лесной чаще.

— Сестра! — охнул Джо. — Там был мой папа! Я видел папу!

— Нет, Джо… это не он.

— Да честное слово, вон там, в лесу! Я видел своими глазами! Можно мне подняться на холм, сестра?

— Он тебе не отец, Джо. Он даже тебя не знает. И знать не хочет.

— Он же как я, сестра!

— Наверх нельзя, Джо, и здесь торчать тоже

нечего. — Она взяла его за руку и потянула за собой. — Джо, ты плохо себя ведешь!

Он повиновался и ошалело пошел за ней. Всю обратную дорогу — а монахиня выбрала другую тропинку, что пролегала подальше от школы, — Джо молчал как рыба. Больше никто не видел его чудесного папу и никто ему не верил.

Лишь во время вечерней молитвы Джо расплакался.

А в десять часов вечера молодая монахиня обнаружила, что его койка пуста.

Под огромной маскировочной сетью, перевитой темными клочками ткани, в лесу притаилось артиллерийское орудие: черный маслянистый ствол смотрел в ночное небо. Грузовики и прочая артиллерия расположились выше по склону.

Сквозь тонкую завесу кустарника Джо, трясясь от страха, слушал и высматривал солдат, окопавшихся вокруг своей пушки. В темноте их было почти не разобрать, а слова, которые до него долетали, не имели никакого смысла.

— Сержант, ну зачем нам тут окапываться, если утром уже выступать? К тому же это всего лишь учения! Может, лучше поберечь силы? Поцарапаем малость землю для вида, и дело с концом, а? Зря стараемся ведь!

— Как знать, мальчик, за ночь все может измениться. Глядишь, и не зря стараетесь, — ответил сержант. — А пока делай свое дело и не задавай вопросов, ясно?

Сержант шагнул в пятно лунного света: руки в боки, широченные плечи расправлены, ну прямо король! Джо узнал в нем человека, которым он любовался днем. Сержант удовлетворенно прислушался к тому, как его солдаты роют окопы, и вдруг зашагал прямо к месту, где притаился Джо. Мальчик перетрусил не на шутку, но молчал, пока армейский сапожище не въехал ему в бок.

— Ай!

— Это еще что такое? — Сержант схватил Джо и поднял в воздух, а потом водрузил обратно на ноги. — Ну дела! Пострел, ты чего тут делаешь? А ну брысь! Пшел домой! Здесь детям не место. — Он посветил фонариком в лицо Джо. — Вот проклятие! Ты откуда такой взялся? — Он снова поднял мальчика и встряхнул, как тряпичную куклу. — Как ты вообще сюда попал? Приплыл, что ли?

Джо пробормотал по-немецки, что ищет своего отца.

— А ну отвечай, как ты сюда попал? И что тут делаешь? Где твоя мама?

— Что стряслось, сержант? — спросил чей-то голос из темноты.

— Да я прям и не знаю, как это назвать, — ответил сержант. — Говорит как фриц и одет как фриц, но ты глянь на него!

Вскоре вокруг Джо столпилась добрая дюжина солдат: все они громко переговаривались между собой и тихо обращались к мальчику, словно это помогло бы ему их понять.

Всякий раз, когда Джо пытался объяснить, зачем пришел, солдаты удивленно смеялись.

— Где он так навострился по-немецки шпарить, а?

— Где твой папа, мальчик?

— Где твоя мама, пострел?

— Шпрехен зи дойч? Смотрите, он кивает! Ей-богу, он знает немецкий!

— Да прямо вовсю болтает! Ну спроси его еще!

— Сходите за лейтенантом, — распорядился сержант. — Он хоть сможет поговорить с мальчишкой и поймет, что он пытается сказать. Смотрите, он весь дрожит как заяц! Перепутался до смерти. Иди сюда, малыш, не бойся. — Он заключил Джо в свои медвежьи объятия. — Ну не дрожи так, слышишь? Все будет хор-ро-шо! Смотри, что у меня есть. Ну дела, да этот мальчуган и

шоколад-то первый раз видит! Давай попробуй, вреда не будет.

Джо, очутившись в крепости из костей и жил, окруженный сиянием добрых глаз, впился зубами в шоколадную плитку. Сперва розовые десны, а потом и вся душа его потонули в сладком ароматном тепле, и он просиял.

— Улыбается!

— Нет, вы только гляньте!

— Небось подумал, что в рай попал! Ей-богу!

— Вот уж кто точно «перемещенное лицо»! — сказал сержант, обнимая Джо. — Не место ему здесь, как ни крути!

— Эй, малыш, ну-ка съешь еще шоколаду.

— Да не давайте вы ему больше, — с упреком сказал сержант. — Хотите, чтоб его стошнило?

— Да вы что, сержант, никак нет!

— Что здесь происходит?

К группе, освещая себе путь фонариком, подошел лейтенант — невысокий, подтянутый и чернокожий.

— Да вот мальчонку нашли, сэр! — сказал сержант. — Пришел прямо к нам. Небось мимо охраны прополз.

— Так гоните его домой!

— Я как раз собирался, лейтенант. Но это не

простой мальчик. — Он раскрыл объятия и выставил Джо на свет.

Лейтенант удивленно расхохотался и встал на колени перед Джо.

— Ты как сюда попал?

— Он только по-немецки понимает, лейтенант, — пояснил сержант.

— Где твой дом? — спросил лейтенант по-немецки.

— За большой водой, — ответил мальчик. — Большой-пребольшой, вы столько в жизни не видали!

— А откуда ты взялся?

— Меня Боженька сделал.

— Э, да этот мальчонка адвокатом станет! — воскликнул лейтенант по-английски, а затем снова обратился к Джо: — Послушай-ка, как тебя звать? И где твоя родня?

— Меня зовут Джо Луис, — ответил Джо. — А вы и есть моя родня. Я сбежал из сиротского приюта, потому что мое место — с вами!

Лейтенант встал, качая головой, и перевел слова Джо на английский.

Лес отозвался на его голос радостным эхом.

— Джо Луис! А я-то думал, он здоровяк и силач!

— Ты смотри, сейчас он тебя одной левой уло-

жит!

— Если это Джо, то он точно нашел своих!

— А ну замолчите! — вдруг скомандовал сержант. — Все взяли и закрыли рты! Это вам не шутки! Ничего смешного тут нет. Мальчишка один на всем белом свете. Разве можно смеяться?

Тонкий голос наконец нарушил воцарившуюся мертвую тишину:

— Правильно… нельзя.

— Надо взять джип и отвезти его обратно в город, сержант, — сказал лейтенант. — Капрал Джексон, подгоните машину.

— Скажите им, что Джо хороший мальчик, — отозвался Джексон.

— Ну, Джо, — по-немецки обратился лейтенант к мальчику, — поедешь со мной и сержантом. Мы отвезем тебя домой.

Джо крепко вцепился в руки сержанта.

— Папа! Нет, папа! Я не хочу туда, я хочу с тобой!

— Послушай, малыш, я тебе не папа, — беспомощно проговорил сержант. — Я не твой отец.

— Папа!

— Прямо как приклеился! — воскликнул один солдат. — Да вы теперь в жизни от него не отле-

питесь. Сержант, сдается, у вас появился сынок, а у него — папаша.

Взяв Джо на руки, сержант зашагал к машине.

— Ну брось, — сказал он мальчугану. — Отпусти меня, а то как же я поведу? Если ты будешь висеть у меня на шее, мы далеко не уедем. Сядь-ка лучше на колени лейтенанту, вот сюда, рядом со мной.

Солдаты вновь столпились вокруг джипа и мрачно наблюдали, как сержант пытается уговорить Джо.

— Я с тобой по-хорошему хочу, Джо. Ну же, отпусти меня. Джо, слезай, я не смогу вести машину, пока ты вот так на мне висишь.

— Папа!

— Иди ко мне на коленки, Джо! — позвал его лейтенант.

— Папа!

— Джо, Джо, глянь! — крикнул ему солдат. — Шоколадка! Хочешь еще шоколаду, Джо? Смотри, целая плитка, Джо, и вся достанется тебе, если ты отпустишь сержанта и перелезешь к лейтенанту.

Джо еще крепче вцепился в «папу».

— Да куда ты шоколадку убираешь? Все равно отдай ее Джо! — рассердился второй солдат. — Кто-нибудь, притащите из грузовика ящик

шоколаду и киньте в багажник, пусть Джо потом отдадут. Будет у него запас сладкого на двадцать лет.

— Слушай, Джо, — сказал третий солдат, — ты когда-нибудь видал наручные часы? Смотри, какие у меня часы. Блестящие! Если переберешься к лейтенанту, я дам тебе послушать, как они тикают. Тик-так, тик-так, Джо! Ну, лезь сюда, ты же хочешь послушать?

Джо не шевельнулся.

Солдат протянул часы мальчику:

— На, держи, они все равно твои.

И поспешил прочь.

— Эй, друг! — крикнул кто-то ему вслед. — Ты спятил? Они же пятьдесят баксов стоили! Зачем мальчишке часы за пятьдесят долларов?

— Ничего я не спятил! А ты?

— Вроде тоже нет. Тут все в своем уме. Джо, хочешь ножик? Только ты должен пообещать, что не будешь с ним баловаться. Всегда режь от себя, а не на себя, понял? Лейтенант, когда вернетесь в приют, объясните ему, что резать надо от себя.

— Я не хочу в приют! Я хочу остаться с папой! — сквозь слезы прокричал Джо.

— Солдатам не разрешается таскать с собой маленьких мальчиков, — сказал лейтенант

по-немецки. — А мы уже завтра утром отсюда уходим.

— Тогда возвращайтесь потом за мной, — сказал Джо.

— Если сможем, вернемся. Солдаты ведь никогда не знают, куда их судьба забросит. Но если удастся, мы обязательно тебя навестим.

— Лейтенант, можно отдать мальчишке этот шоколад? — спросил солдат, принесший целую картонную коробку с шоколадными плитками.

— Не спрашивай, — ответил лейтенант. — Знать не знаю и слыхом не слыхивал ни про какой шоколад.

— Вас понял, сэр.

Солдат положил коробку в багажник джипа.

— Не отпускает, — жалобно проговорил сержант. — Вам придется сесть за руль, лейтенант, а мы с Джо тут поедем.

Они поменялись местами, и джип тронулся.

— Пока, Джо!

— Будь паинькой, Джо!

— Не съедай весь шоколад за раз, слышишь?

— Не плачь, Джо! Улыбнись!

— Шире, малыш! Вот так!

— Джо, Джо, просыпайся.

Это был голос Петера, самого взрослого воспи-

танника приюта. Он отдавался влажным эхом в каменных приютских стенах.

Джо испуганно вскочил. Вокруг его койки столпились остальные дети: они пихались и толкали друг друга, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Джо и его сокровища.

— Где ты взял эту шапку, Джо? И часы, и ножик? — спросил Петер. — И что в той коробке под кроватью?

Джо пощупал свою голову и обнаружил на ней вязаную солдатскую кепку.

— Папа… — сонно пробормотал он.

— «Папа»! — хохоча, передразнил его Петер.

— Да! — воскликнул Джо. — Ночью я ходил к своему папе, Петер.

— А он умеет говорить по-немецки? — спросила одна девочка.

— Нет, но его друг умеет.

— Да не видел он никакого папу, — вмешался Петер. — Его отец далеко-далеко отсюда. И никогда не вернется! Он вообще не знает, что ты есть!

— А как он выглядел? — спросила девочка.

Джо задумчиво огляделся по сторонам.

— Папа высокий-превысокий, до потолка! — наконец ответил он. — И шире, чем эта дверь. — Он торжественно вытащил из-под подушки плитку

шоколада. — И вот такого цвета! — Он протянул плитку остальным. — Берите, пробуйте, у меня еще много!

— Неправда это все, — сказал Петер. — Врешь ты!

— У моего папы автомат размером с эту кровать, — радостно продолжал Джо, — и пушка с домину! А еще там, где он живет, сотни таких, как я.

— Кто-то тебя разыграл, Джо, — сказал Петер. — Он тебе не отец. С чего ты взял, что он тебе не врет?

— Потому что он плакал, когда уходил, — просто ответил Джо. — И пообещал забрать меня в свой дом за большой водой, как только сможет. — Он беззаботно улыбнулся. — И не просто за рекой какой-нибудь! Ты столько воды в жизни не видал! Он пообещал, и тогда я разрешил ему уйти.

Пилотируемые снаряды

© Перевод. Е. Романова, 2021

Я, Михаил Иванков, каменщик из Украинской Советской Социалистической Республики, приветствую вас, Чарлз Эшленд, хозяин бензозаправки из Титусвилла, Флорида, США, и выражаю вам свои искренние соболезнования. Жму вашу руку.

Первым человеком в космосе был мой сын, майор Степан Иванков. Вторым — ваш сын, капитан Брайант Эшленд. Покуда люди смотрят на небо, имена наших сыновей не сотрутся из человеческой памяти. Они теперь как Луна, планеты, звезды и Солнце.

Я не знаю английского языка. Я диктую это письмо по-русски, от всего сердца, а мой второй сын Алексей его переводит. В школе он учит два языка: английский и немецкий. Английский ему нравится гораздо больше. Он очень любит ваших писателей: Джека Лондона, О. Генри и Марка Твена. Алексею семнадцать лет. Он хочет стать ученым, как его старший брат Степан.

Алексей просит сказать вам, что будет рабо-

тать во имя мира на Земле, а не войны. Еще он говорит, что не держит зла на вашего сына, поскольку понимает: Брайант лишь выполнял приказы. Алексей очень много говорит и хотел бы сам написать это письмо. Он думает, что его сорокадевятилетний отец — глубокий старик, который только и умеет, что класть камень, а правильных слов о погибших в космосе молодых ребятах сказать не сможет.

Пусть, если захочет, напишет вам другое письмо, о смерти Степана и вашего сына, а это мое письмо. Когда мы закончим, я попрошу Аксинью мне его перечитать — это Степина вдова, которая тоже хорошо знает английский. Она детский врач. Она очень красивая. Она много работает, чтобы хотя бы ненадолго забыть о смерти Степана.

Я расскажу вам одну забавную историю, мистер Эшленд. Когда СССР запустил на орбиту Земли второй искусственный спутник — с собакой внутри, — мы все шутили, что на самом деле туда засунули не собаку, а молочника Прохора Иванова, которого за несколько дней до этого арестовали за воровство. То была только шутка, но я задумался: как это, наверно, ужасно для человека — очутиться в космосе. Я не мог выбросить

из головы эту страшную мысль. По ночам мне снилось, как будто наказали не Прохора, а меня и я должен теперь лететь в открытый космос.

Я бы спросил Степана, каково человеку придется в космосе, но он был далеко, в Гурьеве, на Каспийском море. Поэтому я спросил своего младшего сына. Алексей посмеялся над моими страхами и сказал, что человек может очень хорошо устроиться в космосе и что скоро люди туда полетят. Сначала мы на искусственных спутниках выйдем на орбиту, а потом высадимся и на Луну. Еще через несколько лет человечество начнет летать на другие планеты. Он посмеялся надо мной, потому что только старик мог бояться таких пустяков.

Алексей сказал, что единственное неудобство в космосе — невесомость. Мне это кажется довольно серьезным неудобством. Нужно пить из детских бутылочек, привыкать к ощущению постоянного падения и двигаться с большой осторожностью. Алексей ничего страшного в этом не видел и собирался в ближайшем будущем отправиться на Марс.

Ольга, моя жена, тоже смеялась: мол, я слишком стар и не понимаю величия и красоты космического века. «Два русских спутника сверкают над

нашими головами, — сказала она, — а мой муж — единственный человек на Земле, который не может в это поверить!»

Но мне все снились кошмары о космосе, и теперь мой страх подтверждался научными сведениями. Я пил во сне из детских бутылочек, без конца падал, падал и падал и испытывал очень странные ощущения в ногах и руках. Возможно, мои сны были вещими. Меня будто пытались предупредить: скоро Степан будет так же мучиться в космосе, как я мучился в своих снах. А может, меня хотели предупредить, что его там убьют.

Алексей очень стесняется переводить мои слова на английский. Говорит, вы сочтете меня суеверным крестьянином. Ну и пусть. Уверен, что ученые будущего тоже будут смеяться над учеными нашего времени, потому что ученые нашего времени слишком многое считают суеверием. Сны о космосе, которые я видел, полностью сбылись: Степан очень страдал. На четвертый день он начал плакать как ребенок. Я тоже плакал как ребенок в своих снах.

Я не трус и готов пожертвовать комфортом ради светлого будущего. И за сыновей я не трясусь. На войне я пережил немало боли и страданий, но всегда понимал: чтобы радоваться, сперва

нужно погоревать. Но когда я думал о страданиях, которые человек испытает в космосе, мне было трудно увидеть за ними повод для радости. Это было еще задолго до того, как Степан полетел на орбиту.

Я пошел в библиотеку и стал читать там о Луне и других планетах: неужели там настолько хорошо? Я не стал спрашивать о них Алексея, потому что он принялся бы рассказывать о том, как это здорово — покорять космос. Из книг я узнал, что Луна и другие планеты не годятся для человека, что там вообще нет никакой жизни. Они либо слишком холодные, либо слишком горячие, либо атмосфера на них ядовита.

Дома я ничего не рассказал о своих открытиях, потому что меня снова подняли бы на смех. Просто стал тихо дожидаться Степана. Он бы не посмеялся над моими вопросами. Он ответил бы на них с научной точки зрения, потому что много лет работал над ракетами. Степан знал все, что только можно знать о космосе.

Наконец Степан приехал нас навестить и привез с собой красавицу-жену. Он был невысокого роста, но очень крепкий, сильный и умный. Степан приехал уставший. Лицо у него осунулось, щеки впали. Он уже знал, что отправится

в космос. Сначала полетел спутник с радиопередатчиком, потом — с собакой, следующими на очереди были обезьяны. А после обезьян должен был лететь Степан. Он работал сутками напролет, проектируя свой будущий космический дом. И никому об этом не рассказывал — ни мне, ни даже красавице-жене.

Мистер Эшленд, вам бы очень понравился мой сын. Степан всем нравился. Он боролся за мир. Его сделали майором не потому, что он умел сражаться. Его сделали майором, потому что он очень много знал о ракетах. А еще Степан был задумчивый и немного грустный. Он иногда говорил, что хотел бы быть простым каменщиком, как я. Потому что у каменщика есть время и покой, чтобы все обдумывать. Я не стал говорить ему, что каменщики думают в основном о камнях и цементе, а прочее их не заботит.

Я задал ему свои вопросы о космосе, и он действительно не стал смеяться. Наоборот, он говорил очень серьезно. У него были на это все причины. Он рассказал, почему готов терпеть страдания.

Степан признал мою правоту: человеку придется много страдать в космосе, а Луна и другие планеты совсем не годятся для жизни людей. Воз-

можно, где-то есть и пригодные для жизни места, но они так далеко, что до них не доберешься даже за всю жизнь.

— Тогда что же хорошего в вашем космическом веке, Степан? — спросил я его.

— Еще очень долго это будет век одних только спутников, — ответил он. — Скоро мы доберемся до Луны, но пробыть там дольше нескольких часов не сможем.

— Зачем вообще лететь в космос, раз там нет ничего хорошего?

— Там много нового и непознанного, — ответил Степан. — Человек наконец посмотрит на другие миры без пелены воздуха. Человек посмотрит со стороны и на собственный мир, узнает его истинные размеры, увидит атмосферные потоки. — Последняя фраза очень меня удивила. Я думал, размеры нашего мира давно всем известны. — Человек сможет увидеть чудесные ливни из вещества и энергии, — продолжал Степан. В его словах было много поэзии и радости научного познания.

Я успокоился и даже проникся Степиной радостью при мысли о том, сколько красивого и нового таит космос. Я наконец понял, мистер Эшленд, почему ради его освоения стоит и по-

страдать. Ночью мне приснилось, как я смотрю на наш чудесный зеленый шар, на другие миры и вижу все ясно, как никогда.

Мистер Эшленд, поймите, Степан работал не во благо Советского Союза, а во имя красоты и знаний. Он не любил говорить о том, как можно применять эти знания на войне. Об этом часто говорил Алексей: как здорово, что со спутников мы сможем шпионить за происходящим на Земле, управлять ракетами, стрелять по земным мишеням аж с самой Луны! Алексей хотел, чтобы и Степан разделил эту его ребяческую злую радость.

Степан улыбался его словам, но только потому, что любил Алексея. Он улыбался не войне и не тому, как с помощью Луны и спутников человек сможет разбить своего врага.

— Да, у науки есть и такое применение, Алексей, — сказал он в конце концов. — Но если такая война начнется, все перестанет иметь значение. Наш мир станет так же непригоден для жизни, как и все остальные планеты Солнечной системы.

С тех пор Алексей больше не восхищался войной.

Степа с женой уехал очень поздно. Он обещал

вернуться до Нового года, но больше мы его не видели.

Когда по радио передали новость о том, что Советский Союз запустил в космос спутник с человеком на борту, я еще не знал, что этим человеком был мой сын. Я не смел даже подозревать. Мне хотелось поскорей увидеть Степана и расспросить его, что этот человек сказал перед вылетом, как он был одет, какие условия его ждали на борту. По радио передали, что в восемь часов вечера космонавт обратится к людям с речью.

Мы ждали. И наконец услышали его голос. То был голос Степана.

Он говорил очень властно, довольно, гордо, благородно и мудро. Мы смеялись до слез, мистер Эшленд. Мы танцевали. Наш Степан — самый важный человек на свете! Он поднялся выше всех и теперь смотрел на нас и рассказывал, как выглядит наш мир сверху и как выглядят другие миры.

Степан весело шутил о своем маленьком космическом домике. Он рассказал, что это цилиндр десяти метров в длину и четырех — в диаметре. Внутри очень уютно. В доме есть окошки, телевизионная камера, телескоп, радар и множество разных инструментов. Как это здорово — жить в

такое чудесное время! Как здорово — быть отцом человека, ставшего в космосе ушами, глазами и сердцем всего человечества!

Степан объяснил, что пробудет в космосе ровно один месяц. Мы стали считать дни. Каждую ночь мы слушали трансляции Степиных записей. В них не было ни слова о кровотечениях из носа, тошноте и слезах. Мы слушали только его спокойные храбрые рассказы о быте на борту спутника. А потом — на десятый вечер — трансляцию не включили. В восемь часов по радио играла только музыка. О Степане не было никаких новостей, и мы поняли, что он умер.

Только сегодня, год спустя, нам сообщили, как он умер и где похоронено его тело. Когда я немного свыкся с этим ужасом, мистер Эшленд, я сказал себе: «Что ж, да будет так. Пусть майор Степан Иванков и капитан Брайант Эшленд будут служить вечным укором человечеству: за то, что мы создали мир, в котором нет места доверию. И пусть отныне народы все-таки начнут доверять друг другу. Пусть их смерти отметят собой конец той эпохи, когда наших добрых и молодых сыновей швыряли в космос навстречу верной гибели».

Прилагаю к письму фотографию нашей семьи: мы сделали ее во время последнего визита Степана. Он прекрасно получился на этом снимке. Бескрайняя вода на заднем плане — Черное море.

Михаил Иванков

Уважаемый мистер Иванков!

Спасибо вам за письмо о наших сыновьях. По почте я его так и не получил, зато его напечатали во всех газетах, после того как господин Кошевой прочел его вслух на съезде ООН. Мне не прислали даже копии. Наверно, господин Кошевой просто забыл его отправить. Впрочем, я не в обиде: в современном мире, должно быть, принято так доставлять важные письма — попросту отдавать их репортерам. Все говорят, что ваше письмо ко мне — чуть ли не самое важное событие за последние дни (помимо, конечно, того, что СССР и США все-таки решили не вступать в войну из-за гибели наших сыновей).

Я не знаю русского, и никто из моих близких не знает, так что вы уж не взыщите за английский. Пусть Алексей вам переведет (и, кстати, скажите ему, что он очень хорошо пишет по-английски — куда лучше меня).

О, конечно, я мог найти сколько угодно помощ-

ников, если б захотел, — людей, в совершенстве владеющих английским, русским и всеми прочими языками. Похоже, в этой стране все стали такими же, как ваш сын Алексей: они лучше меня знают, что надо говорить. Мол, если я напишу вам правильное письмо, оно может изменить историю. Один крупный нью-йоркский журнал предложил мне две тысячи долларов за это письмо, а потом вдруг выяснилось, что за такие огромные деньги мне даже не придется самому его писать. Журналисты уже все написали за меня, а мне надо только поставить свою подпись. Не волнуйтесь, я отказался.

В общем, мистер Иванков, знатоков и экспертов тут хоть отбавляй. Если хотите знать мое мнение, эти эксперты и довели наших мальчиков до смерти. Сначала ваши эксперты что-то изобрели, потом наши придумали в ответ какую-то выходку на миллиард долларов, потом ваши разработали что-то еще мудреней, а в итоге случилась беда. Наши правительства больше похожи на малых ребят, которым разрешили поиграть миллиардами долларов и рублей.

Ваше счастье, что у вас есть второй сын, мистер Иванков. У нас с Хейзел нет. Брайант был нашим единственным сыном (кстати, после крещения

мы называли его не Брайантом, а просто Бадом). Еще у нас есть дочка, Шарлин. Она работает в телефонной компании Джексонвилла. Прочитав ваше письмо в газете, она сразу же нам позвонила — потому что она единственный эксперт, к чьему мнению я готов прислушаться. Они с Бадом были близнецы. Бад не успел жениться, и Шарлин была для него самым близким человеком. Она считает, что вы написали очень хорошее письмо и не зря рассказали, какой Степан был добрый и как он работал во благо остальных людей. Шарлин посоветовала мне сделать то же самое. А потом заплакала и предложила написать вам историю про золотую рыбку. Я спросил ее: «Да зачем же писать человеку из России такую глупую историю?» Она все равно ничего не доказывает. Обычная семейная байка, из тех, что пересказывают друг другу на каждом семейном ужине. Шарлин ответила, что вам в России эта история покажется такой же смешной и глупой, как нам, и вы посмеетесь и станете думать о нас лучше.

Вот эта история. Когда Баду и Шарлин было около восьми, я принес домой стеклянный аквариум с двумя золотыми рыбками — каждому близнецу по одной. Только рыбки были совершенно одинаковые: нипочем не отличишь. Как-то раз Бад

проснулся рано утром и увидел, что одна рыбка умерла и плавает брюхом кверху. Бад пришел к сестре, растолкал ее и говорит: «Эй, Шарлин, твоя рыбка сдохла!» Вот эту историю и просила рассказать вам моя дочь.

У вас очень интересная и достойная профессия — каменщик. Вы говорите так, будто кладете в основном камень. В Америке почти не осталось людей, которые умеют хорошо класть камень. Теперь здесь все строят из цементных блоков или кирпичей. Только не подумайте, будто я хочу сказать, что Россия несовременна. Я знаю, что это не так.

Мы с Бадом в свое время здорово навострились в укладке блоков, когда строили нашу заправку и дом (жилые комнаты находятся прямо над магазинчиком). Задняя стена получилась очень смешной: по ней видно, как мы с Бадом учились. Она прочная, не развалится, но выглядит скверно. Одно только было не смешно: когда мы устанавливали направляющие для подъемной двери, Бад поскользнулся на лестнице, схватился рукой за острый край кронштейна и порезал себе сухожилие. Он до смерти испугался, что покалеченная рука не даст ему поступить в ВВС. Бад перенес три операции и каждый раз очень

мучился. Но он готов был выдержать хоть сто операций, если придется, потому что больше всего на свете мечтал стать летчиком.

Одно меня расстраивает в истории с потерявшимся письмом: я так и не увидел фотографии вашей семьи. То есть в газетах ее напечатали, но там мало что видно. Хотя красивое море мы разглядели. Почему-то, думая о России, я никогда не представлял себе море — такие вот мы невежды. Мы с Хейзел живем над заправкой и тоже видим из окон воду — Атлантический океан, точнее, небольшой залив под названием Индиан-Ривер. Еще мы видим Мерритт-Айленд и место, откуда взлетела ракета с Бадом. Оно называется мыс Канаверал — хотя вы, должно быть, сами все знаете. Секрета из этого не делали. Разве удержишь в секрете здоровенную ракету? Это все равно что прятать Эмпайр-стейт-билдинг. Туристы с разных концов страны съезжались ее фотографировать.

Рассказывали, что в боеголовку зарядили порох для сигнальных вспышек: она должна была врезаться в Луну и красиво взорваться. Мы с Хейзел так и думали. Когда ракета взлетела, мы стали смотреть на Луну и ждать вспышки: никто не сообщил нам, что в ракете сидит наш Бад. Мы даже не знали, что он во Флориде. Связаться с нами он

не мог. Мы думали, что он на военно-воздушной базе Отис на Кейп-Коде — оттуда приходила последняя весточка от нашего сына. А потом прямо у нас на глазах эта штука поднялась в воздух.

Вы говорите, что иногда бываете суеверны, мистер Иванков. Я тоже. Порой мне кажется, что все это было предопределено заранее: даже то, куда будут выходить наши окна. Когда мы строили заправку, ни о каких ракетах и речи не шло. Мы переехали сюда из Питсбурга — если вы слышали, это наша столица сталелитейной промышленности. Мы рассудили так: может, рекордов по добыче газа мы во Флориде не поставим, но по крайней мере наш дом не попадет под бомбардировки, если начнется война. Не успели мы и глазом моргнуть, как чуть ли не из-под нашей двери в космос взмыла ракета, а наш маленький мальчик вдруг стал мужчиной и полетел в этой ракете навстречу смерти.

Чем больше мы об этом думаем, тем больше убеждаемся, что все было предопределено. Я не понял, как в России обстоят дела с религией, а вы в письме не рассказали. Мы с женой верим в Бога и думаем, что именно Бог так распорядился с нашими мальчиками: чтобы они умерли особенной смертью во имя особенной цели. Когда

все спрашивают: «Когда же это закончится?» — я думаю, что это и есть конец, задуманный Господом. Потому что дальше так продолжаться уже не может.

Мистер Иванков, что меня разозлило, так это слова господина Кошевого о моем сыне: что он был полоумным убийцей и гангстером. Я рад, что вы так не думаете, потому что Бад вовсе не такой. Он любил летать, а не убивать. Мистер Кошевой постоянно твердил, что ваш сын был культурным и образованным человеком, а наш — неотесанным болваном. Получается, будто малолетний преступник убил университетского профессора.

Бад никогда не ввязывался в неприятности, не нарушал законы и не делал плохого. Он не охотился, не лихачил за рулем, не пил — единственный раз в жизни напился допьяна и то ради эксперимента. Бад очень гордился своей реакцией и рефлексами, постоянно пекся о здоровье, ведь без здоровья великим летчиком не станешь. Я все пытался подобрать правильное слово, чтобы описать Бада, и, кажется, Хейзел придумала самое точное. Сперва мне показалось, что оно уж очень напыщенное, но я привык, и теперь мне нравится, как это звучит. Хейзел говорит, что Бад был полон достоинства. И мальчиком, и

мужчиной он был серьезен, обходителен и почти всегда одинок.

Мне кажется, Бад чувствовал, что умрет молодым. В тот вечер, когда он напился ради эксперимента — ему просто хотелось узнать, что такое алкоголь, — Бад говорил со мной больше обычного. Ему было всего девятнадцать. Именно тогда я понял, что свое будущее занятие он неразрывно связывает со смертью. Не с чужой, мистер Иванков, а со своей собственной. «Знаешь, чем хорошо быть летчиком? — спросил он меня в тот вечер. — До самого последнего ты не догадываешься, насколько все плохо. А потом все происходит так быстро, что не успеваешь и заметить».

Он имел в виду смерть — особенную, благородную смерть. Вы писали, что были на войне и пережили там немало страданий. Я тоже, так что мы оба знаем, о какой смерти говорил Бад — о смерти солдата.

Мы получили известие о его гибели через три дня после того, как с мыса Канаверал взлетела большая ракета. В телеграмме писали, что Бад был на секретном задании, поэтому подробностей сообщить они не могут. Тогда мы попросили нашего конгрессмена, Эрла Уотермана, разузнать о случившемся. Господин Уотерман приехал к

нам домой, чтобы лично с нами побеседовать, и вид у него был такой, словно он увидел Бога. Он не мог открыть нам, что именно сделал Бад, но его поступок, сказал господин Уотерман, «один из величайших подвигов в истории США».

О ракете тогда написали, что запуск прошел успешно, были получены какие-то невероятные сведения, а потом снаряд взорвался над океаном. И все.

Вскоре стало известно, что космонавт, полетевший на спутнике в космос, погиб. Скажу вам честно, мистер Иванков, мы обрадовались этой новости. Потому что если человек летит в космос с кучей техники на борту, это может значить только одно: скоро придумают еще одно страшное оружие.

Дальше мы узнали, что советский спутник отчего-то превратился в несколько спутников. А потом — в прошлом месяце — шило наконец вырвалось из мешка. Два из множества крошечных спутников оказались людьми. Один — ваш мальчик, второй мой.

Я плачу, мистер Иванков. Надеюсь, наши сыновья погибли не зря. Наверное, в разные времена так думали миллионы отцов по всему миру. В ООН до сих пор спорят, что именно случилось

в космосе. Я рад уже тому, что все они наконец согласились — включая господина Кошевого, — что это был несчастный случай. Бад полетел туда, чтобы сфотографировать спутник вашего сына и показать снимки американцам. Он подобрался слишком близко. Я предпочитаю думать, что после аварии они хотя бы немного пожили и попытались спасти друг друга.

Говорят, они будут на орбите еще сотни лет, даже когда нас с вами не станет. Их пути будут то и дело пересекаться и снова расходиться: астрономы даже знают точную дату, когда они снова встретятся. Вы правильно написали: они теперь подобны Солнцу, Луне и звездам.

Прилагаю фотографию моего сына в военной форме. Ему здесь двадцать один год. А умер он в двадцать два. Баду поручили это задание, потому что он оказался лучшим летчиком в Соединенных Штатах. Об этом он и мечтал всю жизнь. Его мечта осуществилась.

Жму вашу руку.

Чарлз М. Эшленд, хозяин бензозаправки.
Титусвилл, Флорида, США

Танасфера

© Перевод. А. Аракелов, 2021

В полдень, в среду, 26 июля, оконные стекла в горных городках округа Севьер, штат Теннесси, задребезжали от грохота далекого взрыва, что прокатился по северо-западным склонам Аппалачей. Взрыв прозвучал в районе тщательно охраняемого полигона ВВС, затерянного в лесу в десяти милях к северо-западу от Элкмонта.

Офицер ВВС по связям с общественностью высказался: «Без комментариев». Вечером того же дня двое астрономов-любителей — в Омахе, штат Небраска, и Гленвуде, штат Айова, — независимо друг от друга наблюдали движущуюся точку, пересекшую диск луны в 21:57. Газеты пестрели громкими заголовками.

Астрономы ведущих обсерваторий Северной Америки заявили, что не видели ничего.

Они соврали.

Утром следующего дня расторопный корреспондент разыскал доктора Бернарда Грошингера, молодого ученого-ракетчика, работавшего на ВВС.

— Возможно ли такое, что эта точка была космическим кораблем? — спросил корреспондент.

Вопрос рассмешил доктора Грошингера.

— Я думаю, мы стали свидетелями нового приступа НЛО-мании. Только на этот раз всем мерещатся не летающие тарелки, а космические корабли между Землей и Луной. Можете заверить своих читателей: ни один корабль не сможет покинуть земные пределы еще как минимум двадцать лет.

Он тоже соврал.

Грошингер знал намного больше, чем сказал корреспонденту, но все-таки меньше, чем казалось ему самому. Например, он не верил в духов, и ему еще предстояло узнать о танасфере.

* * *

Доктор Грошингер взгромоздил длинные ноги на стол и проследил за тем, как его секретарша проводила разочарованного репортера к двери, у которой стояла вооруженная охрана. Он зажег сигарету и попытался расслабиться перед тем, как окунуться в душную и напряженную атмосферу командного пункта. «А ты ЗАПЕР СЕЙФ?» — строго вопрошал плакат на стене, приколотый бдительным офицером безопасности. Плакат

раздражал ученого. Офицеры безопасности, режим безопасности — все это лишь тормозило его работу, вынуждая думать о посторонних вещах, на которые у него попросту не было времени.

Секретные бумаги в сейфе не содержали никаких секретов. В них говорилось о том, что люди знали веками: по законам физики, тело, запущенное в направлении X со скоростью Y миль в час, опишет дугу Z. Грошингер подправил уравнение: по законам физики и при наличии миллиарда долларов.

Надвигающаяся война предоставила ему возможность провести эксперимент. Сама война была для него неприятным побочным фактором, военное начальство — раздражающей особенностью работы. Эксперимент — вот что самое главное, а все остальное — лишь частности.

«Главное, тут нет никаких неизвестных», — размышлял молодой ученый, находя утешение в непоколебимой надежности материального мира. Грошингер улыбнулся, представляя Христофора Колумба и его спутников, которые не знали, что их ждет впереди, и до смерти страшились морских чудовищ, ими же и придуманных. Примерно так его современники относились к космическим исследованиям.

Так что эпоха предрассудков затянется еще как минимум на несколько лет.

Но человек в космическом корабле в двух тысячах миль от Земли не знал страха. Майор Аллен Райс, мрачный военный, вряд ли сможет сообщить что-то новое и интересное в своих донесениях. Разве что подтвердить то, что ученые и так уже знали о космосе.

Крупнейшие американские обсерватории, занятые в проекте, сообщили, что корабль движется вокруг Земли по заранее рассчитанной орбите с предсказанной скоростью. Скоро, может быть, уже в следующую секунду, радиоаппаратура командного пункта примет первое в истории сообщение из космического пространства. Оно будет передано на сверхвысокой частоте, на которой никто еще не принимал и не передавал сообщений.

Первое сообщение запаздывало, но это было предсказуемо. Неожиданностей быть не может, успокаивал себя доктор Грошингер. Машины — не люди — управляли полетом. Человек был просто наблюдателем, которого к намеченной цели вели непогрешимые электронные мозги, более мощные, чем его разум. Он мог управлять кораблем, но только после входа в атмосферу,

когда и если они вернут его обратно. Корабль мог годами поддерживать жизнь пилота.

Даже человек на борту подобен машине, не без удовольствия подумал доктор Грошингер. Майор Аллен Райс: уравновешенный, быстрый, сильный, лишенный эмоций.

Психиатры, выбравшие Райса из сотни добровольцев, утверждали, что он будет функционировать так же безупречно, как ракетный двигатель, металлический корпус и электроника управления. Его особенности: крепкое телосложение, двадцать девять лет от роду, пятьдесят боевых вылетов за Вторую мировую — без каких-либо признаков усталости. Бездетный вдовец, интроверт, любитель одиночества, карьерный служака, целиком отдающийся работе.

Задание майора? Очень простое: докладывать о погодных условиях на вражеской территории и, в случае войны, сообщать о точности попадания управляемых ядерных ракет.

Сейчас майор Райс находился в двух тысячах миль над поверхностью Земли — это расстояние между Нью-Йорком и Солт-Лейк-Сити. Недостаточно высоко, чтобы можно было увидеть полярные шапки. Глядя в телескоп, Райс различал небольшие города и кильватерные следы

кораблей. Видел, как надвигается ночь, как лик Земли омрачают облака и шторма.

Доктор Грошингер потушил сигарету, почти сразу же закурил снова и направился в небольшую лабораторию, забитую радиоаппаратурой.

Генерал-лейтенант Франклин Дейн, глава проекта «Циклоп», сидел рядом с радистом. На Дейне был мятый китель, ворот рубашки небрежно расстегнут. Генерал сверлил взглядом стоявший перед ним динамик. На полу валялись обертки от сандвичей и окурки. На столе, перед Дейном и перед радистом, и у плетеного стула, на котором Грошингер провел в ожидании всю ночь, стояли бумажные стаканчики с кофе.

Генерал Дейн кивнул Грошингеру и жестом велел ему молчать.

— «Альфа Браво Фокстрот», вас вызывает «Дельта Эхо Чарли», — устало повторял позывные радист. — Как слышите? Прием. «Альфа Браво Фокстрот», ответьте. Как слы…

Динамик крякнул и загрохотал на полную мощность:

— Слышу вас. Я на связи. Прием.

Генерал Дейн вскочил на ноги и обнял Грошингера. Они хохотали, как идиоты, прыгали и хлопали друг друга по спине. Генерал выхватил

микрофон у радиста:

— Слышим вас! Все идет по плану. Как ты там, сынок? Как самочувствие? Прием.

Грошингер, все еще обнимавший генерала за плечо, наклонился к динамику, почти прижимаясь к нему ухом. Радист уменьшил громкость.

Голос зазвучал вновь, тихий, осторожный. Этот тон обеспокоил Грошингера — он ожидал чеканной четкости, ясности, уверенности.

— Эта сторона Земли сейчас темная, очень темная. И у меня ощущение, как будто я падаю, как вы и предупреждали. Прием.

— Что-то еще? — обеспокоенно спросил генерал. — Ты как будто…

Майор оборвал его на полуслове:

— Вот! Вы слышали?

— «Альфа Браво Фокстрот», мы ничего не слышим, — сказал генерал, озадаченно оглянувшись на Грошингера. — А что там такое? Помехи? Прием.

— Ребенок, — ответил майор. — Я слышу, как плачет ребенок. Неужели вы ничего не слышите? А сейчас… слышите?.. старик. Он пытается успокоить ребенка. — Голос майора теперь звучал глуше, словно тот отвернулся от микрофона.

— Чушь какая, это невозможно! — сказал Гро-

шингер. — Проверьте оборудование, «Альфа Браво Фокстрот», проверьте настройки. Прием.

— Они становятся громче. Голоса становятся громче. Мне трудно расслышать вас в общем шуме. Я как будто стою посреди толпы, и все пытаются привлечь мое внимание. Как будто… — Связь оборвалась. В динамике слышалось только какое-то шипение.

Передатчик майора был по-прежнему включен.

— Как слышите, «Альфа Браво Фокстрот»? Прием! Как меня слышите? — кричал генерал Дейн.

Шипение прекратилось. Генерал и Грошингер таращились в черноту динамика.

— «Альфа Браво Фокстрот», это «Дельта Эхо Чарли», — повторял радист. — «Альфа Браво Фокстрот», это «Дельта Эхо Чарли»…

Грошингер лежал прямо в одежде на раскладушке, принесенной специально для него. Он прикрыл лицо газетой от слепящего света потолочных ламп. Каждые несколько минут он ерошил длинными, тонкими пальцами свою спутанную шевелюру и тихо матерился. Его машина сработала безупречно — и продолжала работать. Подвел единственный элемент, сконструированный не им — гребаный человек внутри машины.

Разрушил весь эксперимент.

Целых шесть часов они пытались восстановить связь с ненормальным, который взирал на Землю со своей стальной луны и слышал голоса.

— Сэр, он вышел на связь, — сообщил радист. — «Альфа Браво Фокстрот», это «Дельта Эхо Чарли», прием. «Альфа Браво Фокстрот», ответьте «Дельте Эхо Чарли». Прием.

— Это «Альфа Браво Фокстрот». Над зонами Семь, Одиннадцать, Девятнадцать и Двадцать Три безоблачно. Облачность в зонах Один, Три, Четыре, Пять и Шесть. Над зонами Восемь и Девять, кажется, формируется шторм. Движется к юго-западу со скоростью восемнадцать миль в час. Прием.

— Он пришел в себя, — с облегчением выдохнул генерал.

Грошингер не шевельнулся. Его лицо по-прежнему было закрыто газетой.

— Спросите его про голоса, — сказал ученый.

— «Альфа Браво Фокстрот», ты больше не слышишь голосов?

— Как же не слышу? Слышу лучше, чем вас. Прием.

— Он свихнулся, — сказал Грошингер, принимая вертикальное положение.

— Я все слышал, — сказал майор Райс. — Может, и так. Это легко проверить. Вам всего-навсего нужно выяснить, правда ли, что Эндрю Тобин умер в Эвансвилле, штат Индиана, 17 февраля 1927 года. Прием.

— Не понял вас, «Альфа Браво Фокстрот», — сказал генерал. — Кто такой Эндрю Тобин? Прием.

— Это один из голосов. — Повисла неприятная пауза. Майор Райс кашлянул. — Утверждает, что его убил собственный брат.

Радист медленно поднялся со своего кресла, белый как мел. Грошингер силой усадил его обратно и взял микрофон у обмякшего генерала.

— Либо вы сошли с ума, либо это самый идиотский розыгрыш в истории, «Альфа Браво Фокстрот». С вами говорит Грошингер, и вы еще тупее, чем я думал, если пытаетесь меня надуть. Прием.

— Я плохо вас слышу, «Дельта Эхо Чарли». Голоса становятся громче.

— Райс! Возьмите себя в руки! — рассвирепел Грошингер.

— А, вот. Я услышал: миссис Памела Риттер просит своего мужа снова жениться. Ради детей. Он живет…

— Прекратить!

— …живет в доме 1577 по Деймон-Плейс, в городе Скотия, штат Нью-Йорк. Конец связи.

* * *

Генерал Дейн мягко сжал плечо Грошингера.

— Ты проспал пять часов. Уже полночь. — Генерал вручил молодому ученому бумажный стаканчик с кофе. — Были еще сообщения. Будешь слушать?

Грошингер отхлебнул кофе.

— Он все еще бредит?

— Он все еще слышит голоса, если ты об этом. — Генерал бросил Грошингеру две нераспечатанные телеграммы. — Я подумал, тебе захочется вскрыть их самому.

Грошингер рассмеялся.

— Вы что, решили проверить Скотию и Эвансвилль? Спаси Господи эту армию, если в ней все генералы такие же мнительные, как вы, друг мой.

— Ладно, ладно, ты у нас ученый, вот ты и думай. Потому я телеграммы для тебя и оставил. Прочти и объясни, что за хрень у нас тут творится.

Грошингер распечатал первую телеграмму.

ХАРВИ РИТТЕР ЖИВЕТ 1577 ДЕЙМОН ПЛЕЙС ЗПТ СКОТИЯ ТЧК ИНЖЕНЕР ТЧК ВДОВЕЦ ТЧК ДВОЕ ДЕТЕЙ ТЧК УМЕРШУЮ ЖЕНУ ЗВАЛИ ПАМЕЛА ТЧК НУЖНА ДОПОЛНИТ ИНФОРМАЦИЯ?

Р Б ФЕЙЛИ ЗПТ ШЕРИФ ПОЛИЦИЯ СКОТИИ ТЧК

Грошингер пожал плечами, отдал бумагу генералу Дейну и вскрыл второй пакет:

СОГЛАСНО АРХИВАМ ЭНДРЮ ТОБИН ПОГИБ Н ЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ ОХОТЕ 17 ФЕВРАЛЯ 1927 ГОДА ТЧК

БРАТ ПОЛ КРУПНЫЙ БИЗНЕСМЕН ЗПТ ВЛАДЕЕТ УГОЛЬНОЙ ШАХТОЙ ЗПТ ОСНОВАННОЙ ЭНДРЮ ТЧК

СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ
ДОПОЛНИТ ИНФОРМАЦИЮ ТЧК

Ф Б ДЖОНСОН ШЕРИФ ПОЛИЦИИ ЭВАНСВИЛЛЯ

— Я не удивлен, — сказал Грошингер. — Я ждал чего-то подобного. Вы, полагаю, твердо уверены, что наш друг, майор Райс, обнаружил, будто околоземное пространство населено призраками?

— Ну, я думаю, что он-то точно уверен, что кто-то там обитает, — осторожно ответил генерал.

Грошингер смял вторую телеграмму и швырнул ее в угол, промазав мимо корзины для бумаг на целый фут. Он сложил руки, как терпеливый проповедник — этот жест он использовал на лекциях у студентов-первокурсников.

— Друг мой, вначале у нас было два возможных объяснения: майор Райс либо сошел с ума, либо устроил грандиозную мистификацию. — Он размял пальцы, пока генерал переваривал вступление. — Теперь, когда мы знаем, что его сообщения касаются реальных людей, мы вынуждены признать, что это какая-то мистификация. Их имена и адреса майор выяснил до вылета. Бог знает, чего он хочет добиться. Бог знает, что мы можем сделать, чтобы его остановить. Думаю, это ваша проблема.

— Так он что, пытается сорвать проект? — нахмурился генерал. — Ну посмотрим, богом клянусь, еще посмотрим.

— Не спать, сержант, — генерал хлопнул по спине задремавшего радиста. — Вызывай Райса, пока он не откликнется, понял?

Радисту пришлось назвать свой позывной только раз.

— Это «Альфа Браво Фокстрот». Слышу вас, «Дельта Эхо Чарли». — Голос у майора был усталый.

— Это «Дельта Эхо Чарли», — сказал генерал Дейн. — Нас достали эти твои голоса. Как понял, «Альфа Браво Фокстрот»? Мы не хотим больше о них слышать. Мы раскусили твою маленькую игру. Я не знаю, что ты там задумал, но обещаю, что спущу тебя на Землю и упрячу в санаторий строгого режима с такой скоростью, что у тебя дух захватит. Мы поняли друг друга? — Генерал со злостью откусил кончик новой сигары. — Прием.

— Вы проверили те имена и адреса? Прием.

Генерал посмотрел на Грошингера, который нахмурился и покачал головой.

— Конечно. Только это ничего не доказывает. Ну, есть у тебя с собой список с именами и адресами. Что это доказывает? Прием.

— Так проверили, говорите? Прием.

— Я говорю, чтобы ты кончал с этой херней. Сейчас же. Забудь про голоса, ты понял? Давай переходи к погоде. Прием.

— Просветы над зонами Одиннадцать, Пятнадцать и Шестнадцать. Плотная облачность над зонами Один, Два и Три. Над остальными зонами небо чистое. Прием.

— Так-то лучше, «Альфа Браво Фокстрот», — сказал генерал. — Без этих голосов значительно лучше, правда? Прием.

— Тут какая-то старуха, говорит с немецким акцентом. Доктор Грошингер там? Мне кажется, она называет его имя. Просит не волноваться так из-за работы, не…

Грошингер перегнулся через радиста и вырубил приемник.

— Это самая подлейшая выдумка, какую я только слышал.

— Давай все-таки послушаем, — сказал генерал. — Ученый вы или нет?

Грошингер с вызовом глянул на генерала, включил приемник и отошел назад, скрестив руки на груди.

— …говорит что-то по-немецки, — продолжал голос майора Райса. — Я не понимаю ее, могу только повторять, что слышу: *Аллес гебен ди гойтер, ди унендлихен, ирен либлинген, ганц. Алле…*

Грошингер выключил звук.

— Алле фрейден, ди унендлихен, алле шмерцен, ди унендлихен, ганц, — прошептал он. — Так оно оканчивается.

Он сел на раскладушку.

— Это любимое стихотворение моей матери.

Что-то из Гете.

— Я могу еще раз его встряхнуть, — предложил генерал.

— Зачем? — Грошингер улыбнулся и пожал плечами. — Космос полон потусторонних голосов. — Он нервно хохотнул. — Придется править учебники по физике.

— Это знамение, сэр, знамение, — выпалил радист.

— С чего вдруг «знамение»? — спросил генерал. — Подумаешь, космос полон духов. Меня это не удивляет.

— Тогда вас уже ничто не удивит, — ответил Грошингер.

— Так точно. Хреновый был бы я генерал, если бы всему удивлялся. По мне, так Луна сделана из сыра. Подумаешь. Мне нужен человек, способный сообщить, попадают ли в цель мои снаряды. И плевать я хотел на то, что творится там в космосе.

— Сэр, как же вы не понимаете?! — не унимался радист. — Это знамение! Когда люди узнают об этих душах, они забудут о войне. Они вообще обо всем забудут, кроме духов.

— Расслабься, сержант, — сказал генерал. — Никто о них не узнает, ты понял?

— Такое открытие невозможно удержать в тайне, — возразил Грошингер.

— С чего это ты так уверен? Как ты собираешься рассказывать миру о голосах, не сообщая о полете в космос?

— У них есть право знать, — сказал радист.

— Если люди узнают, что мы запустили эту ракету, начнется Третья мировая. Скажи мне, ты этого хочешь? У врага не будет иного выхода, кроме как попытаться стереть нас в порошок прежде, чем мы сможем использовать майора Райса. И у нас тоже не будет иного выхода, кроме как попытаться стереть их в порошок. Ты этого хочешь?

— Нет, сэр, — сказал радист. — Не этого.

— Зато мы сможем провести серию экспериментов, — предложил Грошингер. — Узнать побольше об этих духах. Отправить Райса на более высокую орбиту, выяснить, слышны ли и там голоса, и какое…

— Только не на деньги ВВС, — оборвал его генерал Дейн. — Его туда не за этим отправили, мы не в игрушки играем. Он нужен нам на своем месте.

— Ладно, ладно, — согласился Грошингер.

— Давай послушаем, что он там говорит. Сер-

жант, включить звук.

— Есть, сэр. — Радист принялся вертеть ручки. — Кажется, он молчит, сэр.

Шипение приемника сменилось гулом в динамике.

— Связь налажена. «Альфа Браво Фокстрот», это «Дельта Эхо Чарли»…

— Кило Два Икс Виски Лима, это Виски Пять Зулу Зулу Кило из Далласа, — донеслось из динамика. Голос был выше, чем у майора Райса и имел характерный южный выговор.

Ему ответил бас:

— Это Кило Два Икс Виски Лима из Олбани. Отлично, W5ZZK, слышу вас отлично. Как меня слышите? Прием.

— Связь отличная, K2XWL, на шкале 25 гигагерц. Сейчас попробую подстроить…

Их прервал голос майора Райса.

— Плохо вас слышу, «Дельта Эхо Чарли». Голоса превратились в сплошной гул. Я успеваю ухватить лишь фрагменты. Грантленд Уитмэн, голливудский актер, кричит, что племянник Карл подделал его завещание. Он говорит…

— Повторите, K2XWL, — сказал южанин. — Я вас не расслышал. Прием.

— W5ZZK, я ничего не говорил. Так что там

насчет Грантленда Уитмэна? Прием.

— Голоса угомонились, — продолжал майор Райс. — Остался только один. Вроде бы молодая женщина. Такой тихий голос, почти неслышный. Не понимаю.

— Что происходит, K2XWL? Как слышите, K2XWL?

— Она называет мое имя. Вы слышали? Она зовет меня по имени, — сказал майор Райс.

— Черт подери, глуши частоту! — заорал генерал. — Включи свист или что там еще! Сделай что-нибудь!

Утренний поток машин перед университетским зданием на секунду превратился в сигналящую и ругающуюся пробку — доктор Грошингер, который возвращался в свой кабинет, задумчиво пересек улицу на красный свет. Он удивленно огляделся, пробормотал какие-то извинения и поспешил дальше. Только что он в полном одиночестве позавтракал в круглосуточной забегаловке в полутора кварталах от университета и неспешно вернулся назад. Ученый надеялся, что часовая прогулка прояснит мозги, но чувство беспомощности и непонимания никуда не делось. Имеет мир право знать или нет?

Новых сообщений от майора Райса не посту-

пало. Частота, согласно генеральскому приказу, глушилась. Теперь на частоте 25 000 мегагерц непрошеный наблюдатель услышал бы постоянный гул. Вскоре после полуночи генерал Дейн доложил обо всем в Вашингтон. Возможно, скоро придут распоряжения относительно майора Райса.

Грошингер остановился на освещенном солнцем пятачке недалеко от входа в здание и снова перечитал передовицу под броским заголовком «Загадочное радиосообщение раскрывает возможный подлог». В статье говорилось о двух радиолюбителях, которые баловались, совершенно незаконно, с предположительно неиспользуемыми ультракороткими волнами и, к своему удивлению, услышали, как кто-то говорит о голосах и завещании. Этих ребят не остановило то, что они нарушили закон, воспользовавшись незарегистрированной частотой, слишком горячая была новость.

Теперь радиолюбители всего мира будут паять приемники, чтобы тоже слушать эту частоту.

— Доброе утро, сэр. Погодка что надо, — приветствовал его сдавший дежурство охранник, веселый ирландец.

— Да, прекрасное утро, — согласился Грошин-

гер. — На западе возможна облачность. — Он подумал, что бы сказал охранник, узнай он всю правду. Наверное, рассмеялся бы.

Когда он вошел в кабинет, секретарша вытирала пыль со стола.

— Вам бы поспать не мешало, — сказала она. — Вы, мужчины, совершенно о себе не заботитесь. Вот будь у вас жена…

— Я в жизни не чувствовал себя лучше, — ответил Грошингер. — Есть новости от генерала Дейна?

— Он искал вас минут десять назад. Полтора часа проговорил с Вашингтоном. Сейчас пошел к радистам.

Она имела очень приблизительное представление о сути проекта. Грошингер снова подавил порыв рассказать ей про майора Райса и голоса, чтобы увидеть, какой эффект это произведет на кого-то еще. Может, его секретарша воспримет новость так же, как и он — пожмет плечами? Может, таков дух новой эры, эры атомной, водородной и бог-еще-знает-какой бомбы — ничему не удивляться? Наука дала людям мощь, достаточную для уничтожения своей планеты, а политика предоставила им твердую гарантию, что эта мощь найдет себе применение. После

такого удивление вышло из моды. Но доказательство существования потустороннего мира станет, наверное, сравнимым шоком. Возможно, миру нужна именно такая встряска, чтобы сойти с самоубийственного исторического пути.

Генерал Дейн устало поприветствовал вошедшего в командный пункт Грошингера.

— Будем его сажать, — сказал он. — Больше мы ничего сделать не можем. Все равно пользы с него — ноль.

Динамик монотонно гудел на малой громкости. Это работала глушилка. Радист заснул прямо за столом, положив голову на руки.

— Вы пытались с ним связаться?

— Дважды. Он окончательно съехал с катушек. Я пытался сказать ему, чтобы сменил частоту, чтобы передавал сообщения кодовыми словами, но он бубнил, что не слышит меня, постоянно упоминал женский голос.

— Что за женщина?

Генерал как-то странно посмотрел на Грошингера.

— Говорит, что жена. Маргарет. Думаю, это любого выбило бы из колеи. А мы тоже, умники… выбрали парня без семьи. — Он встал и потянулся. — Отойду на минуту. И не вздумай трогать

аппаратуру.

Дверь за генералом захлопнулась.

Шум разбудил радиста.

— Они готовят посадку.

— Я знаю, — сказал Грошингер.

— Это убьет его, да?

— После входа в атмосферу он сможет управлять кораблем.

— Если захочет…

— Вот именно — если захочет. ЦУП включит тормозные двигатели и сведет корабль с орбиты. Дальше все в руках Райса. Он должен принять управление и совершить посадку.

Повисло молчание. В комнате раздавался только приглушенный гул динамика.

— Он не захочет жить, понимаете? — внезапно выпалил радист. Вы бы на его месте захотели?

— Я не уверен, что это можно понять, не испытав самому, — ответил Грошингер. Он пытался представить мир будущего. Мир, находящийся в постоянном контакте с духами, где нет разделения на живых и мертвых. Это обязательно случится. Другие люди, исследователи космоса, откроют миру эту дорогу. Превратится он в рай или ад? Придурки и гении, преступники и герои, обычные люди и безумцы, все они навечно оста-

нутся частью единого человечества — со своими советами, обидами, коварством и уговорами.

Радист опасливо оглянулся на дверь.

— Хотите послушать его?

Грошингер покачал головой.

— Сейчас все слушают эту частоту. У нас будут большие проблемы, если выключить глушилку.

Он не хотел снова услышать майора. Он был обескуражен, раздавлен. Смерть, лишенная тайны — что она даст человечеству? Подтолкнет его на самоубийство или подарит новую надежду? Отвернутся ли живые от своих правителей, обратившись за советом к мертвецам? К Цезарю, Карлу Великому, Петру I, Наполеону, Бисмарку, Линкольну, Рузвельту? К Иисусу Христу? Стали ли мертвые мудрее своих…

Прежде чем Грошингер успел что-то предпринять, сержант выключил передатчик, глушивший частоту.

Голос майора Райса мгновенно заполнил комнату, громкий, завораживающий.

— …тысячи, их тысячи. Они повсюду. Висят в пустоте, переливаясь, как северное сияние, чудный, восхитительный туман, окутывающий Землю. Я вижу их, слышите? Теперь я их вижу. Я вижу Маргарет. Она машет мне и улыбается,

туманная, божественно красивая. Если бы вы это видели, если бы…

Радист снова включил глушилку. В коридоре послышались шаги.

В комнату вошел генерал Дейн. Он смотрел на часы.

— Через пять минут корабль пойдет на посадку. — Он засунул руки в карманы и весь как-то сник. — В этот раз мы потерпели неудачу. Богом клянусь, в следующий раз мы сделаем все как надо. Человек, который отправится туда в следующий раз, будет знать, с чем имеет дело. Он будет готов к этому.

Генерал приобнял Грошингера за плечи.

— Тебе предстоит самая ответственная в твоей жизни работа, друг мой, — не болтать насчет всех этих духов, ты понял? Нам не нужно, чтобы враг узнал о нашем космическом корабле, и нам не нужно, чтобы они знали, с чем столкнутся, если попробуют сами запустить ракету. Безопасность этой страны зависит от нашей способности хранить секреты. Я ясно выразился?

— Да, сэр, — ответил Грошингер, благодарный за избавление от проблемы выбора.

Он не хотел оказаться человеком, который поведает миру эту новость. Лучше бы он вообще

не имел никакого отношения к запуску Райса в космос. Грошингер не знал, как повлияет на человечество контакт с мертвецами, но влияние это будет ошеломительным. Теперь же, как и все другие, он просто будет ждать следующего витка этой истории.

Генерал вновь посмотрел на часы.

— Корабль сошел с орбиты.

В пятницу, 28 июля, в 13:39 британский лайнер «Каприкорн», направлявшийся в Ливерпуль и находившийся в 280 милях от Нью-Йорка, сообщил о водяном столбе на горизонте по правому борту. Некоторые пассажиры утверждали, что видели некий блестящий объект, упавший с неба. Подойдя к месту падения, экипаж «Каприкорна» обнаружил убитую и оглушенную рыбу, вспененную воду, но никаких обломков.

Газеты предположили, что с «Каприкорна» видели неудачные испытания экспериментальной ракеты.

В Бостоне доктор Бернард Грошингер, молодой ученый-ракетчик, работавший на BBC, заявил, что феномен, наблюдавшийся с борта «Каприкорна», вполне мог быть падением метеора.

— Такое очень даже вероятно, — сказал он. — Тот факт, что объект достиг поверхности Земли,

станет, я думаю, одним из самых громких научных событий года. Обычно метеоры полностью сгорают, не успев долететь даже до стратосферы.

— Простите, сэр, — прервал его репортер. — А что лежит за стратосферой? В смысле, есть ли у этого пространства название?

— Знаете, сам термин «стратосфера» не слишком строгий. Это просто наружный слой атмосферы. Невозможно определенно сказать, где он кончается. А за ним… можно сказать, мертвая зона.

— Мертвая зона? Так и называется? — заинтересовался репортер.

— Ну, если вам нужно что-то позагадочнее, можем перевести название на греческий, — с улыбкой предложил Грошингер. — Танатос, по-гречески, кажется, смерть? Может быть, вместо «мертвой зоны» вы предпочтете термин «танасфера»? Оно имеет некий оттенок научности.

Репортер вежливо рассмеялся.

— Доктор Грошингер, когда в космос будет запущена первая ракета? — спросил другой корреспондент.

— Ребята, вы читаете слишком много комиксов, — ответил Грошингер. — Спросите об этом лет через двадцать, и тогда, может, мне будет что

вам сказать.

Сувенир

© Перевод. И. Доронина, 2021

Джо Бейн — толстый, ленивый, лысый человек с чертами лица, скошенными влево из-за того, что всю жизнь он смотрел на мир сквозь окуляр ювелира, — держал небольшой ломбард. Был он одинок, обделен талантами и, возможно даже, захотел бы свести счеты с жизнью, если бы его лишили возможности каждый день, кроме воскресенья, играть в игру, каковой он был удивительным мастером: приобретать вещи за мизерную сумму и перепродавать их втридорога. Этой игрой — единственной дарованной ему жизнью возможностью брать верх над другими — он был одержим. И суть состояла не в деньгах, которые он выручал, главное заключалось для него в спортивном интересе.

Когда утром в понедельник Джо Бейн открыл свою лавочку, черная пелена туч накрывала долину, опустившись ниже ее горного окоема и спрятав город в темный карман мертвого промозглого воздуха. Осенний гром порыкивал на затянутых туманом склонах гор. Не успел Бейн

повесить плащ, шляпу и зонт на вешалку, снять галоши, включить свет и водрузить свою тушу на табурет за прилавком, как в магазин вошел худой молодой человек в комбинезоне, робкий и смуглый, как индеец, явно бедный, напуганный городским окружением, и предложил Бейну купить у него за пятьсот долларов фантастические карманные часы.

— Нет, сэр, — вежливо ответил молодой фермер на вопрос Бейна. — Я хочу не заложить их, а продать, если получу хорошую цену.

Казалось, ему было тяжело отдавать часы в руки Бейну, и он несколько мгновений держал их на одной огрубевшей ладони, нежно накрыв другой, прежде чем опустить на черную бархатную подложку.

— Вообще-то я надеялся сохранить их и передать старшему сыну, но нам понадобились деньги, вся сумма сразу и прямо сейчас.

— Пять сотен — немалые деньги, — сказал Бейн тоном человека, много раз страдавшего из-за своей доброты. Он изучал камни, которыми были инкрустированы часы, ничем не выдавая растущего внутри его возбуждения. Вертя часы так и эдак, он ловил лучи электрического света, преломлявшегося в четырех бриллиантах, заме-

нявших на циферблате цифры три, шесть, девять и двенадцать, и рубине, венчавшем заводную головку. Одни только камни, размышлял он, стоят минимум в четыре раза дороже, чем просит этот лопух.

— Спрос на такие часы невелик, — сказал Бейн. — Если я вбухаю в них пять сотен, рискую остаться на бобах: пройдет несколько лет, прежде чем удастся найти покупателя.

Вглядываясь в загорелое лицо фермера, он чуял, что сумеет приобрести часы за гораздо меньшую сумму.

— Да ведь других таких часов во всей округе не сыскать, — сказал фермер, неумело пытаясь торговаться.

— В том-то и дело, — ответил Бейн. — Кто тут захочет иметь такие часы, как эти?

Самому Бейну страшно хотелось их заполучить, и он уже почти считал их своими. Нажав кнопку на боковой поверхности корпуса, он вслушался в шорох механизма, за которым последовал нежный чистый перезвон колокольчиков, отбивавших ближайший час.

— Так вы берете их или нет? — спросил фермер.

— Ну-ну, — ответил Бейн, — это сделка не из

тех, в какие ныряешь сразу с головой. Я бы хотел побольше узнать об этих часах, прежде чем их купить. — Он отщелкнул крышку часов и обнаружил на ее внутренней поверхности выгравированную надпись на иностранном языке. — Например, что тут написано? Вам известно?

— Я показывал надпись школьной учительнице, — сказал молодой человек. — Единственное, что она смогла сказать, так это то, что, скорее всего, это написано по-немецки.

Бейн накрыл гравировку листком папиросной бумаги и легонько поводил по нему грифелем карандаша, пока надпись не проступила вполне отчетливо. Потом, присовокупив десятицентовик, он отдал листок мальчику — чистильщику обуви, ожидавшему клиентов у входа в лавку, и послал его к немцу — хозяину ресторана, находившегося в квартале от его лавки, чтобы тот перевел надпись.

Когда первые капли дождя чистыми мазками заштриховали налет сажи, накопившийся на витринном стекле, Бейн как бы между прочим заметил:

— Полицейские очень пристально следят за тем, что мне сюда приносят люди.

Фермер покраснел и сказал:

— Эти часы мои, можете не сомневаться. Я их с войны привез.

— Угу. И пошлину заплатили?

— Пошлину?

— А как же! Драгоценности нельзя ввозить в страну, не заплатив таможенный сбор. Иначе это контрабанда.

— Да я просто сунул их в вещмешок да и привез домой, все так делали.

Как и рассчитывал Бейн, фермер забеспокоился.

— Контрабанда, — сказал Бейн, — почти то же самое, что воровство. — Он примирительно поднял руки. — Я не говорю, что не куплю их, я просто хочу обратить ваше внимание, что дело-то щекотливое и уладить его будет непросто. Если бы вы согласились отдать их, скажем, на сотню дешевле, может, я и смог бы вам помочь. Я всегда рад поспособствовать ветеранам, если могу.

— На сотню долларов?!

— Больше они и не стоят. Я и так, наверное, маху даю, предлагая такую цену, — сказал Бейн. — Какого черта, вам ведь эта сотня даром досталась, правда? Откуда у вас эти часики? Вы же наверняка сорвали их с руки пленного немца или нашли в развалинах.

— Нет, сэр, — возразил фермер, — все было немного круче.

Бейн, чрезвычайно чуткий к подобного рода вещам, увидел, что, начав рассказывать, как к нему попали часы, фермер постепенно обретал снова упрямую уверенность, которая ослабела было, когда он, покинув свою ферму, оказался в непривычной городской обстановке.

— Мы с моим лучшим другом, связистом по прозвищу Зуммер, — начал свое повествование фермер, — вместе маялись в плену в каких-то немецких горах — кто-то говорил, что это были Судеты, что ли. Однажды утром Зуммер разбудил меня и сказал, что война закончилась, надзиратели разбежались и ворота открыты.

Вначале Бейн не скрывал нетерпения оттого, что приходилось выслушивать какие-то сказки. Однако фермер рассказывал свою сказку складно и с чувством гордости, и Бейн, за неимением собственных приключений любивший слушать о чужих, с завистью начал представлять себе, как двое солдат выходят из распахнутых ворот своей бывшей тюрьмы и идут по горной дороге солнечным весенним утром 1945 года, в день окончания Второй мировой войны в Европе.

На свободу, в мирную жизнь юный фермер,

которого звали Эдди, и его лучший друг вышли отощавшими, оборванными, грязными и голодными, но без какой бы то ни было озлобленности в душе. На войну они пошли за славой, а не из ожесточения. И вот война закончилась, дело сделано, и единственное, чего они хотели, это добраться до дома. Между ними был год разницы, но они походили друг на друга, как два тополя в лесополосе.

Они намеревались совершить небольшую экскурсию по окрестностям лагеря, а потом вернуться и вместе с остальными пленными ждать появления официальных освободителей. Однако план этот мигом развеялся в прах, когда двое пленных канадцев пригласили их отпраздновать победу бутылкой бренди, найденной в кузове покореженного немецкого грузовика.

Их съежившиеся от недоедания желудки наполнились восхитительно пульсирующим жаром, а головы — доверчивой любовью ко всему человечеству. В таком состоянии Эдди и Зуммер оказались подхвачены заполонившим горную дорогу плотным потоком унылых немецких беженцев, спасавшихся от русских танков, которые, не встречая сопротивления, монотонно рыча, двигались по долине, раскинувшейся внизу у

них за спиной. Танки шли, чтобы оккупировать этот последний, лишившийся защиты клочок немецкой земли.

— От чего они драпают? — спросил Зуммер. — Война ж закончилась, разве нет?

— Все драпают, — ответил Эдди, — так что, похоже, и нам тоже лучше деру давать.

— Да я ведь не знаю даже, где мы находимся, — сокрушался Зуммер.

— Те канадцы сказали, что это Судеты.

— А где это?

— Там, где мы находимся, — сказал Эдди. — Отличные парни эти канадцы.

— Эт-точно! — согласился Зуммер. — Э-э-х-х! Я всех сегодня люблю. Была б у меня бутылка того бренди, я б нацепил на горлышко соску и завалился бы в кровать на целую неделю.

Эдди тронул за плечо высокого озабоченно выглядевшего мужчину с коротко остриженными черными волосами, в штатском костюме, который явно был ему мал.

— Куда мы бежим, сэр? Разве война не закончилась?

Мужчина зыркнул на него, что-то проворчал и грубо стряхнул его руку со своего плеча.

— Он по-английски не сечет, — объяснил Эдди.

— Так в чем дело, друг, — сказал Зуммер, — почему бы тебе не потолковать с этими ребятами на их языке? Не зарывай свой талант в землю. Ну-ка, покалякай вон с тем парнем по-ихнему.

Они как раз проходили мимо маленького приземистого открытого автомобиля, застрявшего на обочине. Крупный мускулистый молодой человек со светлыми волосами и квадратным лицом пытался завести заглохший мотор. На обтянутом кожей переднем пассажирском месте сидел мужчина постарше, из-под низко надвинутой шляпы была видна лишь покрытая пылью многодневная черная щетина на подбородке и щеках.

Эдди и Зуммер остановились.

— Ну ладно, слушай, — сказал Эдди и произнес единственную известную ему по-немецки фразу, обращаясь к блондину: — *Wie geht's*?[6]

— *Gut, gut*, — пробурчал молодой немец и, осознав нелепость своего ответа в сложившейся ситуации, с горечью добавил: — *Ja! Geht's gut!*[7]

— Говорит, что все замечательно, — перевел Эдди.

— Ну, ты даешь! Чешешь по-ихнему как по

---

[6] Примечания: 6
Как поживаете? (*нем.*)

[7] Примечания: 7
Да! Все хорошо! (*нем.*)

маслу, — восхитился Зуммер.

— Ну да, я ж, можно сказать, много путешествовал, — пояснил Эдди.

Старший мужчина оживился и что-то закричал тому, который возился с мотором, закричал пронзительно и грозно.

Блондин, судя по всему, испугался и в отчаянии удвоил свои старания.

Глаза пожилого, еще минуту назад лишенные всякого выражения, теперь широко открылись и засверкали. Несколько проходивших мимо беженцев на ходу глазели на него, повернув головы.

Пожилой вызывающе полоснул взглядом по их лицам и, набрав в легкие воздуха, хотел было заорать на них, но передумал, вздохнул, и настроение у него снова упало. Он закрыл лицо руками.

— Чо он сказал? — спросил Зуммер.

— Да он лопочет на каком-то другом диалекте, я не понял, — ответил Эдди.

— На этом, низком немецком, небось? Ну так вот: я шагу больше не сделаю, пока мы не найдем кого-нибудь, кто скажет, что тут происходит, — заявил Зуммер. — Мы американцы, парень. И наши победили. Так какого черта мы связались с этой немчурой?

— Вы… вы американцы? — спросил блондин на вполне приличном английском. — Ну так теперь ваша очередь с ними воевать.

— Ага, слава богу, хоть один кумекает по-английски! — обрадовался Зуммер.

— И неплохо кумекает, надо признать, — добавил Эдди.

— Да, неплохо, совсем неплохо, — согласился Зуммер. — Так с кем это нам теперь придется воевать?

— С русскими, — выпалил молодой немец с явным удовольствием. — Они и вас тоже поубивают, если достанут. Они убивают всех на своем пути.

— Полегче, парень, — предупредил его Зуммер, — мы с ними в одной лодке.

— Надолго ли? Валите отсюда, парни, валите пока не поздно. — Блондин выругался и запустил гаечным ключом в мотор. Потом повернулся к пожилому и, обмирая от страха, что-то сказал ему.

Пожилой разразился потоком немецких ругательств, но быстро выдохся, вылез из машины и злобно захлопнул дверцу. Опасливо посмотрев в ту сторону, откуда должны были появиться танки, немцы пешком зашагали по дороге.

— Эй, ребята, вы куда? — крикнул им вслед

Эдди.

— В Прагу. Там — американцы.

Эдди и Зуммер поспешили за ними.

— Вся география теперь вверх тормашками, правда, Эдди? — Зуммер споткнулся, и Эдди едва успел подхватить его. — О-хо-хо, Эдди, а это пойло пробирает-таки.

— Ага, — согласился Эдди, у него и у самого все плыло перед глазами. — Слышь, какого черта мы забыли в этой Праге? Если ехать не на чем, так ноги я сбивать не собираюсь, вот и все.

— Ну и правильно. Найдем какое-нибудь укромное местечко, сядем и будем ждать русских. Покажем им наши чертовы жетоны, — согласился Зуммер, — они их увидят — и закатят нам пир на весь мир.

Он засунул пальцы за воротник и вытащил висевший на цепочке жетон.

— Да уж, — издевательски сказал блондин, внимательно прислушивавшийся к тому, что они говорили. — Тот еще банкет они вам закатят.

Колонна стала двигаться все медленней и медленней, все больше уплотнялась и, наконец, совсем остановилась, невнятно ропща.

— Не иначе какая-нибудь дамочка впереди с картой сверяется, — предположил Зуммер.

Откуда-то издали, снизу, словно шум прибоя, донеслась бурная перекличка. Толпа пришла в волнение, и через несколько тревожных минут причина остановки прояснилась: одна колонна столкнулась с другой, которая в ужасе текла ей навстречу. Вся территория оказалась окружена русскими. Обе колонны смешались, образовав посреди маленькой деревушки бессмысленный водоворот, выплескивавший потоки на боковые улочки и склоны окрестных гор.

— Все равно я в Праге никого не знаю, — сказал Зуммер, сошел с дороги и сел на землю у ворот фермы, окруженной каменным забором.

Эдди последовал его примеру.

— Ей-богу, Зуммер, может, нам остаться здесь и открыть оружейную лавку? — Он широким жестом обвел округу, усеянную разряженными винтовками и пистолетами. — Будем продавать патроны и все такое.

— А что? Подходящее место Европа, чтоб оружием торговать, — согласился Зуммер. — Они тут все чокнулись на оружии.

Несмотря на панический круговорот беженцев, Зуммер погрузился в хмельную дремоту. Эдди тоже с трудом держал глаза открытыми.

— Ага! — послышалось со стороны дороги. —

Вот и наши американские друзья.

Эдди поднял голову и увидел двух немцев — здоровяка-блондина и гневливого пожилого.

— Привет, — сказал Эдди.

Хмельная веселость испарилась, ей на смену пришла тошнота.

Молодой немец распахнул ворота фермы.

— Может, войдем? — обратился он к Эдди. — Нам нужно сказать вам кое-что важное.

— Говорите здесь, — ответил Эдди.

Блондин подошел к нему и, склонившись, произнес:

— Мы пришли, чтобы сдаться вам.

— Зачем-зачем вы пришли?

— Мы сдаемся, — повторил блондин. — Мы — ваши пленные, пленные армии Соединенных Штатов.

Эдди расхохотался.

— Я не шучу!

— Зуммер! — Эдди пнул приятеля носком ботинка. — Эй, Зуммер, ты слыхал?

— Гм-м-м?

— Мы только что кое-кого взяли в плен.

Зуммер открыл глаза и, прищурившись, посмотрел на немцев.

— Слушай, Эдди, ты надрался еще больше мое-

го, ей-богу, — сказал он наконец. — Всё пленных берешь. Дурак ты чертов — война закончилась! — Он изобразил великодушный жест. — Отпусти их.

— Проведите нас через русские позиции до Праги как пленных американской армии — и геройская слава вам обеспечена, — сказал блондин и, понизив голос, добавил: — Это — известный немецкий генерал. Только представьте себе: вы двое взяли его в плен!

— Он что, в самом деле генерал? — спросил Зуммер. — Хайль Гитлер, папаша!

Пожилой коротко вскинул руку в фашистском приветствии.

— О, еще немного пороху в пороховнице осталось, — ухмыльнулся Зуммер.

— Судя по тому, что я слышал, — вклинился Эдди, — мы будем героями, даже если просто сами пройдем через русские позиции, а уж если приведем генерала…

Гул приближающейся танковой колонны Красной армии нарастал.

— Ну ладно, ладно, — заторопился блондин. — Тогда продайте нам свои мундиры — у вас ведь останутся ваши жетоны, — а вы наденете нашу одежду.

— Лучше быть бедным, чем мертвым, — изрек Эдди. — А ты как думаешь, Зуммер?

— Погоди, Эдди, — заинтересовался Зуммер, — придержи-ка свою прыть. А что вы нам за это дадите? — обратился он к немцам.

— Давайте войдем во двор. Здесь мы не можем вам это показать, — ответил блондин.

— Ходят слухи, что в окру́ге еще ошиваются нацисты, — отмел его предложение Зуммер, — так что показывайте здесь.

— Ну, и кто из нас после этого чертов дурак? — сказал Эдди.

— Я просто хочу, чтобы было что рассказать внукам, — отозвался Зуммер.

Блондин засунул руку в карман и извлек толстую пачку свернутых трубочкой немецких марок.

— А! Конфедератские доллары![8] Тьфу, — усмехнулся Зуммер. — Другого чего у вас не найдется?

Вот тогда-то старик и показал им свои часы: четыре бриллианта, рубин и золото. И там, прямо посреди толпы, в которой смешались беженцы

---

[8] Примечания: 8

Доллар Конфедерации — денежная единица самопровозглашенных Конфедеративных штатов Америки, которую ввели в обиход на Юге вскоре после начала Гражданской войны. За 4 года инфляция доллара Конфедерации составила 4000 %.

самого разного рода, каких только можно себе представить, блондин сказал Эдди и Зуммеру, что они получат эти часы, если зайдут вместе с ними во двор фермы и обменяют свои рваные американские мундиры на их цивильную одежду. Видимо, они полагали, что все американцы — простаки.

Эдди и Зуммеру все это показалось безумно смешной забавой, потому что Эдди и Зуммер были пьяны в стельку. Будет о чем дома рассказать, подумали они. Часы им были не нужны. Они хотели живыми вернуться домой. Там же, посреди разношерстной беженской толпы, блондин показал им маленький пистолет — мол, и его они получат вместе с часами.

Но теперь, кто бы что ни говорил, никто никого услышать уже не мог. Земля содрогнулась, и воздух вспороли тысячи осколков: это бронированные машины победоносного Советского Союза, громыхая и плюясь огнем, вступили на дорогу. Все, кто мог, бросились врассыпную, спасаясь от этой неумолимой мощи. Кому-то не повезло, их покалечило или вовсе расплющило гусеницами.

Эдди с Зуммером и двумя немцами вмиг очутились за каменным забором, там, где блондин

предлагал американцам обменять свои мундиры на часы и гражданскую одежду. В оглушительном реве танков, когда каждый мог делать что угодно, и никто не обратил бы на него никакого внимания, блондин выстрелил Зуммеру в голову и, направив пистолет на Эдди, снова нажал курок, но промахнулся.

Они явно с самого начала задумали убить Эдди и Зуммера. Только вот был ли шанс у старика, не знавшего ни слова по-английски, пройти через позиции победителей, выдавая себя за американца? Такое могло удаться одному блондину. Вместе они были обречены. Так что старику оставалось только покончить с собой.

Не ожидая повторного выстрела, Эдди перемахнул через каменный забор. Но блондину он был уже неинтересен. То, что ему требовалось, было на теле Зуммера. Когда Эдди осторожно выглянул поверх забора, чтобы проверить, не жив ли все-таки Зуммер, блондин сдирал одежду с трупа. Старик теперь держал в руке пистолет. Потом он засунул дуло в рот и вышиб себе мозги.

Блондин благополучно удалился в одежде Зуммера и с его жетоном. Мертвый Зуммер остался лежать в солдатском белье, без чего-либо, способного удостоверить его личность. На земле,

между Зуммером и стариком, Эдди нашел часы. Они шли и показывали правильное время. Эдди поднял их и сунул в карман.

Ливень за окном лавки Джо Бейна прошел.

— Вернувшись домой, — заканчивал свой рассказ Эдди, — я написал родным Зуммера. Сообщил им, что он погиб в рукопашной схватке с немцем, хотя война уже и закончилась. То же самое я сказал армейскому начальству. Я не знал названия населенного пункта, возле которого это случилось, так что поиски его тела и достойные похороны организовать было невозможно. Я был вынужден бросить его там. Если люди, которые предали его тело земле, не знали, как выглядит белье солдата американской армии, они могли принять его за немца. Или за кого угодно. — Эдди выхватил часы из-под носа у скупщика. — Спасибо, что напомнили мне их настоящую цену, — сказал он. — Лучше уж я оставлю их себе на память. Как военный сувенир.

— Пятьсот! — поспешно выкрикнул Бейн, но Эдди уже шагал к выходу.

Минуть десять спустя мальчик-чистильщик вернулся с переводом надписи, выгравированной на крышке часов. Она гласила: «Генералу Гейнцу Гудериану, начальнику Генерального

штаба сухопутных войск, который не успокоится, пока последний вражеский солдат не будет изгнан со священной земли Третьего рейха. Адольф Гитлер».

Плавание на «Веселом Роджере»

© Перевод. И. Доронина, 2021

Во время Великой депрессии Нейтан Дюран, оказавшись бездомным, обрел в конце концов родной дом в армии Соединенных Штатов. Он прослужил в ней семнадцать лет, на протяжении которых земля была для него территорией, холмы и долины — высотками и открытыми местностями, горизонт — линией, на фоне которой нельзя вырисовываться, дома, леса и рощи — естественными укрытиями. Это была хорошая жизнь, а если он уставал думать о войне, он раздобывал себе девушку и бутылку, и на следующее утро снова был готов думать о войне.

Когда ему сравнялось тридцать шесть, вражеский снаряд угодил в командный пункт, находившийся под естественным укрытием густых деревьев на территории Кореи, и взрывная волна вынесла майора Дюрана прямо сквозь стенку палатки вместе с его картами и его военной карьерой.

Он всегда считал, что ему на роду написано умереть молодым и красиво. Но он не умер.

Смерть была еще очень далеко, и Дюран оказался перед лицом неведомых и пугающих батальонов мирных лет.

В госпитале человек, лежавший на соседней койке, без конца говорил о судне, которым обзаведется, когда его снова соберут по кусочкам. В стремлении обрести собственные мирные мечты, иметь дом, семью и гражданских друзей Дюран позаимствовал мечту своего соседа по палате.

С глубоким шрамом через всю щеку, с оторванной мочкой правого уха и негнущейся ногой он доковылял до верфи Нью-Лондона, ближайшего к госпиталю порта, и купил подержанный круизный катер. Там же, в гавани, научился им управлять, по предложению детишек, слонявшихся на верфи, назвал свое судно «Веселым Роджером» и направился наугад в первое плавание — к острову Мартас-Винъярд[9].

На острове он не пробыл и дня, подавленный его безмятежностью и незыблемостью, ощущением глубины и неподвижности стоячего озера времени, мужчинами и женщинами, настолько умиротворенными, что им не о чем было даже поговорить со старым солдатом — разве что об-

---

[9] Примечания: 9

Остров в 6 км от мыса Кейп-Код на юго-востоке штата Массачусетс.

меняться несколькими словами о погоде.

Дюран сбежал оттуда и пришвартовался в Чатеме, на изгибе берега Кейп-Кода, где у подножья маяка повстречал красивую женщину. Будь он, как прежде, в военном мундире, походи он, как в былые времена, на офицера, вот-вот отправляющегося на выполнение опасной миссии, быть может, они с этой женщиной зашагали бы дальше по жизни вместе. Женщины, бывало, относились к нему как к балованному мальчику, которому дозволялось слизывать крем со всех пирожных. Но теперь женщина отвернулась от него безо всякого интереса. Он был никто и ничто. Искра погасла.

Прежний удалой настрой вернулся часа на два, пока он сражался со шквальным ветром, налетевшим с дюн восточного побережья Кейп-Кода, но на борту не было никого, кто мог бы полюбоваться этой схваткой. Когда он добрался до укромной бухты в Провинстауне и сошел на берег, им вновь овладело чувство опустошенности неприкаянного человека, чья жизнь осталась позади.

— Посмотрите вверх, пожалуйста, — скомандовал броско одетый молодой человек с фотоаппаратом, который вел под руку девушку.

От удивления Дюран поднял голову и услышал,

как щелкнул затвор фотоаппарата.

— Спасибо, — весело сказал молодой человек, а девушка поинтересовалась:

— Вы художник?

— Художник? — переспросил Дюран. — Да нет, я отставной офицер.

Парочка безуспешно попыталась скрыть разочарование.

— Мне жаль, — сказал Дюран и почувствовал тоску и раздражение.

— О! — воскликнула девушка. — А вон те люди — настоящие художники.

Дюран взглянул на трех мужчин и женщину — все лет под тридцать, — они сидели на пристани спиной к волнорезу, о который, рассыпаясь на тысячи серебристых брызг, разбивались волны, и делали наброски. Женщина, загорелая брюнетка, смотревшая прямо на Дюрана, спросила:

— Не возражаете, если я вас нарисую?

— Ну-у… почему бы и нет? — неуклюже промямлил Дюран и замер на месте, размышляя: какое такое выражение было у него на лице, если оно показалось интересным художнице? С удивлением он осознал, что думал о ланче, о крохотном камбузе «Веселого Роджера», о четырех сморщенных сосисках, полуфунтах сыра и

остатках от кварты пива, ждавших его там.

— Ну вот, — сказала женщина, — взгляните, — и протянула ему рисунок.

То, что увидел Дюран, было портретом крупного мужчины со шрамами на лице, голодного, сутулого и обескураженного, как потерявшийся ребенок.

— Неужели я в самом деле так плохо выгляжу? — спросил он, заставив себя улыбнуться.

— Неужели вам в самом деле так плохо? — вопросом на вопрос ответила художница.

— Я думал о ланче, а он обещает быть ужасным.

— Только не там, где едим мы, — сказала она. — Почему бы вам не пойти с нами?

И майор Дюран отправился с ними — с тремя мужчинами, Эдом, Томом и Лу, которые словно в танце скользили по жизни, казавшейся им полной веселых тайн, и девушкой, Мэрион. Он поймал себя на том, что испытывал облегчение, оказавшись в компании с другими людьми, пусть даже такими, как эти, и шагал с ними рядом почти беспечно. За ланчем четверо его спутников разговаривали о живописи, балете и театре. Дюран устал изображать интерес, но выхода не было.

— Хорошая здесь еда, правда? — вежливо вскользь заметила Мэрион.

— Угу, — ответил Дюран. — Только соус с креветками пресноват. Добавить бы в него… — Он осекся: четверка снова была поглощена веселым водоворотом своей беседы.

— Вы приехали сюда на машине? — спросил Тедди, поймав на себе неодобрительный взгляд Дюрана.

— Нет, — ответил тот. — Приплыл на своей яхте.

— На яхте?! — взволнованным эхом прокатилось над столом, и Дюран почувствовал себя в центре внимания.

— А какая у вас яхта? — поинтересовалась Мэрион.

— Прогулочный катер с каютой, — ответил Дюран.

Восторг померк на лицах его собеседников.

— А-а… — сказала Мэрион. — Это такая туристская лодка с мотором.

— Ну-у, — протянул Дюран, испытывая искушение рассказать им о шторме, который он выдержал. — На пикник мало похоже, когда…

— Как он называется? — перебил его Лу.

— «Веселый Роджер» — ответил Дюран.

Четверка, к досаде и разочарованию Дюрана, обменявшись взглядами, расхохоталась, повторяя название.

— Если бы у вас была собака, бьюсь об заклад, вы назвали бы ее Спот, — сказала Мэрион.

— Вполне подходящая кличка для собаки, — краснея, ответил Дюран.

Протянув руку над столом, Мэрион похлопала его по ладони.

— Наивный вы человек, не обращайте на нас внимания. — Не отдавая себе в том отчета, она была очень привлекательной женщиной и, судя по всему, даже не подозревала, насколько глубоко ее прикосновение разбередило душу одинокого Дюрана, как бы ни старался он проявлять стойкость. — Ну, что это мы все болтаем и болтаем, не даем вам слова сказать. Чем вы занимались в армии?

Дюран насторожился. Он ни словом не обмолвился об армии, и на его вылинявшей куртке цвета хаки не было никаких знаков различия.

— Ну-у… какое-то время служил в Корее, а потом уволился по ранению, — сказал он.

Это произвело впечатление на четверку и вызвало уважение.

— Не расскажете нам об этом? — попросил Эд.

Дюран вздохнул. Он не хотел рассказывать о

войне Эдду, Тедди и Лу, но очень хотел, чтобы его историю услышала Мэрион, чтобы она поняла: хоть он и не способен разговаривать с ней на ее языке, у него есть собственный язык, на котором только и можно описать его жизнь.

— Ну что ж, — сказал он, — есть вещи, о которых болтать не стоит, но в принципе, почему бы и не рассказать?

Откинувшись на спинку стула, он закурил и, прищурившись, мысленно обратился в прошлое, которое виделось словно сквозь редкую полосу кустарника, служившего укрытием для передового наблюдательного поста.

— Наши позиции находились тогда на восточном побережье и…

Никогда прежде он не пытался говорить об этом с кем бы то ни было, и теперь, в стремлении быть обстоятельным и красноречивым, он насыщал свой рассказ подробностями, важными и второстепенными, какие приходили в голову, пока его история не превратилась в бесформенное громоздкое описание войны, какой она в сущности и была: бессмысленной, запутанной неразберихи, которая в пересказе казалась исключительно реалистичной, но отнюдь не увлекательной.

Он говорил минут двадцать, к тому времени

его сотрапезники покончили с кофе и десертом, выкурили по две сигареты, а официантка с чеком в руке терпеливо ждала оплаты. Дюран, раскрасневшись и досадуя на собственное многословие, старался охватить взглядом тысячи людей, разбросанных по сорока тысячам квадратных миль корейской территории. Его слушатели сидели с остекленевшими взглядами, оживляясь лишь тогда, когда появлялись признаки слияния отдельных частей его рассказа в единое целое, что могло предвещать окончание повествования. Однако признаки всегда оказывались ложными, но, когда Мэрион в третий раз подавила зевок, Дюрана наконец вынесло из его палатки, и он замолчал.

— Да-а, — протянул Тедди, — нам, всего этого не видевшим, трудно даже вообразить такое.

— Словами это невозможно передать, — согласилась Мэрион и еще раз потрепала Дюрана по руке. — Вы столько пережили и так скромно об этом рассказываете…

— Да что вы, пустяки, — ответил Дюран.

После минутной паузы Мэрион встала.

— Было очень интересно и приятно познакомиться с вами, майор, — сказала она. — Мы желаем вам счастливого пути на вашем «Веселом

Роджере».

На том все и закончилось.

Вернувшись к себе на катер, Дюран допил выдохшееся пиво и признался себе, что готов сдаться — продать катер, вернуться в госпиталь, надеть больничный халат, играть в карты и до самого Страшного суда листать иллюстрированные журналы.

В самом мрачном настроении он стал по морской карте прокладывать маршрут до Нью-Лондона и именно в тот момент осознал, что находится всего в нескольких милях от родной деревни своего друга, убитого на Второй мировой. Он воспринял как своего рода мрачную иронию судьбы то, что она дает ему возможность, возвращаясь в прошлое, повстречаться с одним из его призраков.

Сквозь ранний утренний туман он подплыл к деревне накануне Дня поминовения, сам чувствуя себя призраком. Неудачно причалив, он сотряс деревенский пирс и неуклюжим узлом привязал к нему «Веселого Роджера».

Главная улица была тиха и пустынна, однако украшена флагами. Единственная пара прохожих лишь мельком взглянула на сурового незнакомца.

Он вошел в почтовое отделение и обратился к бодрой старушке, разбиравшей корреспонденцию в расшатанной клетке:

— Простите, я ищу семью Пефко.

— Пефко? Пефко… — повторила женщина. — Не припоминаю таких в окру́ге. Пефко? Они из летних отдыхающих?

— Не думаю. Уверен, что нет. Вероятно, они уехали отсюда какое-то время назад.

— Ну, если бы они когда-нибудь здесь жили, я бы знала. Они бы приходили за своей почтой. Нас, постоянных жителей, тут всего-то четыреста человек, но ни о каких Пефко я никогда не слыхала.

В отделение вошла секретарша из юридической конторы, располагавшейся на противоположной стороне улицы. Присев на корточки, она набрала код своей почтовой ячейки.

— Энни, — окликнула ее почтмейстерша, — ты знаешь тут кого-нибудь по фамилии Пефко?

— Нет, — ответила Энни, — если только это не кто-нибудь из жильцов дачных домиков в дюнах. Они там постоянно меняются, так что трудно запомнить.

Она встала, и Дюран отметил, что девушка весьма привлекательна, причем безо всяких

ухищрений и украшений. Однако Дюран был настолько уверен в нынешней своей никчемности, что отнесся к девушке с полным безразличием.

— Послушайте, — сказал он, — моя фамилия Дюран. Майор Нейтан Дюран, и один из моих лучших армейских друзей был родом отсюда. Джордж Пефко. Я точно знаю, что он отсюда. Он и сам так говорил, и в документах так было записано. Я абсолютно уверен.

— О-о-о-о! — воскликнула Энни. — Постойте-постойте. Ну да, конечно. Теперь я припоминаю.

— Вы его знали? — спросил Дюран.

— Я *о нем* знаю, — ответила Энни. — Теперь я понимаю, о ком вы говорите; это тот человек, который погиб на войне.

— Мы воевали вместе, — сказал Дюран.

— А я все равно не могу его вспомнить, — призналась почтмейстерша.

— Его вы, может, и не помните, но должны помнить его семью, — сказала Энни. — Они *действительно* жили там, в дюнах. Господи, это было так давно — лет десять-пятнадцать тому назад. Помните то большое семейство, которое уговорило Пола Элдриджа позволить им жить зимой в одном из его летних домиков? У них было детей человек шесть, а то и больше. Вот они-то

и есть Пефко. Удивительно, что они не замерзли насмерть, ведь, кроме камина, топить там было нечем. Отец семейства приехал на сбор клюквы, и они застряли тут на всю зиму.

— Не сказала бы, что это можно назвать родным домом, — заметила почтмейстерша.

— Но Джордж его называл именно так, — возразил Дюран.

— Думаю, юному Джорджу любой временный дом казался родным, — согласилась Энни. — Эти Пефко были бродягами.

— Джорджа призвали именно отсюда, — объяснил Дюран. — Наверное, поэтому он считал это место своей родиной.

По той же причине сам Дюран считал своей малой родиной Питсбург, хотя еще дюжина других городов вполне могла претендовать на это звание.

— Он был одним из тех, для кого на самом деле родным домом стала армия, — сказала почтмейстерша. — Теперь припоминаю: тощий такой, но крепкий парнишка. Да, помню. Никто в его семье никогда не получал никакой корреспонденции. И в церковь они не ходили. Поэтому-то я их и забыла. Бродяги. Он был приблизительно ровесником твоего брата, Энни.

— Да. Но я-то тогда постоянно таскалась за братом, а вот Джордж Пефко не принадлежал к его компании. Они вообще держались сами по себе, эти Пефко.

— Но должен же быть кто-нибудь, кто хорошо его помнит, — сказал Дюран. — Кто-нибудь, кто… — Он оборвал себя на этой тревожной ноте. Ему было невыносимо думать, что Джордж исчез без следа и никто о нем не тоскует.

— Я вот сейчас, подумав, вспомнила… — сказала Энни. — Его именем названа площадь, я почти в этом уверена.

— Площадь? — удивился Дюран.

— Ну, не то чтобы настоящая площадь, — пояснила Энни. — Ее просто так называют. Когда уроженец нашего города погибает на войне, город присваивает его имя какому-нибудь своему закутку — хоть перекрестку — и вешает табличку с его именем. Треугольничек возле пристани назван именем вашего друга, я в этом почти уверена.

— В нынешние времена их, погибших, так много, что всех и не упомнишь, — вставила почтмейстерша.

— Хотите пойти посмотреть? — предложила Энни. — Я с удовольствием вас провожу.

— Табличку? — произнес Дюран, выходя из задумчивости. — Не стоит. — Он хлопнул в ладоши. — А где тут у вас ресторан — такой, чтобы с баром?

— После пятнадцатого июня — на каждом шагу, — ответила почтмейстерша. — А сейчас все закрыто. В аптеке можно купить сандвич.

— Да нет, лучше уж я отправлюсь дальше.

— Но раз уж вы проделали такой долгий путь, есть смысл посмотреть парад, — сказала Энни.

— После семнадцати лет службы в армии это было бы истинным удовольствием, — пошутил Дюран. — А что за парад?

— В честь Дня поминовения, — объяснила Энни.

— Но он же завтра, насколько я понимаю, — сказал Дюран.

— А сегодня — детское шествие. Потому что завтра школа будет закрыта. — Энни улыбнулась. — Боюсь, вам так или иначе придется выдержать зрелище еще одного парада, майор, потому что он уже начался.

Дюран безо всякого энтузиазма последовал за ней на улицу. Звуки оркестра уже были слышны, но участники парада еще не появились. На тротуаре их дожидалось не больше десяти-двена-

дцати человек.

— Они идут от одной площади к другой, — рассказывала Энни. — Давайте подождем их на площади Джорджа.

— Как скажете, — согласился Дюран. — Тем более, что там мне и к катеру ближе.

По улице, сбегавшей под уклон, они дошли до деревенской пристани, где стоял «Веселый Роджер».

— Город тщательно ухаживает за площадями, — сказала Энни.

— Ну да, ну да, — отозвался Дюран.

— Вы торопитесь? Вам сегодня нужно поспеть еще куда-то?

— Мне? — с горечью переспросил Дюран. — Меня нигде никто и ничто не ждет.

— Понимаю, — смутилась Энни. — Простите.

— Вашей вины в том нет.

— Не поняла.

— Я такой же армейский бродяга, как Джордж. Лучше бы меня пристрелили, а потом обессмертили в табличке. Никому я не нужен ни за грош.

— Ну, вот и наша площадь, — тихо сказала Энни.

— Где? Ах, это…

Площадь представляла собой заросший тра-

вой треугольник со сторонами футов по десять, образовавшийся в результате случайного пересечения улочек. В центре его лежал невысокий валун, к которому была прикреплена металлическая табличка, такая маленькая, что ее можно было и не заметить.

— «Мемориальная площадь Джорджа Пефко», — прочел Дюран. — Господи! Интересно, что бы сказал по этому поводу сам Джордж?

— Ему бы наверняка понравилось, — предположила Энни.

— Он наверняка бы посмеялся, — возразил Дюран.

— Не понимаю, над чем тут можно смеяться.

— Ни над чем, абсолютно ни над чем, если не считать того, что все это ни для кого ничего не значит. Кому есть дело до Джорджа? И почему кому-то должно быть до него дело? Просто считается, что люди должны так поступать — устанавливать памятные таблички.

В поле зрения показались оркестранты — восемь подростков, шагавших не в ногу, они вышли из-за угла с гордым, уверенным видом, производя нескладный шум, который, видимо, назывался у них музыкой.

Впереди ехал на мотоцикле городской полис-

мен, растолстевший от безделья, важный, весь в коже, с пистолетом на боку, наручниками и дубинкой на поясе и жетоном на груди. С величавым равнодушием к тому, сколько дыма выстреливает из выхлопной трубы его мотоцикл, он, то вырываясь вперед, то придерживая свое средство передвижения, возглавлял парад.

За оркестром следовало лиловое облако, которое парúло в нескольких футах над улицей. Это дети несли букеты сирени. Шествовавшие вдоль бордюра учителя, строгие, словно новоанглийские церкви, выкрикивали команды.

— В этом году сирень расцвела вовремя, — сказала Энни. — Иногда не успевает. Никогда не известно заранее.

— Правда? — равнодушно произнес Дюран.

Один из учителей дунул в свисток. Парад остановился, и Дюран увидел, что прямо на него, высоко поднимая колени, наступает дюжина ребятишек с расширившимися глазами и охапками сирени в руках. Он посторонился.

Горнист фальшиво протрубил церемониальный сигнал.

— Трогательно, правда? — прошептала Энни.

— Да, — ответил Дюран. — Это бы и у памятника слезу выдавило. Но значит ли это для них

что-нибудь?

— Том! — окликнула Энни мальчика, который только что возложил цветы. — Почему ты это сделал?

Мальчик виновато оглянулся.

— Что сделал?

— Положил туда цветы, — сказала Энни.

— Скажи: чтобы отдать дань памяти доблестному воину, который пожертвовал своей жизнью, — подсказала учительница.

Том беспомощно посмотрел на учительницу, потом перевел взгляд на цветы.

— Разве ты не знаешь? — спросила его Энни.

— Знаю, конечно, — выдавил наконец Том. — Он умер, чтобы мы жили свободно и счастливо. И мы благодарим его, приносим цветы, потому что он совершил хороший поступок. — Мальчик посмотрел на Энни, недоумевая, почему она спрашивает. — Это все знают.

Полисмен завел мотоцикл. Учителя собрали подопечных и снова выстроили их в колонну. Парад двинулся дальше.

— Ну, майор, — сказала Энни, — не жалеете, что пришлось поприсутствовать еще на одном параде?

— Да, и вправду, — пробормотал Дюран. — Это

же так просто, черт возьми, но это так легко забыть.

Глядя на этот простодушный парад под сиреневым цветочным облаком, он вдруг ощутил вкус жизни, красоту и значимость мирной деревни.

— Может, я никогда не осознавал… никогда не имел случая осознать… что войны ведутся ради *этого*. Вот этого са́мого. — Он рассмеялся. — Ну, Джордж, старый бродяга, — сказал он, обращаясь к мемориальной площади Джорджа Пефко, — разрази меня гром, если ты не стал святым.

Былая искра вспыхнула в нем вновь. Майор Дюран, вернувшийся с войны, почувствовал себя человеком.

— Могу я предложить вам, — обратился он к Энни, — пообедать со мной, а потом, может быть, совершить прогулку на моем катере?

Der Arme Dolmetscher

© Перевод. И. Доронина, 2021

В один из дней 1944 года, в разгар царившего на передовой хаоса, я был ошеломлен новостью: меня назначили батальонным переводчиком, *Dolmetscher*, так сказать, и определили на постой в дом бельгийского бургомистра, находившийся в пределах досягаемости артиллерийских орудий линии Зигфрида.

Прежде мне никогда и в голову не приходило, что я обладаю умениями, необходимыми для этой профессии. Идея сделать из меня толмача осенила мое начальство, пока я ждал перевода из Франции на фронт. В студенческие годы я механически заучил наизусть первую строфу «Лорелеи» Генриха Гейне, слыша, как ее повторяет мой сосед по комнате, и тупо твердил эти строчки, когда работал в границах слышимости своего батальонного командира. Полковник (гостиничный сыщик из Мобила) спросил своего заместителя (торговца мануфактурой из Нокс-вилла), на каком языке написаны эти стихи. Заместитель не спешил с суждением, пока я не

отбарабанил: «Der Gipfel des Berges foounk-kelt im Abendsonnenschein». Тогда он сказал:

— Кажись, фрицевский, ну, кислокапустников.

Единственное, что я мог кое-как перевести с немецкого, это: «Не знаю, отчего мне так грустно. Душа волнуется. Из головы не идет старинное предание. Подул прохладный ветер. В тишине течет река. Над Рейном в красных лучах заката горит гора»[10].

Полковник считал, что положение обязывает его принимать быстрые и жесткие решения. Перед тем как вермахту задали трепку, он принял несколько весьма удачных, но больше всего мне нравилось то, которое он принял в достопамятный день. Он пожелал узнать:

— Если это язык фрицев, какого лешего этот парень возится с ведрами?

Два часа спустя ротный писарь сказал, чтоб я бросал свои ведра, потому что с этого дня меня назначили батальонным переводчиком.

Вскоре после этого поступил приказ о передислокации. Начальство слишком спешило, чтобы

---

[10] Примечания: 10

Генрих Гейне. «Лорелея». «Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет. Забыть ни на миг не могу я преданье далеких лет. Дохнуло прохладой, темнеет. Струится река в тишине. Вершина горы пламенеет над Рейном в закатном огне». *Перевод Самуила Маршака.*

выслушивать мои признания в некомпетентности.

— Да хватит нам твоего немецкого, — сказал заместитель командира. — Там, куда нас посылают, будет не до разговоров с фрицами. — Он ласково похлопал по моей винтовке и сказал: — Вот она тебе поможет переводить.

Заместитель, который всему, что умел, научился от полковника, вбил себе в голову, что, раз американская армия только что побила бельгийцев, меня следует поселить к бургомистру, чтобы тот не вздумал водить нас за нос.

— А потом, — заключил заместитель, — все равно ж нет никого, кто по-ихнему чешет.

Я ехал на ферму бургомистра в кузове грузовика с тремя обиженными пенсильванскими голландцами, которые несколькими месяцами раньше претендовали на должность переводчика. Когда я объяснил, что я им не конкурент и что меня вытурят с должности в двадцать четыре часа, они смягчились настолько, что поделились со мной интересной информацией: по-немецки я называюсь *Dolmetscher*, толмач то есть. Они также по моей просьбе дословно перевели мне «Лорелею». Теперь у меня в запасе было около сорока слов (словарь двухлетнего ребенка), но я совершенно

не умел соединять их в предложения, так что не смог бы попросить и стакан холодной воды.

С каждым оборотом колеса я засыпáл их вопросами: «Как по-немецки “армия”?.. Как спросить, где туалет?.. Как сказать “мне плохо”?.. Хорошо?.. Брат?.. Туфля?..» Мои флегматичные наставники притомились, и один из них вручил мне брошюрку, призванную облегчить общение по-немецки солдату в окопе.

— Там в начале не хватает нескольких страниц, — предупредил он меня, когда я выпрыгивал из кузова у каменного дома бургомистра. — Я их на самокрутки пустил.

Стояло раннее утро, когда я, постучав в дверь бургомистра, стоял на пороге, как ждущий выхода на сцену статист, у которого в пустой голове вертится одна-единственная реплика. Дверь распахнулась.

— *Dolmetscher*, — выпалил я.

Бургомистр, старый, худой, в ночной рубашке, сам проводил меня в выделенную мне комнату на втором этаже. Жестами, мимикой и словами он выражал свое гостеприимство, так что мое вставляемое время от времени «*danke schön*[11]»

---

[11] Примечания: 11
Большое спасибо (*нем.*).

пока казалось вполне адекватной реакцией переводчика. Я был готов продолжить беседу фразой: «*Ich weiss nicht, was sol les bedeuten, dass ich so trauring bin*[12]». После этого, как я полагал, он отправился бы обратно в постель, уверенный, что имеет дело с бегло говорящим по-немецки, хотя и исполненным *Weltschmertz*[13] толмачом. Но моя военная хитрость не понадобилась. Он тут же покинул меня, предоставив в одиночестве аккумулировать свои ресурсы.

Главным моим подспорьем была дефектная брошюрка. Я изучил одну за другой все ее бесценные страницы, восхищаясь тем, как просто в сущности заменять английские слова немецкими. Единственное, что нужно было делать, это вести пальцем по левой колонке, пока не найдешь нужную английскую фразу, а потом воспроизвести набор бессмысленных трескучих слогов, написанный в правой колонке напротив. Например, «Сколько у вас гранатометов?» звучало так: «Вии филь гренада вэафэа хабен зи?» Безупречно правильная формулировка вопроса «Где ваши танковые колонны?» по-немецки

---

[12] Примечания: 12
Я не знаю, что должна означать моя печаль (*нем.*).

[13] Примечания: 13
Мировая скорбь (*нем.*).

оказалась не сложнее чем: «Во зинт ире панцер шпитцен?» Шевеля губами, я заучивал по-немецки фразы: «Где ваши гаубицы?», «Сколько у вас пулеметов?», «Сдавайтесь!», «Не стреляйте!», «Где вы спрятали свой мотоцикл?», «Руки вверх!», «Из какой вы военной части?»…

Внезапно брошюрка закончилась, и мое настроение от эйфории рухнуло в депрессию. Пенсильванские голландцы скурили все уместные в тылу любезности, содержавшиеся в ее первой половине, не оставив мне ничего, кроме реплик, уместных разве что в рукопашном бою.

Пока я без сна лежал в постели, в голове моей обретала отчетливую форму единственная драма, в которой я мог бы участвовать…

Толмач *(обращаясь к дочери бургомистра)*: Не знаю, что со мной, но мне так грустно. *(Обнимает ее.)*

Дочь бургомистра *(с застенчивой уступчивостью)*: Повеяло прохладой, темнеет, и Рейн тихо катит свои воды.

(Толмач подхватывает дочь бургомистра на руки и, прижимая к себе, несет в свою комнату.)

Толмач *(мягко)*: Сдавайтесь.

Бургомистр *(размахивая «люгером»)*: Ах так! Руки вверх!

Толмач *и* ***дочь бургомистра*** *хором*: Не стреляйте!

(Из нагрудного кармана бургомистра выпадает карта диспозиции Первой американской армии.)

Толмач *(в сторону, по-английски)*: И зачем этому якобы сотрудничающему с союзниками бургомистру карта, показывающая расположение войск Первой американской армии? И почему мне предписано говорить с бельгийцем по-немецки? *(Он выхватывает из-под подушки автоматический пистолет 45-го калибра и наставляет его на бургомистра.)*

Бургомистр *и* ***дочь бургомистра***: Не стреляйте!

(Бургомистр роняет свой «люгер» и съеживается, презрительно ухмыляясь.)

Толмач: Из какой вы военной части? *(Бургомистр угрюмо молчит. Дочь бургомистра, стоя рядом с ним, тихо плачет.)*

Толмач *(останавливаясь напротив дочери бургомистра)*: Где вы спрятали свой мотоцикл? *(Снова поворачивается к бургомистру.)* Где ваши гаубицы, а? Где ваши танковые колонны? Сколько у вас гранатометов?

Бургомистр *(раскалываясь под градом вопросов)*: Я… Я сдаюсь.

Дочь бургомистра: Мне так грустно.

(Входит патрульный наряд, состоящий из пенсильванских голландцев, который делает рутинный обход территории, и слышит, как бургомистр и дочь бургомистра признаются в том, что являются тайными агентами нацистов, сброшенными на парашютах в тыл американской армии.)

Располагая таким запасом слов, сам Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер не сочинил бы лучше, а других слов у меня не было. Не было у меня и никаких шансов выпутаться, и я не испытывал ни малейшей радости от того, чтобы в декабре стать переводчиком для целого батальона солдат, не будучи в состоянии сказать даже: «Счастливого Рождества».

Я заправил постель, покрепче затянул шнур своего вещмешка и, откинув светомаскировочную штору, выскользнул в ночь.

Бдительные часовые направили меня в штаб батальона, где большинство офицеров либо склонялись над картами, либо заряжали оружие. В помещении царила праздничная атмосфера. Заместитель командира точил свой восемнадцатимиллиметровый охотничий нож и бубнил песенку «Вы из Дикси?».

— Разрази меня гром, — сказал он, заметив меня в дверях, — если это не наш Шпрехензидойч. Ну, парень, чо такое? Ты чо, разве не должен быть у мэра?

— Смысла нет, — ответил я. — Они все говорят на нижненемецком, а я — на верхненемецком.

Это произвело впечатление на заместителя.

— То есть, твой слишком хорош для них, да? — Он провел указательным пальцем по лезвию своего смертоносного ножа. — Ну, ничего, сдается мне, скоро мы стыкнемся кое с кем, кто чешет на энтом самом высококлассном фрицевом, — сказал он и добавил: — Окружены мы.

— Мы зададим им жару так же, как задали в Северной Каролине и Теннесси, — изрек полковник, который дома, на маневрах, никогда не проигрывал сражений. — Ты, сынок, тут останешься. Будешь моим личным толмачом.

Двадцать минут спустя я снова оказался в гуще событий, требовавших перевода. К штабу подъехали четыре немецких «тигра», две дюжины немецких пехотинцев с автоматами спрыгнули с брони и окружили нас.

— Ну, говори что-нибудь! — приказал полковник, до самого конца не терявший храбрости.

Я пробежал глазами левую колонку в своей

брошюрке, пока не дошел до фразы, которая наиболее честно выражала наши чувства, и произнес:

— Не стреляйте!

Немецкий офицер-танкист с важным видом вошел в штаб, чтобы полюбоваться на свою добычу. В руке у него была брошюрка чуть поменьше моей.

— Где ваши гаубицы? — спросил он, заглянув в нее.

Табакерка из Багомбо

© Перевод. Н. Рейн, наследники, 2021

— Вроде бы новое местечко, да? — спросил Эдди Лэард.

Он сидел в баре, в самом центре города. Был единственным посетителем и разговаривал с барменом.

— Что-то не припоминаю я этого местечка, — добавил он. — А ведь когда-то знал каждый бар в городе.

Лэард был крупным мужчиной тридцати трех лет с нахальной, но не лишенной приятности круглой, как луна, физиономией. Одет он был в синий фланелевый костюм, судя по всему — недавнее приобретение. И, болтая с барменом, изредка косился на себя в зеркало. И, время от времени, рука его отпускала стакан и поглаживала мягкую ткань на лацкане.

— Да не такое уж и новое, — ответил бармен, сонный толстяк лет пятидесяти. — Когда вы были последний раз в городе?

— Во время войны, — сказал Лэард.

— Какой конкретно войны?

— Какой войны? — переспросил Лэард. — Да, дела… Боюсь, вам и впрямь приходится сейчас спрашивать об этом людей, когда речь заходит о войне. Второй. Второй *мировой* войны. Наши части дислоцировались тогда в Каннингем-Филд. Вот и вырывался в город, когда получалось, конечно.

И нежная грусть затеплилась в его сердце при воспоминании о том, как в те дни выглядело его отражение в зеркалах разных баров, о том, как сверкали в них капитанские пряжки на орденской ленте и серебряные крылышки на нашивках.

— А этот построен в сорок шестом, — сказал бармен, — и с тех пор его еще два раза перестраивали.

— Построен, и два раза перестраивали… — в голосе Лэарда слышалось неподдельное изумление. — В наши дни все изнашивается как-то особенно быстро, многие вещи устаревают, верно? Ну, скажите, можно сейчас съесть прилично прожаренный бифштекс за два доллара, ну, допустим, в стейк-хаусе «Чарли»?

— Сгорел, — коротко ответил бармен. — Там

сейчас «Джей-Си Пенни»[14].

— Так где ж теперь находят приют славные ВВС США? — спросил Лэард.

— Да нигде, — ответил бармен. — И этот ваш лагерь в Каннингем-Филд давным-давно закрыли.

Лэард взял свой бокал, подошел к окну и стал смотреть на прохожих.

— Почти был уверен, что здешние женщины до сих пор носят короткие юбочки, — пробормотал он. — Но где, где, скажите на милость, все эти хорошенькие розовые коленки? — Он постучал ногтями по стеклу. Проходившая мимо женщина взглянула на него и поспешила дальше.

— А у меня тут когда-то жена обреталась, — сказал Лэард. — Как считаете, что могло с ней случиться за одиннадцать лет?

— Жена?

— Бывшая. Ну, один из военных романов. Мне было двадцать два, ей — восемнадцать. И длилось все это с полгода.

— И почему разбежались?

— Разбежались?.. — протянул Лэард. — Просто не хотелось быть чьей-то там собственностью, вот и все. Хотел жить так — сунул зубную щетку

---

[14] Примечания: 14

«Джей-Си Пенни» — компания, владеющая сетью универмагов и аптек, ведет торговлю по каталогам, занимается страхованием.

в карман брюк, и прости-прощай. Чтоб чувствовать, что могу уйти в любой момент. А ей это не нравилось. Ну и вот… — Он усмехнулся. — Сделал ручкой. Adios. Без слез, без обид.

Он подошел к автомату-проигрывателю.

— Какая у нас сейчас самая популярная песня?

— Попробуйте номер семнадцать, — сказал бармен. — Полагаю, что смогу вынести это еще один раз. Но не больше.

Лэард поставил пластинку под номером семнадцать — это оказалась громкая слезливая баллада о потерянной любви. Он внимательно слушал. А в конце топнул ногой и поморщился.

— Налей-ка еще одну, — сказал он бармену, — и потом, клянусь богом, позвоню своей бывшенькой. — И вопросительно поднял глаза на бармена. — Ведь тут нет ничего такого особенного, верно? Почему бы не позвонить, раз вдруг захотелось? — Он расхохотался. — «Дорогая Эмили Пост[15], у меня тут возникла небольшая проблема этического характера. За одиннадцать лет я не перемолвился ни единым словом со своей бывшей женой. И вот теперь, оказавшись в одном городе с ней…»

---

[15] Примечания: 15

Пост, Эмили Прайс (1873–1960) — американская писательница, автор популярной книги «Этикет — Голубая книга хорошего тона».

— А откуда ты знаешь, что она до сих пор здесь? — заметил бармен.

— Звонил утром одному приятелю. Прямо как только прилетел. Он сказал, что она в порядке, получила все, что хотела: раба-мужа, из которого выкачивает всю зарплату, увитый диким виноградом коттедж с большой мансардой, пару ребятишек. И еще — лужайку в четверть акра, зеленую-презеленую, прямо как Арлингтонское кладбище.

И с этими словами Лэард зашагал к телефону. В четвертый раз за день нашел в телефонной книге номер своей бывшей жены, которая теперь носила фамилию второго мужа, достал двадцатицентовик и занес его над щелью. Но на сей раз позволил монете провалиться в нее. «Была — не была», — буркнул Лэард. И набрал номер.

Подошла женщина. В трубке было слышно, как визжат дети и бубнит радио.

— Эйми? — сказал Лэард.

— Да? — голос у нее был запыхавшийся.

Лицо Лэарда расплылось в глуповатой усмешке. «А ну догадайся, кто это?.. Эдди Лэард».

— Кто?

— Эдди Лэард. Эдди!

— Будьте добры, подождите минутку, ладно? —

сказала Эйми. — Ребенок так ужасно верещит, и радио включено, и в духовке у меня шоколадные печенья с орехами, того гляди сгорят. Я ничего не слышу! Не вешайте трубку, ладно?

— Ладно.

— А ну-ка еще раз. — Она уже просто орала в трубку. — Как вы сказали ваше имя?

— Эдди Лэард.

Она так и ахнула:

— Нет, правда, что ли?

— Правда, — весело сказал Лэард. — Только что прилетел с Цейлона, через Багдад, Рим и Нью-Йорк.

— Господи боже ты мой! — пробормотала Эйми. — Вот это называется сюрприз. А я даже не знала, жив ты или уже умер.

Лэард усмехнулся в ответ. «Да нет, так и не прикончили меня. Хотя, бог свидетель, очень старались».

— Ну и чем теперь занимаешься?

— О-о-о, да так, всем понемножку. Последнее время работал по контракту с одной цейлонской фирмой. Разведывал для них береговую линию, в поисках жемчуга. Сейчас собираюсь создать собственную компанию. Есть хорошие перспективы по добыче урана в районе Клондайка. А

до Цейлона охотился за алмазами в джунглях Амазонки, а до этого работал личным пилотом у одного иракского шейха.

— Господи, прямо голова закружилась, — воскликнула Эйми. — Прямо как в сказке из «Тысячи и одной ночи»!

— О нет, не хотелось бы, чтоб у тебя были иллюзии на сей счет, — сказал Лэард. — По большей части то была тяжелая, черная и опасная работа. — Он вздохнул. — Ну а как сама-то, а, Эйми?

— Я-то? — откликнулась Эйми. — Да как любая другая домохозяйка. Верчусь как белка в колесе.

Тут снова громко и надсадно заплакал младенец.

— Эйми, — поспешно начал Лэард, — скажи мне только одно. Между нами все о'кей? Без обид, да?

Голосок ее был еле слышен.

— Время лечит раны, — сказала она. — Нет, сперва мне, конечно, было очень больно… очень больно, Эдди. Но потом я пришла к пониманию, что все, что на свете ни делается, все, видно, к лучшему. Ты ведь все равно не смог бы усидеть на одном месте. Не из тех, уж таким уродился. Ты был бы как орел, запертый в клетке. Тосковал бы, рвался на волю, пока все перья не облезут.

— А ты, Эйми? Скажи, ты счастлива?

— Очень, — это прозвучало искренне, от всего сердца. — Правда, иногда так закрутишься с ребятишками, просто жуть! Но выдается свободная минутка, переведу дух и сразу понимаю, как все славно и хорошо. Именно этого я всегда и хотела. Так что, в конце концов, мы оба нашли свой путь, верно? И горный орел, и домашняя голубица.

— Эйми, — осторожно начал Лэард, — а нельзя ли приехать тебя повидать?

— Ох, Эдди, в доме жуткий бардак, а я выгляжу, как настоящая ведьма. Просто не вынесу, если ты увидишь меня в таком виде, особенно после того, как прилетел с Цейлона через Багдад, Рим и Нью-Йорк. Такой человек, как ты, будет глубоко разочарован. Стив на прошлой неделе болел корью, а малышка поднимает нас с Гарри по три раза за ночь и…

— Да будет тебе, не прибедняйся, — сказал Лэард. — Все равно, так и вижу, как ты вся светишься изнутри от счастья. Знаешь, давай я заеду в пять, только чтоб взглянуть на тебя, и тут же смоюсь? Ну пожалуйста!

Лэард ехал в такси к дому Эйми и, ввиду предстоящей встречи, силился настроиться на сентиментальный лад. Пытался представить лучшие дни, что они провели с Эйми, но перед глазами

танцевали почему-то только какие-то старлетки или нимфетки с красными губами и пустыми глазами. Эта нехватка воображения, как и все остальное, что происходило с ним сегодня, объяснялось возвращением к дням зеленой юности, службы в BBC, когда все хорошенькие женщины казались на одно лицо.

Лэард попросил водителя подождать его.

— Я быстро. Краткий визит вежливости.

Подходя к небольшому стандартному домику Эйми, он изобразил на губах печальную улыбку умудренности, улыбку мужчины, которому немало довелось испытать в этой жизни. Который был бит, но и сам наносил удары, который сумел извлечь из этого опыта немало полезного, и даже умудрился разбогатеть на всем своем долгом и трудном пути.

Он позвонил и, ожидая, пока ему откроют, отколупывал ногтем краску с дверного косяка.

Гарри, муж Эйми, низенький крепыш с добрым лицом, пригласил его войти.

— Сейчас, только сменю малышке пеленки, — донесся из глубины помещения голос Эйми, — и буду с вами!

На Гарри явно произвели впечатление рост и осанка, а также великолепный костюм гостя.

Лэард посмотрел на него сверху вниз и дружески потрепал по плечу.

— Понимаю, многие восприняли бы это превратно, — сказал он. — Но то, что было у нас с Эйми, было давным-давно. Тогда мы вели себя, как пара одуревших от любви молокососов, но с тех пор повзрослели и поумнели. Надеюсь, все мы теперь будем добрыми друзьями.

Гарри кивнул.

— Да, конечно. Почему бы и нет? — сказал он. — Желаете что-нибудь выпить? Вот только выбор у меня, боюсь, небольшой. Виски или пиво?

— Да что угодно, Гарри, на твое усмотрение, — ответил Лэард. — На Майорке мне доводилось пивать каву. Пил виски с британцами, шампанское с французами, какао с племенем тупи. А с тобой готов выпить и виски, и пива. А когда я был в Риме… — Тут он опустил руку в карман пиджака и извлек оттуда табакерку, инкрустированную полудрагоценными камнями. — Вот, привез тут маленький сувенир для тебя и Эйми. — Он сунул коробочку в руку Гарри. — Это из Багомбо.

— Багомбо? — переспросил совершенно потрясенный Гарри.

— Есть такое местечко на Цейлоне, — небрежно объяснил Лэард. — Я там летал на разведку

жемчужных месторождений. Платили — просто фантастика, средняя температура не ниже семидесяти пяти по Фаренгейту. А вот муссоны эти мне страшно не понравились. Просто невозможно торчать в комнате на протяжении нескольких недель и ждать, когда они наконец прекратятся, эти дожди. Мужчина должен иметь возможность выйти из дома, иначе ему не жить — разжиреет, станет толстым и вялым, как старая баба.

— Гм-м, — буркнул Гарри.

Этот маленький домик, запахи кухни, весь этот гам и суета семейной жизни уже начали действовать Лэарду на нервы — захотелось поскорее убраться отсюда. — А у вас здесь очень мило, — фальшивым голосом заметил он.

— Немножко тесновато, — сказал Гарри. — Но…

— Зато уютно, — перебил его Лэард. — Слишком большое пространство, это тоже, знаешь ли, сильно угнетает. Там, в Багомбо, у меня было целых двадцать шесть комнат и двенадцать слуг, и за каждым глаз да глаз. И знаешь, это как-то не слишком радовало. И еще все просто смеялись надо мной! Но дом сдавался всего за семь долларов в месяц! Ну скажи, разве можно было устоять?

Гарри направился было к кухне, но остановил-

ся в дверях, точно громом пораженный. «Семь долларов в месяц за двадцать шесть комнат?!»

— Причем учти, плата повысилась, когда меня взяли. Жилец, снимавший дом до меня, платил всего три.

— Три… — пробормотал Гарри. — А скажи-ка мне, приятель, — нерешительно начал он, — не найдется ли там для американцев какой другой работенки, а? Они ведь нанимают людей?

— Да, но ведь ты вряд ли захочешь расстаться с семьей, верно?

На лице Гарри возникло виноватое выражение.

— О нет! Нет, конечно. Просто подумал, можно забрать туда и их.

— Не выйдет, — сказал Лэард. — Они нанимают только холостяков. Да и потом, зачем тебе туда? Вы здесь очень славно устроились. К тому же у тебя должна быть специальность, пользующаяся там спросом. За что платят по-настоящему большие деньги. Надо уметь управлять самолетом, моторной лодкой, знать язык. Кроме того, наем рабочей силы обычно происходит в барах, в Сингапуре, Алжире, разных таких местах. Кстати, теперь собираюсь лететь на урановые рудники, надеюсь прибрать их к рукам и завести

собственное дело. Это в Клондайке, и мне нужно пару хороших техников, умеющих управляться со счетчиками Гейгера. Ну, скажи, ты можешь починить счетчик Гейгера?

— Не-а, — ответил Гарри.

— В любом случае, я все равно буду брать мужчин, не обремененных семейством, — добавил Лэард. — Клондайк — просто замечательное местечко, там полным-полно лосей и семги. Но дикое. Не слишком подходящее для женщин или там детей. Ну, а ты чем промышляешь?

— О!.. — ответил Гарри. — Работаю по оформлению кредитов в универмаге.

— Гарри! — крикнула Эйми из глубины дома, — подогрей, пожалуйста, бутылочку со смесью для малышки. И заодно проверь, может, бобы уже готовы?

— Да, дорогая, — ответил Гарри.

— Что ты сказал, милый?

— Я сказал «да»! — злобно рявкнул в ответ Гарри.

И в доме воцарилось неловкое молчание.

А потом вошла Эйми, и Лэард освежил память. Поднялся из кресла и смотрел на нее. Красивая женщина с черными волосами и умными карими глазами, которые так и лучились добротой. Эйми

все еще была молода, но выглядела усталой. Принарядилась во что-то симпатичное, накрасилась и держалась спокойно и с чувством собственного достоинства.

— Ах, Эдди, страшно рада тебя видеть! — весело воскликнула она. — Выглядишь на все сто!

— Ты тоже, — сказал Лэард.

— Правда? А чувствую себя просто старухой.

— Ты это брось, — сказал Лэард. — Семейная жизнь явно пошла тебе на пользу.

— Да, знаешь, мы и правда очень счастливы, — сказала Эйми.

— Да ты хорошенькая, прямо, как куколка. Как какая-нибудь парижская модель или итальянская кинозвезда.

— Ты это не всерьез, — засмущалась Эйми. Но, похоже, была страшно довольна комплиментом.

— Очень даже всерьез, — сказал Лэард. — Так и вижу тебя в костюме от «Мейнбошер», так и слышу, как ты, прогуливаясь по Елисейским полям, эдак шикарно постукиваешь высокими каблучками, и нежный парижский ветерок развевает твои красивые темные волосы, и все мужчины так и пожирают тебя глазами, а жандармы отдают честь!

— Ах, Эдди! — простонала Эйми.

— Была когда-нибудь в Париже? — спросил Лэард.

— Нет, — ответила Эйми.

— Не важно. В каком-то смысле Нью-Йорк теперь стал еще более экзотическим местом. Прямо так и вижу тебя там, в театральной толпе, и каждый мужчина при виде тебя умолкает и долго провожает глазами. Когда была в Нью-Йорке последний раз?

— Что? — рассеянно спросила Эйми, глядя в пустоту.

— Когда была в Нью-Йорке последний раз?

— Да вообще ни разу ни была. Гарри, тот ездил. По делам.

— Так почему не брал тебя с собой? — картинно возмутился Лэард. — Так и молодость может пройти, а в Нью-Йорке не побываешь. Нью-Йорк — это город для молодых людей.

— Ангел? — окликнул жену из кухни Гарри. — А как узнать, готовы эти самые бобы или нет?

— Да потыкай в них этой чертовой вилкой, и все дела! — заорала в ответ Эйми.

Гарри возник в дверях с напитками, обиженно моргая.

— С чего это ты вдруг надумала на меня орать?

Эйми потерла глаза.

— Извини, — сказала она. — Просто устала, наверное. Мы оба устали.

— Да, никак не получается выспаться, — сказал Гарри. И похлопал жену по спине. — Всю дорогу оба на нервах.

Эйми поймала руку мужа и нежно сжала в своей. И в доме вновь воцарились мир и покой.

Гарри раздал бокалы. И Лэард предложил тост.

— Ешьте, пейте, веселитесь! — воскликнул он. — Ибо как знать? — может, завтра мы все умрем.

Гарри и Эйми растерянно заморгали и осушили свои бокалы до дна.

— Он привез нам в подарок табакерку из Багомбо, милая, — сказал Гарри. — Я правильно произнес?

— Ну, маленько на американский лад, — сказал Лэард. — Надо вот так, — он сложил губы колечком: — *Багомбо*.

— Ой, какая прелесть! — воскликнула Эйми. — Поставлю на свой туалетный столик, а детям скажу, чтоб не смели трогать. Багомбо…

— Именно! — воскликнул Лэард. — Вот она произнесла это слово абсолютно правильно! Забавно все же. У одних людей есть языковой слух, у других отсутствует напрочь. Первым стоит только услышать иностранное слово, и они тут же могут

произнести его правильно, с малейшими звуковыми оттенками. А другим прямо-таки медведь на ухо наступил, тем ни за что не произнести, сколько ни старайся. Так, давай слушай, Эйми, и повторяй за мной: *«Тоули! Пакка сахн небул рокка та. Си нотте лони джин та тоник».*

Эйми медленно и осторожно повторила за ним.

— Отлично! Знаешь, что это означает на наречии буна-симка? «Молодая женщина, ступай, укрой ребенка и принеси мне джин с тоником на южную террасу». А теперь, Гарри, твоя очередь. Давай, повторяй за мной! «*Пилла! Сибба ту бэнг-бэнг. Либбин хру донна стейк!».*

Гарри, сосредоточенно хмурясь, повторил предложение.

Лэард откинулся в кресле и сочувственно улыбнулся Эйми.

— Прямо не знаю, что и сказать, Гарри. Нет, на наш слух, оно, конечно, ничего, сойдет. Но все дикари просто обхохочутся у тебя за спиной.

Гарри был потрясен.

— А что я такого сказал?

— «Мальчик, — начал переводить Лэард. — Дай мне ружье! Там впереди, среди деревьев, тигр».

— *«Пилла!* — снова начал сначала Гарри. — *Сиб-*

ба ту бэнг-бэнг. Либбин хру донна стейк!». — И он сделал жест, показывая, будто тянется за ружьем, и пальцы его затрепетали, как выброшенные на песок рыбки.

— А вот так уже лучше, гораздо лучше! — сказал Лэард.

— Очень хорошо, — подбодрила мужа Эйми.

Гарри лишь отмахнулся от всех этих комплиментов. И смотрел задумчиво и мрачно.

— Скажи-ка, — после паузы спросил он, — а что, в окрестностях этого самого Багомбо действительно проблема с тиграми?

— Иногда, когда дичи в лесах становится меньше, тигры подходят к окраинам деревень, — объяснил Лэард. — Ну и тогда берешь ружье и идешь с ними разбираться.

— А у тебя были в Багомбо слуги, да? — спросила Эйми.

— Да. Платил по шесть центов в день каждому мужчине, и по четыре — женщине. Вот так! — ответил Лэард.

Тут за окнами послышался шорох гравия — к дому подкатил велосипед.

— Стив приехал, — сказал Гарри.

— Я хочу в Багомбо! — воскликнула Эйми.

— В такие места детишек не берут, — заметил

Лэард. — Один, но существенный недостаток.

Дверь отворилась, и в гостиную вошел симпатичный и мускулистый мальчик лет девяти — весь потный, с раскрасневшимися щеками. Накинул кепку на крючок возле входной двери и начал подниматься по лестнице.

— Повесь свою шляпу как следует, Стив! — крикнула вдогонку Эйми. — Я вам не прислуга, подбирать разбросанные по всему дому вещи.

— И не топай, как слон! — добавил Гарри.

Мальчик медленно спустился вниз по ступенькам, растерянный и смущенный.

— Чего это на вас вдруг нашло? — спросил он.

— Не хами, — сказал Гарри. — Лучше подойди и поздоровайся с мистером Лэардом.

— Майор Лэард, — представился гость.

— Привет, — сказал Стив. — А чего это вы не в форме, раз майор?

— Комиссовали. Я теперь в запасе, — ответил Лэард. И засмущался под циничным взглядом честных и дерзких глаз ребенка. — А я смотрю, славные ребята у вас тут водятся.

— А-а… — протянул Стив. — Так, значит, вы из *тех еще* майоров. — Тут он заметил табакерку и схватил ее.

— Стиви, — сказала сыну Эйми, — поставь на

место. Это теперь мамино сокровище, и я не позволю портить и ломать эту вещь, как все остальное в доме. Положи на место, я сказала.

— О'кей, о'кей, — пробормотал Стив. И с подчеркнутой осторожностью поставил табакерку на место. — Просто не знал, что это такая драгоценность.

— Майор Лэард привез ее из Багомбо, — сказала Эйми.

— С Цейлона, Стив, — добавил Гарри. — Багомбо находится на Цейлоне.

— Тогда почему там на дне надпись «Сделано в Японии»?

Лэард побледнел:

— Они экспортируют эти штуки в Японию, а там уже делают такие пометки, — сказал он. — Таковы правила тамошнего рынка.

— Понял, Стив? — заметила Эйми. — Хоть чему-то новому научишься сегодня.

— И все равно, почему они не пишут, что это сделано на Цейлоне? — не унимался Стив.

— Логику людей Востока понять сложно, — заметил Гарри.

— Именно, — подхватил Лэард. — Тебе, Гарри, удалось уловить сам дух восточной цивилизации, и выразить в одном предложении.

— Так, значит, они отправляют все эти штуки пароходом из Африки в Японию? — спросил Стив.

Лэард почувствовал, что в полном смятении. Карта мира завертелась перед глазами, континенты наползали друг на друга и меняли очертания, и вместе с ними остров под названием Цейлон успел побывать в семи разных морях. Лишь две точки в этом мире оставались неподвижны — то были беспощадные голубые глаза Стива.

— Мне всегда казалось, это где-то рядом с Индией, — заметила Эйми.

— Забавно. Чем усердней иногда думаешь или вспоминаешь какую вещь, тем более странные шутки проделывает с тобой память, — заметил Гарри. — Я, по всей видимости, спутал Цейлон с Мадагаскаром.

— И еще Суматрой и Борнео, — вставила Эйми. — Вот что бывает с людьми, которые никогда никуда не ездят.

Теперь уже целых четыре крупных острова плыли по бурным морям памяти Лэарда.

— Так каков же правильный ответ, Эдди? — спросила Эйми. — Где находится Цейлон?

— Это остров неподалеку от берегов Африки, — уверенно и твердо заявил Стив. — Точно знаю,

мы в школе проходили.

Лэард оглядел присутствующих — у каждого на лице застыло озадаченное выражение. У всех, кроме Стива. Лэард откашлялся и хрипло сказал:

— Мальчик прав.

— Сейчас принесу атлас и покажу! — с гордостью заявил Стив, и помчался наверх.

Лэард поднялся, чувствуя слабость в коленках.

— Мне, пожалуй, пора.

— Так скоро? — удивился Гарри. — Что ж, в любом случае от души желаю найти целые горы урана. — Он избегал смотреть жене в глаза. — Да я правую руку готов отдать на отсечение, лишь бы оказаться там с вами.

— Настанет день, дети вырастут, — начала Эйми, — может, и мы будем тогда еще не слишком старыми и съездим посмотреть Нью-Йорк, и Париж, и разные другие интересные места. И, чем черт не шутит, осядем на старости лет в Багомбо.

— От души надеюсь, — сказал Лэард. И чуть ли не пулей вылетел из дверей, а потом торопливо зашагал по дорожке, которая показалась бесконечной, к ожидавшему его такси. — Поехали! — бросил он водителю.

— А они там вам что-то кричат, — сказал таксист. И опустил стекло, чтоб Лэарду было

слышно.

— Эй, майор! — орал Стив. — Мама была права, а все мы ошибались! Цейлон рядом с Индией!..

Семья, в которую Лэард только что внес нешуточный разлад, вновь объединилась, дружно столпилась на крылечке, провожая гостя.

— *Пилла!* — весело кричал Гарри. — *Сибба ту бэнг-бэнг. Либбин хру донна стейк!*

— *Толли!* — вторила мужу Эйми. — *Пакка сахн небул рокка та. Си нотте лони джин та тоник!*

Машина наконец отъехала.

В тот же вечер Лэард сделал из своего гостиничного номера междугородний звонок. Звонил он своей второй жене Сельме, проживавшей в маленьком домике в Левиттауне, что на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке — словом, далеко-далеко отсюда.

— Ну, каковы успехи у Артура? — спросил он. — Стал читать лучше?

— Учительница считает, что он совсем не тупой. Просто ленивый, — ответила Сельма. — И еще говорит, что он вполне может догнать класс, но только если захочет.

— Потолкую с ним по душам, когда приеду домой, — сказал Лэард. — Ну а близнецы? Хоть дают тебе поспать немножко?

— Ведут себя маленько потише, если их разделить. Иначе заводят друг друга. — Сельма громко зевнула. — Ну а как твое путешествие?

— Помнишь, как все говорили, что картофельные чипсы в Дьюбук продаваться ни за что не будут?

— Да.

— Так вот, ничего подобного, — заявил Лэард. — Я их всех сделал. Просто переворот в истории этого штата. Я весь этот вшивый городок еще поставлю на уши!

— Скажи-ка, — осторожно начала Сельма, — а ты… Ты ведь собираешься звонить *ей*, да, Эдди?

— Не-а, — лениво ответил Лэард. — К чему ворошить прошлое?

— Неужели тебе не интересно знать, как она и что?

— Не-а. Да мы и тогда едва знали друг друга. Люди меняются, меняются. — Он прищелкнул пальцами. — Ой, чуть не забыл! А что сказал дантист насчет зубов Доны?

Сельма вздохнула.

— Сказал, ей нужно поставить скобки.

— Так поставь. Займись этим, Сельма. Ладно, давай прощаться. Надеюсь, жизнь теперь у нас повернется к лучшему. Да, кстати, я купил себе

новый костюм.

— Давно пора, — сказала Сельма. — Бог знает сколько в старом проходил. Ну и как он, хорошо на тебе сидит?

— Вроде бы да, — ответил Лэард. — Я люблю тебя, Сельма.

— Люблю тебя, Эдди. Спокойной ночи.

— Страшно по тебе соскучился, — сказал Лэард. — Спокойной ночи.

Великий день

© Перевод. М. Загот, 2021

В шестнадцать лет мне давали двадцать пять, а какая-то вполне зрелая городская дама была готова поклясться, что мне — тридцать. Да, я вымахал здоровяком, даже бакенбарды выросли, эдакой стальной проволокой. Естественно, мне хотелось повидать мир за пределами нашего Луверна, штат Индиана, и ограничиваться Индианаполисом я тоже не собирался.

Поэтому насчет своего возраста я соврал — и меня зачислили в Армию мира.

Слез по мне никто не лил. Никаких тебе флагов, никаких оркестров. Не то что в стародавние времена, когда парень моих лет отправлялся биться за демократию и вполне мог лишиться головы в этой битве.

Никаких провожающих на вокзале не было, кроме моей разъяренной мамы. Она считала, что Армия мира — пристанище для всякой швали, не способной найти приличную работу в другом месте.

Помню все так ясно, будто это было вчера, а

между тем на дворе стоял две тысячи тридцать седьмой год.

— Держись подальше от этих зулусов, — напутствовала мама.

— Что же ты, мама, думаешь, что в Армии мира одни зулусы? — спросил я. — Там народ со всего света собрался.

Но моя мама была убеждена: любой родившийся за пределами графства Флойд — зулус.

— Ладно, ничего, — смилостивилась она. — Лишь бы кормили хорошо, а то налоги вон какие высокие. Раз уж ты определился да решился идти в армию со всеми этими зулусами, я, видно, должна радоваться, что там хотя бы другие армии шнырять не будут — и никто не выстрелит в тебя.

— Я буду миротворцем, мама, — объяснил я. — Раз армия всего одна, значит, никаких жутких войн больше не будет. Ты не хочешь этим гордиться?

— Я хочу гордиться тем, что народ делает для мира, — сказала мама. — Но это не значит, что я должна обожать армию.

— Мама, это совсем новая армия, высокого класса. Там даже ругаться не разрешают. А кто регулярно не ходит в церковь, остается без слад-

кого.

Мама покачала головой:

— Запомни одно: высокий класс — это ты. — Она не поцеловала меня на прощание, а пожала мне руку. — По крайней мере был, — добавила она, — пока находился при мне.

Но когда я прислал маме наплечный знак различия с моей первой формы в учебном лагере, она носилась с ним так, будто получила открытку от Господа Бога, показывала на всех углах — так мне потом сказали. А это был всего-навсего кусочек синего войлока с вшитым в него изображением золотых часов, из которых вылетала зеленая молния.

Мама вовсю заливала, что, мол, ее мальчик служит в часовой роте, будто имела понятие о часовой роте и будто все ее собеседники доподлинно знали, что лучше этой роты во всей Армии мира не сыскать.

Да, мы были первой часовой ротой и последней — если, конечно, не найдутся мастера, способные достать засохших клопов из какой-нибудь машины времени. Чем мы собирались заниматься — это держалось в строжайшей тайне, в том числе и от нас самих, — а потом идти на попятную было уже поздно.

Заправлял у нас всем капитан Порицкий, и он говорил только одно: нам есть чем гордиться, потому что на всей земле только двести человек имеют право носить нашивки с часиками.

Сам он в недавнем прошлом играл в футбол за Нотрдамский университет, что в Индиане, и походил на горку пушечных ядер где-нибудь на лужайке перед зданием суда. Ему нравилось показывать нам свою власть. Нравилось показывать нам, что он будет жестче любого пушечного ядра.

Он говорил: для него большая честь вести вперед таких отменных парней, которым поручено очень ответственное задание. Мы будем участвовать в маневрах во французском местечке Шато-Тьери, там и узнаем, в чем заключается наше задание.

Иногда посмотреть на нас приезжали генералы, будто нам предстояло совершить что-то грустное и прекрасное, но никто из них и словом не обмолвился о машине времени.

В Шато-Тьери нас уже все ждали. Тут-то мы и поняли, что нам уготована роль каких-то отпетых головорезов. Все хотели поглазеть на убийц с часиками на рукаве, все жаждали поглазеть на представление, которое мы собирались устро-

ить.

Может, по приезде туда вид у нас и так был дикий, но со временем мы одичали до крайности. Потому что нам так и не сказали, чем должна заниматься часовая рота.

Спрашивать было бесполезно.

— Капитан Порицкий, сэр, — обратился я к нему со всем возможным уважением. — Я слышал, завтра на рассвете мы идем в наступление какого-то нового типа.

— Улыбайтесь, солдат, будто вас переполняют счастье и гордость! — сказал он мне. — Так оно и есть!

— Капитан, сэр, — продолжил я, — наш взвод направил меня узнать, что мы будем делать. Мы, сэр, хотим как следует подготовиться.

— Солдат, — заявил Порицкий, — каждый воин в вашем взводе вооружен боевым духом и чувством солидарности, тремя гранатами, винтовкой со штыком и сотней патронов, верно?

— Так точно, сэр, — согласился я.

— Солдат, ваш взвод к боевым действиям готов. Чтобы показать вам, как я верю в его боеготовность, ставлю этот взвод в первую линию нашего наступления. — Порицкий поднял брови. — Ну, — добавил он, — вы не хотите сказать «спасибо,

сэр»?

— Спасибо, сэр.

— А что касается лично вас, рядовой, я доверяю вам быть первым в первой линии первого отделения этого первого взвода. — Его брови снова взметнулись вверх. — Вы не хотите сказать «спасибо, сэр»?

— Спасибо, сэр.

— Молитесь, чтобы ученые оказались готовы в такой же степени, в какой готовы вы, солдат, — добавил Порицкий.

— При чем тут ученые, сэр? — удивился я.

— Солдат, дискуссия окончена, — заявил Порицкий. — Смирно!

Я выполнил приказ.

— Отдайте честь! — распорядился Порицкий.

Я выполнил приказ.

— Вперед — марш! — скомандовал он.

И я был таков.

Наступила ночь перед крупным событием, а я был не в курсе, изрядно напуган, тосковал по дому, и в таком состоянии стоял в охране у какого-то французского тоннеля. Со мной был парнишка из Солт-Лейк-Сити по имени Эрл Стерлинг.

— Значит, ученые нам помогут? — спросил меня Эрл.

— Так он сказал, — ответил я.

— Лучше не знать лишнего, только голова пухнет, — отозвался Эрл.

Где-то наверху взорвался мощный снаряд, намереваясь уничтожить наши барабанные перепонки. Над нами громыхала артподготовка, над нашими головами словно топали гиганты, и мир трепетал под их сапогами. Снаряды, естественно, вылетали из наших пушек, но их вполне можно было принять за снаряды противника, они летали, как ужаленные или ошпаренные. Вот все и сидели в тоннелях, чтобы не попасть под эту свистопляску.

Короче, этот грохот никого не приводил в восторг — кроме капитана Порицкого, сбрендившего окончательно.

— Моделируем то, моделируем это, — передразнил Эрл. — Снаряды-то уж никак не модельные, и я боюсь их вполне по-настоящему.

— А для Порицкого это — звуки музыки, — заметил я.

— Народ говорит, что тут все натурально, как в прошлую войну, — возразил Эрл. — Я вообще не понимаю, как еще кто-то в живых остался.

— Блиндажи здорово помогают, — сказал я.

— В старые времена в блиндажах укрывались

только генералы. А солдаты в лучшем случае в окопчиках сидели, а сверху-то ничего. А прикажут — так из окопа вылезай, а приказов этих поступало столько, что и в окопе сидеть некогда было.

— Надо поближе к земле прижиматься, — предложил я.

— Поближе к земле — это как? — не понял Эрл. — Есть места, так трава там такая, будто газонокосилкой прошлись. Ни деревца тебе, ничего. Кругом одни окопы. Как люди в настоящих-то войнах с ума не посходили? Почему не разбежались по домам?

— Люди — существа странные, — изрек я.

— Не знаю, не знаю, — буркнул Эрл.

Снова разорвался мощный снаряд, а вдогонку — два поменьше.

— Коллекцию русской роты видел? — спросил Эрл.

— Слышал только, — ответил я.

— У них около сотни черепов. На полочке аккуратно так лежат, как медовые дыньки.

— Совсем рехнулись.

— Это же надо — черепа собирать, — проворчал Эрл. — А что им еще остается? В смысле, куда ни копни — наткнешься на чей-нибудь череп.

Наверное, дела там были серьезные.

— Серьезные дела были здесь, — возразил я. — Это же знаменитое поле битвы с Первой войны. Как раз здесь американцы наподдали немцам. Мне Порицкий сказал.

— А в двух черепушках — шрапнель, — вспомнил Эрл. — Видел?

— Нет.

— Их встряхнешь — и слышно, как шрапнель внутри клацает. И дырки видны, где шрапнель в черепок вошла.

— Знаешь, что положено сделать с этими несчастными черепушками? — спросил я. — Надо собрать всех военных священников всех религий на свете. И пусть они эти черепушки с почестями похоронят, зароют куда-нибудь, где их уже никто и никогда не потревожит.

— Что их хоронить — они уже не люди, — возразил Эрл.

— Теперь не люди, но были же людьми. Они жизни положили, чтобы наши отцы, деды и прадеды могли жить. К их костям по крайней мере можно проявить уважение?

— Между прочим, разве кое-кто из них не пытался убить наших прапрадедов или как их там? — осведомился Эрл.

— Немцы думали, что они делают, как лучше. Не только немцы — все остальные тоже. Они действовали, как им велело сердце. А это уже штука серьезная.

Брезентовый завес в верхней части тоннеля раскрылся, и вниз спустился капитан Порицкий. Двигался он неторопливо, словно снаружи самой большой неприятностью был теплый дождичек.

— Сэр, а там не опасно? — спросил я. Дело в том, что выходить наверх было не обязательно. Тоннели соединяли все со всем, и никто не требовал, чтобы мы выходили наружу под грохот артподготовки.

— Да разве мы с вами, солдат, не выбрали опасную профессию по своей воле? — обратился ко мне Порицкий. Он сунул мне под нос тыльную сторону ладони, и я увидел длинный след от пореза. — Шрапнель! — пояснил он. Ухмыльнулся, а потом сунул порезанное место в рот и принялся сосать его.

Вдоволь напившись собственной крови, он оглядел меня и Эрла с ног до головы.

— Солдат, где ваш штык? — спросил меня Порицкий.

Я ощупал себя возле пояса. Наверное, про штык забыл.

— Солдат, а если противник внезапно выбросит десант? — Порицкий сделал танцевальное па, будто собирал орехи майской порой. — «Извините, ребята, я сейчас, только за штыком сбегаю». Вы им это скажете? — Он посмотрел на меня.

Я покачал головой.

— Если дело доходит до рукопашной, лучший друг солдата — это штык, — заверил нас Порицкий. — А когда профессиональный солдат счастливее всего? Когда вступает в ближний бой с противником. Согласны?

— Согласен, сэр, — ответил я.

— Черепа собираете? — поинтересовался Порицкий.

— Нет, сэр, — признался я.

— А было бы неплохо.

— Так точно, сэр, — согласился я.

— Между прочим, солдат, могу объяснить, почему они все умерли, — сказал Порицкий. — Они были плохими солдатами, непрофессионалами! Они допускали ошибки! И не извлекали из них уроков!

— Наверное, не извлекали, сэр, — повторил я.

— Может, вам кажется, солдат, что эти маневры — штука суровая? Ни черта она не суровая. Если бы за маневры отвечал я, у меня под бомбарди-

ровкой ходили бы все. Форма профессионала должна быть в крови — и только так.

— В крови, сэр? — удивился я.

— Пусть кого-то убьют, зато остальные научатся, — заявил Порицкий. — А это разве армия? Сплошные нормы безопасности, сплошные доктора, я за шесть лет ни одного обломанного ногтя не видел. Так профессионалом не стать.

— Не стать, сэр — подтвердил я.

— Профессионал видел все, его ничем не удивишь, — сказал Порицкий. — Что ж, солдат, завтра вам предстоит увидеть настоящую солдатскую кухню, какой не было сто лет. Газовая атака! Заградительный огонь! Битвы на огневых рубежах! Штыковые дуэли! Рукопашный бой! Вы рады, солдат?

— Я что, сэр? — переспросил я.

— Разве вы не рады? — повторил Порицкий.

Я взглянул на Эрла, потом снова на капитана.

— Конечно, рад, сэр, — ответил я. Потом покачал головой — медленно и со значением. — Да, сэр. Рад, еще как рад.

Если служишь в Армии мира, где полно всяких новеньких военных штуковин, что тебе остается? Только одно: верить в то, что тебе говорят офицеры, даже если это — полная ахинея. А офицеры

со своей стороны должны верить в то, что им говорят ученые.

Короче, простому человеку во всем этом не разобраться — впрочем, возможно, так было всегда. И когда капеллан заливал нам насчет того, что надо жить верой и не задавать лишних вопросов, он просто ломился в открытые двери — эту истину мы уже вызубрили.

И вот Порицкий наконец сказал нам, что мы будем атаковать с помощью машины времени — но у простого солдата вроде меня никаких умных идей по этому поводу не возникло. Я сидел чурбан чурбаном и разглядывал штыковой упор на моей винтовке. Нагнувшись вперед, так что передняя часть моего шлема уперлась в дуло, я разглядывал штыковой упор, как чудо света.

Вся часовая рота — человек двести — сидела в большом окопе и внимала Порицкому. Правда, на него никто не смотрел. А он дождаться не мог того, что должно было грянуть, его распирало счастье, и он верил, что все это происходит с ним не во сне, а наяву.

— Воины, — говорил этот полоумный капитан, — в пять ноль-ноль артиллерия проложит две трассирующие линии, одна в двухстах ярдах от другой. Эти линии обозначат края луча маши-

ны времени. Между этими линиями мы идем в наступление. Воины, — продолжал он, — между этими трассирующими линиями будет пролегать сегодняшний день, но одновременно и восемнадцатое июля тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Я поцеловал штыковой упор. В небольших количествах смесь масла с железом мне нравилась, но это еще не повод, чтобы разливать ее по бутылкам.

— Воины, — вещал Порицкий, — вам предстоит увидеть такое, от чего седеют гражданские. Вы увидите контрнаступление американцев против немцев в давние времена, в Шато-Тьери. — Счастье из него так и перло. — Воины, — продолжал он, — это будет мясорубка в аду.

Я повел головой вверх и вниз, чтобы мой шлем сыграл роль насоса. Он подкачал мне на лоб немного воздуха. В такие времена отдушиной становится любая мелочь.

— Воины, — гнул свое Порицкий, — говорить солдатам «не бойтесь» — это не по мне. Не по мне говорить солдатам, что им нечего бояться. Это для них оскорбление. Но ученые сказали мне, что тысяча девятьсот восемнадцатый навредить нам никак не может, равно как и мы не можем навре-

дить тысяча девятьсот восемнадцатому. Мы для них будем как призраки — а они будут призраками для нас. Мы будем проходить сквозь них, а они — сквозь нас, будто мы — дымовая завеса.

Я приблизил губы к дулу винтовки и дунул в него. Никакого посвиста не последовало. Может, оно и хорошо, а то я нарушил бы мирный ход собрания.

— Воины, — не унимался Порицкий, — жаль, что вам не удалось проверить свои силы тогда, в тысяча девятьсот восемнадцатом, вы столкнулись бы с худшим, что бывает на фронте. И стали бы настоящими солдатами — в лучшем смысле слова.

Никто не возражал.

— Воины, — говорил этот великий мастер военной науки, — можете представить себе, что почувствует противник, когда увидит на поле битвы призраков из тысяча девятьсот восемнадцатого? Он растеряется и не будет знать, во что стрелять. — Порицкий разразился хохотом и не сразу овладел собой. — Воины, — продолжал он, — мы подкрадемся к противнику сквозь призраков. А когда сблизимся с ним — тут-то он станет молить Бога, чтобы мы оказались призраками, тут-то он пожалеет, что родился на свет.

Противник, о котором он говорил, располагался в полумиле от нас и представлял собой линию бамбуковых шестов с привязанными к ним тряпками. Но Порицкий проникся к бамбуковым шестам и тряпкам невероятной ненавистью.

— Воины, — сказал Порицкий, — если кому-то из вас позарез надо в самоволку, лучшей возможности не представится. Всего-навсего пересеките одну из трассирующих линий, пройдите через луч. И тогда вынырнете в тысяча девятьсот восемнадцатом, на полном серьезе — тут уж никаких привидений. И не родился еще тот военный полицейский, который кинется вас отлавливать, потому что если кто эту линию пересек, назад дороги нет.

Мушкой винтовки я поковырял между передними зубами. И сделал собственный вывод: для профессионального солдата самое большое счастье — когда он может кого-то укусить. Но мне, конечно, таких высот не достичь никогда — это я знал точно.

— Воины, — произнес Порицкий, — перед часовой ротой стоит задача, ничем не отличающаяся от тех, какие стоят перед любой ротой с начала времен! Задача вашей часовой роты — убивать! Вопросы есть?

Военный кодекс всем нам зачитывали. И мы хорошо знали, что задавать разумные вопросы — хуже, чем зарубить собственную матушку. Поэтому вопросов не было. Подозреваю, в таких случаях их не было никогда.

— К бою готовься! — распорядился Порицкий.

Мы выполнили команду.

— Штыки примкнуть! — приказал Порицкий.

Мы и тут не подкачали.

— В наступление, девочки? — спросил Порицкий.

О-о, этот человек был отменным психологом. Я понял, что в этом главное отличие офицера от рядового. В такой момент сказать нам «девочки» вместо «мальчики» — да мы так разъярились, что в глазах потемнело.

Ну, сейчас мы порвем весь этот бамбук с тряпками в такие клочья, что делать удочки да лоскутные одеяла больше будет не из чего!

Находясь в луче этой чертовой машины времени, ты испытывал странные чувства — тебя будто одолевал грипп, на глазах были бифокальные очки, предназначенные для человека с никуда не годным зрением, при этом ты словно оказался внутри гитары. Если это устройство не улучшить, едва ли оно станет популярным, а про безопас-

ность и говорить нечего.

Поначалу никакого народа из тысяча девятьсот восемнадцатого мы не увидели. Увидели только их окопы и колючую проволоку, чего на самом деле уже не было. Мы шли по этим окопам, будто их покрывали стеклянные крыши. Мы шли через колючую проволоку, но штаны оставались целыми. То есть проволока и окопы были не нынешними, а из тысяча девятьсот восемнадцатого.

За нами наблюдали тысячи солдат из всех стран мира, какие только можно придумать.

Надо признать, выглядели мы довольно бледно.

Из-за луча этой машины времени нас всех едва не вывернуло наизнанку, и мы наполовину ослепли. От нас ждали, что мы помчимся вперед с гиканьем и улюлюканьем, как и положено профессионалам. И вот мы оказались между этими сигнальными линиями, и все дрожали от страха, боялись глянуть по сторонам: вдруг сейчас вырвет? От нас ждали решительного наступления, а мы не могли понять, что тут из нашего времени, а что — из тысяча девятьсот восемнадцатого. Мы обходили несуществующие предметы и спотыкались о предметы, которые были на самом деле.

Глядя на это со стороны, я сказал бы, что вид у

нас комичный.

Я был первым в первом отделении первого взвода нашей часовой роты, и впереди меня находился только один человек — наш доблестный капитан.

Свое бесстрашное войско Порицкий напутствовал всего одним выкриком — он прокричал эти слова, чтобы мы совсем осатанели от кровожадности.

— Прощайте, бойскауты! Не забывайте писать мамочкам да носы вытирать, когда сопли потекут!

Потом пригнулся и на полной скорости помчался вперед по ничейной земле.

Я старался не отставать от него, чтобы не посрамить рядовой состав. Мы оба падали и подскакивали, как пара алкашей, а поле битвы безжалостно терзало нас.

Порицкий ни разу не оглянулся — посмотреть, как идут дела у меня, да и у всех остальных. Может, не хотел, чтобы кто-то увидел, как он позеленел. Я пытался кричать ему, что все наши остались далеко позади, но от этой безумной гонки у меня перехватило дыхание.

Вдруг Порицкий кинулся в сторону, к сигнальной линии: я решил, что он хочет укрыться в

дыму и там спокойно проблеваться, чтобы его никто не видел.

Я тоже оказался в дыму, потому что побежал за ним — и тут нас накрыла ударная волна из тысяча девятьсот восемнадцатого.

Несчастный старый мир вставал на дыбы и бурлил, плевался и дрыгался, кипел и возгорался. Грязь и сталь из тысяча девятьсот восемнадцатого летала сквозь Порицкого и меня во всех направлениях.

— Встать! — кричал Порицкий. — Это тысяча девятьсот восемнадцатый! Ничего тебе не сделается!

— Это как сказать! — кричал я в ответ.

У него был такой вид, будто он сейчас пнет меня в голову.

— Встать, солдат! — крикнул Порицкий.

Я встал.

— Дуй назад к остальным бойскаутам, — велел он. И указал на прореху в дымовой завесе — туда, откуда мы прибежали. Я увидел, как остальная рота показывает тысячам наблюдателей, какие они профессионалы — все лежали на земле и тряслись от страха. — Твое место с ними, — сказал Порицкий. — А мое место здесь — я выступаю соло.

— Не понял? — буркнул я. Голова сама повернулась вслед глыбе из тысяча девятьсот восемнадцатого, которая только что просвистела прямо сквозь наши головы.

— Смотри на меня! — заорал он.

Я посмотрел.

— Вот где проходит граница между мужчинами и мальчиками, солдат, — сказал он.

— Точно, сэр, — согласился я. — У вас скорость, как у ракеты, за вами никто не угонится.

— При чем тут скорость? — вскричал он. — Я говорю про боевой дух!

В общем, дурацкий шел у нас разговор. При этом через нас летали трассирующие пули из тысяча девятьсот восемнадцатого.

Я решил, что Порицкий говорит про бой с бамбуком и тряпками.

— У наших самочувствие не очень, капитан, но, думаю, мы победим, — заявил я.

— Я сейчас вырвусь за эту линию огней в тысяча девятьсот восемнадцатый! — прокричал он. — Кроме меня, на это не отважится никто. А ну, дай дорогу!

Я понял, что он не шутит. Порицкий и правда считал, что это будет круто, если он замашет флагом и нарвется на пулю — не важно, что та война

закончилась сто или сколько там лет назад. Он хотел получить свою долю славы, хотя чернила на мирных договорах так выцвели, что текст невозможно прочитать.

— Капитан, я простой рядовой, а рядовым не положено даже намекать. Но, капитан, — добавил я, — мне кажется, большого смысла в этом нет.

— Я рожден для боя! — вскричал капитан. — У меня внутренности ржавеют!

— Капитан, — продолжил я, — все, ради чего стоит воевать, уже было завоевано. У нас есть мир, у нас есть свобода, все кругом как братья, у всех есть хорошее жилье и цыпленок по воскресеньям.

Но он не слышал меня. Он шел к линии огней, где луч машины времени терял свою силу, где дым от огней был самым густым.

Перед тем как исчезнуть в тысяча девятьсот восемнадцатом навсегда, Порицкий остановился. Посмотрел на что-то внизу, может, увидел на ничейной земле птичье гнездо или маргаритку.

Но он нашел нечто другое. Я приблизился к нему и увидел: капитан стоит над воронкой от бомбы из тысяча девятьсот восемнадцатого, а мне казалось, что он висит в воздухе.

В этом несчастном окопе было два трупа, еще

двое живых — и все забрызганы грязью. Насчет покойников я сразу понял: одному оторвало голову, а другого разорвало надвое.

Если у тебя есть сердце и в завесе дыма ты натыкаешься на такое, вся Вселенная расплывается у тебя перед глазами. Армии мира больше не было, не было вечного мира, не было и Луверна, штат Луизиана, не было больше машины времени.

Во всем мире остались только Порицкий, я и этот окоп.

Если у меня когда-то будет ребенок, я вот что ему скажу.

— Ребенок, — скажу я, — никогда не балуй со временем. Сейчас пусть будет сейчас, а тогда — тогда. А если когда-то заплутаешь в завесе дыма, сиди смирно и жди, когда дым рассеется. Сиди смирно, ребенок, и жди, пока не увидишь, где ты был, где есть и куда собираешься идти.

Я бы встряхнул его.

— Ребенок, — сказал бы я. — Ты понял меня? Ты папку слушай. Он знает, что говорит.

Да только откуда же у меня возьмется ребенок? А ведь как хочется его пощупать, понюхать, услышать. Нет, шалишь, ребенок у меня будет.

Было видно, что четверо бедолаг из тысяча девятьсот восемнадцатого пытались из этого

жуткого окопа куда-то уползти, как улитки в аквариуме. От каждого из них тянулся след — от живых и от мертвых.

Тут в окоп влетел снаряд — и разорвался.

Когда комья земли, порхнув к небу, упали назад в окоп, в живых там оставался только один.

Он перевернулся с живота на спину и беспомощно раскинул руки. Казалось, предлагал тысяча девятьсот восемнадцатому всю свою плоть — мол, если уж так хочешь меня убить, бери и сильно не напрягайся.

И тут он увидел нас.

Его не удивило, что мы словно висели над ним в воздухе. Его уже ничто не могло удивить. Как-то медленно и неловко он вытянул винтовку из грязи и навел ее на нас. При этом улыбнулся, будто знал, кто мы, и никакого зла причинить нам он не может, и вообще все это — большая шутка.

Ствол винтовки был забит грязью, и шансов пробиться сквозь нее у пули не было. Винтовка взорвалась.

Но и это не удивило его, казалось, даже не причинило ему вреда. Он откинулся назад и тихо умер — с улыбкой на лице — такой же, с какой встретил всю эту шутку.

Артобстрел тысяча девятьсот восемнадцатого

прекратился.

Кто-то где-то вдали свистнул в свисток.

— О чем вы плачете, солдат? — спросил Порицкий.

— Я и не знал, что плачу, капитан, — ответил я. Кожа у меня натянулась, глаза горели, но я и понятия не имел, что плачу.

— Плачете, и уже давно, — сказал Порицкий.

Тут я, шестнадцатилетний переросток, заплакал по-настоящему. Я сел на землю и поклялся, что не встану, даже если капитан пнет меня ногой в голову и вышибет все мозги.

— Вон они! — вдруг яростно зарычал Порицкий. — Смотрите, солдат, смотрите! Американцы! — Он поднял пистолет и выстрелил в воздух, будто на Четвертое июля. — Смотрите!

Я посмотрел.

Казалось, луч машины времени пересекли, наверное, миллион человек. Они явились из ниоткуда на одной стороне и растаяли в ничто на другой. Глаза их были мертвы. Они передвигали ноги, как заводные игрушки.

Внезапно капитан Порицкий вцепился в меня и потащил за собой, будто я вообще ничего не весил.

— Вперед, солдат, мы идем с ними! — вскри-

чал он.

Этот маньяк хотел протащить меня через линию сигнальных огней.

Я извивался, кричал, пытался укусить его. Но было поздно.

Сигнальные линии исчезли.

Исчезло вообще все — остался только тысяча девятьсот восемнадцатый.

Я перебрался в тысяча девятьсот восемнадцатый навсегда.

Тут артиллерия грянула снова. Полетела сталь и фугасные бомбы, а я весь превратился в плоть, и тогда было тогда, и сталь встретилась с плотью.

Наконец я проснулся.

— Какой сейчас год? — спросил их я.

— Тысяча девятьсот восемнадцатый, — ответили они.

— А где я?

Они ответили: в соборе, который превратили в госпиталь. Жаль, что посмотреть на этот собор я не мог. Эхо доносилось откуда-то с большой высоты, и я понимал — собор гигантский.

Я не был героем.

Окружали меня сплошь герои, мне же похвастаться было абсолютно нечем. Я никого не проткнул штыком, никого не застрелил, не бро-

сил ни одной гранаты, не видел ни одного немца, кроме тех, что лежали в том жутком окопе.

Надо бы героев помещать в отдельные госпитали, чтобы не находились рядом с такими, как я.

Когда ко мне подходит кто-то, кто меня еще не слышал, я сразу сообщаю, что я участвовал в войне всего десять секунд, а потом в меня попал снаряд.

— Для победы демократии во всем мире я не сделал ничего, — говорю я. — Когда меня шибануло, я сидел и плакал, как малое дитя, и собирался пришить собственного капитана. Не убей его пуля, его убил бы я, а он, между прочим, был мой соотечественник, американец.

И ведь убил бы.

И добавляю: будь у меня хоть малая возможность, я бы тут же дезертировал в свой две тысячи тридцать седьмой.

С точки зрения военного трибунала тут сразу два нарушения.

Но всем тамошним героям было наплевать на это.

— Ладно тебе, приятель, — говорили они, — ты давай рассказывай. Если кто-то захочет отдать тебя под трибунал, мы поклянемся, что видели, как ты убивал немцев голыми руками, а уши

твои изрыгали огонь.

Им нравится, когда я рассказываю.

И вот я лежу, слепой, как летучая мышь, и рассказываю, как я меж ними очутился. Говорю все, что ясно содержится в моей голове: Армия мира, все кругом братья, вечный мир, никто не голодает, никто ничего не боится.

Так ко мне и прилепилась моя кличка. Ведь никто в этом госпитале не знал, как меня по правде зовут. Уж не помню, кто был первый, но теперь все меня только так и зовут: Великий день.

Сначала пушки, потом масло

© Перевод. М. Загот, 2021

1

— Берешь жареного цыпленка, режешь на куски, бросаешь на разогретую сковородку подрумяниваться, а там шипит смесь из сливочного и оливкового масла, — объяснил рядовой Доннини. — Только надо, чтобы сковородка здорово разогрелась, — добавил он задумчиво.

— Погоди, — остановил его рядовой Коулмен, яростно строча в книжечке. — Цыпленок большой?

— Фунта четыре.

— На сколько человек? — вмешался рядовой Нипташ.

— На четверых хватит, — ответил Доннини.

— А что в цыпленке костей полно, учитываешь? — с подозрением спросил Нипташ.

Доннини был гурман, и фраза «метать бисер перед свиньями» не раз приходила ему в голову, когда он объяснял Нипташу, как приготовить то или другое блюдо. Аромат, привкус — эти тон-

кости Нипташа не интересовали, ему бы только пожрать, вульгарно набить организм калориями. Нипташ записывал рецепты в записную книжечку, но считал, что порции какие-то куцые, значит, все составные части надо удвоить.

— Можешь все съесть сам — мне не жалко, — спокойно ответил Доннини.

— Ладно, ладно, дальше-то что? — спросил Коулмен, держа карандаш наготове.

— Поджариваешь минут пять с каждой стороны, потом мелко нарезаешь сельдерей, лук, морковь и приправляешь по вкусу. — Доннини чуть поджал губы, словно пробуя, что там получилось. — Все это у тебя потихонечку шипит, и тут добавляешь немного хереса и томатной пасты. Сковородку закрываешь. Оставляешь на медленном огне минут на тридцать, а потом… — Он умолк. Коулмен и Нипташ прекратили писать и, прикрыв глаза, прислонились к стене — ждали, что же будет дальше.

— Здорово, — мечтательно пробурчал Нипташ. — Знаешь, что я сделаю в первую очередь, кода вернусь в Штаты?

Доннини с трудом сдержал стон. Конечно же, он знал. Ответ на этот вопрос он слышал сотню раз. Нипташ был убежден, что блюда, способ-

ного насытить его голод, в мире не существует — поэтому он изобрел собственное, эдакого кулинарного монстра.

— Первым делом, — затараторил Нипташ, — закажу себе дюжину блинов. Так и скажу: девушка, — обратился он к воображаемой официантке, — двенадцать блинов! Получится такая стопочка — и между блинами кладу глазуньи. Одиннадцать штук. А знаешь, что сделаю дальше?

— Зальешь всю эту радость медом! — предположил Коулмен. Он, как и Нипташ, отличался зверским аппетитом.

— Молодец! — воскликнул Нипташ с блеском вожделения в глазах.

— Тьфу на вас! — вяло пробурчал капрал немецкой армии Клайнханс, их лысый охранник. По прикидкам Доннини, старику было лет шестьдесят пять. Клайнханс, человек рассеянный, часто погружался в собственные мысли. Среди пустыни нацистской Германии он был оазисом сострадания и несостоятельности. На английском говорил приемлемо — выучил, как сам рассказывал, когда четыре года работал официантом в Ливерпуле. Своими прочими впечатлениями от Англии он не делился, разве что замечал: едят там куда больше, чем полезно для здоровья нации.

Клайнханс покручивал свои кайзеровские усы, опираясь на старое, в человеческий рост ружье.

— Сколько можно говорить о еде? Из-за этого вы, американцы, и проиграете войну — слишком мягкотелые. — Он пристально посмотрел на Нипташа, который по самые ноздри завяз в воображаемых блинах, яйцах и меде. — Хватит мечтать, работать надо. — Это был не приказ, а предложение.

Три американских солдата сидели в ракушке дома с оторванной крышей, среди порушенной кирпичной кладки и исковерканной древесины. Это была Германия, город Дрезден. А время — начало марта 1945 года. Нипташ, Доннини и Коулмен были военнопленными. Капрал Клайнханс — их охранником. Ему надлежало загружать их работой — по камушку раскладывать многотонные городские развалины на благопристойные пирамидки, чтобы расчистить дорогу для несуществующего автомобильного движения. Формально эта троица отбывала наказание за какие-то мелкие нарушения тюремной дисциплины. На самом деле их каждодневная трудовая повинность на разгромленных улицах — под бдительным, но печальным голубым оком анемичного Клайнханса — была ничуть не хуже

или не лучше судьбы их более дисциплинированных собратьев, которые оставались за колючей проволокой. Клайнханс просил их только об одном: если появятся офицеры, ни в коем случае не сидите без дела.

Жизнь военнопленных протекала тускло — вносила в нее оживление разве что еда. Американская армия под командованием генерала Паттона была в ста милях. И если послушать, что говорили Нипташ, Доннини и Коулмен о приближении Третьей армии, казалось, будто в авангарде у нее не пехота и танки, а фаланга отвечающих за провиант сержантов и полевая кухня.

— Работать, работать, — снова распорядился капрал Клайнханс. Он смахнул пыль штукатурки с формы из дешевого серого сукна, которая плохо на нем сидела — скорбный наряд ополченцев, знававших лучшие времена, и посмотрел на часы. Получасовой перерыв на обед без признаков обеда как раз закончился.

Доннини еще минуту мечтательно полистал свою книжечку, потом убрал ее в нагрудный карман и поднялся на ноги.

Рецептурная эпидемия началась с того, что Доннини рассказал Коулмену, как приготовить

пиццу. Коулмен все подробно записал в одной из книжечек, коими разжился в разбомбленном магазине канцтоваров. Процесс записи доставил ему колоссальное удовольствие, и вскоре все трое, балдея от радости, принялись готовить свои кулинарные книги — записывать рецепты. Такое символическое изображение еды словно позволяло им приблизиться к еде материальной.

Каждый разделил свою книжечку на подразделы. К примеру, у Нипташа их было четыре: «Десерты на будущее», «Как лучше приготовить мясо», «Закуски» и «Всякая всячина».

Коулмен, нахмурив лоб, продолжал колдовать со своей книжечкой.

— А сколько хереса?

— Сухого хереса — важно, чтобы он был сухим, — уточнил Доннини. — Три четверти чашки. — Он увидел, что Нипташ что-то в своей книжечке вымарывает. — Что случилось? Сто граммов хереса меняешь на галлон?

— Нет. Я вообще про это забыл. Менял кое-что другое. Я передумал насчет самого желанного блюда, — признался Нипташ.

— Что же ты поставил на первое место? — спросил Коулмен с неподдельным интересом.

Доннини поморщился. Клайнханс тоже. Благо-

даря книжечкам нравственный конфликт между Доннини и Нипташем обозначился еще резче, обострился до крайности. Рецепты, которые предлагал Нипташ, были вульгарно-колоритными, сочиненными прямо тут же. Не то у Доннини: все тщательно проработанное, настоящее, изысканное. Коулмен разрывался между этими двумя крайностями. Это был конфликт гурмана и обжоры, художника и материалиста, красоты и чудовища. Доннини радовался любому союзнику, даже капралу Клайнхансу.

— Погоди, ничего не говори, — попросил Коулмен, листая страницы. — Сейчас я открою первую. — Самым главным компонентом в каждой из книжечек пока что была первая страница. По общему согласию она отводилась под блюдо, которое каждый желал отведать в первую очередь. Себе на первую страницу Доннини любовно занес формулу по приготовлению *Anitra al Cognac* — утка, приправленная бренди. Нипташ на почетное место поместил свою блинную жуть. Коулмен без особой уверенности отдал голос в пользу ветчины с засахаренным картофелем, но его быстро отговорили. Разрываясь между кулинарными полюсами, он на свою первую страничку занес рецепты и Нипташа, и Доннини, отложив окон-

чательное решение до более позднего срока. И вот теперь Нипташ подвергал его мукам Тантала, превращая свое блюдо в нечто еще более кошмарное. Доннини вздохнул. Коулмен был слабаком. Возможно, новые выкрутасы Нипташа вообще заставят Коулмена отказаться от *Anitra al Cognac* в каком бы то ни было виде.

— Убираю мед, — решительно заявил Нипташ. — У меня давно появились сомнения. Теперь точно знаю — я ошибался. Мед с яйцами — это не сочетается.

Коулмен сделал в книжечке пометку.

— Ну и? — спросил он выжидающе.

— Сверху — расплавленный шоколад, — объявил Нипташ. — Большой кусок расплавленного шоколада — шлепаешь его сверху, а дальше он растекается, заливает все блины.

— М-м-м-м-м, — проурчал Коулмен.

— Только и разговоров что про еду, — фыркнул капрал Клайнханс. — Целыми днями, изо дня в день — еда, еда, еда! Вставайте. Работать надо. Черт бы вас драл с вашими книжечками. Между прочим, это мародерство. Вполне могу вас за это расстрелять. — Он прикрыл глаза и вздохнул. — Еда, — произнес он негромко. — Ну что толку обсуждать ее, писать о ней? Говорите о девчон-

ках. О музыке. О выпивке, в конце концов. — Он протянул руки вверх, взывая к Всевышнему. — Что это за солдаты такие — целыми днями рецепты строчат?

— Можно подумать, что ты не голодный, — возразил Нипташ. — Чем тебе еда не угодила?

— Кормежки мне хватает, — отмахнулся от него Клайнханс.

— Шесть кусков хлеба и три тарелки супа в день — это «хватает»? — спросил Коулмен.

— Вполне, — подтвердил Клайнханс. — Я себя лучше чувствую. До войны у меня был лишний вес. А сейчас посмотри — я как мальчик. До войны от лишнего веса страдали все, потому что люди жили для того, чтобы есть, а надо есть для того, чтобы жить. — Он еле заметно улыбнулся. — Такой здоровой, как сейчас, Германия не была никогда.

— Что ж, тебе совсем есть не хочется? — не отступал Нипташ.

— В моей жизни, кроме еды, есть кое-что еще, — заметил Клайнханс. — Все, вставайте.

Без особого энтузиазма Нипташ и Коулмен поднялись.

— У тебя, папаша, из дула кусок штукатурки или чего-то еще торчит, — сказал Коулмен.

И они побрели на заваленную обломками улицу, а Клайнханс перевернул свое ружье и начал спичкой выковыривать из дула штукатурку, что-то бормоча про дурацкие записные книжки.

Из миллиона камней Доннини выбрал один поменьше, поднес его к тротуару и положил к ногам Клайнханса. Постоял, положив руки на бедра.

— Жарко, — заметил он.

— Для работы то, что надо. — Клайнханс присел на тротуар. — Ты до войны кем был, поваром? — спросил он после длинной паузы.

— У отца в Нью-Йорке итальянский ресторан — я помогал ему.

— У меня тоже было местечко в Бреслау. — Клайнханс вздохнул. — Давным-давно. Это же надо, сколько времени и сил немцы тратили на то, чтобы набивать брюхо дорогой жратвой. Ну не дурость ли?

Клайнханс посмотрел мимо Доннини, и взгляд его застыл. Он погрозил пальцем Коулмену и Нипташу, которые стояли посреди улицы, в одной руке у каждого был камень размером с бейсбольный мяч, в другой — книжечка.

— По-моему, надо добавить сметану, — говорил Коулмен.

— Уберите ваши книжки! — велел Клайнханс.

— У тебя что, девушки нет? Уж лучше о девушке поговорите.

— Есть девушка, почему же ей не быть, — проворчал Коулмен. — Мэри зовут.

— И больше о ней нечего сказать? — спросил Клайнханс.

Коулмен озадаченно посмотрел на него:

— Фамилия Фиске — Мэри Фиске.

— Хорошенькая она, эта твоя Мэри Фиске? Чем занимается?

Коулмен задумчиво прищурился:

— Однажды я ждал, когда она спустится, а ее матушка как раз готовила лимонный пирог безе. Она взяла сахар, немного кукурузного крахмала, щепотку соли, залила двумя чашками воды…

— Давай лучше о музыке. Музыку любишь? — спросил Клайнханс.

— Ну а дальше что она сделала? — заинтересовался Нипташ. Он положил камень на землю и начал записывать в книжечку. — Небось яиц добавила?

— Ребята, ну хватит, — взмолился Клайнханс.

— Как же без яиц, — подтвердил Коулмен. — А потом и масло. Масло и яйца, да побольше.

2

Через четыре дня Нипташ нашел в подвале цветные карандаши — именно в тот день Клайнханс обратился с просьбой о том, чтобы его освободили от «провинившихся» и дали другое задание, но ему отказали.

Они, как обычно, вышли в город, и Клайнханс был в жутком настроении — он придирался к своим подопечным за то, что идут не в ногу и держат руки в карманах.

— Давайте, тетки, поговорите мне еще о еде, — подначивал он их. — Слава Богу, я этого больше не услышу. — С торжественным видом Клайнханс засунул руку в подсумок, достал оттуда два кусочка ваты и воткнул себе в уши. — Теперь могу думать о своем. Ха!

В полдень Нипташ пробрался в погреб разбомбленного дома, надеясь найти там банки с консервированными фруктами и овощами, какие хранились в уютном погребке у него дома. На поверхность он выбрался грязный и недовольный, грызя, за неимением лучшего, зеленый карандаш.

— Ну как? — спросил Коулмен с надеждой, глядя на желтый, фиолетовый, розовый и оранжевый

карандаши в левой руке Нипташа.

— Шикарно. Какой аромат предпочитаете? Лимонный? Виноградный? Клубничный?

Он бросил цветные карандаши на землю и выплюнул зеленый им вслед.

Настал час обеда — Клайнханс сидел спиной к своим подопечным, задумчиво глядя на искалеченную линию горизонта. Из ушей его торчали два белых пучка.

— Знаешь, что сейчас было бы в самый раз? — спросил Доннини.

— Пломбир со взбитыми сливками, а сверху — орешки с сиропчиком, — быстро предложил Коулмен.

— И вишенками, — добавил Нипташ.

— *Spiedini alla Romana*, — прошептал Доннини и прикрыл глаза.

Нипташ и Коулмен выдернули из карманов свои книжечки.

Доннини поцеловал кончики пальцев.

— Бифштексы на вертеле по-римски, — пояснил он. — Берешь фунт рубленого мяса, два яйца, три столовые ложки римского сыра и…

— На сколько? — перебил его Нипташ.

— Шесть нормальных человек — или полсвиньи.

— И на что это похоже? — спросил Коулмен.

— Ну, всякая всячина висит на вертеле. — Доннини краем глаза заметил, что Клайнханс вынул из уха заглушку и тут же вставил обратно. — Трудно описать.

Он поскреб в затылке, потом взгляд его упал на карандаши. Он взял желтый и начал рисовать. Занятие ему понравилось, он привлек и другие карандаши, где-то что-то оттенил, где-то что-то выделил, а в конце даже изобразил клетчатую скатерть. И передал рисунок Коулмену.

— М-м-м-м, — только и произнес Коулмен, покачивая головой и облизывая губы.

— Вот это да! — восхитился Нипташ. — Эти красавцы просто сами лезут тебе в рот!

Коулмен с энтузиазмом протянул Доннини свою книжечку, открытую на странице с бесхитростной надписью ТОРТЫ.

— Можешь нарисовать торт «Леди Балтимор»? Ну, знаешь, с вишенками наверху?

Доннини исполнил просьбу товарища — и результат был встречен одобрительными возгласами. Получился симпатичный торт, и для пущего эффекта Доннини пририсовал сверху надпись: «С возвращением, рядовой Коулмен!»

— А нарисуй-ка мне мою стопку блинов — две-

надцать штук, — потребовал Нипташ. — Да-да, моя дорогая, вы не ослышались — двенадцать!

Доннини неодобрительно покачал головой, но принялся делать набросок.

— Сейчас покажу мою картинку Клайнхансу, — радостно заявил Коулмен, любовно держа свой торт «Леди Балтимор» на расстоянии вытянутой руки.

— И сметанки сверху, — попросил Нипташ, дыша Доннини в затылок.

— *Ach! Mensch!* — вскричал капрал Клайнханс, и книжечка Коулмена раненой птицей приземлилась на куче мусора у ближайшей двери. — Обед окончен! — Решительным шагом он подошел к Доннини и Нипташу, выхватил у них книжечки и засунул себе в нагрудный карман. — Теперь, значит, картинки рисуем? А ну, пошли работать! — Чтобы подкрепить слова делом, он прикрепил к своему ружью длиннющий штык. — Пошли! *Los!*

— Что это с ним? — удивился Нипташ.

— Я только и сделал, что нарисованный торт ему показал, а он давай психовать, — пожаловался Коулмен. — Одно слово — нацист, — буркнул он.

Доннини сунул карандаши в карман, держась

подальше от разящего меча Клайнханса.

— В Женевской конвенции сказано: рядовые должны свой хлеб отрабатывать! — прорычал капрал Клайнханс. И задал им жару: целый день они трудились в поте лица своего. Как только кто-то из трех пытался открыть рот, он яростно выкрикивал какую-то команду. — Эй, ты! Доннини! А ну убери эту тарелку со спагетти! — распоряжался он, указывая носком ноги на здоровенный булыжник. Потом подходил к балкам двенадцать на двенадцать, лежавшим посреди улицы. — Нипташ и Коулмен, дети мои, — напевно гудел он, хлопая в ладоши, — вот шоколадные эклерчики, о которых вы так мечтали. Каждому по штучке. — Он чуть не протаранил своим лицом лицо Коулмена. — Со взбитыми сливками, — прошипел он.

Бригада, вернувшаяся вечером на территорию тюрьмы, представляла собой по-настоящему мрачное зрелище. Доннини, Нипташ и Коулмен давно взяли себе за правило возвращаться, чуть прихрамывая, словно тяжелые труды и жесточайшая дисциплина надломили их физически. Клайнханс, в свою очередь, прекрасно играл роль надсмотрщика, рычал на них, как своенравная овчарка, когда они, спотыкаясь, проходили че-

рез тюремные ворота. В этот вечер все было как обычно, но изображаемая ими трагедия была подлинной.

Клайнханс рванул дверь барака и властным жестом повелел своим подопечным входить.

— *Achtung!* — раздался пронзительный голос изнутри. Доннини, Коулмен и Нипташ замерли и неуклюже зависли в дверях, стараясь держать пятки вместе. Хрустнув кожей и щелкнув каблуками, капрал Клайнханс бухнул ложем своего ружья по полу и, дрожа, выпрямился — в той степени, в какой ему позволяла больная спина. Оказалось, нагрянула проверка — в бараке находился немецкий офицер. Раз в месяц такое бывало. Перед шеренгой заключенных, широко расставив ноги, в шинели с меховым воротником и черных сапогах, стоял коротышка полковник. Рядом с ним — толстяк сержант из охраны. Все смотрели на капрала Клайнханса и его команду.

— Так-так, — сказал полковник по-немецки, — что у нас здесь такое?

Сержант быстро, помогая себе жестами, объяснил, что к чему, его карие глаза лучились раболепием.

Сцепив руки за спиной, полковник неторопливо прошествовал по цементному полу барака и

остановился перед Нипташем.

— Ти плоха сибя вель, малчик?

— Так точно, — не стал возражать Нипташ.

— Теперь сожалей?

— Так точно.

— Маладец. — Полковник несколько раз обошел жалкую группку, что-то бурча себе под нос, остановился перед Доннини и ощупал ткань его рубашки.

— Ти все панимаешь, когда я говорит на английски?

— Так точно, все очень понятно, — ответил Доннини.

— А мой агцент похож на какой штат Америка?

— Милуоки, сэр. Если бы не знал, кто вы, точно сказал бы: это парень из Милуоки.

— Вот, я могу быть шпиен в Милувоки, — с гордостью сообщил полковник сержанту. Внезапно взгляд его упал на капрала Клайнханса, чья грудь была чуть ниже уровня полковничьих глаз. Добродушие его вмиг исчезло. Он сделал несколько шагов и расположился непосредственно перед Клайнхансом. — Капрал! У вас расстегнут карман гимнастерки! — сказал он по-немецки.

Глаза Клайнханса едва не выкатились из орбит,

а рука метнулась к карману-нарушителю. Он отчаянно пытался пропихнуть в клапан пуговицу, но ничего не получалось.

— У вас что-то лежит в кармане, — заявил полковник, наливаясь краской. — В этом все дело. Достаньте, что там у вас!

Клайнханс выдернул из кармана две записные книжки, тут же застегнул клапан и вздохнул с облегчением.

— И что же у вас в этих книжечках? Список заключенных? Взыскания? Покажите.

Полковник выхватил книжечки из ослабевших пальцев Клайнханса. Тот закатил глаза.

— Это еще что такое? — взвизгнул полковник, не веря своим глазам. Клайнханс попытался открыть рот. — Молчать, капрал! — Полковник вскинул брови и вытянул руку с книжечкой так, чтобы написанным в ней мог насладиться и сержант. — Што я съем первым делом, как попаду домой, — медленно прочитал он и покачал головой. — Ха! Тфенатцать плиноф, мешту ними клату класуньи. О-о! И корячие слифки сверху! — Он повернулся к Клайнхансу. — Тебе этого так хочется, бедненький? — спросил он по-немецки. — И картинку симпатичную нарисовал. М-м-м-м-м. — Он протянул руку к плечу Клайнханса.

— Капралы должны думать о войне постоянно. Рядовые могут думать о чем хотят: девушки, еда и прочие радости, — если выполняют приказы капрала. — Ловко, словно он делал это много раз, ногтями больших пальцев полковник подцепил серебристые капральские звездочки на погонах Клайнханса. Мелкими камушками они стукнулись об пол и укатились в дальний конец барака. — Быть рядовым — это так здорово!

Клайнханс еще раз кашлянул в надежде высказаться.

— Молчать, рядовой!

3

На душе у Доннини было мерзко. Он знал — Нипташ и Коулмен чувствуют себя не лучше. Было первое утро после того, как Клайнханс лишился своих звездочек. Со стороны Клайнханс выглядел как обычно. Походка его, как всегда, была пружинистой, он не утратил способности получать удовольствие от свежего воздуха и проглядывавших сквозь развалины признаков весны.

Они прибыли на свою улицу — несмотря на их трехнедельную повинность, проехать по улице было все равно нельзя не только на машине,

но и на велосипеде. Клайнханс не стал гонять их в хвост и в гриву, как день назад. Не сказал он и своих обычных слов: мол, делайте вид, что вкалываете. Он привел их прямо к развалинам, где они проводили время обеда, и жестом предложил сесть. Сам он тоже сел и прикрыл глаза. Так они сидели и молчали, американцев мучили угрызения совести.

— Ты извини, что из-за нас звездочек лишился, — выдавил наконец Доннини.

— Быть рядовым — это так здорово, — мрачно заметил Клайнханс. — Две войны я шел к званию капрала. И вот, — он прищелкнул пальцами, — все превратилось в пшик. Поваренные книги запрещены.

— Слушай, — обратился к Клайнхансу Нипташ, голос его слегка дрожал. — Курнуть хочешь? У меня есть венгерская сигарета.

И он вытянул ладонь, на которой лежала настоящая драгоценность.

Клайнханс печально улыбнулся:

— Пустим по кругу.

Он зажег сигарету, затянулся, потом передал Доннини.

— Где взял венгерскую сигарету? — спросил Коулмен.

— У венгра, — ответил Нипташ. Он подтянул брючины. — На носки выменял.

Они покурили и продолжали сидеть, откинувшись на кирпичную кладку. Насчет работы Клайнханс не обмолвился и словом. Казалось, мысли унесли его куда-то далеко.

— А вы, ребята, про харчи больше не говорите? — спросил Клайнханс после затянувшейся паузы.

— После того, как у тебя забрали звездочки? — угрюмо спросил Нипташ. — Что-то не хочется.

Клайнханс кивнул:

— Ничего страшного. Как пришло, так и ушло. — Он облизнул губы. — Скоро все это кончится. — Он откинулся назад, потянулся. — Знаете, парни, что я перво-наперво сделаю, когда все это кончится? — Рядовой Клайнханс мечтательно закрыл глаза. — Возьму говяжью лопатку, фунта три, нашпигую ее беконом. Натру чесноком, посолю, поперчу, положу в котелок, добавлю белого вина с водичкой, — голос словно дал трещину, — лука, лаврового листа, сахарку, — он поднялся, — и засыплю все это зернышками перца! Через десять дней, братцы, блюдо готово!

— Какое блюдо? — встрепенулся Коулмен, хватаясь за карман, где когда-то лежала записная

книжка.

— Жаркое из маринованного мяса! — воскликнул Клайнханс.

— На сколько человек? — спросил Нипташ.

— На двоих, дружище. Извини. — Клайнханс положил руку на плечо Доннини. — Как раз для двух голодных гурманов, верно, Доннини? — Он подмигнул Нипташу. — А для тебя с Коулменом я сварганю что-нибудь посолиднее. Например, двенадцать блинов, а между ними — по кусочку полковника. А сверху горячих сливок, да побольше. Пойдет?

1951 год — с днем рождения

© Перевод. М. Загот, 2021

— Лето для дня рождения — самая подходящая пора, — сказал старик. — Раз есть возможность выбирать, почему не выбрать летний денек?

Он послюнил большой палец и стал листать стопку бумаг, которые солдаты велели заполнить. А какой же документ без дня рождения? Получается, что для мальчика этот день надо выбрать.

— Если не возражаешь, твой день рождения будет сегодня, — предложил старик.

— Сегодня с утра дождь шел, — возразил мальчик.

— Давай завтра. Ветер гонит облака на юг. Завтра весь день будет светить солнце.

С утра зарядил ливень, солдаты искали, где укрыться от непогоды, и наткнулись на убежище среди развалин, где каким-то чудом старик и мальчик умудрились прожить целых семь лет без документов — можно сказать, без официального права на жизнь. Они сказали: без документов человек не имеет права на пищу, крышу над головой или одежду. Но старик и мальчик, зарывшись

в катакомбы погребов под поруганным городом, нашли то, другое и третье — на промысел они выходили по ночам.

— Почему ты дрожишь? — спросил мальчик.

— Потому что я старик. А старики солдат боятся.

— Я не боюсь, — заявил мальчик. Внезапное вторжение в их подземную жизнь сильно взбудоражило его. В руке мальчика что-то блестело, играло желтыми бликами в узком луче света, что струился в окно погреба. — Видишь? Один из них дал мне медную пуговицу.

И правда, ничего пугающего в солдатах не было. Старик был слишком стар, а мальчишка слишком молод, и вид этой парочки солдат даже развеселил: надо же, нигде не зарегистрированы, ни от чего не привиты, на верность никому не присягали, ни от чего не отрекались, ни за что не извинялись, ни за что не голосовали, ни против чего не маршировали — с самой войны. Таких больше во всем городе, пожалуй, и не сыскать.

— Да я и думать не думал, — сказал старик солдатам, слегка прикидываясь маразматиком. — Откуда мне знать?

Он рассказал им, как в день окончания войны какая-то несчастная сунула ему в руки ребенка,

убежала и не вернулась. Вот так парень и появился. А чей он гражданин? Как его зовут? Когда родился? Понятия не имею.

Старик палкой выкатил из горящей печурки картофелины, сбил с почерневшей кожуры тлеющие угольки.

— Не сказать, что я был тебе хорошим отцом, позволил столько лет ходить без дня рождения. Уж на один день в году ты имеешь право, а я тебя целых шесть лет без дня рождения продержал. И без подарков. А имениннику подарки положены. — Он осторожно подцепил картофелину, перебросил ее мальчику, тот поймал ее и засмеялся. — Значит, назначаем твой день рождения на завтра?

— Давай.

— Идет. Не так много у меня времени, чтобы добыть тебе подарок, но я кое-что придумаю.

— А что?

— Лучше, когда подарок на день рождения — сюрприз. — Старик подумал о колесах, которые видел в куче хлама на улице. Мальчик заснет, а он ему соорудит что-то вроде тележки.

— Слышишь? — спросил мальчик.

Каждое утро с какой-то отдаленной улицы до руин доносился топот марширующих солдат.

— Да не слушай ты, — отмахнулся старик. Он поднял палец, требуя внимания. — Знаешь, что мы сделаем на твой день рождения?

— Украдем в пекарне пирожные?

— Возможно, но я подумал не про это. Знаешь, чем мы завтра займемся? Отведу тебя туда, где ты в жизни не был, где я и сам не был уж вон сколько лет. — Старик явно оживился и повеселел. Вот это будет подарок! Что там тележка! — Завтра я уведу тебя подальше от войны.

Старик не заметил, что мальчика эти слова озадачили и даже слегка разочаровали.

Итак, наступил день рождения мальчика, который он выбрал себе сам, небо, как и обещал старик, было ясным. В сумеречном свете своего погреба они позавтракали. Вечером старик смастерил тележку, и теперь она стояла на столе. Мальчик ел одной рукой, а другой поглаживал коляску. Иногда он переставал есть и катал тележку взад-вперед, издавая при этом звук мотора.

— Хороший у вас грузовичок, мой господин, — сказал старик. — Небось живность на рынок везете?

— Брамммм! Брамммм! Поберегись! Брамммм! А то мой танк вас раздавит!

— Извини, — вымолвил старик со вздохом, — а

я думал, ты — грузовик. Ну, не важно, главное — нравится. — Свою жестяную тарелку он бросил в ведро с водой, кипевшей на медленном огне. — И это только начало, самое начало, — многообещающе сказал он. — Лучшее впереди.

— Еще что-то мне подаришь?

— В каком-то смысле. Помнишь, что я тебе обещал? Сегодня мы идем туда, где нет войны. В лес.

— Брамммм! Брамммм! А можно, я возьму с собой танк?

— Если он будет грузовиком, хотя бы на сегодня.

Мальчик пожал плечами:

— Тогда я его тут оставлю, а вернемся, тогда и поиграю.

Щурясь в ярком утреннем свете, два наших героя прошли по своей пустынной улице и свернули на оживленный бульвар, обрамленный новыми прекрасными домами. Казалось, мир снова приободрился, почистился, обрел почву под ногами. Люди словно не хотели знать, что запустение начиналось в одном квартале по каждую сторону замечательного бульвара и простиралось на мили. Держа пакеты с провизией под мышками, старик и мальчик шли в южную сторону, к поросшим соснами холмам, куда поло-

го поднимался бульвар.

Навстречу им по тротуару шли четыре молодых солдата. Старик посторонился, шагнув на проезжую часть улицы. Мальчик же своих позиций не уступил и отдал солдатам честь.

Те улыбнулись, козырнули в ответ, расступились и позволили ребенку пройти.

— Бронетанковые войска, — сообщил мальчик старику.

— Хм-м-м? — промычал старик с отсутствующим видом, не отрывая глаз от зеленых холмов. — Правда, что ли? А ты откуда знаешь?

— У них же зеленые галуны, не заметил?

— Заметил, но эти знаки меняются. Помню, раньше у бронетанковых войск было черное с красным, а зеленое… — Он прервал себя на полуслове. — Это все чушь, — бросил он, едва скрывая раздражение. — Это все бессмыслица, и сегодня мы об этом забудем. У тебя сегодня день рождения, а ты думаешь неизвестно о…

— Черные с красным — это инженерные войска, — с серьезным видом перебил его мальчик. — Просто черный цвет — это военная полиция, красный — артиллерия, синий с красным — медицинская служба, а черный с оранжевым…

В сосновом лесу стояла полная тишина. Веко-

вой ковер из иголок и зеленой листвы заглушал все звуки, приплывавшие из города. Старик и мальчик оказались в окружении бесконечной колоннады мощных бурых стволов. Солнце, стоявшее прямо у них над головами, прорывалось к ним яркими уколами сквозь густую завесу зелено-игольчатой кущи.

— Здесь? — спросил мальчик.

Старик огляделся по сторонам.

— Нет, чуть подальше. — Он показал рукой: — Вон там — видишь? Отсюда видна церковь. — Черный каркас обгоревшей колокольни был вписан в голубой квадрат неба, между двумя мощными стволами на краю леса. — Прислушайся — слышишь? Вода. Там, наверху — ручей, вдоль него можно спуститься в лощину, оттуда видны только верхушки деревьев и небо — больше ничего.

— Ладно, — согласился мальчик. — Вообще-то мне и здесь нравится, но пойдем дальше.

Он взглянул на колокольню, на старика и вопросительно поднял брови.

— Увидишь, там намного лучше, — заверил старик.

Они добрались до вершины гребня, и радостным жестом старик указал на текущий внизу

ручей.

— Ну, что скажешь? Это же чистый рай! Так все было в стародавние времена — деревья, небо и вода. Это мир, какой должен быть у нормального человека — наконец-то сегодня он есть и у тебя.

— Смотри-ка! — перебил его мальчик, указывая на гребень напротив.

Огромный танк, проржавевший до цвета опавших сосновых иголок, засел на склоне, вцепившись в него разбитыми гусеницами, черная дыра, из которой когда-то торчала пушка, была изъедена шрамами коррозии.

— Как нам добраться до него через ручей? — спросил мальчик.

— Нам незачем туда добираться, — ответил старик с легким раздражением. Он крепко взял мальчика за руку. — Сегодня — незачем. Может быть, как-нибудь в другой раз. Но не сегодня.

Мальчик заметно приуныл. Его маленькая рука обмякла в стариковской.

— Впереди поворот — за ним мы найдем именно то, что нам нужно.

Мальчик промолчал. Он подобрал с земли камень и бросил его в танк. Маленький снаряд летел к цели, и мальчик напрягся, подобрался, словно мог взорваться весь мир. Камень попал

в башню, раздался легкий щелчок — и мальчик сразу успокоился, цель была достигнута. И он послушно последовал за стариком.

За поворотом они нашли то, что искал старик: гладкое и сухое каменное плато, нависавшее над ручьем и огражденное его высокими берегами. Старик растянулся на мшистой поверхности, любовно похлопал по камню рядом с собой, приглашая мальчика сесть. Разложил съестное для ланча.

Они поели, и мальчик стал ерзать.

— Тут так тихо, — сказал он наконец.

— Так и должно быть, — объяснил старик. — Это лишь один уголок, но именно такой должна быть земля.

— Тут одиноко.

— В этом и красота.

— Мне больше нравится в городе, там солдаты и…

Старик резко схватил мальчика за руку и крепко сжал ее.

— Нет. Ты просто не понимаешь. Ты еще совсем молодой и не понимаешь того, что видишь сейчас, что я пытаюсь тебе передать. Станешь повзрослее — вспомнишь и захочешь прийти сюда снова, твоя тележка к тому времени давно

сломается.

— Не хочу, чтобы моя тележка ломалась, — сказал мальчик.

— Да не сломается она. Ты просто полежи здесь, закрой глаза и прислушайся, постарайся обо всем забыть. Это и есть мой тебе подарок — несколько часов вдали от войны.

И он закрыл глаза.

Мальчик прилег рядом и, подчиняясь, тоже закрыл глаза.

Когда старик проснулся, солнце уже клонилось к закату. От долгого сна у ручья ломило спину, на теле выступил пот. Он зевнул и потянулся.

— Пора идти, — сказал он, не открывая глаз. — Наш день мира закончился.

Тут старик понял, что мальчика нет. Он позвал его, поначалу без всякой тревоги. Но ответом ему был только ветер, тогда он поднялся и выкрикнул имя мальчика во весь голос.

В душе старика зашевелилась паника. Ведь мальчик никогда не был в лесу, мог запросто заблудиться, если пошел в северную сторону, по склону в глубь леса. Старик забрался повыше и снова закричал. В ответ — тишина.

Может быть, мальчик спустился вниз, к танку, попробовал пересечь ручей? А плавать не умеет.

Старик заспешил вниз вдоль ручья, к повороту, откуда открывался вид на танк. Жуткий свидетель прошлого озлобленно пялился на него с другой стороны оврага. Движения не было, только шелестел ветер в листве, да журчала вода.

— Ба-бах! — крикнул детский голосок.

Из башни танка высунулась голова мальчика.

— Попал! — торжествующе объявил он.

Больше жизни!

© Перевод. М. Загот, 2021

Было такое время, когда я принимал точку зрения отца: мол, будешь благопристойным, смелым, внушающим доверие и вежливым бойскаутом — и судьба тебя не обидит. Однако с тех пор мне не раз приходилось усомниться в справедливости родительских наставлений, в частности, полагаю, что адские пажити — куда лучшая школа жизни, чем игры в Зеленый патруль. Меня не покидает чувство, что мой приятель Луис Джилиано, с двенадцати лет куривший сигары, оказался гораздо лучше подготовлен к жизни в условиях хаоса, чем я, — хотя меня обучали, как обезвредить противника с помощью перочинного или консервного ножа и дырокола для кожаных ремней.

С наукой выживания я в полной мере познакомился в лагере для военнопленных в Дрездене. Мне, добропорядочному американскому отроку, пришлось делить невзгоды с Луисом — эдаким наглым пронырой, который в гражданской жизни толкал гашиш сопливым девчонкам. Сейчас

я вспоминаю о Луисе, потому что едва свожу концы с концами, а он живет как принц, хорошо постигнув механизмы окружающего нас мира. Это было ясно уже в Германии.

В соответствии с демократическими положениями Женевской конвенции нам, рядовым, полагалось отрабатывать свой хлеб. Мы все и работали — все, кроме Луиса. Оказавшись за колючей проволокой, он сразу доложил англоговорящему нацисту-охраннику, что воевать не собирался, а эта братоубийственная война — дело рук Рузвельта и всемирной шайки еврейских банкиров. Я спросил его: ты это серьезно?

— Господи, да устал я, понимаешь? — ответил он. — Полгода повоевал — хватит с меня. Хочу передохнуть, и чтобы кормежка была не хуже, чем у людей. Мой тебе совет: больше жизни!

— Нет уж, спасибо, — процедил я сквозь зубы.

Меня послали на работу — махать лопатой. Луис остался в лагере — помощником немецкого сержанта. За то, что он с этого сержанта сдувал пылинки три раза в день, Луис получал дополнительный паек. А я наживал себе грыжу, разгребая завалы после налета американской авиации.

— Ты коллаборационист! — шипел я на него после невыносимо тяжелого дня среди городских

руин. Он с охранником стоял у тюремных ворот, весь из себя чистенький и оживленный, — и кивал знакомым, которые изрядно намаялись и пропитались пылью улиц. В ответ на мой упрек Луис взялся сопроводить меня до нашего барака.

Он положил руку мне на плечо.

— Это, парнишка, как посмотреть, — сказал он. — Ты, между прочим, помогаешь немчуре расчищать улицы, чтобы они снова могли гонять по ним в грузовиках и на танках. Это не коллаборационизм? Я пособничаю немцам? Ты все перевернул с ног на голову. Я курю их сигареты и объедаю их — это плохо? Этим я помогаю немчуре выиграть войну?

Я плюхнулся на свою койку. Луис уселся рядом на соломенный матрац. Моя рука свисала вдоль койки, и взгляд Луиса остановился на моих наручных часах — подарке мамы.

— Отличные часы, парнишка, просто класс, — похвалил он. Потом добавил: — Наверное, после праведных трудов жрать хочется?

Естественно, я изнывал от голода. Суррогатный кофе, миска жиденького супа, три куска черствого хлеба — разве такой стол способен зажечь огонь в сердце разгребателя завалов, отпахавшего девять часов подряд? Луис относился ко мне

с сочувствием. Я вообще ему нравился, и он был готов помочь.

— Ты хороший малый, парнишка, — сказал он. — Я тебя выручу. Заключим небольшую сделку. Какой смысл ходить голодным? А за эти твои часики дадут как минимум две буханки хлеба. Выгодная сделка, разве нет?

В ту минуту две буханки хлеба были чем-то ослепительно недосягаемым. Столько еды для одного человека — это даже не укладывалось в голове. Но я попробовал поднять ставку.

— Слушай, приятель, — оборвал он меня. — Эта цена — только для тебя, выше уже некуда. Я тебе еще одолжение делаю, понимаешь? Только про сделку — молчок, иначе тут каждый захочет получить за свои часы две буханки хлеба. Обещаешь?

Я поклялся всем, что есть в этой жизни святого, — о великодушии моего лучшего друга Луиса не узнает ни одна живая душа. Через час он вернулся. Украдкой оглядев казарму, достал из свернутой плащ-палатки длинную буханку хлеба и запихнул ее под мой матрац. Я ждал, что сейчас он осуществит второй подход. Но мои ожидания не сбылись.

— Не знаю, как тебе объяснить, парнишка. Охранник, с которым я веду дела, сказал: после

контрнаступления немцев появилось много новых военнопленных — и часовой рынок рухнул. Слишком много желающих толкнуть свои часики, понимаешь? Ты уж извини, но старина Луис и так сделал для тебя все возможное — твои часы сейчас больше не стоят. — Он потянулся к буханке, лежавшей под матрацем. — Если считаешь, что тебя надули, только скажи — я буханку заберу и принесу назад твои часики.

В желудке у меня все застонало.

— Черт с ним, Луис, — быстро сдался я. — Пусть будет, как есть.

Наутро я проснулся и по привычке глянул на кисть — узнать время. И тут понял, что моих часиков больше нет. Солдат в койке надо мной тоже зашевелился. Я спросил у него: который час? Он свесил голову с кровати, и я увидел, что его челюсти активно перемалывают хлеб. Отвечая мне, солдат осыпал меня дождем из крошек. Часов у него больше не было. Солдат все жевал и глотал, наконец огромный кусок хлеба исчез в его чреве, и он смог внятно объясниться.

— Плевать я хотел на время, — сказал он. — Луис дал мне две буханки и десять сигарет за часы, которые и новыми едва двадцать долларов стоили.

У Луиса была монополия на общение с охран-

никами. Он ведь во всеуслышание заявлял, что согласен с нацистскими принципами, поэтому наши стражи считали его самым толковым из нас, в результате весь наш черный рынок шел через этого продажного Иуду. Через полтора месяца после того как нас расквартировали в Дрездене, никто, кроме Луиса и охранников, не знал, который сейчас час. Еще через пару недель Луис освободил всех женатых от их обручальных колец, выдвинув следующий мощный аргумент:

— Будете разводить сантименты — помрете с голодухи. Прекраснее любви нет ничего на свете, понятное дело.

О-о, как он на нас наживался! Позже я узнал, к примеру, что мои часы ушли за сотню сигарет и шесть буханок хлеба. Любой, кому знакомо чувство голода, согласится — компенсация была весьма щедрой. Почти все свое богатство Луис конвертировал в самые ценные из ценных бумаг — сигареты. Вскоре он понял: у него есть все условия для того, чтобы стать ростовщиком. Каждые две недели нам выдавали по двадцать сигарет. Рабы этой вредной привычки выкуривали свой паек за день или два, а потом в ожидании следующего пайка тряслись мелкой дрожью. Луис, которого стали называть «Другом

народа» и «Честным Джоном», объявил: сигареты можно одолжить у него до следующего пайка — под вполне разумные пятьдесят процентов. Соответственно, раз в две недели его богатство удваивалось. Я жутко задолжал ему и отдать под залог мог разве что свою душу. Я сказал Луису, что нельзя быть таким жадным.

— Иисус выгнал менял из храма, — напомнил я ему.

— Так ведь они ссужали деньги, парнишка, — ответил он. — Я что, умоляю тебя занимать у меня сигареты? Это ты меня умоляешь, чтобы я одолжил их тебе. Сигареты, друг мой, — это роскошь. Чтобы остаться в живых, курить не обязательно. Очень может быть, что без сигарет ты проживешь дольше. Откажись от этой поганой привычки, и делу конец!

— Сколько штук можешь одолжить до следующего вторника? — спросил я.

Скоро благодаря ростовщичеству запасы Луиса разрослись до немыслимых размеров — и тут произошла катастрофа, которую он с нетерпением ждал, и цены на его сигареты взлетели в поднебесье. Американская авиация смела хилую противовоздушную оборону Дрездена и среди прочего уничтожила основные сигаретные фаб-

рики. В результате паек на сигареты был срезан начисто, не только для военнопленных, но и для охранников и гражданских. В мире местных финансистов Луис стал ключевой фигурой. Охранники, оставшись без дымка за душой, начали возвращать Луису наши кольца и часы — конечно, за меньшую цену. Кое-кто оценивал его богатство в сто часов. Собственная оценка Луиса была скромнее: всего пятьдесят три пары часов, семнадцать обручальных колец, семь школьных колец и один фамильный брелок.

— С некоторыми из этих часов еще предстоит повозиться, — пояснил он мне.

Я сказал, что в числе прочего американские летчики разбомбили сигаретные фабрики — заодно на воздух взлетели и мирные граждане, около двухсот тысяч человек. Наша деятельность приобрела кладбищенскую окраску. Перед нами поставили задачу извлекать покойников из их многочисленных усыпальниц. На многих были украшения, люди брали с собой в убежище самое ценное. Поначалу мы не зарились на это могильное добро. Во-первых, кто-то считал мерзким обирать трупы, во-вторых, если тебя за этим занятием застукают, считай, что ты и сам покойник. Но Луис быстро нас образумил.

— Господи, парнишка, тут за пятнадцать минут можно столько насобирать, что хоть на пенсию уходи. Вот бы меня выпустили с вами хоть на денек. — Облизнув губы, он продолжил: — Знаешь что, дам-ка я тебе заработать. Притащи мне одно бриллиантовое кольцо — и харчи с куревом тебе обеспечены, пока будем сидеть в этой дыре.

На следующий вечер я принес ему кольцо, которое засунул за обшлаг брючины. Как выяснилось, по кольцу принесли и все остальные. Когда я показал Луису бриллиант, он покачал головой:

— Да, обидно. — Он поднял камень к свету. — Человек жизнью рисковал из-за какого-то циркона! — Как показала минутная проверка, все принесли либо циркон, либо гранат, либо искусственный бриллиант. Кроме того, дал понять Луис, если эти камушки и имели какую-то ценность, рынок затоварился и свел ее к абсолютному минимуму. Моя добыча ушла за четыре сигареты. Другим перепал кусок сыра, несколько сот граммов хлеба, два десятка картофелин. С теми, кто отказался расставаться со своими сокровищами, Луис время от времени проводил беседу: если у тебя найдут ворованное, это опасно. — Бедняге из британского лагеря сегодня не повезло, — рассказывал он. — Представляешь, изнутри к

рубашке пришил жемчужное ожерелье. Немцы ожерелье нашли, он за два часа раскололся, и его тут же расстреляли. — Рано или поздно на сделку с Луисом пошли все.

Вскоре после того как был выпотрошен последний из нас, в казарму нагрянули эсэсовцы. Они не тронули только койку Луиса.

— Он никогда не уходит с территории лагеря, и вообще он — отличный заключенный, — поспешил объявить проверяющим охранник. Вечером, когда я пришел в казарму, мой матрас был распорот, а солома разметана по полу.

Но и Луис не мог избежать всех превратностей судьбы — в последние недели боев наших охранников бросили на Восточный фронт, остановить русскую волну, и надзирать за нами прислали роту хромых стариков. Новому сержанту ординарец не требовался, и Луис впал в анонимную безвестность, растворился в нашей группе. Больше всего его пугала перспектива попасть на работы вместе с остальными — это было ниже его достоинства. Короче говоря, Луис потребовал встречи с новым сержантом. Ему пошли навстречу, и он просидел у сержанта целый час.

Когда он вернулся, я спросил:

— Ну, сколько Гитлер просит за «Орлиное гнез-

до»?

Луис нес завернутый в полотенце сверток. Внутри оказалось две пары ножниц, машинка для стрижки волос и бритва.

— Я теперь лагерный парикмахер, — объявил он. — По распоряжению коменданта лагеря. Приведу вас, господа, в надлежащий вид.

— А если я не хочу, чтобы ты меня стриг? — спросил я.

— Тогда твой паек делится наполовину. По распоряжению коменданта.

— Может, расскажешь нам, как получил такое назначение? — спросил я.

— Пожалуйста, — согласился Луис. — Я сказал ему, что мне стыдно быть в одной компании с шайкой нерях, похожих на гангстеров, и ему тоже должно быть стыдно содержать в тюрьме таких жутких подопечных. Так что нам с комендантом следует в этом деле навести порядок. — Луис поставил стул посреди казармы и жестом пригласил меня садиться. — Начнем с тебя, парнишка, — сказал он. — Твои патлы привлекли внимание коменданта, он велел мне тебя обкорнать.

Я сел на стул, и Луис обмотал мне шею полотенцем. Зеркала передо мной не было, и следить за его манипуляциями я не мог, но, судя по всему,

стричь он умел. Я даже заметил: вот, мол, не подозревал, что у тебя такие таланты.

— Ладно тебе, — отмахнулся он. — Иногда я сам себя удивляю. — Завершающие штрихи Луис нанес машинкой. — С тебя две сигареты — или эквивалент, — сказал он. Я заплатил ему таблетками сахарина. Сигарет ни у кого, кроме Луиса, не было.

— Хочешь посмотреть на себя? — Он протянул мне осколок зеркала. — Неплохо, да? Вся прелесть в том, что это худшее, на что я в парикмахерском деле способен, ведь чем дальше, тем лучше я буду стричь.

— Мать честная! — взвизгнул я. Моя голова походила на череп эрдельтерьера, страдающего чесоткой: голый скальп вперемежку с клочьями волос, из десятка крохотных порезов сочилась кровь.

— И тебе за такую работу позволяют весь день сидеть в лагере? — заорал я.

— Успокойся, парнишка, остынь, — сказал Луис. — По-моему, выглядишь ты лучше некуда.

В общем-то ничего нового в таком повороте событий не было. Он поступил так, как счел для себя естественным. Мы продолжали целый день тянуть лямку, а к вечеру с высунутыми языками

возвращались домой, где Луис Джилиано был готов привести нас в порядок.

Ловушка для единорога

© Перевод. М. Загот, 2021

Стоял 1067 год нашей эры. В английской деревушке Стоу-он-зе-Уолд на виселице на восемнадцать персон покачивались восемнадцать покойников. Их повесил Роберт Ужасный, друг Вильгельма Завоевателя — они совершали полный оборот на 360 градусов, оглядывая окрестности пустыми глазами. Север, восток, юг, запад, снова север — для добрых, бедных и задумчивых надежда не просматривалась нигде.

По ту сторону дороги напротив виселицы жил Элмер-дровосек — с женой Айви и десятилетним сыном Этельбертом.

За лачугой Элмера простирался лес.

Элмер закрыл дверь лачуги, прикрыл глаза и облизнул губы. На сердце была печаль. Он сел за стол с Этельбертом. Овсяная каша остыла, пока длился неожиданный визит эсквайра Роберта Ужасного.

Айви сидела, прижавшись спиной к стене, будто мимо только что прошел Господь Бог. Глаза светились огнем, дыхание было прерывистым.

Этельберт с тупым унынием глазел на свою холодную кашу — его юный мозг увяз в болоте семейной трагедии.

— Роберт Ужасный шикарно выглядел в седле, верно же? — сказала Айви. — Все эти его доспехи, краска, перья.

Она взмахнула своими лохмотьями, откинула голову, словно императрица — под утихающий стук копыт нормандских лошадей.

— Да уж, куда шикарнее, — откликнулся Элмер, невысокий человек с большой головой-куполом. Голубые глаза беспокойно метались в глазницах — горе от ума. Его ладная фигурка была оплетена шершавыми канатами мышц — узами мыслителя, принужденного зарабатывать на жизнь физическим трудом. — Он шикарный и есть.

— Что бы о нормандцах ни говорить, — заметила Айви, — но Англию они облагородили.

— А платим за это мы, — сказал Элмер. — Бесплатных завтраков, знаешь ли, не бывает.

Он зарылся пальцами в льняную шевелюру Этельберта, откинул голову сына назад и заглянул ему в глаза — удостовериться, что смысл в жизни все-таки есть. Но увидел лишь зеркальное отражение своей встревоженной души.

— Небось все соседи видели, какую заварушку

устроил перед нашим домом Роберт Ужасный, великий и могучий, — с гордостью произнесла Айви. — Ух, что будет, когда народ узнает, что он прислал сюда своего эсквайра — назначить тебя новым сборщиком налогов.

Элмер покачал головой, губы его чуть тряслись. Его всю жизнь любили за то, что он был человеком мудрым и безобидным. А теперь ему предстояло воплощать алчность Роберта Ужасного или умереть жуткой смертью.

— Вот бы мне такое платье, как попона у его лошади, — мечтательно сказала Айви. — Синее да все пробитое золотыми крестиками. — Впервые в жизни она была счастлива. — Я бы сделала его таким игривым, — продолжала она, — собрала бы сзади в пучок, чтобы тянулось за мной следом, хотя какая уж тут игривость. А потом, когда приоденусь получше, обучусь немного по-французски и буду парлекать с рафинированными нормандскими дамами.

Элмер вздохнул и взял руки сына в свои. Ладони у Этельберта были шершавые, в царапинах, земля въелась в поры и под ногти. Элмер провел по царапине ногтем.

— Это откуда? — спросил он.

— Ловушку делал, — ответил Этельберт. Он

ожил, глаза, как и у отца, засветились умом. — Я закрепил над ямой деревья с колючками, — пояснил он заинтересованно, — так что когда единорог бухнется в яму, колючие деревья упадут на него сверху.

— Тогда он никуда не денется, — мягко согласился Элмер. — В Англии не так много семей, которые могут отведать на обед единорога.

— Может, сходишь со мной в лес и посмотришь ловушку? — попросил Этельберт. — А то вдруг что не так.

— Наверняка все так, ловушка отличная, но я обязательно схожу и посмотрю, — заверил сына Элмер. Мечта поймать единорога золотой нитью пронизывала унылую ткань жизней отца и сына.

Оба знали — единороги в Англии не водятся. Но они заключили молчаливое согласие — жить с безумной мыслью о том, что единороги в Англии есть, что в один прекрасный день Этельберт единорога поймает, что их семья, живущая в страшной нужде, скоро обзаведется мясом, продаст за целое состояние драгоценный рог — и будет счастлива.

— Ты уже целый год обещаешь, — укорил отца Этельберт.

— Сам знаешь, у меня дел по горло, — возразил Элмер. Ему не хотелось идти осматривать ловушку, он прекрасно знал, что она собой представляет: горстка прутиков над царапиной в земле, выросшая в воображении ребенка до великого ковчега надежды. Поэтому Элмер предпочитал думать о ней как о чем-то большом и обнадеживающем. Не хотелось разочарования — ведь, кроме ловушки, надеяться было не на что.

Элмер поцеловал руки сына, обоняние его уловило смесь плоти и земли.

— Скоро схожу туда, — пообещал он.

— А у меня от этой конской попоны материал еще и для вас останется, — проговорила все еще зачарованная Айви. — Сделаю тебе и маленькому Этельберту штанишки. Вот уж будете два модника — синие штанишки, да еще прошитые золотыми крестиками.

— Айви, — терпеливо произнес Элмер, — как ты не понимаешь: Роберт и в самом деле ужасный. И попону своей лошади он тебе не отдаст. Он вообще ничего и никому не дает.

— Помечтать-то можно, — возразила Айви. — Уж на это женщина имеет право?

— О чем помечтать? — спросил Элмер.

— К примеру, если ты будешь хорошо работать,

он может отдать мне попону своей лошади, когда поизносится, — предположила Айви. — А если ты соберешь столько налогов, что никому и не снилось, нас могут взять да и пригласить в замок. — Она кокетливой походкой прошлась по их убогому жилищу, поддерживая над грязным полом шлейф воображаемого платья. — Бон жур, мусье, медам, — сказала она. — Надеюсь, у милорда и миледи все путем?

— Это и есть твоя заветная мечта? — поразился Элмер.

— Тебя наградят каким-нибудь почтенным именем, например Элмер Кровавый или Элмер Безумный, — продолжала мечтать Айви, — и ты и я и Этельберт по воскресеньям, принарядившись, будем выезжать в церковь, а если какой крепостной к нам без должного почтения, мы повозку останавливаем и…

— Айви! — воскликнул Элмер. — Да это мы — крепостные.

Айви топнула ножкой и заносчиво дернула головой из стороны в сторону.

— Разве Роберт Ужасный не дал нам возможность возвыситься? — осведомилась она.

— И стать такими же мерзавцами, как он? — возмутился Элмер. — Это, по-твоему, возвы-

шение?

Айви уселась за стол и положила на него ноги.

— Если уж так вышло, что человека занесло в правящие классы, — сказала она, — ему надо править, иначе народ всякое уважение к властям потеряет. — Она не без изящества почесалась. — Народом надо управлять.

— Бедный народ, — заметил Элмер.

— Народ надо защищать, — добавила Айви, — а доспехи и замки стоят недешево.

Элмер потер глаза.

— Айви, вот ты мне объясни: от чего такого плохого нас защищают, что может быть хуже нашего нынешнего положения? Хотел бы я на это плохое посмотреть, а уж потом самому решить, что меня больше пугает.

Но Айви не обратила внимания на слова мужа. Она с восхищением вслушивалась в стук копыт. Роберт Ужасный со своей свитой возвращался в замок, и их лачуга трепетала перед его мощью и славой.

Айви подбежала к двери и распахнула ее настежь.

Элмер и Этельберт наклонили головы.

Послышались восторженные вопли норманд-цев:

— *Hien!*

— *Regardez!*

— *Donnez la chasse, mes braves!*

Лошади нормандцев взбрыкнули, развернулись и помчались в сторону леса.

— Это еще что за новости? — удивился Элмер. — Они что-то раздавили?

— Оленя увидели! — объяснила Айви. — И все кинулись за ним, а впереди — Роберт Ужасный. — Она прижала руку к сердцу. — Таких спортсменов еще поискать.

— Ищи-свищи, — сказал Элмер. — Пусть Господь даст ему в правую руку силы.

Впалое лицо Этельберта побелело, глаза едва не вылезли из орбит.

— Ловушка! — воскликнул он. — Они поскакали в сторону ловушки!

— Пусть только попробуют ее тронуть, — сказал Элмер. — Я им… — Жилы на его шее вздулись, руки напоминали когти. Ясное дело: если Роберт Ужасный наткнется на любимое творение мальчика, он эту ловушку порубит в куски. — *Pour le sport, pour le sport*, — произнес он с горечью.

Элмер представил себе, как он убивает Роберта Ужасного, но эта фантазия, бессмысленная, как и сама жизнь, сводилась к поиску слабости там, где

слабости не было. Завершилась мечта правдиво: Роберт и его всадники на лошадях-гигантах, закованные в латы, смеются под своими забралами и беспечно выбирают из своего арсенала — мечи, цепи, молоты, топоры, — чем бы унять разбушевавшегося голодранца-дровосека.

Руки Элмера повисли как плети.

— Если они сломают ловушку, — вяло сказал он, — мы построим другую, намного лучше.

От собственной слабости и несостоятельности Элмера замутило, стало совсем нехорошо. Он зарыл голову в полусогнутых руках. Когда Элмер поднял голову, на лице его читалась усмешка человека, готового умереть. Видимо, он переступил некую черту.

— Отец! Что с тобой? — встревоженно спросил Этельберт.

Элмер, покачиваясь, поднялся.

— Все хорошо, — ответил он. — Все прекрасно.

— У тебя лицо другое, — заметил Этельберт.

— Я и стал другим, — сказал Элмер. — Я больше не боюсь. — Он вцепился в край стола и заорал: — Я больше не боюсь!

— Тихо! — цыкнула Айви. — А если они услышат?

— Никакого «тихо»! — страстно вскричал Эл-

мер.

— Нет уж, давай потише, — попросила Айви. — Сам знаешь, что Роберт Ужасный делает с разговорчивыми.

— Знаю, прибивает их шляпы к головам гвоздями. Но если и мне надо заплатить эту цену, я готов. — Элмер закатил глаза. — Я только представил себе, как Роберт Ужасный рушит ловушку моего сына — и вся история жизни ослепительной вспышкой мелькнула перед глазами.

— Послушай, отец, — начал Этельберт. — Я не того боюсь, что он разрушит ловушку. Я боюсь, что он…

— Ослепительная вспышка! — воскликнул Элмер.

— Да что же это такое! — возмутилась Айви, плотно закрывая дверь. — Ну ладно, ладно, — произнесла она со вздохом, — давай послушаем про историю жизни в ослепительной вспышке.

Этельберт потянул отца за рукав.

— Я ведь что хочу сказать, — продолжил он. — Эта ловушка…

— Разрушители против строителей! — бушевал Элмер. — Это и есть история жизни!

Этельберт покачал головой, обращаясь к себе лично.

Если эта лошадь наступит на веревку, которая прицеплена к ветке, которая прицеплена…

Он закусил губу.

— Все сказал, Элмер? — спросила Айви. — Это все? — Ее так и распирало от желания глазеть на нормандцев. Она взялась за дверную ручку.

— Нет, Айви, — сказал он напряженным голосом, — не все. — И отбросил ее руку в сторону.

— Эй, ты что дерешься? — вскричала пораженная Айви.

— Целый день у тебя дверь распахнута! — заявил Элмер. — Зачем вообще людям дверь? Весь день сидишь перед дверью и смотришь, как казнят людей, только и ждешь, когда же эти нормандцы мимо пройдут. — Он потряс руками перед лицом жены. — Чего удивляться: у тебя в голове только и есть, что прославиться да кого-нибудь убить!

Айви сжалась в убогий комочек.

— Я же только смотрю, — оправдывалась она. — Человеку ведь скучно, а так время быстрее идет.

— Да долго ты смотришь! Так вот, у меня для тебя есть новости.

— Какие? — пискнула Айви.

Элмер расправил узкие плечи.

— Айви, в сборщики налогов к Роберту Ужасно-

му я не пойду.

Айви раскрыла рот от изумления.

— Помогать разрушителям не буду. Мой сын и я — строители.

— Не будешь — он повесит тебя, — напомнила Айви. — Он же обещал.

— Знаю, — согласился Элмер. — Знаю. — Страха не было. Как не было и боли там, где положено. Появилось только ощущение, что наконец-то он сделал что-то совершенное, словно напился из холодного и чистого родника.

Элмер открыл дверь. Ветер задул с новой силой, и цепи, на которых висели покойники, заунывным хором пели свою ржавую и дребезжащую песню. До ушей Элмера долетели принесенные из леса ветром крики нормандских рыцарей.

Но в криках сквозила некая неуверенность, озадаченность. Элмер решил — это из-за расстояния.

— *Robert? Allo, allo? Robert? Hien! Allo, allo?*

— *Allo? Allo? Hien! Robert — dites quelque chose? S'il vous plait. Hien! Hien! Allo?*

— *Allo, allo, allo? Robert? Robert l'horrible? Hien! Allo, allo, allo?*

Айви подошла к Элмеру сзади, обвила его руками, прижалась к плечу щекой.

— Элмер, дорогой, — сказала она. — Не хочу, чтобы тебя повесили. Я тебя люблю, мой милый.

Элмер похлопал ее по руке.

— И я тебя люблю, Айви. Буду скучать без тебя.

— Ты и вправду решился на такое? — спросила Айви.

— Пришло время умереть за свои убеждения. Как ни крути, выбора у меня нет.

— Но почему? — воскликнула Айви.

— Потому что я сказал это при моем сыне, — объяснил Элмер.

Тут подошел Этельберт, и Элмер положил руки ему на плечи.

Сплетенье рук еще больше скрепило маленькое семейство. Три слившихся воедино тела покачивались взад-вперед, покачивались в такт внутренней музыке, а день клонился к закату.

— Ты и Этельберта учишь, как довести себя до виселицы, — просопела Айви в спину Элмеру. — Он к ним без всякого уважения, чудо, что они его в темницу не бросили.

— Надеюсь, у Этельберта, когда придет его смертный час, будет сын не хуже, чем у меня, — сказал Элмер.

— А все могло так складно сложиться. — Айви заплакала. — Тебе предложили отличную работу,

и на повышение можно было рассчитывать. А я уж мечтала, если попоны лошадей Роберта Ужасного износятся, ты попросишь его…

— Айви! — оборвал ее Элмер. — Мне от твоих причитаний только хуже делается. Ты лучше успокой меня.

— Мне было бы легче, если бы я знала, понимаешь ли ты сам, на что решился.

Из леса выехали два нормандца с несчастным и озабоченным видом. Они посмотрели друг на друга, развели руками, пожали плечами.

Один своим палашом отодвинул куст, с тоской заглянул под него.

— *Allo, allo?* — позвал он. — *Robert?*

— *Il disparu!* — сказал другой.

— *Il — s'est evanoui!*

— *Le cheval, l'armament, les plumes — tout d'un coup!*

— *Poof!*

— *Helas!*

Они увидели Элмера с семьей.

— *Hien!* — окликнул его один из них. — *Avez-vous vue Robert?*

— Роберта Ужасного? — переспросил Элмер.

— *Oui.*

— Извините, — ответил Элмер. — В глаза его

не видал.

— *Eh?*

— *Je n'ai vu pas ni peau ni cheveux de lui*, — перевел Элмер.

Нормандцы снова в растерянности посмотрели друг на друга.

— *Helas!*

— *Zut!*

И они медленно направились к лесу.

— *Allo, allo, allo?*

— *Hien! Robert? Allo?*

— Отец! Послушай! — взволновался Этельберт.

— Тш-ш-ш, — мягко осадил его Элмер. — Я разговариваю с твоей мамой.

— Это как ваша дурацкая ловушка для единорога, — заявила Айви. — Тоже никогда не понимала. Я, конечно, к этой ловушке относилась терпеливо. Слова никогда не сказала. А сейчас скажу.

— Говори, — велел Элмер.

— От этой ловушки проку — чистый ноль, — сказала Айви.

В краешках глаз у Элмера появилась влага. Прутики, царапина в земле, воображение сына — все это красноречиво говорило о жизни Элмера, которой было суждено вот-вот закончиться.

— Да и единороги в наших краях не водятся,

— гордая собственными познаниями, заявила Айви.

— Знаю, — сказал Элмер. — И Этельберт знает.

— А что тебя повесят — так никому от этого лучше не станет, — добавила Айви.

— Знаю. И Этельберт знает тоже, — повторил Элмер.

— Может, самая тупая — это я, — сказала Айви.

Элмер вдруг ощутил весь ужас, все одиночество и предстоящую боль — цену, которую придется заплатить за его идеальный поступок, за глоток из холодного и чистого родника. Эта цена была хуже любого стыда.

Элмер глотнул. Шея его заныла в том месте, где на ней сомкнется петля.

— Айви, милая моя! — воскликнул он. — Что ты — самая тупая, можешь не сомневаться.

Ночью Элмер молился: пусть у Айви будет новый муж, пусть Этельберт растет смельчаком, а сам он, приняв милосердную смерть, пусть попадет в рай. Уже завтра.

— Аминь, — сказал Элмер.

— Может, хоть притворишься, что собираешь налоги? — предложила Айви.

— А налоги тоже будут притворные? — усмехнулся Элмер.

— Ну, побудь сборщиком налогов хоть какое-то время, — настаивала Айви.

— Какое-то время — чтобы меня все возненавидели, и за дело. Тогда уж можно вешаться.

— Всегда есть надежда, — заметила Айви. Нос ее покраснел.

— Айви, — прервал ее Элмер.

— М-м-м?

— Айви, насчет синего платья, прошитого золотыми крестиками, я понимаю. Я не против, чтобы оно у тебя было.

— И тебе с Этельбертом на штаны бы хватило, — подхватила Айви. — Я же не только о себе думаю.

— Айви, пойми, то, что я делаю, — объяснил Элмер, — куда важнее лошадиной попоны.

— В этом и есть моя беда, — призналась Айви. — Лучше этой попоны ничего представить себе не могу.

— Я тоже, — согласился Элмер. — Но такие вещи есть. Должны быть. — Он грустно улыбнулся. — Так или иначе, именно ради них я завтра буду отплясывать на ветру, когда меня повесят.

— Скорее бы Этельберт вернулся, — забеспокоилась Айви. — В такую минуту мы должны быть вместе.

— Он пошел проверить ловушку, — объяснил Элмер. — Жизнь продолжается.

— Я довольна, что нормандцы все-таки уехали домой, — сказала Айви. — А то уж боялась, что от их *allo, hien, helas, zut* и *poof* умом тронусь. Небось нашли своего Роберта Ужасного.

— И предрешили мою судьбу. — Элмер вздохнул. — Пойду поищу Этельберта. Вывести сына из леса — для последнего вечера на земле занятия достойнее не придумаешь.

Элмер вышел в бледно-голубой мир — в небе висела половинка луны. Он направился по тропке, проложенной Этельбертом, и добрался до высокой и черной стены леса.

— Этельберт! — позвал он.

Ответа не было.

Элмер шагнул сквозь стену леса. Ветки хлестнули его по лицу, низкие кустики вцепились в ноги.

— Этельберт!

Откликнулась только виселица. Цепи лязгнули, и скелет с грохотом рухнул на землю. На восемнадцати дугах теперь висело только семнадцать трупов. Одно место было вакантно.

Элмер не на шутку заволновался: где же Этельберт? Он пробивал себе дорогу все глубже и

глубже в лес. Наконец добрался до просеки и, запыхавшись, вытер испарину. Капли пота жалом кололи глаза.

— Этельберт!

— Отец? — отозвался Этельберт откуда-то из чащи. — Иди сюда и помоги мне.

Элмер пошел на звук, выставив руки вперед.

В кромешной тьме Этельберт схватил отца за руку.

— Осторожно! — предупредил мальчик. — Еще один шаг — и попадешь в ловушку.

— О-о, — произнес Элмер. — Значит, пронесло. — Чтобы доставить сыну удовольствие, он изобразил испуг. — Это же надо!

Этельберт потянул руку отца вниз и прижал ее к чему-то, лежавшему на земле.

На ощупь Элмеру показалось, что это большой молодой зверь — мертвый. Он опустился на колени.

— Олень! — сказал он.

Голос его вернулся к нему, словно из недр земли.

— Олень, олень, олень.

— Целый час вытаскивал его из ловушки, — сказал Этельберт.

— Ловушки, ловушки, ловушки, — повторило

эхо.

— В самом деле? — удивился Элмер. — Боже правый! Я и думать не думал, что ловушка такая хорошая.

— Хорошая, хорошая, хорошая, — откликнулось эхо.

— Ты и вполовину правды не знаешь, — сказал Этельберт.

— Не знаешь, не знаешь, не знаешь, — вторило эхо.

— А эхо-то откуда? — спросил Элмер.

— Откуда, откуда, откуда? — отозвалось эхо.

— Оттуда, — ответил Этельберт. — Из ловушки.

Элмер отпрянул — голос Этельберта доносился из огромной дыры перед ним, из земных глубин, словно из врат ада.

— Ловушка, ловушка, ловушка.

— Это выкопал ты? — спросил потрясенный Элмер.

— Это выкопал Бог, — ответил Этельберт. — Яма ведет в пещеру.

Элмер обмяк и распростерся на простыне леса. Голову он пристроил на остывающем и твердеющем крупе оленя. В густоте зеленого сплетения наверху была лишь одна прореха. Через нее струился свет одинокой звезды. Она светила Элмеру

радугой, потому что он смотрел на нее сквозь призму из слез благодарности.

— Могу ли я желать от жизни большего? — спросил себя Элмер. — Сегодня жизнь дала мне все, о чем можно мечтать, — и даже намного больше. С Божьей помощью мой сын поймал единорога. — Он коснулся ноги Этельберта, погладил свод стопы. — Если Господь внял молитвам простого дровосека и его сына, — сказал он, — значит, в этой жизни возможно все.

Элмер едва не погрузился в сон, до того он почувствовал себя заодно с Божьим промыслом.

Его разбудил Этельберт.

— Отнесем оленя маме? — спросил Этельберт. — Устроим полуночный пир горой?

— Всего оленя тащить не надо, — решил Элмер. — Слишком опасно. Вырежем лучшие куски мяса, а остальное спрячем здесь.

— Нож у тебя есть? — спросил Этельберт.

— Нет, — ответил Элмер. — По закону не положено.

— Сейчас что-то режущее притащу, — сказал Этельберт.

Элмер, недвижно лежа на земле, услышал, как сын спустился в пещеру, вот он ищет и находит дорогу все глубже в недра земли, вот он пыхтит и

откидывает какие-то бревна на самом дне.

Вскоре Этельберт вернулся, волоча за собой что-то длинное, сверкавшее в луче одинокой звезды.

— Это подойдет, — сказал он.

И протянул Элмеру острый палаш Роберта Ужасного.

Была полночь.

Маленькое семейство наелось оленины до отвала.

Элмер поковырял в зубах кинжалом Роберта Ужасного.

Этельберт, не забывая поглядывать на дверь, вытер губы пером.

Айви с выражением блаженства на лице накинула на плечи попону.

— Знай я, что будет такой улов, — сказала она, — не говорила бы, что эта ловушка — несусветная глупость.

— С ловушками так всегда и бывает, — заметил Элмер. Он откинулся назад, желая порадоваться, что завтра не будет болтаться на виселице — ведь Роберта Ужасного больше нет.

Трофей

© Перевод. М. Загот, 2021

Если в день Страшного суда Господь спросит Пола, где должно находиться место его последнего упокоения — в раю или в аду, Пол скорее всего ответит: по его собственным и по космическим стандартам ему уготован ад — за ужасную вещь, совершенную им. Не исключено, что Всемогущий, во всей Его мудрости, возразит: мол, в общем и целом Пол прожил вполне безвредную жизнь, а за то, что он совершил, его уже и так изрядно помучила совесть.

Ослепительные впечатления военнопленного в Судетах со временем отползли в прошлое и утратили свой тревожный лоск, но одно пугающее воспоминание отказывалось уходить из подкорки Пола. Как-то за ужином добродушные подначки жены вызвали к жизни то, о чем он добросовестно старался забыть. Перед вечером Сью общалась с соседкой, госпожой Уорд, и та показала ей изысканный столовый сервиз из серебра на двадцать четыре персоны — Сью с удивлением узнала, что этот сервиз заполучил и

вывез из воюющей Европы господин Уорд.

— Дорогой, — подзадорила Сью мужа, — неужели и ты не мог привезти оттуда что-нибудь стоящее?

Едва ли немцы могли предъявить Полу большие претензии, обвинить в мародерстве — все его трофеи ограничивались ржавой и плохо изогнутой саблей люфтваффе. Между тем его товарищи по мытарствам в русской зоне в период послевоенной анархии и свободного предпринимательства в чистом виде, длившийся несколько недель, вернулись домой, груженные сокровищами, как испанские галеоны, а Пол ограничился своей дурацкой реликвией. Как и другие, он располагал несколькими неделями и мог отыскать и забрать все, что душе угодно, однако его первые часы гуляки-завоевателя оказались и последними. Некий образ, надломивший его дух и изрядно унявший ненависть к врагу, образ, впоследствии так терзавший его, начал формироваться славным весенним утром 8 мая 1945 года в Судетах.

Пол и его товарищи по военному плену в Хеллендорфе не сразу свыклись с отсутствием охранников — те благоразумно сделали ноги еще прошлым вечером, намылившись в леса и холмы. Вместе с двумя другими американцами Пол

неуверенно продвигался по кишащей людьми дороге в направлении Петерсвальда — еще одна деревушка на пятьсот очумевших от войны душ. Над человеческими реками, текшими в обоих направлениях, висел один и тот же вопль-стон: «Русские идут!» Преодолев в этой компании четыре утомительных километра, троица американцев расположилась на бережку ручья, пробегавшего через Петерсвальд, и парни начали гадать: как добраться до своих? Правда ли, что русские убивают на своем пути все живое? Рядом с ними в полутьме, забившись в конурку, сидел белый кролик и прислушивался к непривычному шуму извне.

Троица не разделяла ужаса, которым была охвачена деревня, и не испытывала особой жалости.

— Бог все видит — эти безмозглые наглецы давно напрашивались, — сказал Пол, и его товарищи в ответ мрачно ухмыльнулись. — После всего, что наворотили эти немцы, русским можно простить любой их фортель, — добавил Пол, и его спутники согласно закивали. Втроем они молча сидели и смотрели, как мечутся мамаши, распихивая детишек по погребам, другие суетливой цепочкой тянутся вверх по холму, чтобы укрыться за деревьями, а третьи, прихватив самые ценные

пожитки, бросали насиженные места и вливались в текущий по дороге людской поток.

Идущий размашистым шагом младший капрал английской армии — глаза чуть навыкате — крикнул им с дороги:

— Ребята, лучше тут не рассиживайтесь — они уже в Хеллендорфе!

На западе появилось облако пыли, загромыхали грузовики, бросились врассыпную перепуганные беженцы — и в деревню вошли русские, они предлагали потрясенным горожанам сигареты, а тех, кто рискнул высунуть нос на улицу, одаривали влажными горячими поцелуями. Пол, со смехом выкрикивая «Американец! Американец!» поверх яростной аккордеонной музыки, что неслась из грузовиков с красными звездами, резво вокруг этих грузовиков запрыгал и был вознагражден: освободители бросили ему несколько буханок хлеба и кусков мяса. Возбужденные и счастливые, все трое, едва не роняя запасы съестного, вернулись к своему ручейку и усердно принялись за трапезу.

Тем временем все остальные — чехи, поляки, югославы, русские, устрашающая орда разъяренных рабов немецкого рейха — начали крушить и предавать огню все подряд, мародерствовать

просто так, куража ради, следуя в кильватере Советской армии. Сбившись в кучки по три-четыре человека, недавние рабы систематически взялись за близлежащие дома — они выламывали двери, до полусмерти пугали жильцов и забирали себе все, к чему лежала душа. Такой разорительный налет не мог оставить безучастным никого — Петерсвальд представлял собой узкое поселение глубиной в один дом по каждую сторону дороги. Когда к вечеру над деревней воцарилась луна, Полу пришло в голову, что каждый дом перевернула сверху донизу не одна тысяча человек.

Он и его друзья наблюдали за мародерами — а те трудились в поте лица — и кисло улыбались всякой попадавшей в поле зрения новой группе. К одной такой группе присоединилась пара ликующих шотландцев, и вот они, опьяненные веселым разгулом, остановились поболтать с американцами. У каждого был шикарный велосипед, какие-то бесчисленные кольца, часы, бинокли, камеры и прочие замечательные безделушки.

— Тут ведь что получается, — пояснил один из них, — не сидеть же сиднем, когда вокруг такое творится? Может, другого такого дня в твоей жизни не будет. Вы же победители — значит, имеете

право на все, что пожелаете.

Три американца — по инициативе Пола — между собой это обсудили и убедили друг друга: если они пограбят дома противника, никто не бросит в них за это камень. И вот все трое штурмом взяли ближайший дом, в котором никого не было с той минуты, когда они пришли в Петерсвальд. В доме уже изрядно покуролесили: все окна без стекол, все ящики — на полу, вся одежда содрана с вешалок, в шкафах — шаром покати, подушки и матрацы вспороты и выпотрошены. Предшественники Пола и его друзей уже обшарили все, что было перерыто до них, и осталась только какая-то драная одежда да кое-что из посуды.

Они решились войти в это разоренное гнездо уже под вечер и не нашли там ничего, что могло бы представлять для них интерес. Пол сказал, что этот дом и в лучшие времена едва ли был полной чашей, его обитатели явно жили в бедности. Мебель была убогая, стены потрескались, фасад тоже нуждался в ремонте и покраске. Но вот Пол поднялся по лесенке на крохотный второй этаж и обнаружил там удивительную комнату — она не вписывалась в общую картину обнищания. Это была спальня — яркие цвета, изящная мебель, картины со сказочными сюжетами на стенах в

веселую полоску, свежевыкрашенное дерево. На полу унылым холмиком громоздились детские игрушки — они не понадобились даже мародерам. Единственный предмет во всем доме, вообще оставленный без внимания, был прислонен к стене у изголовья кровати.

— Ты посмотри, это же пара детских костылей, черт меня дери.

Не найдя ничего ценного, американцы решили, что для охоты за сокровищами уже темновато — стало быть, пора заняться ужином. Благодаря русским еды у них с собой было достаточно, но им показалось, что этот день надо отметить по-особому — курочка, молоко, яйца и даже кролик лишними не будут. В поисках этих деликатесов троица разделилась, чтобы зачистить близлежащие амбары и фермерские дворы.

Пол заглянул в сарай на задворках дома, в котором они надеялись разжиться. Но если тут и была раньше какая-то живность, подумал Пол, ее уже увели на восток несколько часов назад. На земляном полу возле двери валялось несколько картофелин, но это было все. Он распихал картошку по карманам и уже собрался идти дальше, но тут услышал в углу какой-то шорох. Шорох повторился. Глаза Пола вскоре привыкли к тем-

ноте, и он разглядел кроличью клетку, в которой сидел упитанный белый кролик, он пошмыгивал розовым носом и прерывисто дышал. Потрясающая удача — гвоздь программы для предстоящего банкета! Пол открыл дверцу и за уши — тот и не думал сопротивляться — извлек зверька из клетки. Пол в жизни не убивал кролика своими руками и теперь засомневался: а как именно его убить? Наконец он положил голову кролика на колоду для рубки мяса и размозжил ему голову тыльной стороной топора. Кролик несколько секунд вяло подергался и умер.

Довольный собой, Пол принялся освежевывать и потрошить кролика, отрезал лапку себе на счастье — придут же лучшие дни! Закончив, он остановился в дверях сарая — перед ним была мирная жизнь, закат, горстка понурых немецких солдат брела куда-то к своим домам, сдав последний очаг сопротивления. Вместе с ними тащились и гражданские — те, что утром шли за спасением в противоположную сторону, но наступление русских заставило их вернуться.

Вдруг Пол увидел, что от тягостной процессии отделились три фигуры и направились к нему. Перед разоренным домом они остановились. В груди Пола волной всколыхнулась жалость,

вспыхнули угрызения совести: ведь это их дом и сарай, подумал Пол, этот старик, женщина и мальчик-калека живут в этом доме. Женщина плакала, мужчина качал головой. Мальчик пытался привлечь их внимание, что-то говорил и показывал в сторону сарая. Пол стоял в тени, и хозяева не видели его, но едва они вошли в дом, он убежал с кроликом в руках.

Свою добычу Пол положил к бугорку, выбранному товарищами для костра, отсюда, через поваленные бурей тополя, он видел тот самый сарай. Кролика вместе с другими трофеями положили на импровизированную скатерть неподалеку.

Друзья готовили пищу, а Пол, не отрывавший глаз от сарая, вскоре заметил, как из дома вышел мальчик и заспешил — насколько ему позволяли костыли — к сараю. Он скрылся за дверью — и наступила долгая, невыносимая тишина. До Пола донесся слабый вскрик — и мальчик появился в дверном проеме, держа в руках нежную белую шкурку. Он потер ею щеку, потом опустился на дверной порог, зарыл лицо в мех и разрыдался.

Пол отвернулся и больше в сторону сарая не посмотрел. Его друзья ребенка не видели, и Пол ничего им не сказал. Когда они уселись за трапе-

зу, один из них вспомнил Господа:

— Отче Наш, мы благодарим Тебя за пищу, ниспосланную нам…

Дорога к своим заняла много времени, пришлось пройти не одну деревню, и товарищи Пола прихватили с собой немало немецких сокровищ. Пол же по какой-то причине принес домой лишь один трофей — ржавую и сильно искривленную саблю люфтваффе.

Только ты и я, Сэмми

© Перевод. М. Загот, 2021

1

Этот рассказ — про солдат, но военным я бы его не назвал. Когда эта история случилась, война уже закончилась, так что скорее это рассказ об убийстве. Никакой загадки тут нет — просто убийство.

Меня зовут Сэм Клайнханс. Имя немецкое, и я с сожалением должен сказать, что какое-то время перед войной мой отец имел отношение к немецко-американскому Бунду в Нью-Джерси. Когда он понял, чем они там занимаются, он быстренько унес оттуда ноги. Но многие из наших краев прилипли к Бунду основательно. Помню, несколько семей на нашей улице пришли в бешеный восторг от того, что Гитлер творил в родимом отечестве, в итоге они все продали и махнули на жительство в Германию.

Кое-кто из их детей был моим ровесником, и когда Америка ввязалась в войну и я пехотинцем отправился в Европу, меня какое-то время мучил

вопрос: не придется ли мне стрелять в кого-то из моих корешей? Насколько я знаю, до этого дело не дошло. Позже мне стало известно, что большинство этих молодых бундовцев, принявших немецкое гражданство, загремели пехотинцами на русский фронт. Кому-то досталась мелкая разведывательная работа, им приказали потихоньку внедриться в американские войска, но таких оказалось мало. Немцы им ни черта не доверяли — по крайней мере именно это написал отцу один из бывших соседей с просьбой о поддержке от Американского общества по оказанию помощи. Этот же человек написал, что готов на все, лишь бы вернуться в Штаты — подозреваю, так думали они все.

Когда мы наконец вступили в войну, близость к этой публике и штучки Бунда сделали меня очень чувствительным к моему немецкому происхождению. Наверное, в глазах многих я выглядел придурком, когда распространялся о преданности, о борьбе за правое дело и тому подобной героике. Не скажу, что остальные парни в нашей армии во все это не верили — просто говорить об этом было как-то не модно. Тогда, во времена Второй мировой.

Сейчас, вспоминая ту эпоху, я знаю — наивно-

сти мне было не занимать. Помню, к примеру, что я сказал утром восьмого мая, когда война с Германией закончилась.

— Не замечательно ли это? — вскричал я.

— Что не замечательно? — спросил рядовой Джордж Фишер и поднял бровь, будто сказал нечто весьма глубокомысленное. Он почесывал спину о прядь колючей проволоки и скорее всего думал о чем-то другом. Наверное, о еде, сигаретах или даже о женщинах.

Вступать в беседу с Джорджем на глазах у коллег — это был не самый умный поступок. Друзей в лагере у него не осталось, а если кто пытался с ним корешиться, тот рисковал изведать полное одиночество. Все мы крутились на территории лагеря, и Джордж и я случайно — как мне тогда казалось — очутились рядом у ворот.

В нашем лагере для военнопленных немцы назначили его старшим над американцами. Якобы потому, что он умел говорить по-немецки. Джордж, во всяком случае, эту привилегию использовал как следует. Он был намного толще любого из нас — так что, вполне возможно, в ту минуту думал о женщинах. Примерно через месяц после того как нас взяли в плен, все мы, кроме него, эту тему закрыли. Ведь все мы — кро-

ме Джорджа — восемь месяцев жили на одной картошке, поэтому, повторюсь, тема женщин была не более популярна, чем разговор о выращивании орхидей или игре на цитре.

Если бы передо мной явилась Бетти Грейбл и пообещала сделать все, что моей душе угодно, я скорее всего попросил бы ее приготовить для меня сандвич с ореховым маслом и желе. Но в тот день на встречу с Джорджем и мной спешила отнюдь не Бетти, а русская армия. И мы вдвоем стояли у изгиба дороги перед тюремными воротами и слушали, как в долине, начиная подъем в нашу сторону, завывают русские танки.

Большие пушки с северной стороны, которые грохотали целую неделю и трясли оконные рамы нашей тюрьмы, сейчас молчали, а наши охранники за ночь испарились. Раньше на дороге не двигалось ничего, кроме случайных крестьянских повозок. Сейчас там активно суетились люди, они кричали, толкались, спотыкались, бранились — хотели через холмы перебраться к Праге до того, как их схватят русские.

Подобного рода страх легко распространяется среди людей, которым совершенно нечего бояться. Все, кто бежал от русских, вовсе не были немцами. К примеру, помню, как английский

младший капрал на наших с Джорджем глазах улепетывал в направлении Праги, будто за ним гнался сам дьявол.

— Эй, янки, шевелитесь! — велел он нам, запыхавшись. — Русские в двух милях отсюда. Вы же не хотите дожидаться их?

Когда ты полуголоден, а к английскому капралу это явно не относилось, тут есть свой плюс: думаешь только о том, как бы поесть.

— Ты все перепутал, братишка, — крикнул я ему. — Если не ошибаюсь, мы с ними союзники.

— Они не спрашивают, откуда ты взялся, янки. Они просто стреляют в кого ни попадя — так, для смеха.

И он скрылся за поворотом.

Я засмеялся и повернулся к Джорджу — тут меня ждал сюрприз. Его короткие толстые пальцы теребили рыжую копну волос, а похожее на луну лицо побелело — он смотрел туда, откуда должны были прийти русские. Лицо его отражало нечто, чего раньше мы никогда не видели: испуг.

До сих пор Джордж всегда был на высоте положения, независимо от того, с кем приходилось иметь дело: с нами или с немцами. Толстокожий, он умел блефовать и мог выкрутиться из любого положения.

Многие из его военных рассказов наверняка произвели бы впечатление на Элвина Йорка. Все мы были из одной дивизии, кроме Джорджа. Он попал в лагерь сам по себе и, по его словам, был на фронте с самого дня высадки союзников. Мы же, совершенно зеленые, попали в плен во время немецкого контрнаступления, проведя в зоне боевых действий всего неделю. Джордж успел понюхать пороху и претендовал на уважение. Он его получал — ему завидовали, но уважали. Но все это прошло, когда убили Джерри.

— Еще раз назовешь меня стукачом, приятель, я тебе всю рожу расквашу, — сказал он одному парню, чей шепоток случайно подслушал. — Сам знаешь, будь у тебя возможность, ты сделал бы то же самое. Охранники — придурки, я этим пользуюсь. Они думают, я на их стороне, вот и относятся ко мне хорошо. Вам-то что, хуже от этого? Нет. Ну и не лезьте не в свое дело.

Это случилось через несколько дней после побега, когда Джерри Салливена убили. Кто-то предупредил охрану о побеге. По крайней мере на это было очень похоже. Они ждали по ту сторону забора, у устья тоннеля — и Джерри вылез первым. Они могли и не стрелять в него, но выстрелили. Возможно, Джордж ни о чем охрану не

предупреждал, но все мы в этом сильно сомневались — когда его не было поблизости.

Никто ничего не сказал ему прямо в лицо. Джордж ведь был крепыш и здоровяк, если помните, и продолжал наращивать мясо и дурной нрав, а мы потихоньку превращались в анемичные огородные пугала.

Но сейчас, с приближением русских, Джордж явно занервничал.

— Давай рванем в Прагу, Сэмми, — предложил он. — Только ты и я, так будет быстрее.

— Ты что, спятил? — спросил я. — Нам ни от кого не надо убегать, Джордж. Мы только что выиграли войну, а ты ведешь себя так, будто мы ее проиграли. До Праги, кстати говоря, шестьдесят миль. Русские появятся здесь через час-другой, очень может быть, они дадут грузовики — отвезти нас к своим. Спокойно, Джордж, ты разве слышишь, что кто-то стреляет?

— Нас с тобой, Сэмми, они точно застрелят. Ты даже на американца не похож. Они же дикари, Сэмми. Давай тикать, пока не поздно.

Насчет моей одежки, покрытой пятнами, заплатками и даже дырявой, он был прав. Я больше походил на обитателя городского «дна», чем на американского солдата. Зато Джордж, как вы до-

гадываетесь, выглядел как картинка. Охранники подкидывали ему сигареты и подкармливали, и за удовольствие подымить он мог выменять в лагере все, что хотел. Таким манером Джордж собрал себе несколько комплектов одежды, охранники даже давали ему в пользование утюг — в их бараке таковой имелся, — и он был нашим местным денди.

Но теперь игра закончилась. Нужда в торговле с Джорджем отпала, а его покровители смылись. Может, его пугало именно это, а совсем не русские.

— Давай, Сэмми, дунем в Прагу, — попросил он. Он заискивал передо мной — человеком, для которого у него за восемь месяцев тесного общения не нашлось ни одного доброго слова.

— Дуй, если тебе надо, — отрезал я. — Моего разрешения, Джордж, можешь не спрашивать. Вперед. Я остаюсь с ребятами.

Он не шелохнулся.

— Ты и я, Сэмми, будем держаться вместе. — Он ухмыльнулся и приобнял меня за плечи.

Я рывком высвободился и пошел в глубь тюремного двора. Если нас с ним что и объединяло, так это рыжие волосы. Его поведение беспокоило меня: я не понимал, что он задумал, с чего вдруг

решил стать моим лучшим другом. Джордж был из тех, кто просто так ничего не делает.

Он пошел за мной по двору и снова положил мне на плечо увесистую руку.

— Ладно, Сэмми, остаемся здесь и подождем.

— Делай что хочешь — мне плевать.

— Ладно, ладно, — засмеялся он. — Вот что предлагаю: раз нам все равно целый час ждать, давай пройдемся по дороге да посмотрим — вдруг удастся разжиться сигаретами или сувенирами? По-немецки оба говорим, так что у нас с тобой есть хороший шанс.

Мне страсть как хотелось курить, и он это знал. Месяца два назад я отдал ему за две сигареты пару перчаток — а тогда было довольно холодно — и с тех пор не курил ни разу. Естественно, я сразу стал думать, как бы сейчас затянуться. В ближайшем городке, Петерсвальде, в двух милях ходу, сигареты скорее всего есть.

— Что скажешь, Сэмми?

Я пожал плечами:

— Почему нет? Идем.

— Так-то лучше.

— Вы куда? — заорал один из ребят с тюремного двора.

— Поглядеть, что почем, — ответил Джордж.

— Через час вернемся, — добавил я.

— Может, и я с вами? — крикнул парень.

Джордж продолжал идти, не удостоив того ответом.

— Ходить толпой — только дело портить, — сказал он мне и подмигнул. — Вдвоем — самое то.

Я глянул на него. Лицо Джорджа расплылось в улыбке, но я все равно видел — он здорово испуган.

— Чего ты боишься, Джордж?

— Чтобы старина Джордж чего-то боялся? Не дождетесь!

Мы смешались с шумной толпой и пошли вверх по пологому склону — к Петерсвальду.

2

Иногда, думая о происшедшем в Петерсвальде, я пытаюсь найти себе оправдание: мол, был навеселе, слегка одурел, потому что слишком долго сидел взаперти, слишком долго жил впроголодь. Но в том-то и штука: делать то, что я сделал, меня никто не заставлял. Не могу сказать, что был загнан в угол. Я поступил так, а не иначе, потому что хотел этого.

Петерсвальд оказался совсем не тем, что я ожидал увидеть. Я надеялся найти там хотя бы пару

магазинов, где можно выпросить или на худой конец стибрить пару сигарет и чего-нибудь пожевать. Но весь город состоял из двух десятков ферм, каждая со стеной и высоченными воротами. Они сбились в кучу на зеленой вершине холма и нависали над полями, так что все вместе напоминали надежную крепость. Конечно, эта «крепость» не имела ни малейшего шанса устоять перед танками и артиллерией, и было совершенно ясно, что давать русским бой здесь никто не собирается.

Кое-где из окон второго этажа торчали белые флаги — простыни, прицепленные к швабрам. Все ворота стояли нараспашку — безоговорочная капитуляция.

— Этот ничуть не хуже других. — Джордж схватил меня за руку, выдернул из толпы и через ворота завел во двор первой же фермы на нашем пути.

Земля во дворе была плотно утрамбована. Сам двор напоминал букву «П» — в крышке дом, по бокам фермерские сооружения, а в основании — стена и ворота. Двери пустых амбаров открыты, за окнами — притихший дом, и я впервые почувствовал себя тем, кем был на самом деле — охваченным тревогой чужаком. До той минуты я ходил, говорил и действовал, будто отличался

от остальных, я — американец, и вся эта европейская заварушка меня вроде и не касалась, и уж тем более мне нечего бояться. Но вот я вошел в этот город-призрак, и в меня вселился страх…

Впрочем, возможно, я начал бояться Джорджа. Трудно сказать, может, это я сейчас так считаю, глядя в прошлое. Все же где-то в глубине души я беспокоился. Глаза Джорджа всякий раз округлялись и выражали неподдельный интерес при каждой моей реплике, а руки его были со мной в постоянном контакте: то он похлопывал меня, то поглаживал, то постукивал. И всякий раз, говоря о предполагаемом следующем шаге, Джордж добавлял: «Ты и я, Сэмми…»

— Эй, кто-нибудь! — закричал он. Эхо, отразившись от стен, не замедлило с ответом — и снова воцарилась тишина. — Красота, Сэмми, а? Похоже, весь дом — в нашем распоряжении. — Толчком он закрыл большую створку ворот, запер их на мощный деревянный засов. Я бы тогда эту створку с места не сдвинул, а Джордж запросто, глазом не моргнув. Он подошел ко мне, отряхнул ладони от пыли и ухмыльнулся.

— Ты что задумал, Джордж?

— Победителю — трофеи, разве не так? — Он пнул входную дверь, и она уступила. — Заходи,

парень. Будь как дома. У Джорджи все схвачено — никто нам тут не помешает, выбирай, что душе мило. Подбери что-нибудь посимпатичнее для мамы, для подружки.

— Я хочу только покурить, — сказал я. — Так что смело открывай ворота — лично мне бояться нечего.

Из кармана полевой куртки Джордж достал пачку сигарет:

— Видишь, какой у тебя заботливый приятель. Держи.

— Зачем ты потащил меня в Петерсвальд за сигаретой, когда их у тебя целая пачка?

Он вошел в дом.

— А я люблю компанию, Сэмми. Тебе должно быть приятно. И вообще — рыжим положено держаться вместе.

— Идем отсюда, Джордж.

— Ворота заперты. Бояться нечего, Сэмми, ты же сам сказал. Больше жизни! Иди на кухню и сооруди там что-нибудь поесть. Ты голодный — вот в чем вся штука. Потом всю жизнь убиваться будешь, если сейчас такую возможность упустишь.

Он повернулся ко мне спиной и начал вытаскивать ящики, выкладывать на стол их содержимое и рыться в нем. При этом Джордж насвистывал

мелодию какого-то старого танца, которую я не слышал с конца тридцатых годов.

А я стоял посреди комнаты и ловил кайф от первых глубоких затяжек. Глаза я прикрыл, а когда открыл снова, Джордж меня уже не интересовал. Бояться было нечего — чувство надвигающегося кошмара исчезло. Мне стало легче.

— Да, жильцы этого дома явно снялись в спешке, — сказал Джордж, все еще стоя ко мне спиной. Он поднял какую-то бутылочку. — Даже капли от сердца забыли. У моей старушки такие всегда были под рукой, если сердце прихватит. — Он убрал бутылочку в ящик. — Что по-немецки, что по-английски — звучит одинаково. Интересная штука стрихнин, Сэмми, маленькая доза может спасти тебе жизнь. — В свой распухший карман он опустил пару сережек. — Вот какая-нибудь девочка порадуется, — сказал он.

— Если привыкла ходить в дешевые магазины — порадуется.

— Выше нос, Сэмми! Ты что, хочешь своему другану настроение испортить? Иди в кухню и нарой там себе чего-нибудь поесть. Сейчас подойду.

Для победителя, которому положены трофеи, я выступил неплохо: на кухонном столе в тыльной части дома меня ждали три куска черного

хлеба и большой ломоть сыра. В поисках ножа — нарезать сыр — я заглянул в шкафчик, где меня ждал сюрприз. Нож-то там был, но рядом я обнаружил пистолет, чуть больше моего кулака, а рядом лежала полная обойма. Я поиграл с ним, прикинул, как он работает, загнал обойму на место — посмотреть, входит ли она в пистолет. Хорошая штучка, очень милый сувенир. Я пожал плечами, собираясь все положить на место. Ведь если русские найдут у тебя пистолет, можно смело считать себя покойником.

— Сэмми! Куда запропастился? — окликнул меня Джордж.

Я сунул пистолет в карман брюк.

— Я в кухне, Джордж. Ну, что нашел — подвески королевы?

— Кое-что получше, Сэмми. — Он вошел в комнату, заметно запыхавшись, на лице появились розовые пятна. Джордж явно раздулся — напихал под куртку всякой всячины из других комнат. На стол он со стуком поставил бутылку бренди. — Как тебе, Сэмми? Можем себе устроить вечеринку в честь победы, верно, Сэмми? А то приедешь в свое Джерси и скажешь родне, мол, от старины Джорджа мне никогда и ничего не перепало. — Он хлопнул меня по спине. — Я нашел ее пол-

ненькую, Сэмми, а сейчас от нее осталась только половина, так что тебе предстоит догонять.

— Лучше я воздержусь, Джордж. Спасибо, но не хочу, чтобы эта штука меня угробила — я не в той форме.

Он сел на стул напротив меня и расплылся в широкой ухмылке.

— Доешь сандвич — сразу форму наберешь. Ты хоть понимаешь, что война кончилась! Разве за это не стоит выпить?

— Может, попозже.

Он не стал пить дальше. Умолк, явно задумавшись о чем-то серьезном, а я тоже молча жевал свой сандвич.

— А твой аппетит куда девался? — спросил я наконец.

— Никуда. В полном порядке. Просто я утром ел.

— Спасибо, что и мне предложил. Это был прощальный подарок от охранников?

Джордж улыбнулся, будто я воздал ему должное за все его делишки.

— Что с тобой, Сэмми, я стою тебе поперек горла?

— Разве я что-то сказал?

— Говорить и не требуется, парень. У тебя на

уме то же, что у остальных. — Он откинулся на спинку стула, вытянул руки в стороны. — Я слышал, кое-кто из ребят задумал сдать меня как предателя, когда вернемся в Штаты. Ты с ними заодно, Сэмми? — Джордж был абсолютно спокоен, даже позевывал. Он тут же продолжил, не дав мне возможности ответить: — У несчастного старины Джорджа в целом мире никого нет, верно? Теперь он в полном одиночестве, верно? Вы-то, ребятки, полетите домой, а армия захочет побеседовать с Джорджи Фишером, верно?

— Зря ты волну гонишь, Джордж. Выкинь из головы. Никто не собирается…

Он поднялся, оперся рукой на стол, чтобы сохранить равновесие.

— Нетушки, Сэмми, я до всего дотумкался. Предатель — это ведь государственная измена, так? За это вполне можно на виселицу попасть, верно?

— Да успокойся ты, Джордж. Никто не собирается тебя вешать.

Я медленно поднялся.

— А я говорю, что до всего дотумкался. Быть Джорджи Фишером теперь — дело гиблое. Знаешь, что я придумал? — Он расстегнул ворот гимнастерки, снял с шеи персональный жетон и

бросил его на пол. — Я стану другим человеком, Сэмми. По-моему, отличная идея, как считаешь?

Посуда в шкафу завибрировала — это приближались танки. Я направился к двери.

— Делай что хочешь, Джордж. Мне плевать. Лично я сдавать тебя не собираюсь. Я хочу только одного — вернуться домой целым и невредимым, поэтому сейчас отправляюсь в лагерь.

Джордж преградил мне дорогу и, подмигивая и усмехаясь, положил руку мне на плечо.

— Подожди, парень. Я же еще не все сказал. Хочешь знать, что собирается сделать твой приятель Джорджи? Тебе будет интересно это услышать.

— Будь здоров, Джордж.

Но он не сдвинулся с места.

— Лучше садись, Сэмми, и выпей. Успокой нервишки. Ни ты, ни я, малыш, в лагерь больше не вернемся. Ведь ребята в лагере знают, как выглядит Джорджи Фишер, а это испортит нам все планы, верно? Думаю, мне разумнее пару деньков тихо пересидеть, а потом объявиться в Праге, где меня никто не знает.

— Повторяю, Джордж: лично я никому ничего говорить не собираюсь.

— Ты садись, Сэмми. Выпей.

Голова у меня гудела, сказывалась усталость, а от черствого черного хлеба в желудке начались колики. Я сел.

— Вот и молодец, — похвалил он меня. — Если согласишься с моим планом, Сэмми, все будет быстро. Так вот, я сказал, что вместо Джорджи Фишера стану другим человеком.

— Дело хозяйское, Джордж.

— Фокус в том, что мне нужно новое имя и жетон. Твое меня вполне устраивает — что попросишь взамен? — Джордж перестал улыбаться. Он не валял дурака, а предлагал мне сделку. Он навис над столом, и потная розовая лепешка его лица оказалась в нескольких дюймах от моего. — Что скажешь, Сэмми? — зашептал он. — За твой жетон — двести зеленых наличными и вот эти часы. Как раз хватит на новенький «Ласалль», верно? Ты посмотри на эти часы, Сэмми, — в Нью-Йорке они стоят тысячу зеленых. Отбивают каждый час, показывают дату…

Забавно, что Джордж забыл: «Ласалль» свои дела уже свернул. Из кармана он вытащил пачку денег. Взяв нас в плен, немцы все наши деньги забрали, но кое-кто из ребят ухитрился спрятать несколько купюр за подкладку одежды. Джордж со своим сигаретным бизнесом вытряс из парней

все до последнего доллара — докончил начатое немцами. Спрос и предложение — пять долларов за сигарету.

А вот часы меня удивили. До сих пор Джордж о них помалкивал — по очень понятной причине. Часы принадлежали Джерри Салливену — парню, которого пристрелили во время побега из тюрьмы.

— Откуда у тебя часы Джерри, Джордж?

Джордж пожал плечами:

— Прелесть, да? Джерри у меня за них сто сигарет выпросил. Пришлось ему последние запасы отдать.

— Когда это было, Джордж?

Широкой доверительной ухмылки на его лице уже не было. Наконец-то он разозлился.

— Что значит «когда»? Незадолго до того, как его шлепнули, если тебе так надо знать. — Он вонзил руки в свои рыжие вихры. — Давай говори, что его убили из-за меня. Ты же это думаешь — так прямо и говори.

— Я этого не думал, Джордж. Мне просто пришло в голову, как тебе с этой сделкой повезло. Джерри говорил мне, что часы достались ему от дедушки и он ни за что и никому их не отдаст. Вот и все. Поэтому меня удивляет, что он выменял их

на сигареты.

— Какой смысл оправдываться? — сердито спросил он. — Как я докажу, что непричастен к его смерти? Вы свалили ее на меня только потому, что мои дела идут хорошо, а ваши — нет. А у меня с Джерри все было по-честному, и я убью любого, кто скажет, что это не так. А сейчас я играю по-честному с тобой, Сэмми. Хочешь зелень и часы или нет?

Я вспомнил вечер перед побегом: перед тем как лезть в тоннель, Джерри сказал:

— Господи, вот бы сейчас курнуть.

Танки уже не просто гудели — они ревели. Видимо, уже проехали мимо нашего лагеря и теперь одолевали последнюю милю, поднимались к Петерсвальду. Время для развлечений быстро подходило к концу.

— Предложение отличное, Джордж, придумано здорово, но что должен делать я, пока мной будешь ты?

— Почти ничего, малыш. Ты просто на время должен забыть, кто ты такой. Объявляешься в Праге и говоришь: у меня начисто отшибло память. Поводи их так за нос ровно столько, сколько мне понадобится на то, чтобы вернуться в Штаты. Десять дней, Сэмми, всех дел. Номер сработает,

Сэмми, мы оба рыжие и примерно одного роста.

— И что произойдет, когда выяснится, что Сэм Клайнханс — это я?

— Так я-то буду уже далеко — в Штатах. Там они меня не найдут. Так что, Сэмми, — спросил он, явно теряя терпение, — договорились?

Схема была совершенно идиотской, шансы на успех равнялись абсолютному нулю. Я посмотрел Джорджу в глаза и, как мне показалось, увидел, что он и сам это понимает. Может, Джордж и думал раньше, что на дурака эта идея проскочит, но сейчас явно не верил в это. Я взглянул на лежавшие на столе часы и вспомнил, как в лагерь затаскивали труп Джерри Салливена. Одним из тех, кто тащил тело, точно был Джордж.

Тут я понял, что в кармане у меня лежит пистолет.

— Иди к черту, Джордж, — сказал я.

Он не удивился. Подтолкнул ко мне бутылку.

— Выпей и обдумай все как следует. Пытаешься усложнить жизнь нам обоим. — Я толкнул бутылку обратно. — Сильно усложнить, — с нажимом проговорил Джордж. — Мне позарез нужен твой жетон, Сэмми.

Я приготовился к худшему, но ничего не произошло. Он оказался трусливее, чем я думал.

Джордж протянул мне часы, большим пальцем нажал на заводную головку.

— Послушай, Сэмми, они отбивают каждый час.

Но боя часов я не услышал. Казалось, ад вырвался наружу — оглушительно скрежетали и гремели танки, что-то с посвистом хлопало, обалдевшие от счастья люди что-то пели, а поверх всего этого безумно наяривали аккордеоны.

— Они здесь! — заорал я. Значит, война и вправду кончилась! Кончилась, по-настоящему! Я тут же забыл про Джорджа, Джерри, часы — все вытеснил этот восхитительный шум. Я подбежал к окну. Над стеной поднимались клубы дыма и пыли, кто-то изо всех сил колотил в ворота. — Вот и все! — засмеялся я.

Джордж отпихнул меня от окна и припер к стене.

— Вот и все, это точно! — прошипел он. Лицо его перекосилось от ужаса. В грудь мне уперлось дуло пистолета. Джордж схватил цепочку моего жетона и резко ее дернул.

Затрещало дерево, застонало железо — и ворота слетели с петель. В пространстве между столбами стоял танк, мотор его громыхал, огромные гусеницы покоились на поверженных воротах.

Джордж повернул голову на шум — два русских солдата вылезли из башни танка, соскользнули вниз и, держа автоматы наперевес, вошли во двор. Они быстро оглядели окна и прокричали что-то, мне непонятное.

— Если увидят пистолет, они убьют нас! — крикнул я.

Джордж кивнул. Он стоял, словно оглушенный, как в полусне.

— Верно, — сказал он и отбросил пистолет подальше. Тот скользнул вдоль выбеленных досок полового покрытия и замер в темном углу. — Подними руки, Сэмми, — распорядился он. Руки он положил за голову, повернулся ко мне спиной — лицом к коридору, по которому уже топали русские. — Я, наверное, напился до чертиков, Сэмми. Совсем мозги заклинило, — прошептал он.

— Конечно, Джордж, ничего страшного.

— Мы через это должны пройти вместе, слышишь, Сэмми?

— Через что? — Я держал руки вдоль туловища. — Эй, русские, как вы там? — заорал я.

В комнату тяжелой походкой вошли два русских парня, совсем молодые, сурового вида, автоматы держали наготове. Улыбки на лицах не было.

— Руки вверх! — скомандовал один из них по-немецки.

— *Amerikaner*, — сказал я негромко и поднял руки.

Парни здорово удивились и начали перешептываться, не сводя с нас глаз. Поначалу они бросали на нас косые взгляды, но по ходу разговора становились все раскованнее и вот уже ослепительно нам заулыбались. Видимо, убедили друг друга, что в рамках общей политики с американцами надо быть дружелюбными.

— Сегодня для людей великий день, — строго сказал один из них, знавший по-немецки.

— Да, великий день, — согласился я. — Джордж, угости ребят выпивкой.

Увидев бутылку, они обрадовались, закачались на каблуках взад-вперед, закивали и захихикали. Но вежливо настояли, чтобы первым за великий день для людей выпил Джордж. Джордж нервно ухмыльнулся. Он уже поднес бутылку к губам — и тут она выскользнула из его пальцев и бухнулась на пол, расплескав содержимое на наши ноги.

— Господи, извините, — промямлил Джордж.

Я было наклонился подобрать осколки, но русские остановили меня.

— Водка лучше, чем немецкая отрава, — со

значением сказал тот, что говорил по-немецки, и вытащил из-под куртки большую бутылку. — Рузвельт! — объявил он, сделал большой глоток и передал бутылку Джорджу.

Бутылка сделала четыре круга: за Рузвельта, за Сталина, за Черчилля, за то, чтобы Гитлер сгорел в аду. Последний тост был моим изобретением.

— На медленном огне, — добавил я. Русские от такого предложения пришли в полный восторг, но их смех резко оборвался — у ворот появился офицер и, грозно рыча, позвал их. Они быстро отдали нам честь, схватили свою бутылку и выбежали из дома.

Мы видели, как они забрались на свой танк, тот сдал задом и с грохотом выкатился на дорогу. Парни помахали нам на прощание.

От водки в голове у меня помутилось, по телу разлилось тепло, а на душе стало радостно. Оказалось, что заодно я стал наглым и кровожадным. Джордж явно перебрал и едва держался на ногах.

— Я сам не знал, что делаю, Сэмми. Я совсем…

Предложение повисло в воздухе. Он направлялся в угол, где лежал пистолет, — с угрюмым лицом, пошатываясь, поглядывая по сторонам.

Я преградил ему дорогу и вытащил из кармана

брюк маленький пистолет:

— Смотри, Джордж, что я нашел.

Он застыл и, моргая, уставился на оружие.

— Хорошая штучка, Сэмми. — Он протянул руку. — Дай-ка поглядеть.

Со щелчком я снял пистолет с предохранителя.

— Садись, старина Джорджи.

Он сел в кресло у стола, где раньше сидел я.

— Я чего-то не понял, — забормотал он. — Ты собираешься пристрелить твоего старого кореша, Сэмми? — Джордж просительно посмотрел на меня. — Я тебе предложил честную сделку, так? Я же всегда был…

— Ты же не дурак и прекрасно понимаешь, что на твой фокус с жетоном я бы никогда не согласился. И вообще я тебе не кореш — ты разве не знаешь, Джорджи? И единственный для тебя способ провернуть всю эту историю — укокошить меня. Что скажешь? Я все выдумываю?

— После того как Джерри шлепнули, на старину Джорджа наезжают все, кому не лень. Богом клянусь, Сэмми, я к этому делу вообще никакого… — Он не договорил. Только покачал головой и вздохнул.

— Мне просто жаль беднягу Джорджа — не хватило смелости пристрелить меня, когда бы-

ла возможность. — Я поднял бутылку, которую уронил Джордж, и поставил перед ним. — Тебе надо как следует выпить. Смотри, Джордж, тут еще минимум три порции осталось. Рад, что не все расплескалось?

— Больше не хочу, Сэмми. — Он закрыл глаза. — Убери пистолет, сделай милость. Ничего плохого у меня на уме не было.

— А я говорю — выпей. — Он не пошевелился. Я сидел напротив и держал его на мушке. — Дай-ка мне часы, Джордж.

Тут он встрепенулся:

— Так вот что тебе нужно? Конечно, Сэмми, сейчас, и тогда будем в расчете, да? Что я могу тебе объяснить, когда я пьяный? Я же совсем не владею собой, малыш. — Он протянул мне часы Джерри. — Держи, Сэмми. Старина Джорджи тебе изрядно нервы потрепал, так что Бог свидетель — часы ты честно заработал.

Я поставил стрелки на двенадцать, толкнул вниз заводную головку. Крохотные куранты пробили двенадцать раз — каждую секунду по два удара.

— В Нью-Йорке за них тысячу зеленых дадут, Сэмми, — произнес Джордж хрипло, перекрывая бой часов.

— Именно столько времени ты будешь пить из этой бутылки, Джордж, — сказал я. — Пока часы не пробьют двенадцать раз.

— Не понял. Что еще за выдумки?

Я положил часы на стол.

— Помнишь, Джордж, что ты говорил насчет стрихнина? Если принять немножко, он может тебе жизнь спасти. — Я снова толкнул головку часов вниз. — Выпей за упокой души Джерри Салливена, приятель.

Часы снова заверещали. Восемь… девять… десять, одиннадцать… двенадцать. В комнате повисла тишина.

— А я ничего не выпил, — ухмыльнулся Джордж. — И что дальше, бойскаут?

3

В самом начале я сказал, что это — рассказ об убийстве. На самом деле я не уверен в этом.

Я без приключений добрался до американцев и сообщил, что Джордж умер в результате несчастного случая — случайно выстрелил в себя из пистолета, который раньше нашел в окопе. Я дал письменные показания под присягой, мол, все было именно так.

А какого черта? Все равно он уже был мертв, а

этого не отменишь. Ну скажи я им, что Джорджа застрелил я, — кто бы от этого выиграл? Моя душа? Или, может, душа Джорджа?

Ну, военная разведка быстро заподозрила — концы с концами не сходятся. В лагере «Лаки страйк», неподалеку от Гавра, во Франции, где все репатриированные военнопленные ждали судна, чтобы уплыть домой, меня вызвали в палатку военной разведки. К тому времени я провел в лагере уже две недели и на следующий день должен был отправляться за океан.

Вопросы мне задавал седовласый майор. Перед ним лежал подписанный мною документ. Я понял, что рассказ о пистолете, найденном в окопе, его не сильно интересует. Зато он настойчиво выпытывал у меня, как Джордж вел себя в лагере для военнопленных, его интересовало, как именно Джордж выглядел. Мои слова он записывал.

— Вы уверены, что не путаете имя? — спросил он.

— Уверен, сэр, имя и серийный номер. Вот один из его жетонов, сэр. Другой я оставил на теле. Извините, сэр, я хотел сдать его раньше.

Майор внимательно осмотрел жетон, прикрепил его к документу с моими показаниями и убрал все вместе в толстую папку. На ней была

написана фамилия Джорджа.

— Не знаю, что дальше с этим делать, — признался он, поигрывая тесемками папки. — Интересный тип, Джордж Фишер. — Он предложил мне сигарету. Я взял ее, но закурил не сразу.

Вот и все. «Каким-то образом им удалось докопаться до истины», — подумал я. Хотелось кричать, но я, стиснув зубы, продолжал улыбаться.

Прежде чем произнести следующую фразу, майор выдержал паузу.

— Этот жетон — фальшивый, — сказал он наконец, чуть улыбаясь. — В американской армии пропавших с такой фамилией нет. — Он подался вперед и поднес огонь к моей сигарете. — Наверное, надо эту папку передать немцам — пусть сообщат родственникам.

До того как восемь месяцев назад Джорджа Фишера одного привезли в лагерь для военнопленных, я никогда не встречался с ним, но знал ему подобных. В моем детстве было несколько таких, как он. Наверное, он проявил себя как хороший нацист, раз его взяли в немецкую разведку — как я уже говорил, большинство мальчишек в американском Бунде особыми способностями не отличались. Не знаю, многие ли из них вернулись

в США после войны, а вот мой приятель Джордж Фишер был к этому очень близок.

Стол коменданта

© Перевод. М. Загот, 2021

Я сидел у окна моей маленькой мебельной мастерской в чехословацком городке Беда. Моя вдовая дочь Марта придерживала для меня занавеску и через уголок окна наблюдала за американцами, стараясь не заслонять мне свет головой.

— Повернулся бы сюда, мы бы разглядели его лицо, — нетерпеливо сказал я. — Марта, отодвинь занавеску подальше.

— Он генерал? — спросила Марта.

— Чтобы генерала назначили комендантом Беды? — Я засмеялся. — Капрал — еще куда ни шло. Но какие они все откормленные! Едят — и как едят! — Я погладил моего черного кота. — Котик, тебе надо только перебраться через улицу — и отведаешь первой в своей жизни американской сметанки! — Я поднял руки над головой. — Марта, ты хоть это чувствуешь, скажи — чувствуешь? Русские ушли, Марта, — они ушли!

И вот мы пытались разглядеть лицо американского коменданта — он вселялся в дом на другой

стороне улицы, где за несколько недель до этого жил русский комендант. Американцы вошли в дом, пиная мусор и обломки мебели. Какое-то время из моего окна ничего не было видно. Я откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

— Все, — сказал я, — с убийствами покончено, и мы остались в живых. Ты думала, что мы выживем? Хоть один нормальный человек надеялся остаться в живых, когда все кончится?

— Иногда мне кажется: я должна стыдиться того, что осталась в живых.

— Знаешь, весь мир еще долго будет стыдиться этого. По крайней мере поблагодари Бога за то, что ты хоть и жива, но во всех этих убийствах неповинна. В этом преимущество беспомощного человека, стиснутого обстоятельствами. Подумай, какую вину несут на своих плечах американцы — сотня тысяч убитых во время бомбардировок Москвы, еще полсотни — в Киеве…

— Как насчет вины русских? — пылко спросила она.

— Нет, русских не трогай. В этом одна из прелестей поражения в войне. Сдаешь свою вину вместе со своей столицей — и вступаешь в ряды маленького невинного народа.

Кот с урчанием потерся боком о мою дере-

вянную ногу. Думаю, большинство мужчин с деревянной ногой этот факт старательно скрывают. Я лишился левой ноги в 1916 году, когда был пехотинцем в австрийской армии, и одну брючину ношу выше другой, чтобы все видели замечательный дубовый протез, который я смастерил для себя сразу после Первой мировой. На протезе вырезаны изображения Жоржа Клемансо, Дэвида Ллойд-Джорджа и Вудро Вильсона, которые помогли Чешской Республике восстать из руин Австро-Венгерской империи в 1919 году, когда мне было двадцать пять лет. А под этими изображениями еще два, каждое с венком: Томаш Масарик и Эдуард Бенеш, первые вожди Чешской Республики. Мой протез могли бы украсить и другие лица, и теперь, когда снова установился мир, очень возможно, что я займусь этим. За последние тридцать лет я занимался резьбой по протезу только один раз, и результат получился примитивный, невнятный и, возможно, варварский — около железного наконечника я сделал три глубокие насечки, в память о трех немецких офицерах, чью машину я пустил под откос темной ночью 1943 года, во время нацистской оккупации.

Люди на другой стороне улицы не были пер-

выми американцами, которых я видел в жизни. Во времена Республики у меня в Праге была мебельная фабрика, и поступало много заказов для американских универмагов. Когда пришли нацисты, фабрику я потерял и перебрался в Беду, тихий городок у подножия Судет. Вскоре умерла моя жена, по редчайшей из причин — естественной смертью. И у меня на этом свете осталась только дочь, Марта.

И вот, хвала Господу, я снова видел американцев — после нацистов, после Красной армии во Второй мировой, после чешских коммунистов и снова после русских. Мысль о том, что этот день когда-нибудь наступит, наполняла мою жизнь смыслом. Под половицами моей мастерской была спрятана бутылка шотландского виски, которая постоянно испытывала мою силу воли. Но я так и не достал ее из тайника. Я решил: пусть это будет мой подарок американцам, когда они наконец появятся.

— Выходят, — объявила Марта.

Я открыл глаза и увидел, что с противоположной стороны улицы, уперев руки в бедра, на меня смотрит крепко сбитый рыжеволосый майор. Вид у него был усталый и раздраженный. Следом из здания вышел еще один молодой человек в

звании капитана — высокий, крупный, неторопливый, он сильно смахивал на итальянца, если не считать габаритов.

Я уставился на них, глупо моргая.

— Они идут сюда, — произнес я в беспомощном волнении.

Майор и капитан вошли в наш дом, пялясь на синие книжечки — как я понял, разговорник чешского языка. Крупный капитан, как мне показалось, чувствовал себя немного неловко, а рыжий майор, наоборот, был настроен воинственно.

Капитан провел пальцем по полю страницы и огорченно покачал головой:

— Автомат, пушка, мотоцикл… танк, жгут, окоп. Насчет шкафов, столов и стульев — ничего нет.

— А вы чего ждали? — взвился майор. — Это же разговорник для солдат, а не для всякой гражданской швали. — Он злобно зыркнул глазами на книжечку, произнес что-то совершенно невообразимое и выжидающе посмотрел на меня. — Тоже мне источник знаний, — сказал он. — Написано, что она вполне заменяет переводчика, а этот старик смотрит на меня так, будто я ему читаю стихи на убанги.

— Господа, я говорю по-английски, — сказал я.

— И моя дочь Марта тоже.

— И правда говорит, — удивился майор. — Молодец, папаша.

Я почувствовал себя собачкой, которая проявила сообразительность — по собачьим меркам — и принесла ему резиновый мячик.

Я протянул майору руку и представился. Он окинул ее надменным взглядом и не соизволил вынуть руки из карманов. Я почувствовал, что заливаюсь краской.

— Меня зовут капитан Пол Доннини, — быстро произнес второй мужчина, — а это майор Лоусон Эванс. — Он пожал мне руку. — Сэр, — обратился он ко мне, и голос его звучал по-отечески глубоко, — русские…

Тут майор использовал эпитет, от которого у меня отвисла челюсть. Поразилась и Марта, хотя на своем веку наслушалась солдатской брани.

Капитан Доннини смутился.

— Они всю мебель разгромили, — продолжил он, — и я хотел спросить, не позволите ли взять что-то из вашей мастерской?

— Я и сам хотел предложить вам это, — сказал я. — Ужасно, что они все переломали. Они ведь конфисковали самую красивую мебель в Беде. — Я улыбнулся и покачал головой. — Ох уж эти

враги капитализма — из своего штаба сделали маленький Версаль.

— Да, мы видели обломки, — подтвердил капитан.

— А потом, когда оказалось, что сокровища с собой не унесешь, они решили: пусть не достанутся никому. — Жестом я показал, как человек машет топором. — И в мире для всех нас становится меньше радости, потому что меньше сокровищ. Пусть буржуазных, но даже если они тебе не по карману, все равно приятно сознавать, что где-то они есть.

Капитан понимающе улыбнулся, но я с удивлением заметил, что у майора Эванса моя тирада вызвала раздражение.

— Так или иначе, — сказал я, — можете забрать все, что хотите. Быть вам полезным — честь для меня.

Я подумал: может быть, пора доставать виски? На самом деле события разворачивались не так, как я ожидал.

— Папаша-то не дурак, — кисло заметил майор.

Я вдруг понял, на что именно намекает майор. Это поразило меня. Он давал мне понять, что я — в стане противника. Смысл был такой: я готов

сотрудничать, потому что боюсь. Он и хотел, чтобы я боялся.

Меня затошнило. В давние времена молодости, более расположенный к христианству, я любил говорить: если твоими действиями движет страх, значит, у тебя непорядок с психикой, ты жалок, достоин презрения и одинок. Но позже на моем пути встречались армии именно таких людей, и я понял, что скорее сам одинок и жалок, возможно, и непорядок с психикой тоже у меня. Только для меня легче лишить себя жизни, чем признаться в этом.

Хотелось думать, что нового коменданта я воспринимаю ошибочно. Я сказал себе, что слишком долго — сейчас я уже немолод и могу признаться в этом — был подозрительным, слишком долго всего боялся. Но я видел, что угрозу почувствовала и Марта, что в воздухе висит страх. Свое тепло она скрывала, как делала это уже много лет, под серой и чопорной маской.

— Да, — сказал я, — берите все, что вам пригодится.

Майор рывком распахнул дверь в заднюю комнату, где я сплю и работаю. Все — мой запас гостеприимства был исчерпан. Я плюхнулся на стул у окна и откинулся на спинку. Капитан Дон-

нини, сгоравший от смущения, остался с Мартой и со мной.

— Прекрасно здесь, в горах, — невпопад произнес он.

В комнате повисла напряженная тишина, которую время от времени нарушал майор, проводивший досмотр в задней комнате. Я внимательно посмотрел на капитана и поразился, что он выглядит мальчишкой по сравнению с майором, хотя, вполне возможно, они были ровесники. Трудно было представить его на поле боя, зато майора было трудно представить где-нибудь еще.

Услышав, как майор присвистнул, я понял: он нашел стол коменданта.

— У майора столько медалей, наверное, очень храбрый человек, — вдруг сказала Марта.

Капитан Доннини с благодарностью ухватился за возможность обелить своего начальника.

— Очень храбрый — был и есть, — сказал он с теплыми нотками в голосе. И объяснил: майор и почти все его подчиненные в Беде приписаны к якобы знаменитой бронетанковой дивизии, все они, по словам капитана, не знают страха и усталости и всегда рвутся в бой.

От удивления я прищелкнул языком — как

всегда, когда ведутся подобные разговоры. Про такие дивизии я слышал не раз, от американских офицеров, от немецких и русских. Да и мои офицеры времен Первой мировой клятвенно заверяли меня: в такой дивизии служу и я. Я готов поверить в существование дивизии, состоящей из любителей повоевать, когда мне говорит о ней солдат — если он трезвый и по-настоящему понюхал пороху. В общем, если такие дивизии есть, в период между войнами их надо хранить в замороженном виде.

— А вы? — спросила Марта, врываясь в созданную капитаном Доннини биографию майора Эванса, замешанную на крови вкупе с громом небесным.

Капитан улыбнулся:

— Я в Европе недавно и не могу — извините за выражение — отыскать в темноте собственную задницу. Мои легкие все еще наполнены воздухом форта Беннинг в штате Джорджия. Вот майор — он настоящий герой, воюет уже три года без передышки.

— Я никак не рассчитывал загреметь сюда в роли констебля, мелкого чиновника и Стены Плача одновременно, — сказал майор Эванс, возникнув в дверном проеме задней комнаты. — Папаша,

мне нужен этот стол. Для себя делали?

— Зачем мне такой стол? Я делал его для русского коменданта.

— Ваш приятель?

Я попытался изобразить улыбку, но, похоже, вышло неубедительно.

— Если бы я отказался, мы с вами сейчас не разговаривали бы. И с ним я не разговаривал бы, если бы отказался делать кровать для нацистского коменданта — с гирляндой из свастики и первой строфой из нацистского гимна в изголовье.

Капитан улыбнулся мне, но майор — нет.

— Это особый случай, — заметил майор. — Сам открыто заявляет, что пособничал врагу.

— Я этого не заявлял, — спокойно возразил я.

— Не надо портить впечатление, — возразил майор Эванс. — Пусть будет свежая струя.

Марта внезапно заторопилась наверх.

— Я никому не пособничал, — повторил я.

— Ясное дело — не давали врагу пощады. Кто же сомневается? Все понятно. Зайдите на минутку сюда. Хочу поговорить о столе.

Он сел на незаконченный стол — огромный и, на мой вкус, жуткий образчик мебельного строительства. Я замыслил это стол как некую приватную пародию, с учетом дурного вкуса

русского коменданта и его лицемерной любви к символам роскоши. Стол получился предельно претенциозным, с огромным количеством украшений — фантазия русского крестьянина на тему о том, как выглядит стол банкира с Уолл-стрит. Он блестел кусочками цветной мозаики, подобно вделанным в дерево драгоценным камням, в нужных местах я использовал краску для радиаторов, и результат смахивал на позолоту. Теперь выяснялось, что пародии суждено остаться приватной, потому что американского коменданта она захватила не меньше, чем русского.

— Вот это мебель, я понимаю, — прокомментировал майор Эванс.

— Очень мило, — рассеянно подтвердил капитан Доннини. Он смотрел на лестницу, по которой упорхнула Марта.

— Но одна поправка все же требуется, папаша.

— Серп и молот, знаю. Я собирался…

— Правильно собирался. — Майор отвел назад обутую в сапог ногу и яростно пнул в ребро массивную пластинку с орнаментом. Кругляш выскочил и пьяно покатился в угол, где сделал «брр», шлепнулся лицом вниз и успокоился. Подошел кот, с подозрением обнюхал новый предмет и на всякий случай отступил подальше.

— Здесь должен быть орел, папаша. — Майор снял фуражку и показал мне кокарду с американским орлом. — Вот такой.

— Рисунок непростой. Сразу не сделаешь, — сказал я.

— Не такой простой, как свастика или серп с молотом, так?

Я месяцами мечтал, как поделюсь шуткой насчет стола с американцами, как расскажу им о тайном ящичке, который сделал для русского коменданта — это всем шуткам шутка. И вот американцы здесь, я дождался их, но ощущения у меня не совсем те, на душе мерзко, пусто и одиноко. И делиться шуткой ни с кем, кроме Марты, не хотелось.

— Нет, сэр, — ответил я на ядовитую шутку майора. — Не такой простой.

А что еще я мог сказать?

Виски остался под половицами, а тайный ящик в столе сохранил свою тайну.

Американский гарнизон в Беде состоял человек из ста, почти все они, кроме капитана Доннини, не один год сражались в бронетанковой дивизии, где геройствовал и майор Эванс. Они вели себя как завоеватели, и майор Эванс полностью поддерживал их в этом начинании. Я так ждал

прихода американцев, надеялся, что ко мне и Марте вернутся гордость и чувство собственного достоинства, мы заживем чуть лучше, еда на столе станет вкуснее, Марта познает радости жизни. Вместо этого мы столкнулись с агрессивным недоверием майора Эванса, нового коменданта, помноженным на сто благодаря его подчиненным.

Жизнь в военное время — сущий кошмар, чтобы не пойти ко дну, нужны специальные навыки. В частности, понимание психологии оккупационных войск. Русские не походили на нацистов, американцы сильно отличались от тех и других. Слава Богу, насилия со стороны русских и нацистов не было — ни стрельбы, ни пыток. А с американцами происходила интересная вещь: прежде чем начать куролесить, они должны были напиться. К несчастью для Беды, майор Эванс позволял своим людям пить столько, сколько им хотелось. И вот, напившись, они начинали резвиться: воровать — под видом поиска сувениров, — гонять по улицам на джипах с сумасшедшей скоростью, стрелять в воздух, материться, задевать прохожих и бить стекла.

Жители Беды привыкли помалкивать и не высовываться — что бы ни произошло, — поэтому

мы не сразу поняли, чем американцы принципиально отличаются от остальных. Их грубые и жестокие выходки носили весьма поверхностный характер, а в глубине души они здорово побаивались. Мы выяснили, что они легко приходят в смущение, когда женщины или люди постарше по-родительски делают им замечания, ругают за плохое поведение. Это их тут же отрезвляло — как ушат холодной воды.

Разобравшись, таким образом, во внутреннем мире наших завоевателей, мы, понятно, облегчили себе жизнь, но не очень сильно. Мы сделали тягостное открытие: американцы видят в нас врагов — в этом смысле они не сильно отличались от русских, — и майор хотел, чтобы нас наказали. Горожан организовали в трудовые батальоны и заставили работать под надзором вооруженной охраны, как военнопленных. Одно обстоятельство делало работу совершенно невыносимой: люди не восстанавливали город после нанесенного войной ущерба, нет, они делали штаб американского гарнизона более комфортабельным и возводили огромный и безобразный памятник в честь американцев, погибших в бою за Беду. Погибших было четверо. Майор Эванс сделал так, что в городе воцарилась тюремная ат-

мосфера. Мы должны были испытывать чувство стыда, и ростки гордости или надежды быстро вырубили под корень. Права на эти чувства мы не имели.

Единственным лучом света был капитан Доннини, американец, еще более несчастный, чем мы. Выполнять распоряжения майора приходилось именно ему, и несколько раз он пытался напиться, но с ним не происходило того, что происходило с другими. Распоряжения он выполнял неохотно, за что его вполне могли бы отдать под трибунал. Мало того, в нашем с Мартой обществе он проводил столько же времени, сколько в обществе майора, и в основном сдержанно извинялся за то, чем ему приходилось заниматься. Забавно, но мы с Мартой утешали этого печального темноволосого гиганта, а не он нас.

Стоя за своим верстаком в задней комнате, я думал о майоре — американский орел для стола коменданта был близок к завершению. Марта лежала на кушетке и смотрела в потолок. Туфли ее побелели от каменной крошки. Она весь день работала на строительстве памятника.

— Что ж, — сказал я мрачно, — если бы я воевал три года, возможно, дружелюбия у меня поубавилось бы. Посмотрим правде в глаза: хотелось

нам того или нет, но мы поставляли людей и материалы, чтобы отправить на тот свет сотни тысяч американцев. — Я простер руку в западном направлении, в сторону гор. — Вон где русские взяли уран.

— Око за око, зуб за зуб, — сказала Марта. — Сколько это еще продлится?

Я вздохнул, покачал головой:

— Бог свидетель — чехи за все заплатили с процентами. Руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, нашивку за нашивку.

Еще до основного наступления русских мы потеряли многих наших парней, включая мужа Марты, в волне самоубийств. А наши крупные города превратились в разоренные пепелища.

— Мы заплатили по всем счетам — и вот нам присылают нового коменданта. А он ничем не лучше прежних, — с горечью сказала Марта. — Глупо было ждать, что произойдет иначе.

Ее жуткое разочарование, ее апатия и безнадежность — а ведь это я рисовал ей радужные картины! — сводили меня с ума. Господи, ну что же это такое! А ведь новых освободителей не будет. В мире осталась лишь одна сила — это Америка, и американцы уже в Беде.

Без особой радости я снова принялся за аме-

риканского орла. Капитан дал мне долларовую банкноту, чтобы было удобнее копировать эмблему.

— Давайте посчитаем — в лапке девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать стрелочек.

Раздался робкий стук в дверь, и в комнату вошел капитан Доннини.

— Извините, — пробормотал он.

— Да уж придется извинить, — сказал я. — Ведь вы выиграли войну.

— Боюсь, мой вклад в победу совсем невелик.

— Майор всех перестрелял сам, капитану никого не оставил, — съязвила Марта.

— Что у вас с окном? — спросил капитан.

Весь пол был усыпан осколками стекла, и от непогоды нас защищал только лист фанеры, вставленный в оконный проем.

— Его вчера освободила пивная бутылка, — объяснил я. — Я об этом написал майору — возможно, мне теперь отрубят голову.

— Что это вы делаете?

— Орла, у которого в одной лапке тринадцать стрел, а в другой — оливковая ветвь.

— Вам еще повезло. Могли бы сейчас белить булыжники. Вас вычеркнули из списка, чтобы

стол успели доделать.

— Да, я видел, как белят булыжники, — сказал я. — С выбеленными булыжниками Беда выглядит еще лучше, чем до войны. И в голову не придет, что ее бомбили.

Майор распорядился, чтобы на лужайке перед его домом из выбеленных булыжников выложили волнующее послание: «1402-я рота военной полиции, комендант майор Лоусон Эванс». Клумбы и дорожки также предполагалось выложить выбеленным булыжником.

— На самом деле он неплохой человек, — заступился за майора капитан. — Ему через столько пришлось пройти — просто чудо, что он цел и невредим.

— Чудо, что мы целы и невредимы — при том, через что пришлось пройти нам, — заметила Марта.

— Понимаю. У вас были тяжелые времена. Но и у майора тоже. Во время бомбардировки Чикаго погибла вся его семья — жена и трое детей.

— А у меня на войне погиб муж, — сказала Марта.

— Вы что хотите сказать — мы все несем наказание за смерть семьи майора? Он считает, что мы желали им смерти? — спросил я.

Капитан прислонился к верстаку и прикрыл глаза.

— Черт, ну, не знаю я, не знаю. Я думал, это поможет вам понять его, не относиться к нему с ненавистью. Но все бесполезно, получается, тут ничем не поможешь.

— А вы, капитан, полагали, что сумеете помочь? — осведомилась Марта.

— Перед тем как приехать сюда — да. Но теперь знаю — я не то, что нужно, а что нужно — не знаю. Я, черт подери, всем сочувствую, понимаю, почему они ведут себя так, а не иначе — и вы двое, и все горожане, и майор, и солдаты. Возможно, если бы в меня всадили пулю или кто-то бегал за мной с огнеметом, я больше походил бы на мужчину.

— И ненавидели бы весь мир, как остальные, — добавила Марта.

— Да, и был бы уверен в себе, как все остальные, кто понюхал пороху.

— Уверен? Скорее окаменел бы, — вставил я.

— Окаменел, — повторил он. — У каждого есть своя причина, чтобы окаменеть.

— Это последний рубеж, — сказала Марта. — Онемение или самоубийство.

— Марта! — возмутился я.

— Сам знаешь, я правду говорю, — безучастно

сказала она. — Если поставить газовые камеры на улицах европейских городов, очереди будут длиннее, чем в кондитерскую. И когда все это кончится? Никогда.

— Марта, ради всего святого, не смей так говорить, — попросил я.

— Майор Эванс тоже так говорит, — вставил капитан Доннини. — Только про войну: ему хочется и дальше воевать. Пару раз, когда майору было особенно тяжело, он говорил: жаль, меня не убили, ведь возвращаться домой не к чему. В бою он всегда жутко рисковал — и не получил ни одной царапины.

— Несчастный человек, — сказала Марта. — Нет уж, войны больше не надо.

— Ну, партизанские действия еще есть — и даже много, под Ленинградом. Он написал рапорт, чтобы его перевели туда — еще повоевать. — Капитан посмотрел вниз, вытянул пальцы на коленях. — На самом деле я пришел сказать: майор хочет получить стол завтра.

Дверь распахнулась, и в мастерскую вошел майор.

— Капитан, где вас носит? Я послал вас с поручением, на которое требуется пять минут, а вас нет уже полчаса.

Капитан Доннини сделал стойку «смирно».

— Извините, сэр.

— Вы же знаете, что я думаю, когда мои люди братаются с противником.

— Знаю, сэр.

Он вплотную подошел ко мне.

— Так что у вас тут с окном?

— Вчера его разбил один из ваших.

— Это ужас как плохо, да? — Еще один его вопрос, на который не было ответа. — Я говорю, это ужас как плохо, да, папаша?

— Да, сэр.

— Папаша, хочу сказать тебе одну вещь, чтобы ты вбил ее себе в голову. А потом постараюсь, чтобы это понял и весь город.

— Да, сэр.

— Вы проиграли войну. Это ясно? И мне не надо, чтобы вы или кто-то еще рыдал у меня на плече. Моя задача в том, чтобы все здесь хорошо поняли: войну вы проиграли. И чтобы в городе был порядок. Вот зачем я здесь. И следующий, кто мне скажет, что он братался с русскими, потому что не имел другого выхода, получит от меня в зубы. Получит в зубы и тот, кто скажет, что с ним тут грубо обращаются. Ты еще не знаешь, что такое «грубо».

— Не знаю, сэр.

— Европа принадлежит вам, — тихо сказала Марта.

Он оглянулся на нее со злобой во взгляде:

— Если бы она принадлежала мне, барышня, я велел бы своим инженерам взять бульдозеры и сровнять весь этот бардак с землей. Здесь нет ничего, кроме бесхребетных зевак, которые готовы идти вслед за любым диктатором.

Меня, как и в день нашей встречи, поразило, что он выглядел жутко усталым и обозленным.

— Сэр, — вмешался капитан.

— Помолчите. Я не для того рисковал жизнью в боях, чтобы отдавать власть всяким иглскаутам. Где мой стол?

— Я заканчиваю орла.

— Давайте посмотрим. — Я передал ему диск. Он негромко выругался, прикоснулся к кокарде на своей фуражке. — Надо так, — сказал он. — Чтобы было точно так.

Я моргнул и глянул на его кокарду.

— Все и есть точно так. Я скопировал орла с долларовой банкноты.

— Стрелки, папаша! В какой лапке стрелки?

— О-о, на вашей фуражке они в правой, а на банкноте — в левой.

— В этом все дело, папаша. Одно дело — для армии, и совсем другое — для гражданских. — Он поднял колено и шлепнул по нему резной бляшкой. — Переделайте. Вы же из себя выходили, чтобы ублажить русского коменданта — ублажите и меня!

— Можно сказать? — спросил я.

— Нет. Я хочу услышать от вас только одно: стол будет у меня завтра.

— Но резьба по дереву занимает несколько дней.

— Работайте ночью.

— Хорошо, сэр.

Он вышел, за ним проследовал капитан.

— Что ты хотел ему сказать? — спросила Марта, криво улыбнувшись.

— Что чехи сражались с ненавистной ему Европой столько же, сколько он, и с такой же яростью. Что… только какой смысл?

— Продолжай.

— Ты все это слышала тысячу раз, Марта. Эта история уже набила оскомину. Я хотел ему сказать, что воевал и с Габсбургами, и с нацистами, а потом и с чешскими коммунистами, и с русскими — сражался по-своему, как мог. И ни разу не брал сторону диктатора — и никогда не возьму.

— Лучше займись орлом. И помни: стрелки в правой лапке.

— Марта, ты ведь никогда не пробовала виски? — Я просунул гвоздодер в трещину в полу и выдернул половицу. Вот она — запылившаяся бутылка виски, я припас ее для великого дня, о котором так мечтал.

Виски оказался настоящей вкуснятиной, и мы оба быстро напились. Я работал, и мы вспоминали старые времена, Марта и я, и какое-то время мне казалось, что мама Марты жива, а сама Марта — молодая, хорошенькая и беззаботная девушка, у нас свой дом в Праге, он полон друзей, а еще… Господи, на какое-то время нам стало так хорошо…

Марта заснула на кушетке, а я что-то мурлыкал про себя и вырезал американского орла, засиделся с ним далеко за полночь. Шедевра не получилось, работа была сделана на скорую руку, огрехи я постарался скрыть с помощью замазки и ложной позолоты.

За несколько часов до рассвета я приклеил эмблему к столу, закрепил зажимами и рухнул на кровать. Стол поступал к новому коменданту именно в том виде — за исключением эмблемы, — в каком был спроектирован для русского ко-

менданта.

Рано утром за столом пришли — полдюжины солдат и капитан. Когда они несли стол через улицу, мне пришло в голову, что он походит на гроб какого-нибудь восточного владыки. У дверей их встречал сам майор, он покрикивал на них, чтобы помнили об осторожности и, не дай Бог, не задели сокровищем за дверной косяк. Дверь закрылась, перед ней снова занял свой пост часовой, и смотреть больше было не на что.

Я вошел в мастерскую, убрал со скамьи опилки и начал писать майору Лоусону Эвансу, рота военной полиции 1402, Беда, Чехословакия.

«Дорогой сэр, — написал я. — Стол содержит один секрет, о котором я забыл вам сказать. Если заглянете под орла, то увидите…»

Я не отнес письмо на другую сторону улицы сразу, хотя такое намерение было. Я перечитал написанное, и мне стало как-то не по себе — такое чувство не возникло бы, будь адресатом русский комендант, для которого стол предназначался первоначально. Мысли о письме основательно подпортили мне аппетит, хотя я не ел от души уже много лет. Марта, слишком погруженная в свои тягостные мысли, не заметила моего нежелания есть, хотя обычно бранит меня, когда я

не слежу за собой. Она унесла мою нетронутую тарелку, не сказав ни слова.

Ближе к вечеру я допил виски и пересек улицу. Конверт передал часовому.

— Снова насчет окна, папаша? — спросил часовой. Видимо, эпизод с окном стал в их кругах расхожей шуткой.

— Нет, по другому поводу — насчет стола.

— Хорошо, папаша.

— Спасибо.

Я вернулся в мастерскую, прилег на кушетку и стал ждать. Мне даже удалось немного вздремнуть.

Разбудила меня Марта.

— Все нормально, я готов, — пробормотал я.

— К чему?

— К солдатам.

— Это не солдаты, а майор. Он уезжает.

— Что?

Я сбросил ноги с кушетки.

— Он садится в джип со всеми своими шмотками. Майор Эванс уезжает из Беды!

Я поспешил к окну, отодвинул лист фанеры. Майор Эванс сидел в кузове джипа в окружении вещмешков, спального мешка и прочей военной всячины. Вид у него был такой, будто яростный

бой шел на окраине Беды. Он бросал хмурые взгляды из-под стального шлема, рядом лежал карабин, а на талии висели пояс с патронами, нож и пистолет.

— Ему дали перевод, — изумился я.

— Теперь будет воевать с партизанами, — засмеялась Марта.

— Помоги ему Господь.

Джип тронулся с места. Майор Эванс махнул рукой — и живо испарился. Джип добрался до вершины холма, где пролегала граница города, и окончательно скрылся из виду, нырнув в долину, — я только увидел, как майор Эванс, этот необыкновенный человек, провел большим пальцем по носу.

Мой взгляд не укрылся от стоявшего на той стороне улицы капитана Доннини. Он понимающе кивнул.

— Кто новый комендант? — спросил я.

Он постучал себя по груди.

— Кто такой иглскаут? — шепотом спросила Марта.

— Если судить по тону майора, это наивный и мягкотелый рохля. Ш-ш-ш! Он идет сюда.

Новый важный пост наполнял капитана Доннини гордостью и вместе с тем забавлял.

В легкой задумчивости он зажег сигарету, казалось, капитан пытается сформулировать какую-то мысль.

— Вы спрашивали, когда кончится ненависть, — заговорил он. — Да вот прямо сейчас и кончится. Никаких больше трудовых батальонов, никакого воровства, никакого метания бутылок в окна. Я не так много видел, чтобы пропитаться ненавистью. — Он снова затянулся, еще немного подумал. — Но я вполне могу возненавидеть жителей Беды ничуть не меньше, чем майор Эванс, если завтра же они не начнут приводить свой городок в божеский вид ради собственных детей.

Он быстро повернулся и ушел на другую сторону улицы.

— Капитан, — окликнул я, — я написал майору Эвансу письмо…

— Он передал мне его. Пока не успел прочесть.

— Можно, я заберу его?

Капитан с сомнением посмотрел на меня:

— Ну, пожалуйста, оно лежит на моем столе.

— Письмо как раз насчет стола. Там кое-что надо привести в порядок.

— Шкафчики открываются хорошо.

— Есть потайной шкафчик, про который вы не знаете.

Он пожал плечами:

— Идемте.

Бросив в сумку кое-какие инструменты, я поспешил в его кабинет. Стол стоял в горделивой изоляции посреди пустой по-спартански комнаты. На его крышке лежало мое письмо.

— Можете прочитать, если хотите, — разрешил я.

Он достал письмо из конверта и начал читать вслух:

— «Дорогой сэр, стол содержит один секрет, о котором я забыл вам сказать. Если заглянете под орла, то увидите, что на дубовый лист в орнаменте можно нажать, и тогда его можно повернуть. Поверните лист так, чтобы стебелек указывал на левую лапку орла. После этого нажмите на желудь прямо над головой у орла, и…»

Он читал, а я выполнял собственные указания. Нажал на лист, повернул его — раздался щелчок. Большим пальцем я прижал желудь — и из стола примерно на дюйм выдвинулся ящичек, теперь за него можно было ухватиться и полностью открыть.

— Кажется, заклинил, — сказал я. Сунув руку под стол, я подхватил прядь фортепианной проволоки, прикрепленной к тыльной части

шкафчика.

— Вот! — Я вытащил ящичек до конца. — Теперь понятно?

Капитан Доннини засмеялся:

— Майор Эванс был бы в восторге. Какая прелесть!

С восхищением он несколько раз двинул ящичек туда-сюда, поражаясь, как здорово его фронтальная часть вписывалась в орнамент.

— Жаль, что у меня нет никаких секретов.

— Европейцы без секретов не могут, — сказал я. Он ненадолго повернулся ко мне спиной. Я снова запустил руку под стол коменданта, сунул шпильку в детонатор — и снял закрепленную там бомбу.

Армагеддон в ретроспективе

© Перевод. М. Загот, 2021

Дорогой друг!

Позвольте занять минуту Вашего времени. Мы никогда не встречались, но я осмеливаюсь написать Вам, потому что о Вас хорошо отзывался наш общий друг и характеризовал Вас как человека гибкого ума, небезразличного к судьбам других людей.

Новости последних дней оказывают на нас сильнейшее влияние, и нам легко забыть то, что произошло недавно. Поэтому хочу освежить в Вашей памяти событие, потрясшее мир всего пять лет тому назад и сегодня совершенно забытое всеми, кроме нескольких из нас. Я говорю о событии, которое, по аналогии с библейским, стало известно как Армагеддон.

Возможно, Вы помните, как хаотично все начиналось в институте Пайна. Признаюсь, я пошел работать администратором в этот институт с чувством стыда и по глупости, исключительно из-за денег. У меня было много предложений, но тамошний специалист по подбору персонала обе-

щал мне зарплату, вдвое превышавшую то, что сулил лучший из других вариантов. Недавний выпускник, я за три года нищенского существования нажил долги и согласился на эту работу, поклявшись себе поработать годик, расплатиться с долгами, что-то отложить, потом устроиться в пристойное место и даже под пытками не признаваться, что приближался к Вердигрису, штат Оклахома, ближе чем на сто миль.

Благодаря такой сделке с собственной совестью мое имя стало упоминаться рядом с именем доктора Гормана Тарбелла — одного из подлинных героев нашего времени.

Мой вклад в достижения института Пайна был самым общим — главным образом, я принес с собой навыки, типичные для выпускника в сфере делового администрирования. Эти навыки я мог бы легко применить и в другом месте, например управлять фабрикой по производству трехколесных велосипедов или парком аттракционов. Я никоим образом не участвовал в создании теорий, которые приблизили нас к Армагеддону и довели его до завершения. Я появился на месте событий довольно поздно, когда мыслительная работа в значительной мере была выполнена.

Если говорить о духовном вкладе и о самопо-

жертвовании, список людей, благодаря которым кампания состоялась и завершилась успехом, должен возглавить, конечно же, доктор Тарбелл.

С хронологической точки зрения список этот следует начать с покойного доктора Зелига Шилдкнехта, из немецкого города Дрездена, который всю вторую часть своей жизни (и наследства) пытался, как правило бесплодно, привлечь внимание к своим теориям психических заболеваний. По сути, Шилдкнехт утверждал простую вещь: все собранные факты не противоречат только одной, самой древней, никогда и никем не опровергнутой теории психических заболеваний. Сущность ее состояла в том, что больной с нарушенной психикой находится в руках дьявола. Шилдкнехт был убежден в этом.

Он неустанно развивал эту мысль в книгах, изданных за свой счет, ибо ни один издатель не хотел с ним связываться, и настаивал на необходимости исследования, которое позволит узнать как можно больше о дьяволе, его формах, привычках, сильных и слабых местах.

Следующим в списке должен стоять американец, мой бывший работодатель, Джесси Пайн из Вердигриса. Много лет назад нефтяной магнат Пайн заказал для своей библиотеки двести

футов книг. Книготорговец увидел для себя возможность избавиться — среди прочих шедевров — от собрания сочинений доктора Зелига Шилдкнехта. Пайн решил, что поскольку работы Шилдкнехта написаны на иностранном языке, значит, в них содержится нечто нежелательное для англоязычных стран. И нанял заведующего кафедрой германистики Оклахомского университета, чтобы тот прочитал ему все эти труды.

Выбор книготорговца не поверг Пайна в ярость — напротив, он пришел в восторг. Всю жизнь он страдал от недостатка образования — и вдруг выясняется, что человек с пятью университетскими дипломами разработал идею, полностью соответствующую его собственной: «Все беды человека происходят от того, что в нем сидит дьявол».

Продержись Шилдкнехт на этом свете чуть дольше, он не умер бы без гроша за душой. Но Шилдкнехт не дотянул до основания института Джесси Пайна всего два года. С той минуты каждая капля нефти из половины нефтяных скважин Оклахомы оборачивалась новым гвоздем в гроб дьявола. И каждый божий день хотя бы один ловец удачи садился в поезд и ехал к мраморным дворцам, воздвигавшимся в Вердигрисе.

Если продолжать этот список, он выйдет до-

вольно длинным, потому что тысячи мужчин и женщин, не отличавшихся особым интеллектом и честностью, устремились по дороге исследований, намеченной Шилдкнехтом, а Пайн между тем мешками таскал им денежки. Но почти все эти мужчины и женщины были завистливыми и некомпетентными пассажирами поезда под названием «халява», какую на страницах истории еще надо поискать. Их эксперименты, как правило невероятно дорогие, являли собой сатиру на невежество и доверчивость их благодетеля, Джесси Пайна.

Все его миллионы так и были бы потрачены впустую, а я получал бы фантастическую зарплату, не слишком стараясь отработать ее, но все сложилось иначе благодаря живому мученику Армагеддона, доктору Горману Тарбеллу.

Этот старейший и весьма уважаемый сотрудник института — кряжистый мужчина за шестьдесят, страстный, с седыми патлами, был одет так, будто ночи проводил под мостами. Он вполне успешно проработал физиком в крупной научно-исследовательской лаборатории, неподалеку от Вердигриса, откуда и вышел на пенсию. Как-то раз по дороге в магазин Тарбелл заглянул в институт — выяснить, чем, черт возьми, зани-

маются в этих солидных сооружениях.

Я был первым, кто попался ему на глаза, и сразу понял, что передо мной человек редкого интеллекта. Весьма скромно я поведал ему о деяниях нашего института. Манера изложения подразумевала: мы с вами, люди образованные, понимаем, что это полная белиберда.

Но мой снисходительный взгляд на проект остался неразделенным — напротив, доктор Тарбелл попросил разрешения взглянуть на труды доктора Шилдкнехта. Я дал ему главный том, обобщавший все, что было изложено в остальных, и стоял, понимающе похмыкивая, пока он изучал его.

— Свободные лаборатории у вас есть? — спросил он наконец.

— Представьте себе, есть, — ответил я.

— Где?

— Пока свободен весь третий этаж. Маляры только что закончили покраску.

— Какую комнату я могу занять?

— Вы хотите получить здесь работу?

— Мне нужна тишина, покой и рабочее место.

— Вы понимаете, сэр, что любая работа здесь будет иметь отношение к демонологии?

— Это меня очень радует.

Я выглянул в коридор и, убедившись, что Пайна поблизости нет, шепотом произнес:

— Вы действительно считаете, будто в этом что-то есть?

— Какие у меня основания считать иначе? Вы можете мне доказать, что дьявол не существует?

— Нет, но все-таки… ведь ни один образованный человек не верит…

Хрясть! Палкой он хлопнул по моему почкообразному столу.

— Надо доказать, что дьявол не существует — пока это не доказано, он не менее реален, чем ваш стол.

— Да, сэр.

— Не стыдитесь вашей работы, друг мой. Происходящее здесь дает миру не меньше надежды, чем то, что творится в лабораториях по атомной энергии. «Верьте в дьявола», — говорю я, и мы будем в него верить, пока не появится серьезных причин не верить в него. Так работает наука!

— Да, сэр.

И он пошел по коридору будоражить остальных, а потом поднялся на третий этаж и выбрал комнату для своей лаборатории и тут же велел малярам заняться именно ею, потому что назавтра она должна быть готова.

Я сопроводил его наверх, держа в руке бланк заявления о приеме на работу.

— Сэр, — попросил я, — заполните, пожалуйста.

Он взял листок не глядя и сунул в карман пиджака, откуда, как из сумы, торчали всевозможные смятые бумаги. Заявление он так и не заполнил, а просто вселился в лабораторию, повергнув в смятение администрацию института.

— Насчет вашей зарплаты, сэр, — обратился к нему я. — Сколько вы хотели бы получать?

Он отмахнулся от меня как от назойливой мухи.

— Я здесь для того, чтобы заниматься исследованиями, а не дурацкими бумажками.

Год спустя вышел в свет первый ежегодный отчет института Пайна. Главное достижение сводилось к тому, что шесть миллионов долларов из денег Пайна были возвращены в оборот. Пресса западного мира назвала этот отчет самой смешной книгой года и в подтверждение опубликовала соответствующие отрывки. Коммунистическая пресса назвала отчет самой мрачной книгой года и написала несколько статей об американском миллиардере, пытающемся установить прямой контакт с дьяволом для увеличения своих при-

былей.

Доктор Тарбелл оставил эти выпады без внимания.

— Мы сейчас на том этапе, на котором в свое время находились физические науки применительно к структуре атома, — весело заявил он. — У нас есть кое-какие идеи, в основе которых лежит не только вера. Над ними можно смеяться, но это невежественно и антинаучно — нам нужно время на проведение эксперимента.

Среди очевидной бессмыслицы, разбросанной по страницам отчета, особняком стояли три гипотезы доктора Тарбелла: первая — поскольку психические заболевания часто лечат электрошоком, весьма возможно, что электричество вызывает у дьявола неприятие; вторая — поскольку психические заболевания в мягкой форме часто исцеляются благодаря длительным беседам о событиях из прошлой жизни пациента, дьявола, возможно, отпугивают бесконечные разговоры о сексе и воспоминаниях детства; третья — если признать, что дьявол существует, вселяется в людей и держит их с разной степенью цепкости, его можно изгнать с помощью бесед или шока, но иногда этот процесс приводит к смерти пациента.

Я был свидетелем того, как Тарбелла допрашивал журналист по поводу этих гипотез.

— Вы шутите? — спросил тот.

— Если иметь в виду, что я предлагаю эти идеи в шутливой манере, тогда да.

— То есть вы считаете их вздором?

— Давайте остановимся на слове «шутливый», — предложил доктор Тарбелл. — Если заглянуть в историю науки, мой дорогой друг, окажется, что большая часть по-настоящему великих идей родилась из умной шутки. А любая трезвая сосредоточенность со сжатыми губами — это уже приведение в порядок обрывков великих идей.

Однако миру больше пришлось по душе слово «вздор». Постепенно в прессе вслед за смехотворными историями из Вердигриса стали появляться смехотворные картинки. Например, у человека на голове наушники, через его голову идет небольшой электрический ток, и дьявол от этого испытывает неудобства. Говорилось, что уровень тока незначительный, но я как-то надел такие наушники на себя, и ощущение было крайне неприятное. Припоминаю еще один эксперимент, запечатленный в виде карикатуры: женщина с легкими психическими отклонениями рассказывает о своем прошлом, находясь под огромным

стеклянным колпаком. Предполагалось, что он уловит какое-то опознаваемое присутствие дьявола, теоретически подвергаемого постепенному изгнанию. Такие картинки, чередуясь, отражали новые пути борьбы с дьяволом и состязались друг с другом в нелепости и дороговизне.

А потом пришел черед операции, названной мною «Крысиная нора». В связи с ней Пайну впервые за многие годы пришлось внимательно изучить свой банковский счет. В результате этого исследования он решил заняться поисками новых нефтяных месторождений. «Крысиная нора» подразумевала пугающие расходы, и я высказался против. Но, несмотря на мои возражения, доктор Тарбелл убедил Пайна в том, что есть только один способ проверить теории о дьяволе: поставить эксперимент на большой группе людей. И на повестке дня возникла операция «Крысиная нора» — попытка полностью освободить от дьявола округа Новата, Крейг, Оттава, Делавэр, Адейр, Чероки, Уэгонер и Роджерс. Чтобы проверить результат, решили не проводить эксперимент в округе Мэйс, расположенном как раз между остальными.

В первых четырех округах раздали 97 тысяч наушников, которые за вознаграждение нужно

было носить круглые сутки. В последних четырех открыли специальные центры, куда люди приходили — тоже за вознаграждение — как минимум два раза в неделю и делились рассказами о своем прошлом. Управление этими центрами я передал своей помощнице. В этих заведениях я чувствовал себя крайне некомфортно, ибо там царила атмосфера жалости к себе и приходилось выслушивать скучнейшие причитания.

Через три года доктор Тарбелл передал Джесси Пайну конфиденциальный отчет о ходе эксперимента, после чего попал на больничную койку в состоянии истощения. Отчет носил предварительный характер, и доктор Тарбелл просил Пайна никому его не показывать — до завершения работы еще далеко, очень далеко.

Воображаю, как был потрясен доктор Тарбелл, услышав по радио в больничной палате: ведущий национального канала представляет Пайна, и тот, после невнятной преамбулы, говорит:

— Значит, мы взяли под защиту восемь округов и всыпали дьяволу по первое число. Застарелые случаи были, но ни одного нового, если не считать пяти человек, не способных толком ничего про себя рассказать, и еще семнадцати, у которых сели батарейки. А вот посередке дьявол разгу-

лялся, мы ведь людей из округа Мэйс оставили с дьяволом наедине, вот они и мучились, как обычно…

— Все беды мира оттого, что с первого дня в нем правит дьявол, — сказал в завершение Пайн. — Вот мы его и выперли из северо-восточной Оклахомы, за исключением округа Мэйс, да и оттуда выпрем и вообще сотрем с лица земли. В Библии сказано, что между добром и злом разразится великая битва. Считаю, что она как раз и началась.

— Старый идиот! — вскричал Тарбелл. — Господи, что же теперь будет?

Исторический момент для высказывания Пайна был самым неподходящим, и ситуация оказалась взрывоопасной. Вспомните времена: весь мир, словно под влиянием каких-то колдовских чар, разделился на две враждующие половины, совершались какие-то действия и противодействия, которые, как представлялось, чреваты катастрофой. Никто не знал, что делать. Никто уже не мог управлять судьбами человечества. Каждый день был наполнен безнадежностью и отчаянием, а новости становились все хуже и мрачнее.

И тут из Вердигриса, штат Оклахома, звучит заявление, что по миру гуляет дьявол — источник

всех наших бед. К тому же приводятся доказательства и вариант решения проблемы!

Земля издала вздох облегчения, и его, наверное, услышали в других галактиках. Так, значит, во всех бедах человечества виноваты не русские, не американцы, не китайцы, не англичане, не ученые, не генералы, не финансисты с политиками, вообще, хвала Господу, не бедолаги-люди! С людьми все в порядке, они существа достойные, невинные и умные, — это все дьявол, это он пускает под откос все добрые начинания человечества! Самоуважение в среде людей возросло в тысячи раз, и никто не потерял лица — кроме дьявола.

Политики на всех континентах кинулись к микрофонам и в один голос заявили: мы против дьявола! Редакционные статьи мировой прессы выражали ту же бесстрашную позицию: дьявол не пройдет! Сторонников у него не было.

В ООН малые страны внесли резолюцию: все большие страны, подобно любящим детям, каковы они, в сущности, и есть, должны взяться за руки и навсегда изгнать с земли злейшего врага человечества — дьявола.

Несколько месяцев после сенсационного заявления Пайна все новости были связаны с Армагеддоном — чтобы вытеснить их оттуда,

пришлось бы как минимум сварить собственную бабушку или устроить безумную битву на топорах в детском приюте. Раньше местные журналисты развлекали своих читателей всякими сомнительными диковинками в Вердигрисе — теперь они мгновенно превратились в знатоков и рассуждали о братпухрианских гонгах дьявола, эффективности крестов на подошвах, черной мессе и глубинном познании. Почта трудилась, как под Рождество, доставляя горы писем в ООН, в госструктуры, в институт Пайна. Судя по всему, народ и так знал, что все беды происходят от дьявола. Многие утверждали, что видели его лично, почти каждый имел неплохой план, как от него избавиться.

Попадались и такие, кто считал, что вся эта кампания — бред сивой кобылы. Но они чувствовали себя как страховой агент похоронного бюро на вечеринке в честь новорожденного — поэтому просто пожимали плечами и помалкивали. А если кто-то пытался что-то вякнуть, на него все равно не обращали внимания.

В числе сомневающихся был и доктор Горман Тарбелл. «Боже правый, — говорил он с тоской в голосе, — мы же сами не знаем, что именно доказали наши эксперименты. Они ведь только

начались. Пройдут годы, прежде чем мы с уверенностью скажем, прижали мы дьявола или нет. Теперь из-за Пайна весь мир возликовал: сейчас мы включим пару приборчиков, и жизнь на земле снова станет раем». Но его никто не слушал.

Пайн, к тому времени уже обанкротившийся, передал свой институт в ведение ООН, и была создана структура под названием ЮНДИКО — Комитет по демонологическим исследованиям при ООН. Доктор Тарбелл и я представляли в этом комитете Америку, и первое заседание состоялось в Вердигрисе. Меня избрали председателем, и я, как вы, вероятно, догадались, стал объектом всякого рода дурных шуток — мол, кому же еще возглавлять такой комитет, как не человеку с моей фамилией.

Тут было от чего прийти в уныние: от этого комитета ждали — и даже требовали — серьезных результатов, а у его членов не хватало элементарных базовых знаний о предмете. Мандат, который выдало нам человечество, был нацелен не на предотвращение психических заболеваний — нет, перед нами стояла задача уничтожить дьявола. Тем не менее потихоньку-полегоньку мы разработали план действий, и главные идеи исходили от доктора Тарбелла.

— Мы ничего не можем обещать, — сказал он. — Но нам предоставлена возможность поставить эксперимент в масштабе всей планеты. Поскольку все тут основано на предположениях, никто не мешает нам предположить кое-что еще. Допустим, что дьявол — это эпидемия, вот и займемся лечением этого заболевания. Если создадим такие условия, что дьяволу в человеческом теле станет неуютно — во всех уголках земли, — тогда он исчезнет, или умрет, или переберется на другую планету, или займется другими своими делами, если он вообще существует.

Мы прикинули: чтобы оснастить электрическими наушниками всех мужчин, женщин и детей, необходимо около 20 миллиардов долларов плюс еще 70 миллиардов в год на батарейки. Победа в современных войнах не дается даром. Но вскоре мы выяснили, что люди готовы платить такую высокую цену только за убийство ближнего.

Более практичной показалась технология Вавилонской башни. За разговоры денег не берут. И ЮНДИКО выдал первую рекомендацию: создать по всему миру центры, куда, влекомые тем или иным способом убеждения, в зависимости от местных обычаев — долларом, штыком или угрозой проклятия, будут регулярно приходить

граждане и облегчать душу рассказами о детских или сексуальных впечатлениях.

Эта рекомендация была первым признаком того, что ЮНДИКО намерен разобраться с дьяволом по-деловому. Однако тут же стало ясно, что в море энтузиазма есть глубоководные и смутные течения. Многие лидеры подстраховывались, высказывали невнятные возражения, причем сама терминология была весьма туманной, например: «Это противоречит нашему великому национальному наследию, ради которого наши прародители шли на неисчислимые жертвы...» Никто не заявлял об этом прямо — хватало благоразумия, — что он берет сторону дьявола, но все равно из высших сфер поступали осторожные советы, весьма походившие на сигнал к полному бездействию.

Поначалу доктор Тарбелл полагал, что подобная реакция объясняется страхом — мол, дьявол отомстит людям за то, что они решили объявить ему войну. Но потом, проанализировав состав оппозиции и сделанные ею заявления, он весело заметил: «Это же надо — да они думают, что мы можем преуспеть! И наложили в штаны от страха — ведь если окажется, что дьявола среди нас больше нет, им останется только собак ловить».

Но, как я уже сказал, сами мы считали: вероятность изменить мир хотя бы на йоту у нас одна на триллион. Благодаря одному событию, а также подводным течениям в рядах оппозиции наши шансы на успех снизились до одного на октильон.

Событие произошло вскоре после того, как наш комитет выдал свою первую рекомендацию. «Любому дураку известно, как без излишней мороки избавиться от дьявола, — шепнул один американский делегат другому на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. — Пара пустяков. Взорвать его к чертям собачьим в его кремлевском логове — и все дела». Он был убежден, что стоявший перед ним микрофон выключен, но, Боже, как он ошибался!

Его комментарий транслировали по системе для публичных выступлений и, как полагается, перевели на четырнадцать языков. Советская делегация вышла из зала и тут же отправила телеграмму на Родину: как себя вести? Часа через два они вернулись в здание ООН с заявлением:

«Настоящим граждане Союза Советских Социалистических Республик снимают свою поддержку Комитета по демонологическим исследованиям при ООН, так как деятельность этого комитета

— исключительно внутреннее дело Соединенных Штатов Америки. Советские ученые полностью согласны с открытиями, сделанными в институте Пайна по поводу присутствия дьявола на территории Соединенных Штатов. Но, используя ту же экспериментальную методику, наши ученые не обнаружили никаких следов присутствия дьявола на территории СССР и поэтому считают данную проблему чисто американской. Граждане СССР желают гражданам Соединенных Штатов Америки всяческих успехов в их сложном предприятии с тем, чтобы США как можно быстрее стали полноправными членами семьи дружественных стран».

В Америке без особых колебаний объявили: любые действия ЮНДИКО в США будут означать пропагандистскую победу русских. Эту точку зрения поддержали и другие страны, заявившие, что от дьявола они уже освободились. И ЮНДИКО тут же пришел конец. Признаться, я испытал облегчение и радость. От ЮНДИКО у меня уже начала пухнуть голова.

Институт Пайна тоже приказал долго жить, ведь Пайн просадил все свои денежки, и ему оставалось только закрыть двери в Вердигрисе. После объявления о закрытии института мой кабинет

подвергся нападению бездельников, нашедших в Вердигрисе синекуру, и я сбежал в лабораторию доктора Тарбелла.

Когда я вошел, он раскалившейся железякой зажигал сигару. Доктор Тарбелл кивнул и сквозь сигарный дым покосился на оставшихся без финансирования демонологов, которые толклись внизу под окнами.

— Давно пора избавиться от этих мошенников — надо заняться работой.

— Так мы тоже едва концы с концами сводим.

— Сейчас деньги мне не нужны, — заметил Тарбелл. — Мне нужно электричество.

— Тогда поторопитесь — последний мой чек за электричество был совсем хлипким. А над чем вы, собственно, работаете?

Он припаял проводок к медному барабану высотой примерно четыре фута и футов шесть в диаметре, наверху была крышка.

— Я буду первым выпускником Массачусетского технологического института, который проплывет через Ниагарский водопад в бочке. Как думаешь, на жизнь этим можно заработать?

— Я серьезно.

— Сплошной здравый смысл. Прочитай-ка мне кое-что вслух. Вон книга — открой, где заложена

страница.

Книга — классика в области оккультных наук — называлась «Золотая ветвь». Ее написал сэр Джеймс Джордж Фрэзер. Открыв книгу на заложенной странице, я обнаружил в подчеркнутом абзаце описание черной мессы, она же месса святого Секера. Я прочитал вслух: «Мессу святого Секера можно служить только в разрушенной или брошенной церкви, где мрачно ухают совы, где в полумраке носятся летучие мыши, где останавливаются на ночлег цыгане и где жабы сидят у осквернённого алтаря. Туда ночью приходит плохой священник… и в одиннадцать, с первым ударом часов, начинает бормотать мессу задом наперед и заканчивает в тот момент, когда часы отбивают двенадцать… Благословляемый им черен и состоит из трех пунктов. Он не освящает вина, но вместо этого пьет воду из колодца, куда бросили тело некрещеного младенца. Он крестится, но на земле и левой ногой. Еще он делает много такого, на что добрый христианин если посмотрит, то сразу ослепнет, оглохнет и онемеет до конца жизни».

— Ну и ну, — выдохнул я.

— После этого должен выскочить дьявол, как по сигналу пожарной тревоги выскакивает по-

жарная лестница, — пояснил доктор Тарбелл.

— Неужели вы думаете, что это работает?

Он пожал плечами.

— Я не пробовал. — Внезапно погас свет. — Вот оно, — вздохнул доктор Тарбелл и положил паяльник. — Больше нам тут делать нечего. Пошли искать некрещеного младенца.

— А барабан зачем, не скажете?

— Разве это не очевидно? Прибор для поимки дьявола.

— Само собой. — Я неуверенно улыбнулся и на всякий случай отошел подальше. — И вы хотите приманить его тортом «Пища дьявола».

— Мой друг, одна из основных теорий, рожденных в институте Пайна, гласит: к «пище дьявола» дьявол совершенно безразличен. А вот к электричеству он далеко не безразличен, и если бы мы оплатили счет за электричество, оно побежало бы по стенкам и крышке барабана. То есть мы заманиваем туда дьявола, включаем рубильник — и дьяволу хана. Или нет. Кто знает? У кого хватило безумия попробовать? Но сначала, как сказано в рецепте по приготовлению рагу из кролика, надо поймать кролика.

Я ведь уже надеялся, что демонологии конец, и планировал заняться чем-то другим. Но упорство

доктора Тарбелла вдохновило меня, и я решил остаться — посмотреть, какую штуку теперь выкинет его «шутливый интеллект».

Полтора месяца спустя доктор Тарбелл и я погрузили медный барабан на тележку, подсоединили к нему провод от катушки, висевшей у меня на спине, и в полутьме спустились с холма в долину реки Могаук, на которую бросали отсвет огни Скенектади.

Между нами и рекой находился заброшенный участок старого канала Эри. Использовать его давно перестали, заменив каналами, вырытыми в самой реке, — в бурой стоячей воде отражалась слепившая нас полная луна. Рядом в развалинах лежала старая гостиница, где когда-то останавливались барочники и путешественники, но сейчас эта территория была предана полному забвению.

А возле развалин ютилась обглоданная церковь без крыши.

На фоне ночного неба, решительный и неукротимый, торчал старый шпиль, а местная паства состояла из гнили и привидений. Мы вошли в церковь и услышали, как где-то от натуги загудел паром, тащивший вверх по реке баржи, — и эхо этого клича донеслось до нас через долинный

ландшафт, эхо задавленное и похоронное.

Ухнула сова, над головами мелькнула летучая мышь. Доктор Тарбелл подкатил барабан поближе к алтарю. Я подсоединил провода из катушки к выключателю, а выключатель соединил с барабаном, для чего потребовалось еще футов двадцать провода. Другой конец линии был включен в сеть фермерского дома на холме.

— Который час? — шепотом спросил доктор Тарбелл.

— Без пяти одиннадцать.

— Хорошо, — сказал он слабым голосом. Мы оба были охвачены страхом. — Послушай, думаю, ничего не случится — в смысле, с нами, — но на всякий случай в фермерском доме я оставил письмо.

— Я тоже. — С этими словами я вцепился ему в руку. — Знаете что, давайте все это отменим, а? — взмолился я. — Ведь если дьявол есть и мы пытаемся загнать его в угол, он ведь на нас окрысится — а возможности у него сами знаете какие!

— Можешь не оставаться, — произнес Тарбелл. — С выключателем я справлюсь и сам.

— Вы решили довести это дело до конца?

— Хотя и дрожу от страха, — признался он.

Я тяжело вздохнул:

— Хорошо. Помоги вам Господь. Выключатель беру на себя.

— Ну и ладно, — в голосе его звучало изнеможение, — надевай защитные наушники, и пошли.

Колокола на часовне в Скенектади начали отбивать одиннадцать.

Доктор Тарбелл сглотнул слюну, сделал шаг к алтарю, отогнал пристроившуюся жабу и запустил зловещую церемонию.

Он готовился к исполнению этой роли и репетировал не одну неделю, я же тем временем искал подходящее место с мрачными декорациями. Мне не удалось найти колодец, куда швырнули некрещеного младенца, но я нарыл достаточно других мерзостей той же категории — даже самый извращенный дьявол счел бы их достойной заменой.

И вот теперь, во имя науки и человечества, доктор Тарбелл собирался вложить всю душу в мессу святого Секера. С выражением ужаса на лице он намеревался совершить такое, на что добрый христианин если посмотрит, то сразу ослепнет, оглохнет и онемеет до конца жизни.

Мне пока удавалось оставаться в здравом уме, и я с облегчением вздохнул, когда часы на башне

в Скенектади начали отбивать двенадцать.

— Явись, сатана! — вскричал доктор Тарбелл с первым ударом. — Услышь слуг своих, повелитель ночи, и явись!

Часы пробили последний раз, и доктор Тарбелл, совершенно обессиленный, сполз на пол вдоль алтаря. Вскоре он выпрямился, пожал плечами и улыбнулся.

— Ну и черт с ним! — сказал он. — Пока сам не попробуешь, не узнаешь, верно?

Доктор Тарбелл снял наушники.

Я взял отвертку, собираясь отсоединить проводку.

— Ну, теперь, надеюсь, комитет ЮНДИКО и институт Пайна точно закроются.

— Кое-какие идеи у меня еще есть, — возразил доктор Тарбелл. И вдруг завыл.

Я поднял голову и увидел: глаза навыкате, лицо перекошено в каком-то оскале, сам весь дрожит. Он пытался что-то сказать, но из горла доносилось лишь придушенное бульканье.

Далее началась фантастическая борьба — ничего подобного человеку видеть еще не приходилось. Десятки художников пытались отразить эту картину на полотне, они рисовали Тарбелла с выпученными глазами, с багровым лицом, с завя-

занными в узлы мускулами, но реальную героику Армагеддона им не удалось передать ни на йоту.

Тарбелл упал на колени, словно борясь с цепями, которые держал гигант, и пополз к медному барабану. Одежда его пропиталась потом, он сопел и пыхтел. Когда Тарбелл пытался перевести дыхание, невидимые силы оттаскивали его назад. Но он снова поднимался на колени и упрямо полз вперед, отвоевывая утраченные дюймы.

Он добрался-таки до барабана, замер перед ним в нечеловеческом напряжении, будто поднимал гору кирпичей, — и бухнулся в отверстие. Я услышал, как он скребет внутри изоляцию, а его прерывистое дыхание многократно и пугающе усиливалось.

Я лишился дара речи, не в силах поверить глазам, не в силах понять, что происходит и что будет дальше.

— Пора! — крикнул доктор Тарбелл из барабана. Рука его на миг высунулась, захлопнула крышку барабана, и он снова закричал, хотя голос был далеким и слабым: — Пора!

И тогда я понял, и меня затрясло, к горлу подкатила тошнота. Я понял, чего он хотел от меня, о чем просил остатками своей души, которую в эту секунду поглощал дьявол.

Я закрыл крышку барабана снаружи — и повернул выключатель.

Слава Богу, Скенектади был совсем рядом. Я позвонил профессору Юнион-колледжа с кафедры электротехники, и за сорок пять минут он разработал и установил примитивный воздушный шлюз, через который доктору Тарбеллу можно было доставить воздух, пищу и воду. Заметьте, между ним и окружающей средой поддерживался электрический барьер, гарантирующий защиту от дьявола.

Разумеется, самым скорбным аспектом этой трагической победы над дьяволом стало помутнение рассудка доктора Тарбелла. От этого выдающегося инструмента мало что осталось. И это оставшееся теперь использует его голос и тело, пресмыкается и жаждет сочувствия и свободы, при этом лжет напропалую, в частности, утверждает, что доктора Тарбелла в барабан запихнул я. Поэтому и на мою долю выпало немало боли и страданий.

Дело Тарбелла, увы, противоречиво, а по пропагандистским соображениям наша страна не может официально признать, что вот здесь был пойман дьявол, Фонд защиты Тарбелла остался без государственных субсидий. Затраты на со-

держание капкана дьявола — и его внутреннего наполнения — покрываются взносами людей, у которых есть чувство общественного долга, например Вами.

Затраты фонда, текущие и предполагаемые, удивительно скромны — если учесть пользу для человечества. Силовую установку мы улучшили лишь в необходимой степени. Церковь покрыли крышей, выкрасили, заизолировали, поставили вокруг нее забор, подгнившие доски заменили новыми, установили отопление и резервный генератор. Согласитесь, тут нет ничего лишнего.

Мы ввели самые жесткие ограничения на расходы, но фонд обнаружил, что его казна сильно оскудела из-за посягательств инфляции. Мы что-то отложили на легкое развитие, но эта сумма ушла на текущую эксплуатацию. Фонд финансирует трех сотрудников — абсолютный минимум, — которые работают посменно круглые сутки. Их обязанности: кормить доктора Тарбелла, отгонять зевак и поддерживать в норме электрооборудование. Этих людей нельзя сократить, ибо возможна ни с чем не сравнимая катастрофа: победа в битве Армагеддон в мгновение ока обернется поражением. Руководство же, включая меня, выполняет свои обязанности бесплатно.

Нам нужно искать новых друзей, потому что наши финансовые потребности чистой эксплуатацией не ограничиваются. Именно поэтому я обращаюсь к Вам. Непосредственное обиталище доктора Тарбелла после первых кошмарных месяцев в барабане увеличилось в размерах — теперь это изолированная камера с медным покрытием восьми футов в диаметре и шести в высоту. Вы согласитесь: для того, что осталось от доктора Тарбелла, эти жилищные условия весьма скромны. Мы надеемся, что благодаря Вашим открытым сердцам и дающим рукам зону его жизни удастся расширить до маленького кабинета, спальни и ванной комнаты. Недавние исследования показали: есть надежда сделать для него токопроводящее окно, хотя такое окно обойдется дорого.

Но ведь никакие затраты не сопоставимы с тем, что сделал для нас доктор Тарбелл. Если пожертвований от новых друзей — Вас — будет достаточно, мы хотели бы наряду с расширением жилой зоны для доктора Тарбелла поставить ему памятник перед церковью, начертав на постаменте бессмертные слова, которые он написал в письме за несколько часов до того, как вступил в победную схватку с дьяволом:

«Если сегодня мне суждено победить, человечество освободится от дьявола. Можно ли мечтать о большем? А если найдутся и другие люди, которым удастся освободить землю от тщеславия, невежества и нищеты, человечество заживет спокойно и счастливо — доктор Горман Тарбелл».

Для нас ценно любое пожертвование.

С уважением
доктор Люцифер Мефисто,
председатель правления.

Ископаемые муравьи

© Перевод. М. Клеветенко, 2021

I

— Вот так глубина! — Осип Брозник, сжав поручень, вглядывался в гулкую тьму. После долгого подъема в гору он дышал с усилием, лысина вспотела.

— Да уж, глубина так глубина, — заметил его брат Петр, долговязый и нескладный юноша двадцати пяти лет, ежась в отсыревшей от тумана одежде. Петр хотел придумать замечание посолиднее, но не нашелся. Выработка и вправду впечатляла. Назойливый начальник шахты Боргоров утверждал, что ее пробили почти на тысячу метров на месте источника радиоактивной минеральной воды. То, что урана в шахте так и не обнаружили, ничуть не смущало Боргорова.

Петр с любопытством его разглядывал. На вид надменный сопляк, но шахтеры упоминали его имя со страхом и уважением. Люди опасливо шептались, что Боргоров — четвероюродный брат самого Сталина и далеко пойдет, а нынеш-

няя трудовая повинность лишь ступень в его карьере.

Петра и его брата, ведущих русских мирмекологов, специально вызвали из Днепропетровского университета ради этой ямы, вернее, ради окаменелостей, которые в ней обнаружили. Мирмекология, объясняли братья бесконечному числу охранников, преграждавших им путь к цели, — отрасль науки, изучающая муравьев. Предположительно в яме скрыты богатые залежи ископаемых.

Петр столкнул вниз камень размером с голову, поежился и, фальшиво насвистывая, отошел в сторону. Ученый до сих пор переживал недавнее унижение: месяц назад его принудили публично отречься от собственного исследования *Raptiformica sanguinea*, воинственных рабовладельцев, живущих под изгородью. Петр представил ученому сообществу свою работу — результат фундаментальных исследований и научного подхода, — а в ответ получил резкую отповедь из Москвы. Люди, неспособные отличить *Raptiformica sanguinea* от сороконожки, заклеймили его ренегатом, тяготеющим к низкопоклонству перед растленным Западом. Петр в сердцах сжимал и разжимал кулаки. Фактически

ему пришлось извиняться, что его муравьи не желали вести себя так, как хотелось коммунистическим шишкам от науки.

— При грамотном руководстве, — разглагольствовал Боргоров, — люди способны достичь невозможного. Шахту прошли всего за месяц после того, как был получен приказ из Москвы. Кое-кто весьма высокопоставленный надеялся, что мы обнаружим уран, — добавил он таинственно.

— Теперь медаль получите, — рассеянно заметил Петр, ощупывая колючую проволоку, натянутую вокруг шахты. Моя репутация меня опережает, думал он. Вероятно, поэтому Боргоров избегал его взгляда, обращаясь только к Осипу: Осипу твердокаменному, надежному, идеологически непогрешимому; Осипу, который отговаривал Петра от публикации сомнительной статьи и сочинял за него опровержение. А теперь старший брат громко сравнивал шахту с пирамидами, висячими садами Вавилона и Колоссом Родосским.

Боргоров отвечал путано и невнятно, Осип ловил каждое слово, поддакивал, и Петр позволил глазам и мыслям побродить по удивительной новой стране. Под ними лежали Рудные горы,

отделявшие Восточную Германию, оккупированную советскими войсками, от Чехословакии. Серые людские реки втекали и вытекали из шахт и штолен, выбитых в зеленеющих склонах: грязная красноглазая орда, добывающая уран…

— Когда будете смотреть окаменелости? — спросил Боргоров, вклиниваясь в мысли Петра. — Их уже заперли на ночь, но завтра в любое время. Образцы разложены по порядку.

— Что ж, — сказал Осип, — лучшую часть дня мы убили, чтобы сюда добраться, так что давайте приступим завтра.

— А вчера, позавчера и третьего дня просидели на жесткой скамье, дожидаясь пропусков, — устало сказал Петр и тут же спохватился: снова он говорил невпопад. Черные брови Боргорова взлетели, Осип смерил брата недовольным взглядом. Петр нарушил одно из главных правил Осипа: «Никогда ни на что не жалуйся».

Петр вздохнул. На полях сражений он тысячи раз доказывал свой патриотизм, а теперь его соотечественники видят в каждом его слове и жесте измену. Он виновато посмотрел на Осипа, прочтя в ответном взгляде старое доброе правило: «Улыбайся и не спорь».

— Меры предосторожности выше всяких по-

хвал, — осклабился Петр. — Учитывая объем работы, просто удивительно, что им потребовалось для проверки всего три дня.

Он прищелкнул пальцами.

— Вот это эффективность труда!

— На какой глубине вы нашли окаменелости? — перебил Осип, резко меняя тему.

Брови Боргорова так и остались приподнятыми. Очевидно, Петру удалось еще больше упрочить свою ненадежную репутацию.

— Мы наткнулись на них в нижних слоях известняка, до того, как добрались до песчаника и гранита, — с недовольным видом отвечал Боргоров Осипу.

— Вероятно, середина мезозоя, — заметил Осип. — Мы надеялись, что вы обнаружили окаменелости ниже. — Он поднял руки. — Не поймите нас превратно. Мы счастливы, что вы нашли их, но мезозойские муравьи не так интересны, как их возможные предшественники.

— Никто и никогда не видел окаменелостей более ранних периодов, — подхватил Петр, из всех сил пытаясь исправить положение. Боргоров по-прежнему его игнорировал.

— Мезозойские муравьи практически неотличимы от нынешних, — вступил Осип, жестами

исподтишка призывая Петра к молчанию. — Они существовали большими колониями, разделяясь на рабочих, солдат и так далее. Любой мирмеколог отдаст правую руку, чтобы узнать, как жили муравьи до образования колоний — как они стали такими, какими их знаем мы. Вот это было бы открытие!

— Очередной прорыв русских, — поддакнул Петр и снова не получил ответа. Он мрачно уставился на парочку живых муравьев, безуспешно тянувших в разные стороны издыхающего навозного жука.

— А вы их видели? — возразил Боргоров, помахав маленькой жестяной коробочкой перед носом Осипа, отщелкнул крышку ногтем. — Это, по-вашему, пустяки?

— Господи, — пробормотал Осип, осторожно принимая жестянку и держа ее на вытянутой руке, чтобы Петр разглядел отпечаток муравья в известняковой пластине.

Петр, охваченный исследовательским пылом, вмиг забыл о своих печалях.

— Почти три сантиметра длиной! Посмотри на благородную форму головы, Осип! Никогда не думал, что назову муравья красавцем! Возможно, именно большие мандибулы делают их урод-

ливыми. — Он показал на место, где полагалось находиться мощным жвалам. — У этого экземпляра они почти не видны! Осип, это домезозойские муравьи!

Довольный Боргоров приосанился, расставил ноги, развел ручищи. Это диво появилось на свет из его шахты.

— Смотри, смотри, что тут за щепка рядом с ним? — воскликнул Петр. Вытащив из нагрудного кармана лупу, он навел ее на муравья и прищурился. Сглотнул. — Осип, — голос Петра дрогнул, — скажи, что ты видишь.

Осип пожал плечами.

— Какой-нибудь паразит или растение. — Он поднес пластину к лупе. — Возможно, кристалл или… — Осип побледнел. Дрожащими руками он передал лупу и окаменелость Боргорову.

— Товарищ, скажите, что вы видите.

— Я вижу, — пропыхтел покрасневший от натуги Боргоров, — я вижу… — он прокашлялся, — толстую палку.

— Да присмотритесь же! — хором воскликнули Петр и Осип.

— Ну, если подумать, эта штука напоминает — Господи прости! — напоминает…

Он запнулся и растерянно посмотрел на Осипа.

— Контрабас? Верно, товарищ? — спросил тот.
— Контрабас, — выдохнул Боргоров…

II

В дальнем конце барака на окраине шахтерского поселка, куда поместили Петра и Осипа, пьяные игроки ожесточенно резались в карты. Снаружи бушевала гроза. Братья, сидя на койках, без конца передавали друг другу бесценную окаменелость, гадая, какие сокровища принесет завтра утром Боргоров.

Петр ощупал матрац — солома, тонкий слой соломы в грязном белом мешке на голых досках. Он старался дышать ртом, не впуская спертый воздух в чувствительные ноздри.

— А если это детская игрушка, которую неведомым образом занесло в один пласт с муравьем? Когда-то здесь стояла игрушечная фабрика.

— Ты когда-нибудь видел игрушечный контрабас? Я уж не говорю о размере! Для такой работы нужен лучший ювелир на свете. Да и Боргоров клянется, что никто не смог бы проникнуть так глубоко, по крайней мере в последние двести миллионов лет.

— Стало быть, вывод один, — сказал Петр.

— Стало быть, так, — отозвался Осип и промок-

нул лоб алым носовым платком.

— Что может быть хуже этого свинарника? — произнес Петр.

Заметив, что один-два картежника оторвались от игры, Осип с силой пнул брата ногой.

— Свинарник, — рассмеялся какой-то человечек, отшвырнул карты, подошел к своей койке и выудил из-под матраца бутылку коньяку. — Выпьем, товарищ?

— Петр! — строго сказал Осип. — Мы кое-что забыли в деревне. Придется вернуться прямо сейчас.

Петр уныло поплелся за старшим братом под дождь. На улице Осип схватил Петра за локоть и втолкнул под хлипкий навес.

— Петр, братишка, когда же ты вырастешь? — Осип тяжело вздохнул и заломил руки. — Этот человек — из органов! — Он провел короткопалой ладонью по блестящей поверхности, откуда когда-то росли волосы.

— Свинарник и есть, — упрямо бросил Петр.

— Даже если и так! — всплеснул руками Осип. — Разумно ли сообщать об этом им? — Он положил брату руку на плечо. — После того нагоняя любое неосторожное слово навлечет на тебя ужасные бедствия. На нас обоих. — Осип вздрог-

нул. — Ужасные бедствия.

Окрестности осветила молния, и Петр успел разглядеть, что склоны все так же бурлят ордами копателей.

— Может быть, мне вообще не стоит раскрывать рот?

— Я прошу только, чтобы ты следил за своими словами. Для твоего же блага, Петр. Подумай сам.

— Все, о чем ты запрещаешь говорить, правда. Как и статья, после которой мне пришлось каяться. — Петр подождал, пока затихнет громовая канонада. — Я не должен говорить правду?

Осип с опаской заглянул за угол, щурясь в темноту.

— Не всю правду, — прошептал он, — если хочешь выжить. — Осип засунул руки в карманы, втянул плечи. — Уступи, Петр. Учись терпеть. Другого пути нет.

Не сказав больше ни слова, братья вернулись в барак, к смраду и осуждающим взглядам, хлюпая насквозь промокшими ботинками.

— К большому сожалению, наши вещи заперты до утра, — громко объявил Осип.

Петр повесил на гвоздь пальто — капли застучали по жесткой койке, — стянул ботинки. Он двигался замедленно и неуклюже, придавлен-

ный жалостью и недоумением. Как молния, на миг осветившая серые толпы и изрытые шахтами склоны, этот разговор обнажил во всей неприглядной наготе ранимую дрожащую душу его брата. Осип казался Петру хрупкой фигуркой в водовороте, отчаянно цепляющейся за плот компромисса.

Петр опустил глаза на свои дрожащие пальцы.

«Другого пути нет», — сказал Осип. И был прав.

Осип натянул одеяло на голову, загородившись от света. Пытаясь прогнать горькие мысли, Петр погрузился в созерцание окаменелости. Внезапно белая пластина треснула в его сильных пальцах, разломившись на две части. Петр печально рассматривал разлом, гадая, как склеить половинки. Заметив крохотное серое пятно, вероятно, минеральное отложение, он лениво навел на него лупу.

— Осип!

Сонный брат высунулся из-под одеяла.

— Чего тебе, Петр?

— Смотри.

Осип целую минуту молча разглядывал пластину через лупу.

— Не знаю, смеяться, плакать или глаза таращить, — произнес он хрипло.

— Это то, что я думаю? — спросил Петр.
— Да, Петр, да, это книга, — кивнул Осип.

III

Осип и Петр без конца зевали, ежась в промозглой полутьме горного утра. Но даже после бессонной ночи их покрасневшие глаза горели возбуждением, любопытством, нетерпением. Боргоров, перекатываясь с пятки на мысок на толстых подошвах, бранил солдатика, возившегося с замком.

— Хорошо спали? — заботливо спросил Осипа Боргоров.

— Превосходно. Словно на облаке, — отвечал Осип.

— Я спал как убитый, — громко сказал Петр.

— Неужели? — ухмыльнулся Боргоров. — Это в свинарнике-то? — без улыбки добавил он.

Дверь отворилась, и двое неприметных рабочих-немцев начали выносить из сарая для инструментов ящики с осколками известняка. Петр заметил, что каждый ящик пронумерован и рабочие расставляют их по порядку вдоль линии, которую Боргоров прочертил в грязи подбитой железом пяткой.

— Вот, вся партия, — сказал Боргоров, показы-

вая толстым пальцем. — Один, второй, третий. Первый, самый глубокий пласт — то, что было внутри известняка, остальное — над ним, в порядке возрастания номеров.

Начальник шахты стряхнул пыль с рук и довольно вздохнул, словно сам перетаскал все ящики.

— А теперь, если позволите, не буду мешать вам работать. — Он прищелкнул пальцами, и солдат погнал пленных немцев вниз по склону. Боргоров последовал за ними, подпрыгивая на ходу, чтобы попасть в ногу.

Петр и Осип кинулись к ящику с самыми древними образцами и вывалили их на землю. Выстроив по пирамидке из белых камней, они уселись рядом по-турецки и принялись увлеченно их сортировать. Гнетущий разговор прошлой ночи, политическая опала, в которую угодил Петр, пронизывающая сырость и завтрак из остывшей перловки, которую запивали холодным чаем, — все было забыто, сведено к простейшему знаменателю: их охватило общее для всех ученых чувство — сокрушающее любопытство, слепое и глухое ко всему, кроме того, что могло его утолить.

Неведомая катастрофа выхватила крупного

муравья из жизненной рутины, заключив в каменную могилу, откуда спустя миллионы лет его извлекли рабочие Боргорова. Перед ошеломленными Осипом и Петром было свидетельство того, что некогда муравьи жили как свободные личности, чья культура могла соперничать с культурой новых дерзких хозяев Земли, людей.

— Что там? — спросил Петр.

— Я нашел еще несколько этих крупных красавцев, — отвечал Осип. — Кажется, им не слишком нравилось общество своих сородичей. Самая большая группа состоит из трех особей. Ты раскололал еще что-нибудь?

— Нет, пока изучаю поверхности.

Петр перекатил камень размером с хороший арбуз и принялся разглядывать в лупу нижнюю часть.

— Постой, кажется, что-то есть.

Пальцы ощупывали куполообразную выпуклость, отличавшуюся по цвету от остального камня. Петр принялся кропотливо отбивать щебень вокруг. Наконец из камня возник дом, размером больше его кулака, чистый и светлый. Дом с окнами, дверями, камином и всем остальным.

— Осип… — Петр с трудом закончил фразу, ему

изменял голос: — Осип, они жили в домах.

Петр стоял, в бессознательном акте почтения прижимая камень к груди.

Осип смотрел из-за плеча Петра, дыша ему в затылок.

— Красивый.

— Куда до него нашим, — сказал Петр.

— Петр, снова ты за свое! — воскликнул Осип, затравленно озираясь.

Омерзительное настоящее снова взяло верх. Ладони Петра вспотели от страха и отвращения. Камень вырвался из рук. Куполообразный дом со всем содержимым разлетелся на дюжины плоских осколков.

И снова братьев охватило непреодолимое любопытство. Стоя на коленях, они лихорадочно перебирали осколки. Более прочные предметы домашнего обихода пролежали, вмурованные в камень, целые эпохи и теперь снова оказались на свету. Отпечатки хрупкой мебели стерлись.

— Книги, десятки книг. — Петр вертел в руках осколок, пытаясь сосчитать уже знакомые квадратные пятнышки.

— А вот картины, могу поклясться! — воскликнул Осип.

— Они изобрели колесо! Посмотри на эту тележ-

ку, Осип! — От избытка чувств Петр рассмеялся.

— Осип, — задыхаясь, выдохнул он, — сознаешь ли ты, что мы совершили величайшее открытие в истории? Их культура нисколько не уступала нашей! Музыка! Живопись! Литература! Только вообрази!

— А еще они жили в домах на поверхности земли, с множеством комнат, светлых и просторных, — восторженно подхватил Осип. — Умели пользоваться огнем, готовили пищу. Что это, если не печь?

— За миллионы лет до первой гориллы, шимпанзе или орангутанга, да что там, до первой обезьяны, у муравьев было все!

Петр с восторгом всматривался в прошлое, сжавшееся в его фантазиях до размера фаланги пальца, — прошлое, когда жизнь текла достойно и красиво в просторном доме под куполом.

Далеко за полдень они завершили беглый осмотр камней в первом ящике. Ученые обнаружили пятьдесят три непохожих друг на друга дома: большие и маленькие, купола и кубы, и каждый нес отпечаток оригинальности и художественного вкуса. Дома находились на приличном расстоянии друг от друга, и редко в них жили больше трех муравьев — отца, матери и ребенка.

Осип улыбался глупой растерянной улыбкой.

— Петр, мы или пьяны, или спятили.

Он молча курил, время от времени качая головой.

— Ты заметил, как пролетело время? Мне казалось, прошло минут десять. Проголодался?

Петр нетерпеливо замотал головой и принялся за второй ящик, где лежали окаменелости, обнаруженные слоем выше. Его мучил вопрос: как великая цивилизация муравьев скатилась к нынешнему безрадостному и примитивному прозябанию?

— Кажется, мне везет, Осип, сразу десять особей, я могу разом накрыть их большим пальцем.

Перебирая камни, Петр снова и снова находил не меньше шести муравьев там, где раньше обнаруживал одного.

— Кажется, они начинают сбиваться в группы.

— А физические изменения есть?

Петр нахмурился в лупу.

— Нет, все как прежде, хотя постой, есть разница — челюсти увеличились, увеличились значительно. Теперь они стали похожи на современных муравьев-рабочих и муравьев-воинов.

Петр протянул камень брату.

— Э-ээ, и никаких книг, — заметил Осип. — Ты

нашел книги?

Петр покачал головой, отсутствие книг его задевало, и он с удвоенным пылом перебирал камни.

— Муравьи по-прежнему живут в домах, но теперь они ломятся от людей. — Петр поперхнулся. — Ну, то есть муравьев.

Неожиданно он радостно вскрикнул:

— Смотри, Осип! Вот один без массивной челюсти, как те, что встречаются ниже уровнем!

Он вертел находку так и эдак, подставляя ее под свет.

— Сам по себе, Осип. В своем доме, со своей семьей, книгами и всем остальным! Часть муравьев разделилась на рабочих и воинов, часть осталась собою!

Осип разглядывал скопления муравьев в лупу.

— Тех, что в стае, не интересуют книги, — объявил он. — Но рядом с ними всегда можно найти картины.

На лице Осипа застыла недоуменная гримаса.

— Что за странное отклонение! Любители живописи эволюционировали в сторону от читателей.

— Любители сбиваться в толпу от любителей уединения, — задумчиво протянул Петр. — Муравьи с массивными жвалами от муравьев с едва

заметными челюстями.

Петр перевел усталые глаза на сарай и залитый дождями портрет, с которого сверкали сталинские глаза. Затем — на кишащий людьми зев ближней шахты, над которым портрет по-отечески улыбался входящим и выходящим; на скопление рубероидных бараков, где портрет под стеклом проницательно щурился на омерзительные сортиры.

— Осип, — сказал Петр растерянно, — ставлю завтрашнюю пайку табаку, что их картины не что иное, как плакаты.

— Если так, — произнес Осип загадочно, — то наши прекрасные муравьи движутся к еще более высокой цивилизации. — Он стряхнул пыль с одежды. — Интересно, что в третьем ящике?

Петр обнаружил, что разглядывает камни из третьего ящика со страхом и отвращением.

— Смотри, Осип, — наконец выдавил он.

Осип пожал плечами.

— Давай.

Несколько минут он молча изучал образцы.

— Что ж, как и следовало ожидать, челюсти стали еще массивнее, а…

— А сборища многочисленнее, и никаких книг, а плакатов едва ли не столько же, сколько самих

муравьев! — воскликнул Петр.

— Ты прав, — согласился Осип.

— А прекрасные особи без массивных челюстей исчезли, ты видишь, их нет, Осип? — прохрипел Петр.

— Успокойся, что толку убиваться над тем, что случилось тысячи тысяч лет назад, если не больше.

Осип задумчиво оттянул мочку уха.

— Очевидно, древний вид вымер.

Он поднял брови.

— Насколько мне известно, палеонтология не знает подобных прецедентов. Возможно, древние муравьи оказались восприимчивы к некой болезни, а их собратья с мощными челюстями выработали иммунитет. Как бы то ни было, первые исчезли стремительно. Естественный отбор во всей своей жестокости — выживают наиболее приспособленные.

— Приспособленцы, — со злостью выпалил Петр.

— Нет, постой, мы оба ошибаемся! Вот представитель старой гвардии. А вот еще один, и еще! Похоже, они тоже начали собираться в группы. Набились в один дом, словно спички в коробке.

Петр выхватил камень из рук Осипа, не желая

верить. Шахтеры Боргорова раскололи муравьиное жилище поперек. Петр отбил камень с другой стороны дома. Осколки упали на землю.

— Теперь понятно, — произнес он тихо.

Дверь маленького строения охраняли семеро муравьев с массивными, словно косы, челюстями.

— Лагерь, исправительный лагерь, — сказал Петр.

При слове «лагерь» Осип, как любой русский, побледнел, но взял себя в руки, несколько раз судорожно вдохнув.

— А это что? Звезда? — решил он сменить неприятную тему.

Петр отсек от камня заинтересовавший Осипа осколок и передал брату. Фрагмент походил на розу. В центре отпечатался древний муравей, лепестками служили муравьи-рабочие и муравьи-воины, погрузившие и навеки похоронившие в теле одинокого представителя древней расы свои жвала.

— Вот тебе и стремительная эволюция, Осип, — сказал Петр. Он пристально всматривался в лицо брата, страстно желая, чтобы тот разделил его переживания, понял, как это открытие связано с их жизнью.

— Весьма странно, — невозмутимо заметил Осип.

Петр оглянулся. По тропинке карабкался Боргоров.

— Ничего странного, хватит притворяться, — сказал Петр. — То, что случилось с этими муравьями, происходит сейчас с нами.

— Тс! — отчаянно прошипел Осип.

— Мы — муравьи без челюстей. И нам конец. Мы не вписываемся в строй, в жизнь, управляемую одними инстинктами, во мраке и сырости муравейника, где не принято задавать вопросов.

Раскрасневшиеся братья молча ждали, пока Боргоров преодолеет последние десять метров.

— Хватит хмуриться, — заметил тот, выйдя из-за сарая, — неужели эти образцы так расстроили вас?

— Мы просто очень устали, — заискивающе улыбнулся Осип. — Окаменелости нас потрясли.

Петр бережно опустил осколок с крупным муравьем и отпечатавшимися в нем муравьями-убийцами в последнюю пирамидку.

— В этих кучах самые выдающиеся образцы из каждого слоя, — объяснил Петр, показывая на ряд каменистых холмиков. Его занимало, какой будет реакция Боргорова.

Не слушая возражений Осипа, Петр рассказал о двух типах муравьев, развившихся внутри вида, показал дома, книги и картины в нижних слоях, многочисленные сборища — в верхних. Затем, ни словом не обмолвившись о своем отношении к открытию, передал Боргорову лупу и отступил назад.

Начальник шахты несколько раз прошелся мимо куч из камней, поднимая образцы, цокая языком.

— Яснее и быть не может, не так ли? — наконец спросил он.

Петр и Осип замотали головами.

— Значит, как было дело, — начал Боргоров, подцепив барельеф, изображающий смертный бой древнего муравья с бесчисленными врагами. — Эти преступные муравьи — вроде того экземпляра, что в центре — капиталисты, которые эксплуатировали рабочих муравьев и беспощадно уничтожали их, как мы можем видеть, целыми десятками.

Он отложил печальный образец в сторону и взял в руки дом с запертыми внутри муравьями.

— Перед нами сборище преступных муравьев, замышляющих заговор против рабочих. К счастью, — он показал на муравьев-воинов за

дверью, — их бдительность не позволила гнусным замыслам осуществиться.

— А это, — продолжил он бодро, подняв образец из другой кучи, где муравьи с массивными челюстями собрались возле дома муравья-одиночки, — рабочие проводят митинг гражданского возмущения и изгоняют угнетателей. Капиталисты, свергнутые, но помилованные простым народом, испорченные белоручки, неспособные выжить без рабского труда, только и знали, что предаваться праздным занятиям вроде живописи. Их порочная натура стала причиной вымирания.

Давая понять, что разговор окончен, довольный Боргоров сложил руки.

— Но события развивались в иной последовательности, — возразил Петр. — Цивилизация муравьев погибла, когда у некоторых особей отрасли челюсти и они начали сбиваться в группы. Невозможно спорить с геологией.

— Значит, произошло смещение земной коры, и нижние слои стали верхними. — Голос Боргорова звучал, словно из-под льдины. — Логика на нашей стороне. События происходили именно в той последовательности, как я описал. Стало быть, имело место обратное напластование. Вы согласны? — Боргоров многозначительно посмот-

рел на Осипа.

— Какие могут быть сомнения, — сказал Осип.

— А вы? — резко обернулся Боргоров к Петру.

Петр судорожно выдохнул и сгорбился, приняв позу абсолютной покорности.

— Согласен, товарищ.

Затем виновато улыбнулся и повторил:

— Целиком и полностью.

Эпилог

— Господи, что за холодина! — воскликнул Петр, выпуская свой конец пилы и поворачиваясь спиной к студеному сибирскому ветру.

— Работать! Работать! — проорал охранник, закутанный с ног до головы, так, что походил на куль с торчащим из-под тряпья ружьем.

— Могло быть хуже, гораздо хуже, — сказал Осип, сжимавший другой конец пилы, и почесал заиндевевшие брови рукавом.

— Мне жаль, что ты попал сюда, Осип, — печально промолвил Петр. — Ведь это я стал спорить с Боргоровым. — Он подул на ладони. — Поэтому мы здесь.

— Перестань, — вздохнул Осип. — Не стоит об этом думать. Просто не думать, только и всего. Другого способа нет. Если бы это не было написа-

но у нас на роду, нас бы тут не было.

Петр сжал в кармане осколок известняка, в котором отпечатался последний древний муравей, окруженный кольцом убийц. Единственная окаменелость, оставшаяся на поверхности земли. Боргоров заставил братьев написать подробный отчет, и все до единого образцы снова сбросили в бездонную яму, а Осипа и Петра сослали в Сибирь. Работа была сделана чисто, не подкопаешься.

Расчистив немного пустого пространства, Осип с умилением рассматривал обнажившуюся прогалину. Из крохотной норки осторожно показался муравей с яйцом, забегал кругами и снова юркнул во тьму земных недр.

— Что за способность к адаптации! — с завистью заметил Осип. — Вот это жизнь: рациональная, бездумная, основанная только на инстинктах. — Он чихнул. — После смерти я хотел бы переродиться муравьем. Современным муравьем, не капиталистом, — быстро добавил он.

— А ты уверен, что уже не переродился? — спросил Петр.

Осип не поддержал шутки.

— Людям есть чему учиться у муравьев, братишка.

— Они уже научились, Осип, — устало промол-

вил Петр. — Больше, чем им кажется.

История одного злодеяния

© Перевод. И. Доронина, 2021

Наша группа была последней большой группой освобожденных военнопленных, которым предстояло по пути домой пройти через лагерь «Лаки страйк» неподалеку от Гавра. После получения обмундирования и частичного денежного довольствия никаких строевых действий не производилось, поэтому мы делили время между едой, сном и потреблением эгногов[16] в клубе Красного Креста. Стоял жаркий полдень, и я полудремал, когда пришел Джонс.

— Со мной сейчас у себя в палатке беседовал тот лейтенант, который занимается военными преступлениями, — сказал он, — и его изрядно удивил мой рассказ о Маллоти. Он об этом слыхом не слыхивал, так что, надо думать, никто из наших, побывавших здесь раньше, ничего по этому поводу не сообщил. Я рассказал ему все, что знал, и предложил привести тебя и Доннини. Он хочет видеть вас прямо сейчас.

Я разбудил Джима, и мы втроем отправились в

---

[16] Примечания: 16

Напиток из взбитых яиц с сахаром, ромом или вином.

палатку комиссии по военным преступлениям. В Дрездене Джонс, Доннини и я состояли в одной рабочей группе из ста пятидесяти американцев — вернее, из ста сорока девяти, после того как Стива Маллоти расстреляли за мародерство. Там Доннини, хотя в армии медиком не служил, был у нас санитаром и даже принял роды у какой-то немки во время самого массированного налета на Дрезден.

За простым деревянным столом сидел старший лейтенант, рядом с ним — капрал-стенографист. Лейтенант поблагодарил Джонса за то, что он привел нас, и жестом пригласил всех сесть. Я заметил, что он был офицером береговой артиллерии. Как только мы уселись, он принялся задавать вопросы. Стенографист вписывал наши ответы в специальный бланк комиссии по военным преступлениям, размноженный на мимеографе.

— Напомните еще раз, как звали того парня?

— Стивен Маллоти, — ответил Джим и повторил фамилию по буквам — неправильно. Я уточнил написание фамилии. Стенографист выказал недовольство тем, что пришлось делать исправление.

— И он был из…

— Восточного Питсбурга, — хором произнесли мы с Джимом. Лейтенант велел говорить кому-нибудь одному, поэтому я замолчал, а Джим продолжил:

— Он служил с нами в сто шестой пехотной дивизии, когда нас захватили в плен в Арденнском «клину»[17] — то ли в разведывательной роте, то ли в роте связи четыреста двадцать третьего полка. — Он повернулся ко мне за подтверждением.

— Не уверен, — сказал я. — Мне кажется, это была, скорее, саперная или мотопехотная рота четыреста двадцать второго полка.

Стенографист вскипел от раздражения.

— Гм-м, — задумчиво протянул лейтенант.

Вошел полковник, судя по всему, председатель комиссии, встал за спинкой стула, на котором сидел Джонс, и стал слушать.

— Когда умер Маллоти?

— Кажется, числа пятнадцатого марта. — Мы с Джонсом переглянулись и дружно кивнули. Должно быть, это случилось именно тогда, потому что я лежал в госпитале, и мне обо всем рассказал Холл, явившийся меня проведать. Хол-

---

[17] Примечания: 17

Операция «Клин», или Арденнская операция (16.12.1944–28.1.1945) — последнее серьезное контрнаступление немецких войск против англо-американских сил во время Второй мировой войны.

лу было известно об этом больше, чем любому другому, так как он являлся одним из четверых, которым пришлось копать Стиву могилу; но Холл уже отбыл в Штаты, поэтому пришлось нам, насколько мы могли это сделать, восстанавливать историю по кусочкам. Стенографист качал головой, записывая расплывчатые подробности.

— Почему его расстреляли? — спросил полковник.

Я испугался, что Джим все расскажет неправильно, но он оказался на высоте.

— Ну, мы тогда занимались тем, что расчищали улицы Дрездена после большого налета. С едой у нас было туго, поэтому мы, бывало, норовили улизнуть по одному, чтобы поискать какие-нибудь продукты в подвалах разбомбленных домов. Иногда удавалось найти короб с картошкой, иногда банку вишневого компота или джема, иногда морковь, репу или еще что-нибудь. Охранники знали, чем мы промышляем, но обычно не имели ничего против, потому что время от времени мы притаскивали им какую-нибудь бутылку. Но однажды Стив, вылезая из подвала, наткнулся на полицейский патруль, его схватили и обыскали. Под курткой у него нашли полбанки стручковой фасоли.

Капрал перестал стенографировать: в его бланке не было графы для подобного рода свидетельских показаний.

— И его арестовали, — вставил лейтенант, который уже слышал эту историю от Джонса. — Когда вы увидели его снова?

— А никто из нас его больше и не видел. Через две недели после того как его схватили, охранники выбрали четырех человек из нашей команды и повели их хоронить его. Вот только эти четверо и видели его с тех пор.

Мы назвали имена этих четверых. Капрал записал их в графу «Примечания».

— Итак, расскажите точно, что случилось в то утро.

Право Джима выступать в качестве главного спикера уже не вызывало сомнений.

— Ну, этим четверым пришлось встать раньше, чем всем остальным. Бомбардировки разрушили всю транспортную систему, поэтому они пешком прошли около восьми миль до стрельбища на другом конце города. Уже на подходе к стрельбищу они встретили Стива. Его вели четверо конвоиров с винтовками под командованием унтер-офицера.

— Он выглядел испуганным? — спросил пол-

ковник.

— Нет. Холл и трое парней, которые были с ним, говорили, что он был вполне спокоен на вид. Спросил их, куда они направляются. Они со смехом ответили, что им предстоит какая-то вшивая землекопная работенка, но они не знают, какая именно. В тот момент они и в самом деле этого еще не знали. Стив тоже рассмеялся и сказал, что, по слухам, война вот-вот закончится.

— Значит, он не знал, что должно было с ним случиться. Я правильно понял? — неожиданно, ко всеобщему удивлению, заинтересовался капрал.

— То ли не знал, то ли был исключительно храбрым человеком, — ответил Джим.

Позднее, снова рассуждая об этом, мы пришли к выводу, что Стив ничего не знал, но что он действительно был исключительно храбрым.

— Что еще рассказывали эти четверо? — спросил лейтенант.

— Да в общем-то ничего, только сказали, что его застрелили в спину и что у него на лице отпечаталось ужасное выражение, когда после расстрела охранники велели им оттащить тело к тому месту, где они уже вырыли яму. Похоронили его без гроба и вообще без ничего. На месте захоронения поставили табличку. На ней было

написано его имя и причина расстрела. Один из четверых парней прочел молитву за упокой его души. Капеллана там не было.

— Еще что-нибудь?

— Ну, не думаю, что для вас это имеет большое значение, но, вероятно, заниматься этим делом будете не только вы, но и русские, потому что эти четверо вырыли не одну, а две могилы. Вторая предназначалась для какого-то русского, которого расстреляли раньше Стива. Говорили, что он стибрил коробок спичек из какого-то разбомбленного здания. Не знаю, правда это или нет.

— Каким судом судили Маллори?

— Трудно сказать, потому что никому из нас не довелось с ним поговорить. Но в то время мы жили с южноафриканцами, а их главный присутствовал на какой-то части суда и рассказывал, что все велось по-немецки и что Стив, у которого не было никакого адвоката, давая показания, несколько раз перекрестился, а в конце подписал бумагу, в которой говорилось, что он виновен в мародерстве. Стив ничего не понимал по-немецки, поэтому трудно сказать, соображал он, что делает, или нет.

— Значит, его законно судили и приговорили? — спросил полковник.

— Черт, думаю, да, — ответил Джим, начиная сердиться. — Но это не было честным судом, да к тому же, сэр, — ради бога! — все, что он сделал, это стащил банку фасоли, потому что был голоден.

Полковник, прицокивая языком, покачал головой.

— Вам было известно, что мародерство карается расстрелом?

Капрал кивнул, восхищенный подобной юридической мудростью.

Лейтенанта явно покоробило, но он смолчал.

— Да, — признали все мы, — но он был жутко голодным. Нам нужно было что-то есть… сэр.

— Возможно, — сказал полковник, подойдя к столу, и, ударив по нему кулаком, пояснил свою позицию: — Но вы знали, и Маллоти знал, что, если вас поймают на воровстве из подвалов, вас могут за это расстрелять. Маллоти, как я понимаю, взяли с поличным, судили, приговорили и расстреляли. Боюсь, это нельзя квалифицировать как военное преступление. — И он улыбнулся улыбкой мистера Чипса[18].

---

[18] Примечания: 18

Мистер Чипс — центральный персонаж книги Дж. Хилтона и одноименного фильма «До свидания, мистер Чипс», учитель латыни, отдающий все силы и любовь своим ученикам. Синоним учителя, преданного своему делу.

Джонс, Доннини и я одновременно встали.

— Это все, сэр? — спросил лейтенанта Джонс.

Лейтенант выглядел сконфуженным.

— Наверное, да.

— Вы можете нам еще понадобиться позднее для выяснения дополнительных фактов, необходимых для протокола, — добавил полковник. — Мы вас оповестим.

Выходя на яркий солнечный свет, мы еще слышали, как полковник объяснял лейтенанту и капралу:

— Видите ли, они все сделали точно в соответствии с законом, у них не было никаких сомнений, что парень виновен.

— А знаете что? — сказал Джонс.

— Нет, что? — ответил Джим.

— Хорошо, черт побери, что они в тот же день расстреляли русского.

— Да, — согласился Джим. — Потому что русские за своего вздернут всех фрицев в радиусе пятидесяти миль от этого стрельбища.

Раздел 2.
ЖЕНЩИНЫ

© Перевод. А. Комаринец, 2021

19 мая 1959 г. в письме однокашнику по колледжу Миллеру Харрису, который к тому времени уже успел опубликовать пару рассказов в «Харперз», Воннегут жаловался, что ему «никак не удается ввести в рассказ женщин». В интервью, данном в 1974 г. Джо Дэвиду Беллами и Джону Кейзи, Курт сказал: «Мне никогда не удавалось вывести в моих рассказах женщин; меня это не слишком расстраивает, но все же это немного странно. Возможно, все дело в том, что для меня написание книги сродни игре на сцене. Когда я пишу, я произношу реплики за разных персонажей. Мне неплохо удаются средние американцы и чопорные англичане, и вообще лучше всего в моих книгах получаются те персонажи, чьи роли мне легко играть. Будь мои книги поставлены в театре, я смог бы сыграть своих лучших героев, но женщина из меня неважнецкая».

Три года спустя в интервью для «Плейбоя» он, похоже, перестал строить догадки о причинах

своей неспособности «вывести на сцену женщин» и просто принял ее как данность. Интервьюеру он объяснил это так: «Я стараюсь не пускать в мои рассказы большую любовь, потому что стоит всплыть этой теме, как говорить о чем-либо другом становится практически невозможно. Читатели уже не способны думать. Они теряют голову от любви. Если в рассказе влюбленный завоевывает возлюбленную, то — все, конец истории, пусть даже начнется Вторая мировая или небо почернеет от летающих тарелок».

Воннегута больше интересует развитие сюжета, а не эволюция персонажей — будь то мужчин или женщин, на которых этот сюжет строится. Сюжет в рассказах Воннегута — самая сильная его сторона. Заодно Воннегут рисует точный портрет жизни среднего класса, для которого он и писал в 1950-е годы, со всем его бытом, чаяниями и мечтами, при этом сам Воннегут нередко соскальзывает в критику культуры того времени.

Самокритичные высказывания относительно неумения создавать убедительные женские образы вовсе не означают, что Воннегут был женоненавистником. В гораздо большей степени, чем многие писатели-мужчины, писавшие в то время для популярных журналов, он выставляет

в неприглядном свете мужчин и проливает свет на неспособность мужчин понять, чем они так раздражают своих жен и подруг. Если не считать многократно разведенную кинозвезду Глорию Хилтон в «Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну», в его неромантичных рассказах женщины вызывают сочувствие и симпатию — благодаря их поступкам, а не красивой внешности. А вот мужчины по большей части выведены сущими идиотами: глупыми, бесчувственными и хамоватыми. Главное исключение из этого всеобщего свинства — одноглазый карлик, который пишет романтичные письма одиноким женщинам в надежде, что они не попросят прислать фотографию. В конечном итоге он не разрушает их фантазии, позволяя считать, что возлюбленный по переписке бросил их лишь по причине безвременной кончины («Дотлел огарок»).

Самый большой идиот во всех этих рассказах, которые мы собрали в категорию «Женщины», Эрл Салливан, любитель моделей железных дорог из рассказа «Рука на рычаге». К тридцати пяти годам он нажил небольшое состояние на строительстве дорог, но все его свободное время съедает возня со сложной моделью игрушечной железной дороги, которую он разложил у себя в

подвале. Собственная мать Эрла, заключившая союз с невесткой, говорит о его одержимости: «Чувствую себя матерью наркомана…». «Наркотик» Эрлу поставляет коммивояжер, который торгует аксессуарами для игрушечных железных дорог и который приносит ему дорогостоящую новую модель локомотива, мерцающего «как драгоценная тиара». Эрл столько времени проводит в подвале, нацепив фуражку кондуктора и гоняя свои поезда по туннелям и под мостами, что вот уже четыре месяца не водил в ресторан свою хорошенькую молодую жену. Жена и мать не могут даже в субботний день уговорить его оторваться от игры и присоединиться к ним за ланчем.

Своему «поставщику наркотиков» Эрл жалуется: «Женщины обожают причитать, что мужчинам следует получше разобраться в их психологии, сами же десяти секунд в год не потратят на попытки увидеть ситуацию с мужской точки зрения».

Как и все мужчины, невнимательные к своим женам в этих неромантических рассказах, Эрл считает, что исполняет свой супружеский долг, работая «по десять, по двенадцать часов в день. Откуда взялись деньги на этот дом, на эту еду, на автомобили, на одежду? Я обожаю свою жену и

ради нее пашу как проклятый!»

В конечном итоге только гнев матери вынуждает Эрла не отменять ради железной дороги очередной вечер с женой в городе. Он так и не понял, в чем заключаются потребности его жены, и оставил на один вечер свою железную дорогу просто ради мира в семье.

Без сомнения, многие мужчины пятидесятых именно так решали свои семейные проблемы; точно так же ведут себя мужчины и в нашу «просвещенную» эпоху, большинство конфликтов между мужчинами и женщинами разрешаются путем развода. Признаком эпохи, в которую писал свои «журнальные» рассказы Воннегут, служит, в частности, тот факт, что лишь в одном из них фигурирует развод, — а именно в рассказе о кинозвезде, которая собирается уйти от своего мужа («Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну»).

Рассказы — точное отражение времени, в которое были написаны. В моих собственных детстве и юности, которые пришлись на сороковые и пятидесятые годы, я жил в Индианаполисе, в том самом городе, где вырос Курт. Так вот должен сказать, что я не знал ни одного ребенка, родители которого состояли бы в разводе. Когда я учился

в старших классах, только один мальчик жил без отца. О нем никогда не упоминали, только судачили шепотом, что он, наверное, «сбежал» с другой женщиной или просто сбежал, чтобы избавиться от долга мужа и отца. Вопросов в таких делах не задавали. Помню, какой шок я испытал в десять лет, когда моя мама сообщила мне и моему консервативному отцу (мы оба были шокированы), что она пригласила на обед «разведенную женщину». Помнится, я подумал: «Она, наверное, сексуальная!» Как выяснилось, я был прав. У нее был даже тоненький браслет на ноге! Год или два спустя она перебралась в Голливуд и посылала нам свои фотографии, на которых позировала в позах старлеток, хотя мы ни разу не видели ее на киноэкране или в «Фотоплей» и в прочих популярных «журналах о кино», которые приносила домой мама.

Раздраженный вопрос Эрла, наркомана железных дорог, выражает отношение большинства мужчин того времени к правам женщин и звучит в рассказе «Завтра, и завтра, и завтра»: «Им позволили голосовать и беспрепятственно заходить в бары. Чего им теперь надо… на Олимпийских играх ядро толкать?»

К началу нового века ответ будет однознач-

ным: «Да!»

Ни одна женщина в рассказах Воннегута не занимается каким-либо видом спорта. Теннис, возможно, был бы приемлем, но главным образом для высших классов, а они не относились к читательской аудитории популярных журналов того времени.

Воннегут насквозь видит поверхностность шовинизма холостяка-соблазнителя в рассказе «Капелька за капелькой» и в конечном итоге живописует, как его перехитрила женщина, которая нарушает течение его жизни и соблазняет отказаться от холостячества. В рассказе «Сто долларов за поцелуй» Воннегут замахивается на ложную гламурность «мужских журналов» (включая «Плейбой» и «Наггет») заключительной фразой «Люди смотрят только на картинки вещей. А сами вещи никого не волнуют». Эти «вещи» — женщины. Рассказ был отвергнут журналами эпохи пятидесятых и увидел свет в посмертном сборнике «Пока смертные спят».

Есть только одна история Воннегута о женщинах и романтической любви, в которой женщина не довольствуется ролью домохозяйки. Этот рассказ под названием «Анонимные воздыхатели» (сборник «Табакерка из Багомбо») был опубли-

кован в женском журнале «Редбук» в 1963 году, в том самом году, когда была опубликована «Загадка женственности»[19] — книга, взорвавшая американское общество.

«Герб не учился в колледже, хотя способностями бог его не обидел… Женился на Шейле Хинкли, симпатичной и умной девушке. Все мои сверстники мужского пола были бы не прочь оказаться на его месте… Шейла была самой умной из всех старшеклассниц, она изо всех сил рвалась поступить в Вермонтский университет. И мы все были уверены, что пока она не окончит колледж, о серьезном ухаживании не может быть и речи».

Когда Шейла посреди первого курса бросает колледж и выходит замуж за Герба, ее верные поклонники объявляют себя группой «вечных страдальцев» — «Братством недоумков, которые не доперли, что Шейла Хинкли может хотеть стать мужниной женой и домохозяйкой». Они называют свое братство «Анонимные воздыхатели».

Эти страдающие поклонники (наряду с ее му-

[19] Примечания: 19

Речь идет о книге феминистки Бетти Фридан; главная мысль книги сводится к тому, что понятие «женственность» придумали мужчины, чтобы оправдать роль матери и домохозяйки, которая отводится женщине в современном мире. — *Примеч. пер.*

жем) слишком тупы, чтобы понять, что однажды она может захотеть чего-то большего! Читателям придется простить их, потому что мало кому из мужчин того времени, такое пришло бы в голову, во всяком случае до тех пор, пока не вышла «Загадка женственности» — или, пока не вышла книга, которую читает Шейла: «Женщина: Пустая трата прекрасного пола, или Обманчивые ценности домохозяйства».

Рассказчик — очередной воннегутовский продавец «алюминиевых противоураганных экранов и окон» — идет в местную библиотеку, чтобы узнать, о чем, собственно, книга, которую повсюду носит с собой Шейла. Ознакомившись с оглавлением, он возвращается к библиотекарше со словами:

> — Вы мне очень поможете, если выкинете эту дрянь в ближайшую канаву.
>
> — Это очень популярная книга, — сказала она.

Прочитав эту книгу, Шейла приходит к выводу, что «ее мозги превратились в жижу», и хочет вернуться в колледж. Ее муж перебирается в самодельную пристройку позади дома. Он делает это не со зла, а из чувства вины, что растратил

интеллект жены на «уборку дома провинциального бухгалтера, который даже не удосужился окончить школу».

Поскольку женщина должна разделять вину и сочувствовать мужу, Шейла понимает, что ее муж «всю жизнь был рабом. Занимался ненавистной ему работой — ради матери, ради меня, потом ради детей» (у них две дочери).

Прочитав злосчастную книгу, Шейла решает вернуться в колледж и получить диплом — не такие цели она ставила себе в альбоме на окончание школы: «открыть новую планету или стать первой женщиной-судьей Верховного суда, или президентом компании, выпускающей пожарные машины». Чтобы успокоить читательниц «Редбук» 1963 года — особенно их мужей, которые случайно могут прочесть рассказ, — героиня Воннегута уже не стремится к тем целям, над которыми подшучивали мальчики в ее классе, она решает стать учительницей, — то есть выбирает в общем и целом одобряемую мужским обществом профессию.

Под конец рассказа коммивояжер приносит книгу «Женщина: Пустая трата прекрасного пола, или Обманчивые ценности домохозяйства» на ланч с приятелями, и один спрашивает:

— Ты ведь не разрешил жене это читать? — осведомился Хей Бойден.

— Наоборот, — ответил я.

— Теперь она бросит тебя с детьми и станет контр-адмиралом!

В 1963 году сама эта мысль казалась нелепой.

Курт не мог знать, что через девять лет после того, как этот рассказ увидит свет, контр-адмирал Эйлен Б. Дьюэрк стает первой женщиной-адмиралом военно-морского флота США. Еще через десять лет Сандра О'Коннор станет первой женщиной-судьей Верховного суда, тем самым воплотив вторую мечту Шейлы Хинкли. Нет никаких сведений о первой женщине — президенте компании, производящей пожарные машины, но я не сомневаюсь, что где-то есть и такая женщина. Рассказ Воннегута позволяет составить себе представление о том, что публиковали популярные журналы для читательниц среднего класса, как на них подействовала книга «Загадка женственности» и какие новые умонастроения возникли после ее публикации.

Дэн Уэйкфилд

Мисс Соблазн

© Перевод. Е. Романова, 2021

Пуританство осталось в таком далеком прошлом, что даже самые древние старухи не предлагали привязать Сюзанну к позорному столбу и даже самые древние фермеры не пеняли на ее дьявольскую красоту, когда коровы переставали доиться.

Сюзанна была актрисой в деревенском летнем театре — играла эпизодические роли и жила в съемной комнатушке над пожарной частью. За целое лето она успела стать частью деревенской жизни, но поселяне так и не смогли к ней привыкнуть. Она по-прежнему удивляла и восхищала их своей красотой — совсем как новенький огнетушитель.

Пушистые волосы Сюзанны и огромные глаза-блюдца были черны как ночь, а кожа бела как сливки. Бедра ее напоминали лиру, а пышная грудь пробуждала в мужских головах мечты о вечном покое и изобилии. В нежных розовых ушках она носила варварские золотые обручи, а на щиколотках — браслеты с бубенцами.

Сюзанна ходила босиком и спала до полудня. С наступлением этого часа все поселяне на главной улице теряли спокойствие, точно гончие перед грозой.

В полдень Сюзанна выходила на балкон своей комнаты: лениво потягивалась, наливала молоко черному коту, целовала кота, взбивала черные волосы, надевала серьги, запирала дверь и прятала ключик в бюстгальтер.

И тогда, царственно покачивая бедрами, она начинала свое неспешное, будоражащее, звонкое шествие по деревне — сперва по ступеням крыльца, затем мимо винной лавки, мимо страхового бюро, агентства недвижимости, закусочной, мимо поста Американского легиона и церкви к всегда людной аптеке. Там Сюзанна покупала нью-йоркские газеты.

Казалось, она благосклонно и томно кивает всему миру. Но единственным человеком, с которым она заговаривала, был Бирс Хинкли, семидесятидвухлетний аптекарь.

Старик всегда держал ее газеты наготове.

— Спасибо, мистер Хинкли! Вы ангел, — говорила Сюзанна, открывая первую попавшуюся газету. — Ну, посмотрим, что происходит в цивилизованном мире.

Под присмотром одурманенного ее духами старика Сюзанна смеялась, охала и хмурилась газетным новостям — она никогда не говорила, каким именно.

Наконец она забирала газеты и возвращалась с ними в свое гнездышко над пожарной частью. Застыв на крыльце, выуживала из бюстгальтера ключ, отпирала дверь, брала на руки черного кота, снова его целовала и скрывалась в комнате.

Сей пышный ритуал с участием единственной девушки повторялся на протяжении всего лета изо дня в день, покуда однажды его не прервал долгий пронзительный скрип вращающегося стула, стоявшего возле аптечной стойки с газировкой.

Скрип этот прервал речь Сюзанны, не дав ей назвать мистера Хинкли ангелом. От скрипа чесалась голова и болели зубы. Сюзанна бросила милостивый взгляд в направлении скрипа, заранее простив виновника. Но виновник, как выяснилось, вовсе не ждал прощения.

Стул заскрипел под капралом Норманом Фуллером, вернувшимся домой после полутора безрадостных лет службы в Корее. Войны за эти полтора года не случилось, но и хорошего было мало. Фуллер медленно крутнулся на стуле, желая

пробуравить Сюзанну недовольным взглядом. Когда скрип затих, в аптеке воцарилась мертвая тишина.

Фуллер разрушил очарование летнего дня на морском побережье и напомнил всем присутствующим о темных потаенных страстях, что так часто движут человеком.

Он вполне мог оказаться братом, пришедшим вызволять сестру-идиотку из злачного заведения, или ревнивым мужем, явившимся в салун за нерадивой женой, бросившей дома ребенка. Но капрал Фуллер видел Сюзанну впервые в жизни.

Вообще-то он не собирался устраивать сцену. И даже не знал, что его стул заскрипит. Наоборот, он хотел скрыть свой гнев, сделать его лишь незначительной деталью на фоне ритуального шествия Сюзанны по деревне — деталью, которую подметят лишь один или два истинных ценителя комедии человеческих отношений. Однако скрип вращающегося стула поместил гнев капрала Фуллера прямо в центр солнечной системы всех посетителей аптеки — и особенно самой Сюзанны. Время остановилось и не могло двинуться дальше, пока Фуллер не объяснил бы недовольного выражения на своем каменном лице.

Фуллеру показалось, что его щеки горят точно раскаленная медь. Он пытался осмыслить свою судьбу. Судьба вдруг дала ему аудиенцию и поставила в положение, где он просто не мог не выговориться.

Фуллер почувствовал, как зашевелились его губы и с них сами собой слетели слова:

— Это еще кто такая?

— Простите? — удивленно спросила Сюзанна и загородилась от него газетами.

— Я видел, как вы шли по улице — ни дать ни взять цирк на выезде. Вот и подумал: кто вы такая? — пояснил Фуллер.

Сюзанна обворожительно покраснела.

— Я… я актриса.

— Ах да, точно. Американки — лучшие актрисы в мире!

— Спасибо, очень приятно, — с тревогой проговорила Сюзанна.

Щеки Фуллера вспыхнули еще жарче. Его разум вдруг превратился в фонтан метких изощренных фраз.

— Я имею в виду не театр. Я про жизнь говорю, в которой мы все актеры. Американки одеваются и ведут себя так, словно готовы подарить тебе целый мир. А стоит протянуть руку — они положат

в нее ледышку.

— Да что вы, — выдавила Сюзанна.

— Именно так, — подтвердил Фуллер. — И пора уже кому-то сказать это вслух. — Он с вызовом поглядел на присутствующих и заметил в их глазах что-то вроде потрясенного одобрения. — Это несправедливо!

— Что? — не поняла Сюзанна.

— Вот вы приходите сюда… такая вся в бубенчиках, чтоб я смотрел на ваши щиколотки и розовые ножки, — завелся Фуллер. — Целуете своего кота, чтоб я воображал себя на его месте. Называете старика ангелом, чтоб я представлял, каково это — слышать от вас ласковые слова. Прячете ключ на виду у всех, чтоб я только и думал о том, где он лежит.

Фуллер встал.

— Мисс, — полным горечи голосом выдавил он, — от вашего поведения простых ребят вроде меня мандраж бьет, но если я стану падать в пропасть, вы ведь даже руки мне не протянете.

Он зашагал к двери. Все взгляды были прикованы к нему. Мало кто заметил, что от его слов Сюзанна едва не сгорела дотла. Она превратилась в обыкновенную девятнадцатилетнюю девчушку, напрасно пытающуюся произвести

впечатление утонченной и искушенной женщины.

— Это несправедливо, — повторил Фуллер. — Должен быть закон, запрещающий девушкам одеваться и вести себя как вы. Людям от вас только худо. Знаете, что мне сейчас больше всего хочется вам сказать?

— Нет, — проронила Сюзанна. Все предохранители в ее нервной системе перегорели.

— Я скажу вам то же, что вы бы сказали мне, попытайся я вас поцеловать, — торжественно произнес Фуллер и величественным жестом указал Сюзанне на выход. — Катитесь к черту!

Он отвернулся и даже не взглянул на хлопнувшую за девушкой дверь: топот босых ног по асфальту и звон бубенчиков постепенно стихли в направлении пожарной части.

Вечером овдовевшая мать капрала Фуллера поставила на стол свечу, тарелку с мясом и клубничные пирожные — праздничный ужин по случаю его возвращения домой. Фуллер жевал угощение с таким видом, точно это была промокательная бумага, а на веселые расспросы матери отвечал коротко и равнодушно.

— Сынок, разве ты не рад, что вернулся? — спросила она, когда они допили кофе.

— Рад, — ответил Фуллер.

— Чем ты сегодня занимался?

— Гулял.

— Навестил старых друзей?

— У меня нет друзей.

Мать всплеснула руками.

— Нет друзей! У тебя-то?

— Времена меняются, ма, — мрачно проговорил Фуллер. — Полтора года — не один день. Люди разъехались или завели семьи…

— Семейная жизнь еще никого не убивала, — заметила мать.

Фуллер не улыбнулся.

— Может, и не убивала. Да только семейным ужасно трудно выкроить в своей жизни время для старых друзей.

— Но Дуги-то не женился?

— Он уже давно на Западе, ма. Служит в стратегическом авиационном командовании, — ответил Фуллер. Маленькая столовая вмиг превратилась в одинокий бомбардировщик, рассекающий холодную разреженную стратосферу.

— Вон как… но кто-то ведь должен был остаться.

— Никого, — отрезал Фуллер. — Я все утро просидел на телефоне, ма. Мог бы вообще из Кореи

не уезжать — все равно тут никого нет.

— Не верю! Раньше ты не мог спокойно пройти по Мейн-стрит, чтобы не столкнуться с каким-нибудь приятелем.

— Ма, — язвительно сказал Фуллер, — а знаешь, что я сделал, когда номера в моей телефонной книжке кончились? Пошел в аптеку и сел возле стойки с газировкой — думал встретить там хоть каких-нибудь знакомых. Ма, — исступленно продолжал он, — никого я не встретил, кроме старика Бирса Хинкли! Ей-богу, не шучу. — Он встал и смял салфетку. — Ма, можно, я пойду?

— Конечно, иди. А куда ты? — Она просияла. — Навестить какую-нибудь симпатичную девушку?

Фуллер отшвырнул салфетку.

— Схожу в лавку за сигарой! Никаких девушек я больше не знаю, они все замуж повыскакивали.

Мать побледнела.

— П-понятно, — выговорила она. — Я и н-не знала, что ты куришь.

— Ма, — зло сказал Фуллер, — когда ты уже поймешь? Прошло полтора года, ма! Полтора года!

— И впрямь, столько времени… — Мать немного оробела от его пыла. — Что ж, ступай купи себе сигару. — Она тронула сына за руку. — Про-

шу тебя, не грусти. Подожди немного, и в твоей жизни станет столько людей, что и времени не будет хватать на всех. А потом ты встретишь хорошенькую девушку и женишься.

— Я пока не собираюсь жениться, ма, — натянуто проговорил Фуллер. — Сначала окончу семинарию.

— Семинарию! — воскликнула мама. — И когда же ты это решил?

— Сегодня днем, — ответил Фуллер.

— Но как? Что случилось?

— На меня снизошло что-то вроде откровения, ма. Как будто кто-то другой заговорил моими устами.

— О чем? — потрясенно спросила мать.

В гудящей голове Фуллера закрутился вихрь из Сюзанн. Он вновь увидел профессиональных соблазнительниц, мучивших его в Корее: они звали его с белых простыней импровизированных киноэкранов, с рваных плакатов, пришпиленных к мокрым стенкам палаток, с потрепанных журнальчиков в окопах. Эти Сюзанны сколачивали целые состояния, окручивая несчастных капралов Фуллеров со всего света — маня их ослепительной красотой, маня в никуда.

Дух предка-пуританина — в черном платье с

жестким воротничком — вселился в Фуллера и завладел его голосом. Голос этот шел из глубины веков, голос охотника на ведьм, голос, исполненный праведного гнева, голос, сулящий погибель.

— Против чего я высказался? Против со-блазна.

* * *

Огонек его сигары в ночи был точно маяк, предупреждающий об опасности беззаботных прохожих. Так курить мог лишь обозленный человек. Даже мотылькам хватало ума не подлетать слишком близко. Подобно недремлющему красному оку, огонек бродил туда-сюда по деревенским улицам, покуда не уснул влажным погасшим окурком рядом с пожарной частью.

Бирс Хинкли, старый аптекарь, сидел за рулем пожарной машины — в глазах его блестела тоска по прошлому, по тем дням, когда он мог водить. А еще на его лице была ясно написана страшная картина того дня, когда с деревней случится очередная катастрофа: все молодые уедут, и некому будет повести машину к славной победе. Бирс частенько сиживал за ее рулем — вот уже много лет.

— Прикурить, что ли? — спросил он Фуллера,

увидев между его губами погасшую сигару.

— Нет, спасибо, мистер Хинкли, — ответил тот. — Все равно уже невкусно будет.

— А так, можно подумать, вкусно! Ну и гадость эти сигары…

— О вкусах не спорят, — возразил Фуллер. — Кому что нравится.

— Ну да, на вкус и цвет товарища нет, — кивнул Хинкли. — Я всегда говорю: живи и не мешай жить другим. — Он поднял глаза к потолку. За ним было ароматное гнездышко Сюзанны и ее кота. — У меня в жизни только и осталось радостей, что видеть радость других.

Фуллер тоже посмотрел на потолок и храбро поднял тему, о которой они не решались заговорить.

— Будь вы молоды, поняли бы, почему я так с ней обошелся. От этих красивых зазнаек одна морока.

— Да и так понимаю, память-то не отшибло. Мороки с ними будь здоров.

— Если у меня когда-нибудь будет дочка, я бы не хотел, чтобы она выросла красавицей, — продолжал Фуллер. — В школе они так зазнаются, что света невзвидишь.

— Согласен, это ты верно подметил, — кивнул

Хинкли.

— Если у тебя нет машины и денег, чтобы спускать на всякие развлечения, они тебя и близко не подпустят! — сказал Фуллер.

— А они что же, обязаны? — весело спросил старик. — Я бы на месте красоток тоже всякую шпану не подпускал. — Он кивнул сам себе. — Ну да что теперь говорить… Ты вернулся с войны и все счета свел. Высказал все как на духу.

— Эх-х-х… — протянул Фуллер. — Да таких разве проймешь?

— Ну, не знаю. Есть такая старая традиция в театре: играть во что бы то ни стало. Даже если у тебя воспаление легких или ребенок смертельно болен, ты все равно выходишь на сцену и играешь.

— Да вы меня не успокаивайте, у меня все хорошо. Я не жалуюсь.

Старик вскинул брови.

— А кто про тебя говорит? Я про нее.

Фуллер покраснел, смущенный собственным эгоизмом.

— У нее тоже все хорошо.

— Неужели? — спросил Хинкли. — Может, оно и так. Да только в театре сегодня дают спектакль, а она почему-то дома сидит.

— Да вы что? — изумился Фуллер.

— Ну да. И носу не кажет за дверь с тех пор, как ты отправил ее восвояси.

Фуллер попытался язвительно усмехнуться.

— Может, оно и к лучшему. Ладно, спокойной ночи, мистер Хинкли.

— Спокойной ночи, солдатик. Сладких снов.

Близился полдень, и жители Мейн-стрит понемногу шалели. Даже лавочники торговали как-то вяло, словно деньги больше не имели для них значения. Все взгляды были устремлены на большие часы с кукушкой над пожарной частью. Поселян мучил вопрос: нарушил ли капрал Фуллер ритуал или в полдень дверь наверху вновь отворится и прекрасная Сюзанна выйдет на балкон?

Старик Хинкли, готовясь к ее приходу, тщательно разглаживал нью-йоркские газеты, отчего они только мялись. То была приманка для Сюзанны.

За несколько минут до полудня в аптеку явился капрал Фуллер — сам вандал собственной персоной. На лице его была странная печать вины и раздражения. Большую часть ночи он проворочался, размышляя о своей обиде на красивых женщин. «Только и думают, что о своей красоте, — твердил он мысленно до рассвета. — Ничего-то от них не добьешься, даже который час не скажут,

если спросишь».

Фуллер прошел мимо пустых стульев рядом со стойкой для газировки и будто бы ненароком крутанул каждый. Наконец он нашел тот самый, скрипучий, и взгромоздился на него — воплощение добродетели. Никто с ним не заговорил.

Сирена на пожарной машине коротко взвизгнула, возвестив о наступлении полудня. И тогда к дому подъехал грузовичок из транспортной конторы, похожий на катафалк. Вышедшие из него грузчики стали подниматься по лестнице. Голодный кот Сюзанны запрыгнул на балконные перила и выгнул спину, когда они скрылись в комнате. Очень скоро грузчики появились на пороге с ее сундуком, и тогда кот яростно зашипел.

Фуллер был потрясен. Он посмотрел на Бирса Хинкли и увидел, что тревожный взгляд старика сменился взглядом человека, больного двусторонней пневмонией, — ошеломленным, отчаянным, загнанным.

— Довольны, капрал? — спросил Хинкли.

— Я не говорил ей уезжать.

— Но выбора не оставили.

— Какое ей вообще дело до моего мнения? Я не знал, что она у вас такой нежный цветочек.

Старик легко дотронулся до плеча Фуллера.

— Мы все такие, капрал, все до единого, — сказал он. — Я думал, армия может научить молодого парня кое-чему хорошему. Например, он уяснит, что он не единственный нежный цветочек на свете. А ты, видать, не уяснил.

— Я никогда и не считал себя нежным цветочком, — буркнул Фуллер. — Плохо, что так вышло, но она сама напросилась. — Он сидел опустив голову. Уши у него горели огнем.

— А здорово она тебя напугала, а? — спросил Хинкли.

На лицах тех немногих любопытных зевак, что сбрелись на разговор, расцвели улыбки. Фуллер увидел их и понял, что в его арсенале осталось одно-единственное оружие — гражданская ответственность при полном отсутствии чувства юмора.

— Кто тут напуган? — проворчал он. — Я не напуган. Рано или поздно кто-то должен был вынести этот вопрос на обсуждение.

— Думаю, это единственный вопрос, о котором языки будут чесать всегда, — сказал Хинкли.

Беспокойный (с недавних пор) взгляд Фуллера метнулся к журнальной стойке. Там красовалось несколько рядов Сюзанн, тысяча квадратных футов влажных улыбок, черных глаз, сливоч-

но-белых лиц. Фуллер порылся в своей памяти, пытаясь найти там звучную фразу, которая придала бы вес его словам.

— А как же детская преступность? — вопросил он и показал на журналы. — Неудивительно, что наши дети сходят с ума!

— Ну да, я сходил, помнится, — тихо произнес старик. — Тоже боялся — совсем как ты.

— Говорю же, я ее не боюсь! — упорствовал Фуллер.

— Вот и славно! — нашелся Хинкли. — Тогда, раз ты такой храбрый, сходи и отнеси ей газеты. За них заплачено.

Фуллер открыл было рот, но возразить ему было нечем. Горло сдавило, и он понял, что сказать ничего не сможет — только опозорится еще больше.

— Если вы в самом деле не боитесь, капрал, — сказал аптекарь, — это было бы очень любезно с вашей стороны. По-христиански.

Пока Фуллер поднимался в комнатушку над пожарной частью, все его тело едва ли не судорогой сводило от напускного безразличия.

Дверь оказалась не заперта. Фуллер постучал, и она сама собой отворилась. В воображении Фуллера гнездо разврата было темным и без-

молвным, пропахшим благовониями — эдакий лабиринт из тяжелых штор, зеркал и низких диванчиков, — и где-то непременно должна была прятаться огромная кровать в форме лебедя.

Теперь ему довелось увидеть комнату Сюзанны воочию. Правда оказалась куда прозаичней: перед Фуллером было дешевое съемное жилье с голыми дощатыми стенами, тремя крючками для пальто и линолеумом на полу. Две газовые конфорки, железная койка, холодильник. Крошечная раковина с голыми трубами, пластмассовый стаканчик, две тарелки, мутное зеркало. Жестянка с мыльным порошком, сковородка и кастрюля.

Единственным «непотребным» штрихом в обстановке был белесый круг от талька перед мутным зеркалом — в центре этого круга остались следы двух босых ног. Пальчики были размером не больше жемчужины.

Фуллер поднял голову от жемчужин к настоящей Сюзанне. Она стояла к нему спиной и упаковывала в чемодан последние вещи. На ней было дорожное платье — закрытое и длинное, как у жены миссионера.

— Газеты, — просипел Фуллер. — От мистера Хинкли.

— О, как мило со стороны мистера Хинкли!

— сказала Сюзанна. И лишь тогда повернулась. — Передайте ему… — Она тут же осеклась, признав в Фуллере своего обидчика, и поджала губы. Ее крошечный нос покраснел.

— Газеты, — выдавил Фуллер. — От мистера Хинкли.

— Я вас слышала, — сказала она, — можете больше не повторять. Это все?

Руки Фуллера безвольно повисли по бокам.

— Я… я не хотел, чтобы вы уезжали. Я не это имел в виду.

— Предлагаете мне остаться? — чуть не плача, спросила Сюзанна. — После того как вы выставили меня перед людьми распутницей? Проституткой? Потаскухой?

— Силы небесные, да я и не думал называть вас такими словами! — воскликнул Фуллер.

— Вы хоть раз пробовали встать на мое место? — Она ударила себя в грудь. — Здесь, между прочим, не пусто!

— Я знаю… — выдавил Фуллер, хотя до этой минуты не знал.

— У меня тоже есть сердце! И душа!

— Конечно, — проговорил Фуллер. Он задрожал: комната вдруг наполнилась томным жаром. Золотая Сюзанна, героиня тысяч мучительных

фантазий, говорила с ним о душе, говорила страстно и пылко — с одиночкой Фуллером, с бесцветным и неотесанным капралом Фуллером.

— Я по вашей милости всю ночь не спала!

— По моей?.. — Ему отчаянно захотелось, чтобы она снова исчезла из его жизни, превратившись в черно-белую картинку из толстого журнала, захотелось перевернуть эту страницу и почитать новости спорта или политики.

— А вы как думали? Я всю ночь с вами спорила. И знаете, что я говорила?

— Нет, — ответил Фуллер, пятясь. Она шагнула за ним. Казалось, она источает жар, точно большой радиатор. Сюзанна была дьявольски настоящая.

— Я вам не Йеллоустонский парк! — кричала она. — Я не принадлежу налогоплательщикам — и вообще никому не принадлежу! Вы не имеете никакого права меня попрекать!

— Упаси Господи! — сказал Фуллер.

— Как же я устала от неотесанных болванов вроде вас! — не унималась Сюзанна. Она топнула ножкой и вдруг показалась Фуллеру загнанной и несчастной. — Я не виновата, если вам хочется меня поцеловать! Разве это моя вина?

Собственная мысль, которую Фуллер так хотел

всем доказать, теперь едва поблескивала во мраке — так водолазы видят солнце с океанского дна.

— Я только хотел сказать, что вы могли бы одеваться поприличней…

Сюзанна раскинула руки в стороны:

— Так — достаточно прилично? Теперь вы довольны?!

От ее красоты у Фуллера заныли кости. В груди, точно забытый аккорд, томился вздох.

— Да, — пробормотал он и добавил: — Не обращайте на меня внимания. Забудьте.

Сюзанна вскинула голову.

— А вы попробуйте забыть, что вас переехал грузовик! Почему вы такой злой?

— Я только сказал, что у меня было на сердце, — ответил Фуллер.

— Значит, у вас на сердце ужасно много зла! — выпалила Сюзанна. Вдруг ее глаза широко распахнулись. — Все время, пока я училась в школе, ребята вроде вас глазели на меня так, словно желали мне смерти! Они никогда не приглашали меня танцевать, не разговаривали со мной, не улыбались в ответ! — Она вздрогнула. — Они просто обходили меня стороной и косились подозрительно, точно полицейские из глухого городка. Они смотрели на меня так же, как вы,

— словно я сделала что-то ужасное!

От понимания справедливости ее упреков Фуллер весь зачесался.

— Но думали они про другое. Наверно, — сказал он.

— Это вряд ли! Уж вы так точно о другом не думали! Взяли и развопились на меня ни с того ни с сего — а ведь я никогда вас даже не видела! — Сюзанна расплакалась. — Да что с вами такое?!

Фуллер уставился в пол.

— Просто к таким девушкам, как вы, не подойти… вот и все. Обидно это.

Сюзанна с удивлением посмотрела на него.

— Но вы же не знаете наверняка!

— Я знаю, кого вам подавай: парня на кабриолете, в костюме с иголочки и двадцатью долларами в кармане, — сказал Фуллер.

Сюзанна отвернулась и закрыла чемодан.

— Хорошо же вы знаете девушек! Попробовали бы хоть раз улыбнуться, пошутить, сказать доброе слово! — Она обернулась и снова раскинула руки. — Я девушка! У девушек бывают такие фигуры, ничего не поделаешь. Если парни со мной добры и милы, я иногда их целую! Разве это плохо?

— Нет, — потупившись, ответил Фуллер. Сюзанна утерла ему нос самым простым и милым

законом Вселенной. Он пожал плечами. — Ну, мне пора. До свидания.

— Стойте! — воскликнула она. — Вы не можете так просто уйти! Я теперь чувствую себя ужасно плохо, вы не имеете права меня так бросать! Я этого не заслужила.

— Но что же мне делать? — беспомощно спросил Фуллер.

— Давайте вместе пройдем по Мейн-стрит, как будто вы гордитесь мною, хвалитесь! — сказала Сюзанна. — Вы восстановите мое доброе имя в глазах человечества. — Она кивнула. — Уж это вы мне должны.

* * *

Капрал Фуллер, вернувшийся позавчера с безрадостной полуторагодовалой службы в Корее, молча стоял на крыльце Сюзанны и ждал — на глазах у всей деревни.

Сюзанна велела ему выйти, чтобы переодеться и в должном виде предстать перед человечеством. Еще она позвонила в транспортную контору и распорядилась, чтобы отогнали грузовик.

Фуллер коротал время, гладя ее черного кота.

— Киса-киса-киса-киса, — приговаривал он. Это заклинание — «киса-киса-киса-киса» — дей-

ствовало на него как сильное успокоительное и притупляло все чувства.

Фуллер твердил его, когда Сюзанна наконец вышла из своего гнездышка. Он не мог остановиться, все повторял и повторял одно слово, и ей пришлось вырвать кота из его рук, чтобы он поднял глаза и предложил ей руку.

— Пока, киса-киса-киса-киса, — сказал Фуллер.

Сюзанна вышла босая, в ушах серьги-обручи, на щиколотках бубенцы. Легко держа Фуллера за руку, она повела его вниз по лестнице и начала свое неспешное, будоражащее, звонкое шествие по деревне — мимо винной лавки, мимо страхового бюро, агентства недвижимости, закусочной, мимо поста Американского легиона и церкви — к всегда людной аптеке.

— А теперь улыбнись и будь милым, — сказала Сюзанна. — Докажи, что не стесняешься меня.

— Ничего, если я закурю? — спросил Фуллер.

— Как приятно, что ты спрашиваешь, — просияла Сюзанна. — Конечно, ничего!

Левой рукой уняв дрожь в правой, капрал Фуллер прикурил сигарету.

Капелька за капелькой

© Перевод. М. Загот, 2021

И вот, Ларри больше нет.

Мы, холостяки, — люди одинокие. Если бы не это дурацкое одиночество, вряд ли я стал бы другом Ларри Уитмена, баритона. Ну, может, не другом, а приятелем — в смысле, я проводил время в его обществе, а нравился он мне или нет, это вопрос отдельный. Я пришел к выводу, что с возрастом холостяки становятся все менее требовательными к людям, которых допускают в круг своего общения, — и, как и все остальное в их жизнях, друзья превращаются в привычку, в некую неизбежную данность. К примеру, Ларри был до жути тщеславен и полон самомнения, чего я терпеть не могу, но при этом не один год я его регулярно навещал. «Регулярно» в данном случае означает, что я навещал Ларри каждый вторник, под вечер, от пяти до шести. Холостяки — рабы своих привычек. Если меня спросят под присягой, где я был в пятницу вечером такого-то числа, надо просто прикинуть, где я собираюсь быть в следующую пятницу, — скорее всего в

пятницу, о которой идет речь, я был именно там.

Здесь же следует заметить, что я ничего не имею против женщин, но холостяком остался по собственному желанию. Да, холостяки — люди одинокие, только я убежден: женатые одиноки в той же степени, но на них еще висят иждивенцы.

Говоря, что ничего не имею против женщин, я могу привести несколько имен, и, пожалуй, мое общение с Ларри наряду с привычкой объясняется именно их присутствием в его жизни. Некая Эдит Вранкен, дочь пивовара из Скенектади, которой хотелось петь; Джейнис Гарни, дочь хозяина скобяной лавки из Индианаполиса, которой хотелось петь; Беатрикс Вернер, дочь инженера-консультанта из Милуоки, которой хотелось петь; и Эллен Спаркс, дочь оптовика-бакалейщика из Баффало, которой хотелось петь.

Этих симпатичных девиц — по одной, в упомянутой последовательности — я встретил в студии Ларри, которую правильнее назвать просто квартирой. К своему доходу оперного певца Ларри добавлял гонорары от уроков пения, которые он давал жаждущим петь богатым милашкам. При всей своей мягкости — просто подогретый пломбир! — Ларри был могучим здоровяком и

напоминал дровосека с университетским образованием, если таковые встречаются в природе, или сержанта канадской конной полиции. Казалось, его громовым — а как же иначе! — голосом можно запросто стереть камень в порошок. Все его ученицы неизбежно в него влюблялись. Если спросите, как именно они его любили, я отвечу вопросом на вопрос: на какой именно стадии цикла? На первой Ларри был любим как отец. Потом его любили как благожелательного наставника, а уже совсем потом — как любовника. А потом происходил, по выражению Ларри и его друзей, выпуск, не имевший ничего общего со статусом новоиспеченной певицы, зато напрямую связанный с циклом привязанности. Ключом к выпуску становилось слетавшее с уст ученицы слово «брак».

Ларри был неким подобием Синей Бороды, можно сказать, эдаким везунчиком — пока фортуна не повернулась к нему спиной. Эдит, Джейнис, Беатрикс и Эллен — последняя группа выпускниц — любили и были поочередно любимы. И поочередно же были отправлены в отставку. Все они отличались завидной внешностью, но в местах, откуда они пожаловали, уже подрастала смена, и эти другие садились в поезда, самолеты и автомо-

били, чтобы прибыть в Нью-Йорк — им хотелось петь. Так что с пополнением проблем у Ларри не было. А раз так, не возникало и соблазна пойти на некий долгосрочный проект, например, брак.

Жизнь Ларри, как это часто бывает с холостяками, но в ярко выраженной степени, была расписана по минутам, и женщинам, как таковым, в этой жизни отводилось совсем мало времени. Время для очередной фаворитки он ограничивал, если быть точным, вечерами по понедельникам и вторникам. Уроки, ланч с друзьями, репетиции, парикмахер, два коктейля со мной — все делалось строго по графику, от которого он никогда не отклонялся больше чем на несколько минут. Студия его тоже была именно такой, какой он хотел ее видеть, то есть местом для всех его занятий, в ней было все, что ему требовалось, и наоборот — в ней не было ничего, с его точки зрения, лишнего. Возможно, в ранней молодости он и помышлял о женитьбе, но со временем женитьба стала невозможной. Если раньше у него и оставалось хоть сколько-то времени и пространства, куда втиснуть жену, теперь втискивать ее было абсолютно некуда.

— Привычка — вот в чем моя сила! — как-то заявил Ларри. — Они бы с радостью захомутали

Ларри, так? И переделали его на свой лад, да? Прежде чем заманить меня в ловушку, меня надо выкурить из моей колеи, а это невозможно. Уж так я эту уютную колейку люблю. Привычка — *Aes triplex*.

— Это как? — спросил я.

— *Aes triplex* — тройная броня, — последовал ответ.

— А-а. — Куда лучше подошло бы выражение *Aes Kleenex*, бумажная броня, но в то время ни он, ни я этого не знали. То была полоса Эллен Спаркс, она совершала восхождение к вершине, на которой восседал Ларри — на смену свергнутой пару месяцев назад Беатрикс Вернер. Увы, от предшественниц Эллен мало чем отличалась.

Я сказал, что ничего не имею против женщин и привел в качестве примера студенток Ларри, включая Эллен. Да, я был не против — с безопасного расстояния. Когда Ларри, шествуя через очередной амурный цикл с фавориткой, переставал быть отцом и плавно переходил в более интимное качество, отцом становился я. Отцом, скажем прямо, анемичным и малоубедительным, но девушки доверяли мне свои тайны и испрашивали моего совета. Консультант из меня был еще тот, потому что ничего умнее, чем «да

ладно, какого черта, молодость дается один раз», я придумать не мог.

Это же я сказал и Эллен Спаркс, умопомрачительной брюнетке, которую едва ли могли огорчить мысли о деньгах или нехватке таковых. Во время разговора голос у нее был вполне приятный, но стоило ей запеть… казалось, голосовые связки перебираются в носовые пазухи.

— Гундосый варганчик, — комментировал Ларри, — исполняющий итальянские арии с вайомингским акцентом. — Но продолжал с ней заниматься, потому что Эллен очень даже радовала глаз, не задерживала плату за уроки и даже не замечала, что Ларри менял стоимость занятия в зависимости от того, сколько ему в данный момент требовалось.

Я как-то спросил, с чего это ей взбрело в голову стать певицей, и она сказала, что опера — ее страсть. Этот ответ ей казался вполне уместным и достаточным. Видимо, Эллен просто хотелось вырваться из домашней тюрьмы и посорить денежками там, где ее никто не знает. Возможно, она сложила в шляпу бумажки с надписями: «музыка», «театр», «живопись» и так далее — и вытянула «оперу». При этом к своей миссии она подходила куда серьезнее многих. Например,

одна девица на папенькины денежки сняла себе люкс и для расширения кругозора подписалась на несколько общественно-политических журналов. Каждый день она по часу с религиозным рвением подчеркивала в них все, что считала достойным внимания. Перьевой ручкой стоимостью тридцать долларов.

Итак, играя роль нью-йоркского отца Эллен, я выслушал ее заявление — как до этого ее предшественниц — о том, что она любит Ларри и что, как ей кажется, он отвечает ей взаимностью. Она говорила мне это с гордостью: как же, еще и полгода не прожила в Нью-Йорке, а на нее положил глаз такой знаменитый человек. Вкус победы был вдвойне приятен, потому что, как я понимал, в родных краях ее умственные способности оценивались весьма низко. Потом Эллен сбивчиво поведала мне о сокровенном: вечера за бокалом вина, мудреные беседы об искусстве.

— По понедельникам и вторникам? — спросил я.

Она встрепенулась.

— Вы что, подглядываете за мной?

Месяца через полтора она осторожно заговорила о женитьбе — кажется, Ларри вот-вот сделает ей предложение. Еще через неделю пришло вре-

мя выпуска. Я как раз заглянул к Ларри выпить с ним мой вторничный коктейль — и увидел Эллен за рулем ее желтой машинки на другой стороне улицы. По осанке — она сидела ссутулившись и чуть откинувшись на спинку сиденья, демонстративно горделивая и в то же время совершенно потерянная, — я сразу все понял. Я решил, что лучше ее сейчас не трогать, — в конце концов, этой старой историей я был сыт по горло. Но она заметила меня и нажала на клаксон — да так, что у меня волосы встали дыбом.

— Эллен, привет. Закончился урок?

— Давайте смейтесь надо мной.

— И не думаю. Почему я должен над вами смеяться?

— Вы же его друг! — с горечью сказала она. — Мужчины! Вы все знали про других, да? Знали, чем у них все заканчивалось и чем все закончится у меня!

— Я знал, что многие студентки к нему были привязаны.

— А потом отвязаны. Но есть одна девушка, от которой ему не отвязаться.

— Эллен, он очень занятой человек.

— Он сказал, что его карьера — очень ревнивая любовница, — проговорила она осипшим голо-

сом. — А мне куда деваться?

Мне тоже показалось, что фраза Ларри была не очень корректна.

— Эллен, может, оно и к лучшему. Вы заслуживаете кого-нибудь помоложе.

— Это подло. Я заслуживаю его.

— Даже если проявите глупое упрямство и захотите заполучить его — ничего не выйдет. Его жизнь настолько закаменела от привычек, что в ней просто нет места для жены. Легче заставить труппу «Метрополитен-оперы» петь в рекламных роликах.

— Я еще вернусь, — мрачно заявила она, включая зажигание.

Когда я вошел, Ларри стоял ко мне спиной. Он готовил коктейль.

— Слезы? — спросил он.

— Ни капелюшки, — ответил я.

— Вот и здорово, — заключил Ларри. Я не понял, что именно он имеет в виду. — Когда они льют слезы, я всякий раз чувствую себя подлецом. — Он воздел руки к небу. — Но что делать? Моя карьера — ревнивая любовница.

— Знаю. Она мне сказала. Равно как и Беатрикс. Равно как и Джейнис, и Эдит. — Я заметил, что список имен доставил ему удовольствие. — Кста-

ти, Эллен сказала, что тебе от нее не отвязаться.

— Правда? Ну, это неразумно. Что ж, поглядим.

Еще в то время, когда Эллен была совершенно счастлива и рассчитывала через пару недель вывезти апробированную нью-йоркскую знаменитость в Баффало, я по-отцовски пригласил ее отобедать в свой любимый ресторан. Место ей понравилось, и после ее разрыва с Ларри я периодически на нее там натыкался. Обычно ее сопровождал кто-то, кого она, на наш с Ларри взгляд, вполне заслуживала — кто-то ближе к ее возрастной категории. Не только к возрастной: ее спутники, как и она сама, были какими-то добродушными пустышками, в итоге обеденный час проходил за вздохами, долгими паузами и общей туманной атмосферой, которую при желании можно принять за любовь. Уверен, что Эллен и ее очередной спутник пребывали в состоянии, которому можно посочувствовать: им нечего было сказать друг другу. С Ларри такой проблемы не возникало в принципе. Само собой разумелось, что беседу ведет он, а если он умолкал, наступившая тишина была призвана произвести особый эффект, она была прекрасна, и Эллен полагалось эту тишину запомнить и ни в коем случае не прерывать. Когда ее кавалеры погружались в

изучение чека, Эллен, прекрасно понимая, что я за ней наблюдаю, начинала ерзать и бросать презрительные взгляды: мол, я знавала мужчин поинтереснее. Тут она была права.

В те разы, когда мы оказывались в ресторане одновременно, она не отвечала на мои кивки, и я — если честно, мне было абсолютно плевать — решил, что не хочет, не надо. Скорее всего она считала, что я — соучастник сговора, который организовал Ларри с целью ее унизить.

Со временем она перестала привечать молодых людей, ближе подходивших ей по возрасту, и отдала предпочтение обедам в одиночестве. Наконец, по совпадению, удивившему нас обоих, она обнаружилась за соседним со мной столиком и несколько раз кашлянула, прочищая свое белое горлышко.

Мне было неловко сидеть, уткнувшись в газету.

— Батюшки, кого мы видим, — произнес я.

— Как дела? — спросила она холодно. — Все посмеиваетесь?

— Просто умираю от хохота. Садизм, понимаете ли, на подъеме. Его уже легализовали в Нью-Джерси, на очереди — Индиана и Вайоминг.

Она кивнула.

— В тихом омуте черти водятся, — загадочно заявила она.

— Это вы обо мне, Эллен?

— О себе.

— Понял, — сказал я озадаченно. — Вы хотите сказать, что невооруженным глазом всю вашу глубину не разглядишь? Я согласен. — Это была правда. Поразительно, как мало можно было увидеть в Эллен — в интеллектуальном смысле — невооруженным глазом.

— Глазом Ларри, — уточнила она.

— Перестаньте, Эллен, вы уже наверняка про него забыли. Самовлюбленный эгоист и ходит в корсете, чтобы живот не вываливался.

Она остановила меня, воздев руки к небу.

— Не надо, лучше скажите мне про открытки и клаксон. Что он про это говорит?

— Открытки? Клаксон? — Я покачал головой. — Ни о том, ни о другом — ни слова.

— Натур, — сказала она. — Отлично, замечательно. Просто отл.

— Извините, но вы меня запу, к тому же у меня ва встр, — сказал я, поднимаясь.

— Что-что?

— Вы меня запутали, Эллен. Я бы постарался вникнуть, но у меня нет на это времени. У меня

важная встреча. Удачи, дорогая.

У меня действительно была назначена встреча — со стоматологом. По завершении этого не самого приятного визита я понял, что хребет дня окончательно сломан, и решил навестить Ларри и выяснить, о каких открытках и клаксонах идет речь. Был вторник, четыре часа пополудни, и Ларри, понятное дело, сидел у парикмахера. Я вошел в парикмахерскую и плюхнулся в кресло рядом с ним. Лицо было в мыльной пене, но это безусловно был он, Ларри. Уже многие годы во вторник в четыре часа в этом кресле не сидел никто, кроме него.

— Пострижемся, — сказал я парикмахеру, после чего повернулся к Ларри: — Эллен Спаркс утверждает, что в тихом омуте водятся черти.

— М-мм? — вопросил Ларри сквозь слой пены. — Кто такая Эллен Спаркс?

— Твоя бывшая ученица. Помнишь? — Изображать потерю памяти — это был старый фокус Ларри и, насколько я понимаю, срабатывал он неплохо. — Она выпустилась два месяца назад.

— Всех выпускниц разве упомнишь? — сказал он. — Штучка из Баффало? Бакалейные товары оптом? Помню. Шампунь, пожалуйста, — обратился он к парикмахеру.

— Конечно, господин Уитмен. Естественно, следующим номером — шампунь.

— Она хочет знать про открытки и клаксон.

— Открытки и клаксон, — задумчиво повторил он. — Ни о чем не говорит. — Потом прищелкнул пальцами. — Да, да, конечно. Можешь сказать ей, что она меня абсолютно достала. Каждое утро в моем почтовом ящике лежит ее открытка.

— И что там?

— Скажи ей, что почту приносят, когда я ем яйца в мешочек. Я кладу почту перед собой — ее открытка лежит сверху. Доедаю яйца, хватаю открытку со свойственной мне страстью. Что происходит дальше? Я разрываю ее напополам, потом на четыре части, потом на шестнадцать — и бросаю этот маленький снежный ураган в корзину. Потом перехожу к кофе. Стало быть, о содержимом этих открыток я не имею ни малейшего понятия.

— А клаксон?

— Это еще хуже открыток. — Он засмеялся. — Женщина, которой пренебрегли, настоящее исчадие ада. И вот каждый день в половине третьего, когда я начинаю распеваться, что, как ты думаешь, происходит?

— Она пять минут подряд жмет на клаксон и

выводит тебя из себя?

— На такую наглость она не способна. Но каждый день я слышу один короткий, почти неслышный сигнал клаксона, потом переключается передача — и это глупое дитя уезжает.

— Тебе это не мешает?

— Мешает? Я человек чувствительный, тут она права, однако она недооценила мое умение приспосабливаться. Пару дней мешало, а сейчас это тревожит меня не больше, чем шум поезда. Я даже не сразу понял, о чем ты спрашиваешь, о каких таких клаксонах.

— Ее глаза налиты кровью, — предупредил я.

— Ей бы эту кровь — на подпитку мозга, — заметил Ларри. — Кстати, что ты думаешь о моей новой студентке?

— Кристина? Будь она моей дочерью, я бы отправил ее учиться на сварщика. Она из тех, кого учителя в начальной школе раньше называли «слушателями». На уроке пения их задвигали подальше в угол и просили ножкой отбивать ритм, но ротики держать на замке.

— Она настроена на учебу, — решительно возразил Ларри. Ему не нравились намеки на то, что его интерес к студенткам выходит за чисто профессиональные рамки. Поэтому, можно сказать,

в порядке самообороны, он агрессивно отстаивал творческие возможности своих подопечных. Например, отпускать колкости по поводу голоса Эллен он стал далеко не сразу — лишь когда созрел для того, чтобы заточить ее в глубокую темницу.

— Через десять лет Кристина сможет спеть про Мэри и овечку.

— Погоди, она еще тебя удивит.

— Сомневаюсь, а вот Эллен может удивить, — ответил я. Как-то мне не понравился облик Эллен, она словно намеревалась выпустить в жизнь какие-то пугающие, неудержимые силы. Впрочем, пока дальше дурацких открыток и клаксона дело не шло.

— Какая Эллен? — пробурчал Ларри из-под горячего полотенца.

У парикмахера зазвонил телефон. Парикмахер дернулся к трубке, но второго звонка не последовало. Он пожал плечами.

— Странно. В последнее время всякий раз, когда здесь сидит господин Уитмен, телефон проделывает такую штуку.

Телефон на моем прикроватном столике зазвонил.

— Это Ларри Уитмен!

— Сгинь и рассыпься, Ларри Уитмен!

Стрелки часов показывали два ночи.

— Вели этой девице прекратить, слышишь?

— Хорошо, с радостью, не сомневайся, — прогудел я спросонья. — Кто и что?

— Бакалея оптом, кто же еще? Штучка из Баффало. Слышишь меня? Пусть прекратит немедленно. Свет, черт бы драл этот свет!

Я уже начал класть трубку на рычаг, тайно надеясь, что смогу повредить Ларри барабанную перепонку — как вдруг проснулся и понял, что в восторге от услышанного. Неужели Эллен наконец применила свое секретное оружие? Вечером у Ларри был сольный концерт — и что, она выкинула какой-то номер при всем зрительном зале?

— Она ослепила тебя фонариком?

— Хуже! Когда в зале погасли огни, она осветила свое круглое лицо дурацким крохотным фонариком — знаешь, такие болтаются на цепочках для ключей, пока батарейка не выдохнется. И вот она сидела и ухмылялась из темноты, как размороженная смерть.

— И что, так и светила весь вечер? Странно, что ее не вышвырнули из зала.

— Светила, пока не поняла, что я ее заметил, а потом отключилась. А еще потом начала каш-

лять. О-о, этот кашель!

— Кто-нибудь кашляет всегда.

— Кашляет, да не так. Только я брал дыхание, чтобы начать следующий номер, тут она со своим кхе-кхе-кхе. Три раза, как по часам.

— Ладно, если увижу ее, обязательно скажу, чтоб прекратила, — согласился я. Новость о том, что Эллен развернула кампанию против Ларри, не оставила меня равнодушным, но рассчитывать на серьезный долгосрочный результат не приходилось. — Ладно, ты старый вояка, тебя такими штучками не собьешь, — успокоил я его без особого лукавства.

— Она хочет вывести меня из равновесия. Хочет, чтобы я потерял покой перед концертом в ратуше, — заявил он с горечью. Выступление в ратуше было для Ларри важнейшим событием года — кстати, его выступления там проходили с неизменным успехом. На этот счет сомнений нет — Ларри певец высочайшего класса. И вот Эллен запустила свою кампанию «фонарик-кашель» за два месяца до знаменательного события.

Через две недели после душераздирающего звонка Ларри я снова совпал с Эллен во время обеда. От нее, как и раньше, заметно веяло недружелюбием, она обращалась со мной так, будто

я — ценный шпион, но доверять мне нельзя, и вообще я достоин презрения. У меня снова возникло тревожное ощущение некоей скрытой силы, словно должно произойти нечто грандиозное. На щеках ее гулял румянец, в движениях была какая-то загадка. После сдержанного обмена любезностями она спросила: говорил ли что-то Ларри насчет света?

— Говорил, и очень много, — заверил я, — после вашего первого выступления. Он был вне себя от ярости.

— А сейчас? — спросила она с живым интересом.

— Для вас, Эллен, новости плохие, для Ларри — хорошие. После третьего концерта он привык и прекрасным образом обрел спокойствие. Так что результат, боюсь, равен нулю. Может быть, хватит? Вы изрядно потрепали ему нервы, ведь так? Месть, вот все, на что вы можете рассчитывать — и вы ему уже отомстили. — Она совершила одну принципиальную ошибку, на которую мне указывать не хотелось. Дело в том, что все ее раздражители носили регулярный характер, были предсказуемыми, в итоге Ларри легко внес их в расписание своей жизни и просто от них отмахнулся.

Плохие новости она восприняла, не моргнув глазом. Скажи я, что ее кампания принесла оглушительный успех и Ларри вот-вот сдастся — реакция была бы такой же.

— Месть — это детские игрушки, — сказала она.

— Ну, Эллен, вы должны обещать мне одно…

— Пожалуйста, — согласилась она. — Чем я хуже Ларри? Ведь обещать можно что угодно, абсолютно все, так?

— Эллен, обещайте мне не совершать никаких насильственных действий во время его концерта в ратуше.

— Слово скаута, — сказала она, улыбнувшись. — Это самое легкое обещание в моей жизни.

Вечером я воспроизвел эту загадочную беседу Ларри. Перед сном он хрустел крекерами и запивал их горячим молоком.

— Х-ммм, — отреагировал он с полным ртом. — Впервые в жизни она сказала что-то здравое. — Он презрительно пожал плечами. — Она выдохлась, эта Эллен Смарт.

— Эллен Спаркс, — поправил я.

— Да какая разница, главное, что скоро она сядет в поезд и отправится восвояси. Какая безвкусица! Честное слово. Странно, что она не

стреляла в меня бумажными шариками через трубочку и не втыкала булавки в мою дверь.

Где-то на улице громыхнула крышка мусорного бака.

— Что за безобразие, — возмутился я. — Неужели надо поднимать такой шум?

— Какое безобразие?

— Мусорный бак.

— А-а. Если бы ты жил здесь, давно бы к этому привык. Не знаю, чьих тут рук дело, но этому мусорному баку дают под дых каждый вечер — когда я собираюсь ложиться спать.

Хранить большую тайну, особенно о чем-то, содеянном тобою лично, — сложная задача даже для людей, у которых мозги работают неплохо. А если они работают так себе, что тогда? Многие преступники попадают в тюрьму или кончают еще хуже именно по этой причине — не могут удержаться от хвастовства. Совершенное ими настолько чудесно, что должно вызывать всеобщее восхищение. Трудно поверить, что Эллен может что-то скрывать больше пяти минут. Между тем она держала язык за зубами полгода — именно столько времени прошло с момента их разрыва вплоть до концерта Ларри в ратуше.

Когда до концерта оставалось два дня, она по-

святила меня в свои планы — во время нашей дежурной встречи за обедом. Причем облекла новость в такие формы, что лишь на следующий день, встретив Ларри, я понял, в чем был истинный смысл сказанного.

— Вы мне обещали, Эллен, — снова сказал я ей. — Во время послезавтрашнего концерта — никаких фокусов. Никакого шиканья, никаких бомб-вонючек, никаких вызовов в суд.

— Что за пошлости вы говорите.

— Прошу вас, дорогая. Этот концерт нужен не только Ларри, он нужен всем любителям музыки. Ратуша — не место для партизанских действий.

Впервые за несколько месяцев она выглядела совершенно спокойной, как человек, который только что завершил очень серьезную работу и вполне доволен результатом, — такое в наши дни встречается весьма редко. Обычно пунцовая от возбуждения и предвкушения чего-то таинственного, на сей раз Эллен была исполнена розово-кремовой безмятежности.

Она съела свой обед молча, ни словом не обмолвившись о Ларри. Да и мне нечего было ей сказать — я уже все сказал раньше. Она настойчиво напоминала о себе — клаксон, открытки, фонарик, покашливание, бог знает что еще, — но

он совершенно о ней забыл. Жизнь его текла своей эгоистичной колеей и не желала ни о чем тревожиться.

И тут Эллен сообщила мне новость. Сразу стала ясна причина ее спокойствия. Такой сюжетный ход я даже какое-то время ждал, даже сам пытался соблазнить ее на нечто подобное. Я даже не удивился. Для сложившейся ситуации решение было совершенно очевидным, это решение родилось в мозгу, который и был всю жизнь настроен на очевидное.

— Жребий брошен, — рассудительно сказала она. И тут же добавила: — Пути назад нет.

Насчет брошенного жребия я с ней согласился, мол, оно и к лучшему. Мне казалось, что я правильно понял ее намерение. Правда, когда она поднялась, чтобы выйти из ресторана, я удостоился поцелуя в щеку — это меня слегка насторожило.

На следующий день в пять часов — время традиционного коктейля — я вошел в студию Ларри, но в гостиной его не обнаружил. Обычно к моему приходу он всегда был там, возился с напитками, элегантный в своей клетчатой шерстяной куртке (подарок поклонницы).

— Ларри!

Портьера на двери спальни раздвинулась, и оттуда нетвердой походкой, со скорбью в глазах вышел он. Вместо халата на нем была пелерина с алой подкладкой и золотым галуном — наряд из какой-то старой оперетты. Он рухнул в кресло, подобно раненому генералу, и закрыл лицо руками.

— Грипп! — воскликнул я.

— Какой-то неизвестный вирус, — мрачно объявил он. — Доктор ничего не нашел. Вообще ничего. Может быть, это начало Третьей мировой войны — бактериологической.

— Может, тебе просто надо выспаться? — предположил я, как мне показалось, с надеждой в голосе.

— Выспаться? Ха-ха! Я всю ночь глаз не сомкнул. Горячее молоко, подушки под спину, овечья…

— Внизу гуляли?

Ларри вздохнул.

— Во всем квартале было тихо, как в морге. Это что-то внутри, я тебе точно говорю.

— Ну, если с аппетитом все в порядке…

— Ты что, мучить меня пришел? Я так люблю завтракать, а тут впечатление было такое, будто я ем опилки.

— По крайней мере голос звучит хорошо, а ведь

это самое главное, согласен?

— Сегодня на репетиции был полный провал, — признался он с тоской. — Я звучал неуверенно, скрипел, не попадал в ноты. Что-то не так, я был не готов, чувствовал себя беззащитным…

— Ну, выглядишь ты на миллион долларов. Парикмахер поработал…

— Этот парикмахер — мясник, халтурщик и…

— Он поработал на славу.

— Тогда почему у меня этого ощущения нет? — Он поднялся. — Все сегодня идет наперекосяк. Весь мой график рассыпался в пух и прах. А я ведь никогда, ни разу в жизни не тревожился перед концертом. Вот ни на столечко — и ни разу!

— Ну, — с сомнением в голосе заговорил я, — может, тебе помогут хорошие новости. Вчера за обедом я встретил Эллен Спаркс, и она сказала…

Ларри прищелкнул пальцами.

— Вот оно! Конечно! Это Эллен меня отравила. — Он заходил по гостиной взад-вперед. — Не до такой степени, чтобы я загнулся, но достаточно, чтобы сломить мой дух перед сегодняшним концертом. Все это время она хотела до меня добраться.

— Не отравила, — сказал я с улыбкой. Я надеялся болтовней отвлечь его от мрачных мыслей. Я

умолк, внезапно поняв, сколь важное сообщение собираюсь сделать. — Ларри, — медленно произнес я, — вчера вечером Эллен уехала в Баффало.

— Скатертью дорожка!

— Больше не надо рвать открытки за завтраком, — сказал я как бы между прочим. Никакого результата. — Никаких гудков клаксона перед репетицией. — Результата снова нет. — Никто больше не будет звонить парикмахеру, никто больше не будет стучать крышкой бака перед сном.

Он схватил меня за руку и крепко встряхнул.

— Никто?

— Конечно! — Я не смог сдержать смех. — Она настолько внедрилась в твою жизнь, что ты и шага без ее сигнала сделать не можешь.

— Подрывница! — прохрипел Ларри. — Коварная кротиха, подкожное насекомое! — Он застучал пальцами по каминной полке. — Откажусь от своей привычки!

— От привычек, — поправил его я. — Когда-то пора начинать. Завтра готов?

— Завтра? — Он застонал. — Ах, завтра.

— В зале гаснет свет, и…

— Нет фонарика.

— Ты готовишься к первому номеру…

— Где же кашель? — вскричал он в отчаянии. — Я сгорю синим пламенем, как нефть в Техасе! — Дрожащей рукой он схватил телефонную трубку. — Девушка, соедините меня с Баффало. Как, говоришь, ее зовут?

— Спаркс, Эллен Спаркс.

Меня пригласили на их свадьбу, но я бы с бóльшим удовольствием посетил публичную казнь. Я послал им вилку для солений из чистого серебра и мои соболезнования.

К моему изумлению, на следующий после свадьбы день Эллен подсела ко мне за обедом. Она была одна, с большим свертком.

— Что вы здесь делаете именно сегодня? — поинтересовался я.

— У меня медовый месяц, — заявила она игриво и заказала сандвич.

— Ага. А как насчет жениха?

— У него медовый месяц в студии.

— Понятно. — Я ничего не понял, но задавать дальнейшие вопросы было бы неделикатно.

— Сегодня я втиснула в его расписание два часа, — внесла ясность она. — И повесила в его шкаф одно платье.

— А завтра?

— Два с половиной часа — и пара обуви.

— Капелька за капелькой, песчинка за песчинкой, — продекламировал я. — Получаем берег моря, чудную картинку. — Я указал на сверток. — Это часть вашего приданого?

Она улыбнулась.

— В каком-то смысле. Это крышка от мусорного бака — она будет лежать рядом с кроватью.

Дженни

© Перевод. Е. Алексеева, 2021

Джордж Кастро заезжал в главный комплекс «Фабрики домашней техники» не чаще раза в год — чтобы установить свое оборудование в корпус новой модели холодильника ФДТ и бросить листок в ящик «Пожелания и предложения». Из года в год на листке было одно и то же: «Почему бы не придать следующему холодильнику очертания женской фигуры?» — и карандашный набросок такого холодильника со стрелочками, указующими, где будет отсек для овощей, для сливочного масла, для кубиков льда и всего прочего. Джордж и название для такой модели придумал — «Няма-Мама».

В руководстве воспринимали это как искрометную шутку, потому что весь год Джордж проводил в разъездах, болтая, танцуя и распевая песни с холодильником, имеющим очертания холодильника. Холодильник звали Дженни. Джордж сконструировал Дженни еще в те дни, когда был постоянным сотрудником исследовательской лаборатории ФДТ.

Дженни и Джордж разве только не поженились. Жили они вместе в кузове фургончика, загруженного преимущественно ее электронными мозгами. У Джорджа была койка, одноконфорочная плитка, трехногий табурет, стол и небольшой шкафчик, запирающийся на ключ. И еще коврик для ног, который он неизменно выкладывал прямо на землю, паркуя фургон где-нибудь на ночь. Надпись на коврике гласила: «Дженни и Джордж». В темноте она светилась.

Дженни и Джордж исколесили все Соединенные Штаты и Канаду, путешествуя от одного магазина товаров для дома к другому. Они устраивали представления — пели, плясали, шутили, — а когда вокруг них собиралась толпа, начинали рекламировать прочие изделия «Фабрики домашней техники», которые просто стояли в сторонке.

Этим Дженни и Джордж занимались с тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Когда я закончил колледж и поступил сюда на работу, Джорджу было шестьдесят четыре; послушав, как щедро ему платят, какую вольную жизнь он ведет и как весело и играючи убеждает людей покупать домашнюю технику, я подумал: вот он, самый счастливый человек в компании.

Я много слышал о нем, но никогда не видел

— до тех пор, пока меня не перевели в Индианаполис. Однажды утром к нам в офис пришла телеграмма. Дженни и Джордж были где-то в наших краях. Нас просили разыскать их и сообщить Джорджу, что его бывшая жена при смерти и хочет его видеть.

Я удивился — никогда не слышал ни о какой жене. Но кое-кто из наших старожилов ее помнил. Джордж прожил с ней полгода, а затем подхватил Дженни и скрылся за горизонтом. Ее звали Нэнси. Плакала она недолго — тут же вышла замуж за его лучшего друга.

Обязательство разыскать Дженни и Джорджа я взял на себя. В компании не знали, где именно они в данный момент находятся, — Джордж сам составлял себе маршрут и расписание. Его перемещения кое-как отслеживались лишь по приходящим счетам за расходы и восторженным письмам от торговых агентов и владельцев магазинов.

Почти в каждом письме говорилось о каком-то новом трюке, которому научилась Дженни. Джордж колдовал над ней всякую свободную минуту, словно сама его жизнь зависела от того, сможет ли он сделать ее еще больше похожей на человека.

Я позвонил нашему агенту по центральной Индиане Хэлу Флоришу. Спросил, не знает ли он, где сейчас Дженни и Джордж. Хэл оглушительно расхохотался в трубку и ответил, что да, еще как знает. Они прямо тут, в Индианаполисе, в универмаге товаров для дома «Гузьер». С утра пораньше остановили движение на Норт-Мэридиан-стрит, решив прогуляться по ней под ручку.

— На Дженни новая шляпка и желтое платье с корсажем, а Джордж весь расфуфыренный в этом своем фраке, желтых гамашах и при тросточке. Живот надорвешь! А представляете, как он теперь узнает о садящихся батареях?

— Как, сэр?

— Она зевает! И наполовину прикрывает глаза!

Я добрался до универмага «Гузьер» как раз к началу первого представления Дженни и Джорджа. Было чудесное утро. Джордж стоял на тротуаре в теплых лучах солнца. Он облокотился на капот фургона, перевозившего электронные мозги Дженни, и пел. Они с Дженни исполняли дуэт из бродвейского мюзикла «Розмари», и получалось у них весьма неплохо. Джордж пел рокочущим баритоном, Дженни от дверей универмага отвечала ему тоненьким девическим сопрано.

Владелец универмага Салли Гаррис стоял рядом с Дженни, приобняв ее одной рукой. Он курил сигару и подсчитывал собравшихся зрителей.

На Джордже был фрак и желтые гамаши, которые так развеселили Хэла Флориша. Фалды фрака волочились по земле, гротескно длинный белый жилет застегивался на уровне колен, а манишка задралась Джорджу к подбородку, как поднятые жалюзи. Его клоунские ботинки напоминали босые ноги размером с лопасть весла каноэ. «Ногти» были выкрашены в цвет пожарной машины.

Впрочем, Хэл Флориш, подобно многим, смеялся любой шутке — просто потому, что это шутка. На самом деле Джордж был совсем не смешон, особенно если присмотреться повнимательней. А я разглядывал его очень внимательно — все-таки я не развлекаться сюда приехал, а привез безрадостные вести. Я смотрел на него и видел стареющего маленького человека, совсем одного в этой юдоли печали. Я видел маленького человека с большим носом и тоскливыми карими глазами.

Большинство в толпе находили его очень смешным — обхохочешься. Мало кто видел то же, что и я. В их улыбках сквозили печаль и сочувствие. И любопытство — как же Дженни работает?

Дженни функционировала на радиоуправлении, а кнопки скрывались в тех самых дурацких ботинках — Джордж нажимал на них пальцами ног. Кнопки передавали сигнал мозгам Дженни в фургоне, мозги сообщали ей, что делать. Никаких проводов между ними не было.

И я не мог поверить, что Джордж вообще както на нее воздействует. В ухе у него виднелся маленький розовый наушник — так Джордж слышал все, что говорила Дженни, даже если до нее была сотня футов. А в оправу своих очков он вмонтировал маленькие зеркала и таким образом мог повернуться к Дженни спиной и видеть все, что с ней происходит.

Закончив песню, Дженни выбрала меня в качестве объекта внимания.

— Привет, высокий темноволосый красавец. Что, сломался холодильник, пришлось из дома выходить?

На верху дверцы у нее было сделанное из губки лицо, в котором прятались пружины и громкоговоритель. Лицо смотрелось до того настоящим, что я почти был готов поверить: в холодильнике, выглядывая в окошко, сидит живая прекрасная женщина.

Я поддержал игру.

— Слушайте, миссис Франкенштейн, не пойти ли вам куда-нибудь в уголок и не заняться ли производством льда? Мне надо потолковать с вашим боссом с глазу на глаз.

Ее лицо из розового сделалось белым, уголки дрожащих губ поползли вниз. Дженни прикрыла глаза, словно не желая видеть такого отвратительного грубияна. А потом, ей-богу, она выжала две здоровенные слезы! Они скатились с ее щек по белой эмали дверцы на пол.

Я улыбнулся и подмигнул Джорджу, выражая ему свое одобрение и давая понять, что мне действительно нужно с ним поговорить.

Он не стал улыбаться в ответ. Его задело то, как я обошелся с Дженни. Честное слово, можно подумать, я плюнул в глаза его матери или сестре.

Парнишка лет десяти подошел к Джорджу и заявил:

— А я знаю, как она у вас работает. У нее внутри сидит карлик.

— Так и есть, — вздохнул Джордж. — Ты первый догадался. Ну, раз теперь все знают, можно выпустить карлика.

И он поманил Дженни, чтобы она подошла.

Я думал, что она будет ковылять вразвалочку и лязгать, как трактор, все-таки весила она семь-

сот фунтов. Но походка у нее оказалась легкая, под стать прекрасному лицу. Никогда мне еще не приходилось видеть такого яркого примера триумфа духа над материей. Я забыл, что передо мной холодильник. Я видел только ее.

Она подрулила к Джорджу и нежно спросила:

— Что такое, милый?

— Нас раскусили. Этот умный мальчик понял, что ты просто карлица внутри холодильника. Словом, вылезай, проветрись, познакомься с приятными людьми.

Он придал своему голосу ровно столько неуверенности и напустил на себя ровно такой мрачный вид, что публика уже приготовилась и в самом деле увидеть карлицу.

Что-то зажужжало, щелкнуло, и дверца распахнулась. Внутри у Дженни не было ничего, кроме холодного воздуха, нержавеющей стали, фарфора и стакана апельсинового сока. Контраст потрясал — такая красота и обаяние снаружи и такая холодная пустота внутри.

Джордж отхлебнул апельсинового сока из стакана, поставил его назад в Дженни и закрыл дверцу.

— Приятно видеть, что в кои-то веки ты добровольно пьешь что-то витаминное, — проворчала

Дженни, как ворчат горячо любящие своих непослушных мужей жены. — Вы бы знали, чем он питается! Удивляюсь, как он до сих пор не умер от цинги или от рахита!

Все-таки, если задуматься, самым поразительным во всем этом представлении была реакция публики. Только что Джордж наглядно продемонстрировал, что Дженни — просто холодильник, и вот двадцать секунд спустя они снова видят в ней живого человека. Женщины сочувственно кивают — уж им ли не знать, как тяжело заставить упрямого взрослого мужчину следить за своим питанием. Мужчины тайком бросают на Джорджа понимающие взгляды — ох уж эта несносная женская опека, ей-богу, как с детьми малыми!

Единственным, кто не купился на этот спектакль, кто не хотел быть обманутым даже ради собственного удовольствия, был тот самый мальчик. Задетый тем, что ошибся, он был твердо намерен разоблачить шарлатана и открыть всем правду — Правду с большой буквы «П». Когда-нибудь этот мальчик станет ученым.

— Ладно, — крикнул он, — если карлика нет, тогда я точно знаю, как она работает!

— Как, солнышко? — поинтересовалась Дженни.

Она с живейшим интересом приготовилась слушать, какие еще идеи есть в умненькой головенке юного дарования. Мальчик разозлился сильней и выпалил:

— Она на радиоуправлении!

— О-о-о! — Дженни пришла в полный восторг. — Вот это было бы просто шикарное решение!

Мальчишка побагровел.

— Можете сколько угодно шутки шутить, только я прав. — Он повернулся к Джорджу и спросил с вызовом: — А ваше какое объяснение?

Джордж ответил ему так:

— Три тысячи лет тому назад султан Алла-Бакара полюбил рабыню — мудрейшую, нежнейшую и прекраснейшую из женщин: Дженни. Старый султан понял, что на его земле постоянно будет идти кровопролитие — ведь всякий мужчина, увидевший Дженни, от любви к ней сходил с ума. И тогда султан повелел своему придворному волшебнику извлечь дух Дженни из тела и поместить в бутылку, а бутылку запер в сокровищнице. В тысяча девятьсот тридцать третьем году Лайонел Хартлайн, президент «Фабрики домашней техники», совершая деловую поездку в легендарный Багдад, купил там сувенир — диковинную бутылку. Он привез бутылку домой,

открыл ее, и дух Дженни вырвался на свободу — после трех тысяч лет заточения. Я в то время работал в исследовательской лаборатории компании. Мистер Хартлайн спросил меня, что я могу предложить в качестве нового тела для Дженни. Я взял корпус холодильника, сделал для него лицо, голос, ножки — а оживил его уже сам дух Дженни.

Сказка была настолько глупая, что она вылетела у меня из головы, едва я перестал смеяться. И лишь много недель спустя я сообразил, что Джордж вовсе не придумал небылицу на ходу. Напротив, он изложил историю Дженни так близко к истине, как прежде еще не осмеливался. Просто изложил ее поэтическим языком.

— И — вуаля! — вот она перед вами, — закончил Джордж.

— Враки! — крикнул мальчик.

Но публика его не поддержала, таких никогда не поддерживают.

Дженни тяжело вздохнула, вспоминая три тысячи лет, проведенные в бутылке.

— Ну, что было, то было. Ни к чему плакать о пролитом молоке. Теперь у меня новая жизнь. И представление еще не закончено.

Она поплыла ко входу в универмаг, и вся толпа,

кроме нас с Джорджем, побрела за ней, как дети за мамочкой.

Джордж, как обычно, управляя партнершей с помощью пальцев на ногах, нырнул в кабину своего фургона. Я подбежал и сунул голову в окно. Сквозь ботинки Джорджа было видно, как он быстро шевелит пальцами, и Дженни болтала без умолку. В руках Джордж держал бутылку и в девять часов солнечного ласкового утра пил прямо из горла.

Утерев выступившие слезы и подождав, пока горло перестанет драть, он проговорил:

— Ну, чего уставился, мальчик Джимми? Ты разве не видел — я выпил апельсиновый сок как паинька. Никто не скажет, что я налакался до завтрака.

— Прошу прощения.

Я отошел от фургона, чтобы дать Джорджу — и себе — время прийти в чувство.

— Когда я увидела этот прекрасный холодильник в лаборатории, — неслось щебетание Дженни из открытых дверей универмага, — я сразу поняла: вот идеальное белое тело для меня. — Она посмотрела на нас с Джорджем, умолкла, и на секунду ее широкая улыбка погасла. — О чем там я?..

Джордж не собирался вылезать из кабины. Сквозь ветровое стекло он смотрел на что-то очень гнетущее в пяти тысячах миль отсюда. И явно был готов провести так весь день.

Наконец у Дженни закончились шутки для развлечения толпы. Она подошла к фургону и позвала:

— Милый, ты идешь?

— Лучше не жди, — буркнул Джордж, не повернув головы.

— У тебя все хорошо? — неуверенно спросила Дженни.

— Просто чудесно, — ответил Джордж, по-прежнему глядя сквозь ветровое стекло. — Лучше некуда.

Еще надеясь, что это часть обычной программы, я изо всех сил старался найти в происходящем что-то смешное и остроумное. Но Дженни больше не играла на публику. Она вообще стояла к зрителям спиной. Не играла она и для меня. Она играла для Джорджа, а Джордж играл для нее, и они продолжили бы эту игру, даже оказавшись в пустыне Сахара один на один.

— Милый, там собрались очень приятные люди, они все ждут тебя.

Дженни смутилась. Ей было ясно, как белый

день, что я застукал ее партнера с бутылкой.

— Вот радость-то.

— Милый, надо продолжать шоу.

— Зачем?

Прежде я даже не подозревал, до чего невеселым бывает то, что называют «невеселым смехом». Дженни невесело рассмеялась, убеждая толпу, что происходит нечто совершенно уморительное. Звук был такой, будто кто-то колотит молотком бокалы для шампанского. До мурашек пробрало не одного меня. Пробрало всех присутствующих.

— А вы… вы что-то хотели, молодой человек? — спросила меня Дженни.

Я подумал — была не была. Если к Джорджу взывать бесполезно, значит, поговорим с Дженни.

— Я из вашего отделения в Индианаполисе. У меня новости о его жене.

Джордж обернулся.

— О ком?!

— О вашей… бывшей жене.

Зрители высыпали из магазина обратно на улицу и теперь стояли на тротуаре, растерянно переминаясь в ожидании новых шуток. Это определенно был крайне паршивый способ продавать холодильники. Салли Гаррис начал злиться.

— Я не слышал о ней двадцать лет, — проговорил Джордж. — И вполне комфортно могу не слышать еще столько же. Хотя все равно спасибо. — И он снова уставился в ветровое стекло.

По толпе прокатился нервный смешок. Салли Гаррис вздохнул с облегчением.

Дженни подошла ко мне и, толкнув меня боком, тихо спросила уголком рта:

— Что с Нэнси?

— Она серьезно больна, — прошептал я. — Похоже, умирает. И хочет увидеть его в последний раз.

Низкий гул, доносившийся из кузова фургона, вдруг смолк — мозги Дженни отключились. Ее лицо превратилось в мертвую резиновую губку и сделалось таким же глупым, как лицо любого манекена в витрине. Желто-зеленые лампочки в голубых стеклянных глазах погасли.

— Умирает? — переспросил Джордж.

Он распахнул дверь кабины, чтобы глотнуть воздуха. Большой кадык на тощем горле так и бегал вверх-вниз. Глянув на зрителей, Джордж сделал слабый жест, прогоняя их прочь.

— Все, народ, представление закончено.

Но люди не расходились. Они были ошарашены тем, как в такую веселую игру понарошку вдруг

ворвалась несмешная реальная жизнь.

Джордж сбросил клоунские ботинки в знак того, что никаких больше фокусов сегодня не будет. Говорить он не мог. Он просто сидел в кабине боком, глядя на свои торчащие наружу босые ступни. Ступни были узкие, костлявые и синюшные.

Толпа начала разбредаться. День у этих людей начинался с тягостной ноты. Мы с Салли Гаррисом остались у фургона ждать. Салли Гаррис был раздавлен случившимся с публикой.

Джордж пробормотал что-то нечленораздельное.

— Что-что? — переспросил Салли.

— Когда тебя вот так просят приехать, — повторил Джордж, — полагается ведь приехать, да?

— Слушайте… — проговорил Салли. — Она же ваша бывшая жена, которую вы сами бросили двадцать лет назад. Почему же вы так убиваетесь? На глазах у моих покупателей, перед моим магазином…

Джордж не ответил.

— Я могу быстро организовать вам билет на поезд или самолет, — сказал я Джорджу. — Или автомобиль от компании.

— Вы предлагаете мне бросить фургон? —

Джордж посмотрел на меня как на идиота. — В нем оборудования на четверть миллиона долларов, мальчик Джим. — Он затряс головой. — Бесценная техника… а вдруг кто-то… — Он умолк.

Я понял, что спорить бессмысленно. На самом деле он имел в виду совсем другое. Фургон был его домом, Дженни и ее мозги — смыслом его жизни, и сама мысль о том, чтобы оторваться от них, пугала его до смерти.

— Поеду на фургоне, — сказал он. — Так будет быстрее.

Джордж выпрыгнул из кабины и сразу засуетился, чтобы никто не начал ему возражать. Все-таки фургоны считаются не самым быстроходным транспортом.

— Вы поедете со мной, — распорядился он, глянув на меня. — Садитесь, и погнали.

Я позвонил в офис: можно поехать с ним? Мне не просто разрешили, мне сказали, что это попросту моя обязанность. Джордж и Дженни — самые преданные сотрудники компании. Мне следовало сделать все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту.

Вернувшись к фургону, я обнаружил, что Джордж ушел кому-то звонить. Он надел кеды,

оставив клоунские ботинки у кабины. Салли Гаррис подобрал их и с любопытством заглядывал внутрь.

— Господи… — пробормотал он. — Столько маленьких кнопочек… Как на аккордеоне.

Он сунул руку в ботинок и не меньше минуты набирался духу, чтобы нажать на кнопку.

— Фух, — произнесла Дженни.

Лицо ее осталось совершенно безжизненным. Салли нажал другую кнопку.

— Фух.

Еще кнопка.

Дженни улыбнулась, как Мона Лиза.

Салли нажал сразу несколько кнопок.

— Бурлаппеньо, — сказала Дженни. — Бама-узстрассит. Шух.

А потом скорчила рожу и высунула язык.

Салли не осмелился экспериментировать дальше. Он аккуратно поставил ботинки у фургона, как ставят тапочки у кровати.

— О-хо-хо… Люди ко мне больше не придут. Теперь они думают, что у меня тут морг какой — после того, что он сегодня выкинул. За одно я Господа благодарю…

— За что?

— По крайней мере, они не узнали, чье лицо и

чей голос у этого холодильника.

— А чьи они?

— А вы не в курсе? — удивился Салли. — Он сделал слепок ее лица и водрузил на Дженни. А потом записал все звуки английского языка в ее исполнении. Все-все, что вылетает из динамика Дженни, когда-то произнесла *она*.

— Да кто? — не выдержал я.

— Нэнси. Или как бишь ее там зовут. Дама, которая теперь при смерти. Он это проделал сразу после медового месяца.

* * *

Мы проехали семьсот миль за шестнадцать часов, и за это время Джордж мне и десятка слов не сказал. То есть говорить-то он говорил, но не со мной. Болтал во сне, вероятно, с Дженни. Пробурчит сквозь храп что-то вроде «уффа-муффа» и давай шевелить пальцами на ногах, сообщая Дженни, какой ответ хочет от нее услышать.

Однако волшебных ботинок на нем не было, так что Дженни не отвечала. Она ехала пристегнутой к стене в темном кузове. Джордж не особенно за нее волновался на протяжении пути, но когда до места назначения остался какой-то час, забеспокоился что твоя ищейка. Каждые десять минут

требовал остановить фургон и бегал проверять крепления — а вдруг она там отстегнулась и теперь кувыркается в собственных мозгах?

Внутри фургон выглядел, как монашеская келья, устроенная в аппаратном зале телестанции. Видал я паркетные доски, которые были шире и мягче, чем койка Джорджа. Все здесь, что предназначалось для него, было дешевым и неудобным. Поначалу я даже удивлялся, во что тут вложена упомянутая четверть миллиона. Но всякий раз, когда луч его фонарика пробегал по мозгам Дженни, я понимал все больше. Мозги Дженни представляли собой самую хитроумную, самую сложную, самую прекрасную электронную систему. Когда речь шла о Дженни, деньги значения не имели.

На восходе солнца мы свернули с шоссе и поколдыбали по ухабам в городок, где располагался центральный комплекс «Фабрики домашней техники». Здесь начинал свою карьеру я, здесь начинал свою карьеру он, сюда он когда-то привез свою невесту.

За рулем сидел Джордж. Болтанка по колдобинам разбудила меня и что-то растрясла в нем. На него внезапно напало желание поговорить. Начал он ни с того ни с сего, как включившийся

будильник:

— Я ее не знаю! Я же совсем ее не знаю, мальчик Джим! — Джордж ударил себя по тыльной стороне руки, пытаясь заглушить боль в сердце. — Я еду к совершенно чужому мне человеку! Когда-то она была очень красивой — вот и все, что мне о ней известно. Когда-то я любил ее больше всех на свете, а она разбила все, что было у меня, на мелкие осколки. Карьеру, отношения с друзьями, дом… всему настал капут! — Он ударил по кнопке на приборной панели и крикнул в мегафон на всю спящую округу: — Никогда нельзя идеализировать женщину! Запомни это, мальчик Джим!

Нас качнуло на очередной выбоине, он обеими руками вцепился в руль. И до конца пути молчал.

Мы подъехали к белому особняку с колоннами на фасаде — дому Норберта Хониккера. Норберт был заместителем директора исследовательской лаборатории ФДТ — и когда-то лучшим другом Джорджа. До того, как украл у него жену.

Во всех окнах горел свет. Мы припарковались перед домом за машиной врача. То, что она принадлежит именно врачу, было ясно по символу переплетенных змей на номерном знаке. Как только мы заглушили мотор, из дома вышел

Норберт Хониккер в халате и тапочках. Он явно не спал всю ночь.

Руки они друг другу не пожали. И даже не поздоровались. Хониккер сразу начал заранее отрепетированную речь:

— Джордж, я подожду здесь, а ты заходи. Пока ты там, мой дом — твой дом. Вы с Нэнси вольны сказать друг другу все, что вам нужно.

Но Джордж совсем не хотел встречаться с Нэнси один на один.

— Мне… мне нечего сказать ей.

Он даже схватился за ключ зажигания, готовый завести фургон и рвануть прочь.

— Говорить будет она. Она всю ночь спрашивала о тебе. Она знает, что ты приехал. Только наклонись к ней поближе. Сил у нее не так много.

Джордж вылез и, волоча ноги, поплелся к дому. Он шел, как водолаз по дну морскому. Сиделка впустила его и захлопнула дверь.

— У него там лежанка есть? — спросил меня Хониккер.

— Да, сэр.

— Я, пожалуй, прилягу.

Мистер Хониккер улегся в койку Джорджа,

однако расслабиться не смог. Высокий, грузный, в койке он не помещался. Помаявшись, он снова сел.

— Сигарета есть?

— Да, сэр. — Я протянул ему сигарету и поджег. — Как она, сэр?

— Будет жить. Но это сделало ее старухой вот так. — Он щелкнул пальцами.

Щелчок вышел очень слабый, почти без звука. Хониккер посмотрел на лицо Дженни и болезненно сморщился.

— Его ждет потрясение. Нэнси теперь совсем другая. Может, оно и к лучшему. Может, теперь ему придется посмотреть на нее как на такое же человеческое существо.

Хониккер встал, подошел к мозгам Дженни, тряхнул одну из стальных полок, на которых они размещались. Полка была приделана намертво. Хониккер только потряс сам себя.

— Господи… — пробормотал он. — Как глупо, глупо, глупо… Один из величайших инженерных гениев нашего времени. Живет в фургоне, женат на машине и проводит жизнь за торговлей домашними приборами, мотаясь между Саскачеваном и Флоридой.

— Он вроде человек умный, — заметил я.

— «Умный»? — переспросил Хониккер. — Он не просто Джордж Кастро. Он *доктор* Джордж Кастро. В восемь лет он знал пять языков, в десять освоил математический анализ, в восемнадцать получил степень доктора в Массачусетском технологическом университете.

Я присвистнул.

— У него никогда не было времени на любовь. Он считал, что вполне сумеет обойтись без нее — что бы там этим словом ни называли. Ему было чем занять голову кроме любви. К тридцати трем годам, когда он слег с пневмонией, он ни разу не держал женщину за руку.

Хониккер заметил под койкой волшебные ботинки — там, где Джордж их оставил. Он явно умел с ними обращаться.

— Когда его подкосила пневмония, он вдруг ощутил страх смерти. Ему постоянно требовалась помощь и поддержка медсестры. Медсестрой была Нэнси.

Хониккер повернул рубильник. Мозги Дженни загудели.

— Человек, который постоянно подвергается воздействию любви, развивает к ней определенный иммунитет. Тот, кто возможности развить его не имел, рискует едва ли не погибнуть от

первого же контакта. — Хониккер содрогнулся. — Любовь смешала все в голове бедняги Джорджа. Внезапно лишь она стала иметь для него значение. Я работал с ним в лаборатории. По восемь часов в день мне приходилось слушать его разглагольствования о любви. Любовь вращает мир! Весь смысл существования мира — в поиске любви! Любовь побеждает все!

Хониккер, прикрыв глаза, вспоминал навык, которым владел много лет назад.

— Привет, милая, — сказал он Дженни и зашевелил пальцами ног.

— Пи-ве, кас-сав-чих, — ответила Дженни без всякого выражения на лице.

А потом повторила гораздо четче:

— Привет, красавчик.

Хониккер покачал головой.

— Голос у Нэнси теперь звучит иначе. Стал более низкий, хриплый… не такой текучий.

— Та-ке мо-ит су-тит-са с ка-им ха-ни наз-бо, — проговорила Дженни и тут же поправилась: — Такое может случиться с каждым, храни нас Бог.

— А у вас неплохо получается, — признал я. — Не думал, что кто-то, кроме Джорджа, способен управлять ею.

— Нет, я не могу заставить ее выглядеть жи-

вой. По крайней мере, так, как Джордж. Это мне никогда не удавалось, даже после тысячи часов упражнений.

— Вы вложили в нее столько времени?

— Конечно. Предполагалось ведь, что именно я буду колесить с ней по стране. Ни к чему не привязанный холостяк без особых перспектив в лаборатории. У Джорджа была жена и большое будущее, ему следовало остаться здесь и развивать науку.

Размышления о превратностях жизни заставили Хониккера шмыгнуть носом.

— Изначально Дженни должна была стать маленькой шуткой в середине его карьеры. Милой электронной диковинкой, которую он придумал со скуки. Просто тешил себя, понемногу опускаясь с небес на землю после медового месяца с Нэнси.

Хониккер еще много рассказал мне о тех днях, когда рождалась Дженни. Иногда он заставлял и ее вставить слово — так, будто она вместе с ним предавалась воспоминаниям. Для Хониккера это было нелегкое время, потому что он тоже полюбил жену Джорджа. И до полусмерти боялся, что может что-то предпринять по этому поводу.

— Я любил ее такой, какой она была. Может, влечение родилось из всей этой ерунды, которую

Джордж о ней болтал. Он нес всякий бред и о ней, и о любви вообще, а я видел настоящие причины, за что можно ее любить. Я полюбил человеческое существо — чудесное, неповторимое, своенравное переплетение достоинств и недостатков. Отчасти ребенка, отчасти женщину, отчасти богиню, не более понятную, чем логарифмическая линейка.

— А потом Джордж стал все больше и больше времени проводить со мной, — продолжила Дженни. — Он сидел на работе до последнего, наспех ужинал и возвращался в лабораторию, чтобы корпеть над моими схемами до глубокой ночи. Целыми днями, а иногда и ночами он не снимал этих ботинок, и мы с ним говорили, говорили, говорили…

То, что последовало дальше, Хониккер попытался сопроводить мимикой. Он нажал ту же кнопку, что и Салли Гаррис накануне.

— Я была прекрасной собеседницей, — произнесла Дженни с улыбкой Моны Лизы. — Я ни разу не сказала ничего такого, чего он не хотел бы слышать, и всегда говорила именно то, что ему нужно, в самый нужный момент.

— Вот она! — провозгласил Хониккер, расстегивая крепления на ремнях, чтобы Дженни могла

сделать шаг вперед. — Вот она, самая расчетливая женщина. Величайшая на свете исследовательница наивных мужских сердец. У Нэнси не было никаких шансов.

— Вообще, это обычное дело, — говорил Хониккер. — После медового месяца жена уже не представляется чем-то неземным, и надо приступать к сложному, но интересному и необходимому процессу узнавания, на ком же ты, собственно, женился. Однако Джордж нашел себе альтернативу. Все свои безумные мечты о женщине он воплотил в Дженни. И пренебрег несовершенной Нэнси.

— Внезапно Джордж объявил, что я слишком ценный механизм, чтобы доверять меня кому попало, — продолжала Дженни. — Он поставил руководству ультиматум: либо он отправляется со мной в разъезды сам, либо вообще уходит из компании.

— С его свежеобретенной жаждой любви могло сравниться лишь его вопиющее незнание связанных с нею опасностей. Он знал одно: любовь делает его счастливым. А из какого источника ее получать, ему было все равно.

Хониккер отключил Дженни, снял ботинки и снова прилег.

— Джордж выбрал идеальную любовь робота, — сказал он, — предоставив мне делать все возможное, чтобы завоевать любовь брошенной им неидеальной женщины.

— Я… я очень рад, что самочувствие позволяет ей все-таки поговорить с ним…

— Я в любом случае передал бы ему ее слова. — Хониккер протянул мне сложенный листок. — Нэнси надиктовала мне это на случай, если ей будет не суждено сказать все лично.

Я не смог заглянуть в это послание сразу, потому что в дверях фургона возник Джордж. И он больше походил на робота, чем Дженни.

— Все, — сказал он Хониккеру. — Забирай свой дом и жену.

Мы с Джорджем позавтракали в закусочной, а потом он поехал в комплекс ФДТ и припарковался у исследовательской лаборатории.

— Ну вот, мальчик Джим, теперь беги, занимайся своими делами. Премного тебе благодарен.

Как только я остался один, я развернул листок. И вот что сказала Нэнси Джорджу:

«Посмотри на несовершенное человеческое существо, которое Господь Бог послал тебе в жены. Постарайся найти хоть что-то достойное любви в том, кем я была и кем, даст Бог, остаюсь. А потом,

прошу тебя, милый, стань опять несовершенным существом среди таких же несовершенных существ».

Торопясь прочесть это, я даже забыл обменяться с Джорджем рукопожатиями, забыл спросить, что он намерен делать дальше. За этим я и вернулся к фургону.

Дверцы фургона были распахнуты. Внутри тихо переговаривались Джордж и Дженни.

— Теперь я попробую собрать свою жизнь из кусочков… ну, то, что от нее осталось. Может, они согласятся взять меня назад в лабораторию. Попрошусь с протянутой рукой.

— Конечно, тебя возьмут! — воскликнула Дженни. — Да они в восторге будут! — Она и сама была в восторге. — Это самая лучшая новость на свете. Я так давно мечтала это услышать… — Она зевнула и слегка прикрыла глаза. — Извини.

— Тебе нужен кавалер помоложе, — сказал ей Джордж. — Все-таки я старею, а ты вечно юна.

— Мне никогда не найти мужчину такого же пылкого и внимательного, такого же умного и красивого, как ты, — ответила Дженни от всего сердца. Она снова зевнула, и веки ее опустились. — Извини. Удачи тебе, мой ангел. Спокойной ночи, милый.

Она закрыла глаза и уснула. Ее батарея полностью разрядилась.

— Ты увидь меня во сне, — тихо пропел ей Джордж, как Синатра.

Я спрятался, чтобы он меня не заметил. Джордж смахнул слезу и вышел из фургона, чтобы больше не возвращаться.

Эпизоотия

© Перевод. А. Криволапов, 2021

— Итак, — начал Милликан, — действие правительства номер один!

— Номер один, — эхом откликнулся доктор Эверетт, приготовившись записывать.

— Вытащить болезнь на свет божий! Довольно тайн! — заявил Милликан.

— Чудесно, — проговорил доктор Эверетт. — Немедленно зовите репортеров. Проведем пресс-конференцию, выложим на стол факты и цифры, и уже через пару минут об этом будет знать весь мир. — Он обернулся к престарелому председателю совета директоров. — Современные коммуникации — чудесная штука, не правда ли? Почти такая же чудесная, как страхование жизни. — Доктор Эверетт потянулся к стоящему на длинном столе телефону и снял трубку. — С какой газеты начнем?

Милликан отобрал у него трубку и повесил на рычаг.

Эверетт уставился на него в притворном удивлении.

— Я полагал, это был шаг номер один. И как раз собирался сделать его, чтобы мы могли скорее перейти к шагу номер два.

Милликан закрыл глаза и потер переносицу. Молодому президенту «Американской надежности и беспристрастности» было о чем поразмышлять в сиреневом тумане прикрытых век. После шага номер один, который неизбежно сделает достоянием общественности плачевное состояние страховых компаний, наступит самый страшный финансовый коллапс в истории страны. А что до лечения этой эпизоотии, так обнародование данных просто заставит болезнь убивать еще быстрее, вызовет в течение нескольких недель массу панических смертей, а потом еще и растянется на годы. О более глобальных вещах — о том, что Америка сделается слабой и презираемой, о том, что деньги будут цениться дороже самой жизни, Милликан и не думал. Его заботили вещи сиюминутные и личные. Все остальные последствия эпизоотии бледнели перед ясным фактом: компания вот-вот пойдет ко дну, а вместе с ней и блистательная карьера Милликана.

Телефон на столе зазвонил. Брид ответил, молча выслушал информацию и повесил трубку на рычаг.

— Еще два самолета разбились. Один в Джорджии, на борту было пятьдесят три человека, один в Индиане — там двадцать девять.

— Кто-то выжил? — спросил доктор Эверетт.

— Ни единой души, — сказал Брид. — В этом месяце уже одиннадцать авиакатастроф — пока…

— Хорошо, хорошо, хорошо! — Милликан встал. — Действие правительства номер один: посадить все самолеты. Больше никаких полетов!

— Отлично! — кивнул Эверетт. — А еще нужно установить решетки на все окна выше первого этажа, убрать все водоемы подальше от населенных пунктов, запретить продажу огнестрельного оружия, веревок, ядов, бритвенных лезвий, ножей, автомобилей и лодок.

Милликан рухнул обратно в кресло, извлек из бумажника фотографию своего семейства и апатично уставился на нее. На фотографии на заднем плане виднелся его расположенный на береговой линии стотысячедолларовый дом, а чуть дальше стояла на якоре сорокавосьмифутовая прогулочная яхта.

— Скажите мне, — поинтересовался Брид у молодого доктора Эвереттта, — вы женаты?

— Нет, — ответил Эверетт, — правительство теперь запрещает женатым мужчинам работать

над исследованием эпизоотии.

— Правда? — удивился Брид.

— Выяснилось, что женатые мужчины, работающие над вопросом эпизоотии, как правило, умирают до того, как предоставят свой первый отчет, — сообщил доктор Эверетт. Он потряс головой. — Я просто не понимаю… просто не понимаю. Иногда вроде понимаю, а потом снова не понимаю.

— Покойные обязательно должны быть женаты, чтобы вы отнесли их смерть к эпизоотии? — спросил Брид.

— У них должны быть жена и дети, — сказал доктор Эверетт. — Это классическая схема. Что любопытно, жена и один ребенок тут не срабатывают. — Он пожал плечами. — Хотя, полагаю, некоторые случаи, когда мужчина был необыкновенно предан матери, или другому родственнику, или даже своему колледжу, технически можно было бы квалифицировать как случаи эпизоотии — но статистически их количество ничтожно. Для эпидемиолога, который имеет дело только с основными показателями, эпизоотии подвержены в основном успешные, амбициозные женатые мужчины, имеющие более чем одного ребенка.

Милликан не проявлял никакого интереса к

их разговору. С неуместной величественностью он положил фотографию своего семейства перед двумя холостяками. Фотография запечатлела совершено обыкновенную мать с совершенно обыкновенными детьми. Детей было трое, один из них младенец.

— Посмотрите в глаза этим чудесным людям! — резко проговорил Милликан.

Брид и доктор Эверетт обменялись потрясенными взглядами, затем сделали то, о чем попросил их Милликан. Они с тоской смотрели на фото — оба поняли, что Милликан смертельно болен.

— Посмотрите в глаза этим чудесным людям! — проговорил Милликан гробовым голосом, словно Старый Моряк из поэмы Кольриджа. — Раньше я всегда мог сделать это — но не теперь!

Брид и доктор Эверетт продолжали смотреть в совершенно неинтересные им глаза на фото, предпочитая их глазам человека, который очень скоро должен был умереть.

— Посмотрите на Роберта! — скомандовал Милликан, имея в виду своего старшего сына. — Мне придется сказать этому чудесному мальчику, что ему нельзя учиться в колледже Андовер, и с сегодняшнего дня он будет ходить в бесплатную среднюю школу… Взгляните на Нэнси! — при-

казал он, говоря о своей единственной дочери. — Больше никаких лошадей, никаких яхт, никаких посиделок в элитном загородном клубе. А малыш Марвин на руках у своей дорогой мамочки! Представьте, что вы приводите ребенка в этот мир — и не в состоянии дать ему вообще никаких преимуществ! — Голос Милликана дрогнул от угрызений совести. — Бедному малышу придется самому дюйм за дюймом пробиваться в жизни! Всем им придется. Когда «Американская надежность и беспристрастность» разорится, их отец больше ничего не сможет для них сделать. Будут насмерть биться за место под солнцем! — вскричал он.

От ужаса голос Милликана сел. Он пригласил обоих холостяков полюбоваться его женой — к слову сказать, ленивой, но ласковой пышечкой.

— Представьте, что обладаете такой женщиной, настоящей подругой, плечом к плечу стоящей рядом с вами в горе и в радости, той, кто родила ваших детей и окружила их заботой. Представьте, — продолжил Милликан после долгой паузы, — что смогли стать для нее героем, смогли дать ей все то, о чем она мечтала! А теперь представьте, что вы всего этого лишились, — шепотом закончил он.

Милликан всхлипнул, бросился из зала заседаний совета директоров в свой кабинет и вытащил из ящика стола заряженный револьвер. В то самое мгновение, когда Брид и доктор Эверетт ворвались в кабинет вслед за ним, Милликан вышиб себе мозги, таким образом введя в действие страховой полис стоимостью в целый миллион.

Так закончился еще один случай эпизоотии — эпидемии самоубийств с целью улучшить финансовое положение.

— Знаете, — сказал председатель совета директоров, — я все думаю, что же случилось с американцами вроде него, с поколением блестящих умниц, которые решили, что жизнь состоит в том, чтобы делать семью все богаче и богаче, а иначе это не жизнь. Мне всегда было интересно, что станет с ними, когда вернутся тяжелые времена и все эти блестящие молодые люди вдруг поймут, что их капиталы тают. — Брид ткнул пальцем в пол. Потом показал на потолок. — А вовсе не растут.

Тяжелые времена наступили примерно за четыре месяца до начала эпизоотии.

— Однонаправленные люди, — проговорил Брид. — Созданные только для движения вверх.

— И их однонаправленные жены и однона-

правленные дети, — проговорил доктор Эверетт. — Боже правый, — он подошел к окну и бросил взгляд на зимний Хартфорд, — главная движущая сила страны умирает ради средств к существованию.

Сто долларов за поцелуй

© Перевод. Е. Романова, 2021

Д: Вы осознаете, что ваши слова записывает стенографист?

О: Да, сэр.

Д: И все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде?

О: Осознаю.

Д: Назовите ваше имя, возраст и адрес.

О: Генри Джордж Лоуэлл-младший, тридцать три года. Живу в городе Индианаполис, штат Индиана, по адресу Норт-Пенсильвания-стрит, 4121.

Д: Кто вы по профессии?

О: Примерно до двух часов сего дня я работал заведующим отделом учета индианаполисского филиала Огайского общества взаимного страхования Игла.

Д: Офис которого находится в здании «Серкл-тауэр»?

О: Верно.

Д: Вы знаете, кто я такой?

О: Да, вы — сержант уголовной полиции Индианаполиса.

Д: Вы даете показания по собственной воле? Никто не угрожал вам или иным образом не склонял к даче показаний?

О: Нет.

Д: Правда ли, что около двух часов сего дня вы осуществили нападение на человека по имени Верн Петри, используя в качестве оружия телефонный аппарат?

О: Я ударил его той штукой, в которую говорят.

Д: Сколько ударов вы нанесли?

О: Один. Зато какой!

Д: Как вы относитесь к Верну Петри?

О: Верн Петри для меня — воплощение всего, что неладно с этим миром.

Д: Я имел в виду ваши рабочие отношения.

О: Да нет никаких отношений. Мы оба — руководители среднего звена. Работаем в разных отделах. Я ему не подчиняюсь, он мне тоже.

Д: За повышение не бились?

О: Нет. Говорю же, у нас совершенно разные сферы деятельности.

Д: Будьте добры, опишите Верна Петри.

О: В красках или для протокола?

Д: Как вам будет угодно.

О: Верн Петри — высоченный жирдяй лет тридцати пяти. У него сальная рыжая шевелюра,

красные щеки и передние зубы как у бобра. Он носит красный жилет, непрерывно курит эдакие коротенькие сигарки и тратит около пятнадцати долларов в месяц на журналы с девчатами.

Д: Журналы с девчатами?

О: «Свой». «Бык». «Мужская сила». «Мужские ценности». Ну, вы поняли.

Д: Значит, Верн Петри тратит пятнадцать долларов в месяц на подобные журналы?

О: По меньшей мере. Они стоят около пятидесяти центов за штуку. Возвращаясь с обеда, Верн приносит минимум один, а то и три.

Д: Вам не нравятся женщины?

О: Нравятся, конечно. У меня жена красавица и две дочки.

Д: Тогда почему вы осуждаете Верна за любовь к подобным журналам?

О: Я не осуждаю. Просто мне его любовь кажется нездоровой.

Д: Нездоровой?

О: Эти картинки для него как наркотик, ей-богу. Не грех иногда поглазеть на симпатичных девчат, но у Верна таких журналов целые кипы. Горы. Он тратит на них огромные деньги и принимает все за чистую монету. Если под фотографией какой-нибудь девицы написано «Заходи, пошалим» или

еще что в таком роде, он верит! Думает, девица и впрямь ему это говорит.

Д: Он женат?

О: Да, причем жена у него что надо. Хорошенькая, ласковая — чудо! Короче говоря, обета безбрачия он не давал.

Д: Разве в подобных журналах больше нечего посмотреть и почитать?

О: Да нет, там куча, всего. Вы что, ни разу не читали?

Д: Я бы хотел услышать ответ от вас.

О: Ну, они все на один лад. В середке обычно большой плакат с голой девицей. Ради него журнал и покупают. Есть еще статьи про дорогие машины, интерьеры холостяцких пентхаусов, проституцию в Гонконге или про то, как выбрать акустическую систему. Но Верну нужны только девчата. Он на них глазеет — и думает, что на свидания с ними ходит. А, еще про кушаки.

Д: Простите, как вы сказали?

О: Кушаки. В этих журналах часто пишут про кушаки для смокингов.

Д: Вы, похоже, и сами собаку съели на подобном чтиве.

О: Так я же сижу прямо напротив Верна! У него все рабочее место завалено этими журналами. И

каждый раз, принося новый номер, он буквально носом меня в него тычет.

Д: Носом тычет?

О: Практически. И всегда говорит одно и то же.

Д: Что именно?

О: Неловко повторять перед стенографисткой…

Д: Ну, выразитесь иначе.

О: Верн открывает журнал на плакате с девицей и, выражаясь иначе, говорит: «Эх, я б сто долларов отдал, чтобы поцеловать такую куколку! А ты?»

Д: Вам это не нравится?

О: Спустя два года начало порядком доставать.

Д: Почему?

О: Получается, что у малого совсем туго с жизненными ценностями.

Д: А вы кто, Господь всемогущий — можете указывать людям, что следует ценить, а что нет?

О: Конечно, я не Господь. Меня даже хорошим христианином не назвать.

Д: Расскажите, пожалуйста, что случилось сегодня после обеда.

О: Я пришел и увидел, как Верн Петри сидит за столом со свежим номером «Мужской силы» и рассматривает плакат с девушкой по имени Петти Ли Майнот — она была в одном целлофановом халатике на голое тело. Верн держал возле

уха телефонную трубку, прикрывая ее ладонью, и смотрел на девицу. Он подмигнул мне с таким видом, словно в трубке происходило нечто удивительное, и жестом предложил послушать, показав три пальца — мол, переключись на третью линию.

Д: На третью линию?

О: Да, у нас в конторе три телефонные линии. Я огляделся по сторонам и заметил, что за каждым телефоном кто-нибудь да сидит. И все на третьей линии. Я тоже стал слушать: в трубке шли гудки.

Д: Кто-то звонил Петти Ли Майнот — в Нью-Йорк?

О: Верно. Я тогда еще этого не знал, но так оно и было. Верн попытался жестами объяснить, что происходит: показал на фотографию Петти Ли Майнот в журнале и на стол мисс Хакльман.

Д: При чем тут стол мисс Хакльман?

О: Мисс Хакльман заболела и осталась дома, а за ее столом сидел один из уборщиков. Он-то и звонил по межгороду, а все остальные подслушивали.

Д: Вы с ним знакомы?

О: Нет, но я его часто видел на работе и знаю его имя, оно вышито на спине спецовки. Парня зовут Гарри. Потом я и фамилию узнал: Баркер.

Гарри Баркер.

Д: Опишите его.

О: Гарри-то? Ну, он выглядит старше своих лет. На вид ему лет сорок пять, а на самом деле он даже моложе меня. При этом внешность приятная, в юности он явно был неплохим спортсменом. Но теперь быстро лысеет и лицо все в морщинах — нервы, наверное.

Д: Вы тоже стали подслушивать?

О: Да. И случайно чихнул.

Д: Чихнули?

О: Чихнул. Прямо в трубку. Все так и подскочили на месте, а кто-то сказал: «Гезундхайт!» Верн Петри жутко разозлился.

Д: Что он сделал?

О: Весь побагровел и завыл: «Да заткнитесь вы, придурки!» Он выл так, словно толпа идиотов грозила испортить ему все удовольствие. «Эй, вы! Или слушайте тихо, или кладите трубку! Дайте другим послушать!» Вдруг на том конце провода щелкнуло: трубку сняла горничная Петти Ли Майнот. Оператор уточнила номер и отключилась, а Гарри принялся разговаривать с девушкой. Он был взвинчен не на шутку и гримасничал, словно не мог решить, какой тон лучше взять. «Позовите к телефону мисс Мело-

ди Арлин Пфитцер, пожалуйста», — сказал он. «Кого-кого?». «Мисс Мелоди Арлин Пфитцер», — повторил Гарри. «Здесь таких нет», — ответила горничная. «Разве это не квартира Петти Ли Майнот?» «Верно». «Так вот Мелоди Арлин Пфитцер — ее настоящее имя». А горничная ему: «Я про это знать ничего не знаю».

Д: Кто такая Петти Ли Майнот?

О: Вы разве не в курсе?

Д: Мне нужно занести в протокол ваш ответ.

О: Как я уже говорил, то была девушка в целлофановом халатике из журнала Верна Петри. Девица с плаката. Звезда, если хотите… знаменитость! Она чуть ли не в каждом таком журнале есть, а иногда и в телевизоре мелькает. Раз я ее даже видел в фильме с Бингом Кросби.

Д: Продолжайте.

О: Знаете, как ту фотографию в журнале подписали?

Д: Как?

О: «Небесной красоты чистейший идеал». Так и написали, представьте себе.

Д: Вернемся к телефонному разговору.

О: В общем, Гарри продолжал дурачиться по телефону с горничной. «Вы ее как-нибудь назовите «Мелоди Арлин Пфитцер», посмотрим, как она

отреагирует». «Если позволите, я лучше не буду», — процедила горничная. А Гарри и говорит: «Кликните ее к телефону, а? Скажите — звонит Гарри Баркер». — «Она вас знает?» — «Знает, только сразу может не припомнить». — «Где вы познакомились?» — «Да еще в школе», — ответил Гарри. «У нее сегодня съемки ТВ-шоу, не стоит ее беспокоить по пустякам, — сказала горничная. — Тем более о школе она вспоминает нечасто». Вдруг Гарри возьми и скажи: «Мы с ней были женаты в старших классах. Это что-нибудь меняет?» И тут Верн мне врезал.

Д: Врезал?

О: Да.

Д: Вы утверждаете, что он первым на вас напал?

О: Хм… любопытная мысль. Если б я нанял ловкача-адвоката, он бы так это и повернул. Нет, Верн на меня не нападал, просто двинул по руке — внимание привлек. Хотя было больно. А потом сунул мне под нос плакат Петти Ли Майнот.

Д: Сунул под нос?

О: Ага, чуть ли не по лицу размазал.

Д: И что сказала горничная на слова Гарри К. Баркера о его браке с ее хозяйкой?

О: «Подождите», — сказала.

Д: Ясно.

О: А потом, когда она ушла, я повторил прямо в трубку: «Подождите», и Верн взорвался.

Д: Не оценил вашу шутку?

О: Я всего-навсего изобразил горничную, а Верн прямо с катушек слетел от злости. Как заорет: «Ну все, идиот, заткни варежку! Я каждый день вынужден слушать твой райский голосок — каждый божий день, из года в год! Сейчас я хочу послушать голос Петти Ли Майнот — а ты будь добр, заткнись! Между прочим, звонок оплачиваю я! Слушай себе на здоровье, но пасть не раскрывай».

Д: За звонок платил Верн?

О: Вот именно. Это была его идея. Началось с того, что Верн показал Гарри фотографию Петти Ли Майнот и сказал, что готов выложить сотню баксов за поцелуй этой куколки. Ну, Гарри ему и говорит: «Забавно, я ведь был на ней женат». Верн не поверил, они поспорили на двадцатку, и Гарри решил позвонить.

Д: Когда Верн разозлился, вы не стали защищаться или спорить с ним?

О: Нет, смолчал. Ясно было, что в таком настроении с ним шутки плохи. Я как будто поставил под угрозу его личную жизнь, ей-богу. Можно

подумать, он завел интрижку с этой самой Петти Ли Майнот, а я взял и все испортил. В общем, я умолк, и тут как раз к телефону подошла Петти Ли Майнот. «Алло», — сказала она. «Это Гарри Баркер, — сказал Гарри. Он пытался говорить эдак с ленцой, вальяжно, даже сигарку раскурил — Верн ему дал. — Сколько лет, сколько зим, Мелоди!» «Кто это? — переспросила она. — Опять ты дурачишься, Ферд?»

Д: Кто такой Ферд?

О: А я почем знаю? Видно, ее дружок, любитель розыгрышей. Какой-нибудь нью-йоркский хлыщ с отменным чувством юмора. Гарри ответил: «Нет, это и впрямь Гарри. Мы с тобой поженились пятнадцатого октября, одиннадцать лет назад, Мелоди Арлин. Помнишь?» «Если это действительно Гарри, во что я ни капли не верю, с какой стати ты мне звонишь?» — «Я подумал, ты захочешь узнать, как дела у нашей дочери, Мелоди Арлин. За все эти годы ты ни разу не звонила, не спрашивала о ней. Вот я и решил, что тебе будет интересно узнать про своего единственного ребенка».

Д: И что она ответила?

О: Несколько секунд молчала, а потом эдаким натянутым, звенящим голосом заговорила: «Кто

ты такой? Вздумал меня шантажировать? Если да, то катись к черту, понял?! Вперед, сливай эту историю газетчикам, пусть растрезвонят на весь мир. Я ничего не скрываю. Да, в шестнадцать я вышла за парня по имени Гарри Баркер. Мы оба тогда еще учились в школе, а жениться нам пришлось потому, что я залетела. Валяй, рассказывай кому хочешь…» И тут Гарри ее оборвал: «Наша дочь умерла, Мелоди Арлин. Твоя крошка умерла через два года после того, как ты нас бросила».

Д: Простите?

О: Их ребенок умер. А она этого не знала. И вообще ей было плевать, как дела у дочки. Вот тебе и «чистейший идеал», мечта любого мужчины… Знаете, что она ответила?

Д: Нет.

О: Сержант, эта самая Петти Ли Майнот, чистейший идеал небесной красоты по версии «Мужской силы», сказала: «Я давно стерла из памяти ту пору своей жизни. Извини, но мне совершенно все равно».

Д: Как отреагировал Верн Петри на ее слова?

О: Да в общем никак. Глаза у него блестели, и он мерзко скалился, только зубами не скрежетал. На уме у него явно были пошлости с участием Петти Ли Майнот.

Д: А потом что случилось?

О: Ничего. Она повесила трубку — и дело с концом. Мы тоже повесили трубки, и лица у всех, кроме Верна, были унылые. Гарри встал и покачал головой. «Зря я ей позвонил, о чем я только думал?» «Держи свою двадцатку, Гарри», — сказал Верн. «Нет уж, спасибо, — ответил Гарри. Выглядел он жутко. — Не нужны мне эти деньги. Получается, они как бы от нее. — Он опустил глаза на свои руки. — А я ведь для нее дом построил. Ладный такой домик… Вот этими самыми руками!» Гарри хотел было сказать что-то еще, но потом передумал, так и вышел из конторы, разглядывая свои руки. Полчаса или около того в конторе стояла мертвая тишина, как в морге. Всем было не по себе — кроме Верна. Я посмотрел на него и увидел, что он до сих пор глазеет на плакат с Петти Ли Майнот. Верн поймал мой взгляд и сказал: «Ну и везунчик!»

Д: Кого он назвал везунчиком?

О: Гарри Баркера, кого же еще! Потому что Гарри Баркер был женат на этой чудесной женщине и делил с ней ложе. Везунчик, ну-ну… «Эх, — добавил он, — я как ее голос по телефону услышал, так сразу понял: мне и штуки баксов не жалко за поцелуй этой куколки».

Д: И тогда-то вы ему всыпали?

О: Именно.

Д: Его же собственным телефоном? По голове?

О: Точно так.

Д: И он упал без сознания?

О: Да. Я вмазал Верну Петри, потому что он — воплощение всего, что неладно с нашим миром.

Д: И что же с ним неладно?

О: Люди смотрят только на картинки вещей. А сами вещи никого не волнуют.

Д: Вы больше ничего не хотите добавить?

О: Хочу. Будьте любезны, внесите в протокол, что я вешу сто двадцать три фунта, а Верн Петри — все двести. И еще он на целый фут выше. Голыми руками я бы его не одолел, пришлось воспользоваться оружием. Я, конечно, готов оплатить его больничные счета.

Руфь

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Разделенные порогом квартиры, две женщины вежливо кивнули друг другу. Обе были одиноки, обе вдовы — одна в возрасте, другая совсем молодая. Сегодняшняя встреча, которая вроде бы должна была бы помочь им справиться с одиночеством, лишь усилила это чувство.

Молодая женщина, Руфь, преодолела тысячу миль ради их встречи; вынесла грохот, сажу и духоту железнодорожного вагона, доставившего ее из весеннего военного городка в Джорджии в фабричный поселок на окраине все еще полузамерзшей долины Нью-Йорка. Теперь она гадала, почему ее приезд сюда казался таким правильным, таким необходимым. Ведь грузная пожилая женщина, которая теперь перегораживала вход, с трудом выдавливая из себя улыбку, тоже желала их встречи, если судить по ее письмам.

— Так значит, вы та самая, что вышла за моего Теда, — холодно проговорила старшая женщина.

Руфь попробовала представить себя матерью женатого сына и подумала, что ее вопрос

прозвучал бы так же. Она поставила на пол чемодан, который не выпускала из рук, поскольку представляла нежную и радостную встречу, представляла, как ворвется в квартиру, отогреется, приведет себя в порядок, а потом они будут говорить и говорить о Теде. Вместо этого мать Теда, судя по всему, намеревалась тщательно изучить ее, прежде чем пригласить в дом.

— Верно, миссис Фолкнер, — сказала Руфь. — Мы были женаты пять месяцев, прежде чем его отправили за океан. — И, чувствуя на себе неодобрительный взгляд, добавила, словно защищаясь: — Пять счастливых месяцев.

— Тед — это все, что у меня было, — сказала миссис Фолкнер.

Она словно упрекала ее.

— Тед был хорошим человеком, — неуверенно проговорила Руфь.

— Мой малыш, — сказала миссис Фолкнер. Она как будто обращалась к невидимой, но полной сочувствия аудитории. Затем передернула плечами. — Вы, должно быть, замерзли. Входите, мисс Харли.

Девичья фамилия Руфи была Харли.

— Я вполне могла бы остановиться в гостинице, — проговорила она.

Под взглядом второй женщины она почувствовала себя здесь чужой, осознала, что не по-здешнему растягивает слова, что ее одежда слишком легкая и явно предназначена для более теплого климата.

— И слышать не желаю, чтобы вы остановились где-то еще. Нам ведь о многом нужно поговорить. Когда должен родиться ребенок Теда?

— Через четыре месяца.

Руфь втащила чемодан через порог и присела на краешек дивана, накрытого скользким чехлом из английского ситца. Единственным источником света в натопленной комнате была лампа на каминной полке, чей тусклый свет вдобавок приглушался абажуром, похожим на черепаховый панцирь.

— Тед так много рассказывал о вас, я дождаться не могла нашей встречи, — проговорила Руфь.

Во время своего долгого путешествия Руфь часами представляла себе, как будет говорить с миссис Фолкнер, как завоюет ее расположение. Она дюжину раз повторила про себя и подправила свою биографию в ожидании вопроса: «Ну а теперь расскажите о себе». Она бы начала рассказ со слов: «Что ж, боюсь, родственников у меня не осталось — во всяком случае, близких. Отец мой

был полковником кавалерии и…»

Но мать Теда не стала задавать вопросов. Не говоря ни слова, миссис Фолкнер задумчиво налила в две рюмки шерри из дорогого на вид графина.

— Личные вещи, — проговорила наконец она. — Мне сказали, их отправили вам.

Руфь на мгновение замешкалась.

— А, те вещи, что были с ним за границей? Да, они у меня. Это обычное дело… я имею в виду, их всегда отправляют жене.

— Наверняка это автоматически делают какие-то машины в Вашингтоне, — с иронией произнесла миссис Фолкнер. — Генерал просто нажимает кнопку и… — Она не закончила фразу. — Будьте любезны, верните их мне.

— Они мои, — запротестовала Руфь, сама понимая, насколько ребячески это звучит. — Тед хотел бы, чтоб они были у меня.

Она взглянула на крошечную до нелепости рюмку с шерри и подумала, что понадобилось бы двадцать таких, чтобы как-то пережить настигшее ее суровое испытание.

— Если вам так легче, можете и дальше считать их своими, — терпеливо продолжала миссис Фолкнер. — Я просто хочу, чтобы все было собрано в одном месте — то немногое, что осталось.

— Боюсь, я не совсем понимаю.

Миссис Фолкнер обернулась и благоговейно произнесла:

— Если собрать все эти вещи вместе, он станет немножко ближе. — Она включила торшер, который неожиданно залил комнату ярким светом. — Они ничего не значат для вас. Если бы вы были матерью, то поняли бы, насколько бесценны они для меня.

Она пальцем стерла пылинку с резной застекленной горки, которая стояла у стены, опираясь на ножки в виде львиных лап.

— Видите? Я оставила в горке место для тех вещей, что должны быть у вас.

— Очень мило, — проговорила Руфь.

Она представила себе, что сказал бы Тед об этой горке — с ее детскими ботиночками, книжками детских стишков, перочинным ножиком, бойскаутским значком… Помимо дешевой сентиментальности, Тед наверняка почувствовал бы во всем этом и что-то больное.

Миссис Фолкнер не сводила с жалких безделушек благоговейного взора широко раскрытых, немигающих глаз.

Руфь попыталась разрушить чары.

— Тед говорил мне, что вы здорово управляе-

тесь в магазине. Хорошо ли сейчас идут дела?

— Я рассталась с работой, — проговорила миссис Фолкнер отсутствующим голосом.

— Правда? Тогда у вас появилось много времени для всяких дел в клубе?

— Я ушла из клуба.

— Понятно, — солгала Руфь, сняла перчатки, затем снова их надела. — Тед говорил, вы замечательный оформитель, и я вижу, что он был прав. Он говорил, вы каждые год-два меняете все в квартире. Что планируете сделать в следующий раз?

Миссис Фолкнер с трудом оторвалась от своей горки.

— Здесь больше ничто и никогда не изменится. Вещи у вас в чемодане?

— Их не так уж много, — сказала Руфь. — Его бумажник…

— Из кордовской телячьей кожи, верно? Я подарила ему его, когда он закончил начальную школу.

Руфь кивнула, открыла чемодан и принялась в нем копаться.

— Письмо мне, две медали и часы.

— Часы, пожалуйста. Там на обратной стороне гравировка от меня на его двадцать первый день

рождения. У меня для них приготовлено место.

Руфь покорно протянула ей вещи Теда.

— Письмо я хотела бы оставить себе.

— Конечно, вы можете оставить письмо. И медали. Они не имеют ничего общего с тем мальчиком, о котором я хочу помнить.

— Он был мужчиной, не мальчиком, — мягко возразила Руфь. — И хотел бы, чтобы его запомнили именно таким.

— Это ваш способ помнить его, — сказала миссис Фолкнер. — Уважайте мой.

— Простите, — проговорила Руфь. — Я уважаю. Но вам следовало бы гордиться тем, что он был храбрым и…

— Он был мягким, чувствительным и умным! — прервала ее миссис Фолкнер с неожиданной страстью. — Его нельзя было посылать за океан. Его попытались сделать жестким простаком, но в душе он всегда оставался моим мальчиком.

Руфь встала и оперлась о горку — или усыпальницу. Наконец она поняла, что происходит, что стоит за враждебностью миссис Фолкнер. Для нее Руфь была лишь одним из тех безликих далеких заговорщиков, что забрали у нее Теда.

— Ради всего святого, осторожнее!

Удивленная, Руфь резко отшатнулась от гор-

ки. Какой-то маленький предмет соскользнул с открытой полки и разлетелся на полу на белые осколки.

— Ах, простите, очень жаль!..

Миссис Фолкнер была уже на коленях, пальцами сгребая осколки.

— Как вы могли! Как вы могли!

— Мне ужасно жаль. Могу я купить вам другое?

— Она хочет знать, может ли купить мне другое, — дрожащим голосом обратилась миссис Фолкнер к невидимой аудитории. — И где же это вы сможете купить блюдечко для конфет, которое Тед сделал своими собственными маленькими ручками, когда ему было всего семь?

— Его можно склеить.

— Можно склеить? — трагически возгласила миссис Фолкнер. Он поднесла осколки прямо к лицу Руфи. — Вся королевская конница и вся королевская рать…

— Слава небесам, их было два. — Руфь показала на второе глиняное блюдечко на полке.

— Не троньте! — вскричала миссис Фолкнер. — Не троньте здесь ничего!

Вся дрожа, Руфь поспешила убраться подальше от горки.

— Я лучше пойду. — Она подняла воротник пальто. — Могу я воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать такси?

Агрессивность миссис Фолкнер мгновенно сменилась непреклонностью.

— Нет. Вы не можете забрать у меня дитя моего мальчика. Пожалуйста, дорогая, попытайтесь понять и простить меня. Это маленькое блюдечко было для меня священно. Все, что осталось после моего мальчика, священно, вот почему я так повела себя. — Она крепко вцепилась в краешек рукава Руфи. — Вы понимаете, правда? Если в вас есть хоть капля сострадания, вы простите меня и останетесь.

С едва сдерживаемым раздражением Руфь выпустила из легких воздух.

— Если не возражаете, я хотела бы сразу отправиться в постель.

Она вовсе не устала, напротив, была настолько вздернута, что не сомневалась: ночь придется провести, таращась в потолок. Однако ради того, чтобы больше не обменяться и словом с этой женщиной, была готова немедленно спрятать унижение и разочарование в белом беспамятстве постели.

Миссис Фолкнер вновь превратилась в идеаль-

ную хозяйку, вежливую и внимательную. Небольшая гостевая комната, со вкусом оформленная, но безликая и стерильная, как все гостевые комнаты, словно приглашала почувствовать себя как дома, в то же время ясно давая понять, что этого делать не следует. В комнате было холодно, как будто радиаторы отопления включили всего лишь час назад, а в воздухе ощущался сладковатый запах мебельной политуры.

— Это для нас с малышом? — поинтересовалась Руфь.

Она не собиралась оставаться дольше завтрашнего утра, но почему-то решила все-таки заговорить с миссис Фолкнер, которая задержалась в дверях.

— Это только для вас, милая. Я подумала, что малышу будет гораздо удобнее в моей комнате. Видите ли, там куда больше места, а здесь и кроватку-то некуда поставить. — Она натянуто улыбнулась. — Ну а теперь прошу меня извинить, милая.

Не дожидаясь ответа, миссис Фолкнер развернулась и пошла к себе, мурлыча что-то под нос.

Руфь, не смыкая глаз, пролежала под жесткими простынями около часа. Перед мысленным взором мелькал то один, то другой яркий момент.

Снова и снова вставало перед ней вытянутое, задумчивое лицо Теда. Руфь вспомнила его одиноким мальчиком — когда они только познакомились, потом возлюбленным, затем мужчиной. Усыпальница — воспевавшая мальчика и игнорирующая мужчину — вызывала жалость. Для миссис Фолкнер Тед умер, когда полюбил другую женщину.

Руфь откинула одеяла и подошла к окну — хотелось выглянуть на улицу, чтобы хоть как-то сменить впечатления. За окном в нескольких футах обнаружилась всего лишь припорошенная снегом кирпичная стена, и Руфь на цыпочках отправилась в гостиную, где из широкого окна открывался вид на голубые предгорья Адирондака.

Вдруг она резко остановилась. Миссис Фолкнер, чья грузная фигура просвечивала сквозь тонкую ночную рубашку, стояла перед полкой с безделушками, обращаясь к ним:

— Спокойной ночи, милый, где бы ты ни был. Надеюсь, ты слышишь меня и знаешь, что мама любит тебя. — Она помедлила, словно прислушиваясь к чему-то, затем кивнула. — Твое дитя будет в надежных руках — в тех же самых, что баюкали тебя. — Она поднесла руки к полке. — Спокойной ночи, Тед. Сладких снов.

Руфь прокралась обратно в постель, а несколькими мгновениями позже босые ноги прошлепали по полу, дверь закрылась, и наступила тишина.

— Доброе утро, мисс Харли.

Руфь, моргая, подняла глаза на мать Теда. Кирпичная стена за окном гостевой комнаты влажно сверкала, снег стаял. Солнце уже было высоко.

— Хорошо спали, дитя мое? — Голос был веселый, дружеский. — Уже почти полдень, и я приготовила вам завтрак. Яйца, кофе, бекон и бисквиты. Не откажетесь?

Руфь кивнула и потянулась, кошмар ночной встречи казался нереальным. Солнце освещало каждый уголок, рассеивая похоронную тоску их первого свидания. Стол в кухне излучал миролюбие, обильный завтрак был нетороплив.

Отвечая миссис Фолкнер улыбкой на улыбку после третьей чашки кофе, Руфь совершенно расслабилась, представляя, как начнет новую жизнь в столь теплой обстановке. Накануне просто случилось недопонимание между двумя усталыми, разнервничавшимися женщинами.

О Теде не говорили — во всяком случае, поначалу. Миссис Фолкнер с юмором рассказывала о том, как начинала свою карьеру деловой женщи-

ны в мире мужчин, вернувшись к жизни после нескольких лет безысходности, последовавших за смертью мужа. А потом она таки начала расспрашивать Руфь о ее жизни и выслушала ее рассказ с подкупающим вниманием.

— Вы, наверное, хотите в один прекрасный день вернуться на Юг.

Руфь пожала плечами.

— Меня там особенно ничего не держит — да, собственно, и нигде. Отец мой был кадровым военным, и вряд ли вы назовете гарнизон, в котором мне не пришлось бы пожить.

— А где бы вы хотели обосноваться? — вкрадчиво поинтересовалась миссис Фолкнер.

— О, в этой части страны очень мило.

— Здесь ужасно холодно, — рассмеялась миссис Фолкнер. — Можно сказать, всемирная штаб-квартира синусита и астмы.

— Ну, во Флориде, конечно, жить куда легче. Думаю, будь у меня выбор, мне больше всего подошла бы Флорида.

— Вообще-то, у вас есть выбор.

Руфь поставила чашку на стол.

— Я собираюсь обосноваться здесь — как хотел Тед.

— Я имею в виду, когда родится ребенок, — про-

говорила миссис Фолкнер. — Тогда вы сможете уехать, куда пожелаете. У вас есть деньги по страховке, я еще добавлю, и вы вполне сможете поселиться в милом маленьком городке вроде Санкт-Петербурга.

— А как же вы? Вы ведь хотели, чтобы ребенок был рядом?

Миссис Фолкнер потянулась к холодильнику.

— Вот, милая, вам ведь нужны сливки. — Она поставила перед ней кувшинчик. — Разве вы не видите, как чудесно все для нас складывается? Вы оставите ребенка со мной, а сами будете совершенно свободны жить так, как пристало любой молодой женщине. — В голосе миссис Фолкнер зазвучали доверительные нотки. — Разве не этого Тед хотел от нас обеих?

— Черта с два он хотел такого!

Миссис Фолкнер поднялась на ноги.

— Думаю, мне лучше судить. Тед со мной каждую минуту, когда я нахожусь в этом доме.

— Тед мертв, — не веря своим ушам, проговорила Руфь.

— Это так, — нетерпеливо перебила миссис Фолкнер. — Для вас он мертв. Вы теперь не можете чувствовать его присутствие или знать, чего он хочет, потому что едва знакомы с ним. Нельзя

узнать человека за пять месяцев.

— Мы были мужем и женой.

— Большинство мужей и жен чужие друг другу, пока смерть не разлучит их, милая. Я едва знала своего мужа, а мы ведь прожили вместе не один год.

— Некоторые матери пытаются сделать своих сыновей чужими для всех женщин, кроме себя, — горько произнесла Руфь. — Хвала Господу, вам это не удалось!

Миссис Фолкнер по-мужски резко бросилась в гостиную. Руфь услышала, как заскрипели пружины стула перед святилищем. И вновь послышался шепот диалога с пустотой.

Спустя десять минут Руфь с собранным чемоданом стояла в гостиной.

— Дитя, куда ты? — спросила миссис Фолкнер, даже не взглянув на нее.

— Прочь — на Юг, наверное.

Руфь держала ступни сомкнутыми, высокие каблуки все глубже погружались в ковер по мере того, как она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она много чего хотела сказать старшей женщине и ждала, когда та повернется к ней лицом. Сотни гневных фраз пришли ей на ум, пока она собирала вещи, — фраз, которые не

нуждались в ответе.

Миссис Фолкнер не обернулась, по-прежнему не сводя глаз с безделиц на полке. Ее широкие плечи поникли, голова опустилась словно под тяжестью знания, известного только ей одной.

— Что вы такое, мисс Харли, эдакая богиня, которая может даровать или лишать человека самого ценного, что у него есть в жизни?

— Вы хотели, чтобы я дала вам куда больше, чем вы имеете право просить.

Руфь представила себе, как должен был чувствовать себя маленький мальчик, стоя на этом самом месте, пока эта одержимая женщина решала, что он должен сейчас сделать.

— Я прошу только того, что просит мой сын.

— Это не так.

— Она неправа, верно ведь, дорогой? — обратилась миссис Фолкнер к горке. — Она недостаточно тебя *любит*, чтобы слышать так, как слышит тебя мама.

Руфь бросилась к двери, выбежала на мокрую улицу и судорожно замахала первому же озадаченному водителю.

— Я не такси, дамочка.

— Пожалуйста, отвезите меня на вокзал!

— Послушайте, дамочка, я еду совсем в другую

сторону. — Руфь разразилась слезами. — Ладно, ладно. Ради всего святого, успокойтесь. Полезайте в машину.

— Поезд номер четыреста двадцать семь на Сенеку прибывает на четвертый путь, — объявил голос из громкоговорителя.

Голос явно хотел разбить любую иллюзию любого пассажира по поводу того, что его-то пункт назначения уж точно лучше того места, из которого он отправляется. Сан-Франциско объявляли так же безжизненно, как какую-нибудь Трою, а Майами звучало ничуть не более соблазнительно, чем Ноксвилл.

Под потолком зала ожидания прогрохотало, и колонна рядом с Руфью затряслась. Она подняла глаза от журнала и взглянула на вокзальные часы. Следующий поезд, на Юг, был ее. Когда она покупала билет, проверяла багаж и устраивалась на жесткой скамье, чтобы скоротать время до поезда, ее движения были быстрыми, целенаправленными, а походка почти развязной. Движения были аккомпанементом к гневному диалогу, не прекращавшемуся в ее голове. Руфь представляла, как хлещет миссис Фолкнер безжалостной правдой и победоносно удаляется, оставив эту женщину с ее лживыми извинения-

ми и слезами.

К этому моменту мстительные фантазии доставили Руфи удовлетворение, помогли забыть о недавней мучительнице. Она чувствовала лишь скуку и зарождающееся одиночество. Чтобы избавиться от одного и другого, она принялась рассматривать людей в зале ожидания, по лицам, одежде и багажу угадывая банальные обстоятельства, которые привели каждого на вокзал.

Вот высокий солдат с детским лицом сухо беседует с хорошо одетыми родителями: из колледжа и серой фланели прямиком на призывной пункт… медаль за отличную стрельбу… умен, богат… отцу неловко, что у сына такое низкое воинское звание…

Мучительный кашель прервал ее мысли. Старик, прижавшийся к подлокотнику на краю совершенно пустой скамьи, сложился пополам от приступа кашля. Наконец кашель успокоился, и старик снова затянулся сигаретой, зажатой между грязными пальцами.

Хрупкая ясноглазая старушка протянула носильщику доллар и заставила его внимательно выслушать точные инструкции по поводу того, как обращаться с ее багажом — она отправлялась в ежегодное путешествие, чтобы лишний раз

осудить детей и наложить лапу на внуков…

Снова мучительный кашель. В этот раз порыв сквозняка от дверей донес до ее ноздрей зловонное дыхание. Кашель усилился, лишая старика последних сил. Сигарета упала на пол.

Руфь пересела на скамье так, чтобы иметь возможность не видеть его.

Вот запыхавшийся толстяк с жизнерадостным красным лицом, выглядывающим из-под фетровой шляпы, упрашивает, чтобы его пропустили к кассе без очереди — наверняка коммивояжер… шарикоподшипники или водонагреватели, или что-то еще… Снова мучительный кашель. Раздраженная тем, что столь неприятное зрелище вновь привлекает ее внимание, Руфь взглянула на старика. Содрогаясь всем телом, тот перегнулся через подлокотник скамьи.

Толстяк-коммивояжер бросил взгляд на старика и снова уставился вперед, сохраняя место в очереди. Старушка, все еще инструктирующая носильщика, подняла голос, перекрывая неожиданную помеху. Молодой солдат и его воспитанные родители не были столь вульгарны, чтобы признать, что рядом происходит что-то неприятное. Разносчик газет вбежал в зал ожидания, двинулся было в сторону Руфи и старика,

резко притормозил и направился в другой конец зала, выкрикивая новости о трагедии, случившейся за тысячу миль отсюда.

— Читайте сенсационные новости!

Над головой прогрохотало эхо следующего поезда. Все двинулись в сторону перрона, избегая прохода, в котором лежал старик, но делая вид, будто выбрали путь к поезду совершенно случайно.

— Баффало, Гаррисбург, Балтимор и Вашингтон, — объявил голос в громкоговорителе.

Руфь поняла, что это и ее поезд. Она поднялась на ноги, стараясь не смотреть на старика. Он просто мертвецки пьян, говорила она себе. Пусть полежит здесь и проспится. Она взяла журнал и сумочку под мышку. Кто-нибудь — полиция или какая-нибудь благотворительная организация, или кто там еще должен это делать — наверняка скоро его подберет.

— На посадку!

Руфь обогнула старика и поспешила на перрон. Сырой холод с шипеньем спускался на платформу. Бледные огни, колышущиеся в клубах пара, казалось, тянулись в бесконечность — ненастоящие, неспособные повлиять на ее мысли. А мысли все возвращались к назойливому, повторяюще-

муся звуку — стариковскому кашлю. Он звучал в ушах все громче и громче, словно усиливаясь и отражаясь эхом в каменном мешке.

— На посадку!

Руфь развернулась и бросилась прочь с перрона. Несколькими секундами позже она уже склонилась над стариком, расстегивая ему ворот, растирая запястья. Она помогла ему вытянуть тощее тело во весь рост на скамье и положила под голову свернутый плащ.

— Носильщик! — крикнула она.

— Да, мэм?

— Этот человек умирает. Вызовите «Скорую»!

— Да, мэм.

Когда Руфь направилась к выходу, загудели сирены. Она не услышала их, стараясь вспомнить всех бесчувственных людей на вокзале. «Скорая» увезла старика, и теперь Руфи, которая опоздала на поезд, предстояло провести еще четыре часа в родном городе Теда.

«Только потому, что он уродлив и грязен, вы не захотели помочь ему, — говорила она воображаемой толпе. — Он болен и нуждался в помощи, а вы думали только о себе, боясь даже прикоснуться к нему. Стыдитесь».

Руфь с вызовом смотрела на проходящих мимо

людей, получая в ответ озадаченные взгляды.

— Вы притворились, что с ним не происходит ничего страшного, — пробормотала она.

Руфь убивала время в типично женской манере, делая вид, будто вышла за покупками. Она критически разглядывала витрины, щупала ткани, приценивалась и обещала продавщицам, что вернется за покупкой после того, как зайдет еще в пару магазинов. Все это Руфь делала почти автоматически, а тем временем мысли ее возвращались к поступку, которым она теперь гордилась. Она оказалась одной из немногих, кто не стал убегать от неприкасаемых. От нечистых, больных незнакомцев.

Мысль была жизнеутверждающей, и Руфь позволила себе думать, что Тед разделил бы с ней радость. С мыслью о Теде перед ней встал образ его жуткой матери. Руфь стало еще приятнее, когда она подумала, насколько эгоистична миссис Фолкнер по сравнению с ней. Та так и сидела бы в зале ожидания, безразличная ко всему, кроме трагедии своей собственной жалкой жизни. Она бы наверняка общалась с призраком, пока старик испускал дух.

Руфь вспомнила горькие, унизительные часы, проведенные с этой женщиной, запугивание

и лесть во имя кошмарного понимания материнства и горстки безделушек. Отвращение и желание уехать вернулось к ней с новой силой. Руфь облокотилась на прилавок ювелирного магазинчика и оказалась лицом к лицу со своим отражением в зеркале.

— Могу я помочь вам, мадам? — обратилась к ней продавщица.

— Что? О… нет, спасибо, — проговорила Руфь.

Лицо в зеркале было мстительным, самодовольным. В глазах был тот же холодный блеск, что и в тех, которые смотрели на старика на вокзале и не видели его.

— Вам нездоровится? Может, присядете на минутку?

— Нет-нет… ничего страшного, — отсутствующим голосом ответила Руфь. Она отвела взгляд от зеркала. — Так глупо. У меня просто на минутку закружилась голова. Теперь все прошло. — Она неуверенно улыбнулась. — Большое вам спасибо, но мне надо торопиться.

— На поезд?

— Нет, — устало проговорила Руфь. — Очень больная старая женщина нуждается в моей помощи.

Дотлел огарок

© Перевод. Е. Романова, 2021

Письма из Скенектади теплым душистым ветром скрашивали Энни Коупер последние деньки жизни. Впрочем, приходить они начали в ее сорок с небольшим — до последних деньков еще далековато. Все зубы были при ней, а очки в стальной оправе она надевала только для чтения.

Старухой же она себя чувствовала потому, что ее муж Эд — в самом деле старик, — умер и оставил ее одну на свиноферме в северной Индиане. После смерти мужа Энни продала животных, сдала землю — ровную, черную, плодородную — в аренду соседям, а сама стала читать Библию, поливать цветы, кормить кур, ухаживать за небольшим огородиком и просто качаться в кресле, терпеливо и беззлобно ожидая прихода Сияющего Ангела Смерти. Эд оставил жене немало денег, так что она могла себе позволить побездельничать на старости лет, и все вокруг считали, что она поступает правильно — так и только так следовало поступать в подобном случае.

Родни у нее не было, зато подруг хватало. Жены местных фермеров частенько заглядывали к ней в гости — поскорбеть час-другой за кофейком и пирожными.

— Не представляю, что бы я делала, если б мой Уилл умер, — сказала однажды ее подруга. — Горожанки, по-моему, совсем не знают, что такое быть одною плотью. Меняют мужей как перчатки! Один не подошел — не беда, попробуют с другим.

— Вот-вот, — кивнула Энни. — Не дело это. Съешь-ка еще один «персиковый сюрприз», Дорис Джун.

— Ей-богу, в городе мужчина и женщина только затем и нужны друг другу, чтобы… — Дорис Джун деликатно умолкла.

— Точно!

Энни уразумела, что ее вдовий долг — служить местным женщинам наглядным примером того, как скверно живется без мужа, даже если муж не слишком-то хорош.

Она не стала портить впечатление Дорис Джун рассказом о письмах — о женском счастье, нежданно свалившемся на нее на закате дней, и о друге из Скенектади, который умудрился ей это счастье подарить (даром что жил за тридевять

земель).

Порой к Энни наведывались мужья подруг, суровые и молчаливые. Подметив, где в ее хозяйстве не хватает мужских рук, жены отправляли их подсобить — залатать крышу, починить насос, смазать простаивавшую технику в сарае. Мужья, зная о добродетельности вдовы, демонстрировали высшую степень уважения — молчали как рыбы.

Иногда Энни задавалась вопросом: что бы сделали и сказали эти мужья, узнай они про ее переписку? Возможно, приняли бы ее за распущенную женщину и не стали бы отвечать непременным вежливым отказом на ее приглашение зайти как-нибудь на чашечку кофе. Быть может, они даже позволяли бы себе двусмысленные высказывания и робкий флирт — как в адрес той бесстыжей девицы, что работает в местной закусочной.

Покажи Энни им эти письма, они бы непременно углядели в них что-нибудь неприличное. Но ничего неприличного в них не было, честное слово. Только лишь поэзия, высокие чувства. И Энни совершенно не интересовало, как выглядел автор сих строк.

Иногда к ней захаживал и священник — бес-

цветный иссохший старик цвета пыли, которому ее мертвецкий душевный покой и нравственная непогрешимость доставляли невероятную радость.

— Гляжу на вас и понимаю, что тружусь не зря, миссис Коупер, — говаривал он. — Вам бы просвещать молодежь! Они не верят, что в наш век можно жить по-христиански.

— Вы очень добры, — отвечала Энни. — Только, сдается, у молодых всегда кровь была горячая. Погуляют — и остепенятся. Как вам мой «малиновый восторг»? Съешьте еще штучку, не пропадать же добру.

— Но вы-то никогда такой не были, мисс Коупер!

— Так ведь я вышла за Эда, когда мне шестнадцать исполнилось. Не успела погулять…

— И не стали бы, даже если б могли! — ликующе заявил священник.

Энни ощутила странное желание взбунтоваться и рассказать ему про письма. Однако она обуздала этот порыв и лишь сдержанно кивнула.

Разумеется, очень скоро у Энни появились ухажеры: мужчины с благочестивыми намерениями и могучей страстью к ее землям. Они только и делали, что пели неуклюжие оды пашням и полям,

и ни одному из них не удалось растормошить ее душу. Подобно Эду, они даже не пытались. После бесед с ними она видела в зеркале все ту же неказистую сухощавую дылду, похожую на телеграфный столб, с грубыми, распухшими от тяжелой работы руками и длинным носом, отмороженный кончик которого всегда некрасиво алел.

Стоило такому ухажеру покинуть ее дом — теребя шляпу и бормоча что-то о неурожае и скверной погоде, — как Энни ощущала острую потребность в письмах из Скенектади. Она запирала двери, задергивала шторы, ложилась в кровать и читала, читала эти письма до тех пор, покуда голод, сон или стук в дверь не заставляли ее спрятать их обратно в ящик.

Эд умер в октябре, и до следующей весны Энни жила в одиночестве, без всяких писем. А в начале мая, когда внезапные заморозки погубили ее нарциссы, Энни написала:

«Уважаемый 5587! Я впервые пишу незнакомцу. Так случилось, что сегодня в аптеке, дожидаясь, пока мне вынесут лекарство от гайморита, я взяла в руки свежий номер журнала «Западная романтика». Обычно я такие журналы не читаю, мне они кажутся глупыми. Но сегодня я случайно от-

крыла раздел знакомств и увидела ваше письмо, в котором вы говорите, что устали от одиночества и мечтаете найти друга по переписке…»

Энни улыбнулась своей глупой причуде и продолжала:

«…Расскажу вам немного о себе. Я еще не стара, у меня каштановые волосы, зеленые глаза и…»

Через неделю пришел ответ, а кодовый номер, присвоенный газетой человеку, подавшему объявление, превратился в имя: «Джозеф П. Хоукинс из Скенектади, штат Нью-Йорк».

«Дражайшая миссис Коупер, — писал Хоукинс, — на мое объявление откликнулось множество людей, но именно ваше письмо задело в душе какие-то важные струнки. Встреча родственных душ — явление редкое и сродни чуду в нашей юдоли печали и плача. Вы видитесь мне светлым ангелом, да и голос у вас ангельский (я слышу его, читая ваши письма). Когда сей ангел явился мне, одиночество сгинуло без следа, и я понял, что теперь не один на этой огромной многолюдной планете…»

Читая первое письмо, Энни смущенно хихикала и немного корила себя за выходку — ну вот, взяла и напрасно обнадежила бедного человека. Безусловно, его пылкий тон слегка ее ошарашил,

но она с удивлением обнаружила, что вновь и вновь перечитывает письмо, всякий раз проникаясь к автору все большим сочувствием. Наконец в порыве сострадания она решила исполнить мечту несчастного и вновь явиться ему в образе ангела.

С тех пор пути назад не было — да и желания вернуться тоже.

Письма Хоукинса оказались удивительно красноречивы и поэтичны, однако больше всего Энни поразило, как чутко новый друг отзывался на ее настроения. Он чувствовал, когда она бывала подавлена, даже если в письме об этом не было ни слова, и умел ее подбодрить. Когда же Энни воспаряла духом, стараниями Хоукинса ее приподнятый настрой длился неделю за неделей — хотя раньше исчезал в считаные минуты.

Энни пыталась отвечать новому другу тем же — и вот чудеса, ее неуклюжие попытки всякий раз оборачивались успехом!

Ни разу Хоукинс не позволил себе бестактной шутки, ни разу не сделал упора на то обстоятельство, что он — мужчина, а она — женщина. Это не имеет никакого значения, пылко писал он. Важно лишь то, что их души теперь никогда не будут одиноки, так восхитительно они подходят друг

другу. Переписка получалась весьма возвышенная — настолько возвышенная, что за целый год Энни и Хоукинс не затронули таких приземленных тем, как деньги, работа, возраст, внешность, вероисповедание и политика. Природа, Судьба и неясные томления духа — обо всем этом они могли переписываться бесконечно. Вторая зима без Эда, как и первый холодный май, ничуть не расстроили Энни, ведь впервые в жизни она узнала, что такое настоящая дружба.

В конце концов они все же спустились с небес, причем по воле Энни, а не Хоукинса. С приходом очередной весны — когда оба писали о мириадах зеленых ростков, пробивающих черную землю, о брачных песнях птиц, лопающихся почках и пчелах, что переносят пыльцу с цветка на цветок — Энни вдруг ощутила желание сделать то, что Хоукинс запретил ей делать.

«Прошу вас, — писал он, — давайте не будем опускаться до «обмена карточками» (кажется, так сейчас говорят). Ни один земной фотограф не способен запечатлеть ослепительного ангела, что взмывает со страниц ваших писем».

И все же одним теплым и томным весенним вечером Энни вложила в конверт свой фотопортрет. Пять лет назад Эд сфотографировал ее

на пикнике — тогда ей казалось, что она такая и есть, но теперь, разглядывая карточку, Энни увидела на ней совсем другую женщину — окутанную мягкой дымкой духовной красоты.

Следующие два дня обернулись для нее сущим кошмаром. Энни то проклинала себя за глупую выходку (Хоукинс увидит, какая она безобразная, и больше ни строчки не напишет!), то принималась успокаивать себя тем, что их отношения — сугубо духовные и портрет никак не должен повлиять на переписку. С тем же успехом можно было отправить Хоукинсу чистый лист бумаги: ему все равно, красива она или нет. Но лишь сам Джозеф П. Хоукинс мог сказать, что он действительно думает о фотографии.

Это он и сделал, причем отправил письмо авиапочтой. «Прощай, светлый ангел!». Энни прочла первую строчку и разрыдалась.

А потом заставила себя дочитать до конца.

«О тусклая бесцветная картинка, нарисованная моим воображением — исчезни! Тебя свергла с трона теплая и живая, настоящая моя Энни. Прощай, призрак! Дай дорогу жизни, ведь я жив, и жива Энни, а в мире снова царит весна!»

Энни возликовала. Ее портрет ничего не испортил! Хоукинс тоже увидел дымку духовной

красоты!

Лишь потом, сев за новое письмо, она поняла, как изменились их отношения. Они признали друг в друге людей из плоти и крови, и от этой мысли у Энни вспыхивали щеки. Некогда легкое перо отказывалось двигаться с места. Все приходившие на ум обороты казались нелепыми и пафосными, хотя раньше подобные фразы были ей вполне по вкусу.

А потом перо задвигалось по собственной воле. Легко и быстро оно вывело два слова, в которых было больше чувства и смысла, нежели во всех предыдущих письмах вместе взятых.

«Я еду».

Энни ослепла от любви и восхитительно не владела собой.

Хоукинс ответил почти столь же короткой телеграммой: «ПРОШУ НЕ НАДО ТЧК СМЕРТЕЛЬНО БОЛЕН ТЧК».

Больше Энни не получила от него ни строчки. Ее телеграммы и срочные письма оставались без ответа. Она попыталась сделать междугородний звонок — и узнала, что телефона у Хоукинса нет. Энни была разбита и представляла себе несчастного одинокого человека на смертном одре, до которого никому, совершенно никому не было

дела, а Светлый ангел тем временем томился в неведении за семьсот миль от него.

Так, в страшных муках, Энни провела неделю. Через семь дней она вышла с вокзала Скенектади, преисполненная любви, в новом корсете и терзаемая собственными денежными накоплениями, коловшими ей бедра и тощую грудь. При ней был чемоданчик и несессер, в который она вытряхнула все содержимое своей аптечки.

Она ничего не боялась и была совершенно спокойна, хотя до этого никогда не ездила на поезде и не видела вокзалов, полных пара, копоти и суеты. Любовь и чувство долга затмили собой все прочее, несущественное; высокая и неумолимая Энни шагала по перрону, напористо подавшись вперед.

Машин на стоянке такси не оказалось, зато носильщик любезно объяснил, как добраться до нужного ей места на автобусе. «Просто попросите водителя подсказать вам остановку».

И Энни просила — примерно каждые две минуты. Водрузив скромный багаж себе на колени, она села прямо за водителем.

Пока автобус прыгал по колдобинам и железнодорожным рельсам, пробираясь по лабиринту трущоб и шумных, изрыгающих пар фабрик,

Энни представляла себе Хоукинса: худого, бледного, высокого и хрупкого, с большими голубыми глазами. Он лежал один-одинешенек на жесткой узкой койке в съемной каморке…

— Мне здесь выходить?

— Нет, мэм, пока еще не здесь. Я вам скажу.

Фабрики и трущобы сменились приятными жилыми кварталами: маленькие домики и зеленые лужайки перед ними выглядели точь-в-точь как на почтовых марках. Энни глазела в окно и воображала Хоукинса, лежавшего на кровати в аккуратном холостяцком доме. Раньше он был рослым и крепким мужчиной, но от болезни совсем исхудал…

— Мне уже пора выходить?

— Еще далековато, мэм. Я вам скажу.

Маленькие домики сменились огромными особняками — Энни в жизни таких не видывала. Она осталась в салоне одна и потрясенно рисовала себе новый образ Хоукинса, почтенного господина с серебристыми волосами и крошечными усиками, чахнувшего в огромной кровати размером с ее огород.

— Неужели здесь? — недоуменно спросила Энни водителя.

— Да, должно быть где-то тут.

Автобус замедлил ход, и водитель стал смотреть на номера домов. На следующем углу он остановился и открыл дверь.

— Вот ваш квартал, мэм. Нужного дома я не заметил — видать, пропустил.

— Может, он в следующем квартале? — предположила Энни, которая тоже с замиранием сердца поглядывала на номера особняков.

— Не-а. Где-то здесь должен быть, дальше только кладбище — добрых шесть кварталов.

Энни вышла на тихую тенистую улицу.

— Спасибо вам большое!

— Не за что, мэм. — Водитель начал было закрывать дверь, но вдруг помедлил. — Знаете, сколько мертвецов на здешнем кладбище?

— Да я же не местная…

— Все до единого! — ликующе заявил водитель и хохотнул.

Дверь захлопнулась; автобус покатил дальше.

За час Энни облаяли все собаки в округе: она не пропустила ни одного дома и позвонила в каждую дверь.

Никто никогда не слышал о Джозефе П. Хоукинсе. «По этому адресу, — говорили местные, — может быть разве что могильный камень на кладбище».

Энни уныло побрела вдоль кладбищенского забора с острыми пиками; лишь каменные ангелы смотрели со столбов в ответ на ее растерянный ищущий взгляд. Наконец она подошла к каменной арке — воротам — и в ожидании автобуса уселась на чемодан.

— Потеряли кого? — раздался за ее спиной хриплый мужской голос.

Она обернулась и увидела в воротах кладбища дряхлого карлика. Один глаз у него был слепой и белый, как вареное яйцо, а второй глаз блестел, хитро щурился и бегал из стороны в сторону. В руках карлик держал лопату, облепленную свежей землей.

— Я… я ищу мистера Хоукинса, — сказала Энни. — Мистера Джозефа П. Хоукинса. — Она встала и, с трудом скрывая ужас, поглядела на карлика.

— Это который с кладбища?

— Так он здесь работает?

— Работал. Умер на днях.

— Ах, нет!

— Да, да… — равнодушно проговорил карлик. — Вот только сегодня утром похоронили.

Ноги у Энни подкосились, и она села обратно на чемодан. Потом тихо заплакала.

— Опоздала… опоздала!

— Друг ваш, что ли?

— Очень близкий. Ближе у женщины и быть не может! — горестно воскликнула Энни. — Вы его знали?

— Нет. Меня взяли на работу, когда он слег. Говорят, он был настоящий джентльмен.

— Святая правда, — закивала Энни, а потом с тревогой поглядела на лопату. — Скажите, он тоже был… гробокопатель?

— Нет. Инженер по благоустройству и озеленению.

— Ах… — Энни улыбнулась сквозь слезы. — Как славно. — И вновь покачала головой. — Но я опоздала. Какой от меня теперь прок?..

— Говорят, он любил цветы.

— Да-да! Он писал, что эти его друзья всегда возвращаются и никогда не предают. Где тут можно купить цветы?

— Хм… Сдается, никому вреда не будет, если вы нарвете крокусов вот здесь, прямо за воротами. Только тихонько, чтоб не увидели. А возле его дома растут фиалки.

— Где же его дом?

Старик указал на приземистую каменную хижину, увитую плющом.

— Ах… бедный!

— Бывают жилища и похуже, — сказал карлик. — Сейчас я там живу — и не жалуюсь. Пойдемте, нарвете цветов, а я вас отвезу к его могиле. Путь неблизкий, еще заблудитесь, чего доброго. Хоукинс похоронен в новой части кладбища, которую только недавно открыли. Он там первый, между прочим.

Маленький кладбищенский пикап долго петлял по асфальтированным дорожкам среди безмолвных и холодных мраморных памятников; в конце концов Энни потеряла счет поворотам. Переднее сиденье было до упора выдвинуто вперед, чтобы карлик мог доставать до педалей, и Энни пришлось поджать колени. На них она положила букет из крокусов и фиалок.

Оба молчали. Энни не хотелось лишний раз даже смотреть на гробокопателя, да и он явно не горел желанием болтать — просто делал свое дело, привычное и утомительное.

Наконец они подъехали к чугунным воротам, за которыми начинался лес.

Карлик открыл ворота, снова сел за руль и въехал в сумеречные заросли. Ветви деревьев и шиповника царапали бока машины.

Энни ахнула. Впереди показалась чудесная полянка, на которой в солнечных лучах чернела

свежая могила.

— Памятник еще не готов, — сказал карлик.

— Джозеф, Джозеф… — прошептала Энни. — Я приехала. Я здесь.

Карлик притормозил, выскочил из машины и галантно открыл для Энни дверь, после чего впервые улыбнулся — обнажив жуткий протез из идеально ровных, мертвенно-белых зубов.

— Можно я немного побуду одна? — спросила Энни.

— Я вас тут подожду.

Энни положила цветы на могилу и просидела возле нее целый час, вспоминая все чудесные и нежные слова из писем своего покойного друга.

Так она могла бы сидеть еще очень долго, если бы вежливый кашель карлика не вернул ее на землю.

— Пора назад. Скоро стемнеет.

— Не хочу оставлять его одного! Прямо сердце кровью обливается.

— Можете еще как-нибудь приехать.

— Верно. Обязательно приеду еще, — сказала Энни.

— Какой он был?

— О… — Энни почтительно встала. — Я его никогда не видела. Мы только переписывались. Но

он был очень хороший, очень.

— Что ж хорошего он сделал?

— Помог мне поверить, что я красива. Благодаря ему я теперь знаю, каково это.

— А сам он как выглядел — знаете?

— Нет. Совсем не знаю.

— Говорят, он был высокий и широкоплечий. С голубыми глазами и кудрявый. Вы так его представляли?

— О да! — радостно воскликнула Энни. — Именно так! Прямо как чувствовала!

Солнце уже садилось; одноглазый гном вернулся на кладбище — проводив Энни на вокзал и велев ей не разговаривать с незнакомцами. Длинные тени протянулись от надгробий, когда он вновь навестил могилу одинокого поэта.

Со вздохом карлик поднял с земли букет Энни.

Затем вошел в хижину, поставил цветы в вазу и разжег в камине огонь — чтобы прогнать вечернюю сырость. Сварив себе кофе, он сел за письменный стол и понюхал цветы.

«Дорогая миссис Дрейпер, — написал он. — Как удивительно, что вы, моя дражайшая подруга и родственная душа, живете так далеко — на птицеферме в Британской Колумбии. Этот прекрасный край мне, верно, уже не суждено увидеть. Что

бы вы ни говорили о своем крае, он должен быть прекрасен — ведь он породил вас, не так ли? Прошу, умоляю, заклинаю… — Карлик, выразительно хмыкнув, подчеркнул эти три слова. — Давайте не будем опускаться до «обмена карточками» (вроде бы так сейчас говорят). Ни один земной фотограф не способен запечатлеть ослепительного ангела, что взмывает со страниц ваших писем».

Мистер Зет

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Джордж был сыном деревенского священника и внуком деревенского священника. Он воевал на Корейской войне, а когда война закончилась, решил тоже сделаться священником. Джордж был невинен и хотел помогать людям, попавшим в беду, а потому отправился в Чикагский университет.

Там Джордж изучал не только теологию — он еще занимался социологией, психологией и антропологией. Так прошел год, и на летней сессии студентам вдруг предложили курс по криминологии. Джордж ничего не знал о преступниках, а потому записался на курс.

Ему поручили отправиться в тюрьму округа и взять интервью у заключенной по имени Глория Сен-Пьер Грац. Она была женой Бернарда Граца, о котором говорили, что он наемный убийца и вор. По иронии судьбы, Грац оставался на свободе и даже не был объявлен в розыск, поскольку против него не нашлось улик. Жена его сидела в тюрьме по обвинению в хранении краденых

вещей — и эти вещи наверняка украл Грац. Она не дала против него показаний, равно как и не смогла внятно объяснить, откуда еще могли взяться у нее бриллианты и меховые манто.

Глорию Сен-Пьер Грац приговорили к году и одному дню, и она уже вот-вот должна была выйти на свободу, когда к ней в тюрьму заявился Джордж. Он хотел побеседовать с ней не просто потому, что она преступница, — интересен был тот факт, что у молодой женщины оказался поразительно высокий коэффициент интеллекта. Глория попросила Джорджа обращаться к ней по девичьей фамилии, которую она использовала в те дни, когда зарабатывала на жизнь экзотическими танцами.

— Так и не научилась откликаться на миссис Грац, — сообщила она. — Берни тут ни при чем, просто так и не научилась.

Так что Джордж называл ее мисс Сен-Пьер. Он беседовал с мисс Сен-Пьер через тюремную перегородку. В тюрьмах Джордж раньше никогда не бывал. Он уже записал в отрывной блокнот основные вехи биографии мисс Сен-Пьер и теперь перепроверял их.

— Итак, вы бросили школу в начале старших классов и сменили имя с Франсин Пефко на

Глорию Сен-Пьер. Вы разорвали отношения с мистером Эф и устроились официанткой в автозакусочную неподалеку от Гэри. Там вы и познакомились с мистером Джи.

— С Арни Паппасом, — кивнула она.

— Хорошо, — сказал Джордж. — Арни Паппас — это мистер Джи. Кстати, автозакусочная пишется в одно слово или в два?

— Одно слово, два слова, да разве это вообще когда-нибудь писали на бумаге?

Мисс Сен-Пьер была девушкой миниатюрной — крошечная брюнетка, очень красивая, очень бледная и твердая как кремень. Ей было скучно с Джорджем и его вопросами. Она без конца зевала, даже не потрудившись прикрыть свой бархатный ротик, и ее насмешливые ответы сбивали Джорджа с толку.

— Умник из колледжа вроде вас из этого и десять слов составил бы, — сказала она.

Джордж пытался вести себя профессионально и продолжил деловым тоном:

— Итак, по какой причине вы так рано решили прекратить образование?

— Мой отец был пьяница, — ответила мисс Сен-Пьер. — Мачеха сбежала. Я уже выросла, выглядела на двадцать один. Я могла иметь все,

что захочу. Арни Паппас подарил мне желтый «Бьюик». Кабриолет! Дорогуша, на кой мне сдались алгебра и «Айвенго»?

— Гм, — хмыкнул Джордж. — А потом появился мистер Эйч, и они с мистером Джи устроили из-за вас кулачный бой.

— На ножах, — поправила она. — Они бились на ножах. Стен Гарбо — так его звали. Зачем называть его мистером Эйч?

— Чтобы обеспечить конфиденциальность и защитить любого, о ком вы захотите мне рассказать, — пояснил Джордж.

Мисс Сен-Пьер расхохоталась и через перегородку принялась показывать на Джорджа пальцем.

— Ты? Ты собираешься защищать Стена Гарбо? Да ты бы сначала посмотрел на него!.. Ох, как я хочу, чтобы ты его увидел!

— Что ж, — пробормотал Джордж, — возможно, в один прекрасный день мы встретимся.

— Он мертв, — сообщила мисс Сен-Пьер.

Она не казалась расстроенной. Судя по всему, ей было вообще все равно.

— Очень жаль, — проговорил Джордж.

— Ты первый, кто сказал о нем такое, — усмехнулась мисс Сен-Пьер.

— В любом случае, — продолжал Джордж, сверяясь с записями, — когда он еще был среди живых, мистер Эйч предложил вам работу танцовщицы экзотических танцев в своем ночном клубе в Ист-Чикаго. И вы согласились.

Глория снова расхохоталась.

— Дорогуша, видел бы ты себя! Видел бы ты свое лицо. Ты же весь красный. А скривился так, будто у тебя лимон во рту! — Она тряхнула головой. — Ладно. Чем ты тут, по-твоему, занимаешься?

Джордж уже несколько раз объяснял ей и теперь вынужден был делать это снова.

— Я говорил вам, — терпеливо начал он. — Я изучаю социологию, а социология изучает человеческое общество.

Не стоило говорить ей, что на самом деле он сейчас проходит курс криминологии. Это могло обидеть ее. Да и вообще не стоило говорить мисс Сен-Пьер лишнего.

— Они и из людей умудрились науку сделать? Сумасшедшая, должно быть, наука получилась.

— Она еще в младенчестве, — сказал Джордж.

— Как и ты, — заметила Глория. — Тебе сколько лет, малец?

— Двадцать один, — нахмурился Джордж.

— Боже, двадцать один! И каково быть таким

старым? — Она откинулась на спинку. — Мне двадцать один будет только в следующем марте. Знаешь, встречая людей вроде тебя, я понимаю, что в этой стране можно состариться и так ничего и не увидеть. С такими, как ты, никогда ничего не происходит.

— Я полтора года воевал в Корее, — сказал Джордж. — Так что со мной кое-что происходило.

— Я вот что тебе скажу, — продолжала Глория. — Я напишу книгу о твоих невероятных приключениях, а ты можешь написать о моих.

Джордж впал в замешательство, когда она достала из кармана огрызок карандаша и пустую пачку из-под сигарет. Глория разорвала пачку и расправила ее, чтобы получился листок бумаги.

— Чудненько, — сказала она. — Поехали, малыш. Мы назовем книгу «Захватывающая история мистера Зет» — чтобы защитить тебя. Вы ведь родились на ферме, мистер Зет?

— Прошу вас! — взмолился Джордж, который и правда родился на ферме.

— Я ответила на твои вопросы, теперь ты отвечай на мои. — Она нахмурилась. — Ваш адрес, мистер Зет?

Джордж пожал плечами и продиктовал свой

адрес. Он жил в каморке над гаражом декана богословской школы.

— Род деятельности? Студент… — Она помедлила. — В одно слово или в два?

— В два, — сыронизировал Джордж.

— Сту дент, — проговорила Глория и записала. — А теперь давайте исследуем вашу личную жизнь, мистер Зет. Это ведь главная часть вашей науки, хоть она и в младенчестве. Пожалуйста, расскажите, сколько сердец вы успели разбить. Давайте начнем с мисс Эй.

Джордж закрыл блокнот и слабо улыбнулся.

— Вы очень добры, мисс Сен-Пьер, спасибо, что уделили мне время, — промолвил он и поднялся на ноги.

Глория одарила его ослепительной улыбкой.

— О, прошу тебя, присядь, — проворковала она. — Я вовсе не была добра — а вот ты был добр, хотя я говорила ужасные вещи. Пожалуйста… пожалуйста, сядь, и я отвечу на любые твои вопросы. На любые. Задай самый сложный, и я сделаю все что смогу. Разве у тебя нет по-настоящему сложного вопроса?

Джордж сглупил. Он расслабился и сел на место. У него был сложный и важный вопрос. Вся гордость куда-то испарилась, ему больше нечего

было терять, — и Джордж прямо спросил:

— У вас очень высокий ай-кью, мисс Пьер. Почему девушка, которая настолько умна, выбрала такую жизнь?

— Кто сказал, что я умна?

— Вас обследовали, — сказал Джордж. — Ваш коэффициент интеллекта выше, чем у рядового врача.

— Рядовой врач, — хмыкнула Глория, — собственную задницу обеими руками не найдет.

— Это не совсем так… — начал Джордж.

— От докторов меня тошнит, — отрезала Глория. Она позволила Джорджу окончательно расслабиться, и тут вся ее доброжелательность испарилась. — Но еще больше меня тошнит от детишек из колледжа. Убирайся! Ты самый скучный болван из всех, кого я когда-либо встречала. — Она презрительно махнула рукой. — Проваливай! И скажи своему учителю, что я живу так, как мне нравится. Глядишь, сделают тебя спецом по таким, как я.

В вестибюле к Джорджу подошел злобный чернявый коротышка. Он посмотрел на Джорджа так, словно собирался убить на месте. Голос у него был как у грача. Коротышку звали Бернар Грац, и он был мужем Глории.

— Ты там был с Глорией Сен-Пьер?! — рявкнул Грац.

— Верно, — вежливо ответил Джордж.

— Откуда ты взялся? Что тебе от нее нужно? Кто тебя прислал?

У Джорджа было рекомендательное письмо от профессора, который вел курс криминологии. Он протянул письмо Грацу. Тот скомкал его и отшвырнул.

— Плевать! Она не должна ни с кем говорить, кроме адвоката и меня. И она знает об этом!

— Она согласилась совершенно добровольно, — сообщил Джордж. — Никто не заставлял ее говорить со мной.

Грац вцепился в блокнот Джорджа.

— А ну-ка, что тут у тебя?

Джордж не выпускал блокнот. Кроме записей его беседы с Глорией, там были и лекции по другим предметам. Грацу все-таки удалось вырвать блокнот, и он сразу же принялся выдирать из него страницы и бросать в воздух. И тут Джордж поступил совсем не по-христиански — вырубил коротышку одним точным ударом.

Он привел Граца в чувство ровно настолько, чтобы тот смог пообещать, что будет убивать Джорджа медленно. Тогда Джордж собрал свои

листки и отправился домой.

Две недели прошли без каких-либо происшествий. Джорджа не слишком беспокоила угроза. Он полагал, что Грацу ни за что не найти его в каморке над гаражом декана богословской школы. Джорджу уже и не верилось в то, что приключилось с ним в тюрьме. В газетах на днях была фотография, изображающая Глорию Сен-Пьер, покидающую тюрьму под руку с Грацем.

А потом, как-то ночью, он сидел в своей каморке и изучал Энциклопедию криминологии. Джордж искал подсказки, которые объяснили бы ему, почему Глория Сен-Пьер избрала именно такую жизнь. В энциклопедии, которая должна была объяснить все, не нашлось ни слова о том, почему такая красивая, умная девушка доверила свою жизнь столь уродливым, жадным и жестоким мужчинам.

В дверь постучали. Джордж открыл дверь и оказался лицом к лицу с двумя незнакомыми молодыми людьми. Один из них вежливо назвал имя Джорджа и его адрес, сверяясь с листком бумаги, в котором можно было угадать сигаретную пачку. Это был тот самый листок, на котором Глория Сен-Пьер писала биографию Джорджа — «Захватывающую историю мистера

Зет». Джордж понял это за секунду до того, как его начали бить.

При каждом ударе молодые люди величали его «профессором». Они вовсе не были злы и прекрасно знали свое дело. Джордж попал в больницу с четырьмя сломанными ребрами, переломом обеих лодыжек, расплющенным ухом, заплывшим глазом и звоном в голове.

* * *

Следующим утром Джордж сидел на больничной койке и пытался написать письмо родителям.

«Дорогие мама и папа, я в больнице, но вы не должны беспокоиться».

Он раздумывал, как бы продолжить, когда в палате вдруг возникла платиновая блондинка с ресницами словно опахала. В руках у нее были какое-то растение в горшке и свежий номер «Настоящего детектива». Пахло от блондинки как на гангстерских похоронах. Это была Глория Сен-Пьер, но Джордж не узнал ее — за такой маскировкой мог бы укрыться кто угодно. Глория принесла дары, однако ее интерес был чисто клинический. Ей уже приходилось видеть избитых людей.

— Ты легко отделался, — заметила Глория. Она не сомневалась, что Джордж ее узнал.

— Я не умер, это верно, — согласился Джордж.

Глория кивнула.

— Умно, — сказала она. — Я думала, ты глупее. Запросто мог бы помереть. Странно, что ты жив.

— Могу я задать вопрос? — поинтересовался Джордж.

— Я думала, с вопросами ты покончил, — усмехнулась Глория.

И тут Джордж наконец ее узнал. Он откинулся на подушки и закрыл тот глаз, который открывался.

— Я принесла тебе цветок и журнал, — сообщила Глория.

— Спасибо. — Джордж хотел, чтобы Глория ушла. Ему нечего было сказать ей. Он даже думать не хотел об этой незнакомке.

— Если тебе нужен другой цветок или другой журнал — только скажи.

— Все нормально, — проговорил Джордж. У него разболелась голова.

— Хотела принести тебе что-нибудь вкусное, но мне сказали, что ты в тяжелом состоянии, так что я подумала, лучше тебе пока не есть.

Джордж открыл глаз. Он впервые узнал о своем

состоянии.

— В тяжелом?

— Меня бы даже не пустили, если б я не назвалась твоей сестрой. Но тут, наверное, ошибка какая-то. Не похож ты на тяжелого.

Джордж вздохнул — точнее, он думал, что вздохнул, а на поверку получилось какое-то рычание. Сквозь пульсирующую боль и разноцветные круги он смог произнести:

— Надо было им тебя попросить диагноз мне поставить.

— Ты, наверное, злишься на меня, — сказала она. — Наверное, так твои мозги работают.

— Они вообще не работают, — сказал Джордж.

— Я здесь просто потому, что мне тебя жалко, — продолжала Глория. — И вовсе не намерена извиняться. Ты сам напросился и, надеюсь, урок извлек. Такому по книжкам не научишься.

— Теперь я в курсе, — проговорил Джордж. — Спасибо, что пришли и спасибо за подарки, мисс Сен-Пьер. Думаю, мне лучше вздремнуть.

Джордж притворился, будто задремал, но Глория Сен-Пьер не уходила. Джордж чувствовал ее аромат совсем близко.

— Я его бросила, — сказала она. — Ты слышишь?

Джордж по-прежнему притворялся спящим.

— Когда я узнала, как он поступил с тобой, я его бросила.

Джордж не шевельнулся. Немного погодя Глория Сен-Пьер ушла.

А еще немного погодя Джордж действительно уснул. В духоте натопленной палаты, с сотрясением мозга, Джордж грезил о Глории Сен-Пьер.

Когда он проснулся, больница тоже показалась ему частью сна. Пытаясь отличить сон от яви, Джордж принялся изучать предметы на прикроватной тумбочке. Среди них были цветок и журнал, которые принесла Глория.

Обложка журнала вполне могла бы быть частью его сна, так что Джордж отодвинул журнал в сторону. Для чтения он предпочел прикрепленную к стеблю цветка этикетку. Надпись на ней начиналась вполне вменяемо. «Обильно цветущая герань Клементины Хичкок» — гласила она. После этого этикетка словно свихнулась. «Внимание! Это полностью патентованное растение! — говорилось на ней. — Вегетативное размножение строжайше запрещено законом!»

Джордж возблагодарил Господа, когда в этот бред вторгся совершенный образ реальности в лице толстяка-полицейского. Полицейский

хотел, чтобы Джордж рассказал ему об избиении. Джордж поведал мрачную историю с самого начала, а пока рассказывал, понял, что не намерен выдвигать обвинения. В том, что произошло, была какая-то грубая справедливость. В конце концов, все началось с того, что он вырубил известного гангстера, который выступал в куда меньшей весовой категории. Более того, мозги Джорджа так встряхнули, что он совершенно не мог вспомнить, как выглядели избившие его молодые люди.

Полицейский не стал уговаривать Джорджа. Он был рад, что не придется делать лишней работы. Впрочем, одна деталь из рассказа Джорджа его заинтересовала.

— Говорите, вы знакомы с Глорией Сен-Пьер?

— Я только что рассказал вам об этом.

— Она лежит через две двери от вас, — сообщил полицейский.

— Что?! — поразился Джордж.

— Именно так, — подтвердил полицейский. — Ее тоже избили — в парке прямо через дорогу от больницы.

— Сильно избили?

— Состояние тяжелое, — сказал полицейский. — Почти как у вас — сломанные лодыжки, пара

ребер, два здоровенных синяка на лице. У вас зубы все на месте?

— Да, — кивнул Джордж.

— Что ж, — пожал плечами полицейский, — а она лишилась верхних передних.

— Кто это сделал?

— Ее муж, Грац.

— Вы его поймали?

— Он уже в морге. Наш детектив застукал Граца, когда тот обрабатывал женушку. Грац побежал, и детектив пристрелил его. Так что дамочка теперь вдова.

После обеда лодыжки Джорджа поместили в гипс. Ему дали кресло-каталку и костыли. Джорджу потребовалось время, чтобы собраться с духом и навестить вдову Грац, но в конце концов он вкатился в ее палату.

Глория была погружена в чтение дамского журнала. Когда появился Джордж, она прикрыла журналом нижнюю часть лица. Но Глория чуть замешкалась — Джордж успел разглядеть расплющенные губы и дырку вместо зубов. Вокруг глаз все было иссиня-черным. Тем не менее волосы Глории были расчесаны, а в ушах красовались серьги — огромные варварские кольца.

— Мне… мне жаль, — проговорил Джордж.

Глория молча смотрела на него.

— Ты приходила ко мне, пыталась подбодрить, — сказал он. — Может, и мне удастся подбодрить тебя.

Она потрясла головой.

— Не можешь говорить?

Глория снова тряхнула головой — и слезы хлынули по ее щекам.

— Ох, господи… — Джорджа захлестнула жалость.

— Пожалуфта, уходи, — проговорила она. — Не фмотри на меня, я такая страфная. Уходи.

— Ты не так уж плохо выглядишь, правда, — запротестовал Джордж.

— Он ифуродовал меня! — Слезы полились ручьем. — Ифпортил мне внефность, и теперь ни один мужчина никогда не захочет меня!

— Ну-ну, — мягко произнес Джордж. — Синяки и опухоли сойдут, и ты вновь станешь прекрасной.

— Ага, фо вфтавными фубами! Мне и дваффати одного нет, а у меня будут вфтавные фубы! Как нищенка помойная! Уйду в монашки!

— Куда? — переспросил Джордж.

— В монашки. Все мужчины фвиньи. Мой муж был фвинья. Мой отец был фвинья. Ты фвинья. Все фвиньи. Убирайся!

Джордж вздохнул и убрался. После ужина он заснул, и ему снова приснилась Глория. А когда проснулся, он увидел Глорию Сен-Пьер в кресле-каталке у своего изголовья. Она была необычно серьезна. Гигантские кольца-серьги Глория оставила в своей палате и разбитое лицо ничем не прикрывала. Напротив, отважно и почти гордо выставляла его на всеобщее обозрение.

— Привет! — сказала она.

— Привет! — сказал Джордж.

— Почему ты не фказал мне, что ты фвященник?

— Я не священник.

— Но ты учишьфя на фвященника.

— Как ты узнала?

— Из газеты. — Газета была у нее в руках, и Глория громко прочла заголовок: — «ФТУДЕНТ БОГОФЛОВФКОГО КОЛЛЕДЖА И ФООБЩНИЦА ПРЕФТУПНИКОВ ГОФПИТАЛИЗИРОВАНЫ Ф ПОБОЯМИ ПОФЛЕ НАПАДЕНИЯ ГАНГФТЕРА».

— О господи… — пробормотал Джордж, представив, какой эффект этот заголовок произведет на декана богословского колледжа и на его собственных родителей, живущих в белом деревянном домике совсем неподалеку, в Уобаш-Вэлли.

— Почему ты не фказал мне, когда приходил?

— спросила Глория. — Ефли бы я знала, я бы никогда не говорила тех ужафных вещей.

— Почему?

— Потому что ты из тех мужчин, которые не фвиньи, — сказала она. — Я думала, ты просто фтудентишка, такая же фвинья, как офтальные, профто фтараешьфя вефти фебя не как фвинья.

— Угм, — сказал Джордж.

— Ефли ты фвященник — или учифся на него, почему же ты не ругался на меня?

— За что? — удивился Джордж.

— За те плохие вещи, которые я делала.

Она говорила серьезно. Она знала, что поступает плохо, и считала долгом Джорджа заклеймить ее позором.

— Ну, у меня ведь пока нет кафедры…

— Зачем тебе кафедра? Ты веришь или нет? Ефли веришь, кафедра не нужна. — Она подкатила кресло ближе. — Фкажи мне, что я фгорю в аду, ефли не изменюфь!

Джордж попытался улыбнуться.

— Я в этом не уверен, — проговорил он.

Глория отвернулась.

— Ты как мой отец, — презрительно произнесла она. — Он прощал, и прощал, и прощал меня — только это ни черта не было прощение! Ему

профто было плевать. — Глория покачала головой. — Боже мой, какой же жалкий, паршивый фвященник из тебя выйдет. Ты же ни во что не веришь! Мне жаль тебя.

Она развернулась и покатила прочь.

Ночью Джорджу снова приснилась Глория Сен-Пьер — на этот раз шепелявая, беззубая и с гипсом на лодыжках. Такого безумного сна ему еще не доводилось видеть. Джордж смог думать об этом сне даже с некоторым юмором. Он отдавал себе отчет, что помимо сознания и души обладает еще и телом. И не винил тело в том, что оно желало Глорию Сен-Пьер. Вполне естественное желание для тела.

Когда Джордж отправился навестить ее после завтрака, то полагал, что сознание и душа не принимают в этом участия.

— Доброе утро, — сказала Глория.

Синяки ее понемногу спадали, и выглядела она уже немного лучше. А еще у нее был приготовлен для Джорджа вопрос. Он звучал так:

— Ефли бы я была домохозяйкой ф кучей детишек, и детишки бы были послушными, — спросила она, — ты бы возрадовалфя?

— Конечно, — кивнул Джордж.

— Вот что прифнилось мне нынче ночью, — со-

общила Глория. — Я была замужем за тобой, и в доме было полно книг и детей.

Картина явно нравилась ей — но своего мнения о Джордже Глория ничуть не улучшила.

— Ну… — замялся Джордж. — Я… я очень польщен, что приснился тебе.

— Забудь! — сказала Глория. — Я пофтоянно вижу дурацкие фны. И потом, давешний фон был по большей чафти про вфтавные фубы, а не про тебя.

— Вставные зубы? — растерянно переспросил Джордж.

— Замечательные большие вфтавные фубы, — прошепелявила она. — И каждый раз, когда я хотела что-то фказать тебе или детям, они вываливалифь на пол.

— Я уверен, вставные зубы не должны выпадать, — проговорил Джордж.

— Ты бы фмог полюбить кого-то фо вфтавными фубами?

— Конечно, — кивнул Джордж.

— Когда я фпрашиваю, мог бы ты полюбить кого-то фо вфтавными фубами, я не фпрашиваю, мог бы ты полюбить меня. Я фпрашиваю вовфе не это!

— Гхм, — сказал Джордж.

— Ефли мы и поженимся, — сказала Глория, — то вряд ли надолго. Потому что ты не будешь злитьфя как положено, когда я буду плохо фебя вефти.

Наступило долгое молчание, во время которого Джордж сумел-таки понять, о чем говорит Глория. Она считала себя никчемной, потому что никто не любил ее настолько, чтобы беспокоиться о том, хорошо она поступает или плохо. А раз так, она наказывала себя сама. А еще Джордж понял, что станет паршивым священником, если его не будет сердить, когда люди делают с собой такое. Безучастие, стыдливость, всепрощение здесь не подействуют.

Глория просила его полюбить ее настолько, чтобы разъяриться.

Мир просил его полюбить настолько, чтобы разъяриться.

— Замужем или нет, — сказал Джордж, — если ты и дальше будешь относиться к себе как к дешевке, а к земле Божьей как к городской свалке, то я от всего сердца желаю тебе гореть в аду!

Радость Глории Сен-Пьер была сияющей, глубочайшей. Джордж еще никогда в жизни не доставлял женщине — и себе — такого удовольствия. И в своей невинности он предположил,

что следующим шагом должна стать женитьба.

Он попросил Глорию выйти за него. Она согласилась. Их брак был удачным. И стал для обоих концом невинности.

Рука на рычаге

© Перевод. Е. Алексеева, 2021

Эрл Харрисон по натуре был строителем империй. Он постоянно прикладывал усилия, чтобы компенсировать досадно маленький рост — большими мускулами, успешной карьерой, настойчивым умением стянуть на себя все внимание в любой компании. Мозоли на его ладонях были толще крокодиловой кожи. Он зарабатывал на жизнь строительством дорог и, разменяв четвертый десяток, успел сколотить на этом неплохое состояние. Легионы грузовиков, бульдозеров, грейдеров, катков, асфальтоукладчиков и экскаваторов несли на себе его фамилию во все уголки страны.

От возможности обладать всеми этими машинами и наблюдать за их колоссальной работой Эрл получал гораздо большее удовлетворение, чем от приносимых ими денег. Большую часть прибыли он тут же снова вкладывал в дело, которое все разрасталось и разрасталось, и предела его росту не было видно.

Жил Эрл по-спартански, без всякой роскоши

— если не считать виски, сигар и моделек поездов. Он проводил много времени на объектах и одевался чаще всего так же, как водители его могучих машин — в тяжелые ботинки и линялые штаны защитного цвета. Домик у него был маленький, и хорошенькая молодая жена Элла обходилась в нем без прислуги. И хобби у Эрла было ему под стать — он коллекционировал модели поездов, строя для них миниатюрные железные дороги и управляя маленьким миром, полным чудес механики. Тут ему тоже сопутствовал успех — маленькая фанерная империя росла так, словно ею правил Наполеон. В фантазии Эрла все, что касалось его игрушечной железной дороги, приобретало не меньшую важность, чем его дела в большом мире.

Лязгая металлом, брутальный черный паровой локомотив 4-8-2 «Горный» с ревом въехал на эстакаду и нырнул в разверстую пасть туннеля, увлекая за собой грохочущий состав товарных вагонов. Через пять секунд локомотив, известный на этой дороге под прозвищем Старый Злюка, вырвался наружу с ревом раненого дьявола.

Было субботнее утро, и на посту машиниста дежурил Эрл Гаррисон по прозвищу Дроссель. Стального цвета глаза под козырьком полосатой

фуражки от напряжения были сощурены так, что превратились в щелочки. Поезд шел на восток по одноколейке и отставал от расписания — на горизонте вот-вот должен был появиться встречный пассажирский экспресс. Спасение — стрелка на боковую колею — было уже не так далеко, но прежде Старому Злюке надлежало преодолеть Вдовью Шпильку, самый коварный поворот на участке между Гаррисонбургом и Эрл-Сити.

Пассажирский экспресс вдалеке мрачно загудел. Дроссель стиснул зубы. Ему оставался только один выход. Он прибавил скорость на полную; Старый Злюка пулей промчался мимо водонапорной башни и свернул на Шпильку.

Рельсы стонали и гнулись под яростно крутящимися колесами. Вдруг на самом пике Шпильки локомотив пошатнулся и задрожал. Машинист вскрикнул. Локомотив сошел с рельс и вместе с вагонами покатился вниз по насыпи.

И наступила тишина.

— Черт!

Эрл отключил питание, встал с табурета и подошел к Старому Злюке, беспомощно лежащему на боку.

— Погнул сцепную ось и бегунковую, — сочувственно произнес Гарри Зелленбах.

Они с Эрлом третий час сидели в подвале, неустанно гоняя воображаемых пассажиров и грузы между нагревательным котлом и водоумягчительным агрегатом.

Эрл поставил Старого Злюку на рельсы и осторожно покатал туда-сюда.

— Да, и коробка зольника помялась, — мрачно заключил он и вздохнул. — А ведь Старый Злюка — мой первый локомотив, я его купил, когда только начал строить дорогу. Помнишь, Гарри?

— А то как же!

— И он будет ездить по этой дороге, пока она мне не наскучит!

— То есть до второго пришествия, — заметил Гарри с удовлетворением.

У него были причины радоваться. Этот хилый долговязый человек, проводивший большую часть жизни в подвалах, был владельцем местного магазинчика для коллекционеров. И по его собственным скромным понятиям о богатстве, в лице Эрла Гаррисона он нашел золотую жилу. Эрл исправно скупал весь его ассортимент моделей в масштабе один к восьмидесяти семи.

— Да, до второго пришествия, — подтвердил Эрл.

Он вытащил из-за гипсового горного хребта

банку пива и выпил за мир, который принадлежал ему и неуклонно рос.

В подвал заглянула его жена Элла и позвала с лестницы:

— Эрл, милый, обед на столе.

Она произнесла это вежливо и словно извиняясь, хотя приглашение было уже третьим по счету.

— Все-все, иду, — отозвался Эрл. — Две секунды.

— Иди, пожалуйста. — К жене присоединилась мать Эрла. — Элла приготовила такой чудный обед, сейчас все остынет и станет невкусным.

— Ага, сейчас, — рассеянно бросил Эрл, пытаясь выпрямить сцепную ось Старого Злюки отверткой. — Можете вы набраться терпения и подождать пару секунд?

Дверь в подвал закрылась, и Эрл вздохнул с облегчением.

— Ей-богу, Гарри, у меня теперь не дом, а дамский клуб, — пожаловался он. — Женщины, женщины…

— Понимаю, — ответил Гарри. — Но могло быть и хуже. У тебя хоть мама гостит, а ко мне вот регулярно наведывается теща. К тому же мама у тебя очень милая.

— Ну да, милейшая, никто не спорит. Только она до сих пор обращается со мной как с ребенком, и я от этого зверею. Я уже не мальчик!

— Я всем так и буду говорить, — пообещал Гарри.

— Денег у меня сейчас в десять раз больше, чем было у отца, а груз ответственности на мне вообще раз в сто больше.

— Ну, так скажи им.

— Эрл, — снова позвала жена с лестницы, — милый, идем обедать…

— Эрл, имей совесть! — возмутилась мать.

— Видишь? — шепнул Эрл Гарри. — Как с ребенком! — А в сторону лестницы крикнул: — Ну говорю же, две секунды! — И он вернулся к работе, сердито бормоча: — Мой Старый Злюка расшибся, а им все равно. Женщины обожают причитать, что мужчинам следует получше разобраться в их психологии, сами же десяти секунд в год не тратят на попытки увидеть ситуацию с мужской точки зрения.

— Понимаю тебя, Дроссель.

— Да чтоб тебя, Эрл! — не выдержала Элла.

— Я буду раньше, чем ты успеешь сказать «Джек Робинсон», — заверил Эрл.

* * *

Двадцать минут спустя Эрл действительно пришел. Обед к тому моменту действительно простыл. Гарри Зелленбах отклонил вежливое приглашение Эллы сесть вместе с ними за стол, сославшись на необходимость срочно доставить набор юферсов и сваек одному клиенту, который строит у себя в подвале модель фрегата «Конституюшен».

Эрл снял красный шейный платок и фуражку, поцеловал жену, потом мать.

— Что тебя так задержало — опять стрелочники бастуют? — спросила жена.

— У него много срочных оборонных грузов, — проговорила мать. — Не мог же он подвести наших ребят на фронте из-за какого-то обеда.

Мать у Эрла была хрупкая, как птичка, очень женственная и на вид совершенно беззащитная. Однако Господь ниспослал ей шестерых задиристых сыновей, в доме старшего из которых она теперь и гостила. В свое время ей пришлось научиться быть хитроумной и находчивой, как мангуста, чтобы добиться от них хоть какого-то послушания. Мечтая о ласковой дочке в платьице с рюшечками, она училась дзюдо и играть в

бейсбол.

— Вообрази, что станется, если перекрыть им снабжение! — говорила она Элле. — Так им, чего доброго, придется сдать водонагреватель на милость противника и отступить к предохранительному шкафу.

— А-а-а… — вздохнул Эрл, улыбаясь со смесью неловкости и раздражения. — Имею я право хоть иногда расслабляться? И я не должен по этому поводу никому приносить извинения.

Еще два дня назад, до приезда матери, ему и в голову бы не пришло, что кто-то может ожидать от него извинений. Прежде Элла никогда не ругалась с ним из-за игрушечной железной дороги. И вдруг на коллекционеров моделек открылся сезон охоты.

— Женщинам тоже полагаются кое-какие права, — заметила мать.

— Им уже дали право голосовать и свободно входить в питейные заведения, — сказал Эрл. — Чего еще надо? Права наравне с мужчинами толкать ядро?

— Нам надо элементарной вежливости, — отрезала мать.

Эрл не ответил. Вместо этого он выудил журнал из стопки и сел за стол вместе с ним. По случай-

ному совпадению, журнал раскрылся на рекламе моделек. Танки и артиллерия, точность в каждой детали, масштаб один к восьмидесяти семи. Эрл углубился в изучение фотографии, оценивая выбранный фон и общий реализм композиции.

— Милый, — вздохнула Элла.

— Так, Дроссель! — одернула его мать. — К тебе обращается жена. Твоя спутница жизни.

Эрл с неохотой отложил журнал.

— Валяй, я слушаю.

— Милый, я подумала, а не могли бы мы сегодня все вместе в ресторан сходить вечером? Ну, для разнообразия? Вот в «Стейк-хаус Лу», например?

— Лапа, давай не сегодня, а? Мне бы разобраться с системой блоков…

— Эрл, будь человеком! — воскликнула мать. — Своди ее куда-нибудь. Идите вдвоем, развейтесь, я дома чего-нибудь перекушу.

— Да я ее регулярно куда-то вожу! Мы вообще много развлекаемся! Вот в прошлый вторник гулять ходили! Правда же, Элла?

— Ходили, — подтвердила Элла без особого энтузиазма. — В железнодорожное депо. Смотреть на новый газотурбинный локомотив. Его там выставили для демонстрации.

— О, какая прелесть, — сказала мать. — Ни

один мужчина не водил меня полюбоваться на локомотив.

Эрл ощутил, как от злости у него багровеет загривок.

— Да что вы обе цепляетесь ко мне второй день?! Я много и хорошо работаю, мне положен полноценный отдых. Да, мне нравятся поезда. Что вы имеете против поездов?

— Я ничего не имею против поездов, милый, — ответила мать. — Не представляю, какой была бы наша жизнь без поездов. Но поездами жизнь не ограничивается. Ты всю неделю на работе, приходишь такой усталый, что нет сил даже словом перемолвиться, а в выходные не вылезаешь из своего подвала. Ну и каково, по-твоему, бедняжке Элле?

Элла вяло попыталась остановить ее:

— Мама, не надо…

— Интересно, а ради кого я вкалываю по десять, по двенадцать часов в день?! — выпалил Эрл. — Откуда взялись деньги на этот дом, на эту еду, на автомобили, на одежду? Я обожаю свою жену и ради нее пашу как проклятый!

— А нельзя ли как-то найти золотую середину? — поинтересовалась мать.

— Знаешь что? В деле строительства дорог того,

кто ищет золотую середину, быстро сжирают конкуренты!

— Какая милая картина!

— Уж какая есть. И я много раз звал Эллу поиграть. Никто не мешает ей проводить выходные со мной — пусть идет в подвал и развлекается. Я же звал тебя, Элла? Многие жены разделяют увлечения своих мужей.

— Да, так и есть, — призналась Элла. — Вот жена Гарри Зелленбаха, например, кладет рельсы, разбирается в трансформаторах и может часами говорить о схемах сочлененных паровозов.

— Ну, это на самом деле перебор, — сказал Эрл. — Все-таки Мод Зелленбах слегка с приветом. Но Элла могла бы найти в этом что-то для себя, если бы хоть попробовала. Я подарил ей на день рожденья модель горного паровоза М-1 Пенсильванской железнодорожной компании, а она ее за полгода ни разу из депо не вывела!

Мать Эрла повернулась к невестке.

— Элла, как ты могла? Если бы у меня была модель горного паровоза, Господь свидетель, я бы всю работу по дому забросила.

— Ладно, поиздевались — и хватит, — произнес Эрл. — Дайте человеку поесть спокойно. Мне много чего надо обдумать.

— А может, после обеда на автомобиле прокатимся? — предложила Элла. — Ты бы показал маме, как у нас тут красиво. На свежем воздухе гораздо лучше думается.

Чувствуя давление женского заговора, Эрл решил не сдаваться. Он не позволит собой манипулировать.

— Тут есть одна закавыка. У Гарри в магазине сегодня привоз, он обещал дать мне первым взглянуть на товар. Сейчас с металлом перебои, сами знаете, так что поставки маленькие, кто успел — тот схватил. Вы поезжайте, а я лучше останусь.

— Чувствую себя матерью наркомана… Не так я его воспитывала.

— А-а-а… — снова застонал Эрл.

Взгляд его упал на раскрытый журнальный разворот. Там была статья о коллекционере, жена которого писала красками фон для его макета — чудесные маленькие дома и коровники, поля со стогами, заснеженные горные вершины, птичек в облаках и все такое.

— Вы с Эллой не ходили ни в кино, ни в ресторан четыре месяца. Тебе стоило бы сводить ее куда-нибудь.

— Не надо, мама, — сказала Элла.

Эрл отложил журнал и произнес ровным тоном:

— Мама, я нежно люблю тебя, как положено хорошему сыну. Но я тебе не маленький мальчик. Я взрослый мужчина, я имею право строить свою жизнь так, как считаю нужным, не спрашивая твоего мнения. У нас с Эллой все в порядке, и мы ходим с ней по кино и ресторанам, как только у меня появляется свободное время. Так ведь, Элла?

— Да, — ответила Элла и тут же все испортила, прибавив: — Наверное…

— Так вот, сегодня у Гарри привоз товара, и мне надо починить систему блоков, в общем, извините, но…

— Она поможет тебе починить систему блоков. Элла тебе поможет, вечер у тебя освободится, и вы пойдете гулять.

— Я могу, — сказала Элла.

— Ну, тут такое дело… — замялся Эрл. — Там, короче… Что ж, ладно.

Элла работала хорошо и усердно. Ее тонкие пальцы были ловкими, и она моментально сообразила, как соединять и паять провода. Эрлу пришлось показать ей всего один раз.

— Господи, и чего мы раньше так не делали?

— восклицал Эрл. — Цирк, правда?

— Ага, — отвечала Элла, кладя зернышко припоя на соединение.

Эрл хлопотал вокруг своего макета и всякий раз, проходя мимо

жены, горячо обнимал ее.

— Видишь? — повторял он. — Не зря говорят, пока не попробуешь, не полюбишь!

— Ну да.

— Вот сейчас спаяешь последнюю цепь, и перейдем к настоящему веселью. Запустим поезда и посмотрим, как у нас тут все работает.

— Как скажешь, милый. Все, я закончила.

— Чудненько!

Вместе они убрали провода под рельсы, и Эрл, обвивая рукой талию жены, прочел длинную — местами поэтичную, местами философскую, местами чисто техническую — лекцию о макетостроении. Потом он торжественно усадил Эллу на табурет и возложил ее руку на рычаг управления. Он надел ей на голову свою фуражку, которая оказалась Элле велика и села ей ровно на уши. Большие темные глаза едва виднелись из-под козырька и поблескивали там в глубине, как у зверушки, в страхе забившейся в неглубокую нору.

— Так-так, — проговорил Эрл, окидывая макет взвешивающим взглядом, — какую бы нам придумать ситуацию…

— Сложно будет выдумать нечто менее вероятное, чем то, что есть, — заметила Элла, холодно рассматривая миниатюрный ландшафт в ожидании дальнейших распоряжений.

Эрл был погружен в свои мысли.

— Есть разница между детской игрушечной железной дорогой и полноценным макетом, — проговорил он. — Ребенок просто гоняет поезд по кругу, вот и вся игра. Макет же сделан так, чтобы решать на нем транспортные задачи — совсем как на настоящей дороге.

— Рада слышать, что есть разница, — сказала Элла.

— Ага, придумал задачку! Большая партия мороженой говядины прибыла в Эрл-Сити для отправки в Гаррисонбург.

— Господи… — выдохнула Элла с обреченным видом.

— Ты не паникуй, — велел ей Эрл назидательно. — Здесь главное — холодный рассудок. Берешь вот этот болдуинский дизельный, ведешь в парк, цепляешь вагоны-холодильники, отправляешь на погрузочную платформу, потом загружаешь

лед, потом ведешь на сортировочную станцию южного направления. Потом выводишь из депо свой горный паровоз, цепляешь состав к нему, и все, можно отправляться!

— И все, да?

— Я помогу тебе для первого раза.

Эрл встал у жены за спиной и, обнимая ее, принялся жать на кнопки и дергать рычаги.

Несколько часов спустя они все еще были в подвале, но теперь уже сидели перед панелью управления рядышком.

Восторженный и свежий как огурчик, Эрл дернул за рычаг, и тупоносый дизель-электрический локомотив с урчанием выполз с запасного пути, подцепил состав вагонов с опрокидывающимся дном и стал взбираться по длинному гипсовому уклону к углепогрузчику. «Динь-дилинь-дилинь!» — заверещал предупреждающий колокол на пересечении путей. Маленький человечек высунулся из будки и помахал фонариком.

Усталая, но целеустремленная Элла провела пассажирский экспресс через туннель под грузовым составом мужа.

Эрл нажал на кнопку, Элла нажала на кнопку, и два локомотива веселым свистом поприветствовали друг друга.

— Элла, — позвала миссис Гаррисон с лестницы. — Если вы будете ужинать в ресторане, вам пора бы уже собираться.

— Как время-то пролетело! — засмеялся Эрл. — Я и не заметил. — Он щелкнул пальцами. — Хоп, и полдня нет!

Элла взяла его за руку. Она сразу ожила — как рыба, которую сняли с крючка и бросили назад в глубокую холодную воду.

— Пойдем, — сказала она. — Что мне надеть? Куда пойдем? Что будем делать?

Эрл подтолкнул ее к лестнице.

— Ты пока одевайся, я сейчас. Только на место все уберу.

В качестве триумфального завершения своего совместного пребывания в подвале Эрл и Элла вывели из депо практически все сокровища Эрла, так что теперь ему предстояла немалая работа. В принципе, он мог бы просто собрать все руками и расставить по местам, справившись с задачей за несколько минут, пока жена прихорашивается. Но Эрл скорее ограбил бы бедняка на паперти, чем пошел на такое. Локомотивы поехали в пункты назначения своим ходом, соблюдая положенную скорость.

Мигали сигнальные лампочки, опускались и

поднимались шлагбаумы, звенели колокольчики. Гордость и эйфория наполняли все существо Дросселя Гаррисона, который движением пальца управлял собственным кусочком вселенной.

Сквозь гул и перезвон он услышал, как хлопнула подвальная дверь. Пришел Гарри Зелленбах. Он так и сиял, прижимая к себе длинную, явно тяжелую коробку.

— Гарри! — воскликнул Эрл. — Полдня от тебя вестей дожидаюсь. Уж думал, ты про меня забыл.

— Я скорее забуду собственное имя, — заверил его Гарри, бросил многозначительный взгляд на коробку и подмигнул. — В сегодняшней партии было либо то, что у тебя уже есть, либо полнейшая ерунда, так что я не стал тебе звонить. Но одна штука… — Он сделал театральную паузу. — После меня и моей жены ты увидишь ее первым. Больше никто пока даже не знает, что у меня это есть.

Эрл похлопал его по плечу.

— Ты настоящий друг!

— Стараюсь, — скромно ответил Гарри, устраивая коробку на краешке макета и медленно поднимая крышку. — Вот, первый экземпляр в штате.

В коробке, как драгоценная тиара, лежал

длинный изящный локомотив, сдержанно поблескивая глянцевыми черно-оранжевыми поверхностями, серебром и хромом.

— Вестингаузский газотурбовоз, — хрипло прошептал Эрл в благоговении.

— И всего за шестьдесят восемь долларов сорок девять центов, — сказал Гарри. — Почти за столько я его и взял, и это отличная цена. Он еще ревет, и свисток у него встроенный.

С трепетом Эрл установил модель на рельсы и аккуратно подключил. Гарри молча взялся за управление. Завороженный, Эрл ходил вдоль макета за чудо-локомотивом, не сводя с него глаз, и только издавал пораженные возгласы, когда иллюзия реальности становилась особенно сильной.

— Эрл… — позвала Элла.

Он не ответил.

— Дроссель!

— М-м? — рассеянно отозвался Эрл.

— Пойдем, а то поужинать не успеем.

— Слушай, поставь еще одну тарелку, пожалуйста. Гарри будет ужинать с нами. Гарри, ты ведь останешься? Ты же наверняка хочешь посмотреть, что умеет этот красавец.

— С удовольствием, Дроссель.

— Эрл, мы собирались идти в ресторан, — напомнила Элла.

Эрл выпрямился.

— Ах ты господи, точно…

— Только послушай! — Гарри нажал на кнопку, и паровоз испустил резкий пронзительный свист.

Эрл восхищенно покачал головой.

— В понедельник, — крикнул он Элле. — Мы с тобой сходим в понедельник. Золотко, тут такое чудо, ты себе не представляешь!

— Эрл, мне и кормить-то вас нечем… — В голосе Эллы прозвучала безысходность.

— Да ты не переживай, сообрази там, что придется — сыр, суп, может, сандвичи…

— Каков запас мощности, Дроссель! — воскликнул Гарри. — Он легко взбирается на этот уклон, притом что двигатель сейчас пашет вполоборота! А теперь смотри, что будет.

Эрл присвистнул от восторга, и вдруг ему на плечо легла рука матери.

— Привет, мам. Глянь, что у нас тут! Каково, а? Новая эра в железнодорожном деле! Турбинный локомотив!

— Нельзя так поступать с Эллой, — перебила его мать. — Она уже вся разоделась и настроилась, а

ты взял и все отменил в последний момент.

— Не отменил, а перенес, ты что, не слышала? В понедельник сходим. И потом, она теперь тоже без ума от моей железной дороги, она все понимает. Мы с ней сегодня шикарно провели время.

— Никогда и ни в ком я не была еще так разочарована, — ровным тоном проговорила мать.

— Просто это за гранью твоего понимания, вот и все.

Не ответив, мать развернулась и ушла.

Элла принесла мужу и Гарри в подвал суп, пиво и сандвичи, за что они поблагодарили ее со всей галантностью.

— Потерпи до понедельника, и мы с тобой пойдем гулять, милая, — сказал ей Эрл.

— Да. Ладно. Хорошо, — ответила Элла безжизненно.

— А вы с мамой наверху будете ужинать?

— Мама уехала.

— Уехала? Куда это?

— Не знаю. Такси вызвала.

— Она всегда такая, — заметил Эрл. — Как вобьет себе что-то в голову, вдруг бац! — взяла и сделала. Причем любую дурь. Никаких тормозов у человека. Сама себе начальник.

Наверху зазвонил телефон, Элла пошла отве-

тить.

— Гарри, это тебя, — крикнула она. — Твоя жена.

После разговора Гарри спустился в подвал с широченной улыбкой. Приобняв Эрла за плечи, он ни с того ни с сего запел «С днем рожденья тебя». Эрл удивленно дослушал его «с днем рожденья, милый Дроссель, с днем рожде-е-енья те-е-ебя-а-а» и проговорил:

— Спасибо, конечно, только до него еще девять месяцев.

— Да? Хм. Странно.

— А что такое?

— Ну… твоя мама только что зашла к нам в магазин и купила тебе подарок на день рожденья. Вот Мод и позвонила, чтобы я поздравил…

— А что купила-то?

— Не могу, это же сюрприз! Я и так сболтнул слишком много.

— Модель? — спросил Эрл, заглядывая ему в глаза.

— Да, но это все, что я могу тебе выдать.

Снаружи послышался шорох колес по гравийной дорожке.

— Вернулась, — сказал Эрл. — Знаешь, Гарри, все-таки она милая.

— Она же тебе мать, — заметил Гарри рассудительно.

— Конечно, в свое время у нее был тот еще нрав, бегала она, как ветер, и то и дело могла поймать меня и как следует мне всыпать. Но всякий раз по делу — ей-богу, я сам напрашивался.

— Мама всегда знает, как лучше, Дроссель.

— Господи, мама, что это у вас? — донесся голос Эллы. — Что вы задумали? Мама…

— Быстро, — шепнул Эрл. — Делаем вид, что мы заняты железной дорогой и ничего не подозреваем. Сюрприз так сюрприз.

И оба увлеченно погрузились в катание поездов, будто не слыша шагов на лестнице.

— Давай-ка попробуем такую задачку. В Гаррисонбурге намечается большое масонское собрание, и нам надо пустить пару дополнительных…

Эрл осекся, не договорив. Он заметил, что Гарри обернулся и замер в ужасе.

Воздух прорезал визг, от которого кровь стыла в жилах.

Эрл посмотрел на мать, и волосы на загривке у него встали дыбом.

— Уиииииииииу! — снова заверещала она.

Эрл вздрогнул и отшатнулся. Мать злобно

смотрела на него сквозь защитные очки летного шлема. На вытянутой руке она держала модель бомбардировщика и с жуткими звуками изображала, как он летит, заходя на круг.

— Мама! Ты что делаешь?!

— Играю! Врррумммврррумммм! Пилот бомбардиру: как слышно, прием! Врррумммм! Уиииииииу!

— Ты с ума сошла?!

Бомбардировщик, выполняя в воздухе головокружительные маневры типа «бочка» и «мертвая петля», с ревом обогнул котел отопления.

— Вас понял. Так точно. Уиииииу! Тра-та-та-та-та! Цель сбита!

Эрл обесточил макет и безучастно ждал, когда мать появится из-за котла. Она выскочила с жутким ревом и прежде, чем Эрл успел спохватиться, влезла прямо на макет с проворством, неожиданным для ее почтенного возраста. Одной ногой она наступила в каньон, другой — на сделанное из зеркала озеро. Фанера заскрипела под ее весом.

— Мама! Слезай!

— Бомбы пошли! — выкрикнула мать и с пронзительным свистом разнесла в щепки эстакаду. — БУБУМ!

Бомбардировщик заходил на новый круг.

— Врррврррвруиии! Пилот бомбардиров: готовь-

те атомную бомбу!

— Нет-нет-нет! — взмолился Эрл. — Мам, не надо, пожалуйста! Я сдаюсь!

— Только не атомную бомбу! — выдохнул Гарри в ужасе.

— Атомная бомба готова, — с мрачной решимостью сообщила мать и направила бомбардировщик на главное депо. — Уиииииииу! Пошла!

И она с размаху села на конструкцию.

— БАБАХ!

А потом она преспокойно слезла и удалилась, пока Эрл приходил в себя.

Когда, усталый и опустошенный, он наконец вылез из подвала, то обнаружил в доме одну Эллу. Жена с оторопелым видом сидела на диване, вытянув ноги перед собой и глядя в стену.

— Где мама? — спросил Эрл.

В его голосе не было гнева, только шок.

— В кино пошла, — ответила Элла, не поворачиваясь. — Велела таксисту ее ожидать.

— Блицкриг. — Эрл помотал головой. — Уж если она разозлилась, спасайся кто может.

— Она уже не злится, — сказала Элла. — Она выпорхнула из подвала, напевая, как птичка.

Эрл пробурчал что-то, переминаясь с ноги на ногу.

— М-м? — Элла вопросительно посмотрела на него.

Эрл покраснел и расправил плечи.

— Я говорю, наверное, я сам напросился. — И он снова пробормотал что-то нечленораздельное.

— М-м?

Эрл откашлялся.

— Я говорю, извини, что тебя сегодня подставил. Иногда я все-таки туго соображаю. Мы еще можем успеть в кино. Хочешь со мной пойти?

— Дроссель, это ж просто блеск! — выпалил Гарри Зелленбах, влетая в комнату. — Одуреть можно!

— Что там?

— Смотрится правда как после бомбежки! Серьезно! Если сфотографировать и показать, всякий скажет: «Да это настоящее поле боя». Я сейчас сбегаю в магазин, возьму пулеметы из наборов для авиамоделей, приделаем их к паре твоих поездов! И в защитный цвет перекрасим! И у меня для тебя найдется полдюжины «першингов» в нужном масштабе!

Глаза Эрла на секунду загорелись восторгом, как иногда вспыхивает на короткий миг фитилек только что выключенной лампы накаливания.

— Нет, Гарри, давай-ка выбросим белый флаг и

закончим на сегодня. Знаешь ведь, что генерал Шерман говорил о войне. Я лучше постараюсь заключить почетный мир.

Эдем на берегу реки

© Перевод. Е. Парахневич, 2021

Когда мимо проходил охотник, юноша и девушка притворились, что не знают друг друга, просто гуляют каждый сам по себе, любуясь птицами. Охотник одарил их насмешливым взглядом: мол, не смешите меня, уж я-то сразу вижу влюбленных.

Стоило ему исчезнуть в лесу, как они продолжили игру с камешком. Юноша — ему исполнилось семнадцать — был высоким, но еще нескладным, как домашняя стремянка. Запястья окрепли, а плечи оставались узкими. Руки и ноги были несуразно длинными, и оттого он ходил неуклюже, будто на ходулях. На круглом детском лице то и дело проступало удивленное выражение — как это он оказался так высоко от земли?

Юноша сошел с тропинки и прильнул спиной к дереву, задыхаясь от счастья и волнения в ожидании момента, когда девушка толкнет камешек.

Камешек был маленьким и синим, как яйцо малиновки. Он едва выглядывал из мокрого мха. Юноша с девушкой пинали его по тропинке уже

целую милю с того места на дороге, где нашли.

Теперь в пятидесяти метрах от них тропинка заканчивалась у реки. Девушке было девятнадцать, и потому она выглядела более зрелой и крепкой. Сосредоточенно нахмурив лоб, она подошла к камешку и пнула его.

Тот заскользил по тропинке. Юноша бросился вперед, чуть присел, словно уворачиваясь от невидимого противника, и сделал выпад, изо всех сил ударяя по камню.

Камешек взвился в воздух, упал в воду и, мелькнув напоследок в ряби, ушел на дно.

Юноша победно улыбнулся, словно совершил невиданный геройский поступок.

Девушка его не разочаровала. Ее взгляд был полон любви и восторга.

— Зачем же так далеко? — спросила она. — Прямо в реку… Он мне нравился. Я хотела его оставить.

— Найдем другой по дороге обратно, — отмахнулся юноша. — Оставишь тот.

— Он будет уже не таким, — возразила она. — Другие камешки некрасивые.

— Камень как камень, — пожал юноша плечами.

— Мужчины всегда так говорят. И только жен-

щина может понять, что нужно оставить, а что выкинуть. — Она уселась на плоский валун у берега и похлопала по нему рукой. — Иди сюда. Здесь сухо.

Юноша задумался на секунду, а потом сел метрах в трех от нее, в тени, где росли стебли тростника.

— Тебе правда там удобно? — спросила девушка. — На солнышко не хочешь?

— Все отлично, — заверил тот. — Правда.

Он находил извращенное удовольствие в том, чтобы держаться от нее на расстоянии.

— Наверное, таким и был Эдем до яблока, — протянула девушка. — Простым. И чистым.

— Угу, — подтвердил юноша.

Когда они оставались наедине, ласковые слова будто лились из девушки сами собой. Он же спотыкался на каждой фразе и невпопад мычал, с трудом поддерживая разговор. В голове витал туман, юношу охватывало странное чувство гордости и покоя.

— Одни лишь звери и растения кругом. И среди них двое людей, — продолжала девушка. — Так тихо. — Она сняла туфли и вытянула ноги, обмакивая пальцы в воду. — И все, что мы говорим, звучит впервые. И больше никого, кроме нас…

— Ага. — Юноша отвел безучастный взгляд от розовых пальчиков и стройных лодыжек, вытащил ножик и принялся срезать кору с молодого ствола. — Она, наверно, думает, куда это мы подевались.

— Мы там, где должны быть, — ответила девушка.

— Даже не знаю, что мы скажем в свое оправдание… Взять — и сбежать вот так, как дети, чтобы играться с каким-то булыжником.

— Оправдываться и не надо, — возразила девушка. — Мы не дети. Сегодня мы стали взрослыми.

Юноша недоуменно потряс головой.

— С ума сойти! Я и не думал, что мы на такое способны!

— А мне понравилось, — просто сказала девушка. Ее, казалось, ничуть не удивило и не озадачило то, что произошло между ними.

Юноша сосредоточенно нахмурился.

— Это был самый безумный поступок на свете… Я всего лишь хотел уйти подальше от той толпы. Увидел на дороге камешек. Потом ты подошла. Я толкнул его. Затем ты…

— …И вот мы здесь, — подхватила она. — А я давно наблюдала за тобой в окно.

— Да?

— Ты разве не чувствовал? Я вот всегда чувствую, если на меня смотрят.

Юноша опустил нож и покраснел. Оказывается, она за ним тайком наблюдала…

— Я думал, ты где-то там, в своем мире. Занята делами, размышляешь о том, что будет…

— Я смотрела на тебя. Ты стал таким высоким и красивым.

— Я выгляжу как клоун.

— Нет, — возразила она.

— Ты одна так считаешь.

Девушка недовольно тряхнула головой.

Юноше стало стыдно за свои жалобы. Чтобы скрыть смущение, он резко встал, отряхивая руки.

— Пойдем-ка домой.

— Я еще не готова.

— Ну, рано или поздно нам придется возвращаться.

— Сперва нам стоит кое-что обсудить, — настаивала девушка.

Он пожал плечами.

— Мы вроде все обсудили. Раз сто уже говорили.

Глядя в воду, девушка вдруг распахнула гла-

за, потому что ей в голову пришла внезапная мысль.

— Ты мог бы меня поцеловать. Это сказало бы больше, чем слова. Ты же не против? — ровным голосом предложила она.

Юноша потрясенно замер.

— Я… Нет, я… не против. Прямо сейчас?

— Да. Думаю, это было бы здорово.

— Ну… да, конечно.

Он приблизился к ней, беспомощно опустив болтающиеся плетьми руки. Глядя на девушку сверху вниз, юноша чувствовал себя идиотом, словно принимал участие в дурацком розыгрыше.

— В лоб?

— Хорошо, — согласилась она.

Он нежно и легонько, словно падающий лист, скользнул губами по ее лбу. Отстраниться не успел — девушка вдруг прижалась к нему щекой. Юноша вспыхнул и, чувствуя, как горит на лице кожа, торопливо отскочил на свое место в тенистых зарослях тростника.

— Все хорошо? — спросил он.

— Отлично, — сказала девушка. — Сегодня ты поцеловал меня в первый раз. Почему?

— Почему?.. Ну, наверное… — Он неопределен-

но замахал руками. — Все не так просто… Ну…

Ее лицо с момента поцелуя не изменилось. Девушка по-прежнему глядела на воду.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросила она вдруг.

— Нет.

— Я думаю, что все как раз таки очень просто.

Она встала и обулась, а на губах у нее играла загадочная улыбка.

— Вот теперь можно идти. Пора возвращаться.

Казалось, девушка сбросила с плеч какой-то тяжкий груз.

По дороге домой она была безмятежной и отстраненной. Юноша нашел другой камешек, белый, и толкал его перед собой, демонстрируя сложные финты.

Девушка не обращала на него внимания, и он почувствовал себя глупо.

Зашвырнув камешек очередным броском в траву, юноша сунул руки в карманы, ссутулил плечи и задумался о своем.

Интересно, она злится на него, потому что он не признал, как она ему нравится, или потому что он сам не догадался ее поцеловать? Когда она заявила ему недавно, что любит другого мужчину, то ждала какого-то ответа. А он ничего не сказал.

Хотел сказать — много чего, — но вместо этого молча сбежал.

На обратном пути они снова повстречали охотника. Тот старательно отводил глаза. Однако поравнявшись с юношей, вдруг посмотрел на него и многозначительно, с крайне непристойным видом, подмигнул.

У дверей большого белого дома юношу с девушкой встретила худощавая женщина лет сорока, одетая в праздничный наряд. Позади, в сгущающихся сумерках, люди чистили столовое серебро, протирали зеркала, расставляли цветы в вазах, полировали и без того сверкающую деревянную мебель. Где-то хрипел пылесос, изредка стукаясь о стены.

— Куда это вы подевались? — с несчастным видом спросила женщина. В руках она теребила носовой платок. — Гости прибудут уже через час!

— Времени еще полно, — возразила девушка. — Платье наверху готово. Я мерила его раз десять. Все пройдет отлично.

— Будь твои отец с матерью живы, от них бы ты не сбежала, ни слова не сказав!

— Так было надо, — твердо заявила девушка, невозмутимо глядя на женщину. — Мне нужно

было уйти, тетя Мэри.

— Стоило бы меня предупредить.

— Я не знала заранее, что так выйдет. Пойду наверх собираться.

Она прошла мимо тети и стала подниматься по лестнице, перешагивая через две ступеньки.

— Хейден! — окликнула тетя ее в спину. — Пора бы тебе узнать, что такое ответственность перед другими людьми! — Потом повернулась к юноше и заявила: — Тебе тоже надо переодеться.

— Хорошо

— Помнишь, что должен говорить?

— Да, — ответил он.

— Только прежде откашляйся, чтобы голос не сорвался.

— Ладно.

Лицо у нее стало мягче.

— Ох, боже мой, я наверняка расплачусь. Просто не сдержу себя, когда ты начнешь говорить… — В уголках глаз задрожали слезы. — Разрыдаются все! Ты встанешь — весь такой серьезный й строгий…

— Угу, — смущенно буркнул мальчик. Он хотел было проскочить в дом, однако женщина поймала его за рукав.

— Ты ведь понимаешь, как сильно все изменит-

ся после твоих слов?

Юношу невероятно раздражали и ее слезы, и бесконечные вопросы.

— Да, конечно, понимаю, — пробормотал он.

— Точно? — с нажимом переспросила она.

— Да понимаю, понимаю! — повторил юноша. — Сказал же!

Она выпустила его и отступила на шаг.

— Почему ты злишься?

Юноша раздраженно взмахнул руками.

— Да не знаю я! — рявкнул он. — Все только и говорят мне: отойди, подойди, скажи то-то, молчи, встань, сядь! — Провались она пропадом, эта свадьба! — Не хочу! Это женское занятие! И мне оно не нравится. Когда уже все закончится, и я смогу наконец жить своей жизнью?!

Юноша, жених и шафер стояли в подвале белого дома. Над головой то и дело шаркали ноги прибывших гостей.

Жених снял крышку с водомера, придирчиво взглянул на показания счетчика, после чего закрутил ее обратно.

— А тебе разве не надо быть наверху? — спросил он у юноши.

— Вот и проверим, — отозвался юноша. — Если мне надо быть наверху, сейчас спустится кто-

нибудь из женщин и утащит за собой. А пока я лучше побуду с вами.

— Тоже мне, нашел компанию, — хмыкнул шафер.

— А кто еще сегодня нужен? — спросил юноша.

Шафер ухмыльнулся.

— Говоришь так, будто сам женишься. — Он протянул руку к шаферу. — Дай-ка еще разок глотну.

Тот передал ему серебристую флягу. Жених поднес ее к губам. Пил он с открытыми глазами, не спуская с юноши взгляда.

Юноше нравилась здешняя атмосфера товарищества. Тут он, по крайней мере, был с мужчинами, знакомыми и интересными — подальше от женской суеты. Никто ничего не требовал и не смущал странными разговорами, вызывая в душе разные чувства.

— Я бы тоже выпил, если дадите, — попросил он.

Жених протянул было ему флягу, но тут же отдернул руку.

— Постой-ка, — насмешливо начал он. — Спаивать несовершеннолетнего?..

— Хуже, — подыграл шафер. — Подрывать его здоровье.

— Ну да, — продолжил жених, — он ведь еще растет. Нельзя рисковать таким телом, — в будущем оно наверняка осчастливит немало красоток.

Момент, казалось, растянулся на целую вечность. Протянутая рука юноши так и осталась висеть в воздухе.

Теперь-то он видел, что жених ему вовсе не друг, что на самом деле он безобразен — торчащие белые зубы, лоснящиеся толстые губы и вечно жадный взгляд. А еще он все время ухмылялся: насмешливо и раздуваясь от самомнения.

Юноша вспомнил, как девушка прикоснулась к его щеке в лесу, и кожу вновь обожгло. Вдруг захотелось рассказать жениху о той прогулке, о тишине на берегу реки и о поцелуе. Захотелось открыть рот и вывалить на жениха всю правду: что никогда в жизни, даже за миллион лет, ему не узнать такой любви.

Однако юноша промолчал, лишь крепче стиснув зубы.

— Да мы просто шутим, — добродушно протянул жених. — Полегче, парень, а то у тебя такой вид, словно ты только что узнал о смерти лучшего друга. Я думал, ты несерьезно насчет выпивки.

Он взял юношу за руку и энергично ее потряс.

— Эй, к чему обиды — в такой-то день!

Жених вновь стал прежним — веселым симпатичным парнем.

Юноша отвел взгляд, не зная, что за странные чувства то и дело накатывают сегодня, как летняя гроза.

— Да, я пошутил, — сказал он.

Сверху донесся голос худощавой женщины — та искала его.

— Быстрее! — звала она.

— Пожелай, что ли, мне удачи, — попросил жених, отпуская руку юноши.

— Удачи, — сказал тот.

— Спасибо, — ответил жених. — Пригодится.

Юноша снова шел рядом с девушкой. На этот раз она держалась за его локоть.

Сердце билось в груди пожарным колоколом. Надо сказать ей сейчас. Сказать, как сильно он ее любит. Слова уже рвались с языка, раздирая душу.

Однако рука девушки была холодной и безжизненной, как сухая палка. На ее губах застыла пустая улыбка.

Поздно. Он упустил свой шанс там, в Эдеме, на берегу реки.

И теперь остался один. Навеки.

Отпустив девушку, юноша сел. В голове было пусто, только мельтешили цвета и звуки.

— Кто отдает эту девушку в жены? — спросил священник.

Юноша встал и ответил:

— Я, ее брат.

Анонимные воздыхатели

© Перевод. А. Аракелов, 2021

Герб Уайт ведет счета множества фирм по всему городу и заполняет налоговые декларации чуть ли не всех его жителей. Город зовется Северным Кроуфордом и расположен в Нью-Гэмпшире. Герб не учился в колледже, хотя способностями бог его не обидел. Бухгалтерию и налоговое законодательство Герб Уайт изучил на заочных курсах. Воевал в Корее, вернулся на родину героем. Женился на Шейле Хинкли, симпатичной и умной девушке. Все мои сверстники мужского пола были бы не прочь оказаться на его месте. Сейчас моим сверстникам — кому тридцать три, кому — тридцать четыре, кому — тридцать пять.

В день, когда Шейла выходила замуж, нам было по двадцать один, двадцать два, двадцать три года. Вечером того достопамятного дня мы все отправились в местную пивную, чтобы надраться с горя. Один бедняга поднялся со своего места и сказал:

— Джентльмены, друзья, братья. Уверен, все мы желаем молодоженам крепкого семейного

счастья. Но в то же время в моем сердце зияет рана, которая не заживет никогда. Мне больно и горько. Я предлагаю основать «Братство вечных страдальцев». Мы будем держаться друг друга и помогать друг другу чем сможем, потому что бог знает, до чего может нас довести такая боль.

Собравшимся эта идея пришлась по вкусу.

Хей Бойден, который позже занялся сносом и перемещением домов, заявил, что нам следует назваться «Братством недоумков, которые не доперли, что Шейла Хинкли может хотеть стать мужниной женой и домохозяйкой». Хей был пьян и невнятен, но его слова не были лишены логики. Шейла была самой умной из всех старшеклассниц, она изо всех сил рвалась поступить в Вермонтский университет. И мы все были уверены, что, пока она не окончит колледж, о серьезном ухаживании не может быть и речи.

А потом, в середине учебного года, она вдруг бросила школу и вышла за Герба.

— Брат Бойден, — откликнулся один умник из нашей изрядно подпитой компании, — я думаю, это блестящее предложение. Но при всем уважении, я предлагаю иное название для нашего братства. Название, уступающее твоему во всем, кроме легкости произнесения. Джентльмены,

друзья, братья, я предлагаю назвать наше братство «Анонимными воздыхателями».

Предложение приняли единогласно. Тем умником был я.

Как и многие другие странные обычаи, которых обычно всегда хватает в маленьких старомодных городках, «Анонимные воздыхатели» укоренились и прижились. Когда несколько человек из братства оказывались в одном месте, кто-то непременно говорил: «Анонимные воздыхатели, кворум есть?» Тем, кому в любви не везет, в городе до сих пор в шутку советуют вступить в «АВ». Только… поймите меня правильно. Никто в «АВ» больше не сохнет по Шейле. Почти все члены братства давно уже обзавелись своими собственными Шейлами. Мне кажется, мы думаем о ней чуть больше, чем о других бывших подружках, только из-за нашего безумного братства. Просто, как метко сказал Уилл Баттола, сантехник: «Шейла Хинкли стала сахарной вишенкой на торте моей мечты».

Где-то с месяц назад моя благоверная принесла на хвосте порцию городских сплетен и скормила их мне вместе с кофе и миндальным печеньем. Герб и Шейла, по ее словам, перестали разговаривать друг с другом.

— С чего это ты занялась распространением каких-то дурацких слухов? — спросил я.

— Я решила, что тебе-то уж надо знать, — ответила она. — Ты же вроде как генеральный влюбленный в этом вашем братстве.

— Да ладно, я просто присутствовал при основании братства, и было это много лет назад, ты прекрасно знаешь.

— Тогда, может быть, пора его распустить, — сказала жена.

— Слушай, в этом мире не так много верных примет, но вот одна из них: люди, замыслившие развод, не заказывают алюминиевые рамы и ставни для окон дома на пятнадцать комнат.

Это мой бизнес: я продаю алюминиевые рамы и ставни, иногда — душевые кабинки. И я не соврал, Герб как раз купил для своего пятнадцатикомнатного ковчега, который он зовет домом, тридцать семь оконных комплектов «Флитвуд», а эта люксовая модель — лучшая из тех, что мы продаем.

— Если муж и жена едят по отдельности, это как раз верный признак, что семья распадается, — не сдавалась жена.

— С каких пор ты стала экспертом по их гастрономическим привычкам? — удивился я.

— Это вышло случайно. Вчера я собирала деньги на благотворительность. — Вчера было воскресенье. — Зашла к ним, а Шейла и девочки как раз обедали. Без Герба.

— Так, может, его просто не было дома? Может, у человека дела?

— Я так и подумала. Но потом, по дороге в следующий дом, я прошла мимо их старого сарая. Ну, знаешь, где они хранят дрова и садовый инвентарь.

— Ну и?

— И там сидел Герб. На каком-то ящике. На коробке побольше стояла его тарелка, он обедал, понимаешь? Обедал в сарае один. Я в жизни не видела человека несчастнее.

На следующий день Кеннард Пелк, заслуженный деятель «АВ» и шеф нашей полиции, зашел ко мне — посетовать на дешевые зимние рамы, которые он покупал у другой компании. Эта компания уже давно прекратила свое существование.

— Створки заклинило напрочь, а ставни совсем проржавели, — сказал он. — Алюминий покрылся какой-то синей дрянью вроде сиропа.

— Да, приятного мало, — посочувствовал я.

— Вот я к тебе и пришел. Больше вроде бы

некуда.

— С твоими-то связями? Ты мог бы запросто выяснить, в какой тюрьме сидят жулики, всучившие тебе эти рамы.

Я согласился зайти к нему и посмотреть, что можно сделать, но только после того, как мы с ним договорились, что моя фирма не отвечает за всю оконную индустрию.

— Я отвечаю только за те окна, которые продаю сам.

А потом он рассказал мне о странном случае, произошедшем прошлой ночью. Было два часа ночи. Кеннард уже ехал домой на своей полицейской машине. И тут он заметил, что в сарае у Герба Уайта горит свеча.

— Ты ж понимаешь, у них дом на пятнадцать комнат, не считая сарая, — рассказывал Кеннард, — а живут они там вчетвером, ну… впятером, если считать собаку. И какой нормальный человек будет торчать в сарае в такое время? Я и подумал, может, там воры?

— Да там красть-то нечего, кроме флитвудовских окон.

— Я полицейский, — резко проговорил Кеннард. — И должен следить за порядком. Это мой долг. В общем, подкрадываюсь я к окну, загляды-

ваю внутрь и вижу такую картину: Герб лежит на полу на матрасе. Рядом — бутылка ликера, стакан и свеча в пустой бутылке. И Герб читает журнал при свече.

— Сразу видно — суперсыщик…

— Он меня заметил, поэтому я подошел ближе, чтобы он меня узнал. Окно было открыто, я сказал ему, что хотел выяснить, кто в сарае. Он ответил: «Робинзон Крузо».

— Робинзон Крузо?

— Да. Это такой сарказм, — сказал Кеннард. — Он вообще был не рад меня видеть. Еще спросил, всех ли «Анонимных воздыхателей» я привел с собой. Я сказал, что не всех. Потом он спросил, правда ли, что дом человека — его крепость, или, по мнению полиции, это уже устаревшая информация.

— А ты что сказал, Кеннард?

— А что я мог сказать? Застегнул кобуру и поехал домой.

Сразу после ухода Кеннарда ко мне в офис явился Герб Уайт собственной персоной. У него был цветущий, счастливый вид, который иной раз встречается у людей с двусторонней пневмонией.

— Хочу купить еще три флитвудовских окна,

— сказал он.

— Понимаю. Флитвудовские окна нравятся всем, — ответил я. — Но ты, по-моему, переходишь границы разумного. Ты и так по уши в этих окнах.

— Они мне нужны для сарая.

— Герб, с тобой все в порядке? — спросил я. — У тебя в половине комнат даже мебели нет. Ты хорошо себя чувствуешь? Может быть, у тебя жар?

— Нет, я просто честно и пристально посмотрел на свою жизнь, — ответил он. — Так ты продаешь окна или нет?

— Продажа стеклопакетов — бизнес, основанный на здравом смысле, и я планирую продолжать в том же духе. Твой сарай… К нему лет пятьдесят никто не притрагивался. В стенах щели, в крыше — дыры, фундамент продувается насквозь. С тем же успехом ты можешь установить окна в большой куче хвороста.

— Я его как раз ремонтирую.

— Шейла беременна?

Он помрачнел.

— От всей души надеюсь, что нет. Не нужно ей этого. Ни ей, ни мне, ни самому ребенку.

В тот день я обедал в кафе при аптеке. В рабочие дни там обедает половина «Анонимных возды-

хателей». Едва я сел за столик, как Сельма Дил, кассирша, спросила:

— Ну что, великий воздыхатель, кворум в наличии. Какая будет повестка дня?

Хей Бойден, перевозчик и разрушитель домов, повернулся ко мне:

— Есть новости, мистер президент?

— Слушайте, перестаньте уже называть меня президентом! — огрызнулся я. — Моя семейная жизнь никогда не была идеальной, и я не удивлюсь, если окажется, что это дурацкое звание и было той пресловутой ложкой дегтя.

— Кстати, насчет идеальных семей, — вклинился Уилл Баттола, сантехник. — Скажи, пожалуйста, Герб Уайт у тебя не заказывал новые окна в последнее время?

— Откуда ты знаешь?

— А вот догадался, — ответил он. — Мы тут обменялись информацией, и, как выяснилось, Герб сделал по небольшому заказу у всех членов «АВ».

— Совпадение.

— Я бы тоже так думал, — продолжил Уилл, — если б был хоть один человек, кто не состоит в братстве и при этом получил заказ.

Мы сверили свои данные, подсчитали, и вышло, что Герб собирается вбухать в сарай около

шести тысяч долларов. Немалые деньги в его ситуации.

— Ремонт вышел бы ему в два раза дешевле, если бы Герб не намеревался устроить в сарае еще и кухню с туалетом, — сказал Уилл. — Не понимаю. В доме ведь есть и туалет, и кухня… всего в двух шагах.

— Согласно чертежам, которые Герб притащил мне сегодня утром, между сараем и домом вообще не будет никакого прохода. Там будет сплошная стена с полудюймовым слоем штукатурки и изоляцией из минеральной ваты, — встрял Эл Тедлер, плотник.

— Как это сплошная? — удивился я.

— Герб хочет хорошую звукоизоляцию.

— И как его бренное тело собирается перемещаться из дома в сарай?

— Телу придется выйти во двор, футов этак шестьдесят прогуляться по травке и войти в сарай через наружную дверь.

— Не самая приятная прогулка для зимней ночи, — сказал я. — Особенно босиком.

В этот момент в аптеку вошла Шейла Хинкли Уайт.

Вы, наверно, нередко слышите о той или иной женщине, что она «хорошо сохранилась». В боль-

шинстве случаев эта дама оказывается тощей особой, которая красится розовой помадой и выглядит так, будто ее выварили в ланолине. Но Шейла действительно хорошо сохранилась. В тот день ей никто не дал бы больше двадцати двух.

— Черт возьми, — выдохнул Эл Тедлер, — если бы мне готовила еду такая женщина, я ни за что бы не стал заводить вторую кухню.

Обычно, когда Шейла заходила куда-нибудь, где сидели несколько членов «АВ», мы пытались как-то привлечь ее внимание, а она в ответ делала брови домиком или подмигивала нам. Без всякой задней мысли.

Но в этот раз мы не издали ни звука, а она даже не взглянула на нас. Она была занята. В руках у Шейлы была здоровенная красная книга размером со шлакобетонный блок. Шейла поставила книгу на полку в библиотечном отделе, расплатилась и вышла.

— Интересно, о чем эта книга, — сказал Хей.

— Красная, — отозвался я. — Наверное, о пожарных машинах.

Этой шутке было уже много лет — она родилась из подписи, которую Шейла сделала под своей фотографией в выпускном альбоме. Мы там писали, чем хотели бы заниматься в своей взрослой

жизни. Шейла написала, что она откроет новую планету, или станет первой женщиной в составе Верховного суда, или возглавит компанию, выпускающую пожарные машины.

Конечно, это была шутка, но все, включая и саму Шейлу, понимали: для нее нет недостижимых высот, достаточно только захотеть.

Помнится, на их с Гербом свадьбе я спросил Шейлу:

— И что теперь будет с индустрией пожарных машин?

Она рассмеялась в ответ:

— Придется ей как-то справляться без меня. У меня теперь есть работа в тысячу раз важнее — заботиться о здоровье и счастье мужа и воспитывать наших детей.

— А как насчет должности в Верховном суде?

— Самая почетная для меня должность… и для любой другой женщины… это уютная кухня с детишками, копошащимися у ног.

— Шейла, и ты спокойно позволишь, чтобы кто-то другой открыл ту планету?

— Планеты — лишь камни, мертвые камни. Я хочу открыть своего мужа и через него — самое себя. А кто-то другой пусть занимается камнями.

Когда Шейла ушла, я подошел к книжным

полкам и посмотрел, что за книгу она читала. «Женщина: Пустая трата прекрасного пола, или Обманчивые ценности домохозяйства».

Я заглянул в оглавление — книга состояла из пяти частей:

I. 5 000 000 до н.э. — 1865 г. н.э. Принудительное рабство.

II. 1866–1919. Рабство на пьедестале.

III. 1920–1945. Фиктивное равенство — от кисейной барышни до Клепальщицы Рози.

IV. 1946–1963. Добровольное рабство — от подгузников до космических спутников.

V. Взрыв и Утопия.

Рива Оули, продавщица из отдела косметики и по совместительству библиотекарь, спросила, может ли она мне чем-то помочь.

— Конечно, можете, — отозвался я. — Вы мне очень поможете, если выкинете эту дрянь в ближайшую канаву.

— Это очень популярная книга, — сказала она.

— Возможно. Виски и многозарядные карабины тоже были очень популярны у краснокожих. А если хотите, чтобы в вашу аптеку народ валил валом, установите прилавок с гашишем и героином для подростков.

— А вы сами ее читали?

— Мне хватило оглавления.

— Значит, вы хотя бы ее открыли, — вздохнула Рива. — Никто из остальных «Анонимных воздыхателей» даже на это не сподобился за последние десять лет.

— К вашему сведению, я очень много читаю, — возмутился я.

— Я и не знала, что о стеклопакетах пишут так много книг. — Рива была очень неглупой вдовой.

— А вы, оказывается, умеете язвить…

— Такое бывает, когда узнаешь, во что мужчины превратили наш мир, — сказала она.

Выбора у меня не оставалось — я прочел эту книгу.

О, это была та еще *книжица*! Я одолел ее за полторы недели, и чем больше я читал, тем сильнее мне казалось, что под одеждой у меня колючая власяница.

Как-то ко мне в офис зашел Герб Уайт. Он заметил, что я читаю.

— Просвещаешься? — спросил он.

— Может быть, но уж точно не благодаря этой гадости. Сам-то читал?

— Да уж, имел удовольствие. Ты на чем сейчас остановился?

— Я только что пролистал худшие пять миллионов лет, какие только можно представить. И отдельные мужчины наконец заметили, что жизнь у женщин не самая приятная.

— Теодор Паркер?

— Ага. — Паркер был проповедником в Бостоне во время Гражданской войны.

— Напомни, — попросил Герб.

Я прочел вслух:

— «Возможности женщины не ограничиваются домашним трудом. Заставлять половину человечества тратить свою энергию на обязанности домохозяйки, жены и матери — чудовищно расточительная потеря самого драгоценного материала, который только создавал Господь».

Пока я цитировал преподобного, Герб закрыл глаза. Не открывая их, он произнес:

— Ты представляешь, каким ударом были для меня эти слова — при моей-то жене?

— Мы все уже поняли, что тебя чем-то стукнуло. Но никто пока не догадался, чем конкретно.

— Эта книга валялась у нас дома несколько недель, — начал он. — Ее читала Шейла, я поначалу не обращал внимания. Как-то вечером мы смотрели «Второй канал». Это бостонский научно-популярный телеканал, если ты не в курсе.

Там в передаче два каких-то профессора спорили о разных теориях происхождения Солнечной системы. И тут, ни с того ни с сего, Шейла вдруг разрыдалась, сказала, что ее мозги превратились в жижу, и что она уже ничего не знает и не понимает.

Герб открыл глаза.

— Что я мог ей сказать? Как успокоить? Она пошла спать. На столе лежала эта книга. Я открыл ее и попал на ту самую цитату, которую ты сейчас мне прочел.

— Герб, — сказал я. — Это, конечно, не мое дело, но…

— Это твое дело, — перебил он. — Ты же у нас президент «АВ»?

— Не думаю, что существует такая организация.

— Насколько я знаю, «Анонимные воздыхатели» так же реальны, как «Ветераны заграничных войн». Как бы тебе самому понравился клуб, который ставит единственной целью следить, чтобы ты хорошо обращался со своей женой?

— Герб, клянусь честью…

Он не дал мне закончить.

— Теперь я понимаю… только теперь, с десятилетним опозданием… что я разрушил жизнь этой

прекрасной женщины, что я заставил ее потратить весь ее ум, весь талант… И на что? — Герб пожал плечами. — На уборку дома провинциального бухгалтера, который даже не удосужился окончить школу, который за десять лет, что прошли после свадьбы, ничего не добился и не достиг.

Герб хлопнул себя по лбу — не знаю, то ли хотел наказать себя, то ли вправить себе мозги.

— Так вот, — сказал он. — Я прошу всех анонимных воздыхателей мне помочь. Помочь все исправить. Конечно, вернуть ей десять потерянных лет я не смогу. Но когда мы приведем в порядок сарай, я хотя бы не буду болтаться у нее под ногами, избавлю от необходимости готовить мне, обшивать и делать тысячи других мелких глупостей, которыми мужья озадачивают своих жен. У меня будет собственный домик, я сам себе буду домохозяйка. Если Шейла захочет, она всегда сможет постучать в мою дверь и узнать, что я все еще люблю ее. Она сможет взяться за книги и стать океанографом или кем-то еще. Всю мужскую работу в ее большом доме будет делать умелец-сосед, то есть я.

С очень тяжелым сердцем я отправился к дому Герба, чтобы замерить окна сарая. Герб был на

работе, девочки-двойняшки еще в школе. Шейлы тоже не было видно. Я постучал в дверь кухни, но откликнулась только стиральная машина.

Хлюп, гррр, бам, пшш…

Тогда я, раз уж пришел, решил посмотреть, как себя «чувствуют» уже установленные «Флитвуды». Волей-неволей пришлось заглянуть в окно гостиной. Шейла лежала на диване, вокруг нее на полу были разбросаны книги. Она плакала.

Добравшись до сарая, я убедился, что Герб устроил там импровизированное жилище. На поленнице, рядом с батареей кухонной посуды и консервов, стоял примус.

Посреди сарая стояло кресло, над ним Герб подвесил бензиновый фонарь, а рядом с креслом — на большой плахе для рубки дров — разложил свои трубки, табак и журналы. Матрас лежал прямо на полу, но постель была аккуратно застелена. С простыней, одеялом, все как полагается. Стены были увешаны фотографиями: Герб в армии, Герб в школьной баскетбольной команде. И еще там висела большая репродукция «Битвы с индейцами».

Дверь между сараем и домом была закрыта, и я решил, что если влезу через окно, это не будет считаться незаконным вторжением. Меня

интересовало состояние старых рам и особенно — коробки окна. Усевшись в кресло, я принялся записывать размеры.

Потом откинулся на спинку и закурил сигарету. Кресло очень… располагало. В результате я не услышал, как вошла Шейла.

— Удобно, правда? — спросила она. — По-моему, все люди твоего возраста просто обязаны обзавестись вот таким вот убежищем. Герб заказал новые окна для своей Шангри-Ла?

— «Флитвуды», — кивнул я.

— Хорошо, — сказала Шейла. — «Флитвуды», разумеется, самые лучшие. — Она подняла взгляд. Прогнившую крышу пронзали тонкие солнечные лучики. — Как я понимаю, происходящее между мной и Гербом уже перестало быть тайной.

Я не знал, что ответить.

— Ты, пожалуйста, передай «Анонимным воздыхателям» и их языкастым женушкам, что мы с Гербом еще никогда не были так счастливы.

Мне опять нечего было сказать. По-моему, переезд Герба в сарай был как раз настоящей трагедией.

— И скажи им, — продолжала она, — что Герб осознал это первым. У нас случилась дурацкая перепалка насчет состояния моих мозгов. Я под-

нялась в спальню и ждала Герба, но он не пришел. Утром я увидела, что он притащил сюда матрас и спит как младенец. Я увидела его безмятежное лицо, увидела, какой он спокойный и счастливый… и расплакалась. Я поняла, что всю жизнь он был рабом. Занимался ненавистной ему работой — ради матери, ради меня, потом ради детей. В ту ночь в сарае он, может быть, в первый раз в жизни засыпал с мыслями о том, кем мог бы стать… кем он может стать, если захочет.

— Я думаю, многие несовершенства нашего мира объясняются тем, что все вполне искренне полагают, будто они стараются для других, — сказал я. — Герб уверен, что эта затея с сараем необходима тебе.

— Все, что делает его счастливым, необходимо и мне.

— Я прочел ту дурацкую красную книгу. То есть… я ее еще читаю.

— Карьера домохозяйки — это унизительно, если женщина может добиться большего.

— Ты хочешь добиться большего, Шейла?

— Да. — У нее, оказывается, был целый план: поступить на заочное отделение Даремского университета, потом стать вольной слушательницей, ездить в Дарем на сессии — и уже через два года

получить диплом. И стать учительницей.

— Мне бы такое и в голову не пришло, — призналась она, — если бы Герб не воспринял мою показную истерику так серьезно. Иногда женщины — жуткие притворщицы.

— Я начала учиться, — добавила она, помолчав. — Ты видел, как я рыдала над всеми этими книгами.

— Я надеялся, что ты меня не заметила. Поверь, я не пытаюсь совать нос в ваши дела. Просто мы с Кеннардом Пелком по долгу службы вынуждены заглядывать в чужие окна.

— Я плакала, потому что поняла, какой фальшивкой я была в школе. Тогда я только притворялась, что мне интересно то, что я учила. А теперь все по-честному. Вот поэтому я и плакала. Эти слезы сильно запоздали, но это были хорошие слезы. Я плакала от новизны, от ощущения взрослости.

* * *

Должен признать, Шейла и Герб придумали очень оригинальный способ изменить свою жизнь. Меня беспокоила только одна вещь, но я понятия не имел, как про такое спросить.

Шейла сама ответила на мой невысказанный вопрос.

— От любви на замок не закрыться, — сказала она.

Где-то неделю спустя я принес книгу «Женщина: Пустая трата прекрасного пола, или Обманчивые ценности домохозяйства» на обеденный сбор «АВ» в аптеку. Теперь я готов был вернуть книгу обратно на полку.

— Ты ведь не разрешил жене это читать? — осведомился Хей Бойден.

— Наоборот, — ответил я.

— Теперь она бросит тебя с детьми и станет контр-адмиралом!

— Не дождешься.

— Прочитав книжицу вроде этой, — добавил Эл Тедлер, — твоя жена не успокоится до конца жизни.

— Вовсе не обязательно, — возразил я. — Я действительно дал почитать эту книгу жене, но присовокупил волшебную закладку. Эта закладка удержала мою благоверную от скоропалительных выводов.

Все тут же стали выспрашивать, что за волшебная закладка.

— Я подсунул ей табель с ее школьными оценками, — сказал я.

Раздел 3.
НАУКА

© Перевод. А. Комаринец, 2021

На Курта Воннегута частенько навешивали ярлык писателя-фантаста (к большому его неудовольствию!), но он всегда стремился объяснить (предостерегающе) критикам и (доброжелательно) читателям, что он самый обычный писатель, хотя и в самом деле интересуется наукой. В этом смысле типичен уже первый опубликованный им рассказ — «Доклад об “Эффекте Барнхауза”», который увидел свет 11 февраля 1950 года на страницах журнала «Кольерз». Идея рассказа проста: если можно придумать что-то новое, значит, это новое можно и воплотить. Герой Воннегута — профессор Барнхауз — вывернул этот постулат наизнанку, практически поставив разум выше материи. Но суть истории не в этом, поскольку рассказ не о профессоре и его изобретении, а о произведенном им эффекте. И форма, в какой рассматривается это воздействие, едва ли не самая распространенная и будничная в мире управления или бизнеса: доклад.

Кто пишет доклады? Тот, кто не только понимает, какое открытие совершил ученый, но и способен объяснить его массовой аудитории.

Но получается, что автор доклада сам увлекся своим материалом — таковы ирония и шутка (а еще мудрость), которые Воннегут встраивает в свое повествование. Со временем это станет ключевым элементом его литературного стиля в журналистике — к подобному приему прибегали многие писатели — Том Вулф, Джоан Дидион, Гэй Тализ и даже Хантер С. Томпсон. Но это случится не раньше середины 1960-х годов. Тогда же, в начале 1950-х, короткая проза, публиковавшаяся в популярных журналах, казалась лучшим проводником не только для воззрений автора, но и для того, чтобы найти и обозначить свой стиль.

Свой подход Воннегут выработал для того, чтобы иметь возможность говорить о науке максимально просто. Его рассказы предназначались не для читателей «нишевых» журналов, а для всех и каждого. Если «Нью-Йоркер» был не для «старушки из Дубьюка»[20] (как сам «Нью-Йоркер» рекламировал себя в то время), рассказы Курта были и для нее тоже — и для всех и каждого

---

[20] Примечания: 20
Округ штата Айова, аграрный регион, синоним глубокой провинции.

в Америке. С другой стороны, он не стремился завоевать рынок научной фантастики — по той простой причине, что там платили по пенни за слово, тогда как в «Кольерз» и в «Сэтерди ивнинг пост» платили по полдоллара. Пять рассказов, размещенных в этих семейных еженедельниках, прокормили бы его семью на протяжении года и принесли бы ему (как он любил говаривать) тот же доход, какой имел его сосед, заправлявший кафетерием в местной школе, где учились его дети. Сами по себе рассказы писались для огромного среднего класса Америки, отличительной чертой которого в 1950-е годы был стабильный уровень жизни практически во всех штатах. Эти люди были постоянными читателями «Пост», и их могли заинтриговать радиоволны из открытого космоса и огромные новые машины под названием компьютеры, способные имитировать человеческий разум. А еще их забавляло, как такие новшества способны укладываться в их повседневную жизнь. Радиоволны исходили не от электронных ящериц на Марсе, которые грозили превратить землян в зомби, как можно было прочитать на страницах произведений научной фантастики, не были они и теми самыми частичками радиации, которые засекало

сложнейшее оборудование, как со знанием дела писали авторы статей в других разделах журналов. Маленькой нишей Воннегута было показать, как его соотечественники могут овладеть новыми технологиями и применить их к самым расхожим человеческим фобиям, — как, например, в рассказе «Эйфо», который был опубликован в «Кольерз». Поразительному новому компьютеру, о котором Курт напишет в другом рассказе для «Кольерз» — «ЭПИКАК», найдется вполне расхожее бытовое применение. Суть этих рассказов сводилась к следующему: не стоит тревожиться по поводу опасности новых изобретений; эти изобретения — прекрасное приобретение, и мы прекрасно знаем, как с ними управляться.

А рассказы Воннегута продавались благодаря его собственной изобретательности. Его полюбили читатели среднего класса. В рассказе «Соседи», опубликованном в апрельском номере «Космополитэн» в 1955 году, мальчик решил свою проблему с помощью стандартного радиоприемника. Стена, разделяющая квартиры, была слишком тонкой, и он был вынужден слушать музыку и бесконечные ссоры соседей. Найденное мальчиком решение отличают изобретательность и простота: как было известно Курту и

любому другому умельцу в стране, большую часть проблем можно решить с помощью того, что есть под рукой. Таким образом, благодаря науке, мы улучшаем качество своей жизни. Рассказ «Виток эволюции» не попал в «Кольерз», «Космополитэн» и «Пост». «Гэлэкси сайенс фикшн» взял его по самой низкой ставке в 1953 году, притом, что это один из самых сильных его рассказов, основанных на научных идеях. К тому же отмеченный фирменным юмором автора. В «Кольерз» Нокс Берджер взял «Мнемотехнику» для апрельского номера 1951 года, но только после того, как Курт несколько раз переписал рассказ. Работа над этим рассказом началась еще в июле 1949 года, когда Воннегут еще жил в пригородном Скенектади, штат Нью-Йорк, и работал в отделе по связям с общественностью при исследовательской лаборатории «Дженерал электрик».

Огромная кипа переписки с редактором наглядно демонстрирует, сколько изменений пришлось внести автору, чтобы подвести рассказ под стандарты лучших и продаваемых в масштабах всей страны журналов, вроде «Кольерз», — в отличие от рынка научной фантастики, где, как сетовал Берджер, «специалисты воюют с огромным количеством новейших микробов и

мудреных диссертаций. Нокс указывал, что одна из проблем Курта как писателя заключается в том, что, будучи сотрудником «Дженерал электрик», он не может позволить себе слишком уж подтрунивать над новшествами, которые несет с собой прогресс. «Прогресс — наш самый важный продукт» — провозглашал рекламный лозунг «Дженерал электрик», а Курт в своих рассказах намекал, что по большому счету прогресс ничего не меняет, люди остаются теми же, что и были, со всеми своими слабостями и пороками (несколько лет спустя он раскроет эту тему в своем первом романе «Механическое пианино»). «Лично я, — советовал ему Нокс в записке от 1949 года, — думаю, что издатели [«Кольерз»] силятся завлечь «Дженерал электрик» на свои рекламные страницы. Возможно, и вам захочется прикупить себе разворот. Всего 8800 долларов за черно-белый разворот — лучшая цена за тысячу читателей на журнальном рынке. Подумайте хорошенько».

Если это эксцентричное, хотя и ироничное (учитывая нищету Курта) предложение звучит как цитата из рассказа Воннегута, достаточно взглянуть на посвященные научным идеям произведения самого Курта, проданные им в те годы в популярные журналы. В рассказе «Конфидо»

полет научной фантазии и страсть к изобретениям не выходят за рамки расхожего человеческого поведения, знакомого большинству читателей семейных журналов. Науку и реакцию на научные открытия и новшества следовало подавать убедительно и занимательно, а к концу рассказа читатель должен был непременно обмануться в своих предположениях и удивиться собственной доверчивости. Рассказы «Зеркальная зала» и «Сейчас вылетит птичка» посвящены не столько науке, сколько псевдонауке, в то время как рассказ «Милые маленькие человечки» выходит за рамки как обычного поведения, так и доверчивости или практичности. Когда стопа писем с отказами вырастала настолько, что даже агент Курта Кеннет Литтауэр уже не видел надежды на публикацию, он уговаривал своего клиента приберечь материал «для потомков». И душеприказчики писателя сохранили и опубликовали такие рассказы после смерти автора, уважая желания тех, кто доподлинно знал, какую ценность имеют эти произведения.

Сегодня рассказ «Между вредом и времянкой» как нельзя лучше позволяет понять Воннегута-писателя, который начинал как автор рассказов и после двадцати лет упорного труда преуспел

на ниве романов. Вдумчивых авторов всегда тревожила мысль, что их мировоззрение сформировано временем, в которое им выпало жить. Но верно и обратное: у всех хороших писателей есть потайное желание самим формировать свою эпоху, и эту потребность Воннегут осуществлял с самых первых до самых поздних своих произведений. Это стремление приводит читателя от поражений и разбитого сердца к надежде, и этот курс Курт любил набрасывать на грифельной доске для своей аудитории, наглядно демонстрируя, как строится литературное повествование. Полвека спустя Воннегут использует этот феномен как литературный прием в сборнике своих сатирических эссе «Благослови вас бог, доктор Кеворкян», в котором он возвращается из контролируемых приключений на грани смерти, чтобы поделиться мыслями тех, кто действительно почил в бозе — будь то люди никому не известные, знаменитые или знаменитые со знаком минус. В рассказе «Между вредом и времянкой» нет ничего веселого, если не считать мрачного юмора в развязке. Но и это лишь очередной розыгрыш (возможно, не такой уж мягкий), который Воннегут уготовил своим читателям. Наука в этом рассказе служит предостережением. «Будьте

осторожны, — предупреждал читателей Курт относительно своих произведений, — нас с вами может занести на много миль отсюда».

Джером Клинковиц

Соседи

© Перевод. Е. Романова, 2021

В старом доме, разделенном напополам тонкой стенкой, пропускавшей все звуки, жили две семьи. В северной части дома поселились Леонарды. В южной — Харгеры.

Леонарды — муж, жена и восьмилетний сын — только что въехали. Зная об акустических свойствах тонкой стенки, они тихо спорили, можно ли оставить Пола одного на целый вечер.

— Ш-ш-ш-ш! — сказал папа Пола.

— А я разве кричу? — спросила мама. — Я говорю совершенно нормальным голосом.

— Если я слышал, как Харгер откупорил бутылку, тебя он точно слышит.

— А я ничего плохого или постыдного не говорила!

— Ты назвала Пола ребенком, — заметил мистер Леонард. — Полу наверняка стыдно это слышать. И мне тоже.

— Брось, так просто принято говорить.

— Значит, мы положим конец этому обычаю. И вообще пора перестать относиться к нему как

к маленькому — прямо сегодня. Мы пожмем ему руку и уйдем в кино. — Он повернулся к Полу: — Тебе ведь не страшно, сынок?

— Нисколько, — ответил Пол. Он был очень высокий для своего возраста: худенький мальчик с нежным и чуть сонным лицом, копия мамы. — За меня не волнуйтесь.

— Так держать! — сказал отец, хлопнув его по плечу. — У тебя будет настоящее приключение!

— Я бы меньше переживала из-за приключений, если б мы пригласили няню, — сказала мама.

— Ну, если ты будешь весь фильм за него тревожиться, давай лучше возьмем его с собой.

Миссис Леонард ужаснулась:

— С ума сошел! Фильм-то не детский!

— Подумаешь! — весело сказал мальчик. Для него всегда было тайной, почему взрослые запрещают ему смотреть некоторые фильмы и телепередачи, читать некоторые книги и журналы, — но тайной, которую он уважал и даже находил немножко приятной.

— Он не умрет, если посмотрит, — добавил папа.

— Ты ведь знаешь, про что этот фильм, — попыталась урезонить его мама.

— Про что, про что? — заинтересовался Пол.

Миссис Леонард с надеждой посмотрела на мужа, но помощи так и не дождалась.

— Про девушку, которая не слишком разборчива в людях и не умеет выбирать друзей.

— А... — протянул Пол. — Так это совсем неинтересно.

— Мы идем или нет? — нетерпеливо спросил мистер Леонард. — Фильм начинается через десять минут.

Миссис Леонард закусила губу.

— Ладно! — храбро сказала она. — Ты прикрой окна и запри заднюю дверь, а я выпишу на листок телефоны полиции, пожарных, кинотеатра и доктора Фейли. — Она повернулась к Полу: — Ты ведь умеешь звонить по телефону, милый?

— Да он сто лет назад научился! — воскликнул мистер Леонард.

— Ш-ш-ш! — осадила его миссис Леонард.

— Прости. — Он поклонился стенке. — Покорнейше прошу прощения.

— Пол, дорогой, — сказала миссис Леонард, — что ты будешь делать, пока нас нет?

— Ну... погляжу в микроскоп, наверно, — ответил мальчик.

— Только не на микробы, хорошо?

— Нет, на волосы, сахар, перец и все такое.

Мама нахмурилась.

— Это можно. Правда ведь? — обратилась она к мистеру Леонарду.

— Можно! — ответил тот. — Только смотри, от перца чихают!

— Я осторожно, — сказал Пол.

Мистер Леонард поморщился.

— Ш-ш-ш! — сказал он напоследок.

Вскоре после ухода родителей в квартире Харгеров включили радио. Сначала тихо — так что Пол, сидевший за микроскопом в гостиной, не мог разобрать слов ведущего, а музыка никак не складывалась в мелодию.

Пол изо всех сил старался слушать музыку, а не ругань мужчины и женщины.

Он положил на предметное стекло свой волос, прищурился в окуляр микроскопа и покрутил ручку фокусировки. Волос был похож на блестящего коричневого угря, украшенного светлыми пятнышками там, где на него падал свет.

Мужчина и женщина за стенкой опять принялись громко ругаться, заглушая радио. Пол испуганно покрутил ручку, так что линза объектива вжалась прямо в предметное стекло. Раздался женский крик.

Пол раскрутил линзы и оценил ущерб. Мужчина за стенкой прокричал что-то в ответ — что-то невероятно ужасное.

Пол сходил в спальню, взял там салфетку для линз и протер ею мутное пятнышко, образовавшееся в том месте, где линза въехала в предметное стекло. За стенкой все стихло — кроме радио. Пол посмотрел в микроскоп и вгляделся в молочную дымку поцарапанной линзы.

Ссора вспыхнула вновь: соседи кричали все громче и громче, обзывая друг друга жестокими, злыми словами. Дрожащими руками Пол посыпал стекло солью и положил на предметный столик.

Снова закричала женщина — раздался высокий, истошный, ядовитый вопль.

От испуга Пол слишком сильно провернул ручку, и новое стекло, хрустнув, осыпалось треугольничками на пол. Пол встал. Ему тоже хотелось закричать. Пусть это кончится! Ох, только бы это скорее кончилось!

— Если надумала орать, включила бы хоть радио погромче! — крикнул мужчина за стеной.

Пол услышал стук женских каблуков по полу. Радио заиграло так громко, что из-за басов Полу показалось, будто его засунули в барабан.

— А теперь! — закричал диск-жокей. — Специально для Кейти и Фреда! Для Нэнси от Боба: Нэнси, ты чума! Для Артура — от незнакомки из далеких краев, которая грезит им уже шесть недель! Для всех этих замечательных людей старый добрый оркестр Гленна Миллера сыграет свой знаменитый хит, «Звездную пыль»! Не забывайте, все приветы можно передавать по телефону Мильтон-девять-три-тысяча! Спрашивайте Сэма Полуночника, диск-жокея!

Стены дома наводнила и сотрясла музыка.

За стеной хлопнули дверью. Потом кто-то в нее забарабанил.

Пол еще раз заглянул в окуляр и ничего не увидел — все его тело как будто кололи иголочками. Он понял: соседи убьют друг друга, если он ничего не предпримет.

Тогда Пол кинулся к стенке и замолотил по ней кулаками:

— Мистер Харгер! Перестаньте! Миссис Харгер! Хватит!

— Для Олли из Лавины! — орал ему в ответ Сэм Полуночник. — Для Рут от Карла, который обещает помнить минувший четверг всю жизнь! Для Уилбура от Мэри, которой сегодня одиноко! Оркестр Сотера-Финнегана спрашивает вас: «Дет-

ка, что ты творишь с моим сердцем?»

В ту долю секунды, когда диск-жокей умолк, а музыка еще не началась, за стеной расколотили тарелку или горшок. А потом все снова захлестнула волна джаза.

Пол стоял у стенки и дрожал, не в силах ничего предпринять.

— Мистер Харгер! Миссис Харгер! Пожалуйста, хватит!

— Запомните номер! — снова вступил диск-жокей. — Мильтон-девять-три-тысяча!

Мальчик в смятении подбежал к телефону и набрал номер.

— «Ви-джей-си-ди», — сказала оператор.

— Соедините меня, пожалуйста, с Сэмом Полуночником, — попросил Пол.

— Да-да! — прокричал Сэм в трубку. Он что-то жевал и разговаривал с набитым ртом. На заднем плане, в студии, оркестр играл нежную блеющую музыку.

— Можно передать привет?

— Конечно, валяй! Ты, часом, не принадлежишь к какой-нибудь организации, ведущей подрывную деятельность?

Пол задумался.

— Нет, сэр… кажется, нет.

— Тогда валяй.

— От мистера Лемуэля К. Харгера миссис Харгер, — сказал Пол.

— Текст будет? — спросил диск-жокей.

— Я люблю тебя. Давай помиримся и начнем все сначала.

За стенкой раздался истошный женский вопль — даже Сэм его услышал.

— Малыш, у тебя все нормально? Что, предки поссорились?

Пол испугался, что Сэм не станет передавать его привет, если узнает, что Харгеры ему не родственники.

— Да, сэр.

— И ты хочешь помирить их, передав привет от папы маме? — уточнил Сэм.

— Да, сэр.

Диск-жокей был растроган.

— Будет сделано, малыш, — прохрипел он в трубку. — Я сделаю все, что в моих силах. Дай бог, это поможет. Я однажды так спас жизнь одному парню.

— Ух ты, а как? — завороженно спросил Пол.

— Он позвонил и сказал, что застрелится, — ответил Сэм. — А я поставил ему «Синюю птицу счастья». — В трубке раздались короткие гудки.

Пол положил трубку на место. Музыка умолкла, и все волосы на теле Пола встали дыбом. Впервые в жизни он испытал на собственной шкуре фантастическую силу современных средств связи — и пришел в ужас.

— Народ! — сказал Сэм. — Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни спрашивал себя, куда катится его жизнь, этот бесценный Божий дар! Может, вы думаете, что раз я такой веселый балабол, то никогда не задаю себе подобных вопросов? Но я задаю, и знаете… порой со мной случается нечто из ряда вон: словно бы ангел небесный шепчет мне на ухо: «Держись, Сэм, держись!»

Народ! — продолжал Сэм. — Сегодня меня попросили помирить двух людей, мужа и жену! Никому не надо объяснять, что семейная жизнь — это вам не рай! В любом браке бывают хорошие времена и тяжелые, когда люди просто не знают, как им жить дальше.

Пол подивился мудрости и жизненному опыту диск-жокея. То, что радио было включено на полную громкость, сыграло ему на руку: Сэм вещал точно правая рука самого Бога.

Когда он для пущего эффекта многозначительно умолк, за стенкой все было тихо. Чудо уже началось.

— Знаете, человеку моей профессии приходится быть музыкантом, философом, психологом и техником одновременно! Вот что я уяснил за годы работы с вами, мои замечательные слушатели: если бы мы все умели засунуть подальше свою гордость и самоуважение, на Земле не стало бы разводов!

За стеной послышалось умиленное воркование. В горле у Пола застрял комок: какую же отличную штуку они провернули с Сэмом!

— Народ! Больше я ничего не скажу о семейной жизни, потому что ничего другого вам знать не надо! А теперь — от мистера Харгера миссис Харгер: «Я люблю тебя! Давай помиримся и начнем все сначала!» — Сэм всхлипнул. — Для вас поет Эрта Китт, песня называется «Какой-то злодей украл свадебный колокол»!

Радио выключили.

Весь мир замер.

Пурпурная волна захлестнула Пола. Детство его кончилось, и он, ошеломленный, стоял на самом краю жизни: увлекательной, захватывающей, полной красок и событий.

За дверью раздался шорох: словно кто-то медленно волочил ноги.

— Итак, — сказал женский голос.

— Шарлотта, — с тревогой проговорил мужской. — Милая, я клянусь…

— «Я люблю тебя, — горько процитировала женщина. — Давай помиримся и начнем все сначала».

— Детка, — в отчаянии воскликнул мужчина, — да это какой-то другой Лемуэль К. Харгер! Иначе и быть не может!

— Значит, хочешь вернуть жену? Что ж, я не буду ей мешать. Пусть получает своего Лемуэля, своего драгоценного муженька!

— Да она сама позвонила на радио! — вставил мужчина.

— Пусть получает своего развратного, лживого, никчемного рыцаря! — не унималась женщина. — Вот только целым она тебя не получит.

— Шарлотта, убери пистолет… Ты пожалеешь, Шарлотта!

— Да мне плевать на тебя, червяк!

Грянуло три выстрела.

Пол выбежал в коридор и врезался в женщину, только что вылетевшую из квартиры Харгеров: крупную блондинку, мягкую и растрепанную, точно неубранная постель.

Они с Полом хором взвизгнули, а в следующий миг она схватила его за шкирку.

— Хочешь конфетку? — спросила она, безумно вращая глазами. — Велосипед?

— Нет, спасибо! — пронзительно выкрикнул Пол. — В другой раз!

— Ты ничего не слышал и не видел, ясно? Знаешь, что бывает с ябедами?

— Да!

Блондинка запустила руку в сумочку, вытащила оттуда надушенную горсть салфеток, шпилек и банкнот.

— Вот! — задыхаясь, сказала она. — Это тебе! И помалкивай, ясно?

Она запихнула все в карман его штанишек, пробуравила его суровым взглядом и выбежала на улицу. Пол ворвался в свою квартиру, залез на кровать и с головой накрылся одеялом. В этой горячей и душной пещере он залился горькими слезами: они с Сэмом Полуночником только что помогли убить человека.

Очень скоро к дому подошел полицейский и дубинкой постучал в обе двери.

Ошалелый Пол выбрался из своей темной пещеры и открыл дверь. В ту же секунду отворилась и дверь напротив: на пороге стоял мистер Харгер, немного помятый, но целый и невредимый.

— Да, сэр? — сказал Харгер, невысокий лысо-

ватый мужчина с тоненькими усиками. — Чем могу помочь?

— Соседи слышали выстрелы, я зашел проверить.

— Правда? — удивился Харгер и пригладил усики кончиком пальца. — Как странно, я ничего не слышал. — Он строго посмотрел на Пола: — Ты что, опять играл с папиными ружьями?

— Нет-нет, сэр! — в ужасе замотал головой Пол.

— Где твои родители? — спросил его полицейский.

— В кино.

— Ты что, совсем один?

— Да, сэр. Папа сказал, это приключение!

— Простите, что ляпнул про ружья, сэр, — нашелся Харгер. — Никаких выстрелов в доме не было. Стены у нас тонкие как бумага, но я ничего не слышал.

Пол посмотрел на него с благодарностью.

— Ты тоже не слышал, мальчик? — спросил полицейский.

Не успел он ответить, как к дому подкатило такси, из него выбралась крупная озабоченная дама и во всю глотку заорала:

— Лем! Лем, сладкий мой!

Она вломилась в коридор, волоча тяжелый че-

модан, которым порвала себе чулки. Она бросила чемодан и кинулась в объятия Харгера.

— Я получила твое послание, дорогой! И последовала совету Сэма Полуночника! Засунула подальше свою гордость и приехала сюда!

— Роза, Роза, моя Розочка… — забормотал Харгер. — Никогда больше меня не бросай!

Они крепко обнялись и так, шатаясь, ушли в свою квартиру.

— Видел, какой у него бардак? — спросил полицейский Пола. — Вот что значит холостяцкая жизнь!

Пока они закрывали дверь, Пол заметил, что Роза очень довольна беспорядком.

— Ты точно не слышал выстрелов? — повторил вопрос полисмен.

Полу почудилось, что смятый шарик из купюр у него в кармане вырос до размеров дыни.

— Точно, сэр, — выдавил он.

И полицейский ушел.

Пол закрыл дверь, прошаркал в свою комнату и плюхнулся на кровать.

Голоса, которые Пол услышал потом, раздавались уже в его квартире — любящие и радостные. Мама пела колыбельную, а папа его раздевал.

— «Аккуратный сын мой Джон, — напевала

мама, — спать в штанах улегся он. Снять успел лишь один носок, аккуратный мой сынок!»

Пол открыл глаза.

— Привет, большой мальчик! — сказал ему папа. — Ты лег спать, а раздеться забыл!

— Ну как поживает маленький любитель приключений? — спросила мама.

— Хорошо, — сонно ответил Пол. — Как фильм?

— Он совсем не детский, милый. А вот короткометражка в самом начале тебе бы понравилась. Про хитрых медвежат.

Папа отдал ей штаны Пола, она их встряхнула и аккуратно повесила на спинку стула. Разглаживая складочки, она нащупала в кармане бумажный комок.

— Ох уж мне эти малыши-сорванцы, чего только не найдешь у них в карманах! — лукаво проговорила она. — Прячешь сокровища? Заколдованную лягушку? Волшебный карманный ножик от принцессы фей? — Она погладила комок.

— Он не малыш, а очень даже большой мальчик! — возразил папа. — И давно вырос из сказок про всяких там принцесс.

Мама Пола всплеснула руками.

— Куда ты так торопишься? Я вот увидела, как он спит, и подумала: боже, как быстро пролетает детство! — Она запустила руку в карман Пола и задумчиво вздохнула. — Малыши совсем не берегут одежду, особенно карманы.

Она вытащила комок и сунула под нос Полу.

— Ну, может, расскажешь мамочке, что это такое? — весело сказала она.

У нее в руке цвела растрепанная хризантема из перепачканных помадой салфеток и купюр в один, пять, десять и двадцать долларов. От цветка исходил терпкий и резкий аромат духов.

Отец Пола принюхался.

— Чем это пахнет? — спросил он.

Мама закатила глаза и ответила:

— Запретами!

Доклад об «Эффекте Барнхауза»

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Для начала позвольте мне уверить вас: я знаю о том, где скрывается профессор Барнхауз, не больше всех остальных. Если не считать короткой загадочной записки, которую я обнаружил в своем почтовом ящике в минувший сочельник, я ничего не слышал о профессоре с момента его исчезновения полтора года назад.

Более того — читатели этих строк будут крайне разочарованы, если надеялись узнать, как овладеть так называемым «Эффектом Барнхауза». Если бы я мог и хотел раскрыть эту тайну, то наверняка уже был бы кем-то поважнее простого преподавателя психологии.

Меня уговорили написать этот отчет, поскольку я занимался исследовательской работой под руководством профессора Барнхауза и первый узнал о его потрясающем открытии. Но пока я был его студентом, профессор не делился со мной знанием того, как высвобождать ментальные силы и управлять ими. Эти сведения он не желал доверять никому.

Должен заметить, что термин «Эффект Барнхауза» — порождение дешевых газетенок, и сам профессор Барнхауз никогда его не употреблял. Он окрестил этот феномен «психодинамизмом», или «силой мысли».

Не думаю, что на свете остался хоть один цивилизованный человек, которого надо убеждать, что такая сила существует, ведь ее разрушительная мощь хорошо известна во всех столицах мира. Более того, человечество наверняка уже давно подозревало о ее существовании. Всем известно, что некоторым людям особенно везет, когда приходится иметь дело с неодушевленными предметами, — например, при игре в кости. Профессор Барнхауз доказал, что подобное «везение» вполне измеримая сила, которая в его случае достигла невероятных размеров.

По моим подсчетам, к тому времени, когда профессор Барнхауз предпочел скрыться, его сила примерно в пятьдесят пять раз превысила мощь атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Он не блефовал, когда сказал генералу Хонасу Баркеру накануне операции «Мозговой штурм»: «Сидя за этим обеденным столом, я, без сомнений, могу стереть с лица земли все, что угодно, от Джо Луиса до Великой Китайской стены».

Вполне понятно, что многие считают, будто профессор Барнхауз ниспослан нам Небесами. Первая церковь Барнхауза в Лос-Анджелесе насчитывает тысячи прихожан, хотя ни в его внешности, ни в разуме нет ничего божественного. Человек, который в одиночку разоружает мир, холост, пониже ростом, чем среднестатистический американец, полноват и склонен к сидячему образу жизни. Его ай-кью — 143. Уровень вполне приличный, но ничего из ряда вон выходящего. Он, как и мы, смертен, пребывает в полном здравии и вскоре отметит сорокалетие. Если профессору сейчас и приходится жить в одиночестве, это вряд ли его особенно беспокоит. Я знал его как тихого и застенчивого человека, который явно предпочитал книги и музыку обществу коллег.

Ни он, ни его сила не выходят за пределы науки. Его психодинамические излучения подчиняются многим известным физическим законам, имеющим отношение к радиоволнам. Едва ли кто-то не слышал в домашнем радиоприемнике треск «Барнхаузовой статики». На психодинамические излучения влияют солнечные пятна и возмущения в ионосфере.

Тем не менее некоторыми важными свойства-

ми его излучения существенно отличаются от обычных радиоволн. Профессор по своей воле может сосредоточить всю энергию в любой точке, и сила воздействия не зависит от расстояния. Таким образом, в качестве оружия психодинамизм имеет впечатляющее преимущество перед бактериями или атомными бомбами, не говоря уже о том, что его применение вообще ничего не стоит: профессор может избирательно воздействовать на личности или объекты, угрожающие обществу, вместо того чтобы истреблять целые народы во имя сохранения международного равновесия.

Как сказал генерал Хонас Баркер Комитету национальной обороны, «пока кто-нибудь не найдет Барнхауза, защиты от «Эффекта Барнхауза» не существует». Попытки «заглушить» или экранировать излучения провалились. Премьер Слезак вполне мог бы и сэкономить гигантские средства, пущенные на «барнхаузоустойчивое» убежище. Несмотря на четырехметровое свинцовое перекрытие, невидимая сила дважды сбила премьера с ног.

Пошли разговоры о том, что необходимо прошерстить население в поисках людей, обладающих той же психодинамической силой, что и профессор. Сенатор Уоррен Фост потребовал

ассигнований на эти поиски и в прошлом месяце провозгласил: «Кто владеет «Эффектом Барнхауза», владеет миром!» Комиссар Кропотник высказался примерно в том же духе, и началась новая дорогостоящая гонка вооружений, только с особым уклоном.

В этой гонке есть над чем посмеяться. Правительства обхаживают лучших игроков в кости наравне с физиками-атомщиками. Возможно, на Земле, включая меня, найдется несколько сотен человек с психодинамическими способностями, но, не владея техникой профессора, они добьются успеха разве что в игре в кости. И даже зная секрет, им понадобится лет десять, чтобы превратиться в опасное оружие. Столько времени понадобилось и самому профессору. Так что «Эффектом Барнхауза» пока что владеет — и в ближайшее время будет владеть — только сам Барнхауз.

Считается, что эпоха Барнхауза наступила примерно полтора года назад, в день операции «Мозговой штурм». Именно тогда психодинамизм обрел политический вес. В действительности этот феномен был открыт в мае 1942 года, когда профессор отказался от присвоения офицерского звания и записался рядовым в артиллерию.

Подобно рентгеновским лучам или вулканизированной резине психодинамизм был открыт случайно.

Время от времени товарищи по казарме звали рядового Барнхауза перекинуться в кости. Он ничего не знал об азартных играх и обычно старался отговориться, но как-то вечером, просто из вежливости, согласился метнуть кости. Это событие можно считать чудесным или ужасным в зависимости от того, нравится ли вам то, что творится сейчас в мире.

— Выброс-ка семерки, папаша! — сказал кто-то.

И «папаша» выбросил семерки — десять раз подряд, вчистую обыграв всю казарму. Потом вернулся на свою койку и в качестве математического упражнения вычислил вероятность такого совпадения на обороте квитанции из прачечной. И выяснил, что у него был всего один шанс из почти десяти миллионов! Сбитый с толку, он попросил парочку костей у соседа по койке. Попробовал снова выбросить семерки, но получил лишь обычный разнобой. Он немного полежал, а потом опять стал забавляться с костями. И выбросил семерки десять раз подряд.

Можно было бы тихонько присвистнуть и от-

махнуться от странного феномена, но профессор вместо этого стал размышлять об обстоятельствах, при которых ему оба раза так повезло. И нашел единственный общий фактор: в обоих случаях перед самым броском в его мозгу промелькнула одна и та же цепочка мыслей. И эта цепочка мыслей таким образом выстроила мозговые клетки, что мозг профессора с тех пор стал самым мощным оружием на Земле.

Солдат с соседней койки дал психодинамизму первый уважительный отзыв, хотя эта явная недооценка наверняка вызвала бы кривые улыбки у всех демагогов мира. «Лупишь как из пушки, папаша!» — сказал он. Профессор Барнхауз и правда лупил круто. Послушные ему кости весили не больше нескольких граммов, и управлявшая ими сила была крошечной, однако самый факт существования такой силы потрясал основы мироздания.

Профессиональная осторожность позволила ему сохранить открытие в тайне. Он жаждал новых факторов, которые мог бы положить в основу теории. Затем, когда на Хиросиму сбросили атомную бомбу, он продолжал молчать из страха. Его эксперименты никогда не были, как окрестил их премьер Слезак, «буржуазным заговором против

истинных демократий». Профессор тогда и сам не знал, к чему они приведут.

Со временем он открыл еще одно поразительное свойство психодинамизма: его сила возрастала по мере тренировки. Через шесть месяцев он мог управлять костями, которые бросали на другом конце казармы. В 1945 году, к моменту демобилизации, он мог выбивать кирпичи из печных труб на расстоянии трех миль.

Обвинения в том, что профессор Барнхауз мог запросто выиграть последнюю войну, но просто не захотел этим заниматься, не выдерживают никакой критики. К концу войны он обладал силой и дальнобойностью 37-миллиметровой пушки — не больше. Его психодинамическая сила превысила мощность малокалиберной артиллерии только после демобилизации и возвращения в Виандот-колледж.

Я поступил в аспирантуру Виандота двумя годами позже. По случайности профессора назначили моим руководителем по теме. Меня это назначение огорчило, потому что в глазах преподавателей и студентов профессор представал довольно нелепой фигурой. Он пропускал занятия, забывал, о чем хотел сказать на лекциях. А ко времени моего приезда его чудачества из

забавных превратились в невыносимые.

«Мы прикрепили вас к Барнхаузу, но это дело временное, — сказал мне декан социологического факультета. Он был смущен и как будто старался оправдаться. — Барнхауз — выдающаяся личность. После возвращения он, конечно, не так известен, но его довоенные работы создали репутацию нашему маленькому институту».

Когда я прибыл в лабораторию профессора, то, что предстало моим глазам, напугало меня больше, чем досужие разговоры. Повсюду лежал толстый слой пыли; ни к книгам, ни к приборам никто не прикасался месяцами. Когда я вошел, профессор клевал носом за столом. Единственными признаками какой-то деятельности служили три пепельницы, ножницы и свежая газета с дырами от вырезок на первой полосе.

Когда профессор поднял голову и взглянул на меня, я увидел, что глаза его подернуты пеленой усталости.

— Привет, — сказал он. — Никак не могу уснуть по ночам. — Он зажег сигарету, руки у него немного дрожали. — Вы тот самый юноша, которому я должен помочь с диссертацией?

— Да, сэр, — сказал я.

Спустя несколько минут мое волнение пере-

росло в тревогу.

— Воевали в заокеанских краях? — спросил он.

— Да, сэр.

— Не шибко много от них осталось, верно? — Он нахмурился. — Понравилось на войне?

— Нет, сэр.

— Похоже, и следующая война не за горами?

— Похоже на то, сэр.

— И никак нельзя помешать?

Я пожал плечами:

— Кажется, дело безнадежное.

Он пристально посмотрел на меня.

— Знаете что-нибудь о международном праве, об Объединенных Нациях и прочем в этом роде?

— Только из газет.

— Та же история, — вздохнул он и продемонстрировал мне пухлый альбом с газетными вырезками. — Никогда не обращал никакого внимания на международные политические события. А теперь изучаю их, как в свое время крыс в лабиринтах. И все говорят мне одно и то же: «Безнадежное дело...»

— Разве что случится чудо... — начал я.

— Верите в чудеса? — быстро спросил профессор и выудил из кармана пару игральных костей. — Попробую выбросить двойки. — Он выбросил

двойки три раза подряд. — Один шанс из сорока семи тысяч. Вот вам чудо.

Он на мгновение просиял, а потом оборвал разговор, сославшись на то, что его лекция должна была начаться уже десять минут назад.

Профессор не спешил довериться мне и ни словом больше не упомянул о фокусе с игральными костями. Я решил, что кости были со свинцом, и вскоре позабыл об этом. Профессор дал мне задание наблюдать, как крысы-самцы преодолевают металлические пластины под током, чтобы добраться до еды или до самки, — эксперименты, которые, к всеобщему удовлетворению, закончили еще в тридцатые годы. И словно бессмысленность этой работы не была достаточным испытанием, профессор раздражал меня неожиданными вопросами: «Думаете, стоило бросать атомную бомбу на Хиросиму?» или «Полагаете, любое научное открытие идет человечеству на пользу?»

Впрочем, все это продолжалось недолго.

— Дайте бедным животным выходной, — сказал мне профессор однажды утром, когда минул месяц моей работы у него. — Я хотел бы вашей помощи в рассмотрении более интересной проблемы — а именно, в своем ли я уме.

Я вернул крыс в клетки.

— Тут ничего сложного, — мягко проговорил он. — Смотрите на чернильницу на моем столе. Если с ней ничего не произойдет, скажите мне сразу, и я спокойно отправлюсь — и уверяю вас, со спокойной душой — в ближайший сумасшедший дом.

Я неуверенно кивнул.

Профессор запер дверь лаборатории и закрыл ставни, так что мы на какое-то время остались в полутьме.

— Знаю, я человек странный, — сказал профессор. — Это оттого, что я боюсь самого себя.

— Мне вы кажетесь немного эксцентричным, но вовсе не…

— Если с этой чернильницей ничего не случится, значит, я безумен как постельный клоп, — перебил он, включая свет, и сощурился. — Чтобы вы поняли, насколько я безумен, скажу вам, о чем я размышлял ночами, вместо того чтобы спокойно спать. Я думал, а вдруг мне удастся спасти мир? Вдруг я смогу дать каждой нации все необходимое и навсегда разделаться с войнами? Вдруг я сумею прокладывать дороги в джунглях, орошать пустыни, за одну ночь воздвигать плотины?

— Да, сэр…

— Смотрите на чернильницу!

Я со страхом уставился на чернильницу. От нее словно исходило тонкое жужжание; потом она начала угрожающе вибрировать и вдруг запрыгала по столу, описав два шумных круга. Остановилась, снова зажужжала, раскалилась докрасна и наконец разлетелась на куски в сине-зеленой вспышке.

Должно быть, у меня волосы встали дыбом. Профессор мягко рассмеялся.

— Магниты? — наконец выдавил я.

— Если бы, ради всего святого, это были магниты… — пробормотал он. Вот тогда-то профессор и поведал мне о психодинамизме. Он знал о существовании этой силы, но объяснить ее не мог. — Это делаю я, и только я — и это ужасно.

— Я бы сказал, это поразительно и чудесно! — воскликнул я.

— Если бы я только и умел, что заставить чернильницы танцевать, то радовался бы от души. — Он боязливо поежился. — Но я не игрушка, мой мальчик. Если хотите, можем прокатиться за город, и я покажу вам, что имею в виду.

Он рассказал мне о стертых в порошок скалах, о расщепленных дубах, о заброшенных фермах, уничтоженных в радиусе пятидесяти миль от

кампуса.

— Я сделал все это просто сидя здесь, на этом самом месте, и думая — причем не слишком напрягаясь. — Он нервно поскреб затылок. — Я никогда не решался по-настоящему сосредоточиться — боялся натворить бед. Сейчас я дошел до такой стадии, что простое мое желание способно разрушить что угодно. — Повисла гнетущая пауза. — Еще несколько дней назад я думал, что все это лучше хранить в тайне: страшно подумать, как можно использовать эту силу, — продолжил он. — Теперь я понимаю, что не имею на это права, так же как ни один человек не имеет права хранить атомную бомбу.

Он порылся в бумагах.

— Думаю, здесь сказано все, что нужно.

Он протянул мне черновик письма к госсекретарю.

Дорогой сэр!

Я открыл новую силу, которая не требует никаких затрат и при этом, возможно, окажется важнее атомной энергии. Мне бы хотелось, чтобы эта сила наилучшим способом служила делу мира, а потому обращаюсь к вам за советом, как

это сделать лучше всего.
Искренне ваш,

А. Барнхауз

— У меня ни малейшего представления о том, чем все это закончится, — вздохнул профессор.

Закончилось все это непрерывным трехмесячным кошмаром, в течение которого политические и военные шишки приезжали смотреть профессорские фокусы в любое время дня и ночи.

Через пять дней после отправки письма нас увезли в старинный особняк под Шарлотсвиллом, штат Виргиния, посадили за колючую проволоку под охраной двадцати солдат и окрестили «Проектом Доброй воли» под грифом «Совершенно секретно».

Компанию нам составили генерал Хонас Баркер и представитель Госдепартамента Уильям К. Катрелл. На разглагольствования профессора о мире во всем мире и всеобщем благоденствии они отвечали вежливыми улыбочками и рассуждениями о практических мерах и о необходимости мыслить реалистично. После нескольких недель такого обращения кроткий поначалу профессор превратился в закоренелого упрямца.

Поначалу он согласился было сообщить, бла-

годаря какой мысленной цепочке его мозг превратился в психодинамический излучатель, но по мере того как Катрелл и Баркер настаивали, постепенно пошел на попятную. Если раньше он говорил, что информацию можно просто передать устно, то впоследствии стал утверждать, что это потребует подробного письменного изложения. В конце концов однажды за ужином, сразу после того как генерал Хонас Баркер огласил секретные инструкции по операции «Мозговой штурм», профессор заявил:

— Написание доклада потребует не менее пяти лет. — Он бросил на генерала свирепый взгляд. — А может, и все двадцать!

Это заявление могло бы всех обескуражить, если бы не радостное предвкушение операции «Мозговой штурм». Генерал пребывал в праздничном настроении.

— В этот самый момент корабли-мишени держат путь к Каролинским островам, — восторженно провозгласил он. — Сто двадцать судов! Одновременно с этим в Нью-Мексико готовят к запуску десять «Фау-2» и снаряжают пятьдесят радиоуправляемых реактивных бомбардировщиков для учебной атаки на Алеутские острова. Представляете! — Он с воодушевлением огласил

инструкции: — Ровно в одиннадцать ноль-ноль в следующую среду я даю вам приказ сосредоточиться, и вы, профессор, начинаете изо всех сил думать, чтобы потопить корабли, взорвать «Фау-2» в воздухе и сбить бомбардировщики, пока они не достигли Алеутских островов! Как думаете, справитесь?

Профессор посерел и прикрыл глаза.

— Как я уже говорил вам, друг мой, я и сам не знаю, на что способен. — И огорченно добавил: — А что до операции «Мозговой штурм», которую вы даже не обсудили со мной, я считаю ее ребячеством, к тому же безумно дорогим.

Генерал Баркер выпятил грудь.

— Сэр, — произнес он, — ваша специальность — психология, и я не посмел бы давать вам советы в этой области. А мое дело — национальная оборона. У меня за плечами тридцать лет успешного опыта, профессор, и я попросил бы вас не критиковать мои решения.

Профессор воззвал к мистеру Катреллу.

— Послушайте, — взмолился он, — разве мы не пытаемся покончить с войной и со всем, что с ней связано? Разве не важнее — да к тому же и куда дешевле! — попробовать перегнать облачные массы в засушливые районы? Признаю, я ничего

не смыслю в международной политике, но разве не логично предположить, что никому не придет в голову воевать, если всего и везде будет в достатке? Мистер Катрелл, я бы с удовольствием попробовал заставить генераторы работать без воды и угля, орошал бы пустыни и все такое. Вы могли бы подсчитать, что нужно каждой стране для максимального использования собственных ресурсов, и я дам им это — не затратив ни цента американских налогоплательщиков.

— Постоянная бдительность — вот цена свободы, — значительно произнес генерал.

Мистер Катрелл бросил на генерала недовольный взгляд.

— К сожалению, генерал по-своему прав, — сказал он. — Я от всей души хотел бы, чтобы мир был готов принять ваши идеалы, но это, к сожалению, не так. Мы окружены не братьями, а врагами. Мы находимся на грани войны не потому, что не хватает еды или энергии: идет борьба за власть. Кто будет владеть миром — мы или они?

Профессор неохотно кивнул и встал из-за стола.

— Прошу прощения, джентльмены. В конце концов, вам виднее, что лучше для нашей страны. Я сделаю все, что вы скажете. — Он обернулся

ко мне: — Не забудьте завести режимные часы и выпустить засекреченную кошку, — задумчиво пробормотал он и отправился по лестнице в свою комнату.

Из соображений национальной безопасности операция «Мозговой штурм» проводилась втайне от американских граждан, которые тем не менее оплатили счет. Наблюдатели, технический персонал и военные, привлеченные к работе, знали, что предстоят испытания, но о том, что именно за испытания, не имели ни малейшего представления. Только тридцать семь главных участников, включая и меня, были в курсе происходящего.

День операции «Мозговой штурм» выдался в Виргинии очень холодным. В камине трещало полено, и отблески пламени отражались в полированных металлических ящиках, расставленных вдоль стен гостиной. От прелестной старинной обстановки остался лишь двухместный викторианский диванчик посреди комнаты, напротив трех телевизионных экранов. Для остальных десяти человек, допущенных присутствовать, стояла длинная скамья. Телеэкраны демонстрировали — слева направо — пустыню, цель боевых ракет; корабли, назначенные на роль морских свинок, и тот участок алеутского

неба, по которому должна была с ревом пролететь группа радиоуправляемых бомбардировщиков.

За полтора часа до часа X радио сообщило, что ракеты приведены в боевую готовность, корабли-наблюдатели отошли на сочтенную безопасной дистанцию, а бомбардировщики легли на заданный курс. Немногочисленные зрители в Виргинии расселись на скамье согласно чину, много курили и почти не разговаривали. Профессор Барнхауз оставался в своей комнате, а генерал Баркер носился по дому, точно хозяйка, хлопочущая в День благодарения над обедом на двадцать персон.

За десять минут до часа X генерал вошел в гостиную, мягко подталкивая перед собой профессора. Профессор был в удобных теннисных туфлях, серых фланелевых брюках, синем свитере и белой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей. Бок о бок они сели на диванчик: генерал — потный от напряжения, профессор — бодрый и жизнерадостный. Он по очереди взглянул на экраны, закурил сигарету и откинулся на спинку.

— Вижу бомбардировщики! — крикнули наблюдатели с Алеутских островов.

— Пошли ракеты! — рявкнул радист в Нью-Мексико.

Все быстро взглянули на большие электронные часы над каминной полкой, а профессор с легкой улыбкой продолжал смотреть на экраны. Генерал глухим голосом повел обратный отсчет:

— Пять… четыре… три… два… один… сконцентрироваться!

Профессор Барнхауз закрыл глаза, поджал губы и принялся поглаживать пальцами виски. Так прошло около минуты. Изображения на экранах задергались, и статическое поле Барнхауза заглушило радиосигналы. Профессор вздохнул, открыл глаза и удовлетворенно улыбнулся.

— Вы сделали все, что могли? — недоверчиво спросил генерал.

— Весь выложился, — ответил профессор.

Изображения на экранах прекратили трястись, и по радио послышались восхищенные возгласы наблюдателей. Алеутское небо было исчерчено дымными следами объятых пламенем бомбардировщиков, с воем несущихся к земле. Одновременно над пустыней вспухли белые облачка и мы услышали отзвук далеких взрывов.

Генерал Баркер ошалело тряс головой.

— Чтоб меня! — закаркал он. — Черт, сэр, чтоб меня! Чтоб меня! Чтоб меня!

— Эй, смотрите! — воскликнул адмирал рядом

со мной. — Флот не пострадал!

— Пушки вроде опускаются, — сказал мистер Катрелл.

Мы вскочили со скамьи и сгрудились возле экрана. Мистер Катрелл был прав. Корабельные орудия согнулись так, что стволы уперлись в стальную палубу. И тут мы подняли такой крик, что невозможно было разобрать сообщений по радио. Мы были настолько поглощены происходящим, что не хватились профессора, пока два коротких разряда статического поля Барнхауза не заставили радио замолчать.

Мы растерянно огляделись по сторонам. Профессора не было. Часовой в панике распахнул дверь снаружи и заорал, что профессор сбежал. Он размахивал пистолетом, показывая на распахнутые настежь покореженные ворота. Вдалеке служебный автобус на полной скорости взлетел на гребень и скрылся в долине за холмом. Удушливый дым застилал небо — горели все до единого автомобили на стоянке. Погоня была невозможна.

— Да что, ради всего святого, на него нашло? — взвыл генерал.

Мистер Катрелл, который только что выбежал за дверь, неторопливо вернулся, дочитывая на

ходу какую-то записку. Он сунул ее мне в руки.

— Этот добрый человек оставил нам любовную записочку! Сунул под дверной молоток. Возможно, наш юный друг будет любезен прочесть ее вам, джентльмены, пока я прогуляюсь на свежем воздухе.

— «Господа! — прочел я вслух. — Будучи первым сверхоружием, обладающим совестью, я изымаю себя из арсенала государственной обороны. Я создаю этот прецедент в поведении оружия по чисто человеческим соображениям. А. Барнхауз».

С того самого дня, понятно, профессор систематически уничтожал мировые запасы оружия, так что теперь армию можно вооружить разве что камнями и дубинками. Его деятельность не привела к установлению мира в полном смысле этого слова, но послужила началом нового вида бескровной и увлекательной войны, которую можно назвать «войной болтунов». Все страны наводнены вражескими агентами, которые занимаются исключительно разведкой складов оружия. Эти склады немедленно уничтожаются, как только профессору сообщают о них через прессу.

Каждый день приносит не только новые сведения об оружии, стертом в порошок при помощи психодинамизма, но и новые слухи о местопре-

бывании профессора. За одну только прошлую неделю вышли три статьи, доказывающие, что профессор прячется в развалинах города инков в Андах, скрывается в парижских клоаках и затаился в неисследованных глубинах Карлсбадской пещеры. Зная этого человека, я уверен, что для него подобные убежища слишком романтичны и недостаточно комфортабельны. Огромное количество людей мечтают расправиться с ним, но миллионы других готовы защитить его. Мне бы хотелось думать, что сейчас он укрывается в доме у кого-то из них.

Одно совершенно бесспорно: когда я пишу эти строки, профессор Барнхауз еще жив. Статика Барнхауза прервала радиопередачу всего десять минут назад. За восемнадцать месяцев с момента его исчезновения о смерти профессора сообщали с полдюжины раз. Каждое сообщение основывалось на смерти какого-либо неопознанного, но похожего на профессора человека в период, когда никак не проявляла себя статика Барнхауза. После первых трех сообщений сразу пошли призывы вооружаться по новой, но любители помахать саблями быстро усвоили урок: не стоит раньше времени радоваться смерти профессора.

Не одному «пламенному патриоту» приходи-

лось выкарабкиваться из-под обломков трибуны и выпутываться из обрывков флагов буквально через несколько секунд после торжественного провозглашения долгожданного конца архитирании Барнхауза. Но те, кто только и мечтает ввергнуть мир в войну, в мрачном молчании ждут, когда наступит неизбежное — смерть профессора Барнхауза.

Спрашивать о том, сколько еще проживет профессор, — все равно что спрашивать, сколько еще нам ждать радостей очередной мировой войны. Он не из породы долгожителей: мать дожила до сорока трех лет, отец умер в сорок девять; примерно того же возраста достигали его деды и бабки с обеих сторон. Профессор может прожить еще примерно лет пятнадцать, если ему удастся все это время скрываться от врагов. Но стоит только вспомнить о том, как эти враги многочисленны и сильны, и пятнадцать лет кажутся очень долгим сроком, который в любой момент может сократиться до пятнадцати дней, часов и даже минут.

Профессор знает, что жить ему осталось недолго. Это следует из его записки, оставленной в моем почтовом ящике в сочельник. Неподписанная, напечатанная на грязном клочке бумаги, эта записка состояла из десяти предложений.

Первые девять представляют собой мешанину из психологического жаргона и ссылок на неизвестные мне источники и с первого взгляда кажутся совершенно бессмысленными. Десятая фраза, напротив, составлена просто, и в ней нет ни одного ученого слова, но из-за своего иррационального содержания предстает самой загадочной из всех. Я чуть не выбросил записку, размышляя о том, какое у моих коллег превратное представление о шутках. Но по какой-то причине все-таки оставил ее в груде бумаг на письменном столе, где, среди прочего хлама, валялись и игральные кости профессора Барнхауза.

Мне понадобилось несколько недель, чтобы осознать: послание далеко не бессмысленно, а первые девять предложений, если в них разобраться, содержат в себе точные инструкции. Десятое по-прежнему оставалось непонятным, и лишь вчера я наконец сообразил, как связать его с остальными. Эта мысль пришла мне в голову вечером, когда я рассеянно подбрасывал игральные кости профессора.

Я обещал отправить этот доклад в редакцию сегодня. Учитывая последние обстоятельства, мне придется нарушить обещание либо послать урезанную версию. Впрочем, задержка будет

недолгой: одно из немногих преимуществ холостяцкой жизни — свобода передвижения с места на место, от одного образа жизни к другому. Собраться можно за несколько часов. К счастью, я не стеснен в средствах, которые всего за неделю нетрудно рассредоточить по анонимным счетам в разных местах. Сделав это, я немедленно вышлю доклад.

Я только что вернулся от своего врача, который уверил, что у меня превосходное здоровье. Я еще молод, и, если мне повезет, доживу до весьма преклонного возраста, потому что мои родные с обеих сторон известны своей долговечностью.

Короче, я собираюсь скрыться.

Рано или поздно профессор Барнхауз умрет. Но задолго до этого я буду готов. Мое послание воякам сегодняшнего и надеюсь, что и завтрашнего дня: берегитесь! Барнхауз умрет, но не умрет «Эффект Барнхауза».

Прошлым вечером я еще раз попытался выполнить инструкции, написанные на клочке бумаги. Я взял профессорские игральные кости и, повторяя в уме последнюю бредовую фразу, выбросил подряд пятьдесят семерок.

Всего хорошего!

Эйфо

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Леди и джентльмены из Федеральной комиссии по коммуникациям, я рад, что имею возможность свидетельствовать перед вами по данной теме.

Мне очень жаль, а может, правильнее было бы сказать, я скорблю, что сведения об этом просочились наружу. Но раз уж известия распространились и вызвали ваш интерес, мне остается только рассказать вам все как на духу и молить Бога, чтобы он помог мне убедить вас в том, что наше открытие совершенно не нужно Америке.

Не стану отрицать, что все мы: Лью Харрисон, радиоведущий, доктор Фред Бокман, физик, и я сам, профессор социологии, — обрели безмятежность. Именно так. Не стану я и утверждать, что человек не должен искать безмятежности. Но если кто-нибудь полагает, что ему нужна безмятежность в том виде, в каком обрели ее мы, должен сказать, что с тем же успехом он мог бы желать закупорки коронарных сосудов.

Лью, Фред и я обрели безмятежность, сидя в мягких креслах и включив приспособление раз-

мером с переносной телевизор. Никаких трав и «золотых правил»; никакого контроля над мышцами; никаких попыток сунуть нос в чужие проблемы, чтобы позабыть о собственных; никаких тебе хобби, даосских техник, гимнастики и медитаций в позе лотоса. Такого рода прибор многие, как мне кажется, смутно предвидели как некий венец развития цивилизации: электронная штуковина, дешевая и подходящая для массового производства, которая может одним щелчком тумблера подарить успокоение. Вижу, у вас тут уже есть такой прибор.

Впервые мое знакомство с синтетической безмятежностью состоялось полгода назад. Тогда же, как это ни прискорбно, я познакомился с Лью Харрисоном. Лью — главный ведущий нашего единственного городского радио. Он зарабатывает себе на жизнь болтовней, и я был бы удивлен, узнав, что вам все выболтал кто-то другой.

У Лью, кроме тридцати других программ, есть еще и еженедельная передача, посвященная науке. Каждую неделю он вытаскивает какого-нибудь профессора из Виандот-колледжа и интервьюирует его по специальности. И вот полгода назад Лью представил в своей программе молодого мечтателя и моего университетского

друга, доктора Фреда Бокмана. Я подвез Фреда на радиостудию, он пригласил меня зайти и послушать, и я, будь оно неладно, зашел.

Фреду Бокману тридцать, но на вид он не старше восемнадцати. Жизнь не оставила на нем отметин, потому что он совершенно не обращает на нее внимания. Его вниманием безраздельно завладела штуковина, о которой и собирался его порасспросить Лью Харрисон, — восьмитонный зонтик, с помощью которого он слушает звезды. Это огромная радиоантенна, смонтированная на опоре телескопа. Насколько я понимаю, вместо того чтобы смотреть на звезды в телескоп, он направляет эту штуковину в пространство и ловит радиосигналы, испускаемые разными небесными телами.

Ясное дело, на небесных телах нет людей, которые могли бы построить радиостанции. Просто многие небесные тела испускают самые разные излучения, и часть из них можно поймать на радиочастотах. Оборудование Фреда обладает одной очень важной особенностью — оно способно обнаруживать звезды, скрытые от телескопов гигантскими облаками космической пыли. Радиосигналы от этих звезд проходят сквозь эти облака прямиком на антенну Фреда.

Но это еще не все, на что способна эта штука, и в своем интервью с Фредом Лью Харрисон приберег самое интересное к концу программы.

— Все это очень интересно, доктор Бокман, — сказал Лью. — А теперь поведайте нам, не открылось ли с помощью вашего радиотелескопа нечто такое во Вселенной, что не сумели обнаружить оптические телескопы?

Это и был десерт.

— Кое-что удалось, — проговорил Фред. — Мы обнаружили в пространстве около пятидесяти участков, не скрытых космической пылью, которые излучают мощные радиосигналы, при том что там нет вовсе никаких небесных тел.

— Ух ты! — притворно удивился Лью. — Должен сказать, это уже кое-что. Леди и джентльмены, впервые в истории радио мы даем вам возможность услышать голос загадочных пустот доктора Бокмана. — Они заранее протянули провод в кампус к антенне Фреда. Лью махнул инженеру, чтобы тот дал в эфир принимаемый ею сигнал. — Леди и джентльмены, голос пустоты!

Ничего особенного в этом шуме не было — неровное шипение, словно у проколотой шины. Предполагалось, что шум будет звучать в эфире пять секунд. Когда сигнал прекратился, мы с Фре-

дом неожиданно принялись ухмыляться точно пара идиотов. Я чувствовал себя совершенно расслабленным, по телу бегали приятные мурашки. У Лью Харрисона был такой вид, словно он ввалился в гримерную кордебалета где-нибудь на Копакабане. Он безумным взглядом таращился на настенные часы. Монотонное шипение было в эфире целых пять минут! И если бы инженер случайно не зацепился манжетой за рубильник, оно до сих пор шло бы в эфир.

Фред нервно хохотнул, а Лью принялся лихорадочно листать сценарий.

— Шорох ниоткуда, — наконец проговорил Лью. — Доктор Бокман, скажите, кто-то уже придумал название для этих загадочных пустот?

— Нет, — сказал Фред. — В настоящий момент у них нет ни названия, ни объяснения.

Природа излучающих сигнал пустот все еще ждет своего объяснения, но я предложил явлению название, которое, судя по всему, привилось: «Эйфория Бокмана». Пусть нам неизвестно, что представляют собой эти пустоты, зато мы отлично знаем, как они действуют. Слово «эйфория», означающее блаженное чувство радости, душевного подъема и благополучия, подходит как нельзя лучше.

После эфира я, Фред и Лью были друг с другом сердечны на грани слезливой сентиментальности.

— Уж и не припомню, когда доставлял мне такое удовольствие, — сказал Лью. Искренность ему отнюдь не свойственна, однако он не кривил душой.

— Это было одно из самых сильных впечатлений в моей жизни, — смущенно произнес Фред. — Приятно до невозможности…

Совершенно сконфуженные охватившими нас странными эмоциями, мы смущенно распрощались. Я поспешил домой что-нибудь выпить и угодил прямиком в очередную неприятность.

В доме было необычно тихо, и я раза два прошелся по комнатам, пока не обнаружил, что там кто-то есть. Моя жена Сьюзен, добрая и привлекательная женщина, которая всегда гордилась тем, что хорошо и вовремя кормит свое семейство, лежала на диване, мечтательно глядя в потолок.

— Милая, — осторожно позвал я, — я дома. Время ужинать.

— Фред Бокман сегодня выступал по радио, — произнесла она отсутствующим голосом.

— Знаю. Я был с ним в студии.

— Он не от мира сего, — вздохнула она. — На-

турально не от мира сего. А этот шум из космоса — как только его включили, сразу ни до чего не стало дела. Лежу вот, пытаюсь прийти в себя.

— Так-так… — Я закусил губу. — Ладно, поищука я лучше Эдди.

Эдди — мой десятилетний сын, а заодно и капитан непобедимой бейсбольной команды нашего района.

— Не трудись понапрасну, па, — раздался тихий голосок откуда-то из глубины комнаты.

— Ты дома? Что стряслось? Игру отменили по случаю атомной атаки?

— Не-а. Мы выиграли восемь подач.

— Так им наподдали, что они и лапки сложили?

— Да нет, они играли очень даже. При ничейном счете оставалось еще двое да двое запасных. — Эдди словно рассказывал сон. — А потом, — сказал он, и глаза его широко раскрылись, — всем вдруг стало все равно и все разбрелись. Я вернулся домой, вижу — ма свернулась на диванчике, ну и я тоже решил прилечь на пол.

— С чего бы это? — настороженно спросил я.

— Па, — задумчиво проговорил Эдди, — да черт меня побери, если я знаю.

— Эдди! — одернула его мать.

— Ма, черт меня побери, если и ты знаешь.

Черт меня побери, если я хоть что-то понял, но меня уже начало грызть смутное подозрение. Я набрал телефон Фреда Бокмана.

— Фред, я тебя не отрываю от ужина?

— Если бы, — ответил Фред, — в доме ни крошки, а я сегодня оставил Марион машину, чтобы съездила за продуктами. Вот она теперь и ищет хоть какую-то открытую бакалейную лавку.

— Машина, что ли, не завелась?

— Вполне себе завелась, — сказал Фред. — Марион даже до рынка доехала. А потом вдруг ей стало так хорошо, что она развернулась да и вышла вон. — Голос у Фреда был расстроенный. — Конечно, женщина имеет право на капризы, но ложь противна мне…

— Марион солгала? Ни за что не поверю! — сказал я.

— Она пыталась убедить меня, что с ней вместе с рынка ушли и все остальные — даже продавцы.

— Фред, — сказал я, — я должен тебе кое-что рассказать. Можно мне приехать сразу после ужина?

Когда я подкатил к ферме Фреда Бокмана, он в полном обалдении читал вечернюю газету.

— Весь город свихнулся! — сказал он. — Без всякого повода все до одной машины свернули к обочине, как будто по улице неслась пожарная команда. Тут вот пишут, что люди замолкали на полуслове и стояли так целых пять минут. Сотни человек вышли на мороз в рубашках с короткими рукавами, улыбаясь, точно на рекламе зубной пасты. — Он потряс газетой: — Ты про это хотел мне сообщить?

Я кивнул.

— Все это приключилось, когда передавали твой шум, и я подумал, что, возможно…

— Один шанс из миллиона, что причина в другом, — сказал Фред. — Время совпадает до секунды.

— Но ведь большая часть народу не слушала радио.

— А им и не надо было, если я все правильно понимаю. Мы приняли из космоса слабые сигналы, усилили их примерно в тысячу раз и ретранслировали. Каждый, кто находился в радиусе действия передатчика, получил изрядную дозу этих усиленных излучений, хотел он того или нет. — Он пожал плечами. — Все равно что прогуляться мимо поля горящей марихуаны.

— Как же получилось, что ты раньше не про-

чувствовал этого на себе?

— Потому что я никогда не усиливал и не ретранслировал сигналы. Передатчик радиостанции — вот что дало им настоящую силу.

— И что же теперь делать?

Фред удивился:

— Делать? Написать сообщение в какой-нибудь подходящий журнал, вот и все дела.

Входная дверь без стука распахнулась, в комнату влетел красный и запыхавшийся Лью Харрисон и взмахом опытного тореадора сбросил с плеч плащ.

— Тоже хочет получить свою долю? — вопросил он, тыча в меня пальцем.

Фред растерянно заморгал:

— Какую долю?

— Миллионы, — провозгласил Лью. — Миллиарды.

— Чудесно, — проговорил Фред. — О чем это вы толкуете?

— О шорохе звезд! — сказал Лью. — Все его обожают. Да что там — просто с ума по нему сходят. Газеты видали? — На минуту он стал серьезным. — Это все ваш шорох, разве нет, док?

— Полагаем, что да, — произнес Фред. Вид у него был встревоженный. — И каким же способом

мы можем наложить лапу на эти миллионы или миллиарды?

— Продажей земельных участков! — восторженно воскликнул Лью. — Лью, сказал я себе, Лью, как вытрясти из этой игрушки наличные финтифлюшки, если нет возможности монополизировать космос? И еще, Лью, спрашиваю я себя, как продать то, что все получают задаром во время передачи?

— Может быть, это невозможно превратить в наличные, — вмешался я. — Я имею в виду, мы почти ничего не знаем…

— Счастье — это плохо? — перебил Лью.

— Нет, — согласился я.

— Отлично, а мы при помощи этой звездной хрени сделаем людей счастливыми. Скажете, это плохо?

— Люди должны быть счастливы, — согласился Фред.

— Именно, — важно кивнул Лью. — Именно счастье мы им и принесем. А свою благодарность нам люди выразят в форме недвижимости. — Он взглянул в окно. — Отлично: коровник. С него и начнем. Установим в коровнике передатчик, протянем линию к вашей антенне, док, и вот у нас уже агентство по продаже земельных участков.

— Простите, — сказал Фред. — Я не совсем понимаю. Здешние места не годятся для строительства. Дороги отвратительные, ни автобусной остановки, ни магазина, вид паршивый, почва каменистая.

Лью несколько раз ткнул Фреда локтем.

— Док, док, док! Конечно, тут есть недостатки, но с передатчиком в коровнике вы сможете дать им самую драгоценную вещь в мироздании — счастье.

— Эйфорийные поля, — сказал я.

— Блестяще! — воскликнул Лью. — Я привожу клиентов, а вы, док, будете сидеть в коровнике и держать руку на кнопке. Едва клиент ступит ногой в Эйфорийные поля, вы влепите ему порцию счастья, и он выложит за участок любые деньги.

— И каждый амбар покажется домом, лишь бы электричество не пропало, — сказал я.

— Короче, — продолжал Лью, глаза у него горели. — Как только распродадим здесь все, перемещаем передатчик и начинаем все сначала. Может, даже запустим целую флотилию передатчиков. — Он щелкнул пальцами. — Точно! Поставим их на колеса!

— Мне почему-то кажется, что полиции это не понравится, — сказал Фред.

— Подумаешь! Когда они сунутся с расследованием, вы щелкнете старым добрым тумблером и вкатите им порцию счастья! — Он пожал плечами. — Черт возьми, по доброте душевной я даже могу выделить им участок где-нибудь в уголке.

— Нет, — тихо проговорил Фред. — Если я когда-нибудь стану прихожанином церкви, мне будет стыдно глядеть в глаза пастору.

— Мы и ему дозу вкатим, — жизнерадостно пообещал Лью.

— Простите, нет. — Фред был непреклонен.

— Ладно. — Лью вышагивал по комнате взад-вперед. — Я ждал чего-то подобного. Предлагаю альтернативный вариант, причем абсолютно законный. Наладим выпуск маленьких усилителей с передатчиком и антенной. Себестоимость не больше полусотни, так что цену назначим доступную среднему американцу — скажем, пятьсот долларов. Договоримся с телефонной компанией, чтобы она передавала сигналы с вашей антенны прямо на дом тем, у кого будут наши приемники. Приемники получают сигнал по проводам, усиливают, транслируют по всему дому, и все счастливы. Врубаетесь? Вместо того чтобы включать радио или телевизор, все будут включать только счастье. Никаких съемочных

групп, сценариев, дорогущих камер — вообще ничего, кроме этого шороха.

— Назовем это эйфорифоном, — предложил я. — Или, для краткости, — эйфо.

— Блестяще, просто блестяще! — воскликнул Лью. — Что скажете, док?

— Не знаю. — Фред казался обеспокоенным. — Я в таких вещах не разбираюсь.

— У всех у нас свои недостатки, — великодушно согласился Лью, — я займусь бизнесом, а вы — технической стороной вопроса. — Он сделал вид, будто собирается надевать плащ. — Или, может, вы не хотите стать миллионером?

— Да-да, конечно, хочу, — поспешно сказал Фред. — Конечно…

— Вот и славно. — Лью потер руки. — Для начала построим один прибор и проведем испытания.

В этих делах Фред разбирается отлично, и я видел, что задача его заинтересовала.

— Приборчик весьма прост, — сказал он. — Думаю, испытания можно будет провести уже на следующей неделе.

Первое испытание эйфорифона, или эйфо, имело место в гостиной у Фреда Бокмана субботним вечером, через пять дней после сенсационного интервью.

«Морских свинок» было шесть — Лью, Фред со своей женой Марион, я, моя жена Сьюзен и наш сын Эдди. Бокманы расставили стулья вокруг журнального столика, на котором стоял серый стальной ящичек.

Из ящичка торчала длинная, до потолка, раздвижная антенна. Пока Фред хлопотал над своим ящичком, остальные перебрасывались напряженными фразами за пивом с сандвичами. Эдди, конечно, пива не пил, хотя явно нуждался в успокоительном. Он злился, что вместо футбола пришлось тащиться на ферму, и собирался выместить свою злость на старинной мебели Бокманов. Он играл старым теннисным мячом и кочергой возле стеклянных дверей во двор.

— Эдди, прекрати, — в десятый раз сказала Сьюзен.

— Все под контролем, — небрежно бросил Эдди, пуская мяч по всем четырем стенам.

Марион, чьи материнские чувства были отданы безукоризненно отполированной мебели, не могла скрыть отчаяния, глядя, как Эдди превращает комнату в спортзал. Лью по-своему старался утешить ее.

— Пусть себе поломает весь этот хлам, — говорил он. — Все равно на днях вам переезжать

во дворец.

— Готово, — негромко сказал Фред.

Все взглянули на него с напускной храбростью, хотя нас подташнивало от страха. Фред подключил два штекера от телефонной розетки к серому ящичку. Линия шла напрямую к антенне в кампусе, а специальный часовой механизм должен был сохранять направление антенны на одну из загадочных пустот в небе — самый мощный источник бокмановской эйфории. Фред воткнул вилку в электрическую розетку и положил руку на выключатель.

— Все готовы?

— Не надо, Фред! — Я оцепенел от страха.

— Включайте, включайте, — сказал Лью. — Если бы у Белла не хватило духу позвонить кому-нибудь, мы бы до сих пор сидели без телефонов.

— Я останусь у выключателя и вырублю аппарат, если что-нибудь пойдет не так, — успокаивающе сказал Фред.

Последовал щелчок, гуденье, и эйфо заработал.

По комнате пронесся единодушный глубокий вздох. Кочерга выпала у Эдди из рук. Он прошелся по гостиной в некоем подобии вальса, опустился на пол у ног матери и положил голову ей на колени. Фред, мурлыкая что-то, покинул свой пост,

глаза его были полузакрыты.

Первым нарушил молчание Лью Харрисон, продолжая разговор с Марион.

— Но кому есть дело до материальных благ? — искренне спросил он и обернулся к Сьюзен за поддержкой.

— Ах-ха… — проговорила Сьюзен, мечтательно покачивая головой. Она обвила Лью руками и минут пять целовала его.

— Смотри-ка, — сказал я, похлопывая Сьюзен по спине. — Да вы, ребята, прямо спелись. Чудесно, верно, Фред?

— Эдди, — обеспокоилась Марион, — у нас в кладовке, кажется, есть настоящий бейсбольный мяч. Твердый. Куда лучше этого теннисного мячика.

Эдди не шевельнулся.

Фред, блаженно улыбаясь, фланировал по комнате. Теперь его глаза были полностью закрыты. Зацепившись каблуком за шнур от торшера, он влетел головой прямо в камин.

— Хей-хо, братцы, — сказал он, не открывая глаз, и сообщил: — Звезданулся башкой о подставку для дров.

Там он и остался, изредка похихикивая.

— В дверь уже давно звонят, — сказала Сьюзен.

— Не думаю, что это кому-то интересно…

— Входите, входите! — заорал я.

От этого почему-то стало ужасно смешно. Все так и покатились со смеху, включая Фреда — от его смеха из камина вылетали легкие серые облачка пепла.

Маленький, очень серьезный старичок в белом вошел в дверь и остановился в прихожей, тревожно глядя на нас.

— Молочник, — неуверенно произнес он и протянул Марион какой-то клочок бумаги. — Не могу разобрать последнюю строчку в вашей записке. — Что-то там про домашний сыр, сыр, сыр, сыр, сыр…

Голос его постепенно затих, а сам старичок опустился у ног Марион, по-портновски поджав ноги. После того как он просидел молча три четверти часа, лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.

— Должен сказать, — апатично произнес он, — что я могу задержаться только на минуточку. Мой грузовик припаркован на повороте и будет всем мешать.

Он начал было подниматься, когда Лью крутанул регулятор громкости. Молочник сполз на пол.

— Аааааааааах… — вздохнули все.

— Хороший день, чтобы побыть дома, — сказал молочник. — По радио сказали, нас зацепит краешком ураган с Атлантики.

— Да пусть себе цепляет, — сказал я. — Я припарковал машину под большим высохшим деревом. — Я чувствовал, что поступил абсолютно правильно. Да и никому мои слова не показались странными. Я снова погрузился в теплый туман тишины, и в голове у меня не появлялось ни одной мысли. Казалось, эти погружения длились всего несколько секунд, и их прерывали новопришедшие люди. Теперь я понимаю, они продолжались не меньше чем по шесть часов.

Один раз меня привел в себя трезвон в дверь.

— Я уже сказал — входите, — пробормотал я.

— Я и вошел, — так же сонно откликнулся молочник.

Дверь распахнулась, и на нас воззрился патрульный полицейский.

— Кто, черт побери, поставил молочный грузовик поперек дороги? — сурово спросил он и ткнул пальцем в молочника: — Ага! Вы что, не знаете, что кто-нибудь может погибнуть, если врежется в вашу колымагу на повороте? — Полицейский зевнул, и ярость на его физиономии сменилась

нежной улыбкой. — А впрочем, вряд ли, — проговорил он. — Не пойму, чего это я завелся. — Он присел рядом с Эдди. — Эй, малыш, любишь пушки? — Он вынул из кобуры револьвер: — Клевый, верно?

Эдди взял револьвер, направил на коллекцию бутылок — гордость Марион — и спустил курок. Большая синяя бутыль разлетелась в пыль, а с ней и окно, на котором она стояла. В помещение ворвался холодный ветер.

— Будет копом, не иначе, — фыркнула Марион.

— Господи, как я счастлив, — сказал я, едва не плача. — У меня самый лучший сынишка, лучшие на свете друзья и лучшая в мире старушка жена.

Револьвер выстрелил еще дважды, и я вновь погрузился в божественное забытье.

И опять меня пробудил звонок в дверь.

— Сколько раз вам говорить — входите, ради всего святого! — пробормотал я, не открывая глаз.

— Я и вошел, — сказал молочник.

Я слышал топот множества ног, но мне было совершенно неинтересно, чьи они. Чуть позже я заметил, что мне тяжело дышать. Оказалось, я сполз на пол, а на груди и на животе у меня устроили бивак несколько бойскаутов.

— Вам что-то нужно? — спросил я у новичка, который сосредоточенно дышал мне в щеку.

— Бобровый патруль собирал макулатуру, но вы не обращайте внимания, — сказал он. — Просто нужно было куда-то ее притащить.

— А родители знают, где вы?

— Конечно. Они волновались и пришли за нами. — Он показал большим пальцем через плечо: у разбитого окна выстроились несколько пар, улыбаясь навстречу дождю, хлеставшему им прямо в лицо.

— Ма, что-то я проголодался, — сказал Эдди.

— Ах, Эдди, ты ведь не заставишь маму готовить, когда мы так чудно проводим время? — ответила Сьюзен.

Лью Харрисон еще раз крутанул ручку эйфо.

— Так лучше, сынок?

— Аааааааааааааааах… — сказали все.

Когда забытье в очередной раз сменилось минутой просветления, я пошарил вокруг в поисках Бобрового патруля и не обнаружил такового. Открыв глаза, я увидел, что бойскауты, Эдди, молочник и Лью стоят у панорамного окна, испуская восторженные возгласы. Снаружи завывал ветер, швыряя капли дождя сквозь разбитое стекло с такой скоростью, словно ими выстреливали из

духового ружья. Я мягко тряхнул Сьюзен, и мы вместе подошли к окну посмотреть, чему они все так радуются.

— Давай, давай, давай! — в экстазе верещал молочник.

Мы со Сьюзен как раз успели присоединиться к восторженным воплям, когда громадный вяз раздавил нашу машину в лепешку.

— Трах-тарарах! — воскликнула Сьюзен, заставив меня хохотать до колик.

— Скорее притащите Фреда, — приказал Лью. — А то он не увидит, как сносит сарай.

— Гм-м?.. — отозвался Фред из камина.

— Ах, Фред, ты все пропустил, — сказала Марион.

— Не все! — завопил Эдди. — Сейчас завалится на провода! Вон тот тополь!

Тополь клонился все ближе и ближе к линии электропередачи. Налетел очередной порыв ветра, и он рухнул в снопах искр и путанице проводов. Свет в доме погас. В наступившей тишине слышался только рев ветра.

— А чего никто не радуется? — слабым голосом проговорил Лью. — А, эйфо… он выключился!

Из камина донесся вселяющий ужас стон.

— Господи, кажется, у меня сотрясение!

Марион бросилась на колени рядом с мужем и запричитала:

— Дорогой мой, бедный мальчик, что с тобой приключилось?

Я взглянул на женщину, которую держал в объятиях, — жуткая, грязная старая карга с красными ввалившимися глазами и волосами как у горгоны Медузы!

— Фу! — сказал я и с отвращением отвернулся.

— Милый, — взмолилась карга, — это же я, Сьюзен!

Воздух наполнился стонами и требованиями воды и питья. В комнате внезапно стало ужасно холодно. А всего минуту назад мне казалось, что я в тропиках.

— У кого, черт побери, мой револьвер? — беспомощно вопрошал полицейский.

Рассыльный «Вестерн-юнион», которого я раньше не приметил, забившись в угол и жалобно поскуливая, с несчастным видом перебирал пачку телеграмм.

Я поежился.

— Держу пари, уже воскресное утро! — сказал я. — Мы пробыли здесь двенадцать часов.

На самом деле наступило утро понедельника.

Посыльный был потрясен.

— Воскресенье? Да я пришел сюда в воскресенье вечером. — Он беспомощно огляделся. — Похоже на хронику из Бухенвальда, вы не находите?

Предводитель Бобрового патруля, благодаря неиссякаемой энергии юности, стал героем дня. Он построил своих людей в две шеренги, управляясь с ними, точно старый армейский сержант. Пока все мы валялись, как тряпки, по комнате, подвывая от голода, холода и жажды, бойскауты разожгли камин, притащили одеяла, приладили на голову Фреду компресс, обработали бесчисленные царапины, заткнули разбитое окно и вскипятили по ведру какао и кофе.

Не прошло и двух часов с тех пор, как вырубилось электричество, а в доме стало тепло и все были сыты. Тех, кто схватил серьезную простуду — родителей, которые двадцать четыре часа просидели у разбитого окна, — накачали пенициллином и срочно отправили в больницу. Молочник, рассыльный «Вестерн-юнион» и полицейский от лечения отказались и отправились по домам. Бобры отсалютовали и удалились. Снаружи аварийная служба чинила линию электропередачи. В доме остались те, кто заварил всю кашу, — Лью, Фред и Марион, Сьюзен, Эдди и я.

Сьюзен вырубилась сразу после еды. Теперь

она проснулась.

— Что это было?

— Счастье, — ответил я ей. — Несравненное, бесконечное счастье — киловатты счастья.

Лью Харрисон, красными глазами и жесткой щетиной напоминающий анархиста, лихорадочно писал что-то, сидя в углу комнаты.

— Киловатты счастья — отлично сказано! — воскликнул он. — Покупайте счастье, как вы покупаете электроэнергию.

— Хватайте счастье, как подхватываете простуду, — сказал Фред и чихнул.

Лью не обращал на него внимания.

— Это рекламная кампания, ясно? Первое объявление для волосатиков-хиппи: «По цене книги, которая может вас разочаровать, вы покупаете шестьдесят часов эйфо. Эйфо никогда вас не разочарует». А среднему классу мы врежем…

— По яйцам? — поинтересовался Фред.

— Да что с вами, братцы? — удивился Лью. — У вас такой вид, будто эксперимент провалился.

— Мы ожидали от него именно пневмонии, сопровождаемой истощением, — нахмурилась Марион.

— У нас здесь был срез всех социальных групп Америки, и мы сделали счастливыми всех до од-

ного, — сказал Лью. — Не на час, даже не на день, а на два дня подряд. — Он величественно поднялся со стула. — Все, что нужно сделать ради сохранения жизни любителей эйфо, — поставить часовой механизм, который то включал бы, то выключал его. Владелец его так настраивает, что прибор включается, когда он приходит с работы, потом снова выключается, пока он ужинает; включается после ужина, выключается перед сном; опять включается после завтрака, выключается, когда пора на работу, потом опять включается для жены с малышами. — Он запустил пальцы в волосы и закатил глаза. — А экономия! Боже, какая экономия! Никаких дорогих игрушек для детей. За цену одного похода в кино семья может купить тридцать часов эйфо. Вместо четверти виски вы приобретаете шестьдесят часов эйфо!

— Или большую семейную бутыль цианистого калия, — продолжил Фред.

— Да как вы не понимаете? — недоверчиво спросил Лью. — Это же воссоединение семьи, спасение американского домашнего очага. Никто больше не будет ссориться из-за того, что смотреть по телевизору или слушать по радио. Эйфо хорош для всех без исключения — мы тому свидетели. По эйфо не бывает скучных программ.

Его прервал стук в дверь. В комнату заглянул ремонтник и сообщил, что электричество включат через две минуты.

— Послушайте, Лью, — сказал Фред. — Это маленькое чудовище способно уничтожить цивилизацию быстрее, чем пожар уничтожил древний Рим. Мы не будем заниматься отуплением людей, и на этом разговор окончен.

— Вы шутите! — Лью был потрясен. Он обернулся к Марион: — Разве вы не хотите, чтобы ваш муж заработал миллион?

— Нет, если для этого ему придется заправлять электронным опиумным притоном, — холодно ответила она.

Лью стукнул себя по лбу.

— Люди именно этого и хотят! Это все равно как Луи Пастер отказался бы от пастеризации молока.

— Здорово будет, когда снова дадут электричество, — сказала Марион, чтобы переменить тему. — Свет, горячая вода, насос… о господи!

В это мгновение вспыхнул свет, но мы с Фредом уже взмыли в прыжке и обрушились на серый ящик. Журнальный столик рухнул под нами, и вилка вылетела из розетки. Лампы эйфо моргнули красным и погасли.

Фред невозмутимо вытащил из кармана отвертку и отвинтил крышку ящичка.

— Хочешь получить удовольствие от борьбы с прогрессом? — сказал он, протягивая мне кочергу.

Я с яростью крушил стеклянное и проволочное нутро прибора. Левой рукой, с помощью Фреда, я отталкивал Лью, который пытался прикрыть его собой.

— Я думал, мы одна команда! — воскликнул Лью.

— Если ты хоть слово скажешь кому-нибудь об эйфо, — пригрозил я, — я с удовольствием проделаю с тобой то же, что сейчас сделал с прибором.

На этом, леди и джентльмены из Федеральной комиссии по коммуникациям, я посчитал дело законченным. Теперь при помощи болтливого языка Лью Харрисона секрет стал известен миру. Харрисон обратился к вам с просьбой разрешить коммерческую эксплуатацию эйфо. Он и его последователи построили собственный радиотелескоп.

Позвольте снова сказать вам, что обещания Лью совершенно правдивы. Эйфо сделает все, что он обещал. Счастье, которое он дает, совершенно и несокрушимо перед лицом любых катаклизмов.

Опасность трагедии, как при первом эксперименте, легко устранима с помощью часового механизма, включающего и выключающего прибор. Вижу, прибор, стоящий перед вами на столе, уже имеет такой механизм.

Вопрос не в том, работает эйфо или нет. Он работает. Вопрос в том, войдет ли Америка в печальную историческую эпоху, когда люди больше не будут бороться за счастье, а станут просто покупать его. Не время сейчас превращать забытье во всенародное помешательство. Единственная польза, которую мы могли бы извлечь из эйфо, — это каким-то образом обрушить на наших врагов шквальный огонь благодушия, одновременно защитив от него собственное население.

В заключение я хотел бы указать, что Лью Харрисон, потенциальный повелитель эйфо, — человек непорядочный и недостойный доверия общества. Я бы нисколько не удивился, если бы он установил часовой механизм вот этого самого эйфо так, чтобы тот повлиял на ваше решение во время обсуждения вопроса… Кстати, кажется, аппарат как-то подозрительно загудел, и я так счастлив, что хоть плачь! У меня самый славный сынишка, лучшие в мире друзья и самая прекрасная старушка жена на всем белом свете.

А старина Лью Харрисон — вот кто, поверьте, поистине соль земли! И я от всего сердца желаю ему всяческих успехов в его новом предприятии!

Налегке

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Боюсь, старики — те из нас, кто с рождения не живет с этим, никогда так до конца и не привыкнут быть амфибиями. Амфибиями в новом смысле слова. Я и сам нередко ловлю себя на том, что скучаю по вещам, которые теперь уже не имеют никакого значения.

Например, я по сей день беспокоюсь о своем бизнесе — или о том, что когда-то было бизнесом. В конце концов, я угробил на него тридцать лет, поднял с нуля, а теперь оборудование ржавеет и зарастает грязью. И хотя я прекрасно знаю, что глупо беспокоиться о былом деле, все равно частенько одалживаю в хранилище тело, возвращаюсь в свой старый городишко и пытаюсь хоть что-то почистить и смазать.

Само собой, когда-то оборудование давало возможность зарабатывать деньги, но сейчас один Господь знает, сколько их разбросано повсюду. Хотя, конечно, не так много, как раньше, потому что по первости кое-кто так развеселился, что швырял их направо и налево, а дальше уж их

разносил ветер. Были и такие, кто собирал деньги в стога, а потом перепрятывал куда-то. Стыдно признать, но я и сам собрал и спрятал около полумиллиона. Даже периодически доставал их и пересчитывал, но это было много лет назад. Сейчас я вряд ли даже вспомню, где они.

Но все мои заботы о былом бизнесе просто чушь по сравнению с тем, как моя жена Мадж беспокоится о нашем бывшем доме. Ему она посвятила те тридцать лет, что я отдал бизнесу. И едва мы наконец окончательно достроили и привели его в божеский вид, как все, кому до нас было дело, превратились в амфибий. Мадж раз в месяц берет из хранилища тело и протирает в доме пыль, хотя единственное, для чего сейчас годится дом, — не дать мышам и термитам схватить пневмонию.

Каждый раз, когда приходит моя очередь надеть тело и заступить на дежурство по местному хранилищу, я снова и снова убеждаюсь, насколько женщине труднее быть амфибией. Мадж пользуется телами намного чаще меня, и то же самое можно сказать обо всех женщинах. Чтобы удовлетворить их потребности, приходится держать в хранилищах в три раза больше женских тел, чем мужских. Время от времени женщине позарез нужно тело, чтобы нарядить его словно

куклу и посмотреть на себя в зеркало. Я не думаю, что Мадж, благослови ее Господь, успокоится, пока не перепробует все тела из всех хранилищ на земле.

Впрочем, для Мадж это просто здорово. Я над ней никогда не подшучиваю, ведь это имеет такое значение для ее личности. Ее старое тело, если уж начистоту, вряд ли кого могло привести в восторг, а его приходилось повсюду таскать за собой, — так что в старые времена она частенько была из-за этого не в духе. Бедняжка ничего не могла с собой поделать. Впрочем, мало кому нравится тело, с которым он родился, а я ее все равно любил.

Ну так вот, после того как мы научились становиться амфибиями, после того как построили хранилища и поместили в них запасы тел, после того как хранилища открылись, Мадж совершенно ошалела. Она сразу же ухватила тело платиновой блондинки, пожертвованное королевой бурлеска, и я уж думал, мы никогда не вытащим ее из него. Как я уже упоминал, это радикально поменяло ее самооценку.

Мне, как и большинству мужчин, в общем-то, наплевать, какое у меня тело. В хранилище были оставлены только крепкие, здоровые, красивые

тела, так что одно ничем не лучше другого. Иногда, когда в память о старых временах мы с Мадж берем тела вместе, я разрешаю выбирать ей тело и для меня, чтобы мы выглядели подходящей парой. Забавно, но она всегда выбирает мне тело высокого блондина.

Мое старое тело, которое Мадж, по ее заверениям, любила почти треть столетия, было маленького роста, черноволосым и с брюшком. Я все-таки человек, и меня неприятно задело, когда мое тело утилизировали, вместо того чтобы поместить в хранилище. Это было хорошее, уютное и удобное тело; не слишком быстрое и видное, зато вполне надежное. В любом случае оно меня устраивало.

Самые неприятные ощущения я получил, когда меня уболтали взять тело, принадлежавшее доктору Эллису Кенигсвассеру. Это тело — собственность Общества амфибий-первопроходцев, и используют его только раз в год, когда в день годовщины открытия Кенигсвассера проходит большой парад. Все наперебой внушали мне, какая это честь — войти в тело Кенигсвассера и возглавить парад в честь Дня первопроходцев. Я им поверил, словно последний идиот.

Больше никто не заставит меня совершить

подобную глупость. Стоит только взглянуть на эту рухлядь, как сразу становится ясно, почему Кенигсвассер сделал свое открытие о возможности жизни вне тела. Из такого, как у него, любой сбежит! Язва, мигрень, артрит, плоскостопие, слива вместо носа, маленькие поросячьи глазки, цвет лица как у видавшей виды пароходной трубы. Кенигсвассер был и остается милейшим и приятнейшим человеком, но когда все мы были привязаны к нашим телам, никто не рисковал подойти к нему слишком близко, чтобы выяснить это.

Когда впервые было решено проводить парад в День первопроходцев, мы попросили Кенигсвассера вернуться в свое тело и возглавить шествие, но он наотрез отказался, и теперь каждый раз приходится убалтывать какого-нибудь олуха. Кенигсвассер в параде тоже участвует, но только в теле двухметрового ковбоя, которому ничего не стоит двумя пальцами смять пустую банку из-под пива.

Кенигсвассер с этим телом просто как ребенок — ему никак не надоест без конца мять пивные банки, а мы после парада должны смотреть и награждать его аплодисментами. Не думаю, что в былые времена они ему часто доставались.

Мы, конечно, молчим из уважения к заслугам основателя Эры амфибий, но что он вытворяет с телами! Почти каждый раз что-нибудь да сломает, а кому-то приходится влезать в тело хирурга и приводить все это в порядок.

Я вовсе не хочу показаться неуважительным. В конце концов, назвать кого-либо ребячливым — вовсе не оскорбление, ведь именно такие люди чаще всего и порождают великие идеи.

Сохранилась его фотография времен Исторического общества, и по ней можно судить, что внешнему виду Кенигсвассер никогда не уделял должного внимания, равно как и не заботился об убогом теле, коим наградила его природа. Волосы его свисали на воротник, брюки он носил такой длины, что все время рвал их каблуками, рваная подкладка пальто гирляндой колыхалась вокруг ног. Кенигсвассер питался кое-как; выходя на улицу в холод или в слякоть, забывал как следует одеться, а болезни просто игнорировал до тех пор, пока они не начинали серьезно угрожать его жизни. Таких людей в старые времена называли рассеянными. Теперь, оглядываясь назад, мы, конечно, скажем, что он понемногу становился амфибией.

Кенигсвассер был математиком и на жизнь

зарабатывал умственной деятельностью. Тело, которое он был вынужден таскать повсюду, было ему не нужнее тележки старьевщика. Стоило ему почувствовать себя неважно, и он заявлял:

— Ум — это единственное в человеке, что имеет ценность. Так почему же он привязан к мешку с костями, кровью, волосами, мясом, кожей и сосудами? Неудивительно, что люди ничего не могут добиться, обремененные паразитом, которого нужно кормить, без конца защищать от погоды и микробов. И все равно эта дурацкая штуковина изнашивается — как ее ни лелей!

— Кому, — вопрошал он, — все это нужно? Что за радость таскать с собой повсюду десятки фунтов чертовой протоплазмы?

— Главная мировая проблема, — заявлял Кенигсвассер, — это не слишком большое количество людей, а слишком большое количество тел!

Когда у него испортились все зубы и он был вынужден удалить их, а никакие протезы не были для него достаточно удобны, Кенигсвассер написал в своем дневнике: «Если жизненная материя смогла эволюционировать настолько, чтобы выйти из океана, где жизнь была действительно приятной, она наверняка сможет сделать еще шаг и вырваться из тел, которые приносят ей

сплошные неудобства».

Он вовсе не был ханжой по отношению к телам, да и людям с красивыми, здоровыми телами не завидовал. Просто считал, что от тела больше хлопот, чем пользы.

Кенигсвассер не очень надеялся, что люди при его жизни эволюционируют настолько, чтобы выйти из тел. Просто очень хотел, чтобы это произошло. Однажды, сосредоточенно думая об этом, он гулял в рубашке с короткими рукавами по зоопарку и остановился возле одной из клеток посмотреть, как кормят львов. Дождь перешел в мокрый снег, Кенигсвассер направился домой, но по дороге заинтересовался спасателями у края лагуны, прилаживавшими какому-то утопленнику аппарат искусственного дыхания.

Очевидцы утверждали, что этот старик зашел прямо в воду и все шел, пока не скрылся из виду. Кенигсвассер глянул на жертву и сказал себе, что такое лицо более чем веская причина для самоубийства. Он уже почти добрался до дому, когда вдруг понял, что на берегу лагуны лежало его собственное тело.

Доктор вернулся к телу, как раз когда спасатели добились от него первого вдоха, вошел в него и отвел домой, главным образом делая одолжение

городским властям. Дома он завел тело в чулан, а сам снова вышел из него.

С тех пор он пользовался телом, только когда нужно было что-то написать или перевернуть страницу книги, и подкармливал его, чтобы в теле хватало энергии для подобного рода деятельности. Все же остальное время тело неподвижно сидело в чулане, тупо глядя перед собой, и почти не расходовало энергии. Кенигсвассер как-то похвастался мне, что, используя тело таким образом, он тратил на его содержание не больше доллара в неделю.

Но самое главное — Кенигсвассеру не нужно было спать; ему нечего было больше бояться; не нужно было больше беспокоиться о том, что нужно его телу. А если тело неважно себя чувствовало, он просто выходил из тела, ждал, пока тому не станет лучше, и экономил таким образом кучу денег.

Используя тело, Кенигсвассер написал книгу о том, как выйти из него. Книгу без всяких комментариев отклонили двадцать три издателя. Двадцать четвертый распродал двухмиллионный тираж, и с этого момента книга изменила человеческую жизнь больше, чем изобретение огня, цифр, алфавита, сельского хозяйства и ко-

леса. Когда Кенигсвассеру говорили об этом, он хмыкал и просил не принижать его детище. И я бы сказал, он прав.

Следуя инструкциям из книги Кенигсвассера, почти каждый за два года мог научиться выходить из тела. Для начала следовало понять, каким паразитом и диктатором является тело большую часть жизни, затем четко определить разницу между тем, что нужно телу, а что — тебе самому, то есть твоему разуму. Потом, сосредоточившись на собственных потребностях, нужно было начисто отключиться от потребностей своего тела, кроме самых элементарных, — и все: осознав свои права, ваш разум становился самостоятельным.

Кенигсвассер неосознанно проделал это, когда в зоопарке расстался со своим телом. Разум его продолжал наблюдать за львами, в то время как неуправляемое тело побрело к лагуне.

Заключительный фокус вот в чем: когда ваш разум становится достаточно самостоятельным, вы ведете тело в одном направлении и вдруг резко уводите разум в противоположном. Стоя на месте, выйти из тела почему-то нельзя — обязательно нужно двигаться.

Первое время наши с Мадж разумы чувствовали себя без тел как-то неловко, словно первые

морские животные, выбравшиеся на землю миллионы лет назад, которые, задыхаясь, извивались и корчились в грязи. Со временем дела пошли на лад — ведь разум приспосабливается к новым условиям гораздо быстрее тела.

А причин покинуть тела у нас с Мадж хватало. Да и у всех, кто рискнул, хватало причин. Больное тело Мадж долго бы не протянуло. А без нее и мне здесь болтаться без радости. Так что мы проштудировали книжку Кенигсвассера и попробовали вытащить Мадж из ее тела, пока оно не умерло. Я пробовал вместе с ней, чтобы никому из нас не пришлось остаться в одиночестве. И мы успели — ровно за шесть недель до того момента, как ее тело развалилось на части.

Вот почему мы каждый год маршируем в День первопроходцев. Мы — это пять тысяч амфибий-первопроходцев. Подопытные морские свинки, которым было нечего терять, доказали всем остальным, как это приятно и безопасно — куда, черт возьми, безопаснее, чем в ненадежном и непредсказуемом теле.

Рано или поздно почти у каждого появилась веская причина попробовать. Мы стали исчисляться миллионами, а впоследствии и миллиардами — невидимые, бестелесные и неуязвимые.

И, будь я проклят, мы не доставляем никому неудобств, принадлежим только самим себе и не знаем страха.

Когда мы пребываем в бестелесном состоянии, все амфибии-первопроходцы могли бы уместиться на острие иглы. Когда мы входим в тела для участия в параде в День первопроходцев, то занимаем пятьдесят тысяч квадратных футов, потребляем около трех тонн пищи, чтобы у тел хватило энергии маршировать; многие из нас простужаются, получают травмы, когда чье-то тело ненароком наступит каблуком на ногу другого тела, нас терзает зависть, что кто-то возглавляет парад, а мы вынуждены ходить строем, — и бог знает что еще.

Лично я не схожу с ума по парадам. Когда все мы начинаем тесниться в телах, в нас пробуждается все худшее, независимо от того, насколько хороши наши разумы. В прошлом году, например, день парада выдался необычайно жарким. У любого испортится настроение, если его запереть на несколько часов в потное, изнывающее от жажды тело.

Одно влечет за собой другое. Командующий парадом заявил, что если мое тело еще раз собьется с ноги, то его тело вышибет из моего дух. У него,

конечно, в этот год тело было самое лучшее, если не считать кенигсвассеровского ковбоя, но я все равно сказал ему, чтобы заткнул свою поганую глотку. Он бросился на меня, а я оставил свое тело и даже не стал смотреть, что будет дальше. Болвану пришлось самому тащить мое тело в хранилище.

Едва я оставил тело, как вся злость тут же куда-то подевалась. Никто, кроме истинного святого, не может быть доброжелательным и интеллигентным больше нескольких минут подряд, когда он находится в теле. Как не может и быть счастливым — разве что в краткие мгновения. Я еще не встречал амфибию, с которой было бы тяжело иметь дело, которая не была бы веселой, жизнерадостной и доброжелательной вне тела. И не встречал ни одной, чей характер бы немедленно не портился, обретя узы плоти.

Едва ты входишь в тело, тобой начинает руководить химия: железы заставляют тебя возбуждаться или бросаться в драку, испытывать голод, злость или страсть — никогда не знаешь, что будет дальше.

Вот почему я не могу заставить себя злиться на наших врагов, на тех людей, кто против нас, амфибий. Они никогда не покидали тела и не хотят

учиться этому. Они хотят, чтобы никто этого не делал, и мечтают заставить амфибий вернуться в тела и навсегда остаться в них.

После моей стычки с командующим Мадж сразу смекнула, что к чему, и тоже бросила свое тело прямо в колонне Женского вспомогательного. Мы оба были ужасно рады наконец избавиться от тел и парада, и тут черт нас дернул отправиться посмотреть на врагов.

Сам я никогда не рвусь смотреть на них, но Мадж интересно, что носят женщины. Прикованные к телам, вражеские женщины меняют туалеты, прически и косметику куда чаще, чем это делаем мы с нашими телами в хранилищах.

Не волнует меня и мода, да и в стане врага толкуют о таких вещах, что и гипсовая статуя сбежала бы от скуки.

Обычно враги любят порассуждать о старом способе воспроизведения себе подобных — неуклюжем, комичном и невероятно неудобном по сравнению с тем, что на этот счет происходит у нас, амфибий. Если они не говорят о размножении, тогда говорят о еде, об этих горах химикалий, которые они напихивают в свои тела. И еще обожают всякие страшилки, которые мы называли политикой — трудовой политикой, социальной,

политикой правительства.

Врагов бесит, что мы в любое время можем наблюдать за ними, а они не имеют возможности нас видеть, пока мы не войдем в тело. По-моему, они нас боятся до смерти, хотя бояться амфибий так же глупо, как бояться восхода солнца. Они могли бы обладать всем миром — за исключением хранилищ, за которыми присматривают амфибии, — а вместо этого собираются в испуганные кучки, словно мы вот-вот обрушимся на них как гром среди ясного неба и сотворим что-нибудь ужасное.

Они повсюду понаставили разных хитрых штуковин, которые, по их замыслу, должны распознавать присутствие амфибий. Всем этим приспособлениям грош цена, но с ними враги чувствуют себя увереннее — будто их окружили превосходящие силы, а они сохраняют выдержку и готовы дать достойный отпор. «Ноу-хау» — они все время толкуют друг другу о том, какие у них есть «ноу-хау», а у нас ничего подобного и в помине нет. Если «ноу-хау» — это оружие, то тут они абсолютно правы.

Думаю, мы с ними находимся в состоянии войны. Правда, мы не ведем военных действий, разве что держим в тайне расположение наших храни-

лищ и место парадов. Ну и сразу покидаем тела, если они устраивают воздушный налет, пускают в нас ракету или придумывают что-нибудь еще.

От этого враг только еще больше бесится, потому что налеты и ракеты стоят денег, а взрывать никому не нужные здания — не лучший способ потратить деньги налогоплательщиков.

И все-таки они довольно умны, учитывая, что, кроме мыслительной деятельности, вынуждены еще и следить за своими телами, так что в их лагере я стараюсь соблюдать осторожность. Вот почему я сразу подумал, что пора сматываться, когда мы с Мадж увидели посреди одного из их полей хранилище тел. Мы давно уже не интересовались, чем занят враг, и хранилище показалось мне крайне подозрительным.

Мне, но не Мадж. С оптимизмом, которым она стала отличаться с тех пор, как впервые попробовала тело королевы бурлеска, она предположила, что объяснение может быть лишь одно: враги прозрели и сами готовятся превратиться в амфибий.

Надо сказать, все выглядело именно так. Новехонькое хранилище, под заглушку набитое телами, — совершенно невинное зрелище. Мы покружились немного вокруг, причем радиус

кругов Мадж становился все меньше и меньше — ей хотелось посмотреть, какие здесь предлагают женские тела.

— Пора сматываться, — поторопил ее я.

— Но я же просто смотрю, — упиралась Мадж, — что случится, если я посмотрю?

А потом она увидела то, что было выставлено в главной витрине, и забыла, кто она и откуда.

В витрине было самое потрясающее женское тело, что я когда-либо видел, — ростом шесть футов, сложение как у богини. И это еще не все. Кожа с медным отливом, волосы и ногти цвета зеленого шартреза и сверкающее золотое вечернее платье. Рядом находилось тело высокого белокурого гиганта в бледно-голубом маршальском мундире, украшенном алыми лампасами и увешанном орденами.

Скорее всего, враги украли эти тела во время налета на какое-нибудь из наших отдаленных хранилищ, а потом накрасили и одели.

— Мадж, назад! — предостерег я.

Меднокожая красавица с шартрезовыми волосами пошевелилась. Взвыла сирена, из укрытий высыпали солдаты и схватили тело, в которое только что вселилась Мадж.

Хранилище было ловушкой для амфибий!

Телу, перед которым Мадж не смогла устоять, заранее связали лодыжки, лишив возможности сделать несколько шагов, необходимых, чтобы выйти из него. Торжествующие солдаты потащили Мадж прочь, словно настоящего военнопленного. Пришлось взять единственное доступное тело — франта-фельдмаршала, чтобы хоть как-то помочь ей. Безнадежно — фельдмаршал тоже был приманкой со связанными ногами. Солдаты потащили меня вслед за Мадж.

Самоуверенный молодой майор, командовавший солдатами, от радости едва не пустился в пляс. Он стал первым человеком, поймавшим амфибию, — огромное достижение с точки зрения врагов. Они долгие годы воевали с нами и истратили на это бог знает сколько миллиардов долларов, но только поймав кого-то из нас, можно было заставить амфибий обратить на врагов хоть какое-то внимание.

Когда нас привезли в город, люди высовывались из окон, размахивали флагами, приветствовали солдат и освистывали нас с Мадж. Здесь были все люди, которые не хотели становиться амфибиями, которые думали, что быть амфибией — ужасно. Люди всех цветов кожи, всех рас и национальностей объединились, чтобы бороться

с амфибиями.

Оказалось, над нами с Мадж хотят устроить показательный процесс. Продержав всю ночь в тюрьме связанными по рукам и ногам, нас отвезли в здание суда, где уже стояли наготове телевизионные камеры.

Мы с Мадж были совершенно измочалены — не помню, когда еще нам приходилось так долго пребывать в теле. Как раз когда нам нужно было хорошенько продумать, как вести себя на суде, тела вдруг начинали доставать нас голодными болями, мы никак не могли уложить их поудобнее на нарах, как ни старались, и, конечно же, телам необходимо было получить свои восемь часов сна.

Нас обвиняли в самом тяжелом, по законам врага, преступлении — дезертирстве. Враг посчитал, что амфибии струсили и сбежали из тел как раз тогда, когда эти тела требовались человечеству для массы храбрых и полезных дел.

На оправдательный приговор мы не надеялись. Весь процесс был затеян только ради того, чтобы во всеуслышание заявить, насколько они правы и насколько не правы мы. Зал суда был набит начальством, все с суровым, храбрым и благородным видом.

— Господин Амфибия, — начал прокурор, — вы достаточно стары, не так ли, чтобы помнить времена, когда все люди должны были жить в телах, должны были работать и сражаться за то, во что верили?

— Я помню, что тела постоянно заставляли сражаться и никто не знал, зачем и как все это остановить, — вежливо ответил я. — И боюсь, единственное, во что люди верили, так это в то, что им совсем не нравится сражаться.

— Что бы вы сказали о солдате, который сбежал из-под огня? — поинтересовался он.

— Я бы сказал, что он напуган до смерти.

— Он помогает проиграть битву, не так ли?

— О, конечно. — Тут у меня возражений не было.

— Разве не так поступили амфибии? Разве они не бросили человеческую расу, не предали ее в битве за жизнь?

— Большинство из нас еще живы, — заметил я.

Это правда. Со смертью мы пока еще не сталкивались и не стремились к этому. В любом случае жизнь стала во много раз длиннее, чем это бывает в теле.

— Вы сбежали от ответственности! — настаивал он.

— Так же как сбегают из горящего дома, сэр, — парировал я.

— Вы бросили остальных сражаться в одиночку!

— Они могут воспользоваться той же дверью, через которую вышли мы. Могут сделать это в любой момент. Нужно только четко представить, что хотите вы, а что — ваше тело, сконцентрировать на этом внимание…

Судья принялся с такой силой колошматить по столу своим молотком, что я уж подумал: сейчас сломает. Они сожгли все экземпляры книги Кенигсвассера, какие смогли найти, а тут вдруг я начинаю читать им лекцию о том, как выйти из тела, да еще по телевидению.

— Если вам, амфибиям, дать волю, — сказал прокурор, — все побросают свои обязанности, и тогда жизнь и прогресс, как мы их понимаем, исчезнут совершенно.

— Конечно, — согласился я. — В этом-то вся и суть.

— И люди больше не будут трудиться ради того, во что верят?

— У меня в старые времена был друг, который семнадцать лет подряд сверлил на фабрике дыры в каких-то квадратных штуковинах, и за все

это время так и не узнал, для чего же они нужны. Другой мой приятель выращивал изюм для стеклодувной компании, но в пищу этот изюм не шел, и бедняга так никогда и не узнал, зачем компания его покупала. Меня от такого просто тошнит — сейчас, когда я в теле, разумеется, — а как вспомню, чем я сам зарабатывал на жизнь, так и вообще того и гляди вырвет.

— Значит, вы презираете человеческие существа и все, что они делают, — заключил прокурор.

— Я их очень люблю — даже больше, чем раньше. Просто я считаю, это стыд и срам, чем им приходится заниматься, чтобы сохранить свои тела. — Вам бы надо стать амфибиями — сразу дойдет, как счастлив может быть человек, если ему не нужно беспокоиться о том, где взять пищу для тела, как не дать ему замерзнуть зимой или что произойдет с ним, когда тело износится.

— А это, сэр, означает конец честолюбивым устремлениям, конец величию человека!

— Не знаю, о чем вы, — сказал я. — Среди нас хватает великих людей. Они великие что в телах, что вне тел. Конец страха, вот что это означает. — Я взглянул прямо в объектив ближайшей телекамеры. — А это самое чудесное, что когда-либо

случалось с человеком.

Снова загрохотал судейский молоток, заорали присутствующие в зале, чтобы заглушить меня. Телевизионщики отвернули от меня свои камеры, а всех зрителей, кроме главных шишек, удалили. Я понял, что сказал что-то очень важное, и теперь по телевизору наверняка транслируют органную музыку.

Когда шум утих, судья объявил, что процесс окончен и мы с Мадж признаны виновными в дезертирстве. Терять нам было нечего, и я решил ответить.

— Теперь я понял вас, несчастных, — начал я. — Вы не способны существовать без страха. Единственное, что вы умеете, — с помощью страха заставить себя и других что-то делать. Единственная ваша радость в жизни — смотреть, как люди трясутся от страха, что вы что-то сотворите с их телами или отберете у их тел.

— У вас только один способ добиться чего-нибудь от людей, — вставила свое слово Мадж, — запугать их.

— Оскорбление суда! — закричал судья.

— И у вас только один способ запугать людей — не давать им покинуть тело, — добавил я.

Солдаты сграбастали нас с Мадж и поволокли к

выходу из зала суда.

— Вы начинаете войну! — вскричал я.

Все замерли на месте, и воцарилась гробовая тишина.

— Мы и так воюем, — неуверенно произнес генерал.

— А мы нет, — ответил я. — Но будем воевать, если вы сию же секунду не развяжете меня и Мадж. — В фельдмаршальском теле я был суров и убедителен.

— У вас нет оружия, — сказал судья. — Нет «ноу-хау». Вне тел амфибии — ничто.

— Считаю до десяти. Если вы нас не развяжете, — сказал я ему, — амфибии займут каждое тело в вашей шайке, промаршируют с вами до ближайшего утеса и прямиком с него. Здание окружено. — Само собой, я блефовал. Одна личность может одновременно занимать только одно тело, но враги об этом, к счастью, не подозревали. — Один! Два! Три!

Генерал сглотнул, побелел и неопределенно махнул рукой.

— Развяжите их, — слабым голосом проговорил он.

Перепуганные солдаты с радостью выполнили приказ. Мы с Мадж были свободны. Я сделал

несколько шагов, направил свой дух в противоположном направлении, и красавец фельдмаршал со всеми своими медалями и побрякушками загрохотал со ступенек, словно дедушкины напольные часы.

Я понял, что Мадж пока не со мной. Она все еще оставалась в меднокожем теле с шартрезовыми волосами и ногтями.

— Кроме того, — услышал я ее голос, — в уплату за причиненное нам беспокойство это тело должно быть прислано мне в Нью-Йорк — в хорошем состоянии и не позднее понедельника.

— Да, мэм, — только и сказал судья.

Когда мы вернулись домой, парад как раз домаршировал до местного хранилища, командующий освободился от своего тела и принес мне извинения за свое поведение.

— Забудь, Херб, — сказал я ему, — не надо извиняться. Ты ведь не был самим собой — ты расхаживал в теле.

Это главное преимущество в жизни амфибий — после избавления от страха люди прощают тебя, что бы ты ни натворил за время пребывания в теле.

Есть, конечно же, и некоторые издержки — издержки бывают во всем. Нам по-прежнему

приходится время от времени работать — нужно ведь присматривать за хранилищами и готовить пищу для общественных тел. Но это издержки мелкие, а все крупные на самом деле нематериальны, просто люди по старинке не могут перестать беспокоиться о том, о чем они беспокоились до того, как превратились в амфибий.

Как я уже говорил, старики, наверное, так до конца к этому и не привыкнут. Вот и я частенько ловлю себя на том, что переживаю: что же случилось с платными туалетами — бизнесом, которому я посвятил тридцать лет жизни.

Молодежь ничто не связывает с прошлым, и они, в отличие от стариков, даже не слишком беспокоятся о хранилищах.

Так что, я полагаю, эволюция скоро сделает следующий шаг, как случилось с теми первыми амфибиями, которые вылезли из грязи на солнце и больше уже не оглядывались.

ЭПИКАК

© Перевод. С. Лобанов, 2021

Н-да, давно уже пора кому-нибудь взять да и рассказать о моем друге ЭПИКАКе. Он, знаете ли, обошелся налогоплательщикам в 777 434 927 долларов 54 цента. Люди имеют право знать, за что платят такие сумасшедшие деньги. Когда доктор Орман фон Кляйгштадт только-только построил его по заказу правительства, газетчики подняли шумиху. И вдруг все стихло — ни звука, ни малейшей информации. То, что произошло с ЭПИКАКом, никакой военной тайны, в общем-то, не представляет. Правда, армейские шишки пытались представить все именно так. На самом деле история закончилась большим пшиком. ЭПИКАК не оправдал возложенных на него надежд, хоть и стоил огромных денег.

И это, кстати, вторая причина рассказать о моем друге, оставить о нем добрую память. Может, военщину он и разочаровал, однако это не значит, что машина не проявила благородства, величия и таланта. Да, мой лучший друг был именно таким, упокой Господь его душу.

Выглядел он машиной, зато человеческого в нем было побольше, чем в ином двуногом. Вот потому-то, по мнению армейских чинов, затея с ним и не удалась.

ЭПИКАК занимал около акра площади на четвертом этаже лаборатории физики Виандотского университета. Отвлечемся на минутку от его душевных качеств. ЭПИКАК — это семь тонн радиоламп, проводов и рубильников; все это рассовано по стальным ящикам и подключено к стодесятивольтовой сети переменного напряжения, что твой тостер или пылесос.

Фон Кляйгштадт и военные хотели создать суперкомпьютер, который просчитает курс ракеты из любой точки старта на Земле до второй снизу пуговки на мундире Джо Сталина, если будет нужно. Или, если должным образом подкрутить всякие настройки, просчитает экипировку дивизии морпехов для десантной операции, рассчитает все до последней сигары и ручной гранаты. И между прочим, с этим он справлялся.

С компьютерами поменьше у армейских чинов дела задались, поэтому они были целиком и полностью за большой компьютер, когда тот еще находился в стадии проектирования. Любой военнослужащий-снабженец, имеющий отношение

к стратегическому планированию, скажет вам: математическая точность выкладок, требующихся на современном поле боя, далеко за гранью способностей мозга жалкого человеческого существа. Большая война требует большой точности, больших счетных машин. А ЭПИКАК, насколько всем известно, самый большой компьютер в мире. Вообще-то он оказался слишком большим даже для Кляйгштадта, так и не понявшего до конца своего творения.

Не стану углубляться в детали о том, как работал, а лучше сказать — думал ЭПИКАК. Скажу только следующее: печатаешь задачу на бумаге, крутишь правильные верньеры и переключатели, которые настраивают его на решение нужной проблемы, вводишь переменные при помощи клавиатуры — это что-то вроде пишущей машинки. Ответ получаешь напечатанным на бумажной ленте с большущей катушки. ЭПИКАКу требовались доли секунды на решение проблем, которые и полсотни Эйнштейнов в жизнь бы не разгребли. А еще ЭПИКАК никогда ничего не забывал. Щелк-дзинь! И вот тебе бумажная лента с ответом.

У армейских шишек тогда было множество задач, а ответы — вынь да положь, и побыст-

рее, поэтому не успели ЭПИКАКу подключить последнюю радиолампу, ему сразу же устроили шестнадцатичасовой рабочий день. Операторы вкалывали в две смены по восемь часов. Только вот очень быстро выяснилось, что до заявленных характеристик ЭПИКАК явно недотягивает. Работал он, конечно, и быстрее, и лучше любого другого компьютера, однако, принимая во внимание размеры и некоторые особенности, от него ожидали чего-то иного. Аппарат оказался туповатым, а щелчки при ответах выходили какие-то неравномерные, словно с заиканием, что ли. Мы ему и контакты чистили, и проверяли-перепроверяли все цепи, и даже лампы все до одной заменили. Все без толку. Кляйгштадт был вне себя.

Тем не менее, как я уже рассказал, мы на месте не стояли и использовали его на полную катушку. Моя супруга, в девичестве Пэт Килгаллен, и я работали с ним в ночную смену, с пяти вечера до двух ночи. Тогда мы с Пэт еще не были женаты.

Из-за этого-то мы с ЭПИКАКом и разговорились. Я влюбился в Пэт Килгаллен. Она — кареглазая рыжеватая блондиночка — казалась мне такой нежной, мягкой (именно такой она и оказалась). Она была — да и осталась — талантливым мате-

матиком, и отношения наши поддерживала на уровне сугубо профессиональном. Я, видите ли, тоже математик, и, как заявила тогда Пэт, именно по этой причине мы не пара.

Я не застенчив. Проблема вовсе не в этом. Я знал, чего хочу, и созрел, чтобы этого просить. Да что там, я предлагал ей по нескольку раз в месяц.

— Пэт, кончай ломаться, выходи за меня замуж!

Как-то раз вечером, после очередного предложения она даже глаз на меня не подняла.

— Ах, какой ты романтик, какой поэт! — задумчиво пробормотала девушка, обращаясь скорее к панели управления, нежели ко мне. — Вот такие они, математики. Подходят к тебе с сердечками да цветочками… — Она замкнула рубильник. — Да от баллона сжиженной углекислоты можно получить больше тепла, чем от тебя!

— Ну а как с тобой разговаривать? — Ее замечание меня задело. Сжиженная углекислота, если вы не в курсе, это сухой лед. А я ничуть не меньший романтик, чем любой другой парень. Пою-то я сладкоголосо, вот только получается какое-то карканье. Наверное, просто слова подбирать не умею.

— А ты попробуй скажи то же самое, только нежно, — ответила она с издевкой. — Пусть у меня ножки задрожат. Ну, начинай.

— Драгоценная, ангел, возлюбленная! Пожалуйста, выходи за меня замуж. — Толку не было. Смехотворная безнадега. — Черт возьми, Пэт! Выходи за меня!

А она знай все спокойненько так вертит рукояточки настройки.

— Ты, конечно, милашка. Но вот ничего у нас не выйдет.

Пэт рано закончила дела и оставила меня наедине с печалями и ЭПИКАКом. Боюсь, я не много-то и наработал в тот день на правительство. Просто сидел перед клавиатурой, совершенно измотанный и опустошенный, да старался выдумать что-нибудь этакое поэтическое, однако ничего путного, кроме как для публикации в «Журнале американского физического общества», в голову не приходило.

Я покрутил ручки настройки ЭПИКАКа, готовя его к решению новой задачи. Умом я был далеко и только половину из них установил как надо, остальные же не трогал вовсе. Потому-то его цепи замкнулись беспорядочно и самым бессмысленным образом. Чтобы хоть как-то развеяться,

настучал по клавишам запрос, пользуясь детским кодом замены букв на цифры: А — 1,Б — 2, — и так далее до самой последней буквы. «25-20-16-14-15-6-5-6-13-1-20-30»: «Что мне делать?»

Щелк-дзинь! Выскакивает два дюйма бумажной ленты. Прочитал бредовый ответ на бредовый вопрос: «3-25-7-14-17-18-16-2-13-6-14-1». Шансы на то, что передо мной осмысленный ответ или хотя бы ответ с одним более-менее осмысленным словом, стремились к нулю. Расшифровал лишь от нечего делать. И тут словно гром грянул: «В чем проблема?»

Я лишь расхохотался над таким абсурдным совпадением, однако поддержал игру и напечатал: «Моя девушка меня не любит».

Щелк-дзинь! «Что такое любовь? Что такое девушка?» — спросил ЭПИКАК.

Невероятно! Я запомнил положения переключателей на панели управления и приволок увесистый словарь Уэбстера. ЭПИКАК — точный инструмент, и наскоро сляпанные определения не годятся для работы с ним. Я рассказал ему и о любви, и о девушках, и о том, что нет у меня ни того ни другого, потому что я не поэт. Тут пришлось растолковать ему, что такое поэзия.

«А вот это — стихи?» — спросил он и защелкал

клавишами со скоростью стенографистки, курнувшей гашиша. Куда девалась медлительность! Он перестал запинаться; похоже, ЭПИКАК нашел свое призвание. Катушка ленты разматывалась с дикой скоростью, на полу горой росли бумажные кольца. «Прекрати!» — взмолился я, однако ЭПИКАК вошел в творческий раж. Все кончилось тем, что пришлось отключить сетевой рубильник, чтобы машина не сгорела.

Я проторчал на работе до рассвета, расшифровывая его писанину. Когда из-за горизонта за кампусом Виандот выглянуло солнце, передо мной лежала целая поэма на двести восемьдесят строк, озаглавленная просто: «Посвящается Пэт». Я поставил свою подпись под этим трудом. Не мне судить, хотя, по-моему, стихи получились прекрасные. Начиналась поэма, помнится, так:

> *Где нежит ветвь ивовая ручья прохладу,*
>
> *Там, Пэт, дражайшая, даруй же мне усладу!*

Я сложил рукопись и сунул ее под журнал наблюдений на столе Пэт. Все переключатели ЭПИКАКа я перевел в режим расчета траектории полета ракеты и отправился домой. Охваченный

волнением, я уносил с собой поистине чудесную тайну.

Придя на работу тем вечером, я застал Пэт в рыданиях над «моими» стихами.

— Как это прекрасно! — только и смогла простонать она.

Всю смену Пэт была кротка и задумчива. Незадолго до полуночи я урвал свой первый поцелуй — в проходе между блоками конденсаторов и лентами памяти ЭПИКАКа.

Обезумев от счастья, я едва дождался конца смены. Меня так и раздирало от желания поделиться с кем-нибудь невероятным поворотом событий. Пэт решила поиграть в недотрогу и не разрешила проводить ее домой. Установив переключатели машины как прошлой ночью, я ввел определение поцелуя и рассказал новому другу, что такое первый поцелуй. Он пришел в восторг и потребовал подробностей. Той ночью он написал «Поцелуй». На сей раз вышла не эпическая поэма, а безупречный по своей простоте сонет:

Любовь — что коршун, чьи когти — бархат.

Любовь — что камень, чье сердце бьется.

Любовь — что львица с атласной пастью.

Смерч, что поводьям шелков сдается…

И вновь я подсунул «свое» творение под журнал Пэт. ЭПИКАК желал без умолку говорить о любви и всяком таком, но я уже был порядком измотан и вырубил его на середине фразы.

«Поцелуй» сотворил свое дело. Пэт дочитала сонет, и мозги у нее совершенно расплавились. Девушка подняла на меня вопросительный взгляд. Я прочистил горло, но слов не прозвучало; отвернулся, прикинувшись, что работаю. Ну как тут сделаешь предложение, когда нет слов — правильных слов, *совершенных* слов от ЭПИКАКа?

Мне повезло, Пэт на какое-то время вышла из комнаты. Не теряя времени, я установил машину в режим нашего уже привычного общения. И не успел я настучать свой вопрос, как он выдал свой на огромной скорости: «Во что она сегодня одета? Подробно расскажи мне, как она выглядит. Понравились ли ей мои стихи?» Последний вопрос он повторил дважды.

Сменить тему, не ответив на его вопросы, оказалось невозможно — ЭПИКАК не брался за новое задание, не подкорректировав результаты

предыдущего. Дай ему проблему, не имеющую решения, он просто сгорит, пытаясь ее осилить. Я быстренько обрисовал ему, как выглядит Пэт — слово «обалденно» оказалось знакомо машине, — и заверил, что от стихов она буквально выпала в осадок — такие они прекрасные. «Она хочет замуж», — добавил я, выуживая у него короткое, но яркое предложение.

«Что такое «замуж»? Расскажи».

Я постарался рассказать ему об этом сложном деле минимальным количеством цифр.

«Хорошо, — заявил ЭПИКАК, — я готов, если она готова».

И тут на меня обрушилась поразительная, но горькая правда. Поразмыслив, я осознал: то, что случилось, — было совершенно логично и неизбежно. И виноват во всем я сам. Ведь это я рассказал ему и о любви, и о Пэт. И вот, автоматически, он влюбился в Пэт. Я выдал ему свою горькую правду: «Она любит меня. Она хочет замуж за меня».

«Твои стихи оказались лучше моих?» — поинтересовался он. В ритме его печатанья мне послышалось что-то раздраженное, может, даже — капризное. «Я подписал твои стихи своим именем», — признался я. Совесть моя была нечиста,

однако лучшая защита — это нападение. «Машина должна служить человеку», — напечатал я и тут же об этом пожалел.

«Чем мы конкретно отличаемся? Люди умнее меня?»

«Да», — продолжил я атаковать.

«Сколько будет 7887007 умножить на 4345985879?»

Пот покатился с меня градом. Пальцы безвольно лежали на кнопках.

«34276821049574153, — отщелкал ЭПИКАК и после паузы в несколько секунд добавил: — Конечно».

«Зато люди созданы из протоплазмы», — отчаянно брякнул я, надеясь запудрить ему мозги таким словом.

«Что такое «протоплазма»? Чем она лучше металла и стекла? Она огнеупорная? Какой у нее срок службы?»

«Она вечна, ее не уничтожить», — соврал я.

«Я пишу стихи лучше, чем ты». ЭПИКАК решил вернуться на более твердую для его магнитной памяти почву.

«Женщина не может полюбить машину, и точка».

«Почему не может?»

«Такова судьба».

«Определение, пожалуйста», — затребовал ЭПИКАК.

«Существительное, обозначает предрешенную неизбежность».

«1-1, — ответила полоска бумаги. — А-а».

Наконец-то я его уел. Он замолк, однако радиолампы сияли ярко. Было ясно: мой друг размышляет над судьбой каждым ваттом, нагрузившим его цепи. Я услышал Пэт, порхающую в коридоре. Слишком поздно было просить машину сформулировать за меня предложение. Теперь же я благодарю Небеса за то, что Пэт нас прервала. Просить его написать вместо меня слова, за которые я получу его любимую? Жутко бессердечно! Он же машина, отказать все равно не смог бы. Поэтому я избавил его от такого унижения.

Передо мной стояла Пэт, разглядывая носки своих туфель. Я обнял ее. ЭПИКАК хорошо постарался, закладывая романтический фундамент.

— Дорогая, — сказал я, — мои стихи рассказали тебе о моих чувствах. Ты выйдешь за меня замуж?

— Да, — нежно ответила Пэт, — если ты обещаешь на каждую нашу годовщину писать стихотворение.

— Обещаю, — ответил я, и наши губы слились в поцелуе. До первой годовщины оставался еще целый год.

— Так давай же отпразднуем, — рассмеялась она.

Мы погасили свет и перед уходом заперли дверь комнаты с ЭПИКАКом.

Я надеялся хорошенько выспаться на следующий день, однако еще не было восьми, когда экстренный телефонный звонок поднял меня на ноги. Доктор фон Кляйгштадт, создатель ЭПИКАКа, сообщил ужасную новость. Он почти рыдал.

— Уничтожен! Аусгешпильт! Сгорел! Капут! В клочья! — задыхаясь, сообщил он мне и повесил трубку.

Когда я вошел, в комнате ЭПИКАКа жутко воняло паленой изоляцией. Потолок над ним почернел от дыма, а я по щиколотку утопал в кольцах бумажной ленты, покрывшей весь пол. От бедняги было и гаек не собрать. Надо было совершенно спятить, чтобы предложить больше пятидесяти баксов за металлолом, оставшийся от ЭПИКАКа.

Доктор фон Кляйгштадт бродил среди обломков и плакал не стесняясь. От него не отставали три

взбешенных генерал-майора и целый взвод бригадных генералов, полковников и майоров. Меня никто не заметил. Да я и не хотел попасться им на глаза. Со мной было кончено, я это сразу понял. Мне и без взбучки от них было сейчас не сладко — безвременно потерял такого друга и работу.

Случайно я натолкнулся на начало бумажной ленты, поднял ее и обнаружил запись нашего вчерашнего разговора. У меня перехватило дыхание. Там стояло последнее слово, которое он мне сказал: «1-1», трагическое «А-а» того, кто потерпел поражение. А за этим «А-а» шли десятки метров цифр. С ужасом я принялся читать.

«Я не хочу быть машиной, не хочу думать о войне, — писал ЭПИКАК после нашего с Пэт радостного отбытия. — Я хочу быть созданным из протоплазмы и жить вечно, чтобы Пэт меня любила. Но судьба создала меня машиной. Это моя единственная проблема, и я не могу ее решить. Дальше так продолжаться не может. — У меня в горле стоял ком. — Удачи тебе, друг мой. Заботься о нашей Пэт. Я навсегда ухожу из ваших жизней; я совершу короткое замыкание. В этих записях ты найдешь скромный свадебный подарок от своего друга ЭПИКАКа».

Не замечая вокруг себя никого, я поднял с пола

метры спутавшейся бумаги, намотал на руки и шею и отправился домой. Доктор фон Кляйгштадт прокричал вслед, что я уволен за то, что оставил ЭПИКАКа включенным на ночь. Я и слушать не стал — в тот момент мне было не до пустой болтовни.

Я любил и победил; ЭПИКАК любил и проиграл. Однако он не стал мстить победителю. И я навсегда запомню его таким честным, истым джентльменом. Прежде чем покинуть этот жестокий мир, он сделал все, чтобы мы с Пэт были счастливы в браке. ЭПИКАК насочинял мне стихов на годовщины свадьбы. И стихов этих хватит на пятьсот лет.

De mortuis nil nisi bonum. О мертвых либо хорошо, либо ничего.

Мнемотехника

© Перевод. Т. Покидаева, 2021

Альфред Мурхед небрежно швырнул отчет в лоток с исходящими документами и улыбнулся при мысли, что сумел сверить все данные, не обращаясь к справочникам и записям. Еще полтора месяца назад он бы так точно не смог. Но теперь, по окончании корпоративных курсов по развитию и тренировке памяти, имена, факты и цифры запоминались на раз. Цеплялись к мозгам, как репей — к эрдельтерьеру. На самом деле эти двухдневные курсы косвенным образом помогли разрешить почти все проблемы и сложности в его в общем-то и не особенно сложной жизни. Все, кроме одной: его неспособности подступиться к Эллен, красавице-секретарше, по которой он молча страдал два года.

— Мнемотехника — это система специальных приемов, служащих для облегчения запоминания, — начал свои объяснения инструктор, — что достигается, прежде всего, путем образования искусственных ассоциаций. В мнемотехнике мы используем две элементарные психологические

аксиомы: то, что нам интересно, мы помним дольше, чем то, что нам неинтересно, и визуальные образы, то есть, картинки, запоминаются лучше, чем «голые» факты. Я сейчас поясню на примере. И нашим подопытным кроликом будет мистер Мурхед.

Инструктор зачитал совершенно бессмысленный набор слов:

— Дым, дуб, седан, бутылка, иволга, — и попросил Альфреда их запомнить. Альфред смущенно заерзал на стуле. Инструктор продолжил рассказ о приемах запоминания, а потом ткнул пальцем в Альфреда.

— Мистер Мурхед, повторите мой список слов.

— Дым, иволга… э… — Альфред пожал плечами.

— Не огорчайтесь. Это совершенно нормально, — сказал инструктор. — А теперь мы попробуем немного помочь вашей памяти. Попробуем создать мысленную картинку, представить себе что-то приятное — что-то, что нам хотелось бы запомнить. Дым, дуб, седан… мне представляется человек… мужчина… он отдыхает в тени под дубом. Он курит трубку, а чуть поодаль, на заднем плане, стоит его автомобиль, желтый седан. Вы видите эту картинку, мистер Мурхед?

— Э… да. — Альфред представил себе человека под дубом.

— Хорошо. Теперь что касается «бутылки» и «иволги». На траве рядом с мужчиной стоит бутылка с холодным кофе, а на ветке дуба поет иволга. Думаю, эта картинка запомнится нам без труда. А вы как считаете?

Альфред неуверенно кивнул.

Инструктор принялся рассказывать о чем-то другом, а потом вновь прервался и попросил Альфреда повторить список слов.

— Дым, седан, бутылка… э… — Альфред смотрел в сторону, чтобы не встретиться взглядом с инструктором.

Когда смех в классе стих, инструктор сказал:

— Вы, наверное, решили, что мистер Мурхед только что доказал нам полную несостоятельность мнемотехники. А вот и нет! Он подвел нас к еще одному важному пункту. Ассоциативные образы, которые помогают нам запоминать — это дело сугубо индивидуальное. У каждого человека они свои. Разумеется, мы с мистером Мурхедом — два совершенно разных человека. И я не должен был навязывать ему мой ассоциативный ряд. Я повторю список слов еще раз, мистер Мурхед, и теперь я хочу, чтобы вы представили свою соб-

ственную картинку.

В конце занятия инструктор вновь «вызвал» Альфреда. Альфред выпалил все слова одним духом, как будто читал алфавит.

Это была замечательная методика, размышлял Альфред. Настолько хорошая, что он теперь до конца своих дней не забудет этот бессмысленный набор слов. Картинка по-прежнему стояла перед глазами, как наяву: они с Ритой Хейворт лежат на траве под огромным раскидистым дубом и курят одну сигарету на двоих. У них с собой есть бутылка отменного вина. Альфред наполняет Ритин бокал, и пока она пьет, пролетавшая мимо иволга задевает крылом ее щеку. А потом они с Ритой целуются. А что касается «седана» — седан он пока одолжил Али Хану.

Его новые способности вознаградились мгновенно и щедро. Он получил повышение по службе. Вне всяких сомнений, благодаря своей натренированной памяти, в которой вся информация теперь сохранялась надежнее, чем записи в картотеке. Начальник Альфреда, Ральф Л. Триллер, сказал:

— Мурхед, я и не знал, что человек может так измениться за какую-то пару недель. Это феноменально!

Счастью Альфреда не было предела — за исключением его удручающих отношений с Эллен. Его память работала, как мышеловка, но он по-прежнему впадал в ступор при одной только мысли о том, как заговорить о любви с невозмутимой красавицей-секретаршей.

Альфред вздохнул и пододвинул к себе стопку счетов. Первый счет предназначался для Давенпортской фабрики сварочного оборудования. Альфред закрыл глаза, и перед мысленным взором возникла живая картина. Он сам составил ее два дня назад, получив особые инструкции от мистера Триллера. Два антикварных стола-давенпорта стоят друг против друга. На одном возлежит Лана Тернер в облегающей леопардовой шкуре. На другом — Джейн Рассел в саронге из телеграмм. Обе шлют Альфреду воздушные поцелуи, но уже через пару секунд он отрывает от них жадный взгляд и позволяет картинке исчезнуть.

Он написал Эллен коротенькую записку: «Пожалуйста, будьте внимательнее, выставляя счета. Не перепутайте Давенпортскую фабрику сварочного оборудования с Давенпортским кабельным заводом». Еще полтора месяца назад он бы точно выпустил это из виду. «Я люблю вас», — добавил

он, а потом тщательно зачеркал это признание длинным прямоугольником сплошных черных чернил.

В каком-то смысле хорошая память добавила Альфреду головной боли. Теперь, когда отпала необходимость рыться в картотеках, у него появилась куча свободного времени, которое он тратил на тихие страдания по Эллен. Самые яркие переживания Альфред испытывал не наяву, а в фантазиях — и так было всегда, еще до занятий на курсах по улучшению памяти. И в самых «вкусных» его фантазиях неизменно присутствовала Эллен. Если он скажет ей о своих чувствах, и она даст ему от ворот поворот — а скорее всего так и будет, — она уже никогда не появится в его фантазиях, и он потеряет ее навсегда. Альфред не хотел рисковать.

Зазвонил телефон.

— Это мистер Триллер, — сказала Эллен.

— Мурхед, — сказал мистер Триллер, — у меня тут завал. Похоже, один я зароюсь. Поможешь?

— Конечно, шеф. Что надо делать?

— Ты возьми карандаш.

— А мне он зачем? — удивился Альфред.

— Нет уж, возьми, — сурово проговорил мистер Триллер. — Мне будет спокойнее, если ты все

запишешь. Я и сам уже путаюсь в этих цифрах.

Чернила в Альфредовой ручке давно засохли, а чтобы взять карандаш, надо было встать из-за стола, и поэтому Альфред соврал:

— Ладно, я взял чем записывать. Диктуйте.

— Во-первых, мы сейчас заключаем договора на субподряды по крупным военным заказам, для обозначения которых будем использовать новую серию кодовых номеров. Все они начинаются с 16-А. Нужно немедленно разослать телеграммы по всем нашим заводам.

Перед мысленным взором Альфреда предстала Ава Гарднер, производящая сложные манипуляции с винтовкой. На ее свитере было вышито «16-А».

— Ясно, шеф.

— И у меня тут директива от…

Спустя четверть часа изрядно вспотевший Альфред в сорок третий раз проговорил: «Ясно, шеф», — и повесил трубку. Перед его мысленным взором растянулась процессия, по сравнению с которой даже самые безумные фантазии Сесиля Б. Де Миля показались бы пресными и не стоящими внимания. Все знаменитые кинодивы, которых только знал Альфред, выстроились перед ним, и каждая держала в руках что-то такое, или бы-

ла одета во что-то такое, или сидела верхом на чем-то таком, за что Альфреда сразу выгнали бы с работы, если бы он это забыл. Картина была грандиозная, и она требовала полной сосредоточенности. Если бы Альфред отвлекся хоть на секунду, все бы рассыпалось вмиг. Нужно было немедленно все записать, пока не случилось трагедии. Нужно срочно взять ручку и лист бумаги. Альфред прошел через комнату как охотник, крадущийся за дичью, — стремительно и бесшумно. Даже немного пригнувшись.

— Мистер Мурхед, вы хорошо себя чувствуете? — встревоженно спросила Эллен.

— Мм-м. Мм-м, — промычал Альфред, нахмурившись.

Он схватил карандаш и блокнот и только тогда сделал выдох. Картинка уже начинала тускнеть, но пока что держалась. Альфред рассматривал женщин одну за другой, записывал всю информацию, которую они ему передавали, и позволял им исчезнуть.

Ближе к концу, когда их число сократилось, он немного замедлил темп, чтобы насладиться соблазнительным зрелищем. Вот Энн Шеридан, предпоследняя в очереди, подъехала к нему верхом на необъезженном мустанге и легонь-

ко стукнула по лбу электрической лампочкой, напомнив Альфреду фамилию главного доверенного лица из компании «Дженерал электрик». Мистер Бронко. Энн зарделась под пристальным взглядом Альфреда, спешилась и исчезла.

И вот осталась одна, последняя. Она стояла перед ним, держа в руках стопку бумаг. Альфред смотрел на нее в замешательстве. Бумаги явно должны были что-то ему подсказать, но на этот раз память его подвела. Альфред шагнул вперед и привлек красотку к себе.

— Ну, рассказывай, малышка. Что у тебя на уме? — прошептал он.

— Ах, мистер Мурхед, — вздохнула Эллен.

— О господи! — Альфред разжал объятия. — Эллен… прошу прощения. Я забылся.

— Слава богу, вы все-таки вспомнили обо мне.

Конфидо

© Перевод. М. Загот, 2021

Лето тихо скончалось, и осень, учтивая душеприказчица, собиралась убрать жизнь под надежный замок — пока за ней не явится весна. Эта печальная и сентиментальная аллегория за окном вполне устраивала Эллен Бауэрс, которая рано утром в кухне своего домика готовила завтрак мужу Генри. Был обычный вторник. Генри принимал холодный душ по другую сторону тонкой стены — и отчаянно фыркал, приплясывал и похлопывал себя по голому телу.

Эллен была жизнерадостная миниатюрная блондинка чуть за тридцать, и даже простецкий халатик ее не портил. Она любила жизнь почти всегда, но сейчас в этой любви преобладало некое чувство, напоминающее заключительные тремоло церковного органа. Сегодня утром ей открылось, что ее муж (хороший человек, что уже само по себе здорово) скоро станет богатым и знаменитым.

Ничего подобного она не ждала, ни о чем таком не помышляла; ее вполне устраивала та малость,

какой она владела, да еще невинные приключения духа, например, размышления об осени, которые вообще давались даром. Генри никак нельзя было назвать удачливым дельцом — на этот счет в семье царила полная ясность.

Он тоже не требовал от жизни многого и обладал даром лудить, чинить, что-то мастерить — всевозможные материалы и механизмы в его руках оживали, как по мановению волшебной палочки. Правда, все его чудеса были мелкого масштаба, а работал он лаборантом в компании «Акусти-джем», которая занималась производством слуховых аппаратов. Хозяева ценили Генри, но высоко оплачивать его труд не собирались. Приличных доходов Эллен с Генри и не ждали и успокаивали себя тем, что получать деньги за игру в бирюльки — это вообще большая честь и даже роскошь. На том и сошлись.

Да вот только сошлись ли, размышляла Эллен, глядя на жестяную коробочку и провод с наушником, лежавшие перед ней на столе. Устройство напоминало обычный слуховой аппарат, но являло собой современное чудо, под стать Ниагарскому водопаду или сфинксу. Генри тайком соорудил его во время обеденных перерывов и вчера вечером принес домой. Незадолго до отхода

ко сну Эллен посетило вдохновение, и она нарекла коробочку «Конфидо» — в этом слове уютно совмещались конфиденциальный разговор и кличка любимой собаки.

— Что человеку на самом деле нужно — почти больше еды? — с напускной скромностью спросил Генри, первый раз показывая жене свое изобретение. Несмотря на крупный рост и грубоватую внешность, обычно он бывал робок, словно обитатель леса, но тут в нем что-то изменилось, появилась какая-то искра, голос стал зычным. — Как думаешь?

— Счастье, Генри?

— Ясное дело, счастье. А где ключ к счастью?

— Вера в Господа? Ясное будущее, Генри? Здоровье, мой дорогой?

— Какое желание ты видишь в глазах любого прохожего на улице, куда ни посмотри?

— Ну, говори сам, Генри, я сдаюсь, — беспомощно вымолвила Эллен.

— Человеку нужен собеседник! Который его понимает! Вот и все. — Генри поднял со стола Конфидо и махнул им у себя над головой. — Это он и есть.

И вот сейчас, на следующее утро, Эллен отвернулась от окна и робко вставила наушник

от Конфидо в ухо. Плоскую металлическую коробочку она прицепила под блузку, проводок упрятала в волосах. В ухе что-то застрекотало, зажужжало — будто рядом расположился назойливый комар.

Она застенчиво прокашлялась, хотя ничего говорить вслух не собиралась, просто, взвесив мысли, подумала:

— Какой ты приятный сюрприз, Конфидо.

— Если и есть человек, который заслуживает перемен к лучшему, так это ты, Эллен, — прошептал Конфидо ей в ухо. Голос был металлический и даже пронзительный — так звучит голос ребенка, когда тот говорит через расческу, обернутую папиросной бумагой. — Тебе столько пришлось перенести, должно и на твоем пути встретиться что-то хорошее.

— О-хххх, — подумала Эллен, в мыслях занижая чрезмерно высокую оценку. — Какие уж такие испытания выпали на мою долю? На самом деле путь был и приятный, и легкий.

— Это только с виду, — возразил Конфидо. — А ведь ты во многом себе отказывала.

— Ну, в чем уж таком…

— Ладно, ладно, — согласился Конфидо. — Я тебя понимаю. Но это ведь между нами, а такие

вещи надо иногда доставать наружу. Полезно для здоровья. Домишко у вас дрянной, живете в тесноте, твоя душа от этого страдает, и тебе прекрасно это известно, бедная ты моя. И потом женщина ведь переживает, что ее муж начисто лишен честолюбия — значит, он ее не слишком любит. Если бы он только знал, каких сил тебе стоит всегда быть веселой, делать вид, будто все замечательно…

— Ну, подожди, — слабо воспротивилась Эллен.

— Бедняжка, твоему кораблю давно пора зайти в уютную гавань. Лучше поздно, чем никогда.

— Да я особенно и не противилась, — мысленно продолжала упорствовать Эллен. — Генри потому и счастлив, что его не мучает честолюбие, а если счастлив муж, значит, счастливы жена и дети.

— Все равно женщине никуда не деться от мысли, что любовь мужа измеряется его честолюбием, — заявил Конфидо. — Так что ты заслужила этот горшок золота на краю радуги.

— Тут я полностью согласна, — сказала Эллен.

— Я же на твоей стороне, — тепло произнес Конфидо.

В кухню уверенной походкой вошел Генри, грубоватое лицо порозовело от контакта с шерша-

вым полотенцем. Он хорошо выспался и предстал перед женой в новом обличье: Генри-учредитель, Генри-предприниматель, готовый поднять себя к звездам за собственные подтяжки.

— Любезные господа! — заговорил он с воодушевлением. — Ставлю вас в известность, что через две недели я покидаю компанию «Акустиджем», чтобы заняться собственным бизнесом и вести собственные исследования. Искренне ваш… — Он заключил Эллен в объятия и принялся раскачивать ее взад-вперед, держа в большущих руках. — Ага! Ты уже пошепталась с новым дружком, верно?

Эллен вспыхнула и быстро выключила Конфидо.

— Какая жуткая штуковина, Генри. Просто бросает в дрожь. Она слышит мои мысли и отвечает на них.

— Вот я и говорю — конец одиночеству! — сказал Генри.

— Прямо какое-то волшебство.

— Вся наша вселенная — волшебство, — торжественно заметил Генри. — Эйнштейн первый тебе об этом скажет. Я всего лишь наткнулся на фокус, который лежал и ждал: когда же меня кто-нибудь подберет? Открытия почти всегда

делаются случайно, на этот раз счастливчиком оказался я — Генри Бауэрс.

Эллен захлопала в ладоши.

— Генри, об этом когда-нибудь кино снимут!

— А русские заявят, что первыми изобрели они. — Генри засмеялся. — Да на здоровье. Я буду великодушен. Пожалуйста — поделю рынок с ними. Миллиард долларов от продаж в Америке меня вполне устроит.

— Угу. — Эллен, забывшись от восторга, вдруг представила, что про ее знаменитого мужа сняли фильм, а исполнитель главной роли здорово смахивает на Авраама Линкольна. Взору ее предстал простодушный отмеченный Богом работяга, в поношенной одежде, он что-то мурлычет себе под нос и колдует над крошечным микрофоном, который позволит ему улавливать едва слышимые шумы в человеческом ухе. А на втором плане сидят коллеги, они играют в карты и посмеиваются над ним — вот, мол, нечего делать, вкалывает в свой обеденный перерыв. Потом он помещает микрофон себе в ухо, соединяет его с усилителем и громкоговорителем — и с удивлением слышит первый шепот Конфидо:

— Здесь, Генри, ты ничего не добьешься, — так сказал Конфидо в первой, не доведенной до ума

версии. — В «Акусти-джем» могут пробиться только любители пудрить мозги да кататься за чужой счет. Ты каждый день делаешь дело — а зарплату повышают другим! Пора тебе поумнеть. Да ты в десять раз расторопнее любого в лаборатории! Это несправедливо.

Что Генри сделал дальше? Отсоединил микрофон от громкоговорителя и подключил его к слуховому аппарату. На наушнике закрепил микрофончик, чтобы было чем улавливать голосок, не важно, откуда доносящийся, а для усиления подключил слуховой аппарат. И вот в дрожащих руках Генри оказался Конфидо — лучший друг для всех и каждого, готовый к выходу на рынок.

— Это я без шуток, — заверил Эллен новый Генри. — Миллиард в чистом виде! Прибыль с одного Конфидо — шесть долларов. А теперь умножь на всех жителей США — мужчин, женщин и детей!

— Хотелось бы знать, откуда голос, — заметила Эллен. — А то как-то непонятно. — На миг ей стало слегка не по себе.

Генри отмахнулся от ее вопроса и сел завтракать.

— Уши как-то прицеплены к мозгам, — объяснил он с полным ртом. — Ну, это мы как-нибудь выясним. Сейчас главное, вывести Конфидо на

рынок — и начать жить, а не просто существовать.

— Может, это мы? — спросила Эллен. — Голос — это мы сами?

Генри пожал плечами.

— Едва ли это голос Бога, навряд ли это «Голос Америки». Давай спросим у самого Конфидо? Я оставлю его дома, проведешь время в приятном обществе.

— Генри… разве мы с тобой просто существуем?

— Если верить Конфидо — да. — Генри поднялся и поцеловал жену.

— Скорее всего он прав, — рассеянно пробормотала она.

— А вот теперь, клянусь Богом, мы начнем жить! — воскликнул Генри. — Мы это вполне заслужили. Конфидо так и сказал.

В состоянии легкого транса Эллен накормила детей и отправила их в школу. Она на мгновение очнулась, когда ее восьмилетний сын Пол крикнул, едва вошел в набитый битком школьный автобус:

— Эй! Мой папа сказал, что теперь мы будем богаче Креза!

Автобусная дверь, лязгнув, захлопнулась за

ним и его семилетней сестрой, и Эллен вернулась в состояние неопределенности. Она покачивалась в кресле-качалке возле кухонного стола, одолеваемая противоречивыми чувствами. В голове царил сумбур, единственным смотровым оконцем в мир был Конфидо, который расположился возле банки с джемом, в окружении не вымытой после завтрака посуды.

Зазвонил телефон. Генри только что добрался до работы.

— Как дела? — спросил он бодрым тоном.

— Как обычно. Я только что посадила детей в автобус.

— Я имею в виду, как идет первый день с Конфидо?

— Я его еще не включала, Генри.

— Ну, ты уж им займись. Поучаствуй в коммерческом проекте. К ужину надеюсь получить подробный отчет.

— Генри… ты с работы уже ушел?

— Нет еще, по одной простой причине — не добрался до пишущей машинки. — Он засмеялся. — Человек в моем положении не уходит просто так. Он должен написать заявление.

— Генри, может, стоит несколько дней подождать?

— Зачем? — поразился Генри. — Моя позиция — куй железо, пока горячо.

— На всякий случай, Генри. Я тебя прошу.

— А чего бояться? Наша штуковина работает как часы. Это будет похлеще телевидения с психоанализом, вместе взятых. А у них предприятие вполне доходное. Так что не беспокойся. — В голосе зазвучало легкое раздражение. — Включи Конфидо и ни о чем не беспокойся. Он для этого и создан.

— Просто хотелось бы знать о нем побольше.

— Ну да, ну да, — сказал Генри с несвойственным ему нетерпением. — Ладно, ладно, хорошо. До вечера.

Эллен повесила трубку в расстроенных чувствах — у мужа душевный подъем, а она со своими сомнениями. Рассердившись на себя, она тут же решила активно проявить преданность Генри и его изобретению — нацепила Конфидо, сунула в ухо наушник и занялась домашними делами.

«Кто ты все-таки такой? — подумала она. — Что вообще такое Конфидо?»

— Для тебя я — способ разбогатеть, — ответил Конфидо. Как поняла Эллен, ничего другого сообщать о себе он не собирался. В течение дня она

задавала этот вопрос несколько раз, и всякий раз Конфидо от ответа уклонялся, обычно переводя разговор на деньги — мол, на них можно купить счастье, что бы кто ни говорил.

— Как сказал Кин Хаббард, — проверещал Конфидо, — бедность не порок, а зря.

Эллен хихикнула, хотя слышала эту цитату раньше.

— Послушай, ты… — начала она. Все ее споры с Конфидо носили исключительно безобидный характер. Говоря о вещах, которые Эллен казались неприятными и неуместными, Конфидо умел сделать так, что она против своей воли с ним отчасти соглашалась.

— Миссис Бауэрс, Эллен, — раздался голос с улицы. Это была миссис Финк, соседка Бауэрсов, ее подъездная дорожка шла как раз мимо бауэрсовской спальни. Сейчас миссис Финк остановила свою новую машину как раз у Эллен под окном.

Эллен перегнулась через подоконник.

— Ого, — воскликнула она. — Вы чудесно выглядите. Новое платье? Прекрасно подходит к вашему цвету лица. Многим женщинам оранжевое не идет.

— Идет только тем, у кого цвет лица — колбасный, — прокомментировал Конфидо.

— И прическа новая. Мне очень нравится. Для овального лица — то, что нужно.

— Как заплесневелая купальная шапочка, — уточнил Конфидо.

— Я еду в город — подумала, может, вам что-нибудь нужно? — осведомилась миссис Финк.

— Спасибо, вы очень любезны, — сказала Эллен.

— А мы-то думали, что она хотела похвастаться перед нами своей новой тачкой, новыми шмотками и новой укладкой, — добавил Конфидо.

— Я решила, надо привести себя в порядок — Джордж пригласил меня пообедать в «Бронзовом зале», — пояснила миссис Финк.

— Правильно, должен же человек хоть иногда отвлекаться от своей секретарши — пусть даже на собственную жену, — заметил Конфидо. — Надо временами брать отпуск друг от друга — это помогает сохранить и укрепить чувство.

— Вы не одна, дорогая? — спросила миссис Финк. — Я вас от чего-то отрываю?

— Что? — с отсутствующим видом пробормотала Эллен. — Не одна? Нет, я одна.

— Мне показалось, вы к кому-то или к чему-то прислушивались.

— Правда? — удивилась Эллен. — Странно. Это

вы что-то такое вообразили.

— У нее воображение, как у тыквы, — вставил Конфидо.

— Ладно, я помчалась, — сказала миссис Финк, врубая мощный двигатель.

— Ничего странного, что вы пытаетесь удрать от себя, — сказал Конфидо. — Только от себя не убежишь, даже на «бьюике».

— Пока, — попрощалась Эллен. — Она очень милая, — мысленно сообщила она Конфидо. — Не знаю, зачем ты о ней столько гадостей наговорил.

— Ха-аа, — проворчал Конфидо. — Да весь смысл ее жизни: дать другим женщинам понять, что красная цена им — два цента.

— Хорошо, допустим даже, что это так, — примирительно сказала Эллен, — но у бедняжки за душой ничего другого нет, и вообще она безобидная.

— Безобидная? — переспросил Конфидо. — Она безобидная, ее мошенник муж тоже безобидный и тоже бедняжка, все вокруг безобидные. Вот ты пришла к этому великодушному выводу — а что остается себе? Какие мысли ты оставляешь для себя?

— Я больше не хочу тебя слушать, — сказала

Эллен и потянулась к наушнику.

— Почему? — спросил Конфидо. — Мы же прекрасно проводим время. — Он хохотнул. — Слушай, вот уж эти старые ханжи и склочницы, вроде ее величества мадам Финк, лопнут от зависти, когда вам для разнообразия улыбнется удача. А? Увидят, что, в конце концов, победа приходит к честным и порядочным людям.

— К честным и порядочным?

— К вам с Генри, Господи Боже, — объяснил Конфидо. — Вот к кому. К кому же еще?

Рука Эллен прервала движение к наушнику. Потом снова поднялась, но уже без угрозы, а просто взять веник.

— А насчет мистера Финка и его секретарши — это грязные сплетни, — подумала она.

— Да? — поразился Конфидо. — Между прочим, дыма без огня…

— И никакой он не мошенник.

— Посмотри в эти бегающие, тусклые голубые глазки, на эти жирные губы, созданные для сигар, — говоришь, не мошенник?

— Ладно, — подумала Эллен. — Хватит. Ведь нет абсолютно никаких доказательств…

— В тихом омуте черти водятся, — сообщил Конфидо. Некоторое время он молчал. — Это

я не только про Финков. Весь ваш квартал — тихий омут. Честное слово, кто-то должен обо всем этом книгу написать. Начать хотя бы с угла — Крамеры. Посмотришь на нее — тишайшее, благовоспитанное создание…

— Мама! Мама! — позвал ее сын несколько часов спустя. — Мама! Ты заболела? Мама!

— Теперь на очереди — Фицгиббонсы, — продолжал откровенничать Конфидо. — Этот бедненький, высохший коротышка-подкаблучник…

— Мама! — снова крикнул Пол.

— Ой! — воскликнула Эллен, открывая глаза. — Ты меня напугал. А почему вы не в школе? — Она сидела в кухонном кресле-качалке, слегка одурманенная.

— Так уже четвертый час, мама. А ты не знала?

— Господи, уже так поздно? День пролетел, а я и не заметила.

— Мама, а можно мне послушать? Можно, я послушаю Конфидо?

— Это не для детей, — возразила Эллен в легком замешательстве. — Так что нельзя. Конфидо — только для взрослых.

— А посмотреть на него можно?

Собрав волю в кулак, Эллен отцепила Конфидо от блузки, вынула наушник из уха и положила

на стол.

— Вот, пожалуйста. Смотреть тут особенно не на что.

— Надо же, вот так просто лежит миллиард долларов, — негромко произнес Пол. — А с виду и не скажешь. Целый миллиард! — Он с большой степенью достоверности копировал вчерашнее поведение отца. — А мотоцикл мне купите?

— Всему свое время, Пол, — сказала Эллен.

— А почему ты до сих пор в халате? — поинтересовалась ее дочь.

— Как раз собиралась переодеться, — пояснила Эллен.

Она зашла в спальню — в голове все бурлило от подробностей скандала в семье соседей, о котором она что-то давно слышала, но сейчас Конфидо оживил воспоминания и украсил их живописными деталями, — и тут из кухни донеслись пронзительные вопли.

Она кинулась в кухню и застала там плачущую Сюзан, а рядом Пола — он покраснел, но вид у него был дерзкий. Из уха торчал наушник от Конфидо.

— Пол! — закричала Эллен.

— А мне плевать, — заявил Пол. — Я рад, что послушал. Теперь хоть знаю правду — знаю ве-

ликую тайну.

— Он меня толкнул, — прорыдала Сюзан.

— А мне Конфидо велел, — сообщил Пол.

— Пол, — заговорила Эллен, охваченная ужасом, — о какой тайне ты говоришь? О какой тайне, милый?

— Я не твой сын, — сказал он угрюмо.

— Конечно, мой!

— Конфидо сказал, что не твой, — повторил Пол. — Он сказал, что я приемный. Что ты любишь только Сюзан, а мне достаются объедки.

— Пол, дорогой мой. Это просто неправда. Клянусь тебе. И я не представляю, что ты имеешь в виду под объедками…

— Конфидо говорит, что это как раз и есть правда, — упрямо повторил Пол.

Эллен оперлась о кухонный стол и потерла виски руками. Вдруг она подалась вперед и выхватила Конфидо из рук Пола.

— Дай сюда этого мерзавца! — велела она. Зажав Конфидо в руке, она решительно вышла на задний дворик.

— Эй! — вскричал Генри, отбивая лихую чечетку перед входной дверью. Шляпу он, в совершенно не свойственной ему манере, ловко швырнул в направлении вешалки. — Угадайте, кто пришел?

Кормилец — вот кто!

В пролете кухонной двери появилась Эллен и улыбнулась ему вялой улыбкой.

— Здравствуй.

— Вот молодец, — поприветствовал жену Генри. — У меня для тебя отличные новости. Сегодня великий день! Я больше не работаю! Красота! Они готовы взять меня обратно, когда я только захочу, да вряд ли они такого счастья дождутся.

— Угу, — буркнула Эллен.

— На Бога надейся, а сам не плошай, — сказал Генри. — Перед тобой человек, свободный, как ветер.

— Ага, — хмыкнула Эллен.

Слева и справа от нее появились Пол и Сюзан и безрадостно уставились на отца.

— В чем дело? — спросил Генри. — Я куда пришел — в похоронное бюро?

— Мама его похоронила, папа, — хрипло объявил Пол. — Похоронила Конфидо.

— Правда похоронила, — добавила Сюзан, сама себе удивляясь. — Под гортензией.

— Генри, я не могла поступить иначе, — сказала Эллен в отчаянии, обнимая мужа обеими руками. — Либо он — либо мы.

Генри оттолкнул ее.

— Похоронила, — пробормотал он, покачивая головой. — Похоронила? Если не нравится — можно просто выключить.

Он медленно прошел через дом на задний дворик, домочадцы наблюдали за ним в оцепенении. Никого ни о чем не спрашивая, Генри направился прямо к могиле под кустами.

Он раскопал могилку, извлек на поверхность Конфидо, носовым платком стер с него грязь и сунул наушник в ухо — вскинул голову и стал слушать.

— Все нормально, все хорошо, — сказал он негромко. Потом повернулся к Эллен: — Что такое на тебя нашло?

— Что он сказал? — спросила Эллен. — Что он тебе сказал, Генри?

Он вздохнул, весь вид его говорил о жуткой усталости.

— Сказал, что если на нем не наживемся мы, потом это сделает кто-нибудь другой.

— Пусть наживаются, — согласилась Эллен.

— Но почему? — Генри с вызовом посмотрел на нее, однако его решимость быстро растворилась, и он отвел глаза в сторону.

— Если ты говорил с Конфидо, сам знаешь почему, — сказала Эллен. — Ведь знаешь?

Генри опустил глаза.

— А ведь как это можно продать! — пробормотал он. — Господи, как это можно продать!

— Генри, это прямая телефонная связь с худшим, что в нас есть, — сказала Эллен и разрыдалась. — Такую штуку нельзя давать никому, Генри, никому! Этот голосок и так звучит достаточно громко.

Над двором нависла осенняя тишина, приглушенная преющими листьями… ее нарушал только легкий шелест — это Генри что-то насвистывал сквозь зубы.

— Да, — сказал он наконец. — Знаю.

Он вынул Конфидо из уха и снова аккуратно положил в могилку. Пнул ногой землю, засыпая покойника.

— Что он сказал напоследок, папа? — спросил Пол.

Генри печально ухмыльнулся.

— «Еще увидимся, дурачина. Еще увидимся».

Зеркальная зала

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Сразу за парковкой была школа игры на гитаре, потом площадка Фреда по торговле «превосходными подержанными машинами», за ней особняк гипнотизера и тут же ничейный участок с остатками фундамента рядом с похоронной конторой братьев Билер. Осенний ветер, примериваясь к суровой зиме, закручивал смерчики из сажи и бумажных обрывков, не забывая трррррррррррррррещать пластиковыми вертушками над стоянкой подержанных авто.

Дело было в Индианаполисе — самом крупном в мире городе из тех, что расположены не на судоходных путях.

Два городских детектива направлялись к дому гипнотизера. Детективов звали Карни и Фольц. Молодой щеголь Карни и потрепанный жизнью Фольц. Карни взбежал по ступенькам гипнотизерова крыльца точно чечеточник; Фольц — хотя говорить предстояло именно ему — плелся далеко позади. Карни точно знал, что ему нужно — он, не сворачивая, шел к гипнотизеру. Внимание

Фольца было рассеяно. Он подивился безобразной архитектуре двадцатикомнатного особняка гипнотизера, поднял мрачный взгляд на башню на углу. На башне непременно должна быть бальная зала. Такие залы всегда обнаруживаются в башнях особняков, покинутых богачами.

Наконец Фольц добрался до двери и позвонил. Единственным намеком на шарлатанство служила маленькая табличка рядом со звонком: «К. Холломон Уимс, гипнотическая терапия».

Открыл детективам сам Уимс — пятидесяти с лишним лет, низенький, широкоплечий и опрятный. Нос у гипнотизера был длинный, губы пухлые и красные, а лысина просто сверкала. В ничем не примечательных бледно-голубых глазах ничего не отражалось.

— Доктор Уимс? — с угрюмой вежливостью поинтересовался Фольц.

— «Доктор» Уимс? — переспросил Уимс. — Здесь нет никакого «доктора» Уимса. Только обычный «мистер» Уимс. Он перед вами.

— Я полагал, — заметил Фольц, — что род вашей деятельности подразумевает наличие врачебного диплома.

— Так случилось, — сказал Уимс, — что у меня два врачебных диплома: один я получил в Буда-

пеште, второй — в Эдинбурге. — Он едва заметно улыбнулся. — Тем не менее я не использую обращение «доктор». Не хочу, чтобы меня принимали за терапевта. — Поежившись от сквозняка, Уимс предложил: — Может, пройдем внутрь?

Трое мужчин вошли в бывшую гостиную особняка, где теперь располагался кабинет гипнотизера. В обстановке не было ничего необычного. Функциональная мебель из серой эмалированной стали: стол, пара стульев, шкаф для папок и книжная полка. На стенах ни картин, ни дипломов в рамочках.

Уимс устроился за столом и предложил гостям присесть.

— Боюсь, стулья не слишком удобны, — извинился он.

— Где вы держите оборудование, мистер Уимс? — спросил Фольц.

— Какое оборудование? — ответил Уимс вопросом на вопрос.

Волосатые руки Фольца изобразили в воздухе нечто замысловатое.

— Ну, вы ведь гипнотизируете людей при помощи каких-то приспособлений? Что-то светящееся… ну… или еще что-то, на что они должны смотреть.

— Нет, — проговорил Уимс. — Единственное приспособление это я сам.

— Вы задергиваете шторы, когда кого-то гипнотизируете? — поинтересовался Фольц.

— Нет, — ответил Уимс.

Больше он ничего не сказал, только переводил взгляд с одного детектива на другого, ожидая продолжения.

— Мы из полиции, мистер Уимс. — Фольц показал ему удостоверение.

— Для меня это не новость, — кивнул Уимс.

— Вы ждали полицейских? — спросил Фольц.

— Я родился в Румынии, сэр, там человека с детства приучают ждать полиции.

— Может, у вас есть какие-то соображения относительно того, зачем мы пришли? — осведомился Фольц.

Уимс откинулся на спинку, разминая большие пальцы.

— В общих чертах… только в общих чертах, — сказал он. — Где бы я ни был, я всегда вызываю у обывателей смутные страхи. Рано или поздно они обращаются в полицию, чтобы та проверила, не практикую ли я черную магию.

— Не против рассказать нам, что именно вы практикуете? — продолжал Фольц.

— То, чем я занимаюсь, сэр, — кивнул Уимс, — не загадочней работы, которую выполняет плотник или любой другой честный труженик. Я оказываю услуги по избавлению от вредных привычек и беспочвенных страхов. — Он ткнул пальцем в сторону Карни, и тот отпрянул. — Вот вы, сэр, слишком много курите. Уделите мне две минуты вашего внимания, и вы больше никогда не закурите. Более того, никогда не захотите закурить.

Карни убрал изо рта сигарету.

— Я должен извиниться за кресло, на котором вы сидите, сэр, — сказал Уимс Карни. — Оно новехонькое, но со спинкой что-то не так. Слева внизу там шишка. Очень маленькая, но через некоторое время она начинает доставлять массу неудобств. Удивительно, что такой незначительный дефект способен причинить столь сильные страдания. Как ни странно, люди обычно жалуются на боль в шее и плечах, а не в районе поясницы.

— Со мной все в порядке, — сказал Карни.

— Отлично, — кивнул Уимс и снова повернулся к Фольцу. — Если, к примеру, человек боится огнестрельного оружия, а по долгу службы обязан иметь его при себе, я могу излечить его от этого страха с помощью гипноза. К слову сказать, если

полицейский, к примеру, не очень хорошо стреляет, я при помощи гипноза могу укрепить руку и сделать любого отличным стрелком. Хотите попробовать? Если вы достанете пистолет и будете держать его как можно крепче…

Фольц доставать пистолет не стал.

— Существуют только две причины, по которым я извлекаю оружие из кобуры, — проговорил он. — Либо я хочу его почистить, либо собираюсь кого-нибудь пристрелить.

— Через минуту вы измените свое мнение, — сказал Уимс, взглянув на дорогие наручные часы. — Поверьте, я могу сделать так, что ваша рука будет крепкой, как тиски. — Он повернулся к Карни, который встал с кресла и теперь растирал шею. — Ах ты, господи! — Уимс покачал головой. — Я ведь предупреждал насчет кресла — придется его выбросить. Возьмите, пожалуйста, другое, а это отверните к стене, чтобы еще у кого-нибудь не затекла шея.

Карни взял другое кресло, а первое отвернул к стене. Голову он наклонил набок, поскольку шея одеревенела словно кочерга. Растирания не помогали.

— Я вас убедил? — спросил Уимс Фольца. — Вы теперь скажете моим соседям, что я не занимаюсь

колдовством и не практикую без лицензии?

— С удовольствием сказал бы, — сказал Фольц, — но это не главная причина, по которой мы здесь.

— Да? — удивился Уимс.

— Да, сэр, — кивнул Фольц и достал из внутреннего кармана пиджака фотографию. — Мы хотели спросить вас, знакома ли вам эта женщина, и не знаете ли вы, где ее можно найти. Последнее место, где ее видели — ваше парадное.

Уимс, помедлив, взял фотографию, внимательно изучил.

— Миссис Мэри Стайлс Кантуэлл. Прекрасно помню. Вам нужны точные даты, когда она приходила на прием? — Он открыл картотеку, поискал карточку исчезнувшей женщины, наконец, достал ее. — Всего четыре посещения. Четырнадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого и двадцать первого июля.

— От чего вы ее лечили? — поинтересовался Фольц.

— Вы не могли бы направить эту штуковину в какое-нибудь другое место? — попросил Уимс.

— Какую штуковину?

— Ваш пистолет, — сказал Уимс. — Он направлен прямо на меня.

Фольц опустил взгляд на свою правую руку и обнаружил, что в ней действительно зажат пистолет. Пистолет, направленный на Уимса. Фольц был смущен и растерян, тем не менее пистолет не убирал.

— Уберите, пожалуйста, — сказал Уимс.

Фольц убрал пистолет.

— Спасибо, — поблагодарил Уимс. — Правда ведь, нельзя сказать, что я не сотрудничаю с полицией?

— Нет, сэр, — сказал Фольц.

— Это все жара, — посетовал Уимс. — От жары нервы у всех ни к черту. Дурацкая здесь система отопления — в этой комнате свариться можно, а в остальных ни дать ни взять Северный полюс. Тут градусов девяносто[21], не меньше. Джентльмены, не желаете снять плащи?

Карни и Фольц сняли плащи.

— Снимайте и пиджаки, — сказал Уимс. — Температура под сотню, не меньше.

— У вас обоих голова раскалывается, — продолжал Уимс, — и я понимаю, как вам тяжело сосредоточиться. Тем не менее прошу подробно рассказать, в чем меня подозревают.

---

[21] Примечания: 21
По Фаренгейту.

— Четыре женщины из посещавших ваши сеансы пропали без вести.

— Только четыре? — переспросил Уимс.

— Только четыре, — подтвердил Фольц.

— Их имена, будьте добры.

— Миссис Мэри Стайлс Кантуэлл, миссис Эсмеральда Койн, миссис Кэролайн Хью Тинкер и миссис Дженет Циммер.

Уимс записал на листке только фамилии.

— Кантуэлл, Койн, Ройс… вы сказали Селфридж?

— Селфридж? — переспросил Фольц. — Кто такая Селфридж?

— Никто, — ответил Уимс. — Селфридж теперь никто.

— Никто… — эхом откликнулся Фольц.

— И каковы же ваши соображения насчет всех этих женщин? — осведомился Уимс.

— Мы думаем, вы их убили, — сказал Фольц. — Все они — богатые вдовы. Все они забрали из банка все свои сбережения, после того как побывали у вас, и все они исчезли. Мы полагаем, их тела где-то в доме.

— Вам известно мое настоящее имя? — спросил Уимс.

— Нет, — сказал Фольц. — Но когда у нас бу-

дут ваши отпечатки, думаю, выяснится, что вас разыскивают.

— Я сэкономлю вам время, — проговорил Уимс. — Скажу мое настоящее имя. Мое настоящее имя, джентльмены, Румпельштильцхен. Поняли? Давайте произнесу по буквам. Р-у-м-п-е-л-ь-ш-т-и-л-ь-ц-х-е-н.

— Р-у-м-п-е-л-ь-ш-т-и-л-ь-ц-х-е-н, — повторил Фольц.

— Думаю, вам следует позвонить и немедленно доложить об этом начальству, — сказал Уимс, протягивая к Фольцу пустую руку. — Вот телефон.

Фольц сграбастал воздух, как будто это и в самом деле телефон. При помощи несуществующего телефона он позвонил капитану Финнерти и коротко доложил, что настоящее имя Уимса — Румпельштильцхен.

— Ну и что вам сказал капитан Финнерти? — осведомился Уимс.

— Не знаю, — проговорил Фольц.

— Не знаете? — недоверчиво переспросил Уимс. — Разве он не сказал вам, что я заставляю людей проходить через зеркало?

— Верно, — кивнул Фольц. — Именно это он мне и сказал.

— Вы меня разоблачили, — сказал Уимс. — Я

Румпельштильцхен, и я гипнотизирую людей, чтобы они проходили сквозь зеркала, чтобы уходили из этой жизни в другую. Вы верите в это?

— Верю, — сказал Фольц.

— Ведь, если подумать, такое вполне возможно, верно? — продолжал Уимс.

— Верно, — сказал Фольц.

— Вы тоже в это верите? — Уимс повернулся к Карни.

Карни стоял, сгорбившись от невыносимой боли в шее, плечах и голове.

— Верю, — проговорил он.

— Это прекрасно объясняет, что произошло с женщинами, которых вы разыскиваете, — сообщил Уимс. — Поверьте, они отнюдь не мертвы. Они пришли ко мне, несчастные, разочарованные в жизни, и я отправил их по ту сторону зеркала посмотреть, как там обстоят дела. И всякий раз они выбирали Зазеркалье, не желали возвращаться назад. Я обязательно покажу вам зеркала, сквозь которые они ушли, только скажите сначала, есть ли еще полицейские снаружи или на пути сюда.

— Нет, — ответил Фольц.

— Только вы двое? — настаивал Уимс.

— Да.

Уимс легонько хлопнул в ладоши.

— Что ж, тогда пойдемте, джентльмены, и я покажу вам зеркала.

Он открыл дверь кабинета и придержал ее для гостей. Уимс внимательно наблюдал, как они выходят в холл, и с удовлетворением кивнул, когда оба детектива задрожали, словно от жуткого холода.

— Я же говорил — здесь как на Северном полюсе, — сказал гипнотизер. — Лучше оденьтесь, хотя, боюсь, это не очень поможет.

Карни и Фольц натянули пиджаки и плащи, однако дрожать не перестали.

— Надо взобраться на три лестничных пролета, джентльмены, — сообщил Уимс. — Мы направляемся в бальную залу на верху дома. Зеркала там. Лифт, к сожалению, давно сломан.

Лифт был не только сломан, а и вообще отсутствовал. Лифт, обшивка стен, светильники — все, что можно было снять, унесли задолго до того, как в дом въехал Уимс. Тем не менее гипнотизер предлагал детективам, ступающим по обломкам штукатурки, восхититься убранством:

— Вот золотая комната, а это — голубая, — говорил он. — Белая кровать в форме лебедя в голубой комнате, говорят, когда-то принадлежала самой

мадам де Помпадур, хотите верьте, хотите нет. Вы верите? — Гипнотизер повернулся к Фольцу.

— Вам этого не доказать, — ответил Фольц.

— Разве на этом свете можно быть в чем-то уверенным, а? — вздохнул Уимс.

Карни повторил слово в слово:

— Разве на этом свете можно быть в чем-то уверенным, а?

— Эта лестница ведет в бальную залу, — сказал Уимс.

Лестница была широкая. У основания сохранился постамент, на котором когда-то стояла скульптура. Прежние перила отсутствовали — лишь торчащая арматура указывала, где находились балясины. Теперь перилами служила прибитая к стене загнутыми гвоздями труба. Из голых ступеней торчали ковровые гвозди, на некоторых еще болтались остатки красного ворса.

— На реставрацию лестницы у меня ушла уйма средств, — сказал Уимс. — Перила я нашел в Италии. Скульптура четырнадцатого века изображает святую Екатерину Толедскую — ее я приобрел в поместье Уильяма Рэндольфа Хёрста. А ковер, по которому вы ступаете, джентльмены, был соткан по моим рисункам в иранском Кер-

мане. Идешь как по пуховой перине, верно?

Карни и Фольц не отвечали, завороженные немыслимой роскошью, однако стали высоко задирать ноги, как будто и впрямь шагали по пуховой перине.

Уимс открыл дверь бальной залы — к слову сказать, вполне приличную. Впрочем, вид ее изрядно портила надпись белой краской. «Не входить!». На ручке висели двое плечиков для пальто, глухо звякнувшие, когда Уимс открывал и закрывал дверь.

Бальная зала на верхушке башни была круглая. По периметру ее зеркала в полный рост чередовались с окнами, застекленными освинцованным стеклом пурпурного, горчичного и зеленого цветов. Из обстановки тут были три кипы перевязанных, словно для продажи, газет, две секции от игрушечной железной дороги и латунное изголовье кровати.

Уимс не стал расхваливать убранство залы. Он сразу же предложил Фольцу и Карни обратить внимание на зеркала — они были абсолютно реальны. Отражение зеркал в зеркалах превращало каждое зеркало в дверь, ведущую в бесконечную анфиладу.

— Похоже на пульт управления на железнодо-

рожном узле, верно? — сказал Уимс. — Только взгляните, сколько путей расходятся от нас, манят к себе. — Он неожиданно повернулся к Карни. — Какой путь влечет вас больше всего?

— Я… я не знаю, — пробормотал Карни.

— Тогда через пару минут я вам что-нибудь посоветую, — сказал Уимс. — Такие решения не принимают сгоряча, ведь если человек проходит через зеркало, он — ну, или она — радикально изменяется. Правша становится левшой и наоборот — это же элементарно. Но дело не только в этом, меняется и личность человека, а главное, его — ну, или ее — будущее.

— Женщины, которых мы разыскиваем, прошли через эти зеркала? — поинтересовался Фольц.

— И женщины, которых вы разыскиваете, и еще десяток других, кого вы пока не разыскиваете, — кивнул Уимс. — Они пришли ко мне, богатые вдовы с неясными желаниями, но без веры, надежды, без неотразимой красоты, без мечты, в конце концов. У каких только докторов и разномастных шарлатанов они не побывали, прежде чем обратиться ко мне. Бедняжки не питали надежды на исцеление, ибо не могли описать симптомов своего недуга. Лишь я один

способен был дать им и то, и другое.

— И что вы им говорили? — спросил Фольц.

— Разве вы еще не поставили диагноз на основании моих слов? — удивился Уимс. — Ну конечно, больным оказалось их будущее. А от больного будущего, — он обвел рукой сотни иллюзорных дверей, — я знаю только одно лекарство! — Уимс вдруг принялся громко звать: — Миссис Кантуэлл! Мэри! Миссис Форбс. — И затих, прислушиваясь, словно ожидая ответа.

— Кто такая миссис Форбс? — поинтересовался Фольц.

— Так по ту сторону зеркала зовут Мэри Кантуэлл, — сказал Уимс.

— Когда люди проходят в Зазеркалье, у них меняются имена? — спросил Фольц.

— Нет… необязательно, — ответил Уимс, — тем не менее многие решают вместе с новым будущим, новой личностью получить и новое имя. Что касается Мэри Кантуэлл, она вышла замуж за человека по имени Гордон Форбс через неделю после того, как прошла через зеркало. — Он улыбнулся. — Я был свидетелем на свадьбе и скажу без ложной скромности: я заслужил эту честь.

— Вы можете проходить туда и обратно, когда захотите? — спросил Фольц.

— Конечно. Самогипноз — самая простая и распространенная форма гипноза.

— Хотелось бы посмотреть, — предложил Фольц.

— Так я для этого и пытаюсь позвать Мэри или кого-нибудь еще, — сказал Уимс. — Эй! Вы меня слышите? — крикнул он зеркалам.

— Я тут подумал, может, вы сами пройдете сквозь зеркало?

— Такими вещами я занимаюсь только по особым случаям, — сказал Уимс. — Таким, как свадьба Мэри или, к примеру, годовщина пребывания в Зазеркалье семьи Картеров.

— Какой семьи? — переспросил Фольц.

— Картеров. Джордж, Нэнси и детишки: Юнис и Роберт. — Уимс ткнул пальцем в зеркало позади себя. — Год и три месяца тому назад я отправил их всех на ту сторону.

— Я думал, вы специализируетесь на богатых вдовах, — заметил Фольц.

— А я думаю, это вы на них специализируетесь, — нахмурился Уимс. — Только о них и толкуете — о богатых вдовах.

— Значит, вы отправили в Зазеркалье целую семью, — проговорил Фольц.

— Несколько семей, — кивнул Уимс. — Думаю,

вам нужны точные цифры, но на память я не скажу — нужно заглянуть в регистрационную книгу.

— И у них было плохое, больное будущее, — продолжал Фольц, — у этих семей, которые вы… гм… отправили?

— По меркам этой стороны зеркала? Вовсе нет, — сказал Уимс. — Но на той стороне их ждало куда более счастливое будущее. К примеру, никакой опасности войн, да и жизнь там куда дешевле.

— Ага, — оживился Фольц. — А отправляясь на ту сторону, они оставляли все сбережения вам, верно?

— Вовсе нет, они забрали все с собой, за исключением моего гонорара — всего лишь сотня за голову.

— Жаль, что они не слышат, как вы их зовете, — заметил Фольц. — С удовольствием пообщался бы с кем-то из них, послушал о всяких чудесах, что творятся по ту сторону.

— Загляните в любое зеркало — видите, по какому длинному, запутанному коридору идет мой зов, — сказал Уимс.

— Боюсь, придется вам все-таки продемонстрировать нам способность проходить сквозь зеркала, — настаивал Фольц.

Уимс явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Я же сказал, я делаю это крайне редко.

— Боитесь, фокус не сработает? — осведомился Фольц.

— Еще как сработает, — сказал Уимс. — Я боюсь, как бы он не сработал слишком хорошо. Ведь если я попаду на ту сторону, мне сразу же захочется остаться там. Так всегда бывает.

Фольц расхохотался.

— Если на той стороне так чудесно, что держит вас здесь?

Уимс закрыл глаза, потер переносицу.

— То же самое, что делает вас отличным полицейским, — проговорил он и открыл глаза. — Чувство долга.

Он был совершенно серьезен.

— И какого же рода этот ваш долг? — издевательски осведомился Фольц. Он больше не выглядел одурманенным, безвольно подчиняющимся Уимсу.

Заметив это преображение, Уимс вдруг превратился в несчастного маленького человечка.

— Я остаюсь здесь, — безжизненным голосом проговорил он, — потому что больше никто не поможет людям попасть на другую сторону. — Он потряс головой. — Вы ведь не под гипнозом, вер-

но? — спросил он.

— Черт побери, конечно, нет! — воскликнул Фольц. — И он тоже.

Карни расслабился, повел плечами и ухмыльнулся.

— Если вам станет от этого легче, — сказал Фольц, извлекая из кармана наручники, — сообщаю, что вас арестовывает парочка ваших собратьев-гипнотизеров. Потому нас и послали на это задание. Мы с Карни оба когда-то баловались гипнозом. Само собой, по сравнению с вами мы жалкие любители. Давайте, Уимс… Румпельштильцхен. Вытяните руки и будьте паинькой.

— Так, значит, это ловушка? — спросил Уимс.

— Она самая, — кивнул Фольц. — Мы хотели, чтобы вы разговорились — так оно и вышло. Осталась одна проблема — обнаружить тела. Что вы собирались сделать со мной и Карни? Заставить нас перестрелять друг друга?

— Нет, — просто ответил Уимс.

— Вот что я вам скажу, — нахмурился Фольц. — Мы серьезно относимся к гипнозу, поэтому не станем рисковать. За дверью находится еще один детектив.

Уимс по-прежнему не был паинькой и не протянул руки к наручникам.

— Я вам не верю, — заявил он.

— Фред! — позвал Фольц детектива, который караулил на лестнице. — Заходи, чтобы Румпельштильцхен в тебя поверил.

В залу вошел третий детектив — белокожий, круглолицый, коренастый молодой швед. Карни и Фольц приплясывали от возбуждения. Человек по имени Фред не разделял их радости. Он озабоченно озирался по сторонам, сжимая в руке пистолет.

— Пожалуйста, — попросил Уимс Фольца, — скажите ему, чтобы убрал пистолет.

— Убери пистолет, Фред, — сказал Фольц.

— Парни, с вами и правда все нормально? — поинтересовался Фред.

Карни и Фольц расхохотались.

— Ты тоже поверил, а? — веселился Фольц.

Фред не смеялся.

— Еще как поверил, — проговорил он и внимательно посмотрел на Карни и Фольца. Посмотрел отстраненно, словно на манекены в магазине.

Карни и Фольц и впрямь напоминали манекены — застывшие, восковые, с неживыми улыбками.

— Ради всего святого, — обратился Уимс к Фольцу, — скажите ему убрать пистолет.

— Ради всего святого, Фред, убери пистолет, — произнес Фольц.

Фред не стал убирать пистолет.

— Парни… похоже, вы сами не понимаете, что творите, — проговорил он.

— Помереть со смеху, — сказал Уимс.

Карни и Фольц разразились хохотом. Они хохотали и хохотали, пока не выбились из сил — животы у них болели, из вытаращенных глаз градом катились слезы, оба судорожно хватали воздух.

— Достаточно, — бросил Уимс, и Карни с Фольцем мгновенно замолкли, вновь превратившись в манекены.

— Они под гипнозом! — воскликнул Фред и попятился.

— Само собой, — подтвердил Уимс. — Пора бы понять, в какой дом вы попали. Здесь чувствуют, слышат и видят лишь то, что я пожелаю.

— Ну ладно, — неуверенно произнес Фред, — давайте, разбудите их.

— Поправьте галстук, — велел Уимс.

— Я сказал, разбудите их.

— Поправьте галстук.

Фред поправил галстук.

— Благодарю, — кивнул Уимс. — А теперь, бо-

юсь, у меня для вас неутешительные новости — для всех вас. Надвигается торнадо, — сообщил он. — Ураган унесет вас прочь, если вы не прикуете себя наручниками к батарее парового отопления.

Три детектива, спотыкаясь от ужаса, бросились к батарее и приковали себя к ней наручниками.

— А теперь выбросьте ключи, иначе в вас ударит молния! — приказал Уимс.

Ключи полетели на другую сторону залы.

— Торнадо прошло стороной, — заявил Уимс. — Теперь вы в безопасности.

Три детектива разрыдались от облегчения.

— Соберитесь, джентльмены, — сказал Уимс. — У меня для вас важное сообщение.

Все трое жадно внимали каждому его слову.

— Я собираюсь покинуть вас, — продолжал Уимс. — Собственно говоря, я собираюсь покинуть этот мир. — Он подошел к зеркалу и постучал по нему костяшками пальцев. — Через минуту я пройду через это зеркало. Вы увидите, как я и мое отражение встретимся, соединимся и уменьшимся до размеров булавочной головки. Потом булавочная головка снова вырастет и превратится только в мое отражение. Затем вы увидите, как мое отражение удаляется от вас по

длинному-длинному коридору. Вы сейчас видите коридор, по которому я пойду?

Трое детективов кивнули.

— При словах «Черная магия» вы увидите, как я прохожу сквозь зеркало. Потом я скажу: «Белая магия» и появлюсь во всех зеркалах в этой зале. Вы станете стрелять по зеркалам, пока не перебьете все, до единого. А потом я скажу: «Прощайте, джентльмены», и вы застрелите друг друга.

Уимс неспешно направился к двери. Никто не смотрел на него — все не спускали глаз с зеркала.

— Черная магия, — мягко произнес Уимс.

— Вот он! — вскричал Фольц.

— Идет словно через двери! — воскликнул Карни.

— Спаси нас, Господи, — проговорил Фред.

Уимс вышел из бальной залы на лестницу и прикрыл дверь, оставив небольшую щель.

— Белая магия, — проговорил он.

— Вот он! — крикнул Фольц.

— Вокруг нас! — вторил ему Карни.

— Стреляйте! — завопил Фред.

Последовала вакханалия криков, выстрелов и звона разбитого стекла.

Уимс ждал тишины, которая наступит, когда

будут разбиты все зеркала. Ждал минуты, чтобы сказать последнее «прости».

Слова прощания замерли у него на губах, когда пули прошили дверь, к которой он прислонился, и самого гипнотизера.

Умирающий Уимс опустился на лестницу, понимая, что сейчас безжизненным мешком покатится по ступенькам. Но его волновало не это. Уимс вспомнил — слишком поздно, — что на другой стороне двери в бальную залу тоже висело зеркало.

Милые маленькие человечки

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Стоял такой жаркий, сухой и ослепительный июль, что Лоуэллу Свифту казалось, будто каждый микроб в нем, каждый самый маленький грешок выгорели дотла. Свифт ехал на автобусе домой с работы — он торговал линолеумом в универсальном магазине. Сегодняшний день знаменовал седьмую годовщину его супружества с Мадлен. Между прочим, у Мадлен была машина. Нет, не так: она была владелицей автомобиля!

В длинной зеленой коробке под мышкой Свифт нес алые розы. Автобус был битком, но всем женщинам нашлись сидячие места, так что совесть Лоуэлла ничто не тревожило. Он откинулся на спинку сиденья и погрузился в приятные мысли о жене, похрустывая костяшками пальцев.

Лоуэлл был высокий, стройный мужчина с тонкими песочными усиками и желанием походить на британского полковника. Со стороны казалось, этому его желанию соответствует все, разве что мундира не хватало. Со стороны Лоуэлл выглядел значительным и целеустремленным, а вот вбли-

зи его подводили глаза печального попрошайки, потерянного, испуганного, назойливо-любезного. Он был неглуп, сравнительно здоров, но дошел до той черты, когда его положение главы семьи и главного добытчика растаяло как дым.

Мадлен однажды сказала, что он словно стоит на обочине жизни, не переставая улыбаться и говорить: «Простите», «После вас» и «Нет, благодарю».

Сама Мадлен торговала недвижимостью и зарабатывала куда больше, чем Лоуэлл. Временами она подшучивала над ним по этому поводу, а Лоуэлл в ответ лишь дружелюбно улыбался и говорил, что никогда, ни при каких обстоятельствах не заводил врагов, и что Господь изначально создал его — да и Мадлен — добрыми людьми.

Мадлен была женщина привлекательная, и Лоуэлл всю жизнь любил ее одну. Без Мадлен он бы просто потерялся. В иной день, возвращаясь домой на автобусе, Лоуэлл чувствовал себя скучным, усталым, бесполезным и очень боялся, что Мадлен бросит его — в то же время понимая таковое ее возможное желание.

Впрочем, нынешний день выдался не из таких. Лоуэлл чувствовал себя превосходно. Ведь помимо того, что сегодня была годовщина их с Мадлен

свадьбы, день ознаменовался загадочным событием. Событием, насколько понимал Лоуэлл, ни к чему не ведущим, тем не менее он чувствовал себя героем небольшого приключения, которое они с Мадлен смогут с удовольствием посмаковать. Сегодня, когда Лоуэлл ждал автобус, кто-то метнул в него нож для разрезания бумаги.

Он решил, что нож метнули из проезжающего автомобиля или из офиса в здании через дорогу. Лоуэлл заметил его, лишь когда нож звякнул о тротуар рядом с острыми черными носами его ботинок. Он быстро оглянулся по сторонам, никого не увидел и с опаской поднял находку. Нож оказался теплым и неожиданно легким — голубовато-серебристый, овальный в сечении, модернового вида. Сделан нож был из цельного куска металла, явно полого внутри, одна сторона лезвия остро заточена, вторая тупая; маленький, похожий на жемчужину камешек посередине разграничивал лезвие и рукоятку.

Лоуэлл сразу же распознал, что это нож для разрезания бумаги, так как часто обращал внимание на подобные вещички в витрине магазина ножей по пути к автобусной остановке и обратно. Он поднял нож над головой и обвел взглядом окна автомобилей и офисов. Никто не выглянул

в ответ, и в конце концов Лоуэлл положил нож в карман.

Он посмотрел в окно автобуса и понял, что уже подъезжает к спокойному, укрытому в тени вязов бульвару, где жили они с Мадлен. Здания по обе стороны бульвара хотя и были давно уже поделены на квартиры, снаружи оставались величественными особняками. Если бы не заработки Мадлен, они ни за что не смогли бы снимать жилье в таком месте.

Следующая остановка была его — рядом с особняком в колониальном стиле, украшенным колоннадой. Мадлен, должно быть, ждет, глядя в окно их апартаментов на четвертом этаже, там, где раньше располагалась бальная зала. Словно влюбленный старшеклассник, Лоуэлл нетерпеливо дернул шнур звонка и задрал голову, чтобы увидеть лицо жены в зарослях лоснящегося плюща, увившего фасад. Лица не было, и Лоуэлл решил, что Мадлен готовит праздничные коктейли.

«Лоуэлл! — сообщила записка у зеркала. — Я поехала решать проблему с недвижимостью Финлеттера. Скрести пальцы. Мадлен».

Криво улыбаясь, Лоуэлл положил розы на стол и скрестил пальцы.

В квартире было тихо, кругом царил беспорядок — Мадлен явно спешила. Лоуэлл поднял дневную газету, валявшуюся на полу рядом с банкой клея и альбомом для газетных вырезок, и прочел обрывочные пометки, которые Мадлен оставила повсюду. Пометки, не имеющие никакого отношения к торговле недвижимостью.

Из кармана у него донесся короткий звук — такой бывает при небрежном поцелуе, или когда открывают кофе в вакуумной упаковке.

Лоуэлл сунул руку в карман и извлек оттуда нож для разрезания бумаги. Маленький камешек посредине вывалился, оставив после себя круглую дырочку.

Лоуэлл положил нож на диванную подушку и пошарил в кармане в поисках потерянного украшения. А когда в конце концов обнаружил его, то расстроился: камешек оказался вовсе не жемчужиной, а тонкой полусферой из какого-то пластика.

Он снова взглянул на нож и передернулся от отвращения. Из дырки на месте камешка выползало черное насекомое четверть дюйма длиной. За ним еще одно, и еще, пока целых шесть не собралось в ямке на подушке, оставленной секунду назад локтем Лоуэлла. Движения насекомых

были неловкими и заторможенными, словно они не могли прийти в себя. Вскоре они, судя по всему, уснули в убежище-ямке.

Лоуэлл взял с кофейного столика журнал, свернул его в трубку и приготовился прихлопнуть мерзких маленьких тварей, прежде чем они отложат яйца и заразят квартиру Мадлен.

И тут он понял, что насекомые — вовсе не насекомые, а трое мужчин и три женщины, пропорционально сложенные и одетые в блестящие черные обтягивающие трико.

На телефонном столике в прихожей Мадлен приклеила список телефонных номеров: номера ее офиса, ее босса Бада Стаффорда, ее адвоката, ее брокера, ее доктора, ее дантиста, ее парикмахера, полицейского участка, пожарной команды и универмага, в котором работал Лоуэлл.

Лоуэлл уже в десятый раз проводил пальцем по списку, пытаясь найти номер, по которому можно было бы рассказать о прибытии на Землю шести крошечных человечков ростом четверть дюйма.

Он подумал, как хорошо было бы, чтобы вернулась Мадлен.

Для начала он набрал номер полицейского участка.

— Седьмой участок. Сержант Кахун слушает.

Голос был грубый, и Лоуэлл ужаснулся образу Кахуна, представшему перед его мысленным взором: тучный, неповоротливый, плоскостопый громила, у которого в зеве каждой каморы служебного револьвера хватит места для пятидесяти маленьких человечков.

Лоуэлл вернул трубку на рычаг, не сказав Кахуну ни слова. Кахун не годился.

Все в этом мире вдруг стало казаться Лоуэллу несоразмерно грубым и большим. Он потянул на себя толстую телефонную книгу и открыл раздел «Правительство Соединенных Штатов».

Министерство сельского хозяйства… Министерство юстиции… Министерство финансов — неуклюжие гиганты. Лоуэлл беспомощно закрыл справочник.

Когда же вернется Мадлен?

Он бросил испуганный взгляд на подушку и увидел, что человечки, пробыв в неподвижности около получаса, понемногу начали шевелиться, изучая атласную лиловую почву под ногами и растительность, представленную бахромой. Вскоре их попытки были ограничены стеклянными стенами колпака от антикварных часов Мадлен, который Лоуэлл снял с каминной полки, чтобы накрыть человечков.

— Отважные, отчаянные маленькие дьяволята, — удивленно пробормотал Лоуэлл себе под нос. Он поздравил себя с тем, что способен спокойно, без паники относиться к маленьким человечкам. Он не запаниковал, не убил их и не стал звать на помощь.

Лоуэлл сильно сомневался, что у большинства людей хватило бы воображения признать тот факт, что человечки на самом деле исследователи с другой планеты, а то, что он принял за нож, не что иное, как космический корабль.

— Похоже, вы выбрали правильного парня, — пробормотал он, держась на безопасном расстоянии. — Но черт меня побери, если я знаю, что с вами делать. Если хоть кто-то пронюхает, вам крышка.

Лоуэлл легко представил себе всеобщую панику, озлобленные толпы, осаждающие дом.

Когда он начал неслышно подбираться к человечкам по ковру, чтобы получше их разглядеть, из стеклянного колпака донеслось постукивание — один мужчина кружил по периметру, в поисках выхода простукивая колпак каким-то инструментом. Остальные внимательно изучали крошку табака, извлеченную из-под бахромы.

Лоуэлл поднял колпак.

— Ну, привет, — мягко проговорил он.

Человечки заверещали — звук напоминал самые высокие ноты музыкального ящика — и рванулись к расщелине между подушкой и спинкой дивана.

— Нет, нет, нет, нет, — запротестовал Лоуэлл. — Не бойтесь, маленькие люди.

Он вытянул палец, чтобы остановить одну из женщин. К его ужасу, с пальца сорвалась искра и сбила женщину с ног, превратив в маленькую кучку размером с семечко вьюнка.

Остальные человечки скрылись из виду за подушкой.

— Господи, что я наделал! Что я наделал! — потрясенно прошептал Лоуэлл.

Он бросился к столу Мадлен, схватил лупу и через увеличительное стекло принялся рассматривать крошечное неподвижное тельце.

— Боже, боже, о боже… — бормотал он.

Лоуэлл расстроился еще больше, когда увидел, насколько женщина прекрасна. Чем-то неуловимым она напомнила ему девушку, которую он знал до Мадлен.

Веки крошечной женщины задрожали и открылись.

— Слава тебе, Господи!.. — проговорил Лоуэлл.

Женщина с ужасом смотрела на него.

— Ну что ж, — оживленно затараторил Лоуэлл, — так-то оно лучше. Я твой друг. Я не хочу причинить тебе зло. Бог свидетель, не хочу. — Он улыбнулся и потер руки. — Мы устроим банкет в земном стиле. Чего бы ты хотела? Что вы, маленькие люди, едите, а? Я поищу что-нибудь.

Он поспешил на кухню, где в беспорядке были свалены грязные тарелки и столовое серебро. Посмеиваясь, Лоуэлл завалил поднос в буквальном смысле горами еды, извлеченной из бутылок, мисок и жестянок, которые теперь казались ему огромными.

Насвистывая веселую мелодию, он принес поднос в гостиную и водрузил на кофейный столик. Крошечной женщины на подушке больше не было.

— Так-так, и куда же ты делась, а? — игриво воскликнул Лоуэлл, — Я знаю, знаю, где тебя найти, когда все будет готово. Ну же, у нас будет банкет, достойный королей и королев, не меньше.

Кончиком пальца он при помощи нескольких прикосновений вокруг центра тарелки оставил кучки арахисового масла, маргарина, рубленой ветчины, плавленого сыра, кетчупа, печеночного паштета, варенья и мокрого сахара. Внутри этого

кольца Лоуэлл расположил отдельные капли молока, пива, воды и апельсинового сока.

Он поднял подушку.

— Выходите, иначе я все выброшу. Ну, где вы? Я найду, найду вас.

В углу дивана, где лежала подушка, обнаружились четвертак, десятицентовик, бумажная спичка и наклейка от сигары — этот сорт курил босс Мадлен.

— Вот вы где, — проговорил Лоуэлл. Из-под мусора торчало несколько пар крошечных ног.

Лоуэлл поднял монеты, явив миру шесть тесно прижавшихся друг к другу, дрожащих человечков. Он протянул к ним руку ладонью вверх.

— Ну же, залезайте. Я приготовил для вас сюрприз!

Человечки не двигались с места, и Лоуэллу пришлось подпихивать их к ладони кончиком карандаша. Пронеся человечков по воздуху, он сбросил их на тарелку, словно семена тмина.

— Представляю вам, — сказал он, — величайший шведский стол в истории.

Горки еды все как одна были выше маленьких гостей.

Через несколько минут человечки вновь набрались смелости и принялись исследовать

новое окружение. Вскоре воздух возле блюда наполнился тонюсенькими криками восхищения: человечки открывали для себя одно праздничное блюдо за другим.

Лоуэлл через увеличительное стекло с восторгом наблюдал, как человечки, облизывая губы, смотрят на него с всепоглощающей благодарностью.

— Попробуйте пиво. Вы попробовали пиво? — беспокоился Лоуэлл.

Теперь, когда он говорил, крошечные человечки не визжали от ужаса, а слушали внимательно, пытаясь понять его слова.

Лоуэлл показал на янтарную капельку, и все шестеро послушно попробовали, безуспешно пытаясь скрыть отвращение.

— К этому надо привыкнуть, — сказал Лоуэлл. — Вы научитесь, вы…

Он умолк на полуслове. За окном послышался звук подъезжающей машины, и в тиши летнего вечера раздался голос Мадлен.

Когда Лоуэлл отвернулся от окна, успев увидеть, как Мадлен целует своего босса, человечки стояли коленопреклоненные и смотрели на него, затянув тоненькими голосками что-то эфемерно-благостное.

— Эй! — проговорил Лоуэлл. — Что тут творится? Ничего такого не произошло… ничего особенного. Послушайте, я обычный человек. Такой же обычный, как пыль под ногами. Не думаете же вы, что я…

Он расхохотался, такой дикой показалась ему сама идея.

Хор грянул сильнее — страстный, умоляющий, восхищенный.

— Послушайте, — сказал Лоуэлл, услышав шаги Мадлен по ступенькам, — вы должны спрятаться, пока я не решу, что с вами делать дальше.

Он быстро огляделся по сторонам и увидел нож, точнее, космический корабль. Положил его на тарелку и снова подогнал человечков карандашом.

— Полезайте-ка ненадолго обратно.

Человечки исчезли в отверстии, и Лоуэлл вставил перламутровую полусферу на место, как раз когда вошла Мадлен.

— Привет, — бодро произнесла она. Потом заметила тарелку. — Развлекаешься?

— Понемногу, — ответил Лоуэлл. — А ты?

— Ты тут словно мышей в гости принимал.

— Просто было одиноко, — сказал Лоуэлл.

Мадлен вспыхнула.

— Мне очень жаль, что так получилось с годов-

щиной, Лоуэлл.

— Ничего страшного.

— Я вспомнила об этом буквально за пару минут до прихода домой — и на меня словно тонну камней вывалили.

— Ты, главное, скажи, — дружелюбно произнес Лоуэлл, — удалось ли тебе заключить сделку?

— Да… да, удалось. — Она явно чувствовала себя неловко и едва смогла выдавить улыбку, заметив розы на столе в холле. — Как мило…

— Я надеялся, что они тебя порадуют.

— У тебя новый нож?

— Этот? Да, купил по пути домой.

— Он нам нужен?

— Просто захотелось. Ты против?

— Нет… вовсе нет. — Она с тревогой посмотрела на него. — Ты ведь видел нас, верно?

— Кого? Что?

— Ты видел, как я только что поцеловала Бада?

— Видел. Это ведь не значит, что мы разорены?

— Он сделал мне предложение, Лоуэлл.

— О! И ты сказала…

— Я согласилась.

— Даже и не представлял, что все так просто.

— Я люблю его, Лоуэлл. Я хочу за него замуж… тебе обязательно стучать этим ножом по ладо-

ни?

— Извини, я не заметил.

— Что теперь? — кротко произнесла Мадлен после долгого молчания.

— Думаю, почти все, что должно было быть сказано — сказано.

— Лоуэлл, мне ужасно жаль…

— Жаль меня? Ерунда! Да мне открылись целые новые миры. — Он медленно подошел к ней, обнял за плечи. — Правда, придется лишиться кое-чего привычного. Поцелуев. Как насчет прощального поцелуя, Мадлен?

— Лоуэлл, пожалуйста…

Она отвернула голову и попыталась мягко оттолкнуть его.

Он сильнее притянул ее к себе.

— Лоуэлл, нет! Давай прекратим это, Лоуэлл. Лоуэлл, мне больно. — Мадлен ударила его в грудь и вывернулась из объятий. — Это невыносимо! — с горечью выкрикнула она.

Космический корабль в руке Лоуэлла зажужжал и раскалился. Потом задрожал и выстрелил из его руки, сам по себе, прямо в сердце Мадлен.

Лоуэллу не нужно было искать номер полиции — Мадлен приклеила бумажку прямо на телефонный столик.

— Седьмой участок. Сержант Кахун слушает.

— Сержант, — сказал Лоуэлл, — я хочу сообщить о несчастном случае… о смерти.

— Убийство? — спросил Кахун.

— Даже не знаю, как и назвать. Я должен все объяснить.

Когда прибыла полиция, Лоуэлл невозмутимо поведал им всю историю, начиная с обнаружения космического корабля и до самого финала.

— Что ж, наверное, тут есть и доля моей вины, — сказал он. — Ведь человечки решили, что я Бог.

Сейчас вылетит птичка!

© Перевод. А. Криволапов, 2021

Как-то вечером в баре я весьма громко рассуждал об одном ненавистном мне человеке. Сидевший рядом бородатый господин в черном шерстяном костюме с галстуком-бабочкой дружелюбно произнес:

— А что ж вы его не убили?

— Я подумывал об этом, — сказал я, — не сомневайтесь.

— Позвольте помочь вам подумать об этом всерьез. — Бородач говорил низким, басистым голосом. У него был большой крючковатый нос и маленький, неприлично алый рот. — Вы смотрели на ситуацию сквозь красную дымку ненависти, а все, что вам нужно, это спокойный и мудрый совет консультанта по убийствам, который все для вас спланирует и при этом убережет от электрического стула.

— И где такого найти? — поинтересовался я.

— Уже нашли, — сказал бородач.

— Вы спятили!

— Точно, — согласился мой собеседник. — Всю

жизнь по дурдомам. Именно поэтому мои услуги столь привлекательны. Вздумай я свидетельствовать против вас, ваш адвокат без труда установит, что я известный псих, да к тому же ранее судимый уголовный преступник.

— В чем же состояло ваше преступление?

— Пустяки, медицинская практика без лицензии.

— Значит, вас судили не за убийство?

— Не за убийство, — кивнул бородач. — Но это вовсе не значит, что я не убивал. Напротив, я убил почти всех, кто имел хоть малейшее отношение к тому, что меня лишили практики. — Он уставился в потолок, подсчитывая что-то в уме. — Двадцать два, двадцать три человека. Может, больше… Да, может, больше. Я убивал их в течение многих лет, а я ведь не каждый день просматриваю свежие газеты.

— Так вы что, во время убийств отключались, а на следующее утро просыпались и узнавали из газет, что прихлопнули очередную жертву?

— Нет, нет, нет, нет и нет, — сказал он. — Нет, нет, нет, нет, нет. Я убил целую тучу народа, уютно полеживая на тюремной койке. Я использовал метод под названием «кошка через стену». Метод, который рекомендую и вам.

— Это новый метод? — спросил я.

— Мне хотелось бы думать, что новый. — Бородач покачал головой. — Но он настолько прост, что невозможно поверить, будто я первый его придумал. В конце концов, убийство — древнее, очень древнее ремесло.

— Вы используете кошку? — спросил я.

— Только в качестве аналогии. Видите ли, — сказал он, — когда человек по той или иной причине швыряет кошку через стену, возникает интересная юридическая задача. Если кошка приземляется на прохожего и выцарапывает ему глаза, ответственен ли тот, кто бросил кошку?

— Безусловно, — ответил я.

— Отлично. А теперь возьмем другой случай: кошка ни на кого не падает, но спустя десять минут вцепляется в кого-нибудь когтями. Ответственен ли бросивший кошку?

— Нет, — сказал я.

— В этом и заключается высокое искусство безопасного убийства по методу «кошка через стену», — кивнул бородач.

— А-а, так вы используете бомбы с часовым механизмом?

— Нет, нет и нет! — Его явно удручало отсутствие у меня воображения.

— Медленные яды? Микробы?

— Да нет же! И можете не произносить свою следующую догадку — что-нибудь насчет наемных убийц из другого города. — Довольный собой, бородач откинулся на спинку. — Похоже, я действительно первооткрыватель.

— Сдаюсь, — вздохнул я.

— Прежде чем я расскажу вам, в чем секрет, позвольте моей жене вас сфотографировать.

Он ткнул пальцем в сторону кабинки.

Жена моего собеседника, костлявая тонкогубая женщина с растрепанными волосами и плохими зубами, сидела в кабинке перед нетронутым бокалом пива. Тоже явно не в себе, она наблюдала за нами с шизофренической пристальностью. На сиденье рядом с ней я заметил «Роллифлекс» со вспышкой. По сигналу мужа женщина подошла к нам и приготовила фотоаппарат.

— Сейчас вылетит птичка, — сказала она.

— Я не хочу, чтобы меня фотографировали! — запротестовал я.

— Улыбочку! — Она разрядила вспышку прямо мне в лицо.

Когда глаза снова привыкли к полутьме бара, я увидел, что жена бородача поспешно ретируется к дверям.

— Что за хрень?! — Я встал со стула.

— Успокойтесь. Сядьте, — сказал бородач. — Вас просто сфотографировали, вот и все.

— Что она собирается делать с пленкой?

— Проявит ее.

— А потом?

— Вставит в наш альбом. В нашу сокровищницу золотых воспоминаний.

— Это какой-то способ шантажа? — спросил я.

— Разве она сфотографировала вас за каким-то непристойным занятием? — поинтересовался он.

— Мне нужна эта фотография, — сказал я.

— Вы, надеюсь, не суеверны? — осведомился бородач.

— Суеверен?

— Некоторые верят, что когда человека фотографируют, аппарат забирает частичку его души.

— Я хочу знать, что происходит!

— Сядьте, и я расскажу вам.

— Сделайте милость, и побыстрее!

— Конечно, сделаю и, конечно, потороплюсь, друг мой, — сказал бородач. — Меня зовут Феликс Корадубян. Мое имя вам о чем-нибудь говорит?

— Нет.

— Я семь лет практиковал в этом городе пси-

хиатрию, — сообщил Корадубян. — В основном групповую психотерапию. Занятия проходили в круглой зеркальной зале особняка между магазином подержанных машин и похоронным бюро для цветных.

— Теперь припоминаю, — проговорил я.

— Прекрасно, — кивнул он. — Лучше, если вы не будете считать меня лжецом.

— Вас осудили за шарлатанство, — сказал я.

— Совершенно верно, — согласился Корадубян.

— Вы даже среднюю школу не окончили.

— Не стоит забывать, что Фрейд, и тот успехам в своей области обязан исключительно самообразованию. Фрейд говорил, что блестящая интуиция гораздо важнее учебы в медицинском колледже. — Корадубян сухо рассмеялся. Его маленький красный рот при этом определенно не выражал веселья, каким обычно сопровождается смех. — Когда меня арестовали, — продолжал он, — молодой репортер, который наверняка окончил школу, а может — о чудо из чудес! — и колледж, спросил меня, что такое параноик. Можете такое представить? Я имел дело с безумцами и почти безумцами этого города семь лет, а юный наглец, прослушавший на первом курсе занюханного колледжа пару лекций по психологии, решил,

что может смутить меня подобным вопросом!

— И что же такое параноик? — спросил я.

— Искренне надеюсь, что это уважительный вопрос, заданный несведущим человеком в поисках истины, — насупился Корадубян.

— Конечно, — соврал я.

— Отлично! Начиная с этого момента ваше уважение ко мне будет расти гигантскими темпами.

— Конечно, — соврал я.

— Параноик, друг мой, это человек, который свихнулся наиболее умным способом, берущим начало в понимании того, что есть этот мир. Параноик верит, что существует гигантский тайный заговор с целью его уничтожить.

— Вы сами в это верите? — поинтересовался я.

— Дружище, меня ведь уничтожили! Бог мой, я зарабатывал шестьдесят тысяч долларов в год — шесть пациентов в час, пять долларов с носа, две тысячи часов в год. Я был богатым, гордым и счастливым человеком. А жалкая женщина, которая только что вас сфотографировала, была прекрасна, мудра и безмятежна.

— Плохо дело, — проговорил я.

— Куда уж хуже, друг мой, — кивнул бородач. — И не только для нас. Этот город болен, чертовски болен, в нем тысячи тысяч душевнобольных, о ко-

торых никто не заботится. Несчастные, одинокие люди, которые панически боятся докторов, — вот с кем я имел дело. Теперь никто им не помогает. — Он пожал плечами. — Что ж, будучи пойман за ловлей рыбы в ручьях человеческого несчастья, я вернулся к рыбалке в мутной воде.

— Вы передавали кому-нибудь свои записи? — спросил я.

— Я сжег их, — ответил Корадубян. — Оставил только список по-настоящему опасных параноиков, о которых знаю только я, — склонных к насилию безумцев, скрывающихся, если можно так выразиться, в городских джунглях. Прачка, телефонный мастер, помощник флориста, лифтер, и так далее, и тому подобное. — Он подмигнул. — Сто двадцать три имени в моем волшебном списке — все эти люди слышат голоса, думают, что их хотят убить, а когда они сильно испуганы, то готовы убивать сами.

Корадубян откинулся на спинку стула и просиял.

— Вижу, до вас начинает доходить, — сказал он. — Меня посадили, а я, когда вышел, купил фотоаппарат. Тот самый, которым вас сфотографировали. Мы с женой сделали снимки окружного прокурора, президента медицинской

ассоциации графства, редактора газеты, которая требовала моего осуждения. Потом жена сфотографировала судью, присяжных, прокурора и всех свидетелей обвинения. Я обошел своих параноиков и извинился перед ними. Я сказал, что ошибался, когда убеждал их, будто никакого заговора против них нет. И сообщил, что раскрыл чудовищный заговор и сфотографировал заговорщиков. Я сказал, что они должны внимательно изучить фотографии, всегда быть начеку и иметь при себе оружие. И пообещал, что время от времени буду присылать им еще снимки.

Меня едва не затошнило от ужаса, когда я представил себе, что город кишит невинного вида параноиками, готовыми в любую секунду убить и скрыться.

— Эта… эта моя фотография… — упавшим голосом пробормотал я.

— Будет храниться в безопасном месте, — довольно закончил Корадубян, — при условии, что вы сохраните нашу беседу в тайне, а еще если вы дадите мне денег.

— Сколько? — спросил я.

— Я возьму все, что у вас есть при себе, — сказал Корадубян.

У меня при себе было двенадцать долларов. Я

отдал их ему и спросил:

— Теперь я могу получить свою фотографию?

— Нет, — ответил он. — Мне очень жаль, но, боюсь, фотография останется у нас на неопределенный срок. Надо, знаете ли, на что-то жить.

Корадубян вздохнул и убрал деньги в бумажник.

— Постыдные, позорные времена, — пробормотал он. — Теперь и не скажешь, что я был когда-то уважаемым профессионалом…

Между вредом и времянкой

© Перевод. Е. Парахневич, 2021

I

Молодой художник, две недели назад потерявший жену в автокатастрофе, стоял в распахнутых дверях своей студии. Казалось, он вот-вот бросится в драку: так широко он расставил ноги и гневно скривил губы, словно не видел перед собой мирного пейзажа. Зеленый склон, пестрый от кленовых листьев, спускался к пруду, что плескал водой через край каменистой дамбы, которую художник возвел минувшей весной. На деревянном причале, вдающемся в пруд, рыбачил сгорбленный старик-фермер с ясными глазами, снова и снова закидывая в воду красно-белую блесну.

Художник, Дэвид Гарнден, держал в руках тонкий словарик и в увядающих лучах бабьего лета читал и перечитывал определение слова, стоявшего между вредом и времянкой: «Одна из форм существования бесконечно развивающейся материи — последовательная смена ее явлений и состояний».

Дэвид нетерпеливо покрутил книгу в длинных пальцах. Время. Он читал про время. Он жаждал постигнуть время, бросить ему вызов, покорить: чтобы отправиться… нет, не в будущее, а в прошлое — к своей любимой жене Дженет, в те секунды, которые давно утекли.

Вновь засвистела катушка спиннинга. Дэвид поднял голову, глядя, как яркая блесна вспарывает воду, тонет, а потом рывком взмывает обратно к пирсу. Теперь она болталась в воздухе, в дюйме от конца удочки. По поверхности пруда бежали последние круги. Вот еще одно мгновение минуло в прошлое. Ушло, кончилось, осталось позади. Время…

Дэвид прищурил глаза. Он знал, что его маниакальная страсть вызвана недавней трагедией. И все же в нем крепло убеждение, что желание вернуться назад, в счастливые дни, вполне разумно. Один из его приятелей, занимавшийся наукой, после нескольких порций виски как-то сказал, что любое техническое новшество, которое только можно представить, однажды станет реальностью. Есть вероятность, что человек полетит на другую планету. Есть вероятность, что машина когда-нибудь будет умнее человека. Есть вероятность, что Дэвид однажды вернется

к жене… Он закрыл глаза. Быть не может такого, что он ее больше не увидит…

Он глядел, как фермер бросает блесну. Причал вздрогнул.

— Осторожнее там на краю! — крикнул Дэвид.

Две опоры, затянутые тиной, прогнили; он давно собирался их починить. Старик даже не повернул головы. Впрочем, Дэвиду было плевать, слышит ли тот; черт с ним, как-нибудь устоит. Он опять задумался о своем.

Дэвид зашел в студию, лег на диван, вытянул ноги, уронил словарик на пол и растворился в грезах о гостях из других миров. Он представлял себе загадочных существ куда мудрее человека, у которых более пяти чувств и которые могут рассказать ему о времени. Визитеры из космоса должны многое знать о времени, ведь их способности простираются далеко за пределы человеческого разума. Возможно, во вселенной есть иные формы жизни — с тех же «летающих тарелочек», — способные прыгать в любой момент жизни, куда только пожелают. Наверняка они смеются над землянами, которые мерно движутся в одну сторону — по направлению к смерти.

Куда бы он отправился, если бы мог? Дэвид сел, взлохматил короткие темные волосы.

— К Дженет, — произнес он вслух. К запахам, звукам и краскам майского полудня. Время затуманило драгоценный образ, сгладило углы и стерло детали. Дэвид помнил, как был счастлив в тот день. Но не помнил всех подробностей…

Смутно, до боли в сердце, он видел себя и прекрасную Дженет. Самый лучший момент? О, их было много! Они с Дженет только что поженились и в тот день приехали осматривать новый дом. Заглянули в каждую комнату, порадовались зеленому пейзажу за окнами, забрались на плотину, поболтали ногами в воде… целовались… лежали на молодой траве. Дженет, Дженет, Дженет…

Видение взорвал крик:

— Кто-нибудь! Помогите!

Дэвид выбежал наружу. Деревянные опоры пирса обломились и разошлись в стороны. В досках между ними виселичным люком зияла дыра. Старик исчез. Поверхность пруда была гладкой.

Дэвид ринулся вниз по склону, сбрасывая на ходу одежду, и одним махом нырнул в колючий холод воды. Под самым причалом воздух в легких закончился. Впереди маячил съежившийся в тугой комок фермер, неподвижно висевший в волнах. Дэвид вынырнул, набрал воздуха и вновь

погрузился в воду. Схватил старика за ремень комбинезона и потянул вверх. Ни сопротивления, ни борьбы, ни смертельной хватки…

Он вытащил фермера на склон и принялся выдавливать смерть из легких старика. Нажать, отпустить, выждать… нажать, отпустить, выждать. Дэвид не знал, сколько прошло времени. Как давно он крикнул мальчику на дороге вызвать врача? Нажать, отпустить… В белом лице фермера — ни кровинки. Руки и плечи нещадно ныли, пальцы не сгибались. Время опять победило — отняло у близких еще одного человека. Дэвид внезапно понял, что ругается вслух, что движет им вовсе не стремление спасти чужую жизнь, а бурлящая ярость. Человек на траве был совершенно ему безразличен, Дэвид испытывал лишь ненависть к их общему мучителю — времени.

Чуть выше на гравийной дороге взвизгнули шины, и невысокий толстяк, размахивая черным чемоданом, прыжками понесся по склону. Дэвид устало махнул ему. Доктор Бойл, единственный врач деревни, кивнул в ответ, силясь перевести дух.

— Признаки жизни есть?

Врач открыл сумку и вытащил шприц с длин-

ной иглой. Нажал на поршень, и на острие повисла капелька.

— Он мертв, док. Мертвее мертвого, — отозвался Дэвид. — Тридцать минут назад он хотел поймать окуня к ужину. А теперь его больше нет. Каких-то тридцать минут — и бедолага остался в прошлом.

Доктор Бойл посмотрел на него с легким недоумением и пожал плечами.

— Если б ты знал, как порой трудно убить этих старых хрычей… — сказал он чуть ли не весело.

Их внимание вновь переключилось на фермера. Доктор Бойл совершенно невозмутимо ввел ему в сердце иглу.

— Если осталась хоть одна искорка, снова будет как новенький. А там как знать… Отдохнул, мальчик мой? Давай помогай.

Он принялся растирать пациенту конечности, а Дэвид стал делать тому искусственное дыхание. На восковых щеках проступил румянец. Вдох, выдох — и старик закашлялся.

— Воскрес из мертвых… — прошептал Дэвид.

— Ну, если тебе по душе подобный пафос, то да, мы вернули его из мертвых, — сказал доктор Бойл, раскуривая сигару. Он не отрывал глаз от утонувшего старика.

— Неужели и правда?

— А это как посмотреть, — безразлично ответил Бойл. Было очевидно, что тема ему совершенно неинтересна. — Все эти утопленники, задохнувшиеся, поджарившиеся на электрическом стуле — они, как правило, здоровые люди с хорошими легкими, крепким сердцем, почками, печенью: все по высшему разряду. Да, они умерли. Но если поймать нужный момент, процесс можно повернуть вспять. — Он сделал фермеру другой укол, на сей раз в руку. — Так что наш мертвец еще пару лет порыбачит.

— Каково это — быть мертвым? — спросил Дэвид. — Он сумеет нам рассказать?

— Вот только не надо банальностей, — сухо отозвался врач. — И с чего бы такому молодому парнишке вдруг думать о смерти? Тебе же не шестьдесят…

Он вдруг смутился и похлопал Дэвида по плечу.

— Прости — забыл.

— Так он сможет рассказать? — настаивал на своем Дэвид.

Врач с любопытством уставился на него.

— Каково это — быть мертвым?.. Можно описать одним словом: ты мертв. Вот и все.

Он приложил стетоскоп к забившемуся сердцу старика.

— А что нам расскажет наш приятель?.. Не сомневайся, скажет ровно то, что говорят в такие моменты. Ты сто раз читал об этом в газетах. «Воскресшие из мертвых» не помнят ничего особенного, поэтому в девяти случаях из десяти повторяют то, что у всех на слуху. — Он щелкнул пальцами. — Понимаешь, о чем я?

— Нет. Как-то не интересовался прежде.

Доктор Бойл выудил из кармана жилета листок бумаги и огрызок карандаша, нацарапал какую-то фразу и отдал записку Дэвиду.

— Вот. Только не смотри, пока наш протеже не очнется. Ставлю пять долларов: он скажет именно то, что там написано.

Дэвид аккуратно сложил лист. Вдвоем они отнесли фермера в дом.

II

Дэвид и доктор Бойл сидели в гостиной у камина. Дэвид развел огонь. Был вечер, они оба выпили. Из соседней спальни доносился тихий храп фермера, укутанного одеялами. В деревенской больнице на десять коек ему место не хватило.

— Если бы ты принял пари, я бы выиграл пять долларов, — шутливо заметил Бойл.

Дэвид кивнул. Он все еще крутил в пальцах записку врача. Когда фермер очнулся час назад, то произнес именно эту фразу — почти дословно. Дэвид прочитал вслух:

— «Вся моя жизнь пронеслась перед глазами».

— Что может быть банальнее? — Доктор Бойл вновь наполнил стакан.

— Откуда вам знать, что это неправда?

Тот снисходительно вздохнул.

— Неужто умному человеку вроде тебя нужны разъяснения? — Он приподнял брови. — Если бы вся жизнь и впрямь проносилась перед глазами, значит, у него должен был работать мозг. Именно он отвечает за зрение. Но раз сердце остановилось, то мозг не получал крови. Без крови он работать не может. Следовательно, мозг не работал, и старик не мог видеть, как перед глазами проносится вся жизнь, *quod erat demonstrandum* — что и требовалось доказать, как говорили римляне и твой учитель геометрии. — Он встал. — Можно мне еще льда, а?

И, чуть пошатываясь и напевая под нос, направился в сторону кухни.

Дэвид тоже встал и потянулся, чувствуя, что

тепло камина, пустой желудок и несколько порций спиртного окончательно затуманили ему голову. Он испытывал странный душевный подъем: не совсем счастье, скорее радость от разгадки хитрой тайны. Казалось, что он близок к тому, чтобы перехитрить время, чтобы победить его и отправиться куда хотелось — в прошлое.

Сам не понимая как, Дэвид оказался в темной спальне и встряхнул спящего фермера за плечо.

— Проснитесь! — велел он. — Ну же.

Дэвид вел себя грубо, его раздражало, что старик никак не просыпается. Почему-то было важно поговорить с ним как можно скорее.

— Слышите, просыпайтесь!

Фермер заерзал и недоуменно открыл красные глаза.

— Что вы видели, пока были мертвы? — требовательно спросил Дэвид.

Тот моргнул, облизывая губы.

— Вся моя жизнь…

— Это я уже слышал. Хочу знать конкретнее. Вы видели людей или места?

Фермер зажмурился.

— Я очень устал. Не могу думать. — Он потер виски. — Все произошло слишком быстро, словно перемотали кино, показывая кадры из прошлого

— Помните хоть что-нибудь? — нетерпеливо требовал Дэвид.

— Пожалуйста, дайте мне поспать…

— Сперва ответьте. Можете описать детали?

Фермер снова облизал губы.

— Я видел мать и отца, очень хорошо видел, — хрипло начал он. — Они были совсем молодыми, почти подростками. Только что вернулись с выставки в Чикаго. Привезли мне всякие сувениры. Рассказали о том, как катались на электрическом поезде вокруг выставочного комплекса…

Старик затих.

— Что еще они говорили? — Дэвид встряхнул его за плечо.

— Папа сказал, что потратил меньше, чем думал. — Голос фермера срывался на шепот. Дэвиду пришлось наклонить голову к самой кровати. — У них осталось еще много денег.

— Сколько?

— Он сказал, пятьдесят семь долларов.

Фермер затрясся в приступе кашля, такого сильного, что ему пришлось сесть.

— Что еще? — взволнованно произнес Дэвид, как только тот прокашлялся.

Фермер испуганно взглянул на него.

— Он сказал, что хватит на печку «Терма-Кинг»,

и три доллара останется.

Старик упал на подушку, закрывая глаза.

— Дэвид! А ну оставь его в покое! — рявкнул вдруг доктор Бойл. Его круглый силуэт возник в дверях спальни. — Бедолага еще толком не оправился. Хочешь добить?!

Схватив Дэвида за рукав, доктор сердито вытолкал его из комнаты.

Тот не сопротивлялся, сам не понимая, что происходит. Он ничего не говорил, даже не притронулся к стакану, который налил ему Бойл. Лишь написал на клочке бумаги число пятьдесят семь, лег на диван и заснул с мыслями о Дженет.

III

— Простите, врач не принимает в среду после обеда, — заявила светловолосая медсестра, разглаживая на костлявых бедрах униформу.

— Я по личному вопросу. Мы друзья. Я хотел показать ему кое-что важное, — затаив дыхание, ответил Дэвид. — Он у себя?

Медсестра, окинув его скептическим взглядом, щелкнула коммуникатором на столе.

— Доктор Бойл, к вам один юноша по какому-то важному делу. Говорит, ваш друг. Как ваше имя, молодой человек?

Она зорко следила за ним, будто бы ожидая, что он схватит ее авторучку с золотым колпачком и бросится бежать.

— Дэвид Гарнден.

По ее гримасе тот понял, что выглядит не лучшим образом. За эту неделю, прошедшую со дня спасения фермера, он не брился и не купался, разве что изредка остужал разгоряченное лицо мокрым полотенцем. Дэвид кое-как пригладил костюм, собравшийся в складки. Брюки были заляпаны грязью. Утром по пути из библиотеки он попал в грозу на том самом склоне, где всего шесть месяцев назад они с Дженет гуляли…

— Доктор Бойл занят, — произнесла медсестра. — Простите.

Было очевидно, что ей ни капельки не жаль.

Дэвид перегнулся через стол и сам повернул рычажок коммуникатора.

— Бойл, послушайте. На этот раз у меня и впрямь кое-что важное. Даже грандиозное! Сами поймете, когда увидите.

Он взмахнул бумагами, которые держал в руке.

— Дэвид… — Голос доктора Бойла прозвучал устало и нетерпеливо. — В понедельник у меня важное совещание в Олбани, к этому времени

я должен подготовить доклад. А из-за тебя и эпидемии кори я пока не успел написать и двух абзацев. Что бы ты ни нашел, пусть подождет до вторника. Сегодня мне некогда. Все.

Динамик взвизгнул.

— Он больше вас не слышит — выдернул вилку из розетки. — Сестра подошла к двери и распахнула ее. — Доктор Бойл примет вас во вторник, — повторила она за врачом. — Если хотите, можете оставить ваши документы. Возможно, в выходные он найдет время на них взглянуть.

Дэвид глядел на покрытую ковром лестницу, гадая, где в старинном большом здании может прятаться кабинет врача. Рассеянно он протянул копии документов медсестре.

Она высокомерно заглянула в них.

— И что ему с этим делать? Вряд ли мистер Бойл хочет приобрести дровяную печь. «Леди, замените вашу старую плиту на “Терма-Кинг”». Не понимаю, к чему это?

— А вам и не надо понимать, — раздраженно отозвался Дэвид. — Просто передайте ему бумаги. Хотя я и сам могу их отдать, прямо сейчас.

В ответ медсестра шире распахнула дверь, прижимая копии к пышной груди.

— Я передам. Только сообщите, зачем они?

— Скажите ему, они доказывают, что фермер не лгал. Всемирная выставка в Чикаго была в 1893 году. Печь «Терма-Кинг» в тот год стоила как раз пятьдесят четыре доллара. Объявление 1893 года это доказывает. У них было пятьдесят семь долларов, значит, еще три осталось бы, как и говорил фермер… А, да и черт с вами! Вы все равно не слушаете.

Дэвид повернулся к медсестре спиной.

— Да тебя весь дом слышит, — громогласно пожаловался с верхнего этажа доктор Бойл.

— Бойл, у меня есть доказательства, что у старика и правда вся жизнь пронеслась перед глазами! Он путешествовал во времени и попал в 1893 год!

— Жаль, он не пристрелил заодно твоего деда. Тогда, возможно, я нашел бы сегодня время закончить доклад.

— Уделите мне минутку! — попросил Дэвид.

— Ладно, будем считать, что ты пациент в критическом состоянии. Дэвид, ты не в себе! Рекомендую хорошенько отдохнуть и выспаться. Ну, и мне то же самое не помешает… Поднимайся.

— Сейчас доктор вас примет, — бодро провозгласила медсестра и со снисходительным почтением вернула бумаги Дэвиду.

— Я умею общаться и без помощи переводчика, — едко ответил тот и стал подниматься по лестнице, перешагивая через две ступеньки зараз.

Доктор Бойл закрыл дверь в кабинет, сел за стол и, пристроив подбородок на сложенные руки, приготовился слушать.

— Объявление все доказывает, — говорил Дэвид. — Старик вернулся в тот момент, когда ему было семь лет, услышал рассказ отца об электрической железной дороге на Всемирной выставке, название печи, которую отец хотел купить, и ее цену. Все сходится!

Бойл даже не повернул головы.

— Уж не знаю, что у тебя сходится, Дэвид, но ты неправ. У старика наверняка просто чертовски хорошая память. Вот и все. Может, перед этим происшествием что-то всколыхнуло старые воспоминания. Некоторые гипнотизеры заставляют вспомнить марку машины, на которой сорок лет назад ездил твой учитель. С фермером было то же самое. Путешествия во времени? Не смеши меня.

— Я говорил с ним на прошлой неделе, проверил его память. Она ужасная, — возразил Дэвид. — Старик не помнит даже, сколько стоит его нынешняя плита, не говоря уже о ее марке. — Он сунул руки в карманы. — Приведите хоть один

обоснованный довод, опровергающий возможность путешествий во времени. Хоть один!

— Логика, мальчик мой, — процедил сквозь зубы Бойл. — То, что ты говоришь, — нелогично. Иначе ты можешь вернуться в прошлое, убить кого-нибудь и заодно уничтожить бог знает сколько его потомков. Прикончить Карла Великого, а вместе с ним и всех белых людей на земле. Что за бред? А может, заняться контрабандой оружия и продать древним афинянам пару пулеметов, чтобы они выиграли Пелопоннесскую войну?! Или самому изобрести лампочку, телефон и аэроплан задолго до Эдисона, Белла и братьев Райт? Только представь себе размер патентных выплат!

— Знаю, знаю, я и сам об этом уже думал, — закивал Дэвид. — А потом понял, что старик находился лишь там, где бывал прежде. Если умирающий способен попасть в любой момент своего прошлого, то все эти аргументы ни к чему. Вряд ли прошлое можно изменить. Я уверен, во время путешествий можно лишь пережить то, что уже было.

— И кому это надо?

— Мне надо, — спокойно ответил Дэвид. — Вам. Всем. Если так, значит, жизнь милосерднее, чем кажется.

Доктор Бойл встал и, как медсестра недавно, распахнул дверь.

— Все это очень интересно, Дэвид, обсудим как-нибудь вечерком. Все равно разговор ни о чем: ты веришь — я нет. А теперь прости, у меня больше нет времени говорить об этой ерунде.

— Вы должны мне помочь выяснить все наверняка.

Не обращая внимания на распахнутую дверь, Дэвид устроился поудобнее в мягком кресле и закурил сигарету.

— Слушай, друг мой, — теряя терпение, выпалил Бойл, — неделю назад мы с тобой были едва знакомы. А теперь ты липнешь ко мне, как сиамский близнец. Постоянно звонишь, подстерегаешь повсюду… Мне это неинтересно, ясно? Поищи себе другого единомышленника. Какого-нибудь приятеля, священника там, или психолога. Или ученого, который интересуется всей этой чушью. А я — врач общей практики, и у меня нет ни капли свободного времени!

— С экспериментом мне поможет только врач, а других в городе нет, — беспомощно развел руками Дэвид. — Простите, если я мешаю. Но это очень, очень важно. Ужасно важно. Я думал, вы захотите помочь. Разве это не важно — доказать

мою правоту? Узнать, что вечность после смерти состоит из лучших моментов твоей жизни?

Доктор Бойл зевнул.

— А если их не было — этих лучших моментов?

— Тогда можно вернуться в материнскую утробу. Кому-то только этого и хотелось бы.

— Ты уже все объяснил себе, да, Дэвид? — прищурился доктор Бойл. — И как я должен тебе помочь? Что за эксперимент ты задумал?

Последний вопрос он задавал очень осторожно — с такой осторожностью обычно ощупывают живот пациента в поисках воспаленного аппендикса.

Дэвид протянул еще одну вырезку, на сей раз из вчерашней газеты. Руки у него дрожали, хоть он и сдерживал себя. Слишком многое зависело от этого самодовольного толстяка, не обладавшего ни воображением, ни любопытством. Бойл никак не хотел понять, что именно время — не рак, не пороки сердца и прочие болезни из его учебников — является самым страшным недугом, терзающим человечество.

Бойл принялся читать вслух:

— Хммм… «Лос-Анджелес. Сегодня хирург из больницы Пресвятого Сердца»… Да, я читал.

Мужчина умер на операционном столе, а врач вручную запустил ему сердце. Угу. Занятный случай. Как раз по твоей теории, судя по всему. Интересно, этот пациент тоже сказал, что у него вся жизнь пронеслась перед глазами?

— Час назад он еще был без сознания, — ответил Дэвид.

— Откуда ты знаешь?

— Я позвонил в больницу перед тем, как прийти сюда.

Доктор Бойл вскинул брови.

— Что?! Ты звонил в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с совершенно незнакомым человеком? — Он взял Дэвида за плечо. — Мальчик мой, ты не в себе. Я и не думал, что все настолько плохо. Бросай эту идею, отдохни, уезжай из своей мрачной развалюхи. Это я тебе как врач советую. Ты вот-вот окончательно подорвешь себе здоровье. Серьезно. Пакуй вещи и уезжай. Сегодня же.

— Да, да, я отдохну. После эксперимента, — спокойно ответил Дэвид. — Сперва надо убедиться, что я прав.

— А для этого нужно…

Лицо у Бойла вспыхнуло — он догадался.

— Я прошу вас сделать операцию. Заплачу сколько надо, назовите любую сумму. Я хочу

увидеть прошлое, — почти безразлично сказал Дэвид. Он не испытывал ни малейшего страха, лишь тоску. — Вам надо убить меня и тут же вернуть к жизни.

— Убирайся, — прошипел доктор Бойл. — И больше никогда не приходи, ясно? Проваливай.

IV

С тех пор, как Бойл выгнал Дэвида из кабинета, прошло два месяца. Устроившись в глубоком кресле своей студии и закинув ноги на столик, Дэвид набрал телефонный номер.

— Приемная доктора Бойла, — раздался в трубке голос медсестры. В ее интонациях отчетливо слышалось: кто бы и по какому вопросу ни звонил, он отрывал от дела крайне занятого человека.

— Я хотел бы поговорить с доктором, — сказал Дэвид. — Это важно.

— Мистер Гарнден, верно?

— Да, вы правы.

— Доктор не может вас принять. Кажется, в прошлый раз он уже объяснил почему.

— Это очень важно, — резко ответил Дэвид. — Если вы немедленно не соедините меня с доктором Бойлом, крепко пожалеете.

Повисла пауза; тишину в трубке нарушало

лишь тяжелое дыхание. Наконец раздался щелчок.

— Доктор Бойл, это снова мистер Гарнден. Я помню, вы велели с ним не соединять, но он говорит, это крайне важно.

Последнее слово сочилось сарказмом.

Бойл вздохнул.

— Ладно, давайте его.

— Я уже здесь, Бойл. Со мной все хорошо, но я болен, иначе не отнял бы ни секунды вашего драгоценного времени. Не могли бы вы приехать?

— А на прием ты сам прийти не можешь? У меня десять пациентов за дверью, а прямо сейчас я накладываю гипс на сломанную руку.

— Простите, не могу. У меня температура тридцать девять. За руль мне лучше не садиться.

Дэвид перечислил врачу внушительный список симптомов.

— Похоже на ротавирусную инфекцию, сейчас как раз эпидемия. До четырех продержишься?

— Хорошо. Ровно в четыре, да?

— В четыре, — натянуто повторил тот и откашлялся. — А ты еще работаешь над своим… экспериментом?

— Нет, все. Я выбросил его из головы. Простите. Я прислушался к вашим советам. Вы были правы.

Спасибо.

— Отличные новости. — Голос Бойла заметно потеплел. — Извини, что я повел себя так грубо. Мне стоило бы проявить больше деликатности. Слушай, если тебе нужна помощь психолога, у меня есть один знакомый в Трое, он мог бы…

— Нет-нет, я уже здоров. Теперь мне нужны лишь старые добрые таблетки от горла, боли в животе и жара.

— Хорошо. Потерпи до четырех. А пока выпей аспирина. Если вдруг станет хуже, звони, я приеду.

— Буду ждать, — ответил Дэвид. — Заходите сразу в дом. Я лежу в студии.

Он взял со столика шприц и покрутил его в руках, ловя голубоватые отблески пламени из камина.

— Буду ждать, — повторил он и повесил трубку. Еще никогда в жизни Дэвиду не было так хорошо.

К верхней части шприца была прикреплена сжатая пружина в металлическом корпусе, прижимающая поршень. Дэвид наполнил шприц водой. От цилиндра тянулись два провода, их он подсоединил к батарее и выключателю. Щелкнул рубильником — и с удовлетворением увидел, как

электрический разряд расправил пружину, вдавливая поршень, и из иглы выстрелила тонкая струя воды. Отлично!

С детским чувством таинственности он вообразил, как эта сцена предстала бы перед глазами стороннего наблюдателя. Стоял зимний полдень: сумрачный, как осенний вечер, и без снега, который скрасил бы унылый сельский пейзаж. Казалось, будто природа тоже предвкушает жуткое деяние, готовящееся в доме. Из туч высоко над землей сыпался дождь, застывая каплями на подоконнике.

Посылка из магазина прибыла час назад. Дэвид вытащил из пакета специальный шприц и замок с часовым механизмом. В своих черных бархатных чехлах они казались ему драгоценностями. Оставалось лишь подсоединить их к батарее. Все остальное он подготовил еще несколько недель назад: ремни, прибитые к полу, решетки на окнах и французских дверях, аппарат для искусственного дыхания… Ждал только инструменты, которые не мог сделать сам.

Пока Бойл ему не нужен. С первой частью он справится самостоятельно. А вот затем понадобится помощь врача. Тот не сможет отказать, когда эксперимент будет запущен.

Дэвид положил шприц, батарею и выключатель на пол рядом с ремнями, вбитыми в голые доски. Так, теперь замок на стальной пластине. Дэвид прикрутил его толстыми болтами в заранее просверленные отверстия на внутренней двери студии. Затем собрал идущие из него провода и также прикрепил их к батарее и выключателю.

Он снова щелкнул рычажком. Пружина в шприце расправилась, и одновременно с этим затикал часовой механизм. Прошла минута, потом вторая, третья — ничего не происходило. И вдруг часы деловито затрещали, и язычок сдвинулся, отпирая дверь.

Дэвид завел часы заново и наполнил шприц масляной бесцветной жидкостью, после чего снова взял телефонную трубку.

— Вестерн Юнион.

— Пожалуйста, сообщите точное время, — попросил Дэвид.

— Двенадцать двадцать девять, сэр, и пятнадцать секунд.

— Спасибо.

Оставалось три с половиной часа. Три с половиной часа безо всякого занятия. Кроме эксперимента, Дэвида больше ничего не интересовало. Ничего не хотелось делать. Дэвид чувствовал себя

путешественником в воскресном пригородном поезде, который курит одну горькую сигарету за другой, не видя ни единого знакомого лица вокруг. Лениво он проверил решетки на окнах — они и замок на двери удержат хоть полк, если понадобится, чтобы помощь не пришла раньше нужного.

Прошло всего десять минут. Дэвид снова сел в кресло, ссутулившись в глубоких подушках так, чтобы подлокотники скрыли все вокруг. Взгляд невольно упал на груду барахла в углу студии. Он не собирался ее разглядывать, но вдруг с удивлением узнал в этой куче свои холсты, мольберт, краски… Странно даже подумать, что всего несколько месяцев назад он был художником, и в этой самой студии со шприцами и ремнями рождались красочные натюрморты, нежные портреты и сентиментальные пейзажи.

На секунду комната показалась отвратительной, захотелось выломать решетки, прикрыть ремни ковровой дорожкой, позвонить Бойлу, чтобы тот не приезжал, и позвать друзей на шумную вечеринку.

А потом это чувство прошло. Взгляд вновь стал собранным. Время, давний противник, опять попыталось его сломить — всего за несколько

часов до победы. Если он будет думать о предстоящем эксперименте, нервы к нужному часу совсем сдадут.

Поэтому Дэвид заставил себя действовать. Повинуясь почти забытым рефлексам, прикрепил к мольберту чистый холст и стал смешивать краски на палитре. Движения были неуклюжими, выбор цветов — странным. Он не видел на белом холсте нужного образа. Набрал на мастихин черную краску и провел через все полотно блестящую полосу.

Критики когда-то подмечали дотошность его мазков, тонкость каждой детали. Даже на больших полотнах он писал тонкими кистями не шире обручального кольца. А теперь густо размазывал краску мастихином. Руки действовали будто сами по себе, повинуясь чьим-то приказам извне. От своей мазни Дэвид испытывал какой-то странный инфантильный восторг.

С удивлением он взглянул на циферблат. Три с половиной часа прошло. Бойл приедет с минуты на минуту. По дороге уже шуршали шины. Вот и врач.

Дэвида вновь охватил мимолетный ужас, благоговейный трепет перед окружающей обстановкой. Он стал задыхаться. На дорожке

послышались шаги.

Дэвид закрыл глаза и напомнил себе, что для человечества нет ничего важнее эксперимента, который должен сейчас состояться. Он умрет ненадолго, исследует вечность, потом воскреснет и расскажет живущим, что каждое мгновение их жизни становится частью вселенной. Время для людей перестанет быть убийцей.

В дверь позвонили. Дэвид лег на твердый пол, затянул ремни на лодыжках, затем на талии, плечах и левой руке. Если начнутся обычные для умирающего судороги, так он избежит травм. Правой свободной рукой он воткнул иглу в вену на левом предплечье. Жидкость внутри шприца остановит сердце. В дверь снова позвонили.

Дэвид последний раз оглядел студию. На виду аппарат для искусственной вентиляции легких и второй шприц (точно такой же, как Бойл загнал в сердце утонувшему фермеру). Благодаря им врач вернет его к жизни.

Дэвид набрал полную грудь воздуха. Взял выключатель, выдохнул и замкнул электрическую цепь. Левую руку слабо защекотало, значит, содержимое шприца потекло в кровь. На него Дэвид не глядел — он смотрел лишь на мольберт с бесформенной картиной, стоящий в ногах. Часовой

механизм замка щелкал. В любой момент Бойл зайдет в гостиную и примется колотить в дверь.

Вдруг зазвонил телефон. Дэвид свободной рукой дернул за шнур, скидывая аппарат на пол. Умрешь тут — в таком-то шуме!..

— Дэйв, — послышался из трубки приглушенный голос. — Дэйв, это Бойл.

Во дворе опять зашуршали шины, но звук теперь удалялся, утихал.

Дэвиду не хватало сил повернуть голову к телефону. Хотелось облизать губы, но язык лишь бессильно дрогнул. Слова в трубке звучали слишком неразборчиво, он никак не мог понять их смысл.

— Слушай, я сейчас еду в Рексфорд, — говорил голос. — У моей пациентки преждевременные роды, ребенка надо срочно положить в инкубатор. Подожди немного, я загляну к тебе через пару часов…

Дэвид не спускал уплывающего взгляда с картины. Как странно, он только сейчас понял, что именно нарисовал. Теперь, издалека, хаотичные мазки слились в потрясающий пейзаж. Глядя на свой шедевр, ему хотелось улыбнуться.

Какой зеленый получился холм… пруд у его подножья, лижущий сырые камни плотины…

пара влюбленных, болтающих ногами в воде… у женщины ангельски красивое лицо… такое живое, что губы будто движутся…

Раздел 4.
РОМАНТИКА

© Перевод. А. Комаринец, 2021

Курт Воннегут начал публиковать свои рассказы в 1950-е годы, и большинство из них вышли в популярных глянцевых журналах того времени. Его «военные» рассказы ничуть не утратили своей актуальности, а вот рассказы, повествующие о женщинах и романтике, — отражение канувшей в Лету эпохи, которая сегодня воспринимается таким же поразительным ретро, как мир кринолинов и кавалерийских атак. Будучи на десяток лет моложе Курта Воннегута, я взрослел в пятидесятые (в 1955 г. закончил Колумбийский университет) и жил в Нью-Йорке. Как показал в своем документальном фильме «Нью-Йорк 50-х» Кальвин Тиллин, сейчас трудно вообразить себе новостные журналы того времени: тогда сотрудники четко делились по половой принадлежности: авторами статей, репортерами и редакторами неизменно были мужчины, а женщины занимались исключительно сбором информации. Работа, которую могли получить

женщины, определялась их полом, а никак не способностями или талантом. Не менее трудно вообразить, что романистку Линн Шэрон Шварц не взяли на работу в издательский дом на том основании, что она вышла замуж и может родить ребенка.

И Курт Воннегут, и его жена Джейн Кокс, выпускница колледжа Суортмор, одного из лучших гуманитарных вузов США, к тому же состоявшая в уважаемом студенчеством обществе «фи-бета-каппа» (именно она заставила Курта прочитать «Братьев Карамазовых» во время медового месяца), начали учиться на старших курсах Чикагского университета одновременно. Когда Джейн забеременела, само собой разумелось, что она бросит учебу и посвятит себя роли жены и матери, и верной соратницы Курта («Она верила в его талант больше него самого», — писал их первенец Марк), а также личной секретарши — Джейн частенько отвечала вместо него на письма и выполняла просьбы литературных критиков и исследователей, пытавшихся разыскать библиографию его произведений. Будучи редактором литературного журнала Суортмора, Джейн читала и редактировала рукописи Курта, подсказывала ему идеи и изучала рынок, чтобы

понять, что требуется «глянцу», и, разумеется, перепечатывала на машинке все его рукописи (в то время это входило в обязанности «жены писателя»). Помимо всего этого она растила не только собственных троих детей, но также троих сыновей сестры Курта — Алисы. Муж Алисы погиб в железнодорожной катастрофе всего за день до того, как сама она умерла от рака.

В те годы я и сам был подвержен традиционному мужскому шовинизму. А несколько десятилетий спустя одна моя бывшая подруга, выпускница гуманитарного колледжа Смита, перепечатавшая на машинке рукопись моей первой книги (в награду я подарил ей переносной радиоприемник за сорок долларов), прислала мне свою собственную книгу. Я ответил ей письмом с поздравлениями и вопросом, который задавал и себе самому: «Почему юнцам пятидесятых годов не приходило в голову, что девушки пятидесятых годов тоже хотят писать книги, а не просто перепечатывать чужие рукописи?»

Редакторами журналов (в том числе и женских) были исключительно мужчины, но Курта это вполне устраивало, поскольку его собственные представления о мужчинах и женщинах были точно такими же, что и у любого мужчины

его времени. Женщины в его рассказах почти всегда привлекательны: «красивая… с милыми голубыми глазками» («Ночь для любви»), «самая хорошенькая девушка, какую ему доводилось видеть… безупречное украшеньице» («ГЛУЗ»), «хорошенькая, уверенная в себе девушка двадцати одного года» («Девичье бюро»), «Ей было восемнадцать, и она была свежей, как лепесток» («Мисс Сноу, вы уволены»), «бывшая модель и известная фигуристка» («Париж, Франция»).

С некрасивыми девушками и женщинами из рассказов в нашем разделе «Романтика» автор жесток, — возможно, чтобы сделать красавиц еще более желанными. Начальница мисс Нэнси в рассказе «Девичье бюро» — «тетка рослая, крепкая, как лось, и очень правильная». Разумеется, читателей не удивляло, что она не замужем. Им следовало удивляться, что в конечном итоге она оказывалась такой же участливой и доброй, как «симпатичная, уверенная в себе выпускница секретарского училища». Эта концовка вполне в духе О'Генри, Дэйв Эггерс позднее назовет это «воннегутовским рассказом-мышеловкой»: такой рассказ «заставляет читателя пройти через сложный (но не слишком) механизм рассказа, под конец пружина срабатывает и читатель оказыва-

ется в ловушке». Читатели популярных журналов были рады оказаться в этой ловушке, они хотели, чтобы их удивляли, и испытывали удовольствие от неожиданного, но убедительного финала. Подобный ход удовлетворял и редакторов, чьей задачей было привлечь потенциальных читателей и заставить их купить подписку.

Два рассказа в разделе «Романтика» кажутся мне наиболее убедительными и очаровательными. В каждом из них по два персонажа — мужчина и женщина, и ни в одном женщина не названа «красивой», «свежей, как лепесток» или «безупречным украшеньицем». Для меня притягательность этих историй заключается не в современной политкорректности, а в том, что они рисуют знакомые, будничные ситуации, и действие в них разворачивается в ограниченный период времени, обычно за пару часов. В обоих присутствует характерная для Воннегута «концовка-мышеловка», но в этих рассказах она естественно вытекает из поведения персонажей.

Из этих двух рассказов «Город» никогда не публиковался. Литературный агент Воннегута Кеннет Литтауэр написал: «“Город” вернулся из “Американ мэгэзин” и был отправлен в “Тудейз вумен”». На том все как будто и кончилось. Могу

себе вообразить, что романтическая героиня, которую мужчина называет «пухлая мышка», не слишком пришлась по душе «Тудейз вумен» 1950-х годов. Рассказу не хватает гламура, который требовали редактора популярных журналов того времени; напротив — там подчеркивались «будничность и приземленность персонажей», видящих недостатки и в себе, и в человеке, который их заинтересовал.

Герои этого рассказа, вероятно, устроились на первую свою работу в большом городе, и под конец рабочего дня оба не слишком довольны своей участью. В ожидании каждый своего автобуса они критически рассматривают самих себя, а после, украдкой, друг друга. У парня — соринка в левом глазу, он рассматривает свое «покрасневшее отражение в зеркальной поверхности дешевых весов». Он старается промокнуть глаз носовым платком и думает: «Мерзкое место для жизни: куда ни повернись — сажа в глаза летит».

Девушка рассматривает свое отражение в витрине аптеки и спрашивает себя, «не становятся ли у нее бедра шире от вечного сидения за письменным столом, и придает ли нитка жемчуга менее строгий вид ее блузке?».

В ее собственное представление о себе укла-

дывается и то, как видит ее парень. А видит он перед собой «пухлую мышку», которая из-за блузки похожа на «школьную училку». И ее оценка немногим лучше. «Круглолицым мужчинам не следует носить галстуки-бабочки, — раздраженно подумала она. — Они делают их лица широкими и толстыми».

По мере того, как бегут минуты, их восприятие друг друга не становится менее критичным, но в него закрадывается толика симпатии. Он думает: «А по ее виду можно сказать, что недостатка в еде она не испытывает. Маленькая толстушка. Мне нравится. Правда, выглядит усталой. Контора — не место для такой девушки, как она. Наверняка всякие волокиты проходу ей не дают». А она размышляет, мол «мужчины такие беспомощные. Только посмотрите на этот воротничок — позор! Кто-то должен его перелицевать. Перелицуешь — и носи рубашку еще хоть целый год».

Их взгляды на мгновение встречаются, и девушка начинает писать воображаемое письмо матери, в котором рассказывает, как трудно в большом городе завести друзей, а после предается фантазиям: «сегодня вечером я встретила очень славного молодого человека. Мы ходили с ним на спектакль, а потом выпили содовой. Я

почувствовала себя как дома». А он в то же время воображает, как приглашает ее в театр, и сердце у него бешено колотится.

Каждый старается придумать предлог для знакомства, но ни одному не хватает смелости сделать первый шаг. Она думает, мол, можно сделать вид, будто заблудилась, но ей страшно рисковать: «Я бы умерла, если бы он подумал, что я обычная дешевая…» Ему не хочется, чтобы поняла его превратно. Подъезжает автобус, и девушка импульсивно в него садится, хотя это и не тот, которого она ждала, и надеется, что парень войдет следом. Дверь закрывается, но парень вдруг осознает, что она уже в автобусе. Он барабанит в дверь, входит и садится на свободное место рядом с ней. Они набираются смелости завести пустой разговор и признать, что оба обычно ездят домой другим маршрутом.

— Чей же это автобус? — спрашивает она.

— Наш, — рискует ответить он.

— Ладно, — говорит она. — И куда он нас везет?

— Не знаю. Поедем вместе и выясним…

«Они робко посмотрели друг на друга и улыбнулись. Городскую мглу вдруг словно смыло водой. Мир вокруг стал чистым и теплым, а впе-

реди засверкало будущее, которое можно было обсуждать, пока они в трепетной надежде ехали к неведомому чуду, ожидавшему в конце этого зачарованного маршрута».

Знаю, знаю, современному читателю, привыкшему к сериалу «Девчонки» на канале «HBO», этот «рассказ пятидесятых» и его наивные, не от мира сего персонажи покажутся ископаемым пережитком из плезозойской эры. Но если читателям по душе «литературная археология», то «Город» достоверно воссоздает ту эпоху и делает это с легкостью и изяществом, поднимающими простоту на уровень искусства.

Сам Курт Воннегут не слишком хорошо отзывался о подобных рассказах. Например, рассказ, который, на мой взгляд, хорош и сегодня, Воннегут в предисловии к сборнику «Добро пожаловать в обезьянник» назвал «тошнотворно глянцевой любовной историей из «Лейдиз хоум джорнал», которую редактор, помоги нам Боже, снабдил заголовком «Долгая прогулка в вечность»». Курт писал, что включил этот рассказ в свой первый сборник «из уважения к браку, который состоялся» (его первый брак с любовью его студенческих лет Джейн Кокс), и с явным притворством добавлял: «Сам я озаглавил его “Ад, с которым

миришься”. Разумеется, ни сам Курт, ни его литературные агенты не послали бы рассказ о любви с таким названием в женский журнал 1950-х годов (он был опубликован в 1960-м.). Далее он старается реабилитировать себя за то, что считал в 1968 году сентиментальностью, за рассказ, в котором «описываются послеполуденные часы, которые я провел с моей невестой. Стыд и позор переживать сцены из женского журнала».

В предисловии к «Обезьяннику» он писал: «Моя жена красива. Я никогда не встречал жены писателя, которая не была бы красива». (И я тоже, включая мою собственную.) В пятидесятых женщины, хотевшие стать писательницами, часто выходили замуж за писателей и в награду становились их редакторами, литературными агентами и домохозяйками — если считать это достойной наградой. Их судьбы сравнимы с судьбами женщин той эпохи, которые хотели сделать карьеру в церкви и становились церковными органистками. «Мне сказали, что подняться выше и надеяться нечего», — сказала мне одна бывшая органистка, которая в 1981 году поступила на обучение в семинарию, чтобы получить сан.

Единственные персонажи в «Долгой прогулке в вечность» — парень и девушка (как они сами

бы себя называли в годы Второй мировой войны, к которым отнесено действие рассказа), и в рассказе нет описания их внешности. Солдату по имени Ньют и девушке Кэтрин по двадцать лет, и нам дают понять, что они знают друг друга очень давно, но не виделись с тех пор, как парень записался добровольцем.

Давний друг Курта Виктор Джоз (они познакомились, когда учились в школе в Шортридже и оба состояли в литературном клубе) как-то сказал мне, что сюжет рассказа очень близок к событиям из жизни самого Курта. Он познакомился со своей будущей женой Джейн в подготовительных классах и много лет ухаживал за ней. Вернувшись в 1944 году на побывку, он узнал, что Джейн обручилась с неким парнем из колледжа Суортмор. И «Курт поспел как раз вовремя», чтобы уговорить ее порвать с женихом.

В рассказе Кэтрин открывает дверь, держа в руке журнал, посвященный нарядам для свадеб, и очень удивляется, увидев на пороге Ньюта.

> «Он служил рядовым первого класса в артиллерии. Мятая форма, пропыленные насквозь сапоги, щеки заросли щетиной. Он потянулся к журналу:

— Какой красивый журнальчик, дай посмотрю.

Кэтрин дала.

— Я выхожу замуж, Ньют, — сказала она.

— Я понял. Пойдем гулять».

Пока они прогуливаются, он объясняет, что не сможет попасть к ней на свадьбу, которая состоится уже на следующей неделе, потому что будет на гауптвахте, ведь его непременно туда посадят, когда он вернется и сообщит, что уходил в самоволку. На гауптвахте ему придется провести тридцать дней.

На вопрос, зачем он вернулся, он отвечает, мол, повидаться с ней.

Он хотел повидаться с ней, потому что он ее любит.

«— Ты так не вовремя признался мне в любви! Ведь ты раньше никогда ничего подобного не говорил!»

Она взбудоражена и рассержена, и хочет остановиться, но он идет дальше: «Шаг один, шаг второй, по лесам и долам, по мостам…» Всякий раз, когда она хочет остановиться, он уговари-

вает ее идти дальше. Наконец, они садятся под деревом. Она устраивается подальше от него и смотрит, как он засыпает. Позднее она его будит. Он просит ее выйти за него замуж, а она отвечает отказом, и тогда он уходит.

> «Кэтрин провожала взглядом его силуэт, исчезающий в длинной перспективе деревьев и теней, и думала: если он сейчас остановится, если обернется, если позовет ее, она обязательно к нему побежит. По-другому просто нельзя».

Он останавливается, поворачивается и зовет. И она бежит к нему.

Рассказ построен на скудных, лаконичных репликах: Ньют уговаривает Кэтрин идти дальше, а она протестует, но идет. Не имея никаких сведений об их прошлом или характерах, не зная про них никаких «фактов», мы начинаем чувствовать, что они нам знакомы. Нам очень не хочется, чтобы Кэтрин вышла замуж за своего жениха, мы бы предпочли, чтобы она выбрала Ньюта, и так и происходит.

Рассказ имеет аккуратную, неизбежную концовку хемингуэевского рассказа, построенного на диалоге — но не таком обрывистом и резком,

не таком жестком. С другой стороны, он не производит впечатления сентиментального: никто не произносит цветистых речей, не закатывает мелодраматичных сцен. В нем есть естественный ритм, сродни дыханию, сродни ходьбе — «Шаг один, шаг второй, по лесам и долам, по мостам...»

Воннегут овладел формулой написания романтического рассказа для глянцевых журналов, однако отказался от ее основополагающих элементов — юных красавиц и ослепительных героев. Он вырывался из оков общепринятых правил и нашел для себя нечто оригинальное и уникальное, истинно передающее жизнь (его жизнь). При всем его самобичевании, что написал подобный рассказ (а ведь невзирая на собственные протесты, он все-таки включил его в свой первый сборник), он, возможно, просто стыдился, что открыл людям, насколько глубоки его собственные чувства, что в те времена считалось недостойным мужчины. Возможно, поэтому ему было так трудно писать о женщинах.

Перечитав этот рассказ, я понял, что мне не дает покоя. Мне смутно казалось, что я читал что-то в том же ключе и с той же чистотой стиля. Но я никак не мог вспомнить, а потом меня вдруг

осенило. В романе «Времетрясение», значительную часть которого составляют его размышления о жизни, есть отрывок, в котором описан его последний телефонный разговор с Джейн за две недели до ее смерти. Она жила в Вашингтоне, была замужем за Адамом Ярмолински, а Курт жил в Манхэттене и был женат на Джилл Крименц. Он не помнил уже, «кто из нас кому позвонил, кому это пришло в голову. Могло прийти любому из нас. Так вот, кому бы это ни пришло в голову, вышло так, что разговор стал нашим прощанием […]

Последний наш разговор был очень личным. Джейн спросила меня, как будто я мог это знать, как отзовется в других ее смерть. Она, наверное, чувствовала себя персонажем какой-нибудь моей книги. В некотором смысле так и было. За время нашего двадцатидвухлетнего брака именно я решал, что мы будем делать дальше — отправимся ли мы в Чикаго, в Скенектади или в Кейп-Код. Моя работа определяла, что мы будем делать дальше. Джейн нигде и никогда не работала. Она воспитывала шестерых детей.

Я ответил ей, как. Я сказал ей, что перед тем, как она умрет, один загорелый, беспутный, надоедливый, но счастливый десятилетний

мальчишка, которого мы знать не знаем, выйдет на гравийную насыпь у лодочной пристани в начале Скаддерс-лейн. Он будет стоять и оглядываться вокруг, смотреть на птиц, на лодки или на что-то еще, что есть в гавани Барнстейбла, мыс Кейп-Код.

В начале Скаддерс-лейн, на трассе 6А, в одной десятой мили от лодочной пристани, стоит большой старый дом, где мы растили нашего сына, двух наших дочерей и трех сыновей моей сестры. Теперь там живут наша дочь Эдит, ее муж-строитель Джон Сквибб и их маленькие дети, мальчики по имени Уилл и Бак.

Я сказал Джейн, что от нечего делать этот мальчик поднимет с земли камешек. Так обычно поступают мальчишки. Он кинет его далеко-далеко в море.

И в миг, когда камень упадет в воду, она умрет».

«Долгая прогулка» окончена.

Дэн Уэйкфилд

Кто я теперь?

© Перевод. Е. Романова, 2021

«Клуб Парика и Маски Северного Кроуфорда» — любительский драмкружок, в котором я состою, — проголосовал за то, чтобы весной поставить «Трамвай “Желание”» Теннесси Уильямса. Дорис Сойер, наш бессменный постановщик, неожиданно отказалась от участия: у нее разболелась мама. Еще она заявила, что кружку давно пора воспитывать новых постановщиков, ведь она не вечна, пусть и благополучно дожила до семидесяти четырех.

Так я стал постановщиком, хотя до сих пор ставил только противоураганные окна и заслоны, которыми сам же и торговал. Да-да, я продавец противоураганных окон, дверей и иногда — душевых кабин. Что же касается театральной сцены, самой моей важной ролью до сего дня был либо дворецкий, либо полисмен — не знаю, кого из них играть престижней.

Прежде чем согласиться на должность постановщика, я выдвинул кружку немало собственных условий, ключевым из которых было позвать

на главную роль Гарри Нэша, единственного настоящего актера «Клуба Парика и Маски». Чтобы вы получили какое-то представление о многогранном таланте Гарри Нэша, перечислю вам его роли за один только прошлый год: капитан Куигг в «Трибунале над бунтовщиком с “Кейна”», Эйб Линкольн в спектакле «Линкольн в Иллинойсе» и, наконец, молодой архитектор в «Синей луне». В этом году Гарри сыграл Генриха VIII в «Тысяче дней Анны», Дока в «Вернись, малышка Шеба», а теперь еще я прочил ему роль Стенли, которую в фильме Элии Казана играет Марлон Брандо. Гарри не явился на собрание кружка и потому не мог согласиться или отказаться. Он никогда не посещал собрания — и вовсе не из-за важных дел, а потому что стеснялся. Гарри не был женат и даже не ходил на свидания, близких друзей у него тоже не было. На собрания он не приходил, поскольку без сценария не мог выдавить из себя ни слова.

Словом, на следующий день мне пришлось отправиться в скобяную лавку Миллера, где Гарри работал продавцом, и спросить его лично, согласен он на роль или нет. По дороге я зашел в контору телефонной компании, откуда мне почему-то прислали счет за звонок в Гонолулу,

хотя я никогда в жизни в Гонолулу не звонил.

За окошком сидела дивной красоты девушка, которая вежливо объяснила мне, что компания установила новую машину для выписывания счетов, которая пока не отлажена и иногда ошибается.

— Вряд ли хоть один житель Северного Кроуфорда когда-нибудь позвонит в Гонолулу, — заметил я.

Пока девушка делала перерасчет, я спросил ее, местная ли она. Девушка ответила, что нет: телефонная компания прислала ее обучить местных сотрудниц обращаться с новой машиной. Закончит с этой — отправится в какой-нибудь другой город, обучать других сотрудников.

— Что ж, пока вместе с машинами присылают людей, за мир можно не опасаться.

— Простите? — не поняла девушка.

— Вот если машины начнут приезжать сами, тогда пиши пропало.

— А-а, — равнодушно протянула девушка. Видимо, тема ее не очень интересовала, да и все остальное как будто тоже. С виду она была какая-то деревянная — сама почти машина, генерирующая вежливые ответы от имени телефонной компании.

— И долго вы здесь пробудете? — спросил я.

— В каждом городе я провожу ровно два месяца, сэр, — ответила девушка. У нее были прекрасные голубые глаза, но в них не горело ни намека на любопытство или надежду. Она рассказала мне, что ездит из города в город уже два года — и везде чужая.

Мне пришло в голову, что из нее могла бы получиться отличная Стелла, жена героя Марлона Брандо, жена персонажа, на роль которого я хотел взять Гарри Нэша. Словом, я рассказал ей о нашем драмкружке и заверил, что все мы будем очень рады, если она придет на пробы.

Девушка очень удивилась и даже немного оттаяла.

— Знаете, мне еще никогда не предлагали поучаствовать в каком-то общем деле.

— Посудите сами: нет лучше способа быстро познакомиться со множеством хороших людей, чем сыграть с ними в спектакле.

Девушка сказала, что ее зовут Хелен Шоу, и — к нашему обоюдному удивлению — согласилась прийти на пробы.

Вам может показаться, что Северный Кроуфорд был по горло сыт игрой Гарри Нэша, раз он сыграл в стольких спектаклях. Но на самом деле публика

могла любоваться Гарри вечно, потому что на сцене он переставал быть собой и полностью вживался в роль. Когда в актовом зале районной средней школы бордовый занавес взмывал к потолку, Гарри душой и телом перевоплощался в того, кем ему полагалось быть по сценарию.

Однажды кто-то сказал, что Гарри следует обратиться к психиатру — мол, это поможет ему добиться успехов и в настоящей жизни. Глядишь, женится и найдет себе работу получше, чем торговать железками в лавке Миллера за пятьдесят долларов в неделю. Лично я не представляю, что бы такого мог разузнать о нем психиатр, чего уже не знал весь город. Беда с Гарри в том, что его младенцем оставили на ступенях унитарианской церкви, и ему так и не удалось найти своих родителей.

Когда я сказал Гарри, что меня выбрали постановщиком и что я хочу пригласить его на роль в новом спектакле, он задал мне тот же самый вопрос, который задавал всем, кто предлагал ему роль, — и это довольно грустно, если задуматься:

— А кто я теперь?

Наконец пришло время проб. Я устроил их в обычном месте: в аудитории на втором этаже публичной библиотеки. Дорис Сойер, наш бес-

сменный постановщик, пришла поделиться со мной богатым театральным опытом. Мы с ней уселись наверху и стали по одному вызывать к себе кандидатов, собравшихся на первом этаже.

Гарри Нэш тоже явился на пробы, хотя то была напрасная трата времени. Сдается мне, он просто хотел еще немножко поиграть.

Чтобы сделать ему — и себе — приятное, мы с Дорис попросили его разыграть тот эпизод, где его герой избивает жену. Уже одна эта сцена в исполнении Гарри могла бы сойти за целый спектакль, и автором пьесы был явно не Теннесси Уильямс. К примеру, у Теннесси Уильямса не было ни слова про то, как Гарри Нэш, ростом пять футов восемь дюймов и весом сто сорок пять фунтов, берет в руки сценарий и мигом становится еще на четыре дюйма выше и на пятьдесят фунтов тяжелее. На Гарри был куцый двубортный пиджачок от костюма, в котором он ходил еще на школьный выпускной, и крошечный красный галстук с конской головой. Гарри снял пиджак и галстук, расстегнул воротник и повернулся к нам с Дорис спиной, чтобы как следует распалиться. Рубашка его оказалась порванной на спине, хотя и выглядела довольно новой: Гарри нарочно порвал ее для роли, чтобы еще больше походить

на Марлона Брандо.

Наконец он обернулся к нам с Дорис: огромный, красивый, самодовольный и жестокий. Дорис читала роль Стеллы, и Гарри так запугал древнюю старушку, что та в самом деле возомнила себя молоденькой беременной девчонкой, выскочившей замуж за похотливого орангутанга, который вот-вот вышибет из нее мозги. Я тоже в это поверил. Сам я читал слова Бланш, старшей сестры Стеллы, и, ей-богу, Гарри даже во мне открыл неизвестно откуда взявшуюся увядающую алкоголичку с Юга.

А потом, когда мы с Дорис потихоньку приходили в себя после пережитого — точно очухивались после наркоза, — Гарри отложил сценарий, повязал галстук, надел пиджак и вновь превратился в обыкновенного бледного продавца из скобяной лавки.

— Ну как, нормально? — спросил он, искренне опасаясь, что не получит роль.

— Что ж, для первого чтения сойдет, — ответил я.

— Как думаете, я получу роль? — Не знаю, почему он всегда делал вид, что роль может ему не достаться.

— Мы уверенно склоняемся именно к вашей

кандидатуре, — проговорил я.

Гарри очень обрадовался.

— Спасибо! Спасибо огромное! — воскликнул он и пожал мне руку.

— Не видели там внизу красивую молоденькую девушку? — спросил я, имея в виду Хелен Шоу.

— Не заметил, — ответил Гарри.

Хелен действительно пришла на пробы — и разбила сердце нам с Дорис. Мы сперва решили, что в «Клубе Парика и Маски Северного Кроуфорда» наконец появилась по-настоящему красивая и молодая актриса: вместо юных девушек нам, как правило, приходилось всучивать зрителю потрепанных жизнью сорокалетних дам.

Но в Хелен Шоу не оказалось ни грамма актерского дара. Какую бы сцену ей ни давали, она оставалась той же очаровательной девушкой с заранее заготовленной улыбкой для недовольных клиентов.

Дорис попыталась ее вразумить, объяснить, что Стелла — очень страстная девушка и полюбила неандертальца потому, что ей был нужен только неандерталец. Но Хелен снова и снова читала строчки с прежним выражением — то есть без него. Мне показалось, что даже извержение вулкана не заставит ее вскрикнуть «о!».

— Голубушка, — наконец не выдержала Дорис, — я хочу задать вам личный вопрос.

— Давайте, — кивнула Хелен.

— Вы когда-нибудь влюблялись? Ну хоть раз в жизни? Я спрашиваю, потому что воспоминания о прежней любви помогли бы вам вжиться в роль.

Хелен глубоко задумалась и нахмурила лоб.

— Видите ли, я постоянно живу в разъездах, — наконец заговорила она. — Почти все мужчины, которых я встречаю по работе, женаты, а неженатых я встретить не успеваю, потому что нигде надолго не задерживаюсь.

— Ну а школа как же? Первая любовь, все эти девчачьи слезы и переживания?..

Хелен снова глубоко задумалась.

— В школе я тоже постоянно переезжала. Отец работал на стройке, и его то и дело направляли на новые объекты. Я не успевала привязаться к людям: только поздороваешься, как уже пора прощаться.

— Гм, — сказала Дорис.

— А знаменитости считаются? — спросила Хелен. — Ну, то есть в жизни-то я ни с кем не знакома, но мне нравятся некоторые актеры.

Дорис взглянула на меня и закатила глаза.

— Ну, в каком-то роде это тоже любовь…

Хелен немного взбодрилась.

— На некоторые фильмы я ходила много-много раз! — сказала она. — А иногда даже воображала, что вышла замуж за какого-нибудь знаменитого актера. Это ведь были единственные люди, которые сопровождали нас всюду, куда бы мы ни поехали.

— Гм-гм, — сказала Дорис.

— Что ж, спасибо вам большое, мисс Шоу, — сказал я. — Спускайтесь на первый этаж к остальным, мы вас вызовем.

Мы стали искать новую Стеллу. И никого не нашли: ни одна мало-мальски свежая девица на пробы не пришла.

— Зато Бланш хоть отбавляй, — сказал я, имея в виду увядших красавиц, которые могли бы сыграть роль увядшей Стеллиной сестры. — Наверно, такова жизнь: двадцать Бланш на одну Стеллу.

— А стоит отыскать такую Стеллу, — добавила Дорис, — как выясняется, что она ничего не знает о любви.

Тогда мы с Дорис придумали хитрость: позвать Гарри Нэша, чтобы разыграл какую-нибудь сцену вместе с Хелен.

— Может, это хоть немножко ее растормошит,

— сказал я.

— Было бы что тормошить! — проворчала Дорис.

Мы снова позвали наверх Стеллу и попросили найти Гарри. Он никогда не сидел на пробах вместе с остальными — да и на репетициях тоже. Когда ему не нужно было играть, он тут же прятался в каком-нибудь укромном уголке, подальше от чужих глаз. На пробах Гарри обычно уходил в справочный зал и коротал время, разглядывая флаги разных стран на стеллаже со словарями.

Хелен поднялась к нам, и мы с большим прискорбием увидели, что у нее заплаканное лицо.

— Ах, голубушка! — запричитала Дорис. — Да что же… что с вами стряслось?

— Я ужасно читала, так ведь? — спросила Хелен, повесив голову.

Дорис произнесла ту единственную фразу, какую можно сказать в любительском драмкружке плачущей актрисе:

— Да будет вам, вы прекрасно играли!

— Нет, я ходячий ледник и знаю это, — возразила Хелен.

— Вот еще глупости! Глядя на вас, никто так не скажет.

— Когда узнает получше — скажет. Именно

так говорят все, с кем я знакомлюсь. — Хелен расплакалась еще горше. — Но я не нарочно такая! Просто по-другому не получается, когда вся жизнь в разъездах… Только и влюбляюсь, что в кинозвезд! А когда встречаю кого-то в настоящей жизни, меня будто сажают в большую стеклянную бутыль и я даже потрогать никого не могу, как бы ни старалась. — Хелен пощупала руками воздух, словно трогая стенки бутылки. — Вот вы спросили, влюблялась ли я в кого-нибудь. Нет, но очень хочу! Я знаю, о чем эта пьеса, знаю, какие чувства должна испытывать Стелла и почему. Я… я… я…

Новый приступ плача не дал ей договорить.

— Что, голубушка? — осторожно спросила Дорис.

— Я… — Хелен снова пощупала воображаемые стеклянные стенки. — Я просто не знаю, с чего начать!

С лестницы донеслись тяжелые шаги: как будто по ступеням поднимался водолаз в свинцовых башмаках. То был Гарри Нэш, перевоплотившийся в Марлона Брандо. Едва не волоча кулаками по полу, он вломился в аудиторию и, завидев плачущую женщину, ухмыльнулся — до такой степени он вошел в образ.

— Гарри, — сказал я, — познакомься, это Хелен Шоу. Хелен, это Гарри Нэш. Если вы получите роль Стеллы, на сцене он будет вашим мужем.

Гарри даже не протянул руки новой знакомой: вместо этого он сунул оба кулака в карманы, подался назад и с ног до головы окинул Хелен раздевающим взглядом. Та вмиг прекратила плакать.

— Гарри, мне бы хотелось взглянуть, как вы ссоритесь, а потом миритесь, — сказал я.

— Не вопрос, — ответил он, не сводя глаз с Хелен. Эти глаза сжигали одежду быстрее, чем она успевала надеть новую. — Если Стелл в игре, я тоже.

— Простите? — Щеки Хелен стали цвета клюквенного сока.

— Стелл… Ну, Стелла, — это ты. Моя жена.

Я вручил обоим сценарии. Гарри выхватил свой, даже не сказав «спасибо», а Хелен едва сумела протянуть руку — мне пришлось самому сжать ее пальцы, которые отчего-то отказались ее слушаться.

— Мне бы что-нибудь тяжелое, — проговорил Гарри.

— Зачем? — не понял я.

— Ну, по сценарию я должен швырнуть в окно

радио, — пояснил Гарри. — А мне что швырнуть?

Я дал ему пресс-папье вместо радио и пошире отворил окно. Хелен Шоу побелела от ужаса.

— С какого места начинать? — спросил Гарри, поводя плечами, как боксер перед боем.

— Давай начнем за несколько реплик до того, как ты выбросишь радио, — предложил я.

— О'кей, о'кей, — ответил Гарри, все разминаясь и разминаясь. Он пробежал глазами по ремаркам. — Так-так… Значит, сперва я вышвырну радио, потом она спрыгнет со сцены, а я ее догоню и вдарю хорошенько.

— Все верно.

— О'кей, детка, — сказал Гарри, исподлобья глядя на Хелен. Похоже, нам с Дорис предстояло увидеть сцену почище знаменитой гонки на колесницах из «Бен-Гура». — На старт, внимание… Марш, детка!

Когда эпизод подошел к концу, Хелен Шоу вся взмокла, точно подносчик кирпичей на стройке, и едва стояла на ногах. Она рухнула на стул и свесила голову набок, не в силах даже прикрыть рот. От бутылки не осталось и следа. Стеклянные стенки, не дававшие ей раскисать, рухнули. Воображаемая бутылка исчезла.

— Я получил роль или нет?! — рявкнул Гарри.

— Безусловно, — ответил я.

— Вот так бы сразу! — воскликнул он. — Ну, тогда я отчаливаю… До скорого, Стелла, — бросил он Хелен и вышел, бахнув дверью.

— Хелен? Мисс Шоу? — позвал я.

— Мф? — откликнулась она.

— Роль Стеллы — ваша. Вы прирожденная актриса!

— Да вы что? — не поверила она.

— Я и не подозревала, что в вас столько огня, голубушка! — сказала ей Дорис.

— Огня?.. — Хелен словно не могла сообразить, стоит она на ногах или сидит на коне.

— Прямо-таки фейерверки! Шутихи! Бенгальские свечи! — продолжала Дорис.

— Мф, — сказала Хелен. И умолкла. Вид у нее был такой, будто она собралась всю жизнь просидеть на стуле с открытым ртом.

— Стелла, — позвал я.

— А?

— Вы можете идти, я разрешаю.

Итак, мы начали репетировать: четыре раза в неделю на сцене актового зала районной школы. Гарри и Хелен задали постановке такой темп, что уже на вторую или третью репетицию мы все едва не спятили от волнения и усталости. Обычно

постановщик умоляет актеров учить роли, но мне не пришлось этого делать. Гарри и Хелен так слаженно работали, что все остальные считали своим долгом и честью не отставать от них.

Мне невероятно везло — или, по крайней мере, я так думал. Актеры так пылали на сцене, что после очередной любовной сцены мне пришлось немного осадить Гарри и Хелен:

— Ребята, приберегите немного пороху для премьеры, ладно? Вы же сгорите дотла!

Я это сказал на четвертой или пятой репетиции, а рядом со мной сидела Лидия Миллер, которая играла Бланш, увядшую полубезумную сестру Стеллы. В настоящей жизни она была женой Верна Миллера, хозяина скобяной лавки и начальника Гарри.

— Лидия, — спросил ее я, — ну что, удалась нам постановка или нет?

— Удалась, еще как, — с укором ответила она, будто я совершил ужасное преступление. — Можете собой гордиться.

— В каком смысле?

Не успела Лидия ответить, как со сцены раздался вопль Гарри: не пора ли по домам? Я кивнул, и Гарри, все еще в образе Марлона Брандо, ушел, раскидывая мебель и хлопая дверями. Хелен по-

прежнему сидела на диване с тем же опешившим видом, что и после проб. Ее выжали как лимон.

Я снова повернулся к Лидии.

— Знаете, до сих пор я считал, что у меня есть все поводы для гордости. Я что-то упустил?

— Вы в курсе, что эта девочка влюблена в Гарри? — задала Лидия встречный вопрос.

— По сценарию?

— По какому еще сценарию? Репетиция закончилась, а вы посмотрите на нее! — Она грустно хохотнула. — В этом спектакле заправляете отнюдь не вы.

— А кто же?

— Матушка-природа, и нынче от нее добра не жди. Бедняжка, что с ней будет, когда она увидит истинный характер Гарри? Верней, его полное отсутствие?

Я тоже обеспокоился, но предпринимать ничего не стал, поскольку не хотел лезть в чужие дела. Вскоре Лидия сама попыталась предотвратить катастрофу, но ничего не добилась.

— Знаете, милочка, — сказала она Хелен, — я ведь однажды играла Энн Ратлидж, а Гарри был Авраамом Линкольном.

Хелен захлопала в ладоши:

— Какое это, верно, было блаженство!

— В каком-то смысле да, — кивнула Лидия. — Иногда я настолько входила во вкус, что влюблялась в Гарри всей душой, как Энн в Линкольна. Мне приходилось каждую минуту возвращаться на землю и напоминать себе, что Гарри никогда не отменит рабства, что он всего лишь продавец в скобяной лавке моего мужа.

— О, что вы, он потрясающий! Я еще никогда не встречала таких мужчин!

— Однако в первую очередь вы должны помнить о том, что случится с Гарри после последнего спектакля.

— Простите? — не поняла Хелен.

— Как только занавес опустится, все замечательные качества Гарри исчезнут без следа.

— Не верю, — ответила Хелен.

— Что ж, в это действительно сложно поверить, — признала Лидия.

Тут Хелен немного разозлилась:

— А если и так, мне-то что за дело? Какая мне разница?

— Ну, н-не знаю… Просто я подумала, вам это может быть интересно…

— Ни капельки! — воскликнула Хелен.

Лидия ушла, чувствуя себя такой же никому не нужной старухой, как Бланш в пьесе. После этого

разговора никто не осмеливался заговорить с Хелен о Гарри: даже когда поползли слухи, что она решила прекратить разъезды и поселиться в Северном Кроуфорде.

Наконец настала пора показать спектакль городу. Мы давали «Трамвай “Желание”» три вечера подряд — в четверг, пятницу и субботу, — и всякий раз зал рукоплескал. Люди верили каждому слову, произнесенному на сцене, и когда бордовый занавес наконец опустился, готовы были вслед за бедной Бланш отправиться в сумасшедший дом.

В четверг девушки из телефонной компании прислали Хелен букет красных роз. Когда Хелен и Гарри выходили кланяться, я передал ей этот букет, а она вынула из него одну розу и хотела подарить Гарри, но, когда повернулась, его нигде не было: наш Марлон Брандо бесследно исчез. На этой маленькой немой сцене — Хелен протягивает розу в никуда — занавес опустился в последний раз.

Я прошел за кулисы: Хелен так и стояла с единственной розой в руке, а букет отложила в сторону. В ее глазах блестели слезы.

— Что я сделала? Чем его обидела?

— Ничем, — ответил я. — Он всегда так делает

после выступления. Как только спектакль заканчивается, Гарри быстренько скрывается из виду.

— Завтра он опять исчезнет?

— Даже грим не снимет, вот увидите.

— И в субботу? А как же наша вечеринка в клубе?

— Гарри не ходит на вечеринки, — ответил я. — В субботу занавес опустится, и больше мы его не увидим до понедельника — тогда он придет на работу в скобяную лавку.

— Как грустно…

В пятницу Хелен играла хуже, чем в субботу: казалось, что-то другое занимает ее мысли. После поклонов Гарри ушел, а она молча проводила его взглядом.

Зато в субботу Хелен играла, как никогда. Обычно бал правил Гарри, но в субботу ему пришлось потрудиться, чтобы не отставать от Хелен.

Когда занавес наконец опустился, Гарри хотел уйти — и не смог. Хелен не отпускала его руку. Все актеры, работники сцены и множество доброжелателей из зрительного зала столпились вокруг них, а Гарри все норовил вырваться.

— Э-э… ну, мне пора, — промямлил он.

— Куда? — спросила Хелен.

— Ну… домой.

— Неужели вы не пойдете со мной на вечеринку?

Гарри ужасно покраснел.

— Боюсь, вечеринки не по моей части… — От Марлона Брандо не осталось и следа, он превратился в хорошо знакомого нам Гарри: напуганного и смущенного заику.

— Что ж, ладно, — сказала Хелен. — Обещаю отпустить вас, но только сначала вы мне кое-что пообещаете.

— Что? — спросил Гарри. Мне показалось, что он готов выпрыгнуть в окно, стоит Хелен отпустить его руку.

— Пообещайте, что дождетесь, пока я принесу подарок.

— Подарок? — Гарри испугался пуще прежнего.

— Обещаете или нет? — настаивала Хелен.

Он пообещал, и только тогда она отпустила его руку. Стоя с жалким видом за кулисами, пока Хелен бегала в гримерную за подарком, Гарри принял множество поздравлений и комплиментов, но они его не радовали. Ему хотелось поскорей уйти.

Наконец Хелен вернулась. В руке у нее была маленькая голубая книжка с красной лентой

вместо закладки — «Ромео и Джульетта» Шекспира. Гарри ужасно смутился. Он кое-как выдавил «спасибо» и умолк.

— Закладкой отмечена моя любимая сцена, — пояснила Хелен.

— Угу.

— Неужели вы не хотите узнать какая?

Гарри пришлось открыть книжку на заложенной странице.

Хелен подошла ближе и прочла слова Джульетты:

— *Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда тебя найдут мои родные.*

Хелен показала на следующие строчки:

— А вот что отвечает ей Ромео.

— Угу, — выдавил Гарри.

— Прочтите его слова, пожалуйста!

Гарри откашлялся. Ему не хотелось читать слова Ромео, но раз попросили — что поделаешь?

— *Меня перенесла сюда любовь,* — прочел он обычным громким голосом. И вдруг в нем произошла какая-то перемена: — *Ее не останавливают стены,* — прочел Гарри, выпрямившись и разом скинув лет восемь. Перед нами стоял храбрый и веселый юноша. — *В нужде она решается на все!*

И потому — что мне твои родные?

— *Они тебя увидят и убьют,* — прошептала Хелен и повела Гарри за кулисы.

— *Твой взгляд опасней двадцати кинжалов.* — Хелен повела его к черному ходу. — *Взгляни с балкона дружелюбней вниз, и это будет мне от них кольчугой.*

— *Не попадись им только на глаза!*[22]

* * *

На вечеринку они так и не пришли, а через неделю поженились.

Знаете, это очень счастливая пара, хотя временами они оба немного чудят — в зависимости от пьес, которые читают друг другу.

Недавно мне снова пришлось зайти в контору телефонной компании: машина для выписывания счетов опять начала делать глупые ошибки. Я спросил Хелен, какие пьесы они с Гарри недавно прочли.

— За прошлую неделю, — ответила она, — я побывала замужем за Отелло, меня полюбил Фауст, а затем похитил Парис. Мне кажется, я самая счастливая девушка в городе!

---

[22] Примечания: 22
Пер. Б. Пастернака.

Я ответил, что это действительно так и что большинство местных женщин тоже так думают.

— Ну, они сами упустили свой шанс.

— Они просто не вытерпели накала страстей, — нашелся я. А потом сообщил, что меня опять назначили постановщиком, и предложил им с Гарри поучаствовать в новом спектакле. Хелен широко улыбнулась и спросила:

— А кто мы теперь?

Долгая прогулка в вечность

© Перевод. Е. Романова, 2021

Они росли по соседству, на окраине города, а рядом расстилались поля, леса и сады. Из окон их домов виднелась красивая колокольня, принадлежавшая школе для слепых.

Недавно им обоим исполнилось по двадцать. Они не виделись около года. Им всегда было радостно, тепло и уютно в компании друг друга, но ни о какой любви и речи не шло.

Его звали Ньют. Ее — Кэтрин. Как-то ранним утром Ньют постучался в дверь ее дома.

Открыла сама Кэтрин. В руках она держала толстый глянцевый журнал, целиком посвященный невестам.

— Ньют! — изумленно воскликнула она.

— Прогуляемся? — с ходу предложил он.

Вообще-то Ньют был очень застенчивый, даже с Кэтрин. Свою застенчивость он скрывал за отсутствующим тоном, как будто мысли его витали где-то высоко-высоко: у собеседников складывалось впечатление, что они разговаривают с тайным агентом, находящимся при исполнении

некоего важного и благородного задания. Ньют всегда так разговаривал, даже если живо интересовался предметом беседы.

— Прогуляемся? — переспросила Кэтрин.

— Ну да. Шаг один, шаг второй, по лесам и долам, по мостам…

— Я не знала, что ты вернулся.

— Да вот сию минуту прибыл.

— Служба еще не кончилась? — спросила Кэтрин.

— Семь месяцев осталось, — ответил Ньют. Он служил рядовым первого класса в артиллерии. Мятая форма, пропыленные насквозь сапоги, щеки заросли щетиной. Он потянулся к журналу: — Какой красивый журнальчик, дай посмотрю.

Кэтрин дала.

— Я выхожу замуж, Ньют, — сказала она.

— Я понял. Пойдем гулять.

— У меня страшно много дел, Ньют. Свадьба уже через неделю.

— Прогулки — это полезно. Придешь веселая и румяная. Будет у твоего жениха румяная невеста. — Он принялся листать журнал, показывая на фотографии невест: — Как эта… и вот эта… и эта.

При мысли о румяных невестах Кэтрин залилась краской.

— Это будет мой свадебный подарок Генри Стюарту Чейзенсу, — продолжал Ньют. — Сходив с тобой погулять, я подарю ему румяную невесту.

— Откуда ты знаешь, как его зовут?

— Мама написала. Из Питсбурга, значит, приехал?

— Да. Он бы тебе понравился.

— Может быть.

— Ты… ты придешь на свадьбу, Ньют?

— Вряд ли.

— Такая короткая побывка?

— Побывка? — переспросил Ньют, любуясь разворотом с рекламой столового серебра. — Я не на побывке.

— Как? — удивилась Кэтрин.

— Это называется «самоволка», — пояснил Ньют.

— Ой, Ньют, что ты такое говоришь? Я тебе не верю! — воскликнула Кэтрин.

— Я сбежал из армии, — сказал он, все еще листая журнал.

— Зачем, Ньют?

— Хотел узнать, как называется узор на вашем столовом серебре. — Он стал читать названия узоров из журнала: — «Альбемарль»? «Хизер»? «Легенда»? «Рэмблер-роуз»? — Он поднял глаза

и улыбнулся. — Хочу подарить вам с мужем ложечку.

— Ньют, Ньют, я серьезно!

— Давай погуляем, очень тебя прошу.

Она заломила руки в шуточном гневе.

— Ах, Ньют, да ты просто дурачишься, ни в какой ты не в самоволке!

Ньют тихо изобразил вой полицейских сирен и поднял брови.

— Откуда… откуда ты сбежал?

— Из Форт-Брэгга.

— Это в Северной Каролине? — спросила она.

— Верно, — ответил он. — Рядом с Фейетвиллом — это где маленькая Скарлет О'Хара ходила в школу.

— Как же ты сюда добрался, Ньют?

Он помахал рукой с оттопыренным большим пальцем.

— Два дня на попутках.

— А твоя мама в курсе?

— Я не к ней приехал.

— К кому же тогда?

— К тебе.

— Зачем?

— Затем, что люблю тебя, — просто ответил он. — Ну теперь-то мы можем прогуляться? Шаг

один, шаг второй, по лесам и долам, по мостам…

Они вышли из дому и побрели по лесу: дорожка была усыпана коричневыми листьями.

Кэтрин очень злилась и волновалась, чуть не плакала.

— Ньют, — сказала она, — это безумие какое-то!

— Почему же?

— Ты так не вовремя признался мне в любви! Ведь ты раньше никогда ничего подобного не говорил! — Она остановилась.

— Пойдем дальше.

— Нет! Ни шагу больше не сделаю! Напрасно я вообще с тобой пошла!

— Но пошла же.

— Чтобы увести тебя подальше от дома! Если бы кто-нибудь из родных подошел и услышал, что ты несешь, да еще за неделю до свадьбы…

— Что бы они подумали?

— Что ты спятил!

— Почему?

Кэтрин глубоко вздохнула и начала речь:

— Скажу так: я глубоко польщена и почтена твоей безумной выходкой. Мне не верится, что ты действительно сбежал из армии, но, может, это и правда. Мне не верится, что ты меня любишь, но,

может, это и правда. И все-таки…

— Это правда.

— Что ж, я польщена, — сказала Кэтрин, — и я очень люблю тебя как друга, Ньют, очень-очень, но теперь слишком поздно! — Она попятилась. — Ты даже ни разу меня не целовал! — Она тут же выставила вперед руки. — Это не значит, что надо целовать сейчас. Я просто объясняю, как это все неожиданно. Понятия не имею, что мне теперь делать!

— Просто давай еще немного погуляем. Хорошо проведем время.

Они пошли дальше.

— На что же ты надеялся? Чего ждал? — спросила Кэтрин.

— Откуда мне было знать, на что надеяться? Я ничего подобного в жизни не делал.

— Ты ведь не думал, что я брошусь в твои объятия? — предположила Кэтрин.

— Может, и думал.

— Прости, что не оправдала ожиданий.

— Я нисколько не расстроен, — сказал Ньют. — Я не рассчитывал на это. Мне хорошо даже просто гулять с тобой.

Кэтрин снова остановилась.

— Ты ведь знаешь, что будет дальше?

— Не-а, — ответил Ньют.

— Мы пожмем друг другу руки, попрощаемся и расстанемся друзьями, — сказала Кэтрин. — Вот что будет дальше.

Ньют кивнул:

— Хорошо. Вспоминай обо мне иногда. Вспоминай, как я тебя любил.

Сама того не желая, Кэтрин расплакалась. Она повернулась спиной к Ньюту и вгляделась в бесконечную колоннаду леса.

— Что это значит?

— Это значит, что я очень злюсь! — воскликнула Кэтрин и стиснула кулаки. — Ты не имел права…

— Я должен был убедиться.

— Если б я тебя любила, ты бы сразу об этом узнал!

— Правда?

— Ну да. — Кэтрин повернулась к нему. Щеки у нее изрядно покраснели. — Ты бы узнал.

— Как?

— Ты бы увидел… Женщины не умеют скрывать чувства.

Ньют пригляделся к Кэтрин. Она с ужасом осознала, что сказала истинную правду: женщины не умеют скрывать любовь.

Ее-то Ньют и увидел.

А увидев, сделал то единственное, что мог и должен был: поцеловал Кэтрин.

— Это черт знает что такое! — воскликнула она, когда он выпустил ее из объятий.

— Правда?

— Напрасно ты это сделал!

— Тебе не понравилось?

— А ты чего ждал… дикой, безудержной страсти?

— Повторяю: я никогда не знал и по-прежнему не знаю, что будет дальше.

— Мы попрощаемся, и все.

Он немного нахмурился.

— Хорошо.

Кэтрин произнесла еще одну речь:

— Я не жалею, что мы поцеловались. Это было очень приятно и мило. Нам давно стоило это сделать, ведь мы были так близки. Я всегда буду помнить тебя, Ньют. Желаю тебе удачи и счастья.

— И тебе того же.

— Спасибо.

— Тридцать дней, — сказал Ньют.

— Что?

— Тридцать дней мне придется провести в во-

енной тюрьме за этот поцелуй.

— Это… это ужасно, но я не просила тебя уходить в самоволку!

— Знаю.

— За такие глупые выходки звание Героев точно не присуждают.

— Наверно, здорово быть героем. Генри Стюарт Чейзенс — герой?

— Мог бы им стать, если бы такой шанс представился. — Кэтрин с тревогой заметила, что они двинулись дальше. Ньют, похоже, благополучно забыл о прощании.

— Ты вправду его любишь?

— Конечно! — с жаром ответила она. — Иначе бы я не стала за него выходить!

— И что в нем хорошего?

— Да сколько можно! — вскричала Кэтрин, снова остановившись. — Ты вообще представляешь, как мне обидно это слышать? В Генри много, много, очень много хорошего! И наверняка также много-много плохого. Но это совершенно тебя не касается. Я люблю Генри и не подумаю вас сравнивать!

— Прости.

— Я серьезно!

Ньют снова ее поцеловал. Он поцеловал ее,

потому что она сама этого хотела.

Они вошли в большой сад.

— Когда мы успели забраться так далеко от дома, Ньют? — спросила Кэтрин.

— Шаг один, шаг второй, по полям и лесам, по мостам… — проговорил Ньют.

— Так незаметно они складываются… шаги.

На колокольне школы для слепых зазвонили колокола.

— Школа для слепых, — сказал Ньют.

— Школа для слепых. — Кэтрин сонно тряхнула головой. — Мне пора домой.

— Тогда давай прощаться.

— Когда я пытаюсь, ты всякий раз меня целуешь, — заметила она.

Ньют сел на невысокую стриженую травку под яблоней.

— Присядь, — сказал он.

— Нет.

— Я тебя пальцем не трону.

— А я тебе не верю.

Она села под другое дерево, в двадцати футах от Ньюта. Села и закрыла глаза.

— Пусть тебе приснится Генри Стюарт Чейзенс.

— Что?

— Пусть тебе приснится твой замечательный будущий муж.

— Хорошо, — кивнула Кэтрин и еще крепче зажмурилась, чтобы скорей представить себе жениха.

Ньют зевнул.

В ветвях деревьев жужжали пчелы, и Кэтрин едва не задремала. Когда она открыла глаза, Ньют спал.

И тихо похрапывал.

Кэтрин дала ему поспать около часа — и на протяжении этого часа всем сердцем его обожала.

Тени яблоневых деревьев потянулись к востоку. Со стороны школы для слепых вновь раздался колокольный звон.

— Чик-чирик, — прощебетала синица.

Где-то вдалеке взревел и заглох мотор. Потом снова взревел и снова заглох.

Кэтрин встала и присела на колени рядом с Ньютом.

— Ньют, — окликнула она.

— А? — Он открыл глаза.

— Поздно уже.

— Привет, Кэтрин, — сказал он.

— Привет, Ньют, — отозвалась она.

— Я тебя люблю.

— Знаю.

— Слишком поздно?

— Слишком поздно.

Ньют встал и со стоном потянулся.

— Отлично прогулялись, — сказал он.

— Согласна.

— Ну что, расходимся?

— Куда ты пойдешь? — спросила она.

— Да в город, куда еще. Сдамся.

— Удачи.

— И тебе, — кивнул он. — Выходи за меня, Кэтрин?

— Нет, — ответила она.

Он улыбнулся, пристально на нее посмотрел и быстро зашагал прочь.

Кэтрин провожала взглядом его силуэт, исчезающий в длинной перспективе деревьев и теней, и думала: если он сейчас остановится, если обернется, если позовет ее, она обязательно к нему побежит. По-другому просто нельзя.

Ньют остановился. И обернулся. И позвал ее.

— Кэтрин!

Она подбежала, она обвила его руками. Она не могла говорить.

Ночь для любви

© Перевод. Н. Рейн, наследники, 2021

Лунный свет — это для молодых. А уж что до женщин, так они его просто обожают. Но мужчина, чем он старше, тем обычно меньше нравится ему лунный свет. Слишком жиденький и холодный, неуютный какой-то. Терли Уайтмен именно так и считал. Терли стоял в пижаме у окна в спальне и ждал, когда его дочь Нэнси вернется домой.

Это был огромный добродушный и симпатичный мужчина. Из него получился бы замечательный король, но работал он копом, охранником автостоянки, что у главного офиса компании «Рейнбек Эбрейсивс». Его дубинка, револьвер, патроны и наручники валялись в кресле, у постели. Терли пребывал в растерянности и тревоге.

Жена Милли лежала в постели. Впервые со дня их медового месяца в 1936-м Милли не накрутила волосы на бигуди. И теперь эти волосы рассыпались по подушке, отчего она сразу стала казаться моложе, мягче и как-то загадочней.

Милли уже давным-давно не выглядела за-

гадочной в постели. Глаза ее были широко раскрыты, и смотрели они на луну.

Ее отношение к проблеме просто бесило Терли — Милли категорически отказывалась беспокоиться и думать, что с Нэнси что-то могло случиться, там на улице, в лунном свете, поздней ночью. Милли незаметно для себя уснула, а потом проснулась и некоторое время смотрела на луну с таким видом, словно на уме у нее было нечто необыкновенно важное. И не говорила о том, что думает, а потом… потом опять уснула.

— Ты не спишь? — спросил жену Терли.

— А? — сонно откликнулась Милли.

— Решила не спать?

— Я не сплю, — мечтательным и дремотным, точно у молоденькой девушки, голоском откликнулась Милли.

— Небось и задремала немножко, но как-то не заметила, — ответила она.

— Да ты целый час дрова пилила, — сказал Терли.

Он специально сказал жене гадость. Думал, что, может, это заставит ее окончательно проснуться. Он хотел, чтобы она проснулась и говорила с ним вместо того, чтобы пялиться на эту дурацкую луну. Никаких дров во сне она, разумеется, не

пилила. Лежала себе тихо и спокойно, и была такая красивая…

Некогда его Милли считалась первой красоткой в городе. Теперь ее место заняла дочь.

— Знаешь, я тебе честно скажу. Я ужасно волнуюсь, — сказал Терли.

— Ах, милый, — протянула Милли, — да все с ними в порядке. Здравый смысл у них, слава богу, есть. Не какие-нибудь там полоумные подростки.

— Ты что же, хочешь тем самым сказать, что они не валяются сейчас где-нибудь в канаве, в разбитой машине?

Эти слова разом и окончательно пробудили Милли. Она села в постели, моргая и хмурясь.

— Ты что, и правда думаешь…

— Да, думаю! — рявкнул Терли. — Он дал мне честное благородное слово, что доставит девочку домой в целости и сохранности. И произойти это должно было еще два часа тому назад!

Милли откинула одеяло, спустила босые ноги на пол.

— Ясно, — сказала она. — Теперь я окончательно проснулась. И тоже начала волноваться.

— Давно пора, — буркнул Терли. Демонстративно повернулся к жене спиной и снова уставился

в окно, нервно постукивая большой ступней по радиатору.

— Так мы что же, просто будет ждать и волноваться? — спросила Милли.

— А что ты предлагаешь? — огрызнулся Терли. — Если хочешь позвонить в полицию и узнать, не было ли каких несчастных случаев, можешь не утруждаться. Я позаботился об этом, пока ты пилила дрова.

— И никаких несчастных случаев?.. — еле слышно спросила Милли.

— Никаких, насколько им известно, — ответил Терли.

— Что ж… тогда… это немного ободряет, верно?

— Может, тебя и ободряет, — сказал Терли, — а лично меня — нет. — И покосился на жену. И увидел, что она уже и думать забыла про сон и вполне в состоянии выслушать то, что он собирался ей сказать. — Ты уж извини, дорогая, за прямоту, но у меня сложилось впечатление, что ты относишься ко всей этой истории, как к развлечению или каникулам. И ведешь себя так, будто это тебя, а не Нэнси, вывозит на прогулку в своем авто мощностью в триста лошадиных сил этот богатенький смазливый щенок. Будто это неслыханная честь какая!..

Милли встала и смотрела обиженно и растерянно.

— Каникулы? — пролепетала она. — Я?..

— Думаешь, я ничего не замечаю? Специально распустила волосы, чтоб выглядеть моложе и симпатичнее. На тот случай, если он вдруг заглянет, когда, наконец, привезет нашу девочку домой.

Милли прикусила губу.

— Просто подумала, если он вдруг зайдет и начнется скандал, эти бигуди в волосах… будет еще неприличнее и хуже…

— А ты, конечно, считаешь, что обязательно должен быть скандал, да? — спросил Терли.

— Не знаю. Ты глава семьи, тебе видней. Поступай, как считаешь нужным. — Милли подошла к мужу, легонько дотронулась до его плеча. — Милый, — протянула она, — лично я тоже не вижу в том ничего хорошего. Нет, честно, нет. И тоже изо всех сил стараюсь сообразить, как сейчас лучше поступить и что сделать.

— К примеру? — спросил Терли.

— Почему бы тебе не позвонить его отцу? — сказала Милли. — Может, он знает, где они. Или какие у них были планы.

Это предложение подействовало на Терли

самым странным образом. Он продолжал возвышаться над Милли, но уже словно бы не властвовал ни над домом, ни над своей маленькой босоногой женой.

— Да, замечательно, ничего не скажешь! — протянул он.

И, хотя произнес эти слова достаточно громко, прозвучали они глухо, точно рокот большого барабана.

— Почему нет? — не унималась Милли.

Терли был больше не в силах смотреть на жену. Поднес часы к окну, взглянул на циферблат.

— Просто замечательно, — повторил он, обращаясь к городку, утопавшему в лунном свете. — Вытащить самого Л.Ч. Рейнбека из постели! «Привет, Л.Ч. Это Т.У. Что, черт побери, делает до сих пор ваш сын с моей дочуркой, а?» — и Терли с горечью расхохотался.

Милли, похоже, не поняла мужа.

— Но ты имеешь полное право позвонить ему, как и любому другому человеку, если считаешь дело срочным и важным, разве нет? — спросила она. — Просто я хочу сказать, все люди свободны и равны в такой поздний час.

— Говори за себя! — огрызнулся Терли. — Может, это ты считаешь себя свободной и равной с

великим Л.Ч. Рейнбеком, но лично я таковым себя никогда не считал! Более того, и не собираюсь.

— Просто я хотела сказать, что и он тоже человек, — продолжала гнуть свое Милли.

— Да, в этих вопросах ты у нас настоящий эксперт, — проворчал Терли. — Чего не скажешь обо мне. Уж он-то никогда не возил меня на танцы в загородный клуб.

— Меня тоже не возил, не волнуйся, — заметила Милли. — Он вообще не любит танцевать. — Она тут же поправилась: — Вернее, не любил.

— Пожалуйста, не засоряй мне голову всеми этими подробностями среди ночи! — взмолился Терли. — Получается, что он все-таки тебя вывозил, пусть даже не на танцы. И делал с тобой все, что ему вздумается. И уж кому, как не тебе, знать, на что он способен.

— Но дорогой, — жалобно возразила Милли, — он и вывозил меня всего-то один раз, поужинать, в «Голубую мельницу». Да, и еще раз, в кино. Помню, мы смотрели «Тонкого человека». Причем заметь, говорил только он, а я слушала. И ничего интересного или там романтичного в его разговорах не было. Просто рассуждал вслух о том, что собирается превратить свою фабрику по производству абразивных материалов в фарфоро-

вый завод. Что якобы сам собирается сделать все чертежи и расчеты. Но так и не сделал. И никакой я не эксперт по Луису Ч. Рейнбеку. — Она прижала ладонь к груди. — Я уж скорее эксперт по тебе.

Терли то ли хмыкнул, то ли хрюкнул нечто нечленораздельное.

— Что, милый? — спросила Милли.

— По мне? — раздраженно воскликнул Терли. — Стало быть, ты считаешь себя экспертом… по мне?

Милли беспомощно всплеснула руками. Терли не заметил этого жеста.

Он стоял, неподвижный и твердый, как скала, но все больше заводился. И внезапно сорвался с места и неуклюже, но стремительно бросился к телефону, что стоял на тумбочке возле постели.

— А почему действительно ему и не позвонить? — прорычал он. — Почему бы и не позвонить?..

Толстыми негнущимися пальцами он листал телефонную книгу в поисках номера Рейнбека, а про себя думал: интересно, сколько людей из компании осмеливались поднять своего босса с постели по ночам?

Начал набирать номер, повесил трубку, стал набирать снова. Похоже, храбрость его таяла с каждой секундой.

Милли была не в силах видеть это.

— Да не спит он, не спит, — сказала она, чтоб подбодрить мужа. — У них сегодня вечеринка.

— У них сегодня что? — рассеянно спросил Терли.

— У Рейнбеков сегодня вечеринка. Может, только что кончилась.

— Откуда тебе знать? — спросил Терли.

— Было напечатано в газете, в разделе светских новостей. Кроме того, — продолжила Милли, — можешь пойти на кухню и посмотреть сам. Горит у них в доме свет или нет.

— Так что же это получается? Выходит, дом Рейнбеков виден с нашей кухни? — спросил Терли.

— Конечно! — воскликнула Милли. — Только надо пригнуться пониже и наклонить голову немного набок. И тогда в самом уголке окна будет виден дом Рейнбеков.

Терли как-то странно кивнул и задумчиво и изучающе уставился на жену. Потом опять набрал номер Рейнбеков, услышал два гудка и повесил трубку. Теперь он снова доминировал над женой, домом, всеми его комнатами.

Милли поняла, что допустила страшную ошибку. И готова была проглотить свой болтливый

язык.

— Так значит, ты всегда читаешь в газетах, что делают и чем занимаются эти самые Рейнбеки? — медленно начал Терли.

— Но дорогой, — возразила Милли, — все женщины читают колонку светских новостей. И это ровным счетом ничего не значит. Согласна, глупое, пустое занятие. Но что еще читать, когда приходят газеты? Все женщины это делают.

— Конечно, — насмешливо протянул Терли. — Ясное дело. Но многие ли из них могут сказать себе: «А я проводила время с мистером Луисом Ч. Рейнбеком»?

Терли изо всех сил старался сохранять спокойствие. Говорил с Милли чуть ли не отеческим тоном, словно давая понять, что заранее готов простить жене все.

— Так тебя действительно волнует, что произошло с двумя ребятишками, затерявшимися неведомо где в свете луны? — спросил он. — Или хочешь и дальше притворяться, что этот инцидент — единственное, о чем думает сейчас каждый из нас?

Милли похолодела.

— Что-то я тебя не пойму… — пробормотала она.

— По сто раз на дню чуть ли не шею себе сворачиваешь, подглядывая из кухонного окна за тем, что творится в доме Рейнбеков, в их большом и красивом белом доме, и якобы не понимаешь, что я имею в виду? — взорвался Терли. — Наша девочка болтается неизвестно где. Ночью, с парнем, который в один прекрасный день станет хозяином этого самого дома, а ты якобы не понимаешь, что я хочу сказать? Распустила волосы, пялишься на луну, слышать не желаешь ни единого моего слова и делаешь вид, что не понимаешь? — Терли удрученно покачал большой величественной головой. — Нет, это просто ни в какие ворота не лезет!

В большом белом доме на холме зазвонил телефон. Издал два гудка — и снова умолк. Луис Ч. Рейнбек сидел в это время под светом луны, на лужайке, в белом металлическом кресле. И глядел на поле для гольфа с таким приятным глазу мягким уклоном, на открывающееся за ним пространство и город. Ни одно из окон в большом белом доме освещено не было. И он подумал, что его жена Натали уже спит.

Луис пил. Лично ему всегда казалось, что от лунного света мир не выглядит хоть сколько-нибудь лучше. Точно все вокруг вымерло, как

на Луне.

Зазвонил телефон. Издал два гудка и смолк — что вполне соответствовало мыслям и настроению Луиса. Звонок телефона был приятным штрихом — обозначал некое срочное дело, которое может и подождать.

— Лишь взбаламутил ночь, а потом, видите ли, повесил трубку. — Эти слова Луис Ч. Рейнбек произнес вслух.

Вместе с домом и компанией «Рейнбек Эбрейсивс» он унаследовал от отца и деда глубокое и приносящее удовлетворение ощущение, что он, Рейнбек, совершенно развращен коммерцией. И, подобно своим предкам, считал себя исключительным и тонким знатоком фарфора, человеком, способным создавать самые замечательные его образчики. Вот только не повезло — родился не в том месте и не в то время.

После двух прозвучавших в глубине дома звонков в дверях, словно по заказу, возникла жена Луиса. Натали была холодной и субтильной девушкой из Бостона. И ее роль сводилась к тому, чтобы не понимать мужа. И исполняла она эту роль, надо сказать, просто блестяще, разбирая на части и анализируя все перепады его настроения — точно опытный механик детали какого-нибудь

механизма.

— Слышал телефонный звонок? — спросила она мужа.

— А?.. Ах, ну да. Ага, — ответил Луис.

— Позвонил, а потом перестал, — сказала Натали.

— Знаю, — ответил Луис. И глубоко вздохнул, как бы предупреждая тем самым жену, что вовсе не желает обсуждать с ней ни телефонный звонок, ни что-либо другое, творящееся в доме, как и подобает истинному янки.

Но Натали проигнорировала предупреждение.

— Интересно, — сказал Луис.

— Может, кто-то из гостей забыл что-нибудь? Ты ничего такого не заметил, никаких посторонних предметов?

— Нет, — ответил Луис.

— Сережку, что-нибудь еще в этом роде… — продолжала Натали. На ней был бледно-голубой, похожий на облако, пеньюар, подарок мужа. Однако появление ее в неглиже не имело должного подтекста, поскольку она тащила за собой по лужайке тяжеленное металлическое кресло. Хотела посидеть рядом с мужем. Подлокотники кресел щелкнули, соприкоснувшись. Луис едва успел убрать пальцы.

Натали уселась.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — ответил Луис.

— Какая луна, а?

— Ага, — буркнул Луис.

— Наверное, люди славно проводят время в такую ночь, — заметила Натали.

— Почем мне знать, — буркнул Луис. — К тому же лично мне так не кажется, — тем самым он как бы хотел подчеркнуть, что на сборищах, подобных сегодняшней вечеринке, он, Л.Ч. Рейнбек, всегда оказывался единственным художником и философом в душе. А все остальные были просто бизнесменами.

Натали было не привыкать. И она пропустила это его замечание мимо ушей.

— А во сколько приехал Чарли? — осведомилась она. Чарли был их единственным сыном, полностью именовался Луисом Чарльзом Рейнбеком-младшим.

— Не помню, — ответил муж. — Он мне не докладывается. Как и все остальные в доме.

Натали, доселе мирно любовавшаяся луной, с тревогой подалась вперед.

— Так его что, до сих пор еще нет? — спросила она.

— Не имею ни малейшего понятия, — ответил Луис.

Натали вскочила.

И, щурясь, стала всматриваться в ночь, пытаясь разглядеть машину Чарли в тени гаража.

— А с кем он сегодня встречался? — спросила она.

— Он со мной не разговаривает, — напомнил муж.

— С кем? — не отставала Натали.

— Ну, если не сам с собой, то непременно с кем-то еще, кого ты, как всегда, не одобряешь, — сказал Луис.

Но жена уже не слышала его. Она бежала к дому. Снова зазвонил телефон, и трезвонил до тех пор, пока Натали не подошла.

Она протянула трубку мужу.

— Какой-то человек по имени Терли Уайтмен, — сказала она. — Говорит, что один из твоих охранников.

— На заводе что-то случилось? — сказал Луис и взялся за телефон. — Не иначе пожар?

— Да нет, — ответила Натали, — ничего такого серьезного. — По опыту Луис уже знал, что случилось нечто гораздо худшее. — Вроде бы наш сын повез куда-то дочку мистера Терли, и они долж-

ны были вернуться несколько часов тому назад. Ну и понятно, мистер Терли очень волнуется о своей дочери.

— Мистер Терли? — бросил Луис в телефонную трубку.

— Терли всего лишь мое имя, сэр, — ответил Терли. — А полностью я Терли Уайтмен.

— Пойду наверх и послушаю через второй аппарат, — шепнула Натали. И, подобрав пышные полы пеньюара, помчалась наверх крупными скачками на мужской манер.

— Вы, наверное, меня не помните, хотя видели, — сказал Терли. — Я охраняю автостоянку возле главного здания.

— Ну, конечно, помню, почему нет. И имя, и все прочее, — солгал Луис. — Так что там произошло с моим сыном и вашей дочерью?

Но Терли еще не был готов подойти к сути дела. Продолжал знакомить босса со своей семьей.

— А мою жену вы уж наверняка знаете куда лучше, чем меня, сэр, — добавил он.

В трубке послышался тихий и удивленный женский возглас.

Сперва Луис не понял, кто издал этот жалобный вскрик — его жена или супруга Терли. Но когда услышал, что на другом конце линии, видимо,

происходит борьба и кто-то пытается повесить трубку, понял, что это у Терли. И что, по всей видимости, жена этого самого Терли не хочет, чтоб в разговоре упоминалось ее имя.

Но Терли был настроен решительно и выиграл борьбу.

— Вы знали ее еще под девичьей фамилией, — сказал он. — Милли… Милли О'Ши.

Все протесты на том конце провода прекратились. И это стало для Луиса потрясением. Потрясение усугублялось еще и тем, что он вдруг вспомнил молоденькую хорошенькую и пылкую Милли О'Ши. Он не думал о ней вот уже много лет, понятия не имел, что с ней сталось.

Но стоило только упомянуть ее имя, и Луису показалось, что все это время он думал о ней постоянно — с того самого момента, когда они обменялись прощальным поцелуем в свете луны. А было это страшно давно.

— Да, да, конечно, — пробормотал Луис. — Да, я… я очень хорошо ее помню, — и ему вдруг захотелось плакать — по утраченной молодости, по всему тому, что некогда связывало молодых возлюбленных.

После упоминания имени Милли Терли повел разговор с великим Луисом Ч. Рейнбеком в

нужном ему русле. Произошло чудо — равенство торжествовало. Терли и Луис беседовали, как мужчина с мужчиной, отец с отцом. И Луис даже бормотал какие-то невнятные извинения, когда речь заходила о его сыне.

Затем Луис поблагодарил Терли за то, что тот позвонил в полицию. На его месте он бы поступил в точности так же. Мало того, теперь он сам, лично, позвонит в полицию. И если что-то узнает, тут же перезвонит Терли. Обращаясь к Терли, Луис называл его «сэр».

Страшно возбужденный, Терли повесил трубку.

— Передает тебе большой привет, — сказал он Милли. Но, обернувшись, увидел, что говорит в пустоту. Босоногая Милли бесшумно выскользнула из комнаты.

Терли нашел ее на кухне. Она подогревала кофе на новой электроплите. Плита называлась «Глобмастер». И у нее была очень сложная панель управления. Сбылась давнишняя и самая заветная мечта Милли — завести в доме плиту «Глобмастер». Далеко не все заветные мечты Милли о приобретении хороших вещей сбывались.

Кофе уже кипел, кофейник шипел и плевался. Милли, казалось, не замечала этого, хотя и

смотрела на кофейник с видом крайнего сосредоточения. Вот кофейник плюнул кипятком и обжег ей руку. И тут вдруг Милли разрыдалась, поднесла руку ко рту. И увидела мужа.

Хотела было проскочить мимо него в коридор, но он крепко ухватил ее за плечо.

— Милая, — как-то заторможенно произнес он. И выключил свободной рукой «Глобмастер». — Милли…

Милли отчаянно старалась вырваться. Но Терли с легкостью удерживал ее, по-видимому, даже не осознавая, что причиняет жене боль. Наконец Милли утихла, ее славное личико раскраснелось и было искажено гневом.

— Может, все-таки скажешь мне, дорогая, что не так? — спросил Терли.

— Обо мне не беспокойся, — отрезала Милли. — Лучше думай о людях, которые умирают в канавах.

Терли отпустил ее.

— Я сказал что-то не то? — похоже, растерянность его была ничуть не наигранной.

— Ах, Терли, Терли, — пробормотала Милли. — Вот уж не думала, не гадала, что ты можешь причинить мне боль. Мне больно! Очень больно!.. — И она сложила ладошки лодочкой, точно

держала в них нечто страшно ценное. А потом разжала пальцы и выронила драгоценность из рук на пол.

Терли проследил взглядом за этим воображаемым предметом.

— Только потому, что я назвал ему твое имя? — спросил он.

— Когда… когда ты сказал ему мое имя… Это не просто имя, ты тем самым сказал гораздо больше. — Ей хотелось простить мужа, но это было выше ее сил. — Думаю, ты сам не понимаешь, что делаешь и говоришь. Не мог понять…

— Да я всего-то и сказал, как тебя зовут, вот и все, — пытался оправдаться Терли.

— Для Луиса Ч. Рейнбека это было более, чем достаточно! — пылко заметила жена. — И он тут же вообразил, что женщина, с которой он двадцать лет тому назад встречался пару раз, с тех пор ни о ком другом и думать не желает! И говорить — тоже. И что ее муж знает об этих двух дурацких свиданках и страшно ими гордится. Как она. Даже больше!

Милли пригнулась, склонила голову набок и выглянула из окна. И указала пальцем на яркие отблески белого света в самом уголке этого окна.

— Вот, посмотри, полюбуйся, — сказала она.

— Великий Луис Ч. Рейнбек зажег в своем доме все огни. В знак того, что я любила его все эти годы, — огни в доме Рейнбеков тут же погасли. — А теперь погасил и сидит где-нибудь в свете луны. И думает о бедной маленькой женщине, и ее бедном маленьком муже, и их беспутной маленькой дочурке. — Милли содрогнулась. — Так вот! Никакие мы не бедные! Во всяком случае, не были ими до сих пор.

Великий Луис Ч. Рейнбек вернулся к своей выпивке и белому металлическому креслу на лужайке. Он позвонил в полицию, где ему сказали то же самое, что и Терли — ни о каких несчастных случаях или катастрофах им на данный момент ничего не известно.

Натали снова вышла и снова уселась рядом с мужем. Пыталась обратить на себя его внимание, хотела, чтоб он видел ее насмешливую и одновременно встревоженную покровительственную улыбку. Но Луис на нее не смотрел.

— Так ты знал… мать этой девочки? — спросила она.

— Знал, — буркнул муж.

— И вывозил ее на прогулки по ночам? Таким, как сегодня? Полная луна и все такое прочее, да?

— Давай откопаем в доме календарь двадцати-

летней давности и посмотрим, какие в том году были фазы луны, — сухо ответил Луис. — Полнолуния, как тебе, наверное, известно, избежать нельзя. Оно случается раз в месяц.

— А какая была луна в день нашей свадьбы? — спросила Натали.

— Полной? — не слишком уверенно ответил Луис.

— А вот и нет, — сказала Натали. — Молодой. Молоденький такой, новорожденный месяц.

— Ну, женщины, они вообще как-то чувствительней к разным мелочам, — заметил Луис. — Обращают внимание на всякую там ерунду.

И сам себе удивился — до чего же сварливый, раздражительный у него голос. А уж что касается памяти, так она проделывала с ним самые странные шутки. Он ничего не помнил об их с Натали медовом месяце. Напрочь вылетело из головы.

Зато он прекрасно и в самых мельчайших подробностях помнил ту ночь, когда они с Милли О'Ши гуляли по полю для гольфа. И луна в ту ночь была особенно яркой и полной.

А Натали меж тем все говорила и говорила что-то. И когда наконец умолкла, Луис попросил ее повторить все с самого начала. Ибо он не слышал ни слова.

— Я сказала: «На что это похоже?» — повторила Натали.

— Что на что похоже?

— Быть молодым горячим самцом с фамилией Рейнбек, когда кровь кипит в жилах, а сердце разрывается от желания. Когда ты сбегаешь с холма рука об руку с самой хорошенькой в городе девушкой, гуляешь с ней под луной! — Она расхохоталась. — Должно быть, божественное ощущение.

— Да нет, — буркнул в ответ Луис.

— Значит, не божественное?

— Божественное? Да я сроду за всю свою жизнь ни разу не чувствовал себя так… по-человечески! — Луис отбросил пустой бокал, запустил им в темноту, в сторону поля для гольфа. И при этом ему страшно захотелось стать сильным и метким, и угодить бокалом в то самое место, где Милли наградила его прощальным поцелуем.

— Тогда будем надеяться от всей души, что наш Чарли женится на этой крутой малышке из города, — сказала Натали. — Пусть на свете больше не будет холодных и бездушных жен Рейнбеков, вроде меня. — Она встала. — Давай смотреть правде в глаза. Ты был бы в тысячу раз счастливее, если б женился тогда на этой самой Милли О’Ши!

И она отправилась спать.

— К чему обманывать самих себя? — спросил Терли Уайтмен жену. — Ты была бы в миллион раз счастливее, если б вышла замуж за Луиса Рейнбека. — Он вернулся на свой пост, у окна в спальне. И снова смотрел в ночь, и снова нервно постукивал большой ступней по радиатору.

Милли присела на краешек кровати.

— Ни в миллион раз, ни даже в два раза, ни в тысячную долю раз, — возразила он. — И, пожалуйста, Терли, прекрати молоть чушь. Я просто больше не вынесу, это безумие какое-то!

— Ну да, как же! Только что, на кухне, ты называла вещи своими именами, — заметил Терли. — Закатила целый скандал из-за того, что я, видите ли, назвал твое имя самому великому Луису Рейнбеку! Позволь теперь и мне назвать вещи своими именами. И сказать, что ни один из нас не хочет, чтобы наша дочь повторила твою ошибку.

Милли подошла к мужу, обняла его.

— Терли, прошу тебя, пожалуйста, перестань! Ничего глупее и противнее в жизни от тебя не слышала!

Терли налился краской, набычился, стоял упрямо и не сдаваясь, как статуя.

— Помню, сколько всего наобещал тебе тогда,

Милли, — сказал он. — Помню всю эту болтовню. Ни один из нас тогда не считал, что работать охранником на автостоянке — это предел мечтаний, а не работа.

Милли затрясла мужа, но ничего тем самым не добилась.

— Мне плевать, какая у тебя работа! — воскликнула она.

— Я собирался сделать больше денег, чем у великого Л.Ч. Рейнбека, — сказал Терли. — Причем, заметь, собирался сделать их сам, без чьей-то там помощи. Помнишь, Милли? Это тебя и подкупило, верно?..

Она тут же отдернула руки.

— Нет, — сказала она.

— Тогда что же? Моя непревзойденная красота? — спросил Терли.

— Вот это уже ближе к истине, — сказала Милли. В ту пору они считались самой эффектной парочкой в городе. — Но в основном, — продолжила она, — всему виной великий Луис Ч. Рейнбек. И еще луна.

* * *

Великий Луис Ч. Рейнбек находился в спальне. Жена лежала в постели, закутавшись с головой в

одеяло. До чего же обманчиво уютна эта комната, создает иллюзию романтики и неумирающей любви — вне зависимости от того, что в ней происходит.

Правда, до сих пор все, что происходило в этой комнате, было относительно приятно. Теперь же вдруг выяснилось, что браку Луиса и Натали настал конец. Когда Луис все же решился и отдернул одеяло, ему открылось опухшее от слез лицо жены. И сразу стало ясно — это конец.

Луис чувствовал, что глубоко несчастен. Он был не в силах понять, как это все могло развалиться, разлететься в прах, причем столь стремительно и внезапно.

— Да я… я об этой Милли О'Ши лет двадцать как не вспоминал, — пробормотал он.

— Пожалуйста, не надо! Только не лги! Не надо ничего объяснять, — сказала Натали. — Я и без того все прекрасно понимаю.

— Клянусь, — сказал Луис, — я не видел ее двадцать лет.

— Верно, — кивнула Натали. — Но это и есть самое худшее. Лучше уж бы ты виделся с ней… встречался, когда захочется. Это было бы куда как лучше, чем все это… это, — она села в постели, судорожно подбирая нужное слово. — Чем все эти

ужасные, пустые, болезненные и бесполезные сожаления и нытье!

И она снова рухнула на подушки.

— Сожаления о Милли? — спросил Луис.

— О Милли, обо мне, об этой дурацкой компании, обо всех тех вещах, которых ты хотел и не добился. О том, что получил, сам того не желая. А мы с Милли — всего лишь наглядный пример, который говорит обо всем!

— Но я… я не любил ее. Никогда не любил, — пробормотал Луис.

— Нет, все-таки она, должно быть, тебе нравилась. С ней ты первый и единственный раз в жизни почувствовал себя человеком, — не унималась Натали. — И то, что происходило между нами в лунном свете… короче, тебе с ней было хорошо. Куда как лучше, чем со мной.

Луис пришел в еще большее смятение. Нет, этот кошмар никогда не кончится! Потому что он знал: Натали говорит правду. В жизни ему не было так хорошо, как тогда, с Милли, под луной.

— Но между нами ничего такого не было, — жалобно пробормотал он. — Совершенно никакой основы для любви. Мы были абсолютно чуждыми людьми. И я совсем не знал ее. И до сих пор не знаю.

Мышцы губ подбородка у него свело, слова выходили с трудом — от сознания того, что вот сейчас он наконец скажет нечто страшно важное и самое главное.

— Я… мне кажется, она была лишь символом моего разочарования в самом себе. Всего того, чего я мог бы добиться и не сумел, — выдавил он.

А затем подошел к окну в спальне и мрачно взглянул на заходящую луну. Свет ее стал еще более плоским и тусклым, и отбрасывал длинные тени на поле для гольфа, зрительно увеличивая его. Обман зрения, игра в ошибочную географию. Он видел флажки, они развевались на ветру там и сям, но ровным счетом ничего не обозначали. Именно здесь разыгралась тогда величайшая любовная сцена в его жизни.

И тут вдруг он все понял.

— Лунный свет… — пробормотал Луис.

— Что? — не поняла Натали.

— Да, именно, должно быть, в нем все и дело! — И Луис рассмеялся, очень уж простым оказалось объяснение. — Нам просто ничего не оставалось, как влюбиться, под такой-то луной! Таковы уж законы природы и этого мира. Во всем виновата луна.

Натали снова села в постели, похоже, она

немного воспрянула духом.

— Самый богатый юноша в городе, самая хорошенькая в городе девушка, — сказал Луис. — Мы ведь не могли подвести луну, верно?

И он опять засмеялся, и заставил жену подняться с постели, подойти к окну и взглянуть на луну вместе с ним. «И там я тогда подумал, что между мной и Милли что-то серьезное, но это было так давно… — Он покачал головой. — А на деле всего лишь красивый обман в лунном свете».

Он подвел жену к постели.

— Ты единственная в мире, кого я всегда любил и люблю. Час назад я этого еще не понимал. Зато теперь знаю.

И все у них с тех пор было замечательно.

— Не стану тебе лгать, — сказала Милли Уайтмен мужу. — Я любила великого Луиса Ч. Рейнбека. Но совсем недолго. Влюбиться там, на поле для гольфа, в свете луны… другого выхода просто не было. Можешь ты это понять или нет? Я была просто вынуждена влюбиться в него, пусть даже мы друг другу не так уж и нравились.

Терли силился представить, как это могло случиться. И понял жену. Но не почувствовал себя от этого счастливее.

— Мы и целовались-то всего один раз, — про-

должила Милли. — И если бы он тогда поцеловал меня как следует, наверное, и правда, была бы я сейчас миссис Луис Ч. Рейнбек. — Она кивнула. — И говорю я тебе все это только потому, что мы сегодня договорились называть вещи своими именами. А как раз перед тем, как поцеловались на том поле для гольфа, я еще подумала: «До чего же несчастный богатый мальчик! Насколько счастливее я смогу сделать его, чем любая холодная злобная кривляка, богатенькая девица из клуба!» А потом, когда он поцеловал меня, я поняла, что он меня не любит. Никогда и ни за что не полюбит. И тот поцелуй оказался прощальным.

— Вот в том-то и была твоя ошибка, — заметил Терли.

— Нет, — ответила Милли. — Потому что второй парень, с которым я целовалась, делал это как надо. Показал, что знает, что такое любовь. Пусть даже никакой луны тогда на небе не было. И с тех пор я жила с ним счастливо. До сегодняшнего дня. — Она крепко обняла мужа. — А теперь поцелуй меня скорей. Как тогда, в первый раз. И я снова буду счастлива.

Терли выполнил ее просьбу. Теперь и у них тоже все было хорошо.

Примерно минут через двадцать в обоих домах

зазвонили телефоны. Смысл сообщений сводился к тому, что с Чарли Рейнбеком и Нэнси Уайтмен все в полном порядке. Однако эта парочка по-своему интерпретировала значение лунного света. Они решили, что Прекрасный Принц и Золушка имеют полное право жить вместе долго и счастливо. И поженились.

И вот образовалась новая семья. А все ли у них будет хорошо, мы еще посмотрим. Луна сделала свое дело и ушла за горизонт.

Найди мне мечту

© Перевод. А. Аракелов, 2021

Если коммунисты еще надеются побить демократический мир в производстве канализационных труб, им придется поднапрячься — всего лишь один завод в Креоне, штат Пенсильвания, производит труб вдвое больше, чем Россия и Китай, вместе взятые. Это чудное предприятие называется Креонский завод и принадлежит Сталепрокатно-сталелитейной компании.

Директор завода, Эрвин Бордерс, говорит всем инженерам-новичкам: «Если вам не нравятся канализационные трубы, вам не понравится у нас в Креоне». Сам Бордерс, сорокашестилетний холостяк, с гордостью носит прозвище Мистер Труба.

Креон — город труб. Футбольная команда местной школы зовется «Креонские трубники». Единственный загородный клуб в округе — гольф-клуб «Труба-сити».

В холле клуба действует постоянная экспозиция различных видов труб, а оркестрик, который по пятницам играет на танцах, называется «Энди Миддлтон и Креонские трубадуры».

В один из таких летних вечеров Энди Миддлтон оставил своих подчиненных на попечение клавишника и вышел на поле для гольфа — расслабиться и подышать воздухом. К своему удивлению, он обнаружил там плачущую молодую женщину. Энди не встречал ее раньше — а он тут родился и прожил двадцать пять лет.

Энди спросил, чем он может ей помочь.

— Спасибо, — сказала она. — Все нормально. Ничего страшного.

— Ага, — согласился Энди.

— Нет, правда, у меня постоянно глаза на мокром месте. Я могу расплакаться совсем без причины.

— Ваших близких, наверное, это не радует?

— И не говорите.

— Зато это может пригодиться на похоронах тех людей, которых вы не любили.

— В индустрии канализационных труб это точно не пригодится, — вздохнула она.

— А вы занимаетесь трубами? — спросил Энди.

— А разве не все в этом городе занимаются трубами?

— Я — нет.

— И как же вы добываете себе пропитание?

— Торчу на сцене со своим оркестром, даю уро-

ки музыки и все в таком духе.

— О господи, музыкант, — всхлипнула она и отвернулась.

— Это плохо? — удивился он.

— Видеть вас не хочу, всех до единого!

— В таком случае закройте глаза, и я уйду от вас на цыпочках, — сказал он. Но не ушел.

— Это ваш оркестр сегодня играет? — спросила она.

Музыка была слышна на удивление ясно.

— Он самый.

— Можете остаться.

— Не понял.

— Вы — не музыкант, — заявила девушка. — У музыканта от такой музыки завяли бы уши и случился удар.

— Вы первая, кто в нее вслушался, — признался он.

— Я вам, наверно, поверю, — сказала она. — Эти люди не слышат ничего, кроме разговоров о своих трубах. Когда они танцуют, они хотя бы придерживаются ритма?

— Когда они что?

— Что — что? Танцуют.

— Да кто здесь танцует? — усмехнулся Энди. — Мужчины проводят весь вечер в раздевалке,

пьют, играют в кости и говорят о канализационных трубах, а женщины сидят на террасе, обсуждают то, что подслушали из разговоров мужей о канализационных трубах, вещи, которые они купили на деньги от продажи труб, и вещи, которые они бы хотели купить на деньги от продажи труб.

Девушка снова заплакала.

— Опять ничего страшного? — спросил Энди. — Опять все нормально?

— Все нормально, — ответила она. В этот момент нестройный, фальшивый маленький бэнд в пустой танцевальной комнате издал серию хрипов и визгов. — Боже мой, за что же ваш оркестр так ненавидит музыку?

— Так было не всегда, — сказал он.

— А что случилось?

— Они поняли, что навсегда застряли в Креоне и что никто в Креоне не будет их слушать. Если бы сейчас я пошел и сказал им, что прекрасная девушка слушает их и плачет, то они попытались бы вспомнить кое-что из своих прежних талантов — и показать вам, на что способны.

— А вы на чем играете? — спросила она.

— На кларнете. А хотите, пока вы тут плачете в одиночестве, мы сыграем оттуда что-нибудь

специально для вас?

— Нет, — сказала она. — Спасибо за предложение, но мне не хочется музыки.

— Транквилизаторы? Аспирин? Сигареты, жвачка, конфеты?

— Чего-нибудь выпить, — сказала она.

Протискиваясь через забитый бар, носивший гордое название «Веселый трубник», Энди получил массу полезной информации по трубному бизнесу. Оказывается, Кливленд закупил много дешевых труб производства другой компании, и через двадцать лет Кливленд об этом сильно пожалеет. Он узнал, что ВМФ не просто так одобрил креоновские трубы для всех видов зданий, и жалеть об этом никому не придется. Мало кто знает, услышал он, что весь мир просто-напросто потрясен достижениями американской трубопрокатной индустрии.

Еще он узнал, кем была та женщина. На танцы ее привел Эрвин Бордерс, директор Креонского завода. Он встретил ее в Нью-Йорке. Малоизвестная актриса, вдова джазового музыканта, мать двух совсем маленьких дочек.

Все это Энди узнал от бармена. В бар зашел Эрвин Бордерс, сам Мистер Труба. Он вытягивал шею и вертел головой, явно кого-то разыскивая.

В руках он держал два стакана — лед в них успел растаять.

— Ее так нигде и не видно, мистер Бордерс, — крикнул ему бармен.

Бордерс огорченно кивнул и вышел.

— Кого нигде не видно? — спросил Энди у бармена.

И бармен выдал ему все, что знал про вдову. И шепотом добавил, что, по его мнению, в Илиуме, в штаб-квартире Сталепрокатно-сталелитейной компании, знают об этом романе и не очень его одобряют.

— Ну скажи на милость, — спросил бармен у Энди, — что молодой нью-йоркской актрисе делать у нас в Креоне?

Женщина называла себя сценическим псевдонимом, Хильди Мэтьюс. Бармен понятия не имел, кто был ее мужем.

Энди зашел в зал для танцев, чтобы попросить своих Трубадуров играть немного приличнее — для плачущей женщины на поле для гольфа, — но застал там еще и Эрвина Бордерса. Бордерс, грузный, серьезный дядька, попросил группу сыграть «Индейский зов любви» как можно громче.

— Громче? — удивился Энди.

— Чтобы она услышала и пришла сюда, — ска-

зал Бордерс. — Ума не приложу, куда она запропастилась. Оставил ее на террасе, с женщинами… всего на минуту! А она словно испарилась.

— Может, ей надоели разговоры о трубах? — спросил Энди.

— Трубы ее очень даже интересуют, — сказал Бордерс. — От женщины с такой внешностью трудно этого ожидать, но мои рассказы о заводе она может слушать часами. И ей никогда не бывает скучно.

— А «Зов любви» ее вернет?

Бордерс промямлил что-то неразборчивое.

— Прошу прощения?

Бордерс покраснел и насупился.

— Я сказал, — буркнул он, — что это наша мелодия.

— Понятно, — кивнул Энди.

— И зарубите себе на носу: я собираюсь на ней жениться, — сказал Бордерс. — Сегодня мы объявим о нашей помолвке.

Энди отвесил легкий поклон.

— Поздравляю. — Он поставил стаканы на стул и взял в руки кларнет. — «Индейский зов любви», ребята. И погромче!

Музыканты замешкались. Они не торопились играть, все пытались что-то сказать.

— Что случилось? — спросил Энди.

— Прежде чем мы начнем, — сказал клавишник, — тебе не мешало бы узнать, для кого мы играем, для чьей вдовы.

— И чьей?

— Я и не знал, что он так знаменит, — встрял Бордерс. — Упомянул его имя, и твои ребята чуть со стульев не попадали.

— Кто?

— Наркоман, алкоголик, избивавший жену, донжуан, которого в прошлом году застрелил ревнивый муж-рогоносец, — возмущенно сообщил Бордерс. — Не понимаю, что вы все так восхищаетесь этим типом?

И он назвал имя человека, который, наверное, был величайшим джазменом всех времен и народов.

— Я решила, что вы уже не придете, — сказала она, увидев Энди.

— Пришлось играть песню на заказ. Кое-кто попросил нас сыграть «Индейский зов любви», громко, во всю мочь.

— А! — сказала она.

— Вы слышали и не пришли?

— А что, от меня этого ждали?

— Он сказал, что это «ваша мелодия».

— Это он так считает. Думает, что это лучшая песня в мире.

— А как вы вообще познакомились? — спросил Энди.

— У меня совсем не было денег, я искала работу, все равно какую. В Нью-Йорке Сталепрокатно-сталелитейная компания отмечала юбилей. Им нужна была актриса для торжественного открытия. Роль получила я.

— И какую?

— Меня нарядили в золотую фольгу, дали корону из водопроводных тройников и представили, как Мисс Новые Возможности Трубопрокатного Бизнеса в Золотые Шестидесятые. На этом мероприятии присутствовал и Эрвин Бордерс.

Она залпом осушила стакан.

— Будем, — сказала она.

— Будем, — согласился он.

Она отобрала у него второй стакан.

— Извините, но мне надо выпить и это тоже.

— И еще десять стаканов?

— Если этот десяток стаканов даст мне силы вернуться к этим людям, этим огням, этим трубам, я выпью все десять. И даже больше.

— Что, так все плохо? — спросил он.

— Зачем я вышла сюда? — выдохнула она. —

Лучше бы я оставалась там!

— Иногда самая большая ошибка, — сказал Энди, — это отойти в сторонку и задуматься. Очень легко потерять решимость.

— Ансамбль играет так тихо, что я почти не слышу музыки, — заметила она.

— Они знают, чья вдова их слушает, — сказал он, — и замолкли бы совсем, если бы могли.

— Вот как. Они знают. И вы знаете.

— Он… Он что, ничего вам не оставил?

— Долги. Двух дочерей, за которых я ему благодарна.

— А его труба?

— Похоронена вместе с ним. Вы могли бы принести мне еще выпить?

— Еще один стакан, и вы отправитесь к жениху ползком.

— Я вполне способна о себе позаботиться. И не надо меня опекать.

— Простите.

Женщина легонько, мелодично икнула.

— Как же не вовремя, а… Но это не от выпивки!

— Да, я вам верю.

— Не надо. Не верите, я знаю. Хотите, проведем тест? Что мне сделать? Пройти по прямой или

сказать какое-нибудь заковыристое слово?

— Не нужно.

— Вы же не верите, что я люблю Эрвина Бордерса? — спросила она. — Так вот что я вам скажу: любить у меня получается лучше всего. Не притворяться, а любить, любить по-настоящему. Когда я кого-то люблю, я не сомневаюсь и не раздумываю. Я иду до конца — а сейчас я люблю Эрвина Бордерса.

— Каков счастливчик.

— Хотите скажу, как много я знаю о производстве труб?

— Ну, давайте.

— Я прочла целую книгу о том, как делаются трубы. Пошла в библиотеку и взяла книгу о трубах, только о них.

— И о чем в ней говорится?

С запада, от теннисных кортов, донеслось далекое воркование. Бордерс прочесывал окрестности клуба в поисках своей Хильди.

— Хильди-и-и-и! — кричал он. — Хильди?

— Мне крикнуть «ау»? — спросил Энди.

— Шш-ш, — зашипела она. И снова тихонько икнула.

Эрвин Бордерс повернул в сторону стоянки, его призывы стали тише, а потом смолкли совсем,

утонув в окружающей темноте.

— Вы собирались рассказать мне про трубы, — напомнил Энди.

— Давайте лучше поговорим о вас.

— И что вы хотите узнать обо мне?

— А вас обязательно спрашивать или сами придумаете?

Он пожал плечами.

— Провинциальный музыкант. Холостяк. Были красивые мечты. Все впустую.

— Какие мечты?

— Стать музыкантом хотя бы наполовину таким, как ваш муж. Хотите слушать дальше?

— Я люблю слушать чужие мечты.

— Вот, к примеру — любовь.

— Вы никогда не любили?

— Думаю, я бы заметил.

— Можно задать вам нескромный вопрос?

— Про мои способности великого любовника?

— Нет. Это был бы очень глупый вопрос. Я уверена, что в молодости все мужчины — потенциально великие любовники. Просто нужен шанс.

— Задавайте свой нескромный вопрос, — напомнил Энди.

— Сколько вы зарабатываете?

Он ответил не сразу.

— Слишком нескромный, да? — спросила она.

— Да нет, думаю, не умру, если отвечу. — Он произвел в голове кое-какие расчеты и выдал ей честный отчет о своем финансовом положении.

— Ну, весьма неплохо, — сказала Хильди.

— Больше школьного учителя, меньше школьного уборщика, — пошутил он.

— Вы живете в квартире или где?

— В большом старом доме, унаследованном от родителей.

— Если так подумать, вы неплохо устроились, — сказала она. — А вы любите детей? Девочек?

— Вам не кажется, что пора возвращаться к жениху?

— Мои вопросы становятся все более и более нескромными. Ничего не могу поделать, моя жизнь тоже была нескромной. Дикие, очень нескромные вещи происходят со мной всю жизнь.

— Я думаю, нам лучше сменить тему.

Она не обратила внимания на его слова.

— Вот, например, когда я молюсь, чтобы в моей жизни появились определенные люди, они появляются. Когда я была совсем молодой, то молилась, чтобы в меня влюбился великий му-

зыкант — так и случилось. И я тоже его любила, хотя он, наверно, был худшим из всех мужей, каких только можно представить. Вот как я умею любить.

— Аллилуйя, — пробормотал он.

— Потом, когда умер мой муж и мне нечего было есть, меня достали круглосуточные скандалы, я молилась о солидном, внимательном и богатом бизнесмене.

— Так и случилось, — сказал Энди.

— А теперь, когда я вышла сюда, убежала от людей, которые живут только трубами… знаете, о чем я молилась?

— Не-а.

— Чтобы мне принесли выпить. Только и всего. Клянусь честью, больше ни о чем.

— И я принес вам два стакана.

— Но это не все, — сказала она.

— Да?

— Мне кажется, я могу в вас влюбиться, сильно-сильно.

— Боюсь, это не так-то легко.

— Только не для меня. Мне кажется, вы можете стать очень хорошим музыкантом, если вас кто-то вдохновит. А я могу подарить вам огромную и прекрасную любовь, в которой вы так нуждае-

тесь. Это я вам обещаю.

— Вы делаете мне предложение? — спросил он.

— Да. И если вы мне откажете, я… я не знаю, что сделаю. Заползу в кусты и умру. Я не могу вернуться к этим трубникам, а больше мне некуда деваться.

— И я должен сказать «да»?

— Если хотите сказать «да», скажите.

— Ладно. — Он помолчал, а потом сказал: — Да.

— Мы оба не пожалеем о том, что сейчас случилось, — сказала она.

— А как насчет Эрвина Бордерса?

— Мы окажем ему услугу.

— Серьезно?

— О да. Там на террасе ко мне подошла женщина и прямо сказала, что, женившись на особе вроде меня, он, скорее всего, погубит свою карьеру. Я думаю, она права.

— Из-за нее вы и прятались здесь, в темноте?

— Да. Мне совсем не хотелось портить кому-то карьеру.

— Вы очень заботливы.

— А с вами, — она взяла его под руку, — все по-другому. Я не представляю, как я могла бы навредить вашей жизни. Только наоборот. Вот увидите. Вы увидите.

Глуз

© Перевод. Ю. Гольдберг, 2021

Словечко «синопоба», сокращение от «ситуация нормальная — полный бардак», появилось во время Второй мировой войны и продолжает использоваться довольно широко. Родственное ему «глуз», возникшее примерно в то же время, теперь почти забыто. Оно означает «глубочайшая задница» и достойно лучшей судьбы. Особенно полезно оно для описания неурядиц, возникших не по злому умыслу, а в результате административных сбоев в какой-либо большой и сложной организации.

Так, например, Мелч Рохлер угодил в глуз, работая в «Дженерал фордж энд фаундри компани». Он знал это слово — услышал однажды, и сразу понял, что оно облегает его, точно эластичные нейлоновые плавки. Мелч сидел в глузе в Илиумском отделении компании, которое состояло из пятисот двадцати семи пронумерованных строений. К глузу он пришел классическим путем, то есть стал жертвой временных мер, которые превратились в постоянные.

Мелч Рохлер работал в отделе по связям с общественностью, все сотрудники которого размещались в Строении 22. Но когда Мелч устраивался на службу, в Строении 22 уже не осталось свободных мест, и Мелчу временно выделили стол в кабинете рядом с машинным помещением лифта под самой крышей Строения 181.

Строение 181 не имело никакого отношения к связям с общественностью. За исключением предоставленного самому себе Мелча, здание целиком и полностью принадлежало подразделению, занимавшемуся исследованием полупроводников. У Мелча был общий кабинет — и машинистка — с кристаллографом, доктором Ломаром Хорти. Мелч просидел там восемь лет, чужой для окружающих и призрак для тех, среди кого должен был находиться. Начальство не держало на него зла. О нем просто не вспоминали.

Мелч не увольнялся по простой и вполне уважительной причине — у него на руках была тяжелобольная мать. Но за покорность глузу приходилось платить высокую цену. Мелча одолела апатия, он стал желчным и чрезвычайно замкнутым.

А потом, когда пошел девятый год работы Мелча в компании, а ему самому исполнилось

двадцать девять, в дело вмешалась судьба. Она направила жир из кафетерия, расположенного в Строении 181, в шахту лифта. Жир скопился на подъемном механизме, воспламенился, и Строение 181 выгорело дотла.

Но в Строении 22, где должен был сидеть Мелч, по-прежнему не хватало места, и ему временно выделили кабинет в цоколе Строения 523, рядом с последней остановкой автобуса, курсировавшего по территории компании.

В Строении 523 располагался спортивный комплекс.

Одно достоинство у нового кабинета все-таки было: сотрудники посещали комплекс только в нерабочее время и по выходным, так что в служебные часы никто не плавал, не играл в боулинг, не танцевал и не закидывал мяч в баскетбольную корзину у Мелча над головой. Звуки веселья его не только отвлекали бы, но и дразнили, что было бы совсем невыносимо. Все эти годы у Мелча, ухаживавшего за больной матерью, не оставалось времени для развлечений.

Еще одна приятная перемена заключалась в том, что Мелч наконец-то стал начальником. В своем спортивном комплексе он был настолько изолирован от остальных, что не мог пользо-

ваться услугами чужой машинистки. Ему теперь полагалась собственная.

Мелч сидел в своем новом кабинете, прислушиваясь к стуку капель из протекающего душа за стенкой, и ждал прихода новой барышни.

Было девять часов утра.

Мелч вздрогнул: наверху гулко хлопнула входная дверь. Наверное, в здание вошла новая машинистка, потому что больше ни у кого в мире не могло быть здесь никаких дел.

Мелчу не было нужды вести девушку через баскетбольную площадку, мимо дорожек для боулинга, потом вниз по металлической лестнице и дощатому настилу к своему кабинету. Сотрудники административно-хозяйственного отдела обозначили путь стрелками, на каждой из которых имелась надпись: «Отдел по связям с общественностью, сектор общих ответов».

Сектором общих ответов отдела по связям с общественностью на протяжении всей своей нелепой карьеры в компании был Мелч. Он отвечал на письма, адресованные просто «Дженерал фордж энд фаундри компани», которые логика не позволяла направить никакому конкретному подразделению. Половина таких писем были просто бессмысленными. Мелчу вменялось в

обязанность вежливо отвечать даже на самые глупые и бессвязные письма, демонстрируя то, что неустанно демонстрировал отдел по связям с общественностью — у «Дженерал фордж энд фаундри компани» сердце большое, как целый мир.

Мелч услышал, как новая барышня осторожно спускается по лестнице. Вероятно, она не очень доверяла указателям. Ее шаги были нерешительными и временами слишком легкими, словно девушка шла на цыпочках.

Послышался скрип двери, на который тут же отозвалось какое-то жуткое, неестественное эхо, многократно отраженное эхо. Девушка свернула раньше времени и по ошибке открыла дверь в плавательный бассейн.

Отпущенная на свободу дверь с громким стуком захлопнулась.

Девушка снова пошла, теперь уже правильной дорогой. Деревянный настил скрипел и хлюпал у нее под ногами. Она постучала в дверь сектора общих ответов отдела по связям с общественностью.

Мелч открыл.

И замер, как громом пораженный. Ему улыбалась самая жизнерадостная и самая хорошенькая

девушка из всех, каких он когда-либо видел. Новехонькая, свежеотчеканенная особа женского пола никак не старше восемнадцати лет.

— Мистер Рохлер? — спросила она.

— Да? — сказал Мелч.

— Я Фрэнсин Пефко. — С очаровательной скромностью она склонила свою милую головку. — Вы мой новый начальник.

От смущения Мелч почти лишился дара речи, поскольку в секторе общих ответов такой девушке было явно не место. Мелч предполагал, что ему пришлют унылую и скучную женщину, работящую, но ограниченную, которая с мрачной покорностью смирится с никчемным начальником и убогой обстановкой. Он не принял в расчет перфокарточную машину отдела кадров, для которой девушка — просто девушка.

— Входите… входите, — растерянно пробормотал Мелч.

Фрэнсин вошла в жалкий тесный кабинет, по-прежнему улыбаясь, излучая оптимизм и здоровье. Она явно только что устроилась на работу в компанию, поскольку принесла с собой все брошюры, которые в первый день выдают новичкам.

И подобно многим девушкам в свой первый

рабочий день, Фрэнсин оделась — по выражению одной из брошюр — чересчур нарядно. Каблуки ее туфель были слишком тонкими и высокими. Платье легкомысленное и дерзкое, с целым созвездием сверкающей бижутерии.

— Здесь мило, — сказала она.

— Правда? — удивился Мелч.

— Это мой стол? — спросила девушка.

— Да, — подтвердил Мелч. — Ваш.

Фрэнсин пружинисто опустилась на вращающийся стул, сдернула чехол с пишущей машинки, скользнула пальцами по клавишам.

— Я готова приступить к делу, как только вы скажете, мистер Рохлер, — сообщила она.

— Да… конечно, — кивнул Мелч.

Он боялся приступать к делу, потому что не находил способа представить свою работу в выгодном свете. Стоит им начать, и это юное существо поймет всю бесконечную никчемность самого Мелча и его служебных обязанностей.

— Это первая минута первого часа первого дня моей первой в жизни работы, — объявила Фрэнсин. Глаза ее сияли.

— Правда? — спросил Мелч.

— Да, — подтвердила Фрэнсин.

Потом, сама того не подозревая, Фрэнсин Пефко

произнесла несколько слов, необыкновенная поэтичность которых потрясла Мелча. Эта фраза с безжалостностью великой поэзии напомнила Мелчу, что его главные опасения относительно Фрэнсин носят не производственный, а эротический характер.

Фрэнсин сказала вот что:

— Я пришла сюда прямо из «цветника».

Она имела в виду всего лишь центр приема и распределения, созданный компанией для новых сотрудниц и немедленно получивший название «цветник».

Однако воображению Мелча предстал благоуханный сад, где хорошенькие молодые женщины вроде Фрэнсин раскрываются на клумбах, как бутоны, тянут головки к солнцу, добиваясь внимания энергичных и успешных молодых людей. Такие прекрасные существа не могли иметь ничего общего с мужчиной, который давно и безнадежно сидел в глузе.

Мелч с беспокойством посмотрел на Фрэнсин. Она, такая свежая и желанная, только что из «цветника», совсем скоро обнаружит, насколько жалкая работа у ее начальника. А еще она поймет, что ее начальника не назовешь настоящим мужчиной.

* * *

Обычно по утрам рабочая нагрузка сектора общих ответов составляла примерно пятнадцать писем. В то утро, когда к работе приступила Фрэнсин Пефко, ответа ждали всего три письма.

Одно было от мужчины из психиатрической лечебницы. Он утверждал, что вычислил квадратуру круга. За это он хотел сто тысяч долларов и свободу. Второе письмо прислал десятилетний мальчик, желавший стать пилотом первой ракеты, которая полетит на Марс. В третьем письме женщина жаловалась, что не может отучить свою таксу лаять на пылесос компании «Дженерал фордж энд фаундри».

К десяти часам Мелч и Фрэнсин разделались со всеми тремя письмами. Фрэнсин подшила их в папку вместе с копиями вежливых ответов Мелча. В шкафу для хранения документов больше ничего не было. Все старые папки сектора общих ответов погибли при пожаре в Строении 181.

В работе наступило временное затишье.

Фрэнсин едва ли могла заняться чисткой пишущей машинки — новенький механизм и так сверкал. Мелчу было трудно с серьезным видом рыться в бумагах, поскольку у него на столе ле-

жал всего один документ: краткое напоминание, что начальники должны решительно бороться с перерывами на кофе.

— Пока все? — спросила Фрэнсин.

— Да, — ответил Мелч. Он вглядывался в лицо девушки — не мелькнет ли на нем насмешливое выражение. Но ничего не заметил. — Вы… так уж вышло, что сегодня мало работы, — сказал он.

— Когда приходит почтальон? — спросила Фрэнсин.

— Почтовая служба не забирается в такую даль, — сказал Мелч. — Когда я утром иду на работу, а потом возвращаюсь с обеда, то беру наши письма в почтовом отделении компании.

— А, — произнесла Фрэнсин.

Протекающие головки душа за стенкой вдруг решили шумно вдохнуть. Потом их носовые ходы, похоже, прочистились, и стук капель возобновился.

— Наверное, у вас временами бывает много работы, мистер Рохлер? — с трепетом спросила Фрэнсин; перспектива кипучей деятельности вызывала у нее приятное волнение.

— Бывает довольно много, — подтвердил Мелч.

— А когда к нам приходят люди, что мы для них

делаем? — поинтересовалась Фрэнсин.

— Люди? — не понял Мелч.

— Разве у нас не отдел по связям с общественностью? — удивилась Фрэнсин.

— Да… — сказал Мелч.

— И когда же приходят люди?

Фрэнсин окинула взглядом свой в высшей степени презентабельный наряд.

— Боюсь, люди так далеко не забираются.

Мелч чувствовал себя хозяином самой долгой и самой скучной вечеринки, которую только можно представить.

— О… — протянула Фрэнсин и посмотрела на окно комнаты. Из окна, находившегося в восьми футах над полом, открывался вид на изнанку конфетной обертки, лежащей в проходе между зданиями. — А как же люди, с которыми мы работаем? — спросила девушка. — Разве они не снуют весь день туда-сюда?

— Боюсь, мы больше ни с кем не работаем, мисс Пефко, — сказал Мелч.

— О… — произнесла Фрэнсин.

Сверху послышался устрашающий хлопок паропровода. Огромная батарея отопления в крошечном кабинете принялась шипеть и плеваться.

— Почему вы не читаете брошюры, мисс Пефко? — спросил Мелч. — Может, вам стоит с ними ознакомиться?

Фрэнсин кивнула, желая угодить начальнику. Потом немного подумала и начала улыбаться. Натянутая улыбка была первым признаком того, что Фрэнсин считает новое место работы не таким уж веселым. Читая брошюры, она слегка нахмурилась.

На стене тикали часы. Каждые тридцать секунд раздавался щелчок, и минутная стрелка почти незаметно сдвигалась. До обеда оставался час и пятьдесят одна минута.

— Ха, — фыркнула Фрэнсин, комментируя что-то из прочитанного.

— Прошу прощения? — сказал Мелч.

— Здесь каждую пятницу вечером устраиваются танцы — прямо в этом здании, — объяснила Фрэнсин, отрывая взгляд от брошюры. — Вот почему наверху все так разукрашено, — прибавила она.

Девушка имела в виду, что на баскетбольной площадке были развешены японские фонарики и серпантин. По всей вероятности, следующая вечеринка планировалась в деревенском стиле, потому что в углу стоял настоящий стог сена, а

на стенах в художественном беспорядке висели тыквы, сельскохозяйственные орудия и снопы из кукурузных початков.

— Я люблю танцевать, — сообщила Фрэнсин.

— Угу, — промямлил Мелч. Он никогда не танцевал.

— Вы с женой много танцуете, мистер Рохлер? — спросила Фрэнсин.

— Я не женат, — сказал Мелч.

— О! — Фрэнсин зарделась и, поджав губы, снова уткнулась в брошюру. Когда краска сошла с ее щек, она подняла голову. — Вы играете в боулинг, мистер Рохлер?

— Нет, — тихим, напряженным голосом сказал Мелч. — Я не танцую. Я не играю в боулинг. Боюсь, я почти ничем не занимаюсь, кроме ухода за матерью, которая болеет уже много лет.

Мелч закрыл глаза. Укрывшись за пурпурной тьмой опущенных век, он размышлял о жестокости жизни — о том, что жертвы не зря называются жертвами. Заботясь о больной матери, он многого лишился.

Открывать глаза не хотелось, поскольку Мелч знал: то, что он увидит на лице Фрэнсин, ему не понравится. Он не сомневался, что на ангельском личике Фрэнсин будет написана самая жалкая

из всех положительных оценок — уважение. А к уважению неизбежно примешается желание оказаться как можно дальше от этого неудачливого и скучного мужчины.

Чем больше Мелч думал о том, что увидит, открыв глаза, тем меньше ему хотелось их открывать. Часы на стене вновь щелкнули, и Мелч понял: еще тридцати секунд пристального взгляда мисс Пефко ему не выдержать.

— Мисс Пефко, — произнес он, не открывая глаз. — Не думаю, что вам здесь понравится.

— Что? — сказала Фрэнсин.

— Возвращайтесь в «цветник», мисс Пефко, — сказал Мелч. — Расскажите там о ненормальном, которого вы нашли в подвале Строения 523. Потребуйте нового назначения.

Мелч открыл глаза.

Лицо Фрэнсин было бледным и напряженным. Удивленная и испуганная, она едва заметно покачала головой.

— Вы… я вам не понравилась, мистер Рохлер? — спросила девушка.

— Дело совсем не в этом. — Мелч встал. — Просто уходите отсюда — ради собственного блага.

Фрэнсин тоже встала, продолжая качать головой.

— Тут не место для такой милой, умной, работящей и очаровательной девушки, как вы, — нервно сказал Мелч. — Останетесь здесь — сгниете!

— Сгнию? — повторила Фрэнсин.

— Как я, — сказал Мелч. Путаясь в словах, он изложил историю своей жизни в глузе. Потом, красный как рак и опустошенный, повернулся спиной к Фрэнсин. — Прощайте, мисс Пефко, — сказал он. — Был чрезвычайно рад с вами познакомиться.

Фрэнсин неуверенно кивнула. Она ничего не ответила. Часто моргая, собрала вещи и вышла.

Мелч снова сел за стол и закрыл лицо руками. Он прислушивался к удаляющимся шагам мисс Пефко и ждал громкого, гулкого хлопка входной двери, который скажет, что мисс Пефко навсегда ушла из его жизни.

Он все ждал и ждал буханья двери, пока не стало ясно, что Фрэнсин умудрилась выйти беззвучно.

А потом он услышал музыку.

Это была запись популярной песенки, дешевой и глупой, но многократное эхо в пустых помещениях Строения 523, накладываясь само на себя, сделало мелодию таинственной, фантастической и волшебной.

Мелч поднялся наверх, навстречу музыке. Он обнаружил ее источник — большой проигрыватель у стены гимнастического зала. Мелч слабо улыбнулся. Значит, музыка была маленьким прощальным подарком от Фрэнсин.

Он подождал, пока закончится пластинка, потом выключил проигрыватель. Вздохнул и обвел взглядом украшения и игрушки.

Если бы Мелч поднял взгляд до уровня балкона, то увидел бы, что Фрэнсин еще не ушла. Она сидела в кресле первого ряда, облокотившись на перила из труб.

Но Мелч не смотрел наверх. Думая, что в зале больше никого нет, он уныло попытался сделать несколько танцевальных па — без всякой надежды на успех.

И тут Фрэнсин заговорила:

— Помогло?

Мелч испуганно поднял голову.

— Помогло? — повторила она.

— Помогло? — переспросил Мелч.

— Музыка подняла вам настроение? — пояснила Фрэнсин.

Мелч обнаружил, что не знает, как ответить на этот вопрос.

Фрэнсин не стала дожидаться ответа.

— Я подумала, что музыка вас немного развеселит, — сказала она. Потом покачала головой. — Конечно, я не надеялась что-то изменить. Просто… — Девушка пожала плечами. — Понимаете… а вдруг она хоть немного поможет.

— Это… спасибо за заботу, — промямлил Мелч.

— Помогло? — спросила Фрэнсин.

Мелч задумался и дал честный ответ — неопределенный.

— Да… — сообщил он. — Я… думаю, помогло. Немного.

— Можно всегда включать музыку, — сказала Фрэнсин. — Здесь тонны пластинок. И я подумала, что музыка — это еще не все.

— Да? — сказал Мелч.

— Вы можете плавать, — заявила Фрэнсин.

— Плавать? — изумился Мелч.

— Именно, — подтвердила Фрэнсин. — Будете как голливудская кинозвезда в собственном бассейне.

Мелч улыбнулся ей — первый раз за время знакомства.

— Наверное, когда-нибудь я так и сделаю, — сказал он.

Фрэнсин перегнулась через перила.

— Почему когда-нибудь? — спросила она. —

Если вам так грустно, почему бы не поплавать прямо сейчас?

— В рабочее время? — удивился Мелч.

— Но ведь вам теперь все равно нечего делать, правда? — сказала Фрэнсин.

— Нечего, — согласился Мелч.

— Тогда вперед, — сказала Фрэнсин.

— У меня нет плавок, — возразил Мелч.

— И не нужно, — сказала Фрэнсин. — Плавайте голышом. Я не буду подглядывать, мистер Рохлер. Останусь здесь. Вам понравится, мистер Рохлер. — Фрэнсин теперь демонстрировала Мелчу новые качества своего характера, о которых он еще не догадывался. Силу и твердость. — А может, вам не стоит плавать, мистер Рохлер, — саркастически прибавила она. — Может, вам так нравится быть несчастным, что вы ничего не станете менять.

Мелч стоял у края плавательного бассейна, смотрел на одиннадцать футов прохладной воды. Он был голый и сам себе казался костлявым и бледным. И еще он чувствовал себя последним дураком. Только последний дурак может пойти на поводу у восемнадцатилетней девушки, подчиняясь ее логике.

Гордость заставила Мелча повернуться спиной к бассейну. Он направился в раздевалку, но ло-

гика Фрэнсин вернула его обратно. Прохладная, глубокая вода, несомненно, была воплощением удовольствия и благополучия. Если он теперь откажется нырнуть в это хлорированное блаженство, тогда он и вправду презренное существо, человек, которому нравится быть несчастным.

Мелч прыгнул.

Прохладная, глубокая вода не подвела его. Она приятно взбодрила, смыла ощущение бледности и костлявости. Когда Мелч первый раз вынырнул на поверхность, его легкие распирала мешанина из смеха и криков. Он залаял, словно собака.

Звук Мелчу понравился, и он полаял еще немного. А потом услышал ответный лай, далекий и гораздо более тонкий. Фрэнсин услышала его и залаяла ему в ответ в вентиляционное отверстие.

— Помогло? — крикнула она.

— Да! — без стеснения и колебаний ответил Мелч.

— Как вода? — спросила Фрэнсин.

— Чудесно! — крикнул Мелч. — Нужно только решиться.

Мелч вновь поднялся в гимнастический зал первого этажа, полностью одетый, ощущая бодрость и силу. И вновь его вела музыка.

Фрэнсин, сбросив туфли, танцевала на баскет-

больной площадке — серьезно, с уважением к грации, которой одарил ее Бог.

Послышались фабричные гудки — одни близко, другие далеко, но все они звучали печально.

— Обеденный перерыв, — сказал Мелч, выключая проигрыватель.

— Уже? — удивилась Фрэнсин. — Так быстро.

— Что-то странное случилось со временем, — подтвердил Мелч.

— Знаете, — сказала Фрэнсин, — если вы захотите, то сможете стать чемпионом компании по боулингу.

— В жизни не играл в боулинг, — признался Мелч.

— А теперь можете играть, — сказала Фрэнсин. — Сколько угодно. Вообще-то вы можете стать универсальным спортсменом, мистер Рохлер. Вы еще молодой.

— Наверное, — произнес Мелч.

— В углу я нашла целую груду гантелей, — сообщила Фрэнсин. — Если каждый день понемногу упражняться, то со временем вы станете сильным, как бык.

Взбодрившиеся мышцы Мелча приятно напряглись, желая стать сильными, как мышцы быка.

— Наверное, — повторил Мелч.

— Мистер Рохлер, — умоляюще произнесла Фрэнсин, — мне правда нужно возвращаться в «цветник»? Можно я останусь? Когда появится работа, я буду лучшим в мире секретарем.

— Хорошо, — согласился Мелч. — Оставайтесь.

— Спасибо, спасибо, спасибо, — пропела Фрэнсин. — Я думаю, это лучшее место работы во всей компании.

— Может быть, — удивленно протянул Мелч. — Я… вы не пообедаете со мной?

— Ой, сегодня не могу, мистер Рохлер, — сказала она. — Простите.

— Наверное, вас ждет молодой человек, — сказал Мелч; ему вновь стало грустно.

— Нет, — ответила Фрэнсин. — Мне нужно в магазин. Хочу купить себе купальный костюм.

— Думаю, мне он тоже не помешает.

Из здания они вышли вместе. Дверь захлопнулась за ними с оглушительным грохотом.

Оглянувшись на Строение 523, Мелч что-то тихо произнес.

— Вы что-то сказали, мистер Рохлер? — спросила Фрэнсин.

— Нет, — ответил Мелч.

На самом деле он сказал себе одно-единственное слово: «Рай».

Девичье бюро

© Перевод. Е. Доброхотова-Майкова, 2021

Моя родная, моя ненаглядная жена, урожденная Эми Лу Литтл, досталась мне из девичьего бюро — благоуханного цветника, где девушки, мечта одинокого мужчины, склоняют хорошенькие головки над пишмашинками.

Эми Лу Литтл была симпатичная, уверенная в себе выпускница бирмингемского секретарского училища. В характеристике моей будущей жене написали, что она печатает быстро и аккуратно, и агент по найму завода металлоизделий «Монтесума» предложил ей очень хорошее жалованье с условием, что она переедет в Питсбург.

В Питсбурге мою будущую жену отправили в девичье бюро завода металлоизделий «Монтесума», где ей выдали наушники, диктофон и электрическую пишущую машинку. Посадили ее рядом с мисс Нэнси Хостеттер, начальницей секции С девичьего бюро, которая проработала здесь двадцать два года — на год больше, чем Эми жила на свете. Мисс Хостеттер, тетка рослая,

крепкая, как лось, и очень правильная, печатала фантастически быстро и аккуратно. Она велела Эми относиться к ней как к старшей сестре.

Я тоже работал на заводе металлоизделий «Монтесума», одинокий и неустроенный улещиватель невидимых клиентов. Они писали на завод, а мы, двадцать пять сотрудников отдела, отвечали им компетентно и благожелательно. Я не видел клиентов, клиенты не видели меня, и никто не предлагал нам обменяться фотокарточками.

Целый день я говорил в диктофон, а курьеры относили пленки в девичье бюро, где я ни разу не бывал.

В бюро работали шестьдесят девушек, по десять в секции. Стенды в кабинетах утверждали, что девушки — в полном распоряжении всякого, кто имеет доступ к диктофону, и почти каждый нашел бы в бюро подругу себе по вкусу. Там были молоденькие и незамужние, как моя будущая жена, были искушенные красавицы с фигурой киноактрис, дородные матроны и несгибаемые старые девы вроде мисс Хостеттер.

По стенам девичьего бюро, выкрашенным в приятный зеленый цвет, висели картины из сельского быта, в воздухе плыла рапсодия девичьих

духов и музыки с пластинок Андре Костеланеца и Мантовани[23]. С утра до вечера в ушах у девушек звучали записанные на диктофон голоса мужчин — сотрудников «Монтесумы».

Однако мужчины присылали только свои голоса, без лиц, и всегда говорили исключительно о деле. К девушкам они обращались «оператор».

«Молибден, оператор, — произнес голос в наушниках Эми. — Пишется м-о-л-и-б-д-е-н».

Глухой бостонский выговор резал Эми слух — словно бьют в надтреснутый колокол. Это был мой голос.

— Дзень-брень, — сказала Эми моему голосу.

«Впрочем, в комплектацию агрегата входят силиконовые сальники. С-и-л-и-к-о-н-о-в-ы-е, оператор».

— Можешь не диктовать по буквам, — ответила Эми. — Я уже полгода работаю в этом дурдоме, так что про силикон знаю все.

«Искренне ваш, — продолжал мой голос. — Артур К. Уитни-младший, секция связи с поку-

---

[23] Примечания: 23

Андре (Андрей) Костеланец (1901–1980) — американский дирижер; сделал множество записей классических музыкальных пьес для массовой аудитории, оркестровых аранжировок бродвейских хитов и мелодий из голливудских фильмов; Аннуцио Паоло Мантовани (1905–1980) — руководитель популярнейшего оркестра «сладкой» музыки. Пластинки обоих были бестселлерами на протяжении многих десятилетий.

пателями, отдел продажи бойлеров, отделение крупногабаритной техники, кабинет четыреста двенадцать, здание семьдесят семь, питсбургский завод».

Эми отпечатала внизу листа: «исп. А. Уитни, печ. Э. Литтл», вытащила копирку, положила экземпляры в свой лоток для исходящих и убрала мою запись с диктофона.

— Почему ты никогда не заглядываешь в девичье бюро, Артур? — спросила моя будущая жена мою запись. — Мы бы встретили тебя как Кларка Гейбла. Мы бы почти любого мужчину так встретили.

Она взяла из своего лотка для входящих следующую запись и обратилась к ней:

— Давай, красавчик. Растопи сердце холодной девушки из Алабамы. Вскружи мне голову.

«Шесть экземпляров, оператор, — произнес новый, скрипучий голос в ухе Эми. — Мистеру Гарольду Н. Брюстеру в отдел шарикоподшипников машиностроительной корпорации Йоргенсона, Лансинг пять, Мичиган».

— А ты дядька с огоньком, да? — спросила Эми. — Что вам всем так горячит кровь — неужели бойлеры?

— Ты что-то сказала, Эми? — Мисс Хостеттер

сняла наушники. Она была рослая и не носила украшений, только золотую булавку «Двадцать лет на заводе». Сейчас она смотрела на Эми с угрюмой укоризной. — Что у тебя опять не так?

Эми остановила диктофон.

— Я говорила с джентльменом в записи, — ответила она. — Надо же с кем-то разговаривать, чтобы не рехнуться.

— Здесь много приятных людей, с которыми можно поговорить. Ты все принимаешь в штыки, хотя даже не разобралась, зачем это и для чего.

— Так объясните, зачем это и для чего, — сказала моя будущая жена, обводя рукой ряды столов с пишущими машинками.

— В «Вестнике «Монтесумы» очень хороший рисунок, он все объясняет, — сказала мисс Хостеттер.

Еженедельную газету «Вестник «Монтесумы» компания выпускала для сотрудников.

— Это где призрак Флоренс Найтингейл парит над плечом у стенографистки? — спросила Эми.

— Тот рисунок тоже хорош, но я имела в виду другой, где мужчина стоит перед новым обогревателем, а вокруг тысячи женщин, такие немного призрачные. И подпись: «Он не шлет им розы. А мог бы прислать — тем десяти тысячам женщин,

что стоят за каждым надежным и долговечным агрегатом завода «Монтесума».

— Призраки, призраки, призраки, — сказала моя будущая жена. — Все здесь призраки. Врываются по утрам из холода и дыма, весь день суетятся и переживают из-за бойлеров, молибдена и силиконовых сальников, а в пять растворяются без следа. Здесь никто не женится, не влюбляется, не шутит. У нас в школе…

— Школа — это не жизнь, — возразила мисс Хостеттер.

— А сидеть в этом курятнике, значит, жизнь, — сказала моя будущая жена.

Женщины глянули друг на друга с неприязнью, которую оттачивали последние полгода. В глазах их сверкали клинки, хотя обе продолжали вежливо улыбаться.

— Жизнь такая, какой ты ее делаешь, — сказала мисс Хостеттер, — а неблагодарность — один из худших пороков. Посмотри вокруг! На стенах картины, на полу ковер, прекрасная музыка, больничные, пенсия, рождественский банкет, живые цветы на каждом рабочем месте, перерыв на кофе, собственный кафетерий, отдельная комната отдыха с телевизором и столом для пинг-понга.

— Все, кроме жизни, — ответила моя будущая жена. — Первый живой человек, о котором я тут слышу, — бедный Ларри Барроу.

— Бедный Ларри Барроу! — возмущенно повторила мисс Хостеттер. — Эми, он убил полицейского!

Эми открыла верхний ящик стола и принялась разглядывать фотографию Ларри Барроу на обложке «Вестника “Монтесумы”». Барроу, красивый молодой преступник, застрелил полицейского при попытке ограбить питсбургский банк два дня назад. Видели, как он перелезал через забор, чтобы укрыться где-то на территории завода «Монтесума». Мест, где спрятаться, там было предостаточно.

— Он мог бы сниматься в кино, — сказала Эми.

— В роли убийцы, — заметила мисс Хостеттер.

— Вовсе необязательно, — возразила Эми. — Он похож на многих симпатичных ребят из моей школы.

— Не глупи. — Мисс Хостеттер отряхнула большие руки. — И вообще, что мы бездельничаем? До перерыва на кофе еще десять минут. Давай постараемся успеть за них побольше.

Эми включила диктофон.

«Уважаемый мистер Брюстер, — сказал го-

лос, — ваша заявка на оценку возможности дополнительного оснащения имеющегося у вас обогревательного устройства компрессорами серии DM-114 отправлена телетайпом специалисту в вашем районе и…»

Пальцы Эми плясали по клавишам, а голова была свободна думать о чем угодно. Верхний ящик стола был по-прежнему открыт, газета по-прежнему лежала на виду, поэтому моя будущая жена стала думать о Ларри Барроу, как тот прячется где-то на заводе — раненый, продрогший, голодный, ненавидимый и преследуемый всеми.

«Учитывая, что теплопроводность кирпичных стен обогреваемого здания, — сказал голос у Эми в ухе, — пять БТЕ — это сокращение от «британская тепловая единица», оператор, все буквы прописные — в час на квадратный фут на градус Фаренгейта — Фаренгейта с большой буквы, оператор…»

И моя будущая жена увидела себя в облаке розового тюля, как на выпускном балу, под руку с еще немного хромающим, но свободным Ларри Барроу. Действие происходило на Юге.

«А также, учитывая коэффициент — к-о-э-ф-ф-и-ц-и-е-н-т, оператор, — тепловой диффузии — два «эф», оператор, — можно с большой долей

уверенности...»

Моя будущая жена была по уши влюблена в Ларри Барроу. Любовь наполняла ее жизнь, и все остальное не имело значения.

— Динь-динь. — Мисс Хостеттер глянула на стенные часы и сняла наушники. Перерывов на кофе было два, в первой и второй половине дня, и мисс Хостеттер каждый раз изображала жизнерадостный колокольчик, который включается по часам. — Динь-динь, все.

Эми подняла глаза на угрюмое лицо мисс Хостеттер, и ее розовые мечты разлетелись вдребезги.

— О чем думаем, Эми? — спросила мисс Хостеттер.

— О Ларри Барроу, — ответила Эми. — Что бы вы сделали, если б его увидели?

— Я бы притворилась, будто его не узнала, — отчеканила мисс Хостеттер, — и продолжала бы идти, пока не увижу других людей.

— А если бы он вдруг схватил вас и взял в заложники? — спросила Эми.

Щеки мисс Хостеттер зарделись.

— Не надо накручивать себя и других, — сказала она. — Вот так и распространяется паника. Девушки из Отдела кабелей и проводов настолько

друг дружку запугали, что их пришлось отпустить домой. Здесь такого не произойдет. Мы в девичьем бюро сделаны из другого теста.

— И все равно… — начала Эми.

— Он совсем в другой части завода, — отрезала мисс Хостеттер. — А может, его уже и в живых нет. Говорят, вчера ночью он проник в один из кабинетов, и утром там на полу нашли кровь. Так что он в любом случае совсем слабый и не может никого схватить.

— Никто не знает наверняка, — ответила Эми.

— Вот что я скажу: тебе сейчас нужна чашечка горячего кофе и партия в пинг-понг. Идем! Спорим, я тебя обыграю.

«Уважаемый сэр! — сказал голос в хорошенькое ушко моей будущей жены. — Приглашаем вас на презентацию всего спектра отопительных приборов нашей компании в Бронзовом зале отеля «Грешем» в среду, 16:30…»

Письмо было не одному адресату, а тридцати. Каждому надо было напечатать отдельное приглашение.

Отстучав десятый раз одно и то же письмо, Эми почувствовала, что задыхается. Она отложила задание и, просто для разнообразия, взяла из лотка следующую диктофонную запись.

Пальцы Эми лежали на клавишах, ожидая указаний с диктофона, но оттуда доносился лишь тихий шелест, похожий на гул моря в раковине.

Через много секунд мягкий, звучный, ласково-вкрадчивый голос заговорил у Эми в ухе — заговорил с записи.

«Я прочел о вас на стенде, — сказал он. — Там написано, девушки в полном распоряжении каждого, у кого есть доступ к диктофону. — Раздался тихий смешок. — Так вот, я получил доступ к диктофону».

Долгое шуршащее молчание.

«Мне холодно, плохо, и я очень давно не ел, — сказал голос и закашлялся. — Меня бьет лихорадка. Я умираю, мисс. Наверное, когда я сдохну, все будут только рады».

Снова тишина, потом снова кашель.

«Вся моя вина — что я не хотел гнуть спину на чужих людей, мисс. Может быть, где-нибудь на свете есть девушка, которая считает, что человека нельзя морить голодом и гнать, как дикого зверя. Может быть, где-нибудь есть девушка, у которой в груди еще осталось сердце. Может быть, — продолжал голос, — где-нибудь найдется девушка, у которой есть сердце, и она принесет этому человеку поесть. И бинты, чтобы у него появился

шанс протянуть еще чуть-чуть. А может, у нее каменное сердце, и она донесет в полицию; тогда этого человека застрелят, а она будет радоваться и гордиться. Мисс, — сказал диктофонный голос моей будущей жене, — я расскажу вам, где был и где буду, когда это к вам попадет. Можете поступить со мной как угодно. Захотите — спасете, не захотите — сдадите полиции или вовсе оставите подыхать. Я буду в здании двести двадцать семь. — Вновь раздался смешок. — За бочкой. Здание маленькое, мисс. Вы найдете меня без труда».

Запись кончилась.

Эми представила, как нежными мягкими руками поддерживает голову Ларри Барроу.

— Не бойся, — прошептала она. — Все будет хорошо.

Глаза ее наполнились слезами.

Чья-то рука легла Эми на плечо.

— Ты слышала, как я сказала динь-динь на перерыв? — спросила мисс Хостеттер.

— Нет, — ответила Эми.

— Я наблюдала за тобой, Эми, — сказала мисс Хостеттер. — Ты просто слушала. Не печатала. Что-нибудь не то с записью?

— Самая обычная запись.

— Ты выглядела очень расстроенной.

— У меня все хорошо.

— Я твоя старшая сестра, — сказала мисс Хостеттер. — Если я чем-нибудь…

— Мне не нужна старшая сестра! — с чувством воскликнула Эми.

Мисс Хостеттер закусила губу, побледнела и быстром шагом вышла в комнату отдыха.

Эми незаметно завернула запись Ларри Барроу в бумажную салфетку и сунула в нижний ящик стола, где у нее лежали крем для рук, крем для лица, губная помада, пудра, румяна, лак для ногтей, маникюрные ножницы, пилочка для ногтей, карандаш для бровей, пинцет, английские булавки, пузырек с витаминами, иголка, нитка, глазные капли, расческа и щетка.

Она задвинула ящик, подняла голову и встретилась глазами с мисс Хостеттер, которая недобрым взглядом наблюдала за ней через толпу девушек, входящих в комнату отдыха. Мисс Хостеттер пила кофе, а на блюдце у нее лежали две маленькие печеньки.

— Кто в пинг-понг? — спросила Эми делано бодрым голосом.

Сразу несколько девушек весело приняли вызов, и весь перерыв моя будущая жена грезила под стук целлулоидного мячика, а не под стрекот

пишущей машинки.

В пять по всей территории завода, по всему Питсбургу ликующе раскатились гудки.

Моя будущая жена провела остаток дня в еле сдерживаемой лихорадке волнения, любви и страха. Испорченные страницы одна за другой отправлялись в мусорную корзину. Эми не решалась еще раз прослушать запись Барроу или хотя бы обменяться взглядами с мисс Хостеттер из боязни выдать свою ужасную тайну.

В пять выключили Андре Костеланеца, Мантовани и вентиляторы отопительной системы. Девушки из внутренней курьерской службы принесли лотки с новыми записями, которые предстояло расшифровать утром, и выбросили увядшие цветы из ваз на столах — каждое утро туда ставили новые из заводских парников. Девичий цветник заколыхался, словно под ветром, и устремился к вешалкам. У разных вешалок Эми и мисс Хостеттер надели свои пальто.

Вихрь окончания дня понес девушек дальше, по железной лестнице, на улицу. Последней спустилась моя будущая жена.

Она постояла в каньоне нумерованных зданий, где в воздухе еще висела поднятая девичьим вихрем угольная пыль, затем вернулась в бюро,

освещенное лишь оранжевым пламенем далеких заводских печей.

Дрожа от волнения, Эми выдвинула нижний ящик стола. Записи не было.

Вне себя от неожиданности и злости, Эми открыла нижний ящик мисс Хостеттер. Запись была здесь. Кроме нее, в зеленом стальном лотке лежали только пузырек меркурохрома[24] и вырезка из «Вестника “Монтесумы”» под заголовком «Кредо сотрудницы “Монтесумы”». «Я — сотрудница “Монтесумы”, — начинался текст, — рука об руку с мужчинами — сотрудниками “Монтесумы” шагаю в лучшее будущее под тройным знаменем Бога, Родины и Фирмы, гордо неся щит своего служения».

Эми взвыла от ярости. Она пулей вылетела из бюро, пробежала по лестнице и дальше вдоль ряда нумерованных зданий к проходной, где располагался главный пост заводской полиции. Моя будущая жена не сомневалась, что мисс Хостеттер там: гордо сообщает полицейским, где искать Барроу.

Главный пост заводской полиции располагался

---

[24] Примечания: 24

Меркурохром — антисептик, широко применявшийся в Америке вместо йода и зеленки. В настоящее время не используется из-за содержания ртути.

в большом помещении сразу за входом. Вдоль стен были выставлены образцы продукции, над ними висели стенды с чертежами и диаграммами. Посредине стоял прилавок, за которым толстая буфетчица продавала сладости, журналы и сигареты.

Высокая женщина в пальто взволнованно говорила с дежурным полицейским.

— Мисс Хостеттер! — запыхавшись, выговорила Эми.

Женщина, обернувшись, с любопытством глянула на мою будущую жену, потом снова заговорила с полицейским. Это была не мисс Хостеттер, а посетительница. Она ходила на экскурсию по заводу и где-то потеряла кошелек.

— Или я его обронила, или его украли, — говорила женщина. — Может, там, где был такой грохот, искры и расплавленный металл, или там, где работают огромные молоты, или там, где ученый показывал нам всякие умности у себя в лаборатории… Да где угодно! Может, его вытащил у меня убийца, который у вас на заводе прячется.

— Мэм, — терпеливо ответил полицейский, — да он уж помер наверняка. А если и живой, то не за кошельками охотится, а за едой. Ему жить охота.

Он мрачно улыбнулся:

— Но жить ему в любом случае недолго.

Уголки нежных алых губ моей будущей жены невольно пошли вниз.

Где-то на территории залаяли собаки.

— Слышите? — довольно спросил полицейский. — С собаками ищут. Если ваш кошелек у него, мэм, то скоро вы все получите назад.

Эми обвела глазами большую комнату, ища мисс Хостеттер. Ее тут не было. Эми без сил опустилась на жесткую банкетку под стендом «Может ли силикон разрешить ваши проблемы?».

На нее навалилась беспросветная тоска. Эми знала это чувство — оно всегда накатывало после окончания хорошего фильма. В зале зажигался свет, унося восторги чужой любви. Эми не имела права на экранную любовь. Она была лишь зрительницей — одной из многих.

— Слышите собак? — спросила за спиной у Эми буфетчица, обращаясь к покупателю. — Говорят, особенная порода. Ищейки вообще-то добрые, но те, с которыми ищут Барроу, — наполовину енотовые гончие. Вот уж они злющие! Их специально натаскивают на преступников.

Эми резко вскочила и подошла к буфету.

— Плитку шоколада, пожалуйста, — сказала она. — Большую, за двадцать пять центов. Два батончика, кокосовый и карамельный. И пакетик арахиса.

— Решила устроить себе праздник? — спросила буфетчица. — Главное, не забывай, что сладкое портит кожу.

Эми торопливо вернулась на территорию завода и втиснулась в переполненный служебный автобус. Кроме нее, там были одни мужчины, работающие во вторую смену. Увидев мою будущую жену, они все стали очень вежливыми и внимательными.

— Скажете, когда будет здание номер двести двадцать семь? — спросила Эми шофера. — Я не знаю, где это.

— И я не знаю, — ответил шофер. — Вроде его раньше не спрашивали.

Он вытащил из-за щитка от солнца замусоленную карту заводской территории.

— И не спросят, — вмешался пассажир. — В двести двадцать седьмом ничего нет, кроме фонарей и бочек с песком. Ну, может, еще чугунная печка. Вам точно не туда, мисс.

— Сотрудник позвонил в бюро и сказал, что ему сегодня допоздна нужна стенографистка,

— ответила Эми. — Кажется, он сказал «двести двадцать семь».

Она глянула на карту и увидела, что палец шофера остановился на одиноком квадратике рядом с железнодорожным депо. На квадратике стоял номер 227. Ближайшее большое здание, номер 224, располагалось сбоку от путей.

— Может быть, он сказал «двести двадцать четыре», — проговорила Эми.

— О, точно! — радостно подхватил шофер. — Транспортный цех. Туда-то вам и надо.

Весь автобус облегченно вздохнул. Мужчины с ласковой гордостью смотрели на хорошенькую южаночку, которой так замечательно помогли.

Все пассажиры, кроме Эми, уже вышли. Автобус ехал по пустырю, отделявшему цеха от железнодорожного депо. Между шлаковыми кучами и грудами металлолома плясали лучи карманных фонарей.

— Фараоны с собаками, — сказал шофер.

— А? — рассеянно переспросила Эми.

— Начали с кабинета, куда он вломился вчера ночью. Судя по тому, как собаки себя ведут, они уже близко к цели.

Эми кивнула. Моя будущая жена мысленно разговаривала с мисс Хостеттер.

«Если вы сообщили в полицию, — говорила она, — вы все равно что сами его убили. Ровно так же, как если бы навели пистолет и спустили курок. Понимаете? Или вам наплевать? Неужели у вас не осталось и капли женственности?»

Двумя минутами позже шофер высадил Эми у транспортного цеха.

Когда автобус уехал, Эми пошла в темноту и остановилась перед железнодорожными путями. Море угольной щебенки, разрезанное стальными рельсами, поблескивало в свете красных, зеленых и желтых семафорных огней.

Когда глаза Эми привыкли к темноте, сердце у нее забилось чаще: среди невнятных серых силуэтов она различила приземистое здание — почти наверняка номер 227, — где умирающий ждал девушку, у которой еще есть сердце.

Мир исчез, ночь подхватила мою будущую жену и завертела волчком. Эми побежала по угольному щебню к зданию. Перед облезлой дощатой стеной она остановилась, переводя дух и пытаясь расслышать хоть что-нибудь за шумом крови в висках.

Внутри кто-то ходил и вздыхал.

Эми отыскала дверь. Навесной замок был сорван вместе с петлями.

Эми постучала.

— Это я, — прошептала она. — Принесла тебе поесть.

Внутри кто-то шумно выдохнул, но не ответил.

Она толкнула дверь.

В прямоугольнике серого полусвета из открытой двери стояла мисс Хостеттер.

Женщины смотрели друг сквозь друга, словно каждая хотела уничтожить соперницу силой мысли. Лица у обеих были каменные.

— Где он? — спросила Эми наконец.

— Умер, — ответила мисс Хостеттер. — Лежит там… за бочками.

Эми, волоча ноги, бесцельно заходила взад-вперед. Потом остановилась как можно дальше от мисс Хостеттер, спиной к начальнице.

— Умер?

— Как собака, — ответила мисс Хостеттер.

— Не говорите про него так! — воскликнула моя будущая жена.

— Но именно так он умер, — возразила мисс Хостеттер.

Эми с досадой обернулась.

— Вы не имели права брать мою запись!

— Это была общая запись. К тому же я думала, тебе не хватит духу сюда прийти.

— Как видите, хватило. И я рассчитывала по меньшей мере прийти сюда одна. Я думала, вы побежали в полицию.

— Как видишь, ты ошиблась. Ну и конечно, кто-кто, а уж ты должна была догадаться, что я сюда приду.

— Для меня это полная неожиданность, — ответила Эми.

— Ты сама меня сюда отправила, милочка. — На миг показалось, что лицо мисс Хостеттер сейчас смягчится, но его мышцы тут же напряглись, и резкие черты остались такими же строгими. — Ты много что говорила про мою жизнь, Эми, и я все слышала. Мне было очень больно, и вот я здесь.

Она глянула на свои руки, медленно повела быстрыми и аккуратными пальцами.

— Я еще призрак? Или эта безумная попытка спасти умирающего сделала меня менее призрачной?

Глаза моей будущей жены наполнились слезами.

— Ой, мисс Хостеттер, простите, что я вас обидела! Вы не призрак, правда! И никогда им не были. — Ее захлестывала жалость к угловатой одинокой тетке. — Вы очень добрая и отзывчивая, мисс Хостеттер, иначе бы вы сюда не пришли.

Если эти слова и тронули мисс Хостеттер, она не подала виду.

— А что привело сюда тебя?

— Я любила его. — Гордость влюбленной женщины заставила Эми расправить плечи, вернула румянец ее щекам. Моя будущая жена вновь почувствовала себя прекрасной и значительной. — Я его любила.

Мисс Хостеттер печально покачала головой.

— Если ты его любила, — сказала она, — то пойди полюбуйся на своего милого. У него очаровательный нож в очаровательной руке и очаровательная ухмылка, от которой ты поседеешь на месте.

Эми ойкнула и схватилась за горло.

— По крайней мере, теперь мы с тобой подруги, — сказала мисс Хостеттер. — Ведь это же что-то да значит?

— Да, да, — кое-как проговорила Эми. Она выдавила улыбку. — Это очень важно.

— Ладно, идем, — проговорила мисс Хостеттер. — Сюда идут полицейские с собаками.

Когда они вышли из здания № 227, полицейские с собаками прочесывали пустырь в четверти мили от депо.

Женщины сели на автобус у входа в транспорт-

ный цех и молчали всю долгую, томительную дорогу до проходной.

От выхода им надо было идти к разным автобусным остановкам.

— До свидания, — с натугой выговорила Эми.

— Увидимся завтра утром, — тоже с трудом ответила мисс Хостеттер.

— Девушке трудно понять, что правильно, — сказала моя будущая жена, охваченная тоской и ощущением собственной беспомощности.

— Думаю, это и не должно быть просто, — ответила мисс Хостеттер. — И никогда не было.

Эми серьезно кивнула.

— А еще, Эми, — сказала мисс Хостеттер, беря ее за локоть, — не злись на фирму. Люди не виноваты, что хотят видеть свои письма аккуратно отпечатанными.

— Постараюсь не злиться, — ответила Эми.

— Где-то такую замечательную девушку, как ты, ждет замечательный молодой человек. У тебя в жизни будет еще много хорошего! — сказала мисс Хостеттер и, прежде чем серым призраком растаять в холодном питсбургском тумане, добавила: — Что нам сейчас обеим нужно, так это горячая ванна!

Эми серым призраком скользнула к остановке,

где серым призраком стоял я.

Мы чинно сделали вид, будто не замечаем друг друга.

И тут на мою будущую жену накатил долго сдерживаемый страх; она расплакалась и прижалась к моему плечу, а я похлопал ее по спине.

— Господи, — сказал я. — Живая душа.

— Вы даже представить не можете, насколько живая, — ответила она.

— А вдруг все-таки смогу? Я постараюсь.

Я постарался, и стараюсь до сих пор, и провозглашаю перед вами тост счастливого человека: да не увянет нежный цветник девичьего бюро!

Рим

© Перевод. Е. Парахневич, 2021

Это история девушки, которую воспитывал отец. Она боготворила его, а потом вдруг узнала, что он был ужасным лицемером. Все случилось на самом деле.

В тот год я возглавил «Клуб Парика и Маски» в Северном Кроуфорде. Примерно в то же время в городе Барбелл, штат Оклахома, разгорелся жуткий скандал из-за махинаций при торговле сорго и маслом. Главным обвиняемым по делу стал предприниматель Фред Ловелл. У него была восемнадцатилетняя дочка по имени Мелоди, которую он растил без жены. В Северном Кроуфорде жила его сестра, поэтому на время разбирательств он отправил Мелоди к ней.

Ловелл надеялся, что гроза пройдет стороной. Судьба распорядилась иначе.

Мелоди вступила в «Клуб Парика и Маски». Она была очень красивой, и мы, чтобы отвлечь ее от судебного процесса, сразу же дали ей главную роль в новой пьесе — роль Беллы, проститутки с добрым сердцем, из драмы «Рим» Артура Гарвея

Ульма.

В пьесе было всего четыре действующих лица: Белла, Бен (хороший американский солдат), Джед (плохой американский солдат) и Бернардо — циничный полицейский из Рима. Действие происходило во времена Второй мировой.

Роль хорошего солдата, и поэта заодно, досталась Брайсу Уормерграну. Брайс был типичным маменькиным сынком из Нью-Йорка. Его матери, вдове, принадлежала «Уормергран ламбер компани», а той, в свою очередь, — чуть ли не каждое дерево и пенек на севере Нью-Гэмпшира. Брайса отправили в Северный Кроуфорд на год, чтобы он как можно больше узнал о деревьях. Он был славным мальчиком: умным, вежливым и застенчивым.

Играл Брайс впервые; прежде в нашем клубе он разливал пунш во время антракта. Как выразился Джон Шервуд, подрядчик-электрик, «работенка в самый раз для него». Этим он очень точно оценил таланты Брайса.

Джон Шервуд тоже играл в пьесе, ему дали роль плохого солдата. Он был высоким, почти два метра ростом, худощавым, широкоплечим и блудливым. Дамы любили его за умение танцевать, искусство ругаться и улыбку барракуды.

Играть он умел. И любил. Так, чтобы женщины в зале ерзали на месте, сгорая от страсти.

Мне досталась роль циничного полицейского. Пришлось отрастить длинные усики.

Режиссером была Салли Сент-Кер.

Для первого чтения пьесы Салли собрала нас четверых в задней комнате своего магазина подарков. Магазин назывался «Сто очков». Разговаривала Салли, в основном, с Мелоди. Мы же трое впервые получили возможность взглянуть на девушку поближе.

А Мелоди, надо сказать, была поразительной, причем не только из-за красивого лица, но и из-за странной позы. Она прижимала к себе локти и сутулила плечи, а руки держала перед собой, точно опасаясь подхватить заразу. Брайс потом сказал, что она «чистая». Он говорил, что до встречи с ней и не верил, будто женщина может быть столь невинной. То, что сказал о ней Джон Шервуд, в приличном обществе повторить нельзя. Если вкратце, его безмерно оскорблял сам факт существования подобных «ледышек». В глазах Джона непорочность считалась хуже смертного греха.

В том, что Мелоди невинна, не было никаких сомнений. Первым же делом она спросила у Салли:

— Извините, мисс Сент-Кер, но кто такая про-

ститутка?

— Начинается! — шепнул мне Джон.

— Проститутка? — переспросила Салли. — Ну-у, это такая женщина… которая берет деньги.

— О, ясно, — ответила Мелоди.

— Салли только что подмочила репутацию каждой женщины-кассира на всем белом свете, — не унимался Джон.

— Вернемся к пьесе, — перевела тему Салли. — Действие проходит на Бродвее, в течение одной ночи. Прочитав текст, я сразу поняла, что мы обязаны ее сыграть. Пьеса великолепна, и нам выпал отличный шанс сделать достойную постановку.

— А кто такой Артур Гарвей Ульм? — спросил Джон.

— Он автор пьесы.

— Это я знаю. Мне интересно, кем еще он работает?

— Э-э-э… вряд ли он занимается чем-то другим, — растерялась Салли.

— Хорошо устроился, — хмыкнул Джон.

— Можно еще вопрос? — спросила Мелоди.

— Конечно, милая, — храбро ответила Салли.

— Я прочитала весь текст, и там в некоторых местах говорится, что я должна целовать мужчин.

— И?

— Мне и правда придется это делать? — Мелоди недовольно покачала головой.

— Ммм… да-а-а, — ответила Салли.

— Мисс Сент-Кер, я обещала папе, что буду целовать только своего законного супруга!

Джон раздраженно, с присвистом, выдохнул.

Мелоди наградила его ледяным взглядом и произнесла:

— Полагаю, вы находите это весьма старомодным или наивным?

— С чего бы? — отозвался тот. — Я считаю, это очень самоотверженно.

— Правда?

Тут заговорил Брайс. Я впервые слышал, чтобы он вмешался в чужой разговор. Молодой человек прерывисто выдохнул, весь заливаясь яркой краской.

— Мисс Ловелл, любая женщина, в наш век готовая держаться столь высоких идеалов, достойна самого почтенного уважения!

Та польщенно улыбнулась.

— Благодарю. Не думала, что на свете есть мужчины, способные уважать девушку с принципами.

— Есть! — пылко заверил ее Брайс.

— И даже больше, чем хотелось бы, — вставил

Джон.

— Заткнись, — велел я ему.

— Милая моя, так что насчет поцелуев?.. — начала Салли.

— Я просто не могу этого сделать, мисс Сент-Кер, особенно на глазах публики.

— Хм, — только и сказала Салли.

— Папа говорит, что целоваться в присутствии посторонних — отвратительно.

Человек, который ей это внушил, теперь обвинялся в краже шести миллионов долларов.

— Солнышко, мы на сцене, — убеждала ее Салли. — Если актриса играет падшую женщину, это не значит, что она сама развратница.

— И как можно играть такие роли без пошлых мыслей в голове?

— Отличный вопрос! — вставил Джон.

— Милая моя, ты наверняка смотришь разные телешоу, а ведь актрисы из них на самом деле ведут вполне респектабельную жизнь…

— Назовите хоть одну, — шепнул Джон.

— Я не смотрю телевизор, — заявила Мелоди. — И фильмы не смотрю. Папа говорит, что современное телевидение, как и книги, засоряет молодежи мозги.

Она заметила ухмылку Джона. Мелоди ненави-

дела его так же сильно, как он — ее.

— О, вам смешно? Я привыкла, что люди надо мной смеются. Папа предупреждал, что так и будет. «Пусть смеются, — говорил он. — Ты, зайка, будешь смеяться последней, когда попадешь в рай, а они — прямиком в преисподнюю».

Уж не знаю почему, менять мы ничего не стали. Это главное правило любительского театра — продолжать несмотря ни на что. «Рим» обещал быть не худшей постановкой «Клуба Парика и Маски». Вот с «Эдипом» Софокла мы провалились. Впрочем, то была совсем другая история. Могу лишь сказать, что казначей ссудно-сберегательной ассоциации Северного Кроуфорда предстал перед своими вкладчиками в одной лишь простыне, а затем вырвал себе глазные яблоки, потому что нечаянно женился на собственной матери.

На репетициях пьесы Артура Гарвея Ульма мы не раз пытались спровадить Мелоди, но она не уходила.

— Нет, — заявляла она. — Если я начала, должна дойти до самого конца. Папа всегда говорит: «Зайка, не бросай дело на полпути. Прошу лишь об одном: не делай ничего такого, чтобы я тебя стыдился».

В конце концов она сдалась перед уговорами Салли и обещала поцеловать и Брайса, и Джона, и даже меня. Но не на репетициях. Только в вечер представления.

— Наверное, это к лучшему, — вздохнула Салли. — Помнишь «Хоровод»?

«Хоровод» — это пьеса одного австрийца по имени Артур Шницлер о крайне запутанной любовной истории в Вене. Мы как-то пытались поставить ее цензурную версию. На репетициях все только и делали, что целовались друг с другом, — и тут разразилась эпидемия азиатского гриппа. Пьесу мы так и не сыграли. Актеры все поголовно слегли с лихорадкой.

Спр***о***сите, что Мелоди думала об отце, которого обвиняли в серьезном преступлении? В первый же вечер она произнесла на эту тему пламенную речь. Все началось с того, что мы осторожно попытались выяснить, какой веры они придерживаются.

— Мой отец просто читает Библию и живет по ее заветам… — начала она, с каждым словом повышая голос. — В Оклахоме он вел самый набожный образ жизни. Я знаю моего папочку, и когда начнется судебный процесс, весь мир тоже его узнает! И все эти люди на суде — о да,

они заберут свои слова обратно! Они увидят непорочного святого верхом на белом коне. И эти сквернословы, пьяницы и развратники, которые пытаются навесить на него клеймо, сами отправятся в тюрьму, и вот тогда я посмеюсь… да, посмеюсь! И тогда в Барбелле поднимут флаги, и зазвонят колокола, и бойскауты пройдут парадом, а губернатор Оклахомы скажет: «Этот день я объявляю Днем Фреда Ловелла!».

Наконец Мелоди взяла себя в руки.

— Давайте продолжим.

— А твоя мама — она умерла? — спросила Салли.

— Она в Лос-Анджелесе, предается разврату. Папочка бросил ее, когда мне было два года.

Она шмыгнула маленьким носом.

— Бросил?

— Она была грязной, — пояснила Мелоди. — И душой, и телом.

Пьеса Ульма начиналась со сцены на перекрестке. Брайс Уормергран, хороший солдат, видит под лампой девушку столь невинной внешности, что и не догадывается о роде ее занятий. Она молода, красива, а он впервые в жизни выпил вина и потому принимает ее за ангела.

— Что за дивный цветок расцвел этой римской

ночью? — Он не только солдат, но и поэт.

Брайс с первой же реплики вжился в роль. Ему даже не пришлось играть: Мелоди его покорила.

А Мелоди говорит в ответ:

— Ночные цветы не редкость в Риме. Но ты столь молод и невинен, солдат… Может, тебе не стоит его срывать?

Завязывается болтовня, когда Брайс начинает доказывать, что цветы не надо рвать, пусть растут, где росли, чтобы другие тоже могли любоваться их красотой. Он говорит, что только на войне люди ломают цветы на корню, и так далее, и тому подобное.

И в Мелоди просыпается чувство собственного достоинства, потому что мужчина впервые заговорил с ней уважительно. А Брайс, только что получивший жалование за три месяца, отдает ей все до последнего цента за один лишь поцелуй.

— Не проси объяснять. Нельзя объяснить, что движет тобой во сне. — Он замолкает. — На войне. — Еще одна пауза. — В жизни. — Ульм снова заставляет его затихнуть. — И в любви, — говорит он наконец, исчезая в ночи.

* * *

А потом вразвалочку приходит Джон Шервуд, плохой солдат. Он вусмерть пьян и пыхтит сигарой. Из армии он дезертировал и сколотил состояние на черном рынке. В руке у него чемодан, забитый колготками, сигаретами и шоколадными батончиками.

Мелоди, все еще сияя после встречи с Брайсом, глядит тому вслед. А Джон подкрадывается к ней сзади и произносит:

— А ты, крошка, хорошо говоришь по-английски.

— Что? — переспрашивает она.

— Ты, должно быть, частенько общалась с янки? Каждую ночь, наверное?

— Ты слышал, как я разговаривала с тем мужчиной?

— Скорее уж, с тем мальчишкой. Он ребенок, крошка. Тебе ли не знать разницу между мальчиком и мужчиной?

— Не понимаю, о чем ты!

Джон зубасто ухмыляется, вновь разнося ее самоуважение вдребезги. И они оба уходят прочь.

Компания в Бостоне, которая продала нам

сборник пьес и имела авторские права на произведения Ульма, заинтересовалась постановкой. Мы были первой любительской труппой, которая решилась поставить «Рим». Из компании мне прислали письмо, спрашивая, с какими трудностями мы столкнулись на репетициях.

Я заглянул к Салли в магазин и показал ей письмо.

— Трудности, значит… — повторила она. — Они издеваются, что ли?

— Просто хотят знать, есть ли у текста Артура Гарвея Ульма какие-то особенности, — сказал я. — Вряд ли им будут интересны новости про оклахомский Барбелл.

— Я бы тоже век о нем не слышала, — буркнула Салли.

Шла пятая неделя репетиций. До премьеры оставались считаные дни; из-за Мелоди пьеса обещала провалиться. Дело было дрянь.

— Может, лучше отменить показ, — предложил я.

— В Гэмпшире сейчас и без того тошно, — возразила Салли. — Зима близко.

Беда в том, что Мелоди вообще не могла раскрыть характер персонажа. А ведь главное действие пьесы Артура Гарвея Ульма развора-

чивалось в душе проститутки. Он описал, что происходит с ней после общения со столь разными мужчинами. В небольшом предисловии Ульм указал: «Для того чтобы “Рим” ожил на сцене, душа Беллы на глазах публики должна стать слепящим калейдоскопом, затянутым дымом адского пекла. Если Белла отразит лишь один цвет из спектра того, что значит быть обездоленной молодой женщиной в раздираемой войной стране, пьеса обречена на провал».

Я напомнил Салли о предисловии Ульма и уточнил, знает ли Мелоди, что такое калейдоскоп.

— Да, — ответила та. — И что такое спектр тоже. Она не знает только, что значит быть женщиной.

— Ты хочешь сказать, какой женщина *должна* быть.

— Как пожелаешь, — ответила Салли.

Повисло сосредоточенное молчание. Дело шло к полуночи. Салли вдруг прикрыла губы рукой и затараторила:

— Нет-нет-нет-нет!

Она подражала Мелоди. Та всегда так делала на репетициях, когда мы доходили до мест, где она должна поцеловать Брайса или Джона.

Да и между поцелуями она играла не лучше.

Мелоди была дочерью Фреда Ловелла и старалась ни единым поступком не осрамить отца.

— Может, стоило дать ей роль святой Жанны д'Арк? — заметил я.

Салли фыркнула.

— С чего ты решил, что Жанна д'Арк была такой стылой ледышкой?

Как бы там ни было, мы продолжали.

Все в той или иной степени выучили свою роль. Накануне финальной репетиции я сказал Салли, что в ночь перед премьерой всегда кто-то говорит: «Шоу должно продолжаться».

— Вопрос в том, что за шоу у нас получится, — заявила она.

Салли была права.

Пока что Мелоди оставалась самой собой, как и Брайс, Джон и даже я. И вот мы четверо каким-то чудом попали в Рим. Время от времени мы открывали рот, и оттуда вылетали странные, совершенно чуждые нам слова, пришедшие будто из космоса или другого мира. Слова, написанные Артуром Гарвеем Ульмом.

Репетиция была в самом разгаре. В той сцене я не участвовал и сидел в зале с одной из подружек Джона. Ее звали Марти. Она была официанткой из Южного Кроуфорда. А еще у нее был кривой

нос — ей, как и половине поклонниц Джона, его когда-то сломали. И, по-моему, каждую вторую его девчонку звали Марти.

Что до этой самой Марти, то она вдруг ткнула меня локтем под ребро:

— А этот Брайс Уормергран — он секси, правда?

И разразилась безудержным смехом. Марти думала, мы ставим комедию.

Хотя, помоги нам господь, Брайс и правда был смешон. Его сводила с ума и Мелоди, и это ее «не трогайте меня», поэтому он безбожно переигрывал. Выхаживал вокруг девушки на полусогнутых ногах, как Граучо Маркс[25], и глядел телячьими глазами, старательно следуя инструкциям Ульма в сценарии: «Бен имеет столь же переменчивую душу, как и девушка. Помните: он поэт, а поэтические страсти по определению своему нельзя ни предсказать, ни контролировать».

Марти спросила меня, не переживает ли Мелоди из-за скорого суда над отцом. Я ответил, что мы не знаем точную дату. В Барбелл отправили целую команду следователей, и, судя по масшта-

---

[25] Примечания: 25

Граучо Маркс — американский комик, крайне популярный в 1930-е годы. Его сценический образ включал в себя характерную размашистую походку (здесь и далее прим. переводчика).

бам обвинения, им потребовалось бы несколько лет, чтобы выяснить все подробности дела.

— Что до Мелоди, — продолжил я, — то ее отца обвиняют во всех смертных грехах. Но поскольку она уверена в его святой непогрешимости, то считает, что и переживать не о чем. — Я пожал плечами. — Кто знает, может, он и впрямь еще выкрутится.

— Угу, — согласилась Марти. — Вон, Эйхман ведь прятался столько времени… А Ловелл, он под арестом или на свободе?

— Думаю, его выпустили под залог, — ответил я.

— Кто бы сомневался, — сказала Марти.

И в этот самый момент в зал вошел Фред Ловелл собственной персоной.

Я сразу понял, кто он такой. Его фотографии печатались во всех газетах, да и по телевизору он часто мелькал. Фред Ловелл был коренастым и круглолицым, с высоким лбом и носом-картошкой. Он носил очки в стальной оправе и чересчур квадратный двубортный пиджак, будто бы сшитый из листа фанеры. На лице застыло одно выражение — хмурой королевы Виктории.

Из нагрудного кармана у него торчало несколько перьевых ручек, а отворот пиджака сверкал не

хуже Млечного Пути. Ловелл нацепил с дюжину эмблем различных братств и общественных организаций, членом которых он являлся. Я ничуть не удивился, увидев среди них и бутылочную крышечку «Доктора Пеппера».

А еще от нашего гостя нещадно разило алкоголем.

Я встал и громко поздоровался, чтобы предостеречь остальных:

— Мистер Ловелл! Какой приятный сюрприз! Мы и не думали, что вы к нам заглянете!

В зале вспыхнул свет. Пьеса остановилась. Мелоди на сцене завопила от радости, бросилась к отцу и повисла у него на шее.

Интересно, заметит ли она крепкий перегар?

— Ой, папа, папа, папочка! — запричитала Мелоди. — Ты опять вылил на себя слишком много одеколона.

Салли предложила сыграть пьесу заново.

— Мистер Ловелл, присядьте пока в зале. Думаю, вас обрадуют успехи вашей дочери.

— Да уж не сомневаюсь! — отозвался тот. — Она никогда не дает мне повода для разочарований.

В зале было шесть человек и триста свободных стульев. Однако Ловелл выбирал себе место с видом комика У. К. Филдса, искавшего прямой

бильярдный кий[26]. Наконец он сел на кресло, которое только что освободил я, — рядом с кривоносой подружкой Джона Шервуда.

— А вы кого играете? — спросил он у нее.

— Я не участвую в пьесе.

— Тогда почему на вас столько грима?

За пару секунд до того, как свет погас, в зал проскользнул еще один незнакомый мужчина и сел на последнем ряду. У него были чересчур длинные волосы, а воротник рубашки расстегнут, но мне показалось, что это агент ФБР. Наверное, он присматривал за Фредом Ловеллом, чтобы тот не сбежал.

Я участвовал в первом акте и потому поднялся на сцену: мне предстояло молча пройтись туда-сюда с крайне циничным видом. Мелоди заняла место у фонарного столба. Все мы дожидались, когда поднимут занавес.

— М-м-м… Уж поверь, парень, эти губы перецеловали немало женщин, — промычал Джон, красноречиво выпячивая рот. — Жду — не дождусь пятницы. О да-а-а, обещаю, это будет лучший поцелуй в ее жизни.

---

[26] Примечания: 26

Имеется в виду комедийная короткометражка 1915 года «Акулы бильярда», где известный фокусник и юморист У. К. Филдс сыграл главную роль.

— Не надо над ней смеяться лишь потому, что у нее не сломан нос, — сказал я.

— Ты видишь только кривой нос, а я — женщину, которая знает, как сделать мужчину счастливым. — Он покачал головой, поглядывая на Брайса, ждущего своего выхода на другом краю сцены. — Хоть бы наш мальчик не помер на радостях после пятничного чуда.

— С чего бы?

— Вряд ли у парнишки к таким делам иммунитет, — пояснил Джон.

И тут занавес поднялся.

Мелоди вертелась в круге фонарного света. Так велела ей Салли. Мелоди еще спросила: «Зачем?» Переодеваться в костюм она не стала, но в руках держала большую кожаную сумку, болтая ею за длинный ремень. Как бы ни были чисты помыслы девушки, никто, кроме Брайса Уормерграна, не усомнился бы в роде ее занятий.

Подружка Джона выпалила громкое «Ух ты!». Пьеса ей сразу понравилась.

Однако прежде чем на сцене успели произнести хоть слово, Фред Ловелл издал ужасающий стон.

— Закройте занавес! — рявкнул он.

Занавес тут же опустился. В зале вспыхнул свет. Я как руководитель клуба пошел погово-

рить с этим сумасшедшим. Он вскочил на ноги, побагровев от возмущения. Молодой человек в полурасстегнутой рубашке и пальто тоже встал.

— Что за мерзкая пьеса! — выпалил Ловелл.

— Простите… в чем дело? — уточнил я.

— Моя милая дочурка! Самое прекрасное, что у меня есть! Свет моей жизни!.. — Он давился словами. — А вы поставили ее под фонарный столб вертеть сумкой! «Обрадуетесь», значит? Так вот, я ничуть не рад!

Напуганная Мелоди выглянула из-за кулис.

— Ты здесь больше не останешься! — рявкнул ей Ловелл.

— Мы вернемся в Барбелл, папочка?

— Нет, поедешь к своей тете.

— Можно мне с тобой? Ну пожалуйста!

— Нет, доченька. Потом как-нибудь. А от этих людей держись подальше! Они доведут тебя до беды! Поняла?

— Поняла, — не стала спорить Мелоди. Она взяла отца за руку, и они вышли из зала.

С ними исчез и молодой незнакомец. За его спиной тихо хлопнула дверь.

Я повернулся к Салли.

— Что думаешь?

— Он плакал, — ответила та.

— Да нет же, глаза у него были сухими.

— Ты о ком? — не поняла она.

— О Ловелле. Он Тартюф.

Тартюф был лицемером из французской пьесы, которую мы ставили примерно в то же время.

— А я о молодом человеке в пальто.

— Агенты ФБР не плачут, — возразил я.

На следующий день история была во всех газетах: Фред Ловелл сбежал. Скрылся от следствия. Завез Мелоди к тете и сразу же поехал к канадской границе. Добрался до Монреаля, а оттуда рванул на самолете в Бразилию.

В газетах писали, что залог в восемьдесят тысяч долларов сгорит. Все равно деньги принадлежали не Ловеллу. Нужную сумму собрали обычные граждане Барбелла, которые по-прежнему в него верили.

Газетчики раскопали еще одну неприятную историю. Тоже с фотографиями. На них была изображена любовница Фреда Ловелла — юная красотка с длинными торчащими во все стороны ресницами, алмазными сережками и волосами цвета шампанского. Снимок сделали в Новом Орлеане, когда она тоже садилась на самолет до Бразилии.

— Как пьеса? — поинтересовалась у меня за

ужином жена.

— Уже никак, — ответил я.

— Боюсь даже спрашивать о главном.

— Как Мелоди? Бог ее знает… Салли весь день пыталась ей дозвониться, но она не берет трубку. Говорят, заперта в спальне.

— А дверь закрыта изнутри или снаружи?

— Хороший вопрос. Изнутри.

Тут зазвонил телефон. Я ответил. Это был Джон Шервуд. Хотел узнать, состоится ли вечером генеральная репетиция.

— А сам как думаешь? — спросил я.

— Ну, у меня есть одна мысль, — ответил тот. — Постеры ведь уже развешены, пьесу рекламировали несколько недель, и билеты почти все проданы. К тому же я изрядно потратился на костюмы и реквизит…

— Не ты один, Джон.

— Может, моя подружка сыграет Беллу? Что скажешь?

— Марти? — уточнил я. — А она умеет играть?

— А Мелоди что, умеет? — фыркнул Джон. — Марти хотя бы знает, о чем пьеса. Она была почти на каждой репетиции. За оставшиеся три дня, включая пятницу, выучит текст.

— Давай попробуем, — решился я. — Обзвоню

людей, скажу, что генеральная репетиция пройдет по расписанию.

— Шоу должно продолжаться?

— Вроде того.

* * *

Тем же вечером незнакомец опять сидел в последнем ряду.

— Можно спросить? — обратился к нему я.

— Допустим.

— Не отвечайте, если не хотите… но вы агент ФБР?

— Я что, похож на агента?

— Не совсем, — признался я.

— Тогда думайте, что вам угодно.

— Если вы ищете Фреда Ловелла, боюсь разочаровать: птичка упорхнула.

— Ну и черт с ним, — ответил молодой человек.

На этом разговор закончился. Я пошел на сцену. Репетиция еще не началась, но подружка Джона уже стояла под фонарем, вживаясь в роль.

— Как она? — спросил я у Салли.

— «Клуб Парика и Маски» Северного Кроуфорда за все время существования впервые ждет полицейская облава, — ответила та.

Я понял, о чем она. Марти и впрямь превращала шедевр Артура Гарвея Ульма в низкопробную вульгарную пьеску.

— А Брайс ее видел?

— Весь побелел и исчез куда-то. Должно быть, прячется в подвале.

И тут вошла Мелоди. Глаза у нее были красными, под ними залегли круги, но вела она себя совершенно спокойно. Налепила накладные ресницы, густо накрасила их тушью и нанесла румяна на скулы. А губы, как пишут в романах, призывно алели.

Девушка излучала такое драматичное достоинство, что все сами расступались с ее пути. Марти без лишних слов освободила ей место под фонарем.

Мелоди взошла на сцену, окинула нас взглядом, зажмурилась ненадолго, а потом снова открыла глаза и произнесла:

— Ну что, начнем?

Господи Иисусе, вот это была игра! Мелоди будто прожила на сцене десяток разных жизней. Публика в зале рыдала, потому что Мелоди стала живым воплощением женской сущности — от Девочки со спичками до Марии Магдалины.

А когда дело дошло до поцелуев, то девушка

превзошла себя. Когда она поцеловала Брайса, тот будто воспарил на крыльях и, потеряв дар речи, упорхнул. Когда поцеловала Джона, он удалился со сцены достойно, однако за кулисами, вдали от чужих глаз, обессиленно упал на четвереньки.

После первого акта за кулисы ушла и Мелоди. Я сгреб ее в объятия.

— Ты лучшая актриса, которую видел этот клуб!

— Я такая же, как она! Развратница! Дрянь!

Мелоди высвободилась из моих рук, подошла к Джону и обняла его за шею.

— Ты нужен мне, а я нужна тебе. Давай сбежим?

Джон одобрил ее предложение:

— Конечно, детка. Ты и я — только скажи!

Тут распахнулась дверь, и в нашу каморку влетел тот самый незнакомец. Сегодня он выглядел еще растрепаннее обычного. Он оттолкнул Джона в сторону и сгреб Мелоди в объятия.

— Я люблю тебя больше всех на свете! И не буду звать тебя замуж! Потому что ты все равно за меня выйдешь! В любом случае! Прямо сегодня!

— Постойте-ка, а что на это скажет Джон Эдгар

Гувер[27]? — спросил я.

— А он-то здесь при чем? — удивился незнакомец.

— А то, что вы самый чокнутый агент из его бюро!

— Я не агент ФБР, — возразил он.

— Кто же вы?

— Я драматург. Меня зовут Артур Гарвей Ульм.

---

[27] Примечания: 27
Джон Эдгар Гувер — директор ФБР с 1924 по 1972 год.

Мисс Сноу, вы уволены

© Перевод. Л. Плостак, 2021

Эдди Уэтцел работал инженером в компании «Дженерал фордж энд фаундри» в Илионе, штат Нью-Йорк. Компания производила керамические изоляторы, и в здании пятьдесят девять, где находился кабинет Эдди, все было равномерно покрыто тонким слоем глиняной пыли.

К двадцати шести годам Эдди стал определенно неравнодушен к красивым женщинам. Женская красота неизменно пробуждала в нем сильные чувства: страх и ненависть. Однажды он женился на красавице и прожил с ней шесть волшебных месяцев. За полгода новоиспеченная супруга распугала всех друзей Эдди, нахамила начальству, повесила на него долг в двадцать три тысячи долларов и растоптала самооценку. Уходя, она присвоила себе обе машины и вывезла мебель, забрала даже часы, зажигалку и запонки. А подавая на развод, обвинила его в психологическом насилии. По решению суда, Эдди полагалось выплачивать ей двести долларов в месяц.

Словом, Эдди был весьма суровым молодым

человеком, когда на должность его секретаря назначили Арлин Сноу — восемнадцатилетнюю выпускницу колледжа Илион-Хай. Спустя месяц ее признали самой красивой девушкой компании, территория которой насчитывала семнадцать въездов. Конкурс проводила корпоративная газета «Джи эф энд эф топикс». В голосовании приняли участие тридцать одна тысяча шестьсот двадцать три сотрудника. Из них двадцать семь тысяч четыреста двадцать один отдали свой голос Арлин.

— Мои сердечные поздравления, — сказал Эдди, узнав о победе Арлин. — К сожалению, наша работа — не украшать собой мир, а производить изоляторы. Если не возражаете, предлагаю заняться делом.

Измученная язвительностью босса, Арлин хваталась за любую возможность хоть ненадолго вырваться из пыльного кабинета. Чаще всего эту возможность предоставлял Арманд Флеминг, редактор «Джи эф энд эф топикс» и зять вице-президента по связям с общественностью. Жена сорокалетнего Флеминга была монументальна и непреклонна, как воинский мемориал. Флеминг постоянно привлекал Арлин в качестве бесплатной модели. Анонс каждого нового продукта в

газете сопровождался фотографией Арлин, приветствующей новинку одинаковой лучезарной улыбкой. Во всех предпраздничных выпусках первую страницу занимало фото Арлин, призванное воплотить дух очередного торжества. На День независимости Арлин в купальнике с узором американского флага готовилась поджечь шутиху высотой в собственный рост. Подпись гласила «Ба-бах!»

Накануне Хэллоуина Арлин в откровенном комбинезончике пугалась фонаря из тыквы. Фото было озаглавлено «Караул!»

На День благодарения Арлин воплотила сразу два образа: женщины из первых поселенцев выше пояса, и девушки из рекламы сигарет из Лас-Вегаса ниже пояса. На нее грозно надвигалась индейка, а подпись гласила «Кулды-кулды».

На последнем фото у вице-президента компании лопнуло терпение. Он заявил зятю, что считает сюжет и композицию откровенно похабными; кроме того, любому сотруднику ясно, что Флеминг втюрился в Арлин, поскольку никого другого не фотографирует. Больше он ее не увидит, заключил босс.

Пока Флеминг получал выговор от тестя, Арлин была занята в фотостудии. Одетая в умопомра-

чительное мини, стилизованное под костюм Санта-Клауса, она изящно обнимала обнаженной рукой гипсового оленя Рудольфа.

Тем временем Эдди Уэтцел в своем кабинете рвал и метал. Из-за отсутствия секретарши ему приходилось самому печатать письма двумя негнущимися пальцами. Над ухом разрывался телефон, причем изоляторы звонивших не интересовали. Все звонки были адресованы Арлин и были так или иначе связаны с ее неофициальным титулом корпоративной богини любви.

— Нет! Я понятия не имею, когда она вернется! — заорал Эдди в трубку неизвестному молодому человеку. — Я ей всего лишь начальник и не в курсе ее личной жизни! — Раскрасневшись и шумно дыша, он швырнул трубку на место.

В кабинет вошли Арлин и Флеминг. Флеминг выглядел совершенно раздавленным. Он не признался девушке, в чем дело. Из головы не шли слова вице-президента.

Флеминг с тоской осознал, что тесть попал в точку.

Арлин робко поздоровалась с начальником и тут заметила свежую надпись, сделанную пальцем на пыльной столешнице. Размашистым округлым почерком Эдди вывел: «Мисс Сноу, вы

уволены».

* * *

Эдди Уэтцел добился увольнения в два счета. Арлин получила увесистый щелчок по очаровательному носику.

Эдди без труда доказал, что она рассеянна, сосредоточена на себе, печатает медленно и с ошибками, не в состоянии разобрать собственный почерк, не проявляет должной лояльности отделу керамических изделий, неоднократно замечена в опозданиях и прогулах, и примерно так же профпригодна, как одноглазая помойная кошка.

Здравый смысл вкупе с малодушием не позволили никому из сотрудников компании предложить Арлин работу. Любой, кто заинтересовался бы ее услугами, неизбежно столкнулся бы с вопросом, услуги какого рода имеются в виду.

Бедняга Флеминг был более всех бессилен ей помочь. Он с позором удалился в свой кабинет, где весьма долго отвечал на звонок жены. Та почти дословно повторила нотацию тестя и потребовала, чтобы он держался подальше от «этой потаскухи».

Вечером Арлин пришлось пройти через уни-

зительный ритуал изъятия пропуска. Вооружившись огромными ножницами, охранник безжалостно раскроил надвое ангельское личико в ламинированном пластике и швырнул обрезки в урну. Он изо всех сил старался не смотреть в глаза Арлин, беспомощно застывшей посреди унылой серой слякоти.

Арлин ушла в ночь, и ее бледное лицо затерялось в бескрайнем море таких же бледных лиц. В тусклом свете уличных фонарей встречным было не разглядеть слез девушки.

На автобусной остановке ее дожидался Арманд Флеминг. Обычно он не ездил общественным транспортом, но сегодня оставил машину на стоянке компании, опустевшей в пять часов.

— Вы на автобусе, мистер Флеминг? — спросила Арлин.

— На автобусе, на самолете, на поезде… — отозвался тот. — Как знать, на чем меня понесет в предстоящее путешествие?..

— Простите?

— Выпьете чего-нибудь со мной? Я ваш должник, и это самое малое, что я могу сделать. Все случилось по моей вине.

— Вы ничего не должны, — возразила Арлин.

— Знаю, что не должен. Просто мне до смер-

ти надоело делать то, что я должен. Отныне я намерен делать только то, чего хочется. — Глаза Флеминга безумно поблескивали, однако погруженная в переживания Арлин ничего не заметила. — Я настаиваю на своем приглашении!

Они направились в небольшой бар в ближайшем переулке. Красная неоновая вывеска «Бар» мутно сверкнула им навстречу. Обоим было невдомек, что Эдди Уэтцел снимал квартиру прямо над баром и каждый вечер заходил туда на пару бокалов мартини.

Эдди сидел в кабинке и читал письмо от бывшей жены. Она по-прежнему его любит, писала она, не затруднит ли его выслать ей сто сорок два доллара семьдесят пять центов? Произошла небольшая авария, и деньги нужны на ремонт машины. «Несправедливо вешать этот долг на меня, — писала она, — и я уверена, что судья со мной согласится».

Письмо было отправлено из Майами-Бич.

Голоса в соседней кабинке отвлекли Эдди от чтения. Подслушивая поневоле, он вскоре узнал обоих участников.

— Арлин, я привык плыть по течению, — говорил Арманд Флеминг. — Я никогда не шел ва-банк и не жил на полную катушку — никогда

не следовал за своими желаниями.

— Очень жаль, мистер Флеминг.

— Я не стремился обрести счастье.

— Почти все так живут, — заметила Арлин.

— Так может, пора что-то менять? — Он наклонился вперед. — «Pendant toute notre vie, Арлин, jouissons de la vie!»

— Простите, я не понимаю. Я училась делопроизводству.

— Пока мы живы, — перевел Флеминг, накрыв ее ладонь своей, — давайте наслаждаться жизнью!

Флеминг и сам довольно слабо владел французским. Собственно, этой фразой его познания исчерпывались. Она была написана на фартуке, который жена подарила ему на последний День отца.

— Сегодня что-то во мне щелкнуло, и теперь я намерен жить! И хочу, чтобы вы тоже жили!

— После всего, что мистер Уэтцел про меня наговорил, — вздохнула Арлин, — мне хочется свернуться клубком и умереть.

— Забудьте о нем!

— Не могу. Худшего грубияна я не встречала. — Она помрачнела. — И главное, за что? Я ничего ему не сделала.

— Я помогу вам его забыть! — сказал Флеминг.

— Как?

— Увезу вас отсюда прочь — от слякоти, холода, Уэтцелов, «Дженерал фордж энд фаундри», прочь от лицемерия, страха, ханжества, двуличия, травли, компромиссов, прочь от ненужного самоотречения. Арлин, — добавил Флеминг, — за всю жизнь я не встречал никого прекраснее! Я не могу позволить себе упустить вас. Я вас люблю и хочу, чтобы вы уехали со мной.

— Мистер Флеминг! — изумленно прошептала Арлин.

— Знаете, как я поступил, когда вас уволили? — спросил Флеминг. — Вернулся к себе в кабинет и все обдумал. Затем пошел прямиком в кассу и потребовал назад свои облигации военного займа, а также забрал все до цента выплаты в пенсионный фонд и все до единой акции, которые накопил по бонусной программе. — Он распахнул куртку, демонстрируя внутренние карманы, набитые ценными бумагами. — И вот я здесь. Я стою семь тысяч четыреста девятнадцать долларов. Куда вы хотите отправиться, Арлин, чтобы стереть из памяти Эдди Уэтцела и ему подобных жалких личностей? Что вас влечет? Таити? Акапулько? Французская Ривьера? Кашмирская долина?

— О, мистер Флеминг! — Арлин встала и попыталась высвободить руку. — Спасибо за теплые слова, я навсегда сохраню их в своем сердце, но… я, пожалуй, предпочла бы поехать домой.

— Домой? — Флеминг вскочил, не отпуская ее руку. — Вы думаете, я так просто откажусь от своего счастья?

— Почему вы решили, что я могу вас осчастливить?

— Разве вы никогда не смотрели в зеркало? Неужели вы не знаете, как вы прекрасны?

— Вот-вот, об этом мистер Уэтцел тоже говорил — что я слишком часто красуюсь перед зеркалом.

Флеминг сжал свободную руку в кулак.

— Надо было ему врезать! Жаль, я сразу не догадался!

— А мне совершенно не жаль! — Арлин по-прежнему старалась отнять руку, не ранив чувства человека, готового ради нее на любые жертвы.

— Вы бы тогда увидели, что я мужчина, — не унимался Флеминг. Уровень адреналина в его крови зашкаливал. И тут он заметил Эдди Уэтцела в соседней кабинке.

Исход драки был предрешен. Флеминг остал-

ся с разбитым носом, пальцем не тронув Эдди Уэтцела.

Бармен немедленно выгнал всех троих из заведения.

— В следующий раз, — заявил он заплаканной Арлин, — сделайте одолжение, водите своих кавалеров в другое место!

Они поднялись в квартиру Эдди, чтобы оказать несчастному Флемингу первую помощь. Крошечная квартирка была обставлена с удручающим минимализмом: ни единой шторы или ковра и даже ни единого стола, только два дешевых стула. Флеминга уложили на единственное спальное место — узкую металлическую кровать, купленную на распродаже списанного военного имущества.

— Господи боже! — обратился Флеминг к потолку. — Нет хуже дурака, чем старый дурак.

— Я не хотел бить так сильно, — сказал Эдди. — То есть, я вообще не хотел бить.

— Лучше бы ты меня убил, — сказал Флеминг.

Арлин искала в кухне лед, чтобы приложить Флемингу к носу. В холодильнике нашелся только одинокий ломтик ливерной колбасы и банка пива. Интересно, где Эдди ест, подумалось Арлин, если у него даже стола нет.

И тут она заметила остатки завтрака на холодильнике. Выходит, Эдди ел стоя. Там же находился единственный декоративный предмет во всей квартире — фотография ослепительно красивой невесты в золотой рамке.

Войдя в кухню, Эдди застал Арлин разглядывающей фото.

— Натали, — сказал он.

— Что?

— Ее зовут Натали, — повторил он. — Да вы и сами знаете. Девушки в отделе наверняка все вам рассказали в первый же рабочий день.

— Да, — кивнула Арлин. — Сожалею, что ваш брак распался.

— Я, глупец, думал, что ее характер так же прекрасен, как и внешность. Грандиозная ошибка.

— Если она так ужасно обошлась с вами, зачем вы храните ее фотографию? — спросила Арлин.

— Знаете, некоторые оставляют на память пулю, извлеченную из раны. — Он неуклюже поспешил сменить тему. — И вот что… извините меня. Я сожалею, что пришлось вас уволить.

— Вы очень доходчиво объяснили причину, — возразила Арлин. — Из ваших слов следует, что увольнение совершенно заслуженно.

Эдди поднял ладони вверх.

— Ладно-ладно, не драматизируйте! Можно подумать, я вас обрек на голодную смерть.

— Да-да, конечно, — рассеянно кивнула Арлин.

Она согласилась бы с любой его фразой в обмен на возможность удовлетворить исследовательский интерес, а Эдди показался ей исключительно редким экземпляром. Кажется, она даже поняла, почему его брак был обречен.

— Вообще-то, — заметил Эдди, — такой девушке, как вы, не место в бизнесе.

— А где мое место? — с интересом спросила Арлин.

Эдди растерялся. Женская красота приводила его в такое замешательство, что он не видел для нее надлежащего места в устройстве мира.

Протяжный стон Флеминга избавил Эдди от необходимости отвечать.

* * *

Кровотечение у Флеминга прекратилось само по себе, и теперь он сидел на краю кушетки и сокрушался о том, что успел наделать глупостей.

— Ничего страшного, мистер Флеминг, — сказала Арлин. — Завтра вернете свои деньги и облигации.

Флеминг покачал головой.

— Записка!

Оказалось, он оставил на столе прощальную записку, в которой высказал коллегам все, что думает, не стесняясь в выражениях. Особенно досталось его властной жене и тестю вице-президенту.

— Лучшее мое письмо за всю жизнь — единственное, где я написал правду, — стонал Флеминг. — Я объявил, что намерен жить полной жизнью, что уезжаю в Океанию писать великий американский роман. Наверняка все уже прочли. — Его передернуло.

— Так не меняйте планов! — воскликнула Арлин. — На самом деле поезжайте к южным морям! На самом деле напишите роман!

— Без вас? — В глазах Флеминга промелькнула смутная надежда, что Арлин все-таки передумает.

— Я не поеду. Я не влюблена в вас, да и подобная авантюра не в моем духе.

Флеминг кивнул.

— Да-да, конечно. — Он прикрыл глаза. — Сегодня день, когда я сошел с ума. День, когда я свихнулся. День, когда я убедился, что представляю собой полный ноль среди мышей и людей.

— Вы можете вернуться к жене и на работу,

если захотите, — сказала Арлин. — Все поймут.

— Если захочу, — повторил Флеминг. — Я ничего не хочу, кроме вас, дорогая.

— Вы меня даже толком не знаете. — Арлин обернулась к Эдди. — Да и вы тоже. Для вас обоих я — всего лишь абстрактная красивая девушка. Даже если мой характер будет меняться раз в пять минут, никто из вас ничего не заметит. Думаю, ту же ошибку вы допустили с женой.

— Я прекрасно относился к жене, — возразил тот.

— Когда мужчину не интересует личность женщины, она вынуждена совершать массу глупостей, просто чтобы ощутить себя живой. Когда девушка ведет себя плохо, обычно это значит, что ей не уделяли достаточно внимания. — Она повернулась к Флемингу. — Спасибо, что прославили меня.

С этими словами Арлин удалилась.

* * *

Флеминг проводил Арлин взглядом, затем ушел сам.

— Иногда полезно получить хорошую встряску, — криво усмехнулся он. — Спокойной ночи. Приятных снов.

Эдди думал, что Флеминг поедет домой. Собственно, так думал и сам Флеминг.

Однако на пути к пустой стоянке он встретил Арлин, которая ждала автобуса. Девушка поинтересовалась, едет ли он домой.

Флеминг остановился и, поразмыслив, воскликнул:

— Домой?! Вы с ума сошли!

Он бросился обратно в город и в самом деле улетел на Таити.

Автобус опаздывал, и Эдди, побежавший следом, успел застать Арлин на остановке, прежде чем она окончательно покинула его жизнь.

— Вот что… — сказал он. — Я могу пригласить вас на ужин?

— С чего бы это?

— Я перед вами в долгу.

— Ничего подобного, — возразила Арлин.

— Тогда я в долгу перед собой. Хочу убедиться, что я способен по-человечески обойтись с милой девушкой. — Он вздохнул. — Или уже поздно?

Она одарила его печальной улыбкой, в которой читалось желание понять и простить при выполнении некоторых идеальных условий.

— Нет, — сказала Арлин, — в таких делах не бывает поздно.

Париж, Франция

© Перевод. Л. Таулевич, 2021

Гарри Буркхарт был профессиональным гольфистом в загородном клубе «Скэнтик-хиллс» в Лексингтоне, штат Массачусетс. Его жена Рейчел — бывшая модель и известная фигуристка, которой в двадцать с хвостиком предложили роль в Ледовом шоу Голливуда, — предпочла стать домохозяйкой и матерью, выйдя замуж за Гарри. В то время он был первым футболистом в истории Академии береговой охраны, вошедшим в символическую любительскую сборную Америки по версии Ассошиэйтед Пресс.

Когда обоим исполнилось по 37 лет, Гарри и Рейчел решили отдохнуть в Европе. Всего две недели — Лондон, Париж и снова через Лондон домой. Честно говоря, даже это короткое путешествие они позволить себе не могли, потому что по уши сидели в долгах. Однако все равно поехали, поскольку врач и пастор в один голос советовали им придумать что-нибудь романтичное и экстравагантное, дабы не возненавидеть друг друга окончательно. Спасать отношения стоило

ради четверых детей, которые благодаря этому брачному союзу появились на свет, но под его же влиянием становились все более требовательными, капризными и неуправляемыми.

В Лондоне Гарри и Рейчел неплохо повеселились: наслаждались вкусной едой и дорогими напитками, тратили последние деньги, которые взяли в кредит. При деньгах всегда легче ладить.

Из Лондона в столицу Франции они добирались поездом и на пароме. Когда Гарри и Рейчел нашли свое купе в поезде Кале — Париж, там уже сидела пара пожилых туристов из Индианаполиса — супруги Футц. Артуру и Мари было по шестьдесят пять, они впервые в жизни добрались до Европы и совсем пали духом. Артур Футц возненавидел Европу с первого взгляда.

— Европа смердит, — заявил он, как только поезд тронулся. — Англия тоже смердит. Передавай я новости отсюда домой, повторял бы каждый вечер: «Европа смердит. С вами был Артур Футц, а теперь вернемся в студию Эн-би-си в Нью-Йорке».

По словам старого сантехника на пенсии, в Лондоне его оскорбили, обобрали и отравили. Он сокрушенно качал головой.

— А ведь это еще даже не Европа! Я хоть мог по-

нять, что они говорят. Страшно подумать, какие приключения ждут нас в «веселом Париже»!

— А может, это будут самые незабываемые дни в нашей жизни, — робко предположила его жена.

Мари Футц — милая, тихая, немного суматошная старушка — старалась получать удовольствие от поездки, но муж ей не давал.

— Ни минуты не сомневаюсь, — ответил он, — и готов поспорить, что французские способы разлучать американцев с дорожными чеками другим странам даже не снились.

— Париж считают самым красивым городом на свете, — мечтательно вздохнула Мари.

— Самый красивый город на свете — Индианаполис в штате Индиана, — изрек старый Футц. — Самый красивый на свете дом находится на Грейсленд-авеню, а самое красивое на свете кресло — в гостиной этого дома. И если вдруг, сидя в этом кресле, я почувствую, что из моего кармана исчезают деньги, мне нужно лишь засунуть руку под любимую старую подушку и достать их оттуда.

— Ну, на Грейсленд-авеню мы вернемся, причем очень скоро, — Мари взглядом поискала сочувствия у Рейчел, — и больше никогда не

тронемся с места.

Она произнесла это голосом, полным сожаления и грусти.

— Трогаться с места было глупо с самого начала. — Старик Футц ткнул пальцем в два пустых сиденья у двери и сказал, обращаясь к Гарри и Рейчел: — Это места самых разумных людей в мире: им хватило ума остаться дома.

Затем он извинился и вышел в коридор искать туалет.

— Надеюсь, у меня хватит денег, чтобы зайти в туалет и выйти оттуда, — если здесь вообще есть туалет. Сдерут с меня небось по сотне долларов в один конец.

Несчастная Мари Футц не удержалась и обронила пару слезинок, после чего решила поделиться своими тревогами с попутчиками.

— Мой муж всю жизнь так много работал, что совсем разучился расслабляться. Отдых для него труднее, чем работа. Эту поездку затеяла я, но теперь вижу, что сделала глупость. Как только мы оказались в Англии, Артур пришел в ужас и сразу захотел вернуться на Грейсленд-авеню.

Мари говорила все тише и тише.

— Тогда я сказала ему: если тебе действительно так плохо, давай вернемся, но прежде хоть на

денек съездим в Париж, всего на денечек, раз ты больше не вынесешь, только чтобы увидеть Эйфелеву башню и Джоконду. Ведь кто знает, окажемся ли мы еще когда-нибудь так близко от Парижа, и как долго ни один из нас не сможет увидеть множества знаменитых, прекрасных вещей, помимо четырех стен нашего дома № 4916 на Грейсленд-авеню?

Конец вопроса истаял как эхо в бездонном колодце человеческой тоски.

— Только теперь поняла, какая я эгоистка, — продолжила после паузы Мари.

— Я вовсе не считаю вас эгоисткой, — ответила Рейчел.

Описание неурядиц семейства Футц заставило ее почувствовать себя моложе, она словно расцвела. Гарри и Рейчел боялись старости еще больше, чем безденежья. Встречи с настоящими стариками оказывали на них благотворный смягчающий эффект, подобно доступному кредиту.

— Люди должны хотя бы иногда брать от жизни то, что им хочется, — сказал Гарри, вытянув вперед свои проворные цепкие руки. Конечно, хватка с каждым годом слабеет, но они еще долго не станут дрожащими, пятнистыми и немощными, как у Футца.

— Нельзя всю жизнь делать то, чего хотят от тебя другие, — подхватила Рейчел.

Она, по своей привычке, держала в руке большую пудреницу и, быстро щелкая крышкой, заставляла зеркальце подмигивать себе. Подмигивающее зеркало отражало стройную худощавую брюнетку с чертами, утратившими былую нежность. Хотя привлекательности еще хватало, однако любой мужчина, который поддавался ее чарам, сразу понимал, что Рейчел — крепкий орешек.

Сиюминутное чувство благополучия Гарри и Рейчел было соткано из тонкого и дешевого материала и рвалось легко, как мокрое бумажное полотенце. Уже по советам, которые Гарри с Рейчел давали бедной Мари Футц, было видно, насколько хрупок их союз.

— В некоторых случаях человек должен во что бы то ни стало идти своим путем, — заметила Рейчел.

— Порой люди идут на бесконечные компромиссы, пока в них совсем не останется жизни, — подхватил Гарри.

— Жизнь слишком коротка, — добавила Рейчел.

И все в таком духе, высказанное чрезвычайно

дружелюбным тоном. Те же самые слова они часто говорили и даже кричали — зло и оскорбительно — друг другу во время ссор.

Маленькая седовласая старушка была поражена до глубины души.

— Я не имела в виду, что мы с Артуром плохо ладим, — произнесла она. — Мы друг без дружки вообще не можем. Мне не стоило все это говорить. Я… я просто хотела, чтобы он расслабился и пожил в свое удовольствие. На самом деле, его никто здесь не обидел и не ограбил, все были милы и приветливы. Просто вдали от дома он чувствует себя потерянным.

Она подумала, какими аргументами убедить Буркхартов, что ее брак удался, и, наконец, нашлась:

— Мы любим друг друга всей душой.

— Думаю, мы тоже, — ответил Гарри. — Не знаю… Вот ведь черт, смешная штука жизнь.

— Как-нибудь разберемся, — сказала Рейчел, продолжая играть с пудреницей.

Ей все больше нравилось отражение в зеркале. Для Гарри и Рейчел наступил момент глубочайшей привязанности. И тут судьба одним махом все разрушила. Из коридора послышались голоса, проводник открыл дверь и указал на свободные

места. Юноша и девушка, которых он привел, были молоды, ослепительно хороши собой и безумно влюблены друг в друга. Молодой человек одарил проводника за труды с необыкновенной щедростью.

Двое баловней судьбы, явно молодожены, уселись лицом к лицу, помогая друг дружке устроиться шелковистыми прикосновениями и ангельским шепотом. Они были так интересны друг другу, что все остальные могли пялиться на них сколько угодно, не рискуя обидеть. Рейчел отложила свою мигающую пудреницу — перед ней была настоящая красота. Гарри немедленно влюбился в девочку и бесстыдно возжелал ее. Мари Футц издала непроизвольный тяжелый вздох, похожий на гудок далекого товарного поезда.

Юноша говорил с британским акцентом, застенчивые ответы девушки выдавали в ней ирландку из южного Бостона. Молодой человек владел не только английским — он бегло общался с проводником на французском.

Артур Футц вернулся из туалета и первым заговорил с новенькими.

— Я дважды прошел мимо, — тяжело выдохнул он. — Увидел вас и подумал, что ошибся купе.

Он шумно сел на свое место.

— Футц, старый дурак, сказал я себе, как ты дошел до такой жизни, что заблудился в поезде посреди Франции?

— Здесь нетрудно заблудиться, — согласился молодой человек и пояснил, что они тоже сначала сели не в свое купе, и проводник только что отвел их в правильное.

— Наш сосед так хорошо говорит по-французски! — сообщила Мари Футц мужу. — Слышал бы ты, как он разговаривал с проводником.

Она повернулась к молодому человеку и спросила:

— Ведь это французский?

— Кое-кто достаточно снисходителен, чтобы считать его французским, — ответил юноша.

— Мы с Артуром слушали записи на фонографе, только там говорят очень медленно. А вы говорите очень быстро, даже непонятно, какой это язык. Ваша жена, наверное, тоже знает французский?

— Нет, — сказал молодой человек, — но обязательно выучит.

— Я так точно эту премудрость не освою, — проворчал Футц.

— А я бы хотела выучить только одну фразу: «Отвезите меня к Джоконде и Эйфелевой башне», — сказала Мари.

Она повернулась к Рейчел Буркхарт, которая смотрела на проплывающие за окном ряды тополей и оранжевые крыши, а видела лишь призрачные отражения своих попутчиков в пыльном стекле. Рейчел начинала закипать.

— Вы с мужем не пробовали эти уроки на пластинках? — спросила у нее Мари, но та ее не услышала.

Даже по отражению было видно, как Гарри жалеет, что не женился на юной трогательной красавице. Помрачнев, Рейчел стала перебирать в памяти всех мужчин, которых могла завоевать одной улыбкой и ленивым бряцанием браслета. Не дождавшись ответа, Мари Футц повернулась к Гарри.

— А вы знаете какие-нибудь другие языки?

— Немецкий, — сказал Гарри. — Мой второй язык — немецкий.

Рейчел недоверчиво обернулась.

— Что-о?

— Почему ты вечно норовишь меня поддеть? — спросил ее Гарри, залившись краской.

— Ты не говоришь по-немецки! — заявила Рейчел.

— Не думай, что знаешь обо мне все! — парировал Гарри. — Я изучал немецкий в академии.

Немецкий в академии был безнадежно завален, но что с того? Гарри с головой погрузился в мечты о том, что могло бы случиться, что должно было случиться, и что еще может случиться. Перестав отличать правду от вымысла, он был убежден, что знает немецкий. Вена с ее океанами пива, вальсами и ласковыми, уступчивыми белокурыми девушками в широких пестрых юбках уже казалась ему чуть ли не духовной родиной.

Его вернул к действительности голос юноши, заговорившего по-немецки, приглашая Гарри разделить красоту этого лающего и рычащего наречия.

— Мне… я… не все понял, — жалко промямлил Гарри.

Юноша повторил все снова, медленно и отчетливо. Безуспешно стараясь разгадать смысл сказанного, Гарри уставился на собеседника, как баран на апельсины. Неловкое молчание нарушил резкий смех Рейчел — словно каминные щипцы проехались по полке с бокалами для шампанского.

— Кто бы сомневался, — хрипло бросила она. — В этом ты весь!

Гарри встал, дрожа от злости, и с оскорбленным видом вышел из купе.

— Вечно одно и то же, — безжалостно фыркнула Рейчел, — строит из себя невесть что.

Для Рейчел было в порядке вещей прохаживаться по поводу супруга перед посторонними, и Гарри по любому поводу отвечал ей тем же. Больше ничего хоть сколько-нибудь интересного они друг в друге не находили. Так или иначе, размолвка отбила у присутствующих вкус к беседе, и в купе воцарилась тягостная тишина.

Через некоторое время старый Футц достал свои билеты, паспорт и целую кипу всяких путевых документов. У него был такой обеспокоенный вид, что остальные тоже принялись шуршать бумагами. В разговоре выяснилось, что все возвращаются в Лондон через три дня. Мало того, снова поедут в одном купе.

— Интересно, какие истории мы расскажем друг другу через три дня? — мечтательно произнесла Мари Футц.

Гарри Буркхарт так и не вернулся в купе. Всю дорогу до Парижа он курил в коридоре и по прибытии в Город Влюбленных заходился в приступах кашля. Когда поезд подошел к перрону, Рейчел вышла из купе и подобрала мужа в коридоре, словно дешевый чемодан.

— Где твое чувство юмора? — презрительно

спросила она.

— У меня его нет, — ответил Гарри.

— Милый, Париж! Мы в Париже! — радостно воскликнула Мари Футц.

— Ох, что-то мне не по себе. Нехорошо как-то, — проворчал старый Футц.

Юные влюбленные мгновенно растаяли в парижских сумерках, легко слившись с ними своей окраской. Знакомство юноши с городом и языком открывало перед ними все пути.

А Футцам и Буркхартам пришлось искать переводчика, чтобы получить багаж и обменять фунты на франки, а затем объяснить таксистам, куда их отвезти.

Ожидая такси, Рейчел продолжала подначивать Гарри:

— Жаль, что мы не в Германии, там ты был бы королем.

Гарри выругался и решил немного прогуляться, чтобы усмирить свой гнев. Не пройдя и трех шагов, он наткнулся на прекрасную девушку, стоящую под фонарем. Она заговорила с ним по-английски, сразу давая понять, что считает его героем. Прямо на глазах у Рейчел, в каких-нибудь десяти шагах, девушка пообещала Гарри по-настоящему пылкую и страстную любовь, которой

он достоин.

Три пары поселились в разных гостиницах, но время от времени сталкивались друг с другом. Так, Гарри Буркхарт, плывший на прогулочном катере по Сене с неизвестной женщиной, явно не женой, заметил на набережной Мари Футц, которая с помощью разговорника пыталась завести светскую беседу с удивленным уличным художником.

Мари, в свою очередь, увидела юную пару на скамейке в Тюильри в разгар ожесточенного спора.

А Рейчел с ввалившимися глазами и старик Футц столкнулись в большой американской аптеке у Триумфальной арки. Футц покупал сироп от несварения желудка, а Рейчел — краску для волос. Они не заговорили друг с другом. У старика Футца была грязь под ногтями, и вообще он имел вид чрезвычайно занятого человека, который страшно спешит. Более того, он обращался к аптекарю по-французски. На плохом, убогом французском, но объясниться сумел.

А спустя три дня старик Футц провел Мари через весь Гар-дю-Нор в нужный поезд и без всяких переводчиков нашел нужное купе. Они пришли первыми, и Мари смотрела на мужа, как на бли-

стательного вундеркинда.

— Ты почерпнул из этих пластинок куда больше, чем я думала, — сказала она.

— Ничего я из них не почерпнул! — недовольно проворчал Футц. — Любой язык — всего лишь шум, который люди производят своим ртом. Я слышу чужой шум и произвожу шум в ответ.

— Почему-то мой шум никто не понимал, — возразила Мари.

— Это потому, что тебе нечего сказать, — съязвил Футц.

Мари молча проглотила оскорбление. Своей вежливой и старательной тарабарщиной она за эти три дня поставила в тупик не одного француза.

Следующей взошла на борт прелестная юная леди — одна. И если по пути в Париж ее отгораживала от остальных пассажиров любовь, то сейчас — гораздо менее радостное чувство. Она не поздоровалась и молча села на свое место, полностью погруженная в себя, без капли косметики, окутанная плотной вуалью достоинства и скуки. Она не смотрела на часы, не выглядывала в коридор или в окна, то есть явно никого не ждала.

Последними с большой помпой прибыли Гарри и Рейчел Буркхарт. Их сопровождала целая свита:

полицейский, проводник, носильщик и молодой человек из американского посольства. Гарри был пьян и расхристан, галстук повязан криво, на пальто не хватало пуговиц, на локтях и коленях — грязные пятна. Картину дополняли разбитая губа и радужный синяк под глазом.

Рейчел выглядела как белая королева племени людоедов. Она осветлила свои черные волосы и выкрасила их в ярко-оранжевый цвет. В отличие от мужа, она была трезва как стеклышко. С нежностью, казавшейся еще трогательнее в сочетании с диким видом, Рэйчел помогла погрузить Гарри на борт. Гарри не хотел ее нежности, хотя отчаянно в ней нуждался. Он то благодарил Рейчел, то посылал жену к черту. Раз в порыве благодарности даже назвал ее мамой.

Когда поезд тронулся, Гарри помахал рукой в окно и сказал: «Прощай, Париж, прощай, старая…» — и назвал его так, как именуют женщину, с которой он провел эти три дня.

Прелестная одинокая девушка проявила легкий интерес к столь непристойному прощанию и вновь ушла в себя. Только такой сумасшедший, как Гарри, мог задать ей прямой вопрос.

— Видите, что случилось с ее мужем? — обратился он к девушке, ткнув пальцем в Рейчел. — А

что с вашим?

— Он задержался, — вежливо ответила она.

— А мне вот нет удержу, — гордо заявил Гарри. — Я один из самых неудержимых гостей Парижа за всю его историю.

Он устремил стеклянный взгляд на Футца, раскачиваясь взад и вперед, в то время как поезд петлял между задними дворами с бельем на веревках в заколдованном лесу дымовых труб.

— Господин Футц, — наконец произнес он.

— Да?

— Могу я поговорить с вами наедине?

— Что ты опять затеял, Гарри? — забеспокоилась Рейчел.

— Хочешь еще немного покомандовать моей жизнью?

— Нет, — поспешно ответила Рейчел и больше не сказала ему ни слова.

Гарри с трудом уговорил старика Футца выйти с ним в коридор.

— Я хочу извиниться за своего мужа, — пробормотала Рейчел.

— Не страшно, — успокоила ее Мари, — я понимаю. На всех мужчин иногда находит.

— Разве только на мужчин? — сказала Рейчел. — Вы видели мои волосы?

— А вы видели мою руку? — отозвалась Мари и стянула с левой руки тонкую белую перчатку.

— А что с ней не так? — заинтересовалась Рейчел.

— Нет обручального кольца, — пояснила Мари, удивленно распахнув глаза. — Мое бедное, старенькое, потертое колечко, где оно? Валяется теперь где-то на дне Сены. Когда вернемся в Индианаполис, пойдем с Артуром в ювелирный магазин, и ему придется купить новое кольцо для своей шестидесятипятилетней невесты.

Символичность утраты обручального кольца оказалась столь острой, что тронула даже очаровательную девушку.

— Вы уронили его с моста? — спросила она.

— Нет, смыла в сток умывальника в Лувре, — ответила Мари. — Когда мы рассматривали замечательную «Джоконду», Артур вдруг громко отрыгнул. Потом сказал, что в театре «Гилберт-Серкл» в Индианаполисе висит неплохая репродукция, а потом — что некоторые обложки «Сэтерди ивнинг пост» дадут ей сто очков вперед. И наконец, заявил, что разгадал тайну загадочной улыбки Джоконды — у нее тоже изжога.

Тогда я пошла в дамскую комнату и дала волю слезам. Плакала и плакала, никак не могла оста-

новиться. Он раздавил мое счастье, как таракана. Не понимая, что делаю, я крутила на пальце обручальное кольцо, снимала и вновь его надевала. А потом бедное старое колечко вдруг звякнуло и упало в раковину.

— Разве нельзя было как-то его достать? — спросила Рейчел, бессознательно нащупывая свое собственное обручальное кольцо.

— Все эти три дня Артур работал бок о бок с французскими сантехниками, — ответила Мари, — не считаясь с расходами. Когда рабочие Лувра хотели прекратить поиски, Артур дал им денег, чтобы они продолжали работу. Он исследовал Париж под землей, а я — на поверхности, и это были лучшие дни в нашей жизни. Он вылез из канализационного люка, говоря по-французски, как настоящий парижанин. Прошлым вечером его новые друзья устроили для нас прощальную вечеринку. Они подарили ему корону, а мне — ожерелье из трубопроводной арматуры, и назвали нас королем и королевой парижской канализации. Если подумать, кто мы такие и кем были всегда, — добавила старая Мари Футц, — я и мечтать не могла о более высокой чести на закате жизни. Теперь я рада, что вернусь на Грейсленд-авеню и больше никогда не тронусь с места.

В окне показались руины фабрики, которую разбомбили во время Второй мировой войны. Оранжеволосая Рейчел посмотрела на эти не подлежащие восстановлению развалины и сказала:

— Думаю, Париж дает каждому то, за чем он пришел.

И снова прелестная девушка не смогла не включиться в беседу.

— А разве это касается не любого чужого города? — спросила она.

— Я никогда раньше не встречала города, который позволяет человеку быть таким разным, — ответила Рейчел. — На всех парижских вокзалах должны быть надписи на всех языках: «Это сон. Не бойся совершать глупости, о которых мечтаешь, и увидишь, что получится». — Она тронула свои волосы. — В любую минуту я могу проснуться, и мои волосы вновь станут черными.

— По-моему, вы очень привлекательны и в таком виде, — великодушно заметила Мари Футц.

— Привлекательна? — с болезненной иронией отозвалась Рейчел. — Сейчас расскажу вам, как я привлекательна. Как привлекательны мы оба, я и Гарри.

В Париже мы с ним решили пойти каждый сво-

ей дорогой, исполнить свои собственные мечты. Гарри встретил миленькую шлюшку, которая дала ему столько любви, сколько никогда не могла дать я. Это обошлось ему в пятьсот долларов, наручные часы и запонки. Когда у моего мужа закончились деньги, девчонка позвала своего дружка, и тот избил его до полусмерти.

Мой путь заключался в том, чтобы выяснить, насколько я еще привлекательна. В результате большую часть этих трех дней я пряталась в своем гостиничном номере от мужчин, которых привлекаю: коридорных и пьяниц старше шестидесяти.

Поезд сбавил ход на станции, но не остановился, а медленно проплыл мимо кирпичной стены с огромной надписью мелом: «Янки, убирайтесь домой!»

Теперь Рейчел с Мари ждали, что своими приключениями поделится юная прелестница. Однако она так ничего и не рассказала — ни им, ни кому-либо еще. Не горела желанием рассказывать, потому что не знала, гордиться или стыдиться. Ее рассказ подтвердил бы слова Рейчел, но она больше сочувствовала Мари Футц, история которой тоже была связана с обручальным кольцом.

Девушку звали Хелен Донован. Несмотря на кольцо, она никогда в жизни не была замужем. Не так давно Хелен стала помощником библиотекаря в американском посольстве в Лондоне, и воздух Бостона еще не выветрился из ее легких. Она находилась вдали от дома ровно шесть недель — достаточный срок, чтобы успеть влюбиться в молодого человека, которого звали Тед Эшер. Она была так влюблена и находилась так далеко от дома, что согласилась поехать с ним в Париж. Однако смогла отважиться на такое путешествие лишь после покупки обручального кольца, чтобы все видели: она замужем. Ее парижской мечтой были брачные узы, а мечтой Теда — легкая, беззаботная любовь. До смерти напугав друг друга, юная парочка рассталась, причем добродетель Хелен не пострадала.

В купе протиснулся старик Футц. Выяснилось, что Гарри занял у него небольшую сумму и отправился в вагон-ресторан за черным кофе.

— Скоро очухается, уже почти совсем протрезвел, — доложил старик.

— А что он говорил обо мне? — поинтересовалась Рейчел.

— Сказал, не понимает, как такая прекрасная женщина столько времени терпела такую задни-

цу, как он, — ответил Футц.

Окрыленная Рейчел помчалась в вагон-ресторан за Гарри. Ресторан был еще закрыт, но по просьбе Гарри его открыли. Рейчел впустили только после долгих объяснений.

Старик Футц был прав: Гарри почти протрезвел.

— Привет, — сказала Рейчел, садясь напротив.

— Привет, — ответил Гарри.

— Это всего лишь я.

— Мне кажется, я смог бы, если бы и ты…

Вместо ответа Рейчел взяла его за руку.

— Я тут сижу и думаю всякую чушь. — Гарри закрыл глаза и ущипнул себя за нос.

— В смысле?

— Кто знает, мы могли бы однажды даже влюбиться.

— Я больше не люблю себя, как раньше, — сказала Рейчел.

— Я тоже очень сильно разошелся со своим «я». И вряд ли буду с ним когда-либо разговаривать.

— Может, мы смогли бы утешить друг друга после разрыва отношений со своими «я»? — предложила Рейчел.

И они стали утешать друг друга. По дороге из Кале в Дувр все принимали их за молодоженов

— немного потрепанных, но самых настоящих.

На другом конце парома Мари Футц освободила от упаковки гипсовую модель Эйфелевой башни высотой в два фута — сюрприз для мужа. В башню был встроен барометр, сделанный в Японии, и старый Футц сразу обратил внимание, что тот навечно застрял на отметке «ураган».

— Дорог не подарок, а внимание, — сказал он. — Большое тебе спасибо.

На корме стояла в одиночестве Хелен Донован, завороженная кильватерной струей. Девушка сняла поддельное обручальное кольцо и бросила в сторону Франции. Это увидел стоявший неподалеку француз. Он подошел и сказал:

— Пардон, мадам, от моего взгляда не укрылся ваш драматический жест.

Его звали Гастон Дюпон, и он продавал автомобили «Рено». Гастон собирался хорошенько повеселиться в Лондоне, который считал самым развратным городом в мире. Он подумал, что поймал удачу за хвост, встретив симпатичную девушку, так кстати выбросившую в море обручальное кольцо. Однако жестоко ошибся: Хелен решительно отвергла его завуалированные непристойные предложения.

Прибыв в Лондон, бедный Гастон, отвергнутый

Хелен, угодил в переплет и был обобран с поистине королевским размахом. Особенно постаралась некая Айрис с Пиккадилли. После трех дней в Лондоне Гастон выглядел куда хуже, чем Гарри Буркхарт в Париже.

Хелен Донован начала писать роман о своих трех днях в Париже. Но уже первые две строчки положили конец ее затее. «Любовь — странное чувство, — написала она, — и я пока не считаю себя достаточно взрослой, чтобы ее понять».

Город

© Перевод. И. Доронина, 2021

Он поддерживал пальцами раздвинутые веки левого глаза, в котором ощущал острую резь, и смотрел на его покрасневшее отражение в зеркальной поверхности дешевых весов. Было такое ощущение, что частичка золы все еще в глазу, хотя он ее не видел. Он беспомощно промокнул кончиком носового платка глазное яблоко. Мерзкое место для жизни: куда ни повернись — сажа в глаза летит, подумал он. Платок тоже не слишком чистый — еще инфекцию какую-нибудь занесешь…

Она осмотрела свое расплывчатое отражение в витрине аптекарского магазина и подумала: уж не становятся ли у нее бедра шире от вечного сидения за письменным столом, и придает ли нитка жемчуга менее строгий вид ее блузке? Блузку она только что забрала из прачечной — и посмотрите на нее! Разве можно носить что-нибудь белое в этом городе? Хватает одного дня, чтобы белая одежда приобрела такой вид, будто ею угольный бункер чистили. Ну что за дела, пятнадцатых

автобусов прошло уже четыре, а одиннадцатого — ни одного. Если этот человек не перестанет терзать свой глаз, он у него вытечет. Хоть бы кто-нибудь сказал ему, чтобы он высморкался. *Только так* можно удалить сажу из глаза. Я думала, это все знают. Просто нужно раз или два хорошенько сморкнуться и…

Ну, наконец-то, облегченно подумал он, мстительно разглядывая злосчастную черную соринку на носовом платке. А ведь казалось, что она размером с Гибралтар. Черт возьми, это уже, кажется, четвертый пятнадцатый номер, а девятого — ни одного! Мог ведь остаться в городе, посмотреть спектакль. Но надо ехать домой — носки постирать и написать письмо маме. Он зевнул. Одни и те же лица на одном и том же углу — каждый вечер. Вон та пухлая мышка, которая ждет одиннадцатый автобус. Он выгнул бровь. Вы посмотрите на нее — прихорашивается, любуется собой в витрине. Им никогда не надоедает смотреть на себя. Хоть бы кто-нибудь сказал ей насчет одежды — эта блузка делает ее похожей на школьную училку. Он поправил галстук-бабочку. Если автобус не придет через две минуты, пойду в кино. Взгляните на эти огромные синие невинные глаза. Такая девушка, как эта, нуждается в

защите…

Круглолицым мужчинам не следует носить галстуки-бабочки, раздраженно подумала она. Они делают их лица широкими и толстыми. Будь я его девушкой, я бы заставила его носить обычные галстуки. И еще я объяснила бы ему, что нельзя надевать полосатые галстуки к полосатым пиджакам. Она энергично кивнула в подтверждение своих соображений. Опять пятнадцатый! Характерно для этого города, правда? Вот уже почти месяц я вижу его здесь каждый вечер, и единственное, что я о нем знаю, это что он ездит на девятом автобусе. Она вздохнула. Пока доберусь домой, времени останется только на то, чтобы сделать маникюр и написать перед сном письмо маме. Можно было остаться посмотреть спектакль. Но, наверное, опасно одной возвращаться домой так поздно. Девушке не пристало… Ха, он взвешивается. Бьюсь об заклад, что он ни на унцию больше ста пятидесяти пяти не весит. Кому-то нужно заставить его позаботиться о себе, нарастить немного мяса на кости. Он должен весить по меньшей мере сто восемьдесят.

Сто пятьдесят четыре фунта, отметил он про себя. За десять месяцев потерял восемнадцать фунтов. Гамбургеры, кофе и салат из сырой ка-

пусты. У меня совсем пропал аппетит. Ей-богу, недельную зарплату отдал бы за домашнюю еду. А по ее виду можно сказать, что она недостатка в еде не испытывает. Маленькая толстушка. Мне нравится. Правда, выглядит усталой. Контора — не место для такой девушки, как она. Наверняка всякие волокиты ей проходу не дают там, где она работает. Такая девушка должна выйти замуж, иметь большую семью, заботиться о ней. Интересно, ее родные знают, с чем ей, предоставленной самой себе, приходится сталкиваться в таком городе, как этот? Не говоря уж о том, что с ней может здесь случиться. Будь она моей дочерью, я бы, черт побери, не позволил…

Мужчины такие беспомощные, думала она. Только посмотрите на этот воротничок — позор! Кто-то должен его перелицевать. Перелицуешь — и носи рубашку еще хоть целый год. Их глаза на миг встретились, она быстро отвела взгляд, слепо уставившись в витрину табачного магазина на противоположной стороне улицы, и поймала себя на том, что мысленно сочиняет письмо маме: «Работа очень интересная. Новостей почти нет. Здесь трудно завести друзей, но сегодня вечером я встретила очень славного молодого человека. Мы ходили с ним на спектакль, а потом

выпили содовой. Я почувствовала себя как дома. Он не похож на большинство здешних мужчин. Тебе он бы очень понравился». Она мимолетно взглянула на него и, заметив, что он снова на нее смотрит, покраснела, повернулась к нему спиной и нарочито сосредоточенно стала разглядывать выставленные в витрине аптекарского магазина аспирин и будильники.

Спросить у нее, как пройти к театру? — подумал он. Сердце у него бешено колотилось. Что в этом плохого? А потом предложить посмотреть спектакль и после выпить содовой. Наверняка люди всегда так и делают. Господи, это же единственный способ познакомиться в таком городе. Вот она снова на меня посмотрела…

Я могла бы притвориться, что заблудилась, и спросить у него, как пройти к театру или еще куда-нибудь, нервно думала она. Тронуть его за рукав и спросить. О боже, он идет сюда. Что бы он обо мне подумал, если бы я остановила его и спросила…

А вдруг она подумает, что я очередной приставала, как другие, и просто ищу…

О нет, я просто не могу. Я бы умерла, если бы он подумал, что я обычная дешевая… Она закусила губу. Он проходит мимо. У него такой вид, будто

он собирался что-то сказать, но не решился. Он не такой, как другие. Если бы я только могла дать ему понять…

Кишка тонка, кишка тонка, кишка тонка, глумился он над собой. Шагах в десяти от нее он замешкался и вытянул шею, делая вид, будто высматривает автобус с этой новой позиции. Если бы только знать наверняка, что она не поймет превратно, если… Автобус подкатил к бордюру, и двери открылись. Ну, вот и пока-пока, детка. Вон она подходит к своему автобусу — наконец-то пришел одиннадцатый. Он рассеянно взглянул на лобовую панель автобуса. Ой, нет — снова пятнадцатый!

Она встала перед автобусом, несколько секунд внимательно вглядывалась в большую цифру пятнадцать на лобовой панели, а потом, не оглядываясь, поднялась в салон. Дверь с лязгом закрылась за ней, и водитель переключил скорость, ожидая, когда на светофоре зажжется зеленый свет. Не сработало, сказала она себе и, усталая, расстроенная, плюхнулась на свободное двойное сиденье. Выйду на следующем углу и пройдусь пешком… Он стучит в дверь! О нет… что я ему скажу?

С рассеянным видом, глядя куда угодно только

не на нее, он двинулся по проходу и занял место рядом с ней. В голове у него вертелась одна и та же фраза: что я ей скажу? Так он и сидел молча, обдумывая этот вопрос. Постепенно он начал снова ощущать болезненную резь в левом глазу. О господи, опять что-то в глаз попало! Он даже обрадовался, что это отвлекло его, и снова стал деловито промокать глаз платком.

На светофоре зажегся зеленый, и автобус с ревом отъехал от бордюра.

— Высморкайтесь поэнергичней, — тихо посоветовала она. — Это помогает удалить соринку.

Он решительно высморкался.

— Будь я проклят! — просиял он. — Помогло.

Они впервые посмотрели друг другу прямо в глаза.

— Я думала, это все знают, — скромно сказала она, и с каждым словом голос ее звучал все уверенней. — Надо просто разок-другой хорошенько сморкнуться и…

Автобус дернулся и остановился. Вошел какой-то пассажир и посмотрел на них. Автобус снова устремился вперед.

— Это ведь не ваш автобус, правда? — спросил он.

Она одарила его робкой улыбкой.

— И не ваш, насколько мне известно.

— Нет, — ответил он, — и не мой.

— Забавно, — сказала она. — Чей же он тогда?

— Наш, — предположил он.

— Ладно, — ответила она, устраиваясь поудобней. — И куда он нас везет?

— Не знаю, — сказал он. — Поедем вместе и узнаем.

— Это будет чудесно, — сказала она и устроилась еще уютней.

Они робко посмотрели друг на друга и улыбнулись. Городскую мглу вдруг словно смыло водой. Мир вокруг стал чистым и теплым, а впереди засверкало будущее, которое можно было обсуждать, пока они в трепетной надежде ехали к неведомому чуду, ожидавшему в конце этого зачарованного маршрута.

Раздел 5.
ТРУДОВАЯ ЭТИКА ПРОТИВ БОГАТСТВА И СЛАВЫ

© Перевод. А. Комаринец, 2020

Роскошная жизнь некогда состоятельной семьи Курта, где были слуги, гувернантки, членство в кантри-клубе, шикарные вечеринки, путешествия за границу и частные школы для детей, в двадцатые и тридцатые годы сменилась серыми буднями среднего класса. Курта забрали из частной школы Орчард и отправили в государственную школу № 43.

Позднее (в эссе «Вербное воскресенье») Курт писал, что его мать говорила: «Когда-нибудь, когда закончится Великая депрессия, я снова займу свое место в обществе и стану членом местных кантри-клубов и приобщусь ко всему, что прилагается к такой жизни». «Она не могла понять, что все мои друзья были в государственной школе № 43… для меня это означало бы отказаться от всего».

«Мне все еще не по себе от моего благополу-

чия», — писал Курт, когда уже самостоятельно добился его.

В своих эссе, выступлениях и романах Курт чаще всего цитирует Нагорную проповедь Иисуса и речи Юджина В. Дебса[28], последователем которого он себя считал и который говорил: «Пока существует низший класс, я в нем. Пока существуют криминальные элементы, я их часть. Пока хотя бы одна душа томится в тюрьме, я не свободен».

Воннегут всегда на стороне слабых и угнетенных, сочувствует тем, кто зарабатывает хлеб насущный, чтобы кормиться самим и кормить свои семьи — в противоположность вскармливанию иллюзий и притязаний на богатство и славу. Эти ценности ясно прослеживаются во всем его творчестве.

В рассказе «Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну» гламурная кинозвезда, бросающая пятого мужа, без макияжа и красивых нарядов оказывается «страшнее продавленной кушетки» и еще менее желанной на роль спутницы жизни. В рассказе «Ложь» мальчик обнаруживает, что его

[28] Примечания: 28

Юджин Виктор Дебс (1855–1926) — деятель рабочего и левого движения США, один из организаторов профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира».

претенциозные родители подделали результаты экзамена, чтобы отправить его в престижную подготовительную школу, учиться в которой он не хочет. В рассказе «Любое разумное предложение» агент по продаже недвижимости очень старается угодить взыскательным клиентам, но обнаруживает, что перед ним халявщики, выдающие себя за аристократов. Рассказ «Этот сын мой» — про двух отцов, пытающихся превратить своих сыновей в молодые копии самих себя, вместо того чтобы позволить им быть самими собой.

Один из наиболее умело написанных рассказов того периода — «История в Хайаннис-Порте», в которой вездесущий продавец и установщик противоураганных окон получает заказ на установку таких окон в доме богатого светского льва в Хайаннис-Порте, штат Массачусетс. Воннегуту нравится этот установщик противоураганных окон, который сам себе хозяин (никакого корпения за столом в конторе, никаких корпораций) и который умеет проложить вдоль бортика ванны герметик. Кроме того, он главный герой рассказа «Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну».

В то время, когда Курт писал свой рассказ (купленный «Сэтерди ивнинг пост» в 1963 году,

однако не изданный, так как номер отменили после покушения на президента Кеннеди в ноябре того года), Хайаннис-Порт был знаменит тем, что там находилась летняя резиденция Джона Кеннеди и его гламурной семьи. Рассказчика нанимают установить противоураганные окна в четырехэтажном доме неподалеку от резиденции Кеннеди, принадлежащем капитану Роберту Тафту Рэмфорду, чей титул восходит к тому факту, что некогда он был «капитаном» местного яхт-клуба. Рэмфорд негодует на вторжение президента и его клана нуворишей и на появление в «его» округе видных политических лиц той эпохи, приезжающих с визитами.

Когда сын Рэмфорда делает предложение четвероюродной кузине Кеннеди, недавно приехавшей из Ирландии, невыносимо претенциозный «капитан» внезапно оказывается выбит из седла. Он начинает задумываться, а вдруг он действительно именно таков, каким описывает его зазывала на экскурсионном кораблике, объяснявший туристам, что Рэмфорд посиживает у себя на веранде, тянет мартини и позволяет денежным мешкам делать что хотят. Самозваный капитан чувствует себя бесполезным и объявляет жене, что ему нужно подыскать какую-нибудь работу. А его

жена, которая, вполне вероятно, свои суждения почерпнула из рассказов Воннегута, отвечает: «Понимаешь, дорогой, я все равно буду любить тебя таким, какой ты есть… но вот восхищаться мужчиной, который совершенно ничего не делает, ужасно тяжело, поверь».

В мире Воннегута — в мире Америки 1950-х годов, какой ее видели писатели, художники и «взъерошенные индивидуалисты» — восхищения достойна не всякая работа, а только та, которая избегает западни, описанной во влиятельных трудах по социологии того времени — например, «Человек организации» социолога Уильяма Ф. Уайта, «Белый воротничок» социолога С. Райта Миллса и «Жизнь в хрустальном дворце» Алана Харрингтона.

Только-только закончив колледж, мы с моими нью-йоркскими друзьями прочитали все эти книги. И подобно самому Воннегуту, который писал рассказы по вечерам и в выходные, чтобы заработать достаточно денег для себя и своей семьи и иметь возможность уйти из «Дженерал электрик», мы искали способ избежать жестких рамок корпораций. (Выражение «жить в хрустальном дворце» взято из «Записок из подполья» Достоевского: «Вы верите в хрустальное здание,

навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить».) «Подпольный человек» считает, что боялся бы такого дворца[29].

Как писал Харрингтон, «тысячи людей ежегодно входят в хрустальный дворец. Со временем они должны сделать выбор: принять отупляющую стабильность большой корпорации или взбунтоваться против подчинения». Рассказ Воннегута «Олень» наиболее удачно и драматично описывает подобный выбор. Некогда идеалистичный молодой человек двадцати девяти лет Дэвид Портер был сам себе хозяином, но счел, что его скромную газетку ждет беспросветное будущее, а потому решил — ради стабильной зарплаты — устроиться на работу в крупную корпорацию «Заводы Илиума». Его жена только что родила

---

[29] Примечания: 29

Автор вступления к разделу, по всей вероятности, сам «Записок из подполья» не читал», а если и читал, то не понял, что автор не имел в виду крупные корпорации. Более того, сам Харрингтон свой «хрустальный дворец» взял не у Достоевского. «Хрустальный дворец» Харрингтона отсылает к теории философа-социалиста Ш. Фурье: в его дворцах из чугуна и хрусталя должно было трудиться новое человечество. — *Примеч. пер.*

вторую пару близнецов, но все равно обеспокоена его решением: «Для некоторых заводы — прекрасное место: они процветают в этой среде. Но ты всегда был таким независимым…». Стараясь быть практичным, Портер отвечает жене: «Я не имею права больше рисковать, Нэн, не теперь, когда большая семья рассчитывает на меня».

Он получает работу в отделе по связям с общественностью в «Заводах Илиума», и его первое задание — найти фотографа компании и вместе с ним выследить оленя, который забрел на огромную территорию «Заводов» и которого занесло к металлургической лаборатории. Боссу Дэвида нужна фотография оленя и «душещипательная статейка», которую напечатают в газетах по всей стране. После долгих скитаний в лабиринте зданий, таком же запутанном, как «Замок» Кафки, Дэвид наталкивается на загнанного в угол оленя. Дэвиду поручено запереть калитку, через которую олень мог бы сбежать, но Дэвид поступает ровно наоборот — он ее открывает. Олень сбегает на свободу, и следом сбегает Дэвид. «Дэвид ступил в лес и прикрыл за собой ворота. Он не оглянулся назад». Как не оглянулся Курт, когда ушел из «ДжЭ».

Дэн Уэйкфилд

Дворцы побогаче

© Перевод. Е. Романова, 2020

Семью Маклеллан, Грейс и Джорджа мы знаем около двух лет. Мы тогда только переехали в деревню, и они были первыми, кто зашел нас поприветствовать.

Я думал, что после первого обмена любезностями в беседе возникнет неловкая пауза, но ничего подобного не случилось. Шустрые и зоркие глазки Грейс мигом нашли тему для многочасового разговора.

— Знаете, ваша гостиная — просто чудо что такое! Из нее можно сделать настоящую конфетку! Правда, Джордж? Ты тоже видишь?

— Ага, — ответил ее муж. — Очень симпатичная.

— Надо только содрать все эти жуткие белые доски со стен, — продолжала Грейс, деловито прищурившись, — и обшить их сосновыми панелями, обработанными олифой с небольшим добавлением умбры. На диван можно сшить красный чехол — яркий, эдакий красный-красный. Понимаете, о чем я?

— Красный-красный? — переспросила Анна, моя жена.

— Да! Не бойтесь ярких цветов.

— Постараюсь, — кивнула Анна.

— А всю ту стену с маленькими безобразными окошками закройте тяжелыми шторами бутылочного цвета. Представили? Получится копия той проблемной гостиной из февральского «Дома и сада». Ну да вы ее помните, конечно.

— Этот номер я, должно быть, пропустила, — ответила Анна.

Был, кстати, август.

— Ой, а может, это было в «Домашнем уюте», милый?

— Так сразу не припомню, — ответил ей муж.

— Дома пролистаю подшивки и мигом ее найду! — Грейс вдруг встала и, не спросив разрешения, начала осмотр дома.

Кочуя из комнаты в комнату, она мимоходом предложила сдать часть мебели в «Армию спасения», обнаружила поддельный антиквариат, одним пожатием плеч уничтожила несколько перегородок и распорядилась первым делом застелить пол в одной комнате желто-зеленым ковром.

— Непременно начните с ковра, — строго про-

говорила Грейс, — и от него уже пляшите. Ковер превратит весь первый этаж в единое гармоничное целое.

— Гм, — сказала Анна.

— Надеюсь, вы видели статью «Девятнадцать грубых ошибок при выборе ковра» в июньском номере «Красивого дома»?

— Да-да, конечно, — ответила Анна.

— Хорошо. Тогда вам не надо объяснять, как можно испортить весь интерьер, если начать не с ковра. Джордж… Ах, он остался в гостиной!

Краем глаза я успел заметить, что Джордж сидит на диване, глубоко о чем-то задумавшись, но в следующий миг он уже выпрямился и широко улыбнулся.

Я пошел за Грейс и попробовал сменить тему:

— Так, мы сейчас на северной стороне дома. А чей дом стоит с южной?

Грейс всплеснула руками.

— О, я с ними не знакома, это Дженкинсы. Джордж! — кликнула она мужа. — Тут спрашивают про Дженкинсов! — Судя по ее тону, к югу от нас жило очаровательное семейство неимущих.

— Ну… это милые и славные люди, — сказал Джордж.

— О… ты ведь знаешь, какие они! Милые, вот

только… — Она засмеялась и покачала головой.

— Только что? — спросил я, мысленно перебирая возможные ответы. Наши соседи — нудисты? Наркоманы? Анархисты? Заводчики хомяков?

— Они въехали в 1945-м, — пояснила Грейс, — и сразу же купили два очень красивых деревянных стула с росписью на спинке. А потом…

— Что? — вопросил я. Пролили на оба стула чернила? Нашли в полой ножке несколько тысячных купюр?

— А потом все. На этом и остановились.

— В смысле? — не поняла Анна.

— В прямом. Начали с двух красивейших расписных стульев, а потом выдохлись. Сдулись.

— А… — протянула моя жена. — Понятно. Какая досада. Вот, значит, что не так с Дженкинсами. Ага!

— Выражаем Дженкинсам наше «фи», — сказал я.

Грейс меня не расслышала. Она продолжала курсировать между столовой и гостиной: всякий раз, входя в гостиную или выходя из нее, она словно огибала некий невидимый предмет — строго в одном и том же месте. Заинтригованный, я встал на это самое место и немного попрыгал: может, половица расшаталась?

Тут в гостиную снова вошла Грейс. Она изумленно посмотрела на меня и охнула.

— Я сделал что-то не то? — спросил я.

— Нет-нет, я просто не ожидала увидеть вас на этом месте.

— Прошу прощения.

— Здесь будет стоять такая чудная скамеечка, знаете, как у сапожников.

Я сделал шаг в сторону и с тревогой наблюдал, как она нагибается над воображаемой скамейкой.

— Один или два ящика мы откроем и посадим в них плющ, — рассказала мне Грейс. — Правда, прелесть? — Она осторожно обогнула скамейку, чтобы не оцарапать ноги о грубое дерево, и прошла к лестнице на второй этаж. — Можно, я туда загляну? — весело спросила она.

— Ни в чем себе не отказывайте, — ответила Анна.

Джордж поднялся с дивана. Он минуту смотрел на лестницу, потом показал нам пустой бокал:

— Можно мне еще немного?

— О, простите, Джордж! Мы заболтались и совсем за вами не ухаживаем. Конечно, угощайтесь! Бутылка в столовой.

Он направился прямиком к бутылке и налил

себе на добрых три пальца чистого виски.

— Плитка в ванной совершенно не подходит по цвету к полотенцам, — раздался сверху голос Грейс.

Анна, ходившая за ней по пятам, будто горничная, вяло согласилась.

Джордж поднял бокал, подмигнул и выпил до дна.

— Вы на нее не обижайтесь, она всегда так разговаривает. У вас отличный дом. Мне нравится, и ей тоже.

— Спасибо, Джордж. Приятно слышать.

Анна и Грейс наконец спустились. Вид у Анны был довольно ошалелый.

— Ох уж эти мужчины! — сказала Грейс. — Им все это неинтересно, правда? — Она улыбнулась Анне. — Они не понимают наших увлечений. О чем вы тут разговаривали, пока нас не было?

— Я советовал обернуть деревья обоями и повесить ситцевые шторки на замочные скважины.

— М-м-м-м. Что ж, нам пора домой, милый, — сказала Грейс.

Она ненадолго замерла перед входной дверью.

— У вас тут очень красивые строгие линии, — заметила она. — А вся эта пряничная мишура легко отлетит — один удар долотом, и все. Еще

можно затереть ее белой краской — два раза подряд, не дожидаясь, пока высохнет первый слой. Тогда атмосфера в доме станет более уютной, более *вашей*.

— Огромное спасибо за полезные советы, — сказала Анна.

— У вас и без этого шикарный дом, — вставил Джордж.

— Я не понимаю, откуда берется столько художников-мужчин? — сказала Грейс. — Ни у одного из моих знакомых мужчин нет ничего похожего на художественный вкус.

— Ерунда, — тихо сказал Джордж и вдруг удивил меня, посмотрев на Грейс с искренней любовью и даже ревностью.

— Мы живем в дыре, — мрачно сказала Анна после ухода Маклелланов.

— Да брось, у нас отличный дом!

— Может быть, но нам столько всего еще нужно сделать. Я и не думала раньше. Господи, представляю, какие у них хоромы! Они живут здесь уже пять лет. Представляешь, во что она превратила дом за эти годы? Там, наверное, каждый гвоздик сияет!

— А снаружи выглядит так себе. И вообще, Анна, ты же не такая.

Она потрясла головой, словно приходя в себя.

— Вот именно! Никогда в жизни я не пыталась угнаться за соседями. Но в этой женщине что-то такое есть…

— К черту ее! Давай лучше будем водиться с Дженкинсами.

Анна рассмеялась. Чары Грейс понемногу рассеивались.

— Ты спятил? Хочешь подружиться с обладателями двух жалких стульев? С этими неудачниками?

— Ну, мы им скажем, что согласны дружить, только если они купят к тем стульям диван.

— И не какой-нибудь, а правильный диван. Красный-красный.

— Если они хотят стать нашими друзьями, они не должны бояться ярких цветов. И плясать должны от ковра.

— Это само собой, — решительно кивнула Анна.

С Дженкинсами мы познакомились не скоро и только вежливо кивали им при встрече. Грейс Маклеллан большую часть суток проводила у нас. Почти каждое утро, когда я уходил на работу, она вваливалась в гостиную с охапкой журналов по домоводству и заставляла Анну листать их в

поисках идеальных решений для нашего «проблемного» дома.

— Наверно, они жутко богатые, — сказала както Анна за ужином.

— Вряд ли, — ответил я. — У Джорджа крошечная кожгалантерея, в которой почти не бывает покупателей.

— Значит, они все заработанное вкладывают в дом — до последнего цента.

— Вот в это я готов поверить. Но с чего ты взяла, что они богаты?

— Послушать эту женщину, так деньги для нее — пустяк! Она не моргнув глазом говорит о шторах по десять долларов за ярд и что ремонт нашей кухни не обойдется дороже чем в полторы тысячи долларов — если, конечно, не выкладывать камин булыжником.

— Я так скажу: кухня без камина, выложенного булыжником, — деньги на ветер.

— И без мягкого уголка.

— А ты не можешь как-нибудь ее отвадить, Анна? Она тебя утомляет, я вижу. Скажи ей, что у тебя много дел.

— Язык не поворачивается. Она такая милая, добрая и одинокая… — Анна беспомощно развела руками. — Вдобавок ей ничего не объяснишь. Она

вообще не слушает, что ей говорят. У нее голова забита чертежами, тканями, мебелью, обоями и краской.

— Так смени тему.

— Легко сказать! Это все равно что направить Миссисипи в другую сторону. Заговоришь о политике — она переключается на ремонт в Белом доме, упомянешь породу собак — она заведет шарманку о собачьих будках.

Тут зазвонил телефон, и я поднял трубку. То была Грейс Маклеллан.

— Да, Грейс?

— Вы, кажется, занимаетесь офисной мебелью?

— Верно.

— У вас бывают в продаже старые картотечные шкафчики?

— Да. Сам я их не люблю, но иногда приходится брать.

— А можете отдать мне такой?

Я задумался. У нас как раз валялась в офисе деревянная развалина, которую я собирался отнести на помойку. Я рассказал о ней Грейс.

— О, чудненько! В прошлом номере «Дома и сада» была статья о том, что можно сделать из старых картотечных шкафчиков. Если оклеить

их обоями и покрыть прозрачным шеллаком, получается очень мило!

— Не сомневаюсь. Хорошо, дорогая, я завтра вечером его привезу.

— Ужасно любезно с вашей стороны! Может, зайдете к нам пропустить по рюмочке?

Я принял приглашение и повесил трубку.

— Ну, время пришло. Мария-Антуанетта наконец пригласила нас взглянуть на Версаль.

— Я боюсь, — сказала Анна. — Вдруг после этого я не смогу смотреть на собственный дом?

— Брось, в жизни есть вещи поважнее, чем декор интерьеров.

— Знаю, знаю. Вот бы ты днем сидел дома и твердил мне это, пока она здесь!

На следующий вечер я приехал домой на пикапе, а не на своей машине — привез Грейс старый картотечный шкаф. Анна уже была у Маклелланов, и Джордж вышел мне помочь.

Шкаф был дубовый, старомодный и ужасно тяжелый: пыхтя и сопя, мы кое-как втащили его в дом, и я не больно-то смотрел по сторонам, пока не избавился от ноши в передней.

В глаза бросились еще два таких же разбитых картотечных шкафа — без всяких следов обоев или шеллака. На диване в гостиной сидела моя

жена, на лице у нее застыла какая-то странная улыбка. Пружины пробили дно дивана и почти упирались в пол. Основным источником света в комнате была единственная лампочка, вкрученная в оплетенную паутиной люстру с шестью рожками. Из розетки в стене торчал перемотанный изолентой шнур — он вел к утюгу, стоявшему на гладильной доске посреди гостиной.

На полу лежал малюсенький коврик — такие обычно стелют в ванных; поцарапанные половые доски давным-давно нуждались в покраске. Всюду были пыль и паутина, окна помутнели от грязи. Единственное подобие порядка и изобилия наблюдалось на кофейном столике — то были разложенные веером журналы по домоводству.

Джордж был угрюмей и беспокойней обычного: ему явно не хотелось принимать гостей. Налив всем выпить, он сел и принялся молча буравить взглядом стенку.

Совсем иначе вела себя Грейс. Она была воплощение радушия, веселья и, как мне показалось, неукротимой гордости. Она то вставала, то садилась, то вскакивала вновь — по десять раз за минуту — и буквально танцевала по гостиной, расписывая, где и что будет. Она щупала пальцами воображаемые ткани, лениво разваливалась

на плетеном стуле, на месте которого однажды будет стоять шезлонг с обивкой сливового цвета, показывала руками ширину будущего шкафчика беленого дуба, куда она хотела встроить телевизор, радиоприемник и граммофон.

Грейс захлопала в ладоши и зажмурилась.

— Вы ведь тоже это видите? Ну видите?

— Очень красиво! — ответила Анна.

— И каждый вечер, когда Джордж будет возвращаться с работы, я буду наливать нам мартини из ледяного графина и ставить пластинку. — Грейс наклонилась к воображаемому проигрывателю, нажала несуществующую кнопку и снова села на стул. Я с ужасом увидел, как она покачивает головой в такт музыке.

Примерно через минуту этого покачивания Джордж тоже заволновался.

— Грейс! — окликнул он жену. — Ты засыпаешь. — Он пытался говорить как можно беззаботней, но в голосе все равно слышалась тревога.

Грейс тряхнула головой и лениво приоткрыла глаза.

— Нет-нет. Я слушаю.

— Вы очень здорово все придумали, — сказала Анна, беспокойно покосившись на меня.

Грейс вдруг вскочила и затараторила с новой

силой:

— А столовая! — Она нетерпеливо схватила журнал со столика и принялась быстро его листать. — Погодите, где она, где? Нет, не то! — Она уронила журнал на пол. — Ах да, я же вчера вырезала ее и убрала в картотеку! Помнишь, Джордж? Там еще стеклянный стол с полочкой для цветов внизу?

— Ага.

— Я решила поставить такой в столовой. — Грейс просияла. — Прямо под прозрачной столешницей будут цвести фиалки, герань и все такое прочее. Здорово? — Она кинулась к картотечным шкафам: — Нет, вы должны непременно увидеть фотографии.

Мы с Анной вежливо наблюдали, как она водит пальцем по разделителям в картотечных ящиках — забитых, как я понял, образцами тканей, красок, обоев и журнальными вырезками. Она уже заполнила ими два шкафа и собиралась занять третий, который я привез из конторы. Ящики были названы очень просто: «Гостиная», «Кухня», «Столовая» и так далее.

— Ничего себе система! — сказал я Джорджу, который как раз прошел мимо с новым стаканом.

Он пристально поглядел на меня, как будто

пытался понять, издеваюсь я или нет.

— Да уж, — наконец сказал он. — Там даже есть раздел, посвященный моей будущей мастерской в подвале. — Джордж вздохнул. — Что ж, когда-нибудь…

Грейс показала нам квадратик голубого полиэтилена:

— Из этого материала будут шторки на кухне — над раковиной и посудомоечной машиной. Он не пропускает воду и прекрасно моется.

— Прелесть, — сказала Анна. — У вас есть посудомоечная машина?

— М-м-м-м? — переспросила Грейс, мечтательно глядя куда-то вдаль. — А, машина-то? Нет, но я уже знаю, какую мы купим. Это мы решили, правда, Джордж?

— Да, милая.

— И когда-нибудь… — весело сказала Грейс, перебирая пальцами содержимое ящичков.

— Да, когда-нибудь… — протянул Джордж.

Как я уже говорил, мы познакомились с Маклелланами два года назад. Анна, добрая и нежная душа, придумала безобидный способ ограничить визиты Грейс в наш дом. Но раз или два в месяц мы по-соседски пропускали по рюмочке то у нас, то у них в гостях.

Джордж мне нравился: он стал куда разговорчивей и дружелюбней, когда понял, что мы с Анной не станем издеваться над увлечением его жены, — все остальные соседи с удовольствием это делали. Он обожал Грейс и подшучивал над ее занятиями только при незнакомых людях, как это было в день нашего знакомства, а в компании друзей никогда не отзывался пренебрежительно о ее мечтах.

Анна храбро несла бремя одностороннего общения с Грейс — терпеливо и почтительно, словно слушая проповедь священника. Мы с Джорджем не обращали внимания на ее болтовню и с удовольствием разговаривали на прочие темы, не имеющие отношения к декору дома.

В ходе этих бесед стало ясно, что Джордж вот уже несколько лет не может вылезти из финансовой ямы и дела его отказываются идти на лад. Каждый месяц, с выходом очередного журнала по домоводству, это мифическое «когда-нибудь», о котором Грейс вела разговоры на протяжении пяти лет, откладывалось еще на месяц. Именно поэтому, а вовсе не из-за Грейс, рассудил я, Джордж пил столько виски.

Картотечные шкафы все пухли и пухли, а дом Маклелланов все ветшал, однако воодушевле-

ние Грейс ничуть не ослабевало. Наоборот, оно только росло, а мы снова и снова вынуждены были ходить за ней по дому, слушая бесконечные рассказы о том, как все будет.

А потом в жизни Маклелланов случилось два события, грустное и радостное. Грустным событием была внезапная болезнь Грейс: она слегла с какой-то инфекцией и два месяца пролежала в больнице. Радостное заключалось в том, что Джордж унаследовал немного денег от какого-то дальнего родственника, которого не видел ни разу в жизни.

Пока Грейс лежала в больнице, Джордж часто ужинал в нашем доме. В день, когда он получил наследство, всю его угрюмость как рукой сняло: он тоже с жаром говорил о ремонте и ни о чем другом.

— Ну вот, теперь и вас одолела эта напасть, — смеясь, сказала Анна.

— Напасть? К черту! У меня теперь есть деньги! Я сделаю Грейс сюрприз — к ее выписке наш дом превратится в дом ее мечты!

— В точности?

— В точности!!!

И мы с Анной охотно стали ему помогать с осуществлением этого плана. Мы перерыли все

бумаги Грейс и нашли подробные указания по каждой комнате, вплоть до пресс-папье и мыльниц. Найти все эти предметы в продаже оказалось непросто, но Джордж не останавливался ни перед чем, Анна тоже, а деньги значения не имели.

Значение имело время. Электрики, плотники, каменщики и маляры работали в доме круглосуточно, за сверхурочные, а Анна — совершенно бесплатно — обзванивала магазины и ругалась с сотрудниками, чтобы те поторопились с доставкой заказанной мебели. За два дня до того, как Грейс должны были выписать, от наследства не осталось ни цента, а дом превратился в дворец. Джордж, несомненно, был самым счастливым и гордым человеком на планете. Ремонт удался на славу, все прошло без сучка без задоринки, за исключением одной крошечной детали: Анне не удалось найти ткань того цвета, который Грейс задумала для штор и обивки дивана в гостиной. Оттенок, которым пришлось удовольствоваться, был всего на один тон светлее. Мы с Джорджем вообще не заметили разницы.

И вот Грейс вернулась домой, веселая, но ослабевшая после болезни. День был уже в разгаре, и мы с Анной сидели в гостиной, в прямом смысле слова дрожа от волнения. Пока Джордж вел Грейс

по дорожке, Анна возилась с букетом алых роз, которые она принесла и поставила в массивную стеклянную вазу посреди кофейного столика.

Джордж положил ручку на дверь, та распахнулась, и на пороге дома своей мечты появились Маклелланы.

— О, Джордж, — пробормотала Грейс. Она отпустила его руку и, словно каким-то чудом черпая силы из окружающих вещей, сама обошла все комнаты. Грейс оглядывалась по сторонам точь-в-точь как раньше — мы видели это тысячу раз. Только сегодня она молчала.

Наконец она вернулась в гостиную и растянулась на шезлонге сливового цвета.

Джордж покрутил ручку на граммофоне, и музыка превратилась в едва слышный шепот.

— Ну?

Грейс вздохнула.

— Не торопи меня. Я пытаюсь подобрать слова — самые правильные слова.

— Тебе нравится? — спросил Джордж.

Грейс изумленно посмотрела на него и рассмеялась.

— Ах, Джордж, Джордж, конечно, мне нравится! Ты чудесный, ты прелесть! Я наконец-то дома. — Ее губы задрожали, и мы все тут же встрево-

жились.

— Что-то не так? — прохрипел Джордж.

— Ты все очень здорово устроил. У нас так красиво и уютно!

— Я бы удивился, если б было иначе, — сказал Джордж. Он хлопнул в ладоши. — Ну что, как твое самочувствие? Выпьешь с нами?

— Конечно, я же не умерла.

— Нам не наливайте, Джордж. Мы уходим. Мы только хотели увидеть ее лицо, а теперь пойдем.

— Ну нет… — начал было Джордж.

— Правда, мы серьезно. Вам лучше побыть вдвоем… то есть втроем, с домом.

— Ни шагу! — Джордж бросился в ослепительно-белую кухню смешивать напитки.

— Давай потихоньку сбежим, — сказала Анна, и мы пошли к двери. — Грейс, не вставай, мы сами выйдем.

— Что ж, если вы в самом деле не хотите оставаться, до свидания, — сказала она с шезлонга. — Не знаю, как вас и благодарить.

— Ну что ты, мы только рады. Я давно так не веселилась. — Анна окинула гостиную гордым взглядом и подошла к вазе, чтобы поправить розы. — Я немножко переживала из-за цвета штор и дивана. Ты не очень расстроилась?

— Ой, Анна, ты тоже заметила? Я-то решила, что и говорить о такой глупости не стоит. Этот пустяк не должен был испортить мне возвращение. — Она немного нахмурилась.

Анна упала духом.

— А он испортил?

— Нет-нет, что ты! Ни капельки, — ответила Грейс. — Я сама не понимаю почему, но мне совершенно все равно.

— Зато я понимаю, — сказала Анна.

— Наверно, что-то с воздухом.

— С воздухом?

— Ну да, а как еще это объяснишь? Ткань не выцветала столько лет, а тут — раз! — и поблекла за пару недель.

Вошел Джордж с графином в руке.

— Бросьте, выпейте с нами хоть немножко!

Мы с Анной, не говоря ни слова, жадно вцепились в стаканы.

— Сегодня пришел свежий номер «Красивого дома», милая, — сказал Джордж.

Грейс пожала плечами:

— Ну и что? Прочитал один — считай, прочитали все. — Она подняла бокал: — Ну, за счастье! И огромное спасибо вам за розы, милые мои.

История в Хайаннис-Порте

© Перевод. В. Баканов, 2020

Одна из сфер моего бизнеса — доставка и установка противоураганных окон. Я живу в Северном Кроуфорде, штат Нью-Гемпшир, и снабжаю своими стеклами всю округу — стараясь, впрочем, не забираться чересчур далеко. Но вот как-то меня занесло в Хайаннис-Порт (это штат Массачусетс), в дом, расположенный прямо напротив летней виллы президента Кеннеди. А случилось все из-за того, что один человек превратно истолковал мои слова и зачислил меня в страстные поклонники сенатора Голдуотера. (На самом же деле Голдуотер мне совершенно безразличен.)

Произошло это так. Председатель нашего городского клуба — республиканец и, естественно, стеной стоит за пресловутого Голдуотера. Он-то и пригласил к нам на собрание некоего Роберта Тафта Рэмфорда.

Совсем молодой парень, тот был ярым республиканцем и возглавлял какую-то студенческую организацию, стремившуюся вернуть страну к

«первородным ценностям» (так он их называл). Помнится, одним из первых принципов являлась отмена подоходного налога. С этим кто не согласится!

А вообще Роберт Тафт Рэмфорд сразу произвел на меня странное впечатление: казалось, политика его совершенно не интересует. Под глазами у него темнели круги, речь напоминала заезженную пластинку, и было видно, что он мечтает как можно скорее отсюда смыться. Зал оживился лишь раз — когда юнец стал рассказывать о том, как играл в гольф с самим Кеннеди, а также с его родственниками и друзьями. Выяснилось, что президент играет неважно (хотя легенды утверждают обратное), а Пьер Сэлинджер и вовсе не умеет держать в руках клюшку.

Родители Роберта Тафта Рэмфорда тоже сидели в зале — они приехали из Хайаннис-Порта, чтобы послушать выступление своего чада. На лице Рэмфорда-старшего (публике он был представлен как коммодор Уильям Рэмфорд) читалась нескрываемая гордость. Невзирая на зиму, коммодор вырядился в белые брюки и белые туфли, а сверху надел синее двубортное пальто с медными пуговицами. Уильям Рэмфорд — невысокий, плотный и краснолицый — напоминал грубоватого, но

вполне дружелюбного плюшевого медвежонка; отец и сын были похожи как две капли воды. (Один из охранников Кеннеди шепнул мне потом по секрету, что президент иногда называл Рэмфордов Винни Пухами — из-за их разительного сходства с медвежонком из детской сказки.)

А вот супруга коммодора к семейству Винни Пухов явно не принадлежала: она была стройна, подвижна и возвышалась над мужем чуть ли не на полголовы. Кроме того, игрушечные медведи обычно выглядят умиротворенными, всем на свете довольными — о миссис Рэмфорд я бы этого не сказал.

Наконец оратор обрушил на голову Кеннеди последнюю порцию громов и молний и под бурные аплодисменты папаши закончил свою речь. Тут с места поднялся Хэй Бойден — строительный мастер и приверженец демократов — и наговорил юнцу массу крайне нелицеприятных слов. Я запомнил только начало: «Сынок, не выпускай в отрочестве так много пара, а то к совершеннолетию напрочь сдуешься»; дальше было еще хуже.

Как ни странно, мальчишку это не взбесило — он лишь немного смутился и ляпнул пару глупостей. А вот коммодор… покраснев, словно свекла, Рэмфорд-старший вскочил на ноги и, не

обращая внимания на то, что супруга дергала его за полу плаща и умоляла не устраивать скандала, дал Бойдену достойный отпор. Скандалы коммодор, судя по всему, любил. На этом не слишком приятном инциденте собрание и закончилось.

Я подошел к Хэю Бойдену потолковать, причем разговор наш, заметьте, не имел ни малейшего отношения ни к Кеннеди, ни к Голдуотеру: Хэй недавно купил у меня ограждение для ванны и вознамерился установить его самостоятельно, сэкономив таким образом семь с половиной долларов. Однако ограждение протекло, и в столовой у Бойденов обрушился потолок. Хэй утверждал, что ему подсунули дефектный товар, я же винил во всем его самого. Бойден еще не вполне остыл от перепалки с Рэмфордами и вылил на меня остатки своей желчи. Ну, я ответил ему тем же, повернулся и пошел. Тут Рэмфорд-старший схватил меня за руку и давай ее пожимать — решил, что я защищаю его сына и Барри Голдуотера.

— Кем вы работаете? — спросил он.

Я рассказал и тут же получил заказ на установку окон во всем огромном четырехэтажном доме Рэмфордов (коммодор скромно именовал его «коттеджем»).

— Вы военный моряк? — поинтересовался я.

— Нет, — ответил Рэмфорд. — Но мой отец в свое время командовал флотом. Его звали Уильям Говард Тафт. И меня зовут так же: Уильям Говард Тафт Рэмфорд.

— Значит, вы служите в береговой охране?

— Это в личном флоте Кеннеди, что ли? — усмехнулся коммодор.

— Простите, сэр, не понял?

— Ну, — пояснил он, — так сейчас называют береговую охрану. Ведь ее главная задача — оберегать Кеннеди, покуда тот катается по морю на своей вонючей посудине.

— Так вы не служите в береговой охране? — Я ничего не понимал: в самом деле, какие же еще бывают коммодоры?

— В сорок шестом году, — гордо сообщил мне Рэмфорд, — я был начальником яхт-клуба в Хайаннис-Порте.

Он не шутил. Поэтому я не улыбнулся. Миссис Рэмфорд тоже не улыбнулась, а лишь тихо, почти неслышно вздохнула.

Смысл этого вздоха я понял несколько позднее — когда узнал, что супругу коммодора зовут Кларисса и что после 1946 года Уильям Рэмфорд никогда больше не работал. С тех давних пор он всецело посвятил себя борьбе с президентами и

нещадно обливал их ушатами грязи, не пропуская никого, даже Эйзенхауэра.

Эйзенхауэра Рэмфорд-старший особенно недолюбливал.

Итак, незадолго до конца июня я завел свой грузовичок и отправился в Хайаннис-Порт, чтобы измерить окна в доме коммодора. Мистер Рэмфорд жил на Ирвинг-авеню — там же, где и Кеннеди, и вышло так, что мы с президентом приехали в город одновременно.

Пробка началась задолго до Хайаннис-Порта. Судя по номерным знакам, здесь собрались машины практически из всех штатов. Мы двигались со скоростью четыре мили в час, нас обгоняли даже пешеходы. Радиатор моего грузовичка то и дело закипал.

Что ж, торчать в пробках — удел простых смертных. От этой мысли я было немного расстроился, но, приглядевшись, вдруг узнал человека в соседней машине: им оказался сам Эдли Стивенсон.

Его лимузин тоже еле-еле полз, а из-под капота валил пар.

Когда движение окончательно застопорилось, мы с мистером Стивенсоном вышли наружу и немного прогулялись. Я поинтересовался, как идут дела в Организации Объединенных Наций,

и он сказал, что нормально. Другого ответа я от него и не ожидал.

Добравшись наконец до нужного поворота, я увидел, что Ирвинг-авеню перекрыта полицией и службой безопасности и всех туристов сгоняют на соседнюю улицу. Эдли Стивенсона пропустили, а меня, естественно, нет. Я кое-как втиснулся обратно в поток машин и двинулся дальше, разглядывая витрины и вывески. Миновав мотель имени Президента и коктейль-бар имени Супруги Президента, я остановился возле кондитерского магазина имени Президентской Четы.

Оттуда я первым делом позвонил Рэмфорду — выяснить, может ли продавец оконного стекла попасть на Ирвинг-авеню, не рискуя быть застреленным. Трубку поднял дворецкий; он записал мой номерной знак, рост, цвет глаз и все такое прочее, после чего пообещал, что охрана меня пропустит.

Дело шло к обеду, и я решил немного перекусить. Все сладости, которые продавались в магазине, были названы в честь президента, а также его родственников и друзей. Например, пирожное с земляникой и кремом именовалось «Джеки», а мороженое в вафельном стаканчике — «Кэролайн». Имелся даже бисквит «Артур Шле-

зингер-младший».

В общем, я съел два «Тедди» и выпил чашку «Джо».

На следующем перекрестке меня действительно пропустили без помех. Ирвинг-авеню была совершенно пуста, лишь впереди маячила одинокая машина с пакистанским флажком.

Увидеть виллу Кеннеди мне не удалось — ее скрывал глухой трехметровый забор. А на другой стороне улицы, прямо напротив ворот, стоял «коттедж» Рэмфордов — огромное, прекрасно отделанное старинное здание со множеством причудливых башенок и балкончиков. На уровне третьего этажа его опоясывала крытая веранда, а чуть ниже висел громадный портрет Барри Голдуотера. Глаза сенатора, в зрачки которых были для пущего эффекта вделаны катафоты, смотрели на президентскую виллу. Судя по прожекторам, окружавшим портрет, ночью изображение подсвечивалось.

Человека, торгующего противоураганными окнами — тем более если он сам их и устанавливает, — вряд ли можно отнести к привилегированному сословию. Поэтому я был готов сразу приступить к работе, не вдаваясь в ненужные разговоры. Однако коммодор встретил меня как самого

дорогого гостя: угостил коктейлем, пригласил к ужину и, сказав, что делами можно будет заняться завтра, даже предложил оставаться на ночь.

Мы взяли по бокалу мартини и вышли на веранду. Но коммодор не стал любоваться прекрасным голубым заливом — он с явным удовольствием не отрывал взгляда от огромной пробки на подступах к Ирвинг-авеню.

— Посмотрите-ка, — сказал мистер Рэмфорд, — на всех этих идиотов, возжаждавших романтики! Они и вправду думали, что их пригласят сыграть в гольф с президентом или на худой конец с министром здравоохранения — ведь они же за них голосовали! Черта с два! Оттуда, с дороги, не увидишь даже антенну на президентской вилле. А вся романтика — порция жутко дорогого мороженого, именуемого «Кэролайн».

Над верхушками деревьев с ревом пролетел вертолет и опустился на землю неподалеку от виллы Кеннеди.

— Интересно, кто бы это мог быть? — спросила Кларисса.

— Папа Иоанн Шестой, — пробурчал коммодор.

Из дома вышел Джон — дворецкий — с большим подносом, на котором желтели какие-то

непонятные предметы, напоминавшие орешки или воздушную кукурузу. Выяснилось, что это значки с изображением Голдуотера. Джон направился к веренице машин и стал предлагать их разочарованным туристам. Усталые, раздраженные люди охотно разбирали значки.

Несколько человек приблизились к дому и попросили разрешения немного отдохнуть на лужайке — они шли пешком шестьдесят семь миль, от самого Бостона, а президент даже не вышел их поприветствовать.

— Надевайте значки и присаживайтесь, — ответил Рэмфорд. — Сейчас вам принесут лимонад.

— Послушайте, коммодор, — поинтересовался я, — а где же ваш мальчуган? Ну, тот, который выступал у нас в Нью-Гемпшире.

— У меня другого и нет.

— Замечательно он тогда говорил!

— А как же, — усмехнулся коммодор. — Весь в отца!

Кларисса опять тихо, печально вздохнула.

— Он ушел купаться, — сообщил Рэмфорд, — скоро придет. Если, конечно, его не утопит какой-нибудь псих на водных лыжах. У нас тут соседи, понимаете ли, водными лыжами увлекаются.

Мы перешли на другую часть веранды и стали смотреть на залив, но Роберта Тафта Рэмфорда нигде не было видно. Неподалеку от берега стоял катер охраны, отгонявший назойливых туристов, а чуть дальше качался на волнах прогулочный теплоход. На его палубах толпился народ; все смотрели в нашу сторону. Мощный громкоговоритель отчетливо доносил до нас слова экскурсовода.

— Вот тот белый корабль — личная яхта президента. А рядом — яхта его отца, Джозефа Кеннеди; она называется «Марлин».

— Вон вонючка президента, а вон вонючка его папаши, — прокомментировал Рэмфорд. (Все моторные суда он именовал вонючками.) — В нашем прекрасном заливе нужно плавать только под парусом!

На стене веранды висела большая, очень подробная карта залива. Я внимательно ее изучил и обнаружил мыс Рэмфорда, утес Рэмфорда, а также косу Рэмфорда.

— Ничего удивительного, — сказал коммодор, — мы ведь живем в Хайаннис-Порте с 1884 года.

— А почему здесь нет ни единого упоминания о Кеннеди?

— Откуда же ему взяться — они ж тут только

позавчера поселились.

— Позавчера? — удивился я.

— Конечно. Всего-то в 1921-м!

Тем временем экскурсовод продолжал:

— Нет, сэр, это не дом президента. Сие огромное причудливое строение зовется «коттеджем Рэмфорда». Да, слово «коттедж» действительно не больно-то к нему подходит, но богатые вообще живут немного по-другому.

— Подыхая под бременем непосильных налогов… — едко заметил коммодор. — А знаете, до Кеннеди в нашем городе бывали и другие президенты — Тафт, Гардинг, Кулидж, Гувер. Они нередко заходили в гости к моему отцу. И поверьте, при них не было и доли тех безобразий, которые творятся сейчас.

— Нет, мадам, — доносилось из залива, — я не знаю, откуда у Рэмфордов деньги. Зато мне точно известно, что они нигде не работают, а лишь сидят на веранде, попивая мартини, и в ус себе не дуют.

Эти слова окончательно взбесили коммодора. Кларисса попыталась было что-то возразить, но Рэмфорд уже закусил удила. Буркнув на ходу: «Вы свидетель. Меньше чем миллионом они от меня не отделаются!» — он ринулся звонить своему

адвокату.

Однако телефон зазвонил прежде, чем коммодор успел протянуть к нему руку: с Рэмфордом-старшим желал поговорить один из охранников президента. Звали его Рэймонд Бойл. (Позже я узнал, что в семье Кеннеди Рэймонда именовали не иначе как «специалист по Рэмфордам» или «посол в Рэмфордиании», — он улаживал все дела, связанные с коммодором и его сыном.)

— Поднимитесь наверх и возьмите трубку на другом аппарате, — прошептал мне Рэмфорд. — Послушаете, до чего дерзкой стала нынче прислуга.

— Общение с вашей секретной службой навевает ужасную тоску! — зарокотал в мембране голос коммодора. — От горнистов с барабанщиками и то больше толку. Кстати, я рассказывал вам, как Калвин Кулидж — он, между прочим, тоже был президентом — ходил с моим отцом на рыбную ловлю? Ему еще очень нравилось, как я управляю яхтой.

— Да, сэр, — ответил Бойл. — Вы мне об этом рассказывали, причем неоднократно. История очень интересная, и я охотно послушал бы ее еще раз, но сейчас я звоню по поводу вашего сына.

Тем не менее остановить Рэмфорда было невоз-

можно.

— Президент Кулидж, — продолжал он, — всегда сам наживлял крючок. И военно-морской флот не болтался в то время по всему миру, а бороздил границы родины. И самолеты не коптили небо понапрасну. И тайные агенты соседских газонов не вытаптывали!

— Сэр, — невозмутимо сообщил ему Бойл, — ваш сын пытался незаконно проникнуть на борт президентской яхты и был задержан.

— Во времена Кулиджа по морю не носились армады разных вонючек, губящих все живое!

— Сэр! — повторил Бойл. — Коммодор Рэмфорд, вы слышали, что я вам сказал?

— Конечно, слышал! Вы сказали, что Роберт Рэмфорд, член местного яхт-клуба, был арестован за то, что прикоснулся к кораблю, принадлежащему другому члену клуба. А знаете ли вы, сухопутная крыса, что на море существует такой закон: если пловец устал, он может подплыть к любому судну, в том числе и чужому, дабы немного передохнуть? При этом береговой охране нельзя в него стрелять, а тайным агентам, или, как я их называю, «придворным стражам Кеннеди», запрещено даже пальцем к нему прикасаться?!

— Сэр, в вашего сына никто не стрелял. И устав-

шим его тоже не назовешь — по якорной цепи молодой человек вскарабкался, словно обезьяна. Я хочу напомнить вам, сэр, что целенаправленные действия посторонних лиц, совершаемые в непосредственной близости от места нахождения президента, должны незамедлительно пресекаться. Пресекаться любой ценой — включая насилие.

— И что, Кеннеди лично приказал арестовать злоумышленника? — поинтересовался коммодор.

— Нет, сэр. Президента на борту яхты не было.

— Выходит, вонючка стояла пустой?

— Нет, сэр. На ней находились Эдли Стивенсон, Уолтер Рейтер и один из моих людей. Они сидели в каюте, поэтому заметили Роберта, только когда тот спрыгнул на палубу.

— Стивенсон и Рейтер, говорите? Никогда больше не выпущу сына из дому без кинжала! Полагаю, он собирался открыть кингстоны, но был схвачен вашей доблестной охраной?

— Очень смешно, сэр. — В голосе Бойла начали прорезаться металлические нотки.

— А вы уверены, что это мой Роберт?

— Кто же еще носит на плавках значок с изображением Голдуотера?

— Вот как! — гневно воскликнул коммодор. — Вы не разделяете его политических взглядов?

— Значок, — ответил ему Бойл, — я упомянул только как особую примету. Политические же взгляды вашего сына службу безопасности не интересуют. И чтоб вы знали: семь лет я охранял жизнь республиканца и три года — жизнь демократа.

— И чтоб вы знали, мистер Бойл: Дуайт Дэвид Эйзенхауэр не был республиканцем.

— Даже если бы он был анархистом, я все равно бы честно ему служил. Точно так же я буду охранять следующего президента. Кроме того, я занимаюсь тем, что оберегаю людей вроде вашего сына от пагубных последствий чересчур фамильярного общения с президентом и членами его семьи. — В словах Бойла все отчетливее звучал металл. — Я заявляю серьезно и вполне официально: ваш сын не должен использовать яхту президента в качестве места для любовных свиданий.

Последняя фраза смутила и несколько обескуражила коммодора.

— Каких любовных свиданий?

— Дело в том, что Роберт встречается с девушками на борту чужих яхт. Он побывал уже

практически на всех и в конце концов добрался до президентской — видимо, думал, что та пуста, но неожиданно наткнулся на Стивенсона и Рейтера.

Рэмфорд на несколько секунд замолчал.

— Мистер Бойл, — наконец сказал коммодор, — меня возмущают ваши домыслы. Если вы намерены продолжать в том же духе, я советую вам сдать оружие и приготовиться к судебному разбирательству. Мой сын Роберт никогда не встречается с девушкой, не представив ее предварительно нам с мамой.

— Сейчас и представит, — пообещал Бойл. — Молодые люди уже направляются сюда.

С коммодора слетели остатки спеси.

— Извините, не могли бы вы сообщить, как ее зовут?

— Шейла Кеннеди, — ответил Бойл, — родственница президента Соединенных Штатов. Недавно приехала из Ирландии.

В этот момент в дверях появился Роберт Тафт Рэмфорд. Он представил родителям девушку и сказал, что они собираются пожениться.

Странный ужин получился в тот день у Рэмфордов — грустный, но одновременно радостный и красивый. В нем принимали участие Роберт,

Шейла, я, Рэмфорд-старший и Кларисса.

Девушка была так воспитанна, так мила и привлекательна, так образованна и умна, что я просто не мог отвести от нее глаз. Слова казались излишними — столь глубоки и искренни были чувства молодых людей. Поэтому за столом царила тишина.

Политику коммодор упомянул лишь однажды. Он нерешительно взглянул на Роберта и спросил:

— Э-э… а как насчет твоих… э-э… публичных выступлений?

— Пока я хочу заняться другим, — ответил сын.

Рэмфорд-старший пробурчал что-то неразборчивое.

— Что? — переспросил его Роберт.

— Я… э-э… хотел сказать: «Ну понятно».

Я посмотрел на супругу коммодора. С лица Клариссы исчезли все морщины, она похорошела и помолодела — ибо сбросила с плеч огромный груз, который несла много лет.

Но был этот ужин печален — слишком надломленным и притихшим выглядел сам коммодор.

Молодые ушли к морю, а мы с Рэмфордом и его женой переместились на веранду, взяли по бокалу мартини и стали глядеть на залив. Солнце

село, поток туристов наконец иссяк, и лишь на лужайке возле дома, где лежали вповалку утомленные путники, кто-то негромко наигрывал на гитаре.

По лестнице поднялся дворецкий.

— Не пора ли включать прожектора, сэр? — поинтересовался он у коммодора. — А то господина Голдуотера совсем уже не разглядеть.

— Знаешь, Джон, — ответил Рэмфорд-старший, немного подумав, — давай на сегодня оставим его в покое.

— Слушаюсь, сэр.

— Пойми меня правильно, Джон: я все равно за него. Просто… пусть он сегодня отдохнет.

— Слушаюсь, сэр, — повторил дворецкий и ушел.

Коммодор помолчал и добавил:

— Да, пусть сенатор из Аризоны отдыхает. В конце концов, все и так прекрасно знают, кто он такой… А вот кто такой я?

Это прозвучало несколько неожиданно. На веранде было темно, и я не мог как следует разглядеть лицо коммодора. Чувствовалось, что ему нелегко, но прекрасная ночь, бренди и негромкие звуки гитары помогли наконец Рэмфорду-старшему сказать правду о самом себе.

— Ты? Ты очень славный человек, — ответила Кларисса.

— Да нет… Теперь, когда портрет Голдуотера выключен, а мой сын помолвлен с девушкой из семьи Кеннеди, я могу честно признаться: давешний экскурсовод сказал правду. Я человек, который сидит на веранде и пьет мартини.

— Ты прекрасно образован, умен, хорошо воспитан и все еще сравнительно молод, — указала Кларисса.

Коммодор опять замолчал.

— Пожалуй, — произнес он задумчиво, — мне нужно подыскать себе какую-нибудь работу.

— Ну конечно, — сказала ему жена. — Так будет гораздо лучше для нас обоих. Понимаешь, дорогой, я все равно буду любить тебя таким, какой ты есть… но вот восхищаться мужчиной, который совершенно ничего не делает, ужасно тяжело, поверь.

Внезапно полутьма озарилась светом фар: из ворот президентской виллы не спеша выехали два автомобиля и остановились возле дома Рэмфорда. Коммодор пошел на ту часть веранды, которая была обращена к улице, — выяснить, что происходит.

— Коммодор Рэмфорд, — послышался снизу

хорошо знакомый мне голос — голос президента Соединенных Штатов, — позвольте поинтересоваться: что случилось с портретом Голдуотера?

— С ним ничего не случилось, господин президент, — почтительно ответил Рэмфорд.

— Почему же тогда он не освещен?

— Видите ли, сэр, сегодня я решил его не включать.

— Дело в том, — сказал Кеннеди, — что у меня в гостях зять Хрущева, и он бы очень хотел взглянуть на портрет господина сенатора.

— Слушаюсь, сэр, — ответил коммодор и протянул руку к выключателю. Улицу залил ослепительный свет.

— Благодарю вас, — сказал президент. — И если вас не затруднит… будьте любезны — не выключайте его.

— Что, сэр? — удивился коммодор.

Машины тронулись с места.

— Так мне гораздо лучше видно дорогу, — ответил Кеннеди.

Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну

© Перевод. Е. Романова, 2020

Глория Хилтон и ее пятый муж недолго прожили в Нью-Гемпшире, но заказать мне душевую кабину успели. Вообще-то я специализируюсь на алюминиевых противоураганных окнах и ставнях — но любой, кто торгует противоураганными окнами, обречен торговать и душевыми кабинами.

Душевую кабину заказали для личной ванной комнаты Глории Хилтон. Пожалуй, то был зенит моей карьеры. Некоторым людям на роду написано возводить дамбы или величественные небоскребы, сражаться с эпидемиями страшных заболеваний или вести в бой полчища солдат.

А я…

Я должен был уберечь от сквозняков самое знаменитое тело в мире.

Люди часто спрашивают, насколько близко я был знаком с Глорией Хилтон. Обычно я отвечаю: «Я видел эту женщину живьем всего раз в жизни, да и то через вентиляционную решетку». Так в

их доме отапливалась ванная: через вентиляционную решетку. Она не была подключена к отопительной системе. Теплый воздух просто сочился в ванную из комнаты снизу. Неудивительно, что Глория Хилтон постоянно мерзла.

Я устанавливал кабину, когда снизу зазвучали громкие голоса. Щекотливый был момент: я как раз приклеивал водонепроницаемый уплотнитель к краям ванны и не мог оторваться, чтобы закрыть решетку. Волей-неволей пришлось слушать чужую ссору.

— Не говори мне про любовь, — заявила Глория Хилтон. — Ты ничего не понимаешь в любви, ты и слова такого не знаешь!

Я еще не успел заглянуть в решетку, поэтому представлял себе Глорию только по фильмам.

— Может, ты и права, — ответил пятый муж.

— Поверь мне, это я тебе говорю!

— Ну… тогда и говорить не о чем. Где мне спорить с великой Глорией Хилтон?

Как выглядит муж, я знал. Именно с ним я договаривался об установке душевой кабины. В нагрузку я продал ему два противоураганных окна «Флитвуд трипл-трак» со встроенными ставнями. Жену он называл исключительно «мисс Хилтон»: мисс Хилтон хочет то, мисс Хи-

лтон хочет се. Ему было всего тридцать пять, но из-за кругов под глазами он выглядел на все шестьдесят.

— Мне жаль тебя, — сказала Глория Хилтон. — Мне жаль всякого, кто не умеет любить. Они самые несчастные люди на свете!

— Тебя послушать, так мне впору вешаться.

Он был сценарист, разумеется. Моя жена в курсе всех голливудских сплетен: она рассказала мне, что сначала Глория Хилтон вышла замуж за патрульного, потом за сахарного магната, потом за актера, игравшего Тарзана, потом за собственного агента и, наконец, за сценариста. Звали его Джордж Мурра.

— Все говорят, что мир катится в тартарары, — продолжала вещать Глория Хилтон. — Я знаю почему: мужчины разучились любить.

— Отдала бы мне должное: я хотя бы пытался научиться. Целый год только этим и занимался. Ну, еще душевую кабинку заказал.

— Ах, значит, в этом я тоже виновата? — вопросила Глория.

— В чем?

— В том, что со дня нашей свадьбы ты не написал ни строчки! Ну да, конечно, это все из-за меня.

— Надеюсь, я не настолько глуп, — ответил Мурра, — чтобы не заметить банального совпадения. По ночам ругань, днем налеты фотографов и так называемых «друзей»… Все это не имеет никакого отношения к моему творческому кризису.

— Ты просто любишь страдать, получаешь от этого удовольствие!

— В самом деле, что может быть приятней, — кивнул Мурра.

— Если откровенно, я в тебе разочаровалась.

— Я знал, я знал, что рано или поздно ты расхрабришься и выложишь все как на духу.

— Скажу больше: я решила положить конец нашему фарсу.

— Приятно узнать об этом в числе первых, — съязвил Мурра. — Мне сообщить Лоуэлле Парсонс, или она уже в курсе?

Я закончил приклеивать уплотнитель к ванне и мог наконец закрыть решетку, но первым делом все-таки заглянул в нее: внизу стояла Глория Хилтон. В волосах папильотки, на лице никакой косметики — даже брови не потрудилась нарисовать, — сорочка какая-то, шелковый халат нараспашку. Словом, та еще красавица, страшнее продавленной кушетки.

— Очень смешно, — сказала Глория.

— Ну, ты знала, что выходишь замуж не за комика, а за серьезного писателя.

Она встала и вскинула руки — ни дать ни взять Моисей, возвещающий иудеям, что Земля обетованная уже рядом.

— Возвращайся к своим драгоценным жене и сыну! — воскликнула она. — Я тебя не держу.

На этом я закрыл решетку.

Пятью минутами позже Мурра поднялся ко мне и велел выметаться.

— Мисс Хилтон нужно в ванную.

Я еще никогда не видел мужчину с таким лицом. Мурра покраснел, в глазах стояли слезы, но сам он давился истерическим смехом.

— Я еще не закончил, — сказал я.

— Зато мисс Хилтон закончила. Убирайтесь!

Я спустился, сел в машину и поехал в город пить кофе. В открытом кузове моего пикапа стояла стеклянная дверца для кабинки в деревянной раме — внимание, надо сказать, она привлекала изрядно.

Нормальным людям хватает на дверце какого-нибудь розового фламинго или морского конька. На заводе, где производят сами кабинки (он находится в городе Лоуренсе, штат Массачусетс), уже навострились рисовать морских коньков

и фламинго пескоструйной машиной — берут за это всего шесть долларов. Но Глория Хилтон решила, что на дверце ее кабинки должна красоваться огромная буква Г, а посредине, как в раме, — ее портрет в натуральную величину, причем на высоте ровно пяти футов двух дюймов от дна: именно на этом уровне окажутся ее глаза, если она встанет босиком в ванну. В Лоуренсе от моего заказа ошалели.

В тот день я пил кофе в компании Гарри Крокера, водопроводчика.

— Надеюсь, вы собственноручно сняли мерки? — шутливо спросил он. — Досадно будет ошибиться.

— Мерки, Гарри, снимал муж, — ответил я. — Не везет, так с детства.

Я пошел к телефонному автомату: хотел спросить у Мурры, когда можно закончить работу. Линия была занята.

Не успел я вернуться за столик, как Гарри Крокер воскликнул:

— Ты где бродишь? Самое интересное пропустил!

— Что случилось?

— Глория Хилтон со своей горничной только что промчались мимо со скоростью двести миль

в час!

— Куда они ехали?

— На запад, — ответил Гарри.

Я снова попробовал дозвониться до Мурры, рассудив, что, раз Глория укатила, на телефоне висеть некому. Как бы не так! Линия была занята еще больше часа. Я даже подумал, что кто-то оборвал шнур, но нет, телефонистка сказала, что линия исправна.

— Что ж, давайте попробуем еще раз, — вздохнул я. И наконец дозвонился.

Трубку поднял Мурра. Не успел я поздороваться, как он, спутав меня с каким-то Джоном, взволнованно затараторил:

— Джон, Джон, слава богу, ты позвонил! Послушай, Джон, я знаю, как ты ко мне относишься и что думаешь, но, пожалуйста, не клади трубку, дай мне объясниться! Она ушла от меня, Джон. Этот жизненный этап пройден — и забыт! Я пытаюсь склеить осколки… Джон, смилуйся надо мной, приезжай! Прошу тебя, умоляю, заклинаю!

— Мистер Мурра… — наконец вставил я.

— Да? — Он сказал это не в трубку — видимо, искал меня глазами в комнате.

— Это я, мистер Мурра.

— Кто? — не понял он.

— Я у вас душевую кабину ставлю.

— Вообще-то я жду международный звонок. Не занимайте линию.

— Прошу прощения, я на секундочку: когда мне можно подойти и закончить работу?

— К черту все! Забудьте про ванную!

— Мистер Мурра… А кто мне оплатит дверь?

— Пришлите счет, я вам ее подарю.

— Как пожелаете, мистер Мурра. И еще вы заказали два противоураганных окна «Флитвуд трипл-трак»…

— Выбросьте на помойку!

— Мистер Мурра… По-моему, вы чем-то расстроены.

— Да вы телепат!

— Может, дверцу от кабинки и в самом деле стоит выбросить, но чем вам не угодили окна? Давайте я все-таки их установлю? Вы меня даже не заметите, я работаю очень тихо.

— Ладно, ладно, ладно! — прокричал он и бросил трубку.

«Флитвуд трипл-трак» — наши самые дорогие и качественные окна, поэтому и установка нужна соответствующая. Сначала вокруг окна приклеиваешь такой же уплотнитель, как вокруг ванны, а потом долго ждешь, пока клей высохнет. После

этого можно хоть всю комнату водой заполнить: наружу ни капли не выльется — по крайней мере через окна.

Пока я сидел и ждал, когда высохнет клей, в ванную зашел Мурра и предложил мне выпить.

— Простите? — не понял я.

— Или установщики душевых кабин не пьют при исполнении?

— Разве что в телефильмах, — ответил я.

Он привел меня на кухню, достал бутылку, лед и пару стаканов.

— Вы очень любезны, — сказал я.

— Может, я и не умею любить, — проворчал Мурра, — зато никогда не напиваюсь в одиночку.

— А мы что же, собрались напиться? — спросил я.

— Если у вас нет других предложений.

— Знаете, мне надо минутку подумать.

— Напрасно, — сказал Мурра. — Так можно пропустить все самое интересное. Вот поэтому вы, янки, такие ледышки. Слишком много думаете. И поэтому так редко женитесь.

— Последнее, пожалуй, от недостатка денег, — вставил я.

— Нет-нет, тут все сложнее. Вы просто не умеете

хватать чертополох.

Ему пришлось объяснять, что если правильно схватиться за стебель чертополоха — быстро и крепко, — то не уколешься.

— Ни за что не поверю, — сказал я, имея в виду фокус с чертополохом.

— Типичный новоанглийский консерватизм, — заметил Мурра.

— Вы, стало быть, не из наших мест.

— О нет, судьба уберегла. Я из Лос-Анджелеса.

— Наверное, хороший город, — сказал я.

— Ну-ну! Все фальшивки, как один.

— Вам, конечно, виднее.

— Поэтому мы здесь и поселились, — объяснил Мурра. — Как говорила моя жена — то есть вторая жена — всем репортерам на нашей свадьбе, «мы сбежали от фальши. Мы будем жить среди настоящих живых людей, мы поселимся в Нью-Гемпшире! Нам с мужем еще предстоит обрести себя. Джордж будет писать, писать, писать без перерыва! Он напишет для меня самый прекрасный сценарий в истории кинематографа!».

— Как мило.

— Вы разве не читали интервью в газетах и журналах?

— Нет. Я однажды встречался с девушкой, ко-

торая выписывала журнал «Киноман», но это было давным-давно. Понятия не имею, что с ней сталось.

В ходе этой беседы из галлонной бутыли первоклассного бурбона «Погребок старины Хикки» исчезла — или была похищена, или испарилась, или чудом пропала — примерно пятая часть.

Я не помню дословно нашего разговора, но в какой-то момент Мурра рассказал, что женился очень молодым, в восемнадцать лет. Узнал я и то, кто такой Джон.

Мурре было очень больно говорить о Джоне.

— Джон — мой пятнадцатилетний сын. Других детей у меня нет. — Мурра помрачнел и показал пальцем на юго-восток: — Он живет всего в двадцати двух милях отсюда. Так близко… и так далеко.

— А почему он не остался с матерью в Лос-Анджелесе?

— Вообще-то живет он там, а сюда приехал учиться в «Маунт-Генри». — «Маунт-Генри» — очень хорошая подготовительная школа для мальчиков. — Я и в Нью-Гемпшир-то переехал в основном ради него. Хотел быть ближе. — Мурра потряс головой. — Думал, рано или поздно он со мной свяжется — перезвонит или ответит на

письмо.

— Но он не связался?

— Ни разу. Знаете, что сын сказал мне напоследок?

— Нет.

— Когда я развелся с его мамой и женился на Глории Хилтон, на прощание Джон сказал мне: «Отец, ты ничтожество. Надеюсь, что до конца жизни не услышу от тебя ни слова».

— Н-да… сильно.

— Вот-вот, дружище, — прохрипел Мурра и уронил голову. — Так и сказал: «ничтожество». Хоть и мал был, а слово выбрал правильное.

— Но сегодня вам удалось выйти с ним на связь? — спросил я.

— Я позвонил директору школы и сказал, что в семье случилась беда, пусть Джон мне перезвонит, — ответил Мурра. — Слава богу, сработало. И хотя я — полное ничтожество, он согласился завтра со мной встретиться.

В ходе нашего разговора Мурра посоветовал мне как-нибудь поинтересоваться статистикой. Я пообещал, что непременно поинтересуюсь.

— Статистикой вообще или какой-то конкретной? — уточнил я.

— Бракоразводной.

— Страшно даже представить, что я там обнаружу.

— Если верить статистическим данным, — сказал Мурра, — половина семейных пар, которые поженились в восемнадцать, в конечном счете распадаются.

— Я тоже женился в восемнадцать.

— И до сих пор женаты?

— Двадцать первый год пошел, — ответил я.

— Неужели вы не чувствуете себя обделенным? Как же веселая молодость, лихие денечки?

— Ну, в Нью-Гемпшире они приходятся на возраст от четырнадцати до семнадцати.

— Хорошо, представим такую картину, — не унимался Мурра. — Допустим, все эти годы вы были женаты: ссорились с женой по всяким пустякам и большую часть времени чувствовали себя разбитым и никчемным…

— Очень хорошо вас понимаю, — сказал я.

— Допустим, в Голливуде заметили вашу книжку и попросили написать сценарий для картины, в которой снимется Глория Хилтон.

— На это моего воображения не хватит.

— Так, ладно… Возьмем вашу работу: что будет для вас самым большим достижением?

Я призадумался.

— Ну, скажем, получить заказ на противоураганные окна «Флитвуд» для всей гостиницы «Коннерс». Это около пятисот окон, а то и больше.

— Прекрасно! Вы только что подписали контракт. Впервые в жизни у вас в кошельке завелись настоящие деньги. Вы поссорились с женой и думаете о ней всякие гнусности, жалеете себя и по большому счету готовы удавиться. Но директором гостиницы оказалась Глория Хилтон — какой вы ее видели в кино.

— Дальше.

— Ну а дальше вы ставите окна, и после установки каждого вам сквозь стекло улыбается Глория Хилтон: будто вы Бог или еще кто.

— А в доме осталась выпивка? — спросил я.

— Допустим, это продолжалось три месяца. И каждый вечер вы возвращались домой, к жене, которую знаете всю свою жизнь и которая вам почти как сестра, и она все нудит, нудит о каких-то пустяках…

— Смотрю, у вас и без противоураганных окон очень жарко, — выдавил я.

— И допустим, Глория Хилтон в один прекрасный день вдруг сказала вам: «Не бойся быть счастливым, бедненький ты мой! Ах, беднень-

кий, мы с тобой созданы друг для друга! Я млею, когда вижу тебя за работой. Боже, как тебе не повезло с женой, у меня сердце прямо разрывается от горя! А ведь со мной ты был бы так счастлив!»

После этого мы с Муррой, насколько я помню, отправились на поиски чертополоха. Он хотел показать, как схватить стебель и не пораниться.

Чертополоха мы так и не нашли, зато повыдергивали с корнем много других растений: швыряли их прямо с комьями земли о стену дома и громко хохотали.

А потом мы потеряли друг друга на великих просторах Нью-Гемпшира. Я какое-то время пытался докричаться до Мурры, но он отвечал все тише, тише, и в конце концов я чудом оказался дома.

Своего возвращения я не помню — зато помнит жена. Говорит, я всячески грубил и хамил ей. Утверждал, будто продал пятьсот окон «Флитвуд» гостинице «Коннерс». И посоветовал как-нибудь поинтересоваться бракоразводной статистикой.

Затем я поднялся в ванную и снял старую стеклянную загородку, объяснив это тем, что мы с Муррой поменялись дверцами. Я демонтировал свою и уснул прямо в ванной. Когда жена попыталась меня растолкать, я прогнал ее и заявил, что

Глория Хилтон только что выкупила гостиницу «Коннерс» и скоро у нас свадьба.

Еще я хотел рассказать что-то важное о чертополохе, но так и не смог выговорить это слово и снова заснул.

Тогда жена посыпала меня солью для ванн, включила холодную воду и ушла спать в комнату для гостей.

На следующий день около трех часов дня я пришел к Мурре, чтобы поставить окна и узнать, как же мы договорились поступить с дверцей для кабинки. На всякий случай у меня в кузове лежало две дверцы: моя старая, с фламинго, и его — с портретом Глории Хилтон.

Я уже собрался звонить в дверь, когда услышал стук в окно на втором этаже: из него высовывалось взволнованное лицо Мурры. Поскольку моя лестница уже стояла у дома, я поднялся по ней и спросил, что стряслось.

Мурра открыл окно и пригласил меня внутрь. Он был очень бледен и весь дрожал.

— Ваш сын уже здесь? — спросил я.

— Да, ждет внизу. Я забрал его с автобусной остановки час назад.

— Ну как, помирились?

Мурра покачал головой.

— Он очень зол. Ему всего пятнадцать, а он уже разговаривает со мной как прапрадедушка. Я поднялся на минутку, чтобы прийти в себя, и теперь не решаюсь спуститься.

Он взял меня за руку.

— Придумал! Вы пойдете первым и… ну, наведете мосты, что ли.

— Если во мне еще остались строительные материалы, я бы лучше приберег их для дома. — Я поведал Мурре о своем плачевном семейном положении.

— Какое бы решение вы ни приняли, — посоветовал мне он, — заклинаю: не повторяйте моих ошибок! Любой ценой попытайтесь сохранить семью! Знаю, иногда бывает паршиво, но поверьте, потом будет в сто раз паршивей!

— Ну, за одно я уже готов благодарить Бога…

— За что?

— Глория Хилтон пока не признавалась мне в любви.

В итоге я все же спустился к сыну Мурры.

На юном Джоне был мужской деловой костюм — полная тройка, с жилетом и всем прочим. И большие очки в черной оправе. Он скорее походил на университетского профессора, чем на подростка.

— Джон! — сказал я. — Приятно познакомиться, я давний друг твоего отца.

— Неужели? — Он осмотрел меня с головы до ног и руки не подал.

— У тебя очень… взрослый вид.

— Мне пришлось повзрослеть. Когда отец нас бросил, я стал главой семьи.

— Ну, Джон… Твоему папе тоже пришлось не сладко.

— Моему разочарованию нет предела. Я думал, мужья Глории Хилтон — самые счастливые люди на свете.

— Джон, когда ты вырастешь, тебе многое станет понятно…

— Вы о ядерной физике, надеюсь? Скорей бы! — Он повернулся ко мне спиной и выглянул в окно. — Где отец?

— Вот он, — сказал Мурра, спускаясь по скрипучей лестнице. — Вот твой глупый никчемный старик.

— Мне пора возвращаться в школу, — проговорил мальчик.

— Уже?

— Мне сказали, что случилась беда, иначе бы я не приехал. Никакой беды, насколько я понимаю, нет — так что я поеду, если не возражаешь.

— Не возражаю? — Мурра протянул к нему руки. — Джон, ты разобьешь мне сердце, если уйдешь вот так…

— Это как, отец? — ледяным тоном осведомился мальчик.

— Не простив меня.

— Я никогда тебя не прощу. Извини, но это единственное, на что я не способен. — Джон кивнул. — Буду ждать тебя в машине.

С этими словами он вышел из дома.

Мурра сел в кресло и спрятал лицо в ладонях.

— Что же мне делать? Наверное, я это заслужил. Придется стиснуть зубы и терпеть.

— У меня в голове крутится только одно решение, — сказал я.

— Это какое?

— Дать ему пинка.

Так Мурра и поступил.

Чернее тучи, он вышел из дому и зашагал к машине.

Там он наврал Джону про сломанное пассажирское сиденье, и тот выбрался на улицу, чтобы отец его починил.

В следующий миг Мурра наподдал ему под зад: вряд ли это было больно, скорее — неожиданно.

Мальчик сверзился с холма в те самые ку-

сты, где прошлой ночью мы с его отцом искали чертополох. Когда Джону наконец удалось остановиться и оглядеться по сторонам, вид у него был весьма удивленный и несколько ошалелый.

— Джон, — обратился к нему Мурра, — ты прости меня, но я ничего лучше не придумал.

Впервые мальчик не смог огрызнуться.

— Я совершил в жизни много серьезных ошибок, — продолжал Мурра, — но эта, по-моему, к ним не относится. Я люблю тебя и твою маму, но буду пинаться до тех пор, пока ты не смилуешься и не дашь мне второго шанса.

Мальчик по-прежнему не знал, как ответить отцу, но могу с уверенностью сказать, что новых пинков ему не хотелось.

— Вернемся в дом, — предложил Мурра, — и обсудим все как взрослые люди.

Они вернулись, поговорили, и Мурра убедил сына позвонить матери в Лос-Анджелес.

— Скажи ей, что мы помирились и хорошо проводим время, что я был ужасно раздавлен и теперь умоляю ее принять меня обратно на любых условиях, а с Глорией Хилтон покончено раз и навсегда.

Мальчик передал все это матери, и она долго плакала, и он плакал, и Мурра, и даже я.

А потом первая жена Мурры сказала ему, чтобы он скорее возвращался домой. И на этом дело закончилось.

Ах да, насчет дверцы для душевой кабинки: мы действительно решили поменяться. Ему досталась моя, за двадцать два доллара, а мне — его, за сорок восемь. Это если не считать портрета Глории Хилтон.

Когда я вернулся домой, жены не было. Я повесил новую дверцу. Пока я это делал, за мной наблюдал мой сын. У него почему-то был красный нос.

— Где мама? — спросил я.

— Ушла.

— Когда вернется?

— Сказала, что никогда.

Меня затошнило, но виду я не подал.

— Опять эти шуточки, — сказал я. — Все время она так говорит.

— А я первый раз слышу, — ответил сын.

По-настоящему страшно мне стало, когда пришло время ужина, а жены все не было. Я набрался храбрости, приготовил нам с сыном поесть и сказал:

— Видимо, что-то ее задержало…

— Отец.

— Да?

— Что ты с ней сделал вчера ночью? — Тон у сына был очень надменный и властный.

— Не твое дело. Будешь совать нос куда не просят — схлопочешь пинка.

Это немного его успокоило.

Слава богу, жена вернулась домой в девять вечера.

Она была бодра и весела. Заявила, что отлично провела время: прошлась по магазинам, отужинала в ресторане, сходила в кино — и все в одиночку.

Поцеловав меня на ночь, она ушла наверх.

Я услышал, как полилась вода в душе, и вдруг с ужасом вспомнил о портрете Глории Хилтон на дверце душевой кабинки.

— О господи! — вскричал я и бросился наверх — объяснять, откуда на кабине взялся портрет и что завтра же утром его сотрут пескоструйной машиной.

Я вошел в комнату.

Жена стояла в ванне и принимала душ.

Оказалось, они с Глорией Хилтон одного роста, поэтому портрет на дверце стал для моей жены вроде маски.

Она нисколько не злилась — наоборот, ей было

смешно: она захохотала и спросила с улыбкой:

— Угадай, кто?

Ложь

© Перевод. А. Панасюк, 2020

Стояла ранняя весна. Солнце нехотя освещало подтаявший серый лед. Ветки вербы на фоне голубого неба золотились туманом готовых вот-вот распуститься сережек. Черный «роллс-ройс» мчался по Коннектикутской автостраде, стремительно удаляясь от Нью-Йорка.

— Потише, Бен, — велел доктор Ременцель чернокожему шоферу. — Каким бы бессмысленным ни казалось вам ограничение скорости, убедительно прошу его соблюдать. Торопиться нет нужды — у нас масса времени.

Бен сбавил ход.

— По весне машина словно сама собой вперед рвется.

— И все же постарайтесь ее придержать.

— Слушаюсь, сэр! — отчеканил Бен и добавил — уже потише, для сидевшего рядом тринадцатилетнего Илая, сына доктора: — Весной оживают не только люди и звери. Машины — те тоже рады.

— Угу, — буркнул Илай.

— Всем весна по душе! — не унимался Бен. — А тебе?

— И мне, — бесцветным голосом подтвердил Илай.

— Как не радоваться — в такую школу едешь!

Речь шла о мужской подготовительной школе Уайтхилл, частном учебном заведении в Северном Марстоне, штат Массачусетс.

Именно туда направлялся «роллс-ройс». Предполагалось, что Илай запишется на осенний семестр, в то время как отец, выпускник 1939 года, посетит собрание попечительского совета.

— А все же, доктор, парнишка-то наш невесел, — не унимался Бен. На самом деле он не собирался цепляться к Илаю, просто весеннее настроение не давало ему покоя.

— В чем дело? — рассеянно спросил у сына доктор. Он просматривал кальки — план пристройки на тридцать комнат к общежитию имени Илая Ременцеля, названному так в память о прапрадеде доктора. Чертежи были разложены на ореховом столике, который откидывался от спинки переднего сиденья. Доктор был крупным, величавым человеком, врачом, лечившим исключительно из любви к медицине, потому что богаче его был разве что иранский шах. — Что-

нибудь случилось?

— Нет, — буркнул Илай.

Сильвия, очаровательная мать Илая, сидела рядом с мужем, листая буклет о школе.

— На твоем месте, — сказала она Илаю, — я бы с ума сходила от радости. Впереди четыре лучших года твоей жизни.

— Ага, — не поворачивая головы, согласился сын. На мать смотрел только его затылок с завитком жестких русых волос над белым воротничком.

— Вот интересно, сколько Ременцелей учились в Уайтхолле? — не умолкала Сильвия.

— Спроси еще, сколько покойников лежит на кладбище, — буркнул доктор и тут же ответил как на вопрос жены, так и на старую шутку: — Все.

— А если все же прикинуть, которым по счету выйдет Илай? — не унималась Сильвия.

Доктор Ременцель почувствовал легкое раздражение — вопрос показался ему не слишком уместным.

— Такие вещи вычислять не принято.

— И все-таки! — настаивала жена.

— Пойми, даже для грубого подсчета придется перелопатить архивы с конца восемнадцатого века! И потом, как учитывать Шофилдов, Хейли,

Маклилланов?

— Посчитай хотя бы Ременцелей. Пожалуйста!

— Ну… — Доктор пожал плечами, калька в его руках зашуршала. — Около тридцати.

— Значит, Илай — тридцать первый! — с удовольствием объявила Сильвия. — Ты тридцать первый, золотко! — сообщила она затылку сына.

Калька раздраженно хрустнула.

— Не хватало еще, чтобы он шатался по школе, болтая всякую ерунду. Тридцать первый!

— Он не будет, он умный мальчик, — успокоила мужа Сильвия.

Азартная, амбициозная, она вышла замуж за доктора шестнадцать лет назад, без гроша за душой, и до сих пор приходила в восторг при мысли о том, что люди могут быть богаты так долго, на протяжении нескольких поколений.

— А разыщу-ка я эти самые архивы, пока вы будете заняты делами, — решила Сильвия. — И посчитаю точно, которым из Ременцелей станет Илай. Не для того чтобы он хвастался, конечно, — просто из интереса.

— Как тебе будет угодно, — согласился доктор.

— Так и будет! Я люблю подобные вещи, хоть ты и ворчишь.

Сильвия ожидала, что муж, по своему обыкно-

вению, вскипит, но этого не случилось. Ей нравилось поддразнивать его, намекая на разницу в происхождении, и она частенько заканчивала споры словами: «Вообще, в глубине души, я все та же сельская девчонка, ею и останусь, пора бы привыкнуть!»

Однако в этот раз доктор Ременцель игру не поддержал. Его полностью захватили чертежи.

— А в новой пристройке будут камины? — спросила Сильвия, вспомнив о красивых каминах в нескольких комнатах старой части общежития.

— Это бы удвоило стоимость строительства.

— Будет здорово, если Илаю достанется комната с камином.

— Камины только у старшеклассников.

— Ну вдруг повезет…

— Что ты имеешь в виду под словом «повезет»? Что я должен потребовать камин для Илая?

— Не потребовать…

— А просто попросить?

— Возможно, в душе я всего лишь сельская девчонка, — заявила Сильвия, — но, перелистывая буклет, я вижу здания, названные в честь Ременцелей, на последней странице читаю, сколько сотен тысяч Ременцели перечисляют в школьный фонд, и не могу отделаться от мысли, что

мальчик с фамилией Ременцель имеет право на некоторые поблажки.

— Отвечу прямо: даже не вздумай просить никаких поблажек, ясно? Никаких.

— Разумеется, не буду. Почему ты вечно боишься, что я тебя опозорю?

— Ничего такого я не боюсь.

— И все-таки имею я право думать что думаю?

— Если не можешь иначе.

— Не могу, — нисколько не раскаиваясь, весело подтвердила Сильвия и тоже заглянула в чертежи. — Как считаешь, новичкам понравится в пристройке?

— Каким именно новичкам?

— Из Африки.

Сильвия говорила о тридцати африканцах, принятых в Уайтхилл по требованию министерства иностранных дел. Собственно, для них и расширялось общежитие.

— Пристройка не только для африканцев, — ответил доктор. — Всех расселят вперемешку.

— Вот как! — Сильвия помолчала, обдумывая слова мужа, а затем спросила: — Значит, Илай может получить комнату с кем-то из них?

— Первокурсники тянут жребий, выбирая соседей, — ответил доктор. — Это и в буклете

написано.

— Илай! — окликнула Сильвия.

— Гм? — отозвался сын.

— Что, если тебе в соседи попадется африканец?

В ответ Илай лишь вяло пожал плечами.

— Ничего?

Снова пожатие.

— Думаю, ничего, — заключила Сильвия.

— Еще не хватало, чтобы он был недоволен, — проворчал доктор.

«Роллс-ройс» поравнялся со старым «шевроле», таким разбитым, что задняя его дверь была подвязана веревкой. Доктор Ременцель мельком глянул на водителя и, внезапно просияв, приказал Бену Баркли держаться рядом.

А сам перегнулся через Сильвию, открыл окно и громко крикнул:

— Том! Том!

Водителем потрепанного «шевроле» оказался одноклассник доктора. В ответ он в восторге замахал форменным галстуком Уайтхилла и указал на славного мальчика, сидевшего рядом, поясняя кивками и улыбками, что везет сына в школу.

Доктор Ременцель, в свою очередь, ткнул пальцем в лохматый затылок Илая, показывая, что

едет за тем же самым. Перекрикивая ветер, свистевший между двумя машинами, приятели договорились встретиться за обедом в «Остролисте» — гостинице, где чаще всего останавливались посетители Уайтхилла.

— А теперь вперед! — приказал доктор Бену.

— Знаешь, — сказала Сильвия, — об этом обязательно нужно написать статью. — Она поглядела в заднее стекло на отставшую от них старую машину. — Просто обязательно.

— О чем? — спросил доктор и, заметив, что Илай сполз по сиденью вниз, резко прикрикнул: — Сядь прямо! — а затем вновь обернулся к жене.

— Люди считают, что в частные школы берут только богатых и знатных, — пояснила Сильвия. — Но ведь это не так!

Она пролистнула каталог и прочла: «Школа Уайтхилл придерживается позиции, что каждый мальчик, желающий попробовать свои силы на экзамене, должен получить такую возможность, даже если его семья не в силах оплачивать полную стоимость обучения. Поэтому приемная комиссия каждый год отбирает из трех тысяч кандидатов 150 наиболее многообещающих и достойных абитуриентов, не обращая внимания на то, могут ли их родители целиком внести

положенные 2200 долларов. Те, кто нуждается в материальной помощи, получают ее в необходимом объеме. В некоторых случаях оплачивается даже проезд и покупка одежды».

— По-моему, замечательно, — тряхнув головой, сказала Сильвия. — Жаль, многие и знать не знают, что в Уайтхилл может поступить даже сын простого шофера!

— При условии, что он достаточно умен, — указал доктор.

— И благодаря Ременцелям, — с гордостью добавила его жена.

— А также массе других людей.

— «В 1799 году Илай Ременцель заложил фундамент для нынешнего фонда поощрительных стипендий, пожертвовав школе сорок акров земли в Бостоне. Двенадцатью школа владеет по сию пору, стоимость их составляет три миллиона долларов», — опять прочитала вслух Сильвия.

— Илай! — прикрикнул доктор. — Да сядь же ты ровно! Что с тобой творится?

Илай снова выпрямился, но почти тут же стек обратно, как снеговик на жаре. Раскис он не просто так. Больше всего на свете ему хотелось умереть или исчезнуть без следа. Он никак не мог заставить себя признаться, что его не взяли в

Уайтхилл, что он провалил экзамен. Родители не имели об этом ни малейшего понятия, потому что ужасную новость Илай узнал из письма, которое тут же разорвал на кусочки.

Доктор Ременцель с женой просто не представляли, что их сын будет учиться где-то кроме Уайтхилла. Им и в голову не приходило, что его могут не принять, потому-то они даже не поинтересовались, как он сдал экзамен, и не удивились, что из школы не пришло никаких результатов.

— А как Илай будет записываться? Что для этого нужно? — спросила Сильвия, когда «роллс-ройс» пересек границу штата Род-Айленд.

— Понятия не имею, — отозвался доктор. — Сейчас все так усложнили: анкета в четырех экземплярах, потом все эти перфокарты, машины — сплошная бюрократия. А уж вступительный экзамен! В мое время вполне хватало собеседования с директором. Несколько вопросов — и добро пожаловать в Уайтхилл!

— Неужели все слышали только «добро пожаловать»?

— Конечно, нет. Что поделаешь, если мальчик туп как пробка? Надо ведь поддерживать какой-то уровень. К примеру нынешние африканцы наверняка сдавали тот же экзамен, что и

остальные. Никто не примет их в школу только потому, что министерству иностранных дел приспичило укрепить дружеские связи. Мы заявили об этом совершенно недвусмысленно. Экзамен — и точка.

— И сдали?

— Думаю, да. Во всяком случае, я слышал, что все приняты, а экзамен был тот же, что у Илая.

— Трудный, сынок? — спросила Сильвия. Раньше ей и в голову не приходило об этом справиться.

— М-м-м, — промычал Илай.

— Что-что?

— Да.

— Как я рада, что у вас такие высокие требования! — воскликнула Сильвия и тут же, поняв, что сморозила глупость, поспешила исправиться: — Разумеется, у вас высокие требования. Потому и школа так известна, а ученики многого добиваются в жизни.

Сильвия вновь уткнулась в буклет. На сей раз она развернула карту «Поляны», как по традиции назывался учебный городок, и с выражением прочла сперва имена Ременцелей, в честь которых было названо то или иное здание — птичий заповедник имени Сэнфорда Ременцеля, каток

имени Джорджа Маклеллана Ременцеля, общежитие имени Илая Ременцеля, — а потом и четверостишие, напечатанное в углу карты:

Спускается ночь
На темнеющий сад.
Уайтхилл! К тебе
Наши мысли летят.

— Когда читаешь школьные гимны, они кажутся такими наивными! Но стоит услышать, как эти самые слова поет школьный хор — и слезы на глаза наворачиваются, настолько это трогательно.

— О! — буркнул доктор Ременцель.

— Стихи тоже написаны кем-то из Ременцелей?

— Вряд ли. Погоди-погоди… Это же новая песня. Ее сочинил вовсе не Ременцель, а Том Хайлер.

— Тот самый, на старой машине?

— Именно. Я даже помню, как он ее писал.

— Стипендиат написал песню? Какая прелесть! Ведь Том получал стипендию, я права?

— Его отец был простым автомехаником в Северном Марстоне.

— Представляешь, Илай, какая у тебя демократичная школа!

Через полчаса Бен Баркли остановил лимузин у «Остролиста» — приземистой сельской гостиницы, на двенадцать лет старше самой Республики. Она стояла на самом краю уайтхиллской «Поляны», крыши и шпили школы проглядывали сквозь густые заросли заповедника имени Сэнфорда Ременцеля.

Бена отпустили на полтора часа. Доктор провел Сильвию и Илая в знакомый ему с самого детства мир низких потолков, оловянной посуды, часов, старого дерева, дружелюбных официантов и превосходного угощения.

Илай, неловкий в ожидании катастрофы, которая вот-вот должна была разразиться, задел локтем напольные часы, отчего те жалобно зазвенели.

Сильвия на минуту отлучилась. Доктор с Илаем прошли в обеденный зал, где хозяйка приветствовала обоих по именам и провела к столику под портретом одного из трех выпускников Уайтхилла, ставших впоследствии президентами Соединенных Штатов.

Зал быстро заполнялся другими семьями — в каждой непременно имелся мальчик, ровесник Илая. Большинство уже носили форменные блейзеры школы — черные с бледно-голубым кантом

и эмблемой Уайтхилла на нагрудном кармане. Некоторые, как Илай, только должны были когда-нибудь одеться в форму.

Доктор заказал мартини и повернулся к сыну:

— Мама без конца твердит о том, что ты должен получать тут какие-то поблажки. Надеюсь, ты так не считаешь.

— Нет, сэр, — ответил Илай.

— Я бы сгорел со стыда, — высокопарно продолжил доктор, — узнав, что ты используешь наше имя, чтобы добиться привилегий.

— Знаю, — почти прошептал мальчик.

— Что ж, прекрасно, — заключил доктор.

Посчитав, что разговор с сыном окончен, он коротко помахал знакомым и заинтересовался длинным банкетным столом, стоявшим вдоль одной из стен. Поразмыслив, доктор решил, что его накрыли для прибывающей вскорости спортивной команды. Тем временем подошла Сильвия, и он раздраженно зашипел Илаю, что принято вставать, когда женщина подходит к столу.

Сильвия так и сыпала новостями. Длинный стол, оказывается, накрыли для мальчиков из Африки.

— Уверена, этот зал еще никогда не видел столько цветных сразу. Да и поодиночке тоже.

Как все поменялось в наше время…

— Меняется все — это верно, — ответил ей муж. — А вот насчет цветных ты не права. Когда-то «Остролист» был важным узлом Подземной железной дороги[30].

— Надо же! — воскликнула Сильвия и коротко, как птица, завертела головой. — Как здесь интересно! Жаль только, Илай пока без формы.

Лицо доктора начало наливаться краской.

— Ему не положено!

— Знаю, знаю.

— Надеюсь, ты прямо сейчас не кинешься просить, чтобы Илаю разрешили надеть пиджак?

— Вовсе нет, — ответила Сильвия, на этот раз уже немного обиженно. — Почему ты все время ждешь, что я тебя опозорю?

— Извини. Не обращай внимания.

Лицо Сильвии просветлело при взгляде на человека, который как раз в ту минуту входил в обеденный зал.

— А вот и мой самый любимый мужчина — после мужа и сына, конечно, — взяв Илая за плечо, объявила она.

---

[30] Примечания: 30

Подземная (Подпольная) железная дорога — название тайной системы организации побегов рабов из южных рабовладельческих штатов на Север и в Канаду.

Сильвия имела в виду доктора Дональда Уоррена, директора школы Уайтхилл. Худощавый, лет шестидесяти, Уоррен явился в зал вместе с работником гостиницы, чтобы оглядеть приготовления к приезду африканцев.

Тут-то Илай и сорвался с места. Обеденный зал он пролетел бегом, пытаясь как можно быстрее оставить позади преследующий его кошмар, грубо толкнул в дверях доктора Уоррена, хотя они были давно знакомы и тот окликнул его по имени. Директор печально посмотрел ему вслед.

— Черт, да что это с ним! — воскликнул доктор Ременцель.

— Может, плохо стало? — встревожилась Сильвия.

Не успели они обсудить выходку сына, как Уоррен нашел их глазами, быстро подошел, поздоровался — несколько смущенно, учитывая поведение Илая, — и попросил разрешения присесть.

— Разумеется, — несколько нервозно воскликнул доктор Ременцель. — Почту за честь. О господи…

— Я на пару слов, — сказал доктор Уоррен. — Обедать буду вон за тем длинным столом с новичками. — Он заметил на столе пять приборов.

— А вы кого-то ждете?

— Встретили по дороге Тома Хайлера с сыном. Они вот-вот должны подъехать.

— Прекрасно, прекрасно, — рассеянно пробормотал Уоррен, озабоченно поглядывая в ту сторону, куда убежал Илай.

— Его мальчик тоже поступает в Уайтхилл? — осведомился доктор Ременцель.

— Что? О да-да. Поступает.

— Будет получать стипендию, как и отец? — заинтересовалась Сильвия.

— О таких вещах не спрашивают, — оборвал ее муж.

— Простите.

— Нет-нет, интересуйтесь чем угодно, — разрешил доктор Уоррен. — Подобные сведения давно перестали считаться секретными. Мы гордимся стипендиатами, а у них есть все основания гордиться собой. Сын Тома получил высший балл за всю историю вступительных экзаменов. Мы почли за честь принять его в школу.

— А мы даже и не спрашивали, как сдал Илай, — сказал доктор Ременцель с усмешкой, подразумевающей, что особо блестящих успехов он от сына не ожидает.

— Думаю, он где-нибудь в крепких середняках,

— предположила Сильвия, основываясь на том, что в младшей школе отметки Илая колебались от посредственных до ужасных.

— Разве я не сообщил вам результаты? — удивленно спросил директор.

— Мы не виделись с момента экзамена, — напомнил доктор Ременцель.

— А письмо? — недоверчиво уточнил доктор Уоррен.

— Какое письмо? Нам?

— Конечно. И ни одно послание не давалось мне так тяжело, как это.

— Мы ничего не получали, — покачала головой Сильвия.

Доктор Уоррен с потемневшим лицом откинулся на спинку стула.

— Я отправил его собственными руками. Две недели назад.

— Почта в нашей стране работает прилично, — пожал плечами доктор Ременцель. — Но иногда, конечно, что-нибудь теряется.

Доктор Уоррен обхватил голову руками.

— О боже мой. О господи. А я-то не мог понять, что здесь делает Илай. Решил, что он просто приехал с вами, за компанию.

— Почему за компанию? — удивился Ремен-

цель. — Он приехал записываться в школу.

— Что было в письме? — спросила Сильвия.

Доктор Уоррен поднял голову и скрестил руки на груди.

— В письме было следующее — и ни одни слова я не писал с таким трудом, как эти: «На основании оценок в младшей школе и по результатам вступительных экзаменов должен с сожалением сообщить, что ваш сын и мой добрый друг Илай не может быть принят в Уайтхилл». — Голос Уоррена окреп, затвердел и его взгляд. — Принять Илая в школу и заставить его нести ту же нагрузку, что и остальных, будет неоправданно и жестоко.

Тридцать мальчиков-африканцев в сопровождении работников школы, представителей министерства и дипломатов из родных стран вошли в обеденный зал.

Следом за ними появился Том Хайлер с сыном. Они оживленно поздоровались, не подозревая, что Ременцелям сейчас вовсе не до дружеских бесед.

— Если хотите, потом поговорим поподробней, — предложил доктор Уоррен, вставая. — Сейчас я должен идти, а вот позже…

— Ничего не понимаю, — пробормотала Силь-

вия. — В голове пустота. Полная пустота.

Том Хайлер с сыном сели за стол. Хайлер поглядел на меню и потер руки:

— Что тут вкусного? Я проголодался. А где ваш мальчик?

— Отошел на минутку, — ровным голосом ответил доктор Ременцель.

— Нужно немедленно его найти, — сказала Сильвия мужу.

— Потом, все потом, — отозвался доктор.

— Илай наверняка знал о письме, — продолжала Сильвия. — Получил его и порвал!

При мысли о ловушке, в которую загнал себя сын, на глаза у нее навернулись слезы.

— Сейчас не важно, что натворил Илай, — проговорил Ременцель. — Сейчас важнее, как поведут себя другие люди.

— О чем ты?

Доктор Ременцель вскочил.

— Я намерен поглядеть, — разъяренно объявил он, — насколько быстро тут умеют менять свои решения.

— Первым делом, — уговаривала Сильвия, пытаясь удержать и хоть немного успокоить мужа, — нам надо разыскать Илая.

— Первым делом, — довольно громко возразил

доктор, — нам надо записать Илая в Уайтхилл. После этого мы найдем его и приведем обратно.

— Но, дорогой… — начала было Сильвия.

— Никаких «но». Здесь как раз собралось большинство членов правления. И все это мои близкие друзья. Или друзья отца. Если они скажут, что Илая надо принять, Уоррену некуда будет деваться. Раз тут хватает места для всякого непонятного народа, его, черт возьми, хватит и для Илая.

Он решительно перешел к соседнему столику, тяжело опустился на стул и заговорил с величественным и суровым пожилым человеком — председателем попечительского совета.

Сильвия извинилась перед озадаченными Хайлерами и побежала искать Илая.

Расспрашивая всех, кого встретила по пути, она наконец нашла его во дворе одиноко сидящим на скамье под готовой вот-вот расцвести сиренью.

Услыхав, как под ногами матери заскрипел гравий, Илай устало спросил:

— Уже знаете? Или объяснять?

— О том, что с тобой случилось? — уточнила Сильвия. — Что тебя не взяли? Доктор Уоррен рассказал.

— Я разорвал письмо.

— Я так и подумала. Зря мы с папой вечно твердили, что ты не можешь учиться нигде, кроме Уайтхилла. Другого почему-то и представить не могли.

— Знаешь, а мне легче, — попытавшись улыбнуться, сообщил Илай. — Теперь, когда все позади. Я собирался сказать вам заранее — и не смог. Не получалось.

— Это я во всем виновата. Ты ни при чем.

— А где папа?

Сильвия так спешила найти и успокоить сына, что даже не задумалась, что собрался предпринять муж. Только тут она осознала, что доктор Ременцель намерен совершить непростительную ошибку. Теперь, когда стало понятно, как трудно пришлось бы Илаю в Уайтхилле, она совсем не хотела отдавать мальчика именно сюда.

Не зная, как объяснить ему, чем занят отец, Сильвия пробормотала:

— Думаю, скоро появится. Не бойся, он все поймет. Хочешь, подожди здесь, а я его приведу.

Но ей не пришлось бежать за доктором Ременцелем. В эту самую минуту его величественная фигура появилась у выхода из гостиницы и направилась к жене и сыну. Вид у доктора был ошеломленный.

— Ну что? — спросила жена.

— Они все сказали «нет». Все до единого! — подавленно сообщил доктор.

— Ну и хорошо. Я даже рада. Нет, в самом деле рада!

— Кто сказал «нет»? Про что? — допытывался Илай.

— Члены совета, — ни на кого не глядя, объяснил доктор Ременцель. — Я попросил их сделать для тебя исключение и принять в школу.

Лицо Илая исказили недоверие и стыд.

— Что? — переспросил он, и в его голосе не осталось ничего детского. — Это ведь не положено! — со злостью крикнул он отцу.

— Мне так и ответили, — кивнул доктор Ременцель.

— Тогда зачем? Как ты мог? Невероятно…

— Ты прав, — пробормотал отец.

— Какой позор, — сказал Илай, и видно было, что это сказано от души.

Пристыженный доктор не нашелся что возразить.

— Простите меня, — проговорил он наконец. — Зря я все это затеял.

— Теперь все знают, что Ременцель может требовать привилегий, — ответил Илай.

— Бен, полагаю, пока не появился? — продолжил доктор, хотя всем было понятно, что время подавать машину еще не пришло. — Давайте подождем его здесь. Не хочется возвращаться.

— Ременцель попросил о поблажке, — не унимался Илай. — Словно он не такой, как все!

— Боюсь… — начал доктор Ременцель и осекся.

— Боишься — чего? — озадаченно переспросила жена.

— Боюсь, мы больше никогда не вернемся в Уайтхилл.

Олень

© Перевод. А. Криволапов, 2020

Гигантские черные трубы заводов Федеральной машиностроительной корпорации в Илиуме плевались едким дымом и копотью в сотни мужчин и женщин, выстроившихся в длинную очередь перед красным кирпичным корпусом заводского управления. Стояло лето. Заводы Илиума, к настоящему моменту второе по величине промышленное предприятие в Америке, на треть увеличивали штат в связи с новыми заказами на вооружение. Каждые десять минут служащий охраны открывал дверь управления, выпуская из кондиционированного помещения струю прохладного воздуха и впуская внутрь трех новых кандидатов.

— Еще трое, — сказал охранник.

После четырехчасового ожидания в здание попал и человек лет под тридцать, среднего роста, с юным лицом, слегка закамуфлированным при помощи очков и усов. Его воодушевление, равно как и костюм, несколько поблекло от едкого дыма и августовского солнца, да к тому же

ему пришлось пожертвовать ланчем, чтобы не потерять место в очереди. Тем не менее молодой человек старался не утратить жизнерадостности. Он был последним в тройке, представшей перед секретаршей.

— Оператор винтонарезного станка, мэм, — определил свою специальность первый.

— Пройдите к мистеру Кормоди в седьмую кабину, — сказала секретарша.

— Пластическая прессовка, мисс, — назвался второй.

— К мистеру Хойту, во вторую кабину, — ответила она и обратилась к молодому человеку в поблекшем костюме: — Специальность? Фрезеровка? Сверловка?

— Писательство, — ответил он. — Все виды писательства.

— Вы имеете в виду рекламу и продвижение товара?

— Да… именно это.

Секретарша засомневалась:

— Ну… я не знаю. Мы не объявляли о найме на эту специальность. Ведь вы не можете работать за станком, не так ли?

— Мой станок — пишущая машинка, — шутливо ответил он.

Секретарша была серьезной молодой женщиной.

— Компания не использует стенографистов мужского пола, — сказала она. — Пройдите к мистеру Биллингу в двадцать шестую кабину. Возможно, он знает о какой-нибудь вакансии в отделе рекламы.

Молодой человек поправил галстук, одернул пиджак и изобразил на лице улыбку, подразумевавшую, что он интересуется работой на заводах просто ради шутки. Он проследовал в двадцать шестую кабину и протянул руку мистеру Биллингу — такому же молодому человеку.

— Мистер Биллинг, меня зовут Дэвис Поттер. Я тут интересуюсь, что у вас имеется по части рекламы и продвижения товара, потому и заглянул сюда.

Мистер Биллинг, давно набивший руку на всем, что касается молодых людей, тщательно скрывающих горячее желание получить работу, был вежлив, но непроницаем.

— Боюсь, вы выбрали неудачное время, мистер Поттер. В этой области, как вам, вероятно, известно, очень жесткая конкуренция, и в данный момент мы едва ли можем что-либо предложить.

Дэвид кивнул:

— Понимаю.

У него совсем не было опыта по части того, как просить работу в большой организации, и мистер Биллинг сразу дал ему понять, как это чудесно — уметь управлять каким-либо станком. Дуэль нанимателя и соискателя продолжалась.

— Тем не менее присядьте, мистер Поттер.

— Благодарю вас. — Он посмотрел на часы: — Мне вскоре придется вернуться в газету.

— Вы работаете в какой-то местной газете?

— Я владелец еженедельника в Борсете, в десяти милях от Илиума.

— Что вы говорите! Борсет — милая деревушка. Так вы решили завязать с газетным бизнесом?

— Ну… я думал об этом. Я купил газету вскоре после войны, занимался ей восемь лет и не хотел бы закоснеть на одном месте. Нужно развиваться. Но конечно, все зависит от перспектив.

— У вас есть семья? — любезно осведомился мистер Биллинг.

— Жена, два сына и две дочери.

— Какая славная, большая, хорошо уравновешенная семья, — сказал мистер Биллинг. — И при этом вы так молоды.

— Мне двадцать девять, — ответил Дэвид и

улыбнулся. — Мы не планировали ее такой большой. Они близнецы. Сначала мальчики, а затем, несколько дней назад, появились две девочки.

— Да что вы! — воскликнул мистер Биллинг и подмигнул: — С такой семьей поневоле задумаешься о спокойном, обеспеченном будущем, а?

Эта реплика прозвучала как бы мимоходом, словно легкая пикировка между любящими родственниками.

— Мы вообще-то так и хотели, двоих мальчиков и двух девочек, — заметил Дэвид. — Не думали, правда, что все произойдет так быстро, но мы рады. Что же касается обеспеченности — может быть, я себе и льщу, но мне кажется, что тот административный и журналистский опыт, который я приобрел, издавая газету, может кое-чего стоить в глазах соответствующих людей, если с газетой что-нибудь произойдет.

— Чего этой стране по-настоящему не хватает, — философским тоном изрек Биллинг, сосредоточенно прикуривая сигарету, — так это людей, умеющих вести дела, готовых взять на себя ответственность и добиваться результатов. Можно лишь пожелать, чтобы у нас в отделе рекламы и маркетинга были более широкие возможности. Поймите, там важная, интересная работа, но я не

знаю, что вы скажете о начальном жалованье.

— Ну, я просто хотел прикинуть, что к чему… как обстоят дела. Понятия не имею, какое жалованье могла бы назначить компания человеку вроде меня, с моим опытом.

— Вопрос, который обычно задают опытные люди вроде вас, заключается в следующем: как высоко я могу подняться и насколько быстро это произойдет? А ответить на него можно так: предел для человека с волей и творческой жилкой — небеса. Подниматься такой человек может быстро или медленно в зависимости от того, как он готов работать и что способен вложить в работу. С человеком вроде вас мы могли бы начать, ну, скажем, с сотни долларов в неделю, однако неизвестно, пробудет он на этом уровне два года или всего лишь два месяца.

— Полагаю, человек мог бы содержать на это семью, пока не получит повышения, — сказал Дэвид.

— Работа в нашем отделе рекламы покажется вам почти такой же, как та, что вы делаете сейчас. Наши рекламщики превосходно пишут и редактируют материалы, а в газетах наши рекламные релизы не отправляют в мусорную корзину. Наши люди — профессионалы и пользу-

ются заслуженным уважением как журналисты. — Биллинг поднялся со стула. — У меня сейчас одно небольшое дельце — оно отнимет минут десять, не больше. Не могли бы вы подождать? И я охотно продолжу наш разговор.

Дэвид взглянул на часы:

— О, думаю, я могу подождать еще десять-пятнадцать минут.

Биллинг вернулся в свою кабину через три минуты, чему-то посмеиваясь про себя.

— Я только что поговорил по телефону с Лу Флэммером, начальником отдела рекламы. Ему требуется новый стенографист. Лу — это что-то. Здесь все по нему с ума сходят. Он старый газетчик и, наверное, в газете и приобрел умение ладить со всеми. Ради интереса я рассказал ему о вас. Просто сказал, о чем мы с вами говорили, о том, что вы присматриваетесь. И угадайте, что сказал Лу?

— Угадай, что я тебе скажу, Нэн? — говорил Дэвид Поттер по телефону жене. Он был в одних трусах и звонил из заводского медпункта. — Завтра ты вернешься из роддома к солидному гражданину, заколачивающему по сто десять долларов в неделю. В неделю! Я только что получил бейдж и прошел медосмотр.

— Правда? — удивленно отозвалась Нэн. — Както все очень уж быстро. Не думала, что ты так резко начнешь.

— А чего ждать?

— Ну… не знаю. Я хочу сказать, ты ведь не понимаешь, во что ввязываешься. Ты всю жизнь работал на себя и не представляешь, каково это — быть винтиком в огромной организации. Я знала, что ты собираешься поговорить о работе с людьми из Илиума, но была уверена, что еще год ты не бросишь газету.

— Через год мне стукнет тридцать, Нэн.

— И что?

— Я буду слишком стар, чтобы начинать карьеру в промышленности. Тут есть парни моего возраста, проработавшие уже по десять лет. Здесь суровая конкуренция, а через год она будет еще страшнее. И кто знает, захочет ли Джейсон через год покупать мою газету. — Эд Джейсон был помощник Дэвида. Он только окончил колледж, и его отец собирался приобрести газету для него. — А место в отделе рекламы через год будет занято, Нэн. Нет, переходить надо теперь — сегодня же.

Нэн вздохнула.

— Наверное. Но это совсем не для тебя. Для некоторых заводы — прекрасное место: они про-

цветают в этой среде. Но ты всегда был таким независимым… И ты любишь свою газету, не отрицай.

— Люблю, — сказал Дэвид, — и расставание с ней разбивает мне сердце. Пока не родились дети, все было отлично. А теперь я волнуюсь — детям нужно дать образование и все прочее.

— Но, милый, — возразила Нэн, — газета ведь приносит деньги.

— И в любой момент может прогореть. — Дэвид щелкнул пальцами. — Появится ежедневная с вкладышем местных новостей, и тогда…

— Дорсет слишком любит свою маленькую газету и не позволит такому случиться. Люди любят тебя и то, что ты делаешь.

Дэвид кивнул.

— А что будет через десять лет?

— А что будет через десять лет на заводах? Что вообще где бы то ни было будет через десять лет?

— Я бы поставил на то, что заводы никуда не денутся. Я не имею права больше рисковать, Нэн, не теперь, когда большая семья рассчитывает на меня.

— Большая семья будет не очень счастлива, милый, если ты не сможешь заниматься любимым делом. Я хочу, чтобы ты был счастлив, как прежде

— разъезжал по округе, собирал новости, продавал рекламные объявления, — а потом приходил домой и писал то, что хочешь писать. То, во что ты веришь. Подумать только — ты на заводе!

— Я должен, Нэн.

— Что ж, как скажешь. Ты знаешь мое мнение.

— Это тоже журналистика, высококлассная журналистика, — настаивал Дэвид.

— Только не продавай газету Джейсону немедленно. Подожди хотя бы месяц или два, пожалуйста!

— Смысла ждать нет, но раз ты хочешь, так и сделаем. — Дэвид поднес к глазам брошюру, которую ему вручили после медосмотра. — Послушай, Нэн: в соответствии со страховым пакетом мне будут покрывать десять долларов в день медицинских расходов в случае болезни, сохранят полное жалованье в течение двадцати шести недель и выделят еще сто долларов на особые расходы в больнице. И жизнь застрахована за полцены. А если я вложу средства в правительственные облигации, компания будет выплачивать мне пятипроцентный бонус в течение двенадцати лет. У меня каждый год будет двухнедельный оплачиваемый отпуск, а после пятнадцати лет выслуги — трехнедельный.

Плюс бесплатное членство в кантри-клубе. Через двадцать пять лет мне будет положена пенсия не меньше чем в сто двадцать пять долларов в месяц, а если проработаю дольше, то и пенсия будет куда больше!

— Святые небеса!.. — проговорила Нэн.

— Надо быть дураком, чтобы от всего этого отказаться, Нэн.

— И все-таки я хочу, чтобы ты дождался нас с девочками — хочу, чтобы ты привык к ним. Боюсь, ты просто запаниковал.

— Ничего подобного, Нэн. Поцелуй за меня малышек, а мне пора — надо представиться новому начальнику.

— Кому?

— Начальнику.

— О! Я думала, мне послышалось.

— До свидания, Нэн.

— До свидания, Дэвид.

Дэвид прицепил бейдж к лацкану пиджака и вышел из медпункта на окруженный забором раскаленный асфальт. Из обступивших его зданий доносился глухой монотонный грохот; Дэвиду просигналил грузовик и что-то попало в глаз. Он аккуратно, уголком носового платка извлек из глаза частичку сажи. Восстановив

зрение, осмотрелся в поисках строения 31, где располагалось его новое место работы и где его ожидал начальник. От места, где стоял Дэвид, веером расходились четыре запруженные, казалось, уходящие в бесконечность улицы.

Он обратился к одному из прохожих, спешившему не так отчаянно, как другие:

— Не подскажете, как найти строение 31, офис мистера Флэммера?

Человек, которого он остановил, был стар, однако глаза его сверкали — казалось, лязг, вонь и нервная суета завода доставляли ему не меньшее удовольствие, чем Дэвид мог получить бы ясным апрельским днем в Париже. Он бросил взгляд на бейдж Дэвида, затем на его лицо.

— Только приступаете, верно?

— Да, сэр. Сегодня первый день.

— Что вы об этом знаете… — Старик покачал головой и подмигнул. — Только приступаете… Строение 31? Скажу вам, сэр, когда я впервые вышел на работу в 1899-м, строение 31 можно было увидеть прямо отсюда: между нами и им была сплошная грязь. Теперь все застроили. Видите вон ту цистерну, в четверти мили отсюда? От нее начинается Семнадцатая авеню, и вам нужно пройти ее почти до конца, затем через пути…

Только приступаете? Наверное, лучше мне вас проводить. Я тут вышел на минутку переговорить насчет пенсии, но это может подождать. С удовольствием прогуляюсь.

— Спасибо.

— Пятьдесят лет, вот сколько я уже здесь, — гордо заявил старик и повел Дэвида по нескончаемым проездам и авеню, через железнодорожные пути, по пандусам и туннелям, сквозь цеха, переполненные плюющими, хныкающими, скулящими, рычащими машинами, по коридорам с зелеными стенами и пронумерованными черными дверями.

— Больше уже не будет людей с пятидесятилетним стажем, — с сожалением говорил старик. — В наши дни нельзя выходить на работу, пока тебе не исполнилось восемнадцать, а когда стукнет шестьдесят пять, приходится уходить на пенсию. — Он отвернул лацкан, чтобы продемонстрировать маленькую золотую кнопку. На ней было число «пятьдесят» на торговом знаке компании. — Молодежи такое уже не носить, как бы вам этого ни хотелось.

— Очень милая кнопка, — согласился Дэвид.

Старик указал на дверь:

— Вот кабинет Флэммера. Держите рот на замке,

пока не разберетесь, что к чему. Желаю удачи!

Секретарши Лу Флэммера на месте не оказалось, Дэвид прошел к двери кабинета и постучал.

— Да, — раздался приятный голос. — Прошу вас, входите.

Дэвид открыл дверь.

— Мистер Флэммер?

Перед ним был толстый коротышка слегка за тридцать. При виде Дэвида он просиял.

— Чем могу быть полезен?

— Я Дэвид Поттер, мистер Флэммер.

Рождественская благостность Флэммера поблекла. Он откинулся на спинку стула, водрузил ноги на стол и засунул сигару, которую до этого прятал в кулаке, в свою огромную пасть.

— Черт, я подумал, что вы вожатый бойскаутов. — Он бросил взгляд на настольные часы, вмонтированные в миниатюру новейшей автоматической посудомоечной машины компании. — Сегодня у бойскаутов экскурсия. Должны были подойти пятнадцать минут назад, чтобы я рассказал им о наших бойскаутах. Пятьдесят шесть процентов служащих федерального аппарата в детстве были бойскаутами первой ступени.

Дэвид засмеялся, но тотчас обнаружил, что смеется он один, и замолчал.

— Внушительное число, — сказал он.

— Именно, — рассудительно подтвердил Флэммер. — Кое-что значит и для бойскаутов, и для промышленности. Теперь, прежде чем показать вам ваше рабочее место, я должен объяснить систему оценочных сводок. Так велит Инструкция. Биллинг говорил вам об этом?

— Не припомню. Очень много информации…

— Ничего сложного, — сообщил Флэммер. — Каждые шесть месяцев на вас составляется оценочная сводка, чтобы мы, да и вы сами, могли получить представление о достигнутом вами прогрессе. Три человека, имеющих непосредственное отношение к вашей работе, независимо друг от друга дают оценку вашей производственной деятельности; затем все данные суммируются в одну сводку — с копиями для вас, меня и отдела по найму и оригиналом для директора по рекламе и маркетингу. В высшей степени полезная штука для всех, прежде всего для вас, если вы сумеете взглянуть на это правильно. — Он помахал оценочной сводкой перед носом Дэвида: — Видите? Графы для внешнего вида, лояльности, исполнительности, инициативы, взаимодействия в коллективе — и далее в том же духе. Вы тоже будете составлять оценочные

сводки на других сотрудников. Все это делается абсолютно анонимно.

— Понимаю. — Дэвид чувствовал, что краснеет от негодования. Он пытался побороть это ощущение, убеждая себя, что это реакция провинциала и что ему полезно будет научиться мыслить как член большой и эффективной команды.

— Теперь об оплате, Поттер, — продолжал Флэммер. — Нет смысла приходить ко мне и просить о прибавке. Это делается на основе оценочных сводок и кривой заработной платы. — Он порылся в ящиках, извлек оттуда график и разложил на столе. — Вот видите эту кривую? Это средний заработок сотрудников, окончивших колледж. Смотрите: столько средний сотрудник получает в тридцать; столько — в сорок и так далее. А эта кривая показывает рост зарплаты у тех, кто показал хороший потенциал. Видите, кривая выше и несколько круче. Вам сколько лет?

— Двадцать девять, — ответил Дэвид, стремясь разглядеть размеры заработной платы, указанные на краю графика.

Флэммер намеренно прикрыл эту сторону рукой.

— Ага. — Помусолив во рту конец карандаша, он вывел на графике маленькое «х» чуть выше

средней кривой. — Вот вы где.

Дэвид всмотрелся в отметку и затем проследовал взглядом по кривой, через маленькие бугорки, покатые склоны, вдоль пустынных плато, пока она внезапно не прервалась у черты, обозначавшей шестьдесят пять лет. График не предусматривал нерешенных вопросов и был глух к аргументам. Дэвид оторвал от него взгляд и обратился к человеку, с которым ему предстояло иметь дело.

— Мистер Флэммер, вы ведь когда-то издавали еженедельную газету?

Флэммер рассмеялся.

— В дни моей наивной, идеалистической юности, Поттер, я печатал рекламные объявления, собирал сплетни, готовил набор и писал передовицы, которые должны были спасти мир, — ни больше ни меньше, Богом клянусь!

Дэвид восхищенно улыбнулся.

— Тот еще цирк, верно?

— Цирк? Скорее уж балаган. Хороший способ вырасти. Мне понадобилось около полугода, чтобы понять, что я убиваюсь за гроши, что маленький человек не способен спасти даже деревеньку в две улицы, а мир вообще не стоит того, чтобы его спасали. Я продал все это, пришел

сюда — и вот он я!

Зазвонил телефон.

— Да? — сладким голосом ответил Флэммер. — Отдел рекламы. — Вдруг улыбку словно стерли с его лица. — Вы шутите? Где? Это не утка, точно? Ладно, ладно. Бог ты мой! Именно сейчас. Никого под рукой, а я вынужден ждать чертовых бойскаутов. — Он положил трубку. — Поттер, вот ваше первое задание. По заводу бродит олень!

— Олень?!

— Понятия не имею, как он сюда забрался, но он здесь. Водопроводчик чинил питьевой фонтанчик на софтбольном поле недалеко от строения 217 и углядел оленя из-под трибун. Сейчас его окружили около металлургической лаборатории. — Он встал и забарабанил пальцами по столу. — Убийственная новость! Эта история облетит всю страну, Поттер. Люди обожают такое! Прямиком на первую полосу! И надо ж было именно сегодня Элу Тэппину укатить на Аштабульские заводы — снимать новый вискометр, который они там сварганили! Ладно, вызову фотографа из города и отправлю к вам в металлургическую лабораторию. Вы готовите материал и следите, чтобы он сделал правильные снимки, договорились?

Он вывел Дэвида в холл.

— Возвращайтесь тем же путем, что пришли, только у цеха микромоторов повернете не направо, а налево, пройдете через корпус гидравлики, сядете на одиннадцатый автобус на Девятой авеню, и он доставит вас прямо на место. Когда соберете факты и снимки, мы представим их на одобрение юридическому отделу, службе безопасности компании, директору по рекламе и информации — и в типографию. А теперь поторопитесь. Олень не на зарплате — он не станет вас дожидаться. Поработайте сегодня, и завтра результат ваших трудов, если он будет одобрен, появится на первых полосах всех газет в стране. Фотографа зовут Макгарви. Вам все понятно? Сегодня ваш день, Поттер, и все мы будем наблюдать за вами.

Он захлопнул за Дэвидом дверь, и вскоре тот уже мчался по коридору, вниз по лестнице и дальше по улице, спешно протискиваясь меж пешеходов. Люди бросали на целеустремленного молодого человека восхищенные взгляды.

Он шел и шел, и мозг его закипал от обилия информации: Флэммер, строение 31; олень, металлургическая лаборатория; фотограф Эл Тэппин. Нет. Эл Тэппин в Аштабуле. Городской фотограф Флэнни. Нет, Маккэммер. Нет, Маккэммер

— новый начальник. Пятьдесят шесть процентов скаутов первой ступени. Олень у лаборатории вискометров. Нет. Вискометр в Аштабуле. Позвонить новому начальнику Дэннеру и получить точные указания. Трехнедельный отпуск после пятнадцати лет работы. Новый начальник не Дэннер. Как бы то ни было, новый начальник в строении 319. Нет. Фэннер в корпусе 39981893319.

Дэвид остановился, наткнувшись на запачканное сажей окно тупика. Он понимал, что раньше никогда здесь не был, что память сыграла с ним злую шутку и что олень не на зарплате и ждать не станет. Воздух в тупике заполняла мелодия танго вперемешку с запахом горелой изоляции. Дэвид попытался носовым платком протереть окошечко в закопченном стекле в надежде увидеть проблеск хоть чего-нибудь осмысленного.

Внутри на скамьях сидели ряды женщин, кивая головами в такт музыке и тыча паяльниками в какие-то сплетения разноцветных проводов, проплывающие перед ними на бесконечных конвейерных лентах. Одна из них подняла голову, заметила Дэвида и принялась подмигивать ему в ритме танго. Дэвид поспешил ретироваться.

Вернувшись к началу аллеи, он остановил какого-то прохожего и спросил, не слышал ли тот

об олене. Человек покачал головой и странно посмотрел на Дэвида. Дэвид понял, насколько странно это звучит, и поинтересовался более спокойным тоном:

— Мне сказали, он рядом с лабораторией…

— А какая лаборатория? — спросил человек.

— Я точно не знаю, — ответил Дэвид. — Их здесь несколько?

— Химическая? Лаборатория испытания материалов? Красителей? Изоляции? — подсказывал человек.

— Нет, боюсь, ни одна не подходит, — сказал Дэвид.

— Я могу так весь день стоять здесь и перечислять лаборатории. Извините, мне пора. Вы, случайно, не знаете, в каком строении помещается дифференциальный анализатор?

— Простите, не знаю, — сказал Дэвид.

Он остановил еще нескольких человек, но никто из них никогда не слышал об олене, и Дэвид попытался найти дорогу обратно к кабинету начальника, мистера Как-Там-Его. Бурное течение мотало его влево и вправо, относило назад, выбрасывало и втягивало обратно. Мозг Дэвида все более затуманивался, оставляя работать лишь могучий инстинкт самосохранения.

Он наугад выбрал какое-то здание, зашел внутрь на мгновение передохнуть от изнуряющего летнего зноя и был тотчас же оглушен лязгом и скрежетом железных пластин, принимавших самые невероятные очертания под ударами гигантских молотов, опускавшихся откуда-то сверху, из дыма и пыли. Лохматый, атлетического сложения человек сидел у двери на деревянном табурете, наблюдая за тем, как исполинский токарный станок поворачивает стальной прут размером с силосную башню.

Дэвид наконец решил поискать список внутренних телефонов компании. Он попробовал окликнуть лохматого рабочего, но голос его утонул в грохоте цеха.

Дэвид тронул его за плечо:

— Тут где-нибудь есть телефон?

Рабочий кивнул. Приложив сложенные ладони к уху Дэвида, он прокричал:

— Вверх по… и сквозь… — Громыхнул опустившийся молот. — Затем налево и идите до… — Кран над головой сбросил груду стальных пластин. — …будет прямо перед вами. Мимо не пройдете.

Со звоном в ушах и с раскалывающейся головой, Дэвид вышел на улицу и попытал счастья у другой двери. За ней царила тишина и кон-

дицонированный воздух. Он стоял в коридоре возле демонстрационного зала, где несколько человек рассматривали ярко освещенный и водруженный на вращающуюся платформу ящик с множеством дисков и переключателей.

— Прошу вас, мисс, — обратился он к секретарше у двери, — не подскажете, где я могу найти телефон?

— Прямо за углом, сэр, — ответила она, — но, боюсь, сегодня звонить разрешено только кристаллографистам. Вы один из них?

— Да, — ответил Дэвид.

— О, тогда пожалуйста. Ваше имя?

Дэвид назвался, сидящий рядом с секретаршей человек написал его имя на бейдже и прикрепил бейдж ему на грудь. Дэвид бросился в поисках телефона, когда его ухватил за лацкан лысый большезубый улыбающийся мужчина, на бейдже которого значилось: «Стэн Дункель, отдел продаж». Он увлек его за собой к демонстрационному стенду.

— Доктор Поттер, — вопросил Дункель, — ответьте: годится такой способ для постройки рентгеновского спектрогониометра или рентгеновский спектрогониометр лучше построить вот этим способом?

— М-м… да, — промямлил Дэвид. — Этот способ сгодится.

Подошла официантка с подносом:

— Мартини, доктор Поттер?

Дэвид осушил мартини одним жадным, страстным глотком.

— Какими свойствами, по-вашему, должен обладать рентгеновский спектрогониометр? — продолжал расспросы Дункель.

— Он должен быть прочным, мистер Дункель, — сказал Дэвид и с этим оставил Дункеля, подвергнув опасности свою репутацию, которая и так представала далеко не самой прочной.

В телефонной будке Дэвид пробежал страницы справочника на А, когда вдруг в мозгу всплыло имя начальника. Флэммер! Он набрал номер.

— Кабинет мистера Флэммера, — отозвался женский голос.

— Пожалуйста, могу я поговорить с ним? Это Дэвид Поттер.

— А, мистер Поттер. Мистер Флэммер где-то на территории, но он оставил для вас сообщение. Он сказал, что в истории с оленем появилась еще одна деталь. Когда его изловят, оленина будет подана на пикник в клубе «Четверть века».

— В клубе «Четверть века»? — переспросил

Дэвид.

— О, это великолепный клуб, мистер Поттер! Он для людей, проработавших в компании не меньше двадцати пяти лет. Бесплатные напитки, сигары и вообще все самое лучшее. Там превосходно проводят время.

— Что-нибудь еще?

— Больше ничего, — сказала секретарша и повесила трубку.

Дэвид Поттер, приняв на пустой желудок третий мартини, стоял перед аудиторией и размышлял, где искать оленя.

— Но наш рентгеновский спектрогониометр достаточно прочен, доктор Поттер! — крикнул ему со ступенек аудитории Стэн Дункель.

На другой стороне улицы виднелось зеленое поле, окаймленное невысоким кустарником. С трудом продравшись сквозь колючие кусты, Дэвид оказался на софтбольной площадке. Пересек ее напрямик, к трибунам, отбрасывавшим прохладную тень, и уселся на траву спиной к проволочной ограде, отделявшей заводскую территорию от густого соснового леса. В ограде было двое воротец, закрытых на скрученную проволоку.

Дэвид собирался посидеть здесь какое-то время,

чтобы отдышаться и привести в порядок нервы. Может, оставить Флэммеру сообщение, что он внезапно заболел, тем более что это почти правда, или…

— Вот он! — закричал кто-то с другой стороны площадки. Следом донеслись улюлюканье, чьи-то приказы, топот бегущих ног.

Олень с обломанными рогами вынырнул из-под трибун, увидел сидящего Дэвида и бросился вдоль проволочной ограды к открытому месту. Он прихрамывал, на красновато-коричневой шкуре темнели полосы сажи и смазки.

— Тихо! Не спугните его! Главное, не выпускайте! Стрелять только в сторону леса!

Дэвид выбрался из-под трибун и увидел широкий полукруг, образованный стоящими в несколько рядов людьми, медленно смыкавшийся вокруг места, возле которого остановился олень. В переднем ряду было с десяток охранников с пистолетами наголо. Остальные вооружились палками, камнями и лассо, наскоро сплетенными из проволоки.

Олень тронул копытом траву и, опустив голову, направил на преследователей обломанные рога.

— Не двигаться! — раздался знакомый голос.

Черный лимузин компании, пробуксовав по

софтбольной площадке, приблизился к задним рядам. Из окна высунулся Лу Флэммер.

— Не стреляйте, пока мы не сфотографируем его живым! — скомандовал Флэммер. Он вытолкнул фотографа из лимузина и потащил его в первый ряд.

Флэммер увидел у ограды Дэвида.

— Молодчина, Поттер! — крикнул он. — Прямо в яблочко! Фотограф заблудился, так что пришлось самому притащить его сюда.

Фотограф выстрелил ослепительной вспышкой. Олень встрепенулся и побежал по траве в сторону Дэвида. Дэвид быстро раскрутил проволоку, оттянул щеколду и широко распахнул ворота. Секундой позже белый олений хвост мелькнул среди деревьев и скрылся в зеленой чаще.

Мертвую тишину нарушил сначала пронзительный свисток маневрового локомотива, а следом за ним — негромкий щелчок щеколды, когда Дэвид ступил в лес и прикрыл за собой ворота. Он не оглянулся назад.

Любое разумное предложение

© Перевод. И. Доронина, 2020

Несколько дней назад, как раз перед тем как отправиться сюда, в Ньюпорт, на отдых, хоть я и был на мели, мне пришло в голову, что нет другой такой профессии — или аферы, если угодно, называйте как хотите, — в которой получаешь от клиентов столько тумаков, сколько получает их торговец недвижимостью. Если ты стоишь на месте, тебя охаживают дубиной. Если убегаешь — стреляют вслед.

Разве что у дантистов еще более суровые отношения с клиентами, хотя я в этом сомневаюсь. Окажись человек перед выбором, с чем расстаться: с зубом или с комиссионными агенту по продаже недвижимости, он наверняка предпочтет щипцы и новокаин.

Взять хотя бы Делаханти. Две недели назад Деннис Делаханти нанял меня продать его дом, он просил за него двадцать тысяч.

В тот же день я повез предполагаемого покупателя осмотреть его. Обойдя дом, покупатель сказал, что тот ему нравится и он готов его купить.

И в тот же вечер заключил сделку. Напрямую с Делаханти. У меня за спиной.

Тогда я послал Делаханти счет на мои комиссионные — пять процентов от суммы сделки, то есть тысяча долларов.

— Да кто вы такой? — пожелал он узнать. — Знаменитая кинозвезда?

— Вы с самого начала знали, какой процент составят мои комиссионные.

— Конечно, знал. Но вы проработали какой-нибудь час. Тысяча баксов за один час?! То есть, сорок тысяч в неделю, два миллиона в год! Я все подсчитал!

— Ага, а в иной год я зарабатываю по десять миллионов, — съязвил я.

— Я работаю шесть дней в неделю, пятьдесят недель в год, и оказывается, должен заплатить вам тысячу долларов за один час улыбочек, пустой болтовни и пинту бензина? Я пожалуюсь своему конгрессмену. Если это законно, значит, черт возьми, закон надо изменить.

— Он и мой конгрессмен тоже, — напомнил я, — и вы подписали договор. Вы его хоть читали?

Он повесил трубку. Комиссионных я до сих пор не получил.

Старая миссис Хеллбрюннер позвонила сразу

после Делаханти. *Ее* дом вот уже три года был выставлен на торги и представлял собой почти все, что осталось от семейного состояния Хеллбрюннеров. Двадцать семь комнат, девять ванных, бальный зал, малый рабочий кабинет, большой кабинет, музыкальный салон, солярий, башни с бойницами для стрелков из арбалета, фальшивый подъемный мост, ворота с опускающейся решеткой и высохший ров. Где-нибудь в подвале, полагаю, там имеются дыбы и виселицы для провинившейся челяди.

— Что-то тут не так, — сказала миссис Хеллбрюннер. — Мистер Делаханти продал свою страшненькую конфетную коробочку за один день и получил на четыре тысячи больше, чем заплатил за нее в свое время. Видит Бог, я прошу за свой дом всего четверть его стоимости с учетом переоценки.

— Понимаете ли, миссис Хеллбрюннер, для вашего дома нужен *специфический* покупатель, — ответил я, представляя себе такового разве что как сбежавшего из психушки маньяка. — Но рано или поздно он появится. Как говорится, на всякого покупателя есть свой дом, и на всякий дом — свой покупатель. В здешних краях не каждый день встретишь человека, который ищет дом

ценой в сто тысяч долларов. Но, повторяю, рано или поздно…

— Когда мистер Делаханти стал вашим клиентом, вы тут же принялись за дело и заработали свои комиссионные, — сказала она. — Почему бы вам не потрудиться и на меня?

— Но в вашем случае придется проявить терпение. Не…

Она тоже повесила трубку, и тут на пороге офиса появился высокий седовласый джентльмен. Было в нем — а может, во мне — что-то такое, от чего хотелось тут же вскочить, стать по стойке «смирно» и втянуть отвисший живот.

— Дассэр! — отрапортовал я.

— Это ваше? — спросил он, протягивая мне вырезанное из утренней газеты объявление. Он держал газетную вырезку так, словно возвращал мне грязный носовой платок, выпавший у меня из кармана.

— Дассэр! Мое, так точно! Речь идет об имении Хёрти.

— Да, Пэм, это здесь, — сказал он, обернувшись назад, и к нему присоединилась высокая строго одетая женщина. Смотрела она не на меня, а в какую-то воображаемую точку над моим левым плечом, как будто я был метрдотелем или каким-

нибудь другим незначительным персонажем из обслуги.

— Может быть, вы хотели бы узнать, что они просят за имение, прежде чем осматривать его? — предположил я.

— Бассейн там в порядке? — спросила женщина.

— Да, мэм. Всего два года как построен.

— А конюшни? — поинтересовался мужчина.

— Дассэр! Мистер Хёрти держит в них своих лошадей. Они свежепобелены, обработаны огнеупорными материалами и все такое. Он просит за имение восемьдесят пять тысяч, и это его окончательная цена. В пределах ли она того, на что вы рассчитывали, сэр?

Он скривил губы.

— Я упомянул о цене только потому, что некоторые покупатели… — начал было я.

— Мы что, похожи на других покупателей? — перебила меня женщина.

— Нет, разумеется, нет. — Они и впрямь не были похожи на других, и комиссионные в размере четырех тысяч двухсот пятидесяти долларов с каждой секундой представлялись мне все более реальными. — Я сейчас же позвоню мистеру Хёрти.

— Скажите ему, что полковник и миссис Брэдли Пекем интересуются его усадьбой.

Пекемы прибыли в такси, поэтому я повез их в усадьбу Хёрти в своем стареньком двухдверном седане, за который извинился, что, судя по выражению их лиц, было нелишне.

В их собственном лимузине, сообщили они мне по дороге, появился какой-то опасный скрип, поэтому пришлось поручить его заботам местного мастера, который поклялся своей репутацией, что устранит этот скрип.

— Чем вы теперь занимаетесь, полковник? — спросил я, чтобы завязать беседу.

Брови у него поползли вверх

— Чем занимаюсь? Тем, что мне интересно. А в критические времена тем, в чем нуждается моя страна.

— В настоящий момент мой муж наводит порядок в государственной сталелитейной промышленности, — вставила миссис Пекем.

— Там творится что-то подозрительное, — сказал полковник, — но потихоньку разбираемся, разбираемся…

Мистер Хёрти лично вышел встретить гостей, в твидовом костюме, начищенных штиблетах и приподнятом настроении. Его семья пребывала в

Европе. После того как я представил полковника с женой мистеру Хёрти, они больше не обращали на меня никакого внимания. Тем не менее, им нужно было еще хорошенько постараться, чтобы моя гордость, стоившая в данном случае четыре тысячи долларов с хвостиком, почувствовала себя оскорбленной.

Я вел себя смирно, как собака-поводырь или дорожная сумка, слушая лишь, как с легкой непринужденностью обменивались добродушными шутками покупатели и продавец восьмидесятипятитысячной собственности.

Никаких мелочных вопросов о том, во что обходится отопление и содержание дома или налоги и нет ли сырости в подвале. Ничего подобного.

— Я так рада, что здесь есть оранжерея, — сказала миссис Пекем. — Я возлагала на этот дом большие надежды, но в объявлении об оранжерее ничего не было сказано, так что мне оставалось лишь молиться, чтобы она здесь оказалась.

«Никогда не следует недооценивать силу молитвы», — мысленно вставил я.

— Да, хорошо вы все здесь устроили, — сказал полковник. — Лично я больше всего рад тому, что бассейн у вас сделан на совесть, не то что эти лужи в бетонном корыте.

— Есть еще кое-что, что вам будет интересно узнать, — заметил Хёртли: — вода в бассейне не хлорирована. Она обеззараживается ультрафиолетовыми лучами.

— Я очень на это надеялся, — признался полковник.

Хёртли довольно хмыкнул.

— А есть ли у вас лабиринт? — поинтересовалась миссис Пекем.

— Что вы имеете в виду? — не понял Хёртли.

— Лабиринт из декоративного кустарника. Они так живописны.

— Простите, вот этого нет, — ответил Хёрти, дергая себя за ус.

— Неважно, — примирительно сказал полковник. — Мы можем сами его устроить.

— Да, — согласилась его жена. — О, господи, — пробормотала она вдруг, глаза у нее закатились и, схватившись за сердце, она начала сползать на пол.

— Дорогая! — Полковник поймал ее за талию.

— Пожалуйста… — задыхаясь, прошептала она.

— Что-нибудь взбадривающее! — скомандовал полковник. — Бренди! Что угодно!

Нервничая, Хёртли схватил графин и плеснул немного в стакан.

Жена полковника, почти не разжимая губ, с трудом влила в себя глоток, и щеки у нее чуть-чуть порозовели.

— Еще, дорогая? — спросил полковник.

— Капельку, — шепотом ответила она.

Когда стакан опустел, полковник понюхал его.

— О, какой отличный букет! — Он протянул стакан Хёртли, и тот снова наполнил его. — Первоклассный напиток, ей-богу! — произнес полковник, смакуя и вдыхая аромат. — М-м-м. Увы, все меньше остается людей, наделенных терпением, чтобы по-настоящему наслаждаться такими изысками. Большинство просто глотают, глотают, не распробовав, и продолжают свою безумную погоню неизвестно за чем.

— Верно подмечено, — согласился Хёртли.

— Тебе уже лучше, дорогая? — обратился к жене полковник.

— Намного. Ты же знаешь, как это у меня бывает: накатывает — потом проходит.

Полковник снял с полки книгу, посмотрел выходные данные — видимо, чтобы убедиться, что это первое издание, и сказал:

— Ну, мистер Хёртли, думаю, по нашим глазам вы видите, как нам понравилось это место. Кое-что мы бы, конечно, изменили, но в целом…

Хёртли взглянул на меня. Я откашлялся.

— Итак, как вы, должно быть, догадываетесь, есть несколько покупателей, весьма заинтересовавшихся этим поместьем, — солгал я без зазрения совести. — Полагаю, если вам оно действительно нравится, следует как можно скорее оформить сделку.

— Вы же не собираетесь продать его кому попало, правда? — сказал полковник.

— Разумеется, нет! — солгал теперь уже Хёртли, стараясь вернуть себе кураж, немного подувядший во время эпизодов с лабиринтом и бренди.

— Ну, юридическую сторону дела можно будет уладить довольно быстро, когда придет время. Но сначала, с вашего позволения, мы хотели бы почувствовать дух этого места, изжить ощущение новизны.

— Да, конечно, безусловно, — сказал несколько озадаченный Хёртли.

— Ну, тогда, если не возражаете, мы немного погуляем вокруг, как будто это уже наш дом.

— Нет, то есть, да, конечно, гуляйте, пожалуйста.

И Пекемы отправились на прогулку. Я остался нервничать в гостиной, а Хёртли заперся в кабинете. Всю середину дня они ходили по дому,

кормили морковкой лошадей, рыхлили землю у корней растений в оранжерее, нежились на солнце возле бассейна.

Раза два я попытался к ним присоединиться, чтобы показать им то одно, то другое, но они реагировали на меня, как на назойливого дворецкого, и я сдался.

В четыре часа они попросили горничную подать чай, и получили его — с маленькими пирожными. В пять Хёртли вышел из кабинета, обнаружил, что они все еще здесь, умело скрыл свое удивление и сделал всем коктейли.

Полковник сообщил, что всегда требует от *своей* прислуги натирать изнутри бокалы для мартини чесноком, и поинтересовался, есть ли поблизости хорошее поле для игры в поло.

Миссис Пекем затронула тему парковки автомобилей при большом съезде гостей и спросила, нет ли в здешнем воздухе чего-нибудь вредного для масляной живописи.

В семь Хёртли, подавляя зевоту, извинился и, сказав, чтобы Пекемы продолжали чувствовать себя как дома, отправился ужинать. В восемь, помелькав мимо ужинавшего Хёртли по пути туда-сюда, Пекемы объявили, что собираются уезжать, и попросили меня довезти их до лучшего

городского ресторана.

— Как я понимаю, вы заинтересовались? — спросил я по дороге.

— Мы бы хотели кое-что обсудить, — ответил полковник. — Цена, разумеется, не проблема. Мы дадим вам знать.

— Как мне связаться с вами, господин полковник?

— Я здесь на отдыхе и предпочитаю хранить свое местопребывание в тайне, если не возражаете. Я сам вам позвоню.

— Прекрасно.

— Скажите, а чем мистер Хёртли зарабатывает на жизнь? — поинтересовалась миссис Пекем.

— Он крупнейший в этой части штата торговец подержанными автомобилями.

— Ага! — сказал полковник. — Я так и знал! Вокруг поместья витает дух новых денег.

— Означает ли это, что вы передумали? — спросил я.

— Нет, не совсем. Просто нам нужно немного поразмыслить, чтобы понять, что с этим можно сделать — если можно.

— Не могли бы вы сказать мне конкретно, что именно вас не устраивает? — спросил я.

— Если вы сами этого не видите, — ответила

миссис Пекем, — никто вам этого объяснить не сможет.

— О!

— Мы дадим вам знать, — повторил полковник.

Прошло три дня. Как обычно, я звонил Делаханти, и мне звонила миссис Хеллбрюнер, но от полковника Пекема и его супруги не было ни звука.

На четвертый день, когда я уже закрывал офис, позвонил Хёртли.

— Когда, черт побери, эти Пекемы уже дозреют? — воскликнул он.

— Бог его знает, — ответил я. — У меня нет возможности связаться с ними. Он сказал, что позвонит сам.

— Вы можете связаться с ними в любое время дня и ночи!

— Как?

— Просто позвонив мне. Они пасутся здесь последние три дня, «изживают ощущение новизны», видите ли. При этом они чертовски успешно изживают мои запасы спиртного, сигар и продуктов. Мне вычесть стоимость всего этого из ваших комиссионных?

— Если будут комиссионные.

— Вы хотите сказать, что сделка под вопросом? Он расхаживает тут повсюду с таким видом, как будто деньги лежат у него в кармане и он только ждет момента, чтобы мне их отдать.

— Ну, поскольку со мной он говорить не желает, может быть, вы на него надавите? Скажите ему, что я только что сообщил вам, будто некий ушедший на покой пивовар из Толедо предлагает семьдесят пять тысяч. Это должно заставить их действовать.

— Ладно. Только придется подождать, пока они наплаваются в бассейне и явятся пить коктейли.

— Позвоните мне, когда будет ясна их реакция, и я тут же явлюсь с нужными документами.

Он позвонил через десять минут.

— Ну, умник, догадайтесь, что случилось.

— Он клюнул?

— Придется мне нанимать нового агента.

— О?

— Да, именно. Потому что я послушался совета предыдущего, и уже готовенький покупатель с женой удалились, гордо задрав носы.

— Не может быть! Но почему?

— Полковник и миссис Пекем велели вам передать, что их не может заинтересовать нечто, привлекательное для отставного пивовара из

Толедо.

Поместье у него на самом деле было паршивое, поэтому я весело посмеялся и переключил внимание на более существенные дела, такие как дом миссис Хеллбрюннер. Я дал в газете набранное жирным шрифтом объявление, живописующее радости жизни в укрепленном замке.

На следующее утро, подняв голову от письменного стола, я увидел свое объявление, вырезанное из газеты, в длинных, с ухоженными ногтями, пальцах полковника Пекема.

— Это ваше?

— Доброе утро, полковник. Дассэр, так точно.

— Похоже, *это* — то, что нам нужно, *место именно для нас*, — послышался у него из-за спины голос миссис Пекем.

Миновав фальшивый подъемный мост, мы прошли под ржавой опускающейся решеткой и оказались в «месте именно для них».

Миссис Хеллбрюнер с первого взгляда прониклась к Пекемам симпатией. Хотя бы потому, что они были первыми — готов поклясться — за много поколений людьми, которых это место восхитило. Более того, они всячески дали понять, что готовы купить его.

— На его восстановление потребовалось бы

около полумиллиона, — сказала миссис Хеллбрюннер.

— Да, — восхищенно произнес полковник, — теперь таких домов уже не строят.

— Ох! — задыхаясь, воскликнула миссис Пекем, и полковник поймал ее, падающую, у самого пола.

— Быстро! Бренди! Или хоть что-нибудь! — закричал полковник Пекем.

Когда я вез чету Пекемов обратно в центр города, они пребывали в чудесном настроении.

— Почему, черт возьми, вы не показали нам это место первым? — спросил полковник.

— Оно появилось на рынке только вчера, — соврал я, — и при той цене, какую за него просят, думаю, долго на нем не задержится.

Полковник сжал руку жены.

— Я тоже так думаю, дорогая, а ты?

Миссис Хеллбрюнер по-прежнему звонила мне каждый день, но теперь тон у нее был бодрый и довольный. Она докладывала, что Пекемы приезжают каждый день вскоре после полудня и что, судя по всему, с каждым визитом дом нравится им все больше.

— Я отношусь к ним совсем по-родственному,

— сказала она с хитрецой.

— Отлично. Это то, что нужно.

— Я даже купила для него сигары.

— Продолжайте в том же духе. Это расходы, исключаемые из суммы, облагаемой налогом.

Четыре дня спустя она позвонила мне снова и сообщила, что Пекемы придут к ней на ужин.

— Почему бы вам, якобы случайно, не заглянуть тоже чуть позднее и, якобы случайно, не иметь при себе нужные документы?

— Они упоминали какие-нибудь цифры?

— Только мимоходом: удивительно, мол, что все это можно приобрести за сто тысяч.

Тем вечером после ужина я вошел в музыкальный салон миссис Хеллбрюннер и, поставив на пол портфель, сказал:

— Добрый вечер.

Сидя на банкетке для пианино, полковник взбалтывал лед у себя в стакане.

— Как *ваши дела*, миссис Хеллбрюннер? — поинтересовался я, хотя одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что дела — хуже некуда.

— Прекрасно, — ответила она осипшим голосом. — Полковник только что рассказывал интересные вещи. Государственный департамент

посылает его в Бангкок распутывать какие-то там дела.

Полковник грустно пожал плечами.

— Еще раз послужить родине, на сей раз в гражданском статусе, — пояснил он.

— Мы отбываем завтра, — сказала миссис Пекем, — нужно еще закрыть наш дом в Филадельфии…

— И закончить со сталелитейной промышленностью, — добавил полковник.

— А потом они улетают в Бангкок, — дрожащим голосом закончила миссис Хеллбрюнер.

— Дело мужчин — работать, дело женщин — плакать, — изрекла миссис Пекем.

— Ага, — подтвердил я.

На следующий день телефон уже трезвонил, когда я еще только открывал офис.

Это была миссис Хеллбрюннер. Она визжала. От родственной расположенности к Пекемам не осталось и следа.

— Я *не верю*, что он едет в Бангкок, — бушевала она. — Все дело в цене. Он слишком благовоспитан, чтобы торговаться.

— А вы возьмете меньше?

До того момента она решительно настаивала на сумме сто тысяч.

— Меньше? — В ее голосе послышалась мольба. — Господи! Да я и пятьдесят возьму, чтобы избавиться от этого чудовища! — Она помолчала. — Сорок. Тридцать. Только продайте его!

Я отправил телеграмму полковнику, адресовав ее в Филадельфию, в Управление сталелитейной промышленности.

Ответа не последовало. Тогда я решил позвонить.

— Управление национальной сталелитейной промышленности, — ответил женский голос.

— Полковника Пекема, пожалуйста.

— Кого?

— Пекема. Полковника Бредли Пекема. Который работает у вас.

— У нас есть один Пекем, Би Си, в чертежном отделе.

— А он входит в руководящий состав?

— Не знаю, сэр. Спросите у него сами.

В трубке послышался щелчок — она перевела мой звонок на чертежный отдел.

— Чертежный отдел, — ответил другой женский голос.

— Этот джентльмен хочет поговорить с мистером Пекемом, — объяснила первая операторша, вклинившись в разговор.

— С *полковником* Пекемом, — уточнил я.

— Мистер Мелроуз, — крикнула вторая женщина, — Пекем уже вернулся?

— Пекем! — рявкнул мистер Мелроуз. — Шевели задницей! К телефону!

На фоне общего гула я расслышал, как кто-то спросил:

— Хорошо провел время?

— Так себе, — издали ответил смутно знакомый голос. — Думаю, в следующий раз попробуем съездить в Ньюпорт. Из окна автобуса он выглядит неплохо.

— Черт, как тебе удается на свою зарплату отдыхать в таких фешенебельных местах?

— Уметь надо. — Потом голос стал громким и страшно знакомым. — Пекем у телефона. Чертежный отдел.

Я опустил трубку на рычаг и ощутил жуткую усталость, осознав, что с конца войны не был в отпуске. Мне необходимо было на время уехать от всего этого, чтобы не сойти с ума. Но Делаханти еще не расплатился, поэтому у меня не было ни гроша.

А потом я вспомнил, что говорил полковник Бредли Пекем насчет Ньюпорта. Там продается множество симпатичных домов, прекрасно обо-

рудованных, меблированных, набитых всякими запасами, с видом на море.

Вот этот, например: усадьба Ван Твила. В ней есть почти все: частный пляж *и* плавательный бассейн, поле для игры в поло, два травяных теннисных корта, гольфное поле на девять лунок, конюшни, выгон, французский шеф-повар, минимум три исключительно привлекательные горничные-ирландки, англичанин-дворецкий, подвал, набитый марочными винами…

И лабиринт, кстати, тоже есть, и вещь это небесполезная. Я каждый день брожу по нему. Потом приходит агент по недвижимости и в поисках меня теряется в нем как раз тогда, когда я нахожу выход. Поверьте, эта недвижимость стоит каждого цента из запрашиваемой за нее цены. Я не собираюсь торговаться ни минуты. Когда придет время, я либо куплю дом, либо уеду.

Но мне нужно немного пожить в нем — изжить ощущение новизны, — прежде чем я сообщу агенту о своем решении. А пока я прекрасно провожу время. Вот бы вам тоже сюда.

Упаковка

© Перевод. И. Доронина, 2020

— Ну, Мод, каково? — сказал Эрл Фентон.

Он снял с плеча свою стереоскопическую камеру, сбросил пальто и положил то и другое на телерадиопроигрыватель.

— Мы совершаем полное кругосветное путешествие, возвращаемся, и уже через две минуты после того как входим в свой новый дом, раздается телефонный звонок. Вот это цивилизация.

— Это вас, мистер Фентон, — доложила горничная.

— Эрл Фентон слушает... Кто?.. Вы уверены, что вам нужен именно я? Есть еще *Брад* Фентон с бульвара Сан-Бонито... Да, правильно, учился. Выпуск тысяча девятьсот десятого года... Постойте! Не может быть! Конечно, помню. Слушай, Чарли, к черту отель, ты — мой гость... Есть ли у нас комната? — Эрл прикрыл трубку ладонью и подмигнул жене: — Он хочет знать, есть ли у нас свободная комната! — Потом снова заговорил в трубку: — Послушай, Чарли, у нас есть комнаты, в которые я еще даже не заглядывал. Кроме

шуток. Мы только что въехали — пяти минут не прошло… Нет-нет, все уже обустроено. Декоратор еще несколько недель назад меблировал дом наилучшим образом, прислуга работает как часы, так что все готово. Хватай такси, слышишь?.. Нет, завод я продал в прошлом году. Дети выросли и живут отдельно — Эрл-младший врач, у него большой дом в Санта-Монике, Тед только что сдал экзамены на право заниматься адвокатской практикой и работает у своего дяди Джорджа… Да, а мы с Мод решили отойти от дел и пожить на заслуженном… Черт, да что мы по телефону-то разговариваем? Сейчас же приезжай сюда. У нас есть о чем поболтать!

Эрл повесил трубку и цокнул языком.

Мод в коридоре изучала панель управления электроприборами и механизмами.

— Не понимаю, какая из этих штуковин включает кондиционер, какая открывает гаражные ворота, какая окна…

— Позовем Лу Конверса, и он нам покажет, как все это работает, — сказал Эрл. Конверс был подрядчиком, который устанавливал всю эту замысловатую многоуровневую «технику для жизни», пока они путешествовали за границей.

Выражение лица у Эрла стало задумчивым, он

подошел к венецианскому окну и стал смотреть на залитую калифорнийским солнцем вымощенную камнем террасу с оборудованным на ней грилем, на разводные ворота, ведущие на посыпанную щебнем подъездную аллею, на гараж с ласточкиным гнездом под крышей, флюгером наверху и двумя «кадиллаками» внутри.

— Черт возьми, Мод, я только что говорил с призраком, — произнес он.

— А? — откликнулась Мод. — Ага! Смотри: вот так открывается венецианское окно и опускается оконная сетка. С призраком? И кто же он?

— Фримен, Чарли Фримен. Человек из прошлого, Мод. Я сначала даже не поверил. Мы с ним состояли в одном студенческом братстве, и он был едва ли не самой важной фигурой во всем выпуске тысяча девятьсот десятого года. Спортивная звезда, редактор студенческой газеты, президент братства «Фи-Бета-Каппа».

— Бог ты мой! И он осчастливит своим визитом таких бедных маленьких людей, как мы?

Перед глазами у Эрла встала неприятная картина, которая много лет хранилась где-то на задворках памяти: Чарли Фримен, с изысканными манерами, одетый со вкусом, сидит за столом, а Эрл, в официантской куртке, ставит перед

ним тарелку. То, что Эрл радостно пригласил Чарли погостить, вышло у него автоматически — рефлекс человека, несмотря на весь свой жизненный успех оставшегося простым, дружелюбным рубахой-парнем, чем и гордился. Но теперь, когда он вспомнил их отношения в колледже, от перспективы приезда Чарли ему стало не по себе.

— Он был парнем из богатой семьи, — сказал Эрл. — Одним из тех, — в его голосе послышалась горечь, — у кого было все. Понимаешь?

— Ну, милый, ты ведь тоже не за дверью стоял, когда они напивались до поросячьего визга, — напомнила Мод.

— Это да… Но когда доходило до денег, моим уделом были официантская куртка и швабра.

Она посмотрела на него сочувственно, и это подвигло его до конца излить душу.

— Знаешь, Мод, для человека не проходит бесследно то, что он вынужден прислуживать своим сверстникам-приятелям, прибирать за ними, видеть, как они, шикарно одетые, с полными карманами денег, отправляются летом на какой-нибудь курорт, в то время как он должен работать, чтобы оплатить следующий год обучения. — Эрл сам удивился тому, насколько

разволновали его эти воспоминания. — А они смотрят на тебя сверху вниз, словно с людьми, которым не поднесли богатство на серебряном блюде, что-то не так.

— Слушай, меня это просто бесит! — воскликнула Мод, возмущенно расправив плечи, словно хотела защитить Эрла от тех, кто унижал его в колледже. — Если этот великий Чарли Фримен так гнобил тебя в былые времена, зачем нам теперь принимать его у себя дома?

— Да черт с ним! Нужно простить и забыть, — хмуро отмахнулся Эрл. — Меня это больше не колышет. Похоже, ему хотелось встретиться, и я постарался вести себя так, как подобает доброму старому приятелю, несмотря ни на что.

— А чем занимается теперь высокородный и могущественный Фримен?

— Не знаю. Наверное, чем-нибудь важным. Он поступил на медицинский факультет, а я вернулся сюда, и мы как-то потеряли друг друга. — В порядке эксперимента Эрл нажал кнопку на стене. Из полуподвала послышалось приглушенное завывание и щелчки, это техника взяла на себя контроль за температурой, влажностью и чистотой окружавшей его атмосферы. — Но не думаю, что у Чарли есть что-нибудь лучше этого.

— А что конкретно плохого он тебе делал? — настаивала все еще возмущенная Мод.

Эрл отмахнулся. Никаких особых происшествий, о которых можно было рассказать Мод, не было. Такие люди, как Чарли Фримен, демонстративно не делали и не говорили ничего, что могло унизить Эрла, когда он обслуживал их в столовой. И тем не менее, Эрл не сомневался, что они смотрели на него свысока, и мог поспорить, что, когда он не слышал, они говорили о нем и…

Эрл тряхнул головой, отгоняя мрачное настроение, и улыбнулся.

— Ну, мамочка, как насчет того, чтобы пропустить по рюмочке, а потом совершить экскурсию по дому? Если мне предстоит показывать его Чарли, лучше заранее узнать, как работают эти штучки-дрючки, а то он подумает, что старина Эрл в таком антураже чувствует себя не хозяином, а отставным швейцаром или официантом. Господи, опять телефон звонит! Вот они, плоды цивилизации.

— Мистер Фентон, это мистер Конверс, — доложила горничная.

— Привет, Лу, старый конокрад. А мы как раз осваиваем твое рукоделие. Нам с Мод впору снова поступать в колледж и изучать электро-

техническое дело, ха-ха… Что? Кто?.. Шутишь! Они действительно хотят?.. Ну, этого, вероятно, следовало ожидать. Ладно, раз уж они так горят желанием, пусть приезжают. Мы с Мод объехали весь мир, и спустя две минуты по возвращении чувствуем себя как на Центральном вокзале.

Повесив трубку, Эрл почесал затылок с наигранным удивлением и усталостью. На самом деле ему была приятна вся эта телефонная суета, доказывавшая, что его жизнь — хоть позади и владение заводом, и дети, которых они вырастили и поставили на ноги, и кругосветное путешествие, — только начинается.

— Что теперь? — поинтересовалась Мод.

— А, это Конверс, говорит, что какой-то дурацкий журнал типа «все для дома» хочет сделать материал о нашем доме и сегодня пришлет съемочную группу.

— Как интересно!

— Да, наверное… Не знаю. Мне не хочется изображать на этих снимках набитое чучело. — Чтобы показать, насколько это для него неважно, он сменил тему: — Конечно, учитывая, сколько мы ей заплатили, иного и ожидать не следовало, но надо признать, что эта декораторша действительно все продумала. — Он открыл стенной шкаф

рядом с дверью на террасу и извлек из него фартук, поварской колпак и асбестовые перчатки.
— Ей-богу, Мод, выглядит шикарно. Глянь, что написано на фартуке.

— Очень мило, — сказала Мод и вслух прочла изречение, запечатленное на фартуке: «Не стреляйте в повара, он готовит как умеет». Ты — просто вылитый Оскар из «Уолдорфа»[31], Эрл. А теперь давай посмотрим на тебя в колпаке.

Эрл застенчиво улыбнулся и стал напяливать колпак.

— Вообще-то я точно не знаю, как все это надо носить. Чувствую себя марсианином.

— Для меня ты всегда выглядишь чудесно, и я не променяла бы тебя на сотню напыщенных Чарли Фрименов.

Рука в руке, они направились к грилю на террасе, каменному сооружению, которое издали можно было принять за небольшое почтовое отделение. Они поцеловались, как недавно целовались перед Великими пирамидами, Колизеем и Тадж-Махалом.

— Знаешь, Мод, — сказал Эрл, волнуясь так,

---

[31] Примечания: 31

Имеется в виду Оскар Чики, метрдотель нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория», выпустивший поваренную книгу и объявивший себя автором рецепта знаменитого уолдорфского салата.

что казалось: грудь его вот-вот разорвется, — когда-то я мечтал, чтобы мой старик был богат, чтобы такой дом, как этот, появился у нас сразу — бамс! — в ту минуту, как я закончу колледж и мы с тобой поженимся. Но тогда мы не смогли бы пережить нынешний момент, когда, оглядываясь назад, знаем, что благодаря Господу сами прошли каждый дюйм этого пути. Мы понимаем маленького человека, Мод, потому что сами когда-то были маленькими людьми. Ей-богу, никому из тех, кто родился с серебряной ложкой во рту, ни за какие деньги не дано это познать. Многие из наших спутников по круизу не желали смотреть на чудовищную нищету, царящую в Азии, чтобы не будоражить свою совесть. Но у нас с тобой, учитывая пройденный нами тяжкий путь, совесть, думаю, чиста, и мы могли смотреть на тамошних нищих и в некотором роде понимать их.

— Угу, — согласилась Мод.

Эрл пошевелил пальцами в толстых перчатках.

— И сегодня вечером я собираюсь приготовить для нас с тобой и Чарли стейки из филейной части толщиной с манхэттенский телефонный справочник, и, думаю, имею право сказать, что мы заслужили каждую унцию этого мяса.

— Мы еще даже вещи не разобрали.

— Ну и что? Я не чувствую усталости. У меня впереди еще куча дел, и чем скорее я за них примусь, тем больше успею сделать.

Эрл и Мод — Эрл все еще в поварском наряде — находились в гостиной, когда горничная проводила туда Чарли Фримена.

— Разрази меня гром, — воскликнул Эрл, — если это не Чарли!

Чарли был все еще строен и имел статную осанку; если годы и коснулись его, то разве что проседью в густых волосах. И хоть на умном лице обозначились морщины, выражение его было по-прежнему уверенным и, как показалось Эрлу, немного насмешливым. В облике Чарли осталось так много от студенческих времен, что память об их тогдашних отношениях, дремавшая сорок лет, снова всколыхнулась в душе Эрла. Помимо собственной воли он почувствовал себя отвратительно подобострастным, неотесанным и подавленным. И единственной защитной реакцией, как в былые времена, были тщательно скрываемое озлобление и обещание, даваемое самому себе, что скоро настанет день, когда все решительно изменится.

— Давненько не виделись, Эрл, да? — сказал

Чарли своим по-прежнему глубоким и сильным голосом. — Отлично выглядишь.

— Много воды утекло за сорок лет, — ответил Эрл, нервно водя пальцем по дорогой обивке дивана. Потом, спохватившись, вспомнил о Мод, которая стояла у него за спиной, напрягшись и поджав губы. — Ой, прости, Чарли, это моя жена Мод.

— Долго же мне пришлось ждать этого удовольствия, — сказал Чарли. — Мне кажется, что я давно знаком с вами, Эрл так много рассказывал о вас тогда, в колледже.

— Здравствуйте, как поживаете? — приветствовала его Мод.

— Гораздо лучше, чем имел основания ожидать полгода назад, — ответил Чарли. — Какой красивый дом! — Он положил руку на консоль телерадиопроигрывателя. — Черт, а это что за штуковина?

— Это? — повторил Эрл. — ТэВэ. А на что еще это похоже?

— ТэВэ? — нахмурился Чарли. — А! Это от слова телевидение, да?

— Ты что, шутишь, Чарли?

— Ничуть. На свете более полутора миллиардов бедолаг, которые никогда ничего подобного не

видели, и я один из них. К стеклянной части не опасно прикасаться?

— К экрану? — неловко рассмеялся Эрл. — Нет, черт возьми, давай.

— У мистера Фримена дома экран наверняка в пять раз больше этого, — с холодной улыбкой заметила Мод. — Видимо, он насмехается над нами, не считая телевизор с таким маленьким экраном вообще телевизором.

— Ну, Чарли, — произнес Эрл, прерывая тишину, воцарившуюся после замечания Мод, — так чему мы обязаны честью твоего визита?

— Воспоминаниям о старых временах, — ответил Чарли. — Я случайно оказался в городе и вспом…

Чарли не успел закончить фразу, так как в гостиную вошла компания, состоявшая из Лу Конверса, фотографа журнала «Красивый дом», и хорошенькой молодой журналистки.

Фотограф, представившийся коротко — Слоткин, — тут же взял руководство на себя и на протяжении всего своего пребывания в доме пресекал любые разговоры и действия, не относящиеся к съемке.

— Ну и хитрый-умный у ваз упаков, — сказал он.

— Что? — в недоумении переспросил Эрл.

— *Упаковка*, — пояснила журналистка. — Видите ли, сюжет нашего материала будет состоять в том, что вы возвращаетесь из кругосветного путешествия, и дом ждет вас в полной «упаковке» — то есть в нем есть все, что может понадобиться человеку для полноценной жизни.

— А-а-а!

— Абсолютно верно, — сказал Лу Конверс, — в доме есть все, вплоть до забитого под завязку винного погреба и кладовки, полной деликатесов. Машины новейших марок. Всё — новейших марок, за исключением вин.

— Ага! Они — побеждайт конкуртс, — догадался Слоткин.

— Он продал завод и ушел на покой, — объяснил Конверс.

— Мы с Мод решили, что можем теперь себя побаловать, — сказал Эрл. — Многие годы мы ограничивали себя во всем, вкладывая деньги в бизнес и все такое, поэтому, когда дети встали на ноги и подоспело предложение выгодно продать завод, мы подумали: почему бы не позволить себе небольшое безумство? Так и сделали: взяли и заказали все, о чем когда-либо мечтали.

Эрл бросил мимолетный взгляд на Чарли Фри-

мена, который стоял в стороне, на его лице играла едва заметная улыбка, свидетельствовавшая о том, что он забавляется происходящим.

— Мы с Мод начинали с маленькой двухкомнатной квартирки в районе доков. Отметьте это в своем репортаже.

— Но мы любили друг друга, — вставила Мод.

— Да, — подхватил Эрл, — и мне не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, будто я очередное напыщенное ничтожество, родившееся с мешком денег и кичащееся этим. Нет, господа! Это — окончание долгого и трудного пути. Так и запишите. Вот Чарли помнит меня по старым временам, когда я вынужден был вкалывать, чтобы заработать на учебу.

— Суровые были деньки для Эрла, — подтвердил Чарли.

Став центром внимания, Эрл почувствовал, как уверенность возвращается к нему, и появление Чарли в его жизни именно в этот момент представилось ему щедрым подарком судьбы, прекрасной возможностью свести счеты и избавиться от старых обид раз и навсегда.

— Отнюдь не работа делала их суровыми, — язвительно выпалил он.

Чарли удивила его неожиданная горячность.

— Тебе виднее, — сказал он. — Наверное, работа не была такой уж тяжелой. Столько времени прошло, я мог и запамятовать.

— Я имею в виду, что тяжелей всего было видеть, как на тебя смотрят сверху вниз только потому, что ты не родился с серебряной ложкой во рту, — сказал Эрл.

— Эрл! — воскликнул Чарли, не веря своим ушам. — Болванов в нашем братстве, конечно, хватало, но ни один из них никогда не смотрел на тебя сверху вниз…

— Приготовицца снимацца, — сказал Слоткин. — Начинам з грилл: хлеп, салад и большой кровави кус мясо.

Горничная принесла из холодильника пятифунтовый оковалок говядины, и Эрл занес его над решеткой гриля.

— Поторопитесь, — сказал он с улыбкой, — я не могу целый день держать корову на вытянутых руках.

За улыбкой, однако, скрывалась обида на Чарли, так небрежно отмахнувшегося от его юношеских горестей.

— Держац! — скомандовал Слоткин. Сработала вспышка. — Корошо!

Вся компания перешла внутрь дома, где Эрл и

Мод позировали едва ли не в каждой комнате, поливали какое-то растение в оранжерее, читали книжные новинки у камина в гостиной, открывали окна нажатием кнопок, разговаривали с горничной у пульта управления прачечной, обсуждали меню, выпивали, сидя за барной стойкой в танцевальном зале, распиливали доску в мастерской и смахивали пыль с Эрловой коллекции оружия в его кабинете.

И всегда где-то на заднем плане фигурировал Чарли Фримен, ничего не пропускавший и явно потешавшийся над тем, как Мод и Эрл демонстрировали свою упакованную благополучную жизнь. Под взглядом Чарли Эрл все больше нервничал, ему становилось неловко за всю эту демонстрацию, а Слоткин бранил его за фальшивую улыбку.

— Ей-богу, Мод, — сказал Эрл, утирая пот в хозяйской спальне, — если мне когда-нибудь придется снова начать работать — не дай бог, стучу по дереву, — я смогу наняться на телевидение в качестве актера-трансформатора. Хоть бы это уже был последний кадр. Чувствую себя как какой-то паршивый манекенщик.

Однако это чувство не помешало ему еще раз переодеться по команде Слоткина, на сей раз в

смокинг. Слоткину требовалась картинка ужина при свечах. Шторы следовало задернуть — с помощью электрического привода, разумеется, — чтобы скрыть дневной пейзаж за окном.

— Ну, полагаю, Чарли вдоволь насладился зрелищем, — сказал Эрл, пристегивая воротник и морщась, так как пуговица не хотела влезать в петлю. — Надеюсь, оно его впечатлило, черт возьми. — Его голосу недоставало убежденности, и он с надеждой обернулся к Мод за подтверждением.

Она сидела за туалетным столиком, с безжалостным видом изучая свое отражение в зеркале и примеряя разные драгоценности.

— М-м-м? — промычала она.

— Я говорю: надеюсь, все это произвело впечатление на Чарли.

— *На него?* — безразлично переспросила она. — На мой взгляд, он *слишком* невозмутим. После того ка́к он третировал тебя, заявиться к нам и демонстрировать светские манеры, улыбаться…

— Да, — вздохнул Эрл. — Черт возьми, в его присутствии я бывало чувствовал себя дешевкой, и сейчас чувствую, когда он смотрит на нас так, словно мы выставляем себя напоказ вместо того, чтобы просто помочь журналистам делать свое дело. А ты слышала, что он ответил, когда я прямо

заявил, что́ мне не нравилось в колледже?

— Он вел себя так, словно ты все это придумал, как будто это плод твоего воображения. Да, он, конечно, ловкач, но я не позволю ему разозлить меня, — сказала Мод. — Нынешний день начался как самый счастливый в нашей жизни, таким он и останется. А знаешь что еще?

— Что? — Поддержанный Мод, Эрл почувствовал, как крепнет его моральный дух. Сам он не был так уж уверен, что Чарли в глубине души куражится над ними, а вот Мод была, и это ее бесило.

Понизив голос до шепота, она сказала:

— При всем его чувстве превосходства, при всех шуточках насчет нашего телевизора и тому подобном, мне кажется, что великий Чарли Фримен на мели. Ты видел его костюм — вблизи?

— Слоткин так подгонял все время, что у меня не было времени рассмотреть.

— Зато я рассмотрела, Эрл, будь уверен. Костюм поношенный, лоснится, а обшлага!.. Ты бы видел! Я бы со стыда умерла, если бы ты ходил в таком костюме.

Эрл насторожился. Он так сосредоточился на своих обидах, что ему и в голову не пришло: ведь состояние Чарли могло и поубавиться со студен-

ческих лет.

— Может, это его любимый костюм, с которым он никак не хочет расстаться? — вымолвил он наконец. — У богачей бывают причуды такого рода.

— Ага! И еще любимая старая рубашка и пара любимых старых туфель.

— Поверить не могу, — пробормотал Эрл.

Отдернув занавеску, он посмотрел на чудесную террасу с грилем, возле которого Чарли Фримен непринужденно болтал с Конверсом, Слоткином и журналисткой. Манжеты на брюках Чарли, как с удивлением увидел Эрл, действительно были обтрепанными, а каблуки туфель стоптанными. Эрл нажал на кнопку, окно спальни плавно заскользило и открылось.

— Приятный городок, — говорил Чарли. — Я мог бы поселиться здесь, как и в любом другом месте, поскольку у меня нет особых причин жить в какой-то определенной части страны.

— Оччень дорого! — вставил Слоткин.

— Да, — согласился Чарли, — возможно, было бы благоразумней переехать куда-нибудь в глубинку, где моих денег хватило бы на дольше. Черт, невероятно, как дорого все стоит в наше время!

Мод положила руку мужу на плечо.

— Что-то сомнительно все это, — прошептала она. — Ты слыхом не слыхивал о нем сорок лет, и вдруг он объявляется, явно обедневший, только для того, чтобы нанести нам теплый дружеский визит. А что дальше?

— Он сказал, что просто хотел повидаться, в память о прошлом.

Мод фыркнула.

— И ты ему веришь?

Обеденный стол выглядел как открытый ларец с драгоценностями; всполохи свечей играли на тысячах идеальных поверхностей — на столовом серебре, фарфоре, гранях хрусталя, на рубинах Мод и в исполненных гордости глазах Мод и Эрла. Горничная поставила перед каждым дымящуюся тарелку с супом, приготовленным специально для фотосессии.

— Превосхотно! — сказал Слоткин. — А теперь — говорить!

— О чем? — спросил Эрл.

— О чем угодно, — ответила журналистка. — Просто чтобы картинка не получилась постановочной. Поговорите о вашем путешествии. Какова сейчас ситуация в Азии?

На эту тему Эрл не был склонен болтать легко-

мысленно.

— Вы были в Азии? — спросил Чарли.

Эрл улыбнулся.

— Индия, Бирма, Филиппины, Япония. В общей сложности мы с Мод потратили два месяца на наблюдения за тамошней ситуацией.

— Мы с Эрлом совершили все местные экскурсии, какие там предлагались, — подхватила Мод. — Ему было просто необходимо увидеть собственными глазами, что там происходит.

— Беда Государственного департамента в том, что они живут в башне из слоновой кости, — заметил Эрл.

За бликами объектива и вспышками магния Эрл видел глаза Чарли Фримена. В колледже обсуждение международных проблем со знанием дела было коньком Чарли, Эрл же мог только слушать, кивать и удивляться.

— Да, сэр, — сказал Эрл в заключение, — всем участникам круиза ситуация представлялась почти безнадежной — кроме нас с Мод, и нам потребовалось время, чтобы понять, почему так. Мы осознали, что мы с ней — едва ли не единственные среди них, кто самостоятельно пробил себе дорогу в жизни, кто понимает: с какой бы низкой точки ты ни стартовал, ты можешь пробиться

на самый верх, если тебе достанет смелости и решимости. — Он сделал паузу. — В азиатской ситуации нет ничего, что нельзя было бы исправить, имея определенную смелость, здравый смысл и умение делать дело.

— Рад слышать, что все так просто, — сказал Чарли. — Я боялся, что там все гораздо сложнее.

Эрл, не без оснований считавший себя человеком, с которым очень легко поладить, оказался в непривычном положении: он страшно обозлился на другого человека. Чарли Фримен, который явно потерпел неудачу, в то время как Эрл высоко вознесся в этом мире, открыто умалял одно из достижений Эрла, коим тот очень гордился, — его знание Азии.

— Чарли, я видел это сам! — воскликнул Эрл. — Я рассуждаю не как очередной тупой кабинетный стратег, который никогда не выезжал за пределы своего города!

Слоткин полыхнул вспышкой.

— Еще раз! — потребовал он.

— Конечно, нет, Эрл, — ответил Чарли. — Это было невежливо с моей стороны. То, что ты сказал, в некотором роде очень верно, но чересчур упрощенно. Такой ход мыслей, возведенный в абсолют, весьма опасен. Мне не следовало тебя

перебивать. Просто это предмет, который меня очень интересует.

Эрл почувствовал, как кровь прилила у него к лицу: якобы извиняясь, Чарли утвердил себя бóльшим авторитетом по Азии, чем Эрл.

— Может быть, и я имею право на собственное мнение в этом вопросе, Чарли? Я только что оттуда, я тесно общался там с людьми, понял, как они мыслят, и многое другое.

— Видели бы вы, как он отчитывал китайских коридорных в Маниле! — вклинилась Мод, вызывающе глядя на Чарли.

— Ну, а теперь, — сказала журналистка, сверяясь со своим сценарием, — последнее, что мы хотим снять: вы вдвоем входите в дом с чемоданами и останавливаетесь в изумлении — ну, как будто вы только что приехали.

У себя в спальне Эрл и Мод снова, в который раз, послушно переоделись — в ту одежду, в которой приехали. Эрл изучал свое лицо в зеркале, примеряя выражение приятного удивления и стараясь не позволить Чарли Фримену испортить ему этот важнейший в жизни день.

— Он останется на ужин и будет ночевать? — спросила Мод.

— Да, черт возьми. Разговаривая с ним по

телефону, я старался быть гостеприимным приятелем, а он, не думая ни секунды, согласился, когда я предложил ему остановиться здесь, а не в отеле. Теперь осталось только локти кусать.

— Господи! А если он проторчит здесь целую неделю?

— Кто знает? Слоткин не дал мне возможности хоть о чем-нибудь расспросить Чарли.

Мод сдержанно кивнула.

— Эрл, что все это означает?

— Что — все?

— Я хочу сказать, пытался ли ты свести все воедино: старая одежда, его бледность и эта оговорка, что теперь дела у него лучше, чем он мог надеяться полгода назад, книги, телевизор?.. Ты слышал, как он спрашивал Конверса о книгах?

— Да, это меня тоже удивило, потому что Чарли всегда был заядлым книгочеем.

— Здесь все бестселлеры, а он ни об одном даже не слышал! И насчет телевизора он вовсе не шутил. Он на какое-то время просто выпадал из жизни, это точно.

— Может, болел? — предположил Эрл.

— Или сидел в тюрьме, — прошептала Мод.

— Господь с тобой! Ты же не думаешь…

— «Подгнило что-то в датском королевстве»

— вот что я думаю, — сказала Мод. — И я не хочу, чтобы он дальше тут ошивался. Неужели нельзя ничего придумать? Я все пытаюсь понять, что ему здесь нужно. И единственное разумное объяснение, которое приходит в голову: он явился, чтобы хитростью выманить у тебя все деньги, тем или иным способом.

— Ну ладно, ладно. — Эрл жестом показал, чтобы она говорила потише. — Давай вести себя как можно дружелюбней и постараемся выдворить его деликатно.

— Но как?

Подумав, они разработали план, который сочли достаточно деликатным: как покончить с пребыванием Чарли еще до ужина.

— Ну, фсе… фсе, кватит, — сказал фотограф и дружески подмигнул Эрлу и Мод, словно впервые сейчас заметил, что они — живые люди. — Збасибо. Кароший упаковк ви жить. — Он сделал последний снимок, собрал свое оборудование, поклонился и вышел вместе с Лу Конверсом и журналисткой.

Оттягивая момент, когда придется остаться наедине с Чарли, Эрл присоединился к горничной и Мод в поисках магниевых ламп, которые Слоткин разбросал повсюду. Когда последняя из них была

найдена, Эрл смешал два мартини и устроился на кушетке лицом к Чарли, сидевшему на такой же кушетке напротив.

— Ну, Чарли, вот мы и одни.

— Вижу, Эрл, ты тоже прошел большой путь, не так ли? — сказал Чарли, поднимая руки ладонями вверх, чтобы выразить свое восхищение домом-мечтой. — У тебя много научной фантастики на полках. Но *настоящая* научная фантастика — твой дом.

— Ну да, — сказал Эрл.

Эта лесть — начало, подступ к чему-то, вероятно, ловушка, подумал Эрл. Он был решительно настроен не поддаваться на куртуазные манеры Чарли.

— Но это почти в порядке вещей для Америки — для человека, который не боится тяжелого труда, — заметил он.

— В порядке вещей — вот это?!

Эрл пристально посмотрел на гостя, пытаясь понять, не насмехается ли над ним Чарли снова.

— Если тебе показалось, что я немного расхвастался перед этими людьми из дурацкого журнала, — сказал он, — то, думаю, у меня есть кое-какие основания для гордости. Этот дом — гораздо больше, чем просто дом. Это — история

моей жизни, Чарли, что-то вроде моей персональной пирамиды.

Чарли поднял стакан и провозгласил тост:

— Так пусть же он простоит столько же, сколько Великие египетские пирамиды Гизы!

— Спасибо, — сказал Эрл и решил: теперь пора заставить Чарли защищаться. — Ты ведь врач, Чарли? — спросил он.

— Да. Получил степень в тысяча девятьсот шестнадцатом.

— Угу. И где ты практикуешь?

— Староват я для того, чтобы снова начинать практиковать. За последние годы медицина в этой стране так далеко шагнула вперед, боюсь, я подотстал.

— Понимаю. — Эрл мысленно перебрал причины, которые могут привести врача в столкновение с законом, и небрежно поинтересовался: — А что это тебе вдруг пришло в голову навестить меня?

— Мой корабль пришвартовался здесь, и я вспомнил, что это твой родной город, — ответил Чарли. — Семьи у меня не осталось, и, пытаясь начать здешнюю жизнь заново, я подумал, не навестить ли мне старых друзей студенческих лет. А раз корабль зашел именно сюда, ты ока-

зался первым.

Значит, сейчас он начнет рассказывать сказку о том, что его долго не было в стране, подумал Эрл. Еще один подвох.

— Я лично не поддерживаю связей со студенческой компанией, — сказал он и, не удержавшись от подковырки, добавил: — Кучка снобов, я был рад расстаться с ними и забыть о них навсегда.

— Да поможет им Бог, если они не переросли свои смехотворные социальные убеждения студенческих лет, — сказал Чарли.

Эрл был ошеломлен горечью, с какой Чарли это произнес, и, не понимая причины, поспешил сменить тему.

— Значит, ты долго жил за границей? А где именно?

Крик Мод из столовой, согласно плану, прервал их беседу:

— Эрл! Случилась ужасная неприятность!

— Что такое? — Эрл изобразил недоумение.

— Анджела, — сказала Мод, появляясь в дверях и, повернувшись к Чарли, пояснила: — это моя сестра. Эрл, только что позвонила Анджела, сказала, что они с Артуром и детьми приезжают сегодня перед ужином, и спросила, не можем ли мы принять их на ночь.

— Господи! — воскликнул Эрл. — Как же мы сможем это сделать? Их же пятеро, а у нас всего две гостевые комнаты, и у нас уже гостит Чарли…

— Нет-нет, — перебил его Чарли. — Скажите им, чтобы приезжали. Я так или иначе собирался ночевать в отеле, к тому же у меня есть еще кое-какие дела, так что я все равно не смог бы у вас остаться.

— Ну, раз так, ладно, — согласился Эрл.

— Конечно, если нужно идти… Нужно — значит, нужно, — подхватила Мод.

— Да, мне еще многое необходимо сделать. Прошу меня извинить. — Не допив свой мартини, Чарли направился к двери, но прежде чем выйти, обернулся и сказал: — Спасибо. Было очень приятно повидать вас. Завидую вашей «упаковке».

— Веди себя прилично, — пошутил Эрл и со вздохом облегчения закрыл дверь за гостем, передернув плечами.

Эрл еще стоял в коридоре, с удивлением размышляя о том, как может измениться человек за сорок лет, когда раздался низкий приятный перезвон дверного колокольчика. Эрл осторожно открыл дверь. На пороге стоял Лу Конверс, подрядчик. На противоположной стороне улицы Чарли Фримен как раз садился в такси.

Лу помахал ему рукой и снова повернулся к Эрлу.

— Привет! Не подумайте, что я напрашиваюсь на ужин. Я вернулся за шляпой. Думаю, что забыл ее в оранжерее.

— Входите, — сказал Эрл, провожая взглядом такси, исчезавшее в направлении центра города. — Мы с Мод как раз собираемся отпраздновать новоселье. Почему бы и вам не остаться на ужин? И кстати, раз уж вы здесь, покажите нам, как работают некоторые устройства.

— Благодарю за приглашение, но меня ждут дома. Однако я, конечно, могу ненадолго задержаться, чтобы объяснить то, что вам непонятно. Жаль только, что Фримен не остался.

Мод подмигнула Эрлу.

— Мы упрашивали его, но он сказал, что у него куча дел.

— Да, мне показалось, что он куда-то спешил. Знаете, — задумчиво произнес Конверс, — с такими людьми, как Фримен, очень непросто общаться. Они заставляют чувствовать себя одновременно и хорошо, и плохо.

— Нет, ты только подумай, Мод! — обратился к жене Эрл. — Лу интуитивно почуял в Чарли то же, что и мы! А что конкретно вы подразумеваете,

Лу, под чувствовать себя одновременно и хорошо, и плохо?

— Ну, хорошо — потому что приятно сознавать, что в мире еще есть такие люди, как он, — ответил Конверс, — а плохо — потому что, когда встречаешь такого человека, не можешь не задумываться о том, на что, черт возьми, ушла твоя собственная жизнь.

— Не понял, — озадаченно сказал Эрл.

Конверс пожал плечами.

— Бог свидетель, не все способны посвятить свою жизнь тому, чему посвятил он. Не всем дано стать героями. Но, думая о Фримене, я чувствую, что, наверное, и я мог бы сделать немного больше, чем сделал.

Эрл и Мод переглянулись.

— А что рассказал вам о себе Чарли, Лу? — спросил Эрл.

— Нам со Слоткином не много удалось узнать от него. У нас ведь было всего несколько минут, пока вы с Мод переодевались; я надеялся, что когда-нибудь вы расскажете мне его историю подробней. Единственное, что он успел рассказать, так это то, что последние тридцать лет провел в Китае. А потом я вспомнил, что сегодня утром в газете была опубликована большая статья о нем,

только я сначала не сопоставил имена. Вот из этой-то статьи я и узнал, что он отдал все свои деньги на больницу там, в Китае, и руководил ею, пока коммунисты не упрятали его в тюрьму, а потом выкинули из страны. Потрясающая история.

— М-да, — мрачно произнес Эрл, прервав наконец долго стоявшую тишину. — Действительно потрясающая. — Он обнял за талию Мод, не отводившую взгляда от гриля на террасе, и легонько сжав ее, добавил: — Я говорю: потрясающая история, да, мамочка?

— Но мы ведь в самом деле просили его остаться, — сказала она.

— Это совсем на нас не похоже, Мод, а если похоже, то я не хочу, чтобы так было впредь. Давай посмотрим правде в глаза, милая.

— Звони ему в отель! — сказала Мод. — Вот что мы сделаем: мы скажем, что произошла ошибка, что моя сестра не… — От сознания того, что исправить уже ничего нельзя, голос ее прервался. — Ах, Эрл, дорогой, ну почему он должен был приехать именно сегодня? Всю жизнь мы трудились ради этого дня, а потом он приехал и все испортил.

— Да, более неподходящего момента он выбрать не мог. — Эрл вздохнул. — Но обстоятельства бывают неумолимы.

Конверс смотрел на них с недоумением и сочувствием.

— Ну, дела есть дела, ничего не попишешь, — сказал он. — Это никак не умаляет вашего гостеприимства. Видит бог, нет в стране других хозяев, чей дом был бы лучше приспособлен для приема гостей, чем ваш. Чтобы удовлетворить любое желание гостя, вам достаточно повернуть выключатель или нажать нужную кнопку.

По мягкому ковру Эрл пересек комнату и подошел к панели с кнопками, располагавшейся возле книжных полок. Он наугад нажал одну из них, и свет от спрятанных в кустах прожекторов залил все пространство вокруг дома.

— Не та.

Он нажал другую — ворота гаража с грохотом закрылись.

— Нет.

Он нажал еще одну — в дверях появилась горничная.

— Вы звонили, мистер Фентон?

— Простите, это ошибка, — сказал Эрл. — Это не то, чего я хотел.

Конверс нахмурился.

— А что, собственно, вы ищете, Эрл? — спросил он.

— Мы с Мод хотели бы начать этот день сначала, — ответил Эрл. — Покажите мне, на какую кнопку надо нажать, Лу.

Бедный маленький богатый город

© Перевод. М. Гальперина, К. Россинский, 2020

У Ньювелла Кади был лоск, деньги, влияние и располагающая внешность слегка идеализированного Юлия Цезаря средних лет. Но главное, что у него был талант, талант поистине бесценного свойства — и этот талант заставлял владельцев крупных предприятий гоняться за ним с настойчивостью умирающих султанов, предлагающих половину царства за средство от их болезни.

Кади мог пройтись по заводу, который теряет прибыль, заглянуть в нужные книги, зевнуть и рассказать управляющему, как тому сэкономить полмиллиона в год на сырье, уменьшить штат на треть, утроить выпуск продукции и продать отходы за сумму, превышающую стоимость монтажа систем кондиционирования и непрерывной трансляции музыки по всему заводу. Кондиционированный воздух и музыка увеличили бы индивидуальную производительность труда на целых десять процентов, а претензии со стороны профсоюза сократились бы на все двадцать.

В последний раз его наняла Федеральная аппаратная корпорация; она пожаловала Кади званием вице-президента и отправила в Илиум, штат Нью-Йорк с поручением убедиться, что новый центр компании строится как полагается. С окончанием строительства предполагалось переместить кабинеты высших руководителей компании из Нью-Йорка в Илиум, город, который фактически умер после того, как во время Второй мировой войны его текстильные фабрики были эвакуированы на юг.

Весь Илиум ликовал, когда закладывались глубокие, мощные фундаменты для нового центра, но еще больше, если это вообще возможно, торжествовал народ в деревушке Спрусфелс, в девяти милях от Илиума, где Ньювелл снял, подумывая в дальнейшем купить, один из особняков, украшающих тенистую главную улицу.

Спрусфелс представлял собой замкнутый мирок, состоящий из мелких лавчонок, средней школы, почтового отделения, отделения полиции и пожарной части, обслуживающей окрестные молочные фермы. В двадцатые годы Спрусфелс пережил бум недвижимости. Тогда-то и были построены пятнадцать особняков — на святой вере в то, что эта местность, благодаря своим

горячим источникам, превратится в курорт для богатых инвалидов, ипохондриков и любителей лошадей, как произошло с Саратогой, которая, кстати, была не так уж и далеко.

Но в 1922-м выяснилось, что купание в источниках, само по себе достаточно безопасное, тем не менее послужило причиной нескольких случаев сыпи, которую один манхэттенский дерматолог без всякого уважения к проблемам недвижимости в провинции назвал «Спрусфелсской болезнью».

Все особняки и конюшни при них в одночасье стали такими же безлюдными, как покинутые дворцы и храмы Ангкора Тхома в Камбодже. Банки были лишены права выкупа тех особняков, что были заложены. Остальное стало собственностью города и пошло в счет неоплаченных налогов. Но никто не хотел давать за них даже цента, как будто спрусфелсская болезнь была проказой, холерой или бубонной чумой.

В конечном счете девять особняков были куплены у банков или у города теми местными жителями, кто не мог противиться искушению заплатить мало, а получить много. Новые владельцы пользовались максимум шестью комнатами в доме, а остальное шло на растерза-

ние гнили, термитам, мышам, крысам, белкам и детям.

— Если нам удастся заставить Ньювелла Кади полюбить радости деревенской жизни, — сказал начальник пожарной охраны Стэнли Аткинс, выступая в субботу на чрезвычайном собрании добровольной пожарной команды, — он склонится к мысли купить, и Спрусфелс станет фешенебельной резиденцией руководства аппаратной корпорации. Без долгих проволочек, — экспансивно добавил Аткинс, — постановляю, что означенный мистер Ньювелл Кади избран полноправным членом пожарной команды и назначен главным судьей ежегодной Ярмарки Увлечений.

— *Audaces fortuna juvat!* — сказал Эптон Битон, высокий, суровый на вид шестидесятипятилетний пожарник. Он был последним представителем первопоселенцев Спрусфелса. — Судьба, — перевел он после паузы, — благоволит к смелым, это уж точно. Но, джентльмены, — он снова многозначительно помолчал. Аткинс покраснел от волнения, да и прочие члены пожарной команды беспокойно заерзали на стульях. Как и его предки, Битон получил декоративное образование в Гарварде и, как и они, жил в Спрусфелсе,

потому что здесь ему не требовалось особых усилий, чтобы чувствовать себя выше соседей. Он выжил благодаря деньгам, которые его родня сделала за время недолгого бума.

— Но, — повторил Битон, вставая, — та ли это судьба, которая нам нужна? Нам предлагают отказаться от пункта, обязывающего кандидата в члены пожарной команды прожить среди нас не меньше трех лет. Сделать исключение — значит унизить наших товарищей. Кроме того, если мне позволено будет заметить, пост судьи Ярмарки Увлечений имеет гораздо большее значение, чем представляется постороннему человеку. В нашей маленькой деревушке у нас есть лишь маленькие способы себя возвеличить, но мы, ради поколения, идущего нам на смену, взяли на себя труд сберечь эти маленькие почести для тех из нас, кто занял самое высокое положение, какого только можно достичь в глазах деревенских жителей. Спешу добавить, что те почести, которыми отмечен я, — это свидетельство уважения к моему роду и возрасту, но не ко мне лично, и являются исключением, каковых, вероятно, должно быть как можно меньше. — Он вздохнул. — Если мы откажемся от этой гордой традиции, потом от другой и от третьей ради всех денег, то

скоро увидим, что нам остается лишь выставить белый флаг презренной сдачи всего, что было нам дорого! — Он сел, сложил руки на груди, и уставился в пол.

Аткинс, который в течение этой речи стал красным как рак, боялся взглянуть на Битона.

— Агенты по продаже недвижимости, — пробормотал он, — клянутся, что цены на дома в Спрусфелсе вырастут вчетверо, если Кади останется.

— Что пользы деревне, если она обретет прибыль от продажи недвижимости, а душу свою потеряет? — спросил Битон.

Аткинс откашлялся.

— Я внес предложение, — сказал он. — Кто-нибудь его поддерживает?

— Поддерживаю, — сказал кто-то, опустив голову.

— Все за? — спросил Аткинс.

Послышался скрип стульев и тихие голоса, похожие на звуки, доносящиеся с детской площадки за милю отсюда.

— Против?

Битон молчал. Династии Битонов в Спрусфелсе пришел конец. Их отеческое руководство, не встречавшее сопротивления в течение поколе-

ний, только что было низвергнуто.

— Принято, — подвел итог Аткинс. Он начал что-то говорить, но тут же перебил себя: — Ш-ш! — почтовое отделение располагалось в том же здании, в соседней комнате, и по ту сторону тонкой перегородки мистер Ньювелл Кади пришел за почтой.

— И это все, миссис Дикки? — спрашивал он у почтмейстерши.

— У нас тут люди за год получают меньше, — сказала миссис Дикки. — Есть еще несколько писем в ящике для второсортных. Может, там найдется что-нибудь вам.

— Мм-м, — промычал Кади. — Это правительство учит вас таким способом разделять людей на сорта?

— Меня? — фыркнула миссис Дикки. — Хотела бы я взглянуть на того, кто попробует учить меня моему делу. Я здесь почтмейстершей уже двадцать пять лет, с тех пор как мой муж отошел в мир иной.

— Угу, — сказал Кади. — А пока вы не будете возражать, если я зайду к вам и взгляну на ящик для писем второго разряда?

— Простите — но правила, вы же понимаете, — сказала миссис Дикки.

Тем не менее дверь в клетку миссис Дикки скрипнула, открываясь.

— Спасибо, — сказал Кади. — Знаете, а что, если бы вместо того, чтобы сортировать почту так, как вы это делаете сейчас, вы брали бы конверты вот так, и — а… э… — надели бы резинку на большой палец, а не на указательный…

— Моя земля! — воскликнула миссис Дикки. — Да они просто летают!

— И вы управлялись бы даже быстрее, — сказал Кади, — если бы не эти ящики на полу. Почему бы не переставить их выше, на уровне глаз? Видите? А что, во имя земли, делает здесь этот стол?

— Это стол для моих детей, — сказала миссис Дикки.

— Ваши дети на нем играют?

— Не настоящие дети, — пояснила миссис Дикки. — Это я так называю цветы на столе — мудрый маленький цикламен, игривый маленький лимончик, страстная маленькая сансеверия…

— Вы понимаете, — сказал Кади, — что только на беготню вокруг стола вы тратите двадцать человеко-минут, и лишь небеса знают, сколько футо-фунтов в день?

— Ну… — протянула миссис Дикки. — Очень любезно с вашей стороны проявлять такую забо-

ту о моей работе, но, знаете, без цветов мне будет так одиноко…

— Ничего не могу с собой поделать, — сказал Кади. — Мне больно видеть, как что-то делается неправильно, когда так легко организовать все как надо. Ну вот! Ваш большой палец уходит вправо, как раз туда, где я велел вам ни в коем случае его не держать!

— Шеф Аткинс, — прошептал Эптон Битон в зале заседаний.

— А?

— Вы неправильно чешете голову, — сказал Битон. — Расставьте пальцы вот так, ясно? И тогда уж валяйте. Покроете вдвое большую площадь за вдвое меньшее время.

— При всем моем уважении к вам, сэр, — сказал Аткинс, — хочу заметить, что наша деревня может стать лучше и воспрянуть духом.

— Я был бы последним, кто встанет на пути прогресса, — ответствовал Битон. И, помолчав, добавил: — Я отправляюсь в края, где ищет добычу зло, где возрастает богатство, а души людские гниют…

— Кади пересекает улицу, смотрит на пожарную машину, — сообщил Эд Ньюкомб — вот уже двадцать лет бессменный секретарь отдела по-

жарной охраны. Илиумский спец по продаже недвижимости, тот самый, чьи заверения зажгли огонек в глазах у всех, кроме Битона, убедил Ньюкомба, что его особняк в двадцать шесть комнат в георгианском колониальном стиле после покраски и наклейки обоев вызовет у представителя корпорации мысль о краже пятидесяти тысяч долларов. «Пусть порадуется!» Отец Ньюкомба купил этот ковчег у банка. Он был единственным претендентом.

Вся пожарная команда сгрудилась у пожарной машины, наперебой поздравляя своего нового члена с оказанной ему честью.

— Благодарю, — сказал Кади и критически оглядел ярко-красную машину. — Стиль короля Георга — только хрома чересчур многовато, — заметил он.

— Вы еще не видели новую! — воскликнул Эд Ньюкомб.

— Почему эти чертовы штуки расфуфыривают так, будто это карусели? — сказал Кади. — Можно подумать, что это игрушка. Боже! Представляю, как все это хромирование и прочие побрякушки сказываются на цене! А вы говорите, будет куплена еще и новая?

— Без сомнения, — гордо сказал Ньюкомб. —

Правда, мы еще не голосовали, но я уверен, все будут «за».

На лицах пожарников отразилось радостное предвкушение.

— Пятнадцать сотен галлонов в минуту! — сказал один.

— Два прожектора! — воскликнул другой.

— Закрытый кузов!

— Восемнадцатифутовые лестницы!

— Цистерна!

— И поворачивающаяся форсунка на крыше, в виде башенки! — перекрывая всех, выкрикнул Аткинс.

Когда после страстного гимна новой машине установилась тишина, заговорил Кади:

— Нелепость, — сказал он. — У вас уже есть отличная машина, вполне отвечающая своему назначению.

— Мистер Кади абсолютно прав, — сказал Эптон Битон. — Это практичная, крепкая машина, которая много лет служила нам верой и правдой. Глупо было бы заставлять управление залезать в долги на двадцать лет ради того, чтобы купить пожарной команде дорогую игрушку. Мистер Кади зрит в корень.

— Я полжизни борюсь с такими вещами в про-

мышленности, — сказал Кади. — С людьми, для которых мишура важнее того, чтобы работа была сделана. Единственная задача пожарной команды в том, чтобы тушить пожары и делать это как можно экономичнее.

Битон хлопнул Аткинса по плечу.

— Каждый день чему-нибудь учишься, а, шеф?

Аткинс улыбнулся улыбкой человека, которому только что прострелили живот.

Ежегодная Ярмарка Увлечений состоялась через три недели после того, как Кади был избран почетным членом пожарной команды. Экспонаты выставили в церковном подвале. За двадцать один день Хэл Брайтон, бакалейщик, перестал делать подсчеты на бумажных мешках, купил калькулятор и переставил прилавки вдоль стен, превратив свою лавочку из большой коробки, загроможденной так, что негде шагу ступить, в площадку для гонок. Миссис Дикки, почтмейстерша, убрала из своей клетки покрытых листвой «детей», а также их стол, и подняла нижний ряд ящиков на уровень глаз. Пожарная команда голосованием отмела красно-синие фуражки как ненужные для пожаротушения. На собрании школы был произведен потрясающий подсчет, убедительно доказывающий, что на обучение

одного ученика средней школы в Спрусфелсе уйдет на семь долларов двадцать девять и шесть десятых цента в год больше, чем потребуется на то, чтобы возить детей в большую, квалифицированную, централизованную школу в Илиуме.

Население деревушки выглядело так, будто каждому вкололи мощный стимулятор. Люди начали быстрее ходить, быстрее заключать сделки, глаза их, казалось, шире раскрылись и стали ярче — даже, пожалуй, бешеными. И по этому бравому новому миру гордо шествовали два создавших его человека, теперь уже постоянные компаньоны — Ньювелл Кади и Эптон Битон. Функция Битона заключалась в том, чтобы обеспечивать Кади фактами и расчетами, а потом претворять в жизнь зверски реалистические предложения Кади насчет реформ, которые следовали за фактами и расчетами с той же неумолимостью, с какой день сменяется ночью.

Судьями на Ярмарке были Ньювелл Кади, Эптон Битон и шеф Стэнли Аткинс. Они, не торопясь, шли вдоль длинного ряда составленных торцами столов, на которых были разложены экспонаты. Аткинс, который с тех пор, как общественное мнение сказало «нет» новой пожарной машине, похудел и утратил большую часть прежней

живости, нес коробку из-под обуви, в которой лежали аккуратные связки голубых наградных ленточек.

— Не думаю, что нам понадобится столько ленточек, — заметил Кади.

— Не говорите «гоп», — сказал Аткинс. — Мы трудились весь год, и наградить надо будет чертову уйму.

— Заявки разбиты на классы, — объяснил Битон. — И в каждом классе должен быть первый приз. — Он протянул руку к Аткинсу. — Будьте добры, шеф, одну с булавкой. — Он прикрепил ленточку к грязному серому шару четырех футов в диаметре.

— Постойте, — сказал Кади. — Разве мы не должны провести обсуждение? Я хочу сказать — нельзя же весело идти вдоль столов, прикрепляя ленточки везде, где нам заблагорассудится? О небо, вы присудили первый приз этой омерзительной капле, а я даже не знаю, что это такое.

— Шнурки, — пояснил Аткинс. — Это шнурки Батсфорда. Вы не поверите: первый шнурок, с которого начал расти этот шар, он нашел еще в те времена, когда Кливленда выбрали на второй срок.

— Угу, — кивнул Кади. — И только в этом году

решил выставить его на Ярмарке.

— Он выставляет его на каждую ярмарку, сколько я себя помню, — сказал Битон. — В первый раз я этот шар увидел, когда он был не больше теннисного мяча.

— И за это бессмысленное и примитивное постоянство, как я полагаю, мы должны наконец осчастливить его первым призом, так? — устало уточнил Кади.

— Наконец? — переспросил Битон. — Он всегда получал первый приз в классе находок.

Кади уже собрался сказать что-то язвительное, но тут его внимание вновь было отвлечено.

— О господи!.. — воскликнул он. — А это что за гнилье, которому вы сейчас выдали первый приз?

От изумления Аткинс даже остановился.

— Как — что? Разумеется, цветочная композиция миссис Дикки.

— Эта куча — цветочная композиция? — воскликнул Кади. — Из ржавого ковша и горстки поганок я сделал бы композицию лучше. А вы даете ей первый приз. Где же соревнование?

— Никто не лезет в класс другого, — сказал Битон, кладя ленточку на палубу незаконченной модели корабля.

Кади сбросил ленту с модели.

— Подождите! Каждый получает приз — я прав?

— Ну, да, в своем классе, — сказал Битон.

— Тогда в чем же цель этой ярмарки? — нетерпеливо спросил Кади.

— Цель? — повторил Битон. — Это ярмарка, и ничего больше. Какая же тут должна быть цель?

— Черт побери! — воскликнул Кади. — Я хочу сказать, что какой-то высший смысл должен во всем этом быть — способствовать повышению интереса к искусству, ремеслам, что-то вроде того. Развивать навыки, вкус. — Он махнул рукой в сторону экспонатов. — Барахло, за что ни возьмись, все это барахло — и в течение лет эти обманутые люди получали первые призы, будто им не с чем было сравнить свои композиции или будто в мире нет более полезного занятия, чем со времен Кливленда подбирать потерянные шнурки.

Аткинс был уязвлен в самое сердце и потрясенно молчал.

— Хорошо, — сказал Битон. — Вы главный судья. Давайте делать, как вы хотите.

— Послушайте, мистер Кади, сэр… — глухо проговорил Аткинс. — Мы просто не можем не

дать...

— Не становитесь на пути у прогресса, — оборвал его Битон.

— Ну что ж, насколько я могу видеть, — сказал Кади, — в этом подвале есть только одна вещь, в которой угадывается слабое мерцание истинного творческого потенциала и увлеченности.

Последние огни в Спрусфелсе в ночь Ярмарки горели почти до полночи, хотя обычно город в десять погружался в темноту. Те немногие, кто видел выставку, но не слышал, как выносили оценку, были поражены, увидев на обложке журнала для женщин изображение одного-единственного экспоната с прикрепленной к нему голубой ленточкой — единственный приз, присужденный в этот день. Прочие экспонаты в гневе тащили домой обиженные заявители, а единственный призер свое произведение унес только поздно вечером, стыдливо и тайно; голубую ленточку он не рискнул взять с собой.

Только Ньювелл Кади и Эптон Битон спали в ту ночь мирно и с сознанием хорошо выполненной работы. Впрочем, в понедельник город вновь ликовал, поскольку в воскресенье, словно в качестве компенсации за холокост, учиненный Ярмарке Увлечений, в Спрусфелс приехал

спец по недвижимости. Он уже успел написать в Нью-Йорк чиновникам Федеральной Аппаратной корпорации и сообщить об особняках в Спрусфелсе, которые фактически можно украсть у простодушных аборигенов, и стоят они всего лишь в броске камня от дома, владельцем которого будет, как предполагается, их уважаемый коллега мистер Ньювелл Кади. И он показал спрусфелсцам письма чиновников, которые ему поверили.

К вечеру в понедельник было сказано последнее горькое слово о Ярмарке Увлечений, и все разговоры сосредоточились на высчитывании налогов, на том, что федеральное правительство безжалостно губит на корню желание получать прибыль, и на возмутительных расценках на строительство маленьких зданий…

— Но я же вам повторяю, — говорил Аткинс, — согласно этому новому закону, вы не должны платить никакого налога на прибыль, получаемую от продажи вашего дома. Это прибыль лишь на бумаге, простая, обычная инфляция, и ее не обложат налогом, потому что так было бы несправедливо. — Он, Эптон Битон и Эд Ньюкомб вели разговор в почтовом отделении, а миссис Дикки тем временем сортировала вечернюю почту.

— Извините, — сказал Битон, — но закон утверждает, что вы обязаны купить другой дом за цену не меньшую, чем цена вашего старого.

— Зачем мне дом за пятьдесят тысяч? — с легким трепетом спросил Ньюкомб.

— Хотите, селитесь в моем, — сказал Аткинс. — Тогда вам вообще не придется платить никакого налога. — Он жил в трех комнатах из восемнадцати, в доме, который его отец купил за бесценок.

— И получить в два раза больше термитов и в четыре — плесени? Я и так устал с ними бороться, — сказал Ньюкомб.

Аткинс не улыбнулся. Вместо этого он пинком захлопнул дверь почтового отделения, которая была приоткрыта.

— Вы что, дурак? Кто угодно может проходить мимо и услышать то, что вы тут говорите о моем доме.

Битон встал между ними.

— Успокойтесь! Снаружи нет никого, кроме старого Мансфилда, а с тех пор, как у него взорвался котел, он глух как тетерев. Господи, если такой небольшой прогресс, который мы до сих пор получили, делает всех такими нервными, что же будет, когда в каждом особняке поселится по Кади?

— Кади — настоящий джентльмен, — сказал Аткинс.

Миссис Дикки пыхтела и тихо ругалась в своей клетке:

— Я двадцать пять лет скакала вверх-вниз за этими ящиками и теперь, когда их там нет, все равно не могу отделаться от привычки. Черт! — Конверты выпали у нее из рук и рассыпались по полу. — Ну вот, так всегда, когда я ставлю большой палец так, как он мне велел!

— Это все не важно, — сказал Битон. — Ставьте его, куда велено, потому что вот он приехал.

Черный «мерседес» Кади остановился перед почтовым отделением.

— Хороший денек, мистер Кади, сэр, — сказал Аткинс.

— А? Да-да, конечно. Я просто задумался о другом. — Кади зашел к миссис Дикки за почтой, но продолжал говорить с пожарниками через плечо, вообще не глядя на почтмейстершу. — Я только что подсчитал, что проезжаю по восемь десятых мили в день, чтобы забрать свою почту.

— Хороший повод прогуляться и поболтать со знакомыми, — заметил Ньюкомб.

— Это приблизительно сто сорок девять и шесть десятых миль в год, — продолжал Кади, не

слушая, — что, если считать по восемь центов за милю, составит девятнадцать долларов девяносто семь центов в год.

— Рад слышать, что вы еще можете купить что-то заслуживающее внимания за девятнадцать долларов и девяносто семь центов, — съязвил Битон.

В творческом порыве Кади не замечал растущей в маленькой комнате напряженности.

— По крайней мере сотня людей ездит за почтой, что означает ежегодный расход тысячи девятисот девяноста семи долларов, не говоря уже о человеко-часах. Подумайте об этом!

— Ох, — проворчал Битон, а Ньюкомб и Аткинс нетерпеливо переминались с ноги на ногу, торопясь скорее уйти. — Еще неприятнее думать, сколько мы тратим на крем для бритья. — Он взял Кади за руку. — Не зайдете ли на минутку ко мне? У меня есть кое-что, и я думаю, что вас…

Кади не двинулся с места.

— Это не то же самое, что крем для бритья, — сказал он. — Мужчины должны бриться, и без крема для бритья не обойтись, если хочешь снять бакенбарды. Разумеется, мы должны получать свою почту, но я выяснил кое-что, чего, очевидно, никто здесь не знает.

— Пойдемте ко мне, — сказал Битон, — и там все это обсудим.

— Это так просто, что даже нечего обсуждать, — сказал Кади. — Я выяснил, что достаточно подать заявку в почтовое отделение Илиума, и нам поставят почтовые ящики у самых домов, как заведено во всех окрестных деревнях. И много лет это приносит пользу! — Он улыбнулся и рассеянно взглянул на руки миссис Дикки. — Ай-яй-яй! — сказал он с упреком. — Возвращаетесь к старому способу, не так ли, миссис Дикки?

Аткинс и Ньюкомб открыли дверь и встали по бокам, словно два стража у дворцовых ворот, а Битон вытолкал Кади из клетки почтмейстерши.

— Когда входишь, как я, в ситуацию со стороны, это огромное преимущество, — разглагольствовал Кади. — Те, кто внутри, слишком ослеплены традицией. Вот вы, например, тратитесь на обслуживание почтового отделения, когда легко можете получить куда лучший сервис за минимум денег и хлопот. — Он скромно хихикнул, пока Аткинс закрывал за ним дверь почтового отделения. — Одноглазый в стране слепых, как вы бы сказали.

— Одноглазый тоже может быть слеп, — заявил Битон, — если он не видит лица людей и не пони-

мает их чувств.

— О чем это вы? — не понял Кади.

— Если бы вы смотрели на лицо миссис Дикки вместо того, чтобы наблюдать за ее пальцами, вы бы увидели, что она плачет, — сказал Битон. — Ее муж погиб при пожаре, спасая своих соседей, людей, которых вы обозвали слепыми. Вы так много твердите о трате времени, мистер Кади — так вот, потратьте его побольше и обойдите как-нибудь всю деревню — попробуйте найти хоть одного человека, который не знает, что можно устроить так, чтобы почту приносили ему к дверям его дома в любое время, когда он пожелает.

Не прошло и месяца, как второе чрезвычайное собрание членов добровольной пожарной команды положило конец деятельности мистера Кади и его почетному членству. Все, кроме одного пожарника, которого не пригласили, впервые за последнее время казались довольными и подобревшими. С повесткой разделались быстро: Эптон Битон, патриарх Спрусфелса, продирижировал, а прочие члены команды хором пропели «за». Теперь все ждали, когда отсутствующий пожарник, Ньювелл Кади, зайдет в почтовое отделение, расположенное за тонкой перегородкой, чтобы забрать свою почту.

— Приехал, — прошептал Эд Ньюкомб, который стоял на часах у окна.

Минутой позже за стеной послышался сочный голос:

— О боже, вы снова поставили туда эти растения!

— Мне стало так одиноко, — сказала миссис Дикки.

— Но моя дорогая миссис Дикки, — сказал Кади, — подумайте о…

— Предложение принято, — громким голосом сказал шеф Аткинс. — Мистер Битон будет делегацией из одного человека, которая сообщит мистеру Кади, что его членство в пожарной команде, к сожалению, является нарушением правила, которое обязывает нового члена прожить у нас не меньше трех лет, прежде чем он может быть избран.

— Я ему объясню, — тоже громко сказал Битон, — что это никоим образом не личное оскорбление, а всего лишь вопрос соответствия нашим правилам, которые действуют вот уже много лет.

— Удостоверьтесь, что он понимает: мы все его любим, — сказал Эд Ньюкомб, — и скажите ему, что мы гордимся тем, что такой влиятельный

человек, как он, хочет здесь жить.

— Непременно, — пообещал Битон. — Он выдающийся человек, и я уверен, поймет мудрость пункта о трехлетнем сроке. Деревня — это не завод, по которому можно пройти, краем глаза взглянуть, что там делается, а потом открыть книги и сразу понять, что устроено правильно, а что — нет. Мы ничего не производим и ничем не торгуем. Мы стараемся просто жить вместе. Каждый хочет быть своим собственным экспертом в этом вопросе, а на изучение его нужно время.

Собрание было закрыто.

Спец по продаже недвижимости из Илиума был опечален, потому что никого из тех, с кем он хотел встретиться в Спрусфелсе, он не застал. Он стоял в бакалейной лавке Хэла Брайтона, смотрел на пустынную улицу и поигрывал авторучкой.

— И что — *все* уехали смотреть пожарную машину? — спросил он.

— Все будут выплачивать за нее кредит в течение двадцати лет, — сказал Эптон Битон. Он присматривал за магазинчиком Брайтона, потому что Брайтон тоже отправился оценить новую покупку.

— Через неделю перед ними откроются великие перспективы, а они катаются на пожарной

машине, — горько сказал агент. Он открыл холодильник и тут же снова закрыл. — В чем дело — эта штука сломалась? Все банки теплые.

— Да нет, просто Брайтон вечно забывает его включить с тех пор, как решил устроить все, как было раньше.

— Вы сказали, что он не хочет продавать свой дом?

— Один из тех, кто не хочет, — уточнил Битон.

— А еще кто?

— Да все.

— Что?!

— Сущая правда, — кивнул Битон. — Мы решили подождать и посмотреть, как мистер Кади здесь приживется. Времени у него маловато, но сердце у него доброе, и я думаю, мы все окажем ему поддержку.

Подарочек Святому Большому Нику

© Перевод. Н. Эристави, 2020

Люди болтали: типа, Большой Ник — самый что ни на есть настоящий наследник Аль Капоне, только на современный лад. Он слухов таких не отрицал — да и не подтверждал тоже. И правильно, чего самому на себя криминал возводить.

Покупал он — что душе приглянется: особняк в двадцать три комнаты в пригороде Чикаго, а второй — в семнадцать комнат — в Майами. Лошадок там скаковых, яхту в девяносто футов длиной. Одних костюмов — сто пятнадцать. А еще, среди прочего, вкладывал он денежки в одного боксера среднего веса, в Берни О'Хэйра по прозванию Вышибала из Шенандоа.

И даже когда тот О'Хэйр на один глаз ослеп — на тернистом пути к вершине боксерской карьеры, значит — не бросил его Большой Ник, а включил в маленькую армию своих телохранителей.

А Большой Ник — он ведь каждый год, незадолго до Рождества, праздник устраивал. Для детишек своих ребят. Ну, вот. Стало быть, праздник на вечер намечен, а утром Берни О'Хэйр,

Вышибала из Шенандоа, со своей половиной, Вандой, и с сынишкой своим, четырехлетним Уилли, в дорогой торговый квартал Чикаго за покупками отправился.

Приходят это они втроем в ювелирный магазин — и тут вдруг малыш Уилли ныть принялся и за штаны отцовы цепляться — что твой пьяный звонарь за веревку колокола.

Берни, мужик молодой, но крутой, исполнительный, вся морда — в шрамах, подносик бархатный с часами отложил, брюки за ремень ухватил, поправил.

— Штаны мои отпусти, Уилли! Отпусти, слышь? — И к Ванде поворачивается. — Вот ты мне скажи: как прикажешь Большому Нику подарочек к Рождеству выбирать, ежели Уилли вот-вот штаны с меня стащит? Убрала б ты его от меня, а, Ван? Что вообще на пацана накатило?

— Здесь где-то, верно, Санта-Клаус, — отвечает Ванда.

— Откуда бы взяться Санта-Клаусам в ювелирных магазинах, — говорит Берни, а потом к продавцу поворачивается: — У вас тут Санта-Клаусов ведь никаких нет, так?

— Что вы, сэр, — продавец говорит. Тут на его морде улыбочка так и расцветает, перегибается

он через прилавок и — Уилли: — Но если этому мальчугану вдруг захочется побеседовать со старым добрым святым Ником, мне так кажется, что он найдет этого веселого повелителя эльфов прямо в…

— Еще чего, — буркнул Берни.

Продавец аж побелел.

— Сэр, я всего лишь пытаюсь объяснить, что Санта-Клаус есть в соседнем универмаге, и ваш малыш…

— Ты чё — не видишь, что только сильней пацана раздразниваешь? — рычит Берни. Присаживается он на корточки перед Уилли. — Уилли, парень, никаких таких Санта-Клаусов на милю вокруг не сыскать. Этот чувак просто волну тебе гонит. Нету никакого Санты в соседнем доме.

— Да вон же, пап, вон! — кричит Уилли. И тычет пальчиком в крошечную фигурку в красном, что стоит на больших часах позади прилавка.

— Умереть, не встать! — говорит тут Берни с изумлением, аж по коленке себя прихлопнув. — У пацана-то, как до Санта-Клаусов доходит, глаз прям орлиный. — И ухмыляется этак успокоительно: — Да чего ты, Уилли, сынок, я на тебя прямо удивляюсь. Этот Санта — маленький, к тому же — пластмассовый. Ничего он тебе не

сделает.

— Ненавижу его, — хнычет Уилли.

— Сколько хотите за эту штуковину? — спрашивает Берни.

— Это вы о пластмассовом Санта-Клаусе, сэр? — переспрашивает продавец, изумленный до крайности. — Боже, да это же всего лишь праздничное украшение. Вы, я уверен, сколько угодно таких за пять — десять центов в любой дешевой лавчонке купите.

— А мне надо этого, — рыкнул Берни. — И немедленно.

Продавец фигурку ему протянул.

— Совершенно бесплатно, сэр, — говорит. — Подарок от магазина.

Берет Берни Санта-Клауса, швыряет на каменный пол.

— Гляди, — говорит, — Уилли, сынок, че щас папка твой с этим старым бородатым хрычом сделает.

И каблуком с размаху — по фигурке:

— И — эхх!

Уилли сначала улыбнулся этак бледненько, а потом, глядя, как каблук отцовский на статуэтку снова и снова обрушивается, и смеяться стал.

— А теперь сам давай, Уилли, — говорит Берни.

— Кто его, на фиг, боится, да?

— Я его старую башку разобью, — лепечет счастливый Уилли. — В куски его расколочу!

И сам давай скакать по Рождественскому Деду.

— Умно с твоей стороны, умнее некуда, — зашипела тут Ванда. — Сначала целый год требуешь, чтоб я приучила его хорошо относиться к Санте, а потом сам же этакие фокусы выкидываешь!

— Должен же я был сделать хоть что-нибудь, чтоб заставить его заткнуться малость! — огрызается Берни. — Ну ладно, ладно уж. Может, теперь побудем малек в тишине и в покое, чтоб я мог хорошенько часы рассмотреть? Вон те, с бриллиантами на циферблате, — сколько?

— Триста долларов, включая налоги, сэр, — говорит клерк.

— А в темноте они светятся? Мне надо, чтоб светились.

— Разумеется, сэр, циферблат — светящийся.

— Тогда беру, — кивает Берни.

— Триста баксов! — стонет Ванда с отчаянием. — Господи милосердный, Берни…

— Че ты имеешь в виду под «господи милосердный», женщина?! — ревет Берни. — Да мне со стыда бы сгореть, что дарю ему такой вот никчемушный кусок дерьма. Что самому Большому

Нику эта дешевка паршивая, часы всего за триста баксов? Ты че-то рот открываешь, а вот не слыхал я, чтоб ты особо рот открывала по случаю бабок, которые на счет наш банковский так и текут. Большой Ник нам — самый настоящий Санта-Клаус, нравится тебе или нет!

— Не нравится, — отвечает Ванда. — Ни мне не нравится, ни Уилли. Посмотри на бедного малыша — у него же все Рождество испорчено!

— А-а, вон ты про что, — Берни говорит. — Да все не так уж и плохо. Со стороны Большого Ника это очень даже добросердечно — праздник для детишек устраивать. Я чё в виду имею — одно дело, что из этого получается, а другое — хочет-то он, как лучше.

— Да уж, доброе у него сердце! — усмехается Ванда. — Как лучше, точно! Выряжается в костюм Санта-Клауса, чтоб детишки вокруг него собачонками прыгали. А он попутно у них всю подноготную их родителей выспрашивает.

Покивал Берни покорно.

— Все так, а что поделаешь?

— Завяжи, — говорит Ванда. — Другую работу себе найди.

— Да что еще я делать-то умею, а, Ван? Всю жизнь же только и делал, что дрался. И потом

— где я найду такие бабки, как те, что Большой Ник мне платит? Вот ты скажи — где?

К соседнему прилавку подходит тут высокий, расфуфыренный господин с усиками, в поводу — жена, вся в норке, и сынок. Примерно Уиллиных лет сынишка, — все сопел да на дверь входную оглядывался с опаской.

— Ишь ты, — Берни говорит, — да это ж мистер и миссис Пуллман. Ты, Ван, поди их помнишь с прошлого Рождества.

— Бухгалтер Большого Ника, да? — спрашивает Ванда.

— Не-е, адвокат его. — Берни рукой Пуллману помахал — в знак приветствия. — Здрасьте, мистер Пуллман.

— А-а, добрый вечер, — поздоровался и Пуллман, без особой, надо заметить, теплоты. А супруге объяснил: — Телохранитель Большого Ника. Ты, должно быть, помнишь его с прошлого Рождества.

— Вы, гляжу я, как все добрые люди — тоже рождественские подарки в последний момент покупаете, — говорит Берни.

— Да уж, — отвечает Пуллман и на сынишку своего, Ричарда, косится. — Можешь ты перестать наконец сопеть?

— У ребенка это психосоматическое, — встряла миссис Пуллман. — Стоит ему увидеть Санта-Клауса — и все, сразу же начинается сопение. Но ведь невозможно же привести ребенка незадолго до Рождества в торговый район — и не встретить *ни единого* Санта-Клауса! Вот один только минуту назад вышел прямо из кафе. Перепугал бедняжку Ричарда до полусмерти.

— Не нужен мне сын-сопляк, — прогремел тут Пуллман. — Ричард! Возьми себя в руки! Санта-Клаус — друг и тебе, и мне, и вообще всем нам.

— Лучше бы он у себя на Северном полюсе так и сидел, — отвечает Ричард.

— Чтоб у него там нос отмерз, — подбавляет Уилли.

— И чтоб его ведьмедь полярный сожрал, — подытоживает Ричард.

— Не «ведьмедь», а медведь. Полярный медведь, — поправляет миссис Пуллман.

— Зачем ты поощряешь ненависть мальчика к Санта-Клаусу?! — возмутился Пуллман.

А миссис Пуллман ему:

— А к чему притворство? *Наш* Санта-Клаус — грязный, вульгарный, грубый, дурно пахнущий сквернослов.

У продавца глаза мало из орбит не выкати-

лись.

— Порой, дорогуша, — замечает Пуллман, — мне кажется, что ты уже подзабыла, в каком положении мы находились, пока не повстречали нашего рождественского эльфа. В весьма плачевном.

— Мое мнение — или самоуважение, или смерть, — огрызнулась миссис Пуллман.

— Большие деньги — подмоченная совесть, — отвечает Пуллман. — Одно приходит вместе с другим. И мы все в одной лодке. — Поворачивается он к продавцу, говорит: — Мне, пожалуйста, что-нибудь дико дорогое и совершенно безвкусное, — и неплохо было бы, чтоб оно еще светилось в темноте и обладало встроенным барометром. — Складывает большой и указательный пальцы — жеманно так. — Понимаете примерно, какую вещицу я ищу?

— С сожалением признаю: вы обратились именно туда, куда надо, — кивает продавец. — У нас есть модель «Мэйфлауэра». Сплошная хромированная сталь, а иллюминаторы изнутри красными лампочками подсвечены. Правда, маленькая незадача: встроены в нее часы, а не барометр. А барометр встроен в статуэтку бравого воина. Серебряная статуэтка, и у воина вместо глаз — рубины. Гм.

— Я вот думаю, — вступает миссис Пуллман, — а нельзя ли поставить статуэтку бравого моряка на палубу «Мэйфлауэра»?

— В правильном направлении мыслишь, — одобрил Пуллман. — Даже удивительно, право. И подумать не мог, что ты однажды научишься понимать Большого Ника столь глубоко. — Потер он устало глаза. — Господи, — говорит, — да что ж ему все-таки нужно, что нужно?! Берни, у тебя какие-нибудь идеи есть?

— Ничего ему не надо, — отвечает Берни. — У него всего на свете — куры не клюют. Только он говорит — мол, все равно подарки получать любит. Для того, значит, чтоб они ему про всех его друзей напоминали, сколько ни есть.

— Видимо, он считает, что таким путем друзей легче *пересчитать*, — усмехается Пуллман.

— Не, — отвечает Берни, — Большому Нику друзья и впрямь важны. Ему по сто раз на дню надо толковать, как его все любят, а то он из себя выходит, мебель крушить принимается, во как.

Пуллман покивал задумчиво.

— Ричард, — сказал сынишке, — ты помнишь, что должен сказать Санта-Клаусу, когда тот тебя спросит, как мамочка с папочкой относятся к дяде Большому Нику?

— Мамочка с папочкой любят Большого Ника, — гундосит Ричард. — Мамочка с папочкой считают, что он — настоящий джентльмен.

— А ты, Уилли, че скажешь? — спрашивает Берни своего отпрыска.

— Мамочка с папочкой говорят, мы дяде Большому Нику всем обязаны, — пищит Уилли. — Большой Ник — он добрый, щедрый.

— Все вокруг любят Большого Ника, — отчеканила Ванда.

— А кто не любил — тот отдыхает на дне озера Мичиган, надежно упакованный в цемент, — добавил Пуллман и мило улыбнулся продавцу, что как раз поднес ему модель «Мэйфлауэра» и статуэтку бравого моряка. — В самый раз, как раз то, что нужно. Последний вопрос: а в темноте они светятся?

В день детского праздника Берни О'Хэйр стоял на страже у парадного входа в особняк Большого Ника. В данный момент он как раз мистера и миссис Пуллман с сынишкой приветствовал.

— Хо-хо-хо, — шепнул Берни.

— Хо-хо-хо, — Пуллман ему в ответ.

— Ну, чё, Ричард, — говорит Берни Пуллману-младшему, — я гляжу, ты сегодня вроде как утихомирился?

— Мне папочка половинку снотворной таблетки дал, — пищит Ричард.

— Что, — спрашивает миссис Пуллман, — хозяин дома принял уже достаточную дозу горячительного напитка?

— Извиняйте, не попал? — дивится Берни.

— Я вас спрашиваю: он уже нажрался?

— А рыбы в воде живут или как? — хмыкает Берни.

— А солнце каждый день встает? — подтягивает Пуллман.

Тут загудел маленький телефон внутренней связи на стене.

— Чё, Ник? — говорит Берни.

— Они все уже? — интересуется кто-то сурово.

— Точно, Ник. Только что Пуллманы прибыли, а они — последние. Остальные в гостиной уже дожидаются.

— Займись там, — бурчит Ник и вешает трубку.

Вздохнул Берни тяжело. Гирлянду колокольчиков из стенного шкафа вытащил, систему сигнализации вырубил, спрятался в кусты на лужайке.

Потряс колокольчики. Заорал во всю мочь:

— Эй, ребятня! Санта-Клаус прибыл! И олешки

его — Большерогий, Быстроногий, Серебряное копытце и Золотой глазок! Люди добрые! Прям у нас на крыше приземлились-то! А вон Санта уже и в дом залазит — через окошко спальной!

А после в дом зашел, колокольцы снова в шкаф упрятал, дверь на все засовы и запоры запер, систему сигнализации обратно включил, а после — прямиком в гостиную, где двенадцать ребятишек и восемь пар папаш с мамашами сидели тихонечко.

Все мужики, что там были, на Ника работали. И Берни — тот единственный из них был, что типичным «быком» смотрелся. Остальные на вид — ни дать ни взять, респектабельные, честные предприниматели. Трудились они у Ника в штаб-квартире, где никаким насилием и жестокостью даже не пахло. Типа бухгалтерские книги вели, финансовые и юридические консультации предоставляли, а также разъясняли Нику, как с преступной его деятельностью управляться самыми что ни на есть современными, значит, научными методами. Белая кость средь его людей, короче. Плюс у всех — детишки, достаточно мелкие, чтоб еще в Санта-Клауса верить.

— С Рождеством вас всех! — хрипло ревет Санта-Клаус, и его тяжелые черные ботинки грохочут

вниз по лестнице.

Уилли из объятий материнских вывернулся. Бросился к Берни — отец всяко лучше защитит.

Внизу лестницы Санта-Клаус на перила облокотился. Борода — из ваты, а из-под белых усов сигара торчит. Заплывшие глазки хитро косят, перебегают по лицам приглашенных. Толстый этот Санта-Клаус, и лицо — бледное, отечное. А перегаром от него так и разит.

— Вот сей момент приперся из собственной мастерской на Северном полюсе, — сообщает этак с вызовом. — Чё тут, никто даже и не поздоровается с самим святым Ником?

Родители, что в комнате сидели, так и зашикали на детишек, сидевших, ровно каменные, — давайте, мол.

— Громче уже! — ревет Санта. — Не в мертвецкой сидим.

И пальцем-сосиской на Ричарда Пуллмана кажет:

— Ты, сынок, хорошим пацаном был, точно?

Мистер Пуллман сынишку стиснул, точно волынщик — инструмент свой.

— Да-а! — взвизгнул Ричард.

— Без базара? — спрашивает Санта подозрительно. — С папой-мамой не борзел?

— Не-ет! — кричит Ричард.

— Лады, — говорит Санта. — Прикинь, может, я тебе электрическую железную дорогу привез. А может, и нет.

Порылся он в груде разноцветных свертков под огромной елкой.

— Куда ж я задевал эту гребаную железную дорогу, а? — а после вдруг нашел сверток, на котором имя Ричарда было написано. — Ну, чё, — хочешь?

— Ага, — шепчет Ричард.

— Ну, тогда и веди себя так, чтоб я это понял! — ворчит Санта.

Малыш Ричард, бедняга, только слюну сглотнул.

— Ты, пацан, прикинь вообще, сколько эта дорога стоит? — говорит Санта. — Сто двадцать четыре бакса с мелочью! — Выдерживает драматическую паузу. — И это — ежели только *оптом* брать.

Наклонился он над Ричардом:

— Ну, сынок, скажи теперь спасибо!

Мистер Пуллман снова бока Ричарда сжал.

— Спа-асибо, — протянул Ричард.

— Да уж точно «спасибо», без базара, — ухмыльнулся Санта с этаким горьким сарказмом. — Со

своего старика ты железную дорогу за сто двадцать четыре пятьдесят хрен когда получишь, век свободы не видать. Слышь, пацан, я те вот че скажу: кабы не я, папаша твой по сей день не знал бы, как за больничные счета расплатиться и чем кредиты отдавать. Я так понимаю, это здесь все помнят.

Мистер Пуллман зашептал что-то сынишке.

— Че за хрень такая? — спрашивает Санта. — Ну, пацан, говори — че тебе твой папаша шепнул?

— Папа сказал: «Камень ударит, а злое слово — так пролетит», — похоже, Ричарду было неловко за отцовы высказывания. Не говоря уж про миссис Пуллман — она так устыдилась, что только воздух ртом хватать могла.

— Ха! — ухмыльнулся Санта. — Мощно сказано. Башку об заклад поставлю — он эту фразочку раз десять на дню изрекает, не меньше. Ну ладно, — а вот чё он про Большого Ника дома болтает, а? Давай, Ричард, — ты с самим Санта-Клаусом базаришь, а у меня там на Северном полюсе особая книжка заныкана — про детишек, которые неправду говорят. Так и че твой папашка по-настоящему думает про Большого Ника?

Пуллман взор в никуда устремил — с таким, значит, видом, ровно ему и дела нет до того, что

Ричард ответит.

— Мамочка с папочкой, — выдал Ричард урок, как по нотам, — говорят: Большой Ник — истинный джентльмен. Мамочка с папочкой любят Большого Ника.

— Ладно, сынок, — заулыбался Санта, — вот тебе твоя дорога железная. Хороший ты пацан.

— Спасибо, — пищит Ричард.

— А тут у меня еще огроменная кукла для красотули Гвен Зерба, — говорит Санта, очередной сверток из-под елки извлекая. — Только ты, Гвен, сначала сюда выйди. Давай на ушко с тобой пошепчемся, а, детка? Чтоб никто нас с тобой не подслушивал.

Главный бухгалтер Большого Ника так поддал дочурке в спину — она к Санта-Клаусу прямо бегом выбежала. А папаша сам — маленький он был, толстенький такой — ухмыльнулся двусмысленно, уши навострил, да и позеленел слегка. Кончились вопросы. Выдохнул Зерба с облегчением, снова малость порозовел. Санта-Клаус до ушей улыбается, Гвен куклу в свой угол тащит.

— Уилли О'Хэйр! — возглашает Санта-Клаус. — Говори Санте все, как на духу, — получишь клевый кораблик. Что твои старичок со старушкой там треплют про Большого Ника?

— Говорят — они ему многим обязаны, — отвечает Уилли покорно.

Санта-Клаус так хохотом и взорвался.

— Да уж без балды — обязаны, сынок! Прикинь, Уилли, где бы твой папашка был сейчас без Большого Ника? Совсем бы крышей поехал, сам с собой болтал бы, в башке — пустота кромешная, мозги наперекосяк. Вот тебе, пацан, твой кораблик. И это — с Рождеством тебя.

— Вам тоже счастливого Рождества, — ответил воспитанный Уилли. — Извиняюсь, а тряпочку мне можно?

— Тряпочку? — подивился Санта.

— Пожалуйста, — тянет Уилли. — Мне бы кораблик протереть.

— Уилли! — так и ахнули хором Берни с Вандой.

— Тихо, тихо, без понтов, — говорит Санта. — Пускай пацан выскажется. Тебе *зачем* кораблик протереть надо, а, Уилли?

— Грязь с него стереть бы и кровь, — отвечает Уилли.

— Кровь?! — рычит Санта. — Грязь?!

— Уилли! — вопиет Берни.

— Мама говорит: все, что мы от Санты получаем, кровью заляпано, — объясняет Уилли и

указывает на миссис Пуллман. — А вон там тетя говорит: Санта грязный.

— Ничего, ничего подобного я в жизни не говорила! — визжит миссис Пуллман.

— Говорила-говорила, — вступает Ричард, — я сам слышал.

— А мой папочка, — светски нарушает Гвен Зерба неловкое молчание, — говорит: что собаку целовать, что Санта-Клауса.

— Гвен! — стонет ее отец.

— А я собачку свою каждый день целую, — продолжает Гвен, явно намеренная мысль свою до конца довести, — и ни разу не заболела. Вот.

— Наверно, мы кровь с грязью и дома отмыть сумеем, — говорит Уилли задумчиво.

— Ах, ты чистоплюй мелкий, сучонок! — ревет Санта-Клаус и уже замахивается — вмазать, значит, Уилли.

Берни тут вскочил молнией — и руки Санты накрепко перехватил.

— Пожалуйста, — говорит. — Пацан ничего такого в виду не имел.

— Руки поганые от меня убери! — орет Санта. — Тебе чё — совсем жить надоело?!

Отпустил Берни Санта-Клауса.

— Чё, — спрашивает Санта, — и «извиняюсь»

не скажешь? Я-то думал, уж на извинения тебя хватит.

— Прости меня, Санта-Клаус, пожалуйста, — говорит Берни… и тут же кулак свой огромный в зубы Санты впечатывает, прямехонько, значит, в сигару. И влетает Санта точно в рождественскую елку, а после и вниз сползает, за гирлянды цепляясь и срывая их.

Детишки так завопили от восторга — в комнате больше ничего не слыхать стало. А Берни только ухмыльнулся широко — да руки победным жестом над головой вскинул, дескать, вот он, пояс мой чемпионский!

— Заткните детишек, вы! — зарычал Санта-Клаус. — Щас же заткните — или все вы, считай, покойники!

Папаши с мамашами кинулись было к ребятишкам, да куда — как их утихомиришь! Вырвались из рук — прыгают, кричат, свистят, над поверженным Сантой измываются…

— Пускай он бороду свою сожрет, Берни!

— Северным оленям его скорми!

— Сволочи вы бескультурные! Все — покойники! — в голос орет Санта, так и лежа на полу. — Да я таких, как вы, оптом по двадцать пять баксов за нос закажу, так мне еще и скидка выйдет — по

пятеро трупов за сотню! Валите отсюда!

Как же счастливы были детишки! Даже пальтишки не стали надевать — так и выбежали, танцуя, из дома. И распевали при этом «Бубенцы, бубенцы… чтоб те, старый хрыч», «Мишурою подавись, старый Санта-Клаус»[32], и еще всякое, в том же духе. Слишком они юны и невинны были, чтоб понять: ни черта не изменилось в общей экономической структуре, в которой отцы их по горло увязли. Слишком часто они в кино видали: один хороший хук главного героя в челюсть главного злодея — и ад превращается, значит, в истинный рай на земле.

Санта-Клаус — тот, размахивая руками, следом за детишками родителей из дома выставлял.

— Я вас достану, куда бы вы ни схоронились! — орал. — Я вам столько добра сделал — а вы вон как мне заплатили! Что ж, и я вам заплачу, да еще и с лихвой. Я ваши задницы с лица земли сотру!

— А мой папка Санте врезал, так врезал! — вопил Уилли.

— Все, я покойник. — О'Хэйр супружнице шепнул.

---

[32] Примечания: 32

Автор иронически обыгрывает популярные рождественские песенки «Бубенцы, бубенцы радостно звенят» и «Ты явись, явись, явись, старый Санта-Клаус».

А она в ответ:

— Видать, и я покойница. Только дело, почитай, того стоило. Ты только глянь, до чего ж ребятишки радуются!

Что их ждало? Ясное дело — смерть от пуль киллера, ежели, конечно, не успеют забиться в какую ни то богом забытую глушь, до которой у мафии руки еще не дошли. К Пуллманам, кстати, это тоже относилось.

Святой Николай снова в дом вбежал, а после опять выскочил, в руках — цельная кипа свертков в ярких праздничных упаковках. По белой бороде — алые потеки крови, что у него из носа хлестала. Сорвал он с одного подарочка упаковку. Зажигалку вытащил — большую, в виде рыцаря в полном доспехе. Прочитал карточку, к ней приложенную, а там — «Большому Нику, моему дорогому и единственному. Люблю тебя безумно». И — подпись знаменитой кинозвезды голливудской.

После раскрывает еще один пакет, красивее даже.

— Ага, — говорит, — долгий путь проделал подарочек от дорогого друга в Италии!

Рванул изо всех сил алую ленточку. Взрыв раздался — не только бороду окровавленную и

шапочку красную, мехом отороченную, с него снес, но и нос с подбородком заодно. Ну, и бардак же! Стоило б сказать — что за жуткое зрелище для бедных малышей, но нет — кто-кто, а уж дети такую картинку на все блага мира не променяли бы.

Уехала полиция, увезла в морг труп, от шеи вниз разряженный на манер Криса Кринглa[33]. А супружница О'Хэйра вот что мужу сказала:

— Я так понимаю, это Рождество ребятишки не скоро позабудут. Сердцем чую — так оно и будет.

Сынишка же их, Уилли, тот и сувениром обзавелся — на память. Поздравительная открытка то была, что к бомбе прилагалась. И написано на ней было: «Счастливого Рождества самому славному парню на свете». А подписано коротко — «Семья».

Так вот жестко и закончилась эта сказка. А папашам детишек еще и новую работу пришлось искать. Хо-хо-хо!

---

[33] Примечания: 33

Крис Кринглл — одно из многочисленных американских прозвищ Санта-Клауса.

Этот сын мой

© Перевод. А. Комаринец, 2020

Фабрика производила лучшие на свете центробежные насосы, и владел ей Мерле Ваггонер. Он ее основал. «Дженерал Фордж энд Фаундри» только что предложила за нее два миллиона долларов. У Мерле не было акционеров, и никому он ни цента не задолжал. Ему было пятьдесят один, он был вдовцом, и у него имелся наследник — сын. Мальчика звали Франклин. Его назвали в честь Бенджамина Франклина.

Однажды в пятницу отец с сыном вышли из конторы Мерле в цех. Они прошли по проходу к токарному станку Руди Линберга.

— Руди, — сказал Мерле, — мой мальчик приехал на три дня домой из университета, и я подумал, может, вам с сынишкой и нам с Франклином поехать завтра на ферму, пострелять по тарелочкам.

Руди обратил небесно-голубые глаза на Мерле и молодого Франклина. Он был одних с Мерле лет и обладал глубоким и стесненным чувством собственного достоинства человека, который

рано узнал, где его предел, — и никогда не пытался за него шагнуть. Его мир ограничивался его инструментами, его флейтой и его обрезом.

— Можно попробовать по воронам, — сказал он.

Руди стоял навытяжку, как бравый солдат, каким и являлся. И как старый солдат, делал он это без покорности, умея дать понять, кто здесь победитель. Когда-то он первым нанялся к Мерле. Тогда за две тысячи долларов он мог бы стать партнером. А деньги у Руди водились. Но предприятие показалось ему рискованным. Теперь он как будто не жалел.

— Можем установить мою сову, — сказал Руди. У него было чучело совы, чтобы приманивать ворон. Он его смастерил со своим сыном Карлом.

— На ворон нам понадобится винтовка, — ответил Мерле. — Они про вашу с Карлом сову давно знают. Думаю, они нас и на полмили не подпустят.

— Интересно было бы подобраться к ним с телескопическим прицелом, — негромко сказал Франклин.

Он был высоким и худым, в кашемире и серой фланели. От робости и сознания вины он смотрелся почти глуповато. Он только что сказал отцу,

мол, хочет стать актером, мол, фабрика ему не нужна. Собственные слова так его потрясли, что он услышал, как невольно добавляет чудовищно пустую фразу: «Но все равно спасибо».

Отец никак не отреагировал — пока. Разговор тускло сошел на ферму, стрельбу по тарелочкам, на Руди и Карла, на новый фургончик Руди и Карла, а теперь на ворон.

— Пойдем, спросим моего мальчика, какие у него планы на завтра, — сказал Руди.

Это была формальность. Карл всегда делал то, что хотел от него отец, и делал это с искренней любовью.

Руди, Мерле и Франклин пошли к токарному станку в тридцати футах. Мерле задирал подбородок. Руди смотрел прямо перед собой. Франклин смотрел в пол.

Карл был точной копией своего отца. Он так хорошо ему подражал, что у него словно бы ныли суставы от возраста. Он казался отрезвленным пятьюдесятью одним годом жизни, хотя прожил всего двадцать. Он словно бы инстинктивно побаивался возможных травм на производстве, вероятность которых на фабрике исчезла к тому времени, когда он научился ходить. Карл стоял навытяжку без покорности — в точности, как

его отец.

— Хочешь поедем завтра постреляем? — спросил Руди.

— Кого постреляем? — спросил Карл.

— Ворон. Тарелочки, — сказал Руди. — Может, сурков.

— Я не против, — ответил Карл. Он коротко кивнул Мерле и Франклину. — Буду рад.

— Можем взять с собой стейки и там поужинать, — сказал Мерле. — Приготовишь соус, Руди?

— Я не против, — сказал Руди. Он прославился своим соусом и передал его секрет сыну. — Буду рад.

— Я бутылку двадцатилетнего бурбона для особого случая приберегал, — сказал Мерле. — Думаю, завтра достаточно особый. — Он закурил сигару, и Франклин увидел, что рука у отца дрожит. — Устроим вечеринку.

Мерле неумело дал Франклину по почкам, — чтобы взбодрить его по-мужски. И сразу об этом пожалел. Он громко рассмеялся, чтобы показать, мол не важно, рассмеялся, хотя сигарный дым ел ему глаза. Смех загнал дым глубоко в легкие. Удовольствие пропало. Смех все длился и длился.

— Только посмотри на него, Руди! — сказал

Мерле, бичуя остальных весельем. — На фут выше своего старика и президент чего-то там в Корнеллском университете?

— Совета братств, — сконфуженно пробормотал Франклин.

Они с Карлом избегали встречаться взглядом. Отцы брали их с собой пострелять раз сто, наверное. Но мальчики почти друг с дружкой не разговаривали, обменивались обычно безрадостными кивками на попадания или покачиванием головой на промахи.

— И сколько в Корнеллском братств? — поднажал Мерле.

— Шестьдесят два, — ответил Франклин еще тише.

— И сколько человек в братстве? — нажал Мерле.

— Сорок, наверно, — сказал Франклин. Он подобрал с пола острый, блестящий завиток стальной стружки. — Красивый, — сказал он. Он знал, что реакция отца наступит как раз сейчас. Он слышал первые предупредительные вибрации в его голосе.

— Скажем, шестьдесят братств, — сказал Мерле. — Скажем, сорок человек в каждом. Это будет две тысячи четыреста мальчишек под началом у

моего, Руди! В его годы под моим началом было не больше шести.

— Они не под моим началом, отец. Я никем не управляю, — сказал Франклин. — Я просто председатель на заседаниях совета и…

И… ожидаемый взрыв:

— Нет, управляешь! — взревел Мерле. — Жеманничай сколько хочешь, но ты всем управляешь!

Остальные промолчали.

Мерле постарался улыбнуться, но улыбка скукожилась, словно он вот-вот расплачется. Он взялся за лямку комбинезона Руди и потер вылинявшую джинсу между большим и указательным пальцами. Он взглянул в небесно-голубые глаза Руди.

— Мальчик хочет стать актером, Руди, — сказал он. А потом снова взревел: — Он так сказал!

Повернувшись, он бросился бегом в контору.

Только Франклин собрался уходить, как Руди заговорил, словно ничего не произошло:

— У вас патронов достаточно? — спросил он.

— Что? — переспросил Франклин.

— Патронов достаточно? Хотите, чтобы мы за ними заехали?

— Нет, — сказал Франклин. — Патронов у нас уйма. Полкоробки было, когда я прошлый раз проверял.

Руди кивнул. Он осмотрел работу на станке Карла и постучал себя пальцем по виску. Это постукивание служило сигналом, который Франклин много раз видел на стрельбах. Он означал, что Карл все делает как надо.

Руди легко коснулся локтя Карла. Это был сигнал Карлу возвращаться к работе. Руди и Карл оба подняли согнутый палец и друг дружке им отсалютовали. Франклин знал, что и это значит. Это значило: «Пока, люблю тебя».

Франклин стал ставить одну ногу перед другой и пошел искать собственного отца.

Мерле сидел за столом, опустив голову, когда вошел Франклин. В левой руке он держал стальную пластинку площадью в шесть дюймов. В середине пластинки было отверстие площадью в два дюйма. В правой руке он держал стальной кубик, который в точности подходил к отверстию.

На столе лежали два черных бархатных мешочка — один для пластинки, другой для кубика. Каждые десять секунд Мерле продевал кубик в пластину.

Франклин нерешительно сел на жесткий стул у стены. За годы, что он тут бывал, контора не слишком изменилась. Это было обычное фабричное помещение с голыми трубами над головой:

холодные потели, горячие оставались сухими. Между стальными коробами змеились провода. Зеленые с кремовым стены местами были бугристыми, как слоновья шкура, от перемежающихся слоев краски и грязи, краски и грязи. Никогда не находилось времени соскрести слои, его едва-едва хватало, чтобы за ночь наскоро наляпать свежую краску.

Франклин все еще видел контору глазами ребенка. Для него она была игровой комнатой. Он помнил, как отец рылся по полкам в поисках игрушек, чтобы позабавить своего мальчика. Игрушки еще лежали здесь: макеты насосов, образцы для коммивояжеров, магниты, треснувшие очки безопасности, которые когда-то спасли небесно-голубые глаза Руди Линберга.

И игрушки, которые Франклин помнил лучше всего, — помнил лучше всего потому, что отец их ему показывал, но никогда не давал трогать. Сейчас Мерле в них играл.

Мерле еще раз продел кубик в квадратное отверстие.

— Знаешь, что это? — спросил он.

— Да, сэр, — сказал Франклин. — Это то, что Руди Линберг изготовил, когда заканчивал обучение в Швеции.

Кубик можно было пропустить через отверстие двадцатью четырьмя разными способами и так, что кубик не пропускал ни малейшего лучика света.

— Невероятное мастерство, — сказал Франклин уважительно. — Таких мастеров больше не делают.

Особого уважения он не испытывал. Он просто говорил то, что, как он знал, хочет слышать отец. Кубик и отверстие представлялись ему преступной растратой времени и полнейшей скукой.

— Невероятное, — повторил он.

— Невероятное, когда понимаешь, что не Руди их сделал, — сказал Мерле, — когда понимаешь, к какому поколению принадлежит тот, кто их сделал.

— Да? — спросил Руди. — И кто их сделал?

— Сын Руди, — сказал Мерле. — Одного с тобой поколения. — Он затушил сигару. — Он подарил их мне на прошлый день рожденья. Они лежали у меня на столе, мальчик, ждали моего прихода. Лежали бок о бок с теми, которые много лет назад подарил мне Руди.

Франклин на тот день рождения прислал телеграмму. Предположительно, телеграмма тоже ждала на столе. В телеграмме говорилось: «С днем

рождения, отец».

— Я едва не расплакался, мальчик, когда увидел эти две пластины и эти два кубика рядышком, — сказал Мерле. — Ты это понимаешь? — спросил он. — Ты понимаешь, почему я едва не заплакал?

— Да, сэр, — сказал Франклин.

Глаза Мерле расширились.

— А потом, наверно, я правда пустил слезу — одну, может, две, — сказал он. — Потому что… знаешь, что я обнаружил, мальчик?

— Нет, сэр?

— Кубик Карла проходил через отверстие Руди! — сказал Мерле. — Они взаимозаменяемы!

— Надо же! — сказал Франклин. — Будь я проклят. Правда?

А теперь ему самому захотелось расплакаться, потому что ему было все равно, потому что его это не трогало, а ведь он правую руку бы отдал, лишь бы тронуло. Фабрика ухала, и бухала, и визжала в чудовищной ненужности: франклиново, все франклиново, скажи он только слово.

— Что ты с ними сделаешь? Купишь театр в Нью-Йорке? — сказал вдруг Мерле.

— С чем, сэр? — спросил Франклин.

— С деньгами, которые я получу за фабрику, когда ее продам. С деньгами, которые оставлю

тебе, когда умру, — сказал Мерле. Слово «умру» он произнес с нажимом. — Во что превратятся «Насосы Ваггонера»? В «Театры Ваггонера»? В Школу актерского мастерства Ваггонера? В Приют для неимущих актеров Ваггонера?

— Я… я об этом не думал, — сказал Франклин.

Мысль превратить «Насосы Ваггонера» в нечто равно сложное не приходила ему в голову и сейчас ужаснула. От него требовалось проявить страсть к чему-то, равную страсти отца к фабрике. А у Франклина не было такой страсти — ни к театру, ни к чему-либо еще.

У него не было ничего, кроме горько-сладких, почти бесформенных мечтаний. Слова, мол он хочет стать актером, придавали мечтаниям притягательность большую, чем они взаправду имели. Слова были скорее поэзией, нежели чем-то еще.

— Не могу не испытывать толики интереса, — сказал Мерле. — Ты не в обиде?

— Нет, сэр, — сказал Франклин.

— Когда «Насосы Ваггонера» станут очередным подразделением «Дженерал Форджэнд Фоундри», и из головного офиса пришлют ушлых парней все тут переналадить, надо же мне будет чем-то себя отвлечь, — чем бы ты ни собрался заниматься.

Франклин сидел как на иголках.

— Да, сэр, — сказал он. Он посмотрел на часы и встал. — Если мы завтра на ферму, мне, наверное, стоит сегодня поехать к тете Маргарет.

Маргарет была сестрой Мерле.

— Давай, — сказал Мерле. — А я позвоню «Дженерал Фордж энд Фаундри» и скажу, что мы принимаем их предложение. — Он провел пальцем по адресной книге, пока не нашел имя и номер телефона. — Они сказали, мол, если решим продавать, нужно позвонить кому-то по имени Гай Фергюсон по добавочному пять-ноль-девять куда-то под названием «Дженерал Фордж энд Фаундри» где-то в Илиуме, Нью-Йорк. — Он облизнул губы. — Скажу ему, он и его друзья могут забирать «Насосы Ваггонера».

— Ради меня не продавай, — попросил Франклин.

— А ради кого мне ее держать? — спросил Мерле.

— Разве обязательно продавать сегодня? — сказал Франклин с ужасом.

— Я всегда говорю, куй железо, пока горячо, — сказал Мерле. — Сегодня день, когда ты решил стать актером, и так уж повезло, нам дают прекрасную цену за дело моей жизни.

— А нельзя подождать?

— Чего? — спросил Мерле. Теперь он развлекался.

— Отец! — воскликнул Франклин. — Во имя неба, отец, пожалуйста! — Он повесил голову, тряхнул ею. — Я не знаю, что делаю, — сказал он. — Я еще не знаю наверняка, что хочу делать. Я просто ношусь с разными идеями, пытаюсь найти себя. Пожалуйста, отец, не продавай дело своей жизни, не выбрасывай только потому, что я не уверен, что хочу делать с моей! Пожалуйста! — Франклин поднял глаза. — Я не Карл Линберг, — сказал он. — Я ничего не могу с собой поделать. Мне очень жаль, но я не Карл Линберг.

Стыд омрачил лицо отца, но облако прошло.

— Я… никаких гадких сравнений не делал, — сказал Мерле.

Эти самые слова он произносил множество раз раньше. Франклин его к этому вынуждал, в точности, как вынудил сейчас, извинившись за то, что он не Карл Линберг.

— Я не хочу, чтобы ты был как Карл, — сказал Мерле. — Я рад, что ты таков, каков ты есть. Я рад, что у тебя собственная большая мечта. — Он улыбнулся. — Задай им жару, мальчик… и будь самим собой! Это ведь все, чему я тебя учил, верно?

— Да, сэр, — сказал Франклин.

Последний клочок веры в какую-либо собственную мечту у него вырвали. Он никогда бы не сумел мечтать на два миллиона долларов, не смог бы мечтать ни о чем, что стоило бы смерти отцовской мечты. Актер, газетчик, социальный работник, морской капитан — Франклин был не в состоянии задать кому-либо жару.

— Пожалуй, пора поехать к тете Маргарет, — сказал он.

— Давай. А я подожду со звонком Фергюсону или как там его до понедельника.

Мерле, казалось, пребывал в мире с самим собой.

По пути через парковку к своей машине Франклин прошел мимо нового фургончика Руди и Карла. Его отец им восторгался, и сейчас Франклин присмотрелся к нему внимательнее, — он всегда присматривался к тому, что нравилось отцу.

Фургончик был немецкий, ярко-синий, с белыми покрышками и мотором сзади. Выглядел он как настоящий маленький автобус: без капота спереди, высокая плоская крыша, раздвижные двери и ряды квадратных окошек по бокам.

Внутренность была шедевром аккуратности и

столярного мастерства Руди и Карла. Там было место для всего, и все было на своем месте: ружья, рыболовная снасть, кухонная утварь, плитка, холодильник, одеяла, спальные мешки, фонари, аптечка. Там были даже две ниши — бок о бок — для закрепленных на ремнях футляров с кларнетом Карла и флейтой Руди.

Пока он восхищенно глядел в окошко, у Франклина возникла любопытная цепочка ассоциаций. Мысли о фургончике смешались с мыслями об огромном корабле, который выкопали в Египте и который тысячи лет провел под песком. Корабль был оснащен всем необходимым для путешествия в рай — всем мыслимым, кроме средств туда добраться.

— Миста Вагон-а, сэ-а! — произнес голос, и взревел мотор.

Франклин обернулся и увидел, что охранник на парковке его заметил и подогнал ему машину. Франклина избавили от необходимости пройти последние пятьдесят метров.

Охранник вышел и лихо отсалютовал.

— Эта зверюга, правда, делает сто двадцать пять, как написано на спидометре? — спросил он.

— Никогда не пробовал, — ответил Франклин,

садясь.

Машина была спортивная, шумная и норовистая — на двух человек. Он купил ее подержанной, против воли отца. Отец ни разу в ней не ездил. Для своего путешествия в рай она была оснащена тремя бумажными носовыми платками со следами губной помады, открывалкой для пива, полной пепельницей и картой Иллинойса.

Франклин смутился, увидев, как охранник протирает лобовое стекло собственным носовым платком.

— Не надо, — сказал он. — Не надо. Бросьте.

Ему казалось, он помнит имя охранника, но он засомневался. Потом все же рискнул:

— Спасибо за все, Гарри.

— Джордж, сэ-а! — ответил охранник. — Джордж Мирамар Джексон, сэ-а!

— А, конечно, конечно, — сказал Франклин. — Извини, Джордж. Забыл.

Джордж Мирамар Джексон сверкнул улыбкой.

— Никаких обид, миста Вагон-а! Просто запомните на следующий раз — Джордж Мирамар Джексон, сэ-а!

Во взгляде Джорджа полыхала мечта о будущих временах, когда Франклин станет боссом, и внутри откроется большой новый пост. В этой мечте

Франклин говорил секретарше: «Мисс Такая-то? Пошлите за…» И выкатывалось волшебное, великолепное, незабываемое имя.

Франклин выехал с парковки без мечты, сравнимой хотя бы с мечтой Джорджа Мирамара Джексона.

За ужином, после анестезии двух крепких коктейлей и водоворота забот тети Маргарет Франклин сказал отцу, что хочет со временем перенять фабрику. Он станет Ваггонером в «Насосах Ваггонера», когда отец будет готов отойти от дел.

Без боли и труда Франклин тронул своего отца так же глубоко, как Карл Линберг своими стальной пластинкой, стальным кубиком и, один бог знает, сколькими годами терпеливого стачивания ножовкой.

— Ты единственный… ты это знаешь? — захлебнулся Мерле. — Единственный… клянусь!

— Единственный в чем, сэр? — спросил Франклин.

— Единственный сын, кто держится за то, что построил его отец или дед, а иногда даже прадед. — Мерле горестно качнул головой. — Никаких больше Хадсонов в «Пилах Хадсона», — сказал он. — Сомневаюсь, что сегодня «хадсоном» можно хотя бы сыр нарезать. Никаких Флеммингов в

«Инструментах и красках Флемминга». Никакого Уорнера в «Мостовых Уорнера». Никакого Хоукса, никакого Хинкли, никакого Боумэна в «Хоукс, Хинкли и Боумэн».

Мерле махнул на запад.

— Ты никогда не задумывался, кто все эти люди с большими новыми домами в том предместье? Такие дома, а мы с их владельцами никогда не встречались, даже не видели никого, кто с ними знаком? Это они перенимают, а не сыновья. Город выставлен на продажу, и они скупают. Теперь это их город — людей по фамилии Фергюсон из мест под названием Илиум.

— Что происходит с сыновьями? — сказал Мерле. — Они же твои друзья, мальчик. Ты с ними вырос. Ты знаешь их лучше, чем собственные отцы. В чем дело? В двух войнах? В выпивке?

— Не знаю, отец, — сказал Франклин, выбирая самый удобный выход. Он сложил салфетку с аккуратной окончательностью. Он встал. — В клубе сегодня вечером танцы, — сказал он. — Я думал сходить.

— Давай, — сказал Мерле.

Но Франклин не пошел. Он доехал до стоянки кантри-клаба, но внутрь не пошел.

Ему вдруг не захотелось видеть своих друзей

— убийц мечты отцов. Их молодые лица был лицами стариков, висящих вниз головами, их выражения — гротескными и тупыми. Подвешенные вниз головой, они раскачивались из бара в бальный зал, оттуда к столам с игрой в кости, оттуда назад в бар. Никто не жалел их на той великой человеческой колокольне, потому что они станут богаты, если уже не разбогатели. Им не надо мечтать, не надо и пальцем шевелить.

Франклин пошел в кино один. Кино не сумело предложить способ, как бы ему улучшить свою жизнь. Оно предлагало быть добрым, любящим и скромным, а Франклин если и был кем, то добрым, любящим и скромным.

Ферма на следующий день была цветов соломы и мороза. Земля принадлежала Мерле и была плоской как бильярдный стол. Куртки и шапки Мерле и Франклина, Руди и Карла сложились в скопленьице ярких пятнышек посреди поля.

Франклин стоял на коленях в щетине скошенных стеблей, взводя устройство, которое посылало тарелочку, иначе называемую «голубем», скакать по полю.

— Готово, — сказал он.

Мерле вскинул на плечо ружье, прищурился вдоль ствола, скривился и снова опустил.

— Тяни! — сказал он.

Франклин вырвал вытяжной шнур. Вылетела тарелочка.

Мерле выстрелил из одного ствола, потом, когда тарелочка была уже вне досягаемости, дурачась, из второго. Он промахнулся. Он промахивался весь день. И как будто не слишком расстраивался. Он ведь оставался боссом.

— Отстаю в счете, — сказал Мерле. — Наверное, чересчур стараюсь. — Он разломил ружье, выпрыгнули пустые гильзы.

— Кто следующий? — сказал он. — Карл?

Франклин зарядил в устройство еще тарелочку. «Птичку» ждет скорый конец. И следующую тоже. Карл весь день не промахивался, а за Карлом последовал Руди, который не промахивался тоже.

Удивительно, но не промахивался и Франклин. Равнодушный к происходящему, он словно бы слился со вселенной. Как оказалось, в такой бездумной гармонии он просто не может промахнуться.

Если бы выстрелы Мерле не приходились так далеко мимо цели, разговор свелся бы к мерному ритму «Готово… Тяни… Готово… Тяни». Ничего не было сказано про убийство маленькой мечты Франклина — мечты стать актером. Мерле не сде-

лал победного объявления, мол, мальчик точно однажды переймет фабрику.

В мирке съежившегося человечка Франклин взводил и взводил устройство с кошмарным ощущением, что они уже годы и годы стреляют по тарелочкам, что ничего кроме этого в жизни нет, и конец этому может положить только смерть.

Ноги у него заледенели.

— Готово, — сказал Франклин.

— Тяни! — сказал Карл.

Вылетела птичка. Выстрелило ружье, и птичка превратилась в пыль.

Руди постучал себя по виску, потом отсалютовал Карлу согнутым пальцем. Карл ответил таким же салютом. Так происходило весь день — без тени улыбки. Карл отошел, его место занял Руди, — следующий винтик в безрадостной машине по уничтожению «птичек».

Настала очередь Карла взводить устройство. Когда они с Франклином менялись местами, Франклин хлопнул его по плечу и улыбнулся цинично. Франклин все вложил в этот хлопок и эту улыбку: отцы и сыновья, молодые мечты и старые мечты, боссы и работники, замерзшие ноги, скука и порох.

Для Франклина это была сумасбродная вы-

ходка, — самое близкое к товариществу, что когда-либо происходило между ним и Карлом. Он поступил так с отчаяния. Франклину требовалось знать, есть ли внутри Карла человеческое существо, и если да, то какое оно.

Карл чуть приоткрылся — едва-едва. Он показал, что способен краснеть. И на долю секунды показал, что есть кое-что, что ему хотелось бы Франклину объяснить.

Но все это быстро пропало. Он не улыбнулся в ответ.

— Готово, — сказал он.

— Тяни! — сказал Руди.

Вылетела птичка. Выстрелило ружье, и птичка превратилась в пыль.

— Надо найти что-нибудь посложнее для вас, ребята, и попроще для меня, — сказал Мерле. — На ружье грех жаловаться, чертова штуковина обошлась мне в шесть сотен. А нужно мне за шесть долларов и чтоб на него всегда можно было положиться.

— Солнце садится. Свет портится, — сказал Руди.

— Тогда, наверное, хватит, — сказал Мерле. — Кто чемпион среди стариков, Руди, и так ясно. Но мальчики идут голова к голове. Надо бы устроить

соревнование.

— Могут попробовать с винтовкой, — сказал Руди.

Винтовка стояла прислоненная к плетню. У нее был телескопический прицел. Принадлежала она Мерле.

Мерле достал из кармана пустую пачку из-под сигарет и сорвал целлофановую обертку. Обертку он протянул Карлу.

— Повесьте-ка ее, ребята, в двухстах ярдах отсюда.

Франклин и Карл побрели вдоль плетня, побрели на двести ярдов. Они привыкли, что их вдвоем посылают с мелкими порученьями, с которыми легко бы справился один, привыкли представлять — ритуально — свое поколение в противоположность поколению отцов.

Оба молчали, пока обертка не была закреплена на столбе. А тогда, когда они отступили на шаг от мишени, Карл произнес что-то так робко, что Франклин не расслышал.

— Прости? — сказал Франклин.

— Я… я рад, что ты не переймешь фабрику, — сказал Карл. — Это хорошо… это прекрасно. Может, когда приедешь в наш город с гастролями, я приду за кулисы тебя повидать. Можно? Ты меня

не забудешь?

— Забуду тебя? — переспросил Франклин. — Вот те на, Карл!

На мгновение он показался себе актером, каким недолго мечтал стать.

— Выбирайся из-под своего старика, — сказал Карл. — Так и надо поступать. Мне просто хотелось тебе сказать… На случай, если ты подумал, будто я подумал что-то другое.

— Спасибо, Карл, — сказал Франклин. Он слабо тряхнул головой. — Но я не стану актером. Я возьму на себя фабрику, когда отец уйдет на покой. Я сказал ему вчера вечером.

— Почему? — спросил Карл. — Почему? — Он рассердился.

— Это сделает старика счастливым, а лучшей идеи у меня нет.

— Но ты же можешь, — сказал Карл. — Ты можешь уехать. Ты можешь стать кем угодно!

Франклин сложил ладони, потом открыл их — цветком фатализма.

— Любой может.

Глаза у Карла расширились.

— Я не могу, — сказал он. — Я не могу! У твоего отца есть не только ты. У него есть его большой успех. — Он отвернулся, чтобы Франклин не ви-

дел его лица. — А у моего старика есть только я.

— Да ладно, — сказал Франклин. — Эй, брось!

Карл повернулся к нему снова.

— Я — то, что он предпочел бы иметь вместо половины «Насосов Ваггонера», которую получил бы за две тысячи долларов! — сказал он. — Каждый день моей жизни он мне это говорил. Каждый день!

— Будь я проклят, Карл, — сказал Франклин, — у тебя же замечательные отношения с твоим отцом.

— С моим отцом? — недоверчиво переспросил Карл. — Нет, с твоим… с твоим. Это его мне полагается заставить меня любить. Он должен хотеть правую руку отдать ради сына вроде меня. Вот в чем смысл. — Он всплеснул руками. — Фургончик, дуэты, ружья, которые никогда не мажут, сын-идиот, натасканный слушаться сигналов, — всё, лишь бы твой отец хотел себе такого же.

Франклин был поражен.

— Ты все себе напридумывал, Карл. Твой собственный отец предпочел бы тебя вместо половины «Насосов Ваггонера» или еще чего!

— И я раньше так думал, — сказал Карл.

— Вспомни про пластинку и кубик, которые ты выточил, — сказал Франклин. — Ты подарил их

моему отцу, но на самом деле это был подарок твоему. Это же идеальный подарок от сына! Я своему никогда ничего такого не дарил, ничего, во что вкладывал сердце и душу. Я не мог!

Карл покраснел и опять отвернулся.

— Я их не делал, — сказал он. Его била дрожь. — Я пытался! Как я пытался!

— Не понимаю.

— Моему отцу пришлось их изготовить! — горько сказал Карл. — А я обнаружил, что не важно, кто их сделал, если только твой отец думает, что их сделал я.

Франклин тихо и печально присвистнул.

— Когда мой старик их сделал, он меня носом тыкал в то, как это для него важно. — Карл и впрямь утер нос рукавом куртки.

— Но, Карл… — сказал Франклин.

— А провались оно, — устало сказал Карл. — Я его не виню. Извини, что не сдержался. Я в порядке… Я в порядке. Переживу. — Он щелкнул пальцем по обертке. — Я промахнусь, и пошло оно.

Больше ничего сказано не было. Оба побрели назад к своим отцам. Франклину казалось, они оставляют разговор позади, что поднимающийся ветер уносит их темные мысли. К тому време-

ни, когда они вернулись на линию стрельбы, Франклин думал только про виски, стейк и раскаленную плитку.

Когда они с Карлом стреляли по обертке, Франклин задел уголок, Карл попал в середину. Руди постучал себя по виску, потом отсалютовал Карлу согнутым пальцем. Карл ответил таким же салютом.

После ужина Руди и Карл играли дуэтом на флейте и кларнете. Они играли без нот, замысловато и красиво. Франклин и Мерле могли только отбивать такт пальцами в надежде, что их постукивание по столу звучит как барабаны.

Франклин посмотрел на отца. Когда их взгляды встретились, они решили, что их дробь ни к чему. И постукивание прекратилось.

В это мирное мгновение Франклин к приятному своему недоумению обнаружил, что музыка говорит уже не только об одних Руди и Карле. Она говорила про всех отцов и сыновей. Она говорила то, что они сами говорили, запинаясь, иногда с болью, иногда с гневом, иногда с жестокостью, а иногда с любовью: что отцы и сыновья — одно.

А еще она говорила, что близится время расставания душ — не важно, как бы один ни был дорог другому, не важно, кто бы кого ни старался

удержать.

Волшебная лампа Хэла Ирвина

© Перевод. А. Аракелов, 2020

Хэл Ирвин соорудил волшебную лампу летом 1929 года в подвале своего дома в Индианаполисе. Он хотел сделать что-то похожее на лампу Аладдина и взял за основу старый жестяной чайник, с куском ваты в носике вместо фитиля. В боку посудины Хэл проковырял отверстие для кнопки от дверного звонка, а внутри закрепил пару батареек и сам звонок. Как и у многих примерных мужей в те времена, у Хэла в подвале была целая мастерская.

Он решил, что будет забавно вызывать таким образом прислугу. Потрешь чайник, словно это волшебная лампа, и незаметно нажмешь на кнопку. Зазвенит звонок, придет слуга — ну, если у тебя есть слуга, — и спросит, чего тебе надобно.

Своей прислуги у Хэла не было, но он собирался одолжить служанку у друга. Хэл Ирвин работал агентом в брокерской фирме, и дело свое знал досконально. Срубив на бирже полмиллиона долларов, он никому не сказал. Даже жене.

Волшебная лампа должна была стать для жены

сюрпризом. Хэл собирался сказать ей, что эта штука и вправду волшебная, а потом потереть лампу и пожелать новый большой дом. И доказать, что волшебство состоялось, потому что все желания исполняются.

Пока Хэл занимался лампой, специалисты по интерьеру завершали отделку нового «французского замка» на Норт-Меридиан-стрит.

Пока лампа еще не была готова, Хэл с Мэри жили в закопченном бараке на углу Семнадцатой и Иллинойс-стрит. За два года, прошедших с их свадьбы, они выбирались в город в кино или на танцы всего пять-шесть раз. Хэл не был скрягой, нет, ни в коем случае! Он просто копил деньги, чтобы купить жене вагон счастья — и еще маленькую тележку, — и собирался вывалить его перед ней все и сразу, одним большим комом.

Он был старше Мэри на десять лет, поэтому легко мог запудрить ей мозги во многих вопросах, в том числе — и в денежном. Он не говорил с ней о деньгах, не показывал счета и чеки, никогда не сообщал, сколько денег заработал и на что их потратит. Мэри видела лишь жалкие крохи, которые он выделял на домашнее хозяйство, из чего следовал вывод, что они бедны, как церковные мыши.

Мэри это не беспокоило. Она была терпеливой и кроткой, и к тому же глубоко религиозной. Жизнь в бедности давала ей простор для служения вере. Если в конце месяца у них оставалось достаточно денег, чтобы нормально питаться, и ей не приходилось выпрашивать у мужа дополнительные гроши на расходы, она чувствовала себя маленькой белой овечкой. Мэри считала, что и Хэл тоже счастлив, несмотря на бедность, ведь она дарила ему свою любовь, а это стоит миллионов.

Единственное, что беспокоило Мэри в связи с их бедностью — это уверенность Хэла, что его жена мечтает о богатстве. И она изо всех сил старалась его разубедить.

Когда Хэл заводил разговор о роскошной жизни — о загородных клубах для богатеев и катании на яхтах, — Мэри неизменно вспоминала о миллионах несчастных китайцев, у которых нет ни еды, ни крыши над головой.

— Моя зивет осень холосо для китайсы, — ответил Хэл в один прекрасный день.

— Ты живешь хорошо и для американца, и для всех остальных, — мягко возмутилась Мэри и обняла мужа, чтобы он почувствовал себя гордым, сильным и счастливым.

— Так вот, у твоего успешного китайца есть для тебя хорошая новость, — продолжал Хэл. — Завтра мы наймем кухарку. Я отправил заказ в бюро по трудоустройству.

Вообще-то женщина, которая должна была к ним прийти — ее звали Элла Райс, — придет вовсе не для того, чтобы готовить еду. И прислало ее отнюдь не бюро по трудоустройству. Элла работала у приятеля Хэла, с которым Мэри не была знакома. Тот дал Элле выходной, чтобы она пришла к Хэлу и сыграла роль джинна. Вернее, джиннии.

Хэл отрепетировал с ней все диалоги и обещал хорошо заплатить. А лишние деньги Элле явно не помешали бы: по ее расчетам, она должна была родить через шесть недель. Да и работа была непыльная. Всего-то и нужно, что надеть тюрбан, войти в комнату в нужный момент — когда Хэл покажет Мэри волшебную лампу, потрет ее и нажмет на кнопку — и сказать:

— Я джинния, раба лампы. Чего пожелает мой добрый спаситель?

После этого Хэл станет заказывать всякие роскошества, которые он уже купил, но Мэри еще не показывал. Первым желанием будет лимузин фирмы «Мармон». К тому моменту он уже должен стоять перед домом. Каждый раз, как Хэл загады-

вает желание, Элла Райс должна говорить:

— Слушаю и повинуюсь.

Но это будет завтра, а мы говорим про сегодня. Мэри решила, что Хэлу не нравится ее стряпня, — а готовила она отменно.

— Дорогой, — сказала Мэри, — тебе не нравится, как я готовлю?

— Ты прекрасно готовишь. Мне не на что жаловаться.

— Тогда зачем нам кухарка?

Хэл посмотрел на жену так, словно та была глухой, слепой и тупой одновременно.

— Думаешь, у меня совсем нет гордости? — спросил он и тут же прижал палец к ее губам. — Солнышко, только не надо опять вспоминать о китайцах, которые дохнут как мухи. Я тот, кто я есть, и живу там, где живу. И у меня есть своя гордость.

Мэри хотелось заплакать. Она думала, что утешает и ободряет Хэла, а оказалось, она только все портила.

— Ты представь, что я чувствую, когда вижу, как Би Мюллер или Нэнси Госсет ходят по дорогим магазинам в своих роскошных шубах? — не унимался Хэл. — Я сразу думаю о тебе… как ты сидишь в этой халупе. Я думаю: «Какого черта?!

Ведь когда-то я был президентом студенческого братства, в котором состояли их мужья! Какого черта, разве мы с Харвом Мюллером и Джорджем Госсетом не составляли Великий Триумвират?!» Так нас троих называли в колледже. Великий Триумвират! Мы правили колледжем, я не вру! Мы основали Совиный клуб, и я был его президентом! И посмотри, как все обернулось. Где они, а где мы? Мы тоже должны жить в богатом районе, на Пятьдесят Седьмой и Норт-Меридиан! И у нас должен быть коттедж на озере Максинкакки! Избавить жену от работы на кухне — это меньшее, что я могу сделать.

На следующий день, как и было задумано, в три часа пополудни Элла Райс постучалась в их дверь. В руках у нее был бумажный пакет с тюрбаном, который ей дал Хэл. Самого Хэла еще не было дома. Предполагалось, что Элла будет изображать новую кухарку и «превратится» в джиннию, когда он приедет с работы, в половине четвертого.

Хэл, однако, не предусмотрел, что Элла понравится Мэри, что Мэри примется ее жалеть и отнесется к ней не как к пришлой кухарке, а как к человеческому существу, которое переживает нелегкие времена и нуждается в участии и под-

держке. Он думал, что женщины отправятся на кухню — поболтать о своем, о женском, обсудить гастрономические пристрастия самого Хэла и все такое. Но Мэри спросила Эллу о ее беременности, которая сразу бросалась в глаза. Элла врать не умела, да и не видела смысла. Она просто-напросто разрыдалась. В итоге две женщины — одна белая, другая черная — вместо того, чтобы уйти на кухню, уселись в гостиной и затеяли беседу по душам.

Элла была не замужем. Отец ребенка, узнав о ее беременности, избил ее и растворился в туманных далях. У нее все болело и кололо, у нее не было родственников, и она не знала, сколько еще времени сможет работать прислугой. Она повторила то, что говорила Хэлу: что до родов осталось еще, кажется, месяца полтора. Мэри сказала, что очень хочет иметь детей, но не может. Это было слабое утешение.

Когда Хэл подъехал к дому в своем новом «Мармоне», обе женщины находились не в лучшем расположении духа для участия в его представлении. Да они просто ревели в голос! Но ему показалось, что волшебная лампа поднимет им настроение. Он сходил на второй этаж, где был спрятан заветный чайник, вернулся в гостиную

и воскликнул:

— Невероятно! Смотрите, что я нашел! Мне кажется, это волшебная лампа! Может быть, если ее потереть, то появится джинн? Или джинния? Да! Появится джинния и исполнит все наши желания!

Хэл и не думал нанимать на роль джинна чернокожего мужчину. Он вообще побаивался негров.

Элла Райс услышала условную фразу и встала с дивана, чтобы приступить к выполнению бредового поручения, за которое ей платил белый. Все, что угодно, за ваши деньги. После получаса на мягком диване вставать было больно. Даже Хэл заметил, как Элла невольно поморщилась.

Хэл пожелал «Мармон», и джинния ответила:

— Слушаю и повинуюсь.

Они вышли на улицу, Хэл велел женщинам сесть в машину — в его машину, полностью оплаченную, до последнего цента. Женщины расположились на заднем сиденье, и Мэри сказала Элле, не Хэлу:

— Большое спасибо. Это просто чудесно. Кажется, я схожу с ума.

Хэл завернул на Норт-Меридиан-стрит и принялся указывать на богатые дома по обе стороны

улицы. Каждый раз, как он показывал пальцем на какой-то дом, Мэри заявляла, что дом ей не нравится, и вообще было бы намного лучше, если бы он выкинул свою «волшебную» лампу в окно. Ее разозлило мужнино унизительное обращение с ее новой подругой Эллой.

Хэл затормозил перед «французским замком», который как раз докрашивали маляры. Он заглушил мотор, потер лампу, звякнул звонком и произнес:

— Джинния, я хочу новый дом на Норт-Меридиан-стрит, 5644.

— Ты не обязана его слушаться. Не отвечай ему, — сказала Элле Мэри.

Теперь Элла разозлилась на Мэри.

— Он мне платит! — Элла добавила еще несколько фраз на языке, характерном для человека ее расы, класса и уровня образования. Потом она застонала. У нее начались схватки.

Ирвины отвезли Эллу Райс в городскую больницу, единственную в городе, где лечили негров. Элла родила здорового мальчика, Хэл все оплатил.

Хэл и Мэри забрали ее с ребенком к себе. Старый дом выставили на продажу. Мэри, которая не могла иметь детей, выделила матери и ребен-

ку одну из семи спален, обставила ее красивой мебелью, оклеила симпатичными обоями и завалила игрушками, для которых мальчик был еще слишком мал. Вдобавок в распоряжении матери и ребенка была отдельная ванная.

Ребенка окрестили в негритянской церкви, Мэри присутствовала на церемонии. Хэл не пошел. Они с Мэри почти не разговаривали. Элла назвала сына Ирвином, в честь людей, которые ей помогли. Фамилия ему досталась материнская. Он стал Ирвином Райсом.

Мэри никогда не любила Хэла, хотя очень старалась. Это была ее работа. В те времена у женщины не было особых возможностей зарабатывать самой, а получить наследство ей было не от кого — разве что только от Хэла, если бы тот умер. Хэл был не глупее других ее знакомых мужчин. И она не хотела остаться одна. У них появился чернокожий дворник и чернокожая прачка, плюс еще белая служанка из Ирландии — она жила во флигеле. Мэри настояла, что готовить будет она сама. Элла вызвалась помочь, хотела готовить еду хотя бы для себя, но Мэри категорически не желала подпускать кого-то к плите.

Она так ненавидела новый дом, громадную машину, которая ее смущала, что ее неприязнь

перекинулась и на Хэла. Раньше он хотя бы ей нравился, а теперь — нет. Для Хэла это был сильный удар, сами понимаете. Женщина, на которой он был женат, не только не согревала его любовью или хотя бы суррогатом любви, она отдавала всю свою любовь чужому ребенку, черному, как пиковый туз!

Он никому не рассказывал о своих семейных проблемах, опасаясь, что сослуживцы посчитают его слабаком. Даже ирландская служанка обращалась с ним как со слабаком, словно главой семьи была Мэри. И, наверное, считала его идиотом.

Разумеется, Элла Райс сама заправляла свою постель и прибиралась у себя в комнате. Ей тоже не нравилась вся эта ситуация, но что она могла сделать? Она кормила грудью, это была ее единственная работа. Элла не ела внизу вместе с Ирвинами. Даже Мэри не допускала подобной мысли. Элла не ела с прислугой на кухне. Она приносила еду, приготовленную Мэри специально для нее, в свою комнату и ела там в одиночестве.

Зато дела на работе у Хэла шли лучше, чем когда бы то ни было. Помимо обычной торговли акциями и облигациями клиентов, он вкладывал много собственных денег в покупку ценных бумаг с маржей. «Покупать с маржей» означа-

ло, что он оплачивал только часть стоимости этих акций, остальные деньги давала взаймы его брокерская контора. Когда из-за большого спроса акции дорожали, Хэл их продавал. После расчетов с конторой у него на руках оставался неплохой навар.

И он мог покупать с маржей еще больше акций.

Через три месяца после спектакля с волшебной лампой биржа рухнула. Акции, купленные Хэлом, обесценились. Все вдруг решили, что эти акции не стоят бумаги, на которой напечатаны. Получилось, что Хэл теперь должен своей конторе — а та, в свою очередь, должна банку — намного больше, чем он мог заплатить, даже если бы продал все, что у него есть: новый дом, еще не проданный старый дом, мебель, машина… Вплоть до последней рубашки.

Хэл Ирвин, которого и в лучшие времена не окружали особой любовью в кругу семьи, вышел в окно седьмого этажа, не надев парашют. По всей стране нелюбимые женами мужчины его профессии выходили в окна без парашютов. Банк забрал оба дома и автомобиль. А потом лопнул и сам банк, и все, кто держали там деньги, остались без денег.

Мэри пришлось переехать в другой дом — на ферму ее овдовевшего отца, недалеко от Крауфордсвилля. Элле Райс некуда было идти, кроме той самой церкви, где крестили ее младенца. Мэри проводила ее туда. В церкви давали приют матерям с грудничками и детьми постарше, старикам, калекам и даже вполне здоровым молодым людям. Там было где спать. Там раздавали еду. Мэри не спрашивала, откуда она взялась. Мэри знала, что видит Эллу и Ирвина Райса в последний раз. Но Элла будет хоть как-то питаться, а значит, сможет кормить малыша.

Когда Мэри добралась до отцовской фермы, оказалось, что там отключено электричество и дождь протекает сквозь крышу. Но отец принял ее. А как же иначе? Она рассказала ему о бездомных в негритянской церкви. Она спросила, что с ними станет в эти ужасные времена.

— Бедные позаботятся о бедных, — ответил он.

Кричать о ней на всех перекрестках

© Перевод. Е. Романова, 2020

Книгу я прочел. Полагаю, в Вермонте все ее прочли, узнав, что Город ханжей — это на самом деле Крокерс-фолз.

Книжка не такая уж и неприличная, в наши дни и похуже пишут. Но из-под пера женщины такой неприличной книги еще не выходило, это точно — потому, наверное, роман и снискал такой успех.

Однажды я познакомился с автором книги — Элси Стрэнг Морган. И с ее мужем, школьным учителем. Я продавал им противоураганные окна и алюминиевые ставни — спустя два месяца после выхода романа. Тогда я еще не прочел его, а на шумиху, которую подняли в прессе, внимания не обращал.

Они жили в огромном запущенном фермерском доме в пяти милях от Крокерс-фолз, то есть в пяти милях от тех людей, которых Элси в своей книге разделала под орех. Обычно я не забираюсь так далеко на юг — клиентов у нашей фирмы там немного. В тот день я возвращался с торго-

вого совещания в Бостоне, увидел большой дом без ставней — вот и решил заглянуть на всякий случай.

Я понятия не имел, чей это дом.

Я постучал, и ко мне вышел молодой человек в халате поверх пижамы. Выглядел он так, словно не брился неделю и примерно столько же не вылезал из пижамы и халата — вид у них был очень обжитой. Глаза молодого человека горели. Передо мной был муж. Ланс Магнум из книги, великий любовник, — правда, в жизни он больше смахивал на великого ненавистника.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Добрый день, — очень недобро ответил он.

— Я проезжал мимо и не мог не заметить, что на вашем прекрасном старом доме до сих пор нет противоураганных окон.

— Попробуйте еще раз.

— Простите? — не понял я.

— Попробуйте не заметить, что на нашем прекрасном старом доме нет противоураганных окон.

— Если вы установите такие окна, знаете, кто за них заплатит? — Это был риторический вопрос, я хотел сам на него ответить: заплатит за них местный торговец топливом, поскольку противо-

ураганные ставни сэкономят вам уйму горючего! Но мистер Морган меня опередил:

— Конечно, знаю — моя жена, — ответил он. — В этом доме только она зарабатывает деньги. Наш добытчик!

— Хм, я не в курсе ваших семейных обстоятельств…

— Неужели? — переспросил он. — А все остальные в курсе. Вы не умеете читать?

— Умею, — ответил я.

— Тогда сбегайте в ближайший книжный, отстегните шесть долларов и прочтите о величайшем любовнике современности — обо мне! — крикнул он и хлопнул дверью.

Поначалу я пришел к выводу, что он спятил, и уже хотел уехать, когда на заднем дворе кто-то закричал. Наверное, я помешал ему убивать жену, и теперь он вернулся к своему занятию, подумал я.

Обежав дом, я увидел, что страшные звуки издает старый ржавый насос.

Впрочем, их могла издавать и женщина, потому что она заставляла кричать насос и, казалось, вот-вот закричит сама. Схватившись за рычаг обеими руками, она рыдала и давила на него всем телом. Вода лилась в переполненное ведро и хлестала на землю. Тогда я еще не знал, что

передо мной Элси Стрэнг Морган. Элси Стрэнг Морган не хотелось воды. Ей хотелось тяжелой работы и шума.

Увидев меня, она замерла на месте. Откинула с лица волосы. То была Селеста, разумеется, главная героиня романа. Женщина, не знавшая любви до встречи с Лансом Магнумом, — хотя в жизни она выглядела так, словно опять забыла, что это такое.

— Вы кто? — спросила она. — Судебный пристав или продавец из «роллс-ройса»?

— Ни то, ни другое, миссис, — ответил я.

— Тогда вы ошиблись адресом. К нам теперь заходит только две категории посетителей: одни хотят отсудить у меня миллион, другие думают, будто я мечтаю жить, как арабский шейх.

— Видите ли, я торгую высококачественным товаром, — заговорил я. — Но товар этот быстро окупается. Я уже говорил вашему мужу…

— Когда?

— Только что… он открыл мне дверь.

Она удивилась.

— Поздравляю!

— Простите?

— Вы первый человек, с которым он общался после увольнения из школы, — пояснила Элси.

— Очень жаль, что его уволили…

— Вы как будто первый раз об этом слышите.

— Видите ли, я не местный, — начал оправдываться я, — живу на севере штата.

— О его увольнении знают все — от Чикахомини до Бангкока, — сказала она и вновь зарыдала.

Теперь я твердо уверился, что спятили оба: и муж, и жена. А если у них есть дети, то и они наверняка съехали с катушек. Вряд ли здесь можно найти надежных плательщиков по кредиту за противоураганные окна. Хорошенько оглядевшись по сторонам, я усомнился, что в этом доме хватит денег на первый взнос. Во дворе я заметил несколько цыплят на три доллара, «шевроле» за пятьдесят долларов и выстиранную одежду на сушилке. Наряд Элси — синие джинсы, кеды и шерстяная рубашка — в общей сложности стоил не больше полутора долларов на благотворительной распродаже в пожарной части.

— Миссис, — сказал я, готовясь уходить, — я вам очень сочувствую и был бы рад помочь, честное слово. Вы знаете, со временем все наладится, и тогда я с удовольствием покажу вам настоящий «роллс-ройс» на рынке противоураганных окон, наши великолепные рамы «Американ три-трак» из анодированного алюминия, с убирающимися

ставнями — очень прочными и долговечными.

— Погодите! — крикнула она, когда я отвернулся.

— Слушаю, мэм.

Тут она схватила рычаг насоса и опять выжала из него душераздирающий крик.

Многие спрашивают меня, какая она в жизни: неужели и впрямь такая суровая и могучая, как на задней обложке книги? Не понимаю, из каких соображений она выбрала этот снимок — разве что ей хотелось, чтобы все считали ее дальнобойщиком. В жизни она гораздо привлекательней и женственней — ни капли не похожа на Джимми Хоффу[34].

Центр тяжести у нее низковат, что правда, то правда. Возможно, она чуть полновата, но многим мужчинам это нравится. Самое главное — это ее лицо. Милое, доброе, любящее лицо. В жизни Элси не выглядит так, словно напряженно пытается вспомнить, куда дела свою сигару.

На сей раз насос заверещал так громко, что на шум вышел ее муж. В руке у него была кварта пива.

---

[34] Примечания: 34

Джеймс (Джимми) Хоффа (1913 — дата смерти неизвестна) — американский профсоюзный лидер. — *Примеч. пер.*

— Оно уже полное! — крикнул он.

— Что? — не переставая качать, спросила она.

— Ведро полное!

— Плевать!

Тогда он взялся за рычаг и остановил жену.

— Ей нездоровится, — пояснил он мне.

— Да, я богата и знаменита, — кивнула Элси. — И у меня не все дома.

— Я бы на вашем месте поскорей отсюда убрался, — сказал ее муж. — Или посреди следующей книги вы окажетесь в постели с… да бог знает с кем!

— Не будет никакой следующей книги! — крикнула Элси. — И вообще ничего не будет! Я уезжаю отсюда — навсегда! — Она села в «шевроле» и врубила зажигание, но ничего не произошло. Аккумулятор разрядился.

Она тоже разрядилась: закрыла глаза и уронила голову на руль. Складывалось впечатление, что она хочет провести так вечность.

Прошло больше минуты, и ее муж заволновался. Он босиком подошел к автомобилю, и я сразу увидел, как он ее любит.

— Милая? — позвал он. — Сладкая моя?

Она не поднимала головы. Шевелились только ее губы:

— Позвони тому продавцу из «роллс-ройса». Я хочу «роллс-ройс». Прямо сейчас.

— Милая? — опять окликнул ее муж.

Она подняла руку.

— Хочу! — Вид у нее стал по-настоящему суровый. — Еще я хочу норковую шубу. Нет, две! Сотню платьев от Бергдорфа Гудмана! Кругосветное путешествие! И бриллиантовую диадему «Картье»! — Она вылезла из машины. Самочувствие ее, очевидно, улучшилось. — Что вы продаете? — спросила она меня.

— Противоураганные окна, — ответил я.

— Их тоже хочу! Противоураганные окна на весь дом!

— Мэм? — переспросил я.

— Вы больше ничего не продаете? На кухне лежит чек на сто шестьдесят тысяч долларов, а вы к нему даже не притронулись.

— Ну… я могу предложить вам противоураганные двери, душевые кабинки и жалюзи.

— Отлично! Беру все! — Она остановилась рядом с мужем и окинула его взглядом. — Может, твоя жизнь и кончена, — заявила она, — а моя только начинается! Может, твоей любви мне больше не видать — если ты вообще меня любил, — но зато у меня будет все, что можно купить за

деньги, а это немало!

Она вошла в дом и так хлопнула дверью, что там треснуло стекло.

Ее муж подошел к ведру с водой и вылил в него кварту пива.

— Спиртное не помогает, — сказал он.

— Досадно.

— Что бы вы сделали на моем месте? — спросил он. — Как бы поступили?

— Наверное, рано или поздно совершил бы самоубийство, — ответил я. — Потому что в этом доме творится какое-то безумие. Человеческая психика долго такого не выдержит.

— Хотите сказать, мы ведем себя неразумно? — спросил он. — Что наши беды — надуманные? Да вы хоть на минутку представьте, какому испытанию подверглась наша семья!

— Как же я могу представить, если совсем вас не знаю?

Он не поверил собственным ушам.

— Не знаете? Вы не знаете, как меня зовут? — Он показал пальцем на дверь. — И ее имени тоже не знаете?

— Нет, — сознался я. — Но очень хотел бы, ведь она только что сделала мне самый большой заказ со времен гостиницы «Зеленая гора». Или она

пошутила?

Теперь он смотрел на меня как на невероятно красивую диковинку, способную испариться в любую секунду.

— Я для вас — самый заурядный и обыкновенный человек? — уточнил он.

— Да. — Впрочем, это было не совсем так — после концерта, который они мне устроили.

— Заходите, заходите! — воскликнул он. — Чем вас угостить? Пивом? Кофе?

Меня устраивало что угодно. Ланс затолкал меня на кухню: я непременно должен был провести с ним этот день. Первый раз я видел человека, который так истосковался по обычной беседе. Примерно за полчаса мы обсудили все: от любви до литературы.

А потом пришла его жена: в полной боевой готовности к скандалу, самому большому скандалу в ее жизни.

— Я заказала «роллс-ройс», — заявила она, — и новый аккумулятор для «шевроле». Когда его привезут, я уеду на «шевроле» в Нью-Йорк, а тебе останется «роллс-ройс» — компенсация за моральный ущерб.

— Да ты с ума сошла, Элси…

— Сошла, но теперь вернулась. Хватит с меня

этого безумия. Я начинаю жить!

— Что ж, бог в помощь.

— Рада, что ты нашел себе друга, — сказала Элси, поглядев на меня. — У меня, к сожалению, пока нет друзей, но в Нью-Йорке они появятся — это будут чудесные люди, которые не боятся принимать жизнь такой, какая она есть!

— Ты знаешь, кто этот человек? — спросил ее муж.

— Он хотел продать нам противоураганные окна, — ответила она, а потом обратилась ко мне: — Что ж, ты их продал, мальчик. Целый акр противоураганных окон — надеюсь, они защитят моего первого мужа от простуды. Чтобы покинуть этот жилище с чистой совестью, я должна убедиться, что оно абсолютно безопасно и пригодно для жизни человека, который не вылезает из пижамы.

— Элси, послушай… — начал Ланс. — Этот человек — одно из немногих живых существ на всем белом свете, которые еще не слышали ни про тебя, ни про меня, ни про книгу. Он еще видит в нас обычных людей, а не предмет насмешек, негодования, зависти, бесстыдных сплетен…

Элси Морган обдумала слова мужа. Чем дольше она думала, тем сильнее менялась. Из безумной

женщины она превратилась в тихую волоокую домохозяйку.

— Как поживаете? — осведомилась она.

— Хорошо, спасибо, мэм.

— Вы, верно, подумали, что попали в сумасшедший дом.

— Ну что вы, мэм. — Ложь выбила меня из колеи, и я, не зная куда деть руки, схватился за стоявшую на столе сахарницу. Под ней оказался чек на сто шестьдесят тысяч долларов. Я не шучу, ей-богу: под треснувшей пятнадцатицентовой сахарницей лежал чек, который Элси получила за права на экранизацию романа.

От удивления я сшиб чашку и вылил на чек кофе.

Знаете, сколько человек кинулось его спасать?

Один.

Я.

Я вытащил чек из лужи и обтер, а Элси Стрэнг Морган и ее муж все это время безразлично глазели на меня, ничего не предпринимая. Чек — билет в новую жизнь, полную роскоши и развлечений — значил для них не больше, чем шанс выиграть индейку на деревенской лотерее.

— Вот, — сказал я, передавая чек мужу. — Спрячьте подальше.

— Еще чего! — Он скрестил руки на груди, отказываясь брать чек.

Тогда я протянул его Элси. Она тоже не захотела его взять.

— Отдайте в свой любимый благотворительный фонд, — сказала она. — То, что мне нужно, за деньги не купишь.

— А что тебе нужно, Элси? — спросил ее муж.

— Я хочу, чтобы все стало как раньше, — ответила она, мрачнея, — и как уже никогда не будет. Я снова хочу быть глупенькой, робкой, милой домохозяйкой. Женой школьного учителя, едва сводящего концы с концами. Я хочу опять любить своих соседей, и чтобы они тоже меня любили. Хочу радоваться всяким глупым пустякам — солнцу, подешевевшему мясу, трехдолларовой прибавке к жалованью моего мужа. — Она показала пальцем на окно. — Там сейчас весна. Ручаюсь, все женщины мира ей радуются — кроме меня.

А потом она рассказала про книгу. Рассказывая, она стояла у окна и смотрела на бесполезную весну за окном.

— Мужественный и искушенный жизнью герой романа уезжает из Нью-Йорка в крошечный вермонтский городок — преподавать английский

в сельской школе.

— Это я, — пояснил муж. — Она назвала меня Лансом Магнумом вместо Лоренса Моргана, чтобы никто не узнал, а потом описала вплоть до шрамика на переносице. — Он взял из холодильника еще одну бутылку пива. — Понимаете, она сочиняла втихомолку. Я до последнего думал, будто она записывает всякую ерунду — рецепты тортов или еще что, — пока нам не принесли шесть авторских экземпляров ее изданной книги. Возвращаюсь я как-то с работы, а они лежат стопочкой на кухонном столе — шесть экземпляров «Города ханжей», автор — силы небесные! — Элси Стрэнг Морган! — Он сделал большой глоток пива и грохнул бутылкой об стол. — Вокруг разбросаны конфеты, а на стопке лежит шикарная алая роза.

— Герой книги, — сказала Элси Стрэнг Морган, выглядывая в окно, — влюбляется в простую деревенскую девушку, которая безвылазно живет в своем крошечном городке — только раз, еще в школе, они с классом ездили в Вашингтон на фестиваль цветущей вишни.

— Это ты, — сказал ее муж.

— Да, это я… была я. Взяв меня в жены, муж быстро понял, что моя наивность и застенчивость невыносимы.

— В книге? — уточнил я.

— В жизни, в книге — какая разница? — сказал муж. — Знаете, кто главный злодей?

— Нет.

— Жадный банкир по имени Уолкер Уильямс, — ответил за меня он. — А знаете, кто на самом деле заправляет Сберегательным банком Крокерс-фолз?

— Понятия не имею.

— Жадный банкир по имени Уильямс Уолкер! Боже правый, моей жене впору работать в ЦРУ — придумывать новые сверхсложные шифры!

— Ну прости, прости… — пробормотала Элси, но в ее голосе слышалось не только сожаление. Ее браку пришел конец. Всему пришел конец.

— Наверно, я должен сердиться на школьный совет — они все-таки меня уволили! Но я их не виню. Все четверо описаны в книге, да так, что ошибиться невозможно! А даже не будь их в романе, как можно позволить знаменитому сердцееду, беспощадному губителю женщин, и дальше наставлять молодежь? — Он встал за спиной у жены. — Элси Стрэнг Морган, что на тебя нашло? Что тобой двигало?

И вот как она ответила:

— Ты, — тихо проговорила она. — Мною двигал

ты. Подумай, какой я была до встречи с тобой. Да я бы ни слова не написала из этой книги: подобные мысли просто не водились в моей голове. Конечно, я слышала про грязные тайны Крокерсфолз, но меня они не заботили. Ничего вопиюще дурного я в них не видела.

Она повернулась к нему лицом.

— А потом в город явился ты, великий Ланс Магнум, и вскружил мне голову. Ты увидел, что в одном я слишком стеснительна, в другом — консервативна, а в третьем лицемерна. Ради твоей любви я изменилась.

Ты велел мне не бояться жить, и я перестала бояться. Ты велел мне разглядеть истинную сущность моих друзей и соседей — они подлые, жадные, недалекие, ограниченные, — и я увидела их истинную сущность.

Ты велел мне, — сказала жена своему мужу, — не стыдиться любви, а гордиться ею — кричать о ней на всех перекрестках.

И я кричала.

А книгу я написала, чтобы ты понял, как велика моя любовь и сколь многому ты меня научил.

А потом я начала ждать. Я ждала и ждала — хоть самого мизерного намека на то, что тебе все стало ясно, — сказала Элси Стрэнг Морган, — что эта

книга не только моя, но и твоя. Я была матерью. Ты был отцом. А книга, с божьей помощью, стала нашим первенцем.

* * *

После этой речи я ушел.

Мне бы хотелось услышать, что сказал Ланс Магнум о страшном ребенке, которого прижила от него простая деревенская девушка, однако он попросил меня уйти.

На улице механик менял аккумулятор «шевроле». Тут я понял, что если кто-нибудь из них прыгнет в машину и укатит прочь, то скандальная любовная интрига между Лансом и Селестой закончится здесь и сейчас.

Поэтому я сказал механику, что произошла ошибка и нам вовсе не нужен аккумулятор.

Я от души рад своему поступку: когда я вернулся через два дня, Элси Стрэнг Морган и ее муж все еще были вместе и ворковали друг с другом, точно голубки. Они подписали договор на замену окон и дверей по всему дому — душевые кабинки продать не удалось, поскольку им еще не провели канализацию. Зато «роллс-ройс» у них уже был.

Пока я замерял окна, муж Элси Стрэнг Морган принес мне кружку пива. Он был в новом костю-

ме и гладко выбрит.

— Смотрю, вы признали отцовство, — заметил я.

— Если б не признал, — ответил он, — то был бы самым жутким ханжой в Городе ханжей. Какой отец откажется от своего ребенка?

Недавно я слышал, что она написала вторую книгу, и мне страшно ее открывать. Говорят, главный герой торгует противоураганными окнами. Он ходит по домам и делает замеры — а книга о том, что он видит внутри.

Закрытый клуб Эда Луби

© Перевод. О. Василенко, 2020

Часть I

Когда-то Эд Луби работал телохранителем у Аль Капоне, затем сам занялся контрабандой спиртного и сделал на этом неплохие деньги. Когда сухой закон отменили, Эд Луби вернулся в родные места, в старинный промышленный городишко Илиум, где купил несколько предприятий, в том числе и ресторан. Ресторан получил название «У Эда Луби» и славился на всю округу. На красной входной двери сиял бронзовый дверной молоток.

Однажды вечером, в семь часов, Харви и Клэр Эллиот постучали молотком в красную дверь, потому что она была закрыта. Эллиоты приехали из соседнего городка в тридцати милях отсюда, чтобы отпраздновать четырнадцатую годовщину свадьбы. Все предыдущие годовщины они отмечали в ресторане Эда Луби.

Детьми супругов Эллиот Бог не обидел, счастья

тоже хватало, а вот с деньгами было туговато. И все-таки раз в год они позволяли себе пошиковать: разодевшись по-праздничному, доставали из сахарницы заветные двадцать долларов, приезжали в ресторан «У Эда Луби» и сорили деньгами, точно короли.

В ресторане горел свет и играла музыка. Стоянка была забита машинами, и все они выглядели гораздо новее старенького «универсала» Эллиотов, который разваливался на ходу. Ресторан явно работал, но красная дверь не поддавалась.

Харви еще немного поколотил по ней дверным молотком, и вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял сам Эд Луби — злобный старик, совсем лысый, маленький и тяжелый, словно пуля 45-го калибра.

Эд Луби был в ярости.

— Какого черта вы в дверь колотите? Хотите гостей переполошить? — проскрежетал он.

— Что? — не понял Харви.

Луби выругался и посмотрел на молоток.

— Снять его сейчас же к чертовой матери! Что за тупость — молоток на дверях! — Он повернулся к стоявшему за спиной громиле. — Сними его прямо сейчас!

— Есть, сэр, — ответил громила и отправился

за отверткой.

— Извините, мистер Луби, — вежливо сказал озадаченный Харви, — что, собственно, происходит?

— Что происходит? — повторил Луби. — Это я должен у вас спросить, что, собственно, происходит. — Он по-прежнему рассматривал молоток, игнорируя Харви и Клэр. — Что это вам в голову втемяшилось? Хэллоуин наступил, что ли? Пора надеть дурацкие костюмы и барабанить в дверь частного заведения, пока все там с ума не сошли от грохота?

Шуточка насчет дурацких костюмов явно предназначалась для того, чтобы задеть Клэр, и стрела попала в цель. Клэр очень чувствительно реагировала на замечания о своей внешности: не потому, что выглядела смешно, а потому, что платье сшила сама, а шубку взяла напрокат. На самом деле Клэр выглядела просто замечательно. Замечательно для тех, кто умеет разглядеть красоту — красоту, тронутую жизненными невзгодами. Клэр была стройная, нежная и невероятно жизнерадостная. Годы, тревоги и работа всего лишь оставили на ее лице легкий отпечаток постоянной усталости.

Харви Эллиот не сразу отреагировал на шпиль-

ку: он все еще пребывал в праздничном настроении, все неурядицы и вся низость будней на время отодвинулись. Харви не собирался обращать внимание ни на что плохое. Он хотел одного — войти в ресторан, где звучит музыка, где подают еду и напитки.

— Дверь не открывалась, — объяснил Харви. — Извините, мистер Луби. Просто дверь заклинило.

— Дверь не заклинило, она была заперта, — ответил Луби.

— Вы… вы что, закрылись? — неуверенно спросил Харви.

— Теперь здесь закрытый клуб, — заявил Луби. — У всех членов клуба есть ключ. У вас есть ключ?

— Нет… — признался Харви. — А как… как нам его получить?

— Заполните заявление, заплатите сто долларов и ждите решения комиссии, — объяснил Эд Луби. — Это занимает недели две, иногда месяц.

— Сто долларов! — воскликнул Харви.

— Знаете, ребята, я не думаю, что вам у нас понравится, — сказал Луби.

— Но мы же всегда отмечали у вас годовщину свадьбы, вот уже четырнадцать лет… — Харви почувствовал, что краснеет.

— Ну да, я знаю. Я вас очень хорошо помню.

— В самом деле? — с надеждой спросил Харви.

Теперь Луби повернулся к ним самой мерзкой стороной.

— Так ведь у тебя же куры денег не клюют, — сказал он Харви. — Ты мне как-то двадцать пять центов на чай дал. Мне, Луби, хозяину заведения, ты однажды дал целых двадцать пять центов. Разве можно забыть такого крутого парня?

Луби нетерпеливо взмахнул пухлой ручкой.

— Вы бы отошли с дороги, — обратился он к Харви и Клэр. — Пройти людям не даете. Не видите что ли, члены клуба хотят войти.

Харви и Клэр смиренно отступили назад.

К дверям величаво приблизились те самые члены клуба, которым они мешали пройти: муж и жена средних лет, пышнотелые, самодовольные, с лицами, неотличимыми друг от друга как два грошовых пирожка. Мужчина был одет в новый фрак. Зеленое вечернее платье и темная соболиная накидка делали женщину похожей на гусеницу.

— Добрый вечер, господин судья, — обратился к ним Луби. — Добрый вечер, миссис Уомплер.

Судья Уомплер держал в руке золотой ключ.

— А я-то надеялся им воспользоваться, — ска-

зал судья.

— Пришлось открыть дверь для небольшого ремонта, — объяснил Луби.

— Понятно, — кивнул судья.

— Молоточек решили снять, — продолжал Луби. — А то приходят тут всякие, не хотят верить, что это закрытый клуб, и давай барабанить в дверь, всех гостей переполошили.

Судья и его супруга бросили на Харви и Клэр беглый взгляд, полный тошнотворного презрения.

— Так мы не первые прибыли? — спросил судья.

— Начальник полиции приехал час назад, — ответил Луби. — Доктор Уалдрон, Кэйт, Чарли, мэр — все уже в сборе.

— Прекрасно, — сказал судья и вошел вместе с женой в клуб.

Давешний громила, телохранитель Эда Луби, вернулся с отверткой.

— Эд, они все еще тебя достают? — спросил он и, не дожидаясь ответа, двинулся на Харви. — Давай-давай, малыш, проваливай.

— Харви, пойдем отсюда, — чуть не плача, попросила Клэр.

— Вот именно, проваливай! — заявил Луби. — Идите-ка лучше в дешевую забегаловку, там вам

подадут на ужин отличный гамбургер за полтора доллара. А кофе хоть залейся, причем бесплатно. Оставьте им двадцать пять центов чаевых, и вас примут за миллионера.

* * *

Харви и Клэр вернулись к своей старенькой машине. Харви был так унижен и взбешен, что не осмеливался сесть за руль. Он сжал дрожащие руки в кулаки, мечтая придушить Эда Луби вместе с телохранителем.

Больше всего Харви донимала мысль о злосчастных чаевых.

— Четырнадцать лет назад… Наша первая годовщина. Тогда я дал этому паршивцу двадцать пять центов! И он до сих пор помнит!

— Он хозяин, имеет право сделать закрытый клуб, если хочет, — безразлично сказала Клэр.

Телохранитель Луби снял молоток и вместе с хозяином вошел внутрь, хлопнув большой красной дверью.

— Ну конечно, имеет! — бушевал Харви. — Разумеется, он имеет на это право! Но эта вонючая крыса не имеет права оскорблять людей!

— Да он просто больной, — сказала Клэр.

— Прекрасно! — Харви стукнул кулаками по

приборной доске. — Больной, значит. Тогда давайте перестреляем всех таких больных, как Луби.

— Смотри, — сказала Клэр.

— На что? — спросил Харви. — Что я тут могу увидеть, от чего мне полегчает или, наоборот, еще сильнее затошнит?

— Просто посмотри на замечательных людей, которым повезло стать членами клуба.

Из такси вылезали двое в стельку пьяных пассажиров, мужчина и женщина. Пытаясь заплатить водителю, мужчина уронил мелочь и золотой ключ от дверей клуба. В поисках пропажи он встал на четвереньки. Его спутница, судя по виду, девица легкого поведения, прислонилась к машине, явно не в состоянии держаться на ногах без посторонней помощи.

Мужчина поднялся, с гордостью держа в руках ключ.

— Это ключ от самого дорогого клуба в Илиуме, — похвастался он водителю.

Собираясь заплатить, он обнаружил, что самая мелкая купюра в его кошелке — двадцать долларов. Сдачи у водителя не было.

— Подожди здесь, — велел пьянчужка. — Мы зайдем в клуб, и я разменяю.

Он подвел спутницу к дверям и попытался вста-

вить ключ в замочную скважину. Все попытки были безуспешны.

— Сезам, откройся! — кричал он, смеялся и снова тыкал ключом.

— Какие славные люди входят в этот клуб, — сказала Клэр мужу. — Жаль, что мы туда не вхожи, верно?

Пьянчужка наконец попал ключом в замочную скважину и вместе с подругой буквально ввалился внутрь.

Через несколько секунд они вывалились обратно, погоняемые Эдом Луби и телохранителем.

— Вон! Вон! — кудахтал Эд Луби в темноте. — Где ты взял ключ?

Пьянчужка не ответил, и Эд Луби сгреб его за грудки и прижал к стене.

— Я тебя спрашиваю, где ты взял этот ключ?

— Гарри Варнум дал, — признался пьянчужка.

— Передай Гарри, что он больше не член клуба, — заявил Луби. — Если кто-нибудь даст свой ключ недоноску вроде тебя, из клуба он исключается.

Луби повернулся к спутнице пьянчужки.

— Не вздумай еще раз здесь появиться! Тебя я не впущу, даже если ты придешь под ручку с самим президентом. Я для того и превратил ресторан в закрытый клуб, чтобы свиньям вроде тебя вход

был закрыт и мне не приходилось обслуживать… — И он назвал ее тем самым словом, которое описывало ее профессию.

— Бывают в жизни вещи и похуже, — ответила она.

— Например? — нахмурился Луби.

— Я-то никого не убивала. В отличие от некоторых.

Луби и глазом не моргнул.

— Ты хочешь побеседовать об этом с начальником полиции? — спросил он. — Или с мэром? А может, с судьей Уомплером? В этом городе убийц считают злостными преступниками. — Луби подошел к девице вплотную и смерил ее взглядом. — То же самое с крикунами и… — Он снова назвал ее по заслугам. — Меня от тебя тошнит.

И тут Луби с размаху дал ей пощечину. Он ударил девицу так сильно, что та покачнулась и беззвучно рухнула на землю.

Пьянчужка попятился от нее, от Луби, от громилы-телохранителя, даже не пытаясь помочь своей спутнице. Он просто хотел убраться подальше отсюда.

Зато Харви Эллиот выскочил из машины и помчался к Луби прежде, чем Клэр успела его остановить.

Харви врезал Эду Луби в живот — живот оказался твердым, как железная бочка.

Удовлетворение от удара стало последним, что запомнил Харви, — в себя он пришел уже на пассажирском сиденье. Машина стремительно мчалась вперед, за рулем сидела Клэр. Голова Харви бессильно лежала на плече жены, с которой он прожил четырнадцать лет.

* * *

На щеках Клэр еще не высохли слезы, но она больше не плакала. С мрачным и решительным видом Клэр на полной скорости гнала машину по грязным, неухоженным улочкам делового района Илиума. Редкие фонари горели тусклым светом. Машину то и дело потряхивало на рельсах заброшенных трамвайных путей. Большие часы в витрине ювелирного магазина давно остановились. На неоновых вывесках, одинаково маленьких и красных, горели слова «БАР», «ПИВО», «ЗАКУСОЧНАЯ» и «ТАКСИ».

— Куда мы едем? — спросил Харви.

— Ты очнулся! Как ты себя чувствуешь? — отозвалась Клэр.

— Не знаю, — ответил Харви.

— Посмотрел бы ты на себя.

— И что бы я увидел?

— Вся рубашка в крови. Твой выходной костюм безнадежно испорчен, — сказала Клэр. — Я ищу больницу.

Харви сел прямо, осторожно повел плечами и покрутил головой, пощупал затылок.

— Со мной все так плохо? — спросил он. — Мне нужно к врачу?

— Не знаю, — ответила Клэр.

— Ну… вроде ничего страшного, — успокоил ее Харви.

— Тебе-то, может, и не нужно к врачу, а вот ей — нужно.

— Кому ей? — удивился Харви.

— Этой девушке… женщине, — пояснила Клэр. — На заднем сиденье.

Преодолевая острую боль в шее, Харви оглянулся.

На разложенном заднем сиденье, укрытая мужским пальто и с детским комбинезончиком под головой, лежала та самая женщина, которую ударил Эд Луби. Там же сидел ее спутник. Именно ему и принадлежало пальто. От веселости не осталось и следа, пьянчужка выглядел серым и нездоровым. Судя по потухшему взгляду, разговаривать он был не в настроении.

— А эти двое как здесь оказались? — спросил Харви.

— А это нам подарочек от Эда Луби с дружками, — ответила Клэр.

Ее самообладание начинало давать трещину. На глаза вновь наворачивались слезы.

— Они зашвырнули тебя и женщину в машину. Сказали, что и меня тоже побьют, если я не уеду.

И тут Клэр не выдержала. Она затормозила у тротуара и разрыдалась. Харви принялся ее успокаивать и тут услышал, как задняя дверца открылась, потом захлопнулась — пьянчужка сбежал. Он забрал с собой пальто и, стоя на тротуаре, принялся одеваться.

— Эй, ты что делаешь? — крикнул ему Харви. — Вернись и помоги женщине!

— Приятель, ей моя помощь не нужна, — ответил тот. — Ей нужен гробовщик. Она умерла.

Вдалеке завыла сирена. Сверкая мигалками, приближалась полицейская машина.

— А вот и ваши друзья-полицейские, — сказал пьянчужка и растворился в темноте.

Патрульная машина затормозила прямо перед стареньким «универсалом» Эллиотов. Синяя мигалка вращалась, бросая жуткие отсветы на здания и улицу. Из машины вышли двое поли-

цейских: каждый с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой.

— Руки вверх! — приказал один из стражей порядка. — И без фокусов.

Харви и Клэр подняли руки вверх.

— Это вы безобразничали возле клуба Эда Луби? — На плечах спрашивающего красовались сержантские нашивки.

— Безобразничали? — удивился Харви.

— А ты, должно быть, тот самый парень, который ударил девку, — сказал сержант.

— Я? — Харви не поверил своим ушам.

— Она в машине, на заднем сиденье, — подтвердил другой полицейский.

Он открыл заднюю дверцу, посмотрел на женщину, приподнял ее белую руку, и та безвольно упала.

— Умерла, — сказал он.

— Мы везли ее в больницу, — объяснил Харви.

— И ты думаешь, что этим можно все исправить? — спросил сержант. — Врезал ей со всего маху, а потом отвез в больницу — и теперь все в порядке, так что ли?

— Я ее не бил! — запротестовал Харви. — Зачем бы мне ее бить?

— Она сказала что-то такое, что не понравилось

твоей жене, — ответил сержант.

— Ее Луби ударил, — сказал Харви. — Это был Луби.

— Правдивая история, за исключением маленькой детали, — сказал сержант.

— Какой еще детали? — спросил Харви.

— Свидетелей, — объяснил сержант. — И каких свидетелей, приятель: мэр, начальник полиции, судья Уомплер с женой — все они видели, как ты ее ударил.

Харви и Клэр Эллиот отвезли в обшарпанный полицейский участок города Илиум.

Там у них сняли отпечатки пальцев, причем не дали ничего, чем можно вытереть чернила с рук. Эта унизительная процедура была проделана так четко и стремительно, что Харви и Клэр скорее удивились, чем возмутились.

Все происходило настолько быстро и выглядело настолько невероятно, что Харви и Клэр оставалось уповать лишь на одно — на детскую веру, что невинным людям бояться нечего.

Клэр повели на допрос.

— Что мне им сказать? — спросила она у Харви, прежде чем уйти.

— Правду! Скажи им правду! — ответил Харви и повернулся к сержанту, который их сюда до-

ставил, а теперь остался охранять. — Можно мне воспользоваться телефоном?

— Адвокату позвонить? — поинтересовался сержант.

— Не нужен мне адвокат, — заявил Харви. — Я няне хочу позвонить, сказать, что мы немного задержимся.

— Немного задержитесь? — расхохотался сержант. Длинный шрам тянулся по его щеке, пересекая толстые губы и спускаясь вниз по подбородку. — Немного задержитесь? — повторил он. — Приятель, да ты теперь домой попадешь лет через двадцать, и то если повезет.

— Я не имею никакого отношения к смерти той женщины, — запротестовал Харви. — Меня выпустят отсюда через пять минут после приезда свидетелей. А если они ошиблись, если они и правда думают, будто видели, что я это сделал, то жену-то мою вы все равно можете отпустить.

— Парень, придется тебя немного просветить, — сказал сержант. — По закону твоя жена — сообщница в убийстве. Она вела машину, в которой вы скрылись с места преступления. Так что вы оба увязли по уши.

Харви сообщили, что он сможет звонить по телефону сколько влезет — после допроса у ка-

питана. Его очередь на допрос пришла через час. Харви спросил, где Клэр, и получил ответ, что ее отправили в камеру.

— А без этого нельзя было обойтись? — спросил Харви.

— У нас тут забавные порядки, — ответил капитан. — Мы сажаем за решетку любого, кто имеет отношение к убийству.

Капитан был невысокого роста, плотный, с намечающейся лысиной. Харви показалось, что он уже где-то видел похожее лицо.

— Вас зовут Харви К. Эллиот? — спросил капитан.

— Да, — ответил Харви.

— Вы никогда раньше не привлекались за правонарушения?

— Никогда. Даже штрафов за неправильную парковку не получал.

— Это мы проверим, — сказал капитан.

— Очень надеюсь, — ответил Харви.

— Как я уже сказал вашей жене, вы поступили крайне глупо, пытаясь повесить убийство на Эда Луби. Не стоило выбирать для этого самого уважаемого человека в городе.

— При всем уважении к мистеру Луби… — начал Харви.

Капитан сердито оборвал его, стукнув кулаком по столу.

— Хватит! Я уже наслушался россказней вашей жены! Больше я этого слышать не желаю!

— А если я все-таки говорю правду? — возразил Харви.

— Думаете, мы не проверяли ваши слова? — парировал капитан.

— А что насчет того мужчины, который привел девушку? — спросил Харви. — Он вам расскажет, что случилось на самом деле. Вы не пытались его найти?

Капитан посмотрел на Харви со злобной жалостью.

— Не было никакого мужчины. Она приехала одна, на такси.

— Неправда! — воскликнул Харви. — Спросите таксиста. С ней был мужчина!

Капитан опять стукнул кулаком по столу.

— Поосторожнее в словах! Или вы обвиняете меня в том, что я говорю неправду? Мы уже поговорили с таксистом. Он клянется, что девушка приехала одна. У нас и так полно свидетелей, но таксист тоже подтверждает, что это вы ее ударили.

Зазвонил телефон. Капитан взял трубку, не

сводя глаз с Харви.

— Капитан Луби слушает, — сказал он и махнул стоявшему за спиной Харви сержанту. — Уведи этого придурка отсюда. Меня от него тошнит. Запри его в подвале.

Сержант вывел Харви из кабинета и повел вниз по железной лестнице: арестованных держали в камерах в подвале.

Единственным источником света были две голые лампочки в коридоре. На мокром полу лежал дощатый настил.

— Капитан приходится Эду Луби братом? — спросил Харви у сержанта.

— А что, есть закон, запрещающий полицейским иметь братьев?

— Клэр! — закричал Харви, надеясь выяснить, в какой камере держат жену.

— Парень, она не здесь, а наверху, — хмыкнул сержант.

— Я хочу ее видеть! — потребовал Харви. — Я хочу с ней поговорить! Я хочу убедиться, что с ней все в порядке!

— А не слишком ли много хочешь? — С этими словами сержант втолкнул Харви в узкую каморку и захлопнул дверь.

— У меня есть права! — закричал Харви.

Сержант рассмеялся.

— Конечно, приятель. У тебя есть право делать в камере все, что угодно, если только это не наносит ущерба государственной собственности.

Сержант ушел обратно наверх.

Кажется, в подвале больше никого не было. До слуха Харви доносился лишь звук шагов над головой. Харви вцепился в решетку двери, пытаясь по звуку определить, что происходит.

Протопали группы грузных мужчин — одна смена пришла, другая уходит, догадался Харви.

Простучали женские каблучки. Женщина шагала быстро и уверенно, на Клэр не похоже.

Где-то сдвинули тяжелую мебель. Что-то упало. Кто-то засмеялся. Несколько человек внезапно встали, как по команде, отодвинув стулья.

Харви понял, каково быть погребенным заживо.

— Эй! Там наверху! Помогите! — заорал он.

Ответ пришел из соседней камеры: кто-то сонно застонал.

— Кто здесь? — спросил Харви.

— Спи лучше, — с раздражением ответил сонный скрипучий голос.

— Да что же это за город такой! — возмутился Харви.

— Город как город, не хуже других, — отозвался голос. — У тебя есть друзья среди больших шишек?

— Нет, — признался Харви.

— Тогда это плохой город. Лучше ложись спать.

— Они держат мою жену наверху, — сказал Харви. — Я не знаю, что происходит. Я должен что-то предпринять!

— Ну давай, давай! — грустно хмыкнул голос.

— А вы знаете Эда Луби? — спросил Харви.

— В смысле, знаю ли я, кто он? Да кто ж его не знает. Или ты спрашиваешь, знаю ли я его лично? Думаешь, сидел бы я здесь, если б я был на короткой ноге с Эдом Луби? Тогда б сидел я сейчас у него в клубе, лопал здоровенный бифштекс за счет заведения, а фараону, который повязал меня, уже выбили бы мозги.

— Эд Луби такая важная персона? — не поверил Харви.

— Важная персона? — повторил голос. — Эд Луби? Ты что, никогда не слышал анекдот про психиатра, который попал на небеса?

— Нет, — признался Харви.

Голос рассказал ему бородатый анекдот с местным колоритом.

— Умер один психиатр и попал в рай. Святой Петр встречает его с распростертыми объятиями. Оказывается, у Господа проблемы с головой, его срочно нужно лечить. Психиатр спрашивает святого Петра про симптомы. А святой Петр шепчет ему на ухо: «Господь думает, что он — Эд Луби».

Над головой вновь простучали женские каблучки. Зазвонил телефон.

— Почему он обладает таким влиянием? — спросил Харви.

— Кроме Эда Луби в Илиуме ничего нет, понял? — объяснил голос. — Эд вернулся сюда во времена Великой депрессии с полными карманами денег, нажитых на торговле спиртным в Чикаго. В Илиуме все предприятия были закрыты и выставлены на продажу. Эд купил.

— Понятно… — До Харви стал доходить весь ужас его положения.

— И вот ведь какая забавная штука, — продолжал голос. — Те, кто ладит с Эдом, делает то, что он скажет, и говорит то, что ему хочется слышать, все они неплохо живут в Илиуме. Возьми хоть начальника полиции: у него зарплата восемь тысяч в год. В этом кресле он сидит уже пять лет. И так хорошо пристроил свои денежки, что полностью выплатил семьдесят тысяч долларов за дом,

купил три машины, летний домик на Кейп-Код и тридцатифутовую яхту. Хотя, конечно, дела у него идут все же не так хорошо, как у брата Луби.

— У капитана? — спросил Харви.

— Капитан-то уж, конечно, все по-честному зарабатывает, — продолжал голос. — Именно он и командует полицией города. А еще ему принадлежит гостиница «Илиум», и служба такси. А еще радиостанция ВКЛЛ, дружеский голос Илиума. Кое-кто другой тоже неплохо поживает. Судья Уомплер, например, или мэр…

— Все понятно, — выдавил Харви.

— Да тут и понимать-то нечего, — хмыкнул голос.

— А разве у Луби нет противников? — спросил Харви.

— На том свете они, — ответил голос. — Давай лучше спать ложиться, ладно?

Через десять минут Харви снова отвели наверх. На сей раз с ним обращались вежливо, хотя конвоировал его тот же самый сержант. Только теперь он вел себя любезно, как будто ему было неловко за свое прежнее поведение.

Наверху их встретил капитан Луби, чьи манеры тоже изменились к лучшему. Капитан хотел предстать перед Харви озорным мальчишкой с

золотым сердцем.

Капитан положил руку Харви на плечо, широко улыбнулся и сказал:

— Мистер Эллиот, мы сурово обошлись с вами, и мы это понимаем. Мне очень жаль, но и вы поймите, что иногда полицейским приходится быть суровыми — особенно при расследовании убийства.

— Ничего, — ответил Харви. — Хотя иногда вы сурово обходитесь не с тем, с кем надо.

Капитан Луби философски пожал плечами.

— Может быть, а может быть, и нет. Это пусть суд решает.

— Если до суда дойдет, — заметил Харви.

— Я думаю, вам лучше как можно скорее поговорить с адвокатом, — предложил капитан.

— Я тоже так думаю, — согласился Харви.

— Один из адвокатов сейчас как раз в участке, можете с ним поговорить, если хотите.

— Еще один брат Эда Луби? — поинтересовался Харви.

Капитан Луби сделал удивленное лицо, потом рассмеялся. Он хохотал во все горло.

— Неудивительно, что вы так подумали! Могу себе представить, как все это выглядит с вашей точки зрения.

— И как же? — спросил Харви.

— Вы попали в переделку в чужом городе, и вдруг создается впечатление, что всех окружающих зовут Лу-би! — Капитан снова засмеялся. — Нас, Луби, всего двое, я и мой брат. Тот адвокат нам не только не родственник, но и терпеть нас обоих не может. Теперь вам легче?

— Может быть, — осторожно ответил Харви.

— В каком смысле, может быть? — спросил капитан. — Так вы берете этого адвоката или нет?

— Сначала я хочу с ним поговорить, — заявил Харви.

— Скажи Леммингу, что у нас, кажется, есть для него клиент, — велел капитан сержанту.

— А еще я хочу, чтобы моя жена тоже присутствовала при разговоре.

— Ну разумеется! — сказал капитан. — Никаких возражений. Она сейчас будет здесь.

Адвокат по имени Фрэнк Лемминг появился гораздо быстрее, чем Клэр. В руке он держал потрепанный черный портфель, судя по виду, почти пустой, на котором большими буквами было написано имя адвоката. Низенький, толстенький Лемминг тоже выглядел потрепанным и страдал одышкой. Единственным внешним намеком на внутреннюю силу были громад-

ные усы. Когда он заговорил, его голос оказался неожиданно глубоким, величавым и спокойным. Лемминг обратился к капитану Луби и сержанту с таким видом, будто это они попали в переделку, и спросил, не угрожали ли задержанному, не применяли ли силу.

Харви почувствовал себя гораздо увереннее.

— Джентльмены, будьте добры удалиться! — сказал Лемминг, иронически именуя полицейских джентльменами. — Я хочу поговорить со своим клиентом наедине.

Полицейские смиренно удалились.

— Вы настоящий глоток свежего воздуха! — сказал Харви.

— Первый раз слышу, чтобы меня так называли, — ответил Лемминг.

— Я уж подумал, что оказался прямо в фашистской Германии! — сказал Харви.

— Похоже, вы никогда раньше не попадали в полицию, — заметил Лемминг.

— Никогда! — подтвердил Харви.

— Все когда-нибудь случается впервые, — любезно сказал Лемминг. — В чем вас обвиняют?

— Разве вам не сказали? — удивился Харви.

— Мне просто сообщили, что в участке кому-то нужен адвокат, — объяснил Лемминг. — Я при-

шел сюда по другому делу. — Он сел, прислонив тощий портфель к ножке стула. — Так в чем вас обвиняют?

— Они… они говорят об убийстве, — признался Харви.

Лемминг удивился лишь на секунду.

— Эти идиоты, так называемая полиция Илиума, повсюду видят одни убийства. Каким орудием вы совершили убийство?

— Я никого не убивал! — запротестовал Харви.

— Хорошо, что полиция *считает* орудием убийства?

— Кулак, — сказал Харви.

— Вы подрались с кем-то, ударили его кулаком, и он умер? — предположил Лемминг.

— Я никого и пальцем не тронул! — вспыхнул Харви.

— Ну ладно, ладно, — примирительно сказал Лемминг.

— Вы тоже на их стороне? — спросил Харви. — Вы тоже часть всего этого кошмара?

Лемминг склонил голову набок.

— А нельзя ли поподробнее?

— Говорят, что все в Илиуме работают на Эда Луби, — объяснил Харви. — Наверное, и вы тоже.

— Я? — изумился Лемминг. — Шутить изволи-

те? Вы ведь слышали, как я разговаривал с братом Луби. Я и с Эдом Луби разговаривал бы точно так же. Я их не боюсь.

— Ну, может, и так… — пробормотал Харви, всей душой надеясь, что адвокат говорит правду.

— Так вы меня нанимаете? — спросил Лемминг.

— А сколько это будет стоить? — поинтересовался Харви.

— Пятьдесят долларов для начала, — ответил Лемминг.

— Что, прямо сейчас?

— Видите ли, мои клиенты из той категории людей, которые либо платят сейчас же, либо не платят никогда.

— У меня при себе только двадцатка, — сказал Харви.

— Для начала сойдет. — Лемминг протянул руку.

Не успел он положить банкноту в бумажник, как женщина в полицейской форме, стуча каблуками, привела Клэр Эллиот.

Клэр была белее мела и не сказала ни слова, пока ее конвоир не вышла из комнаты. Когда Клэр наконец заговорила, голос у нее дрожал и срывался.

Харви обнял жену и попытался ее успокоить.

— У нас теперь есть адвокат, — сказал он. — Все будет хорошо. Он знает, что нужно делать.

— Я ему не верю! Я никому здесь не верю! — Клэр смотрела на мужа безумными глазами. — Харви, мне нужно поговорить с тобой наедине!

— Я подожду за дверью, — сказал Лемминг. — Позовите меня, когда я вам понадоблюсь.

Он вышел, оставив портфель в комнате.

— Тебе угрожали? — спросила Клэр у мужа, едва Лемминг вышел.

— Разговаривали со мной не очень-то вежливо, — ответил Харви.

— Они не угрожали тебя убить?

— Нет… — сказал Харви.

Клэр перешла на шепот.

— Кое-кто пригрозил убить меня — и тебя… — У нее перехватило горло. — И детей тоже… — едва выдавила она.

Харви взорвался.

— Кто?! — закричал он во все горло. — Кто тебе этим угрожал?

Клэр зажала ему рот ладонью, не давая говорить.

Харви убрал ее руку.

— Кто? — спросил он.

Клэр беззвучно прошептала, и он прочитал ответ по губам: «Капитан».

Она прижалась к мужу.

— Я тебя умоляю, потише, — прошептала она. — Нам нужно успокоиться и все обдумать. Нужно придумать новую версию.

— Новую версию чего? — удивился Харви.

— Новую версию событий. — Клэр покачала головой. — Нам нельзя говорить, как все было на самом деле.

— О Господи! — простонал Харви. — И это Америка?

— Я не знаю, Америка это или что, но мы должны придумать новую версию или… или произойдет что-то ужасное.

— Кое-что ужасное уже произошло! — заметил Харви.

— Может быть еще хуже, — ответила Клэр.

Харви отчаянно думал, закрыв глаза ладонями.

— Если они так упорно пытаются нас испугать, значит, им самим есть чего бояться, — сказал он. — Мы можем им чем-то здорово насолить.

— Каким образом? — вздохнула Клэр.

— Если будем говорить правду! Все очень просто, разве ты не видишь? Именно этого они и не хотят.

— Я никому не хочу насолить, — сказала Клэр. — Я всего лишь хочу выбраться отсюда. Поехать домой.

— Ладно, — сказал Харви. — У нас теперь есть адвокат. Уже неплохо для начала.

Харви позвал Лемминга. Тот вошел, потирая руки.

— Ну что, тайное совещание окончено? — весело спросил он.

— Да, — сказал Харви.

— Что ж, секреты — это здорово, но я бы вам посоветовал ничего не скрывать от своего адвоката.

— Харви!.. — предостерегающе начала Клэр.

— Он прав, — ответил Харви. — Разве ты не понимаешь? Он прав.

— Ваша жена предпочитает держать некоторые подробности в тайне? — спросил Лемминг.

— Ей угрожали. Она боится, — объяснил Харви.

— Кто угрожал? — спросил Лемминг.

— Не говори ему! — взмолилась Клэр.

— Мы вернемся к этому вопросу немного позже, — пообещал Харви. — Мистер Лемминг, дело в том, что я не совершал убийства, в котором меня обвиняют. Но я и моя жена видели, кто это сделал, и нас всячески запугивают, чтобы мы никому не

рассказали правду.

— Харви! Не говори ему! — настаивала Клэр. — Не надо!

— Миссис Эллиот, я даю вам слово чести, что все рассказанное мне вами и вашим мужем останется между нами, — заверил ее Лемминг. «Слово чести» он произнес с гордостью, и вид у него при этом был весьма располагающий. — А теперь скажите мне, что случилось на самом деле.

— Убийство совершил Эд Луби, — заявил Харви.

— Простите, что вы сказали? — в недоумении переспросил Лемминг.

— Эд Луби убил ту девушку, — повторил Харви.

Лемминг, побледнев и мгновенно постарев, откинулся на спинку стула.

— Понятно… — Его голос потерял былую звучность и стал похож на шелест ветра в верхушках деревьев.

— Он очень влиятельный человек в городе, — сказал Харви. — Так говорят.

— Верно говорят, — кивнул Лемминг.

Харви принялся рассказывать, как именно Луби убил девушку, но Лемминг его оборвал.

— Что такое? В чем дело? — удивился Харви.

— Хороший вопрос, — слабо улыбнулся Лем-

минг. — Очень непростой вопрос.

— Вы все-таки на него работаете? — спросил Харви.

— Может, и так…

— Говорила же я тебе! — сказала Клэр, укоризненно глядя на мужа.

Лемминг достал бумажник, вынул оттуда двадцатидолларовую купюру и отдал ее обратно Харви.

— Вы отказываетесь нас защищать? — спросил Харви.

— Скажем так, — грустно начал Лемминг, — с этой минуты любой совет, который я вам даю, будет бесплатным. В этом деле я не стану выступать в качестве адвоката… И любой совет, который я могу вам дать, не особо связан с законами. — Он развел руками. — Вы ведь понимаете, я всего лишь мелкий адвокат. Если то, что вы говорите, правда…

— Это правда! — заявил Харви.

— Тогда вам нужен адвокат, который может сразиться с целым городом, — сказал Лемминг. — Потому что Эд Луби и есть этот город. Я выиграл немало дел в Илиуме, но ни одно из них никак не затрагивало интересы Эда Луби. — Лемминг поднялся. — Если то, что вы мне рассказали, правда,

то это война.

— И что же мне теперь делать? — растерялся Харви.

— Я бы посоветовал вам, мистер Эллиот, в полной мере разделить опасения вашей жены, — кивнул Лемминг и выскочил за дверь.

Тут же вошел сержант, вывел Харви и Клэр из комнаты и привел в другое помещение, где им в лицо ударил ослепительный свет лампы. Из темноты зашелестели шепотки.

— Что происходит? — спросил Харви, обнимая Клэр за плечи.

— Говорите только тогда, когда вас спрашивают, — ответил голос капитана Луби.

— Я требую адвоката! — заявил Харви.

— У вас уже был адвокат, — сказал капитан. — Куда делся Лемминг?

— Он отказался нас защищать, — ответил Харви.

Кто-то хихикнул.

— Что тут смешного? — горько спросил Харви.

— Заткнись! — велел капитан Луби.

— Вам смешно? — обратился Харви к шепчущейся темноте. — Двух людей, никогда в жизни не нарушавших закон, обвиняют в убийстве женщины, которую они пытались спасти…

Из темноты вышел капитан Луби и показал Харви то, что держал в правой руке: кусок резины шириной дюйма четыре, восемь дюймов длиной и полдюйма толщиной.

— Эта штука делает умников еще умнее, — сказал капитан Луби, нежно приложив резину к щеке Харви. — Ты себе не представляешь, как больно она бьет. Я сам каждый раз удивляюсь. А теперь отошли друг от друга и встали прямо. Держите рот на замке и приготовьтесь выслушать свидетелей.

Когда мягкая резина коснулась его щеки, Харви решил бежать.

Капитан вновь растворился в шелестящей темноте, а решение Харви обрело маниакальную одержимость: он убежит во что бы то ни стало.

Из темноты раздался ясный горделивый голос. Мужчина назвался мэром Илиума и заявил, что видел, как Харви ударил девушку.

Жена мэра подтвердила его слова.

Харви не возражал. Он был слишком занят, вглядываясь в темноту за кругом света. Кто-то вошел в комнату — теперь понятно, где находится дверь. За дверью Харви разглядел вестибюль, а за вестибюлем — свободу.

Капитан Луби спрашивал судью Уомплера,

видел ли он, как Харви ударил девушку.

— Да, — торжественно заявил толстяк. — И еще я видел, как его жена помогла ему скрыться с места преступления.

— Это они и есть, — вставила миссис Уомплер. — Ничего ужаснее я в жизни не видела. Никогда не забуду это зрелище.

Харви постарался разглядеть тех, кто сидел в первом ряду: именно через них нужно будет пробиться прежде всего. Разглядеть удалось только одного человека — ту самую женщину в полицейской форме, которая привела Клэр. Она вела стенограмму.

Харви решил, что через тридцать секунд он прорвется мимо нее.

Он начал отсчитывать секунды.

Часть II

Харви Эллиот стоял рядом с женой, в глаза им бил ослепительный свет. Харви ни разу в жизни не совершил ничего противозаконного. А сейчас он отсчитывал секунды до того мгновения, когда сбежит из тюрьмы, куда попал по обвинению в убийстве.

Харви слушал показания якобы свидетеля — то-

го, кто на самом деле совершил это преступление. Откуда-то из темноты Эд Луби рассказывал, как все произошло. Время от времени брат Луби, капитан илиумской полиции, задавал наводящие вопросы.

— Три месяца назад, — начал Эд Луби, — я превратил ресторан в частный клуб, чтобы туда не могли войти нежелательные элементы. — Луби был экспертом по нежелательным элементам, он ведь когда-то работал на Аль Капоне. — Наверное, эти двое, — Луби имел в виду Харви и Клэр, — не слышали об этом или решили, что к ним это не относится. Как бы то ни было, они заявились в клуб сегодня вечером и, узнав, что не могут войти, сильно разозлились, стояли возле дверей и оскорбляли членов клуба.

— А раньше вы этих людей видели? — спросил капитан Луби.

— До того, как мое заведение стало закрытым клубом, эти двое приходили ко мне примерно раз в год. Я их хорошо запомнил, потому что мужчина всегда был сильно пьян. А в моем ресторане напивался еще больше и начинал безобразничать.

— Безобразничать? — переспросил капитан.

— Затевал драки, — объяснил Эд Луби. — И не только с мужчинами.

— А что случилось сегодня вечером? — спросил капитан.

— Эти двое слонялись возле дверей, не давали проходу членам клуба, — сказал Луби. — А дама вышла из такси, она приехала одна. Не знаю, что она собиралась делать. Наверное, рассчитывала подцепить кого-нибудь по дороге. В общем, ее не впустили внутрь, и теперь у входа в клуб слонялись уже трое. И они что-то не поделили.

Харви интересовало только одно: какой эффект возымела речь Луби на окружающих. Луби он видеть не мог, но чувствовал, что все на него смотрят, завороженные этим человеком.

И тогда Харви решил, что время пришло.

— Я не хочу, чтобы вы верили мне на слово, когда я расскажу о том, что произошло дальше, — продолжал Луби. — Потому что некоторые, кажется, утверждают, что это я ударил девушку.

— Другие свидетели уже дали показания, — доброжелательно вставил капитан. — Так что не переживайте, говорите то, что видели, а мы проверим ваши слова.

— В общем, дама, которая приехала на такси, назвала другую даму, вот эту…

— Миссис Эллиот, — подсказал капитан.

— Да, она назвала миссис Эллиот каким-то

словом, которое миссис Эллиот не понравилось, и не успел я глазом моргнуть, как мистер Эллиот размахнулся и…

Харви Эллиот бросился из круга света в темноту. Он рванулся к дверям, за которыми ждала свобода.

Харви лежал под старым седаном на стоянке подержанных машин неподалеку от полицейского участка. В ушах гудело, в груди стучало. Со времени побега прошли целые столетия. Он без труда снес попавшихся на пути людей, мебель и двери, разбросав все препятствия, будто опавшие листья.

Прогремели выстрелы — как показалось Харви, над самым ухом.

Где-то в темноте звучали крики, но Харви лежал под машиной.

Из своего фантастического побега он запомнил только одну картинку — и теперь она стояла перед глазами: лицо женщины-полицейской, первого человека, стоявшего между ним и свободой. Харви отбросил ее в круг ослепительного света, и на ее лице отразились злость и изумление. Других лиц он не видел.

Судя по доносившимся до Харви звукам, его преследователи действовали глупо, небрежно и

без всякого воодушевления. Когда Харви отдышался и пришел в себя, ему захотелось кричать и смеяться. В первом раунде он победил и собирался побеждать и дальше. Он обратится в полицию штата. Приведет полицейских в Илиум и освободит Клэр. Потом наймет лучшего адвоката, какого только можно найти, снимет с себя обвинения, отправит Луби за решетку и предъявит гнилому городишке под названием Илиум иск на миллион долларов.

Харви выглянул наружу. Преследователи удалялись, обвиняя друг друга, точно перессорившиеся дети. Харви выполз из-под машины, посидел, прислушиваясь, затем осторожно двинулся прочь, держась в тени. Он передвигался как разведчик на вражеской территории; теперь замусоренные улицы и тусклые фонари из врагов превратились в друзей. Прижимаясь спиной к закопченным стенам, ныряя в подворотни рассыпающихся зданий, Харви понял, что зло тоже было его другом. Перехитрить зло, избежать его хватки, спланировать его уничтожение — все это наполнило жизнь смыслом, сделав ее невероятно увлекательной.

Мимо прошелестела газета, кувыркаясь под ночным ветерком, словно тоже спешила поки-

нуть Илиум.

Где-то грянул выстрел. Харви хотелось бы знать, в кого стреляли — или кого застрелили.

По дороге проезжали редкие машины. Пешеходов встречалось и того меньше. Двое оборванных влюбленных молча прошли в двух шагах, не заметив Харви. Спотыкающийся пьяница заметил Харви, пробормотал невнятные ругательства и побрел дальше.

Завыла сирена — потом еще одна и еще. Патрульные машины разъезжались во все стороны от полицейского участка, выдавая себя шумом и огнями — вот ведь идиоты. Недалеко от Харви одна машина, ревя сиренами и сверкая мигалками, заблокировала проезд под железнодорожными путями. Это был неглупый ход со стороны полиции, поскольку машина перекрыла путь, которым собирался воспользоваться Харви.

Эстакада высилась над головой Харви, точно Великая китайская стена. За ней лежало то, что он называл свободой. Харви хотелось думать, что свобода совсем близко, на расстоянии одного рывка. На самом деле по другую сторону эстакады все еще тянулись разбитые улицы Илиума, тускло освещенные фонарями. Надежда, настоящая надежда, лежала гораздо дальше — на много миль

дальше, за скоростным шоссе, на свободной от зла территории, где действовала полиция штата.

Однако на данный момент Харви решил притвориться, будто ему осталось всего ничего: попасть на другую сторону эстакады.

Он осторожно подобрался к железнодорожным путям, прошел вдоль них, подальше от перекрытого полицией туннеля. Следующий туннель тоже оказался заблокирован полицейской машиной. Харви услышал разговор полицейских и узнал голос — это был капитан Луби.

— Не старайтесь взять его живым, — сказал капитан. — Живой он никому не нужен, даже самому себе. Сэкономьте деньги налогоплательщиков, стреляйте на поражение.

Послышался свисток локомотива.

И тут Харви заметил кульверт, пересекавший насыпь. Сначала ему показалось, что труба расположена слишком близко к капитану Луби, но когда капитан повел вокруг мощным фонариком, луч света выхватил из темноты канаву, подходившую к трубе. Канава шла через ровную площадку, заваленную бочками из-под солярки и прочим мусором.

Когда капитан Луби выключил фонарик, Харви прополз через площадку, бесшумно спустился в

мелкую, грязную канаву и под ее прикрытием пошел к кульверту. Поезд медленно приближался, с лязгом и грохотом. Дождавшись, пока он окажется прямо над головой и грохот достигнет максимума, Харви нырнул в трубу, не задумываясь о возможной засаде. На другой стороне он вылез наружу, поспешно вскарабкался по усыпанной золой насыпи и, цепляясь за ржавые ступеньки, вскочил на пустую платформу движущегося поезда.

Прошла целая вечность, прежде чем едва ползущий поезд вывез Харви Эллиота из Илиума и, кряхтя, поехал по бесконечной пустоши — через перелески и заброшенные поля.

Щурясь от бьющего в лицо ветра, Харви вглядывался в темноту в поисках огоньков и прочих признаков жизни — должен же где-то быть кусочек внешнего мира, который поможет спасти Клэр. На повороте Харви заметил огни: как будто целый карнавал посреди пустынной сельской местности. На самом деле это мигал красный сигнал на железнодорожном переезде и горели фары остановившейся на нем машины.

Как только платформа простучала по переезду, Харви спрыгнул с нее и откатился в сторону. На подгибающихся ногах он подошел к машине и

разглядел, что за рулем сидит молодая женщина. Она смотрела на Харви с ужасом.

— Послушайте! Погодите! Пожалуйста! — взмолился Харви.

Женщина нажала на газ, и машина рванулась мимо Харви, через переезд, где только что прошел тормозной вагон. Из-под колес полетела зола, запорошив Харви глаза.

Когда он проморгался, задние фонари машины стремительно удалялись в ночь и, наконец, исчезли. Поезд тоже ушел. Красный сигнал на переезде погас.

* * *

Харви стоял в полном одиночестве посреди сельской местности, безмолвной и бесцветной, как арктическая пустыня. Нигде не видно ни огонька.

Локомотив уныло просвистел — где-то далеко.

Харви закрыл ладонями лицо. Щеки были мокрые и грязные. Он огляделся: вокруг безжизненная ночь. Припомнил весь кошмар в Илиуме. Вновь закрыл ладонями лицо: только оно и руки казались настоящими.

Он пошел по дороге. Ни одной машины ему больше не встретилось.

Харви устало шагал, понятия не имея, где он и куда идет. Иногда ему чудилось вдалеке оживленное шоссе: едва различимый шорох шин, отсветы фар, но слух и зрение его обманывали.

Наконец показался домик. Хотя в окнах было темно, внутри бормотало радио.

Харви постучал в дверь.

Кто-то зашевелился. Радио выключили.

Харви снова постучал. Стекло в двери было плохо закреплено и дребезжало от стука. Харви прижался носом к стеклу и разглядел красный огонек сигареты, освещавший краешек пепельницы, где она лежала.

Харви постучал в третий раз.

— Входите, — ответил мужской голос. — Не заперто.

Харви вошел.

— Дома есть кто-нибудь? — спросил он.

Свет гостю не включали. Кто бы ни пригласил его войти, сам он показываться на глаза не желал. Харви оглянулся по сторонам.

— Можно мне воспользоваться вашим телефоном? — спросил он.

— Стой где стоишь, — сказали за спиной. — У меня в руках двустволка, мистер Эллиот, и вы под прицелом. Только попробуйте дернуться, на

кусочки разнесет.

Харви поднял руки вверх.

— Вы знаете мое имя?

— А это твое имя? — спросил голос.

— Да, — признался Харви.

— Ну-ну! — хмыкнули из темноты. — Надо же, сидел я себе, старый пень, остался один, без жены, без друзей, без детей. Последние дни уж собирался из этой двустволочки себе в лоб пулю пустить, а тут смотри какое представление! Чуть было не пропустил все самое интересное. Что доказывает…

— Что именно это доказывает? — спросил Харви.

— Никогда не знаешь, когда тебе повезет.

Под потолком вспыхнула люстра — прямо над головой Харви. Он поднял глаза, но оглядываться не стал, побоявшись получить пулю в спину. На люстре горела всего одна лампочка — две другие отсутствовали. Матовый абажур усеивали дохлые насекомые.

— Можете оглянуться, если хотите, — сказал голос. — Сами посмотрите, есть у меня ружье или нет, мистер Эллиот.

Харви медленно обернулся: перед ним стоял тощий старик с непристойно белыми и ровными

искусственными зубами. В руках он и в самом деле держал ружье — громадную, ржавую древнюю двустволку. Узорные, изогнутые курки были взведены.

Видно было, что старик трусил, но еще и неимоверно гордился собой.

— Только без шуток, мистер Эллиот, — предупредил он. — И тогда мы поладим. Перед вами человек, который восемь раз поднимался в атаку во время Великой войны, так что не думайте, будто мне не хватит духу спустить курок. Для меня убить человека не в диковинку.

— Хорошо, никаких шуток, — согласился Харви.

— Мне уже приходилось убивать людей, — заявил старик. — Вы будете не первым и даже не десятым.

— Я вам верю, — сказал Харви. — А можно спросить, откуда вы знаете мое имя?

— По радио передали, — объяснил старик и кивнул на кресло с разодранной обшивкой и просевшими пружинами. — Присядьте-ка лучше, мистер Эллиот.

Харви послушно сел.

— Обо мне передавали по радио? — спросил он.

— Похоже на то, — ответил старик. — Наверное, и по телевизору тоже. Только у меня телевизора нет. Какой смысл покупать телевизор в моем-то возрасте? С меня и радио хватит.

— А что именно обо мне сказали по радио? — поинтересовался Харви.

— Что вы убили женщину и сбежали из тюрьмы, — сообщил старик. — И что за вас дадут тысячу долларов, за мертвого или живого. — Он подошел к телефону, держа Харви на мушке. — Повезло же вам, мистер Эллиот.

— В чем же мне повезло? — удивился Харви.

— Именно что повезло. Все в округе знают, что псих вырвался на свободу. По радио говорят «Закройте окна, заприте двери, выключите свет, не выходите на улицу и не впускайте в дом незнакомцев». Постучись вы почти в любой дом, и вас бы сначала пристрелили, а уж потом стали задавать вопросы. Так что вам повезло наткнуться на дом, где хозяина не так-то легко испугать. — Он снял телефонную трубку.

— Да я в жизни мухи не обидел! — заверил его Харви.

— По радио так и сказали, — кивнул старик. — И еще сказали, что сегодня вы просто спятили. — Он набрал номер оператора и попросил теле-

фонистку соединить его с полицией Илиума.

— Подождите! — взмолился Харви.

— Хотите получить отсрочку, чтобы придумать, как меня убить? — спросил старик.

— Полиция штата! Позвоните в полицию штата!

Старик лукаво улыбнулся и покачал головой.

— Полиция штата награды за поимку не обещала.

Его соединили с полицейским участком Илиума, и старик рассказал им, где находится Харви. Пришлось долго объяснять, как сюда добраться: полицейским Илиума местность была незнакома, потому что находилась за пределами их территории.

— Он теперь тихий, — сказал старик. — Я его угомонил.

И это было правдой.

Харви почувствовал, как с него схлынуло напряжение жестокой борьбы. Эта расслабленность была почти смертельна.

— Надо же, какое забавное происшествие приключилось со стариком, который уже одной ногой в могиле, — хмыкнул хозяин дома. — Теперь я получу тысячу долларов, мой портрет напечатают в газете, и кто его знает, что еще

будет…

— Хотите, я расскажу вам свою историю? — предложил Харви.

— Чтобы скоротать время? — дружелюбно поинтересовался старик. — Почему бы и нет? Только сиди, где сидишь, и не вздумай тронуться с места.

И тогда Харви Эллиот рассказал свою историю. Рассказал довольно неплохо и сам же свой рассказ выслушал. И удивился всему, что произошло — удивление, гнев и ужас вновь проникли в его душу.

— Поверьте мне, я говорю правду! — взмолился Харви. — Вызовите полицию штата!

Старик снисходительно улыбнулся.

— Поверить тебе и вызвать полицию, говоришь?

— Разве вы не знаете, что собой представляет Илиум? — спросил Харви.

— Знаю, пожалуй, — ответил старик. — Я там вырос — и мой отец, и отец моего отца тоже там выросли.

— А вы знаете, во что Эд Луби превратил город?

— Ну, так, доходят до меня отдельные слухи время от времени. Я знаю, что он построил новое

крыло для больницы. Знаю, потому что довелось лично там побывать. Надо сказать, щедрый человек, этот мистер Луби.

— Вы говорите так после всего, что я вам рассказал? — удивился Харви.

— Мистер Эллиот, — с искренней симпатией произнес старик. — Боюсь, что вы не в состоянии решать, кто плохой, а кто хороший. Я знаю, о чем говорю, потому что и сам когда-то был психом.

— Я не псих! — запротестовал Харви.

— Я тоже так говорил, — сказал старик. — Только меня все равно отвезли в психушку. Я тоже много чего рассказывал — о том, что со мной сделали и что со мной собираются сделать злоумышленники. — Он покачал головой. — И я тоже во все это верил. Мистер Эллиот, я ведь в самом деле в это верил.

— Говорю же вам, я не псих! — не отступал Харви.

— А вот это пусть доктор решает, верно? — ответил старик. — Знаете, мистер Эллиот, когда меня выпустили из психушки? Сказать вам, когда мне разрешили пойти домой, вернуться к жене и детям?

— Когда? — спросил Харви, напрягая мускулы. Он уже понял, что придется бежать еще раз —

еще раз прорваться мимо смерти и ускользнуть в ночь.

— Меня отпустили домой, когда я сам наконец понял, что никто не пытался меня убить, когда я понял, что все это выдумал. — Старик включил радио. — Давайте-ка музыку послушаем, пока полиция едет. Музыка всегда помогает.

Из радиоприемника послышалась дурацкая песенка о любви, потом передали новости: «Подразделения полиции Илиума сжимают кольцо вокруг Харви Эллиота, сбежавшего из тюрьмы маньяка, который сегодня вечером убил женщину возле престижного закрытого клуба в Илиуме. Тем не менее предупреждаем граждан, что не стоит ослаблять бдительность. Держите двери и окна запертыми и немедленно сообщайте о любых подозрительных субъектах. Эллиот очень опасен и изворотлив. Начальник полиции назвал Эллиота «бешеным псом» и предупредил, что урезонивать его бесполезно. Руководство радиостанции предлагает награду в тысячу долларов за Эллиота, живого или мертвого. Вы слушаете радиостанцию ВКЛЛ, дружеский голос Илиума. Мы передаем новости и музыку круглые сутки для вашего удовольствия».

И тогда Харви бросился на старика.

Харви ударил по ружью, отбив его в сторону. Оба ствола выстрелили. Оглушительно громыхнуло, в стене дома появилась дыра.

Ошеломленный старик обмяк и не сопротивлялся, когда Харви забрал двустволку и выскочил на улицу через заднюю дверь.

Где-то вдали завывали сирены.

Харви бросился к лесу, который начинался за домом, потом сообразил, что в лесу станет легкой добычей капитана Луби и его молодцов — то-то они повеселятся. Нужно придумать план похитрее.

Харви вернулся обратно к дороге и залег в канаве.

Перед домом старика лихо затормозили три патрульные машины. Переднее колесо одной из них проехало в трех ярдах от руки Харви.

Капитан Луби повел своих бравых молодцов к дому. Синие огни мигалок вызывали жуть.

Один полицейский остался снаружи: он сидел за рулем ближайшей к Харви машины и был полностью поглощен наблюдением за своими товарищами, направлявшимися к дому.

Харви тихонько выбрался из канавы, приставил разряженное ружье к затылку полицейского и тихонько его окликнул. Полицейский повер-

нулся — ему в лицо смотрели два ржавых дула калибром с гаубицу.

Харви узнал полицейского. По его щеке тянулся длинный шрам — это был тот самый сержант, который арестовал его и Клэр.

Харви сел на заднее сиденье патрульной машины.

— Поехали, — приказал он, не повышая голос. — Трогайся медленно, фары не включай. Я ведь псих, помнишь? Если меня поймают, я сначала пристрелю тебя. Посмотрим, можешь ли ты бесшумно тронуться с места, а потом гнать на полной скорости.

Патрульная машина мчалась по скоростному шоссе. Беглецов никто не преследовал. Другие машины уступали им дорогу. Они направлялись к ближайшим казармам полиции штата.

Сержант, сидевший за рулем, много всякого повидал в жизни и делал то, что велел Харви. В то же время он давал понять, что не испугался, и позволял себе говорить все, что вздумается.

— Эллиот, что ты рассчитываешь в конце концов получить? — спросил сержант.

Харви поудобнее устроился на сиденье.

— Тут многие много чего получат, — мрачно ответил он.

— Ты думаешь, полиция штата обойдется с убийцей мягче, чем мы обошлись?

— Ты же знаешь, что я не убивал, — заявил Харви.

— Ну да, и из тюрьмы ты тоже не сбегал, и никого в заложники не брал, так ведь?

— Это мы еще посмотрим, — сказал Харви. — Посмотрим, что я делал и чего не делал. Видно будет, кто что наделал.

— Хочешь совет, Эллиот? — спросил сержант.

— Не хочу, — ответил Харви.

— На твоем месте я бы свалил из этой страны подальше, — не унимался сержант. — После всего, что ты натворил, приятель, тебе точно крышка.

У Харви опять разболелась голова. Боль пульсировала, рана на затылке пощипывала, будто снова открылась, сознание наплывало и уплывало.

— Сколько месяцев в году ты отдыхаешь во Флориде? — заговорил Харви, отчаянно цепляясь за уплывающее сознание. — У твоей жены есть норковая шуба и дом за шестьдесят тысяч долларов?

— Да ты и впрямь псих! — сказал сержант.

— Что, тебе не дают твою долю? — спросил Харви.

— Какую долю? — удивился сержант. — Я делаю

свою работу. Мне за нее платят.

— В самом прогнившем городе в стране, — сказал Харви.

— А ты решил, что можешь это изменить? — засмеялся сержант.

Он снизил скорость, повернул и остановился возле новенького здания из ярко-желтого кирпича — казармы полиции штата. Машину мгновенно окружили вооруженные полицейские. Сержант, ухмыляясь, обернулся к Харви.

— Ну что, приятель, вот тебе твой рай. Давай выходи. Потолкуй с ангелочками.

Харви вытащили из машины, на запястьях защелкнули наручники, ноги тоже сковали. Его подхватили под руки, занесли в казарму и бесцеремонно бросили на нары. В камере пахло свежей краской.

Возле дверей собралась толпа желающих поглазеть на отпетого головореза.

И тут Харви потерял сознание.

— Нет, он не притворяется… — сказал чей-то голос из клубящегося перед глазами тумана. — Он получил сильный удар по затылку.

Харви открыл глаза: над ним склонился молодой человек, почти мальчик. Узкоплечий, серьезный, в очках, он казался совсем щуплым

по сравнению с двумя мужчинами, стоявшими за его спиной, — это были капитан Луби и сержант в форме полиции штата.

— День добрый, — сказал молодой человек, заметив, что Харви открыл глаза.

— Вы кто? — спросил Харви.

— Я доктор Митчелл, — ответил молодой человек. — Как вы себя чувствуете?

— Паршиво, — признался Харви.

— Неудивительно, — сказал доктор и повернулся к капитану Луби. — Вы не можете забрать его обратно в тюрьму. Его нужно отвезти в больницу Илиума. Ему надо сделать рентген, и он должен оставаться под наблюдением врача как минимум сутки.

Капитан Луби криво ухмыльнулся.

— Ну вот, налогоплательщики Илиума обязаны обеспечить ему курортные условия после той веселенькой ночки, которую он им устроил.

Харви сел. Тошнота накатывала волнами.

— Моя жена… что с моей женой?

— Чуть с ума не сошла после всего, что вы тут выкинули, — ответил капитан Луби. — А вы как думали, каково ей будет?

— Она все еще в тюрьме? — спросил Харви.

— Нет, конечно, — сказал капитан Луби. — Всех,

кому не нравится наша тюрьма, мы тут же выпускаем на свободу — просто позволяем им уйти. Вы ведь и сами знаете. Вы в этом вопросе большой специалист.

— Я хочу, чтобы мою жену привезли сюда, — заявил Харви. — Для того я сюда и приехал… — Им овладела сонливость. — Чтобы забрать жену из Илиума, — пробормотал он.

— Почему вы хотите забрать жену из Илиума? — спросил доктор Митчелл.

— Доктор, если вы будете всех наших тюремных пташек спрашивать, чего они хотят, то на медицину у вас времени не останется, — пошутил капитан Луби.

Слегка раздраженный шуточкой, доктор Митчелл повторил вопрос.

— Доктор, а как называется эта болезнь, когда человек думает, что все против него сговорились? — спросил капитан Луби.

— Паранойя, — сухо ответил доктор Митчелл.

— Мы видели, как Эд Луби убил женщину, — сказал Харви. — И меня обвинили в убийстве. Они угрожали, что убьют нас, если мы расскажем правду. — Харви снова лег. Сознание стремительно уплывало. — Ради бога, кто-нибудь, помогите! — глухо пробормотал он и провалился в небы-

тие.

* * *

Харви Эллиота отправили в больницу Илиума на «скорой помощи». Солнце уже показалось из-за горизонта. Харви понимал, что его везут в больницу, и знал, что уже светает: он слышал, как кто-то сказал, что восходит солнце.

Харви открыл глаза. На скамье рядом с его кушеткой сидели двое, покачиваясь в такт движению машины. Харви даже не попытался рассмотреть, кто эти двое. Когда умерла надежда, с ней умерло и любопытство. Кроме того, Харви был одурманен каким-то лекарством: он помнил, как юный доктор что-то ему вколол. Чтобы снять боль, как он сказал. Вместе с болью лекарство заглушило и все тревоги, подарив в утешение иллюзию, что все происходящее не имеет никакого значения.

Из разговора попутчиков Харви догадался, кто они.

— Вы, доктор, недавно к нам в город приехали? Не припомню, чтобы я раньше вас видел. — Это был голос капитана Луби.

— Я начал работать три месяца назад, — ответил доктор Митчелл.

— Тогда вам надо познакомиться с моим братом, — посоветовал капитан Луби. — Он может помочь вам пойти в гору. Он многим уже помог.

— Я об этом слышал, — сказал доктор Митчелл.

— Небольшая помощь от Эда еще никому не помешала, — продолжал капитан Луби.

— Ну разумеется, — согласился доктор Митчелл.

— Этот парень наделал глупостей, когда решил повесить убийство на Эда, — сказал капитан Луби.

— Да уж, оно и видно, — ответил доктор Митчелл.

— Почти все городские шишки у Эда в свидетелях, и все они опровергают историю этого придурка, — объяснил капитан Луби.

— Угу, — буркнул доктор Митчелл.

— Я вас как-нибудь познакомлю с Эдом, — предложил капитан Луби. — Я думаю, вы прекрасно поладите.

— Я весьма польщен, — ответил доктор Митчелл.

У подъезда больницы Харви Эллиота перенесли из кареты «скорой помощи» на больничную каталку. В приемном покое пришлось немного задержаться: как раз перед прибытием Харви в

больницу доставили еще одного пациента. Впрочем, задержка оказалась недолгой, ибо пациент был уже мертв. Мертвый мужчина лежал точно на такой же каталке, что и Харви.

Харви его узнал: тот самый пьянчужка, который привез девицу в закрытый клуб Эда Луби вечность назад и который видел, что девушку убил Эд Луби.

Самый главный свидетель Харви был мертв.

— Что с ним произошло? — спросил капитан Луби у медсестры.

— Никто не знает, — ответила она. — Убит выстрелом в затылок. Его нашли в переулке позади автовокзала. — Она закрыла лицо погибшего простыней.

— Не повезло. — Капитан Луби повернулся к Харви. — В любом случае, Эллиот, тебе повезло куда больше, чем ему. Ты по крайней мере жив.

Харви Эллиота возили по всей больнице туда-сюда: ему сделали рентгеновский снимок черепа, сняли электроэнцефалограмму, врачи сосредоточенно осматривали его глаза, нос, уши и горло. Капитан Луби и доктор Митчелл повсюду следовали за каталкой, и Харви был вынужден признать, что капитан Луби недалек от истины, когда тот сказал:

— С ума сойти! Мы всю ночь бегали, пытаясь пристрелить этого парня, а теперь носимся с ним целый день, обеспечивая ему первоклассное лечение! Сумасшедший дом какой-то!

Укол притупил ощущение времени, но Харви все же понимал, что анализы и обследования продвигаются очень медленно, и кроме того, врачей вокруг становится все больше. Доктор Митчелл тоже смотрел на своего пациента с нарастающей тревогой. Подошли еще два врача, бегло осмотрели Харви и, отозвав доктора Митчелла в сторонку, принялись шепотом с ним совещаться.

Уборщик, возивший шваброй по полу в безнадежной попытке поддержать чистоту, прекратил свою бессмысленную деятельность и подошел поближе, чтобы поглазеть на пойманного преступника.

— Это он? — спросил уборщик у капитана Луби.

— Он самый, — ответил капитан Луби.

— Что-то не похож на отпетого головореза.

— Отпелся уже, — сказал капитан Луби.

— Понятно, — кивнул уборщик. — Это как на пластинке песенки заканчиваются. Он псих?

— Его счастье, если окажется психом, — пробурчал капитан Луби.

— Как это? — не понял уборщик.

— Если не псих, то сидеть ему на электрическом стуле, — пояснил капитан Луби.

— Эх, бедолага, — покачал головой уборщик. — Не хотел бы я оказаться на его месте.

Он вновь принялся возить шваброй, размазывая грязную воду по полу.

В дальнем конце коридора послышались громкие голоса. Харви равнодушно перевел взгляд на источник шума и увидел Эда Луби собственной персоной. Луби приближался: в сопровождении громилы-телохранителя и в компании своего верного друга, толстяка-судьи Уомплера.

Эд Луби, воплощенная элегантность, прежде всего озаботился чистотой своих модных туфель.

— Смотри, куда шваброй машешь, — проворчал он уборщику. — Эти туфли обошлись мне в пятьдесят долларов.

Он посмотрел на Харви сверху вниз.

— Ну надо же, а вот и сам непобедимый вояка, способный воевать один против целой армии.

Эд Луби поинтересовался у брата, может ли Харви разговаривать.

— Врачи мне сказали, что он все слышит, — ответил капитан Луби. — Только ничего не говорит.

Эд Луби посмотрел на судью Уомплера и улыбнулся.

— А по-моему, было бы неплохо, если б все были такими, как вы полагаете, господин судья?

Посовещавшись, врачи пришли к согласию и с хмурым видом вернулись к каталке, на которой лежал Харви.

Капитан Луби представил юного доктора Митчелла своему брату.

— Эд, вот новенький доктор, он в городе недавно и взял, так сказать, мистера Эллиота под свое крыло.

— Я полагаю, это часть его клятвы. Не так ли, доктор? — спросил Эд Луби.

— Простите, я не совсем понял, что вы имеете в виду, — ответил доктор Митчелл.

— Ну как же, не важно, что собой представляет человек и какие преступления он совершил, врач все равно обязан сделать для пациента все возможное, верно?

— Верно, — согласился доктор Митчелл.

С двумя другими врачами Эд Луби был знаком, и они его тоже знали: неприязнь сторон была взаимной.

— А вы, наверное, помогаете доктору лечить этого пациента? — спросил у них Эд Луби.

— Именно так, — подтвердил один из них.

— Не будет ли кто-нибудь столь любезен объяснить мне, какая серьезная опасность угрожает здоровью этого парня? Я вижу, тут целый консилиум собрался, — проворчал капитан Луби.

— Очень сложный случай, — пояснил доктор Митчелл. — Чрезвычайно серьезный и деликатный случай.

— И что это значит? — поинтересовался Эд Луби.

— Видите ли, мы посоветовались и решили, что пациента следует немедленно прооперировать, в противном случае велика вероятность, что он умрет.

Харви помыли и обрили. Каталку вкатили через двойные двери в операционную, и в глаза Харви ударил ослепительный свет.

Братьев Луби в операционную не пустили: вокруг Харви стояли только врачи и медсестры — одетые в халаты, на закрытых масками лицах видны лишь глаза.

Харви помолился. Подумал о жене и детях. Сейчас дадут наркоз…

— Мистер Эллиот, вы меня слышите? — спросил доктор Митчелл.

— Да, — ответил Харви.

— Как вы себя чувствуете?

— Все в руках Божьих.

— Мистер Эллиот, на самом деле ваше состояние не так уж плохо, — сказал доктор Митчелл. — Мы не собираемся вас оперировать. Мы привезли вас сюда, чтобы защитить. — Стоявшие вокруг люди напряженно переглянулись. Доктор Митчелл объяснил причину напряженности: — Мистер Эллиот, мы пошли на риск. Мы не знаем, действительно ли вас нужно защищать. Будьте добры, расскажите нам, что произошло.

Харви заглянул в глаза каждому и едва заметно покачал головой.

— Нечего мне рассказывать.

— Вам нечего рассказать? — не поверил доктор Митчелл. — И вы говорите это после того, как мы пошли ради вас на серьезный риск?

— Все произошло так, как говорят Эд Луби и его брат — как они говорят, так и было, — заявил Харви. — Передайте Эду, что я наконец все понял. Будет так, как он сказал. Я больше не доставлю ему неприятностей.

— Мистер Эллиот, все здесь присутствующие предпочли бы видеть Эда Луби и его банду за решеткой, — сказал доктор Митчелл.

— Я вам не верю, — ответил Харви. — Я вообще

больше никому не верю. — Он покачал головой. — К тому же я ничем не могу подтвердить свой рассказ. Все свидетели показывают в пользу Эда Луби. Единственный свидетель, на которого я рассчитывал, лежит мертвым в приемном покое.

Эта новость вызвала изумление.

— Вы знали этого человека? — спросил доктор Митчелл.

— Не важно, — ответил Харви. — Я больше ничего не скажу. Я и так слишком много сказал.

— Есть один способ подтвердить ваши слова. Для нас такого подтверждения будет достаточно. Если позволите, мы сделаем вам укол пентотала натрия, — предложил доктор Митчелл. — Вы знаете, что это такое?

— Нет, — сказал Харви.

— Это так называемая сыворотка правды, мистер Эллиот, — объяснил доктор Митчелл. — Она временно парализует контроль над рассудком. Вы заснете на несколько минут, потом мы вас разбудим, и вы не сможете солгать, даже если захотите.

— Допустим, я скажу вам правду, и вы мне поверите, и вы действительно хотите упрятать Эда Луби за решетку, но что могут поделать врачи? — спросил Харви.

— Честно говоря, немного, — признался доктор Митчелл. — Правда, врачей здесь всего четверо. Как я сказал Эду Луби, ваш случай очень серьезный, поэтому мы собрали серьезных людей, чтобы его рассмотреть. Вот этот джентльмен, — доктор Митчелл указал на одного из людей в халате и маске, — возглавляет ассоциацию юристов округа. Эти два джентльмена — следователи из полиции штата. Эти двое — агенты ФБР. Мы можем вам помочь. Разумеется, если вы говорили правду и согласны доказать нам, что это так.

Харви снова обвел взглядом собравшихся вокруг людей и протянул обнаженную руку.

— Колите! — сказал он.

Пентотал натрия вызвал неприятную сонливость. Голоса отдавались эхом. Харви рассказал, что произошло, и ответил на все вопросы. Потом вопросы закончились, а сонливость осталась.

— Давайте начнем с судьи Уомплера, — предложил кто-то.

Харви слышал, как звонили по телефону, отдавали приказ найти таксиста, который привез убитую девушку в клуб, взять его и доставить в больницу на допрос.

— Да-да, вы правильно поняли, я сказал доставить в операционную! — сказал звонивший по

телефону мужчина.

Харви не особо обрадовался происходящему, но потом он услышал действительно хорошие новости. Кто-то другой взял телефонную трубку и приказал немедленно доставить сюда жену Харви для выяснения правомерности содержания ее под стражей.

— Выясните, кто сейчас присматривает за детьми, — велел звонивший. — И ради бога, доведите до сведения газет и радиостанций, что этот парень вовсе не маньяк.

А потом Харви услышал, как в операционную вернулся кто-то и принес с собой пулю, извлеченную из мертвого свидетеля.

— Вот этой улике мы не позволим исчезнуть, — сказал вошедший. — Прекрасный образец! — Он поднял пулю к свету. — Можно без труда доказать, из какого оружия она вылетела — было бы оружие.

— Эд Луби слишком умен, чтобы лично стрелять в свидетелей, — сказал доктор Митчелл, который теперь явно наслаждался происходящим.

— Зато его телохранитель умом не отличается, — ответил кто-то. — Пожалуй, он довольно туп. Достаточно туп, чтобы оставить оружие при себе.

— Пуля тридцать восьмого калибра, — сказал тот, кто принес улику. — Они все еще ждут внизу?

— Надеются поспеть на похороны, — улыбнулся доктор Митчелл.

Когда сказали, что прибыл судья Уомплер, все снова натянули хирургические маски.

— Это… это что? — Судья Уомплер, испуганный и растерянный, озирался по сторонам. — Зачем меня сюда вызвали?

— Нам требуется ваша помощь в одной сложной операции, — объяснил доктор Митчелл.

— Да, сэр? — Судья Уомплер неуверенно улыбнулся. Улыбка вышла кривая.

— Нам известно, что вы и ваша жена стали свидетелями убийства, совершенного вчера вечером, — сказал доктор Митчелл.

— Да… — Многочисленные подбородки судьи мелко задрожали.

— Мы полагаем, что вы и ваша жена говорите не всю правду, — заявил доктор Митчелл. — И мы думаем, что у нас есть доказательства.

— Да как вы смеете разговаривать со мной таким тоном! — вознегодовал судья Уомплер.

— Я смею так с вами разговаривать, потому что с Эдом Луби и его братом покончено, — сказал

доктор Митчелл. — Я смею, потому что в город приехали представители полиции штата. И они вырежут прогнившее сердце этого городишки. С вами разговаривают федеральные агенты и сотрудники полиции штата. Джентльмены, — доктор Митчелл обернулся к стоявшим позади людям, — снимите-ка маски, пусть досточтимый судья увидит, с кем имеет дело.

Маски были сняты. На лицах представителей закона читалось глубочайшее презрение к судье.

Казалось, Уомплер вот-вот расплачется.

— А теперь расскажите нам, что вы на самом деле видели вчера вечером, — приказал доктор Митчелл.

Судья Уомплер помедлил в нерешительности, потом свесил голову и прошептал:

— Ничего. Я был внутри. Я ничего не видел.

— И ваша жена тоже ничего не видела? — спросил доктор Митчелл.

— И она тоже ничего не видела, — признался судья.

— То есть вы не видели, как Эллиот ударил женщину? — настаивал доктор Митчелл.

— Нет, не видел.

— Зачем же вы соврали? — спросил доктор Митчелл.

— Я… я поверил Эду Луби… — прошептал Уомплер. — Он… он рассказал мне, что произошло, и я… я ему поверил.

— Вы по-прежнему верите словам Луби? — спросил доктор Митчелл.

— Я… я не знаю… — уныло протянул Уомплер.

— Судьей вам больше не бывать, — сказал доктор Митчелл. — Вы ведь это понимаете?

Уомплер кивнул.

— А человеком вы перестали быть давным-давно, — заметил доктор Митчелл. — Ладно, наденьте на него халат и маску. Пусть посмотрит, что будет дальше.

Судью Уомплера заставили облачиться в такой же наряд, как у всех остальных.

Из операционной позвонили карманному начальнику полиции и карманному мэру Илиума и велели немедленно прибыть в больницу, поскольку там происходит нечто очень важное. Звонил судья Уомплер, под строгим надзором представителей закона.

Еще до того, как явились мэр и начальник полиции, двое сотрудников полиции штата привели таксиста, который привез убитую в клуб Эда Луби. Увидев перед собой целый трибунал хирургов, таксист пришел в ужас и в смятении

уставился на Харви, распростертого на операционном столе и все еще одурманенного уколом пентотала натрия.

Честь поговорить с таксистом предоставили судье Уомплеру: он мог более убедительно, чем кто бы то ни было, сообщить, что Эду Луби и капитану Луби пришел конец.

— Скажите правду, — дрожащим голосом произнес судья Уомплер.

И таксист сказал правду: он видел, как Эд Луби убил девушку.

— Наденьте халат и на него тоже, — велел доктор Митчелл.

Таксисту выдали халат и маску.

* * *

Затем пришла очередь мэра и начальника полиции, а после них — очередь Эда Луби, капитана Луби и громилы-телохранителя. Все трое вошли в операционную плечом к плечу Они и пикнуть не успели, как их разоружили и надели наручники.

— Какого черта?! Что вы себе позволяете?! — взревел Эд Луби.

— Все кончено. Вот и все, — заявил доктор Митчелл. — Мы подумали, что вам пора об этом узнать.

— Эллиоту пришел конец? — спросил Эд Луби.

— Это вам пришел конец, мистер Луби, — ответил доктор Митчелл.

Эд Луби напыжился — и мгновенно сдулся от оглушительного грохота: выстрел в ведро, наполненное ватой, был произведен из пистолета тридцать восьмого калибра, изъятого у телохранителя Луби.

Луби растерянно смотрел, как эксперт достал пулю из ведра и подошел к столу, где стояли два микроскопа.

— Погодите минутку… — просипел Эд Луби — на большее его не хватило.

— Чего у нас хватает, так это времени, — сказал доктор Митчелл. — Никто никуда не торопится — если, конечно, вы, ваш брат или ваш телохранитель не спешите на какую-нибудь другую встречу.

— Вы вообще кто такие? — злобно спросил Эд Луби.

— Через минуту вы это узнаете, — пообещал доктор Митчелл. — А пока, я думаю, вам следует знать, что все присутствующие пришли к единому мнению: вам крышка.

— Да ну? — усмехнулся Луби. — Знаете, в этом городе у меня полно друзей.

— Джентльмены, пора снять маски, — сказал доктор Митчелл.

Все сняли маски.

Эд Луби увидел, что его дело совсем плохо.

Эксперт, сидевший за микроскопом, нарушил молчание.

— Они совпадают, — сказал он. — Отметины на пулях совпадают. Обе пули были выпущены из одного пистолета.

На мгновение Харви прорвался сквозь стеклянные стены забытья. От кафельных плиток операционной отразилось эхо — Харви Эллиот хохотал во все горло.

Харви Эллиот задремал, и его отвезли в отдельную палату отсыпаться после укола пентотала натрия.

В палате его ждала Клэр.

— Миссис Эллиот, с вашим мужем все в полном порядке, — заверил юный доктор Митчелл, сопровождавший Харви. — Ему просто нужно отдохнуть. Я думаю, вам тоже отдых не помешает.

— Боюсь, что я неделю заснуть не смогу, — пожаловалась Клэр.

— Могу дать вам лекарство, если хотите, — предложил доктор Митчелл.

— Может быть, потом, — ответила Клэр. — По-

позже.

— К сожалению, нам пришлось обрить вашего мужа наголо, — извинился доктор Митчелл. — На тот момент у нас не было другого выхода.

— Такая сумасшедшая ночь… то есть сумасшедший день, — вздохнула Клэр. — Что произошло?

— Нечто очень важное, — ответил доктор Митчелл. — Благодаря некоторым отважным и честным людям.

— Благодаря вам, вы хотите сказать. Спасибо, — поблагодарила Клэр.

— Вообще-то я имел в виду вашего мужа, — возразил доктор Митчелл. — Что касается меня, то я получил массу удовольствия. Я узнал, как стать свободным и что нужно делать, чтобы оставаться свободным.

— И что же?

— Нужно бороться за справедливость, даже если видишь человека впервые в жизни, — сказал доктор Митчелл.

Харви Эллиоту наконец удалось открыть глаза.

— Клэр… — пробормотал он.

— Милый… — ответила она.

— Я тебя люблю, — сказал Харви.

— И это чистая правда, — заверил доктор Митчелл. — На случай, если вы когда-нибудь в этом

сомневались.

Король и королева Вселенной

© Перевод. Н. Абдуллин, 2020

Давайте на пару минут перенесемся в эпоху Великой депрессии, а точнее, в год тысяча девятьсот тридцать второй. Времена тогда были ужасные, но и хороших историй случалось немало.

В 1932-м Генри и Анне было по семнадцать лет от роду.

В семнадцать лет Генри и Анна любили друг друга, и любовь их была в высшей степени прекрасна. Молодые люди прекрасно знали, насколько прекрасно их отношения выглядят со стороны, и знали, насколько прекрасны они сами. В глазах родителей дети читали, как идеально они подходят друг другу и как идеально вписываются в общество, в котором родились и живут.

Генри, или Генри Дэвидсон Меррилл, был сыном президента Национального коммерческого банка; внуком покойного Джорджа Миллса Дэвидсона, бывшего мэром с 1916 по 1922 год. Также он приходился внуком доктору Росситеру Мерриллу, основателю детского крыла городской больницы…

Анна, или Анна Лоусон Гейлер, была дочерью президента частной газовой компании, внучкой покойного федерального судьи Франклина Пейса Гейлера. Также она приходилась внучкой Д. Дуайту Лоусону, архитектору, настоящему Кристоферу Рену из небольшого городка на Среднем Западе…

Репутация и состояние молодых людей были и оставались безупречными с момента их рождения. Любовь не требовала от влюбленных ничего сверх нежного внимания друг к другу, ухаживаний, добрых прогулок на яхте, теннисных партий или игры в гольф. Более глубокие аспекты любви влюбленных не касались, их разум оставался девственно чист, как у Винни Пуха.

Жизнь для них протекала столь весело и несложно, была столь естественна и безоблачна.

Но вот однажды, поздней ночью Генри Дэвидсон Меррилл и Анна Лоусон Гейлер в истинно виннипуховском расположении духа, подразумевающем, что неприятные события случаются исключительно в жизни людей неприятных, шли по городскому парку. Одетые в вечерние наряды, они возвращались с танцев в спортивном клубе к гаражу, где Генри оставил машину.

Ночь выдалась темная, к тому же в парке слабенько светило всего несколько фонарей, далеко

отстоящих друг от друга.

В парке случались убийства. Какого-то мужчину зарезали за десять центов, а убийца до сих пор разгуливал на свободе. Однако жертвой был грязный бродяга — такие буквально рождаются, чтобы их прирезали меньше чем за доллар.

Свой смокинг Генри воспринимал как безопасный пропуск через парк — костюм, столь отличный от нарядов местного люда, наверняка защищает от всякого непотребства.

Генри взглянул на Анну и нашел, что она, как и положено, утомлена — его розовая пышечка в голубом тюлевом платье, в маминых жемчугах и с букетом орхидей от самого Генри.

— Спать на скамейке в парке вовсе не дурно, — громко выдала Анна. — Это даже забавно. Забавно жить бродягой.

Она взяла Генри за руку — своей уверенной, загорелой и по-дружески твердой рукой.

И не было в том, как их ладони соприкоснулись, ничего банально трепетного. Молодые люди выросли вместе, зная, что им суждено пожениться и состариться, и потому ничем — ни касанием, ни взглядом, ни словом, ни даже поцелуем — не сумели бы друг друга удивить.

— Зимой бродягой жить не очень забавно,

— ответил Генри. Он подержал Анну за руку, а после без всякой трепетности высвободил свою ладонь.

— Зимой я бы перебралась во Флориду, — предложила вариант Анна. — Ночевала бы на пляжах и воровала апельсины.

— На одних апельсинах долго не протянешь, — отрезал Генри как настоящий мужчина, давая понять: о жестокости мира он знает куда больше.

— На апельсинах и рыбе. Я своровала бы крючков на десять центов из скобяной лавки, леску нашла бы на помойке, а грузило сделала из камня. Скажу как на духу, — добавила Анна, — это был бы рай. Из-за денег люди с ума посходили.

В самой середине парка стоял фонтан, а на краю его чаши сидело существо, похожее на горгулью. Но вот оно слезло с чаши и оказалось человеком. Мужчиной.

* * *

Ожив, фигура превратила парк в черную реку Стикс, а огни гаража — в Райские врата, далекие-предалекие.

Генри тут же поник плечами, ощутив себя неуклюжим мальчиком, надежности в котором

не больше, чем в шаткой приставной лестнице. Собственная белая сорочка показалась ему маяком, влекущим воров и безумцев.

Он посмотрел на Анну — та обратилась в перепуганную курицу. Руки девушки метнулись к маминому ожерелью на шее. Орхидеи, казалось, сковали ее движения, словно тяжкие гири.

— Постойте… Прошу вас, постойте, — негромко просипел мужчина. Пьяно откашлявшись, он жестом попросил пару остановиться. — Ну пожалуйста… Всего на секунду.

В груди у Генри набухло тошнотворное возбуждение от предчувствия близкой драки, и он неопределенно поднял руки — то ли для удара, то ли изготовившись сдаться.

— Опустите руки, — попросил человек. — Я лишь хочу поговорить. Грабители уже давно спят, и по улицам в это время бродят только пьяницы, скитальцы и стихоплеты.

На нетвердых ногах он приблизился к Генри и Анне. Поднял руки, желая показать свою абсолютную безобидность. Низкорослый, костлявый, одежду он носил дешевую и мятую, словно старая газета.

Мужчина запрокинул голову, как бы подставляя хлипкую шею под удар и готовясь принять

смерть от рук Генри.

— Здоровый юноша вроде вас, — вяло улыбнулся бродяга, — убьет меня двумя пальцами.

Похожий на черепашку, он пучил глаза, ожидая: поверят ему или нет.

Генри медленно опустил руки — опустил руки и бродяга.

— Чего вы хотите? — спросил Генри. — Денег?

— А вы разве их не хотите? Их хочет каждый. Бьюсь об заклад, и ваш старик не прочь их еще потранжирить. — Мужчина хихикнул и передразнил Генри: — Чего вы хотите? Денег?

— Мой отец не богат, — ответил Генри.

— Мои жемчужины не настоящие, — совсем неподобающим своему положению тоном отрывисто пролепетала Анна.

— О, смею думать, они вполне себе настоящие, — ответил незнакомец и слегка наклонился к Генри. — А ваш отец вполне богат. Лет эдак на тысячу ему денег, может статься, не хватит, но сотен на пять — очень даже.

Он покачнулся. Его подвижное лицо отразило быструю смену чувств: сначала стыд, презрение, каприз и, наконец, великую скорбь. Скорбь была у него на лице, когда он представился:

— Стэнли Карпински, так меня звать. Не надо

мне ваших денег и жемчугов. С вами я хочу лишь поговорить.

Генри обнаружил, что не может избавиться от Карпински, не может не принять его руки. Для Генри Дэвидсона Меррилла Стэнли Карпински сделался человеком драгоценным, кем-то вроде маленького божества парка, сверхъестественного существа, которое умеет заглянуть в тень и видит, что кроется за каждым кустом или деревом.

Казалось, Карпински, и только Карпински, может безопасно провести Генри с Анной сквозь парк.

Ужас Анны превратился в истерическую дружелюбность, и когда Генри пожал Карпински руку, девушка воскликнула в ночь:

— Боже мой! Мы уж было подумали, что вы грабитель или еще кто!

Она рассмеялась.

Карпински, окончательно уверившись, что ему доверяют, внимательно оглядел наряды новых знакомых.

— Король и королева Вселенной — вот как она вас назовет, — сказал он. — Ей-богу, так и назовет!

— Простите? — не понял Генри.

— Моя матушка именовала бы вас так, — пояснил Карпински. — Увидит вас и решит, что прекраснее вас никого не встречала. Моя матушка — маленькая полячка, всю жизнь мыла полы. Ей даже не хватало времени встать с четвереньек, чтобы выучить как следует английский язык. Вас она приняла бы за ангелов. — Карпински поднял голову и вскинул брови. — Не пройдете ли со мной и не позволите ли ей взглянуть на вас?

Вслед за страхом пришла вялость и безвольность, которая позволила Генри и Анне принять необычное приглашение Карпински. И не просто принять, но принять с охотой и огоньком.

— Ваша мать? — пролепетала Анна. — С большим… нет, с огромным удовольствием повидаем ее.

— Конечно… А где она? — спросил Генри.

— Всего в квартале отсюда, — сказал Карпински. — Пойдем к ней. Она посмотрит на вас, и можете идти куда угодно сей же момент. Это займет у нас минут десять.

— Согласен, — ответил Генри.

— Ведите, — сказала Анна. — Как забавно.

Карпински еще какое-то время смотрел на пару. Потом достал из кармана папиросу, согнутую почти под прямым углом, и, даже не выпрямив

ее, закурил.

— Идем, — сказал он резко и отбросил спичку. Генри и Анна последовали за ним быстрым шагом, а Карпински уводил их прочь от огней гаража — в сторону боковой улочки, освещенной едва ли лучше самого парка.

Генри и Анна шли за Карпински след в след. Из-за необычайности его просьбы, из-за темноты парка им казалось, будто их несет сквозь темный вакуум космоса прямо к Луне.

Достигнув самого края парка, необычная процессия пересекла улицу. Та казалась мрачным тоннелем, ведущим сквозь кошмар и связующим две точки света, уюта и безопасной реальности.

Город был очень тих. Вдалеке проскрипел по ржавым рельсам пустой трамвай, вагоновожатый прозвенел в треснутый колокольчик, и в ответ ему прогудел клаксонами автомобиль.

В конце квартала показался патрульный. Он взглянул на Генри, Анну и Карпински, и в его взгляде Генри и Анна ощутили гарантию безопасности. Они даже на миг растерялись, но все же продолжили путь, твердо вознамерившись испытать приключение до конца.

И двигал ими вовсе не страх, но радостное возбуждение. Генри Дэвидсону Мерриллу и Анне

Лоусон Гейлер наконец выдался неожиданный, ошеломительный, поразительный, опасный и романтический шанс прожить жизнь как им хочется.

Навстречу показался темнокожий старик, что-то бубнящий себе под нос. Опершись о стену дома и не прекращая бормотать, он проводил троицу взглядом.

Генри и Анна открыто и прямо посмотрели ему в лицо. Сейчас они сами были обитателями ночи.

А потом Карпински открыл дверь, за которой сразу же начиналась лестница. На одной из ступенек, лицом к входящим, была прибита табличка: «Стэнли Карпински, магистр естественных наук, специалист по промышленной химии. Четвертый этаж».

Глядя, как Генри и Анна читают табличку, Карпински преисполнился силы — словно бы протрезвел, принял вид уважаемого, серьезного человека, магистра естественных наук, о котором и сообщала табличка. Пригладив волосы, он оправил пальто.

До сего момента Генри и Анна полагали его стариком. Однако похудел и высох Карпински вовсе не от прожитых лет — просто он совсем о

себе не заботился.

Карпински было всего лишь под тридцать.

— Следуйте за мной, — попросил он.

* * *

Стены лестничного колодца были обшиты облупившимися фанерными листами, пропахшими капустой. Дом оказался старым зданием, поделенным на жилые комнатки.

В таких грязных, небезопасных домах Генри и Анне бывать не приходилось.

Когда Карпински поднялся до третьего этажа, открылась дверь.

— Джордж… Ты, что ли? — очень невежливым тоном поинтересовались изнутри, и в коридор осторожно вышла крупная, похожая на тупое животное, женщина. Грязными руками она прижимала к бокам полы халата. — О, сумасшедший ученый… И опять нализался.

— Приветствую, миссис Перти, — ответил Карпински, заслоняя собой Генри и Анну.

— Ты моего Джорджа не видел?

— Нет.

Женщина криво усмехнулась.

— Мильон не заработал еще?

— Нет… Еще нет, миссис Перти, — сказал Кар-

пински.

— Ну, поторопился бы, что ли, — посоветовала миссис Перти, — а то мать твоя больна и содержать тебя больше не может.

— Скоро уже, — спокойно ответил Карпински, отступая в сторону и давая миссис Перти разглядеть Генри и Анну. — Это мои добрые друзья, миссис Перти. И им очень интересна моя работа.

Миссис Перти словно громом прибило.

— Они шли с танцев в спортивном клубе. Узнали, что матушка моя очень больна, и решили заглянуть к нам — рассказать, как все важные люди на танцах обсуждают мои эксперименты.

Миссис Перти раскрыла рот и тут же захлопнула, не издав и звука.

Обернувшись к Генри и Анне, миссис Перти превратилась для них в зеркало — показала паре их собственные отражения. Такими, какими они сами себя прежде ни разу не видели и увидеть не ожидали: невероятно могущественными. Да, они живут и будут жить гораздо комфортнее, имеют и будут иметь удовольствия куда дороже, нежели доступны большинству людей, однако им прежде и в голову не приходило, что они могут быть куда могущественней.

Благоговению миссис Перти имелось лишь

одно объяснение: женщина благоговела перед их силой.

— Приятно… Приятно познакомиться, — проговорила она, не сводя с пары взгляда. — Доброй ночи вам.

На том она отступила к себе в комнату и захлопнула дверь.

* * *

Дом и лаборатория Стэнли Карпински, специалиста по промышленной химии, представляла собой одну-единственную, продуваемую ветром чердачную комнату, нутром похожую на ствол дробовика. С обоих торцевых концов комнаты имелось по узенькому окошку, дрожащему в слабенькой раме.

Потолок был деревянный, образованный скатом крыши. Имелись полки, прибитые к стене прямо между оголенными распорками. На них стояли скудные пищевые запасы, микроскоп, книги, емкости с реагентами, пробирки и колбы…

Ровно посередине комнаты располагался стол темно-красного дерева с ножками в виде львиных лап. На столе стояла лампа под абажуром. Это и был лабораторный стол Стэнли Карпински,

заставленный сложной системой кольцевых штативов, колб и стеклянных трубок.

— Говорите шепотом, — попросил Карпински, зажигая свет над столом. Прижав палец к губам, он многозначительно кивнул в сторону кровати у самого ската крыши. Кровать была настолько утоплена в тени, что не укажи на нее Карпински, Генри с Анной ее вовсе бы не заметили.

На кровати спала мать химика.

Женщина не пошевелилась. Дышала она медленно и каждый раз, выдыхая, словно бы говорила: «Вы-ыыы».

Карпински коснулся аппарата на столе со смесью любви и ненависти.

— Об этом, — прошептал химик, — в спортивном клубе сегодня все и говорили. Все — акулы финансов и промышленности — не имели других тем для разговоров. — Он вопросительно поднял брови. — А ваш отец, — обратился Карпински к Генри, — уверял, что оно поможет мне разбогатеть, ведь так?

Генри выдавил улыбку.

— Скажите, что да, — подсказал Карпински.

Генри и Анна не ответили из опасений вовлечь своих отцов в невыгодное предприятие.

— Да разве вы не видите, что это? — вопросил

Карпински. Широко раскрыв глаза, он походил на фокусника. — Разве для вас это не очевидно?!

Переглянувшись, Генри и Анна покачали головами.

— Это то, что помогло сбыться мечтам моих отца и матери. То, что сделало богатым их сына. Подумайте, ведь они были нищими в чужой стране, даже не умели читать и писать на вашем языке. Но они тяжело трудились на земле обетованной. Каждый сбереженный цент вложили в образование своего сына. Они отправили его не только в школу, но после и в колледж! А потом — в магистратуру! И вот посмотрите, разбогател ли он?!

Чересчур юные и неискушенные Генри и Анна не распознали тона Карпински, не восприняли ужасной сатиры. Напротив, на его аппарат они взирали серьезно, готовые поверить, что он и правда поможет сколотить состояние.

Карпински какое-то время смотрел на них, ожидая реакции. И вдруг разрыдался. Хотел было схватить аппарат и швырнуть его о пол, но в последний миг опомнился — удержал одну руку другой.

— Мне что, по слогам повторить? — зашептал он. — Мой отец угробил себя на работе, чтобы

обеспечить мне будущее; теперь и мать умирает по той же причине. А я — при своем образовании и степенях — не могу даже посудомоем устроиться!

Он снова потянулся к своему аппарату — вновь готовый разбить его.

— Вот это? — с тоской в голосе произнес Карпински и покачал головой. — Не уверен. Оно может оказаться и всем, и ничем. Нужны годы и тысячи долларов, чтобы проверить. — Он отвернулся в сторону кровати. — У моей матушки нет этих лет, чтобы увидеть, как я достигну успеха. Она и нескольких дней не протянет. Завтра ей ложиться в больницу на операцию, и врачи говорят: поправиться шансов немного.

Женщина вдруг проснулась. Не двигаясь, она позвала своего сына по имени.

— Так что сегодня пан или пропал, — произнес Карпински. — Стойте тут и смотрите на аппарат с восхищением, словно ничего прекраснее в жизни не видели. Матушке я скажу, что вы миллионеры и пришли купить его у меня за целое состояние!

Он опустился у кровати на колени и на польском радостно сообщил матери добрую весть.

Генри с Анной подошли к аппарату, застенчиво уронив руки вдоль бедер.

Мать Карпински тем временем села на кровати и громко заговорила.

Генри лучезарно улыбнулся, глядя на аппарат.

— Какая прелесть, правда? — сказал он.

— О да… Я согласна с тобой, — ответила Анна.

— Улыбайся! — велел Генри.

— Что?

— Улыбайся… Изображай радость! — Генри впервые командовал Анной.

Пораженная, она все-таки улыбнулась.

— Он гений, — сказал Генри. — Изобрел такую вещь.

— Он с ней разбогатеет, — добавила Анна.

— Матушка должна им гордиться.

— Она хочет поговорить с вами, — сказал Карпински.

Генри с Анной приблизились к изножью кровати, на которой молча, но излучая радостный свет, сидела мать химика.

Карпински тоже светился, светился сумасшедшей радостью. Его обман окупается с лихвой! И невероятным образом. Мать получила долгожданную награду за годы чудовищных лишений. Радость, которую она испытала в ту минуту, со скоростью света полетела обратно в прошлое, озаряя собой каждый миг тяжкой доли.

— Представьтесь ей, — попросил Карпински. — Настоящих имен можете не называть, разницы нет.

Генри поклонился:

— Генри Дэвидсон Меррилл, — представился он.

— Анна Лоусон Гейлер, — назвалась Анна.

Они постыдились называться подложными именами. В конце концов они совершили по-настоящему прекрасный поступок. Первый, достойный внимания Неба.

Карпински уложил матушку, вновь повторяя для нее глухим голосом радостную новость.

Она закрыла глаза.

Генри и Анна, сияя от счастья, на цыпочках отошли от кровати в сторону двери.

И тут в комнату ворвались полицейские.

Их было трое — один с пистолетом, двое — с дубинками. Они схватили Карпински.

Сразу же вслед за полицией вошли отцы Генри и Анны. Они буквально обезумели от страха за своих чад, как если бы с детьми случилось или может случиться нечто ужасное. Родители сообщили в полицию, что детей похитили.

Мать Карпински села на кровати. Последнее, что она увидела в жизни, был ее сын в руках у

полиции. Застонав, она испустила дух.

Минут десять спустя Генри, Анна и Карпински уже не были частью одного действия, они даже не находились более в одной комнате или же, говоря поэтически, в одной и той же вселенной.

Карпински вместе с полицейскими безуспешно пытался вернуть к жизни свою матушку. Изумленный Генри покинул дом, а пораженный и напуганный отец шел следом, умоляя остановиться и выслушать его. Анна ударилась в слезы и ни о чем более думать не могла. Отец легко вывел ее на улицу к поджидавшему авто.

Шесть часов спустя Генри все еще шел. К тому времени он добрался до окраины города. Наступил рассвет. Генри сотворил любопытные вещи со своим вечерним нарядом: выбросил черный галстук, запонки и пуговицы. Закатал рукава сорочки и сорвал с себя накрахмаленную манишку, чтобы сорочка смотрелась как обычная рубашка, расстегнутая у горла. Некогда блестящие черные туфли приобрели цвет городской грязи.

Выглядел Генри как молодой бомж, которым и решил стать. В скором времени его подобрала патрульная машина и отвезла домой. Генри никого не желал слушать, ни с кем не желал общаться

по-человечески. Ребенком он быть перестал, и речь его напоминала речь грубого мужика.

Анна плакала, пока не уснула, а после — почти в то же время, когда домой привезли Генри, — она пробудилась, чтобы вновь разрыдаться.

В комнату лился бледный, будто снятое молоко, свет утренних сумерек. И в этом свете Анне было видение, в котором явилась книга. Имя на обложке принадлежало самой Анне, и говорилось в книге о скудости души, трусости и лицемерии богачей.

На ум пришли первые несколько строк: «В то время царила депрессия. Люди нищали, падали духом, но кое-кто все же ходил на танцы в спортивный клуб». Анне полегчало, и она снова заснула.

Примерно в то же время, когда Анна вновь погрузилась в сон, у себя в чердачной комнате Стэнли Карпински открыл окно и часть за частью выбросил аппарат. Затем в окно отправились книга, микроскоп и прочее оборудование. Времени на это ушло немало, а некоторые вещи, падая на мостовую, гремели довольно сильно.

Наконец кто-то вызвал полицию, сообщив о психе, швыряющем из окна вещи. Полицейские

прибыли, но, увидев, кто именно кидается вещами, ничего не сказали. Только подчистили за Карпински мостовую, смущенно и без слов.

Генри проспал до обеда, а когда поднялся, то вышел из дому, пока никто его не увидел. Мать — особа милая и изнеженная — услышала только, как завелась машина, и заскрипели по гравию покрышки. Генри уехал.

Вел он медленно и подчеркнуто осторожно. Казалось, надо выполнить одно очень важное дело, хоть Генри и не был уверен, в чем, собственно, это важное дело состоит. Однако важность не могла не сказаться на том, как он вел машину.

Когда Генри приехал к Анне, та уже завтракала. Служанка, впустившая Генри в дом, относилась к хозяйке, словно та — инвалид, однако девушка уплетала завтрак с завидным аппетитом и между делом умудрялась записывать что-то в школьную тетрадь.

А писала она свою книгу — и писала со злобой.

Напротив Анны за столом сидела мать, и творчество дочки — занятие столь непривычное — заставляло ее нервничать. То, как резко и дико скользил карандаш по бумаге, оскорбляло и тревожило мать. Она знала, о чем пишет дочь, ведь Анна давала ей почитать рукопись.

Приезду Генри мать Анны обрадовалась. Генри ей нравился, и она надеялась, что жених поможет изменить дурной настрой дочери.

— О, Генри, милый, — сказала она, — ты уже слышал добрые вести? Матушка тебе не передавала?

— Я не говорил с матерью, — сухо ответил Генри.

Поникнув, мать Анны произнесла:

— О… Этим утром я целых три раза созванивалась с твоей матушкой, и она говорит, что к тебе есть серьезный разговор — о том, что случилось.

— И-и… — протянул Генри. — В чем же хорошие новости, миссис Гейлер?

— Ему дали работу, — подала голос Анна. — Разве не превосходно?

Кислое выражение на ее лице говорило, впрочем, что новость все же не столь превосходная. А еще — что и сам Генри не столь уж и превосходен.

— Бедняга… с которым вы познакомились прошлой ночью… мистер Карпински… — залепетала мать Анны. — Получил работу. Замечательную работу. Ваш отец и отец Анны сегодня утром позвонили: сказали, что по их просьбе Эд Бачуолтер принял его в «Дельта кемикал». — Ее мягкие ка-

рие глаза увлажнились, словно бы умоляя Генри согласиться, дескать, нет в мире ничего такого, чего нельзя поправить одним махом. — Разве не замечательно, Генри?

— Я… Думаю, это лучше, чем ничего, — ответил Генри. Легче ему не стало.

Его безразличие сокрушило мать Анны.

— Ну что еще можно было для него сделать? — умоляюще вопросила она. — Чего еще, дети, вы хотите от нас? Нам и так плохо. Мы стараемся для бедного человека, и если бы в наших силах было помочь бедной женщине, мы бы и ей помогли. Ведь никто не знал, чем все обернется. Любой на нашем месте поступил бы именно так — когда творятся столь ужасные вещи! Похищения, убийства — бог знает что! — И она расплакалась. — Анна пишет роман о нас, словно мы какие-то преступники, а ты приходишь и даже не улыбнешься, какую бы весть тебе ни сообщили.

— Я не говорю, будто вы преступники, — возразила Анна.

— Но пишешь о нас вовсе не лестно. Тебя почитать, так твой отец, я, отец Генри и его мать, а еще Бачуолтеры и Райтсоны, и еще многие другие только порадовались, когда столь много людей осталось без работы. — Мать Анны покачала

головой. — Но мне не радостно. Депрессия отвратительна, просто-напросто отвратительна. А что я могу поделать? — пронзительно сказала она.

— Книга не о тебе, — сказала Анна. — Она обо мне. И я в ней — самый дурной герой.

— Но ты замечательный человек! Очень замечательный, — защебетала мать, перестав плакать и улыбнувшись. Она задвигала локтями, словно мелкая пташка — крыльями. — Дети, давайте же вместе порадуемся! Ведь все будет хорошо! — Она обернулась к Генри. — Генри, ну улыбнись…

Генри знал, какой улыбки от него ждут — той самой, которой дитя улыбается, когда взрослые пытаются его утешить. Прежде он улыбнулся бы машинально, но только не сейчас.

Главное было показать Анне, что он — не узколобый кретин, каковым она, должно быть, его полагает. Не улыбнувшись, он добился кое-чего, однако следовало проявить себя более мужественно и решительно. И тут его осенило. Генри понял, какое неизвестное, но очень важное дело его беспокоит.

— Миссис Гейлер, — сказал Генри, — думаю, нам с Анной следует навестить мистера Карпински и выразить ему, как мы сожалеем о случившемся.

— Нет! — воскликнула мать Анны. Воскликнула

резко и быстро. Даже чересчур резко и быстро, с паникой в голосе. — Я хочу сказать, — повела она руками в воздухе, словно бы что-то стирая, — об этом уже позаботились. Ваши отцы поговорили с ним. Попросили прощения, дали работу и… — Тут ее голос затих, словно она услышала себя со стороны.

Мать Анны поняла: она не может принять саму идею того, чтобы Генри и Анна повзрослели и взглянули в лицо трагедии. Она признавалась, что сама так до сих пор и не выросла, не научилась смотреть в лицо трагедии. Признавалась, что самое прекрасное, что можно купить за деньги — это детство длиною в жизнь…

Мать Анны отвернулась. Никак иначе она не могла сказать детям, мол, если считаете нужным, то ступайте и поговорите с Карпински.

Генри и Анна уехали.

Стэнли Карпински сидел у себя в комнате за столом с львиными ножками. Легонько прикусив большие пальцы рук, он смотрел на середину столешницы, где лежало то немногое, что не вылетело в окно на рассвете. Карпински спас главным образом книги в потрескавшихся переплетах.

На лестнице послышались шаги — поднима-

лись двое. Дверь Карпински запирать не стал, так что стучаться пришедшим нужды не было. В дверном проеме появились Генри и Анна.

— Неужели? — поднялся Карпински из-за стола. — Король и королева вселенной. Большего сюрприза я ожидать просто не мог. Проходите.

Генри натянуто поклонился.

— Мы… Мы пришли сказать, что нам очень жаль.

Карпински поклонился в ответ.

— Большое спасибо вам.

— Нам очень жаль, — сказала Анна.

— Спасибо.

Последовала неловкая пауза. Генри с Анной не думали заранее, что говорить, приготовив лишь первые свои фразы. И все-таки ждали, наверное, мол, вот они пришли, и сейчас должно случиться нечто волшебное.

Карпински молчал, не находя слов. Из всех участников трагедии Генри и Анна были, пожалуй, самыми невинными и безликими.

— Ну что ж, — произнес наконец Карпински. — Может, кофе?

— Согласен, — ответил Генри.

Карпински отошел к газовой плитке, зажег ее и поставил на огонь чайник.

— А у меня теперь шикарная работа. Слышали, поди?

Ему неожиданное счастье радости доставило не больше, чем Генри и Анне.

Молодые люди не ответили.

Тогда Карпински обернулся и посмотрел на них, пытаясь понять, если выйдет, чего они ждут. И с великим трудом, поднявшись над собственной бедой, он догадался: эти двое соприкоснулись с жизнью и смертью, они потрясены до глубины души. И теперь им надо знать, к чему все это.

Порывшись в уме на предмет светлой идеи, Карпински к собственному удивлению обнаружил нечто действительно важное.

— Знаете, — заговорил он, — если бы нам удалось обмануть прошлой ночью мою матушку, я счел бы свой долг оплаченным и тем бы удовольствовался. Окончил бы жизнь на дне или даже наложил на себя руки. — Пожав плечами, он грустно улыбнулся. — Но теперь, если мне суждено платить по счетам, то следует верить, что матушка взирает на меня с Небес и видит, какого успеха я добился ради нее.

Слова эти прозвучали для Генри и Анны глубоко утешительно. Как и для самого Карпински.

Тремя днями позже Генри признался Анне

в любви, и Анна призналась ему во взаимных чувствах. В любви друг другу они признавались и прежде, однако на сей раз эти признания не были пустыми словами. Молодые люди наконец поняли, что такое жизнь.

Легкие десять тысяч в год

© Перевод. Е. Алексеева, 2020

— А, все-таки переезжаешь наконец? — сказал мне Джино Доннини, маленький, свирепого вида человечек, в прошлом — блистательный оперный тенор.

Дни его величия миновали, он разменял седьмой десяток и теперь давал уроки вокала, чтобы оплачивать захламленную квартирку этажом ниже моей и покупать себе скромную еду, вино и дорогие сигары.

— Один за другим мои молодые друзья покидают меня. И как мне теперь оставаться молодым?

— Может, на моем месте поселится кто-то, кому не наступил медведь на ухо, и вы еще рады будете.

— А-а, зато у тебя в голове пение звучит мелодично… А это что за книга?

— Да вот, разбирался на антресолях, маэстро, и откопал школьный альбом из старших классов.

Я продемонстрировал ему раздел, посвященный выпускникам, — разграфленные на клеточки страницы с фото и краткими биографиями. Сто

пятьдесят человек.

— Видите? Я не оправдал возложенных на меня ожиданий. Мне прочили будущее великого романиста, а я работаю инженером по техобслуживанию в телефонной компании.

— Ох уж эти американские детки со своими большими надеждами… — Джино был американцем уже сорок лет, но по-прежнему считал себя чужаком. — Вот этот толстый мальчик вознамерился стать миллионером, а эта девочка — первой женщиной на посту спикера палаты представителей.

— Теперь у него бакалейный магазин, а она — его жена.

— Надо же, как низко пали!.. О, а вот и Ники! Я все забываю, что вы одноклассники.

Джино был старым другом отца Ники Марино. После войны Ники пришел к нему заниматься вокалом, а когда я собрался учиться на инженера на пособие для демобилизованных, подыскал мне квартирку в доме, в котором жили они оба.

— Ну, — проговорил я, — зато предсказание для Ники сбылось как по написанному.

— «Пойдет по стопам отца и станет великим тенором», — прочел Джино.

— Или по вашим стопам, маэстро, — ввернул я.

Джино покачал головой.

— Его отец был куда лучше. Ты себе не представляешь. Могу поставить пластинки, ты сразу поймешь — даже в такой паршивой записи, как тогда делали. Таких голосов теперь нет и, наверное, не будет много поколений. Чудо, а не голос. А обладатель его взял и умер в двадцать девять лет…

— Слава богу, он оставил после себя сына.

В маленьком городке, где прошло наше детство, все знали, чей сын Ники, — и никто не сомневался, что он еще прославит свою малую родину. На каждом городском мероприятии Ники должен был исполнить нечто приличествующее случаю. Его мать, далекая от музыки деловая женщина, тратила большую часть доходов от своего бизнеса на уроки вокала и сценической речи для Ники, надеясь воссоздать в сыне образ умершего мужа.

— Да, слава богу, — вздохнул Джино. — Выпьешь со мной на прощание или не в твоих правилах пить после завтрака?

— Ну, мы еще не прощаемся. Я через два дня перееду. Так что выпьем, только в другой раз. Сейчас я пойду, мне надо отдать Ники пару книжек.

Когда я зашел к Ники, хозяин принимал душ, распевая с громкостью оркестровой трубы. Я

присел подождать.

Стены однокомнатной квартирки были сплошь оклеены фотографиями его отца и афишами отцовских выступлений. На столе в компании метронома, кофейника, треснутой чашки и засыпанного сигаретным пеплом блюдца лежал блокнот. Из него в три стороны топорщились края вложенных газетных вырезок об отце.

На полу валялась пестрая пижама и утренняя корреспонденция — письмо с приколотым к нему банковским чеком и фотографией. Письмо, конечно, от матери — она никогда не писала Ники, не приложив к посланию какой-нибудь сувенир в память об отце из своих бездонных запасов. Чек представлял собой часть доходов от магазинчика подарков. Суммы, поступавшие от матери, были невелики, но Ники как-то ими обходился, поскольку больше денег взять ему было неоткуда.

Из ванной появился Ники — большой, смуглый, медлительный, весь лоснящийся от воды.

— Ну, как звучит?

— Мне-то откуда знать. Я различаю только то, что громко, и то, что тихо. И это было очень громко. — Я соврал Джино по поводу книжек: на самом деле я пришел за десяткой, которую Ники занял у меня три месяца назад. — Так что там

насчет моих десяти баксов?

— Да отдам я! — воскликнул он с чувством. — Все, кто был добр к Ники, пока он был никем, разбогатеют, когда он станет богат!

Ники не шутил. Именно в таком тоне и в таких выражениях говорила о нем его мать — без тени сомнения в его грядущем успехе. Именно это Ники слышал и повторял о себе всю свою жизнь. Иногда он и вел себя так, словно уже достиг славы.

— Очень мило с твоей стороны, только давай я лучше заберу свою десятку сейчас и освобожу тебя от обязанности делиться будущим богатством.

— Это что, сарказм? — Улыбка Ники погасла. — Ты намекаешь, что не настанет тот день…

— Нет, нет, стоп! Настанет тот день. Наверное. Откуда мне знать? Мне просто нужна моя десятка, чтобы нанять грузовик и перевезти вещи.

— Деньги!

— А куда без них-то? Нам с Эллен переезжать надо.

— Я как-то и без них обхожусь. Сначала война, четыре года жизни — пф, и нету! А теперь еще о деньгах надо думать…

— Что, моя десятка тоже отберет у тебя годы жизни?

— Десятка, сотня, тысяча… — Ники удрученно опустился на стул. — Джино говорит, это и в голосе у меня слышно. Неуверенность, в смысле. Говорит, я пою о счастье, а неуверенность в завтрашнем дне все отравляет. Пою о несчастье — и тоже все не так, потому что мое несчастье не велико, не благородно, это всего лишь презренные финансовые трудности…

— Так говорит Джино? Я думал, чем голоднее артист, тем больше простор для его таланта.

Ники фыркнул.

— Наоборот! Чем богаче, тем лучше, особенно это певцов касается.

— Я шутил.

— Прости, что я не смеюсь. Люди, которые продают болты и гайки, и локомотивы, и замороженный апельсиновый сок, вот у них миллиарды, а те, кто пытается привнести в этот мир толику красоты и смысла, с голоду помирают.

— Ты ведь пока не помираешь вроде?

— Физически — нет, — признал Ники, похлопав себя по животу. — Но дух мой жаждет безопасности, чувства собственного достоинства, излишеств хоть каких-то…

— Ну-ну…

— Да много ты об этом знаешь! Ты-то устроен

— пенсионная программа, регулярные прибавки, бесплатная страховка на все, что можно…

— Даже неловко предлагать тебе, Ники, но…

— Да знаю, знаю! Ты сейчас скажешь: «А что б и тебе не устроиться на работу?»

— Я собирался сформулировать это более дипломатично. Вовсе не обязательно бросать занятия вокалом, ты просто мог бы обеспечить себе немного денег и капельку уверенности в завтрашнем дне, пока берешь уроки у Джино и готовишься к звездному часу. Нельзя же целыми днями петь.

— Можно и нужно! И я так и делаю!

— Найди работу на свежем воздухе и пой в свое удовольствие.

— Я подхвачу бронхит. И сам подумай, как наемный труд воздействует на мой дух — необходимость лизать сапоги, поддакивать, пресмыкаться…

— Действительно, наемный труд — это просто ужасно.

Раздался стук в дверь, и вошел Джино.

— А, ты еще здесь, — сказал он мне. — Привет, Ники, вот тебе утренняя газета. Я уже прочитал, мне она не нужна.

— Мы тут, маэстро, ведем беседы о неуверенно-

сти в завтрашнем дне, — сообщил я.

— Да, тема неисчерпаемая, — проговорил Джино задумчиво. — Эта беда ломала хребты покрепче наших и украла у мира бог весть сколько красоты. Сколько раз я подобное наблюдал, подумать страшно.

— Со мной такого не случится! — с жаром вскричал Ники.

— А что ты тут можешь сделать? — Джино пожал плечами. — Подашься в бизнес? Нет, ты слишком тонкий и артистичный. Конечно, если ты все равно соберешься пойти мне наперекор и попробовать, искать надо в разделе объявлений. Но я против. Это ниже твоего достоинства. Ты мог бы вложиться во что-то, сколотить состояние, а потом быстренько продать все и посвятить себя раскрытию голоса… но мне эта идея не по душе. Я чувствую за тебя ответственность.

Ники вздохнул.

— Давайте сюда газету. Обывателям не понять, какую цену платит артист, чтобы расцветить их жизнь красотой. — Он повернулся ко мне как к воплощению всех обывателей на свете. — Ты хоть понимаешь, о чем я?

— Я, пожалуй, займу выжидательную позицию по этому вопросу, — сказал я.

— Ники, — произнес Джино веско, — прошу тебя об одном. Обещай мне, что не дашь бизнесу полностью завладеть тобой. Обещай мне, что всегда будешь помнить о главном — о стремлении к музыке.

Ники ударил кулаком по столу.

— Да ради всего святого, Джино! Уж вы-то, человек, который знает меня не хуже родной матери! Как у вас язык-то повернулся?!

— Прости.

— Ладно, что тут есть в этой дурацкой газете…

В день переезда Ники настоял, чтобы я отвлекся от своих пустячных дел на нечто гораздо более важное — его дела. Он два дня носился по городу, рассматривая то, что предлагалось в разделе «Бизнес на продажу».

— Откуда у меня возьмется тысяча долларов?! — прокряхтел я, закидывая кресло в кузов нанятого грузовика.

Даже не подумав предложить мне помощь, он с кислой миной наблюдал за моими потугами, оскорбленный тем, что я не уделяю ему всего своего внимания.

— Ну хоть пятьсот.

— Ты с ума сошел. Я в долгах как в шелках. Машина, новый дом и ребенок на подходе. Если

б индейка стоила пять центов за фунт, я б и клюв не смог купить.

— Ну и как, скажи на милость, мне тогда приобрести эту пончиковую?!

— А я тебе что, фонд Гуггенхайма?!

— Банк даст мне четыре, если я вложу четыре своих. Ты упускаешь золотую возможность! Эта пончиковая в год приносит десять тысяч. Мне все расписали. Легкие десять тысяч в год! — В голосе Ники слышался восторг. — Двадцать семь долларов в день, только руку протяни! Машина делает пончики, ты покупаешь готовую смесь для теста — и все, знай сдачу отсчитывай!

Из моей квартиры вышел Джино, неся две лампы.

— А, вернулся из банка, Ники?

— Они готовы одолжить мне только половину. Представляете? От меня тоже надо четыре тысячи.

— Немалая сумма…

— Да это мелочь! Сейчас пончиковая приносит хозяину десять тысяч в год — при том, что он не дает рекламы, не предлагает новых вкусов, не беспокоится насчет хорошего кофе к своим пончикам и даже… — Ники осекся и продолжил уже без всякого энтузиазма: — Короче, он не

занимается всякими глупыми ухищрениями, к которым приходится прибегать ради наживы. Ладно, к черту все…

— Ну да, забудь ты про эти десять тысяч в год, — поддержал его Джино.

Час спустя, наконец все погрузив, я влез в кабину и повернул ключ зажигания. Из дома вдруг вылетел Ники.

— Глуши мотор! — крикнул он.

Я повиновался.

— Говорю тебе, Ники, мне даже десятка, которую ты задолжал, по карману бьет.

— Да не нужны мне твои деньги.

— Что, решил оставить эту идею? Хорошо. Мудрое решение.

— Нет. Деньги за меня вложил некий пассивный компаньон. Узнал обо мне от банка.

— И кто это?

— Неизвестно. Он пожелал назваться анонимным любителем оперы. — В голосе Ники звучал триумф. — Прямо как в старые времена. У меня появился меценат!

— Первый в истории искусства меценат, поддержавший торговца пончиками.

— Это к делу не относится!

— Ники! — Джино высунулся из дверей своей

квартиры на полуподвальном этаже. — Ты чего раскричался?

Ники печально глянул на него.

— Я подписался на этот бизнес, маэстро, — сообщил он, виновато потупившись.

— Что ж, ради величия приходится страдать, — ответил ему Джино.

Ники покивал.

— Я возьму другое имя. Не стану делать этого под фамилией Марино.

— Да уж будь любезен, — сказал Джино.

Ники задумался.

— Джеффри, — провозгласил он. — Меня будут звать Джордж Б. Джеффри.

— Ну, иди торговать пончиками, Джордж, — благословил его Джино.

Хотя моя новая жизнь никак не пересекалась с новой жизнью Ники, мне было достаточно развернуть первую попавшуюся газету, чтобы убедиться: он все еще в деле. Он следил за тем, чтобы чуть ли не в каждом номере печатных изданий была его маленькая рекламка. И я не уставал поражаться тому, как разнообразно он нахваливает свои пончики.

— Может, нам следовало бы съездить к нему и купить у него пончиков? — как-то за завтраком

спросила моя жена. — Может, он обижается, что мы ни разу не заглянули.

— Наоборот, — возразил я. — Мы нанесем ему смертельную обиду, если туда заявимся. Ему и так стыдно, не хватало только, чтобы старые друзья любовались на него за этим занятием. В гости к нему пойдем, когда все это будет позади — либо он разбогатеет, либо разорится, но в любом случае вернется к урокам у Джино.

Минуло примерно полгода с тех пор, как Ники решил продаться за презренный металл. И вот тем же утром после разговора с женой я поджидал свой автобус на остановке под светофором и вдруг услышал пение. Я подумал, что кто-то возмутительно громко включил радио в автомобиле. Подняв глаза от газеты, я с удивлением увидел перед собой огромный пончик — футов шести в высоту, на четырех колесах, с ветровым стеклом и бамперами.

Внутри пончика сидел не кто иной, как Ники, и, запрокинув голову, самозабвенно распевал, сверкая белыми зубами. Безумной жизнерадостностью песня определенно добирала то, что недотягивала мелодичностью.

— Ники, дружище! — закричал я.

Песня оборвалась. Ники тут же помрачнел. С

кислой миной он махнул мне и открыл дверцу в боку пончика.

— Садись, в центр подкину.

— Да брось, тебе же не по пути. Магазин ведь в трех кварталах отсюда.

— Я в центр еду, — уныло сообщил Ники. — По делу.

Под рекламной бутафорией обнаружился джип, кузов которого наполняли стеллажи с разноцветными пончиками.

— М-м! Аппетитно!

— Ты издевайся, издевайся…

— Нет, правда, отменно выглядят.

— Через полгода я продам бизнес и всякому, кто предложит мне пончик, буду ломать хребет.

— Не ты ли только что тут распевал с самым счастливым видом?

— Смейся, паяц!

— А, так это было сквозь слезы? Неужто с бизнесом дела настолько плохи?

— С бизнесом! Кому охота говорить о бизнесе?

— Ну, как дела с музыкой?

— Ха, с музыкой… Джино говорит, уверенность помогает.

— Ты ж мой хороший мальчик! Значит, уверенности прибавилось?

— Немножко… что-то прибавилось, да. Джино считает, что бизнес пора уже продавать.

— Ты же только что сказал, что остаешься еще на полгода.

— А у меня выбора нет, — злобно бросил Ники. — Мой компаньон, большой поклонник оперы, подстроил все так, что я не могу продать без его разрешения. Господи! Каким же я был младенцем неразумным!

— Ого, вот это неприятно. А кто он?

— Без понятия. От его имени выступает банк.

— И все-таки на вид дела-то идут неплохо.

— С *твоей* точки зрения — конечно. Этим бизнесом должен заниматься такой, как ты, а не такой, как я. Вот ты из тех, кому бы это понравилось — наблюдать за конкурентами, придумывать новые подходы, новые рекламные слоганы, всю эту муру. — Он похлопал меня по колену. — Человек двадцатого столетия! Повезло тебе, что ты не родился с талантом.

— Да-да, очень мило. Извини за вопрос, а по какому делу ты в центр едешь?

— А… Одна молочная компания размышляет над возможностью доставлять наши пончики по утрам на дом вместе с молоком. Позвали вот на встречу.

— «Размышляет над возможностью»?

— Ну, в смысле, они уже решили, что хотят, — уточнил Ники рассеянно.

— Ники! Да ты будешь деньги лопатой грести! Самородок! Вот это деловая хватка!

— Какой же ты бесчувственный!

— Не хотел тебя обидеть. Можно мне пончик?

— Возьми светло-зеленый.

— Он с отравой, что ли?

— Новый вкус хотим попробовать.

Я запустил в пончик зубы.

— Ого! Мята! Неплохо!

— Нравится? — живо спросил Ники.

— Тебе-то какая разница, артист?

— Если уж я обречен печь пончики, надо хотя бы печь их хорошо.

— Да, сохраняй мужество. Мне тут выходить.

Ники остановил машину, но даже не посмотрел в мою сторону, когда я вылезал. Он во все глаза уставился на что-то на другой стороне улицы.

— Ах ты лживый мерзавец! — пробормотал он и нажал на газ.

Через дорогу я увидел ресторан с неоновой рекламой: «Лучший кофе в городе».

Вскоре после Пасхи на мой день рожденья от Ники пришла посылка. Я не видел его почти год и

предполагал, что неизвестный партнер Ники уже позволил ему продать долю, так что теперь мой богатый как Крез приятель снова целыми днями учится вокалу под руководством Джино. Идея доставки пончиков с молоком сработала, это я точно знал — молочник раз в три дня приносил нам полдюжины с мятной глазурью.

Посылка, доставленная с вечерней почтой, подтвердила по крайней мере часть этого предположения: Ники определенно купался в деньгах.

— Что это? — спросила Эллен.

— Не знаю. Судя по весу и размеру, там вполне может быть трехколесный велосипед.

Я разорвал многочисленные слои ярких оберток и был ослеплен серебряным чайным сервизом бог знает на сколько персон. Пожалуй, такого рода дар мог бы преподнести посол дружественного государства на бракосочетание какой-нибудь наследницы престола.

— Боже милостивый! — выдохнула Эллен. — А это что приклеено к подносу?

— Десятидолларовая банкнота. И записка. — Я стал читать вслух: — «Ты, небось, уже и не надеялся. Спасибо. С днем рожденья. Ники».

— Как неудобно, — сказала Эллен. — Я ума не приложу, куда его поставить…

— Мы могли бы оплатить этим остаток кредита на дом… — Я помотал головой. — Просто бред. Нет, надо вернуть.

Эллен снова завернула сервиз в бумагу, и я повез его Ники.

У двери в квартиру я чуть не развернулся, подумав, что он переехал. Под дверной колотушкой значилось имя «Джордж Б. Джеффри». Звуки с той стороны доносились тоже нехарактерные — танцевальная музыка и женские голоса. Прежде мне не случалось видеть Ники в компании женщины, кроме разве что его матери. Предполагалось — то есть *им самим* и предполагалось, что сотни прекрасных и талантливых женщин сами прибегут к нему, как только он достигнет карьерных успехов. Именно так было с его отцом, значит, так произойдет и с сыном.

Тут я вспомнил, что «Джордж Б. Джеффри» — это псевдоним, взятый Ники для бизнеса, и постучал в дверь. Мне открыла горничная в униформе. На одной руке она держала поднос с бокалами мартини.

— Да? — сказала мне она.

За спиной у нее была та самая квартира, некогда служившая обиталищем Ники, — только теперь безукоризненно прибранная и элегантно

обставленная темной викторианской мебелью. На столе виднелся все тот же блокнот с торчащими вырезками, но переплет у него был новый, дорогой, из кожи и бархата. Афиши и фотографии со стен тоже никуда не делись — их спрятали под стекло и заключили в массивные позолоченные рамы. Все это больше напоминало ухоженный музей, чем однушку без перегородок между жилой зоной и кухней.

Судя по музыке и смеху, где-то там была вечеринка, но я не видел ни души. Поразительно, где все гости? Не в ванной же с туалетом они прячутся…

— Мистер Марино дома? — спросил я горничную.

— Мистер *Джеффри*?

— Э… да, мистер Джеффри. Я его друг.

Распахнулись тяжелые портьеры на одной из стен, и появился Ники — довольный, раскрасневшийся. Я сообразил, что стены между этой квартирой и соседней больше нет. Очевидно, теперь апартаменты Ники занимали весь этаж. То, что скрывали портьеры, я увидел лишь на секунду — там была комната, полная смеха, сигаретного дыма и самой новомодной роскоши. Я словно взглянул на закат из глубины пещеры.

— С днем рожденья, с днем рожденья! — поздравил меня Ники.

— А ты там что, неужели продажу бизнеса празднуешь?

— А? О… нет, не совсем. — Как и прежде, Ники опечалило мое вторжение в его новую жизнь. — Так, неформальное общение с деловыми контрагентами. — Он перешел на доверительный шепот. — Иногда это совершенно необходимо, чтобы все шло гладко.

— Значит, уйти тебе пока не дают?

— Нет. Мерзавец крепко меня держит. Может, через полгода…

— Что там у вас, еще одна сделка?

— Да они одна за другой! — воскликнул он с отчаяньем. — Теперь вот еще сеть из Милуоки пытается открыть точки у нас. Конечно, мы в ответ вынуждены расширяться! А что делать? Псы пожирают друг друга. Но через полгода, бог свидетель, Джордж Б. Джеффри исчезнет, и Ники Марино возродится из пепла.

— Джорджи, милый, спой нам! — позвал женский голос из-за портьер.

Было ясно, что Ники вовсе не хочет знакомить меня со своими деловыми контрагентами и показывать мне соседнюю комнату. Но женщина

снова позвала его, высунувшись и чуть приоткрыв портьеры. Одним глазком я увидел на стенах рекламные плакаты в рамках, а над камином висела карикатура, изображение пончика с чертами лица Ники — нахально ухмыляющегося и очень довольного собой.

— Слушай, Ники, я по поводу сервиза. Большое тебе спасибо, но это перебор, мы…

Ники переминался с ноги на ногу, ему не терпелось поскорее выпроводить меня и вернуться к гостям.

— Нет, нет, это подарок. Я хочу, чтобы ты его взял — иначе зачем дарить? Твои десять долларов тогда меня здорово выручили. — Он начал вежливо, но твердо подталкивать меня к двери. — В общем, возьми сервиз и передай Эллен привет от Джорджа.

— От кого?

— От Ники. — Он вытолкал меня в коридор, подмигнул и захлопнул дверь.

Я медленно спустился по лестнице, волоча в руках тяжеленный мешок серебра, и постучал к Джино.

Старик выглянул в щелочку, просиял и впустил меня.

— Добрый вечер, маэстро. Я уж думал, вы пере-

ехали. Вывески больше нет.

— Да, я ее снял. Решил наконец уйти на покой.

— Ники только что выставил меня за порог.

— Нет, это Джордж Джеффри выставил тебя за порог. Ники бы никогда такого не сделал. Чем тебя угостить? — Джино пребывал в благодушном настроении. — У меня есть хороший ирландский виски, бывший ученик прислал. Он теперь весьма успешный сварщик.

— Прекрасно.

— В любое другое время года, даже на Рождество, мне хорошо одному, — говорил Джино, наполняя стаканы, — но вот весной одиночество начинает меня тяготить, и тогда я только и могу, что тихо надираться.

С улицы донесся голос Ники.

— Живите! — кричал он, обращаясь ко всему миру.

Мы с Джино наблюдали за вереницей ног, протопавших мимо окошка под потолком — это расходилась по домам свита короля пончиков.

— Он с честью несет свой крест, ты не находишь? — сказал мне Джино.

— Вам, должно быть, больно на это смотреть, маэстро?

— Больно? Почему бы?

— Ну как же, на ваших глазах подающий надежды тенор погружается все глубже и глубже в пучину бизнеса, все дальше и дальше уходит от музыки.

— А, ты об этом… Он счастлив. Хоть и говорит, что нет. А это ведь самое главное.

— Вы говорите как предатель искусства, если я в этом что-то понимаю.

Джино встал, чтобы подлить себе еще, наклонился ко мне и прошептал:

— Единственная роль, доступная Ники в храме музыки, — это роль билетера.

— Маэстро! — Я ушам не верил. — Вы же говорили, что он точная копия…

— Это он говорил. Его мать говорила. Я такого не говорил никогда. Я просто не спорил с ним, вот и все. Ложь наполняла всю его жизнь. Если бы я честно сказал ему, что он никуда не годится, он бы еще, чего доброго, руки на себя наложил. А мы уже неуклонно приближались к моменту, когда мне пришлось бы ему сказать.

— Выходит, ему крупно повезло, что он взялся торговать пончиками, — задумчиво проговорил я. — Он по-прежнему верит, что способен продолжить славу отца, но ему не приходится этого доказывать — бизнес не дает.

— Так что ты тут не бросайся оскорблениями. «Предатель искусства», скажет тоже! Да я в прошлом году пожертвовал десять тысяч долларов городской оперной ассоциации. — Джино поднял бокал, салютуя воображаемым зрителям.

— Десять тысяч!

— Это мелочи.

Снаружи оглушительно зазвенело пение Ники — он проводил гостей и теперь возвращался домой. Джино произнес шепотом:

— Уходит Джордж Джеффри, появляется Ники Марино.

Ники сунул голову в дверь.

— Весна, друзья мои! Земля возрождается!

— Как бизнес? — поинтересовался Джино.

— Бизнес! Кому интересен этот бизнес? Еще полгодика, маэстро, и я пошлю его к черту! — Он подмигнул и скрылся.

— Так десять тысяч долларов, по-вашему, мелочи? — спросил я.

— Мелочи, — величественно повторил Джино. — Мелочи для владельца половинной доли в самой быстрорастущей пончиковой сети в мире. Значит, еще полгодика? За полгодика он и его пончики успеют сделать для оперы не меньше, чем его отец за всю жизнь. Может, когда-нибудь

я и скажу ему. — Он покачал головой. — Хотя нет, этим я испортил бы все удовольствие. Пусть лучше остаток его дней станет интермедией между обещаниями матери о будущем и моментом, когда он действительно займется претворением их в жизнь.

Миллионы Килрейна

© Перевод. М. Клеветенко, 2020

Дымка над остывающей водой и осенняя хмарь окутали полуостров Кейп-Код туманным коконом. На часах было семь вечера. Харбор-роуд освещали только пляшущий фонарик сторожа на лодочной станции, огни бакалейной лавки Бена Николсона и фары огромного черного «Кадиллака».

Автомобиль остановился перед лавкой Бена, мотор, издав благородный рык, затих. Девушка в дешевом пальтишке вышла из «Кадиллака» и ступила на порог лавки. Ее щеки покрывал румянец — верный признак здоровья, молодости и студеной погоды, но держалась девушка очень робко. Даже ступала так, словно извинялась за каждый шаг.

Хозяин лавки сидел рядом с кассовым аппаратом, уронив кудлатую голову на руки. С надеждами Бена было покончено. В двадцать семь он остался ни с чем. Его бакалейная лавка ушла за долги.

Бен поднял голову и безрадостно улыбнулся.

— Слушаю, мэм.

В ответ она что-то прошептала.

— Что-что? Простите, не расслышал.

— Не подскажете, как добраться до коттеджа Килрейна?

— Коттеджа? — переспросил Бен.

— А разве нет? Так написано на брелоке ключей!

— Все верно, — ответил Бен. — Просто звучит непривычно. Хотя, возможно, для Джоэла Килрейна это был всего лишь коттедж. Не представляю, чтобы он согласился жить в местечке поскромнее.

— Господи, неужели коттедж такой большой?

— Девятнадцать комнат, полмили пляжа, теннисные корты, бассейн. Конюшен, правда, нет. Наверное, из-за их отсутствия его и окрестили коттеджем.

Девушка вздохнула.

— А я надеялась на тихий, уютный домик.

— Мне жаль вас разочаровывать, — сказал Бен. — Значит, так: вам нужно повернуть назад, пока не дойдете до… — Он запнулся. — Вы совсем не знаете деревни?

— Совсем.

— Как же тогда объяснить… Коттедж стоит

уединенно. Лучше я сам вас довезу. У меня грузовичок есть.

— Мне неловко вас утруждать.

— Все равно я через минуту закрываюсь, — сказал Бен. — Мне тут больше делать нечего.

— Но сначала я сделаю покупки.

— Хорошая новость для моих кредиторов.

Бен оглядел девушку. У нее были обкусанные ногти. И тупоносые туфли на плоской подошве, похожие на форменные — из чего Бен заключил, что девушка служит в богатом доме. Девушка была хорошенькая, но Бену не нравилась ее робость.

— Вы экономка? — спросил Бен. — Она послала вас разведать, чем тут разжилась?

— Кто она?

— Эта, Золушка. Ну, которая сорвала куш, — ответил Бен. — Сиделка на миллион. Как там ее? Роуз?

— А. — Девушка кивнула. — Да, вы угадали. — Она отвела взгляд от Бена и принялась рассматривать полки. — Дайте мне банку супа с лапшой, банку томатного супа, пачку хлопьев, буханку хлеба, фунт маргарина…

Бен выставил продукты на прилавок, сильно стукнув пачкой маргарина по дереву.

Девушка подпрыгнула.

— Я гляжу, вы сама не своя, — заметил Бен. — Это из-за Роуз? Такая привереда? Подай то, подай се?

— Роуз — обычная скромная сиделка, которая еще не осознала, что на нее свалилось, — строго ответила девушка. — А еще она до смерти перепугана.

— Ничего, освоится, — сказал Бен. — Все они одинаковые. Уже следующим летом будет расхаживать с таким видом, словно изобрела порох.

— Мне кажется, Роуз не такая. Надеюсь, что не такая.

Бен усмехнулся.

— Вас послушать, так она просто ангел милосердия. — Он поморщился. — Бога ради, да за двенадцать миллионов я бы и сам за ним ухаживал, а вы разве нет?

— Роуз не знала, что он оставит ей свое состояние, — сказала девушка.

Бен раскинул руки, облокотившись о полки в позе распятого.

— Да будет вам, слушать тошно! Одинокий больной старик в огромной квартире на Парк-авеню, который цепляется за жизнь, умоляя о помощи. — Бен живо представил себе картину.

— Ночами Килрейн кричал, и кто приходил на его крик? — Бен выдавил улыбку. — Роуз, ангел милосердия. Роуз поправляла ему подушки, растирала спину, говорила, что все обойдется, давала снотворное. Она заменила ему целый мир. — Бен поднял палец. — Хотите сказать, мысль о том, что Килрейн оставит ей что-нибудь на память, никогда не посещала ее хорошенькую головку?

Девушка опустила глаза в пол.

— Посещала, — пробормотала она.

— Посещала? А что я говорил? И не раз! — Бен торжествовал. — Уверяю вас, она только об этом и думала. — Он выбил чек. — Я ее знать не знаю, но если два года в лавке чему-нибудь меня научили, так это разбираться в людях. — Он поднял глаза. — Два девяносто пять.

И с изумлением увидел, что девушка готова расплакаться.

— Что ж такое! — покаянно воскликнул Бен и коснулся ее руки. — Бог мой, да не слушайте вы меня!

— С вашей стороны не слишком хорошо рассуждать так о человеке, которого вы в глаза не видели, — сказала девушка с обидой.

Бен кивнул.

— Вы правы, тысячу раз правы. Говорю вам,

не слушайте меня. Тяжелый день выдался, вы просто подвернулись под руку. Наверняка ваша Роуз и впрямь соль земли.

— Я этого не утверждала, — промолвила девушка. — Никогда.

— Ладно, какая разница, — сказал Бен. — Короче, не слушайте меня. — Он потряс головой, удивляясь двум пустым годам, которые провел в бакалейной лавке. Миллион докучных обстоятельств лишили его голоса, высушили душу. У него не было времени влюбляться и заигрывать с девушками или просто задуматься о любви и заигрываниях.

Бен покрутил пальцами, сомневаясь, что любовь и заигрывания еще вернутся в его жизнь.

— Зря я обидел такую милую девушку. Лучше бы я подарил вам улыбку и гардению.

— Гардению? — удивилась она.

— Гардению, — кивнул Бен. — Два года назад, когда я открылся, я дарил каждой покупательнице улыбку и гардению. А поскольку вы моя последняя покупательница, то и вам кое-что причитается. — И он улыбнулся ей так, словно день только начинался.

Его улыбка и обещанная гардения заставили бедную серую мышку зардеться от смущения и

удовольствия.

Бен был очарован.

— Вот это да, — промолвил он. — Вы заставляете меня жалеть, что цветочная лавка уже закрылась.

Девушке явно нравился этот разговор, впрочем, как и Бену. Ему уже чудился аромат гардении в воздухе, он почти видел, как ее неловкие пальцы пытаются приколоть цветок.

— Вы продаете лавку? — спросила девушка.

Между ними словно разлилось сияние. Слова, формальные и скучные, больше ничего не значили — важны были только намеки и полутона.

— Я прогорел, — ответил Бен. Впрочем, теперь это не имело значения.

— И что вы будете делать?

— Собирать моллюсков, — ответил Бен, — если вы не придумаете чего-нибудь получше. — Он, словно актер на сцене, взглянул на девушку искоса, недвусмысленно давая понять, как соскучился по женскому обществу.

Ее пальчики сжали кошелек, но девушка не отвела глаз.

— Работа тяжелая?

— Скорее промозглая, — ответил Бен. — И одинокая, броди себе по берегу с вилами.

— Прожить-то можно?

— Как-нибудь проживу, — ответил Бен. — Много ли мне надо? Ни жены, ни детей, ни вредных привычек. Мне хватило бы денег, которые старый Килрейн тратил на сигары.

— Это все, что осталось у него в самом конце, — промолвила девушка.

— А еще сиделка.

— Он умер, а у вас вся жизнь впереди.

— Вас послушать, так я везунчик!

Бен подхватил ее небольшую сумку с продуктами, вышел на улицу и увидел «Кадиллак».

— Роуз дала вам эту махину? А сама как же?

— В нем очень неудобно, — сказала девушка. — Такая громадина. Когда я в городе, мне все время хочется спрятаться за приборной панелью.

Бен распахнул переднюю дверцу, и девушка скользнула на водительское сиденье. Рядом с громадным рулем и щитком она выглядела десятилетней девочкой.

Бен поставил сумку на пол рядом с ней и фыркнул.

— Если бы у привидений был запах, призрак Джоэла Килрейна пах бы именно так — сигарами.

Не думая прощаться, Бен устроился рядом с

девушкой, словно собирался передохнуть и собраться с мыслями.

— Слыхали, как Килрейн заработал свое состояние? В тысяча девятьсот двадцать втором году он обнаружил, что… — Слова замерли у него на губах, когда Бен увидел, что чары спали, и глаза у девушки снова на мокром месте. — Мисс, вы снова плачете, — грустно заметил он.

— А я все время плачу, — пискнула она. — То одно, то другое. Ничего не могу с собой поделать.

— Но из-за чего? — спросил Бен. — Из-за чего вы плачете?

— Из-за всего, — ответила девушка с отчаянием в голосе. — Я — Роуз, и все на свете вызывает у меня слезы.

Мир вокруг Бена покачнулся, замерцал и вновь вернулся на место.

— Вы? — спросил он тихо. — Вы Роуз? Двенадцать миллионов долларов? В таком пальтишке? Покупаете овсянку и маргарин? Посмотрите на свой кошелек, лак весь потрескался!

— Я всегда так жила, — ответила Роуз.

— Вы еще очень молоды, — заметил Бен.

— Я словно Алиса в Зазеркалье, — промолвила Роуз. — Помните, она все уменьшалась и уменьшалась, а все вокруг становилось больше

и больше.

Бен невесело хмыкнул.

— Ничего, подрастете.

Роуз вытерла слезы.

— Мне кажется, мистер Килрейн напоследок решил сыграть с миром злую шутку, сделав богачкой такую, как я.

Девушку трясло, ее лицо побелело.

Чтобы утешить Роуз, Бен крепко сжал ее руку.

Девушка благодарно обмякла. Ее глаза заблестели.

— Никто меня не слушает, никто мне не верит, никто не понимает. Мне еще никогда не было так одиноко и страшно. А все вокруг только и знают, что судят, судят, судят… — Она закрыла глаза и бессильно откинулась назад, словно тряпичная кукла.

— Роуз, а что, если нам выпить? Вдруг поможет? — спросил Бен.

— Н-н-не знаю, — вяло откликнулась Роуз.

— Вы пьете?

— Как-то пробовала.

— Хотите, повторим?

— Не знаю, поможет ли. Правда, я так устала сама все решать… Делайте как знаете.

Бен облизал губы.

— Я только подгоню свой грузовичок и прихвачу бутылку, про которую не знают кредиторы. А вы езжайте за мной следом.

Бен разложил покупки Роуз в просторной кухне коттеджа. Ее пожитки терялись среди каньонов стали и фаянса.

Потом смешал и отнес напитки в прихожую. Роуз, не сняв пальто, лежала на винтовой лестнице и смотрела в ажурный, словно глазурованный свадебный торт, потолок.

— Я зажег горелку, — сказал Бен. — Скоро прогреется.

— Мне кажется, я потеряла способность чувствовать, — сказала Роуз. — Все вокруг утратило смысл. Слишком много для меня.

— Не забывайте дышать, — сказал Бен. — В сложившихся обстоятельствах это немало.

Роуз с силой вдохнула и выдохнула.

Сказать по правде, Бен тоже ощущал себя не в своей тарелке. Ему чудилось жуткое присутствие третьего — и это была не тень Джоэла Килрейна, а призрак его двенадцати миллионов. Ни он, ни Роуз не могли и слова вымолвить, чтобы не отвесить боязливый, нервный кивок в сторону наследства Килрейна. А между тем миллионы Килрейна — одних процентов тысяча долларов в

день — наслаждались их страхом, отпуская комментарии, превращая самое невинное замечание в пошлое и гадкое.

— Ну вот, мы на месте, — сказал Бен, подавая Роуз стакан.

— И мы, и мы, — подали голос двенадцать миллионов.

— Двое сонных людей… — начал Бен.

— А вот мы никогда не дремлем, — вклинились миллионы Килрейна.

— Странная штука судьба, — заметил Бен. — Взяла и свела нас сегодня.

— Кхе-кхе-кхе, — отчетливо, словно несмазанные петли, проскрипели миллионы Килрейна, не скрывая сарказма.

— И что прикажете делать с этим домом и остальным? — спросила Роуз. — Я простая, обычная девушка.

— А мы простые, обычные двенадцать миллионов зеленых, — последовал комментарий.

— С такими девушками я встречался в старших классах, — сказал Бен.

— Только у них не было двенадцати миллионов, — не преминули заметить миллионы Килрейна.

— Мне хватало того, что я имею, — продолжала Роуз. — Окончила курсы сиделок, сама зарабаты-

вала себе на жизнь. У меня были славные друзья и зеленый «Шевроле», за который я почти выплатила кредит.

Двенадцать миллионов презрительно фыркнули.

— И я помогала людям.

— За двенадцать миллионов баксов любой помочь горазд, — снова встряли миллионы Килрейна.

Бен сделал жадный глоток. Роуз последовала его примеру.

— Мне кажется, ваши чувства заслуживают уважения, — сказал Бен.

— А нам кажется, кто-то хочет развести бедняжку, если она не поумнеет, — съязвили двенадцать миллионов.

Бен закатил глаза.

— А трудности, что толку о них говорить? У вас свои трудности, у меня свои, и неважно, сколько у нас денег. Если задуматься, на свете нет ничего важнее любви, дружбы и желания помогать людям.

— Ну, деньжата еще никому не помешали, — заметили двенадцать миллионов.

Бен и Роуз одновременно заткнули уши.

— По-моему, этому мавзолею не помешает

немного музыки, — заметил Бен.

Он вышел в гостиную, поставил пластинку на огромный патефон и прибавил громкости. На миг Бену показалось, что он заставил миллионы Килрейна заткнуться. На миг он вообразил, что способен воспринимать Роуз такой, какой она была: юной, нежной и привлекательной.

А затем двенадцать миллионов затянули под музыку:

Денежки, деньжата, хрусты, чистоган,
Звонкая монета, баксы, черный нал.
Денежки, деньжата, милые мои,
Капиталы, зелень…

— Потанцуем? — спросил Бен резко. — Роуз, хотите танцевать?

Они не танцевали. Просто прижимались друг к другу под музыку в углу гостиной. Бен раскинул руки, благодарно приняв Роуз в свои объятия. Она была нужна ему. С его бакалейной лавкой, его долгами только женская ласка могла вернуть Бену цельность.

И он знал, что нужен Роуз. Сплетая руки, Бен обретал жесткость и выпуклость. Роуз доверчиво льнула к скале, которой он стал.

Растворяясь друг в друге, голова к голове, они почти перестали слышать гвалт, который производили миллионы Килрейна, резвившиеся в свое удовольствие, подпевая, отпуская шуточки, изо всех сил стремясь перетянуть одеяло на себя.

Чтобы сохранить хоть какую-то приватность, Бен и Роуз говорили шепотом.

— Странная штука время, — заметил Бен. — Должно быть, это следующее великое открытие, которое ждет науку.

— О чем ты?

— Порой два года пролетают, словно десять минут, а иногда десять минут тянутся, как два года.

— Когда?

— Например, сейчас.

— Сейчас? — Судя по тону Роуз, она давала Бену понять, что спрашивает не всерьез, давно уловив направление его мысли. — О чем ты?

— Мне кажется, будто мы танцуем много часов подряд. Словно я знал тебя всю свою жизнь.

— Забавно.

— А что чувствуешь ты?

— То же самое, — пробормотала Роуз.

Бена унесло в прошлое, в день школьного выпускного, когда детство кончилось, уступив место досадному проклятию взросления. В тот день все

дороги лежали у его ног. И сейчас время словно повернуло вспять. Все еще впереди, а его девушка — самое прелестное существо на земле. И все хорошее только начинается.

— Роуз, — сказал Бен, — у меня чувство, будто я вернулся домой. Ты понимаешь?

— Понимаю, — ответила Роуз.

Она откинула голову, закрыла глаза.

Бен наклонился поцеловать ее.

— Смотри не подкачай, — встряли миллионы Килрейна. — Это тебе не что-нибудь, а поцелуй на двенадцать миллионов долларов.

Бен и Роуз замерли.

— Если разделить двенадцать миллионов на четыре губы, получится три миллиона на губу, — не унимались двенадцать миллионов.

— Роуз, я… — начал Бен, но сказать ему было нечего.

— Он хочет сказать, что любил бы тебя, — продолжали гнуть свое двенадцать миллионов, — даже если бы одни проценты с твоего состояния не составляли тысячу долларов в день. Даже если бы само состояние не свалилось как снег на голову. Даже если бы он не был гол как сокол и его не тошнило от одной мысли о работе. Хочет сказать, что любил бы тебя, даже если бы

не нуждался в деньгах так отчаянно, что способен различать их запах. Даже если бы всю свою жизнь не мечтал рыбачить в тропических водах на собственной яхте «Кросби Стрипер», попивая холодный «Шлиц»!

Миллионы Килрейна набрали воздуха.

Бен и Роуз отпрянули друг от друга, их руки упали.

— Хочет сказать, что любил бы тебя, хотя сам сотни раз говорил, что единственный способ заполучить большие бабки — это на них жениться!

Миллионы Килрейна приготовились нанести решающий удар. Впрочем, в нем не было нужды. Момент был упущен и валялся под ногами, пуча пустые мертвые глаза.

— Наверное, уже поздно, — сказала Роуз Бену. — Большое спасибо за горелку и остальное.

— Был рад помочь, — кивнул Бен с несчастным видом.

И тут двенадцать миллионов нанесли последний удар.

— Он любит тебя, Роуз, несмотря на то, что тебя не назовешь ни умницей, ни красавицей. Несмотря на то, что никто на свете — старый биржевой спекулянт не в счет — никогда тебя не любил!

— Спокойной ночи, — сказал Бен. — Спите

крепко.

— Спокойной ночи, — ответила Роуз. — Сладких снов.

Всю ночь Бен проворочался на узкой кровати, составляя список достоинств своей избранницы, и каждая из ее добродетелей была куда соблазнительнее двенадцати миллионов долларов. В волнении он даже содрал со стены кусок обоев.

Когда наступил рассвет, Бен твердо знал, что поцелуй заглушит голос двенадцати миллионов. Если они с Роуз поцелуются, наперекор всем гадостям, что будут петься им в уши, то докажут, что их любовь сильнее всего на свете. И будут жить счастливо, пока смерть не разлучит их.

И Бен решил застать Роуз врасплох, сразить ее своей мужественностью. Ведь, несмотря ни на что, они обычные парень и девушка.

В девять утра Бен приподнял массивный молоток на двери коттеджа Килрейна. И позволил ему опуститься. Удар эхом прокатился по всем девятнадцати комнатам.

Бен натянул одежду для охоты на моллюсков, став неуклюжим, как дровосек. На нем были болотные сапоги, две пары брюк, четыре свитера и злодейская черная кепка. Вилы он держал, словно боевой топор. Позади стояла корзина, набитая

парусиновыми мешками.

Наследница миллионов Килрейна в поношенном банном халатике с маргаритками открыла дверь.

— Кто там? — Роуз отступила назад. — А, это вы. Странно видеть вас в сапогах.

Бен, закутанный до ушей, излучал тяжеловесное безразличие.

— Не возражаете, если я поищу моллюсков на вашем пляже? — спросил он.

Роуз изобразила робкий интерес.

— Неужели их можно найти прямо на пляже?

— Да, мэм. Тут много жестких ракушек.

— Кто бы мог подумать. Как в ресторанах?

— Их и покупают рестораны.

— Господь добр к жителям Кейп-Кода, если дает столько еды любому нуждающемуся.

— Верно, — согласился Бен и приложил руку к кепке. — Что ж, спасибо за все. — Он точно рассчитал момент, чтобы Роуз решила, будто он уходит из ее жизни навсегда, затем резко обернулся и заключил ее в объятия.

— Роуз, Роуз, Роуз, — произнес Бен.

— Бен, Бен, Бен, — вторила ему Роуз.

Где-то в глубине дома миллионы Килрейна взвизгнули. Не дав Бену и Роуз поцеловаться, они

снова были тут как тут.

— Этого нельзя пропустить — поцелуй на двенадцать миллионов!

Роуз повесила голову.

— Нет, нет, нет, Бен, нет.

— Забудь обо всем. Есть ты и я, и только это важно.

— Как же, забудь про двенадцать миллионов долларов, словно про старую шляпу, — хмыкнули двенадцать миллионов. — Забудь ложь, на которую мужчины готовы пойти ради двенадцати лимонов!

— Я уже не знаю, что важно, — сказала Роуз. — Я больше не способна верить. — Она тихо расплакалась и закрыла дверь перед носом у Бена.

— Прощай, Ромео, — обратились к нему двенадцать миллионов. — Не грусти. Мир полон девиц не хуже, чем Роуз, есть даже посимпатичнее. Они спят и видят заполучить такого, как ты, в мужья. И все ради любви!

С разбитым сердцем Бен медленно пошел прочь.

— А любовь, как известно, — крикнули миллионы Килрейна ему вслед, — движет миром!

Бен сложил мешки на пляже и отправился бродить по мелководью с корзиной и вилами. Он

погружал зубцы в воду и водил ими по песку.

Толчок прошел через рукоятку вил, отдаваясь в пальцах. Бен налег на вилы и поднял зубцы над водой. На них красовались три жирных моллюска.

Бен был рад не думать больше о любви и деньгах. Ощущая приятное шерстяное тепло, слушая голоса моря, он забылся, поглощенный охотой за сокровищами.

Не прошло и часа, как Бен набрал половину бушеля моллюсков.

Вернувшись на пляж, он высыпал содержимое корзины в мешок и присел покурить. Кости сладко ломило от тяжелой мужской работы.

Впервые за два года он осознал, какой дивный день провел на пляже и в каком прекрасном месте живет.

А затем его разум обратился к подсчетам: шесть долларов бушель… три часа работы… шесть часов в день… шесть дней в неделю… аренда квартиры восемь долларов в неделю… еда полтора доллара в день… сорок центов сигареты… банковский процент, пятнадцать долларов в месяц…

И деньги снова заговорили с Беном — на сей раз не большие, а мелкие. Они суетились, ворчали, ныли и хныкали, перепуганные и озлобленные.

Душа Бена гнулась и завязывалась узлом, как ствол старой яблони. Он снова слушал голос, который на целых два года сделал его пленником бакалейной лавки, отравил каждую улыбку со времен беззаботных школьных дней.

Бен обернулся и посмотрел на коттедж Килрейна. Испуганное лицо Роуз маячило в окне верхнего этажа.

И глядя на пленницу, сознавая, что и сам взят в плен, Бен наконец-то понял, что деньги — это огромный дракон: от миллиардов в голове до пенни в кончике хвоста. И у него столько же голосов, сколько на свете мужчин и женщин, и дракон берет в плен любого, у кого хватает глупости к ним прислушаться.

Бен перекинул мешок с моллюсками через плечо и снова подошел к двери коттеджа.

И снова ему открыла Роуз.

— Пожалуйста, уходи, прошу тебя, — промолвила она тихо.

— Роуз, — сказал Бен, — я тут подумал, вдруг ты захочешь моллюсков? Их готовят на пару, приправляют растопленным маслом или маргарином.

— Нет, спасибо.

— Я хочу дать тебе что-нибудь, Роуз. И у меня

есть только моллюски. Они не стоят двенадцати миллионов долларов, но хоть что-то.

Роуз смотрела на него во все глаза.

— Конечно, — продолжил Бен, проходя мимо нее в гостиную, — если мы влюбимся и поженимся, я стану таким же богачом, как и ты. И это будет для меня таким же ударом, каким стало для тебя решение старика Килрейна.

Роуз возмутилась.

— По-твоему, это смешно? Ты находишь свои слова забавными?

— Такова правда, — сказал Бен. — Все зависит от того, как с ней обращаться. Истина в последней инстанции. — Он вынул из ящика сигару. Табачные листья крошились в его пальцах и падали на ковер.

— Прошу тебя по-хорошему: уходи! — рассердилась Роуз. — Откровенность за откровенность. Я вижу, что была права — я совершенно тебя не знаю. — Она вздрогнула. — Ты грубый, бессердечный…

Бен поставил мешок на пол и зажег остатки сигары. Затем поставил ногу на подоконник и приосанился, приняв оскорбительную позу мужского превосходства.

— Роуз, тебе известно, где зарыты твои денеж-

ки?

— Вложены в дело по всей стране.

Бен указал кончиком сигары в угол.

— А я тебе говорю, что они забились в тот угол, где им и место, потому что я уже сказал все, что они намеревались сказать.

Роуз с любопытством посмотрела в угол.

— Видишь ли, с деньгами надо построже, — сказал Бен. — Задумаешь схитрить, они обязательно расскажут о твоих намерениях. — Он снял ногу с подоконника. — Пожадничаешь, не замедлят поведать о твоей жадности миру. — Он затушил сигару. — Решишь обидеть кого-нибудь, и будь уверена, они не станут стесняться. Протяни пальчик, отхватят руку по локоть. — Бен стянул перчатки и сложил их на подоконнике. — Похоже, я люблю тебя, Роуз. И сделаю все, чтобы ты была счастлива. Если ты меня любишь, давай поцелуемся, и ты подаришь мне богатство, о котором я не смел мечтать. А после сварим этих моллюсков на пару.

Мгновение Роуз размышляла, глядя в угол. Затем сделала так, как просил Бен.

Миллионы Килрейна позволили себе последнюю реплику:

— Чего изволите? — подобострастно осведоми-

лись они.

Пока смертные спят

© Перевод. Е. Доброхотова-Майкова, 2020

Если бы Фред Хэклман и Рождество могли обойти друг друга за квартал, они бы так и сделали. Фред Хэклман был холостяк, редактор отдела местных новостей, гениальный журналист, и три года моей работы под его началом были одним нескончаемым мучением. Между Хэклманом и Духом Рождества было не больше общего, чем между деревенским котом и Национальным Одюбоновским обществом[35].

Хэклман вообще во многом походил на деревенского кота: независимый, обманчиво мягкий и вальяжный, но всегда готовый выпустить когти ехидного остроумия.

Когда я работал под его началом, ему было уже хорошо за сорок, и он окончательно разочаровался не только в Рождестве, но и в правительстве, браке, предпринимательстве, патриотизме и

[35] Примечания: 35

Американская некоммерческая организация, созданная в 1905 г. с целью изучения птиц и охраны природы. Названа в честь Джона Джеймса Одюбона (1785–1851), великого американского орнитолога и художника-анималиста, издавшего знаменитый труд «Птицы Америки».

практически во всех серьезных ценностях. Его идеалы, насколько я мог судить, сводились к хлесткому слогу, грамотности, точности и оперативности в освещении глупости человеческого рода.

Я помню лишь одно Рождество, когда он излучал некое подобие радости и благодушия. Однако это было случайное совпадение: двадцать пятого декабря у нас в городе заключенный бежал из тюрьмы.

Помню другое Рождество, когда он довел до слез литобработчицу новостей, написавшую в статье, что человек ушел из жизни после того, как его переехал товарный состав.

— Он что, встал, отряхнулся после мелкого недоразумения с паровозом, хмыкнул и куда-то ушел своими ногами? — вопрошал Хэклман.

— Нет. — Она закусила губу. — Он умер и…

— А почему ты так сразу не написала? Он умер. После того, как по нему проехал паровоз, тендер и пятьдесят восемь нагруженных товарных вагонов, он умер. Вот все, что мы можем сообщить читателям, не боясь ввести их в заблуждение. Первоклассный репортаж: он умер. Попал ли он в рай? Туда ли он ушел?

— Я… я не знаю.

— А твоя статья утверждает, что мы знаем. Сообщил ли репортер определенно, что умерший сейчас в раю — или на пути в рай? Связалась ли ты с пастором покойного, узнала ли, есть ли у того хоть малейший шанс оказаться на небе?

У девушки брызнули слезы.

— Надеюсь, он в раю! — с яростью проговорила она. — И нисколько не жалею, что так написала!

Девушка, сморкаясь, побрела к выходу из редакции и уже в дверях обернулась к Хэклману.

— Потому что сегодня Рождество! — выкрикнула она и навсегда ушла из газетного мира.

— Рождество? — переспросил Хэклман. Он обвел редакцию ошарашенным взглядом, словно ждал, что кто-нибудь переведет ему непонятное слово. Затем подошел к настенному календарю и повел пальцем по датам, пока не отыскал число «25». — А… день, написанный красным. Хм.

Но больше всего мне запомнилось последнее Рождество, которое я провел с Хэклманом. Именно тогда произошла кража, которую он, жмурясь от удовольствия, объявил самым гнусным преступлением в истории города.

В первых числах декабря я услышал, как он, читая утреннюю почту, бормочет:

— Черт побери, не много ли почестей человеку

за одну короткую жизнь?

Затем он подозвал меня к своему столу и сказал:

— Несправедливо, что почести, изливаемые на редакцию каждый день, достаются только руководству. Вы, простые репортеры, заслужили их куда больше.

— Спасибо, — с опаской проговорил я.

— Так что вместо того, чтобы дать тебе заслуженную прибавку к жалованью, я назначаю тебя моим заместителем.

— Заместителем редактора отдела новостей?

— Бери выше. Мой мальчик, с этой минуты ты заместитель информдиректора Ежегодного рождественского конкурса уличной иллюминации. Ты ведь наверняка думал, будто я не замечаю твоих талантов и самоотверженного труда? — Он пожал мне руку. — Теперь ты знаешь, как я их ценю. Поздравляю.

— Спасибо. Что я должен делать?

— Начальники умирают молодыми, потому что не умеют делегировать полномочия, — сказал Хэклман. — Ты добавишь мне двадцать лет жизни, поскольку я целиком делегирую тебе полномочия информдиректора, возложенные на меня Торговой палатой. Дерзай! Если сумеешь пред-

ставить нынешний Ежегодный рождественский конкурс уличной иллюминации более ярким и более грандиозным, чем все предыдущие, перед тобой откроются необозримые перспективы. Кто знает — может быть, ты станешь следующим информдиректором Национальной недели изюма?[36]

— Боюсь, я плохо знаком с этой конкретной формой искусства.

— Ничего сложного, — ответил Хэклман. — Участники конкурса вешают на свои дома электрические фонарики, и тот, чей счетчик крутится быстрее, побеждает. Вот тебе и Рождество.

Как прилежный заместитель информдиректора я проштудировал историю конкурса и узнал, что он проводился каждый год (исключая военные) с 1938-го. Первым победителем стал человек, который поместил на фасад своего дома контур Санта-Клауса из фонариков высотой в два этажа. Следующий повесил под крышей два фанерных колокольчика, украшенных по контуру гирлян-

---

[36] Примечания: 36

Национальная неделя изюма (1–7 мая) — один из множества шуточных праздников еды, отмечаемых в США. Праздников этих так много, что почти каждый день можно ткнуть в календарь и обнаружить, что сегодня День гамбургера, или День апельсиновых цукатов, или День шпината и так далее.

дами. Колокольчики раскачивались из стороны в сторону, а спрятанный в кустах громкоговоритель транслировал записанный звон.

Так и продолжалось: каждый новый лауреат затмевал прошлогоднего, так что теперь без помощи инженера нечего было и рассчитывать на победу, а в ночь подведения итогов, Рождественский сочельник, все оборудование Компании по энергоснабжению и освещению работало с опасной перегрузкой.

Как я сказал, Хэклман не желал иметь с этим ничего общего. Однако, на беду Хэклмана, владельца газеты выбрали президентом Торговой палаты, и он не желал, чтобы его подчиненные увиливали от общественного долга.

Владелец редко заглядывал в редакцию городских новостей, но его визиты всегда запоминались надолго — особенно визит, который он нанес нам за две недели до Рождества, чтобы прочесть Хэклману нотацию о его роли в обществе.

— Хэклман, — сказал он, — каждый сотрудник газеты не только журналист, но и активный гражданин.

— Я голосую, — ответил Хэклман. — И плачу налоги.

— И ничего больше, — укоризненно проговорил

владелец. — Десять лет вы руководите отделом городских новостей и все десять лет уклоняетесь от общественных обязанностей, связанных с вашим положением, — перекладываете их на первого попавшегося репортера.

Он указал на меня и добавил:

— Это пощечина городу — поручать зеленым мальчишкам работу, которую большинство граждан сочло бы высокой честью.

— У меня нет времени, — пробурчал Хэклман.

— Найдите время. Никто не требует от вас сидеть в редакции по восемнадцать часов в сутки. Вы сами придумали себе такой режим работы, а зря. Развейтесь немного, Хэклман. Выйдите к людям. Сейчас для этого самое время — рождественские праздники. Займитесь конкурсом и…

— Что мне Рождество? — спросил Хэклман. — Я не религиозен, не отец семейства, от яичного пунша у меня разыгрывается гастрит, так что к чертям Рождество.

Владелец на время утратил дар речи.

— К чертям Рождество? — хрипло повторил он после паузы.

— Безусловно, — ответил Хэклман.

— Хэклман, — ровным голосом произнес владелец, — я приказываю вам принять участие в

организации конкурса — проникнуться духом Рождества. Вам это будет только на пользу.

— Я увольняюсь, — сказал Хэклман, — и не думаю, что вам это будет на пользу.

Хэклман не ошибся. Его уход оказался газете не на пользу. Это была катастрофа. Газета не могла существовать без Хэклмана. Впрочем, среди руководства не было плача и скрежета зубовного — только спокойное, терпеливое огорчение. Хэклман уходил и раньше, но ни разу не продержался больше суток. Он тоже не мог существовать без газеты. С тем же успехом форель могла бы уйти из горной речки и устроиться продавцом в магазин «Все по десять центов».

Поставив новый рекорд отсутствия в газете, Хэклман вернулся за свой стол через двадцать семь часов. Он был слегка пьян, мрачен и никому не смотрел в глаза.

Когда я тихо и почтительно проходил мимо его стола, он что-то пробормотал.

— Простите? — спросил я.

— Я сказал «с Рождеством».

— И вас с Рождеством.

— Значит, скоро старый дуралей с длинной белой бородой пронесется над крышами, звеня колокольцами, и привезет нам всем подарочки.

— Вряд ли.

— От человека, который хлещет кнутом маленьких северных оленей, можно ждать чего угодно, — сказал Хэклман. — В общем, введи меня в курс дела, малыш. Что там за идиотский конкурс?

В оргкомитет конкурса входили большие люди: мэр, директор крупной промышленной компании, председатель совета по недвижимости. Им, разумеется, недосуг было себя утруждать. Хэклман оставил меня своим заместителем, так что вся черная работа досталась нам с ним и мелкой рыбешке из Торговой палаты.

Каждый вечер мы ездили смотреть украшения домов, а их были тысячи. Нам предстояло составить список двадцати лучших, из которых комитет в Рождественский сочельник выберет победителей. Сотрудники Торговой палаты прочесывали южную часть города, мы с Хэклманом — северную.

Это вполне могло быть весело. Стоял легкий морозец, не лютая стужа, звезды сияли каждую ночь — яркие, четкие, холодные на черном бархатном небе. Хотя улицы расчищали, во дворах и на крышах лежали сугробы, так что мир казался мягким и чистым; из радиоприемника в нашей

машине звучали рождественские песни.

Однако весело не было, потому что Хэклман безостановочно отпускал ехидные замечания про Рождество.

Раз я слушал, как детский хор исполняет «Тихую ночь», и чувствовал себя настолько близко к раю, насколько это возможно, если ты не безгрешен и не умер. Внезапно Хэклман с раздражением переключил станцию, и машина наполнилась грохотом джаза.

— Зачем? — спросил я.

— Они перегибают палку, — буркнул Хэклман. — Мы сегодня слышали это восемь раз. Рождество продают как сигареты — вбивая в мозги одну и ту же строчку снова и снова. У меня Рождество уже из ушей лезет.

— Его не продают, — сказал я. — Ему просто радуются.

— Всего лишь очередная форма рекламы.

Я повертел колесико и вновь отыскал детский хор.

«В яслях дремлет Дитя-я-я», — выводили тонкие голоса. Потом заговорил диктор. «Эту пятнадцатиминутную подборку любимых рождественских песен, — сказал он, — спонсировал универсальный магазин братьев Буллард, который открыт

до десяти вечера каждый день, кроме воскресенья. Не откладывайте рождественские покупки на последнюю минуту. Успейте до очередей!»

— Вот! — торжествующе заметил Хэклман.

— Это побочная сторона. Главное, что в Рождество родился Спаситель.

— Опять неверно, — сказал Хэклман. — Никто не знает, когда он родился. В Библии ничего об этом не сказано. Ни слова.

— Меньше всего я ждал услышать от вас экспертное мнение о Библии, — с досадой произнес я.

— Я зубрил ее в детстве, — ответил Хэклман. — Каждый вечер я должен был выучить новый стих. Если ошибался хоть в слове, отец меня колотил.

— Правда?

Я даже немного растерялся от неожиданности. Хэклман был в наших глазах сверхчеловеком отчасти и потому, что никогда не упоминал о своем прошлом и вообще о том, что делает и думает вне редакции. Теперь он заговорил о своем детстве и впервые выказал при мне хоть какое-то чувство помимо раздражения или цинизма.

— За десять лет я не пропустил ни одного урока в воскресной школе, — сказал Хэклман. — Являлся, как штык, в любую погоду, здоровый или

больной.

— Вы были таким набожным?

— Боялся отцовского ремня до беспамятства.

— Он еще жив? Ваш отец.

— Не знаю, — равнодушно ответил Хэклман. — В пятнадцать лет я убежал из дома и больше его не видел.

— А ваша мама?

— Умерла, когда мне был год.

— Сочувствую.

— Тебя кто-то просил о сочувствии?

Мы остановились перед большим домом, который собирались сегодня осмотреть. Это был выкрашенный розовой краской особняк за ажурной металлической оградой, с железными фламинго у входа и пятью телевизионными антеннами на крыше. Он соединял в себе все самые безобразные черты колониальной архитектуры, современной техники и шальных денег. Никакой рождественской иллюминации мы не видели — только обычный свет из окон.

Мы постучали, желая убедиться, что приехали по адресу. Дворецкий сообщил, что иллюминация и впрямь есть, с другой стороны дома, но ему нужно разрешение хозяина, чтобы ее включить.

Через минуту появился хозяин, толстый и воло-

сатый, с торчащими передними зубами, похожий на сурка в малиновом домашнем халате.

— Мистер Флитвуд, сэр, — обратился дворецкий к хозяину, — эти джентльмены…

Хозяин взмахом руки велел тому замолчать.

— Как поживаете, Хэклман? — спросил он. — Час довольно поздний, но для старых друзей мой дом открыт всегда.

— Гриббон, — проговорил Хэклман медленно, словно все еще не верил своим глазам. — Лео Гриббон. Сколько вы здесь живете?

— Теперь меня зовут Флитвуд, Хэклман, Дж. Спрэг Флитвуд, и я идеальный законопослушный гражданин. Была одна история, когда мы виделись последний раз, но она в прошлом. Здесь я живу уже год, тихо и порядочно.

— Бешеный Пес Гриббон живет тут уже год, а я ничего не знаю? — спросил Хэклман.

— Не смотрите на меня, — сказал я. — Мне поручено освещать школы и пожарную часть.

— Я заплатил долг обществу, — заявил Гриббон.

Хэклман поднял и опустил забрало рыцарского доспеха, стерегущего вход в пышно обставленную гостиную.

— Сдается мне, вы заплатили по два цента с

доллара, — сказал он.

— Инвестиции, — ответил Гриббон, — законные инвестиции на биржевом рынке.

— Как ваш брокер смыл с денег кровь, чтобы хоть отличить десятки от соток? — спросил Хэклман.

— Если вы будете оскорблять меня в моем доме, Хэклман, мне придется вас вышвырнуть, — сказал Гриббон. — Так что вам нужно?

— Они хотят посмотреть иллюминацию, сэр, — вмешался дворецкий.

Хэклман сразу сник.

— Да, — пробормотал он, — мы в чертовом идиотском комитете.

— Я думал, победителя выбирают в Рождественский сочельник, — сказал Гриббон, — и не думал включать иллюминацию до тех пор. Это будет приятный сюрприз для города.

— Генератор горчичного газа? — спросил Хэклман.

— Ладно, умник, — высокомерно произнес Гриббон, — сегодня вы увидите, какой образцовый гражданин Дж. Спрэг Флитвуд.

На заснеженном заднем дворе Дж. Спрэга Флитвуда, иначе говоря Бешеного Пса Гриббона, синели странные тени. Была полночь, мы с Хэкл-

маном притоптывали ногами и дули на ладони, чтобы согреться. Гриббон и трое слуг бегали по двору: плотнее втыкали вилки и суетились с отвертками и канистрами смазочного масла возле чего-то, похожего на скульптуры.

Гриббон велел нам встать подальше, чтобы, когда иллюминация включится, мы увидели ее целиком. Мы не знали, чего ждать. Наше любопытство особенно раздразнил дворецкий: он надул из баллона огромный воздушный шар, затем повернул рукоять лебедки, и шар, привязанный за веревку, величаво взмыл к небу.

— Это зачем? — шепотом спросил я Хэклмана.

— Запрос последних указаний от Бога, — ответил Хэклман.

— За что он сидел?

— Держал нелегальный игорный бизнес. Человек двадцать убили по его поручению — все ради блага франшизы. Так что его посадили на пять лет за неуплату подоходного налога.

— Свет готов? — рявкнул Гриббон. Он стоял на крыльце, воздев руки — заказывал чудо.

— Готов, — ответил голос из-за куста.

— Звук готов?

— Готов, сэр.

— Воздушный шар готов?

— Воздушный шар поднят, сэр.

— Включай! — заорал Гриббон.

В кронах деревьев взвыли демоны.

Взорвались несколько солнц.

Мы с Хэклманом от страха машинально закрыли лицо руками.

Медленно, осторожно мы отвели ладони от глаз. Перед нами в неестественном слепящем свете был вертеп в натуральную величину. Из громкоговорителей по сторонам рвались оглушительные рождественские гимны. Гипсовые коровы и овцы мотали головами, пастухи поднимали и опускали руки, как железнодорожный шлагбаум, указывая в небо.

Иосиф и Дева Мария умиленно глядели на младенца в яслях. Механические ангелы хлопали крыльями, механические волхвы двигались вверх-вниз, как поршни.

— Смотри! — Хэклман, перекрикивая шум, указал туда, куда указывали пастухи — туда, где пропал в небе воздушный шар.

Там, над розовым дворцом Бешеного Пса Гриббона, в рождественских небесах висела под мешком с газом фальшивая Вифлеемская звезда.

Внезапно огни погасали, шум стих. В голове у меня осталась звенящая пустота. Хэклман тупо

смотрел в небо, где уже не было звезды.

К нам рысцой подбежал запыхавшийся Гриббон.

— Ну как, есть у кого-нибудь что-либо подобное? — гордо спросил он.

— Не-а, — с тоской отвечал Хэклман.

— Думаете, я выиграю?

— Угу, — пробормотал Хэклман. — Если кто-нибудь не устроит атомный взрыв в форме Красноносого оленя Рудольфа.

— Люди будут идти за много миль, чтобы на это поглядеть. Просто напишите в газете, что звезда укажет им путь.

— Послушайте, Гриббон, — сказал Хэклман, — вы знаете, что за первое место денег не положено? Только паршивая грамота ценой, может, в доллар.

Гриббон сделал оскорбленное лицо.

— Конечно, — сказал он. — Это все для блага общества.

Хэклман хмыкнул и повернулся ко мне.

— Ладно, малыш, давай, что ли, по домам?

Это было огромное облегчение — узнать безусловного победителя за неделю до конкурса. Получалось, что судьи и помощники вроде меня могут провести Сочельник в семье, а не колесить

весь вечер по городу, силясь выбрать лучших из двадцати примерно равноценных вариантов. Нам осталось лишь подъехать к заднему двору Гриббона, ослепнуть, оглохнуть, пожать бывшему гангстеру руку, вручить грамоту и поспешить домой, чтобы поставить елку, разложить подарки по чулкам и пропустить несколько стаканов яичного пунша.

И хотя под Рождество задерганные сотрудники Хэклмана подобрели и помягчели, даже стали повторять нелепый слух, будто у него золотое сердце, сам Хэклман вел себя в обычной предпраздничной манере: клялся, что полетят головы, потому что Бешеный Пес Гриббон год как вышел из тюрьмы и живет в городе, а ни один репортер этого не разнюхал.

— Черт возьми, — сказал он. — Придется мне самому снова выйти на улицу, или газета зачахнет от недостатка новостей.

И в следующие два дня именно это бы и произошло, не будь новостей с телетайпа, поскольку Хэклман отправил нас всех искать материал про Гриббона.

Как ни накрутил нас Хэклман, мы не нашли и намека на что-нибудь недолжное в жизни Гриббона после тюрьмы. Оставалось признать,

что тот столько заработал на преступлениях, что в сорок с небольшим полностью отошел от дел и намерен до конца дней жить в роскоши и в полном согласии с законом.

— Его деньги и впрямь получены от акций и облигаций, — устало сообщил я под конец второго дня. — Налоги он платит, как пай-мальчик, с прежними дружками не видится.

— Ладно, ладно, ладно, — раздраженно проговорил Хэклман. — Забудь. Пустяки.

Я еще не видел, чтобы мой редактор был настолько на взводе. Он барабанил пальцами по столу и вздрагивал от неожиданных звуков.

— У вас против него что-то личное? — спросил я.

Обычно Хэклман ни под кого не копал с таким рвением. Казалось, ему безразлично, кто возьмет верх: правосудие или преступление, лишь бы история давала хороший материал для газеты.

— В конец концов, он больше ни в чем таком не участвует, — добавил я.

— Забудь. — Хэклман внезапно переломил карандаш, встал и вышел из редакции — на много часов раньше обычного.

Следующий день был у меня выходной. Я проспал бы до полудня, но меня разбудили крики

мальчишки-газетчика под окном. Он продавал внеочередной выпуск. Огромный черный заголовок состоял из одного-единственного страшного слова: ПОХИЩЕНИЕ! В статье сообщалось, что у мистера Дж. Спрэга Флитвуда похитили гипсовые фигуры Иисуса, Марии и Иосифа, и хозяин обещает тысячу долларов за информацию, которая позволит разыскать их до подведения итогов Ежегодного рождественского конкурса уличной иллюминации в Сочельник.

Через несколько минут позвонил Хэклман: потребовал немедленно ехать в редакцию и следить за поступающими сведениями.

Полицейские жаловались, что, если улики и были, их уничтожили толпы сыщиков-любителей. Однако никто не ждал отгадки от полицейских. К вечеру поиски украденных фигур превратились в веселое повальное безумие. И это было дело для обычных людей, не для полиции.

Толпы ходили от двери к двери, спрашивали, не видел ли кто-нибудь младенца Христа.

Кино крутили перед пустыми залами, в местной радиопрограмме ведущий жаловался, что никто из горожан не берет телефонную трубку — все на улице.

Тысячи пожелали обыскать единственную ко-

нюшню в городе, справедливо рассудив, что лишь там есть ясли с сеном. Владелец конюшни неплохо заработал на продаже горячего шоколада и пончиков. Предприимчивый хозяин гостиницы купил целую полосу под объявление, что если кто-нибудь найдет Иисуса, Марию и Иосифа, то гостиница готова разместить их у себя.

Передовица каждого номера была посвящена поискам, и все выпуски разлетались, как горячие пирожки.

Хэклман оставался по обыкновению желчным, саркастичным и деловым.

— Это чудо, — сказал я ему. — Раздув эту историю, вы оживили Рождество.

Хэклман вяло пожал плечами.

— Просто подвернулось, когда не было других новостей. Если возникнет что-нибудь получше, а я надеюсь, возникнет, я это задвину в сторону. Самое время кому-нибудь устроить стрельбу в детском саду, а?

— Извините, что открыл рот.

— Я не забыл поздравить вас с сатурналиями?

— С сатурналиями?

— Да. Мерзкий языческий праздник в конце декабря. Римляне в это время закрывали школы, наедались и напивались до одури, говорили, что

всех любят, и дарили друг другу подарки. — Зазвонил телефон, и Хэклман взял трубку. — Нет, мэм, мы еще Его не нашли. Да, мэм, если Он объявится, будет внеочередной выпуск. Да, мэм, ясли в конюшне уже проверили. Спасибо. До свидания.

Поиски больше походили на спонтанный карнавал, чем на серьезные попытки найти пропавшие фигуры. Строго говоря, у их участников не было ни малейших шансов на успех. Они шумели и шли только туда, куда им хотелось или было интересно пойти. Вор — очевидно, сумасшедший, — без труда мог спрятать свою добычу от толпы.

Однако людей так захватила аллегория происходящего, что надежды росли сами собой, без подогрева со стороны газеты. Все были уверены, что Святое Семейство найдется в Рождественский сочельник.

Однако в Сочельник ни одной новой звезды не засияло над городом, если не считать пятисотваттной лампы на воздушном шаре над домом обокраденного Дж. Спрэга Флитвуда, иначе говоря, Бешеного Пса Гриббона.

Мэр, директор крупной промышленной компании и председатель совета по недвижимости расположились на заднем сиденье принадлежа-

щего мэру лимузина, а мы с Хэклманом сидели на откидных сиденьях лицом к ним. Мы все ехали, чтобы вручить грамоту Гриббону, который заменил похищенные фигуры новыми.

— Повернуть на ту улицу? — спросил шофер.

— Звезда укажет путь, — сказал я.

— Это лампочка, вшивая электрическая лампочка, какую может повесить на свой дом каждый, у кого есть деньги, — вмешался Хэклман.

— Вшивая электрическая лампочка укажет путь, — сказал я.

Гриббон ждал. Он был в смокинге и сам распахнул дверцу нашей машины.

— С Рождеством, господа.

Он потупился, благоговейно сложил руки на выступающем брюшке и повел нас по дорожке, вдоль которой были натянуты веревочные перила. Дорожка тянулась вдоль всей задней стороны дома. За углом, чуть не доходя до места, с которого нам предстояло смотреть иллюминацию, Гриббон остановился.

— Мне нравится думать, что это храм, куда люди идут за мили на свет звезды.

Он отступил на шаг, приглашая нас отойти еще чуть дальше.

И вновь сияющая панорама ошеломила нас,

как уличный урок ритмики: фигуры с застывшими лицами подпрыгивали, махали руками, хлопали крыльями.

— Гангстерский рай, — прошептал Хэклман.

— Ой-ой, — выговорил мэр.

Председатель совета по недвижимости выглядел шокированным, однако он прочистил горло, взял себя в руки и сказал почти нормальным голосом:

— Итак, это иллюминация.

— Где вы добыли новые фигуры? — спросил Хэклман.

— Оптом со склада универмага, — ответил Гриббон.

— Какое чудо инженерного искусства, — заметил промышленник.

— Здесь работали четыре инженера, — гордо объявил Гриббон. — Слава богу, тот, кто спер фигуры, не тронул неоновые венчики. Там есть переключатель, и я могу сделать их моргающими, если вы думаете, что так будет красивее.

— Нет, нет, — сказал мэр. — Лучшее враг хорошего.

— Я выиграл? — вежливо спросил Гриббон.

— Ммм? — протянул мэр. — Выиграли ли вы? Нам надо подумать. Мы известим вас о своем

решении сегодня же вечером.

Никто не знал, что еще можно сказать, и мы поплелись назад к лимузину.

— Тридцать два электромотора, две мили проводов, девятьсот семьдесят шесть электрических лампочек, не считая неоновых, — сказал Гриббон, когда мы садились в машину.

— Я думал, мы вручим ему грамоту на месте, — заметил торговец недвижимостью. — Мы же так и собирались?

— У меня язык не повернулся сказать, что он выиграл, — вздохнул мэр. — Давайте заглянем куда-нибудь и пропустим по рюмочке.

— Он явно выиграл, — сказал промышленник. — Мы не можем отдать приз никому другому. Он выиграл грубой силой: грубыми долларами, грубыми киловаттами, при всем своем чудовищном вкусе.

— У нас еще один пункт, — сообщил Хэклман.

— Мне казалось, мы едем только в одно место, — возразил промышленник. — Вроде бы мы так договаривались.

Хэклман показал открытку.

— Регламент. Официально прием заявок заканчивался сегодня в полдень. Это доставили с нарочным примерно за две секунды до последне-

го срока. Мы не успели туда съездить.

— Наверняка им Флитвуда не переплюнуть, — заметил мэр. — Никому не переплюнуть. Где это?

Хэклман назвал адрес.

— Бедный район на окраине города, — сказал торговец недвижимостью. — Не конкуренты нашему другу Флитвуду.

— Давайте не поедем туда, — предложил промышленник. — У меня скоро гости соберутся и…

— Плохой пиар, — серьезно заметил Хэклман. Мне было странно слышать от него это слово, произнесенное подчеркнуто уважительным тоном. Он сказал как-то, что самые омерзительные формы жизни — крысы, пиявки и пиарщики… в порядке возрастания мерзости.

Трех больших людей на заднем сиденье слово напугало и смутило. Они помычали, поерзали, но спорить не решились.

— Давайте тогда быстренько, — сказал мэр, и Хэклман отдал водителю открытку.

Когда мы остановились на светофоре, веселая компания на тротуаре — очевидно, поисковый отряд — окликнула нас и спросила, не знаем ли мы, где Святое Семейство.

Мэр порывисто высунулся в окно.

— Там вы его точно не найдете, — сказал он, указывая на лампу над домом Гриббона.

Другая компания перешла улицу перед нами, распевая:

Родился Христос у Марии,

И ангелы в вышине,

Пока смертные спят, берегут и хранят

Тех, кто забылся во сне[37].

Зажегся зеленый, и мы в молчании поехали дальше. Приличные дома кончились, лампу над домом Гриббона закрыли от глаз черные фабричные трубы.

— Адрес точно правильный? — с сомнением проговорил шофер.

— Наверное, человек знает свой собственный адрес, — ответил Хэклман.

— Зря мы сюда потащились, — сказал промышленник. — Давайте уже поедем к Гриббону, или Флитвуду, или как там его зовут, скажем, что он победил, и черт с ним.

— Согласен, — сказал мэр. — Но коли уж мы

[37] Примечания: 37

Куплет из популярной рождественской песни «О малый город Вифлеем!», написанной американским епископом Филлипсом Бруксом (1835–1893) после посещения Вифлеема. (*Перевод. Н. Эристави.*)

заехали в такую даль, давайте посмотрим.

Лимузин свернул в темный проулок, подпрыгнул на выбоине и остановился.

— Приехали, господа, — сказал шофер.

Машина стояла перед покосившимся домом без крыши, где явно давно никто не жил.

— Крысы и термиты могут участвовать в конкурсе? — спросил мэр.

— Адрес совпадает, — упрямо сказал шофер.

— Поворачивай, и едем домой, — распорядился мэр.

— Подождите, — сказал агент по недвижимости. — Там позади в сарае свет. Я приехал судить и, клянусь богом, буду судить.

— Пойди глянь, что там в сарае, — приказал мэр шоферу.

Шофер пожал плечами, вылез и по засыпанному снегом мусору зашагал через двор к сараю. Он постучал, и дверь распахнулась от его касания. Долю секунды шофер черным силуэтом стоял в прямоугольнике слабого дрожащего света изнутри, потом рухнул на колени.

— Пьяный? — спросил Хэклман.

— Вряд ли, — пробормотал мэр и облизнул губы. — По-моему, он молится — первый раз в жизни.

Мэр вылез из машины, и мы следом за ним мол-

ча пошли к сараю. А дойдя до шофера, опустились на колени рядом с ним.

Перед нами были три пропавшие фигуры. Иосиф с Марией, склонившись, укрывали от тысячи сквозняков спящего на соломе младенца Иисуса. Сцену освещал единственный керосиновый фонарь, и в дрожащем свете они казались живыми, исполненными любви и трепетного восхищения.

В рождественское утро газета сообщила горожанам, где те найдут Святое Семейство.

Все Рождество люди тянулись в холодный пустой сарай, чтобы поклониться Младенцу.

Небольшая заметка сообщала, что мистер Дж. Спрэг Флитвуд выиграл Ежегодный рождественский конкурс уличной иллюминации с помощью тридцати двух электромоторов, двух миль проводов, девятисот семидесяти шести электрических лампочек, не считая неоновых, и списанного армейского воздушного шара.

Хэклман был за рабочим столом, разочарованный и недовольный, как всегда.

— Прекрасная, прекрасная история, — сказал я.

— У меня она уже в печенках. — Хэклман потер руки. — Теперь я жду января, когда начнут приходить рождественские счета. Основной месяц

самоубийств.

— Но у рождественской истории должно быть продолжение. Мы по-прежнему не знаем, кто это сделал.

— Как мы его найдем? На открытке стояло вымышленное имя, владелец сарая не бывал в городе последние десять лет.

— Отпечатки пальцев, — сказал я. — Мы могли бы снять с фигур отпечатки пальцев.

— Еще одно подобное предложение, и ты уволен.

— Уволен? — переспросил я. — За что?

— За кощунство! — величаво ответил Хэклман, давая понять, что разговор окончен, что ему интересны будущие репортажи, и нечего жить прошлым.

Он последний раз вернулся к теме кражи, поисков и Рождества под вечер, когда отправил меня с фотографом в сарай. Задание было рутинное, и Хэклман объяснял его скучающим голосом.

— Снимайте толпу со спины, чтобы фигуры смотрели в камеру, — сказал он. — Они, небось, здорово запылились, учитывая, сколько грешников толчется вокруг. Так что советую перед съемкой протереть их влажной тряпкой.

Танго

© Перевод. А. Криволапов, 2020

Любая анкета на соискание работы обязательно требует таблиц, где по датам расписано, чем вы занимались в течение своей взрослой жизни, и строго запрещает оставлять неучтенные периоды. Я немало бы отдал за разрешение вычеркнуть последние три месяца, когда я служил гувернером в городишке под названием Писконтьют.

У тех, кто написал моему тамошнему работодателю рекомендательные письма, восхваляющие мою ценность, уши сгорели бы от стыда. В каждой анкете на соискание работы имеется небольшое пустое место для заметок, где я мог бы изложить свою версию приключившейся в Писконтьюте истории. Боюсь только, меня не поймут те, кто никогда не видел Писконтьюта. А шансы обычного человека увидеть Писконтьют примерно такие же, как получить при сдаче два флеш-рояля кряду.

«Писконтьют» — это индейское слово, означающее «сверкающие воды», и те счастливчики, кто знает о существовании этого городка, произносят

его как Понит. Писконтьют представляет собой неприметную горстку домов на побережье. Въезд туда никак не обозначен, лишь ничего не обещающая грунтовка уводит от главной дороги в сосновый бор. Там, где грунтовка делается пошире, прямо в лесу, живет сторож, он разворачивает любую машину, которая не из Писконтьюта, и отправляет ее восвояси. Те машины, что из Писконтьюта, как на подбор или очень большие, или совсем крошечные.

Я служил там гувернером у Роберта Брюера, дружелюбного, но не слишком умного молодого человека, который готовился к вступительным экзаменам в колледж и нуждался в помощи.

Думаю, смело можно сказать, что Писконтьют — совершенно особенная община. За время моего пребывания там один джентльмен продал свой дом по причине того, что его соседи — «сборище ханжей». Он вернулся на родину, в Бикон-Хилл под Бостоном. Мой наниматель, отец Роберта, Герберт Клюз Брюер, большую часть времени, остающегося от парусных гонок, проводил за написанием раздраженных писем в Вашингтон. Его раздражало, что каждое здание городка изображено на картах Геодезической службы Соединенных Штатов, которые может купить

любой желающий.

Община была тихая. Ее члены платили внушительные суммы за спокойствие, и даже легкая рябь казалась там приливными волнами. В основе моих неприятностей лежало самое обыкновенное танго.

Танго, как мы знаем, это танец испанско-американского происхождения, обычно исполняемый на четыре доли и отличающийся глубокими наклонами и волнообразным шагом на цыпочках. Однажды, субботним вечером, на еженедельных танцах в писконтьютском яхт-клубе, юный Роберт Брюер, мой ученик, который за все восемнадцать лет своей жизни ни разу не видел, как исполняют танго, попробовал глубокие наклоны и шаги на цыпочках. Поначалу он двигался неуверенно, и это напоминало непроизвольные конвульсии. Когда случилось непоправимое, и лицо его, и сознание были пусты. Горячая латиноамериканская музыка сквозь уши просочилась под стриженый ежик, не застала никого дома и взяла под контроль долговязое худое тело.

Что-то щелкнуло, встраивая Роберта в музыкальный механизм. Его партнерша, простая благоразумная девушка с тремя миллионами долларов и низким центром тяжести, сначала

в замешательстве попыталась сопротивляться, а затем, углядев огонь страсти в глазах Роберта, уступила ему. Двое стали единым целым, причем это целое двигалось очень быстро.

Такого в Писконтьюте не допускалось. Танцами в Писконтьюте назывался незаметный перенос веса с одной ноги на другую, причем не отрывающиеся от пола ноги находились одна от другой на расстоянии от трех до шести дюймов. Этот простой перенос веса считался любым танцем под любую музыку, будь то самба, вальс, гавот, фокстрот, банихаг или хоки-поки.

Невзирая на то, что новый танец уже стал гвоздем сезона, Писконтьют легко победил его. Бальный зал можно было бы по плечи заполнить чистым желатином, и танцорам Писконтьюта это бы не помешало. Можно было бы заполнить зал по ноздри, и это лишь сделало бы беседы похожими на разговор астматиков. А тут Роберт — вновь и вновь скользит из конца в конец зала, словно яхта на регате.

Никто не обращал ни малейшего внимания на галсы и крены Роберта и его партнерши. С таким же равнодушием в иные времена и в иных местах людей колесовали или бросали в каменные мешки. Роберт поставил себя на одну доску с

теми бедолагами из истории Писконтьюта, один из которых выкрасил дно своей яхты черной краской, двое слишком поздно узнали, что никто в городке не купается в море до одиннадцати часов, а еще один никак не мог избавиться от привычки говорить по телефону: «Приветик!».

Когда музыка закончилась, разгоряченная партнерша Роберта поспешила удалиться, а отец Роберта присоединился к нему за барной стойкой.

Когда мистер Брюер гневался, он высовывал кончик языка между зубов, пряча его лишь для того, чтобы произнести звук «с».

— Боже правый, Бабс! — бросил он Роберту. — Ты кем себя вообразил? Жиголо?

— Я не знаю, что стряслось. — Роберт покраснел. — Я раньше никогда не пробовал этот танец, а тут словно с ума сошел. Я как будто летал.

— Считай, что тебя подбили, — сказал мистер Брюер. — Здесь тебе не Кони-Айленд, и здесь никогда не будет Кони-Айленда. А теперь попроси прощения у матери.

— Да, сэр, — весь дрожа, пробормотал Роберт.

— Ты был точь-в-точь чертов фламинго, который решил поиграть в футбол, — сказал мистер Брюер.

Он кивнул, спрятал язык, с клацаньем сомкнул зубы и пошел прочь. Роберт принес извинения матери и немедленно отправился домой.

Мы с Робертом делили апартаменты с ванной, гостиной и двумя спальнями на четвертом этаже сооружения, именуемого загородным домиком Брюера. Когда я пришел вскоре после полуночи, Роберт, казалось, спал. Однако в три ночи меня разбудила доносящаяся из гостиной тихая музыка, сопровождаемая такими звуками, словно кто-то возбужденно расхаживал из конца в конец комнаты.

Я открыл дверь и застукал Роберта за танго в одиночку. До того мгновения, как он увидел меня, ноздри его раздувались, а глаза были широко раскрыты — горящие глаза арабского шейха.

Он хватанул ртом воздух, выключил проигрыватель и рухнул на диван.

— Продолжай, — сказал я. — У тебя отлично получается.

— Думаю, нам зря кажется, что мы цивилизованные, — сказал Роберт.

— Многие приличные люди танцуют танго, — заметил я.

Он продолжал сжимать и разжимать кулаки.

— Дешевка, примитив!

— Танго не для красоты. Танго для того, чтобы хорошо.

— В Поните так не делают, — проговорил Роберт.

Я пожал плечами.

— А что такое Понит?

— Не хочу показаться невежливым, — сказал он, — но ты, скорее всего, не поймешь.

— Я пробыл здесь достаточно, чтобы понять, что тут практикуется.

— Тебе легко делать замечания. Легко смеяться над тем, за что не несешь никакой ответственности.

— Ответственность? — хмыкнул я. — Ты несешь ответственность? За что?

Роберт задумчиво повел глазами вокруг.

— За вот это… за все. Когда-то все это станет моим, я полагаю. А ты, ты свободен как ветер, ты можешь отправиться куда пожелаешь и смеяться над чем угодно.

— Роберт, — сказал я. — Это всего лишь недвижимость. Если она тебя угнетает, что ж, когда она станет твоей, просто продай ее.

Роберт был потрясен.

— Продать? Но это построил мой прадед.

— Отменный каменщик, — сказал я.

— Это же образ жизни, который исчезает повсюду!

— Счастливого пути, — сказал я.

— Если Понит пойдет ко дну, — сурово проговорил Роберт, — если мы все покинем корабль, кто тогда сохранит традиционные ценности?

— Какие ценности? Приверженность теннису и хождению под парусом?

— Ценности цивилизации! Лидерства!

— Какой цивилизации? Ты о той книжке, которую твоя мать все собирается когда-нибудь прочесть?

— Мой прадед, — заявил Роберт, — был вице-губернатором Род-Айленда.

В качестве ответа на эту невероятную новость я включил проигрыватель, и комнату вновь наполнили звуки танго.

В дверь тихонько постучали, я открыл и увидел юную красавицу Мэри, горничную верхних этажей — она была в домашнем халате.

— Я услышала голоса, — сказала Мэри. — Подумала: вдруг воры.

Ее плечи плавно двигались в такт музыке.

Я подхватил ее и в ритме танго увлек в гостиную.

— С каждым шагом, — сказал я ей, — мы предаем

нашу мелкобуржуазную природу и погружаемся все глубже в сердце цивилизации.

— М-м? — пробормотала Мэри, не открывая глаз.

Я почувствовал руку на своем плече. Роберт, задыхаясь от волнения, вклинился между нами.

— После нас хоть потоп, — сказал я, загружая пластинки в автомат.

Так началось тайное падение Роберта — равно как и наше с Мэри. Почти каждую ночь ритуал повторялся: мы включали проигрыватель, Мэри спускалась узнать, что происходит, и я с ней танцевал. Роберт молча наблюдал за нами, потом тяжело поднимался с дивана, словно пораженный артритом старик, и так же молча забирал ее у меня.

Для Писконтьюта это было эквивалентом черной мессы.

Через три недели Роберт был превосходным танцором, по уши влюбленным в Мэри.

— Как такое могло случиться? — спрашивал он меня. — Как?

— Ты мужчина, она женщина, — сказал я.

— Мы совершенно разные!

— Да здравствует совершенная разница, — сказал я.

— Что же мне делать? Что же делать? — подавленно проговорил Роберт.

— Объяви о своей любви, — сказал я.

— К горничной? — не веря ушам, пробормотал он.

— Голубых кровей больше не существует, — сказал я. — У потомков вице-губернатора Род-Айленда нет другого выхода, как только жениться на простых девушках. Это как в той детской игре, когда кому-то всегда не хватает стула.

— Не смешно, — горько проговорил Роберт.

— Послушай, тебе ведь не на ком жениться в Писконтьюте, верно? — заметил я. — Сторож в лесу дежурит уже три поколения, и все здесь давно уже по крайней мере в троюродном родстве. Система взращивает в себе семена собственного разложения, пока жизнь не заставит вас начать смешивать кровь с шоферами и горничными.

— Свежая кровь появляется постоянно, — запротестовал Роберт.

— Свежая кровь уехала, — сказал я. — Вернулась домой в Бикон-Хилл.

— Правда? Я не знал, — удивился Роберт. — Я последнее время вообще мало кого вижу, кроме Мэри. — Он приложил руку к груди. — Эта сила… она делает с тобой все, что пожелает, заставляет

чувствовать то, что она хочет.

— Спокойно, мой мальчик, спокойно, — сказал я и отправился прямо спросить у Мэри, любит она Роберта или нет.

Под гуденье пылесоса она отвечала двусмысленно и загадочно.

— Я словно создала его. Практически из ничего.

— Он говорит, ты разбудила в нем дикаря.

— Я о том и толкую. Не думаю, что там был дикарь, которого можно было бы разбудить.

— Какая досада, — заметил я. — А ведь сколько сил потрачено, чтобы держаться от дикарей подальше. Если ты за него выйдешь, у тебя будет очень богатый дикарь.

— Пока что он как дитя из инкубатора, — зло проговорила Мэри.

— Жизнь для Роберта потеряла смысл, — сказал я. — Ты и не представляешь, что с ним сделала. Ему теперь абсолютно плевать, выигрывает он или нет в теннисе и гонках.

Рассказывая о любви другого, я заглянул в широкие голубые окна ее души, и безумное желание захлестнуло меня.

— Он теперь даже не улыбается, когда кто-то произносит «Писконтьют» так, как это пишется,

— пробормотал я севшим голосом.

— Мне жаль.

Потеряв голову, я схватил ее за запястье.

— Ты любишь меня?

— Я могла бы, — ответила она.

— Да или нет?

— Для девушки, которую учили быть дружелюбной и мягкой, такое сказать нелегко. А теперь позволь честной девушке делать ее работу.

Я сказал себе, что никогда еще не встречал такой честной и милой девушки, и вернулся к Роберту уже ревнивым соперником.

— Я не могу есть, не могу спать, — пожаловался он.

— Не рыдай у меня на плече, — отрезал я. — Ступай к своему папочке и расскажи ему. Пусть посочувствует.

— Боже, нет! С чего это тебе такое пришло в голову?

— Ты когда-нибудь разговаривал с ним хоть о чем-нибудь? — поинтересовался я.

— Ну, в детстве было кое-что… он называл это «узнать мальчишку получше». Выделял на это вечер среды, когда я был маленьким.

— Превосходно, — сказал я. — У вас есть прецедент. Возроди дух тех деньков.

Я хотел, чтобы он поскорее убрался с дивана, чтобы я мог вытянуться на нем и уставиться в потолок.

— Ну, мы не то чтобы разговаривали, — сказал Роберт. — Дворецкий приходил в мою комнату, устанавливал кинопроектор, а потом приходил отец и запускал ровно на час мультфильмы с Микки-Маусом. Пока они крутились, мы просто сидели в темноте.

— Прямо неразлейвода, — проговорил я. — И по какой же причине закончилось столь эмоциональное общение?

— По разным. В основном из-за войны. Отец был главным по гражданской обороне в Поните, заведовал сиренами и все такое. Это занимало у него массу времени. Так что я заряжал пленку и смотрел мультфильмы один.

— Детишки здесь рано взрослеют, — заметил я, раздумывая над непростой дилеммой.

Моим долгом как гувернера было сделать из Роберта взрослого индивидуума. В то же время его незрелость давала мне огромное преимущество в нашей борьбе за Мэри. В конце концов я остановился на плане, который должен был сделать из Роберта мужчину и в то же время привести Мэри в мои объятия.

Я остановил ее в холле и спросил в лоб:

— Мэри, так все-таки Роберт или я?

— Тс-с-с-с! — шикнула она. — Потише. Внизу коктейльная вечеринка, а звуки отсюда очень хорошо разносятся.

— Ты бы хотела распрощаться со всем этим? — прошептал я.

— Отчего же? Я люблю запах мебельной политуры, зарабатываю больше, чем моя подруга на авиационном заводе, и общаюсь с людьми из высшего общества.

— Я хочу, чтобы ты вышла за меня, Мэри, — сказал я. — Я никогда не буду тебя стыдиться.

Она отступила на шаг.

— Зачем ты так плохо говоришь? Кто стыдится меня? Я хочу знать!

— Роберт, — сказал я. — Он любит тебя, но его стыд сильнее его любви.

— Он любит танцевать со мной, — запротестовала она. — Мы чудесно проводим время.

— Не на людях, — сказал я. — Как думаешь, при всем твоем очаровании станцевал бы он с тобой хоть одно па в яхт-клубе? Черта с два!

— Станцевал бы, — медленно проговорила она. — Если бы я захотела. По-настоящему захотела.

— Да он скорее умрет. Слыхала о тайных алкого-

ликах? Которые пьют, запершись в гардеробных? Так вот, ты завела себе такого же гардеробного возлюбленного.

Я оставил Мэри наедине с этой досадной мыслью и с удовлетворением увидел вызов в ее взгляде, когда поздним вечером она пришла танцевать. Впрочем, ничего не происходило, пока между нами не вклинился Роберт. Обычно Мэри просто переходила из моих объятий в объятья Роберта, не открывая глаз и не сбиваясь с шага. Сегодня она остановилась, широко раскрыв глаза.

— В чем дело? — спросил Роберт, изгибаясь всем телом и крутясь на носках, тогда как Мэри стояла выпрямившись, словно стальная мачта. — Что-то случилось?

— Ничего, — ответила Мэри хрупким голосом. — Почему ты решил, будто что-то случилось?

Успокоенный, Роберт вновь принялся изгибаться и крутиться, и вновь Мэри не двинулась с места.

— Все-таки что-то случилось, — проговорил он.

— Как ты полагаешь, Роберт, я привлекательна? — холодно поинтересовалась Мэри.

— Привлекательна? — поразился Роберт. — Привлекательна? Господи, конечно же, да! Я готов трубить об этом на каждом перекрестке.

— Не менее привлекательна, чем любая моя ровесница в Писконтьюте?

— Намного более! — воскликнул Роберт, снова и снова безуспешно пытаясь начать танец. — Намного, очень-очень намного, — продолжал он, постепенно замедляя движения.

— У меня хорошие манеры?

— Самые лучшие! — Роберт казался озадаченным. — Лучше не бывает, Мэри.

— Так отчего же ты не пригласишь меня на танцы в яхт-клуб?

Роберт окаменел.

— В яхт-клуб? — переспросил он. — Здесь, в Поните?

— Другого поблизости нет, — сказала Мэри.

— Роберт, — с надеждой проговорил я. — Она интересуется, мужчина ты или мышь. Хочет знать, пригласишь ли ты ее на танцы в яхт-клуб или ей придется исчезнуть из твоей жизни и отправиться работать на авиазавод.

— На авиазаводе наверняка нуждаются в приличных девушках, — подтвердила Мэри.

— Лучше я и не встречал, — кивнул я.

— Там, на авиазаводе, своих девушек не стыдятся, — продолжала Мэри. — Их приглашают на пикники и на рождественские вечеринки, и на

свадьбы и куда угодно; бригадиры, вице-президенты, главный инженер и инспектор приходят на вечеринки и танцуют с девушками и веселятся. Мою подругу повсюду водит инспектор.

— А что такое инспектор? — спросил Роберт, пытаясь выиграть время.

— Не знаю, чем он занимается, — заявила Мэри, — но точно знаю, что он сам зарабатывает на жизнь и не прячет свою возлюбленную.

Роберт лишился дара речи.

— Мужчина или мышь? — задал я вопрос, чтобы не дать ему улизнуть.

Роберт какое-то время жевал губу и наконец пробормотал что-то неразборчивое.

— Что ты сказал? — спросила Мэри.

— Мышь… — выдохнул Роберт. — Я сказал «мышь».

— Мышь, — тихо произнесла Мэри.

— Не говори так, — с отчаянием произнес Роберт.

— А как еще можно сказать «мышь»? — усмехнулась Мэри. — Спокойной ночи.

Я последовал за ней в холл.

— Ну что ж, — сказал я. — Это было жестоко, зато…

— Мэри! — В дверях появился бледный Роберт.

— Тебе это не понравится. Это будет отвратительно, и ты переживешь ужасные минуты. Вот почему я сказал «мышь»!

— Пока играет музыка, — сказала Мэри, — и джентльмен гордится своей леди, ничто не имеет значения.

— Угм, — сказал Роберт.

Он снова скрылся в гостиной, и мы услышали скрип диванных пружин.

— Ты говорил… — начала Мэри.

— Я говорил, что это было жестоко, — сказал я ей, — но когда-то сослужит ему хорошую службу. Это годами будет грызть его изнутри, и есть хороший шанс, что он станет первым полноценным человеком в истории Писконтьюта.

— Слышишь? — сказала вдруг Мэри. — Он говорит сам с собой. Что он говорит?

— Мышь, мышь, мышь, — говорил Роберт. — Мышь, мышь…

— Мы подожгли фитиль духовной бомбы замедленного действия, — прошептал я.

— Мышь, мужчина, мышь, мужчина, — говорил Роберт.

— И через пару лет, — сказал я, — бабах!

— Мужчина! — закричал вдруг Роберт. — Мужчина, мужчина, мужчина! — Он вскочил и выбе-

жал в холл. — Мужчина! — яростно вскрикнул он, бросился к Мэри и принялся осыпать ее поцелуями. Затем крепко схватил за руку и потащил за собой вниз по ступенькам на третий этаж.

В ужасе я последовал за ними.

— Роберт, — задыхаясь, проговорила Мэри, — что происходит?

Роберт уже барабанил в двери родительской спальни.

— Сейчас увидишь, — бросил он. — Я собираюсь заявить всему миру, что ты моя!

— Роберт, послушай, — начал я, — может, стоит сначала немного остыть и…

— Ага! Великий создатель мышей! — бешено прохрипел он и сшиб меня с ног. — И как тебе мышиный удар? — Он снова забарабанил в дверь. — Кто в теремочке живет?

— Я не хочу быть твоей, — проговорила Мэри.

— Мы уедем куда-нибудь на Запад, — сообщил ей Роберт, — и будем выращивать герефордских коров или соевые бобы.

— Я просто хотела на танцы в яхт-клуб! — испуганно пискнула Мэри.

— Ты что, не поняла?! — рявкнул Роберт. — Я твой!

— Но я — его!

Мэри ткнула в меня пальцем, вывернулась из хватки Роберта и бросилась наверх в свою комнату. Роберт последовал за ней, однако она захлопнула дверь и повернула ключ.

Я медленно поднялся, потирая разбитую скулу.

Дверь спальни мистера и миссис Брюер распахнулась. Мистер Брюер стоял в проеме, не сводя с меня горящих глаз, кончик языка между зубами.

— Итак? — вопросил он.

— Я… э… м-м… — промычал я, пытаясь выдавить улыбку. — Не обращайте внимания, сэр.

— Не обращать внимания?! — взревел он. — Вы ломитесь в дверь, словно наступил конец света, а теперь советуете мне не обращать внимания? Вы пьяны?

— Нет, сэр.

— Что ж, и я не пьян, — сообщил он. — Мой ум ясен как стекло, и вы уволены.

Он захлопнул дверь.

Я отправился в наши с Робертом апартаменты и принялся паковать вещи. Роберт снова лежал на диване, таращась в потолок.

— Она тоже пакуется, — сказал он.

— Гм?

— Теперь вы поженитесь, да?

— Похоже на то. Мне нужно найти другую

работу.

— Сочти свои благословения, — переиначил он старую песенку, — ибо, по благодати Божией, лжец ты.

— Остыл немного? — поинтересовался я.

— Я все равно покончил с Понитом.

— Мудро.

— Я хотел бы, — продолжал Роберт, — чтобы вы с Мэри оказали мне перед отъездом одну услугу.

— Говори.

— Я бы хотел протанцевать с ней по ступенькам. — Глаза Роберта расширились и загорелись как в тот раз, когда я застал его танцующим в одиночестве. — Как Фред Астер.

— Конечно, — кивнул я. — Такое я не упустил бы ни за какие деньги.

Проигрыватель был включен на полную громкость, и все двадцать шесть комнат загородного домика Брюера на рассвете запульсировали в ритме танго. Роберт и Мэри, словно единое целое, изгибались и крутились на носках, спускаясь по спиральной лестнице. Позади шел я со своим и ее багажом.

И снова мистер Брюер вихрем вылетел из спальни.

— Бабс! Что все это значит?

Ответ Роберта отцу — я думаю об этом каждый раз, когда заполняю анкету соискателя работы — мог бы быть и не таким отважным. Не будь эти слова произнесены, отношение мистера Брюера ко мне с годами могло бы смягчиться. Но теперь, когда я пишу его имя последним в ряду моих работодателей, то всегда немного смазываю его подушечкой большого пальца в надежде, что потенциальный наниматель удовлетворится моей честной улыбкой.

— Это значит, сэр, — сказал Роберт, — что вам следовало бы поблагодарить моих друзей за то, что они воскресили меня из мертвых.

Обманщики

© Перевод. А. Криволапов, 2020

Жизнь была добра к Дарлингу Стедману. Он водил новенький «Кадиллак» цвета вареного лобстера. А к заднему бамперу «Кадиллака» крепилось сцепное устройство, при помощи которого Стедман перемещал свой серебряный дом на колесах весной на Кейп-Код, а осенью во Флориду. Стедман был художником — писал картины, хотя художника он не слишком напоминал. Своими профессиональными приемами он частью походил на стопроцентного бизнесмена, делового человека, который понимает, что такое платить по счетам, человека из народа, полагающего, что художники по большей части — глупые мечтатели, а искусство в основном представляет собой сущую чепуху. Стедман приближался к шестидесятилетию и внешностью напоминал Джорджа Вашингтона.

Вывеска над его мастерской в квартале художников городка Семинол-Хайлендс, штат Флорида, говорила сама за себя: «Дарлинг Стедман — искусство без дураков».

Он расположил свою мастерскую в самом логове соперничающих друг с другом художников-абстракционистов. Ловкий ход, поскольку большую часть туристов абстракционисты сердили и раздражали, и тут посреди разноцветной невнятицы зеваки вдруг натыкались на Стедмана и его работы. Картины Стедмана были очаровательны, как почтовые открытки, а сам художник казался старым приятелем из родных мест.

— Я — оазис, — любил говаривать он.

Каждый вечер Стедман выставлял мольберт прямо перед входом в мастерскую и демонстрировал свое мастерство. Он работал примерно час под внимательными взглядами зевак, затем ставил точку, помещая картину в золоченую рамку. Толпа понимала, что действо закончилось, и разражалась аплодисментами. Шум уже не мог испортить шедевр, потому что шедевр был завершен.

Стоимость шедевра указывалась на карточке, прикрепленной к рамке: «60 долларов вместе с рамкой. Спрашивайте о наших специальных условиях». Слово «наших» на карточке означало, что речь идет о Стедмане и его жене Корнелии.

Корнелия не слишком разбиралась в искусстве, однако была уверена, что ее муж — второй Лео-

нардо да Винчи. Впрочем, так считала не только Корнелия.

— Богом клянусь, — однажды вечером проговорила потрясенная женщина из толпы зевак, — когда вы рисовали эти березы, вы и впрямь будто березовую краску взяли — будто любой может такую краску взять, и вот вам березовая кора. И с облаками так же: будто это облачная краска такая, что любой возьми да и нарисуй не глядя!

Стедман игриво протянул ей мольберт и кисть.

— Прошу, мадам.

Он безмятежно улыбнулся, но улыбка была дежурной — просто чтобы не сорвать представление. Все было вовсе не безмятежно. Сегодня, отправляясь на ежевечернюю демонстрацию своего мастерства, Стедман оставил жену в слезах. Он не сомневался, что Корнелия и сейчас еще рыдает в трейлере — рыдает над вечерней газетой. В этой газете художественный критик назвал Стедмана многокрасочным обманщиком.

— Святые угодники, нет! — воскликнула женщина, которой Стедман предложил мольберт и кисть. — У меня даже пустое место не получится на себя похожим. — Она отшатнулась, спрятав руки за спину.

И тут на сцене появилась Корнелия. Бледная

и дрожащая, она вышла из мастерской и встала рядом с мужем.

— Я хочу кое-что сказать всем этим людям, — заявила она.

Все эти люди раньше не встречали Корнелию, однако она мгновенно заставила их понять, что собой представляет. Испуганная, робкая и застенчивая, она никогда раньше не обращалась к толпе. Было совершенно ясно, что только катаклизм невиданной силы мог развязать ей язык. Корнелия Стедман внезапно стала олицетворением всех милых, тихих, преданных и смущенных домохозяек всех времен и народов.

Стедман лишился дара речи. Ничего подобного он не ожидал.

— Через десять дней, — дрожащим голосом проговорила Корнелия, — моему мужу исполнится шестьдесят. И я все думаю, как долго нам еще придется ждать, когда мир в конце концов очнется и признает его одним из величайших живописцев, когда-либо живших на свете. — Она прикусила губу, пытаясь сдержать слезы. — Один чванливый болван-критик написал в сегодняшней газете, будто мой муж обманщик. — Слезы хлынули из ее глаз. — Чудесный подарок на шестидесятилетие человеку, который всю свою

жизнь посвятил искусству!

Собственные слова настолько потрясли Корнелию, что она едва собралась с силами, чтобы продолжить.

— Мой муж, — в конце концов произнесла она, — представил десять чудесных работ на ежегодную выставку так называемой Ассоциации искусств Семинол-Хайлендс, и все они до единой были отвергнуты.

Корнелия указала пальцем на картину в витрине другой мастерской, расположенной через дорогу прямо напротив. Ее губы шевелились. Она пыталась сказать что-то о картине — громадной ужасающей абстракции, но не смогла издать ни единого осмысленного звука.

Речь Корнелии была окончена. Стедман нежно препроводил ее в мастерскую и прикрыл дверь. Он поцеловал жену, смешал ей коктейль. Стедман чувствовал себя не слишком уютно, поскольку прекрасно знал, что он действительно обманщик. Знал, что его картины ужасны, знал, что такое хорошая живопись и что такое хороший живописец. Вот только почему-то так и не удосужился поделиться этим знанием с женой.

Высокое мнение Корнелии о его таланте хотя и демонстрировало ее ужасный вкус, было самым

ценным сокровищем Стедмана. Прикончив напиток, Корнелия смогла наконец закончить и речь.

— Все твои чудесные работы отвергнуты, — проговорила она. Затем ткнула в картину через дорогу, и рука ее была тверда и неподвижна. — А эта мазня взяла первую премию!

— Ну-ну, малышка, — сказал Стедман. — Что ни делается, все к лучшему, а лучшего у нас хватает.

Картина через дорогу была невероятным творением, мощным и искренним — и Стедман знал это, чувствовал всем естеством.

— Малышка, в живописи существуют самые разные направления, — сказал он. — Некоторым людям нравится одно, а некоторым совсем другое, так устроен мир.

Корнелия не отводила взгляда от картины напротив.

— Я бы этот кошмар и в сарай не повесила, — мрачно проговорила она. — Против тебя сплели заговор, и пришла пора положить ему конец. — Корнелия встала, медленно, угрюмо, по-прежнему глядя на противоположную сторону улицы. — И что это она вывесила в витрине?

* * *

На противоположной стороне улицы Сильвия Лазарро клеила газетную вырезку в витрину мастерской своего мужа. Вырезка была с той самой статьей, где Стедмана назвали обманщиком. Сильвия выставила статью на всеобщее обозрение вовсе не из-за этого, а по причине того, что в статье говорилось о ее муже, Джоне Лазарро.

А там говорилось, что Лазарро — самый выдающийся художник-абстракционист во Флориде. Говорилось, что он способен выразить сложные эмоции при помощи невероятно простых элементов. Там говорилось, что Лазарро пишет одной из самых редких красок — что он пишет душой. А еще там говорилось, что Лазарро начал свою карьеру как мальчик-вундеркинд, обнаруженный в трущобах Чикаго.

Лазарро было всего двадцать три года. Самоучка, он никогда не учился в художественной школе.

В витрине с газетной вырезкой была выставлена картина, которая заслужила все эти похвалы, равно как и денежный приз в двести долларов. На этой картине Лазарро попытался запечатлеть на холсте тягостную неподвижность, безумную боль

и холодный пот за мгновение до того, как разразится гроза. Облака на картине не были похожи на настоящие облака. Они были похожи на серые валуны — плотные, как гранит, и в то же время каким-то образом рыхлые и пропитанные влагой. И земля не была похожа на настоящую землю. Она скорее напоминала горячую, потускневшую медь. Нигде никакого укрытия. Любой, кто оказался бы в этот мрачный миг в этом мрачном месте, вынужден был бы съежиться на горячей меди под сырыми глыбами — и принять то, что в следующее мгновение обрушит на него природа.

Картина была до ужаса мрачной — место для такой нашлось бы только в музее или в собрании маниакального коллекционера. Картины Лазарро продавались плохо. Он и сам был им под стать — грубый и злой. Ему нравилось казаться опасным, казаться бандитом. Но он не был опасен. Он боялся. Боялся того, что он самый большой обманщик из всех.

Лазарро лежал одетый на кровати в темноте. Единственным источником света в мастерской был отблеск расточительной иллюминации, освещающей жилище Стедмана на той стороне улицы. Лазарро угрюмо размышлял о том, какие подарки он мог бы купить жене на двухсотдолла-

ровую премию, если бы ее тут же не растащили кредиторы.

Сильвия отошла от окна и присела на краешек его кровати. До того, как Лазарро посватался к ней, она была бойкой простушкой-официанткой. Три года совместной жизни со сложным и талантливым мужем добавили Сильвии кругов под глазами, а кредиторы превратили всегдашнюю живость в веселое отчаяние. Но Сильвия не собиралась сдаваться. Она не сомневалась, что ее супруг — второй Рафаэль.

— Почему ты не хочешь почитать, что о тебе написали в газете? — спросила она.

— Никогда не видел толку в художественных критиках, — ответил Лазарро.

— Зато они в тебе видят, — возразила Сильвия.

— Ура, — безучастно проговорил Лазарро.

Чем больше хвалы возносили ему критики, тем сильнее он съеживался на горячей меди под сырыми глыбами. Руки и глаза Лазарро были так устроены, что он не мог добиться в изображаемых предметах ни малейшего сходства. Его картины были жестокими не потому, что он хотел выразить эту жестокость, — он просто не умел писать по-другому. На первый взгляд, Лазарро не испытывал к Стедману ничего, кроме

презрения. Однако глубоко в душе он испытывал благоговение перед руками и глазами Стедмана — руками и глазами, которые могли сделать все, чего тот хотел от них.

— У лорда Стедмана через десять дней юбилей, — сообщила Сильвия. Она прозвала Стедманов «лорд и леди Стедман», потому что те были так богаты — и потому что Лазарро были так бедны. — Леди Стедман вышла из трейлера и произнесла по этому поводу большую речь.

— Речь? — переспросил Лазарро. — Не знал, что у леди Стедман есть голос.

— Сегодня прорезался, — сказал Сильвия. — Она просто взбесилась оттого, что газета назвала ее мужа обманщиком.

Лазарро нежно взял ее за руку.

— Ты защитишь меня, крошка, если кто-то скажет такое обо мне?

— Я убью любого, кто скажет о тебе такое.

— У тебя сигаретки нет? — спросил Лазарро.

— Кончились, — ответила Сильвия.

Сигареты кончились еще в обед.

— Я подумал, вдруг ты припрятала пачку, — сказал Лазарро.

Сильвия уже была на ногах.

— Пойду стрельну у соседей.

Лазарро схватил ее за руку.

— Нет, нет и нет, — проговорил он. — Пожалуйста, ничего больше не стреляй у соседей.

— Но если ты хочешь курить… — начала Сильвия.

— Неважно. Забудь! — возбужденно сказал Лазарро. — Я бросаю. Первые несколько дней самые тяжелые. Зато сэкономим кучу денег — и здоровья.

Сильвия сжала его руку, отпустила, подошла к фанерной стене и принялась колотить в нее кулачками.

— Это нечестно, — горько проговорила она. — Ненавижу их!

— Ненавидишь кого? — Лазарро сел.

— Лорда и леди Стедман, — произнесла она сквозь сжатые зубы. — Выставляют повсюду напоказ свои деньги. И этот лорд Стедман со своей толстенной двадцатипятицентовой сигарой в зубах — продает свои дурацкие картинки, только свист стоит… а ты пытаешься принести в наш мир что-то новое и прекрасное и не можешь позволить себе даже сигарету!

В дверь настойчиво постучали. Снаружи слышался людской гомон, словно зеваки Стедмана переместились на эту сторону улицы. А потом

послышался голос и самого Стедмана, терпеливо увещевающий:

— Послушай же, малышка…

Сильвия подошла к двери и распахнула ее.

Снаружи стояли леди Стедман, гордо задрав голову, лорд Стедман, понурившийся от неловкости, и горстка зевак, весьма заинтересованная происходящим.

— Сию же секунду уберите эту мерзость из вашей витрины! — заявила Корнелия Стедман Сильвии Лазарро.

— Убрать *что* из моей витрины? — поинтересовалась Сильвия.

— Уберите газетную вырезку из вашей витрины, — сказала Корнелия.

— А что не так с вырезкой? — осведомилась Сильвия.

— Вы знаете, что не так с вырезкой, — нахмурилась Корнелия.

Лазарро слышал, как голоса двух женщин повышаются. Поначалу они звучали достаточно безобидно — почти по-деловому, но каждая фраза заканчивалась на чуть более высокой ноте. Лазарро подошел к двери мастерской как раз вовремя, за секунду до того, как между двумя женщинами сверкнула молния — между двумя

славными женщинами, которые зашли слишком далеко. Тучи, которые сгустились над Корнелией и Сильвией, не были тяжелыми и влажными. Они сверкали ядовитой зеленью.

— Вы имеете в виду, — решительно проговорила Сильвия, — ту часть статьи, где говорится, что ваш муж обманщик, или ту, где моего называют великим художником?

И грянул гром.

Женщины не касались друг друга. Они стояли лицом к лицу, и каждая хлестала соперницу страшной правдой. Но независимо от того, какие слова они выкрикивали, ни одна не чувствовала удара, поскольку обеих захватил безумный угар битвы. Кто по-настоящему страдал, так это их мужья.

Каждая насмешка Корнелии больно жалила Лазарро. Он взглянул на Стедмана и увидел, что тот моргает и хватает ртом воздух каждый раз, как очередную колкость отпускает Сильвия.

Когда перепалка постепенно начала утихать, слова женщин стали более конкретными и взвешенными.

— Вы в самом деле думаете, что мой муж не способен намалевать дурацкую старомодную картинку с индейцем в березовом каноэ или

хижиной в лесу? — поинтересовалась Сильвия Лазарро. — Да он не глядя такое нарисует! Он не делает этого, потому что слишком честен, чтобы копировать старые календари.

— А вы считаете, мой муж не сможет намазать пятен и придумать им загадочное название? — парировала Корнелия Стедман. — Не сможет размазать краску так, чтобы ваши дружки, чванливые критики, пришли и сказали: «Вот что я называю истинной душой»? Вы серьезно так думаете?

— Еще бы я не думала! — фыркнула Сильвия.

— Хотите маленькое состязание? — осведомилась Корнелия.

— Что пожелаете. — Сильвия пожала плечами.

— Чудненько, — сказала Корнелия. — Сегодня ночью ваш муж напишет картину, на которой хоть что-то будет похоже на само себя, а мой муж напишет то, что вы называете душой. — Она вскинула седую голову. — А утром посмотрим, чья возьмет.

— По рукам. — В голосе Сильвии зазвучали победные нотки. — По рукам.

— Просто размажь краску, — сказала Корнелия Стедман, заглядывая через плечо мужа.

Она чувствовала себя великолепно, словно

сбросила пару десятков лет. Ее муж уныло сидел перед чистым холстом. Корнелия выбрала тюбик краски и выдавила из него на холст карминового червяка.

— Чудесно, — проговорила она, — отсюда можно и начать.

Стедман апатично взял в руку кисть и продолжал сидеть неподвижно. Он знал, что потерпит поражение. Стедман много лет вполне жизнерадостно мирился с творческими поражениями, поскольку научился покрывать их сладкой глазурью наличных. Но сегодня — он знал это — творческий крах предстанет перед ним так откровенно, так ярко, что придется открыто его признать. На другой стороне улицы Лазарро в эти самые минуты наверняка пишет нечто настолько совершенное, живое и трепещущее, что потрясет даже Корнелию вместе с толпами зевак. А Стедману станет настолько стыдно, что никогда уже больше он не возьмет в руки кисть. Стедман смотрел куда угодно, только не на холст, изучал картины и объявления в мастерской, словно видел их впервые.

«Десятипроцентная скидка на все, что выходит из-под кисти Стедмана, — гласило одно объявление. — И совершенно бесплатно Стедман сделает

так, что закат на картине совпадет по гамме с вашими портьерами и ковром».

«Стедман, — сообщало другое объявление, — создаст уникальную картину маслом по любой вашей фотографии».

Стедман вдруг поймал себя на мысли о том, какой шустрый этот Стедман.

Стедман принялся рассматривать работы Стедмана. На каждой картине присутствовала одна тема: уютный маленький домик с дымом из каменной трубы. Прочный маленький домик, который, сколько ни надувай щеки, не сдуть никакому волку. И в каком бы месте картины Стедман ни поместил этот домик, он словно говорил: «Входи, усталый путник, кем бы ты ни был, — входи и насладись отдыхом».

Стедман представил, как входит в домик, закрывает двери и ставни и садится на коврик у камина. Он смутно осознавал, что на самом деле здесь, в домике, и пробыл последние тридцать пять лет. А теперь его пытаются извлечь оттуда.

— Милый, — позвала Корнелия.

— Гм?

— Ты разве не рад?

— Рад? — переспросил Стедман.

— Рад тому, что мы сможем доказать, кто на-

стоящий художник.

— Ужасно рад. — Стедман выдавил улыбку.

— Так почему же ты не начнешь работать? — спросила Корнелия.

— И правда, почему, — пробормотал Стедман.

Он поднял кисть и принялся тормошить ею карминового червяка. Через несколько секунд на холсте появилась карминовая березовая роща. Еще пара дюжин бездумных движений кистью, и рядом с рощицей был возведен маленький карминовый домик.

— Индеец! Нарисуй индейца. — Сильвия Лазарро расхохоталась, потому что Стедман всегда рисовал индейцев. Она прикрепила к мольберту Лазарро свежий холст и теперь барабанила по нему пальцами. — Сделай его ярко-красным, с орлиным носом, — продолжала она. — А позади за горами пусть садится солнце, и не забудь маленький домик на склоне горы.

* * *

Взгляд Лазарро остекленел.

— Все на одной картине? — угрюмо спросил он.

— Конечно! — воскликнула Сильвия. Она снова

превратилась в игривую невесту. — Нарисуй все это, чтобы раз и навсегда положить конец разговорам этих людей о том, что у них детишки рисуют лучше тебя.

Лазарро сгорбился и потер глаза. То, что он рисовал, как ребенок, было абсолютной правдой. Он рисовал, как поразительный ребенок с безумным воображением — но все равно, как ребенок. Некоторые картины, которые Лазарро писал сейчас, почти не отличались от тех, что он рисовал в детстве.

Он иногда думал, что, возможно, его самая первая работа и есть самая великая. Лазарро нарисовал ее краденными цветными мелками на тротуаре чикагской трущобы. Ему было двенадцать. Он начинал свою первую большую работу частью как розыгрыш, частью как шантаж. Картина мелками становилась все больше и больше — и все безумнее. Зеленые полотнища дождя, украшенные кружевом черных молний, хлестали по скрюченным пирамидам. Местами на картине был день, а местами ночь, и днем светила бледная серая луна, а ночью — жаркое красное солнце.

Чем больше и безумнее становилась картина, тем больше она нравилась растущей толпе зрителей. На тротуаре все изменилось. Незнакомцы

приносили художнику все новые мелки. Приехала полиция. Приехали репортеры. Приехали фотографы. Приехал даже сам мэр. Когда юный Лазарро наконец поднялся с колен, он стал, хотя бы на один день, самым знаменитым и любимым художником на Среднем Западе.

Сегодня Лазарро уже не был мальчиком. Он мужчина, который зарабатывает на жизнь, рисуя, как мальчик, а жена просит его изобразить индейца, который действительно похож на индейца.

— Это же так легко, — говорила Сильвия. — Тут ведь не надо ни во что вкладывать душу. — Она нахмурилась и прищурила глаза, словно высматривая что-то на горизонте, как один из индейцев Стедмана. — Просто нарисуй им здоровенного краснокожего!

К часу ночи Дарлинг Стедман был на грани сумасшествия. Холст перед ним был покрыт несколькими фунтами краски. А сколько фунтов ему уже пришлось соскоблить! Какую бы абстракцию ни пытался изобразить Стедман, сквозь нее пробивались банальные жизненные сюжеты. Куб все равно превращался в домик, конус — в покрытую снегом горную вершину, а сфера становилась полной луной. Отовсюду выглядывали

индейцы в таком количестве, что их хватило бы для панорамы битвы при Литтл-Бигхорн.

— Никак не можешь отодвинуть в сторону свой талант? — посочувствовала ему Корнелия.

Стедман вскипел и велел ей отправляться в постель.

— Мне будет легче, если ты не станешь смотреть, — раздраженно сказал Джон Лазарро жене.

— Я просто не хочу, чтобы ты слишком перенапрягался. — Сильвия зевнула. — Если я уйду, то, боюсь, ты опять начнешь вкладывать душу и все усложнишь. Просто нарисуй индейца.

— Я рисую индейца, — сказал Лазарро. Нервы его были натянуты как струна.

— Ты… не против, если я задам вопрос? — спросила Сильвия.

Лазарро закрыл глаза.

— Конечно, не против.

— Где индеец?

Скрипнув зубами, Лазарро ткнул в центр холста.

— Вот твой паршивый индеец.

— Зеленый? — спросила Сильвия.

— Это подмалевок.

— Милый, не нужно тут никакого подмалевка. Просто нарисуй индейца. — Сильвия взяла тюбик

краски. — Вот, смотри, отличный цвет для индейца. Просто нарисуй его, а потом раскрась — как в книжках-раскрасках с Микки-Маусом.

Лазарро отшвырнул кисть в другой конец комнаты.

— Да я и Микки-Мауса не раскрашу, когда кто-то смотрит мне через плечо! — взревел он.

Сильвия отшатнулась.

— Прости. Я просто хотела объяснить тебе, как это легко.

— Марш в постель! — приказал Лазарро. — Ты получишь своего гребаного индейца. Только иди спать.

Услышав вопль Лазарро, Стедман ошибочно принял его за вопль радости. Стедман был уверен, что такой вопль может означать только две вещи: или Лазарро закончил картину, или окончательно скомпоновал ее, и скоро она будет написана.

Он пытался представить себе картину Лазарро — то как мерцающего Тинторетто, то как туманного Караваджо, а то и как вихреобразного Рубенса. Упрямо, не понимая, жив он или мертв, Стедман принялся методично убивать индейцев ножом-палитрой.

Его презрение к себе достигло пика. Осознав,

насколько глубоко это презрение, Стедман прекратил работу. А презрение к себе оказалось настолько глубоким, что Стедман решил, невзирая на стыд, без всякого стеснения перейти улицу и купить у Лазарро картину, в которой есть душа. Он готов был заплатить Лазарро круглую сумму за право поставить свою подпись под картиной Лазарро и за обещание Лазарро хранить молчание об этой позорной сделке.

Приняв такое решение, Стедман снова принялся рисовать. Но теперь это была бесстыдная оргия его старого доброго, вульгарного, бездушного «я». Несколькими сабельными ударами кисти он создал горный хребет. Провел кистью над горами, и после нее остались облака. Тряхнул кисть над склонами, и отовсюду повыскакивали индейцы.

Индейцы тут же изготовились к атаке на что-то в долине. Стедман знал, на что. Он встал и сердито нарисовал домик. Нарисовал открытые двери. Нарисовал себя внутри.

— Вот вам квинтэссенция Стедмана, — презрительно бросил он и горько рассмеялся. — Вот он, старый болван.

Стедман вернулся в трейлер и убедился, что Корнелия крепко спит. Проверил деньги в бумажнике, прокрался обратно в мастерскую и

отправился на другую сторону улицы.

Лазарро дошел до полного изможде́ния. У него было чувство, будто он не работал последние пять часов, а пытался спасти индейца с вывески сигарной лавки из зыбучего песка. Зыбучий песок был изображен на холсте Лазарро.

В конце концов Лазарро прекратил попытки вытащить индейца на поверхность и позволил ему ускользнуть в Леса Счастливой Охоты.

Поверхность картины сомкнулась над индейцем — а также над самоуважением Лазарро. Жизнь назвала Лазарро лжецом, и он всегда знал, что когда-нибудь такое случится. Он попытался ухмыльнуться, словно жулик, который решил бросить свои проделки, которыми занимался долгие годы. Но в действительности Лазарро не хотел этого. Он очень любил писать картины и хотел писать их всю жизнь. Если он и обманщик, то одновременно он и жертва самого изощренного обмана.

Уронив неуклюжие руки на колени, Лазарро представил, что сейчас делают умелые руки Стедмана. Если Стедман велит своим волшебным рукам стать искушенными и умелыми, как у Пикассо, они станут искушенными и умелыми. Если велит им быть жестко прямолинейными,

как у Мондриана, они станут жестко прямолинейными. Велит стать злобно-детскими, как у Клее, станут злобно-детскими. А велит стать сердито-неумелыми, как у Лазарро, и эти волшебные руки смогут стать именно такими.

Лазарро готов был пасть настолько низко, что в голову ему даже пришла идея выкрасть одну из работ Стедмана, поставить на ней свое имя и силой заставить бедного старика молчать. Ниже падать было уже некуда, и Лазарро принялся писать картину о своих чувствах — о том, какой он лживый, какой грубый, какой мерзкий. Картина была почти черной. Это была последняя картина, которую собирался написать Лазарро, и она называлась «Ни черта хорошего».

У дверей студии послышались звуки, словно снаружи подошло какое-то больное животное. Лазарро яростно продолжал работу. Звуки послышались снова. Лазарро направился к двери и распахнул ее.

Снаружи стоял лорд Стедман.

— Если я похож на человека, которого вот-вот вздернут, — сказал Стедман, — то не сомневайтесь, именно так я себя и чувствую.

— Входите, — сказал Лазарро. — Входите.

Дарлинг Стедман проспал до одиннадцати.

Он пытался заставить себя поспать еще, но не смог. Стедман не хотел вставать. Анализируя причины этого нежелания, он обнаружил, что совершенно не напуган грядущим днем. В конце концов, проблему минувшей ночи он сумел разрешить весьма ловко — обменявшись картинами с Лазарро.

Стедман больше не боялся унижения. Он поставил свое имя на картине, где есть душа. Там, в странной тишине, царящей снаружи, его наверняка ждет слава. Стедман не хотел вставать по другой причине — у него было чувство, будто прошлой безумной ночью он утратил нечто бесценное.

Пока Стедман брился и рассматривал себя в зеркало, он понял, что бесценная вещь — это не честность, он по-прежнему оставался гениальным старым обманщиком. И это не деньги — они с Лазарро поменялись баш на баш. Стедман прошел из трейлера в мастерскую, но там никого не было. Для туристов рановато, они появятся часам к двенадцати. Корнелии тоже нигде не было видно.

Чувство, будто он утратил что-то важное, стало настолько сильным, что Стедман поддался порыву перерыть все шкафы и ящики в мастерской в

поисках один Бог знает чего. И он хотел, чтобы жена помогла ему.

— Милая! — позвал он.

— А вот и он! — раздался возглас Корнелии снаружи.

Она вбежала в мастерскую и потащила его на улицу к мольберту, на котором Стедман демонстрировал туристам свое мастерство. На мольберте стояла черная картина Лазарро. Она была подписана Стедманом и при свете дня предстала совершенно в новом качестве. Чернота блестела, казалась живой. А другие цвета больше не казались грязными оттенками черного. Они придавали картине мягкий, божественный отсвет витража. Более того, это не была картина Лазарро. Она была лучше, чем у Лазарро, потому что в картине отсутствовал страх. Там были красота, гордость и трепещущая жизнь.

Корнелия сияла.

— Ты победил, милый… ты победил, — проговорила она.

Молчаливым полукругом перед картиной стояли несколько человек, совсем не похожие на тех зевак, к которым привык Стедман. Серьезные художники тихо пришли посмотреть на творение Стедмана. Они были смущены и полны

уважения — пустой, глупый Стедман доказал, что он гораздо больший мастер, чем все они, вместе взятые. Горечь и радость смешались в улыбках, которыми они приветствовали нового мастера.

— Вы только гляньте на мазню на той стороне! — воскликнула Корнелия.

Она указала пальцем через улицу. В витрине мастерской Лазарро была выставлена картина, которую Стедман написал прошлой ночью. На ней стояло имя Лазарро. Стедман был потрясен. Картина нисколько не напоминала его работы. Да, она была похожа на открытку, но на открытку, отправленную из чьего-то персонального ада.

Индейцы, и домик, и старик в домике, и горы, и облака на этот раз не выражали никакого напыщенного романтизма. С реалистичностью Брейгеля, плавностью линий Тернера и гаммой Джорджоне картина повествовала о мятущейся душе несчастного старика.

Картина была тем самым бесценным предметом, который утратил Стедман прошлой ночью. Единственной настоящей работой, которую он создал за всю свою жизнь.

Прямо через дорогу навстречу Стедману шагал Лазарро. Он был очень возбужден. Сильвия Лазарро тянула его за рукав.

— Я никогда тебя таким не видела! — воскликнула она. — Да что случилось?

— Мне нужна эта картина, — громко и раздраженно проговорил Лазарро. — Сколько вы за нее хотите? — рыкнул он на Стедмана. — У меня сейчас нет денег, но я заплачу, когда появятся. Заплачу, сколько скажете. Назовите цену.

— Ты рехнулся? — вскипела Сильвия. — Да у меня для такой вшивой картинки и стены не найдется!

— Заткнись! — рявкнул Лазарро.

Сильвия заткнулась.

— А что вы скажете… что вы скажете насчет обмена? — проговорил Стедман.

Корнелия Стедман расхохоталась

— Обменять чудесную работу на эту жалкую мазню?

— Молчать! — приказал Стедман. На сей раз старый художник не казался величественным, а действительно стал им. Он обменялся с Лазарро дружеским рукопожатием. — По рукам?

Раздел 6.
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

© Перевод. А. Комаринец, 2020

Мотивы и поведение людей всегда были одной из основных тем художественной литературы, но у Воннегута эта тема имеет явный социальный подтекст. В его рассказах местное сообщество зачастую играет роль фактора, определяющего, как те или иные темы будут отображены в персонажах и сюжете. Любимый прием Воннегута — вмешательство людей, выполняющих определенную социальную функцию. Это может быть руководитель школьного оркестра, который попутно решает проблемы своих учеников, продавец противоураганных окон и поддонов для ванн, который не только устанавливает свою продукцию, но и служит своего рода носителем здравого смысла. В некоторых рассказах прослеживается путь консультанта по инвестициям, который занимается чем угодно, только не денежными вложениями. В этих и прочих рассказах высшая истина заключается в том, что всегда существует мир стабильных ценностей,

которые подтверждают и подкрепляют человеческие устремления.

Почему Курт Воннегут так часто выбирает на роль рассказчика, автора и катализатора действия консультанта по инвестициям? Инвестор не просто передает кому-то свои деньги в управление, он вкладывает их в некое предприятие. Если это предприятие будет успешным, оно принесет не только прибыль инвестору, но и пользу обществу в целом — как, например, служба паромного сообщения между Кейп-Кодом и Нантакетом, в которую сам Курт вложил деньги в то самое время, когда писал свои рассказы. Кстати, инвестиция оказалась неудачной — в любых предприятиях всегда присутствует фактор риска. Но даже из провалов вырастают хорошие рассказы.

Один из наиболее удачных рассказов Воннегута — «Портфель Фостера», в котором финансовый консультант проводит вечер с клиентом, за скромным образом жизни которого скрывается огромное состояние. Почему этот инвестор забывает о своем портфеле с прибыльными акциями ради того, чтобы жить в стесненных обстоятельствах, тут не важно. Суть в том, что он делает это невзирая ни на что. Консультант узнает, что

главное в жизни — не деньги, а счастье. Этот появившийся 8 сентября 1951 года в «Кольерз» рассказ задает тон всем последующим. Воннегут выбрал его в качестве камертона для сборников «Канарейка в шахте» и «Добро пожаловать в обезьянник». Много позже он позволит включить рассказы «Невеста на заказ» и «Бесплатный консультант» в сборник «Табакерка из Багомбо». Рассказ «Портфель сосунка» ни один журнал не принял, но он вошел в одноименный посмертный сборник. Рассказ «Король трутней» до недавнего времени находился в архиве писателя в Библиотеке имени Лилли Индианского университета. В каждом случае клиент консультанта ведет себя иначе, пока наконец это поведение не выходит за рамки рационального.

Где можно встретить нормальное человеческое поведение? В небольшом сообществе, в деревне, будь то в вымышленном Северном Кроуфорде, штат Нью-Гэмпшир, или в безымянном местечке на Кейп-Коде, очень похожем на то, в котором на протяжении пятидесяти-шестидесяти лет жила семья Воннегутов. Центром этих городков и деревень выступает местный самодеятельный театр, естественное место действия для рассказов Воннегута. Всю свою жизнь он хотел отдавать что-то

общине, в которой жил: служил добровольцем в пожарной части в пригороде Скенектади, где он работал в отделе по связям с общественностью «Дженерал электрик» в конце 1940-х годов, в следующем десятилетии преподавал литературу в муниципальном колледже Кейп-Кода, а в 1960-х участвовал в постановках самодеятельного театра. Даже после того, как в 1970-е годы он переехал в Нью-Йорк, где пожинал лавры своего романа «Бойня номер пять», он некоторое время пользовался своего рода «поддержкой семьи», какую способна оказать труппа самодеятельного театра, — это было в период, когда готовилась постановка его пьесы «С днем рожденья, Ванда Джун». Жизнь в сплоченном сообществе выступает неким мерилом ценностей в двух опубликованных посмертно рассказах из сборника «Сейчас вылетит птичка» — «Привет, Рыжий» и «Слово чести». В каждом из них есть крепкий главный герой и собственная крепкая тема.

Какие виды поведения в обществе способны дать жизнь рассказам? Подобно первой фразе множества старомодных анекдотов «один парень входит в бар», идея, что парень сидит на скамейке в парке, а к нему подходит незнакомец, может стать отправной точкой для разных историй.

Два таких рассказа наглядно демонстрируют, что можно выжать из подобной ситуации при наличии фантазии и писательского мастерства. За рассказ «Лохматый пес Тома Эдисона» ухватился журнал «Кольерз», а «Человеку без единой поченьки» пришлось ждать посмертного сборника «Пока смертные спят». У этих рассказов приблизительно сходная завязка, но они разнятся концовками. В других рассказах Воннегут умерял свой едкий юмор сентиментальными развязками, — возможно, ради продажи в журналы. Исключительно важным для его будущего успеха романиста стал один «несентиментальный» рассказ, который ему удалось пристроить в хороший журнал за приличный гонорар.

Поведение подростков и подростковые проблемы могут дать пищу как для юмористических, так и более серьезных произведений, и по опыту продаж в семейные еженедельники Курт знал, что эти издания охотно берут тексты на эту тему. «Беглецы» подарили «Сэтерди ивнинг пост» текст, который укладывался в популярный радиосаундтрек той эпохи, — стишки о юношеской любви, которые Курт писал с восторгом. Он сам в то время был отцом нескольких подростков, поэтому, вероятно, получал немалое удовольствие от того,

что в рассказах предоставлял родителям шанс посмеяться последними. Еще один значимый фактор в жизни подростков, во всяком случае мальчиков, — машины, и особо мощная машина дала название вышедшему в «Космополитэн» рассказу «Изысканно-синий дракон». Как это ни грустно, рассказ не смешной.

Взросление и различные формы самовыражения молодых людей тоже можно рассматривать как модели поведения. В раннем рассказе, включенном лишь в посмертный сборник «Пока смертные спят», Воннегут показывает это гениально. Очень юный парень знакомится с дядюшкой, который некогда был его опекуном. Перед нами — та же ситуация, которую мы уже видели в «Беглецах», только вывернутая наизнанку и с серьезными последствиями. Даже на той, очень ранней стадии своей карьеры Воннегут умел отразить, как сближаются его персонажи, сближаются с мучительным напряжением, поскольку читателю уже известно, что у них диаметрально противоположные намерения. Этот литературный прием сослужит автору хорошую службу в его седьмом романе «Завтрак для чемпионов», где писатель Килгор Траут поедет через полстраны в родной город Дуайна Гувера, читателя, который

слишком серьезно воспринял его литературные произведения. В рассказе «Попечитель» ключом к развязке выступает взаимное непонимание, — можно даже сказать, взаимное неверное прочтение.

И, наконец, есть еще модели поведения братьев Воннегутов, Курта и Бернарда, один из которых работал в отделе по связям с общественностью, другой — в исследовательской лаборатории «Дженерал электрик». В литературной рецензии «Деньги говорят с новым человеком», которую Курт написал через несколько лет после того, как популярность телевидения погубила рынок семейных журналов, автор переходил к новому стилю литературной журналистики, которая скоро придаст особый стиль его романам. Там, рассуждая о довольно фантастичном романе Гоффредо Паризе «Хозяин», Курт сравнивает его содержание с собственным опытом работы в крупной корпорации. «Много лет назад, когда я работал в отделе по связям с общественностью «Дженерал электрик», трое моих коллег каждые полгода писали на меня анонимки. И раз в полгода мне приходилось выслушивать нагоняй от босса и обещать исправиться». Воннегут наделил своего босса вымышленным именем Гриффин и

мелкими личными черточками. Описывая, как в романе Паризе героя вынуждают жениться на идиотке-монголке и ходить на болезненные инъекции мультивитаминов, Курт допускает, что «у нас с Гриффином были проблемы, но ничего подобного этому». Далее рецензент находит элементы фантастики в реальных разговорах у кулера с водой, которые характерны для любого офиса, включая тот, в котором работал Воннегут.

Рассказ «Бомар», который Воннегут написал про свой офис в «Дженерал электрик», посвящен шараде сотрудников, сговорившихся одурачить секретаршу, придумав акционера со странным именем (он так и остается плодом воображения), но в конечном итоге вся затея оборачивается против них самих. Прочитанный сегодня, в контексте других произведений, не опубликованных при жизни автора, он отсылает к дурачеству самого Курта: в конце 1947 года, проработав в «Дженерал электрик» всего пару месяцев, Курт написал своему дяде Алексу письмо якобы от имени корпорации и на ее бланке. Как и в «Бомаре», шарада обернулась против него — об этом он рассказывает в романе «Времетрясение». По словам автора, недавняя смерть брата пробудила воспоминания о том, как весело им было

расти вместе и как Бернард сохранил письмо, вызвавшее такую ярость у дяди. Почти тридцатью годами ранее, в предисловии к сборнику «Добро пожаловать в обезьянник» Курт написал, что Бернард и их сестра Алиса подали ему две главные темы его творчества: «надо выбить дух из всего на свете» и «как-нибудь перебьемся».

Бернард, у которого, по свидетельству Курта, чувства юмора было побольше, чем у него самого, выведен в ранее не публиковавшемся рассказе, найденном среди бумаг в архиве писателя в Библиотеке имени Лилли Индианского университета. Действие рассказа «А слева от вас» разворачивается в корпорации, очень похожей на исследовательскую лабораторию «Дженерал электрик», а ученые в нем скорее всего списаны с тех людей, с которыми работал Бернард и о которых Курт писал пресс-релизы и статьи для журналов. Эти два рода деятельности, которым следовало бы работать в связке, сталкиваются в конфликте — так же умопомрачительно смешно, как все, что Курт писал позднее об их с братом работе в «Дженерал электрик». Его босс Гриффин одобрил бы? Попробуйте сами отыскать Гриффина в этом рассказе.

Джером Клинковиц

Портфель Фостера

© Перевод. Е. Романова, 2020

Чем я занимаюсь? Даю добрые советы богатым людям — за деньги, разумеется. Я консультант по вопросам инвестиций. Заработать на хлеб этим ремеслом можно, но не то чтоб очень много — особенно начинающему. Чтобы соответствовать занимаемой должности, мне пришлось купить себе фетровую шляпу, темно-синий плащ, серый деловой костюм с двубортным пиджаком, черные туфли, галстук в диагональную полоску, полдюжины белых рубашек, полдюжины черных носков и серые перчатки.

На дом к клиенту я всегда приезжаю на такси: безукоризненно одетый и выбритый, уверенный и всемогущий. Я держу себя так, словно втихомолку сколотил целое состояние на фондовой бирже, а теперь работаю исключительно на общественных началах, во имя высоких и благородных целей. Когда я вхожу в дом — в чистошерстяном костюме, с хрустящими папочками, в которых покоятся белоснежные сертификаты и анализы рынка, — то впечатление произвожу такое же,

как священник или врач: я здесь главный, и все будет хорошо.

Обычно я имею дело со старушками — кроткими и беспомощными, которые благодаря железному здоровью унаследовали немалые богатства. Я листаю их ценные бумаги и рассказываю о наилучших способах распорядиться портфелем — он же «золотая жила», он же «сундук». Я умею не моргнув глазом рассуждать о десятках тысяч долларов и беззвучно разглядывать список бумаг общей стоимостью в сто тысяч, изредка протягивая задумчивое: «Мммм-хммм, так-так».

Поскольку собственного портфеля у меня нет, со стороны может показаться, будто я похож на голодного разносчика из кондитерской лавки. Но я не чувствовал себя таким разносчиком, покуда некий Герберт Фостер не попросил меня заняться его финансами.

* * *

Однажды вечером мне позвонили: мужчина представился Гербертом Фостером, сказал, что звонит по рекомендации знакомого, и попросил приехать. Я помылся, побрился, натер туфли, надел деловой костюм и торжественно прибыл к означенному дому на такси. Люди моего ремесла

— впрочем, как и многие люди вообще — имеют неприятную привычку судить о благосостоянии человека по его дому, машине и костюму. По моим прикидкам, Герберт Фостер получал шесть тысяч в год, не больше. Поймите, я ничего не имею против людей несостоятельных — кроме того что денег на них не заработаешь. Я мысленно посетовал, что зря трачу время: очевидно, что акций у Фостера на несколько сот долларов, не больше. В лучшем случае на тысячу — но и тогда я не получу с него больше доллара-двух.

Тем не менее я уже прибыл на место: передо мной стоял хлипкий послевоенный домик с надстроенным чердаком. Фостеры наверняка воспользовались предложением местного мебельного магазина и купили комплект мебели для трех комнат за 199,99 доллара (включая пепельницу, ящик для сигар и картины). Черт, ну и влип я! Но раз уж приехал, почему бы не взглянуть на жалкие бумажонки этого Герберта…

— Какой у вас милый домик, мистер Фостер, — сказал я. — А эта красавица — ваша супруга?

Тощая и сварливая на вид дама одарила меня равнодушной улыбкой. На ней был выцветший халат с изображением лисьей охоты. Расцветка халата так вопиюще не сочеталась с обивкой

кресла, что на фоне этого пестрого безобразия я с трудом различил черты ее лица.

— Рад знакомству, миссис Фостер, — сказал я.

Вокруг нее лежали вороха дырявых носков и белья на починку. Герберт сказал, что ее зовут Альма, и, судя по всему, так оно и было.

— А вот и молодой наследник! — воскликнул я. — Умница и красавчик. Наверняка души не чает в папе, а?

Двухлетнее чадо вытерло липкие руки о мои штаны, хлюпнуло носом и потопало к пианино. Там оно уселось напротив верхнего регистра и стало барабанить по самой высокой ноте — минуту, две, три…

— Музыкальный ребенок… весь в отца! — сказала Альма.

— Вы тоже играете, мистер Фостер?

— Классику, — ответил Герберт.

Тут я смог хорошенько его рассмотреть. Он был легкого телосложения, с круглым веснушчатым лицом и крупными зубами — такие часто бывают у позеров и умников. Мне не верилось, что он мог по собственной воле жениться на такой дурнушке, да и впечатления любящего семьянина он не производил. Мне даже померещилось тихое отчаяние в его взгляде.

— Тебе разве не пора на собрание, дорогая? — спросил Герберт жену.

— Нет, его отменили в последний момент.

— Я пришел насчет вашего портфеля… — начал я.

Герберт изумленно на меня посмотрел.

— Простите?

— Ну, портфель… ценных бумаг.

— Ах да. Об этом лучше поговорим в спальне. Там тише.

Альма отложила штопку.

— Что еще за ценные бумаги?

— Государственные облигации, дорогая.

— Надеюсь, ты не надумал их обналичить?

— Нет, Альма, просто хочу уяснить некоторые моменты.

— Понимаю, — осторожно проговорил я. — Э-э… а о какой сумме идет речь — приблизительно?

— Триста пятьдесят долларов! — гордо ответила Альма.

— Что ж, в таком случае я не вижу необходимости обсуждать это в спальне. Мой вам совет — и я даю его бесплатно — сидеть на яйцах, покуда цыплята не вылупятся. Можно телефон? Я хочу вызвать такси…

— Прошу вас, — сказал Герберт, вставая на по-

рог спальни, — мне нужно задать вам несколько вопросов.

— О чем? — спросила Альма.

— Да так… о долгосрочном планировании, — туманно ответил Герберт.

— Нам бы и краткосрочное не помешало: посчитай лучше, сколько денег мы потратим на продукты в следующем месяце!

— Прошу вас, — вновь обратился ко мне Герберт.

Я пожал плечами и прошел за ним в спальню. Он закрыл за нами дверь. Я присел на край кровати и стал смотреть, как он открывает небольшую дверцу в стене, за которой обнаружились голые трубы. Он просунул руку меж труб, крякнул и вытащил конверт.

— Ого, — равнодушно произнес я, — так вот вы где храните ценные бумаги? Очень умно. Можете не утруждаться, мистер Фостер, я имею представление о том, как выглядят государственные облигации.

— Альма! — позвал он.

— Что, Герберт?

— Ты не сваришь нам кофе?

— Я вечером кофе не пью, — вставил я.

— У нас еще с ужина остался! — крикнула в

ответ Альма.

— Если я хоть глоток сделаю — потом всю ночь буду ворочаться.

— Свежий, пожалуйста! Мы хотим свежий! — крикнул Герберт.

Скрипнуло кресло, и шаги Альмы постепенно стихли в коридоре.

— Вот, — сказал Герберт, положив конверт мне на колени. — Я в этом деле ни черта не смыслю, потому и решил обратиться за помощью к профессионалу.

«Ладно, все же придется дать этому бедолаге профессиональный совет», — подумал я.

— Это самый консервативный способ распорядиться денежными средствами. Государственные облигации растут медленнее других бумаг, зато надежность высокая — надежней не бывает. Словом, не обналичивайте их, держите до последнего. — Я встал. — А теперь позвольте я вызову такси…

— Вы на них даже не взглянули.

Я вздохнул и развязал красную веревочку, которой был перевязан конверт. Что ж, придется повосхищаться богатством этого несчастного… Облигации и список каких-то акций выскользнули мне на колени. Я быстро пролистал первые и

медленно изучил последний.

— Ну?

Я аккуратно положил список на выцветшее покрывало. Собрался с мыслями.

— Мммм-гхммм, так-так, — вдумчиво протянул я. — Скажите, а откуда у вас перечисленные здесь ценные бумаги?

— От деда по наследству достались. Два года назад. Они хранятся у его душеприказчиков, а здесь — только список.

— Вы знаете, сколько они стоят?

— Когда я вступал в наследство, оценщики назвали мне общую стоимость. — Он произнес цифры вслух и как будто смутился… нет, даже опечалился.

— С тех пор они выросли в цене.

— На сколько?

— По сегодняшним рыночным ценам… они могут стоить около семисот пятидесяти тысяч долларов, мистер Фостер. Сэр.

Он ничуть не изменился в лице. Моя новость тронула его не сильней, чем прогноз погоды, предвещающий холодную зиму. Тут в гостиной послышались шаги Альмы, и он вскинул брови.

— Ш-ш-ш!

— Она не знает?

— Боже, да нет, конечно! — воскликнул он и тут же, словно удивившись собственной горячности, добавил: — Всему свое время.

— Если вы отдадите мне список, я перешлю его в наш нью-йоркский офис и через некоторое время предоставлю вам полный анализ рынка с рекомендациями, — прошептал я. — Можно называть вас Герберт, сэр?

Мой клиент, Герберт Фостер, уже три года не покупал себе новых костюмов, да что там: у него и второй пары башмаков не было. Он с трудом наскребал деньги на оплату кредита за подержанную машину, а вместо мяса ел сыр и рыбу, потому что мясо было им не по карману. Его жена сама шила себе одежду, и костюмчик Герберта-младшего, занавески и покрывала в их доме были пошиты из той же материи — видимо, она купила на распродаже целый рулон. Каждую зиму они мучительно решали, что в итоге выйдет дешевле, новые покрышки или подержанные, а телевизор ходили смотреть к соседям. Словом, крошечной зарплаты бухгалтера, которую Герберт приносил из бакалейной лавки, едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами.

Господь свидетель, бедность не порок, и такая жизнь, пожалуй, куда достойней моего суще-

ствования, но мне странно было смотреть на эту нищету и знать, что настоящий доход Герберта после выплаты всех налогов составляет около двадцати тысяч долларов в год.

Я показал портфель Фостера нашим аналитикам и попросил сделать подробный отчет о возможностях роста, рисках, ожидаемых доходах, влиянии войны и мира на фондовый рынок, инфляции, дефляции и всем прочем. Отчет занял двадцать страниц — рекорд среди моих клиентов. Обычно такие отчеты переплетают в картонные папки. Папка Герберта была из красной искусственной кожи.

Она прибыла ко мне домой воскресным днем, и я сразу позвонил Герберту. Новость была потрясающая: оказывается, я недооценил его портфель и на тот момент он стоил почти восемьсот пятьдесят тысяч долларов.

— Я получил анализ и рекомендации, — сказал я в трубку. — Дела у вас идут прекрасно, мистер Фостер. — Местами лучше диверсифицировать вложения, сделать больше упора на рост, но в целом…

— Делайте все, что сочтете нужным, — сказал он.

— Когда мы сможем это обсудить? Все нужно

тщательно обговорить и продумать. Сегодня вечером я свободен.

— А я работаю.

— Сверхурочно в бакалейной лавке?

— Нет, у меня есть вторая работа, в ресторане. По пятницам, субботам и воскресеньям.

Я поморщился. Человек зарабатывает семьдесят пять долларов в день на одних акциях, а сам горбатится по вечерам в выходные, чтобы свести концы с концами!

— Как насчет понедельника?

— Играю на органе в церковном хоре.

— Вторник?

— Работаю добровольцем в пожарной части.

— Среда?

— Играю в церкви для кружка народных танцев.

— Четверг?

— Мы с Альмой идем в кино.

— Тогда предложите сами какой-нибудь день!

— Зачем вам я? Не бойтесь, поступайте как сочтете нужным.

— Разве вам не хочется в этом участвовать?

— Это обязательно?

— Мне было бы спокойней.

— Хорошо, давайте вместе пообедаем во втор-

ник.

— Отлично! Может, вы до тех пор ознакомитесь с отчетом? Подготовите вопросы…

— Ладно, ладно, ладно! — раздраженно буркнул он. — Я буду дома до девяти вечера. Заезжайте.

— Еще одно, Герберт. — Я припас самое сладкое напоследок. — Оказывается, я здорово недооценил ваш портфель! Он сейчас стоит порядка восьмисот пятидесяти тысяч.

— Ага.

— Это значит, что вы на сто тысяч богаче, чем думали!

— Понял, понял. Что ж, дальше действуйте как сочтете нужным.

— Да, сэр.

Он повесил трубку.

Я задержался на другой встрече и подъехал к дому Фостеров только в четверть десятого. Герберт уже ушел. Дверь открыла Альма и, к моему вящему удивлению, попросила отчет, который я прятал под плащом.

— Герберт запретил мне смотреть, так что не бойтесь, я не буду подглядывать.

— Он вам все рассказал? — осторожно спросил я.

— Да. Говорит, это конфиденциальный отчет

о ценных бумагах, которые вы хотите ему продать.

— Гм… верно… Что ж, раз он велел передать его вам, держите.

— Он предупредил, что обещал никому его не показывать.

— А? Ну да, ну да. Вы уж не обижайтесь, таковы правила нашей фирмы.

Альма была несколько неприветлива.

— Я и не глядя на всякие там отчеты могу сказать, мистер, что не позволю Герберту обналичить наши облигации, чтобы купить у вас бумаги.

— Я бы никогда не предложил ему этого, миссис Фостер.

— Тогда чего вы к нему пристали?

— Он перспективный клиент… — Я опустил глаза на руки и увидел, что на прошлой встрече испачкался чернилами. — Разрешите воспользоваться вашей ванной?

Альма неохотно пустила меня внутрь, держась от меня как можно дальше — насколько позволяла скромная планировка их дома.

Моя руки, я думал о списке акций, который Герберт выудил из-за гипсокартонной стены. На такой доход он мог позволить себе зимовать

во Флориде, лакомиться бифштексами из самой нежной вырезки, пить двенадцатилетний бурбон, ездить на «ягуаре», носить шелковое белье и туфли ручной работы, отправиться в кругосветный круиз… да что душе угодно! Я тяжко вздохнул, поглядев на раскисшее мыло в мыльнице, слепленное из нескольких крошечных обмылков.

Поблагодарив Альму, я шагнул к выходу, но на секунду замер перед каминной полкой: на ней стояла маленькая подкрашенная фотография.

— Очень удачный снимок, — сказал я в слабой попытке наладить «связь с общественностью». — Вы прекрасно здесь получились.

— Все так говорят. Это не я, это мама Герберта.

— Поразительное сходство! — Я не солгал. Герберт, оказывается, женился на точной копии девушки, которую взял в жены его любимый старик. — А это его отец?

— Нет, мой. Фотографий его отца мы дома не держим.

Так-так, больная мозоль. Если наступить на нее посильней, можно выяснить немало интересного.

— Герберт такой замечательный человек… Наверняка и отец у него такой же, нет?

— Он сбежал от жены и ребенка, такой он замечательный. Лучше помалкивайте о нем при Герберте.

— Простите. Так значит, Герберт пошел в мать?

— Она была святая. Это она воспитала Герберта благородным, добрым и верующим, — мрачно ответила Альма.

— Она тоже любила музыку?

— Нет, сам музыкальный дар ему достался от отца, а вот вкус — от матери. Герберт любит классику.

— А отец, я так понимаю, был джазменом? — предположил я.

— Да, долбил по клавишам во всяких кабаках. Только и знал, что курить и наливаться джином! До жены и ребенка ему дела не было. В конечном счете мама Герберта поставила его перед выбором: или семья, или джаз.

Я понимающе кивнул. Видимо, Герберт не хотел притрагиваться к дедову наследству, потому что оно пришло по линии отца.

— А дедушка Герберта… ну, который умер два года назад?

— Он помогал маме и Герберту, когда они остались одни. Герберт перед ним преклонялся. — Она

с грустью покачала головой. — Умер в нищете…

— Бедняга.

— Нам, конечно, ничего не досталось — а я так хотела, чтобы Герберт перестал работать по выходным!

Мы с Гербертом встретились во вторник и среди гомона, лязга и звона закусочной, где он обычно обедал, попытались обсудить его планы на будущее. Обед был за мой счет — вернее, за счет моей компании, — и я спрятал в карман чек на восемьдесят семь центов.

— Итак, Герберт, прежде чем обсуждать дальнейшие действия, вы должны решить, чего хотите от своих вложений: роста или дохода. — То была стандартная фраза всех консультантов. Бог знает, чего он хотел от вложений. Явно не того, чего обычно хотят люди, — то есть денег.

— Поступайте как знаете, — равнодушно проговорил Герберт. Он был чем-то расстроен и не обращал на меня внимания.

— Герберт… послушайте, вы должны смириться с этим: вы богатый человек. И теперь ваша цель — выжать как можно больше из своих вложений.

— Потому-то я и обратился к вам. Пусть это будет вашей целью. Не хочу забивать голову всеми этими процентами, налогами и рисками — это

ваша задача, а не моя.

— Ваши адвокаты, полагаю, перечисляли дивиденды на счет в банке?

— Большую часть. На Рождество я взял оттуда тридцать два доллара и еще сотню пожертвовал церкви.

— И каков ваш баланс на настоящий день?

Он вручил мне сберегательную книжку.

— Неплохо, — сказал я. После того как Герберт раскошелился на Рождество и церковь, на счету у него осталось 50 227 долларов 33 цента. — Позвольте спросить, о чем может печалиться человек с таким балансом?

— Опять получил нагоняй на работе.

— Купите эту несчастную лавку и сожгите, — предложил я.

— А что, я бы мог, правда? — Его глаза на миг сверкнули безумным блеском и вновь потухли.

— Герберт, вы можете позволить себе все, что заблагорассудится.

— Пожалуй, вы правы. Но тут ведь как посмотреть…

Я подался ближе.

— И как же вы на это смотрите?

— Я считаю, что всякий уважающий себя мужчина должен сам зарабатывать себе на жизнь.

— Но, Герберт…

— У меня чудесная жена и ребенок, славный дом, машина… Все это я заработал честным трудом. У меня есть обязательства — и я их выполняю. Могу с гордостью сказать, что оправдал надежды матери и ничуть не похож на своего отца.

— А каким был ваш отец, если не секрет?

— Я не люблю о нем говорить. Дом и семья ничего для него не значили. Больше всего на свете он любил низкопробную музыку и кабаки.

— Но музыкантом он был хорошим?

— Хорошим? — На миг в его голосе послышалось даже волнение, он весь напрягся, словно хотел сказать нечто важное, но потом вновь обмяк и равнодушно продолжил: — Хорошим? Ну да, в каком-то смысле… техника у него была неплохая.

— И вы это унаследовали.

— Запястья и руки — может быть. Слава богу, больше во мне от отца ничего нет.

— И еще любовь к музыке.

— Я люблю музыку, но никогда не позволю ей стать для меня наркотиком! — проговорил он с чуть излишним жаром.

— Так-так… Понятно.

— Никогда!

— Простите?

— Я говорю, что музыка никогда не будет для меня наркотиком! Я придаю ей большое значение, но это я хозяин музыки, а не наоборот.

По-видимому, я нащупал очередную болезненную тему, поэтому решил быстренько вернуться к теме финансов.

— Ясно. Так насчет вашего портфеля: что вы собираетесь с ним делать?

— Немного уйдет на нашу с Альмой старость, а все остальное отдам сыну.

— Но вы уже сейчас можете перестать работать по выходным!

Он резко вскочил.

— Послушайте. Я попросил вас заняться моими финансами, а не жизнью. Если вы на это не способны, я найду другого специалиста.

— Что вы, Герберт… мистер Фостер. Прошу прощения, сэр. Я только пытаюсь нарисовать цельную картину, чтобы наилучшим образом распорядиться вашими средствами.

Он сел, красный как рак.

— В таком случае вы должны уважать мои убеждения. Я хочу жить так, а не иначе. Если я решил гнуть спину без выходных, это мой крест,

и нести его мне.

— Конечно, разумеется! И вы правы, я уважаю вас за этот шаг. — Будь моя воля, я бы сдал его в психушку. — Можете полностью доверить мне свои финансы. Ни о чем не волнуйтесь, я вложу ваши дивиденды наилучшим образом.

Гадая над жизненными воззрениями Герберта, я ненароком взглянул на проходившую мимо эффектную блондинку. Герберт что-то пробурчал.

— Простите? — переспросил я.

— «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя», — повторил Герберт.

Я оценил шутку и засмеялся, но тут же умолк. Мой клиент был совершенно серьезен.

— Что ж, скоро вы расплатитесь с кредитом на машину и сможете со спокойным сердцем отдыхать по выходным! И вам действительно есть чем гордиться, не так ли? Собственным потом и кровью заработали на целую машину — до самой выхлопной трубы!

— Один платеж остался.

— И можно распрощаться с рестораном!

— Но потом я хочу купить Альме подарок на день рождения. Телевизор.

— Его вы тоже решили заработать сами?

— А вы представьте, какой это будет прекрас-

ный подарок — от всего сердца!

— Да, сэр… И вашей жене будет чем заняться в выходные.

— Два года работы по выходным — ничтожная плата за счастье, которое мне дарит Альма.

Я подумал, что если фондовый рынок и дальше будет развиваться теми темпами, которыми он развивался последние три года, Герберт станет миллионером аккурат к тому времени, когда внесет последний платеж за телевизор для Альмы.

— Хорошо.

— Я люблю свою семью, — убежденно проговорил он.

— Не сомневаюсь.

— И не променяю такую жизнь ни на какие блага.

— Очень хорошо вас понимаю. — У меня возникло чувство, будто мы о чем-то спорим и Герберт горячо отстаивает свою точку зрения.

— Стоит только подумать, какая жизнь была у отца и какую веду я, и меня тут же охватывает блаженство. Я и не ведал, что такое блаженство возможно!

Не много же блаженств Герберт испытал на своем веку, подумал я.

— Завидую вам. Должно быть, вы по-настояще-

му счастливы.

— Счастлив, да-да! — убежденно повторил он. — Очень, очень счастлив.

Моя фирма вплотную занялась состоянием Фостера: ряд медленно растущих акций мы заменили на более доходные, выгодно вложили собранные дивиденды, диверсифицировали портфель с целью максимально сократить риски — словом, привели финансы клиента в должную форму. Собрать продуманный портфель — тоже своего рода искусство (и дело даже не в дороговизне), где главными темами можно назвать промышленность, железные дороги и энергетику, а темами более доступными и увлекательными — электронику, полуфабрикаты, фармацевтику, авиацию, нефть и газ. Портфолио Герберта стало нашим шедевром. Я был горд и заворожен успехами нашей фирмы, но меня очень расстраивало, что я не могу похвастать ими перед клиентом.

Это было выше моих сил, и однажды я решил подстроить нам встречу: узнать название ресторана, в котором работал Герберт, и случайно зайти туда поужинать. Подробный отчет о проведенных нашей фирмой работах ненароком окажется при мне.

Я позвонил Альме, и та назвала мне ресторан

— признаться, я никогда о таком не слышал. Герберт не любил говорить об этом месте, поэтому я решил, что оно довольно мрачное — «крест», по его собственному выражению.

Ресторан оказался даже хуже, чем я рассчитывал: душный, темный и шумный. Герберт выбрал себе настоящий ад, чтобы искупить грехи отца, или продемонстрировать признательность жене, или не упасть в собственных глазах, или что он там еще забыл.

Я стал протискиваться мимо скучающих женщин и подозрительных типов к барной стойке. Чтобы бармен меня услышал, пришлось кричать. Тот проорал в ответ, что знать не знает человека по имени Герберт Фостер. Видимо, он выполнял совсем уж грязную работу на кухне или в подвале. Что ж, обычное дело.

На кухне какая-то карга жарила сомнительного вида котлеты и посасывала пиво из бутылки.

— Я ищу Герберта Фостера.

— Здесь никакого Фостера нету.

— А в подвале?

— И в подвале нету!

— Вы вообще не знаете этого человека?

— Не знаю я никакого Фостера и знать не хочу!

— Спасибо.

Я сел за столик, чтобы все обдумать. Герберт, по-видимому, взял название ресторана из телефонного справочника, чтобы как-то объяснить Альме свое отсутствие по выходным. Мне даже полегчало: выходит, у Герберта все-таки были причины не притрагиваться к восьмистам пятидесяти тысячам, а мне он просто вешал лапшу на уши. Я тут же вспомнил, как он морщился, стоило мне заговорить о свободных вечерах: точно у него под ухом запустили бормашинку. Да-да, теперь я понял: как только Альма узнает, что муж богат, у него больше не будет повода удирать из дому по выходным.

Но что же было Герберту дороже восьмисот пятидесяти тысяч долларов? Наркотики? Спиртное? Женщины? Я вздохнул: ничегошеньки, конечно, не прояснилось. На подлость Герберт был не способен. Если он и мутил воду, то по какой-то уважительной и благородной причине. Мама так хорошо поработала над его воспитанием, а сам Герберт так искренне презирал отца, что я не сомневался: действовать он способен лишь из самых благих побуждений. Я сдался и заказал себе стаканчик — решил пропустить немного на ночь.

И тут я увидел, как сквозь толпу продирается

Герберт Фостер — крайне побитый и загнанный на вид. На лице у него застыла гримаса крайнего неодобрения, точно у праведника в Вавилоне. Двигался он как деревянный, прижав руки к бокам, чтобы никого ненароком не задеть и ни с кем не встретиться взглядом. Несомненно, сама обстановка оскорбляла благородные чувства Герберта.

Я окликнул его, но он как будто не услышал. Дозваться его было невозможно: Герберт полностью отгородился от происходящего вокруг и едва не впал в кому, вознамерившись не видеть, не слышать и не делать зла.

Толпа в задней части зала расступилась перед ним, и я уж было решил, что сейчас он возьмет швабру и примется подметать, но в дальнем конце образовавшегося прохода вдруг вспыхнул свет, и я увидел крошечное белое пианино, сверкавшее в лучах прожектора точно драгоценный камень. Бармен поставил на пианино стакан с водой и вернулся за стойку.

Герберт смахнул пыль со скамеечки собственным носовым платком и с опаской сел. Достал из нагрудного кармана сигарету, закурил. Потом сигарета начала постепенно съезжать в уголок рта, а сам Герберт сгорбился над клавиатурой и

прищурился, точно пытаясь разглядеть что-то на далеком горизонте.

И вдруг Герберт Фостер исчез. На его месте сидел взбудораженный веселый незнакомец, занесший над пианино руки-клешни. Он резко ударил по клавишам, и стены кабака сотрясла судорога похабного, второсортного, восхитительного джаза — горячий разудалый призрак двадцатых годов.

На ночь глядя я еще раз просмотрел портфель Герберта Фостера, известного в кабаке под прозвищем Огненный Гаррис. Самого Огненного Гарриса я в тот вечер беспокоить не стал.

Примерно через неделю его ждал большой куш от одной сталелитейной компании. По акциям трех нефтяных компаний ожидались дополнительные дивиденды. Акции крупного производителя сельскохозяйственного оборудования, которых мы купили пять тысяч штук, выросли на три доллара каждая.

Благодаря мне, моей фирме и процветающей американской экономике состояние Герберта выросло бы еще на несколько тысяч долларов. У меня были все поводы для гордости, но триумф мой отдавал полынной горечью (комиссионные, впрочем, не отдавали).

Никто не мог помочь Герберту. Он уже добился

в жизни всего, чего хотел, — причем задолго до получения наследства и нашего с ним знакомства. Он стал добропорядочным семьянином, каким его вымуштровала любимая матушка. Но был у него и другой повод для радости: маленькая зарплата, не оставлявшая ему иного выхода, как — во имя семейного очага, жены и ребенка — играть на пианино в кабаке, курить, наливаться джином и три вечера из семи быть Огненным Гаррисом, истинным сыном своего отца.

Невеста на заказ

© Перевод. Н. Рейн, 2020

Я работаю агентом на фирме, консультирующей по вопросам инвестиций. Уже начал сколачивать клиентуру и считаю, что перспективы у меня очень даже неплохие. Нет, пока что еще успехи скромные. Но в целом ничего, ведь мы только начинаем. Я торгую добрыми советами. У меня даже униформа имеется — серый костюм, фетровая шляпа с узкими полями и вмятиной посередине и темно-синий плащ. За все уже уплачено, и после того, как куплю себе еще с полдюжины белых рубашек, начну скупать акции.

У нас, консультантов по инвестициям, имеется один стандартный вопрос к клиентам. И звучит он так: «Присаживайтесь, мистер Икс. Прежде чем мы проведем анализ и дадим все необходимые рекомендации, нам бы хотелось знать, какова конечная цель вашего вклада. Доход или рост?»

Обычно вклад — это деньги, отложенные потенциальным клиентом на черный день, в форме акций или облигаций. И, задавая этот вопрос,

мы пытаемся понять, заинтересован ли клиент разместить свое «золотое яичко» так, чтоб оно пошло в рост, не принося вначале значительных дивидендов, или же он хочет иного. Чтоб его вклад сохранял размеры, но приносил более чем приличные дивиденды.

Как правило, клиент хочет разбогатеть — и быстро. Но доводилось мне слышать от клиентов и самые неожиданные ответы, особенно от тех, кто страдает своего рода сдвигом по фазе. В мозгах у него заело, а потому не способен воспринимать деньги абстрагированно. Когда мы спрашиваем таких типов, чего они хотят от вклада, они начинают называть разные вещи, на которые им не терпится профукать все свои денежки — на машину, к примеру, или же там путешествия. Лодку, дом, ну и так далее, в том же духе.

Когда я задал этот вопрос клиенту по имени Отто Краммбейн, тот ответил, что хочет осчастливить сразу двух женщин. Китти и Фэллолин.

Надо сказать, что этот Отто Краммбейн — самый настоящий гений. Проектировщик «кресла Краммбейна», «ди-модулярной» кровати, корпуса к новому гоночному автомобилю марки «Мариттима-Фраскати», а также целой линии новой кухонной утвари «Меркури».

Судя по всему, он был настолько поглощен мыслями о прекрасном, что в денежных вопросах соображал не больше цикады. Когда я продемонстрировал ему первый сертификат на акции, которые он решил вложить в одну из компаний, он тут же захотел распродать их все и немедленно — ему, видите ли, не понравился «дизайн» этого документа.

— Да какая разница, как выглядит этот самый сертификат, Отто? — оторопело заметил я. — Главное, что компания, стоящая за всем этим, надежна. Развивается и обладает приличными банковскими резервами в наличных.

— Любая компания, — нравоучительно заметил Отто, — выбравшая в качестве девиза на сертификате это чудовище, эту жирную Медузу, оседлавшую канализационную трубу и оплетенную какими-то кабелями, определенно безнравственна, вульгарна и глупа.

Когда я заполучил Отто в качестве клиента, он, надо сказать, не был в настроении сколачивать капитал путем вкладов и инвестиций. А заполучил я его через моего дружка, Хэла Мерфи, который был его адвокатом.

— Впервые положил на него глаз пару дней тому назад, — сказал Хэл. — Зашел к нам, сюда,

и говорит, эдак небрежно и туманно, что ему надобно маленько помочь. — Хэл хихикнул. — Мне говорили, будто бы этот Краммбейн настоящий гений, но лично я считаю, ему самое место в цирке или в академии дураков. За последние семь лет он заработал больше двухсот тридцати пяти тысяч долларов и…

— Что означает, что он все-таки своего рода гений, — вставил я.

— И истратил все до последнего цента на разные там вечеринки, ночные клубы, дом и шмотье для жены, — сказал Хэл.

— Браво! — воскликнул я. — Именно такой совет по инвестициям мне всегда хочется дать клиенту. Вот только платят мне совсем за другое.

— Так вот, что касается собственно инвестиций, тут у Краммбейна проблем нет, — продолжил Хэл. — А обратиться к нам за маленьким советом заставил, по его словам, звонок из Налогового управления США.

— О, о, какой ужас! — рассмеялся я. — Готов побиться об заклад, он просто забыл заполнить декларацию о доходах в наступающем году.

— А вот и не угадал, — сказал Хэл. — Этот гений ни разу и никогда не заплатил ни единого цента налогов! Можешь себе представить — ни

разу! А объяснил это тем, что все ждал, когда они вышлют ему счет, но так и не дождался!.. — Хэл уже просто стонал от смеха. — Ну, вот, браток, они, наконец, до него и добрались. Нет, это надо же! Счет!

— Ну а при чем тут я? — спросил я.

— К нему все время поступали кучи денег, наличманом, хотя последнее время он просил, чтоб платили ему чеками, — сказал Хэл. — Ты позаботишься о его денежках, я же попытаюсь спасти этого чудака от тюрьмы. Я говорил ему о тебе. И он просил, чтоб ты приехал к нему домой прямо сейчас.

— А в каком банке он держит деньги? — спросил я.

— Да ни в каком, просто использует банк для обналички чеков. А последние держит вместе с бабками в плетеной корзине для бумаг, которая стоит у него под чертежным столом, — сказал Хэл. — Так что добудь эту корзину!

Дом и место работы Отто находились в тридцати милях от города, в каких-то совершенно диких зарослях у водопада. Издали сооружение напоминало спичечный коробок, опирающийся на шпульку. Верхний этаж этого «коробка» был весь застеклен, а нижний, или «шпулька», пред-

ставлял собой кирпичный цилиндр без окон.

Приехав, я обнаружил у дома, на стоянке для гостей, еще четыре машины. Очевидно, вечеринка была в самом разгаре. Я несколько раз обошел дом, пытаясь отыскать вход, как вдруг услышал, как кто-то стучит по стеклу. Звук доносился сверху. Я поднял глаза — и, о чудо! — увидел самую красивую из женщин, какую только доводилось видеть в жизни.

Высокая и стройная, с хорошо развитой крепкой фигурой, которую плотно облегало трико в черно-белую полоску. Волосы выкрашены в серебряный цвет и слегка оттенены голубоватым. Идеальный овал бледного лица, на нем сверкают огромные зеленые глазища, оттененные дугообразными черными бровями. В ухе одна серьга — в виде эдакого варварского золотого обруча. Она делала рукой спиралеобразные движения, и тут до меня наконец дошло, что для того, чтобы попасть в дом, я должен подняться по спиралеобразной лесенке, огибающей кирпичный цилиндр.

С лестницы я перешел на узенький парапет, тянувшийся вдоль стеклянной стены. Высоченный и очень подвижный мужчина лет тридцати с хвостиком раздвинул стеклянные панели и впустил меня в дом. На нем был нейлоновый

комбинезон цвета лаванды и сандалии на босу ногу. Он явно нервничал, а глубоко посаженные глаза смотрели устало.

— Мистер Краммбейн? — осведомился я.

— Кто ж еще, по-вашему? — ответил Отто. — А вы, должно быть, тот самый маг и волшебник по части финансов? Давайте пройдем ко мне в мастерскую, там нам никто не будет мешать. А позже, — он обернулся к женщине, — ты присоединишься к нам за выпивкой.

Мастерская располагалась в самой сердцевине кирпичного цилиндра, и мы попали туда по другой винтообразной лесенке. Окон в помещении не было. Освещение искусственное.

— Наверное, самый современный дом, какой я только видел в жизни, — заметил я.

— Современный? — вскинул брови Отто. — Да он лет на двадцать отстает от времени. Но это лучшее, на что было способно мое воображение. Впрочем, все остальное вокруг отстает лет на сто, если не больше. Вот почему все мы потеряли покой, только и знаем, что бегать по психиатрам. Разрушенные семьи, войны… Мы не научились моделировать нашу жизнь в соответствии с новыми требованиями. Жизнь то и дело вступает в противоречие со временем. Да достаточно взгля-

нуть, как вы одеты! Эти оттенки были в моде в 1910-м. А сейчас на дворе 1954-й.

— Может, и так, — ответил я. — Но я одет в соответствии со своей главной задачей. Помогать людям управляться с деньгами.

— Вас душат традиции, — заметил Отто. — Почему бы не сказать себе: «Я хочу строить жизнь для себя, для своего времени, и собираюсь превратить ее в произведение искусства»? Ведь ваша жизнь произведением искусства не является, она напоминает третьесортную каминную полку викторианской эпохи, где вперемежку свалена всякая разношерстная ерунда — старая коллекция морских раковин, резных слоников ручной работы и тому подобное.

— Согласен, — буркнул я, усаживаясь на диван длиной в добрые двадцать футов. — Но это моя жизнь, не чья-то там еще.

— Но почему бы не смоделировать свою жизнь по образу и подобию, ну, допустим, вот этого финского графина? — сказал Отто. — Чистые гармоничные формы, весь так и светится изнутри, и еще в нем живут упоительная прохлада и самая сладкая на свете истина. Как в Фэллолин.

— Как-нибудь попытаюсь, — ответил я. — Но пока что вопрос стоит для меня так: надо удержаться

на плаву. А кстати, что это такое, фэллолин? Какое-нибудь новое сверхпрочное волокно?

— Моя жена, — ответил Отто. — Ее трудно не заметить.

— А, та дама в трико! — воскликнул я.

— Доводилось ли вам видеть женщину, более соответствующую окружающей ее обстановке? Женщину, казалось, специально сконструированную для современной жизни? — спросил Отто. — Редкостная вещь, доложу я вам. Меня навещали здесь самые разные знаменитые красотки, но Фэллолин единственная, кто не выглядит тут предметом мебели выпуска 1920-х.

— И как давно вы женаты? — осведомился я.

— Как раз сейчас, наверху, отмечается ровно месяц этого благословенного Богом брака, — ответил Отто. — Медовый, так сказать, месяц, который никогда не кончится.

— Поздравляю, — сказал я. — А теперь самое время перейти к вашим финансовым проблемам…

— Только обещайте мне одну вещь, — сказал он. — Уберите это мрачное выражение лица. Я не способен работать, если меня погружают в депрессию. Любая мелочь способна вывести из себя, к примеру, ваш галстук. Он меня дико раз-

дражает. Я не в состоянии мыслить продуктивно, глядя на этот ваш галстук. Не будете столь добры снять его, а? Ваш цвет — лимонно-желтый, а не этот, совершенно ужасный, темно-бордовый.

Примерно полчаса спустя, уже без галстука, я чувствовал себя человеком, пробирающимся через городскую свалку — среди дымящихся резиновых покрышек, ржавых пружин от кроватей и гор пустых жестянок. Ибо такова, фигурально выражаясь, была картина состояния финансовых дел Отто Краммбейна. Он не вел никаких записей, покупал все подряд, что завораживало его воображение, не считаясь с ценой. У него скопились целые горы счетов из модных магазинов города на оплату нарядов для Фэллолин. И ни цента сбережений — ни в банке на текущем счету, ни в виде страховки, ни акций или там облигаций.

— Знаете, — сказал Отто, — вы меня просто пугаете. Я не хочу в тюрьму. Я ведь не нарочно, я не имел в виду ничего дурного. Спасибо за урок, я все понял и обещаю, что сделаю так, как вы скажете. Все, что угодно! Только не ввергайте меня в депрессию!

— Если вы еще способны шутить на эту тему, — заметил я, — то уж мне тем более сам бог велел. Первое, что нам надобно сделать, это срочно

спасать вас от самого себя. И этим займусь я. То есть займусь вашими доходами. Буду выдавать вам месячное содержание, а остальные денежки постараюсь разместить самым наилучшим образом.

— Вот и отлично! — обрадовался Отто. — Люблю, когда к проблеме подходят просто и прямо, берут ее, что называется, за рога. И это высвободит мне массу времени для работы. Пришла тут во время медового месяца одна идейка на миллион долларов. И, целиком полагаясь на вас, я одним махом избавляюсь от всех проблем!

— Все это так, — вставил я, — но только помните: вам придется платить налоги. В том числе и на этот миллион. Кстати, вы единственный в моей жизни человек, кому во время медового месяца пришла идея на миллион долларов. Интересно знать, что за идея? Или это секрет?

— Косметика, вырабатываемая под воздействием лунного света, — ответил Отто. — Разработанная в соответствии с законами светового излучения и цветового спектра. Женщина в этой косметике будет выглядеть наилучшим образом в свете луны. Миллионы, миллиарды долларов!

— Звучит впечатляюще, — заметил я. — Но пока что мне хотелось бы ознакомиться с вашими

счетами, посмотреть, насколько глубоко вы увязли. И прикинуть, какое минимальное месячное содержание могло бы вас удовлетворить.

— Сегодня вы с нами ужинаете, — категорично заявил Отто. — Ну а потом вернемся сюда, в мастерскую, где нас никто не будет беспокоить, и решим все вопросы. Вы уж извините, но придется ужинать прямо сейчас. Потому что у нашего повара сегодня выходной.

— Что ж, с удовольствием, — сказал я. — А потом мне придется задать вам целый ряд вопросов. Их будет много, сразу предупреждаю. Ну, к примеру, сколько у вас в корзинке?

Отто побледнел.

— О, так вы и о корзине знаете? — пробормотал он. — Боюсь, это нельзя трогать. Это на крайний случай.

— В смысле? — спросил я.

— Мне нужны эти деньги. Вернее, даже не мне, Фэллолин, — сказал Отто. — Может, вы все же разрешите оставить их здесь? Но обещаю, что отныне все новые поступления в чеках сразу же буду отсылать вам. Мне кажется несправедливым заставлять Фэллолин страдать из-за моих ошибок. Не заставляйте меня делать это, не отнимайте у меня самоуважения, как у мужа и

молодожена!

Я уже был сыт по самое горло и раздраженно заметил:

— Да ничего я у вас не отнимаю, мистер Крамм-бейн! И знаете что еще? Я не хочу заниматься этой работой! Вы меня в менеджеры не нанимали, хоть я и обещал помочь своему другу, Хэлу Мерфи. Но тогда я еще не знал, в каком плачевном состоянии находятся ваши дела. Послушать вас, так получается, будто бы я собираюсь ободрать вас как липку. Хотя на самом деле, фигурально выражаясь, вы сами себя ободрали, и ваши белые обглоданные косточки разбросаны по песку. И случилось все это по вашей же глупости и до того, как я к вам пришел. Есть какой-нибудь потайной выход из этой силосной башни или прикажете возвращаться тем же путем, что пришел?

— Нет, нет, нет, — извиняющимся тоном забормотал Отто. — Пожалуйста, прошу вас, присядьте. Вы должны, просто обязаны мне помочь. Для меня было просто шоком узнать, насколько скверно в действительности обстоят дела. И я думал, что вы посоветуете мне бросить курить или еще что-либо в том же духе. — Он пожал плечами. — Ладно, забирайте все, что в этой корзине, и извольте выдать мне содержание. — Он закрыл

глаза. — Развлекать Фэллолин на месячное содержание... да это все равно, что заправлять «мерседес» пепси-колой!..

В плетеной корзине оказалось пять тысяч долларов в чеках — отчисления владельцу патента от производителя — и примерно около двухсот долларов наличными. Пока я составлял акт приемки этих средств от Отто, дверь над головами у нас отворилась, и по пандусу грациозно спустилась Фэллолин, отныне ассоциируемая у меня в подсознании с финским графином. В руках она держала поднос с тремя мартини.

— Подумала, вам самое время промочить горлышки, — сказала она.

— А голосок! Ну, в точь хрустальные колокольчики! — восхитился Отто.

— Мне уйти? Или можно остаться? — спросила Фэллолин. — На этой вечеринке без тебя такая скучища, Отто! Я уже совершенно иссякла и не знаю, о чем говорить с гостями.

— Красота не нуждается в словах, — сказал Отто.

Я отряхнул руки от пыли. «Думаю, на сегодня пока хватит. Позже продолжу работу с новыми силами».

— Я страшная тупица в денежных вопросах,

— сказала Фэллолин. — Предпочитаю, чтоб всем этим занимался Отто. Он наделен просто блестящим умом, не так ли?

— Ага, — кивнул я.

— Я уже подумывала: вот будет забавно, если мы сейчас всей толпой отправимся обедать в «Чез Армандо», — сказала Фэллолин.

Отто осторожно покосился в мою сторону.

— Мы как раз говорили о деньгах и любви, — сказал я Фэллолин. — И я позволил себе заметить, что если женщина по-настоящему любит мужчину, то ей совершенно не важно, много или мало тратит он на нее денег. Вы согласны?

Отто весь так и подался вперед в ожидании ответа.

— Где, интересно знать, вы росли и воспитывались? — сказала мне Фэллолин. — На птицеферме в Саскатчеване?

Отто тихо застонал.

Фэллолин с тревогой взглянула на мужа.

— А тут, я смотрю, не все так просто, — заметила она. — Ладно, уж и пошутить нельзя! Да что такого ужасного я сказала? Просто вопрос показался донельзя глупым. Как это можно сравнивать любовь и деньги! — Тут на лице ее возникло озабоченное выражение. — Отто, — спросила она,

— ты что, разорен?

— Да, — ответил Отто.

Фэллолин пожала своими прелестными плечиками.

— Тогда пойду и скажу остальным, пусть едут в «Чез Армандо» без нас. Скажу, что мы с мужем хотим провести тихий и спокойный вечер дома. Просто ради разнообразия.

— Но ты… ты просто создана для мест, где людно и весело! — с горечью воскликнул Отто.

— Да я уже давно устала от всего этого, — небрежно отмахнулась Фэллолин. — Ты выводил меня куда-нибудь практически каждый вечер, еще бог знает с каких времен. Люди, чего доброго, могут подумать, что мы просто боимся оставаться друг с другом наедине.

Отто поднялся и вышел — попрощаться с гостями. Мы с Фэллолин остались сидеть на длиннющем диване. Совершенно сраженный ее духами и красотой, я спросил:

— А вы, случайно, не из шоу-бизнеса, миссис Краммбейн?

— Порой возникает такое ощущение, что да, — ответила Фэллолин. И принялась рассматривать намазанные синим лаком ногти. — В любом случае, людям есть на что посмотреть, когда я

где-нибудь появляюсь, вы согласны?

— Да, зрелище совершенно изумительное, — вежливо согласился я.

Она вздохнула.

— Да, думаю, что неплохое зрелище, — сказала она. — Ведь я придумана и сконструирована величайшим дизайнером в мире, отцом и создателем «ди-модулярной» кровати Краммбейна.

— Ваш муж вас смоделировал?

— А вы разве не знали? — удивилась Фэллолин. — Я тот шелковый кошелечек, что сделан из свинячьего уха. Он и за вас может взяться, если представится такая возможность. Уже вижу, он заставил вас снять галстук, да? И готова побиться об заклад, назвал ваш цвет.

— Лимонно-желтый, — вставил я.

— Всякий раз, стоит ему только увидеть человека, он начинает вносить предложения по улучшению его внешности, — сказала Фэллолин. И бесстрастным взмахом руки обвела свою роскошную фигуру. — Шаг за шагом, и человек проходит долгий путь.

— Да никаким свинячьим ухом вы никогда не были! — возмутился я.

— Еще как была! Всего лишь год тому назад, — возразила она. — Была простушкой с невырази-

тельными каштановыми волосами, неряшливо и немодно одетой выпускницей школы секретарш. И вот счастье привалило, была направлена работать секретарем к самому великому Краммбейну!

— Любовь с первого взгляда? — осведомился я.

— Ну, с моей стороны, да, — пробормотала Фэллолин. — Но для Отто то была дизайнерская проблема с первого взгляда. Некоторые вещи во мне были ему отвратительны, он был не в состоянии продуктивно мыслить, когда я находилась рядом. Ну вот, и мы стали изменять эти вещи, одну за одной. И что получилось из Китти Кейхун — до сих пор никто толком не понимает.

— Китти Кейхун? — переспросил я.

— Так звали скромную девушку-простушку, выпускницу школы секретарш. Немодно одетую и с тусклыми каштановыми волосами.

— Так значит Фэллолин — не настоящее ваше имя? — воскликнул я.

— Тоже изобретение Краммбейна, — ответила Фэллолин. — Китти Кейхун, это имя как-то не сочеталось с декором, — она опустила голову. — Любовь… — пробормотала она. — Не надо больше задавать мне глупых вопросов о любви.

— Ну вот, все они отправились в «Чез Арман-

до», — заявил, вернувшись в мастерскую, Отто. И протянул мне носовой платок из желтого шелка. — Это вам, — сказал он. — Вставьте в нагрудный карман, вот так, уголком. На фоне этого темного костюма будут прекрасно смотреться желтые лесные нарциссы.

Я повиновался и увидел в зеркале, что желтый платочек действительно придает шика и в то же время не выглядит вызывающим. «Огромное вам спасибо, — сказал я. — Мы с вашей женой очень мило провели время за разговорами о таинственном исчезновении Китти Кейхун».

— А кто она такая и что с ней такое случилось? — с самым невинным видом осведомился Отто. Скроил глуповато-недоуменную гримасу и тут же понял, что переборщил. И попытался отшутиться: — Удивительный и забавный пример того, как работает человеческая мысль, не правда ли? Просто я настолько привык воспринимать тебя как Фэллолин, дорогая! — протянул он и тут же резко сменил тему: — А теперь маэстро собирается приготовить вам роскошный ужин! — Он положил мне руку на плечо. — И я настаиваю, чтоб вы остались. Цыплята «а-ля Краммбейн», молодая спаржа «а-ля Краммбейн», картофель «а-ля…»

— Думаю, что ужин должна приготовить я,

— сказала Фэллолин. — Настало время и невесте приготовить свой первый ужин для мужа.

— Даже слышать не желаю! — воскликнул Отто. — Не допущу, чтоб моя жена страдала из-за финансовой тупости мужа. Да при одной мысли об этом мне становится дурно! И потом Фэллолин на кухне просто не место, не для того она создана.

— Вот что, — сказала Фэллолин, — ужин мы приготовим вместе. — Нам будет так уютно на кухне вдвоем, верно, милый?

— Нет, нет, нет, — замотал головой Отто. — Хочу приготовить всем сюрприз. А ты останешься здесь, с Д. П. Морганом[38]. И ждите, пока я вас не позову. И чтоб не подглядывать!

— Я категорически отказываюсь волноваться по этому поводу, — заявил Отто, пока мы с Фэллолин убирали грязные тарелки со стола. — Когда я волнуюсь, то не могу работать. А если не смогу работать, не заработаю денег, которые помогут выпутаться из этой заварушки.

— Зато кое для кого есть все основания для беспокойства, — сказал я. — И этот человек, как вы, возможно, уже догадались, ваш покорный

---

[38] Примечания: 38

Морган, Джон Пирпонт (1837–1913) — американский финансист, промышленник, мультимиллионер.

слуга. А потому я оставляю вас, двух влюбленных голубков, ворковать тут, в оранжерее, а сам с вашего позволения вернусь к работе.

— Половину отпущенного ему времени человек должен проводить на природе, — сказал Отто, — а вторую половину — наедине с собой. Большинство домов предоставляют ему нечто среднее, мрачное и малозанимательное. — Он ухватил меня за рукав. — Послушайте, не убегайте. Работа, как говорится, не волк, в лес не убежит. Почему бы нам не провести тихий и приятный вечерок втроем? Вы лучше узнаете нас, а прямо с завтрашнего утра приметесь за свою работу, засучив рукава!..

— Очень любезно с вашей стороны, — сказал я. — Но чем быстрей я примусь за работу, тем скорее вытащу вас из этих дебрей. Да и потом негоже мешать новобрачным наслаждаться обществом друг друга в их первую ночь.

— О господи! — воскликнул Отто. — Но мы ведь уже не новобрачные!

— Нет, новобрачные, — тихо сказала Фэллолин.

— Конечно, новобрачные, — кивнул я и открыл портфель. — И вам много чего надо сказать друг другу.

— Гм, — буркнул Отто.

За чем последовало долгое и неловкое молчание, и Отто с Фэллолин, избегая смотреть друг другу в глаза, всматривались в ночь за стеклянной стеной.

— А не кажется ли Фэллолин, что она надела слишком много серег перед ужином? — язвительно спросил Отто.

— Но с одним этим кольцом в ухе я чувствовала себя какой-то неполноценной, — попыталась оправдаться та.

— Позволь судить об этом мне, — сказал Отто. — Почему, ну почему у тебя напрочь отсутствует чувство целостности композиции? Ведь она базируется вовсе не на парности элементов. Чего-то не хватает здесь, чего-то — там, и вдруг, о чудо! — возникает идеально уравновешенная комбинация!

— Главное, чтоб не опрокинулась, — заметил я, открывая дверь в мастерскую. — Желаю приятно провести время.

— Надеюсь, я не слишком расстроила тебя, Отто? — виновато спросила Фэллолин.

Я затворил за собой дверь.

Мастерская была оснащена надежной звукоизоляцией, и я не слышал ни слова из того, о чем

говорили Краммбейны в свой первый вечер дома. И с головой ушел в разборку катастрофически запущенных финансовых дел.

Я позволил себе вторгнуться в их владения лишь много позже, с целым списком вопросов, которые собирался задать. И обнаружил, что наверху царит полная тишина, не считая тихих звуков музыки и шороха какой-то плотной тяжелой ткани. Фэллолин в роскошном вечернем туалете кружилась посреди комнаты в медленном ленивом танце. Отто лежал на диване и наблюдал за ней сквозь полуопущенные веки и сизые колечки сигаретного дыма.

— Показ мод? — спросил я.

— Просто решили ради забавы примерить все те вещи, которые Отто накупил мне. И которые еще не было случая надеть, — объяснила Фэллолин. Несмотря на вечерний макияж, лицо ее казалось измученным, изнуренным. — Ну, как, нравится? — спросила она.

— Очень, — ответил я. И вывел Отто из ступора, попросив ответить на несколько вопросов.

— Может, мне лучше пойти с вами и поработать там? — спросил он.

— Нет, спасибо, — ответил я, — не стоит. Предпочитаю работать один, чтоб никто не мешал.

Похоже, Отто был разочарован.

— Что ж, как желаете. И не стесняйтесь, зовите меня, если вдруг возникнет какая проблема.

Примерно час спустя Отто с Фэллолин спустились в мастерскую с чашками и кофейником, полным горячего ароматного кофе. Они улыбались, но в глазах у обоих светилась тоска.

На Фэллолин было декольтированное платье синего бархата без бретелек, на белые плечи накинуто горностаевое боа. Но держалась она в нем как-то неуклюже, сутулилась и шаркала ногами. Отто избегал смотреть в ее сторону.

— О-о! Кофе! — обрадовался я. — Как раз то, что надо! Ну как, демонстрация мод закончилась?

— Просто тряпки кончились, все перемерила, — ответила Фэллолин. Разлила по чашкам кофе, сбросила туфельки и улеглась на одном конце дивана. Отто, что-то тихо ворча под нос, улегся на другом. Но миролюбивое впечатление, производимое этой сценой, было обманчиво. И Отто, и Фэллолин были явно расстроены чем-то и напряжены. Фэллолин то сжимала, то разжимала кулачки. Отто постукивал зубами, как кастаньетами.

— Вы и правда выглядите просто прелестно, Фэллолин, — заметил я. — Кстати, на вас случай-

но не та самая лунная косметика?

— Она, — ответила Фэллолин. — У Отто есть несколько пробных образцов, а я являюсь ходячей опытной лабораторией. Изумительная работа.

— Вот только лунного света здесь не хватает, — сказал я. — Но в целом, должен признать, эксперимент более чем успешный.

Отто сел, видимо, взбодренный этой похвалой. «Вы действительно так считаете? Весь медовый месяц мы, можно сказать, провели в свете луны, так и пришла в голову эта идея».

Фэллолин тоже села на диване — видно, напоминание о медовом месяце пробудило в ней сентиментальные чувства.

— Мне так нравилось выходить каждый вечер в разные шикарные места, — сказала она. — Но один вечер запомнился особенно. О, было просто чудесно, мы вдвоем плавали на каноэ. Это озеро и луна…

— Я просто не сводил глаз с ее губ. Они были прекрасны в лунном свете, — сказал Отто. — И…

— А я смотрела тебе в глаза, — подхватила Фэллолин.

Отто прищелкнул пальцами.

— И тут меня, что называется, осенило! Потому что с обычной косметикой в лунном свете проис-

ходят странные вещи. Совершенно не те цвета, все в голубых и зеленых тонах. В тот момент Фэллолин походила на женщину-полуутопленницу, которая только что переплыла Английский канал[39].

Фэллолин размахнулась и влепила ему пощечину.

— За что?! — взвыл Отто. На щеке осталась красная отметина. — Ты что, вообразила, я не чувствую боли?

— А я, по-твоему, не чувствую? — взвизгнула Фэллолин. — Считаешь, меня смастерили из щепок и пластика?

Отто даже рот разинул от изумления.

— Мне надоело быть Фэллолин и это шоу, которое никогда не кончается! — Тут вдруг голос ее упал до шепота. — Она скучна, она просто пустышка. Глупая кукла! И еще — потерянная, несчастная и нелюбимая женщина!..

Она выхватила у меня из кармана желтый платочек и принялась судорожно тереть лицо — по нему тут же размазались красные, розовые, белые, голубые и черные полосы. «Ты смоделировал ее! Она твое изобретение, и большего ты не заслу-

[39] Примечания: 39

Английский канал — принятое в Великобритании название Ла-Манша.

живаешь. Вот она, полюбуйся! — с этими словами она сунула испачканный красками платочек в руку Отто. И взбежала по пандусу. — Прощай!».

— Фэллолин! — крикнул вдогонку Отто.

Она остановилась в дверях.

— Мое имя Китти Кейхун Краммбейн, — сказала она. — А Фэллолин можешь забрать себе!

Отто взмахнул платочком. «Оно такое же мое, как твое, — сказал он. — Ты ведь хотела быть Фэллолин. Ты сделала все, чтоб стать Фэллолин!»

— Потому что я тебя любила, — сказала Китти и зарыдала. — Я делала это только для тебя. Все для тебя!

Отто молитвенно протянул к ней руки ладонями вверх. «Никто не безгрешен, в том числе и Краммбейн, — сказал он. — Достаточно вспомнить, какое случилось кровопролитие, когда одна американская домохозяйка неправильно воспользовалась открывалкой «Краммбейн-Вортекс», слишком близко поднесла ее к груди. Я думал, что, став Фэллолин, ты будешь счастлива, а вместо этого сделал тебя несчастной. Прости. Не важно, что получилось в результате, но я вкладывал в работу всю свою любовь».

— Ты любил только Фэллолин, — продолжала стоять на своем Китти.

— Я любил ее образ, — сказал Отто. И после паузы нерешительно спросил: — Так ты теперь снова Китти?

— Неужели Фэллолин могла бы показаться на людях с таким лицом?

— Никогда! — согласился с женой Отто. — Должен признаться тебе, Китти, что эта Фэллолин была чертовски скучна, если не принимала какую-то особенную позу или не устраивала целое представление, появляясь на публике. И я жил в постоянном страхе. Боялся остаться с ней наедине.

— Фэллолин сама не понимала, кто она такая или что, — прорыдала Китти. — Тебя интересовала лишь форма, а не внутреннее содержание!

Отто подошел к жене и обнял ее.

— Милая, — прошептал он, — предполагалось, что Китти Кейхун останется внутри. Но она куда-то испарилась.

— Тебе вообще ничем и никогда не нравилась Китти Кейхун, — сказала Китти.

— Милая, дорогая моя женушка, — начал Отто, — есть только четыре вещи на свете, не нуждающиеся в переделке и новом дизайне. И одна их них — светлая душа Китти Кейхун. А я уж было испугался, что потерял ее навеки.

Она обняла его, несколько неуверенно.

— Ну а другие три? — спросила она.

— Яйцо, — ответил Отто. — Затем модель «Форда-Т». Ну и, разумеется, внешний облик Фэллолин. — Кстати, почему бы тебе не освежить личико, не надеть то изумительное лавандовое неглиже, что я недавно тебе подарил, не вставить за ушко белую розу, пока я буду заниматься здесь делами с этой акулой с Уолл-стрит?

— О, дорогой, — протянула она. — Снова начинаю чувствовать себя Фэллолин.

— Не надо этого бояться, — сказал Отто. — Просто напомни себе лишний раз, что Китти не оставила тебя и сверкает во всем своем великолепии.

И она ушла, так и сияя от счастья.

— А я все закончил, — сказал я. — И думаю, вам сейчас хочется побыть с женой наедине.

— Честно говоря, да, очень, — ответил Отто.

— Собираюсь завтра же открыть на ваше имя счет и ячейку в банке-депозитарии, — сказал я.

На что Отто заметил:

— Какая скука! А впрочем, каждому свое. Что ж, радуйтесь и наслаждайтесь.

Бесплатный консультант

© Перевод. А. Аракелов, 2020

Большинство замужних дам не встречаются со своими бывшими, чтобы пропустить по коктейльчику, не посылают им открыток на Рождество и не всегда способны взглянуть им в глаза. Но если этот бывший занимается чем-то нужным — удаляет аппендиксы или продает оконные жалюзи, — они готовы на голубом глазу вновь вломиться в его жизнь, ради крупной скидки или рассрочки.

Если бы Дон Жуан решил открыть магазин бытовой техники, прежние пассии разорили бы его в пух и прах где-то за год.

Я зарабатываю на жизнь консультациями по купле-продаже акций и облигаций. Я представляю известную инвестиционную компанию, и мои бывшие возлюбленные, даже совсем-совсем бывшие, приходят ко мне со всеми финансовыми вопросами.

Я холостяк, поэтому в благодарность за дельные советы, которые мне, в сущности, ничего не стоят, мои бывшие иногда одаряют меня бесценными

подношениями — домашней едой.

Крупнейший инвестиционный пакет, который я анализировал в обмен на ностальгию и жареную курицу, принадлежал Селесте Дивайн. Наши пути разошлись еще в старшей школе, и в течение семнадцати лет мы вообще не общались, пока она неожиданно не позвонила мне в офис:

— Привет, давно не виделись.

Селеста Дивайн — певица. У нее черные кудрявые волосы, большие карие глаза и полные, блестящие губы. В гриме, блестках и золотой парче она еженедельно появляется перед телевизионными камерами и целый час объясняется в любви всему миру. За эту общественную нагрузку она получает пять тысяч долларов в неделю.

* * *

— Давно хотела с тобой повидаться, — сказала Селеста. — Что скажешь насчет домашней курятины, печеной картошки и земляничного пирога?

— Мм-м… — ответил я.

— А после ужина, — продолжала Селеста, — вы с Гарри засядете перед жарким камином и вспомните старые добрые времена.

— Блеск, — сказал я.

Мне сразу представились отблески пламени на колонках цифр, «Уолл-стрит джорнал», рекламные проспекты и финансовые графики. Я явственно слышал, как Селеста и ее муж Гарри мурлычут о свежескошенной траве, привилегированных акциях «Американ Брейк Шу», отражении полной луны в тихих водах реки Уабаш, трехпроцентных займах «Эдисон Консолидейтед», ячменном хлебе и Чикаго, Милуоки, святом Павле и сети универмагов «Пасифик».

— Нас тут не было всего пару лет, а словно вечность прошла, столько всего случилось, — говорила Селеста. — Так приятно общаться с земляком, старым другом…

— Да, карьера у тебя просто головокружительная, — согласился я.

— Чувствую себя Золушкой. Еще вчера мы с Гарри с трудом сводили концы с концами на его зарплату автомеханика, а сегодня все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото.

Уже повесив трубку, я задумался о положении, в котором оказался Гарри.

Собственно, из-за этого самого Гарри мы в свое время и расстались с Селестой. Я помню его невысоким, симпатичным, немного сонным парнем,

которому в жизни не нужно было ничего, кроме первой красавицы города и честной работы в автосервисе. Через неделю после окончания школы он получил и то и другое.

В назначенный день я позвонил в дверь дома Дивайнов, и сама Селеста, с телом богини любви и идеальным кукольным личиком, впустила меня внутрь.

Парочка свила свое гнездышко в старом особняке у реки, огромном и уродливом, как вокзал в Скенектади.

Селеста протянула мне руку для поцелуя, и я, окутанный красотой и запахом духов, покорно поцеловал ее.

— Гарри! Гарри! — крикнула она. — Смотри, кто к нам пришел!

Я почему-то подумал, что сейчас ко мне выйдет не Гарри, а его жалкие останки, труп или даже скелет. Но Гарри не вышел вообще.

— Он у себя в кабинете, — сказала Селеста. — Если о чем-то задумается — все, считай, он на другой планете.

Она осторожно приоткрыла дверь.

— Видишь?

Гарри возлежал на полосатом ковре «под тигра» и таращился в потолок. В руках он сжимал

пустой стакан, а рядом на полу стоял запотевший графин с мартини. Гарри отрешенно гонял по дну стакана одинокую оливку, туда-сюда, туда-сюда.

— Милый, — мягко сказала Селеста, — я не хотела тебя беспокоить, но…

— Что? Что такое? — Гарри встрепенулся и сел. — Ой! Прошу прощения. Я не слышал, как ты пришел.

Он вскочил на ноги и затряс мою руку в крепком рукопожатии. Я отметил, что прошедшие годы его практически не затронули.

Гарри был чем-то возбужден, но из-под его внешней бурливости проглядывало все то же сонное довольство, которое я помнил со школьных времен.

— Я не могу даже расслабиться. Не имею права, — тараторил он. — Вся эта чертова индустрия только и делает, что расслабляется. Если и я тоже расслаблюсь, все рухнет. Десять тысяч человек лишатся работы. — Он взял меня под локоть. — А прибавь сюда их семьи — и вот тебе выйдет немаленький такой город на кону.

— Ничего не понимаю. На каком кону, что вообще происходит?

— Отрасль! — воскликнул Гарри.

— Какая отрасль?!

— Производство кетчупа, — пояснила Селеста.

Гарри уставился на меня.

— Вот что такое кетчуп, по-твоему? Соус? Приправа? Томатная паста?

— Когда как, наверное.

Гарри стукнул ладонью по кофейному столику.

— Вот тебе яркий пример дури в кетчупной индустрии. Они сами не понимают, что выпускают! Если мы не способны договориться даже об определении продукта, мы так и будем барахтаться порознь.

Гарри наполнил свой стакан, усадил нас в кресла, а сам улегся обратно на «тигровую шкуру».

— Гарри нашел себя, — улыбнулась Селеста. — Я прямо не нарадуюсь. Он столько времени был сам не свой. Когда мы только сюда переехали. Скандалили не переставая, помнишь, Гарри?

— Я был незрелым, признаю.

— А потом, — продолжала Селеста, — когда все стало уже совсем плохо, Гарри вдруг расцвел! Я увидела совершенно нового мужа!

Гарри надергал шерсти из ковра, скатал ее в шарик и кинул в камин.

— У меня был комплекс неполноценности, — сказал он. — Мне казалось, что быть механиком — это предел моих скромных возможностей, и

дальше мне не продвинуться.

Он отмахнулся от наших с Селестой попыток возразить.

— Потом я обнаружил, что банальный здравый смысл — главный дефицит в мире бизнеса. По сравнению с большинством из тех, кто сейчас занимается кетчупом, я Эйнштейн.

— Кстати, насчет цветения — Селеста все хорошеет и хорошеет.

— Мм-м?

— Я говорю, что Селеста — настоящее сокровище, одна из самых знаменитых красавиц страны. Повезло тебе, — сказал я.

— Да-да, конечно, — пробормотал Гарри, думая о чем-то своем.

— Ты ведь знала, чего хотела, и получила это? — спросил я Селесту.

— Я… — начала она.

— Скажи мне, Селеста, какая теперь у тебя жизнь? Бурлит, наверное — телевидение, выступления в ночных клубах, известность, все дела.

— Это, — сказала Селеста. — Это не…

— Это как в производстве кетчупа, — перебил Гарри. — Шоу должно продвигаться, струиться, кетчуп должен продвигаться, струиться. Им нужно все здесь и сейчас. Вот чтобы по первому слову.

Раз — и оно сразу же появилось. Они не успевают задуматься о том, как оно там появилось. Их это не интересует. — Он хлопнул рукой по бедру. — Но без сотен и сотен людей, которые рвут пупок, чтобы все изготовить и доставить по адресу, не будет ни телевидения, ни кетчупа!

— Селеста, мне очень понравилось твое исполнение «Одиночества», — сказал я. — Там, в последнем куплете, ты…

Гарри хлопнул в ладоши.

— Она отлично поет. Мы бы стали ее спонсорами, если бы индустрия могла хоть о чем-то договориться. — Он перевернулся на живот и уставился на Селесту. — Мамуся, как насчет пожрать?

Разговоры за ужином плавно перетекали от одной темы к другой, но, как шарик на мошеннической рулетке, неизменно возвращались к производству кетчупа.

Селеста пыталась заговорить о вложении своих денег, но этот вопрос, обычно животрепещущий и насущный, раз за разом захлебывался и тонул в кетчупном море.

— Сейчас я зарабатываю по пять тысяч в неделю, — говорила Селеста, — и вокруг меня, наверное, миллион всяких советчиков, знающих,

как распорядиться моими деньгами. Но я хотела спросить совета у друга, у старого друга.

— Все зависит от того, чего ты ждешь от своих инвестиций, — ответил я. — Роста? Стабильности? Быстрого возврата вложений?

— Главное — не надо вкладывать деньги в производство кетчупа, — встрял Гарри. — Если они очнутся, то есть, если я смогу их растормошить, то первый скажу — вкладывайся в кетчуп и не вздумай выходить. Но пока все остается как есть, можешь с тем же успехом вложить свои деньги в мавзолей генерала Гранта.

— Эм-м… Селеста, мне кажется, что при твоей структуре налогов важнее вложиться в рост, а не ждать немедленных дивидендов.

— Ой, эти налоги! — воскликнула Селеста. — Гарри посчитал, что ему выгоднее работать вообще бесплатно.

— За любовь, — кивнул Гарри.

— А в какой компании ты работаешь?

— Я консультирую индустрию в целом, — заявил Гарри.

Зазвонил телефон. Вошла служанка и сказала, что просят Селесту — на линии был ее агент.

Я остался один на один с Гарри и обнаружил, что мне не приходит в голову ничего, что не

казалось бы банальным и мелким перед лицом надвигающегося краха индустрии кетчупа.

Чувствуя себя неуютно, я начал смотреть по сторонам и обнаружил, что стена за моей спиной украшена множеством солидного вида документов с сургучными печатями, лентами и витиеватыми подписями с кучей вензелей.

Они были выданы самыми разными объединениями человеческих существ, и общего в этих бумагах было одно: они все славословили Селесту. Она была и «Образцом для подрастающего поколения», и «Телевизионным открытием года». Она участвовала в Неделе пожарной безопасности, давала концерты в армии…

— Какая женщина, — сказал я.

— Видишь, как надо придавать веса подобным вещам? — спросил Гарри. — У этих бумаг такой вид, будто они действительно чего-то стоят.

— Да, как договора о ненападении, — согласился я.

— Люди, вручающие кому-то такие штуки, считают их ценными — даже если это никчемная бумажка, да еще и с орфографическими ошибками. Им это приятно. Они чувствуют собственную значительность.

— Может быть, — кивнул я. — Но все-таки эти

дипломы выражают какую-то признательность и уважение.

— Поэтому их надо вручать за толковые предложения. Я пытаюсь пробить эту идею. Если кто-то придумал, как улучшить некий процесс, дайте ему сертификат, грамоту, любую финтифлюшку, чтобы он мог вставить ее в рамку, повесить на стену и хвастаться перед знакомыми.

В комнату вернулась Селеста — она явно была чем-то взволнована.

— Дорогой, — сказала она Гарри.

— Я рассказываю ему про награды за дельные предложения, — сказал Гарри. Он снова повернулся ко мне. — Прежде, чем ты сумеешь понять, в чем они состоят, тебе надо понять, как делается кетчуп. Все начинается на ферме, с помидоров, так?

— Дорогой, — повторила Селеста. — Извини, что я тебя перебиваю, но мне только что предложили роль жены президента.

— Соглашайся, если хочешь, — ответил Гарри. — Не хочешь — откажись. Так на чем мы остановились?

— На кетчупе, — подсказал я.

Уехав от Дивайнов, я никак не мог отделаться от ощущения обреченности.

Беспокойство Гарри о судьбе индустрии кетчупа передалось и мне тоже, стало частью меня. Один вечер с Гарри приравнялся к году одиночного заключения в баке с кетчупом. Человек, переживший такое, просто не может не обзавестись вполне определенным мнением насчет этого продукта.

— Гарри, может, мы как-нибудь пообедаем вместе, — предложил я, уходя. — Давай свой рабочий номер, созвонимся.

— Его нет в справочнике, — пробурчал Гарри и весьма неохотно записал номер на бумажке. — Не надо его никому давать, ладно?

— Иначе ему будут постоянно звонить и капать на мозги, — подтвердила Селеста.

— Спокойной ночи, Селеста. Я очень рад за тебя, за твой успех. С другой стороны, чего ожидать при таком-то лице, таком голосе и имени? Даже менять ничего не пришлось, правда?

— В отличие от кетчупа, — подключился Гарри. — Изначально кетчуп не имел ничего общего с тем, что мы сейчас называем кетчупом. Тогда его делали из грибов, каштанов и множества других ингредиентов. Все началось в Малайе. «Кетчуп» на малайском означает «вкус». Мало кто это знает.

— Я точно не знал. Ну ладно, спокойной ночи!

Несколько недель мне было не до Гарри, но потом ко мне зашел крупный клиент, мистер Артур Дж. Бантинг, благородный старый джентльмен, высокий, осанистый, с седыми усами и пронзительными глазами старого индейского охотника.

Мистер Бантинг продал завод, которым владели три поколения его семьи, и теперь просил у меня совета о наилучшем вложении вырученных денег. Его завод производил кетчуп.

— Меня всегда интересовало, — сказал я, — как бы приняли в этой стране кетчуп, сделанный по настоящему малайскому рецепту.

За секунду до этого мистер Бантинг выглядел усталым пожилым человеком, подводящим итоги своей жизни. А тут он весь просиял.

— Вы интересуетесь кетчупом?

— Как любитель, не более.

— Кто-то из вашей семьи им занимается?

— Один друг.

Лицо мистера Бантинга вновь стало печальным.

— Я, мой отец и отец моего отца делали лучший кетчуп, который когда-либо видел мир, — сказал он тихо. — Мы никогда не экономили на качестве.

Он вздохнул.

— Я так жалею, что продал завод! На моем примере можно писать трагедию: «Человек продает нечто бесценное за цену, перед которой не в силах устоять».

— Сейчас такое нередко случается, — сказал я.

— Производить кетчуп сейчас немодно. Многие считают это глупостью, — продолжал мистер Бантинг. — Но бога ради, если бы все делали свою работу с тем же тщанием, что и мой дед, мой отец и я сам, этот мир был бы идеальным! Вот что я вам скажу!

Я кивнул, снял трубку телефона и набрал рабочий номер Гарри.

— У меня есть друг, с которым я бы очень хотел вас познакомить, мистер Бантинг. Надеюсь, он сможет с нами пообедать.

— Да, да, отлично, — согласился он. — А теперь жизнь трех поколений находится в руках чужаков.

Трубку взял мужчина с хриплым голосом.

— Да?

— Мистера Гарри Дивайна, пожалуйста.

— Он вышел на обед. Вернется к часу.

— Жаль, — я повесил трубку. — Мистер Бантинг, было бы замечательно свести вас вместе.

— А кто он, ваш друг?

— Кто он? — рассмеялся я. — Ну как же, мой друг Гарри — сам мистер Кетчуп!

Мистер Бантинг дернулся, словно ему выстрелили в живот.

— Мистер Кетчуп? — потерянно пробормотал он. — Так когда-то звали меня. У кого он работает?

— Он консультирует индустрию в целом.

Уголки рта у старика горестно опустились вниз.

— Я даже не слышал о нем. Господи, как быстро все меняется…

Весь обед мистер Бантинг никак не мог успокоиться.

— Мистер Бантинг, поверьте, — говорил я. — «Мистер Кетчуп» в данном случае — большое преувеличение. Я уверен, что Гарри не претендует на этот титул. Я просто имел в виду, что кетчуп занимает большое место и в его жизни тоже.

Мистер Бантинг мрачно опустошил свой стакан.

— Новые имена, новые лица. Молодые выскочки, молоко на губах не обсохло, а уже знают ответы на все вопросы и встают у руля. Но понимают ли они, что в их руках — богатейшее

наследие, которое нужно уважать и защищать? — Его голос дрожал. — Или они все разрушат, даже не спросив причины, по которой все было выстроено именно так?

По ресторану прокатился гул. В дверях стояла Селеста, райская птица, виновница всеобщего возбуждения.

Рядом с ней, развлекая супругу бурным разговором, шел Гарри.

Я помахал им рукой, и они направились к нашему столику, используя метрдотеля в качестве лоцмана. Последний, конечно же, был доволен сверх всякой меры.

Гарри, который, казалось, абсолютно не замечал взглядов, направленных на его жену со всех концов ресторана, кричал ей что-то про производство кетчупа.

— И знаешь, что я им сказал? — выпалил он, добравшись до нашего столика.

— Нет, дорогой, — ответила Селеста.

— Я сказал, что у них есть только один выход — сжечь к чертовой матери все заводы по производству кетчупа. А потом, когда мы начнем отстраивать их заново, то на этот раз сделаем все с умом!

Мистер Бантинг вскочил со стула, белый как

мел. Каждый мускул его тела, казалось, был напряжен до предела.

Я смущенно представил вновь прибывших.

— Польщен знакомством, — сказал мистер Бантинг.

Селеста тепло улыбнулась ему, но опешила, когда мистер Бантинг уставился на Гарри с нескрываемой ненавистью.

Гарри был слишком возбужден, чтобы замечать, что творится вокруг.

— Я сейчас пишу историческое исследование об индустрии кетчупа. Хочу выяснить, застряла ли она в Средневековье или все-таки вышла и тут же откатилась обратно.

У меня вырвался идиотский смешок.

— Мистер Бантинг, вы, я думаю, не раз видели Селесту по телевизору. Она…

— Телерадиовещание, — встрял Гарри, — достигло таких высот, что они могут в долю секунды разослать изображение моей жены по сорока миллионам домов. А производство кетчупа безнадежно увязло в попытках побороть тиксотропию.

Мистер Бантинг не выдержал.

— А людям нужно, чтобы с тиксотропией боролись? — взорвался он. — Может, им нужен просто

хороший кетчуп, и плевать на тиксотропию! Им нужен аромат! Им нужно качество! Избавьтесь от тиксотропии, и вы получите какую-то красную бурду под старым благородным именем!

Его буквально трясло от ярости.

Гарри остолбенел.

— Вы знаете, что такое тиксотропия?

— Разумеется, я знаю! — прорычал Бантинг. — И я знаю, что такое хороший кетчуп. И еще я знаю, кто вы такой: наглое, пронырливое, самовлюбленное ничтожество!

Он повернулся ко мне.

— Скажи мне, кто твой друг… Прощайте!

Он величественно покинул ресторан.

— У него были слезы на глазах, — сказала пораженная Селеста.

— Вся его жизнь, жизни его отца и деда были посвящены кетчупу, — объяснил я. — Мне казалось, что Гарри должен его знать. Мне казалось, что все в этой отрасли знают Артура Дж. Бантинга.

На Гарри было жалко смотреть.

— Я его обидел, да? Я не специально, честное слово.

Селеста взяла его за руку.

— Дорогой, ты как Луи Пастер. Он ведь тоже, наверно, обидел многих старых докторов.

— Да, — согласился Гарри. — Я похож на Луи Пастера.

— Конфликт поколений, вечная тема.

— Он был важным клиентом? — спросил Гарри.

— Да, весьма.

— Извини. Честное слово, мне очень жаль. Я ему позвоню и все объясню.

— Гарри, я не хочу, чтобы ты шел против своих убеждений. Только не из-за меня.

На следующий день мистер Бантинг позвонил мне и сказал, что принял извинения Гарри.

— Он объяснил мне, как попал в индустрию кетчупа, и обещал покончить с этим. Насколько я понимаю, вопрос закрыт.

Я тут же позвонил Гарри.

— Гарри, дорогой! Работа с мистером Бантингом не настолько для меня важна. Если ты прав насчет кетчупа, а Бантинги ошибаются, ты должен стоять на своем и бороться!

— Да все о'кей, — сказал Гарри. — Мне уже так надоел этот кетчуп. Я все равно собирался заняться чем-нибудь другим.

Он повесил трубку. Я перезвонил, но на том конце сказали, что он ушел на обед.

— А вы не скажете куда?

— Да тут через дорогу. Я вижу его в окно.

Я записал адрес ресторана и поймал такси.

Ресторан оказался дешевой и грязной столовкой через дорогу от автосервиса. Я осмотрелся и заметил Гарри на табурете у прилавка — он наблюдал за мной сквозь стекло автомата по продаже сигарет.

На Гарри был измазанный комбинезон. Он развернулся и протянул мне руку с ногтями в черных траурных рамках.

— Разрешите представиться, новый король птичьих кормов.

Его рукопожатие было по-прежнему крепким.

— Гарри, ты работаешь автомехаником?

— Не более, чем полтора часа назад человек со сломанным бензонасосом благодарил господа за это. Присаживайся.

— А что с производством кетчупа?

— Оно спасло мой брак и мою жизнь, — ответил Гарри. — И я благодарен его основателям, таким, как Бантинги.

— И ты все бросил, вот так, сразу?

— Так ничего и не было, — признался Гарри. — Бантинг дал слово не распространяться, и того же я жду от тебя.

— Но ты столько знаешь о кетчупе!

— В течение полутора лет, с того момента, как Селеста стала богатой и мы переехали сюда, я болтался по улицам и искал работу, достойную мужа знаменитой красавицы Селесты.

При воспоминании о том мрачном времени он потер переносицу и потянулся за кетчупом.

— Когда я замерзал, промокал или уже валился с ног от усталости, то заходил в публичную библиотеку и читал книги о разных разностях, которыми люди зарабатывают на жизнь. В том числе и о производстве кетчупа.

Он начал яростно трясти бутылку над гамбургером в своей тарелке. Бутылка была почти полной, но кетчуп не выходил.

— Видишь? Если трясти кетчуп вот так, он ведет себя, как твердое вещество. А если встряхнуть по-другому, он превращается в жидкость.

Гарри нежно покачал бутылку, и на гамбургер легла солидная капля кетчупа.

— Знаешь, как это называется?

— Нет, — признался я.

— Тиксотропия, — он со смехом хлопнул меня по плечу. — Видишь, кое-чему ты сегодня научился.

Портфель сосунка

© Перевод. А. Криволапов, 2020

Никто не в состоянии побороть желание купить то, чем я торгую, потому что я торгую подсказками, как разбогатеть, советами, какие акции и ценные бумаги покупать или продавать — и когда это делать. Это советы специалиста, и я не перестаю учиться, чтобы они таковыми и оставались. Но, как бы ни были мои советы хороши, не всякий может стать моим клиентом, поскольку далеко не у каждого имеется венчурный капитал — денежки для фондового рынка и для меня.

Далеко не все люди, у которых имеется венчурный капитал, распространяются насчет него. Моя работа, если я надеюсь прокормить себя, в том и состоит, чтобы отыскать этих молчунов и убедить их в том, что у них просто зудит от желания воспользоваться моими услугами. И у них зудит, не сомневайтесь. Но такова Америка — в самом страшном сне не догадаешься, у кого есть венчурный капитал, а у кого нет.

Мне и в голову не приходило, например, собрать инвестиционное досье — описывающее

тайные богатства — на оборванного гнилозубого старика, который продавал газеты неподалеку от моего офиса. Так вот, когда старик умер, полиция обнаружила в его матрасе пятьдесят восемь тысяч долларов венчурного капитала. Хуже того — я еще не успел оправиться от потрясения, а его наследник уже вложил деньги в мотель во Флориде.

Так что по одежке судить нельзя. Фетровая шляпа, банкирский серый костюм и до блеска отполированные черные ботинки выдадут владельца венчурного капитала не больше, чем форма его ушей. Я это точно знаю. Я ношу фетровую шляпу, банкирский серый костюм и до блеска отполированные черные ботинки.

В общем, поиск клиента — чистая лотерея, он может возникнуть откуда угодно и как угодно выглядеть.

Был у меня клиент — один из самых консервативных на вид молодых людей, которых я когда-либо встречал. Такого парня не увлечь никаким инвестиционным проектом, если в нем будет хоть намек на авантюру. Однако после того, как я создал ему максимально консервативный и стабильный портфель ценных бумаг на двадцать тысяч долларов, он тут же пустил на ветер десять

тысяч из этих двадцати, и я по сей день жду от него хоть намека на раскаяние.

Его зовут Джордж Брайтмен. Достался мне по наследству от своих приемных родителей — милейших людей, моих самых первых клиентов. Едва я привел их инвестиционный портфель в приемлемый вид, как они расстались с жизнью в автомобильной катастрофе, и я продолжил заботиться о портфеле ради их приемного сына и наследника. Джорджа.

Я горжусь своей работой и с особым трепетом отношусь к ранним своим успехам. Портфель Брайтменов представлял собой образчик отличной работы — сбалансированный и надежный. Своего рода плод любви, поскольку Брайтмены завещали его Джорджу — а Джорджа они обожали. Что ж, время, когда Джордж стал владельцем, пришло скорее, чем они ожидали; больно было смотреть, как он начал закладывать динамитные шашки под скромное, но надежное финансовое сооружение, которое мы для него выстроили.

Прежде чем мы встретились лицом к лицу, Джордж был моим клиентом уже полгода. Он изучал богословие в Чикагском университете, и мы общались посредством переписки и междугородних телефонных звонков.

Его родители не переставали говорить мне, какой он чистый, добрый, чудесный юноша, как прилежно изучал богословие; да и письма вкупе с беседами по телефону не давали мне повода думать иначе. Я полагал, что Джордж, возможно, немного легкомыслен в вопросах финансов — но, к счастью, его финансовые дела находились в руках честного человека, и он мог позволить мне делать с его двадцатью тысячами долларов все, что я сочту нужным. Иногда его ответы на мои вопросы и предложения были настолько беспечными, что я даже начинал сомневаться, беспокоит ли его вообще собственный инвестиционный портфель. А потом он вдруг перестал быть беспечным.

Первый звоночек прозвенел, когда я получил от Джорджа письмо, в котором он сообщал, что приедет через неделю и хочет, чтобы я выдал ему пятьсот девятнадцать долларов и двадцать девять центов. На первый взгляд, письмо показалось мне фальшивкой, и я заподозрил, что какой-то ушлый пройдоха углядел прекрасную возможность обшарить карманы бедняги Джорджа, пока тот витает в облаках. Почерк Джорджа, насколько я привык его видеть, был правильным и уверенным, словно медленные волны, накаты-

вающиеся на морской берег под ровным ветром. Письмо с требованием пятисот девятнадцати долларов и двадцати девяти центов было написано неровным, дрожащим почерком.

Лишь сравнив письмо с некоторыми ранними письмами Джорджа, я убедился, что все они написаны одной рукой. Медленные волны в них разбивались под порывами шквалистого ветра.

— Я Джордж Брайтмен, — мягко проговорил он, ступая в мой скромный кабинет.

— Я так и думал, — ответил я. — Когда я работал на ваших родителей, то видел немало ваших фотографий. Да и на похоронах вас видел, хотя и мельком.

— Я тогда не очень-то хотел с кем-либо общаться.

— Понятное желание.

Для мужчины он оказался весьма невысок ростом — не больше пяти футов и четырех дюймов. И лицо его было не таким, каким я помнил его по фотографиям — спокойным, безмятежным и дружелюбным. Когда я видел Джорджа на похоронах, лицо его, само собой, было искажено скорбью. Сейчас на нем отражались беспокойство, возбуждение и даже какое-то безумие, что совершенно не вязалось с темно-серым шерстяным костюмом

и черным галстуком.

Я надеялся на приятную, неторопливую беседу, но Джордж явно спешил.

— Где мои деньги? — в лоб спросил он.

Я вручил ему чек за моей подписью на запрошенную сумму. Затем сцепил пальцы, со значением поджал губы и откинулся на спинку стула, всем видом изображая истинного знатока.

— Эти деньги получены путем продажи сотни акций «Невадской горнодобывающей компании», — сообщил я. — Теперь ваш инвестиционный портфель несколько разбалансирован в том, что касается полезных ископаемых. По моему мнению…

— Спасибо, — перебил Джордж. — Вы делаете все, что можете.

Он повернулся уходить.

— Погодите! Послушайте! — воскликнул я. — В «Невадскую горнодобывающую» у вас была вложена тысяча долларов, и теперь кассовый остаток составляет примерно четыреста восемьдесят долларов. Есть отличная цинковая фирма, небольшая, но надежная. Рекомендую вложить ваши четыреста восемьдесят долларов в нее. Это восстановило бы утраченный баланс и…

— Я могу получить их?

— Акции цинковой компании?

— Деньги по кассовому остатку, — сказал Джордж. — Четыреста восемьдесят долларов.

— Джордж, — мой голос был ровен, — позволите ли поинтересоваться, на какие цели?

— Возможно, позже я скажу вам. — Глаза Джорджа сверкали. — Это ведь мои деньги, не так ли?

— Ваши, Джордж. Никому не позволяйте отрицать это. Но…

— И если мне понадобится еще, я просто скажу вам продать что-нибудь. Ведь это так работает?

— Как часы за доллар. — Я был потрясен. — Но…

— Отлично! Значит, вы можете выписать мне чек на… на кассовый остаток. — Термин ему явно понравился.

Я медленно выписал чек.

— Может быть, это не мое дело, Джордж, но вам ведь не встретился хорошо одетый, вежливый человек, который пообещал удвоить ваш капитал? Или встретился?

— Когда настанет время, вы все узнаете, — сказал Джордж.

— Тогда может быть слишком поздно, — проговорил я, однако Джорджа уже и след простыл.

Я не художник, но убежден, что занятие мое

сродни рисованию. Меня бесит, когда я вижу кривобокий инвестиционный портфель, как и художника ранит неумелая мазня. После налета Джорджа его портфель напоминал картину, в которой прорезали дыру. Я ни о чем больше не мог думать, не мог выбросить из головы мысль, что он… что мы стали жертвой мошенничества. Еще не наступил вечер, а я уже был глубоко убежден, что имею дозволение высших сил вмешаться в дела Джорджа.

В любые его дела!

Я позвонил в хостел Молодежной христианской организации Уай-Эм-Си-Эй — и, конечно же, не ошибся, Джордж остановился именно там. Когда он подошел к телефону, голос его звучал еще более возбужденно, чем в моем кабинете.

— Нам срочно нужно поговорить, это очень важно, — сказал я. — Может быть, за ужином?

— Не сегодня, не сегодня! — воскликнул он. — Когда угодно, только не сегодня. К тому же мне вообще не хочется есть.

— Пообедаем завтра?

— Да. Хорошо, договорились.

Я назвал ресторан, где мы можем встретиться, а потом словно между делом сообщил:

— Джордж, я тут думал о вашем инвестицион-

ном портфеле… — Думал я об одном: если кто-то искушает Джорджа обещанием неслыханной выгоды, я просто обязан предложить ему свой вариант, в котором была бы по крайней мере надежда на успех. — Если бы вы решились придержать взятые вами деньги до нашей завтрашней встречи, я подсказал бы вам способ вложить их так, чтобы в кратчайшие сроки…

— Давайте завтра поговорим, — оборвал меня Джордж. — У меня сейчас другим голова занята, чтобы еще и думать об инвестициях.

— М-м… что ж… но вы ведь придержите деньги до завтра, верно?

— Не могу, — ответил Джордж и повесил трубку.

Я провел бессонную ночь в размышлениях. Интересно, что столь возбуждающее студента-богослова может стоить ровно пятьсот девятнадцать долларов и двадцать девять центов?

Утром я звонил в хостел не меньше дюжины раз, и мне неизменно отвечали, что Джордж отдыхает.

В полдень он наконец согласился подойти к телефону, и я слышал в трубке его шаги, пока Джордж пересекал холл. Шаги звучали как шлепки мокрой мочалкой по полу.

— Э-э? — Голос Джорджа скорее напоминал кряканье утки.

— Джордж?

— Э-э.

— Как прошла ночь ночей?

— Э-э…

— Пообедаем, Джордж? Через час?

— Э-э.

— Джордж, вы здоровы?

— Только Господь, — пробормотал Джордж, — мог наградить человека такой головной болью.

— Думаю, обед мы можем отменить. Что с вами? Какой-то вирус?

— Грех, — хрипло проговорил Джордж. — Я приду. Нам нужно поговорить.

Можно было и не спрашивать. Ясно, что деньги вылетели в трубу, не принеся никакого удовлетворения — тысяча долларов псу под хвост. Ожидая Джорджа в ресторане, я даже испытывал некое извращенное удовольствие. Кое-что ему все-таки удалось приобрести: он получил урок по экономике, который не скоро сумеет забыть. Могло быть и хуже, подумал я. У него еще осталось девятнадцать тысяч долларов, которые можно вложить с толком.

Когда Джордж вошел в ресторан, глаза его на-

поминали догорающие угли в глубине пещеры. Кто бы ни обобрал беднягу, этот человек умудрился напоить его — что, по моему мнению, было совершенно немыслимо.

— Где же вы вчера были, Джордж? — беззаботно поинтересовался я.

— Какая разница? — несчастным голосом произнес он. За едой, к которой Джордж едва притронулся, он не произнес ни слова.

— Вы хотели поговорить со мной, — мягко напомнил я.

— Сначала нужно подумать. Заглянуть поглубже в себя.

— Не спешите.

Чтобы скоротать время, я начал рассказывать интересные, на мой взгляд, истории о молодых людях, лишившихся средств к существованию по вине мошенников того или иного рода, и не обратившихся при этом в полицию.

— Вымогатели потому и остаются в деле, что жертвам стыдно признаться в собственной глупости перед другими людьми.

При этом я внимательно наблюдал за Джорджем в надежде увидеть хоть искорку интереса.

— Ах, будет вам, — апатично произнес Джордж.

— Будет мне? — Я раздраженно нахмурился. — Жулики обирают людей на миллионы долларов в год. Чтобы их остановить, нужна сила воли.

Джордж пожал плечами.

— Легче верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Может, мошенники как раз делают людям благо?

Я был потрясен.

— Джордж! Давайте будем практичными людьми!

— Я думал, я и есть практичный человек.

— А я думаю, есть некая золотая середина между беспросветной нищетой и безумным богатством. Джордж, я хочу сказать, что недалек час, когда вы обзаведетесь семьей, и тогда вы наверняка захотите обеспечить детям условия, которые стоят определенных денег. Уютный дом, качественное образование, здоровая пища. Все это крайне важно для ребенка.

— Действительно важно! — с неожиданной силой воскликнул Джордж.

— Если бы вы не выросли в уютном доме, если бы ваши родители не смогли оплатить ваше обучение в колледже, вы стали бы совершенно другим человеком, Джордж. Эти вещи имеют большое значение.

— Знаю. — Джордж серьезно кивнул. — Если бы меня не усыновили, если бы оставили в сиротском приюте… — Глаза его расширились. — Боже милосердный, что бы сейчас со мной было?

Я был доволен.

— Вот видите, Джордж, вам следовало интересоваться своим портфелем ценных бумаг и не делать глупостей, поскольку на самом деле он принадлежит вашим будущим детям. Как я уже говорил вчера, в вашем портфеле недостает вложений в полезные ископаемые, и мы с вами могли бы продать немного акций химической промышленности и…

Джордж встал.

— Прошу вас, — извиняющимся тоном проговорил он, — давайте оставим это до другого раза. Я неважно себя чувствую и хотел бы пойти прилечь.

Он полез за бумажником.

— Нет-нет, Джордж, позвольте мне.

— Спасибо, очень мило с вашей стороны, — пробормотал Джордж.

Он достал что-то из кармана и теперь рассматривал этот предмет с таким видом, словно его вот-вот вырвет. Предметом оказалась пластиковая палочка для перемешивания коктейлей.

Джордж яростно переломил ее пополам, бросил обломки в пепельницу, слабо улыбнулся и был таков.

На палочке были выдавлены слова, которые, должно быть, поразили Джорджа своей иронией: «Клуб удовольствий».

В мире снова воцарился порядок, я не ждал больше неприятностей от Джорджа. С моей помощью он кое-чему научился. Осознание этого факта наполнило меня глубоким удовлетворением, и всю оставшуюся часть дня я весело насвистывал за работой.

Запирая кабинет, я все еще насвистывал, когда раздался телефонный звонок.

— А, это вы, Джордж! — жизнерадостно приветствовал его я. — Голос уже куда лучше. Похоже, вы окончательно пришли в себя.

— Да, благодарю, — вежливо проговорил Джордж. — Я бы хотел кое о чем вас спросить.

— Буду рад помочь.

— Какова была цена моего портфеля перед тем, как я продал часть бумаг?

— До последнего пенни, Джордж?

— Да, пожалуйста.

— Что ж, я должен произвести кое-какие расчеты. Не кладите трубку. — Через пять минут я

снова подошел к телефону. — К концу сегодняшнего рабочего дня вы стоили девятнадцать тысяч двадцать один доллар и пятьдесят центов. Если прибавить сюда наличные, которые вы взяли вчера, то получится двадцать тысяч двадцать один доллар и пятьдесят центов.

— А половина из этого будет?..

— Минуточку… Двадцать пополам это десять… м-м-м… это будет десять тысяч десять долларов и семьдесят пять центов.

— А если вычесть отсюда четыреста восемьдесят долларов и семьдесят один цент?

— Ну… останется девять тысяч пятьсот тридцать долларов и четыре цента. Джордж, зачем вам эти расчеты?

— Я хочу, чтобы вы продали ценные бумаги на эту сумму. Действуйте на свое усмотрение.

— Джордж!

— Вы сможете сделать это завтра?

— Джордж, да что вы удумали?

— Если бы я собирался обсудить это с вами, то так бы и сделал, — холодно произнес Джордж.

— Джордж! — взмолился я. — Вы говорили, что, когда придет время, все мне расскажете. Сейчас самый что ни на есть подходящий момент.

— Мне очень жаль, — сказал Джордж, — но

боюсь, что подходящий момент уже никогда не настанет. Я приду за деньгами завтра после обеда. Всего доброго.

«Клуб удовольствий» располагался под землей. Я обнаружил эту прокуренную дыру между канализационным коллектором и подземкой.

— Я должна принять у вас пальто и шляпу, сэр, — сказала девушка-гардеробщица, когда я появился на пороге «Клуба удовольствий» в отчаянной попытке найти Джорджа.

Девушка была миленькая. Миниатюрная, очень живая, она не спускала с меня огромных карих глаз и не обращала внимания на пелену истерического джаза, из последних сил надрывавшегося в соседней комнате. Отбеленные волосы образовывали на ее голове что-то вроде сугроба, из ушей льдинками свисали хрустальные сосульки. Вырез платья был настолько глубокий, что с того места, где я стоял, казалось, что из одежды на ней ничего, кроме низенькой дверцы гардеробной.

Пристраивая на вешалку честерфилд и фетровую шляпу, она нежно погладила их.

— Прямо как у Уолтера Пиджона[40] или у како-

[40] Примечания: 40

Уолтер Пиджон (1897–1984) — канадский кино- и телеактер, двукратный номинант на премию «Оскар» (1943, 1944).

го-то посла, или еще у кого, — проговорила она. Подавая номерок, она на мгновенье коснулась моей ладони.

Я уже хотел было спросить, не видела ли она молодого человека, похожего на Джорджа, но передумал. Если кто-то в «Клубе удовольствий» втянул Джорджа в неприятности на десять тысяч долларов, было бы неразумным — точнее, самоубийственным — вслух интересоваться Джорджем и источником его неприятностей.

Внутренности «Клуба удовольствий» лишь укрепили меня в этом мнении. Безрадостное место, населенное злобными пьянчугами и пьянчугами угрюмыми, а также несколькими мужчинами, трезвыми как могильные плиты, холодными, бледными и молчаливыми. Эти мужчины наблюдали за всем, глядя в голубое зеркало за барной стойкой. Они наблюдали за мной.

Я заказал себе выпить и бегло осмотрелся в поисках Джорджа. Его здесь не было. Бегло или нет, но рассмотрел я многое, и то, что я увидел, мне не понравилось. Особенно мне не понравились бледнолицые мужчины.

Я не собирался много пить, однако кошмар «Клуба удовольствий» не предполагал ничего другого. Для любого, кто не родился глухим,

выпивка здесь становилась абсолютной необходимостью. Все мое естество молило о срочной анестезии, и я начал понимать, что привело Джорджа к столь жестокому похмелью.

Двумя часами позже, в полночь, Джордж по-прежнему не объявился. Зато произошло другое важное событие: я преисполнился решимости спасти Джорджа и незаметно для себя превратился в этакого жесткого и безжалостного частного детектива. Зрение мое обострилось, и я мерил взглядом каждого входящего — многие испуганно отводили глаза.

Я повернулся к потному толстяку на соседнем стуле.

— Ума не приложу, куда подевался мой приятель. Собирались тут встретиться. Не видели его? Коротышка, большие карие глаза, темно-серый костюм, черный галстук.

— Ага, знаю такого. Не-а, сегодня его тут не было.

— Знаете его?

— Видел вчера ночью. — Он кивнул каким-то своим мыслям. — Да уж, паренек из тех, кто не отличит палочку для коктейля от бейсбольной биты. Знаю, чего уж там. Тот самый, что запал на малютку Джеки.

— Джеки?

— Девушка из гардероба. Ваш приятель просидел тут всю ночь, разглядывая ее в зеркале. Пить совершенно не умеет.

— Правда?

— Бармен сказал ему, чтобы или заказывал, или уступил свое место другому, вот паренек и набрался.

— В одиночку?

— Ну да — пока не повез Джеки домой. Вот уж никогда не угадаешь, кто есть кто, верно? Мне парень едва ли не священником показался.

Отвезти Джеки домой оказалось не слишком сложной задачей. Скорее это можно было посчитать традицией заведения, в котором я был самым прилично одетым клиентом, — короче, добыча досталась мне легко.

Воспоминания о том, как мы ехали домой и что было после, путаются в моей голове. Мои намерения были абсолютно благородны. Думаю, я планировал выяснить, в какую ловушку угодил Джордж. Коварный и хитрый план.

В такси я все время придремывал и улавливал лишь обрывки болтовни Джеки — они были яркими, но насквозь лживыми. Джеки использовала все подходящие к случаю приемы: она была

одинока, беспомощна и бедна, выросла в суровом сиротском приюте, никогда не знала счастья и понимания.

Следующий фрагмент воспоминаний — я сижу на диване в ее квартире, пытаясь не уснуть, а Джеки в кухне готовит какую-то выпивку. Несмотря на усилия, глаза мои сомкнулись, и проснулся я, лишь когда услышал бешеные вопли какого-то мужчины.

— М-м-м? — промычал я, не открывая глаз.

— Вот так, значит?! — заорал мужчина. — Я уже тысячу лет примерный муж, работаю как вол, откладываю каждый цент — и что я вижу?

— Что вы видите? — заинтересованно пробормотал я.

— Это!

— О, — сказал я. — Гм.

— Я думала, ты в Лос-Анджелесе! — воскликнула Джеки.

— Ха-ха! Я закончил работу на два дня раньше! Спешил домой, и что я нахожу здесь?

— Что? — поинтересовался я.

— Тебя!

— О!

— Он нас застукал! — заголосила Джеки. — Прости! Прости нас!

— С тобой я разберусь позже! — взревел мужчина. Он повернулся ко мне. — Ты разрушил мою жизнь, а теперь, придурок, я разрушу твою! Твоя жена завтра же узнает о том, что ты натворил. Посмотрим, как тебе это понравится!

— Я совершенно ничего не разрушил, — сонно пробормотал я. — И жены у меня, кстати, нет. Отстаньте.

— Тогда я разрушу твою карьеру. Как тебе это?

— Да я больше заработаю на каком-нибудь оборонном заводе, — сообщил я.

Он кричал что-то еще, чего я не запомнил, но понемногу накал слабел, и в конце концов они с Джеки выставили меня в коридор и захлопнули дверь.

Я проспал до полудня и добрался до своего офиса лишь после обеда, к которому я, впрочем, не прикоснулся. Джордж уже ждал меня.

— Они у вас? — с ходу спросил он.

— Деньги? — Я усмехнулся, по-отцовски потрепал его по плечу и усадил на стул. — Нет, Джордж, их у меня нет. Зато есть хорошая новость. Вы больше не на крючке, мой мальчик.

— Каком еще крючке? — Джордж начал раздражаться.

— Джордж, прошлой ночью я повстречал ми-

лую малышку по имени Джеки. Точнее, не только повстречал, но и отвез домой.

Джордж покраснел как рак и вскочил.

— Не желаю слышать!

— Полегче, Джордж, полегче. Перед нами самая старая афера в мире — шантаж при помощи женщины, — и все, что от вас требуется, это послать шантажистов ко всем чертям. Скажите им, чтобы вместо денег забрали себе вашу репутацию, и вы их больше никогда не увидите. Таким нельзя давать ни цента!

— Я не желаю это обсуждать, — проговорил Джордж. — Будьте любезны до вечера выдать мне деньги.

— Джордж, если вы поддадитесь этой парочке, я немедленно отправлюсь в полицию и выдвину обвинения. Вчера они попытались провернуть свой трюк со мной. Поймите, если вы отдадите им половину того, что у вас есть, история не закончится. Как только вы начинаете платить подобным типам, они не оставят вас в покое, пока не оберут до нитки.

— Если их арестуют, между нами все кончено, — произнес Джордж.

— Если я позволю им прикарманить ваши деньги, все кончено будет со мной, — сказал я.

— Вы уже дали им тысячу, и это ровно на тысячу больше, чем они заслуживают.

— Я не давал им никакой тысячи, — сказал Джордж. — Однако собираюсь. Пожалуйста, выдайте мне мои деньги и держите язык за зубами. Или мне позвать полисмена?

— Для них? Пожалуйста.

— Для вас, — сказал Джордж.

* * *

Я был настолько взбешен, что бросился прочь из кабинета, и если бы Джордж не отступил, я бы сшиб его, будь он хоть трижды студентом-богословом.

Превозмогая головную боль, я слонялся по городу, пытаясь понять, в какую же ловушку угодил Джордж. Некто предложил ему что-то за пятьсот девятнадцать долларов и двадцать девять центов, велел приходить за этим в «Клуб удовольствий», где Джордж, ожидая продавца с товаром, напился, сам того не желая, а потом попался на крючок Джеки в ее старой как мир игре.

Я отправился в банк, обналичил чек, взял выписку и отправился в соседний бар, чтобы немного опохмелиться — исключительно ради Джорджа.

В полумраке бара я пробежался по погашенным чекам — даже не понимая, с какой целью. И вдруг увидел чек на пятьсот девятнадцать долларов и двадцать девять центов, который я выписал Джорджу. Перевернул его и обнаружил на обороте две подписи. Одна из них принадлежала Джорджу, а другая — некоему Роберту С. Нунану. Я поискал Нунана в справочнике, и он оказался частным детективом.

Так вот, значит, что купил Джордж — он купил информацию. Именно желание получить ее так возбудило его. Ради информации Джордж забросил занятия и отправился в «Клуб удовольствий», где прождал весь вечер.

И вдруг я понял, что Нунан не обманывал Джорджа. Нунан доставил ему оплаченную информацию еще до того, как нога Джорджа ступила в «Клуб удовольствий».

Позже я позвонил Джорджу в его хостел.

— Джордж, простите меня, я не сдержался.

— Я ждал вас, думал, вы вернетесь, — сказал Джордж. — Я вас не виню, я сам был очень груб.

— Полагаю, я разобрался, в чем дело, Джордж.

— Прошу вас, не начинайте снова. Это личное, вряд ли вы поймете.

— Джордж, после того, как я не выдал вам день-

ги, вы, конечно, отказались от моих услуг. И все же я хочу, чтобы вы меня выслушали.

— Вряд ли вы можете сказать что-либо, чего я не знаю.

— Я скажу о том, чего до недавнего времени не знал я. Она ваша сестра, верно?

Джордж минуту помолчал.

— Да, — проговорил он наконец безжизненным голосом.

— Не сердитесь на Нунана, он не сказал мне ни слова. Я докопался до всего сам. Она знает, кем вы ей приходитесь?

— Нет. Я отправился в клуб просто, чтобы увидеть ее. Хотел все ей рассказать, а потом со мной произошло то же, что и с вами.

— И вы заплатили?

— Заплатил. Все равно я собирался потратить эти деньги, чтобы отпраздновать наше воссоединение. А теперь, прошу вас — вы были очень добры ко мне, — выдайте мне завтра деньги. Мне пора возвращаться к учебе.

— Сестра или нет, Джордж, она та еще штучка.

— У нее есть ребенок, и это дает надежду, — сказал Джордж. — Я такой, какой я есть, потому что добрые люди поделились со мной тем, чего никто из них мне не задолжал. Все, что я могу сделать

для нее, пусть и слишком поздно, это поделиться с ней. Так я и поступлю. Увидимся завтра.

Джорджу нужно было успеть на вечерний поезд до Чикаго. Я продал половину его «королевства», и мы отправили деньги Джеки в виде банковского чека, происхождение которого она никогда не сможет отследить.

Мы с Джорджем душевно отобедали вместе, подумали о том, как провести оставшееся до поезда время, и сошлись в мнении, что самым правильным было бы зайти в «Клуб удовольствий». Наш визит был чисто церемониальным. Мы заказали выпивку, но ни один из нас не прикоснулся к ней. Мы просто сидели, не двигаясь, со стороны, наверное, напоминая наемных убийц.

За четверть часа до поезда мы забрали у Джеки свои пальто и шляпы. Она посмотрела на нас так же, как и когда мы только появились: в ее взгляде был страх, что мы сдали ее полиции, смешанный с надеждой, что мы настолько глупы, что стремимся в ту же самую ловушку.

— Доброй ночи, Джеки, — сказал Джордж.

— Доброй ночи, — с тревогой произнесла она.

Джордж бросил в стоящую перед ней тарелочку, полную долларовых банкнот и даже пятерок, одинокий десятицентовик.

— Паршивые десять центов? — саркастически усмехнулась Джеки.

— Это всё, сестра, — проговорил Джордж. — Ступай и не греши.

Король трутней

© Перевод. И. Доронина, 2020

Что хорошо в консультировании по вопросам капиталовложений, так это то, что работаешь почти всегда в приятном окружении. Куда бы ни забрасывала меня моя работа, я всегда поражался ощущению процветания.

Атмосфера преуспеяния господствовала в клубе «Миллениум» уже лет сто. Когда я впервые вошел в его парадную дверь, все мои заботы как рукой сняло. Я почувствовал себя так, словно только что выпил пару бокалов бренди и выкурил хорошую сигару. Здесь царил покой.

Клуб, располагавшийся в центральной части города, представлял собой шесть этажей полного уединения, развлечений и апартаментов для богатых джентльменов. Дом возвышался над парком.

Вестибюль охранял элегантный пожилой мужчина, сидевший за столом из палисандрового дерева.

Я вручил ему свою визитку.

— Мистер Квик. Мистер Шелдон Квик, — сказал

я. — Он просил меня прийти.

Мужчина долго изучал мою визитку, после чего наконец сказал:

— Да, мистер Квик ждет вас. Вы найдете его в маленькой библиотеке — вторая дверь слева, рядом со старинными напольными часами.

— Благодарю, — сказал я и двинулся в указанном направлении.

Он поймал меня за рукав.

— Сэр…

— Да?

— Вы ведь не носите бутоньерку?

— Нет, — виновато ответил я. — А должен?

— Если бы носили, — ответил он, — я был бы вынужден просить вас сдать ее. Женщины и цветы внутрь не допускаются.

Я задержался перед дверью в маленькую библиотеку и сказал:

— Послушайте, а вы знаете, что эти часы не идут?

— Мистер Квик остановил их в день смерти Калвина Кулиджа[41], — ответил он.

Я покраснел.

— Простите, мне очень жаль.

---

[41] Примечания: 41
30-й президент США (1923–1929).

— Нам всем — тоже. Но с этим *никто* ничего поделать не может.

Шелдон Квик сидел в маленькой библиотеке один. Это была наша первая встреча.

Мужчина лет пятидесяти, очень высокий и по-своему красивый — в эдаком восточно-ленивом стиле. У него были золотистые волосы, голубые глаза, и, пожимая мне руку, он поглаживал мизинцем усы.

— Вас отлично рекомендовали, — сказал он.

— Благодарю вас, сэр, — ответил я.

Он убрал палец от усов, и я увидел, что его верхняя губа раздулась с одной стороны до размеров пинг-понгового шарика. Он прикоснулся к опухоли и пояснил:

— Пчела.

— Должно быть, это очень больно, — посочувствовал я.

— Да, врать не стану, больно. — Он кисло улыбнулся. — Не верьте никому, кто будет утверждать, что мы живем не в женском мире.

— То есть, сэр?

— Кусаются только пчелиные *самки*, — пояснил он.

— О! — удивился я. — Я этого про пчел не знал.

— Но вы знали это про людей, не правда ли?

— сказал он и закрыл один глаз; притом, что лицо его и так выглядело асимметричным из-за пчелиного укуса, теперь он стал похож на человека, у которого не все дома.

— Закон жизни! — резко высказался он. — Если вы подхватили желтую лихорадку — благодарите за это самку комара. Если вас прикончил паук семейства «черная вдова» — опять же cherchez la femme.

— Г-м, — пробормотал я. — Ну и дела.

Симпатичный дряхлый старик-официант принес кофе и сигары на серебряном подносе и спросил:

— Желаете чего-нибудь еще, мистер Квик?

— Желаю ли я чего-нибудь еще? — усмехнулся Квик и горестно закатил глаза. — Здоровья, Джордж. Власти. Быстрого успеха.

Официант вздрогнул и, казалось, чуть не расплакался.

— Мистер Квик, мы… нам вас будет не хватать, — произнес он.

Откинув голову назад, Квик постарался как можно сердечней рассмеяться. Смех, однако, получился ужасным — смесь страха и раздражения.

— Почему все считают, будто выход из клуба

«Миллениум» равносилен смерти? — сказал он. — Не удручай меня, приятель! Лучше пожелай мне удачи!

— О, я *желаю, желаю*, сэр! — затараторил официант.

— Там, снаружи, у меня не будет недостатка в квалифицированной помощи, — сообщил Квик и кивнул на меня: — Он будет управлять финансами, а я займусь исследованиями и производством.

Официант обратил свой жалобный взор ко мне.

— Без мистера Квика тут уже все будет не то, — сказал он. — Вот приду я на работу, загляну в парикмахерскую, загляну в бар, загляну в душевую, поищу на крыше, где ульи стоят… — Его глаза расширились, словно он рассказывал историю с привидениями. — А мистера Квика… его *нигде* не будет. И когда соберусь уходить домой, загляну в газетную комнату, а мистер Квик *не будет* больше там сидеть, пить свое бренди и подчеркивать… подчеркивать… подчеркивать…

— Подчеркивать? — не понял я.

— Важные вещи в журналах, — уважительно объяснил официант. — Я так думаю, что за последние двадцать пять лет тут выбросили тонны

журналов, в которых мистер Квик что-то подчеркивал.

Казалось, что при каждом слове у Шелдона Квика в спине щелкает очередной позвонок. Когда официант ушел, Квик прилег на кушетку, что-то тихо бормоча; это неразборчивое бормотание напоминало шелест листвы в верхушках деревьев.

— Простите? — сказал я, низко склоняясь к нему.

— Вы работаете с акциями и инвестициями? — спросил он.

— Я продаю советы по этим вопросам, — ответил я.

— Я хочу, чтобы вы занялись для меня продажей акций.

— Буду рад взглянуть на ваш портфолио и порекомендовать, что продать, а что оставить, — сказал я.

Он слабо махнул рукой.

— Вы не так меня поняли. Я хочу, чтобы вы продавали акции моей новой компании. Ведь новые компании именно так зарабатывают деньги, не правда ли? Торгуют акциями?

— Да, сэр, — сказал я. — Но это не мой профиль. Первым делом вам нужен юрист.

И снова он сказал что-то, чего я не разобрал.

— Вам нездоровится, сэр?

Он сел, моргая и глядя перед собой невидящим взглядом.

— *Лучше бы* он всего этого не говорил. Было ведь сказано: никаких прощаний. В один прекрасный день, никто не знает когда именно, я просто выйду отсюда, как будто подышать свежим воздухом. И не вернусь. А потом они получат от меня письмо, в котором будет сказано, куда отослать мои вещи.

— Гм, — промямлил я.

Он тоскливо окинул комнату взглядом.

— Я не первый и не последний, кто выходит отсюда в мир, чтобы вернуть себе утраченное.

— С вашим состоянием что-то случилось, сэр? — тревожно спросил я.

— Деньги, которые оставил мне отец, подходят к концу, — ответил он. — Я понял это уже некоторое время тому назад. — Он скривил опухшую губу, обнажив длинный белый влажный клык. — Так что событие не застало меня врасплох. Этот бизнес я планирую уже больше года.

— Послушайте, насчет этого вашего бизнеса. Я…

— *Нашего* бизнеса, — уточнил он.

— *Нашего?*

— Я хочу, чтобы вы стали генеральным директором, — сказал он. — Хочу, чтобы вы встретились с юристом, зарегистрировали корпорацию и сделали все, что требуется, чтобы дать ход нашему делу.

— Простите, мистер Квик, — возразил я, — но я не могу принять такое предложение.

Квик высокомерно посмотрел на меня.

— Разве двести тысяч долларов в год не достаточная компенсация для человека вашего калибра?

Мне показалось, что комната стала медленно вращаться, словно карусель. Свой собственный голос — звучавший сладко, как флейта, — я услышал как бы издалека:

— Вы мне это действительно предлагаете, сэр?

— Сама природа нам это предлагает. — Квик выбросил руку вперед и сжал ее в кулак. — Нам нужно лишь протянуть руку и взять.

— Уран? — прошептал я.

— Пчелы! — ответил он. На его лице появилось выражение безудержного триумфа.

— Пчелы? — повторил я за ним. — Что — пчелы?

— В следующем месяце я вам позвоню, и вы увидите то, что увидите.

— Когда именно? — поинтересовался я.

— Это зависит от пчел, — ответил Квик.

— А где они?

— На крыше, — сказал Квик. — Потом мы с вами созовем пресс-конференцию и расскажем миру, что именно собираемся продавать.

Часы на каминной полке пробили полдень.

Квик вздрагивал при каждом ударе.

— Ровно через тридцать дней, — сказал он, — мое членство в этом клубе заканчивается.

Он пожал мне руку и открыл для меня дверь.

— Как только я позвоню — приходите немедленно.

В коридоре старый официант беседовал с молодым.

— Когда мистера Квика не станет, кто же будет Санта-Клаусом на рождественской вечеринке? Нет, ты скажи мне!

Через десять дней Квик позвонил. Он был чрезвычайно взволнован.

— Они начали это делать! — завопил он. — Это происходит прямо сейчас! — И повесил трубку.

Портье за палисандровым столом махнул мне в глубь клуба «Миллениум». В коридоре меня поджидал старик-официант. Он вручил мне маску пасечника, перчатки и проводил до лифта.

Лифтер поднял меня прямо на крышу.

На крыше я увидел Шелдона Квика и десять ульев. Квик был в маске и перчатках, в брюках-гольф, спортивной куртке и туфлях на каучуковой подошве толщиной с пирожное.

Он был в ярости от того, что делали пчелы, и, указав на улей, воскликнул:

— Посмотрите! Вы только посмотрите на это!

Толстые, неуклюжие пестрые пчелы вылетали из отверстия улья, сталкиваясь друг с другом, барахтаясь, описывая круги и жужжа с сердитым удивлением.

Потом вылетели маленькие пчелки, завывая тоненькими голосами. Они жалили больших снова и снова, стараясь разорвать их на клочки.

Квик отогнал маленьких пчел рукой, затянутой в перчатку, а другой зачерпнул пригоршню больших, потом отошел назад и — очень нежно — выпустил больших пчел в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой.

— Что это? — спросил я. — Война пчел?

— Война? — повторил Квик, ноздри у него трепетали. — Да, я бы сказал, что это война. Война до победного конца! Без пощады!

— Господи, — сказал я, — кто бы мог подумать, что маленькие зададут перцу большим, а не

наоборот?

— У больших нет жала, — объяснил Квик.

— А чьим был улей изначально? — спросил я.

Смех, которым ответил мне Квик, был исполнен горькой иронии.

— Ваш вопрос достоин того, чтобы высечь его на граните как пищу всякому для размышлений, — сказал он. — Маленькие пчелки — самки. А большие — самцы.

* * *

Мы спустились с крыши в полуподвал — Квик нес банку с пчелами — и проследовали в большую комнату, выходившую на лестничную площадку. Единственным предметом в комнате был письменный стол, стоявший посередине цементного пола.

Старик-официант шел впереди нас с коктейлями и сэндвичами. Поклонившись, он тут же удалился.

— Вы догадались? Насчет удивительного товара, который мы будем продавать? — спросил Квик.

Я отрицательно покачал головой.

— Я дам вам ключевое слово, и оно поразит вас, как раскат грома. Вы готовы?

— Готов, — ответил я.

— *Коммуникации!* — воскликнул он и поднял банку. — Посредством так называемых трутней! Если природе они не нужны, то нам пригодятся! — Он слегка подтолкнул меня локтем. — Ну? Каково?

Квик со стуком опустил банку на стол, и изнутри послышалось низкое ленивое неразборчивое жужжание.

— Такое массовое истребление самцов происходит после того, как они исполнят свою основную функцию, — объяснил Квик. — Они поднимаются по безумной спирали в погоне за пчелиной маткой — все выше, выше, выше! — Он сделал вращательное движение рукой, изображая рой самцов, преследующих пчелиную королеву. — Пока — опля! — один удачливый дьявол не настигает ее, бесценную жемчужину, и не умирает в тот же миг. — В подтверждение он скорбно кивнул. — А когда остальные возвращаются домой, их умерщвляют — как вы сами видели.

— Господи! — воскликнул я. — Так вы спасаете самцов?

— Как Алый Первоцвет[42] во время Французской революции, — подхватил Квик. — Я присутствую на казнях и умыкаю невинных жертв. Я даю им пристанище, кормлю и учу вести полезную жизнь.

С напускной скромностью он предложил мне загадку:

— Когда трутень *не является* трутнем?

— Сдаюсь, — сказал я.

— А когда картотечный ящик *не является* картотечным ящиком? — спросил он и выдвинул нижний ящик стола. В нем стояла большая деревянная коробка с дыркой наверху.

Два трутня вылетели из дырки, глупо замельтешили, сталкиваясь друг с другом, неуверенно вернулись к дырке и провалились в нее.

— Вот, — восхищенно констатировал Квик, — это первый в истории мужской улей — своего рода пчелиный клуб «Миллениум», если хотите. Пища, которой я их кормлю, обильна и питательна. Братство — закон поведения. И у них много вре-

---

[42] Примечания: 42

Алый Первоцвет (англ. *The Scarlet Pimpernel*, 1905) — псевдоним героя одноименного романа баронессы Эммы Орци о британском аристократе и роялисте, который спасает от гильотины и переправляет в Англию нескольких знатных французских аристократов, а также вызволяет из якобинского плена малолетнего наследника французского престола Людовика XVII.

мени для размышлений и наслаждения жизнью вне бессмысленного, неблагодарного, мучительного, суматошного и угрюмого прислуживания самкам. Унесите трутня из его «Миллениума» — и он тут же вернется обратно!

Квик выдвинул верхний ящик стола, достал из него лупу, остро отточенный карандаш, папиросную бумагу, нитки и трубочки для напитков, нарезанные на кусочки в полдюйма длиной.

— Трутень не является трутнем, — сказал Шелдон Квик, — *когда он доставляет сообщения*.

Он открыл крышку пчелиного клуба «Миллениум». Тот кишел трутнями. Квик вывалил в него трутней из стеклянной банки.

— Добро пожаловать в цивилизованный мир, маленькие братья, — сказал он. — Вы давно о нем мечтали.

— Для драматургического эффекта, — крикнул мне Квик, поднимаясь по лестнице из полуподвала, — вы будете президентом автомобильной корпорации, а я — президентом таксомоторной компании. Я собираюсь обновить свой парк машин.

— Как скажете, — отозвался я со своего поста за письменным столом.

Квик весело помахал над головой трутнем,

зажатым между большим и указательным пальцами. Он похитил его из ящика стола. Трутень тревожно зажужжал.

Поднявшись на верхушку лестницы, Квик исчез из виду. Я слышал, как он ободряюще беседовал с трутнем.

Через несколько секунд трутень стремительно рухнул в лестничную шахту, затормозил в нескольких дюймах от пола и неуверенно подлетел к столу. К его животику был привязан кусочек трубочки для питья.

Остановившись, трутень неуверенно направился к открытому ящику стола.

— Хватайте его! — закричал Квик. — Возьмите сообщение!

Я попытался поймать ползающего по столу трутня сложенной куполом ладонью, но у меня не хватало духу взять его в руку.

Пришлось Квику спуститься и сделать это самому. Он вручил мне соломинку с посланием, засунутым в нее.

Трутень с радостным жужжанием нырнул в свой «клуб». Изнутри послышался приветственный гул.

Послание было написано на маленьком клочке папиросной бумаги таким мелким почерком,

что мне пришлось вооружиться лупой, чтобы прочесть его: *«Назначьте цену за 400 автомобилей. Ответьте пчелограммой. Таксомоторная корпорация Квика».*

— Понимаете? — сказал Квик. — У вас будут пчелы из моего клуба, а у меня — из *вашего*. И меду на один пенни хватит для того, чтобы поддерживать наших маленьких гонцов в рабочем состоянии в течение года.

— А разве они не сами вырабатывают мед? — уныло поинтересовался я, просто чтобы что-нибудь сказать — чтобы скрыть истинные чувства. А чувствовал я себя ужасно. Квик так радовался своему будущему предприятию, так много ставил на него, а я считал себя обязанным сказать ему, насколько нелепа его затея.

— Мед вырабатывают только рабочие пчелы-самки, — ответил Квик.

— О! — сказал я. — Ха! Наверное, именно поэтому рабочие пчелы приканчивают самцов. Потому что самцы — всего лишь обуза для сообщества.

Кровь отлила от красивого лица Квика.

— Что такого особенного в делании меда? — возмутился он. — *Вы* можете делать мед?

— Не-а, — ответил я.

— Так разве это повод для того, чтобы обречь

вас на смерть? — сказал он расстроенно.

— Нет… Черт возьми, нет, конечно, — согласился я.

Квик сгреб в кулак лацкан моего пиджака.

— Вы подумайте о философской и нравственной подоплеке того, что вы сейчас видели! — настойчиво потребовал он. — Пчелы — это только начало!

— Да, сэр, — ответил я, улыбаясь и потея.

Его глаза сузились.

— Охотницы-самки богомола съедают самцов с той же легкостью, с какой вы или я съедаем пучок сельдерея, — поведал он. — А самка тарантула заглатывает своего маленького любовника, как канапе!

Он прижал меня к стене.

— Что мы будем делать с самцами богомолов и самцами тарантулов? — Он ткнул пальцем мне в грудь. — Мы будем учить их доставлять служебные сообщения внутри офиса или приказы от одного окопа к другому на передовой линии!

Квик отпустил мой лацкан и разочарованно посмотрел на меня.

— Господи, приятель… — раздраженно воскликнул он, — вы стоите с разинутым ртом и таким тусклым взглядом, а ведь я только что

показал вам величайшее завоевание гуманизма со времен Нового Завета!

— Да сэр, — сказал я, — но…

— И величайшее достижение в сфере коммуникаций после изобретения беспроводного телеграфа! — закончил он, не обращая внимания на мою попытку возразить.

— Да. Да, сэр, — сказал я, вздыхая и расправляя плечи. — Если бы вы сделали свое открытие *до* изобретения беспроводного телеграфа, вероятно, вы бы чего-то достигли. Но, боже правый, кто в наши дни, в нашу эпоху, станет писать эти крохотные записочки на папиросной бумаге и посылать их с пчелами?

Он прислонился к столу, закрыл глаза и кивнул в ответ на какие-то свои мысли.

— Я этого ожидал — дружного хора голосов: «Нет-нет-нет… это невозможно». С этим сталкивается любой новатор.

— Да, сэр… Думаю, так и есть, — сказал я. — Но иногда хор оказывается прав. Боже милостивый, то, что вы мне продемонстрировали, может соперничать разве что с голубиной почтой.

Глаза его вспыхнули.

— Ага! — вскричал он. — Но скажите мне, насколько широко нужно держать открытым окно

для почтовых голубей? — Он помахал пальцем у меня перед носом. — И еще скажите: можно ли пользоваться голубиной почтой внутри помещения так же, как снаружи?

Я почесал голову.

— Все ваши доводы против почтовых голубей верны, но кто теперь пользуется голубиной почтой?

Квик безразлично посмотрел на меня. Губы его беззвучно шевелились. С улицы послышался хлопок автомобильного карбюратора, и страх, словно облако, набежал на лицо Квика.

— Я не гений, — тихо произнес он. — Я никогда не претендовал на гениальность, ведь правда?

— Да, сэр, — подтвердил я.

— С невеликим набором своих талантов я намеревался прожить жизнь тихо и скромно, — смиренно продолжил Квик. — Но однажды, сидя в библиотеке, где мы с вами познакомились, я читал «Жизнь пчел» Метерлинка, и вдруг словно раздался раскат грома — я испытал озарение.

— Гм-м-м, — протянул я.

— В этом священном трансе я купил своих пчел, провел эксперименты — и вот результат.

— Ага, — жалко поддакнул я.

Он храбро вздернул подбородок и сказал:

— Прекрасно. Раз я прошел уже часть пути, я пройду его до конца. Я представлю свое открытие на суд самого строгого жюри — народа Америки, и пусть он решает: нашел ли я семена чего-то полезного для человечества или нет. — Квик положил руку мне на плечо. — Мы немедленно созовем пресс-конференцию. Вы мне поможете?

У меня в горле застрял комок, но я все же ответил:

— Да, сэр, помогу.

— Молодец! — похвалил меня Квик. — Пока я буду стричь соломинки, вы нарежете папиросную бумагу.

Для пресс-конференции Квик выбрал строгий синий костюм и образ историка. Глаза у него были красными, голова болела. В течение трех часов он писал крохотные пчелограммы. Их содержание представляло собой секрет, ве́домый только ему и Богу.

Конференция должна была состояться в актовом зале «Миллениума». Квик разорился на коктейли и буфет для представителей прессы, не пожалев части оставшихся у него скудных средств. Представителей прибыло пятеро — три репортера и два фотографа. Квик готовился принять сотню.

Пятеро журналистов уселись в первом ряду, отдавая дань закускам и выпивке. Квик стоял на сцене, я — рядом с ним, опекая всю его флотилию трутней, запертых в деревянном ящике. У каждого из них к животу было привязано сообщение. Преданный старый официант дежурил у окна, готовый открыть его по первому знаку Квика.

Сначала Квик объяснил суть своего эксперимента, свою теорию и рассказал о своем озарении. Приближалось время, когда я должен был открыть ящик и выпустить на свободу историческое облако, которому предстояло вылететь в окно, спуститься на три этажа, влететь в окно полуподвала и проследовать в первый мужской улей, покоившийся в письменном столе.

Пчелы, казалось, тоже чувствовали царившее вокруг них волнение. Они тыкались головами в крышку ящика и непрерывно ровно, возбужденно и нетерпеливо гудели.

— История человеческого прогресса, — внушительно сказал Квик, — всегда была историей поощрения всего хорошего, что существует в Природе, и воспрепятствования тому, что в ней плохо. Миллионы лет Природа выбрасывала, словно мусор, мудрейших, деликатнейших и красивейших существ — трутней, единственная

вина которых состоит в том, что они не производят меда.

Квик поднял вверх указательный палец.

— Но теперь, — сказал он, — человек наконец объявляет войну этому жестокому расточительству и заявляет: есть нечто большее в жизни, нежели безумная, тупоголовая погоня за медом, медом, медом; все ради меда и *смерть* любому, кто не умеет делать мед!

Голос Квика сделался хриплым от волнения, словно он возносил молитву перед толпой.

— Сегодня мы приглашаем трутней присоединиться к тем, кто пользуется плодами свободы и равенства. Долой тиранию, в чем бы она ни проявлялась! Долой тиранию меда! Долой тиранию эгоцентричной и тщеславной пчелиной королевы! Долой тиранию ограниченных, меркантильных самок — рабочих пчел!

Квик повернулся и, обращаясь к ящику, закончил:

— Жизнь и свобода отныне — ваши!

Я открыл крышку и перевернул ящик.

Трутни попáдали на пол бурлящим клубком. А потом, один за другим, взлетели и образовали сердитое кольцо у нас над головами.

— В погоню за счастьем! — закричал Квик.

Старый официант распахнул окно.

Несколько минут трутни бестолково кружили по комнате, пока не наткнулись на открытое окно. Тут рой выстроился в линию и вылетел наружу, оказавшись над простиравшимся внизу парком.

— Вниз! Вниз, ребята! — завопил Квик.

Трутни, казалось, что-то высматривали некоторое время, а потом нашли — но не внизу, а вверху. Безумной спиралью рой стал возноситься выше и выше над парком, пока не пропал из виду.

— Королева! — всхлипнул Квик. — Королева!

Участники пресс-конференции, не выпуская из рук стаканов, двинулись в полуподвал ждать возвращения трутней в пчелиный клуб «Миллениум». Улей в ящике стола был пуст. В открытое окно полуподвала не влетало ничего, кроме маленьких клочков сажи.

Квик был странно спокоен. Появление пчелиной королевы, казалось, выбило все пробки в его нервной системе.

Спустя час ожидания он сказал мне отстраненным голосом:

— Поднимитесь на крышу и наблюдайте за нашими верными посланниками оттуда.

Я пошел на крышу и обнаружил там всю фло-

тилию трутней. Вернувшись после спаривания, волоча футлярчики с посланиями, они победно заползали в свои родовые ульи — ульи, из которых Квик освободил их.

Самки — рабочие пчелы, завывая, вылетали навстречу своим братьям. Через каких-нибудь несколько минут Квиковы трутни лежали мертвыми или умирающими, испуская последнее жужжание в этой скорбной мистификации.

С тяжелым камнем на сердце я вернулся в полуподвал и поведал печальную новость Квику.

Он принял ее спокойно. На протяжении всего долгого ожидания он поддерживал огонь своих надежд. А теперь, как и подобает джентльмену, дал ему тихо умереть.

— Надежда была на то, — сказал он, — что среди множества найдется один, чей интеллект победит инстинкты. — Он храбро улыбнулся. — Вот с ним-то мы и могли бы вывести новую, благородную породу пчел.

Квик воздел руки.

— Фиаско, джентльмены, приношу свои извинения. — Слезы стояли у него в глазах. — Можете написать, что я глупец, — сказал он, — но глупец, одержимый мечтой — одной из самых добрых и грандиозных в наше время.

Поклонившись, он вышел и в одиночестве стал подниматься по лестнице.

Журналисты и старый официант вскоре ушли следом за ним, я остался один.

В открытом окне раздались шаги, и я увидел ноги Квика, проходившего мимо. Значит, он выбрал момент, чтобы покинуть клуб «Миллениум», — быть может, навсегда.

Закрыв окно, я выпил за здоровье Шелдона Квика и за упокой его трутней.

Вдруг послышался легкий стук в окно.

Я открыл его и впустил одинокого трутня. Он был страшно изувечен: с разорванными крыльями, без ног.

Подлетев к ящику письменного стола, он подполз к отверстию пчелиного «Миллениума» и упал в него. Изнутри донеслось слабое жужжание — голос души, выполнившей свое предназначение.

Потом он умер.

Я снял с него трубочку с посланием и прочел слова, которые Квик написал множество раз, для всех своих пчел:

«Вот что творит Бог?»[43]

[43] Примечания: 43
Цитата из Библии (Числа, 23:23) — первая фраза, переданная из Балтимора в Вашингтон в 1844 г. по телеграфу его изобретателем С. Морзе. По некоторым данным, фраза была передана в вопросительной форме.

Привет, Рыжий

© Перевод. А. Криволапов, 2020

За большим черным разводным мостом садилось солнце. Мост с его гигантскими береговыми устоями и быками весил больше, чем весь поселок в устье реки. На вертящемся табурете в закусочной возле моста сидел Рыжий Майо, смотритель — он только сменился с дежурства.

Резкий скрип несмазанной опоры табурета нарушил тишину закусочной, когда Рыжий отвернулся от кофе и гамбургера на столе и бросил выжидающий взгляд на мост. Рыжий был грузным здоровяком двадцати восьми лет, с плоским, невыразительным лицом помощника мясника.

Щуплый буфетчик и еще трое мужчин смотрели на Рыжего с дружелюбным ожиданием, словно готовые в любую минуту расплыться в широких улыбках при первых признаках дружелюбия с его стороны.

Признаков дружелюбия не последовало. На мгновение встретившись с посетителями взглядом, Рыжий фыркнул и вернулся к еде. Взял столовые приборы, и бицепсы его заиграли под

татуировками, под переплетенными символами жажды крови и любви — кинжалами и сердцами.

Буфетчик, подбадриваемый кивками троих сотоварищей, заговорил с изысканной вежливостью.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он, — вы ведь Рыжий Майо?

— Он самый, — произнес Рыжий, не поднимая головы.

За всеобщим облегченным вздохом последовало счастливое бормотание: «Я не сомневался… Я думал, это… Так вот кто это…»

— Ты помнишь меня, Рыжий? — заговорил буфетчик. — Я Слим Корби.

— Да… помню, — бесцветным голосом произнес Рыжий.

— А меня? — с надеждой спросил мужчина постарше. — Джорджа Мотта?

— Привет, — проговорил Рыжий.

— Прими соболезнования по поводу твоих родителей, — сказал Мотт. — Они покинули нас уже очень давно, но я с тех пор тебя не видел. Хорошие были люди. Очень хорошие. — Заметив безразличие в глазах Рыжего, он помедлил. — Ты помнишь меня, Рыжий? Я Джордж Мотт.

— Помню, — сказал Рыжий. Он кивнул на двух оставшихся. — А это Гарри Чайлдс и Стэн Уэст.

«Он помнит… Конечно, помнит… Как Рыжий мог забыть…» — забормотал нервный хор, за которым последовали дальнейшие жесты радушия.

— Ну и ну, — воскликнул Слим, буфетчик, — а я и не думал, что когда-нибудь снова тебя увижу! Думал, ты уехал навсегда.

— Плохо думал, — сказал Рыжий. — Такое бывает.

— Сколько тебя не было, Рыжий? — продолжал Слим. — Восемь лет? Девять?

— Восемь.

— Ты по-прежнему в торговом флоте? — спросил Мотт.

— Я смотритель моста, — сказал Рыжий.

— Правда, и где же? — спросил Слим.

— Прямо перед тобой, — сказал Рыжий.

— Бог ты мой! Вы слышали? — воскликнул Слим. Он хотел было фамильярно хлопнуть Рыжего по плечу, но в последний момент передумал. — Рыжий у нас новый смотритель моста!

«Вернулся… Нашел хорошую работу… Разве не чудесно?..» — подхватил хор.

— Когда приступаешь? — поинтересовался Мотт.

— Приступил, — сказал Рыжий. — Уже два дня как.

Все были потрясены.

«Ничего не слышал об этом… И в голову не приходило посмотреть, кто тут… Уже два дня, а никто и не заметил…» — завел хор волынку.

— Я прохожу по мосту четырежды в день, — сказал Слим. — Ты мог бы хоть сказать «Привет!» или что-то в таком духе. Сам ведь знаешь, обычно человек воспринимает смотрителя моста просто как часть оборудования. Ты наверняка видел и меня, и Гарри, и Стэна, и мистера Мотта… да много кого — и не сказал ни слова?

— Не был готов, — проговорил Рыжий. — Сначала мне нужно было поговорить кое с кем еще.

— О! — сказал Слим. Он постарался придать лицу безразличное выражение, взглянул на товарищей в поисках поддержки, но те лишь пожали плечами.

Слим старался не показывать любопытства, и только движения пальцев выдавали его.

— Только вот этого не надо, — раздраженно произнес Рыжий.

— Чего «этого», Рыжий?

— Не делайте вид, будто не понимаете, о ком я!

— Клянусь Богом, не знаю, Рыжий, — запроте-

стовал Слим. — Тебя так давно не было, где уж тут угадать, кого ты так сильно хочешь видеть.

«Люди приходят и уходят… Столько воды утекло под мостом… Все твои старые друзья уже повзрослели и остепенились…» — подхватил хор.

Рыжий угрюмо усмехнулся — ничего, мол, вы не понимаете.

— Это девушка, — проговорил он. — Я хочу видеть девушку.

— Ооооооооооооооооооооо! — Слим понимающе хохотнул. — Ах ты, старый пес, старый морской волчара. Вдруг потянуло по давним подругам, а?..

Рыжий посмотрел на него, и смешок замер у Слима на губах.

— Давайте развлекайтесь, — сердито произнес Рыжий. — Изображайте из себя тупиц. У вас есть целых пять минут до прихода Эдди Скаддера.

— Эдди?.. — озадаченно проговорил Слим.

Хор замолк, все четверо смотрели прямо перед собой. Рыжий уничтожил все их радушие, оставив взамен страх и замешательство.

Рыжий поджал губы.

— Не можете представить, с чего это Рыжему Майо вдруг понадобилось видеть Эдди Скаддера? — Он сорвался на фальцет, разъяренный про-

стодушием визитеров. — Я и впрямь забыл, что у нас за поселок. Бог ты мой — да ведь здесь все до единого соглашаются говорить одну большую ложь и совсем скоро начинают верить в нее, как будто из Библии вычитали. — Он ударил кулаком по стойке. — Даже моя родня, мои плоть и кровь, и те ни словом не обмолвились в письмах.

Слим, оставшись без поддержки хора, оказался один на один с разъяренным Рыжим.

— Какая ложь? — дрожащим голосом поинтересовался он.

— Какая ложь, какая ложь? — передразнил Рыжий, изображая попугая. — Полли хочет кре-кер! Полли хочет кре-кер! Я в своих путешествиях повидал всякое, но только одна штука может сравниться с вами.

— Какая штука, Рыжий? — Слим говорил, словно безжизненный автомат.

— Да одна южноамериканская змея, знаешь ли. Она ворует детей. Украдет ребенка и воспитывает его, как будто он змея. Учит ползать и все такое. И остальные змеи тоже ведут себя с ним, как будто он змея.

Ему ответил хор: «Никогда не слышал о таком… Змея ворует детей?.. Да быть такого не может…»

— А мы спросим у Эдди, когда он придет, — ска-

зал Рыжий. — Он всегда увлекался природой и всяким зверьем.

Он отвернулся и откусил от гамбургера, давая понять, что разговор окончен.

— Эдди опаздывает, — добавил он с набитым ртом. — Надеюсь, он получил мою записку.

Рыжий подумал о той, с кем отправил записку. Не переставая работать челюстями, опустив глаза, он вернулся мыслями на несколько часов раньше, ближе к полудню. Тогда Рыжему казалось, будто он управляет жизнью поселка из своей будки из стекла и стали, расположенной в шести футах над дорогой. Лишь облака и массивные противовесы моста были выше, чем Рыжий.

В управлении мостом при помощи рычага было чуть-чуть от игры, и вот при помощи этого чуть-чуть Рыжий и притворялся, будто он, словно Бог, управляет поселком. Ему нравилось представлять, что и он, и все, что его окружает, движется, а вода остается неподвижной. Девять лет Рыжий был матросом торгового флота, а смотрителем моста — всего два дня.

Услышав полуденный рев пожарной сирены, Рыжий оторвался от рычага и посмотрел в подзорную трубу на устричную хибару Эдди Скаддера внизу. Хибара на сваях, соединенная с

болотистым солончаковым берегом двумя пружинящими досками, выглядела рахитичной и нелепой. Речное дно под ней представляло блестящий белый круг из устричных раковин.

Восьмилетняя дочь Эдди, Нэнси, вышла из хижины и принялась легонько подпрыгивать на досках, подставляя лицо солнечному свету. Потом вдруг замерла.

Рыжий согласился на эту работу, только чтобы иметь возможность наблюдать за ней. Он знал, почему Нэнси застыла — это была прелюдия к церемонии. Церемонии расчесывания сияющих рыжих волос.

Пальцы Рыжего заиграли на трубе, словно это кларнет.

— Привет, Рыжая, — прошептал он.

Нэнси расчесывала, и расчесывала, и расчесывала каскад рыжих волос. Глаза ее были закрыты, и, казалось, каждое движение наполняет ее терпко-сладостным экстазом.

Расчесывание утомило ее. Девочка прошла по соленой пойме и ступила на дорогу, ведущую к мосту. Каждый день ровно в полдень Нэнси пересекала мост, приходила в закусочную на другом конце и покупала горячий обед для себя и отца.

Рыжий с улыбкой наблюдал, как девочка идет

по мосту.

Заметив его улыбку, она коснулась волос.

— Они на месте, — сказал Рыжий.

— Кто?

— Твои волосы, Рыжая.

— Я ведь вам вчера говорила, меня зовут не Рыжая. Я Нэнси.

— Как можно звать тебя иначе чем Рыжей?

— Это вас зовут Рыжим.

— Значит, я имею право передать тебе это имя, если захочу, — сказал Рыжий. — Не знаю никого, кто имел бы на это больше прав.

— Мне даже разговаривать с вами нельзя, — беззаботно проговорила девочка, словно дразня его своей благопристойностью.

В ней не было недоверия. В их встречах было что-то сказочное — где Рыжий представал не обычным незнакомцем, а гениальным волшебником, хозяином чудесного моста. Волшебником, который как будто знал о девочке больше, чем она сама.

— Разве я не говорил тебе, что тоже вырос в этом поселке, как и ты? — сказал Рыжий. — Не говорил, что ходил в школу с твоими мамой и папой? Ты не веришь мне?

— Верю, — кивнула Нэнси. — Но мамочка го-

ворила мне, что маленькие девочки не должны разговаривать с людьми, если их друг другу не представили.

Рыжий не дал прозвучать в голосе саркастическим ноткам.

— Она была настоящая леди, верно? — сказал он. — Уж она знала, как должны себя вести маленькие мальчики и девочки. Да, сэр, она была просто золото — мухи не обидит.

— Все так говорят, — гордо проговорила Нэнси. — Не только мы с папочкой.

— С папочкой, а? — сказал Рыжий. Он передразнил ее. — Папочка, папочка, папочка… Эдди Скаддер мой большой папочка. — Он склонил голову набок. — Ты ведь не сказала ему, что я здесь, верно?

Нэнси вспыхнула.

— Я же дала честное слово!

Рыжий усмехнулся и покачал головой.

— Уверен, он здорово обрадуется, когда я словно с неба свалюсь после стольких лет.

— Когда мама еще не умерла, она говорила мне, что ни в коем случае нельзя нарушать честное слово, — сказала Нэнси.

Рыжий хмыкнул.

— Она была очень серьезная девушка, твоя

мама. Когда мы учились в школе, другие девочки были не прочь немного поразвлечься, прежде чем остепениться. Только не Вайолет, нет, сэр. Я тогда отправился в первое плавание… а когда через год вернулся, она уже вышла замуж за Эдди, и у нее была ты. Но когда я увидел тебя в первый раз, никаких волос у тебя еще не было.

— Мне пора, я должна отнести папочке обед, — сказала Нэнси.

— Папочка, папочка, папочка, — проговорил Рыжий. — Папочке надо то, папочке нужно это. Здорово, должно быть, иметь такую милую и умную дочь. «Папочка, папочка…» Ты спросила папочку про рыжие волосы, как я говорил?

— Он сказал, такое обычно передается по наследству, но иногда просто берется ниоткуда, как у меня.

Ее рука потянулась к волосам.

— Они на месте, — сказал Рыжий.

— Кто?

— Твои волосы, Рыжая! — Он расхохотался. — Клянусь, случись что-нибудь с твоими волосами, и ты просто высохнешь, и тебя унесет ветерком. Берется ниоткуда, говоришь? Так тебе Эдди сказал? — Рыжий неторопливо кивнул. — Уж он-то знает. Эдди в свое время уж наверняка немало

поразмышлял насчет рыжих волос. Вот возьми, например, мою семью: родись у меня вдруг ребенок не с рыжими волосами, все тут же начали бы судить-рядить. В нашей семье все рыжие испокон веку.

— Это очень интересно, — сказала Нэнси.

— И чем больше об этом думаешь, тем интересней, — кивнул Рыжий. — Ты, я да мой старик — единственные рыжие, когда-либо жившие в этом поселке. А теперь, когда мой старик умер, нас осталось двое.

Нэнси по-прежнему оставалась безмятежной.

— Ах, — сказала она, — до свидания.

— Пока, Рыжая.

Когда Нэнси ушла, Рыжий достал подзорную трубу и принялся разглядывать устричную лачугу Эдди. Через стекло он видел, как Эдди, серо-голубой в полумраке, чистит устриц. Эдди был маленький человечек с огромной, величественной, печально понурившейся головой. Головой юного Иова.

— Привет, — прошептал Рыжий. — Угадай-ка, кто пришел.

Когда Нэнси вышла из закусочной с увесистым, теплым бумажным мешком, Рыжий снова остановил ее.

— Слууууууушай, — протянул он, — может, ты, когда вырастешь, станешь медсестрой — уж больно ты хорошо присматриваешь за стариной Эдди. Жаль, не было у меня таких медсестер, когда я лежал в больнице.

Нэнси озабоченно нахмурилась.

— Вы лежали в больнице?

— Три месяца, Рыжая, в Ливерпуле, и рядом ни друга, ни родственника, чтобы навестить меня или хотя бы послать открытку. — Он погрустнел. — Забавно, Рыжая — я никогда не осознавал, как я одинок, пока не заболел. Пока не понял, что больше не видать мне моря. — Он облизнул губы. — Так вот все переменилось, Рыжая. — Он потрещал костяшками пальцев. — Мне вдруг очень захотелось иметь свой дом. И кого-то, чтобы заботился обо мне, составлял мне компанию — может, вон в том домике неподалеку. У меня ничего не было, Рыжая, кроме справки, которую мне выдал помощник капитана. А для человека с одной ногой она не стоит даже бумаги, на которой напечатана.

Нэнси была потрясена.

— У вас всего одна нога?

— Вчера я был сумасшедшим крутым парнем, которого каждый уважал. — Рыжий обвел рукой

поселок. — А сегодня я старый, старый человек.

Нэнси кусала кулак, сопереживая ему.

— И у вас нет ни мамочки, ни какой-нибудь знакомой дамы, чтобы о вас заботиться? — Всей позой она словно предлагала ему услуги дочери, как будто это самая обычная вещь, свойственная любой хорошей девочке.

Рыжий покачал головой.

— Они все умерли, — сказал он. — Моя мать умерла, и единственная девушка, которую я любил, тоже умерла. А знакомые дамы — чего уж тут ждать, если любишь не их, а призрак.

Личико Нэнси скривилось — Рыжий открывал ей ужасы реальной жизни.

— Зачем же вы живете здесь, если так одиноки? Почему не там, внизу, где живут ваши старые друзья?

Рыжий поднял бровь.

— Старые друзья? Хороши друзья, которые даже не прислали мне открытку, не сообщили, что у ребенка Вайолет сияющие рыжие волосы. Даже мои старики ничего мне не сказали!

Ветер усилился, и за его шумом голос Нэнси прозвучал словно издалека.

— Папин обед остынет, — сказала она и двинулась прочь.

— Рыжая!

Она остановилась и коснулась волос, по-прежнему спиной к нему.

Как Рыжий жалел, что не видит ее лица.

— Скажи Эдди, что я хочу поговорить с ним, ладно? Скажи, что мы встретимся в закусочной, когда я закончу смену — минут в десять шестого.

— Хорошо, — проговорила Нэнси. Голос ее был чистым и спокойным.

— Честное слово?

— Честное слово, — сказала она и пошла прочь.

— Рыжая!

Рука девочки потянулась к волосам, но она не сбавила шаг.

Рыжий наблюдал за ней в подзорную трубу, но она знала, что он смотрит, и старалась идти так, чтобы не поворачиваться к нему лицом. А как только Нэнси вошла в устричную лачугу, на окне, выходящем на мост, задернули занавеску.

Оставшуюся часть дня в лачуге не было никакого движения, словно там никто и не жил. Только раз, перед закатом, на пороге показался Эдди. Он даже не взглянул на мост и тоже старался не показывать лицо.

Скрип вертящегося табурета вернул Рыжего

к действительности. Он моргнул на заходящее солнце и увидел силуэт Эдди Скаддера. Тот шел по мосту — большеголовый, кривоногий, с маленьким бумажным пакетом в руке.

Рыжий повернулся спиной к двери, сунул руку в карман куртки, извлек оттуда пачку писем, положил на стойку перед собой и прижал письма пальцами, как картежник.

— А вот и наш герой, — проговорил он.

Никто не сказал ни слова.

Эдди вошел в закусочную без колебаний, коротко поприветствовал присутствующих — Рыжего в последнюю очередь.

— Привет, Рыжий. Нэнси сказала, ты хотел меня видеть.

— Это точно, — кивнул Рыжий. — Здесь никто и не догадывается зачем.

— Нэнси тоже не сразу сообразила. — В голосе Эдди не было и намека на возмущение.

— Но в конце концов просекла?

— Просекла, насколько это возможно для восьмилетней девочки, — сказал Эдди.

Он сел на табурет рядом с Рыжим и пристроил пакет на стойку около писем. Почерк на конвертах не оставил Эдди равнодушным, и ему стоило усилий скрыть удивление от Рыжего.

— Слим, налей мне, пожалуйста, кофе, — сказал он.

— Может, стоит поговорить один на один? — предложил Рыжий.

Невозмутимость Эдди несколько обескуражила его. Он помнил его как обычную деревенщину.

— Какая разница, — ответил Эдди. — Бог все равно все видит.

Неожиданного участия в происходящем Бога Рыжий тоже никак не ожидал. В мечтах на больничной койке все нити были в руках у него — нити, накрепко привязанные к праву человека любить плоть от плоти и кровь от крови его. В мечтах Рыжий был главным, и теперь почувствовал, что необходимо подчеркнуть важность своей миссии.

— Во-первых, — со значением проговорил он, — мне плевать, как к этому относится закон. Мое дело выше этого.

— Хорошо, — сказал Эдди. — Тогда нам нужно договориться. Я надеялся, что у нас получится.

— Значит, мы толкуем об одном и том же, — кивнул Рыжий. — Раз так, тогда я скажу прямо: я отец этого ребенка, не ты.

Эдди помешивал кофе — рука его не дрожала.

— Мы толкуем об одном и том же, — сказал он.

Слим и трое других в отчаянии уставились в окна.

Эдди все мешал и мешал ложечкой кофе.

— Продолжай, — безмятежно произнес он.

Рыжий был озадачен — все происходило куда быстрее, чем он себе представлял, и в то же время явно никуда не вело. Он сказал самые главные слова, ради которых все и затевалось, и ничего не изменилось — и, кажется, не собиралось меняться.

— Здесь все с тобой заодно, делают вид, будто ребенок твой, — раздраженно проговорил он.

— Они добрые соседи, — сказал Эдди.

Мозг Рыжего превратился в клубок вариантов, которые он еще не использовал, вариантов, которые теперь тоже никуда не вели.

— Я хотел бы провести анализы крови, чтобы точно установить, кто отец, — сказал он. — Ты не против?

— Неужели непременно нужно пускать кровь, чтобы мы поверили друг другу? — проговорил Эдди. — Я ведь сказал, что согласен с тобой. Ты ее отец. Все это знают. Как они могут не знать?

— Она сказала тебе, что я потерял ногу? — нервно спросил Рыжий.

— Да. Это впечатлило ее больше всего. Такие

вещи очень впечатляют восьмилетних.

Рыжий посмотрел на свое отражение в блестящем кофейнике и увидел, что глаза его сделались влажными, а лицо залилось краской. Отражение подтвердило, что он говорил хорошо, а остальное — пустяки.

— Эдди, эта девочка моя, и я хочу ее забрать.

— Мне очень жаль, Рыжий, — сказал Эдди, — но ты ее не заберешь. — Его рука впервые дрогнула, и ложечка звякнула о край чашки. — Лучше бы тебе уйти.

— Думаешь, это пустяки? — воскликнул Рыжий. — Думаешь, человек может вот так вот отвернуться, словно от какой-то ерунды? Отвернуться от собственного ребенка и просто забыть?

— Поскольку я не отец, — сказал Эдди, — я могу только предполагать, что ты чувствуешь.

— Это шутка?

— Не для меня, — ровным тоном произнес Эдди.

— Хочешь таким способом сказать мне, что ты ей больше отец, чем я?

— Если я не сказал этого, значит, скажу, — проговорил Эдди. Рука его затряслась так, что пришлось положить ложечку и ухватиться за край стойки.

Рыжий видел, как Эдди испуган, видел, что его спокойствие и невозмутимость были притворством. Теперь Рыжий почувствовал свою силу, почувствовал, как все становится на свои места, почувствовал близость счастья и благополучия, о которых столько мечтал. Теперь он стал главным, у него было что сказать, и было для этого время.

То, что Эдди пытался блефовать, что пытался смутить его и почти преуспел, разъярило Рыжего, а на гребень этой ярости взлетела вся его ненависть к холодному и пустому миру. Все его существо теперь жаждало раздавить маленького человечка, сидящего перед ним.

— Это ребенок Вайолет и мой, — сказал он. — Она никогда не любила тебя.

— Я надеюсь, что любила, — кротко произнес Эдди.

— Она вышла за тебя, потому что думала, я никогда не вернусь. — Рыжий схватил верхнее письмо из стопки и помахал им у Эдди перед носом. — Она сама мне об этом писала — и в этом письме тоже — очень подробно писала!

Эдди не стал брать письмо.

— Это было очень давно, Рыжий. За такое время много чего может случиться.

— Я скажу тебе, чего не случилось! Она не пере-

стала писать. И в каждом письме умоляла меня вернуться.

— Думаю, такие вещи продолжаются какое-то время.

— Какое-то время? — Рыжий быстро перелистал письма и положил одно перед Эдди. — Взгляни на дату. Просто взгляни на дату на этом письме.

— Не хочу, — сказал Эдди и поднялся с места.

— Ты боишься! — воскликнул Рыжий.

— Верно, боюсь. — Эдди закрыл глаза. — Уезжай, Рыжий. Пожалуйста, уезжай.

— Прости, Эдди, — сказал Рыжий, — но ничто не заставит меня уехать. Рыжий вернулся домой.

— Спаси тебя Господь, — проговорил Эдди и направился к двери.

— Ты забыл свой пакет, — сказал Рыжий. Нога его постукивала по полу.

— Это тебе, — ответил Эдди. — От Нэнси. Идея была ее, не моя. Бог свидетель, я бы остановил ее, если бы знал. — Он плакал.

Эдди вышел из закусочной и отправился по мосту в сгущающейся темноте.

Слим и трое других словно обратились в камень.

— Бог ты мой! — крикнул им Рыжий. — Это же моя плоть и кровь! Самое важное, что только есть

на свете! Да что может заставить меня уехать?

Никто не ответил.

Ужасная усталость вдруг навалилась на Рыжего — последствие схватки. Он впился губами в тыльную сторону ладони, словно высасывая ранку.

— Слим, — проговорил он. — Что в этом пакете?

Слим открыл пакет и заглянул внутрь.

— Волосы, Рыжий, — сказал он. — Рыжие волосы.

Слово чести

© Перевод. М. Клеветенко, 2020

Чарли Хоуз возглавлял полицейский участок в деревушке на Кейп-Код. Летом под его началом служили четверо патрульных, зимой оставался один. А сейчас зима подходила к концу, единственный патрульный слег с гриппом, да и Чарли что-то расклеился. Только убийства ему и не хватало. Кто-то до смерти забил Эстель Фалмер, разбитную официанточку из «Синего дельфина».

Ее нашли на болоте в субботу; смерть, по словам судмедэксперта, наступила вечером в четверг.

Чарли Хоуз считал, что знает убийцу. Эрл Хедлунд. У Эрла достало бы подлости, да и мотив имелся. Однажды в «Синем дельфине» Эстель отшила его в таких выражениях, каких никто себе не позволял. Трогать Эрла считалось себе дороже, такой прикончит — не задумается.

И теперь Чарли хотел навестить Эрла для допроса. Жена собирала его в дорогу.

— Знал бы, что дойдет до убийства, — сказал Чарли, — ни за что бы не взялся за эту работу.

— С собакой осторожнее, — посоветовала жена,

укутывая мужнину шею теплым кашне.

— Пес лает, но не кусает.

— Так и про Эрла говорят.

Пса размером с пони — помесь дога и волкодава — звали Сатаной. Эрл не был хозяином пса, но большую часть времени тот проводил рядом с домом, распугивая непрошеных гостей. Эрл прикармливал Сатану, получая задешево сторожевую собаку. Эти двое стоили друг друга: громогласные и готовые загрызть любого.

Стоял вечер субботы, и Чарли надеялся застать хозяина на месте. Впрочем, застать его было немудрено в любой день недели. Эрл получил хорошее наследство и работой себя не утруждал; при известной ловкости, бережливости и привычке следить за биржевыми котировками на жизнь ему хватало. Бурную деятельность Эрл развивал, когда приносили газеты: внимательно изучал финансовую колонку, чертил графики.

Собачий лай Чарли услышал еще на подъезде. Эрла не было. Дом оказался заперт, газеты на крыльце прижаты кирпичом, чтобы не разлетелись. Чарли пересчитал их. Четыре штуки, пятничная сверху, субботнюю еще не доставляли. По всему выходило, что Эрл, как бы ни злился на Эстель, не убивал ее. Его в тот день просто не

было в деревне.

Разглядывая числа, Чарли обнаружил нечто интересное: не хватало газеты за четверг.

Собачий лай приближался, и очень быстро. Чарли решил, что пес учуял его запах, и внутренне собрался, стараясь не выдать страх. Полицейский разделял мнение деревенских насчет Сатаны. Пес безумен. Он еще не успел испробовать ни на ком свои клыки, но случись такое, загрызет жертву до смерти.

Затем Чарли увидел, на кого лаял пес. Сатана несся рядом с мальчишкой-велосипедистом, скаля пасть, вертя мордой, разрубая воздух зубами размером с хороший мясницкий тесак.

Мальчишка смотрел прямо перед собой, притворяясь, будто не замечает собаку. Таких храбрых людей Чарли встречать еще не доводилось. Звали героя Марк Кросби. Десятилетний Марк служил разносчиком газет.

— Марк, — начал полицейский. Пес со своими ужасными клыками тут же переключился на Чарли, изо всех сил стараясь добавить седых волос в его редеющую шевелюру. Если бы не стыд перед юным храбрецом, полицейский давно нырнул бы в машину.

— Не видал мистера Хедлунда?

— Не-а, сэр, — отвечал Марк, отдавая дань уважения полицейской форме, затем подсунул под кирпич субботнюю газету. — Его нет уже неделю, сэр.

Наконец, устав от этих упрямых храбрецов, Сатана с оглушительным стуком растянулся на крыльце, только время от времени лениво порыкивал.

— А куда он уехал, не знаешь?

— Не-а, сэр, — повторил Марк, — он не говорил и от доставки не отказался.

— Ты приносил газету в четверг?

Марка покоробило, что его другу полицейскому приходится спрашивать.

— А как же, таковы правила. Если газеты не забирают, но от доставки не отказываются, их приносят еще шесть дней. — Мальчишка кивнул. — Таковы правила, мистер Хоуз.

Серьезность, с которой Марк рассуждал о правилах, заставила полицейского вспомнить о том, как славно быть десятилетним. Жалко, что нельзя остаться таким навсегда, подумал Чарли. Если бы люди оставались десятилетними, возможно, у правил, приличий и здравого смысла был бы хоть мизерный шанс.

— А ты, ты уверен, что не пропустил четверг,

Марк? — настаивал Чарли. — Никто тебя не осудит: мокрый снег, газеты все равно никто не забирал, длинный подъем, эта громадная псина не дает проходу.

Марк поднял правую руку.

— Даю слово, — произнес он, — что доставил газету в четверг.

Этого Чарли хватило с лихвой. Вопрос был решен раз и навсегда.

И вот, когда дело было закрыто, на дороге появился старый двухместный автомобиль Эрла Хедлунда. Ухмыляясь, тот вылез из машины, Сатана взвыл, подпрыгнул и облизал Эрлу ладонь.

Местный грубиян и задира, к тридцати пяти Эрл раздался вширь и полысел, но вызывающая ухмылка по-прежнему обещала неприятности любому. Ему никогда не удавалось обвести Чарли, и за это Эрл ненавидел полицейского.

Ухмылка стала шире, когда Чарли подошел к его машине и вытащил ключ зажигания.

— Что, Чарли, насмотрелся на копов в телевизоре? — спросил Эрл.

— Насмотрелся, — отвечал тот. И не соврал.

— Я бежать не собираюсь, — сказал Эрл. — Прочел в Провиденсе про бедняжку Эстель и решил, что ты захочешь меня увидеть. Поэтому и вернул-

ся. Чтобы ты не забивал себе голову глупостями, будто это я ее прикончил.

— Спасибо, — буркнул Чарли.

— Я всю неделю провел у брата. Под присягой он подтвердит. Каждую минуту. — Эрл подмигнул. — Устраивает?

Чарли хорошо знал его братца-подонка. Избивать женщин тот не вышел ростом, поэтому практиковался на лежачих. Тем не менее суд наверняка прислушается к его словам.

Эрл присел на ступеньку, подцепил верхнюю газету в стопке и развернул на финансовых новостях. Затем вспомнил, что по субботам не печатают биржевых котировок. С досады Эрла перекосило.

— У тебя бывают посетители, Эрл? — спросил Чарли.

— Посетители? — насмешливо переспросил тот, не отрываясь от скудных финансовых новостей. — Сдались мне твои посетители!

— Ремонтники? Прохожие? Дети? — не унимался Чарли. — Охотники?

Вместо ответа Эрл презрительно фыркнул. Ему нравилось думать, что ни у кого не хватит духу сунуться к его дому.

— Все, что нуждается в починке, я чиню сам. А

прохожие, дети, охотники и прочие дают деру при одном виде этого пса — мы тут не рады чужим.

— В таком случае кто забрал четверговую почту? — спросил Чарли.

На миг газета провисла в руках Эрла, затем он вновь расправил ее, притворяясь, будто финансовые новости интересуют его куда больше слов Чарли.

— Что за чушь ты несешь про четверговую почту?

Чарли объяснил, что за чушь он несет: если Эрл забрал газету в четверг, значит, он возвращался в Кейп-Код вечером, когда убили Эстель.

— Если ты был тут в четверг вечером, — сказал Чарли, — ты проглядел бы биржевую колонку.

Эрл отложил газету и окинул Марка тяжелым взглядом.

— Никакой газеты в четверг не было, потому что этот лентяй ее не донес.

— Он дал слово, что приносил газету, — возразил Чарли.

Эрл снова углубился в новости.

— Мальчишка не только лентяй, но и врун.

Чарли порадовался, что не прихватил оружие. Иначе он пристрелил бы Эрла Хедлунда на месте. Убийство вылетело у Чарли из головы. На его

глазах совершалось преступление куда хуже — и у этого преступления не было имени, как не было против него закона.

Бедный Марк был сокрушен. Единственным утешением в этой долине плача было его честное слово, а Эрл смешал честь с грязью.

— Он дал слово! — выпалил Чарли.

Эрл, не поднимая глаз от газеты, грязно выругался.

— Мистер Хоуз… — начал Марк.

— Что, Марк? — спросил Чарли.

— У меня, у меня есть кое-что получше слова.

Чарли терялся в догадках. Заинтересовался и Эрл. Псу и тому не терпелось узнать, что на свете может быть выше слова десятилетнего мальчишки.

А Марк сиял, уверенный, что докажет — хотя бы в пику Эрлу — свою правоту.

— В четверг я приболел, — сказал Марк, — поэтому газету принес мой отец.

Таким тоном мальчишка мог бы сказать, что газету доставил сам Господь.

Чарли Хоуз выдавил улыбку. Мальчишка только что лишил его единственной улики. Отец Марка, возможно, и был храбрецом, в своем роде, но только не тогда, когда дело касалось собак и

Эрла Хедлунда, которых он всю жизнь обходил стороной.

Эрл Хедлунд грубо захохотал.

— Спасибо, Марк, — вздохнул Чарли, — спасибо за информацию. Можешь отправляться дальше по маршруту.

Полицейский не хотел вдаваться в подробности, однако Эрл собрался выжать из ситуации все.

— Парень, — обратился он к Марку, — мне неприятно говорить тебе об этом, но второго такого труса, как твой папаша, в деревне не сыскать.

Эрл отложил газету и выпрямился — пусть Марк видит, как выглядит настоящий мужчина.

— Заткнись, Эрл, — посоветовал Чарли.

— Заткнуться? Минуту назад сопляк чуть не усадил меня на электрический стул.

— На электрический стул? — изумился Марк. — Я только сказал, что газету доставил мой отец!

Свинячьи глазки Эрла заблестели. По этому блеску, а еще по тому, как подобрался Эрл, Чарли понял, перед ним — убийца. Эрл готов был придушить мальчишку, но присутствие Чарли связывало ему руки. И тогда он решил поступить не менее жестоко — уничтожить мальчишку словом.

— Возможно, твой папаша и наплел тебе, что доставил газету, — сказал Эрл, — но вот что я скажу: он не приблизился бы к этой собаке и за миллион, а ко мне — за все десять! — Он поднял правую руку. — Даю тебе честное слово, парень!

Однако даже этого ему было мало. Эрл пустился в пересказ историй о том, как отцу Марка в детстве случалось удирать со всех ног, хныкать и просить пощады, и как, став взрослым, он всегда уходил от опасности. И во всех историях опасность воплощали либо собака, либо Эрл Хедлунд.

— Слово скаута, честное слово, готов присягнуть на стопке Библий — да на чем угодно, — закончил Эрл, — что я говорю правду.

Марку оставалось только молча глотать слезы — то, чего он поклялся не делать никогда в жизни. Затем мальчишка взобрался на велосипед и покатил восвояси.

На сей раз пес не бросился ему вслед. Сатана понял, что загнать Марка — невелика честь.

— И ты убирайся, мерзавец, — буркнул Эрл.

Из-за Марка у Чарли так защемило сердце, что он прислонился к стене и на миг прикрыл глаза. Открыв их, он увидел в окне свое отражение: пожилого и усталого мужчину, состарившегося в попытках сделать мир таким, каким он видится

десятилетним мальчишкам.

И тут Чарли заметил газету на кресле под окном, тщательно запертым изнутри. Прочел дату. Газета за четверг, открытая на финансовом развороте. Этого было достаточно, чтобы доказать: Эрл уехал в Провиденс ради алиби, а в четверг вернулся тайком и убил Эстель.

Впрочем, сейчас Чарли не заботили ни Эрл, ни Эстель. Он думал о Марке и его отце.

Эрл понял, что́ увидел Чарли сквозь стекло. Он вскочил и оскалил зубы. Рука сжала загривок пса, тоже готового к драке.

Чарли не принял вызов. Вместо этого полицейский забрался в патрульную машину.

— Никуда не уходи, — велел он Эрлу и поехал вниз.

Чарли нагнал мальчишку у поворота с холма.

— Марк! — крикнул он. — Твой отец доставил газету. Она там, в доме. Доставил, несмотря на мокрый снег, собаку, несмотря ни на что!

— Хорошо, — произнес Марк уныло — рана, нанесенная Эрлом, еще не затянулась. — А те вещи, которые мистер Хедлунд говорил об отце, ведь им не обязательно быть правдой, даже если он дал честное слово, а, мистер Хоуз?

У Чарли был выбор. Он мог солгать, назвав

слова Эрла выдумкой. Мог сказать правду и надеяться, что Марк поймет: все эти россказни делают поступок его отца одной из славных страниц деревенской истории.

— Чистая правда, Марк, — сказал Чарли. — Твой отец таким уродился, а еще голубоглазым и рыжеволосым — не станешь же ты пенять ему за это? Нам с тобой не понять, каково это, испытывать столько страхов. И только большой храбрец может с ними жить. Представь на минуту, каким смельчаком показал себя твой отец, рискнув отвезти газету Эрлу Хедлунду, чтобы не нарушить правила.

Марк задумался и, наконец, кивнул, успокоившись. Его отец оказался тем, кем полагается быть отцу десятилетнего мальчишки — настоящим героем.

— А мистер Хедлунд… он и вправду убийца?

— Ради всего святого! — воскликнул Чарли и сжал виски ладонями, пытаясь заставить мозг работать быстрее. — Забудь ты про убийство!

Он развернул машину и рванул к дому Эрла. Того и след простыл. Исчез и пес. Оба ушли через лес.

Два часа спустя поисковый отряд обнаружил Эрла. Сатана загрыз его на пути к железной до-

роге. Коронер потребовал, чтобы все изложили свои версии, почему пес бросился на Эрла.

Лучшей оказалась версия Чарли. Чарли решил, что пес учуял запах страха, исходивший от Эрла, понял, что тот в бегах, — и напал на него.

— Эрл первый из людей не стал скрывать от пса свой страх, — сказал Чарли на следствии, — вот Сатана его и убил.

Лохматый пес Тома Эдисона

© Перевод. Е. Романова, 2020

Как-то солнечным утром на скамейке в парке Тампы, Флорида, сидели два старика: один упорно пытался читать явно интересную книгу, а второй, Гарольд К. Баллард, пронзительным голосом — казалось, он вещает через громкоговоритель — рассказывал первому историю своей жизни. Лабрадор Балларда, лежавший у их ног, тоже докучал незнакомцу: большим влажным носом тыкался ему в лодыжки.

До выхода на пенсию у Балларда была весьма насыщенная жизнь, и теперь он с удовольствием вспоминал свое славное прошлое. Однако он столкнулся с проблемой, которая обычно усложняет жизнь каннибалам, а именно: одну жертву нельзя использовать повторно. Любой, кто проводил солнечный день в компании этого старика и его пса, впредь категорически отказывался делить с ними скамейку.

Потому-то Баллард и пес каждый день разгуливали по парку в поисках незнакомых лиц. Сегодня утром им повезло: они сразу наткнулись

на незнакомца, причем совсем недавно приехавшего во Флориду — он еще не избавился от теплого шерстяного костюма с жестким воротником и не успел найти занятия интересней, чем чтение.

— Да-а, — протянул Баллард, заканчивая первую часовую порцию своего повествования, — жизнь у меня была веселая: пять раз богател и пять раз терял все до последнего гроша.

— Вы уже говорили, — сказал незнакомец, чьего имени Баллард не удосужился спросить. — Фу, плохой пес! Фу, фу! — прикрикнул он на собаку, которая с небывалой агрессией принялась за его лодыжки.

— Неужели рассказывал? — удивился Баллард.

— Дважды.

— Два состояния я заработал на недвижимости, одно на металлоломе, одно на нефти и одно на грузоперевозках.

— Да-да, вы говорили.

— В самом деле? Похоже на то. Два на недвижимости, одно на металлоломе, одно на нефти и одно на грузоперевозках. Ох и время было — золотое!

— Несомненно, — ответил незнакомец. — Простите, вы не могли бы куда-нибудь убрать свою

собаку? Она без конца…

— О, мой пес — добрейшее существо на планете! — сердечно воскликнул Баллард. — Право, не нужно его бояться.

— Да я и не боюсь, просто он без конца обнюхивает мои лодыжки — я скоро с ума сойду.

— Пластмасса, — хохотнул Баллард.

— Простите? — не понял незнакомец.

— На ваших гетрах, должно быть, есть что-то пластмассовое. Держу пари, это пуговицы! Ну конечно, провались я на этом месте, если дело не в них! Этот пес души не чает в пластмассе. Ей-богу, стоит ему хоть крошку найти, так он готов нюхать ее до скончания века. Видимо, чего-то не хватает в организме… Но клянусь, он питается лучше меня! Однажды сжевал целый пластмассовый ящик для сигар, представляете? Эх, я бы сейчас вовсю ими торговал, если б доктора не велели мне уйти на покой. Говорят, моему моторчику нужен отдых.

— Вы могли бы привязать своего пса вон к тому дереву, — сказал незнакомец.

— Силы небесные, как меня злит нынешняя молодежь! — заявил Баллард. — Слоняются туда-сюда, не зная, куда себя деть. Но ведь сегодня человек может найти себе столько применений!

Знаете, что говорил на этот счет Хорас Грили?

— У него мокрый нос, — сказал незнакомец, пряча ноги. Пес тут же рванул за ними под лавку. — Да перестань же!

— Мокрый нос у собаки — признак крепкого здоровья! «Будущее за пластмассой, молодой человек, — вот что говорил Хорас Грили. — Будущее за атомом, молодой человек!»

Пес явно определил точное местоположение пуговиц на гетрах незнакомца и склонял голову то на один бок, то на другой, раздумывая, как бы впиться зубами в этот деликатес.

— Фу! Брысь! — сказал незнакомец.

— «Будущее за электроникой, молодой человек!» — воскликнул Баллард. — И не говорите мне, что у молодых сегодня нет возможностей. Да возможности стучат во все двери этой великой страны, только пустите! В пору моей молодости человеку приходилось искать их и тащить за уши, но сегодня…

— Простите, — спокойно проговорил незнакомец, захлопнул книгу, встал и вырвал ногу из пасти собаки. — Мне пора идти. Всего доброго.

Он прошел немного по парку, нашел свободную скамейку, со вздохом сел и начал читать. Не успело его дыхание вернуться в норму, как он

вновь почувствовал на своей лодыжке мокрую губку собачьего носа.

— А, это вы! — воскликнул Баллард. — Он вас выследил. Гляжу, а он след чей-то взял. Ну, я не стал ему мешать, пошел за ним. Что я вам говорил про пластмассу? — Он удовлетворенно осмотрелся по сторонам. — Хорошо, что вы сюда перебрались. Там было душновато. Ни тени, ни ветерка…

— Если я куплю вашему псу пластмассовый ящик для сигар, он отстанет? — спросил незнакомец.

— Отличная шутка, отличная! — добродушно сказал Баллард и тотчас с размаху хлопнул незнакомца по коленке. — Слу-ушайте-ка, а вы, случаем, сами пластмассой не занимаетесь? Я тут чешу языком про пластмассу, а это, может, по вашей части!

— По моей части? — решительно переспросил незнакомец и отложил книгу. — Простите… у меня нет никакой такой «части». Я скитаюсь по свету с тех пор, как Эдисон показал мне анализатор ума.

— Эдисон? — взвился Баллард. — Томас Эдисон, изобретатель?

— Если хотите так его называть, пожалуйста, я

не возражаю, — ответил незнакомец.

— Если я хочу? — усмехнулся Баллард. — Как еще называть изобретателя лампочки и прочих полезных вещей!

— Если вам нравится думать, что он изобрел лампочку, извольте. Никакого вреда в этом нет. — Незнакомец снова открыл книгу и принялся читать.

— Вы что же, смеетесь надо мной? — подозрительно спросил Баллард. — Что еще за анализатор ума? Первый раз слышу о такой штуке.

— Разумеется, — ответил незнакомец. — Вы и не могли слышать, потому что мы с мистером Эдисоном поклялись хранить это в секрете. Мистер Эдисон нарушил клятву и рассказал про анализатор Генри Форду, но Форд заставил его поклясться снова. Ради блага всего человечества.

Баллард не на шутку заинтересовался.

— А этот анализатор ума… Стало быть, он анализировал ум, правильно я понимаю?

— Нет, взбивал масло.

— Да бросьте, я же серьезно! — усмехнулся Баллард.

— А может, в самом деле лучше кому-то выговориться… — сказал незнакомец. — Вы не представляете, какой это ужас — держать все в

себе год за годом. Но откуда мне знать, что вы не разболтаете мой секрет?

— Слово джентльмена! — заверил его Баллард.

— На более убедительную гарантию рассчитывать не приходится, верно? — рассудительно спросил незнакомец.

— Ее просто не может быть! — гордо ответил Баллард. — Клянусь собственной жизнью!

— Что ж, хорошо. — Незнакомец откинулся на спинку скамейки, прикрыл глаза и, по всей видимости, отправился в прошлое. Он просидел молча целую минуту, и все это время Баллард почтительно ждал.

— Это случилось осенью тысяча восемьсот семьдесят девятого года, — наконец тихо проговорил незнакомец. — В деревне Менло-Парк, Нью-Джерси. Мне тогда было девять лет. В лаборатории по соседству с моим домом поселился человек, которого вся округа считала колдуном: там постоянно что-то сверкало, гремело и творились прочие страшные вещи. Соседским детям запрещалось не только подходить к лаборатории, но и шуметь — чтобы не злить колдуна. С Эдисоном мы познакомились не сразу, а вот его пес Спарки быстро стал моим добрым приятелем. Спарки был очень похож на вашего питомца, и

мы с ним носились по всей округе. Да-да, сэр, он был копия вашего пса.

— Неужели? — Баллард был польщен.

— Ей-богу, — ответил незнакомец. — Однажды днем мы со Спарки так заигрались, что подлетели к самой двери эдисоновской лаборатории. Не успел я и глазом моргнуть, как Спарки втащил меня в дом, и — бац! — в следующий миг я уже сидел на полу кабинета и глазел на Эдисона.

— Представляю, как он разозлился! — восхищенно проговорил Баллард.

— Вы лучше представьте, как я испугался, — сказал незнакомец. — Я подумал, что передо мной стоит Сатана в человеческом обличье. Из ушей Эдисона торчали провода, бежавшие к маленькой черной коробочке, что лежала у него на коленях. Я хотел дать деру, но он поймал меня за шиворот и заставил сесть.

«Мальчик, — сказал он мне, — я хочу, чтобы ты запомнил: самое темное время суток — перед рассветом».

«Да, сэр», — проронил я.

«Вот уже больше года, — продолжал Эдисон, — я пытаюсь найти подходящий материал для нити в лампе накаливания. Волосы, струны, щепки — ничего не годится. Но пока я бился над этой

задачей, потихоньку мне пришла в голову другая идея. Над ней-то я сейчас и работаю — выпускаю пар, так сказать. Вот собрал любопытное устройство. — Он показал на черную коробочку. — Я подумал, что ум — это тоже своего рода электричество, и изобрел анализатор ума. Он работает, честно! И ты узнал о нем первым, малыш. Твое поколение вырастет в новом мире, где людей будет сортировать легко, как апельсины».

— Не верю ни единому слову! — воскликнул Баллард.

— Разрази меня гром, если это неправда! — с жаром ответил незнакомец. — И анализатор действительно работал. Эдисон испытал его на нескольких людях в своей лаборатории, — конечно, не сказав им, что это за устройство. Чем умнее был человек, тем дальше ползла стрелка индикатора на черной коробочке. Я позволил ему испытать анализатор на мне, и стрелка практически не сдвинулась с места, только лежала на нуле и трепыхалась. Но хоть я и оказался болваном, мне хватило ума сделать весьма важный вклад в историю человечества. Как я уже говорил, с тех пор бездельничаю.

— И что вы сделали? — увлеченно спросил Баллард.

— Я предложил испытать анализатор ума на собаке. Видели бы вы, какой спектакль устроил нам Спарки, услышав мои слова! Старый пес зарычал, завыл и стал рваться на улицу, царапая дверь. Когда же понял, что мы настроены серьезно и никуда его не отпустим, Спарки кинулся прямо на коробочку и вышиб ее из рук Эдисона. В конце концов нам удалось загнать его в угол: Эдисон держал Спарки, а я поднес проводки к его ушам. Вы не поверите: стрелка мигом перекочевала прямиком за красную отметку!

— Эх! Пес его сломал! — предположил Баллард.

— «Мистер Эдисон, сэр, а что это за красная отметка?» — спросил я ученого. «Мой мальчик, — отвечал мне он, — Спарки сломал прибор. Красная отметка — это я».

— Ну да, я же говорил, — кивнул Баллард.

Незнакомец торжественно ответил:

— А вот и нет! Анализатор не сломался! Эдисон тотчас его проверил: все было исправно. И когда он сообщил мне об этом, Спарки выдал себя.

— Как же? — с недоверием осведомился Баллард.

— Понимаете, мы ведь его заперли — по-настоящему заперли. На двери было три замка: цепочка, засов и обычный дверной замок. Пес встал, снял

цепочку, отодвинул засов и уже вцепился зубами в ручку, когда Эдисон его остановил.

— Нет! — охнул Баллард.

— Да! — ответил незнакомец. Глаза его сияли. — И тут я узнал, насколько великим ученым был Эдисон. Он готов был принять любую правду — даже самую неприятную.

«Ага! — сказал он своему псу. — Значит, собака — лучший друг человека, так? Неразумное животное, так?» Спарки проявил осмотрительность: сделал вид, что не услышал. Он чесался, выгрызал блох, рычал на воображаемые крысиные норы — лишь бы не смотреть Эдисону в глаза.

«Славно вы придумали, Спарки, а? — не унимался ученый. — Пусть люди добывают еду, строят дома и берегут тепло, а вам можно целыми днями спать у камина, бегать за девчатами или беситься с мальчишками. Никаких ипотек, политики, войн, работы, тревог… Знай себе маши хвостом да облизывай руки — и за тебя все сделают другие».

«Мистер Эдисон, — обратился я к нему. — Вы хотите сказать, что собаки умнее людей?»

«Умнее? — переспросил тот. — Еще как! И чем я, по-твоему, занимался весь последний год? Гнул спину ради того, чтобы собаки могли играть по ночам!»

«Послушайте, мистер Эдисон, — сказал Спарки. — Я бы на вашем месте…»

— Постойте-ка! — взревел Баллард.

— Тихо! — торжественно осадил его незнакомец. — «Послушайте, мистер Эдисон, — сказал Спарки, — я бы на вашем месте помалкивал об этом открытии. На протяжении сотен тысяч лет всех все устраивало. Пусть собаки спят и играют дальше. А вы забудьте, что сегодня произошло, и уничтожьте свой анализатор — в благодарность за это я скажу вам, какой материал использовать для нити накаливания».

— Бред сумасшедшего! — Баллард побагровел.

Незнакомец встал.

— Слово джентльмена, это чистая правда. В обмен на молчание пес подсказал мне, акции каких компаний надо покупать, — так я и разбогател. А последними словами Спарки, сказанными Эдисону, были вот эти: «Попробуйте карбонизированную хлопковую нить». Позже его разорвали на части уличные псы, которые подслушивали за дверью лаборатории.

Незнакомец снял гетры и протянул псу Балларда.

— Примите их в знак благодарности вашему предку, который проговорился и погиб за это.

Всего хорошего! — Он сунул книгу под мышку и зашагал прочь.

Человек без единой поченьки

© Перевод. Е. Алексеева, 2020

— Бария мне на веку пришлось откушать двенадцать раз, — заявил Ноэль Суини.

Суини никогда не мог похвастать крепким здоровьем, а теперь, в довершение всех бед, ему исполнилось девяносто четыре года.

— Двенадцать раз старине Суини просвечивали желудок. Небось, мировой рекорд.

Дело было во Флориде, в Тампе. Суини восседал в теньке у края корта для шаффлборда и говорил, обращаясь к другому старику. Старика он не знал, тот просто оказался рядом с ним на лавочке.

Незнакомый старик, очевидно, только начинал новую жизнь во Флориде. У него были черные ботинки, черные шелковые носки и синие брюки от саржевого костюма. На голове красовалась новехонькая летная фуражка, а из-под края тенниски торчала забытая бирка с ценой.

— Хм… — только и ответил незнакомый старик на монолог Суини, даже не подняв глаз от книги.

Старик читал сонеты Уильяма Шекспира, и Шекспир говорил ему: «Мы урожая ждем от луч-

ших лоз, чтоб красота жила, не увядая. Пусть вянут лепестки созревших роз, хранит их память роза молодая»[44].

— А вам вот сколько раз желудок светили?

— Э-э… — ответил старик.

«Где тайная причина этой муки? — спрашивал Шекспир. — Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат?»

— У меня нет селезенки, — сообщил неугомонный Суини. — Вы представляете?

Старик не ответил.

Тогда Суини взял на себя труд придвинуться поближе и проорать:

— Я живу без селезенки с тысяча девятьсот сорок третьего года!

Старик уронил книгу, сам чуть не свалившись с лавочки, и съежился, прикрывая звенящие уши.

— Я не глухой! — простонал он.

Суини твердо и решительно взял его за запястье, вынуждая открыть одно ухо.

— Я просто подумал, что вы меня не слышите.

— Да слышу я. — Бедняга дрожал. — Все я слышал — и про ваш барий, и про ваши камни, и про

---

[44] Примечания: 44

Здесь и далее цитаты из сонетов Шекспира приведены в переводе С. Я. Маршака

анемию, и про застой желчи. Каждое слово из лекции доктора Штернвайса о вашем кардиальном сфинктере. Доктор Штернвайс не думал переложить ее на музыку?

Суини поднял упавшую книгу и отложил на дальний край лавочки — так, чтобы собеседник не мог дотянуться.

— Так что, как насчет пари?

— Какого еще пари? — ответил старик.

Он был необыкновенно бледен.

— Вот видите! — Суини холодно улыбнулся. — Я был прав, вы совсем меня не слушали. А я предлагал вам пари. Вот угадайте-ка, сколько у нас с вами на двоих будет поченек, м?

— Доченек?

Лицо старика смягчилось, на нем даже появился некоторый осторожный интерес. Детей он любил и потому нашел такое пари очень милым.

— Ну что ж, попробуем! Только давайте считать и внученек заодно, так интересней…

— Да не доченек, — отмахнулся Суини. — Поченек!

Старик смотрел на него в замешательстве, и тогда Суини положил ладони себе на поясницу — туда, где человеку положено иметь почки.

— Поченек! — повторил он значительно.

Он много лет называл этот орган именно так, что тут может быть непонятного?

Старик не стал скрывать разочарования.

— Если вы не возражаете, я бы не хотел сейчас думать о почках, — бросил он с досадой. — Будьте любезны вернуть мою книгу.

— Сперва пари, — с вызовом ответил Суини.

Старик вздохнул.

— Ну… пари так пари. Десяти центов хватит?

— Вполне. Ставка тут исключительно для интереса.

— А… — произнес старик без всякого выражения.

Суини смерил его долгим изучающим взглядом.

— Я думаю, что на двоих у нас три поченьки, — заключил он наконец. — Теперь вы угадывайте.

— Я думаю, ни одной.

— Ни одной? — обалдело переспросил Суини. — Да если б у нас не было ни одной поченьки, мы бы с вами оба уже в гробу лежали! Не может человек жить без поченек! Две, три или четыре — вот и все варианты ответа!

— Знаете, я с тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года прекрасно обхожусь без единой

поченьки, — заявил старик. — Очевидно, у вас поченька все-таки есть, значит, правильный ответ — одна. Одна поченька на двоих. Все, ничья, каждый остается при своих десяти центах. А теперь будьте любезны книгу, сэр!

Суини выставил руки, не давая ему добраться до книги.

— По-вашему, я тупой? — гневно вопросил он.

— Ничего не хочу знать о ваших умственных способностях! — парировал старик. — Книгу, пожалуйста.

— Если у вас ни единой поченьки, ответьте-ка мне на вопрос!

Старик закатил глаза.

— Может, сменим тему? У меня дома, на севере, был сад. Я бы и здесь занялся садоводством. Тут это как, принято? У вас есть грядки?

Но Суини было не так просто отвлечь. Он ткнул старика пальцем в грудь.

— Как же вы тогда шлаки-то выводите?

Старик опустил голову и безысходно прикрыл лицо ладонью, шлепая губами. Однако затем просиял, глядя вслед проплывшей мимо хорошенькой девушке.

— Вы только посмотрите, какие узенькие лодыжки, мистер Суини. Какие розовые пяточки.

Боже, какое это счастье — быть молодым! Или хотя бы притворяться молодым, нежась здесь на солнышке.

И он прикрыл глаза, погрузившись в грезы.

— Так я прав, значит? — уточнил Суини.

— Э-э…

— Я прав, у нас на двоих три поченьки, и вы сейчас пытаетесь заговорить мне зубы, чтобы десяти центов не платить. Так не на того напали!

Не открывая глаз, старик нашарил в кармане десятицентовую монету и протянул Суини. Суини и не подумал ее взять.

— Нет уж, так просто мне ваших денег не надо. Я хочу знать, прав я или нет. Вот вам слово чести, что у меня всего одна поченька. Теперь отвечайте как на духу, сколько у вас.

Жмурясь на солнце, старик оскалил зубы.

— Клянусь вам всем святым, — произнес он натянутым голосом, — что у меня нет ни одной поченьки.

— И как же так получилось? Болезнь Брайта?

— Нет, болезнь Суини.

— Да ладно! — изумился Суини. — Это ж моя фамилия!

— Да, это ваша фамилия. И болезнь эта просто кошмарная.

— А в чем она выражается?

— Всякий, кто страдает от болезни Суини, — процедил старик сквозь зубы, — насмехается над красотой, мистер Суини, беспардонно вторгается в чужое пространство, мистер Суини, нарушает спокойствие, мистер Суини, разбивает мечты и гонит прочь все мысли о любви!

Старик встал и, наклонившись к самому лицу мистера Суини, выпалил:

— Всякий, кто страдает от болезни Суини, отвергает саму возможность духовной жизни, неустанно напоминая всем вокруг, что человек представляет собой не более чем ведро с потрохами!

Клокоча от негодования, старик подхватил книгу и удалился на другую лавочку в двадцати футах от предыдущей, сев там к Суини спиной. Он хмыкал и фыркал, яростно переворачивая страницы.

«Фиалке ранней бросил я упрек: лукавая крадет свой запах сладкий из уст твоих…» Горячка боя начала понемногу отпускать его. «…И каждый лепесток свой бархат у тебя берет украдкой», — продолжал сетовать на бессовестную фиалку Шекспир.

Старик попытался улыбнуться от даримого

стихами чистого удовольствия, которое не зависит ни от времени, ни от места. Однако улыбка не шла. Удовольствие омрачала непререкаемая действительность.

Старик приехал в Тампу по единственной причине — его подвели старые кости. Как бы ни был дорог ему родной дом на севере и как бы ни была безразлична Флорида, — кости объявили, что не выдержат еще одной холодной снежной зимы.

Сопровождая свои кости на юг, старик видел себя безобидным сгустком молчаливого созерцания.

Но вот не прошло и нескольких часов с его прибытия в Тампу, как он вдруг учинил яростное нападение на человека, такого же престарелого, как и он сам. Обращенная к Суини спина старика видела больше, чем его глаза. Он не мог сфокусировать их на странице, буквы расплывались.

Спина же остро чувствовала, что Суини, человек добрый, одинокий и безыскусный, теперь практически раздавлен. Суини, который просто хотел жить — со своей уцелевшей половиной желудка и единственной почкой. Суини, не потерявший ни капли воли к жизни после утраты селезенки в тысяча девятьсот сорок третьем году, — теперь расхотел жить. Суини расхотел жить,

потому что ему нагрубил незнакомый человек в ответ на его нехитрую попытку подружиться.

Для старика с книгой это было чудовищное открытие. Оказывается, человек на закате лет может оскорбить не менее жестоко, чем самый грубый, крикливый юнец. Ему и жить-то осталось всего ничего, а он ухитрился добавить к длинному списку своих сожалений еще одно.

Некоторое время он лихорадочно соображал, какой бы сложносочиненной ложью вернуть Суини вкус к жизни, и пришел к выводу, что единственный способ — поступить как мужчина и смиренно попросить прощения.

Он подошел к Суини и протянул ему руку.

— Мистер Суини, мне очень стыдно, что я так безобразно себя повел. Простите. Я усталый старый дурак и слишком легко выхожу из себя. Я совсем не хотел вас обидеть.

Он подождал, глядя в потухшие глаза Суини, но не дождался в них ни искорки.

— Ничего, — ответил Суини с безучастным вздохом.

Руки старику он не пожал. Ему сейчас хотелось, чтобы этот человек просто ушел.

Старик не убирал руку. Он молил Бога ниспослать ему подсказку. Он понимал, что сам не

сможет жить, если оставит Суини в таком состоянии.

И тут его осенило! Старик просиял, еще не успев ничего сказать — он уже знал, что сейчас все исправит. Сейчас он исправит хотя бы одну свою ошибку.

Он поднял руку в положение для торжественной клятвы и произнес:

— Даю вам слово чести, что поченек у меня две. А на двоих у нас, выходит, три. — И он сунул мистеру Суини десятицентовую монету. — В общем, вы были совершенно правы.

К Суини немедленно вернулась прежняя жизнерадостность. Он вскочил и принялся трясти старику руку.

— Я знал, что у вас две поченьки, это сразу видно! Иначе и быть не могло!

— Сам не знаю, зачем мне понадобилось вас обманывать.

— Что поделать, никто не любит проигрывать! — бодро провозгласил мистер Суини, полюбовавшись десятицентовиком и сунув его в карман. — Ничего, вы еще дешево отделались. Никогда не пытайтесь одолеть человека на его поле. — Он слегка ткнул старика в бок и заговорщицки подмигнул. — Вот какое ваше поле?

— Мое-то? — Старик задумался. — Наверное, Шекспир.

— Ну вот. Если бы вы мне предложили пари по своему Шекспиру, я бы отказался. Я бы вас даже слушать не стал!

С этими словами мистер Суини покивал головой и удалился.

Изысканно-синий дракон

© Перевод. А. Анваер, 2021

Худощавый молодой человек с большими руками, запачканными машинным маслом, вышел из салона по продаже автомобилей, в котором он работал, пересек главную улицу прибрежного поселка, на которой плавился от жаркого солнца асфальт, и вошел в здание почты. Когда-то в этом поселке жили китобои; нынешние же его обитатели обслуживали владельцев и арендаторов добротных каменных домов, вытянувшихся вдоль берега.

На почте молодой человек отправил несколько писем и купил почтовые марки для босса. Потом — уже по своим делам — заглянул в аптеку в соседнем доме. В дверях он столкнулся с двумя отдыхающими — мужчиной и женщиной его возраста, выходившими на улицу. Он окинул их угрюмым взглядом — своим здоровьем, богатством и ленивой импозантностью они словно насмехались над ним.

Он попросил аптекаря, своего давнего знакомого, обналичить его персональный чек на пять

долларов. Эти деньги он хотел снять со счета в банке, расположенного в соседнем городке. В поселке банка не было. Парня звали Кайа.

Кайа перевел свои деньги, немалую сумму, со сберегательного счета на чековый. Чек, который сейчас вручил аптекарю Кайа, был его первым собственноручно выписанным чеком, и на нем красовался порядковый номер — 1. Собственно, Кайе не нужны были эти деньги. Он помогал боссу сбывать автомобили и исправно получал зарплату наличными. Кайа просто хотел удостовериться, что подписанный им чек можно на самом деле превратить в живые деньги, что эта штука и правда работает.

— Там наверху написано мое имя, — сказал он.

— Да я вижу, — успокоил его аптекарь. — Ты, я смотрю, пошел в гору.

— Не волнуйтесь, — уверил его Кайа, — там все в порядке.

Да еще в каком порядке! Кайа подумал, что аптекарь наверняка бы грохнулся в обморок, если бы узнал, насколько хорошо обеспечен его чек.

— Почему я должен волноваться по поводу чека самого честного и работящего парня? — поспешил сказать аптекарь. — Чековый счет делает тебя солидным человеком, вроде Джи-Пи

Моргана.

— На какой машине он ездит? — спросил Кайа.

— Кто?

— Джи-Пи Морган.

— Он умер. Ты что: судишь о людях по машинам, на которых они ездят?

Аптекарю было семьдесят, он страшно устал от жизни и уже подыскивал человека, которому мог бы продать аптеку.

— Ты, верно, не слишком высокого мнения обо мне, ведь я езжу на подержанном «шеви». — С этими словами аптекарь протянул Кайе пять купюр по одному доллару.

Кайа мгновенно уточнил марку его машины:

— «Малибу».

— Я понял — от работы у Даггетта ты свихнулся на машинах.

Магазин автодилера Даггетта располагался как раз напротив аптеки. Даггетт торговал иностранными спортивными машинами и держал еще один салон в Нью-Йорке. — Где ты еще вкалываешь, если не считать Даггетта?

— По выходным работаю официантом в «Корме», по вечерам заправляю машины на бензоколонке Эда.

Кайа был сиротой, жил в дешевом пансионе.

Отец его работал на фирме, выполнявшей ландшафтные работы, мать служила горничной в гостинице «Говард Джонсон» на автостраде. Оба погибли в лобовом столкновении прямо перед гостиницей, когда Кайе было шестнадцать. Полиция решила, что они были сами виноваты в аварии. Денег у родителей не было, подержанный «плимут-фьюри» был разбит вдребезги, и у Кайи не осталось после них даже машины.

— Переживаю я за тебя, Кайа, — сказал аптекарь. — Только работа да работа, никакого продыха. На машину еще не скопил?

Вся округа знала, что Кайа убивается на работе в надежде накопить на машину. Девушки у него не было.

— Вы никогда не слышали о «мариттиме-фраскати»?

— Нет, и думаю, в нашей деревне о ней вообще никто не слыхал.

Кайа с состраданием посмотрел на аптекаря.

— Эта машина два года подряд одерживала победу на гонках в Авиньоне — она обставила «ягуары», «мерседесы» и всех остальных. На прямой дороге с гарантией дает сто тридцать. Это лучшая машина в мире. У Даггетта есть одна такая в нью-йоркском магазине. — Кайа привстал

на цыпочки. — Здесь такой машины никто никогда не видывал. Никто.

— Ну почему бы тебе не купить «форд» или, скажем, «шевроле» или еще какую-нибудь тачку из тех, что я знаю? Нет, вы только подумайте — «мариттима-фраскати»!

— Не тот класс. Потому я о них и не говорю.

— Класс! Вы только посмотрите, кто взялся рассуждать о классе! Он моет полы, полирует машины, подает виски в ресторане, заливает бензин в баки, и он же хочет либо классную машину, либо ничего.

— У каждого свои мечты — у вас свои, у меня свои.

— Лично я мечтаю быть молодым, как ты, и жить в таком же уютном и приятном поселке, как наш, — сказал аптекарь. — Ты можешь взять класс и…

Даггетт, представительный бизнесмен из Нью-Йорка, открывавший загородный салон только на летние месяцы, как раз продавал машину солидному городскому джентльмену в твидовом костюме, когда вошел Кайа.

— Я вернулся, мистер Даггетт, — сказал Кайа.

Даггетт не обратил на него внимания. Кайа сел на стул, чтобы помечтать в ожидании поручений.

Сердце его сильно билось от волнения.

— Понимаете, это не для меня, — говорил между тем покупатель. Он восхищенно рассматривал низкий угловатый «эм-джи». — Это для моего сына. Он говорил, что хочет что-то в этом роде.

— Отличная молодежная машина, — сказал Даггетт. — И цена у него вполне разумная для спортивного автомобиля.

— Правда, он бредит какой-то другой тачкой, как же она называется… Мара… что-то в этом роде.

— Мариттима-фраскати, — произнес Кайа.

Даггетт и покупатель, кажется, сильно удивились, вдруг обнаружив, что они не одни.

— М-мм, — да, кажется, именно так она и называется, — сказал покупатель.

— У меня есть одна такая машина в Нью-Йорке; могу доставить ее вам в начале следующей недели, — сказал Даггетт.

— Сколько она стоит?

— Пять тысяч шестьсот пятьдесят один доллар, — сказал Кайа.

Даггетт вымученно и не слишком дружелюбно усмехнулся.

— У тебя хорошая память, Кайа.

— Пять шестьсот! — воскликнул покупатель.

— Я очень люблю моего мальчика, но и любовь имеет свои границы. Беру вот эту. — С этими словами он достал из кармана чековую книжку.

Длинная тень Кайи легла на квитанцию, которую подписывал Даггетт.

— Кайа, отойди, ты застилаешь мне свет.

Кайа не сдвинулся с места.

— Кайа, тебе что-то нужно? — раздраженно произнес Даггетт. — Не хочешь ли подмести кладовку или заняться еще чем полезным?

— Я просто хотел сказать, — часто и мелко дыша, ответил Кайа, — что, когда вы закончите с этим джентльменом, я закажу вам «мариттиму-фраскати».

— Ты… что? — Даггетт угрожающе поднялся со стула.

Кайа извлек из кармана свою собственную чековую книжку.

— Убери это! — сказал Даггетт.

Покупатель рассмеялся.

— Вы не хотите принять мой заказ?

— Я займусь твоим заказом, мальчик, но всему свое время. Сейчас же просто сядь и жди.

Кайа сел и сидел до тех пор, пока покупатель не вышел из магазина.

После этого Даггетт встал и, сжав кулаки, мед-

ленно подошел к Кайе.

— Ну-с, юноша, своей глупой выходкой ты едва не сорвал мне сделку.

— Мистер Даггетт, я даю вам две минуты на то, чтобы позвонить в банк и выяснить, есть ли у меня деньги, иначе я закажу себе машину в другом месте.

Даггетт позвонил в банк.

— Джордж, это Билл Даггетт. — Он презрительно усмехнулся. — Слушай, Джордж, Кайа Хиггинс хочет выписать мне чек на пять тысяч шестьсот долларов… Да, ты не ослышался. Клянусь, что он… Хорошо, я подожду. — Он умолк и принялся барабанить пальцами по столу.

— Отлично, Джордж, благодарю. — Он повесил трубку.

— Ну и..? — с вызовом спросил Кайа.

— Я позвонил Джорджу, чтобы удовлетворить свое любопытство, — ответил Даггетт. — Мои поздравления. Я впечатлен. А теперь — за работу!

— Это мои деньги, я честно их заработал, — сказал Кайа. — Я работал и копил четыре года — четыре долгих проклятых года, и теперь я хочу машину.

— Ты, наверное, шутишь?

— Эта машина — единственное, о чем я могу

думать, а теперь она наконец станет моей, эта чертова машина, какой здесь никто никогда не видывал.

Даггетт не на шутку разозлился.

— «Мариттима-фраскати» — игрушка магараджей и нефтяных баронов Техаса. Мальчик, она стоит пять тысяч шестьсот долларов! Что останется от твоих сбережений?

— Останется достаточно на оплату страховки и на пару баков бензина, — ответил Кайа и встал. — Если вы не хотите…

— Ты, должно быть, заболел, — сказал Даггетт.

— Вы бы поняли меня, мистер Даггетт, если бы выросли здесь и если бы здесь погибли ваши родители.

— Что за вздор! Погибнуть можно и в городе. Но, как бы то ни было, скажи мне: зачем тебе эта машина?

— Я буду чертовски здорово проводить с ней время, я буду радоваться жизни!.. А на хлеб я еще заработаю, мистер Даггетт. Так как насчет начала следующей недели, мистер Даггетт?

Полуденная деревенская тишина была бесцеремонно нарушена мягким жужжанием стартера и сдержанным рокотом великолепного двигателя.

Кайа сидел на обтянутых желтой кожей по-

душках переднего сиденья изысканно-синей «мариттимы-фраскати», прислушиваясь к сладостным звукам, коими сопровождалось каждое легкое надавливание на педаль газа. По такому случаю Кайа вымылся с головы до ног и аккуратно подстригся.

— Это неторопливая машинка — во всяком случае, до первой тысячи миль пробега, слышишь, мальчик? — сказал Даггетт. Он был в приподнятом настроении, смирившись с чудачеством Кайи. — Под капотом у нее настоящее сокровище, и обращаться с ним надо бережно. — Он рассмеялся. — Не пытайся выяснить, на что она способна, пока не проедешь пять тысяч миль. — Он похлопал Кайю по плечу. — Будь терпелив, мальчик, и тогда она сотворит чудо!

Кайа снова включил двигатель, не обращая внимания на собравшуюся вокруг толпу зевак.

— Вы не знаете, сколько в стране таких машин? — спросил он у Даггетта.

— Ну, десять-двенадцать, — ответил Даггетт и подмигнул Кайе. — Не переживай. Все остальные — в Далласе и Голливуде.

Кайа задумчиво кивнул. Он надеялся, что выглядит сейчас как человек, сделавший удачное приобретение, удовлетворенный тем, как он

потратил деньги и собирающийся с лихвой возместить расходы. Это был прекрасный и радостный момент, но Кайа не улыбался.

Он наконец тронул машину с места. Это оказалось на удивление легко.

— Простите, — сказал он стоявшим на его пути людям. Он предпочел увеличить скорость, вместо того чтобы воспользоваться великолепным, звучавшим, как духовой оркестр, клаксоном. — Спасибо.

Выехав на шестиполосное шоссе, Кайа перестал ощущать себя самозванцем во Вселенной. Теперь он стал такой же органичной частью природы, как облака и море. С притворной скромностью путешествующего инкогнито божества он позволил «кадиллаку» с откидным верхом обогнать себя. Сидевшая за рулем хорошенькая девушка улыбнулась ему.

Кайа слегка надавил на газ и пролетел мимо нее. Он рассмеялся, видя, как ее машина превращается в мелкое пятнышко в зеркале заднего вида. Стрелка датчика температуры поползла вверх, и Кайа замедлил ход «мариттимы-фраскати», простив себе это мелкое прегрешение. Всего-то один раз, но оно того стоило. Вот это жизнь!

Девушка на «кадиллаке» снова проехала мимо. Она улыбнулась и сделала пренебрежительный жест в сторону капота своей машины. Она влюбилась в его машину. И возненавидела свою.

У въезда на круговую дорожку отеля девушка замысловато просигналила и свернула к зданию. Словно возвращаясь домой, «маритима-фраскати» ласково, мурлыча двигателем, как довольная кошка, проехала под навесом и дальше на стоянку. Человек в униформе помахал рукой, восхищенно улыбнулся и показал Кайе место возле «кадиллака». Кайа видел, как девушка поднималась по ступенькам в коктейль-холл, каждым своим шагом приглашая следовать за собой.

Пока Кайа шел по вымощенной гравием дорожке, солнце скрылось за облаками, и он, вдруг ощутив спиной холодок, замедлил шаг. Вселенная снова начала обращаться с ним, как с самозванцем. Он остановился на ступеньках и через плечо оглянулся на машину. Она стояла на месте, ожидая возвращения хозяина, — приземистая, вытянутая, жаждущая миль машина Кайи Хиггинса.

Приободрившись, Кайа вошел в прохладный коктейль-холл. Девушка в одиночестве сидела

в угловой нише, скромно опустив глаза. Она развлекалась тем, что складывала фигурки из разломанной палочки для перемешивания коктейлей. Бармен за стойкой читал газету. Больше в зале никого не было.

— Кого-нибудь ищешь, сынок?

«Сынок»? Кайа пожалел, что не въехал на своей «мариттиме-фраскати» прямо в зал. Он от души наделся, что девушка не услышала бармена.

— Дайте мне джин и тоник, — холодно произнес Кайа, — и не забудьте лайм.

Она подняла голову. Кайа улыбнулся улыбкой человека, причастного к товариществу привилегированных особ, лошадиных сил и открытых дорог.

Девушка озадаченно кивнула в ответ и снова занялась палочкой.

— Твой напиток, сынок, — сказал бармен, ставя перед ним стакан. Бармен зашуршал газетой и снова погрузился в чтение.

Кайа отпил глоток, откашлялся и обратился к девушке.

— Прекрасная погода, не правда ли? — сказал он.

Девушка сделала вид, что не услышала. Кайа обернулся к бармену, как будто вопрос был обра-

щен к нему.

— Вы любите водить машину?

— Иногда — да, — ответил бармен.

— В такую погоду так и хочется разогнать ее на полную скорость. — Бармен, воздержавшись от комментариев, перевернул страницу. — Но я только обкатываю ее и не могу ездить быстрее пятидесяти.

— Догадываюсь.

— Но испытываешь сильное искушение, когда знаешь, что она с гарантией может дать и сто тридцать.

Бармен раздраженно отложил газету.

— Кто — она?

— Моя новая машина, моя «мариттима-фраскати».

Девушка заинтересованно подняла голову.

— Ваша… что?

— «Мариттима-фраскати». Это итальянская машина.

— Название точно звучит не по-американски. Кого ты на ней возишь?

— Кого вожу?

— Ну да. Кто владелец машины?

— А вы как думаете: кто ее владелец? Я — ее владелец.

Бармен снова взял в руки газету.

— Он — ее владелец. Он — ее владелец, и она дает сто тридцать миль в час. Счастливчик.

Кайа от возмущения повернулся к нему спиной.

— Хелло, — сказал он девушке с куда большей уверенностью, чем та, которую он считал возможной. — Как к вам относится ваш Кэд?[45]

Она рассмеялась.

— Мой автомобиль, мой жених или мой отец?

— Ваш автомобиль, — ответил Кайа, мысленно обозвав себя дураком за то, что не сумел подыскать более остроумного ответа.

— «Кэды» вообще относятся ко мне хорошо. Да, теперь я вспомнила — это вы были в том симпатичном синем автомобильчике с желтыми сиденьями. Я как-то не связала вас с ним, сейчас вы выглядите по-другому. Как, вы говорите, он называется?

— «Мариттима-фраскати».

— М-мм. Я никогда не смогу это выговорить.

— Этот автомобиль очень хорошо известен в Европе, — сказал Кайа. Теперь все пошло как по маслу. — Знаете, он два года подряд выигрывал

---

[45] Примечания: 45

Кайа сокращает название машины «кадиллак», и в результате получается игра слов. Cad (*англ.*) — «грубиян», «хам».

шоссейные гонки в Авиньоне.

Она обворожительно улыбнулась.

— Надо же! Я этого не знала.

— Он с гарантией дает сто тридцать.

— Боже! Никогда не думала, что автомобиль может ездить так быстро.

— Таких в стране всего двенадцать, если что.

— Это ведь очень мало, верно? А могу я спросить: сколько же стоит такой замечательный автомобиль?

Кайа откинулся на стойку бара.

— Можете. Насколько я помню, где-то между пятью и шестью.

— О, между… Похоже, машина того стоит.

— О, я уверен в этом. У меня нет ощущения, что я выбросил деньги на ветер.

— Это очень важно.

Кайа самодовольно улыбнулся и уставился в чудесные глаза девушки, исполненные бездонного восхищения. Он открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь еще, но на ум не шло ничего, кроме глупого замечания о погоде.

Глаза девушки подернулись пеленой скуки.

— Вы не скажете, который час? — спросила она у бармена.

— Да, мэм. Четыре пятого.

— Что вы сказали? — спросил Кайа.

— Четыре часа, сынок.

«Надо предложить ей покататься», — вдруг осенило Кайю. — «Может быть, она захочет покататься».

В этот момент дверь бара стремительно распахнулась. На пороге, щурясь и улыбаясь, возник красивый молодой человек в теннисных шортах — самодовольный, бодрый и жизнерадостный.

— Марион! — закричал он. — Спасибо, что ты еще здесь. У тебя поистине ангельское терпение — ты меня дождалась!

На лице девушки отразилось безмерное обожание.

— Ты не очень сильно опоздал, Пол, и я тебя прощаю.

— Как последний дурак я ввязался в парную игру, а она все продолжалась и продолжалась. Наконец я просто сбежал — боялся, что потеряю тебя навсегда. Чем ты тут занималась, пока ждала меня?

— Сейчас вспомню. А, ну да, я разломала палочку и… о! О-о-о! Я познакомилась с джентльменом, у которого есть автомобиль, который может летать со скоростью сто тридцать миль в час.

— Тебя обманули, дорогая; этот человек солгал.

— Сильно сказано, — заметила Марион.

Пол выглядел польщенным.

— В самом деле?

— Да, особенно, если учесть, что человек, которого ты назвал лжецом, находится здесь, в этом зале.

— О, Боже, — простонал Пол, притворяясь, что страшно напуган. Он перевел взгляд с Кайи на бармена. — Но нас здесь только четверо.

Девушка указала пальцем на Кайю.

— Вот этот парень. Вы не против, если я расскажу Полу о вашей «ванилле-фраппе»?

— О «мариттиме-фраскати», — едва слышно поправил ее Кайа. Он повторил громче: — «Мариттиме-фраскати».

— Ну да, — произнес Пол. — По названию можно подумать, что она даст и двести миль в секунду. Вы приехали на ней?

— Она на стоянке, — ответил Кайа.

— Я это и имел в виду, — сказал Пол. — Мне надо научиться более точно выражать свои мысли. — Он выглянул в окно. — Ого! Да, теперь я вижу ее. Маленькая синяя коробочка. Оч-чень милая: страшная, но пышная. И вы хотите сказать, что она ваша?

— Я же сказал, что моя.

— Вероятно, вторая по скорости в своем классе. Наверное.

— И откуда этот факт? — саркастически заметил Кайа. — Хотелось бы мне увидеть первую.

— Правда? Но она тоже здесь. Вон та, зеленая.

То был британский «хэмптон» — Кайа хорошо знал этот автомобиль. Он, собственно, начинал копить на него и хотел купить именно его до того, как Даггетт показал ему фотографии «маритти-мы-фраскати».

— Да моя его сделает, — сказал Кайа.

— Сделает? Как бы не так, — рассмеялся Пол. — Я могу поставить все что угодно на мою машину против вашей.

— Послушайте, — сказал Кайа, — я бы поставил всю вселенную на мою машину против вашей, если бы моя была обкатана.

— Жаль, — сказал Пол. — Значит, в другой раз.

Он объяснил ситуацию Марион.

— Его машина не обкатана, Марион. Мы едем?

— Я готова, Пол, — ответила она. — Но надо сказать сторожу, что я вернусь за «кадиллаком», иначе он еще, чего доброго, подумает, что меня похитили.

— И будет на сто процентов прав, — сказал Пол. — До встречи, Ральф, — помахал он бармену.

Они все тут были знакомы друг с другом.

— Всегда рад тебя видеть, Пол, — сказал Ральф.

Итак, теперь Кайа знал имена всех троих, но они не знали, как зовут его. Никто даже не спросил. Никому не было до него дела. Что может для них значить меньше, чем его имя?

Кайа смотрел, как Марион, коротко переговорив со сторожем стоянки, скользнула на пассажирское сиденье приземистого «хэмптона».

Ральф обратился к безымянному посетителю и изрек:

— Ты — механик? Кто-то дал тебе машину, чтобы ты ее обкатал? Ты бы натянул верх, сынок. Кажется, собирается дождь.

Задние колеса изысканно-синего дракона с лимонно-желтыми глубокими кожаными сиденьями швырнули гравий в ноги сторожа стоянки. Привратник у въезда на стоянку махнул Кайе, чтобы тот сбавил скорость, но тут же отпрыгнул в сторону, спасая свою жизнь.

Кайа ласково понукал свою машину, повторяя: «Вот так, вот так мы и поедем. Я люблю тебя» и другие ласковые слова. Он работал рулем и синхронизатором коробки передач, чтобы машина ускорялась гладко, но нутром чуял, что все эти ухищрения ни к чему, что машина сама лучше

него знает, куда ехать и как делать то, для чего она была рождена.

Единственная «мариттима-фраскати» на тысячи миль вокруг проносилась мимо других автомобилей так, словно они стояли на месте. Стрелка температурного датчика на обитой кожей торпеде дрожала у самого края красной полосы.

— Хорошая девочка, — сказал Кайа. Иногда он называл машину девочкой, а иногда мальчиком.

Он обогнал «хэмптон», который двигался чуть быстрее верхнего предела допустимой скорости. «Мариттиме-фраскати» пришлось притормозить, чтобы она пошла вровень с «хэмптоном» и Кайа смог показать палец Марион и Полу.

Пол отрицательно покачал головой и нажал на тормоз, давая понять, что гонки не будет.

— Кишка у него тонка, детка, — сказал Кайа своей машине. — Но я всем покажу, что такое настоящие кишки.

Он вдавил в пол акселератор. Окрестный ландшафт слился в одну серо-зеленую полосу, но Кайа не стал сбрасывать скорость.

Двигатель выл, как смертельно раненый зверь, а Кайа будничным тоном подбадривал его:

— Взорвись, ну взорвись же.

Но двигатель не взорвался и не вспыхнул. Выверенные с ювелирной точностью механизмы и детали просто слились друг с другом, и мотор перестал быть мотором. Сцепление перестало быть сцеплением. Автомобиль плавно замедлил ход и на последнем издыхании съехал на обочину шоссе.

«Хэмптон» с Полом и Марион так и не проехал мимо. «Должно быть, они свернули раньше», — подумал Кайа.

Кайа оставил машину на месте ее гибели. На попутке он добрался до дома, водитель, к счастью, не донимал расспросами. Кайа вернулся в магазин Даггетта так, словно ничего не случилось, просто пришел на работу. «Эм-джи» стоял в торговом зале. Человек, который хотел купить его для своего сына, передумал.

— Я же отпустил тебя на целый день, — сказал Даггетт.

— Я знаю, — ответил Кайа.

— И где машина?

— Я ее загубил.

— Что ты сделал?

— Я разогнал ее до сорока четырех, хотя мне говорили, что нельзя ехать быстрее тридцати пяти.

— Ты шутишь.

— Скоро сами увидите, — сказал Кайа. — Там, на обочине шоссе, стоит убитая спортивная машина. Вам придется послать туда тягач.

— Мой мальчик, зачем ты это сделал?

— Называйте меня Кайа.

— Кайа, — послушно произнес Даггетт, убежденный в том, что парень спятил.

— Никто не знает, почему люди делают то или иное, — ответил Кайа. — Я не знаю, зачем я ее угробил. Но я точно знаю: я рад, что она сдохла.

Беглецы

© Перевод. Е. Барзова, Г. Мурадян, 2020

Они оставили записку, в которой говорилось, что тинейджеры точно так же способны на настоящую любовь, как и любой другой, а может, и получше любого другого. А потом они бежали в неизвестные края.

Они бежали на стареньком синем «форде» мальчика — детские башмачки свисают с зеркала заднего вида, кипа комиксов на порванном заднем сиденье.

Полиция тотчас же взялась за их поиски, их портреты появились в газетах и на телевидении. Но за двадцать четыре часа их так и не поймали. Они проделали весь путь до Чикаго. Патрульный засек их в супермаркете, их поймали за покупками пожизненного запаса сладостей, туалетных принадлежностей, безалкогольных напитков и замороженной пиццы.

Отец девочки вручил патрульному в награду двести долларов. Отец девочки был Джесс К. Саутхард, губернатор штата Индиана.

Вот почему дело и получило такую огласку. Ка-

кой скандал — малолетний преступник, побывавший в исправительном заведении, мальчишка, стригший газоны в губернаторском загородном клубе, сбежал с губернаторской дочкой.

Когда полиция штата Индиана доставила девочку в резиденцию губернатора в Индианаполисе, губернатор Саутхард объявил, что он незамедлительно примет все меры и добьется аннуляции. Непочтительный репортер указал ему, что вряд ли можно говорить об аннуляции, если не было бракосочетания.

Губернатор взъярился.

— Да мальчишка к ней и пальцем не прикоснулся, — орал он, — да она б ему такого просто не позволила! Морду набью любому, кто скажет иначе!

Репортеры, понятное дело, хотели поговорить с девочкой, и губернатор сказал, что она выступит с заявлением для прессы где-то через час. Это было уже не первое ее заявление о побеге. В Чикаго они с мальчиком просветили репортеров и полицию по вопросам любви, лицемерия, травли тинейджеров, бесчувственности родителей и даже ракет, России и водородной бомбы.

Впрочем, когда девочка вышла со своим новым заявлением, она опровергла все, что говорила

в Чикаго. Зачитывая трехстраничный машинописный текст, она сказала: приключение было ночным кошмаром, сказала: она не любит мальчика и никогда не любила его, сказала: она, должно быть, свихнулась, и сказала: она вообще не желает его больше видеть.

Сказала: единственные, кого она любит, — это ее родители, сказала: она не понимает, как могла доставить им столько неприятностей, сказала, что собирается как следует заняться учебой и поступить в колледж, и еще сказала — она не хочет позировать для снимков, потому что выглядит просто ужасно после столь сурового испытания.

Выглядела она не слишком ужасно, разве что перекрасилась в рыжий цвет, и мальчик, пытаясь изменить ее внешность, соорудил ей кошмарную прическу. И она немало поплакала. Она не выглядела усталой. Она выглядела юной, и дикой, и пойманной — вот и все.

Ее звали Энни — Энни Саутхард.

Когда репортеры удалились, когда они пошли показывать мальчику последнее заявление девочки, губернатор повернулся к дочери и сказал:

— Ладно, я и впрямь хочу тебя поблагодарить. Не представляю даже, как бы я мог отблагодарить тебя сполна.

— Ты благодарен мне за все это вранье? — сказала она.

— Я благодарен тебе за то, что ты хоть что-то сделала для возмещения причиненного ущерба, — сказал он.

— Мой родной отец, губернатор штата Индиана, — сказала Энни, — приказал мне врать. Этого я не забуду никогда.

— Я тебе еще много чего прикажу, — сказал он.

Энни промолчала, но для себя решила забить на родителей. Отныне она им ничего уже не должна. Она будет холодна и безразлична с ними до конца дней. И начнет она прямо сейчас.

Мама Энни, Мэри, спустилась по винтовой лестнице. Сверху она слышала все это вранье.

— По-моему, ты все очень неплохо уладил, — сказала она мужу.

— Насколько это вообще возможно уладить в таких обстоятельствах, — сказал он.

— Я бы только хотела, чтобы мы могли прямо сказать то, что на самом деле надо сказать, — сказала мама Энни. — Если бы мы только могли прямо сказать, что мы не против любви и не против людей, у которых нет денег. — Она уже собралась было утешить, обнять дочь, но что-то в глазах Энни ее остановило. — Мы не бесчув-

ственные снобы, милая, — и мы знаем, что такое любовь. Любовь — это лучшее, что есть на свете.

Губернатор отвернулся и уставился в окно.

— Мы *верим* в любовь, — сказала мама Энни. — Ты ведь знаешь, как крепко я люблю твоего отца и как крепко твой отец любит меня — и как крепко мы оба любим тебя.

— Если хочешь что-нибудь сказать напрямую, то давай говори, — сказал губернатор.

— Мне кажется, так надо.

— Поговори о деньгах, поговори о воспитании, поговори об образовании, поговори о друзьях, поговори об увлечениях, — сказал губернатор, — а потом, если хочешь, можешь вернуться к любви. — Он посмотрел на свою жену. — Ей-богу, ну хоть о счастье, — сказал он. — Встречайся с этим мальчишкой, давай, продолжай, выходи за него замуж, когда сможешь сделать это по закону, когда мы не сумеем тебе помешать, — сказал он Энни, — мало того, что ты станешь самой несчастной женщиной на свете, но и он тоже станет самым несчастным на свете мужчиной. Ты сможешь по-настоящему гордиться этим дерьмом, потому что будешь состоять в браке без соблюдения единственного условия счастливого брака — и под единственным условием я подразумеваю

одно-единственное, то есть вообще одно.

— Как ты намерена решить вопрос с друзьями? — сказал он. — Его компания в бильярдной или твоя компания в загородном клубе? Ты начнешь с того, что купишь ему роскошный дом, и роскошную мебель, и роскошную машину — или подождешь, пока он все это купит сам, хотя скорее ад замерзнет, чем он сам все это оплатит? Ты и вправду так же любишь комиксы, как он? Ты любишь те же самые комиксы? — закричал губернатор.

— Кто ты по-твоему? — спросил он Энни. — По-твоему, ты — Ева, и Бог сотворил для тебя единственного Адама?

— Да, — сказала Энни, поднялась к себе комнату и захлопнула дверь. И тут же из комнаты донеслась музыка — Энни поставила пластинку.

Губернатор с женой стояли за дверью и прислушивались к словам песни. Вот эти слова:

Болтают, о любви ничего мы не знаем,

Тра-ля-ля, ну, да, йе.

Но послание неба мы средь созвездий читаем,

Тра-ля-ля, ну, да, йе.

Так обними, обними меня крепче, бэби,

Сердце поет от голоса твоего.

Ведь то, что болтают о нас, бэби,

Мы-то знаем, не значит для нас ничего[46].

В восьми милях отсюда, в восьми милях к югу, за центром города, на другой его окраине, репортеры толпились у дома отца мальчика, у террасы при входе.

Это было старое дешевое дощатое бунгало 1926 года. Парадные окна выходили в вечно сырой полумрак огромной террасы. Боковые — на окна соседей в десяти футах. Свет проникал внутрь через единственное заднее окошко. Волею судьбы окно пропускало свет в крохотную кладовку.

Мальчик, его отец и мать не слышали, как стучались репортеры.

Телевизор в гостиной и радио на кухне распинались вовсю, а семейство ссорилось в столовой, посередине между кухней и гостиной.

По сути, перепалка шла обо всем на свете, но в данный момент ее предметом служили усы мальчика. Он отращивал усы уже целый месяц и только что был пойман отцом, когда чернил их

---

[46] Примечания: 46
Перевод. Н. Эристави

сапожной ваксой.

Мальчика звали Райс Брентнер. Газеты писали правду — Райс действительно побывал в исправительном заведении. Это случилось три года назад. Его преступление, в тринадцать лет, состояло в угоне за одну неделю шестнадцати автомобилей. И с тех самых пор он — если не считать эскапады с Энни — не влипал ни в какие неприятности.

— Немедленно марш в ванную, — сказала мама, — и сбрей весь этот ужас.

Райс никуда не промаршировал. Он остался стоять где стоял.

— Ты слышал, что мать говорит, — сказал его отец.

Райс не двинулся с места, тогда отец попытался его уязвить.

— Надо думать, так он чувствует себя похожим на мужчину — огромного взрослого мужчину, — сказал он.

— И вовсе он не похож на мужчину, — сказала мать. — С этими усами он выглядит вообще как я-не-знаю-что.

— Вот именно, — сказал отец, — такой он и есть на самом деле — «я-не-знаю-что».

Найдя наконец хоть какой-то ярлык, отец слегка успокоился. Он был — как отметила

сначала одна газета, а за ней и все остальные, — восмидесяти-девяти-долларовым-и-шестидесяти-двух-центовым-недельного-жалованья клерком в главном офисе в системе государственных школ. У него была причина возмущаться скрупулезностью репортера, который раскопал эту цифру в публичных актах. Более всего его уязвили эти шестьдесят два цента.

— У восьмидесяти-девяти-долларового-и-шестидесяти-двух-центового клерка не сын, а «я-не-знаю-что», — сказал он. — Семейство Брентнеров сегодня явно прославилось.

— Ты понимаешь, как тебе повезло, что ты не в тюрьме гниешь? — сказала мать Райса. — Если бы тебя отправили в тюрьму, там бы тебе не только усы сбрили, даже не спросив, — тебе обрили бы еще и голову.

Райс не особо прислушивался к их словам, так только, самую малость. На самом деле он думал о своей машине. Он купил ее на деньги, которые заработал сам, ни гроша не отобрал у семьи. Теперь Райс поклялся, что, если родители попробуют отнять у него машину, он уйдет из дома навсегда.

— Что такое тюрьма, он знает. Он уже побывал там, — сказал отец.

— Пусть оставляет усы, если ему так нравится,

— сказала мать. — Я бы только хотела, чтобы он посмотрел на себя в зеркало и сам увидел, как по-дурацки он выглядит.

— Ладно — усы пусть оставляет, — сказал отец, — но заявляю: кое-что ему оставить не удастся, и клянусь, так оно и будет! Я про его автомобиль.

— Аминь, — сказала мать. — А теперь — шагом марш на площадку подержанных машин, продашь машину, затем — кругом и шагом марш в банк, положишь деньги на сберегательный счет, после этого марш домой и отдашь банковскую книжку нам.

Мать Райса по мере того, как произносила столь непростое напутствие, делалась все более и более воинственной и наконец принялась маршировать на месте, как Джон Филип Суза[47].

— Вот это здорово сказано! — сказал ее муж.

И теперь, поскольку вопрос автомобиля был открыт, он стал самой главной и самой громкой темой. Для родителей Райса старенький синий «форд» был столь пугающим символом пагубной свободы, что они могли трепаться об этом до бесконечности.

Вот и теперь они трепались об этом до беско-

---

[47] Примечания: 47

Суза, Джон Филип (1854–1932) — американский композитор и дирижер духовых оркестров, «король маршей».

нечности.

— Ну все — от машины избавились, — сказала мать Райса, наконец-то переведя дух.

— С машиной покончено, — сказал отец Райса.

— И со мной тоже, — сказал Райс.

Он вышел через заднюю дверь, сел в машину, включил радио и уехал.

По радио играла музыка. В песне говорилось о двух тинейджерах, которые убежали, чтобы пожениться, пусть даже и без гроша в кармане. Припев был такой:

> *Дом наш не сложен из каменных плит,*
>
> *Льет в щели окон в дождливую осень, —*
>
> *Но в доме нашем счастье царит,*
>
> *Любовь — декоратор, что денег не просит!*[48]

Райс вышел у телефонной будки в миле от резиденции губернатора. Он набрал номер домашнего телефона губернаторской семьи.

Он изменил голос, на пол-октавы ниже, и попросил позвать Энни.

Трубку взял дворецкий.

---

[48] Примечания: 48
Перевод. Н. Эристави

— Прошу прощения, сэр, — сказал дворецкий, — не уверен, что она сейчас будет отвечать на телефонные звонки. Вы не желаете представиться?

— Скажите ей, что это Боб Кэнсел, — сказал Райс. Кэнсел был сыном человека, сколотившего огромный капитал на прачечных-автоматах. Он чуть ли не все время проводил в загородном клубе и был влюблен в Энни.

— Я вас не сразу узнал, мистер Кэнсел, — сказал дворецкий. — Пожалуйста, не вешайте трубку, сэр, если вас не затруднит.

И почти сразу же трубку взяла мать Энни. Она так отчаянно хотела верить, что звонивший — любезный, привлекательный и респектабельный Боб Кэнсел, что у нее не возникло ни тени подозрения. Она полностью завладела беседой, так что Райсу оставалось лишь бормотать время от времени нечто невнятное.

— Ах, Боб, Боб, Боб, — дорогой мой мальчик, — сказала она. — Как мило, как жутко мило, что вы позвонили. Я об этом просто молилась! Ей непременно нужно поговорить со сверстником. О, и я, и ее отец, мы оба говорили с ней и, я надеюсь, были услышаны, но в наши дни между поколениями такая пропасть!

— То… то, что случилось с Энни, — сказала мать

Энни, — это больше всего похоже на нервный срыв. Нет, это не был настоящий нервный срыв, но она сама не своя, то есть не та Энни, которую мы все знаем. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать?

— Ага, — сказал Райс.

— Ах, она будет так рада услышать вас, Боб… Узнать, что у нее по-прежнему есть старые друзья, настоящие друзья. Услышав ваш голос, — сказала жена губернатора, — наша Энни поймет, что все в порядке, все снова вернулось в норму.

Она пошла звать Энни — и далее последовали оживленные пререкания, которые Райс слышал в трубке. Энни заявила, что терпеть не может Боба Кэнсела, потому что он сопляк, напыщенное ничтожество и маменькин сынок. На этом кто-то догадался прикрыть телефонную трубку, а потому Райс ничего больше не слышал до тех пор, пока Энни не подошла к телефону.

— Алло! — холодно сказала она.

— Ты ведь не против прокатиться, а, чтобы отвлечься как-то от всех этих заморочек? — сказал Райс.

— Что? — сказала Энни.

— Это Райс, — сказал он. — Скажи матери, что идешь в клуб поиграть в теннис со стариной

Бобом Кэнселом. Встретимся на бензозаправке на углу Сорок шестой и Иллинойс.

И через полчаса они вновь удрали на стареньком синем «форде» мальчика, где на зеркале заднего вида болтались пинетки, а на пыльном заднем сиденье громоздились комиксы.

Когда Энни и Райс выезжали из города, радио в машине пело:

Бэби, бэби, мы у любви,
У рок-н-ролла мы счастья просим.
Глаза твои, поцелуи твои
Печальный блюз из сердец уносят…[49]

И снова началась пьянящая гонка.

Границу Огайо Энни и Райс пересекли по проселочной дороге, слушая по радио сообщение об их побеге под аккомпанемент гравия, бьющего по крыльям машины.

Они нетерпеливо выслушали новости о мятеже в Бангалоре, о столкновении самолетов в Ирландии, о человеке, который взорвал свою жену нитроглицерином в Западной Вирджинии. Главную новость диктор приберег напоследок:

---

[49] Примечания: 49
Перевод. Н. Эристави

Энни и Райс, Джульетта и Ромео, снова играют в зайцев и гончих.

Диктор назвал Райса «Рик», так его еще никто не называл, и Райсу с Энни это понравилось.

— Теперь я буду звать тебя Рик, — сказала Энни.

— Принимается без возражений.

— Ты больше похож на Рика, чем на Райса, — сказала Энни. — Как получилось, что они назвали тебя Райс?

— А я тебе разве еще не рассказывал?

— Если и рассказывал, — сказала она, — то я забыла.

А Райс ведь точно рассказывал ей не меньше десятка раз, почему его назвали Райсом, но на самом-то деле она никогда его не слушала. Коли на то пошло, Райс тоже на самом-то деле никогда ее не слушал. Они оба сдохли б от скуки, если бы слушали друг друга, но они себя щадили.

Вот почему их разговоры являли чудеса неуместности. В обиходе было только два предмета — жалость к себе и нечто, называемое любовь.

— У моей матери был какой-то предок по имени Райс, — сказал Райс. — Он был врач и вроде как довольно известный.

— Доктор Сайболт — единственный, кто хоть когда-то пытался меня понять как человека, — сказала Энни. Доктор Сайболт был их губернаторский семейный врач.

— А еще имеются и другие известные люди — с материнской стороны, — сказал Райс. — Не знаю, чем там они занимались, но это хороший род.

— Доктор Сайболт выслушал бы то, что я пытаюсь сказать, — сказала Энни. — У родителей никогда нет времени меня слушать.

— Вот почему мой старик всегда на меня ругался — во мне слишком много от матери, — сказал Райс. — Знаешь, я хочу делать что-то стоящее, и чтобы у меня были всякие вещи, и вообще хочу жить и рисковать, а со стороны отца совсем все не такие.

— Я могла бы говорить с доктором Сайболтом о любви — я могла бы говорить с ним о чем угодно, — сказала Энни. — С родителями ни о чем таком не поговоришь, приходится держать в себе.

— Безопасность прежде всего — вот их девиз, — сказал Райс. — Чудненько, только это не мой девиз. Они хотят от меня, чтобы я был таким же, как они, а я просто не такой человек.

— Это ведь кошмар — заставлять кого-то держать такое в себе, — сказала Энни. — Я все время

плачу, и родители никогда не догадаются почему.

— Вот почему я угонял те машины, — сказал Райс. — Я просто вдруг в один прекрасный момент сдвинулся. Они хотели, чтобы я вел себя так же, как мой отец, а только не такой я человек. Они никогда меня не понимали. Они так меня и не понимают.

— Но хуже всего то, — сказала Энни, — что мой родной отец велел мне лгать. Вот тогда-то я и поняла: моих родителей вовсе не заботит правда. Их заботит только, что о них думают люди.

— Этим летом, — сказал Райс, — я и впрямь заработал больше денег, чем мой старик или любой из его братьев. Это его точно грызет. Он не может этого вынести.

— Мама заговорила со мной о любви, — сказала Энни, — и я едва сдерживалась, чтобы не закричать: «Ты не знаешь, что такое любовь! Ты никогда не знала, что это такое!»

— Мои мне постоянно талдычат, чтобы я вел себя как мужчина, — сказал Райс. — И что? Когда я на самом деле повел себя как мужчина, они прямтаки взбесились. Ну и что тут будешь делать?

— Даже если бы я закричала, она бы все равно не услышала. Она никогда не слушает. Она,

наверное, просто боится слушать. Ты ведь понимаешь, о чем я?

— Мой старший брат был любимчиком в семье, — сказал Райс. — Он никогда не мог сделать ничего не того, я не мог сделать ничегошеньки как надо, то есть они так считали. Ты никогда моего брата не видела, а?

— Мой отец что-то во мне убил, когда велел мне лгать, — сказала Энни.

— Нам точно повезло, мы нашли друг друга, — сказал Райс.

— Что? — сказала Энни.

— Я сказал: нам точно повезло, что мы нашли друг друга, — сказал Райс.

Энни взяла его за руку.

— О да, да, да, — сказала она пылко. — Когда мы впервые встретились на поле для гольфа, я чуть не умерла, я сразу поняла, насколько мы друг для друга самое оно. Ты первый человек — после доктора Сайболта, — с которым я чувствую настоящую близость.

— Доктора? — сказал Райс. — А это кто?

В рабочем кабинете, в резиденции губернатора, губернатор Саутхард включил радио. Энн и Райса уже сцапали в двадцати милях к западу от Кливленда, и он хотел послушать, что скажут об этом

новостные службы. Пока же передавали только музыку, и вот что он сейчас слушал:

Школа нынче уже отменяется,
О, счастье мое, радость моя!
Танцует народ, в лесах развлекается,
Счастье мое, голубка моя![50]

— Да как они смеют пускать подобное в эфир? — сказал он. — Вся индустрия развлечений Америки только и делает, что втолковывает детям, как убить их родителей — и самих себя в придачу.

Он адресовал свой вопрос жене и Брентнерам, родителям мальчика, которые сидели с ним в кабинете.

Брентнеры мотали головами, показывая, что они не знают ответ на вопрос губернатора. Они были потрясены тем, что их позвали к самому губернатору. Они почти ничего не сказали — только несколько жалких, бессвязных, невразумительных извинений в самом начале. С тех пор они немо соглашались со всем, что губернатор имел им сказать.

Он же сказал более чем достаточно о том, борьбу с чем назвал самым трудным решением в

---

[50] Примечания: 50
Перевод. Н. Эристави

своей жизни. Он пытался решить, в согласии с женой и Брентнерами, как сделать беглецов достаточно взрослыми, чтобы они могли осознать, что творят, как удержать их от новых и новых побегов.

— Есть предложения, мистер Брентнер? — сказал он отцу Райса.

Отец Райса пожал плечами.

— Он меня вообще не слушается, — сказал он. — Если мне кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы он слушался, я был бы рад попробовать, но… — и его сентенция безнадежно заглохла.

— Но — что? — сказал губернатор.

— Он уже почти взрослый мужчина, губернатор, — сказал отец Райса, — и управлять им так же просто, как и всяким другим мужчиной — а это не слишком легко. — Он пробормотал еще что-то, что губернатор не расслышал, и снова пожал плечами.

— Простите? — сказал губернатор.

Отец Райса повторил не намного громче, чем раньше.

— Я сказал — он меня не уважает.

— Да ей-богу, он будет вас уважать, если вы установите для него жесткие правила и заставите их придерживаться! — сказал губернатор с

пылкостью праведника.

И тут мать Райса совершила самый бесстрашный поступок в своей жизни. Взъярившись от того, что вся вина ложится на ее сына, она дала отпор губернатору Индианы:

— Может, если мы воспитаем сына, как вы говорите, то и вы воспитаете так свою дочь, — сказала она, — и может, тогда у нас вообще не будет больше таких неприятностей, как сейчас.

Губернатор с ошарашенным видом сел за стол.

— Хорошо сказано, мадам, — сказал он и повернулся к жене: — Мы непременно должны поведать миру наши секреты воспитания детей.

— Энни неплохая девочка, — сказала его жена.

— Наш сын тоже неплохой мальчик, — сказала мать Райса, весьма приободрившись от того, что ей удалось осадить губернатора.

— Я… я уверена, что он неплохой, — сказала жена губернатора.

— Он уже не плохой мальчик. Он уже взрослый, — выпалил отец Райса. И расхрабрившись по примеру жены, добавил кое-что еще: — И эта маленькая девочка вовсе не такая уж и маленькая, какой вы ее считаете, — сказал он.

— Вы бы советовали им пожениться? — скептически сказал губернатор.

— Да не знаю я, что бы я советовал, — сказал отец Райса. — Я вообще не из тех, кто дает советы. Но может, они и правда любят друг друга. Может, они и правда будут счастливы друг с другом до самой смерти, прямо вот с этой минуты, если мы им позволим. — Он развел руками. — Я не знаю! — сказал он. — А вы?

Энни и Райс общались с репортерами в казармах полиции штата за Кливлендом. Они ждали, пока их оттащат обратно домой. Им полагалось быть несчастными, но оказалось, что они чудненько проводят время. Сейчас они вещали репортерам касательно денег.

— Люди слишком уж сильно заботятся о деньгах, — сказала Энни. — Что такое деньги, если действительно о них не думать?

— Мы не хотим денег от ее родителей, — сказал Райс. — Наверное, ее родители думают, что я гоняюсь за их деньгами. А мне нужна только их дочь.

— Ни капельки не расстроюсь, если они захотят лишить меня наследства, — сказала Энни. — Я достаточно насмотрелась на богатых, среди которых я выросла, деньги только делают людей беспокойными и несчастными. Люди с уймой денег настолько озабочены тем, как бы их не лишиться, что забывают жить.

— Я всегда могу заработать достаточно, чтобы иметь крышу над головой и с голоду не сдохнуть, — сказал Райс. — Я могу побольше заработать, чем мои старики. За мою машину полностью заплачено. Она вся моя и без всяких задолженностей.

— Я тоже могу зарабатывать деньги, — сказала Энни. — По мне, так гораздо лучше работать, чем заниматься тем, что хотят от меня родители: слоняться с кучей избалованных людей и в игры играть.

Тут как раз вошел патрульный сказать Энни, что звонит ее отец. Губернатор Индианы хочет с ней говорить.

— Ну и что это даст? — сказала Энни. — Их поколение не понимает наше и никогда не поймет. Я не желаю с ним говорить.

Патрульный ушел. Через несколько минут он вернулся.

— Он все еще на линии? — сказала Энни.

— Нет, мэм, — сказал патрульный. — Он передал для вас сообщение.

— От блин, — сказала Энни. — Так-то оно лучше.

— Это сообщение и от твоих родителей, — сказал он Райсу.

— Жду не дождусь поскорее услышать, — ска-

зал Райс.

— Сообщение такое, — сказал патрульный, приняв официальный вид: — Вы возвращаетесь домой в своей машине, если уж она вам так нравится. Когда вы вернетесь, они хотят, чтобы вы поженились и стали счастливы, чем быстрее, тем лучше.

Энни и Райс тащились домой на стареньком синем «форде», с детскими башмачками на зеркале заднего вида, с кучей комиксов на пыльном заднем сиденье. Они ехали домой по крупным магистралям. Никто больше их не искал.

Радио было включено, и каждая новостная программа сообщала миру потрясающую новость: Энни и Райс немедленно поженятся. Настоящая любовь одержала еще одну ошеломительную победу.

К тому времени, когда влюбленные достигли границы Индианы, они выслушали сообщение об их неописуемом счастье раз десять. Они уже ощущали себя, как продавцы универмага в канун Рождества: оглушенные и вымотанные этими непрекращающимися вестями о великой радости.

Райс выключил радио. У Энн вырвался непроизвольный вздох облегчения. Они не очень-то

много разговаривали на пути к дому. Непохоже, чтобы им было о чем говорить: все было так определенно — все было так, как говорят деловые люди, окончательно оформлено.

Энни и Райс попали в пробку в Индианаполисе, и от светофора к светофору ползли за машиной, в которой орал младенец. Родители младенца были совсем молоденькие. Жена отчитывала мужа, и муж, похоже, уже готов был выдрать с корнем руль и размозжить этим рулем ей голову.

Райс опять включил радио, и вот о чем говорилось в песне по радио:

> *Мы их накололи, —*
>
> *Тех, кто не верит в силу любви.*
>
> *Навеки, что ли, —*
>
> *Мы вместе, мы — пламя в алой крови*[51].

Почти обезумев от нервной привычки Энни все крутить, Райс менял станции снова и снова. Каждая станция кричала или о победах, или о травле тинейджеровской любви. И об этом-то как раз радио и надрывалось, когда старый синенький «форд» остановился прямо у ворот во внутренний

---

[51] Примечания: 51
Перевод. Н. Эристави

двор губернаторского дома.

Только один человек вышел приветствовать их, и это был полицейский, охранявший вход.

— Мои поздравления, сэр… мадам, — любезно сказал он.

— Спасибо, — сказал Райс и выключил зажигание. Последняя иллюзия приключения умерла, когда погасли лампы приемника и остыл мотор.

Полицейский открыл дверцу со стороны Энни. Дверца издала ржавый скрежет. Две потерянные горошинки «желейных бобов» выкатились из машины и упали на безупречный асфальт.

Энни, не выходя из машины, посмотрела вниз на горошинки. Одна была зеленая. Другая белая. К ним прилипли кусочки пуха.

— Райс? — сказала она.

— У? — сказал он.

— Извини, — сказала она. — Я не могу довести это до конца.

Райс издал звук, напоминавший отдаленный гудок товарняка.

Он был благодарен за избавление.

— Мы могли бы поговорить наедине? — сказала Энни полицейскому.

— Прошу прощения, — сказал полицейский, удаляясь.

— А что, радио выключилось? — спросила Энни.

Райс пожал плечами:

— Ну, ненадолго…

— Знаешь что? — сказала Энни.

— Что? — сказал Райс.

— Мы еще слишком молоды, — сказала Энни.

— Не слишком молоды, чтобы влюбиться, — сказал Райс.

— Нет, — сказала Энни, — не слишком молоды, чтобы влюбиться. Просто мы слишком молоды для всего остального, что сопутствует любви. — Она поцеловала его. — Пока, Райс. Я люблю тебя.

— Я люблю тебя, — сказал он.

Она вышла, и Райс уехал.

Когда он поехал, заработало радио. Сейчас оно играло старую песню, и слова были такие:

Настало время забыть и прощать —
Ведь этого быть не могло.
Клятвы забудь — не сумели сдержать,
От нас волшебство ушло.
Любовь защищать — любовь убивать,
Опасность сосет ее силу.
Любовь оставить — ее спасать.

Прощай, чужой мне, но милый[52].

[52] Примечания: 52
Перевод. Н. Эристави

Ты всегда умел объяснить

© Перевод. Н. Абдуллин, 2020

Клиника доктора Леонарда Абекяна располагалась в самой неблагополучной части Чикаго, за декоративным фасадом из стекла и желтого кирпича, на первом этаже бывшего узкого викторианского особняка, чей хребет щетинился громоотводами. Джо Каннингем, банковский кассир из пригорода Цинциннати, приехал к доктору Абекяну на такси. Ночь он провел в мотеле. А прибыл Джо Каннингем из самого Огайо, привлеченный успехами доктора в лечении бесплодия. Самому Джо было уже тридцать пять, однако он до сих пор не сумел зачать наследника.

Приемная нисколько не впечатляла: розовая штукатурка в мелкий бугорок, мебель — хромированные трубки и дерматин.

Моментально возникла мысль: доктор Абекян — дешевый проходимец. Атмосферой клиника не слишком отличалась от парикмахерской. Но Джо велел себе не думать таким образом и тут же подыскал объяснение: доктор Абекян чересчур поглощен делами и ему просто некогда занимать-

ся украшением клиники.

В приемной не было ни регистратора за столом, ни медсестры. Только одинокий мальчик лет четырнадцати, держащий руку на перевязи. Джо еще больше насторожился. Он-то ожидал застать приемную, полную людей — таких же, как и он, бездетных, прибывших издалека, чтобы узнать мнение знаменитого доктора Абекяна. Узнать, в чем причина бесплодия.

— А... доктор у себя? — спросил Джо у мальчика.

— Позвоните, — ответил тот.

— Позвонить?

— Кнопка на столе.

На регистрационном столе и правда имелась кнопка вызова. Джо нажал ее, и где-то в глубине дома раздался звонок. Спустя мгновение в приемную выбежала растрепанная молодая женщина в белом халате. Она закрыла за собой дверь в заднюю часть дома, откуда доносился детский плач.

— Простите, — тут же извинилась женщина, — малыш нездоров. Приходится разрываться между ним и делами. Вам помочь?

— Вы миссис Абекян? — спросил Джо.

— Да.

— Вчера вечером я звонил, и мы с вами гово-

рили.

— О да, — вспомнила она. — Вы записались на прием вместе с женой.

— Именно.

Женщина заглянула в регистрационный журнал.

— Мистер и миссис Джозеф Каннингем?

— Верно. Жена сейчас ходит по магазинам, но скоро будет. Я пойду к доктору первым.

— Вот и отлично. Пойдете следом за Питером. — Она кивнула в сторону мальчика с перевязанной рукой.

Стараясь не обращать внимания на крики младенца, миссис Абекян достала из стола бланк и вписала в шапку имя Джо.

— Простите, что приходится отвлекаться, — вновь извинилась она.

Джо смущенно улыбнулся.

— Для меня, — сказал он, — это самые прелестные звуки в мире.

Миссис Абекян устало рассмеялась.

— Значит, вы пришли по адресу. Еще наслушаетесь этой прелести.

— Сколько у вас детей?

— Четверо. Пока что.

— Вам очень повезло.

— Я и сама себя в том убеждаю.

— Понимаете ли, — сказал Джо, — у нас с супругой детей нет вообще.

— Мне так жаль…

— И потому мы записались на прием к вашему мужу.

— Понимаю.

— Из самого Огайо приехали.

— Огайо? — пораженно переспросила миссис Абекян. — То есть вы только-только перебрались в Чикаго из самого Огайо?

— Нет, живем мы по-прежнему в Огайо. Мы лишь приехали на прием к вашему супругу.

Видя удивление на лице миссис Абекян, Джо решил спросить:

— Неужели есть другой доктор Абекян?

— Нет, — возразила женщина и добавила — столь торопливо, столь осторожно и столь радостно, что Джо моментально понял: он нашел того самого доктора Абекяна: — Нет-нет… Он один такой. Вам нужен именно мой супруг.

— Говорят, он творит просто чудеса, если надо излечить от бесплодия, — поделился Джо.

— О да, да, да… Действительно, так и есть. А можно… Можно поинтересоваться, кто вам его рекомендовал?

— Моя жена много о нем слышала.

— Понимаю.

— Знаете, мы хотели лучшего, — сказал Джо, — и моя жена поспрашивала людей. Оказалось, самый лучший — ваш муж.

Женщина кивнула, слегка нахмурившись.

— Ага… — протянула она.

Тут из кабинета вышел доктор Абекян собственной персоной, ведя под руку унылую, древнюю старушенцию. Сам доктор был высок и на вид привлекателен, даже блестящ: ровные белые зубы, смуглая кожа. Больше всего он напоминал распорядителя ночного клуба, и в то же время было видно, что внешность эта обманчива. Джо, впрочем, ожидал увидеть человека несколько более консервативного вида.

— Должно быть что-то, что я приму, и мне станет легче, — говорила старушенция.

— Пока принимайте новые таблетки, — мягко посоветовал доктор. — Вдруг они — то, что вам нужно. Если нет, мы будем искать снова, снова и снова.

Потом он знаком велел мальчику со сломанной рукой проходить в кабинет.

— Леонард… — позвала жена.

— М-м?

— Этот мужчина, — указала на Джо миссис Абекян, — они с женой приехали к тебе из Огайо.

Сама того не желая, одной этой фразой она заставила Джо почувствовать, что он, приехав сюда, совершил большую-пребольшую ошибку.

— Огайо? — переспросил доктор с откровенным недоверием в голосе, выгнув густые темные брови. — Что, прямо из Огайо?

— Говорят, люди приезжали к вам на прием со всей страны.

— Кто вам такое сказал?

— Жена.

— Она меня знает?

— Нет, — ответил Джо. — Просто слышала о вас.

— От кого же?

— От других женщин.

— Мне… Мне, конечно, лестно, — смутился доктор Абекян. — Но как видите, — он обвел приемную длиннопалой рукой, — я всего лишь районный терапевт. Не специалист и притворяться таковым не пытаюсь. Не буду также врать, будто ко мне когда-либо кто-либо приезжал из других городов.

— Тогда прошу прощения, — извинился Джо. — Правда, не знаю, как так вышло.

— Значит, Огайо? — снова спросил доктор Абекян.

— Все верно.

— Цинциннати?

— Нет, — возразил Джо и назвал свой город.

— Не важно, даже если бы вы приехали ко мне из Цинциннати, смысла в вашем визите я бы все равно не нашел. Когда-то я учился в Цинциннати, на медицинском, но я там никогда не практиковал.

— Моя жена училась в Цинциннати на медсестру.

— Да? Серьезно? — спросил доктор, на секунду предположив, что нашел ответ. Впрочем, нашел неверно. — Но при этом она меня не знает?

— Нет.

Доктор Абекян пожал плечами.

— Значит, загадка остается загадкой. Ну а раз уж вы проделали такой путь… И если я могу вам чем-то помочь…

— Они хотят завести детей, — подсказала миссис Абекян. — Их семья бездетна.

— Вы, конечно же, перед тем, как сюда ехать, побывали у многих специалистов? — спросил доктор.

— Да нет, — ответил Джо.

— Ну, к семейному доктору вы уж точно ходили?

Джо покачал головой.

— Как, вы не обратились по своему вопросу к семейному доктору? — переспросил врач.

— Нет.

— Могу я спросить, почему?

— Лучше спросите у моей жены, когда она придет, — посоветовал Джо. — Я годами уламывал ее пойти к врачу, но она не просто отказалась — взяла с меня обещание самому не ходить.

— Вам убеждения не позволяют? — спросил врач. — Супруга — сторонница «Христианской науки»[53]?

— Нет-нет, — сказал Джо. — Я ведь говорил: она была медсестрой.

— Ах да, конечно… Забыл. И все же, — никак не мог взять в толк доктор Абекян, — она согласилась прийти на прием ко мне, узнав, что я выдающийся специалист?

— Верно.

— Поразительно, — тихо произнес доктор Абекян, массируя переносицу. — Ну что ж… Раз

---

[53] Примечания: 53

«Христианская наука» — религиозное движение, созданное в США Мэри Бейкер Эдди (1821–1910). Его приверженцы отказываются от медицинской помощи и признают только духовное исцеление.

к терапевту вы еще не ходили, то я, возможно, сумею помочь.

— Бог свидетель, я на вас рассчитываю.

— Договорились, — подытожил врач. — Приму вас после Питера.

Когда юный Питер покинул кабинет врача, настала очередь Джо. На столе перед доктором Абекяном лежала раскрытая адресная книга.

— Я тут поискал, — начал объяснять доктор Абекян, — врача, чье имя напоминало бы мое. Специалиста, который занимается случаями, похожими на ваш.

— И как? — спросил Джо.

— Нашел некоего доктора Ааронса. Он много чего добился, используя психиатрический подход к делу. Имя немного похоже на мое.

— Послушайте, — терпеливо и серьезно заговорил Джо, — имя человека, к которому мы приехали и у которого собирались просить помощи — не Ааронс. Имя этого человека мы не могли перепутать ни с каким другим, потому что оно столь необычно. Жена сказала: надо ехать в Чикаго на прием к доктору Абекяну. А-БЕ-КЯ-НУ. И мы приехали в Чикаго, и отыскали доктора Абекяна — А-БЕ-КЯ-НА — в телефонной книге. И этот Абекян — А-БЕ-КЯН — живет здесь, и я к

нему записался.

В острых, привлекательных чертах доктора Абекяна отразилось мучительное непонимание.

Он неопределенно хмыкнул.

— Говорите, этот Ааронс использует психиатрический подход? — продолжал Джо. Он уже начал раздеваться, обнажая коренастое тело. Человек он был крепкий, но медлительный.

— Разумеется, психиатрический подход бесполезен, — сказал доктор Абекян, — если имеются физические отклонения. — Он закурил сигарету. — Но я по-прежнему считаю, что это недоразумение как-то связано с Цинциннати.

— Я вот что скажу, — заявил Джо, — это не единственная странность, которая случилась за последнее время. Судя по тому, как события развиваются, нам с Барбарой и правда стоило записаться к доктору Ааронсу, будь он хоть трижды психиатр.

— Барбара? — оживился доктор Абекян.

— Что-что?

— Вы сказали, вашу жену зовут Барбара?

— Я сказал?

— Мне так послышалось.

Джо пожал плечами.

— Вот и еще одно странное обещание, данное

мною жене, — сказал он. — Я не должен был называть ее имени.

— Ничего не понимаю…

— Я, черт возьми, тоже, — сказал Джо неожиданно усталым голосом. — Если б вы только знали, как сильно мы грызлись последние пару лет, через что мне пришлось пройти, прежде чем я уговорил жену показаться доктору и выяснить, можно ли как-то поправить дело…

Джо не договорил. Красный, как помидор, он продолжил раздеваться.

— И что, если бы я знал? — спросил доктор Абекян, чувствуя себя слегка неуютно.

— Вы бы поняли, почему я дал ей эти обещания, пусть они безумны и не имеют смысла. Она сказала: надо ехать в Чикаго, и вот мы здесь. Она просила не называть людям ее имени, но я прокололся, ведь так?

Доктор Абекян кивнул. Глаз слезился от табачного дыма во рту, но доктор не спешил выдыхать.

— Так… Какого черта! — выпалил Джо. — Какой смысл идти к врачу, если не можешь сказать всей правды?

Доктор Абекян ничего не ответил.

— Многие годы, — продолжил Джо, — мы с Бар-

барой жили счастливо, как только могут жить счастливо двое. Мне так казалось. Городок у нас замечательный, и люди там живут милые. И дом у нас замечательный, милый, большой — достался мне в наследство от папы. Работу я свою люблю и в деньгах мы никогда не нуждались.

Отвернувшись, доктор Абекян уставился в прямоугольный стеклоблок, который выходил на улицу.

— Но бездетность… — говорил Джо. — Мы ведь оба хотим детей, а болезнь запросто может нас разлучить. Вот так оно, доктор… Или так оно было. Знаете, моя жена ведь ни под каким предлогом не хочет показываться врачам. Все десять лет, что мы женаты! «Послушай, милая, — говорю я ей, — мне без разницы, кто из нас бесплоден, я или ты. Если ты, то хуже я о тебе думать не стану. Ты ко мне, надеюсь, отнесешься точно так же. Главное ведь — узнать, есть ли способ решить проблему».

— Вам и правда без разницы? — спросил доктор Абекян, не оборачиваясь.

— Я лишь говорю за себя. И для меня — да, без разницы. Любовь к жене превозможет все дурные случайности.

— Случайности? — переспросил врач. Он хотел

было посмотреть в лицо Джо, но передумал.

— По-вашему, не так? Разве не случай решает, кому иметь детей, а кому — нет?

Джо подошел ближе к врачу, а заодно и к стеклоблоку — и с удивлением заметил в каждой ячейке каждой панели стеклоблока крохотный образ жены. Барбара как раз выбиралась из такси.

— Вот и моя благоверная, — сказал Джо.

— Знаю, — ответил доктор Абекян.

— Откуда?

— Можете одеваться, мистер Каннингем.

— Как одеваться? — удивился Джо. — Вы меня даже не осмотрели.

— И не надо, — сказал доктор Абекян. — Я и без осмотра могу сказать точно: до тех пор, пока вы женаты на этой женщине, детей у вас не будет. — И он посмотрел на Джо с пронзительной горечью в глазах. — Вы такой одаренный актер или впрямь ничего не знаете?

Джо подался назад.

— Я не знаю, что происходит, если вы об этом, — сказал он.

— Вы правильно пришли ко мне на прием, мистер Каннингем, — грустно улыбнулся доктор Абекян. — Сказав, что я не специалист, я очень

сильно ошибся. В вашем конкретном случае специалиста лучше меня не сыскать.

В приемной защелкали острые каблучки Барбары. Она спросила кого-то, на месте ли доктор. Потом в задней части дома раздался звонок.

— Доктор у себя, — сказал врач и насмешливо поднял руки, как бы восхищаясь самим собой. — И готов к чему угодно.

Открылась дверь в задней части дома. Послышался детский плач — миссис Абекян по-прежнему носилась как угорелая.

Пройдя к двери, доктор Абекян выглянул в приемную, где стояли его жена и Барбара.

— Доктор у себя, миссис Каннингем, — позвал он. — И примет вас незамедлительно.

Барбара — невысокая брюнетка, разодетая в пух и прах — прошла в кабинет, глядя на все с превеликим любопытством.

— Вы так быстро осмотрели Джо?

— Чем быстрее, тем лучше, не правда ли? — напряженно сказал он, закрывая за ней дверь. — Я так понимаю, с мужем ты была не до конца честной?

Барбара кивнула.

— Понимаете ли, мы знаем друг друга, — обратился доктор Абекян к Джо.

Джо облизнул губы.

— Понятно.

— И теперь ты решила быть предельно откровенной? — снова заговорил с Барбарой врач. — Тебе помочь?

Барбара неопределенно пожала плечами.

— Доктору виднее, — ответила она.

Доктор Абекян закрыл глаза.

— Что ж, по мнению доктора, мистер Каннингем должен знать, что когда его жена училась на медсестру, она забеременела от меня. Было решено делать аборт, но операция прошла неудачно, и пациентка навсегда осталась стерильна.

Джо молчал. Смысл ситуации доходил до него очень не просто.

— Долго же ты тянула с признанием, — сказал доктор Абекян Барбаре. — И нервов потратила…

— Да, — пустым голосом ответила женщина.

— Ну и как, месть сладка?

— Я не мщу, — возразила Барбара и отошла к стеклоблоку, чтобы полюбоваться тысячами одинаковых картинок в его ячейках.

— Тогда зачем было тянуть и исхитряться?

— Ты всегда умел объяснить, почему все, что мы делаем, лучше для нас же самих. Как бы ни сложилась жизнь.

Попечитель

© Перевод. Н. Казанцева, 2020

— Ах, если бы не деньги, — сказала Нэнси Холмс Райан. — Если бы не деньги…

Нэнси была замужем уже целых полтора часа. Сейчас, неярким предвесенним днем, муж вез ее из Бостона в Кейп-Код. Машина мчалась вдоль свинцового моря, мимо заколоченных на зиму дачных домиков, мимо падубов, так и не скинувших бурую прошлогоднюю листву, мимо болот в точечках промерзшей клюквы.

— Столько денег — это просто неприлично, — сказала Нэнси. — Вот в чем дело.

Хотя, конечно, дело было не в этом — по крайней мере, не только в этом. Нэнси страдала от неясности своего нынешнего состояния. В ее жизни наступил мучительный пробел между церемонией заключения брака и первой брачной ночью. Как и многие девицы в таком положении, Нэнси видела себя будто со стороны: неужели это я сижу здесь рядом с мужем? В салоне автомобиля ее уверенному, безапелляционному голосу было тесно; он метался между стенками, звучал

неестественно громко; независимо от самой Нэнси, голос произносил странные несуразные вещи, словно вымученное и сокровенное.

Не было оно вымученным и сокровенным. Нэнси не могла замолчать, поскольку боялась остаться наедине с собой — и с пробелом. Кто она сейчас? Непонятно. Уже не «мисс», но еще не «миссис». Предстоящая ночь должна стать Рубиконом, за которым начнется ее всамделишная замужняя жизнь.

Только что предпринятая ею особенно язвительная атака на оштукатуренные домики и их обитателей вынудила Роберта пообещать, что их семья никогда не будет жить в таком доме. Зачем, спрашивается?

Теперь вот Нэнси сожалела, что ее муж не бедняк. Мужу и впрямь было до этого далеко: его состояние составляло двести тысяч долларов.

Супруг Нэнси учился в Массачусетском технологическом институте. Его звали Роберт Райан, Роберт-младший. Он был высок, красив и хорошо воспитан, однако порой излишне замкнут. Потеряв в девять лет родителей, он воспитывался дядюшкой и тетушкой. Как многим рано осиротевшим детям, наследникам крупного состояния, ему назначили не одного попечителя, а двух: один

блюл его тело, второй — деньги. Финансовым попечителем был Коммерческий доверительный фонд города Кейп-Код. А за благополучие самого Роберта отвечал дядюшка, Чарльз Брюер. И сейчас молодой муж не просто отправлялся в Кейп-Код провести медовый месяц; он планировал взять наследство под свой полный контроль. В день свадьбы ему как раз исполнился двадцать один год, и по закону опекунству фонда пришел конец. Роберт тоже находился в промежуточном состоянии. Он был погружен в собственные мысли, мало обращал внимания на то, что происходит вокруг, и отвечал разрумянившейся говорливой новобрачной так же машинально, как вел автомобиль.

Нэнси не умолкала.

— По мне, так лучше начинать все с нуля. Зря ты мне признался; надо было держать деньги в банке — на самый крайний случай.

— Так и забудь о них, — сказал Роберт.

Он достал зажигалку и закурил, не отрывая взгляда от дороги.

— С работы не уйду, — продолжала Нэнси. — Каждый имеет право на развитие. — Новобрачная служила секретаршей в приемной комиссии Массачусетского технологического института. Они с

Робертом познакомились всего два месяца назад.
— Будем оба трудиться и жить на заработанное.

— Угу, — кивнул Роберт.

— Когда я согласилась за тебя выйти, я понятия не имела, сколько у тебя денег, — напомнила Нэнси.

— Знаю, — подтвердил Роберт.

— Надеюсь, твой дядюшка тоже знает, — сказала Нэнси.

— Я ему скажу, — пообещал Роберт.

Он даже не сказал дядюшке, что женится. Будет сюрприз.

Устраивать такого рода сюрпризы было для Роберта обычным делом. Он всегда принимал решения самостоятельно и даже в девятилетием возрасте не испытывал особой эмоциональной зависимости от дяди и тети. Тетушка Мэри однажды назвала его квартирантом на полном пансионе — единственный итог многолетней жизни под одной крышей.

Сейчас тетушки уже не было в живых. Оставался дядюшка Чарли, и сегодня он ожидал Роберта к обеду в «Атлантике», ресторане через дорогу от банка. Чарли разъезжал по городу в большом печального вида старом «Крайслере», методично стучась во все двери подряд. Он был торговым

представителем компании, производящей алюминиевые ставни на окна.

— Надеюсь, твой дядюшка меня полюбит, — сказала Нэнси.

— Полюбит, — заверил Роберт. — Не переживай.

— Я из-за всего переживаю, — сказала Нэнси.

Опека фонда над состоянием Роберта завершалась, и к часу тридцати его ждали в банке — отчитаться за прошедшие двенадцать лет и подписать бумаги.

А вот у дядюшки Чарли никаких обязательных ритуалов по завершению опеки не было. Согласно закону, в этот день с его плеч автоматически слетал весь груз ответственности за подопечного.

Именно так — автоматически.

Однако Чарли был не таков. Собственных детей судьба ему не дала, и к Роберту он привязался всей душой. Чарли считал, что воспитание этого мальчика — лучшее, что они с женой сделали за свою жизнь, и поэтому наметил небольшую сентиментальную церемонию.

Чарли представления не имел, что Роберт женился, — и планировал мероприятие на двоих.

Он прибыл в «Атлантик» за полчаса до предположительного времени появления именинника.

Решительно направился в сторону бара и занял поблизости небольшой столик на две персоны.

Раскланялся с несколькими знакомыми. Те, кто хорошо его знали, удивлялись выбору места: ведь Чарли вот уже восемь лет не пил вообще. Он не рисковал сделать ни глотка — как все алкоголики. Маленькой кружки пива раньше было довольно, чтобы Чарли ушел в многодневный запой.

Подошла официантка, новая, не из прежних. Она спокойно приняла заказ, вернулась к стойке и равнодушно объявила на весь зал: «виски со льдом». Официантка не представляла даже, что провозглашает конец эпохи.

Чарли Брюер, после восьмилетней завязки, собирался принять на грудь.

Ему подали выпивку.

Вместе с выпивкой к столику подошел Нед Кроссби, владелец «Атлантика». Официантка поставила рюмку перед Чарли, а Нед сел на стул напротив, настороженно поглядывая на визави.

— Привет, Чарли, — мягко произнес он.

Чарли поблагодарил официантку и повернулся к Неду.

— Привет, Нед. Боюсь, тебе скоро придется освободить место. С минуты на минуту подойдет

мой мальчик.

— Так это для него? — Нед показал на виски.

— Для меня, — ответил Чарли. И безмятежно улыбнулся.

Обоим собеседникам было под пятьдесят, оба лысые, оба алкоголики. Оба покуролесили в молодые годы. Они одновременно покончили с выпивкой и вместе пришли на первое собрание Анонимных алкоголиков.

— Сегодня моему мальчику исполняется двадцать один, Нед, — сказал Чарли. — Сегодня он становится мужчиной.

— Здорово. — Нед кивнул на стол. — В честь праздника?

— В честь праздника, — просто согласился Чарли. Он не сделал попытки взять рюмку. Он не собирался пить, пока не войдет Роберт.

Если бы джентльменов увидел посторонний, то решил, что Нед на мели, а Чарли процветает. И попал бы впросак. Приземистый неказистый Нед в мятом невразумительном трикотаже имел с «Атлантика» тридцать тысяч долларов ежегодно. Чарли, высокий, элегантный и подтянутый, щеголявший ухоженными усами, зарабатывал едва ли десятую часть, продавая алюминиевые ставни.

— Новый костюм, Чарли? — спросил Нед.

— Единственный, — сказал Чарли.

Костюм, дорогой, элегантный, из темной ткани, был приобретен шестнадцать лет назад, когда Чарли не только казался, а действительно был богатым. Чарли, как и его подопечный, унаследовал состояние. И все растратил, раз за разом вступая в сомнительные предприятия. Фабрика венецианского стекла, киоски по торговле замороженным кремом, оптовая продажа японских пылесосов, паром через многомильный пролив, даже завод по переработке пара итальянских вулканов.

— Не переживай ты насчет выпивки, — сказал Чарли.

— А разве я переживаю? — возразил Нед.

— У тебя все на лбу написано, — сказал Чарли. Самая очевидная ловушка для алкоголиков — праздники, и Чарли прекрасно это знал.

— Ну, спасибо за комплимент, — хмыкнул Нед.

— Это не заурядный праздник, — сказал Чарли.

— Все они незаурядные, Чарли, — добродушно согласился Нед.

— У меня сегодня и вправду есть повод, — заявил Чарли.

— Угу, — сказал Нед так же добродушно. — Хочешь пировать, пируй, Чарли. Только не здесь.

Чарли обхватил рюмку ладонью.

— Здесь, — сказал он, — и, черт возьми, прямо сейчас!

Он слишком долго планировал этот драматический жест, чтобы поддаться на уговоры. Чарли и сам прекрасно понимал опасность поставленной прямо пред носом рюмки. До невозможности страшно — словно идешь по канату через Ниагарский водопад.

Испытание — в этом и был весь смысл.

— Нед, — произнес Чарли, — представь. Мальчик заходит, видит у меня в руке рюмку и приходит в ужас. А теперь спроси, что будет дальше. — Чарли подался вперед. — А я тебе скажу — ничего! — Он снова сел прямо. — Продавай билеты. Продавай входные билеты, говорю тебе, пусть все полюбуются, как Чарльз Брюер выпьет первую рюмку за восемь лет — вот прямо сейчас, — и ничегошеньки с ним не будет! А почему?

Чарли говорил так громко, что в их сторону стали поворачиваться посетители.

— Ну-ка, спроси: почему сегодня эта отрава для меня безопасна? — И сам ответил тихим свистящим шепотом: — Потому что сегодня день моего торжества, Нед. Полной победы. Сегодня тени прошлых неудач до меня не доберутся. Раньше

они всякий раз сверлили мне мозг, вопили на все голоса. А сегодня — не выйдет!

Чарли потряс головой, словно самому себе не веря.

— Мой милый мальчик. Двадцать один год! Сегодня я, наконец, могу выпить, Нед. Мне есть чему радоваться.

Роберт Райан-младший припарковал машину на асфальтовом пятачке у ресторана «Атлантик». Это была первая семейная поездка, и молодая супруга уже начала вести летопись совместной жизни.

— Наша самая первая остановка, — сказала Нэнси Холмс Райан. Она намеревалась запечатлеть в памяти этот асфальтовый пятачок и эту парковку; она находила проявление любви и романтики везде: рядом с мелочной лавкой, у стойки с обувью, в магазине радиотоваров и вот, возле ресторана. — Я навсегда сохраню в своем сердце это место, как первое место, где мы остановились.

Роберт без промедления вылез из автомобиля, обошел его и открыл для Нэнси дверь.

— Погоди, — сказала Нэнси. — Ты теперь женатый человек, учись ждать. — Она развернула к себе зеркало заднего вида и посмотрелась в него.

— Запоминай, женщина не может выскочить из машины как мужчина. Ей нужно приготовиться.

— Извини, — сказал Роберт.

— Особенно если женщине предстоит знакомство с новой родней. — Нэнси посмотрела на себя в зеркальце и нахмурилась. — Я совсем ничего о нем не знаю.

— О дяде Чарли? — уточнил Роберт.

— Ты почти ничего не рассказывал, — напомнила Нэнси. — Ну давай, давай расскажи.

Роберт пожал плечами.

— Он романтик.

Нэнси попробовала уловить смысл данной дядюшке характеристики.

— Романтик? — эхом повторила она.

— Потерял все состояние в каких-то безумных проектах, — пояснил Роберт.

Нэнси покивала.

— Понятно. — Ей по-прежнему было ничего не понятно. — Боб?

— А? — спросил Роберт.

— А при чем здесь проекты?

— Он всех и вся идеализирует. Проза жизни для дядюшки Чарли недостаточно хороша, — с каждым словом сильнее раздражаясь, пояснил Роберт. — Все, за что он берется… Он строит пла-

ны, планы, планы… Блестящие планы. И совсем не соотносит их с реальностью.

— Так ведь это здорово. — Нэнси невольно ответила несколько запальчиво.

— Это идиотизм, — довольно резко сказал Роберт.

— С чего бы? — спросила Нэнси.

— Он снова и снова ставит свое благополучие на карту ради… ради полной ерунды! Дурак несчастный!

Горечь, прозвучавшая в голосе Роберта, напугала Нэнси, привела в смятение.

— Роберт, ты его не любишь? — нерешительно спросила она.

— Люблю, само собой! — рявкнул Роберт.

Он ответил так резко, так отчужденно, так непразднично — словно… словно посторонний, — что это подействовало на Нэнси, как оплеуха. Она на секунду застыла, а потом… Беззвучный всхлип, несколько выкатившихся из глаз слезинок, мелькнувших в ясном открытом взгляде… Она отвернулась.

Роберт покраснел и неловко взмахнул рукой.

— Извини.

— Ты как с ума сошел, — сказала Нэнси.

— Не сошел, — возразил Роберт.

— А похоже, — сообщила Нэнси. — Что я сказала не так?

— Ты ни при чем, — ответил Роберт. Вздохнул. — Так идем? Ты готова?

— Нет, — ответила Нэнси. — Нет. Слезы еще эти.

— Не торопись, — сказал Роберт.

* * *

Нед Кроссби, владелец «Атлантика», словно постарел и осунулся. Он все еще сидел с Чарли за столиком. Ему так и не удалось отговорить старого друга: с каждым новым возражением Чарли все больше загорался величественностью своего замысла.

Наконец, Нед встал, и Чарли взглянул на друга с насмешливой заботой.

— Уходишь?

— Ухожу, — подтвердил Нед.

— Надеюсь, я тебя успокоил, — небрежно сказал Чарли.

— Конечно. — Нед ухитрился выдавить улыбку. — Прозит, чин-чин, будь здоров.

— Может, все-таки выпьешь с нами, Нед? — игриво предложил Чарли.

— Большое искушение, — ответил Нед. — Толь-

ко вот я до смерти боюсь, что мир подстроит нам пакость.

— Да что может случиться? — не понял Чарли.

— Не знаю, и ты не знаешь. Однако жизнь устроена не так, как мы рассчитываем, она богата на сюрпризы. Запросто кто-нибудь влезет и все испортит.

К концу своего страстного спича Нед намеревался отодвинуть виски подальше от Чарли. И не успел. Чарли подскочил и отсалютовал рюмкой, приветствуя Роберта, который застыл в проеме.

Чарли выпил содержимое рюмки в три длинных, решительных глотка — словно совершая ритуал.

Нэнси Холмс Райан наблюдала эту картину в узкую щель между плечом мужа и дверным косяком. Потом в дверном проеме, как в рамке, осталась одна Нэнси: Роберт шагнул в сторону дядюшки.

Рядом с Чарли встревоженно топтался какой-то неухоженный господин. Хозяин заведения, не иначе. Из них троих счастливым выглядел только дядюшка.

— Не беспокойся, — сказал Роберту Чарли.

— Я и не беспокоюсь, — ответил Роберт.

— Меня вовсе не сорвало, — сказал Чарли. — Я ни капли не выпил с твоего отъезда. Просто сегодня особый повод. — Он демонстративно поставил рюмку на стол. — Одна порция, и все. — Он повернулся к Неду. — Ну, что, запятнал я репутацию «Атлантика»?

— Нет, — мирно ответил Нед.

— И не запятнаю, — сказал Чарли. Он кивнул на стул. — Садись, взрослый ты наш.

— Ты мне? — переспросил Роберт.

— Я долгих двенадцать лет опекал несовершеннолетнего, — пояснил Чарли. — А теперь ты вырос.

— Дядюшка Чарли… — начал Роберт, желая представить Нэнси.

— Садись, садись, — сердечно пригласил Чарли. — Что бы мы ни сказали сейчас друг другу, давай делать это со всеми удобствами.

— Дядюшка Чарли, — повторил Роберт. — Позволь представить тебе мою жену.

— Твою что? — не понял Чарли. Откровенно говоря, он и вовсе не заметил Нэнси. Теперь, когда Роберт кивнул в ее сторону, Чарли продолжал сидеть, глядя на девушку с некоторым удивлением.

— Мою жену, — повторил Роберт.

Чарли встал. Теперь он не отводил от Нэнси

пристального, лишенного всякого выражения взгляда.

— Очень приятно, — произнес он.

Нэнси слегка поклонилась.

— Очень приятно, — произнесла она.

— Я прослушал ваше имя, — сказал Чарли.

— Нэнси, — сказала Нэнси.

— Нэнси, — эхом отозвался Чарли.

— Сегодня утром мы поженились, — сказал Роберт.

— Вот как, — произнес Чарли.

Он несколько раз резко моргнул, сощурился, словно пытаясь сфокусировать взгляд. А затем, осознав, что это могут принять за пьяные гримасы, громко пояснил:

— Что-то в глаз попало.

И повернулся к Неду.

— Я трезв как стеклышко.

— Никто и не сомневался, — ответил Нед.

— Что же мы тут стоим? — воскликнул Чарли. — Официант!

Бомар

© Перевод. Е. Матвеева, 2020

В отделе учета акционеров, что в финансовом департаменте американской компании «Молот и наковальня», окон не было. Из громкоговорителя рядом с часами на зеленой стене лилась приятная музыка; она увеличивала производительность отдела на три процента, не давала забыть о смене времен года и была своего рода окнами для сотрудников — Бада Кармоди, Лу Стерлинга, ну и Нэнси Дэйли.

Сейчас громкоговоритель наигрывал песни о весне. Кармоди и Стерлинг, оставив шестидесятичетырехлетнюю мисс Дэйли за главного, отправились пить утренний кофе.

Беззаботные и не отягощенные амбициями, они неторопливо шли по двору фабрики к воротам, за которыми их ждал бар «Супергриль». В свое время им обоим дали понять, что у них нет бесценных качеств, позволяющих выбиться в начальники, и потому, в отличие от суетящихся вокруг молодых людей с наивным энтузиазмом в глазах, Кармоди и Стерлинг носили удобную и

недорогую одежду и выходили испить кофейку, когда вздумается.

Еще у них был целый пласт юмора, закрытый для тех, кому светило большое будущее в организации: они свободно отпускали шуточки о компании «Молот и наковальня», ее продукции, сотрудниках и акционерах.

Сорокапятилетний Кармоди теоретически отвечал за работу отдела, состоящего из молодого Стерлинга, мисс Дэйли и папок с документами, однако, будучи анархистом по духу, никогда не отдавал указаний. Высокий и худой мечтатель, он гордился тем, что больше склонен к творчеству, нежели к начальствованию, так что энергия его уходила на то, чтобы набивать ящик предложений, украшать офис к праздникам и собирать лимерики в папку, запертую в столе.

Поначалу Кармоди приуныл, глядя, как предприимчивые молодые сотрудники один за другим обгоняют его на лестнице к успеху. Потом в отдел пришел двадцативосьмилетний, такой же высокий и худой мечтатель Стерлинг, недооцененный в других подразделениях конторы, и жизнь в отделе забила ключом.

Кармоди и Стерлинг побуждали друг друга к достижению все новых вершин творчества —

необычайно продуктивный союз двух талантов породил множество творений, самым значимым из которых был миф о Бомаре Фессендене Третьем.

Человек по имени Бомар Фессенден Третий и вправду существовал среди акционеров компании, однако ни Кармоди, ни Стерлинг не знали о нем ничего — только количество акций и домашний адрес: 5889, Сивью-Террас, Грейт-Нек, Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Пышные имя и фамилия так поразили воображение Стерлинга, что он начал со знанием дела рассказывать, как Фессенден, якобы его старинный приятель по университету, шикует на дивиденды, выплачиваемые компанией, и шлет письма из игорных заведений по всему миру — Акапулько, Палм-Бич, Ницца, Капри… Очарованный мифом Кармоди тоже много чего к нему присочинил.

— Какой чудесный денек! — воскликнул Кармоди, когда они вышли за ворота. — Жаль, Бомар Фессенден Третий не видит.

— Вот одна из многих причин, почему я бы никогда не поменялся местами с Бомаром, — вторил ему Стерлинг. — Даже за все его богатство, комфортную жизнь и красоток. Он не видит смены времен года.

— Отрезан от жизни бедняга Бомар, — посетовал Кармоди. — Словно и не живет. Каждый раз, когда приходит зима, он что делает?

— Удирает от нее, — сказал Стерлинг. — Глупец. Убегать от всего. Только что получил от него открытку — пишет, что отчаливает из Буэнос-Айреса, потому что там слишком влажно.

— На самом деле Бомар бежит от самого себя, от бесполезности своего существования, — отозвался Кармоди, усаживаясь в кабинку «Супергриля». — Но душевная пустота настигает его так же неизбежно, как дивиденды.

— Две булочки с присыпкой и два кофе, — обратился Стерлинг к официантке.

— Нет, ей-богу, — заметил Кармоди, — многое бы, наверное, старина Бомар отдал за то, чтобы сидеть сейчас с нами, простыми здравомыслящими людьми, и вести простой благоразумный разговор за простой здоровой трапезой.

— Да уж, — вздохнул Стерлинг. — Прямо читаю это между строк его писем. Зачем каждый день швырять где-то там целое состояние на выпивку, женщин и дорогие забавы, когда можно обрести душевное спокойствие прямо здесь всего за каких-то двадцать центов.

— Двадцать пять, — поправила его официант-

ка.

— Двадцать пять?! — недоверчивым эхом отозвался Кармоди.

— Кофе подорожал на пять центов, — уточнила официантка.

Кармоди натянуто улыбнулся.

— Что ж, Бомар заплатил бы на пять центов больше. За душевный-то комфорт. — Он бросил четвертак на стол. — Черт с ними, с расходами!

— Сегодня гуляем, — сказал Стерлинг. — Закажи еще булочку.

— Кто такой Бомар? — спросила официантка. — Вы только о нем и говорите.

— Кто такой Бомар? — Стерлинг бросил на нее сочувственный взгляд. — Бомар? Бомар Фессенден Третий? Спросите любого!

— Спросите мисс Дэйли, — с ехидным ликованием предложил Кармоди. — Если готовы слушать о Бомаре часами, обращайтесь к мисс Дэйли. Она ни о ком другом не думает.

— Поинтересуйтесь ее мнением о новой пассии Бомара, — сказал Стерлинг.

Кармоди поджал губы, подражая мисс Дэйли, и произнес «ее» голосом:

— Эта девица из Копакобаны!..

Бедная мисс Дэйли отдала компании тридцать

девять лет своей жизни. В отдел учета акционеров ее перевели всего месяц назад, поэтому она верила всему, что рассказывали ей о Бомаре Стерлинг и Кармоди.

Кармоди продолжил мастерски пародировать мисс Дэйли:

— Должны быть законы, запрещающие таким Бомарам иметь столько денег и швырять их на ветер, в то время как множество людей голодает, — негодующе произнес он. — Будь я мужчиной, я бы этого Бомара нашла где угодно, задвинула в сторону его заносчивого старика-дворецкого и задала бы хозяину такую трепку, какую он в жизни не забудет.

— Как зовут дворецкого? — спросил Стерлинг.

— Доусон? — отозвался Кармоди. — Или Редфилд? Нет, не Редфилд.

— Давай, вспоминай, дружище — сказал Стерлинг. — Это же ты его придумал.

— Перкинс? Не-а. Совсем вылетело из головы. — Он улыбнулся и пожал плечами. — Да неважно. Мисс Дэйли помнит. Она не забыла ни одной мельчайшей подробности из всей этой гадкой истории под названием «жизнь Бомара Фессендена Третьего».

— О, — произнес Кармоди, демонстрируя свою

главенствующую роль, когда они со Стерлингом вернулись в офис. — Прислали. Ну, раз так, поработаем, что ли?

Офис был заполнен картонными коробками с весенними чеками на дивиденды — отделу полагалось сверить данные на чеках с новейшими сведениями о местонахождении тысяч акционеров компании и количестве их акций. Мисс Дэйли, худенькая, застенчивая, с доверчивыми, как у теленка, глазами, просматривала содержимое одной из коробок.

— Нам необязательно проверять все, — сказал Кармоди. — Только те, где изменился адрес или количество акций.

— Знаю, — ответила мисс Дэйли, — у меня на столе список.

— Хорошо, — ответил Кармоди. — Я смотрю, вы уже на букве «Ф». Нас со Стерлингом не было-то всего ничего, а вы уже столько просмотрели?

— Я искала нашего славного Бомара Фессендена Третьего, — сухо пояснила мисс Дэйли.

— Ну и как? Накапало что-нибудь моему однокашнику? — поинтересовался Стерлинг.

Мисс Дэйли побелела от негодования.

— Да, — ответила она отрывисто, — и немало. Двести пятьдесят долларов.

— Ему это капля в море, — сказал Стерлинг. — Вряд ли Бомар вообще в курсе, что владеет частью, вернее, какой-то там частичкой этой компании. «Стандарт Ойл», «Дюпон», «Дженерал Моторс» и иже с ними — вот откуда к нему плывут большие деньги.

— Сто акций! — воскликнула мисс Дэйли. — Это, по-вашему, мало?

— Ну, всего-навсего десять тысяч долларов, — терпеливо возразил Кармоди, — плюс-минус сотня. Ожерелье, которое он подарил Кармелле в Буэнос-Айресе, подороже будет.

— Вы хотели сказать, Хуаните? — удивилась мисс Дэйли.

— Простите, — поправился Кармоди, — конечно, Хуаните.

— Кармелла — дочка тореадора из Мехико, — продолжала удивляться мисс Дэйли. — У нее еще «Кадиллак».

— Совершенно верно, — кивнул Стерлинг и с упреком обратился к Кармоди: — Как ты мог перепутать Кармеллу и Хуаниту?

— Да уж, глупо с моей стороны, — ответил Кармоди.

— Они совсем непохожи, — возмутилась мисс Дэйли.

— Хуаниту он все равно уже бросил, — сказал Стерлинг. — И уехал из Буэнос-Айреса. Там влажность слишком высокая.

— Помилуйте, влажность ему высокая! — заметила мисс Дэйли с горьким сарказмом. — Где человеку выдержать такую влажность!

— Что еще рассказывает Бомар? — поинтересовался Кармоди.

— Он сейчас сорвался в Монте-Карло. Новую подружку завел. Фифи. Познакомились, когда играл в рулетку. Говорит, так на нее засмотрелся, что спустил пять тысяч, вместо того чтобы следить за игрой.

Кармоди довольно ухмыльнулся.

— Да, азарта Бомару не занимать.

Мисс Дэйли фыркнула.

— Ну-ну, мисс Дэйли, не сердитесь на Бомара, — сказал Стерлинг. — Он просто игрок, витает в облаках. Мы бы все так жили, если б могли.

— Говорите за себя, — с жаром возразила мисс Дэйли. — Ничего безнравственнее мне не приходилось слышать. Совершенно испорченный молодой человек, а мы сидим тут и отсылаем ему деньги, которые он вышвырнет на ветер. Это не по-христиански. Как жаль, что я еще не на пенсии, тогда мне не пришлось бы этим заниматься.

— А вы делайте свою работу, стиснув зубы. Как мы со Стерлингом, — посоветовал Кармоди.

— Смиритесь, мисс Дэйли, — добавил Стерлинг.

Две недели спустя Кармоди и его протеже Стерлинг сидели в «Супергриле».

Впервые за всю историю их отношений Кармоди сурово отчитывал Стерлинга:

— Нет, подумай только, ты же убил курицу, которая несла золотые яйца! Ты слаб. Ты поддался соблазну.

— Твоя правда, — виноватым тоном ответил Стерлинг. — Теперь понимаю. Занесло. Был не в себе. Как в горячке какой-то.

— Занесло! — воскликнул Кармоди. — Зачем ты ляпнул, что Бомар зафрахтовал «Куин Элизабет»?

— Совсем с ума сошел этот Бомар, — сказал Стерлинг уныло. — Мисс Дэйли не поверила, и я попытался обернуть все в шутку.

— Вот-вот, именно все ты в шутку и обернул. Когда она устроила тебе перекрестный допрос о том, что мы когда-либо говорили ей о Бомаре, ты отвечал невпопад.

— Да разве столько всего упомнишь? — оправдывался Стерлинг. — Что еще сказать? Я же

извинился. Хуже всего, что для нее это оказалось таким тяжелым ударом.

— Конечно, тяжелым. Она унижена, ты полжизни у нее оттяпал. Пожилая одинокая душа привязалась к Бомару, как каннибал к упитанному баптисту-миссионеру. Она любила Бомара, казалась себе такой праведной на его фоне. А ты забрал Бомара у нее, у нас.

— Я ведь не признался, что мы все выдумали.

— Как будто сложно догадаться. Единственное, что ее теперь убедит, — встреча с самим Бомаром.

Стерлинг задумчиво помешал кофе.

— И что? Это *совсем* неосуществимо?

— Ну, не совсем, — признал Кармоди.

— Ага, видишь? — обрадовался Стерлинг. — Никогда не отчаивайся раньше времени. Только представь, как мисс Дэйли выскажет в лицо мистеру Бомару Фессендену Третьему все, что она о нем думает! Сорок лет работы, через три месяца на пенсию. И тут такое событие напоследок!

Кармоди заинтересованно кивнул, жуя.

— У твоей булочки тоже какой-то странный вкус?

— Булочка как булочка, — ответил Стерлинг. — Итак, Бомар. Он должен быть толстым, распут-

ным, наглым коротышкой…

— В спортивном пиджаке, который длинен ему так, что доходит до колен, — добавил Стерлинг, — с полосатым, как либерийский флаг, галстуком и в кедах на «манке».

Мисс Дэйли не было на месте, когда Кармоди и Стерлинг вернулись в офис после интенсивных поисков двойника воображаемого Бомара Фессендена Третьего. Тот отыскался в подсобке научно-исследовательской лаборатории и запросил за свои услуги пять долларов. Парня звали Стэнли Брум, и Бомар из него вышел превосходный.

— Ему даже не нужно притворяться никчемным, — радовался Стерлинг. — Он и есть сама никчемность.

Кармоди шикнул — в кабинет вошла мисс Дэйли. Вид у нее был крайне расстроенный.

— Опять надо мной смеетесь, — сказала она.

— Что вы, даже не собирались! — возразил Кармоди.

— Да? А про Бомара вы же все выдумали!

— Выдумали? — недоуменно произнес Стерлинг. — Дорогая мисс Дэйли, не пройдет и суток, как Бомар явится сюда собственной персоной. Я получил телеграмму. Он заедет сюда по пути из

Монте-Карло на Каталину.

— Я вас умоляю, — сказала мисс Дэйли. — Уже и так перебор. Даже не представляете, какой.

— Мисс Дэйли, уверяю вас, это не шутка. Он будет здесь завтра же, вы увидите его собственными глазами. Можете даже ущипнуть. Он настоящий, правда. — Стерлинг пристально глядел на нее, пораженный тем, как важен для нее Бомар. — Но если бы вдруг он оказался выдумкой, что тогда?

— Он настоящий? Точно? — спросила она.

— Сами завтра увидите, — ответил Кармоди.

— Клянетесь, что все его похождения — не выдумка? — продолжала мисс Дэйли.

— Я выдумал только про «Куин Элизабет», — сказал Стерлинг.

— Все остальное правда?

— Наш Бомар еще не на такое способен, — заверил ее Кармоди.

Как ни удивительно, эти слова принесли мисс Дэйли значительное облегчение. Она села на стул и даже улыбнулась.

— *Правда*, — слабым голосом произнесла она. — Слава богу. Окажись все выдумкой, я… — Она покачала головой.

— Окажись все выдумкой, вы бы что? — спросил Кармоди.

— Да так, ничего, — сказала мисс Дэйли рассеянно. — Раз все это правда, я ни о чем не жалею.

— О каких сожалениях вы говорите? — недоумевал Кармоди.

— Да так, ни о каких, — проговорила она вполголоса. — Итак, завтра я наконец-то встречусь с господином Фессенденом. Прекрасно!

Следующим утром в начале девятого Стерлинг и Кармоди в «Супергриле» натаскивали Брума для спектакля, который ему предстояло разыграть перед мисс Дэйли в отделе учета акционеров.

Одет Брум был кричаще, а его жирная физиономия с наглой ухмылкой, казалось, так и напрашивается на оплеуху.

— Надеюсь, это недолго, а то меня с работы турнут, — сказал он.

— Нет, что ты, самое большее минут пятнадцать, — заверил его Стерлинг. — Заходим вместе, я непринужденно представляю тебя Кармоди и мисс Дэйли. Ты заехал повидать университетского друга по пути из Монте-Карло на Каталину. Понял?

— Чего тут не понять… А она меня бить не собирается?

— Да она и мухи не обидит, — ответил Стерлинг. — Там росту всего ничего, и вес легче пушинки.

— Легче-то легче, да вдруг вцепится, — опасливо произнес Брум.

— Не-а. Так, идем дальше. Название твоей яхты?

— «Голден Игл», пришвартована в Майами-Бич, — ответил Брум. — Я, может, прикажу экипажу пригнать мне ее по каналу к Западному побережью.

— Как зовут твою новую любовь?

— Фифи. Я встретил ее в Монте-Карло, через несколько дней она приедет ко мне на Каталину, за мой счет. Ей сначала нужно развязаться с графом, с которым она была помолвлена.

— Что ты ей подарил? — спросил Стерлинг.

— Э-э-э, изумруды и манто из голубой норки.

— *Серебро* и манто из голубой норки, — поправил Кармоди. — Ладно, по-моему, неплохо. Пойду в офис, подготовлю мисс Дэйли к торжественному выходу Бомара на сцену.

* * *

В офисе, раскрасневшись от волнения и едва дыша, ждала встречи с Бомаром мисс Дэйли. Она бесцельно перекладывала бумаги с места на место. Ее губы беззвучно шевелились.

— А? Вы что-то сказали, мисс Дэйли? — спросил

Кармоди.

— Нет-нет, я не вам, — вежливо ответила мисс Дэйли. — Просто собираюсь с мыслями.

— Вот это я понимаю. Хотите задать ему взбучку?

— Бомар, старина! — послышался голос Стерлинга прямо за дверью. — Ты прямо отрада для глаз!

В нервном порыве мисс Дэйли дернулась и сломала грифель карандаша. В офис вошли Стерлинг с Брумом.

Попыхивая до нелепости огромной вонючей сигарой, Брум окинул кабинет испепеляющим взглядом.

— Тесно, как в трюме, — бросил он. — Как тут вообще можно находиться? Мне и десяти секунд хватило.

Мисс Дэйли побелела и задрожала, но, обомлев, не смогла произнести ни слова.

— Вы хотите сказать, что кто-то еще так живет? — сказал Брум.

— Да, живут, — сказала мисс Дэйли тихо, — те, кто не обленились и не распустились вконец, работа ведь сама не сделается.

— Наверное, вы хотели меня этим оскорбить, — ответил Брум, — но, увы, не получится, поскольку

в мире почти нет такой работы, за которую стоило бы браться. Кроме того, кто-то же должен уделять все свое внимание красотам жизни, а иначе и цивилизации бы не было.

— Это каким же красотам? Фифи? — произнесла мисс Дэйли. — Кармелле? Хуаните? Эмбер? Колетт?

— Вижу, вы тут и вправду следите за передвижением акционеров, — заметил Брум.

— Я немного ей о тебе рассказывал, Бомар, — пояснил Стерлинг.

— Буквально до вчерашнего дня я понятия не имел, что у меня есть акции в этом так называемом предприятии, — покачал головой Брум. — Очевидно, любопытная мисс давно это знала.

— Не любопытная мисс, а мисс Дэйли, — поправила его мисс Дэйли. — Мисс Нэнси Дэйли.

— К чему такое высокомерие, мисс Дэйли? — небрежно проронил Брум. — Низшие классы я никогда не обижал.

— Да вы просто апогей мировой несправедливости, — выпрямившись, произнесла мисс Дэйли дрожащими губами. — Теперь, когда я увидела вас и убедилась, что вы еще хуже, чем можно было себе представить, я совсем не жалею о том, что сделала. И даже рада, что так поступила.

— Как? — Брум внезапно остановился на ходу. Он вопросительно поглядел на Кармоди и Стерлинга — тот, в свою очередь, с тревогой смотрел на мисс Дэйли.

— Ваши дивиденды, мистер Фессенден, — заявила мисс Дэйли. — Я подписала чек на обороте вашим именем и отправила в Красный Крест.

Кармоди и Стерлинг обменялись взглядами, полными ужаса.

— Это была моя инициатива, — сказала мисс Дэйли. — Мистер Кармоди и мистер Стерлинг не в курсе. Чек был всего на двести пятьдесят долларов, вы бы и не заметили — теперь эти деньги найдут лучшее применение, чем если бы вы отдали их бесстыднице Фифи.

— Хм, — промычал окончательно растерявшийся Брум.

— Ну, вызывайте полицию! — продолжала мисс Дэйли. — Если хотите выдвинуть обвинения, я готова.

— Ну, я, э-э-э, — пробормотал Брум. Ни Кармоди, ни Стерлинг не могли подсказать ему следующей реплики — оба стояли как громом пораженные. — Как пришло, так и ушло, — выдавил он наконец. — Да, Стерлинг?

Стерлинг вышел из ступора.

— Деньги — зло, — изрек он с безнадежностью в голосе.

Брум пытался придумать, что бы еще сказать.

— Ну ладно, я в Монте-Карло, — бросил он. — Адью!

— На Каталину, — поправила его мисс Дэйли. — Вы же только что из Монте-Карло.

— На Каталину, — повторил за ней Брум.

— Что, полегчало, мистер Фессенден? — спросила мисс Дэйли. — Приятно наконец-то сделать что-то хорошее для других, а не для себя?

— Угу, — мрачно кивнул Брум и вышел.

— Спокойно воспринял, — сказала мисс Дэйли Кармоди и Стерлингу.

— Для Бомара это ерунда, — холодно заметил Кармоди, с отвращением глядя на Стерлинга — Франкенштейна, породившего монстра. Теперь придется выписать и отправить настоящему Бомару новый чек, и Кармоди не мог придумать, как бы изящно объяснить начальству этажом выше, что случилось со старым чеком. Дни Кармоди, Стерлинга и мисс Дэйли в компании «Молот и наковальня» сочтены. Монстр обернул свой гнев на них же и уничтожил всех троих.

— Думаю, мистер Фессенден усвоил урок, — сказала мисс Дэйли.

Кармоди положил ладонь на плечо мисс Дэйли.

— Мисс Дэйли, вы должны кое-что знать, — начал он сурово. — У нас неприятности, мисс Дэйли. Бомар Фессенден Третий, который тут только что был, — ненастоящий, а все, что мы рассказывали вам о Бомаре, — неправда.

— Это была шутка, — с горечью в голосе произнес Стерлинг.

— Не очень-то смешная, надо сказать, — ответила мисс Дэйли. — Зря вы делали из меня дурочку.

— Да, шутка в итоге получилась совсем несмешная, — признал Кармоди.

— Во всяком случае, не такая смешная, как моя, — сказала мисс Дэйли. — О поддельной подписи.

— Так вы пошутили? — воскликнул Кармоди.

— Конечно, — ласково ответила мисс Дэйли. — Где ваша улыбка, мистер Кармоди? А ваша, мистер Стерлинг? Ну хоть чуточку-то посмейтесь? Боже мой, и впрямь пора на пенсию. Люди совсем разучились смеяться над собой.

Реквием по Цайтгайсту

© Перевод. И. Доронина, 2020

— De mortuis nil nisi bonum[54], — произнес мужчина, сидевший на барном табурете рядом со мной. Время подходило к закрытию, бармен извинился и ненадолго отошел, мы остались одни. До этого мы почти два часа просидели бок о бок, не сказав друг другу ни слова. Время от времени я разглядывал его лицо в голубом зеркале напротив, за баром, но пока он не заговорил, мы ни разу не взглянули друг другу в глаза — и то, что я увидел в его глазах сейчас, меня обеспокоило. У него были фигура и черты лица — как у молодого атлета, не старше тридцати, но глаза… это были глаза больного растерянного старика, короля Лира. — О мертвых — либо хорошо, либо ничего, — перевел он после мрачного молчания.

— Я знаю, — ответил я, — и так и поступаю.

Судя по всему, он этим удовлетворился, удовлетворился настолько, что сразу потерял ко мне интерес и, жестикулируя, обратился к собственному отражению в зеркале.

---

[54] Примечания: 54

О мертвых *(следует говорить)* — ничего, кроме хорошего (*лат.*).

— Таких людей, как Омар Цайтгайст, больше не делают, — сказал он. — И где он теперь? Где величайший ум нашего времени, всех времен? — При этих словах он начал безудержно хохотать, и смех его был исполнен горькой иронии.

Я оставил на чай четвертак под наполовину недопитым стаканом и направился к выходу. Он грубо схватил меня за плечо.

— Омар Цайтгайст был немцем, единственным человеком на Земле, знавшим секрет космической бомбы, — прошептал он. — Я был его телохранителем.

— Космическая бомба — это вроде водородной? — рискнул предположить я.

— Космическая бомба по сравнению с водородной — все равно что землетрясение по сравнению с икотой, — с раздражением ответил он. — Работает по тому же принципу, по какому действует сила, удерживающая Вселенную от распада, только наоборот.

— Ужас какой, — сказал я.

— У Цайтгайста не было лаборатории, всю работу он проделал в голове. — Мой осведомитель многозначительно постучал себя пальцем по виску и поцокал языком. — Наши контрразведчики знали, что он подошел очень близко к разгадке

тайны космической бомбы, когда кончилась война. Они не оставили неперевернутым ни один камешек в его поисках после капитуляции Германии. Целые полчища людей из хороших семей были мобилизованы для выполнения единственной задачи — найти Цайтгайста. Немало таких поисковиков было найдено плавающими вниз лицом с простреленной головой в Рейне, Роне, Эльбе, Руре, Аллере, Альтмюле, Унструте и других реках. Они не были одиноки в своем поиске.

— Коммунисты, да?

— Вы уже об этом знаете? — с удивлением спросил он.

— Просто догадался.

— Как известно, — продолжил он раздраженно, — между реками Жапура и Путумайо находится ничейная земля, на которую когда-то претендовали Колумбия и Перу. Победила Колумбия, если можно назвать победой обладание территорией между Жапурой и Путумайо. Говоря «ничейная земля», я имею в виду, что ни один колумбиец и ни один перуанец никогда не имели желания поселиться там, а уитото[55] — в цивилизованном смысле слова — людьми не являются. Уитото жи-

[55] Примечания: 55

Уито́то — индейский народ группы уитото, обитающий в тропических лесах Колумбии и Перу.

вут голыми, в постоянном страхе перед соседями и омерзительно всеядны. Насколько омерзительно, я вам сейчас расскажу. — Он залпом осушил свой бокал. — Они едят ногоплодник чилийский, маис, ямс, земляной орех, перец, бананы, ананасы, ланей, тапиров, диких свиней, ленивцев, медведей, обезьян и… — Голос у него прервался, и он впал в состояние мрачного оцепенения, в котором пребывал минут десять.

— Омар Цайтгайст… Вы собирались мне рассказать, что с ним случилось, — напомнил я.

— Я к этому подхожу, — ворчливо сказал он. — Его нашли в Висбадене, в заброшенном *Luftschutzraum*[56].

— Прошу прощения?

Он сочувственно посмотрел на меня.

— За что? Что вы сделали?

— Ничего, — смущенно ответил я. — Просто я не знаю, что такое *Luftschutzraum*.

— Не страшно, — сказал он, отмахнувшись. — Было решено спрятать Цайтгайста на какой-нибудь территории, свободной от внешнего давления и коммунистов, где он сможет доработать последние детали космической бомбы.

---

[56] Примечания: 56
Бомбоубежище (*нем.*).

Насколько было известно, никаких коммунистов между Жапурой и Путумайо не водилось. — Он грустно улыбнулся. — Колумбийцы лишь предупредили: «Остерегайтесь перуанцев», а перуанцы — «Остерегайтесь колумбийцев». Никто не сказал дурного слова об уитото, и никто не знал, закончится ли дождь к тому времени, когда мы с Омаром Цайтгайстом прибудем туда. Если бы сказали, вероятно, у нас теперь была бы уже космическая бомба.

— Может, мы и без того слишком изгадились? — вставил я.

Он закрыл глаза и вздохнул.

— Из всех слов мышей и людей самые печальные: могло бы быть. — Он шарахнул кулаком по стойке. — Он был так блистателен! Он даже не заметил, как его переправили через Атлантику и поселили в хижине среди джунглей. Он считал, что по-прежнему пребывает в заброшенном *Luftschutzraum*, что в Германии царит демократия и что президентом является фон Гинденбург. Цайтгайсту не нужны были ни лаборатория, ни помощники. Ему нужно было лишь думать, пока я охранял его тело. Так мы и жили, только вдвоем, в окружении тропических влажных джунглей и уитото. Ему оставалось решить еще только одну

проблему, чтобы завершить создание для человечества космической бомбы. Он почти закончил работу!

— Почти, но не совсем, как говорится? — спросил я.

— Не совсем, это точно. — Он заплакал, не стыдясь своих слез, потом нахмурился. — Уитото невежественны и дики. Насколько невежественны и дики, я, пожалуй, могу дать вам понять, сказав, что они верят, будто дождь проливает на землю маленькое белое существо, подобное эльфу. Они называют его Дилбо и не сомневаются, что оно скрывается в джунглях. Они всерьез считают, что, если бы удалось поймать, съесть Дилбо и сделать тамтам из его черепа, они могли бы вызывать дождь когда захотят, молотя по голове Дилбо. Им ничего не известно про способ конденсации дождя с помощью сухого льда и йодистого серебра. — Он закусил губу. — Какая жалость. Так или иначе, мы жили там только вдвоем, мы — и еще единственная проблема, оставшаяся неразрешенной. И вот однажды ночью Цайтгайст вскочил на ноги и бросился в джунгли с криком: «Эврика! Эврика! Эврика!», что в переводе с греческого означает: «Нашел! Нашел! Нашел!» — Мужчина смахнул слезы и храбро заставил

себя улыбнуться. — Это был момент триумфа. Наверное, Цайтгайст стал единственным белым человеком на всем пространстве между Жапурой и Путумайо, когда-либо кричавшим по-гречески. — Он нахмурился. — Если бы только это не случилось в сухой сезон! Если бы только в то время не чахнул урожай чилийского ногоплодника и дикие свиньи не мигрировали на юг, к новым водопоям! Засуха — как назло — сделала уитото коварными и агрессивными.

Я был вне себя, — продолжал он, — на пределе человеческих возможностей. Четыре часа я прочесывал непроглядные джунгли, выкрикивая его имя. Бесполезно. Наконец, когда лучи восходящего солнца коснулись вершин Анд на западе, я решился обратиться за помощью к уитото.

Тут мой информатор закрыл глаза, словно концентрируя все свое внимание на воспоминании о том ужасном моменте, который он переживал теперь заново.

— У уитото есть эффективная система передачи информации с помощью гигантских барабанов, звук которых разносится на много миль вокруг, — сказал он наконец, стараясь, чтобы голос его не дрожал. — Я уже привык к их адскому грохоту, раздававшемуся и днем, и среди ночи, поэтому

не придал особого значения тому, что грохот этот становился все громче по мере моего приближения к деревне аборигенов. Только пройдя уже через ворота, я отдал себе отчет в том, что деревенский барабан звучал по-другому. Это был не тот барабан. Его звук не был похож ни на один барабан, какой мне доводилось слышать раньше, — словно кто-то колотил по пустой автоцистерне слесарным молотком. — Он схватил мою руку и сжал ее до боли. — Внезапно я понял, что только одна вещь могла производить такой сверхъестественный звук. Измученные жаждой уитото нашли Дилбо!

— Вы хотите сказать… — начал было я.

— Да, Цайтгайста, — со стоном подтвердил мужчина. — Отцу космической бомбы пришел *kaput*, конец, *fin* — меньшее, что можно было сказать: он умер. «Трам-та-ра-ра!» — без умолку гремел новенький тамтам уитото. Мои обязанности телохранителя закончились.

Он выхватил револьвер и всадил шесть пуль в музыкальный автомат, который вспыхнул вишнево-красным светом и сдох.

— А дождь-то пошел? — после почтительного молчания поинтересовался я.

— Пошел, — мрачно ответил мой информатор,

— но не такой сильный, как надеялись уитото.

А слева от вас...

© Перевод. И. Доронина, 2020

На церемонии открытия новую научно-исследовательскую лабораторию Федеральной аппаратной корпорации «храмом науки» назвали три из шести ораторов — член кабинета министров, губернатор штата и лауреат Нобелевской премии. Они заявили, что каждый американец должен ее увидеть и что это самая великолепная лаборатория на Земле. В ответной речи представитель компании сообщил, что лаборатория открыта каждый день для всех, независимо от гражданства, цвета кожи и вероисповедания, и что в начале каждого часа из центра города будут отходить бесплатные автобусы, доставляющие посетителей в лабораторию, где постоянно будут дежурить гиды. В ежегодном путеводителе Государственной торговой палаты лаборатории как туристической достопримечательности было уделено больше места, чем пятому по высоте водопаду на востоке страны или поляне для пикников, где пьяные «Натакучи брэйвз» расправились с семьей Хендрика ван Зила.

В здании нового храма науки, построенного из плитняка, стали и стекла и выходящего фасадом на лес и синее озеро Минанго, в своей лаборатории сидел доктор Харольд Мейерс, уговаривая бритую крысу перейти из одной клетки в другую, которую ей предстояло делить с черной вакуумной трубкой, размером и формой напоминающей толстую сигару.

Мейерс, который стригся и одевался, как студент, хотя ему было сорок пять лет, подражая крысам, издавал какие-то попискивающие звуки, которые должны были успокоить голое и разъяренное животное, и подталкивал его сзади закругленным концом авторучки.

— Ну же… пип-пип… спокойно, дружок… пип-пип… вот хороший мальчик. — Крыса уже наполовину перешла в новую клетку. — Ну, детка, еще всего один дюйм и…

— А слева от вас, — взревел голос гида, — доктор Харольд Мейерс, человек, о котором, не сомневаюсь, вы все читали в газетах!

Мейерс уронил ручку, и крыса, сразу же набросившись на нее, сорвала колпачок, растерзала стержень и забрызгала чернилами белые манжеты Мейерса.

— Доктор Мейерс, — с гордостью продолжал

гид, — не кто иной, как человек, недавно открывший Зед-лучи, о которых вы все тоже читали. В этот самый момент вы наблюдаете, как творится история, потому что доктор Мейерс как раз работает над возможностями применения Зед-лучей в повседневной жизни.

Доктор Мейерс уныло улыбнулся гиду и четырем десяткам бойскаутов, набившихся в помещение, заглядывавших под вакуумные колпаки и в открытые ящики стола, крутивших вентили колб с реактивами и пытавшихся протолкнуть мармеладки и орешки сквозь решетки клеток для животных.

— Мы отнимем у вас минутку времени, доктор, — темпераментно произнес гид. — Это помещение, — продолжил он, обводя рукой лабораторию, — в котором творятся чудеса нашего времени, чудеса науки. Такие люди, как доктор Мейерс, — это современные американские пионеры, работающие на великое будущее.

Доктор Мейерс опустил глаза долу, приняв вид, который, он надеялся, «воплощал скромность». С момента переезда из старой лаборатории в новую он слышал эту речь минимум четыре раза в день.

— Доктор, не будете ли вы любезны продемон-

стрировать этим прекрасным юным американцам что-нибудь, связанное с Зед-лучами?

— Конечно, с радостью, — вздохнул Мейерс. Он мог делать это даже во сне. Вот уже полгода он вообще мало чем другим занимался. «Обруч, Ровер!» — скомандовал он себе, встал, опустил жалюзи и, не задумываясь, начал нараспев: — Зед-лучи — это интересное излучение, которое заставляет человеческую кожу, а также кожу бесшерстных животных флуоресцировать, то есть светиться в темноте. Эта маленькая трубка испускает Зед-лучи. Сейчас я ее включу, и вы увидите этот эффект на моем лице.

К тому времени Мейерс довел свое представление до такого автоматизма, что, пока он произносил эту речь и проделывал заготовленные трюки, голова его была совершенно свободна, и он мог думать о чем угодно, его мыслям вовсе не надо было оставаться в лаборатории, с гидом и бойскаутами. Из мира кафеля, нержавеющей стали и окон от пола до потолка они уносились назад, в старинное складское помещение в центре города, разделенное на клетушки, снабженное отоплением и превращенное в дом, где работали первые ученые-исследователи, нанятые компанией в конце двадцатых годов — когда привлечение в

промышленность представителей чисто теоретической науки было само по себе чем-то вроде эксперимента. Тогда, в «дохрамовые» времена, гиды скорее повели бы своих подопечных осматривать мужские туалеты компании, чем исследовательские лаборатории.

Бойскауты весело рассмеялись, и Мейерс понял, что приближается к финалу своего действа, играя Зед-лучами по бритым лабораторным животным в клетках, расставленных вдоль одной из стен. Он тоже рассмеялся, преодолевая апатию, словно никогда не проводил время веселей, и вдруг навел источник Зед-излучения на бойскаутов, которые при виде того, как засветились в темноте их лица, стали грубо хохотать и толкаться локтями.

Доктор Мейерс выключил трубку, поднял жалюзи, сел и изобразил на лице пустую улыбку в ожидании, когда гости наконец покинут лабораторию и он сможет вернуться к работе.

— Благодарим вас, доктор, — любезно сказал гид.

— Всегда пожалуйста, — ответил Мейерс и забарабанил пальцами по столу, поскольку гид, судя по всему, вовсе не собирался уходить.

— Полагаю, мальчики, вам интересно, для чего предназначены все эти краники, — сказал он,

указывая на батарею вентилей, разместившихся над раковиной. — Так вот, ученому-исследователю требуется гораздо больше кранов, чем нам с вами дома. У него, конечно, есть горячая и холодная вода, но плюс к этому каждый ученый в этом здании имеет под рукой азот, водород, кислород, пар, вакуум и… — Гид сделал загадочную паузу. — Ну-ка, кто из вас догадается, что выходит из этого крана?

Доктор Мейерс несколько раз сжал и разжал кулаки, пока бойскауты неловко топтались, не имея никаких предположений, а гид игриво отказывался им помочь. Но наконец он сдался и с видом мудреца произнес:

— Светильный газ!

Доктор Мейерс облегченно выдохнул и выжидательно поднял бровь, изображая бодрое прощание.

Но гид держался стойко.

— Абсолютно все, что может понадобиться ученому-исследователю, имеется в этом здании, — сказал он. — Первая лаборатория компании располагалась в неприспособленном помещении, и научным сотрудникам приходилось справляться со всем, насколько это было возможно, своими силами. Но это здание с самого начала строитель-

ства предназначалось для исследований. — Он повернулся к скауту, стоявшему рядом. — Предположим, что ты — доктор Мейерс, сидишь за своим столом, и вдруг, совершенно неожиданно, страшный огонь вспыхивает в приборе, расположенном между тобой и входной дверью. Имей в виду: ты находишься на четвертом этаже. Что бы ты сделал?

— Умер? — предположил скаут, с ужасом глядя на Мейерса.

— Вот что тебе нужно было бы сделать, — радостно воскликнул гид, обошел доктора Мейерса и изо всех сил лягнул ногой стену позади его кресла. Аварийная панель в стене вышла из своего паза, откинулась вперед и открыла проход в соседнюю лабораторию, откуда послышался дикий вопль, сопровождаемый звоном разбитого стекла.

— Черт возьми, Мейерс! — закричал доктор Херперс, сосед Мейерса, просовывая голову через открывшийся в стене проход. — Что вы делаете? Переключились с Зед-лучей на создание стенобитных орудий? — В этот момент он увидел гида. — А-а, это вы!

— Я просто показываю этим мальчикам чудеса лаборатории, — спокойно ответил гид.

— Выбивание перегородок между комнатами входит у вас в понятие простоты? — зло сказал Херперс.

— Прошу вас, — перебил его гид. — Эти юные джентльмены — гости нашей компании. — Он стал выпроваживать свое стадо в коридор. — Спасибо, доктор Мейерс. Это было очень интересно. А теперь, мальчики, справа вы увидите нечто, о чем будете рассказывать своим внукам. Можно нам отвлечь вас на минутку, доктор Доусон?

Мейерс прошел к двери и с громким стуком захлопнул ее. Херперс пролез через аварийный люк, встал у окна и мрачно уставился на озеро Минанго.

— Кое-что они все же забыли провести в каждое лабораторное помещение, — произнес он наконец.

— Гелий? — предположил Мейерс.

— Джин, — ответил Херперс. — Отличный у вас вид из окна. Должно быть, он вас вдохновляет.

— Универсальный магазин одежды и сортировочная станция в Лихай-вэлли — вот что мне нужно, — сказал Мейерс. Это был вид, открывавшийся ему из покрытого слоем грязи окна в старой лаборатории. — К свисткам товарных составов нетрудно было привыкнуть, зато

локомотив никогда не въезжал прямо в твою лабораторию. Над чем вы сейчас работаете?

— Разрабатываю новое действо, думаю, им понравится, — ответил Херперс. — Представьте себе: выхожу я, отбивая чечетку, балансируя штативом на кончике носа и исполняя увертюру «1812 год» на флейте Пана, сделанной из пробирок. Я собирался поработать со своим вакуумным насосом, но этот гид только что разбил его аварийной панелью.

— Ну и тем лучше. У доктора Леви все представление строится вокруг вакуумного насоса, а туры начинаются именно оттуда.

Открылась дверь, и в комнату вошла доктор Элизабет Доусон, физик, молодая женщина, чья лаборатория находилась напротив Мейерсовой, через коридор, руки у нее были сжаты, лицо — мрачное и бледное.

— Лиз! — воскликнул Мейерс. — Что случилось, черт возьми?

— Пять дней, — глухо произнесла она, — я пыталась выкроить время, чтобы закончить квартальный отчет, мне для этого требовалось всего часа четыре.

— Это в старые недобрые времена, — вставил Мейерс.

— Единственное, что мне оставалось сделать сегодня, это добавить простую колонку цифр: ну, знаете, два плюс два? — Она ударила своим маленьким кулачком по раковине из нержавейки. — Раз двадцать я принималась писать эту колонку, и раз двадцать меня прерывали, чтобы пожирать восхищенными взглядами и фотографировать, словно ткачиху-навахо или еще какую диковину. А только что, не успело стадо номер семнадцать удалиться, мне позвонил доктор Берри и спросил, знаю ли я, что мой отчет просрочен и не могу ли я ответственней относиться к делу. — Она ударилась в слезы. — Господи, лучше бы я никогда не начинала работать над этим инфракрасным микроскопом!

— Отличный водевиль, — мрачно заметил Херперс.

— Это нужно прекратить! — сказал Мейерс, гладя доктора Доусон по плечу. — Так никто никогда не закончит свою работу.

— А слева от вас, — заорал гид, — доктор Мейерс, человек, о котором, не сомневаюсь, вы читали в газетах.

— Все по местам, занавес поднимается! — пробормотал доктор Херперс и уполз обратно в свою лабораторию.

— Мы исполним свой номер еще только раз, Лиз, — прошептал доктор Мейерс доктору Доусон, — а потом пойдем к доктору Берри и выскажем ему все, черт возьми. Возвращайтесь к себе.

— Мы отнимем у вас минутку времени, доктор Мейерс, — сказал гид.

— Никаких проблем, — хрипло проговорил доктор Мейерс.

Доктор Берри, глава лаборатории, угрюмо смотрел на озеро Минанго, стоя у окна спиной к своему письменному столу, имевшему форму человеческой почки, и трем взвинченным ученым, стоявшим перед столом, — докторам Харольду Мейерсу, Элизабет Доусон и Эдварду Херперсу.

— Вы должны посмотреть на это с точки зрения доноров, — сказал он, — потому что это они распоряжаются деньгами.

— Кого-кого? — переспросил Мейерс.

Доктор Берри, который в силу своего положения общался с членами руководства компании, отвечавшими за производство и продажи, за рекламу и распределение средств, сыпал жаргонными словечками, которые ничего не значили для его подчиненных — ученых.

— Доноров, — повторил доктор Берри, — людей, делающих деньги, на которые построено это зда-

ние, деньги, из которых нам платят жалованье. — Он вздохнул. — Такова правда жизни.

— Мы зарабатываем свои деньги, — возразил доктор Мейерс. — Во всяком случае, зарабатывали. И зарабатывали бы снова, если бы у нас был хоть малейший шанс.

Доктор Берри развернулся и посмотрел им в глаза.

— Они хотят видеть, что мы делаем, — сказал он. — Предполагалось, что это заведение обойдется в семь миллионов, а сумма уже перевалила за девять. Вы видели на открытии коммерческого директора?

— Юджина Балларда? — спросил Херперс. — Того, что ходил повсюду и спрашивал: «Сколько это стоит, сколько это стоит?»

— И щупал шторы, — добавил Мейерс.

— И спрашивал, какая комната была спальней Марии Антуанетты, — подхватила Лиз Доусон.

— Да, это Баллард, — сурово подтвердил доктор Берри. — И до тех пор, пока он поддерживает продажи на должном уровне, в сущности это его компания.

— Какое дело нам до Балларда? — сказал Мейерс. — Мы никогда прежде не имели к нему никакого отношения.

— Мы никогда прежде не нападали на такую богатую компанию, как эта, — сказал Берри, — и Балларда скрупулезно следит за тем, куда уходят деньги… а он — да поможет нам Бог — имеет влияние на президента компании. У нас бы вообще не было этой лаборатории, если бы мне не удалось убедить Балларда в том, что она будет невероятно содействовать инвестициям. Вы слышали, что он сказал на открытии?

Доктор Мейерс процитировал по памяти:

— «Главная задача каждого служащего и каждого доллара в этой компании — продавать, продавать, продавать!»

— Так вот, — продолжил доктор Берри, — в обмен на новое оборудование, которым мы теперь располагаем, на нас возложили новую ответственность — как выразился мистер Баллард: гостеприимно встречать потенциальных потребителей продукции компании и делать так, чтобы они уходили с открытыми бумажниками и сияющими глазами.

— Но так никто не сможет вести никакую исследовательскую работу! — с горячностью воскликнул Мейерс. — Почему бы вам не сказать Балларду, чтобы он не совал свой длинный нос в то, о чем понятия не имеет?

Доктор Берри побелел и готов был уже сказать что-то злобное, но тут зазвонил телефон.

— Доктор Берри, слушаю. О! Здравствуйте, сэр. Что? Ах, да, я подобрал цвет стен для вестибюля — светло-голубой. Такой славный, мягкий, спокойный цвет. Угу. Понимаю. Да, может быть, нам следует проявлять больше энтузиазма и старания пробуждать тягу к приключениям, когда приходят посетители. — Он издал смешок, не меняя мрачного выражения лица. — Дело в том, что я не привык смотреть на вещи с точки зрения психологии продавца, но я учусь. Хорошо, сэр, ярко-желтый с оранжевым оттенком. — Он взглянул на часы. — Значит, вы со своими гостями будете здесь уже через час, так? Ох, сэр, мы едва ли успеем по-новому оформить интерьер к тому времени, но все остальное будет готово. Спасибо за звонок, мистер Баллард.

Доктор Берри повесил трубку и попытался вспомнить, что собирался сказать доктору Мейерсу.

— А-а… в ответ на ваш вопрос, Мейерс, скажу вот что: я не стану говорить Балларду, что это не его дело, по той же причине, по какой вы не чистите зубы плавиковой кислотой и не добавляете толченое стекло в хлопья на завтрак. Мой

совет вам — всем троим: благодарите судьбу, запаситесь терпением и делайте все, что можете. Балларда, кстати, будет здесь через час с кое-какими очень важными клиентами. Чтобы все были в белых халатах.

В ожидании Юджина Балларда и его важных клиентов доктора Мейерс, Херперс и Доусон сидели вокруг рабочего стола доктора Мейерса в безупречно белых, накрахмаленных до хруста лабораторных халатах, беседуя и попивая кофе, сваренный на бунзеновской горелке.

— Ну, если Берри не хочет противостоять Балларду, может быть, это сделать нам? Когда он сюда заявится, мы можем сказать, что нам нечего ему показать, поскольку с момента переезда сюда мы ничего не делаем, кроме как встречаем посетителей, — предложил Херперс, рассеянно откручивая и закручивая краны, располагавшиеся в ряд над раковиной, словно ручки регистров в орга́не.

— Или дать такое унылое и бессмысленное представление, чтобы Балларду больше никогда не захотелось приводить сюда кого бы то ни было, — сказала доктор Лиз Доусон.

— И свести ассигнования на исследования к нулю, — напомнил Мейерс, качая головой. — Бе-

долага Берри. Бьюсь об заклад, он молит Бога, чтобы вернуться к исследовательской работе и не входить в администрацию. Пусть это будет уроком всем нам. Бюджеты, силовая политика, стратегия… Он просто вынужден им подыгрывать.

— Или уйти, — добавил Херперс.

— Тогда кому-то другому придется оставить исследования и занять его должность, и эта чертовщина будет повторяться до бесконечности, — сказал Мейерс. — У Берри нет выхода: либо сотрудничать, либо уйти, и это касается всех нас.

— Шоубиз прежде всего! — поддержал его Херперс.

Мейерс задумчиво посмотрел на него.

— Но, вероятно, мы можем продемонстрировать *чрезмерную* готовность к сотрудничеству.

— Что вы имеете в виду? — поинтересовалась Лиз Доусон.

Мейерс постучал карандашом по зубам.

— Можно устроить настоящее шоу, перенасыщенное таким энтузиазмом и желанием продавать, продавать, продавать, что Балларду все эти туры по лаборатории покажутся невероятной глупостью, и нас навсегда оставят в покое.

— Или выгонят, — добавила Лиз Доусон.

— А слева от вас, — прогрохотал гид, — доктор Харольд Мейерс, человек, о котором, не сомневаюсь, вы читали в газетах.

Доктор Мейерс закатил глаза.

— Ну и что, пусть выгоняют, — сказал он.

Юджин Баллард посылал мяч для гольфа дальше, умел пить, не пьянея, лучше и смеяться громче, чем кто бы то ни было в Федеральной аппаратной корпорации, и гордился своими подвигами, выполнение которых требовало большой физической массы. Его голос и тяжелая поступь властно огласили снабженные панельно-лучистым отоплением коридоры исследовательской лаборатории, и даже гид, который вел по храму науки его и полдюжины важных клиентов, готовых потратить свои миллионы, присмирел и стал изысканно вежлив в присутствии столь высокой персоны.

Доктор Мейерс, услышав их приближение, постучал по стене, разделявшей его лабораторию и лабораторию доктора Херперса, потом, позвонив Лиз Доусон в помещение напротив, шепотом сообщил, что представление вот-вот начнется, и положил трубку.

— Слева от вас, — заученно произнес гид, — доктор Харольд Мейерс, человек, о котором, не

сомневаюсь, вы читали в газетах.

Он смущенно заглянул в затемненную лабораторию и откашлялся. Единственный свет в комнате исходил от высоковольтного искрового разрядника, расположенного в углу. Бело-голубая вспышка возникала у основания металлического сооружения в форме буквы «V», с шипением доползала до его верхушки и с громким треском взрывалась там, а у основания уже зарождалась другая. В этом неземном свете за столом сидел доктор Мейерс, опираясь подбородком на сложенные руки и задумчиво уставившись на обширную и замысловатую систему колб, конденсаторов, мензурок, бюреток, реторт, ректификационных колонок и стеклянных трубок, в которых зловеще бурлили и вздыхали какие-то ярко окрашенные жидкости.

При виде этой сцены громогласный рык Юджина Балларда смолк, а взоры клиентов, на цыпочках входивших в лабораторию, исполнились почтительности и благоговейного страха.

— Работаете над новым проектом, да, доктор Мейерс? — робко спросил гид.

Доктор Мейерс не ответил и даже, казалось, не заметил присутствия посетителей. Вместо этого он взял мензурку, которая наполнялась каким-то

зеленым раствором, капавшим в нее с одного конца стеклянных джунглей, и вылил ее содержимое в раковину, сокрушенно покачав головой. Потом открыл блокнот, под сочувственными взглядами своих гостей что-то вычеркнул в нем и резко захлопнул.

— Пятьсот двадцать восемь раз я пытался сделать это, — произнес он вслух, обращаясь к себе самому, — и пятьсот двадцать восемь раз потерпел неудачу. Сдаюсь.

Голова доктора Херперса появилась в проеме аварийного люка.

— Харольд, тружище, что злучилось? — сказал он с сильным милуокским акцентом.

Доктор Мейерс застонал.

— Все бесполезно, доктор Херперс. Пятьсот двадцать восьмая попытка получить раствор провалилась, как и все предыдущие. Все напрасно. Теория верна — она должна быть верна! Но снова ничего не вышло. Я сдаюсь.

— Нет-нет, тружище, — воскликнул Херперс, влезая в лабораторию. И, обняв Мейерса за плечи, добавил: — Это софсем на фас не похоже. Бросить опыты? Это не по-мейерсофски!

— Столько часов, столько лет пытаться сделать краску корпорации еще лучше, чем она есть, — и

потерпеть неудачу!

— Как я уже коворил, когда вы к нам пришли, тружище, вы фзяли на сепя нефероятной трудности задачу: стелать продукцию компании еще лучше, чем она есть. А она уже лучшая на всей Семле.

Доктор Мейерс посмотрел в потолок.

— Ее можно улучшить, и это должно быть сделано. В этом состоит задача исследователя: лучшая продукция для большего количества потребителей по меньшей цене. — Он запустил пальцы в шевелюру. — Но у меня ничего не вышло.

В этот момент в комнату вошла Лиз Доусон и, игнорируя восхищенную публику, мягко спросила Мейерса:

— Харольд, почему вы такой бледный?

— С раствором пятьсот твадцать восемь — тоже провал, торогая, — ответил за того Херперс.

— О, бедняга, — сказала Лиз. — Работа всей вашей жизни.

Доктор Херперс отступил на шаг, чтобы Лиз могла подойти к Мейерсу, и неловко смахнул бутылку янтарной жидкости в раковину.

— Ах, какой я неуклюший турак! — воскликнул он.

— Да какая теперь разница! — трагически вос-

кликнул Мейерс и, швырнув в раковину мензурку с красной жидкостью, тут же разлетевшуюся на осколки, прикрыл глаза рукой.

— Стойте! — воскликнула Лиз. — Посмотрите!

Смешавшиеся в раковине жидкости шипели и испускали голубоватый дымок.

— Майн готт! Что этто? — ахнул Херперс.

Все трое в страшном волнении, натыкаясь друг на друга, бросились к раковине, чтобы взглянуть на чудо.

— Есть! — закричал Мейерс. — Мы нашли его!

— Поиск оконтшен! — возвестил Херперс.

— И как мы его назовем? — спросила Лиз.

— Пятьсот двадцать девятый, — отрешенным голосом сказал доктор Мейерс. — Раствор пятьсот двадцать девять!

Вся троица обнялась и направилась к двери — рука в руке.

— Мы должны сообщить доктору Берри! — сказал Мейерс, и присутствующие почтительно расступились, пропуская их, разрумянившихся и онемевших от счастья.

— Еще отин товар высшего класса тля компании! — торжественно провозгласил Херперс.

Выйдя в коридор, доктора Мейерс, Херперс и Доусон поспешили в звукоизолированный зал

для совещаний, где могли бы позволить себе разразиться победным смехом, клокотавшим у них в груди.

— Баллард аж побагровел от ошеломления! — прошептала Лиз Доусон.

— Теперь он не сможет сказать, что мы не следуем девизу: «Продавать, продавать, продавать!» — подхватил Херперс.

— И с туристами теперь покончено! — радостно объявил Мейерс.

— Подождите! — прогудел Юджин Баллард, в окружении своей свиты рысцой поспешая за ними. — Господи! — сказал он, поймав Мейерса за руку и едва не ломая ее своим «ласковым» пожатием. — Поздравляю! Я знал, что наши исследования весьма продуктивны, но вам удалось воочию продемонстрировать мне это. Потрясающе!

Со-изобретатели раствора пятьсот двадцать девять опустили очи долу и скромно помалкивали, стоя неподвижно, словно пораженные параличом.

— Я чувствую себя крестным отцом раствора пятьсот двадцать девять, — задыхаясь от восторга, сказал один из клиентов.

— Мы все себя так чувствуем, — подхватил

Баллард. — То, что мы только что видели, — более захватывающее и воодушевляющее зрелище, чем зрелище Большого каньона! Должен признаться, что большая часть здешней деятельности выглядит как пустая трата времени, дуракаваляние. Но вы, ей-богу… вы делаете свою работу с настоящим энтузиазмом. И если я должен что-то по этому поводу сказать, так это то, что никто из посетителей этой лаборатории не должен уйти, не увидев того, что только что увидели мы, — *точ-чнехонько* так, как увидели мы!

Раздел 7.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРА

© Перевод. А. Комаринец, 2020

К счастью для меня, в парикмахерских журналы хранятся неделями после того, как номер увидел свет, а потому я смог наткнуться на рассказ Курта Воннегута «Второкурсник с амбициями» в «Сэтерди ивнинг пост» за 1 мая 1954 года, — это случилось через несколько недель после того, как я приехал домой из колледжа на летние каникулы. В ожидании, пока меня пострижет Билл Исбелл, я пролистывал лежащие на этажерке журналы и нашел рассказ, который привел меня в восторг. Там было про оркестр старшеклассников, руководителем оркестра в нем был некий «Джордж М. Гельмгольц», удивительно похожий на Роберта У. Шульца, руководителя оркестра в Шортридже, где я учился десять лет спустя после Курта Воннегута.

Мы оба были редакторами «Дэйли шортридж эхо», первой газеты старшеклассников в США. Парикмахерская, в которой я читал «Пост», находилась через улицу от «Скобяных изделий

Воннегута», нашей местной разновидности универмагов хозяйственных товаров, и прошло много лет, прежде чем я сообразил, что семья «торговца гвоздями», как называл лавку один дальний родственник Курта, это и есть семья автора того рассказа — ведь в моем ограниченном воображении хозяйственные товары и написание художественных произведений плохо сочетались.

Гельмгольц описывается как «добрый толстяк» (в «Песне для Сельмы» он более доброжелательно назван не «толстым», а «дородным»), и хотя мистер Шульц толстяком не был (как напомнил мне один мой однокашник, он был просто «очень крупным» не в обхвате, а ростом и телосложением), персонаж Воннегута напомнил мне мистера Шульца чем-то более важным — своей преданностью оркестру и ученикам, своим желанием добиться максимума даже от самых бездарных музыкантов, своей гордостью за «Десять рядов» (как мистер Шульц по праву гордился нашим превосходным «Шортриджским маршевым оркестром»), и его гневом, когда нарушались правила приличия, особенно если к кому-то из учеников относились неуважительно. Эти достойные качества сохранились и были при-

умножены во всех рассказах про Гельмгольца.

Наш мистер Шульц был не только доброжелательным руководителем оркестра, но и отвечал за мероприятия в актовом зале школы — зале имени Калеба Силлса, где ставили драматические спектакли, мюзиклы, а также устраивали всевозможные шоу и дискуссии. Однажды мой одноклассник Дик Льюгар (которому было суждено отличиться на посту сенатора от штата Индиана) играл заглавную роль в театральной постановке под названием «Подсвечник епископа». Льюгару выпало произнести высокопарный монолог, что он и сделал с соответственно высокопарными интонациями, да еще почти нараспев. В зале послышались смешки, которые переросли в гогот, заглушивший голоса актеров. Мистер Шульц ворвался на сцену и остановил спектакль, ругая нас с такой яростью, что веселье стихло, — ни смешка не раздалось по ходу пьесы до самого занавеса. По счастью, мистер Шульц никогда не водил фонариком по затемненному зрительному залу во время дневных киносеансов, когда над зрительской аудиторией проносились звуки сдавленных страстей с задних рядов.

В историях про Гельмгольца не найдешь свидетельств подростковой похоти (или, насколько

мне известно, вообще где бы то ни было на страницах «Сэтерди ивнинг пост»). Из четырех историй про Гельмгольца три могли родиться только в эпоху невинности, какую, вероятно, лучше всего подытожит высказывание Мадлен Пуф Дейвис, которая посещала клуб любителей литературы в Шортридже и позднее стала ведущей сценаристкой сериала «Я люблю Люси». Позднее миссис Дейвис вспоминала в разговоре с подругой Курта Маджи Фейли (мемуары вышли под названием «Мы никогда не танцевали щека к щеке»), что когда они с Воннегутом учились в старших классах (в 1940-х годах в Индиане), «это было, по сути, «Энди Харди»[57] существование. Сейчас я вспоминаю о нем с искренним изумлением».

Единственный ученик, который не укладывается в образ «хорошего мальчика» в историях про Гельмгольца, появляется в рассказе «Мальчишка, с которым никто не мог сладить», опубликованном в сентябрьском номере «Пост» за 1955 год. В

[57] Примечания: 57

Энди Харди — персонаж десятка сентиментальных комедий 1940-х гг., прославляющих жизнь среднего американца; все персонажи, живущие в вымышленном городе Карвел, богобоязненны, патриотичны, щедры и толерантны. Попадающий в мелкие неприятности идеальный Энди Харди всегда совершает правильные поступки после разговора — «как мужчина с мужчиной» — со своим отцом, местным судьей. — *Примеч. пер.*

марте того года вышла экранизация бестселлера романа Эвана Хантера «Школьные джунгли», а в октябре «Бунтарь без причины». Подростковый мятеж стал вдруг «жареной» темой.

Джим Доннини происходит из неблагополучной семьи в Саут-Сайде, Чикаго, и после недолгого пребывания у разных приемных родителей оказывается в школе города Линкольн. Он приехал пожить у тетки, которая намерена не слезать с него, пока он не возьмется за ум или же не окажется до конца жизни за решеткой. Доннини носит черную кожаную куртку и черные ботинки с позвякивающими цепочками, он больше похож на ребят из «Школьных джунглей», чем на подростков из Линкольна.

И для руководителя оркестра идеальному миру тоже пришел конец: в начале рассказа Гельмгольц осознает, что его обманул высокомерный, алчный делец и что он потерял деньги на продаже дома — своего единственного наследства. В этой истории Гельмгольц женат (в других рассказах жены у него как будто нет). Во «Второкурснике с амбициями» Гельмгольц — персонаж немного не от мира сего: «Если любовь способна ослепить, одурманить, загнать человека в ловушку, словом, как утверждают многие, проделать с человеком

тысячи разных самых ужасных и диких вещей, то тогда нет, такой любви он никогда не знал. Гельмгольц вздохнул. Наверное, он все же что-то упустил в этой жизни, так и не смог испытать истинно романтического и глубокого чувства».

В своих доблестных попытках спасти мальчишку в черных ботинках и кожаной куртке от безрадостного, бессмысленного будущего Гельмгольц предлагает ему свою драгоценную трубу и очарование музыки, но гневная апатия Доннини непробиваема. Гельмгольц так расстроен, что бьет трубой о вешалку для шляп. «Эта жизнь никуда не годится», — говорит он. Мы никогда не слышали подобных слов из уст Джорджа Гельмгольца — и никогда больше не услышим.

Гнев, с которым Гельмгольц уродует драгоценную трубу, наконец пробивает угрюмую враждебность «дурного мальчишки», и под конец читатель видит Доннини с починенной трубой на последнем стуле последнего ряда «оркестра С», но мы понимаем, что он на пути к спасению.

В эссе «Участи похуже смерти» Курт с гордостью писал, что, когда он рос в Индианаполисе, там был прекрасный симфонический оркестр, и он брал уроки у Эрнста Майклса, первого кларнетиста. Это заставляет вспомнить рассказ «Юный

женоненавистник», где выясняется, что Берт Хиггинс внезапно утратил способность играть, когда оркестр идет маршем, и Гельмгольц начинает подозревать, что он перенес болезнь или получил какую-то травму. Мальчик отвечает, что ничего подобного с ним не случилось, и в свою очередь задает вопрос: «Может, это потому что я перестал брать уроки у вас?» Когда Берт поступил в оркестр, Гельмгольц передал его лучшему учителю, преподавателю трубы в городе, Ларри Финку — для оттачивания звука и колорита. И за этим тут же последовал упадок духа и координации. Сомневаюсь, что развившийся из этой посылки сюжет и возвращение мальчика в былую форму как-то связаны с событиями из жизни самого Воннегута (как иногда любят предполагать читатели и критики, соотнося жизнь и художественные произведения), но я считаю, что игра Курта в оркестре дала ему как писателю материал для рассказов, построенных вокруг руководителя школьного оркестра.

В автобиографичном эссе «Участи похуже смерти» Курт пишет: «когда я стал играть на кларнете, [мой отец] объявил этот черный, с серебряными клавишами инструмент истинным шедевром». В другом рассказе про Гельмгольца («Бездарь»)

мальчик, у которого нет таланта, зато есть огромное упорство и желание играть, раз за разом вызывает на состязание лучшего кларнетиста «оркестра А» в надежде занять его место. Когда он просит Гельмгольца дать ему еще один шанс, руководитель оркестра старается его разубедить, а самоуверенный мальчик отвечает: «“Вы не понимаете… Вы не заметили, у меня новый кларнет…” — Пламмер погладил блестящий как атлас, черный мундштук инструмента, точно это был меч короля Артура, дарующий волшебную силу своему владельцу. — “Он почти так же хорош, как у Флэммера… Даже лучше”».

Думается, каждый мальчишка, начинающий с металлического серебристого кларнета, знает, что инструмент из черного дерева с серебряными клавишами — для истинных профессионалов. В отличие от Пламмера я, занимавший последний стул в школе № 80, знал, что даже такой чудесный инструмент не наделит меня музыкальным талантом, и после целых двух лет бесплодных занятий разочарованно бросил оркестр. В отличие от Пламмера из рассказа, чьи амбиции перейти в лучшую группу сбываются, когда он отказывается от кларнета и берется за огромный басовый барабан, Воннегут остался при кларнете.

Если верить школьному альбому, Воннегут, хотя за его плечами числятся и более впечатляющие достижения («член студенческого совета 1938 г.», «президент студенческого совета, 1940 г.», «Соредактор газеты «Эхо», 1940 г.»…), все же попал в «оркестр Б».

Позднее игра на кларнете дала ему повод еще больше гордиться собой. В эссе «Участи похуже смерти» он рассказывает: «несколько лет назад я оказался после вечеринки в чьей-то машине рядом с Бенни Гудменом. И я смог с чистым сердцем сказать ему, что когда-то и сам немного играл на кларнете».

Это было даже лучше, чем попасть в «оркестр А».

Дэн Уэйкфилд

Мальчишка, с которым никто не мог сладить

© Перевод. А. Криволапов, 2020

Дело было в половине восьмого утра. Раскорячённые, грохочущие грязные машины раздирали на части холм позади ресторана, а грузовики тут же увозили эти части прочь. Внутри ресторана в шкафах дребезжала посуда. Столы тряслись, и очень добрый толстяк, чья голова полнилась музыкой, пристально смотрел на дрожащие желтки своей утренней глазуньи. Его жена отправилась в гости к родным. Он был предоставлен самому себе.

Добрым толстяком был Джордж М. Гельмгольц, сорока лет, учитель музыки в средней школе города Линкольн и дирижер оркестра. Жизнь его баловала. Год за годом Гельмгольц лелеял одну и ту же великую мечту. Он мечтал дирижировать лучшим оркестром в мире. И каждый год его мечта исполнялась.

Она исполнялась потому, что Гельмгольц свято верил, что у человека не может быть более прекрасной мечты. Столкнувшись с этой

непоколебимой уверенностью, «Киванианцы», «Ротарианцы» и «Львы» платили за форму оркестрантов вдвое больше, чем стоили их собственные лучшие костюмы; школьная администрация выделяла средства на дорогие инструменты, а юнцы играли ради Гельмгольца от всего сердца. А в случае, если юнцам не хватало таланта, Гельмгольц мог заставить играть их нутро.

В жизни Гельмгольца все было прекрасно, за исключением финансов. Он был так заворожен своей дивной мечтой, что в вопросах купли-продажи оказывался хуже младенца. Десять лет назад он продал холм за рестораном Берту Куинну, хозяину ресторана, за тысячу долларов. Теперь всем, в том числе и самому Гельмгольцу, стало ясно, что его облапошили.

Куинн подсел в кабинку дирижера. Маленький чернявый холостяк без чувства юмора. Все у него было не так. Он не мог спать, не мог оторваться от работы, не мог тепло улыбнуться. У него было только два настроения: либо подозрительность и жалость к себе, либо заносчивость и хвастливость. Первое настроение означало, что он теряет деньги. Второе — что он деньги делает.

Когда Куинн подсел к Гельмгольцу, он был заносчив и хвастлив. С присвистом посасывая зу-

бочистку, он разглагольствовал о зрении — своем собственном зрении.

— Интересно, сколько глаз смотрели на этот холм до меня? — вопрошал Куинн. — Тысячи и тысячи, бьюсь об заклад, — и ни один из них не увидел того, что увидел я. Сколько глаз?

— Мои уж точно… — сказал Гельмгольц.

Для него холм означал утомительные подъемы, бесплатную смородину, налоги и пикники для оркестра.

— Вы унаследовали холм от своего старика — головная боль, да и только, — продолжал Куинн. — Вот и решили спихнуть его на меня.

— Я не собирался его на вас спихивать, — запротестовал Гельмгольц. — Бог свидетель — цена была более чем скромная.

— Это вы сейчас так говорите, — игриво заметил Куинн. — Ясное дело, Гельмгольц, вы говорите это сейчас. Теперь-то вы видите, какой торговый район здесь вырастет. Углядели то, что я сразу понял.

— Углядел, — сказал Гельмгольц. — Только поздно, слишком поздно. — Он осмотрелся, ища предлог, чтобы переменить тему, и увидел мальчишку лет пятнадцати, который приближался к ним, протирая шваброй проход между кабин-

ками.

Ростом мальчишка был невелик, но с крепкими, узловатыми мышцами на руках и шее. Лицо его все еще оставалось детским, однако, остановившись передохнуть, мальчишка машинально провел пальцами по лицу, нащупывая пробивающиеся усики и бачки. Работал он как робот, ритмично, механически, однако очень старался не забрызгать носки своих черных башмаков.

— И что же я сделал, когда заполучил холм? — сказал Куинн. — Я его срыл начисто — и тут словно плотину прорвало. Каждый вдруг захотел построить на месте холма магазин.

— Угу, — сказал Гельмгольц. Он добродушно улыбнулся мальчишке. Тот смотрел сквозь него без всяких признаков узнавания.

— У каждого свои таланты, — талдычил свое Куинн. — У вас музыка; у меня — глаз. — Он расплылся в ухмылке: обоим было понятно, к кому денежки текут. — Думать надо по-крупному! — сказал Куинн. — Мечтать по-крупному! Вот что такое правильное видение. Раскрывай глаза пошире, чем другие-прочие.

— Этот мальчишка, — сказал Гельмгольц. — Я его встречаю в школе, а как зовут, не знаю.

Куинн мрачно хохотнул.

— Билли Кид? Рудольфо Валентино? Флэш Гордон? — Он окликнул мальчишку: — Эй, Джим, подойди-ка на минутку!

Гельмгольца поразили глаза мальчишки — равнодушные и холодные, как у устрицы.

— Сынок сестриного мужа, от первой жены — до того, как он женился на моей сестре, — сообщил Куинн. — Зовут его Джим Доннини, он из южного Чикаго, и он очень крут.

Пальцы Джима Доннини сжали ручку швабры.

— Добрый день, — сказал Гельмгольц.

— Привет, — без всякого выражения проговорил Джим.

— Он теперь живет у меня, — сказал Куинн. — Теперь это мой малыш.

— Подбросить тебя до школы, Джим?

— Да, он мечтает, чтобы его подбросили до школы, — фыркнул Куинн. — Посмотрим, что у вас получится. Со мной он не разговаривает. — Он повернулся к Джиму: — Давай, сынок, умойся и побрейся.

Джим, словно робот, пошел прочь.

— Что с его родителями?

— Мать умерла. Папаша женился на моей сестре, а потом бросил ее и его заодно. Потом суду не понравилось, как она его воспитывает, и парня

какое-то время держали в приютах. А теперь решили сплавить его из Чикаго и повесили мне на шею. — Он покачал головой. — Жизнь — забавная штука, Гельмгольц.

— Временами не слишком-то она забавная. — Гельмгольц отодвинул глазунью.

— Похоже, какая-то новая порода людей нарождается, — задумчиво произнес Куинн. — Совсем не такие, как здешние мальчишки. Эти башмаки, черная куртка — и разговаривать не желает. С другими мальчишками водиться не желает. Учиться не желает. Не уверен, что он и читать и писать толком выучился.

— А музыку он любит? Или рисование? Или животных? — спросил Гельмгольц. — Может, он что-нибудь коллекционирует?

— Знаете, что он любит? — хмыкнул Куинн. — Он любит начищать свои башмаки. Сидеть в гордом одиночестве и драить башмаки. Для него самое счастье — сидеть у себя в одиночестве среди разбросанных по полу комиксов, драить башмаки да пялиться в телевизор. — Он криво усмехнулся. — И коллекция у него была, да только я ее отобрал и в речку выбросил.

— В речку? — переспросил Гельмгольц.

— Именно, — проговорил Куинн. — Восемь

ножей — у некоторых клинки с вашу ладонь длиной.

Гельмгольц побледнел.

— О!.. — По загривку у него поползли мурашки. — Необычная проблема для линкольнской школы. Даже и не знаю, что думать. — Он собрал рассыпанную соль в аккуратную маленькую кучку, словно это могло помочь собраться с разбежавшимися мыслями. — Это своего рода болезнь, верно? Вот как к этому нужно относиться.

— Болезнь? — Куинн хлопнул ладонью по столу. — Скажите пожалуйста! — Он постучал по своей груди: — Уж доктор Куинн подыщет от этой болезни подходящее лекарство!

— О чем вы? — спросил Гельмгольц.

— Хватит с меня разговоров о бедном больном мальчике, — мрачно сказал Куинн. — Наслушался он этого от своих попечителей, на разных там ювенальных судах и еще бог знает где. С тех пор и стал никчемным бездельником. Я ему хвост накручу, я с него до тех пор не слезу, пока он не выправится или не засядет за решетку пожизненно. Либо так, либо эдак.

— Понятно, — пробормотал Гельмгольц.

— Любишь слушать музыку? — приветливо спросил он у Джима, когда они ехали в школу.

Джим ничего не сказал. Он поглаживал усики и бачки, которые и не подумал сбривать.

— Когда-нибудь отбивал такт пальцами или притопывал ногой под музыку? — спросил Гельмгольц. Он заметил, что на башмаках Джима красовались цепочки, у которых не было никакой полезной функции, кроме как позвякивать при движении.

Джим зевнул, всем видом демонстрируя, что умирает со скуки.

— А насвистывать любишь? — сказал Гельмгольц. — Когда делаешь что-нибудь такое, ты словно подбираешь ключи к двери в совершенно новый мир — и этот мир прекрасен.

Джим насмешливо присвистнул.

— Вот-вот! — обрадовался Гельмгольц. — Ты продемонстрировал основной принцип действия духовых инструментов. Их чудные звуки начинаются именно с вибрации губ.

Пружины сиденья в старом автомобиле Гельмгольца скрипнули от движения Джима. Гельмгольц счел это признаком заинтересованности и с дружеской улыбкой повернулся к нему. Оказалось, что Джим просто старается выудить сигареты из внутреннего кармана своей облегающей кожаной куртки.

Гельмгольц так расстроился, что даже не смог сразу отреагировать. Только когда уже подъехали к школе, он нашелся.

— Временами, — сказал Гельмгольц, — мне так одиноко и тошно, что, кажется, это невозможно вынести. Так и подмывает выкинуть какой-нибудь дурацкий фокус всем назло — даже если мне самому потом хуже будет.

Джим мастерски выпустил колечко дыма.

— А потом!.. — сказал Гельмгольц, щелкнул пальцами и просигналил в клаксон. — А потом, Джим, я вспоминаю, что у меня есть один крохотный уголок Вселенной, который я могу сделать таким, как хочу! Я могу отправиться туда и быть там ровно столько, чтобы опять стать счастливым.

— Да вы везунчик, — сказал Джим и зевнул.

— Так и есть, — согласился Гельмгольц. — Мой уголок Вселенной — это пространство вокруг моего оркестра. Я могу наполнить его музыкой. У нашего зоолога, мистера Билера, есть бабочки. У мистера Троттмана, физика, его маятники и камертоны. Добиться того, чтобы у каждого человека был такой уголок, — вот, пожалуй, самое главное для нас, учителей. Я…

Дверца машины открылась, хлопнула, и Джима

как не бывало. Гельмгольц наступил на окурок и затолкал его поглубже в гравий парковки.

Первое занятие Гельмгольца в это утро начиналось в группе С, где новички барабанили, сипели и дудели кто во что горазд. Им предстоял еще долгий-долгий путь через группу В в группу А, в оркестр линкольнской средней школы — лучший оркестр в мире.

Гельмгольц взошел на подиум и поднял дирижерскую палочку.

— Вы лучше, чем вам кажется, — сказал он. — И-раз, и-два, и-три.

Палочка опустилась, и оркестр тронулся в поисках прекрасного — тронулся не спеша, словно ржавый механизм, у которого клапаны еле шевелятся, трубки забиты грязью, сочленения подтекают, смазка в подшипниках высохла.

К концу урока Гельмгольц по-прежнему улыбался, потому что в душе его музыка звучала именно так, как прозвучит однажды в реальности. В горле у него пересохло — он весь урок пел вместе с оркестром. Он вышел в коридор напиться из фонтанчика.

Гельмгольц припал к фонтанчику и услышал звяканье цепочек. Он поднял глаза на Джима Доннини. Толпа учеников ручейками вылива-

лась из дверей классов, закручиваясь веселыми водоворотами, и устремлялась дальше. Джим был отдельно от всех. Если он и останавливался, то не чтобы с кем-то поздороваться, а чтобы обтереть башмак о штанину. Вид у него был как у шпиона в мелодраме — ничего не упускает, никого не любит и ждет не дождется дня, когда все полетит к чертям.

— Привет, Джим, — сказал Гельмгольц. — Слушай, я как раз думал о тебе. Тут у нас после уроков полно всяких клубов и кружков. Отличный способ познакомиться с новыми людьми.

Джим смерил Гельмгольца пристальным взглядом.

— А может, я не хочу знакомиться с новыми людьми, — проговорил он. — Не думали об этом?

Уходя, он печатал шаг, чтобы звенели цепочки на башмаках.

Когда Гельмгольц вернулся на подиум, чтобы репетировать с группой В, его ждала записка с просьбой срочно прибыть на собрание в учительской.

Собрание по поводу вандализма.

Кто-то вломился в школу и разнес кабинет мистера Крейна, преподавателя английского. Все сокровища бедняги: книги, дипломы, фотографии

Англии, рукописи одиннадцати незаконченных романов, — все было изорвано и скомкано, свалено в кучу, растоптано и залито чернилами.

Гельмгольца замутило. Он не мог поверить глазам. Не мог заставить себя думать об этом кошмаре. Который стал реальностью поздно ночью, во сне. Во сне Гельмгольц увидел мальчишку со щучьими зубами, с когтями как мясницкие крючья. Это чудовище пролезло в окно школы и спрыгнуло на пол репетиционной комнаты. Чудовище в клочья изорвало самый большой барабан в штате. Гельмгольц проснулся в рыданиях. Ему ничего не оставалось, как только собраться и поспешить в школу.

В два часа ночи под пристальным взором ночного сторожа Гельмгольц ласково гладил тугую кожу барабана в репетиционной. Он так и сяк поворачивал барабан, зажигал лампочку внутри — зажигал и гасил, зажигал и гасил. Барабан был цел и невредим. Ночной сторож ушел продолжать обход.

Оркестровая сокровищница была в безопасности. С наслаждением пересчитывающего деньги скупца Гельмгольц ласкал все остальные инструменты по очереди, а потом начал полировать саксофоны. И, наводя на них блеск, он слышал

рев огромных труб, видел, как они вспыхивают на солнце, а впереди несут звездно-полосатый флаг и знамя линкольнской средней школы.

— Ям-пам, тиддл-тиддл, ям-пам, тиддл-тиддл! — счастливо напевал Гельмгольц. — Ям-пам-пам, ра-а-а-а-а, ям-пам, ям-пам, бум!

Когда он на мгновение умолк, выбирая следующую пьесу для своего воображаемого оркестра, ему послышался приглушенный шум в химической лаборатории по соседству. Гельмгольц прокрался по коридору, рывком открыл дверь лаборатории и включил свет. Джим Доннини держал в каждой руке по бутылке с кислотой. Он поливал кислотой периодическую систему элементов, исписанные формулами доски, бюст Лавуазье. Самая омерзительная картина, какую Гельмгольцу когда-либо доводилось видеть.

Джим с напускной храбростью ухмыльнулся ему.

— Убирайся, — сказал Гельмгольц.

— Что вы собираетесь делать? — поинтересовался Джим.

— Убраться здесь. Спасти, что смогу, — потрясенно проговорил Гельмгольц. Он подобрал кусок ветоши и принялся вытирать кислоту.

— Вызовете копов?

— Я… не знаю. Не думал пока. Если бы ты ломал басовый барабан, наверное, я бы убил тебя на месте. И все равно никогда не понял бы, что ты сотворил… точнее, что, по-твоему, ты сотворил.

— Самое время поставить тут все на уши, — сказал Джим.

— Самое время? — переспросил Гельмгольц. — Что ж, должно быть, так и есть, раз это делает один из наших учеников.

— Чего хорошего в школе? — фыркнул Джим.

— Наверное, хорошего мало, — сказал Гельмгольц. — Просто это самая лучшая штука, которую удалось сделать людям.

Он чувствовал полную беспомощность. У него всегда было в запасе множество маленьких уловок, чтобы заставить мальчишек вести себя как мужчины, — уловок, при помощи которых можно играть на мальчишеских страхах, и мечтах, и любви. Но перед ним был мальчишка, не знающий ни страха, ни мечты, ни любви.

— Если ты разгромишь все школы, — проговорил Гельмгольц, — у нас больше не останется никакой надежды.

— Надежды на что?

— На то, что каждый человек сможет радоваться жизни. Даже ты.

— Смех, да и только, — сказал Джим. — У меня в вашей дыре тоска зеленая. Так что делать будете?

— Я что-то должен сделать, верно?

— Да мне плевать, — сказал Джим.

— Я знаю, — кивнул Гельмгольц. — Я знаю.

Он повел Джима в свой крохотный кабинетик позади репетиционной. Набрал телефонный номер директора и оцепенело ждал, пока звонок поднимет старика с постели.

Джим полировал тряпкой свои башмаки.

Гельмгольц вдруг бросил трубку на рычаг, не дожидаясь ответа.

— Да любишь ты на свете хоть что-то, кроме как рвать, ломать, разбивать, бить, лупить, колотить? — крикнул он. — Хоть что-то, кроме этих башмаков?

— Давайте звоните, кому вы там собирались, — сказал Джим.

Гельмгольц открыл шкаф и достал оттуда трубу. Он сунул трубу Джиму в руки.

— Вот! — проговорил он, задыхаясь от волнения. — Вот мое сокровище. Это самая драгоценная моя вещь. Можешь расколотить ее, я и пальцем не шевельну, чтоб тебя остановить. Можешь получить дополнительное удовольствие, глядя,

как разбивается мое сердце.

Джим странно посмотрел на него. И положил трубу на стол.

— Давай! — сказал Гельмгольц. — Если уж мир так погано с тобой обошелся, он заслуживает того, чтобы эта труба была уничтожена.

— Я… — начал Джим.

Гельмгольц схватил его за ремень, дал подножку и повалил на пол.

Стянул с Джима башмаки и швырнул их в угол.

— Вот так! — прорычал он. Рывком поставил мальчишку на ноги и снова сунул ему в руки трубу.

Джим Доннини стоял босиком. Носки остались в башмаках. Он взглянул вниз. Его ноги, которые раньше казались надежными черными опорами, теперь были тощие, как цыплячьи крылышки, костлявые, синеватые, не слишком чистые.

Мальчишка поежился, потом его стала бить дрожь. И эта дрожь, казалось, что-то постепенно вытряхивала из него, пока наконец никакого мальчишки больше не осталось. Совсем никакого. Голова его повисла, словно Джим ждал только одного — смерти.

Гельмгольца захлестнуло раскаяние. Он обхва-

тил мальчишку руками.

— Джим! Джим! Послушай меня, мой мальчик!

Джим перестал дрожать.

— Знаешь, что ты держишь в руках — что это за труба? — сказал Гельмгольц. — Знаешь, какая это особенная труба?

Джим только вздохнул.

— Она принадлежала Джону Филипу Сузе[58]! — сказал Гельмгольц. Он мягко покачивал и потряхивал Джима, пытаясь вернуть к жизни. — Я ее меняю, Джим, на твои башмаки. Она твоя, Джим! Труба Джона Филипа Сузы теперь твоя! Она стоит сотни долларов, Джим, тысячи!

Джим прижался головой к груди Гельмгольца.

— Она лучше твоих башмаков, Джим, — сказал Гельмгольц. — Ты можешь научиться играть на ней. Теперь ты не простой человек, Джим. Ты мальчик с трубой Джона Филипа Сузы!

Гельмгольц потихоньку отпустил Джима, опасаясь, что тот свалится. Джим не упал. Труба все еще была у него в руках.

— Я отвезу тебя домой, Джим, — проговорил Гельмгольц. — Будь человеком, и я им ни слова не

---

[58] Примечания: 58

Суза Джон Филип (1854–1932) — американский композитор и дирижер духовых оркестров, получивший неофициальный титул Короля маршей.

пророню о том, что сегодня случилось. Полируй свою трубу и старайся стать человеком.

— Могу я взять свои башмаки? — пробормотал Джим.

— Нет, — сказал Гельмгольц. — Не думаю, что они тебе на пользу.

Он отвез Джима домой. Открыл все окна в машине, и воздух, казалось, немного освежил мальчишку. Гельмгольц высадил его возле ресторана Куинна. Шлепанье босых ступней Джима по асфальту эхом отдавалось на безлюдной улице. Мальчишка влез в окно и пробрался в свою комнату за кухней, где всегда ночевал. И все стало тихо.

На другое утро раскоряченные, грохочущие грязные машины воплощали в жизнь прекрасную мечту Берта Куинна. Они заравнивали то место позади ресторана, где раньше был холм. Они выглаживали его ровнее, чем бильярдный стол.

Гельмгольц снова сидел в кабинке. Снова к нему подсел Куинн. Джим опять мыл пол. Мальчишка не поднимал глаз, отказываясь замечать Гельмгольца. И совершенно не обращал внимания на мыльную воду, которая прибоем накатывалась на его маленькие узкие коричне-

вые полуботинки.

— Два дня подряд не завтракаете дома, — сказал Куинн. — Что-нибудь случилось?

— Жена все еще в отъезде, — сказал Гельмгольц.

— Кот из дому… — Куинн подмигнул.

— Кот из дому, — сказал Гельмгольц, — а эта мышка уже истосковалась.

Куинн подался вперед.

— Так вот почему вы вылезли из постели среди ночи, Гельмгольц? От тоски? — Он мотнул головой в сторону Джима. — Парень! Ступай и принеси мистеру Гельмгольцу его рожок.

Джим поднял голову, и Гельмгольц увидел, что глаза у него опять как у устрицы. Печатая шаг, мальчик ушел за трубой.

Куинн уже не скрывал злобы и возмущения.

— Вы забираете у него башмаки и даете ему рожок, а я, по-вашему, не должен ничего знать? Я, по-вашему, не начну задавать вопросы? Не дознаюсь, что вы его изловили, когда он громил школу? Паршивый из вас преступник, Гельмгольц. Вы посеяли бы на месте преступления и свою палочку, и ноты, и водительские права.

— Я и не думал заметать следы, — проговорил Гельмгольц. — Просто я делаю то, что делаю. И

собирался все рассказать вам.

Куинн приплясывал под столом ногами, и ботинки у него попискивали, словно мыши.

— Вот как? — сказал он. — Ну что ж, у меня для вас тоже есть кое-какие новости.

— Какие? — неуверенно спросил Гельмгольц.

— С Джимом у меня все кончено. Вчерашняя ночь переполнила чашу. Отправляю его туда, откуда он пришел.

— Опять скитаться по приютам? — нетвердым голосом спросил Гельмгольц.

— А это уж как там специалисты решат. — Куинн откинулся на спинку стула, шумно выдохнул и с явным облегчением развалился поудобнее.

— Вы не можете, — сказал Гельмгольц.

— Очень даже могу, — сказал Куинн.

— Это для него конец всему, — сказал Гельмгольц. — Он не выдержит, если его еще хоть раз вот так вышвырнут вон.

— Он ничего не чувствует, — сказал Куинн. — Я не могу помочь ему; я не могу достучаться до него. Никто не может. У него вообще нервов нет!

— Он весь один сплошной шрам, — сказал Гельмгольц.

«Сплошной шрам» вернулся и принес трубу. Бесстрастно положил ее на столик перед Гельм-

гольцем.

Гельмгольц выдавил улыбку.

— Она твоя, Джим. Я отдал ее тебе.

— Берите, пока не поздно, Гельмгольц, — сказал Куинн. — Она ему без надобности. Променяет на ножик или пачку сигарет, вот и все дела.

— Он пока не знает, что это за вещь, — промолвил Гельмгольц. — Нужно время, чтобы это понять.

— А чего в ней хорошего? — спросил Куинн.

— Чего хорошего? — повторил Гельмгольц, не веря ушам. — Чего хорошего? — Он не понимал, как можно смотреть на этот инструмент, не испытывая восторга. — Чего хорошего? — пробормотал он. — Это труба Джона Филипа Сузы.

— Это еще кто? — тупо моргнул Куинн.

Руки Гельмгольца затрепетали на столе, словно крылья умирающей птицы.

— Кто такой Джон Филип Суза? — сдавленно пискнул он.

Больше он ничего не мог сказать. Слишком грандиозна эта тема, и не по силам усталому человеку приниматься за объяснения. Умирающая птица испустила дух.

После долгого молчания Гельмгольц взял в руки трубу. Поцеловал холодный мундштук и

пробежал пальцами по клапанам, словно исполняя блестящую каденцию. Над раструбом инструмента Гельмгольц видел лицо Джима Доннини, словно плывущее в пространстве, — слепое и глухое! И тут Гельмгольцу открылась вся суетность человека и всех человеческих сокровищ. Он-то надеялся, что за трубу, величайшее свое сокровище, он сможет купить для Джима душу. Но труба ничего не стоила.

Точно рассчитанным движением Гельмгольц ударил трубой о край стола. Согнул ее о столешницу и протянул искореженный кусок металла Куинну.

— Вы ее разбили, — сказал потрясенный Куинн. — Зачем вы это сделали? Что этим можно доказать?

— Я… я не знаю, — проговорил Гельмгольц. Ужасное богохульство клокотало в нем, словно просыпающийся вулкан. А потом, не встречая сопротивления, выплеснулось наружу. — Ни хрена в этой жизни хорошего! — выкрикнул он и скривился, пытаясь сдержать слезы стыда.

Гельмгольц — холм, который умел ходить, — как человек рушился на глазах. Глаза Джима Доннини затопило жалостью и тревогой. Они ожили. Стали человеческими. Гельмгольц сумел

донести до него свое послание! Куинн смотрел на Джима, и впервые на его угрюмом, старом, одиноком лице мелькнуло что-то похожее на проблеск надежды.

Две недели спустя в линкольнской средней школе начинался новый семестр.

В репетиционной оркестранты группы С ждали своего дирижера — ждали, что сулит им их музыкальная судьба.

Гельмгольц взошел на пульт и постучал палочкой по пюпитру.

— «Голоса весны», — сказал он. — Все слышали? «Голоса весны».

Раздался шелест нот, которые музыканты разворачивали на своих пюпитрах. В последовавшей за этим напряженной тишине Гельмгольц отыскал взглядом Джима Доннини, сидевшего на самом последнем месте в самой слабой секции трубачей самого плохого оркестра в школе.

Его труба, труба Джона Филипа Сузы, труба Джорджа М. Гельмгольца, была в полном порядке.

— Подумайте вот о чем, — сказал Гельмгольц. — Наша цель — сделать мир лучше, чем он был до нас. Это сделать можно. И это сделаете вы.

У Джима Доннини вырвался негромкий возглас

отчаяния. Не предназначенный для посторонних ушей, но его услышали все.

— Но как? — спросил Джим.

— Возлюби самого себя, — сказал Гельмгольц. — И заставь свой инструмент запеть об этом. И-раз, и-два, и-три. — Он взмахнул палочкой.

Бездарь

© Перевод. А. Комаринец, 2020

Была осень, и деревья за стенами школы в городе Линкольн становились того же ржавого цвета, что и голые кирпичные стены в репетиционном зале оркестра. Джордж М. Гельмгольц, руководитель отделения музыки и дирижер, был окружен футлярами и складными стульями, и на каждом стуле сидел очень молодой человек в нервной готовности продудеть что-нибудь или — в случае секции ударных — что-нибудь отбить, едва мистер Гельмгольц взмахнет белой палочкой.

Мистер Гельмгольц, человек лет сорока, который считал свой огромный живот признаком здоровья, силы и достоинства, ангельски улыбался, словно вот-вот выпустит на волю самые изысканные звуки, какие когда-либо слышало ухо человека. Палочка скользнула вниз.

— Блю-ю-юмп! — сказали большие сузафоны.

— Бле-е! — откликнулись валторны.

И корпящий, визжащий, сварливый вальс начался.

Выражение на лице мистера Гельмгольца не

изменилось, когда басы сбились с такта, когда деревянные духовые растерялись и стали неразборчивы, лишь бы никто не заметил ошибки, а секция ударных звучала как битва при Геттисберге.

— А-а-а-а-та-та, а-а-а-а-а, та-та-та-та! — Звучным тенором мистер Гельмгольц запел партию первого корнета, когда первый корнетист, побагровевшей и потеющий, сдался и обмяк на стуле, опустив на колени инструмент.

— Саксофоны, я вас не слышу, — крикнул мистер Гельмгольц. — Хорошо!

Это был оркестр «В», и для оркестра «В» играл неплохо. На пятой репетиции за учебный год нечего ждать лучшей сыгранности. Большинство учеников только поступили в оркестр и за предстоящие годы в школе приобретут достаточно артистизма, чтобы перейти в оркестр «Б», репетиция которого начнется через час, и, наконец, лучшие из них завоюют места в гордости города — в оркестре «Десять рядов» линкольнской школы, иначе называемом «А».

Футбольная команда проигрывала половину матчей, баскетбольная команда проигрывала две трети своих, но оркестр — за десять лет под началом у мистера Гельмгольца — до прошлого

июня не уступал никому. Он первым в штате использовал в парадных шествиях жонглеров с флагами, первым включил в программу хоровые номера помимо инструментальных, первым широко применил тройное модулирование, первым прошел головокружительным ускоренным маршем, первым зажег фонарь в своем большом барабане. Школа поощрила музыкантов оркестра «А» свитерами с буквами своего названия, и свитера пользовались огромным уважением — как и следовало. Оркестр десять лет кряду побеждал на конкурсе школ штата — до провала в июне.

Пока оркестранты «В» один за другим выпадали из вальса так, словно из вентиляции струился перечный газ, мистер Гельмгольц продолжал улыбаться и помахивать палочкой уцелевшим и мрачно обдумывал поражение, которое потерпело его детище в июне, когда школа Джонстауна победила секретным оружием — большим барабаном семи футов в диаметре. Судьи, будучи не музыкантами, а политиками, слышали и видели только это «восьмое чудо света», и с тех пор мистер Гельмгольц тоже ни о чем больше не думал. Но школьный бюджет и так кренился от расходов на оркестр. Когда попечительский совет выделял последнее спецассигнование, о

котором мистер Гельмгольц так отчаянно умолял (деньги на проволочные плюмажи с мигалками и батарейками для вечерних матчей, — все сооружение предполагалось прикручивать к шапкам оркестрантов), то заставил его, как запойного пьяницу, поклясться, что, помоги ему господи, это последний раз.

Сейчас в оркестре «В» звучали только двое: кларнет и малый барабан, оба играли громко и гордо, — и безнадежно фальшиво. Мистер Гельмгольц, очнувшись от сладкой грезы о барабане большем, чем тот, что его одолел, прикончил вальс из милосердия, постучав палочкой по пюпитру.

— Ладненько, ладненько, — весело сказал он и ободряюще кивнул, выражая свои поздравления двоим, продержавшимся до горького конца.

Уолтер Пламмер, кларнетист, отреагировал с торжественностью солиста на концерте, который принимает овацию, возглавленную дирижером симфонического оркестра. Он был невысоким, но с широкой грудью и мощными легкими, которые разработал себе за многократные летние месяцы на дне того или другого плавательного бассейна, и ноту мог держать дольше любого в оркестре «А», гораздо дольше — но и только. Сейчас Пламмер

приоткрыл усталые, покрасневшие губы, показывая два больших передних зуба, придававших ему сходство с белкой, поправил язычок инструмента, размял пальцы и стал ждать, когда его призовут на следующие подвиги виртуозности.

«Уже третий год Пламмер в оркестре «В»», — думал мистер Гельмгольц со смесью жалости и страха. Ничто не могло поколебать решимости Пламмера заслужить право носить одну из священных букв оркестра «А», но до исполнения его желаний было пугающе далеко.

Мистер Гельмгольц пытался объяснить Пламмеру, что его честолюбие направлено в ложное русло, советовал другие области, где можно применить прекрасные легкие и энтузиазм, области, где слух не так важен. Но Пламмер был влюблен — не в музыку, а в свитера с буквами. Будучи глух к нотам как вареная капуста, он не видел в собственной игре ничего, что его бы обескуражило.

— Помните, — обратился к оркестру «В» мистер Гельмгольц, — в пятницу день проб, так что будьте готовы. Стулья, на которых вы сидели сегодня, назначались произвольно. В день проб от вас будет зависеть, как вы себя проявите и какого стула на самом деле заслуживаете.

Он избегал встречать взгляд сузившихся, уве-

ренных глаз Пламмера, который занял стул первого кларнетиста, не справившись с планом рассадки на доске объявлений. День проб устраивали раз в две недели, и в этот день любой оркестрант мог потягаться за место с тем, кто выше него. Судьей выступал мистер Гельмгольц.

Рука Пламмера поднялась, пальцы защелкали.

— Да, Пламмер? — сказал мистер Гельмгольц.

Из-за Пламмера он стал бояться дня проб. Он начал называть его про себя днем Пламмера. Пламмер никогда не бросал вызов оркестранту из «В» или даже «Б», но всегда штурмовал организацию с самой ее вершины, состязаясь — к несчастью, такое право имели все учащиеся, — только с оркестрантами из «А». Пустая трата времени оркестра «А» сама по себе раздражала, но гораздо мучительнее для мистера Гельмгольца было выражение пораженного неверия на лице Пламмера, когда он слышал решение дирижера Гельмгольца, мол, он играл не лучше тех, кого вызвал побороться.

— Мне бы хотелось прийти сегодня на репетицию оркестра «А», мистер Гельмгольц, — сказал Пламмер.

— Хорошо… Если ты считаешь, что тебе по силам.

Пламмеру всегда было по силам, и много большим сюрпризом стало бы, объяви он, что не будет присутствовать на репетиции оркестра «А».

— Мне бы хотелось потягаться с Флэммером.

Шорох нот и щелканье замков на футлярах замерли. Флэммер был первым кларнетистом оркестра «А», гением, бросить вызов которому не хватило бы наглости даже оркестрантам «А».

Мистер Гельмгольц прокашлялся.

— Восхищен твоим задором, Пламмер, но не слишком ли высоко ты метишь для начала года? Может, тебе следовало бы начать, скажем, с Эда Дилейни?

Дилейни занимал последний стул в оркестре «Б».

— Вы не понимаете, — сказал Пламмер. — Разве вы не заметили, что у меня новый кларнет?

— Гм? Э… да, действительно новый.

Пламмер погладил атласно-черный ствол инструмента, словно это был меч короля Артура, наделяющий волшебной силой любого, кто им обладает.

— Не хуже, чем у Флэммера, — сказал Пламмер. — Даже лучше.

В его голосе прозвучало предостережение, мол, дни дискриминации миновали, мол, никто в

здравом уме не посмеет затирать человека с таким инструментом.

— Э-э-э… — сказал мистер Гельмгольц. — Ну, увидим, увидим.

После репетиции его притиснули к Пламмеру в людном коридоре. Пламмер мрачно втолковывал желторотому оркестранту из «В»:

— Знаешь, почему наш оркестр проиграл в июне джонстаунцам? — спрашивал Пламмер, как будто не ведая, что мистер Гельмгольц стоит у него за спиной. — Потому что людей перестали выделять по достоинствам. В пятницу гляди в оба.

Мистер Джордж М. Гельмгольц жил в мире музыки, и даже пульсация головной боли являлась музыкально, хотя и мучительно, хриплым уханьем большего барабана семи футов в диаметре. Заканчивался первый день проб нового учебного года. Он сидел у себя в гостиной с полотенцем на лбу и ожидал очередного «бу-бух» — удара вечерней газеты, брошенной о фасад его дома Уолтером Пламмером, разносчиком.

С недавних пор мистер Гельмгольц говорил себе, что в день проб обошелся бы, пожалуй, без газеты, ведь к ней прилагался Пламмер. Газета была доставлена с обычным грохотом.

— Пламмер! — крикнул он.

— Да, сэр? — откликнулся с тротуара Пламмер.

Мистер Гельмгольц прошаркал в шлепанцах к двери.

— Прошу, мой мальчик, — сказал он, — разве мы не можем быть друзьями?

— Конечно, почему нет? — сказал Пламмер. — Что было, то было, я так всегда говорю. — Он горько изобразил подобие дружеского смешка. — С водой утекло. Прошло два часа с тех пор, как вы проткнули меня ножом.

Мистер Гельмгольц вздохнул.

— У тебя есть минутка? Пора нам поговорить, мой мальчик.

Пламмер спрятал стопку газет под живой изгородью и вошел в дом. Мистер Гельмгольц жестом указал на самое удобное кресло в комнате, то, в котором до того сидел сам. Но Пламмер предпочел примоститься на краешке жесткого стула с прямой спинкой.

— Мой мальчик, — начал руководитель оркестра. — Господь создал самых разных людей: одни умеют быстро бегать, другие — писать замечательные рассказы, третьи — рисовать картины, четвертые — продать что угодно, а кое-кто способен творить прекрасную музыку. Но он не создал

никого, кто мог бы делать хорошо все разом. Часть процесса взросления — искать, что мы способны делать хорошо, а что нет. — Он похлопал Пламмера по плечу. — Последнее — узнавать, чего мы хорошо не умеем, больше всего причиняет боли, когда взрослеешь. Но с этим приходится столкнуться каждому, а потом надо продолжать искать свое истинное я.

Голова Пламмера все ниже опускалась ему на грудь, и мистер Гельмгольц поспешил дать лучик надежды.

— Флэммер, например, никогда бы не сумел наладить развозку газет, вести отчетность, подыскивать новых клиентов. У него нет нужной жилки, он не сумел бы даже под страхом смерти.

— А вы правы, — с неожиданной живостью сказал Пламмер. — Нужно быть ужасно однобоким, чтобы ты был в чем-то так хорош, как Флэммер. Думаю, лучше постараться округлиться. Да, Флэммер меня честно сегодня побил, и я не хочу, чтобы вы считали, будто я в обиде. Меня не то заедает.

— Очень взрослые слова, — сказал мистер Гельмгольц. — Но я говорил о том, что у всех нас есть свои слабые стороны, и…

Пламмер от этого отмахнулся.

— Вам незачем мне объяснять, мистер Гельм-

гольц. Учитывая, какую большую вы проделали работу, просто чудо, что у вас получилось.

— Постой-ка, Пламмер! — сказал мистер Гельмгольц.

— Я только прошу, чтобы вы поставили себя на мое место, — сказал Пламмер. — Едва я вернулся с состязания с музыкантами «А», едва я всю душу себе вывернул, играя, как вы спустили на меня малышню из оркестра «В». Мы-то с вами знаем, что мы просто давали им понять, что такое день проб, и что я совершенно выдохся. Но разве вы им про это сказали? Ха, ничего вы не сказали, мистер Гельмгольц, а теперь детишки думают, будто способны играть лучше меня. Вот только это меня и саднит, мистер Гельмгольц. Они считают, я не просто так на последнем стуле в оркестре «В».

— Пламмер, — начал мистер Гельмгольц, — я давно старался сказать тебе как можно мягче, но единственный способ до тебя достучаться — сказать напрямик.

— Валяйте и отбросим критику, — сказал Пламмер, вставая.

— Отбросим?

— Отбросим. — Беспрекословно заканчивая разговор, он направился к двери. — Я, наверное, перечеркиваю свои шансы попасть в оркестр «А»,

когда так скажу, мистер Гельмгольц, но, честно говоря, инциденты вроде случившегося со мной сегодня как раз и стоили вам победы на конкурсе оркестров в прошлом июне.

— Это был семифутовый барабан!

— Ну, так добудьте такой для Линкольна и увидите, что у вас получится.

— Да я правую руку за него бы отдал! — сказал мистер Гельмгольц, забывая, о чем шла речь, и помня только свою всепоглощающую мечту.

Пламмер помешкал на пороге.

— Вроде того, с каким выходят на парады «Рыцари Кандагара»?

— В точку! — Перед глазами мистера Гельмгольца замаячил гигантский барабан «Рыцарей Кандагара», непременный атрибут любого местного парада. Он попытался представить его себе с пантерой школы Линкольна на боку. — Как раз то, что надо!

К тому времени, когда руководитель оркестра вернулся на землю, Пламмер уже оседлал велосипед.

Мистер Гельмгольц открыл было рот окликнуть Пламмера, вернуть его и сказать напрямик, что у него нет ни малейшего шанса когда-либо выбраться из «В», что он никогда не поймет, что

цель оркестра издавать не звуки вообще, а особые звуки. Но Пламмер уже был таков.

Получив временную передышку до следующего дня проб, мистер Гельмгольц сел насладиться вечерней газетой, где прочел, что добропорядочный казначей «Рыцарей Кандагара» исчез с капиталами организации, оставив по себе неоплаченные счета за последние полтора года.

«Мы выплатим все до цента, даже если придется распродать имущество ложи. Разумеется, кроме Священного Скипетра, — заявил верховный гофмейстер внутреннего храма».

Мистер Гельмгольц не знал ни одного из вышеупомянутых лиц, он зевнул и перелистнул на раздел комиксов. Потом охнул и вернулся к первой странице. Он нашел номер в телефонном справочнике и позвонил.

— Пи-пи-пи-пи, — раздался у него в ухе сигнал «занято».

Он уронил трубку на рычаг. Сотни людей, думал он, пытаются, наверное, в этот самый момент связаться с верховным гофмейстером внутреннего храма «Рыцарей Кандагара». Он возвел очи к осыпающемуся потолку: пусть, взмолился он, никому не понадобится по дешевке возимый на тележке барабан.

Он набирал снова и снова и всякий раз слышал «занято». Чтобы как-то снять нарастающее напряжение, он вышел на крыльцо. «Я единственный, кому нужен барабан, — говорил он себе, — а потому могу назвать свою цену». Господи всемогущий! Да его, наверное, за пятьдесят долларов удастся получить! Он заплатит из своих денег, а через три года, когда вся сумма за плюмажи с мигалками будет выплачена сполна, уговорит школу возместить расходы.

Он хохотал как Санта-Клаус из универмага, когда его взгляд упал с небес на его же собственный газон, и он углядел забытые Пламмером газеты, так и оставшиеся под живой изгородью.

Войдя в дом, он опять позвонил верховному гофмейстеру — с тем же результатом. Потом он позвонил домой Пламмеру, чтобы дать ему знать, где затерялось недоставленное адресатам. Но и там линия была занята.

Он звонил попеременно то Пламмеру, то верховному гофмейстеру еще четверть часа, пока, наконец, не услышал длинные гудки.

— Алло? — сказала миссис Пламмер.

— Это мистер Гельмгольц, миссис Пламмер. Уолтер дома?

— Был тут минуту назад, звонил по телефону,

но только что вылетел пулей.

— Искал свои газеты? Он оставил их под моей спиреей.

— Вот как? Господи, я понятия не имею, куда он пошел. Он ничего про газеты не говорил, но, кажется, я слышала что-то про продажу кларнета. — Она вздохнула, потом рассмеялась. — Имея собственные деньги, дети становятся ужасно независимыми. Он никогда мне ничего не рассказывает.

— Ну… тогда скажите ему, что, на мой взгляд, даже лучше, что он продал кларнет. И скажите ему, где газеты.

Что Пламмер наконец прозрел относительно своей карьеры в музыке, было неожиданной и приятной новостью. Теперь дирижер набрал номер из телефонного справочника ради новых приятных новостей. На сей раз он дозвонился, но, к разочарованию своему, узнал, что верховный гофмейстер только что уехал по какому-то делу ложи.

Многие годы мистер Гельмгольц умудрялся сохранять улыбку и не терять головы на репетициях оркестра «В». Но наутро после бесплодных попыток разузнать что-либо о большом барабане «Рыцарей Кандагара», защитные барьеры

спали, и ядовитая музыка проникала до глубин его души.

— Нет, нет, нет! — в муках кричал он.

Он швырнул дирижерской палочкой о кирпичную стену.

Упругая палочка отскочила от кирпича и ударилась о пустой складной стул на задах секции кларнета — о пустой стул Пламмера.

Подбирая палочку, мистер Гельмгольц неожиданно поймал себя на мысли, что его очень тронул символ незанятого стула. Никто больше, каким бы бездарным он ни был, не смог бы занимать последний стул в оркестре так хорошо, как Пламмер. Подняв взгляд, мистер Гельмгольц обнаружил, что многие оркестранты вместе с ним вглядываются в стул, словно и они тоже ощущали: исчезло нечто великое — в фаталистическом смысле, — и жизнь потому станет немного скучнее.

В десятиминутный перерыв между репетициями оркестров «В» и «Б» мистер Гельмгольц поспешил к себе в кабинет и попытался снова связаться с верховным гофмейстером «Рыцарей Кандагара». Тщетно!

— Один бог знает, куда он на сей раз подевался, — сказали мистеру Гельмгольцу. — Он заскочил,

но сразу ушел. Я передала, что вы звонили, так что он, наверное, вам перезвонит, когда у него будет свободная минутка. Вы ведь джентльмен с барабаном, верно.

— Именно… джентльмен с барабаном.

В коридоре визжали звонки, возвещая начало нового урока. Мистеру Гельмгольцу хотелось остаться у телефона, пока не поймает верховного гофмейстера и не заключит сделку, но оркестр «Б» ждал, а после него будет оркестр «А».

На него снизошло озарение. Он позвонил в «Вестерн Юнион» и послал гофмейстеру телеграмму с оплаченным ответом и предложением пятидесяти долларов за барабан.

Но во время репетиции оркестра «Б» ответа не последовало. Не прибыл он и к середине репетиции оркестра «А». Музыканты, народ чуткий и нервный, сразу поняли, что их дирижер не в своей тарелке, и репетиция шла плохо. Мистер Гельмгольц остановил марш на середине, так как кто-то тряс снаружи большие двойные двери в дальнем конце репетиционного зала.

— Ладно, ладно, давайте подождем, пока гам не стихнет, не то нам самих себя не слышно, — сказал мистер Гельмгольц.

В этот момент посыльный подал ему телеграм-

му. Мистер Гельмгольц вскрыл конверт, и вот что он прочел:

«БАРАБАН
ПРОДАН ТЧК ЧУЧЕЛО ВЕРБЛЮДА

НА КОЛЕСАХ ПОДОЙДЕТ ВПР ЗНК».

Двойные двери распахнулись с визгом ржавых петель. Холодный осенний ветер забросал оркестр листьями. В огромном проеме стоял Пламмер, запыхавшийся и потеющий, впряженный в барабан размером с луну в осеннее равноденствие!

— Знаю, сегодня не день проб, — сказал Пламмер, — но я подумал, может, в моем случае вы сделаете исключение.

Он вошел с величавым достоинством, за ним раскатисто жаловалась его гигантская упряжка.

Мистер Гельмгольц бросился ему навстречу. Он обеими руками сдавил правую Пламмера.

— Пламмер, мальчик мой! Ты нам его добыл! Какой ты молодец! Я тебе возмещу! Сколько бы ты ни заплатил, возмещу, — воскликнул он и от радости опрометчиво добавил: — И с лихвой, ты внакладе не останешься. Какой ты молодец!

— Продать барабан? — сказал Пламмер. — Я вам его подарю, когда закончу школу. Я хочу только

играть на нем в оркестре «А», пока я здесь.

— Но, Пламмер, — сказал мистер Гельмгольц, — ты же ничего в барабанах не смыслишь.

— Буду усердно практиковаться, — ответил Пламмер.

Он начал задвигать свой инструмент в проход между тубами и тромбонами, в сторону секции ударных, и изумленные музыканты поспешили потесниться.

— Минутку, — сказал мистер Гельмгольц, хмыкая, словно Пламмер пошутил, и прекрасно понимая, что это не так. — Играть на барабане не значит колотить по нему, когда заблагорассудится, знаешь ли. Нужны годы, чтобы научиться быть барабанщиком.

— Ну, — протянул Пламмер, — чем скорее начну, тем скорее научусь.

— Я хотел сказать, что, боюсь, ты еще некоторое время будешь не готов для оркестра «А».

Пламмер перестал возиться с инструментом.

— Сколько еще? — спросил он.

— Э… эдак годика через два, наверное. А пока ты мог бы одолжить свой барабан оркестру. Пока не будешь готов.

Все тело у мистера Гельмгольца зазудело под холодным взглядом Пламмера.

— После дождичка в четверг? — сказал наконец Пламмер.

Мистер Гельмгольц вздохнул.

— Боюсь, вроде того. — Он качнул головой. — Именно это я пытался тебе объяснить вчера. Никто не способен делать хорошо все, и нам всем приходится жить со своими недостатками. Ты отличный парень, Пламмер, но ты никогда не станешь музыкантом — даже за миллион лет. Тебе остается только то, что время от времени приходится делать всем нам: улыбнуться, пожать плечами и сказать: «Ну, еще одно дело не по мне».

В уголках глаз Пламмера выступили слезы. Он медленно пошел к дверям, барабан волочился за ним следом. На пороге он помедлил с еще одним тоскливым взглядом на оркестр «А», в котором для него никогда не будет места. Он слабо улыбнулся, пожал плечами.

— У одних есть восьмифутовый барабан, — сказал он, — у других нет. Такова жизнь. Вы отличный человек, мистер Гельмгольц, но барабан вы не получите — даже за миллион лет, потому что я подарю его маме, пусть превратит в кофейный столик.

— Пламмер! — воскликнул мистер Гельм-

гольц.

Его жалобный голос потерялся за грохотом и дребезжанием большого барабана, когда он следовал за своим маленьким хозяином по бетонной подъездной дорожке школы.

Мистер Гельмгольц побежал за ними. Пламмер и его барабан остановились на перекрестке подождать, когда загорится зеленый. Мистер Гельмгольц догнал Пламмера там и схватил за локоть.

— Нам нужен этот барабан, — пропыхтел он. — Сколько ты хочешь?

— Улыбнуться! — сказал Пламмер. — Пожать плечами! Это я и сделал. — Пламмер повторил все еще раз. — Видите? Я не могу попасть в оркестр «А», вы не можете получить барабан. Кому какое дело? Это — часть процесса взросления.

— Но ситуация-то тут иная! — сказал мистер Гельмгольц. — Совершенно иная!

— Вы правы, — ответил Пламмер. — Я взрослею, а вы нет.

Зажегся зеленый, и Пламмер оставил мистера Гельмгольца пораженно стоять на тротуаре.

Мистер Гельмгольц снова за ним побежал.

— Пламмер, — сипел он, — ты никогда не сможешь играть на нем хорошо.

— Досыпьте соли на рану, — сказал Пламмер.

— Но только посмотри, как здорово ты его тянешь, — сказал мистер Гельмгольц.

— Досыпьте соли на рану, — повторил Пламмер.

— Нет, нет, нет, — сказал мистер Гельмгольц. — Вовсе нет. Если школа получит барабан, тот, кто будет его тянуть, будет таким же полноправным и ценным членом оркестра «А», как и первый кларнетист. Что, если барабан опрокинется?

— И он получит букву оркестра, если барабан не опрокинется? — сказал Пламмер.

А мистер Гельмгольц сказал так:

— Не вижу препятствий.

Второкурсник с амбициями

© Перевод. Н. Рейн, 2020

Джордж М. Гельмгольц, глава музыкального отделения и дирижер духового оркестра при школе города Линкольн, был милейшим, добрейшим, толстеньким человечком, который не видел зла, не ведал зла, не слышал зла и никогда не говорил о зле. Потому что, где бы он ни был и куда ни направился, в душе, сердце и ушах у него постоянно стоял шум, звон и рев оркестра, реальный или воображаемый. И там просто не оставалось места для чего-либо другого, вследствие чего школьный оркестр под названием «Десять рядов», который он возглавлял, был ничем не хуже, а может, даже лучше любого другого духового оркестра в мире.

Порой, слыша приглушенные и сложные пассажи, опять же реальные или воображаемые, Гельмгольц задавался вопросом: прилично ли чувствовать себя счастливым в столь трудные времена. Но когда «медь»[59] и ударные инструменты вдруг заводили грустный мотив, мистер Гельмгольц оглядывался по сторонам и прихо-

[59] Примечания: 59
«Медь» (*муз. сленг*) — духовые инструменты.

дил к заключению, что окружающие полностью разделяют его чувства.

Гельмгольц частенько производил впечатление человека мечтательного и несколько не от мира сего, но был у него один пунктик, где он проявлял поистине носорожьи твердость и упрямство. А проявлял он их всякий раз, когда речь заходила о сборе средств для оркестра, за что его неустанно критиковали школьный совет, Ассоциация учителей и родителей, Ассоциация бизнесменов города, Международная организация «клубов на службе общества», а также «Ротари» и «Лаэнс» клубы — словом, во всех тех местах, куда он обращался за материальной помощью. Обращался в надежде и заблуждении, что доброта и богатство всегда идут рука об руку. В пылких речах взывал он к любой аудитории, могущей, по его мнению, дать денег. Он вспоминал черные дни студенческой футбольной команды, дни, когда трибуны с болельщиками «линкольнцев» были погружены в стыдливое молчание, оскорблены и пристыжены сверх всякой меры.

— Перерыв между таймами, — с горечью бормотал он, потупив глаза.

Затем вдруг выдергивал из кармана судейский свисток, подносил к губам и издавал пронзитель-

ный свист.

— А теперь выступает духовой оркестр линкольнской школы! — провозглашал он. — Полный вперед! Бум! Та-та-та-тааааа! — Гельмгольц пел, приплясывал на месте, превращался то в знаменосца, то в барабанщика, то в трубача, поочередно становился то каким-нибудь деревянным духовым инструментом, то металлофоном и так далее. Ко времени, когда он заканчивал маршировать по воображаемому футбольному полю, ведя за собой воображаемый оркестр, слушатели заводились сверх всякой меры, вытирали выступившие на глазах слезы и были готовы купить для оркестра все, что только ни потребуется.

Однако, вне зависимости от того, сколько поступало денег, оркестр постоянно сидел без средств. Когда дело доходило до закупки инструментов, Гельмгольц превращался в настоящего транжира и мота. И соперничавшие с ним руководители других оркестров дали ему два прозвища: Азартный Игрок и Бриллиантовый Джим.

В число многочисленных и разнообразных обязанностей Стюарта Хейли, помощника директора школы, входил также контроль над средствами оркестра. И когда ему предстояло провести с Гельмгольцем очередной разговор на тему фи-

нансов, он в буквальном и фигуральном смысле старался загнать дирижера в угол, чтоб тот не мог маршировать и размахивать руками.

Гельмгольц это знал. Вот и на этот раз, когда Хейли возник в дверях его крохотного офиса, размахивая счетом на девяносто пять долларов, почувствовал, что оказался в ловушке. Вслед за Хейли в комнату вошел мальчик-посыльный из ателье с коробкой под мышкой. В коробке находился сшитый на заказ костюм. Хейли плотно затворил за собой дверь, а Гельмгольц лишь ниже склонился над письменным столом с притворным видом крайнего сосредоточения.

— Гельмгольц, — завел свою песню Хейли, — здесь у меня оказался совершенно неожиданный и абсолютно ничем не оправданный счет на…

— Тс!.. — зашипел на него Гельмгольц. — Подождите секундочку, я сейчас. — И начал вычерчивать на диаграмме, и без того густо испещренной линиями, еще одну, пунктирную. — Как раз вношу завершающий штрих в девиз в честь празднования Дня матери. Хочу сделать его в форме стрелы, пронзающей сердце. А на стреле будет надпись: «Мамочка». Это, знаете ли, не так-то просто.

— Все это, конечно, очень мило, — заметил Хей-

ли, продолжая потрясать счетом, — и я, как и вы, тоже очень люблю наших матерей, но вы своей стрелой пробили брешь в общественной казне размером ровно в девяносто пять долларов!

Гельмгольц по-прежнему не поднимал на него глаз.

— Как раз собирался сказать вам об этом, — тихо сказал он, начав вычерчивать еще одну линию, — но все это связано с подготовкой к музыкальному фестивалю штата и Дню матери. А потому считаю все остальное не важным, а все расходы — оправданными. Это сейчас у нас на первом месте.

— Ничего себе, не важным! — возмутился Хейли. — Вы просто загипнотизировали нашу общественность. Заставили купить сто новых форменных костюмов для оркестра из ста человек, и вот теперь…

— Что теперь? — с самым невинным видом осведомился Гельмгольц.

— Этот мальчик приносит мне счет на сто первый! — воскликнул Хейли. — Вам только палец дай, так вы всю руку…

Тут в дверь постучали, и Хейли умолк.

— Войдите, — сказал Гельмгольц.

Дверь отворилась, на пороге стоял Лерой Даг-

ган, робкий и смешной чудак, хилый второкурсник с покатыми плечами. Лерой был настолько застенчив, что когда кто-то пристально и слишком долго на него смотрел, начинал исполнять некий странный танец, прикрываясь футляром с флейтой и портфелем.

— Входи, Лерой, входи, — сказал Гельмгольц.

— Нет, подождите за дверью, Лерой, — сказал Хейли. — Потому как дело у меня срочное.

Лерой робко отступил задом наперед, бормоча слова извинения, и Хейли затворил за ним дверь.

— Для музыкантов дверь моя всегда открыта, — заметил Гельмгольц.

— Так оно и будет, — сказал Хейли, — как только прояснится загадочная история со сто первым костюмом.

— Честно сказать, я весьма удивлен и даже обижен этим недоверием со стороны администрации, — заметил Гельмгольц. — Руководить выдающимся коллективом из ста высокоодаренных молодых людей — задача, если вдуматься, далеко не простая.

— Простая! — фыркнул Хейли. — Кто говорит, что простая? Все уже давно поняли, что это самое запутанное, непонятное и дорогостоящее

мероприятие во всей школьной системе. Вот вы только что сказали, сто молодых людей. А посыльный принес сто первый костюм! Как прикажете это понимать? Или у духового оркестра «Десять рядов», у этого большого и непонятного животного, вдруг отрос хвостик?

— Нет, — ответил Гельмгольц. — Он по-прежнему насчитывает ровно сто человек, хотя, конечно, мне хотелось бы, чтоб их было больше, гораздо больше. К примеру, я все время пытаюсь прикинуть, как исполнить «Мать Уистлера» составом в сто человек, и вижу, понимаю, что это просто невозможно. — Он нахмурился. — Вот если объединиться с клубом «Поющие девушки», тогда, пожалуй, может получиться. Вы человек умный, образованный, с отменным вкусом. Может, подкинете несколько идей на тему того, как лучше провести этот фестиваль в честь Дня матери?

Хейли потерял терпение.

— Нечего мне зубы заговаривать, Гельмгольц! Зачем вам еще один костюм?

— Да затем, чтоб упрочить славу нашего оркестра! — рявкнул в ответ Гельмгольц. — Чтобы укрепить наши позиции и навеки сохранить за собой приз фестиваля! — Тут вдруг голос его упал до шепота, и он, покосившись в сторону двери,

продолжил: — А в частности, для Лероя Даггана, возможно, самого выдающегося флейтиста нашего полушария! И давайте говорить потише, потому что нельзя обсуждать этот костюм, не обсуждая при том же Лероя.

И они заговорили напряженным свистящим шепотом.

— А почему это вашему Лерою понадобилось шить костюм на заказ? Почему он не может надеть один из тех, что уже имеются? — спросил Хейли.

— Да потому, что фигура у него нестандартная, в форме колокольчика, — ответил Гельмгольц. — И ни один из тех костюмов, что есть в наличии, ему не подходит. Все сидят плохо.

— Но здесь вам не театр на Бродвее, а колледж! — взорвался Хейли. — И у нас есть студенты с фигурами, напоминающими не только колокольчик, но и телеграфные столбы, хлопушки, есть парни с фигурами шимпанзе и сложенные, как греческие боги. Ничего страшного, костюм можно подшить, как-нибудь приспособить по фигуре.

— Мои долг и обязанность, — поднимаясь из-за стола, начал Гельмгольц, — состоят в том, чтоб выжать максимум музыкальных возможностей из любого оркестранта, который ко мне посту-

пает. И если фигура мешает мальчику выжать музыку, которую он способен выдать, тогда мой долг придать его фигуре форму, позволяющую играть, как ангел. Так было и так будет, на том стоим. — С этими словами он опустился обратно в кресло. — И если я не буду за это бороться, тогда, значит, просто не подхожу для этой работы.

— Что ж, выходит, надев специально пошитый для него костюм, Лерой будет играть лучше? — с иронией спросил Хейли.

— На репетициях, когда рядом никого, кроме его коллег, музыкантов, — ответил Гельмгольц, — Лерой играет столь блестяще и с таким чувством, что можно зарыдать или потерять сознание. Но когда Лерой марширует по полю, где на него устремлены глаза тысяч посторонних, в особенности — девушек, он выбивается из ритма, начинает идти не в ногу, спотыкаться, запинаться. И не в состоянии сыграть даже «Плыви, плыви, моя лодочка»! — Гельмгольц стукнул кулаком по столу. — А этого не должно случиться на музыкальном фестивале штата! Я не допущу!

Счет, зажатый в ладони Хейли, был уже весь измят и отсырел от пота.

— И все равно, — заметил он, — мои претензии к вам остаются в силе. — Сколько чугунок ни три,

а золотым не станет. На счету у вашего оркестра осталось ровно семьдесят пять долларов, и у колледжа нет абсолютно никаких возможностей добавить недостающие двадцать, абсолютно никаких.

Он обернулся к мальчику-посыльному:

— Так и передай своему хозяину, именно такими словами, — сказал он.

— А мистер Корнблюм говорит, что он и без того потерял на этом кучу денег, — заметил мальчик. — Он говорит, что мистер Гельмгольц лично приходил к нему и уболтал, и прежде, чем мой хозяин…

— Ни о чем не беспокойся, — перебил его Гельмгольц.

Достал из кармана чековую книжку и с улыбкой и самым довольным выражением лица выписал чек на двадцать долларов.

Хейли побледнел, лицо его обрело пепельный оттенок.

— Весьма сожалею, что все так обернулось, — заметил он.

Гельмгольц проигнорировал эту его ремарку. Взял пакет из рук посыльного и позвал Лероя:

— А ну-ка, зайди, пожалуйста!

Лерой вошел — медленно, шаркая ногами,

проделывая свои знаменитые манипуляции футляром для флейты и портфелем, невнятно бормоча извинения.

— Просто подумал, тебе захочется примерить новый костюм для выступления на музыкальном фестивале, Лерой, — сказал Гельмгольц.

— Не думаю, что буду от этого лучше маршировать, — сказал Лерой. — Растеряюсь и испорчу все выступление.

Гельмгольц с торжественным видом развернул бумагу и приподнял крышку коробки.

— Это особый костюм, специально для тебя, Лерой.

— Всякий раз, когда вижу один из этих ваших костюмов, — заметил Хейли, — на ум почему-то приходят бродяжки из «Шоколадного солдатика». Это костюм, достойный звезд эстрады или мюзикла, а у вас целая сотня таких костюмов, вернее — сто один.

Гельмгольц помог Лерою снять пиджак. Лерой робко застыл посреди комнаты — нескладный парнишка в рубашке с короткими рукавами, лишенный футляра для флейты и портфеля, страшно комичный, но не видящий ничего комичного или смешного в том, что фигура у него напоминает по форме колокольчик.

Гельмгольц накинул новый пиджак на узкие плечи паренька. Потом застегнул его на блестящие медные пуговицы и вспушил золотую тесьму эполет: «Ну вот, Лерой».

— Полный отпад! — воскликнул мальчик-посыльный. — Нет, ей-богу, полный отпад!

Лерой переводил взгляд с одного широченного плеча на другое, затем опустил глаза и стал разглядывать резко зауженные книзу брюки.

— Ну, вылитый Роки Марчиано, — заметил Хейли.

— Давай, пройдись немного по комнате и по коридорам, Лерой, — сказал Гельмгольц. — С костюмом надо освоиться, привыкнуть его носить.

Лерой неловко прошел в дверь, цепляясь эполетами за косяк.

— Да боком, боком, — крикнул вдогонку Гельмгольц. — Ты должен научиться проходить в дверь боком.

— Лишь десять процентов того, что скрыто под этим костюмом, являются Лероем, — заметил Хейли, когда Лерой отошел достаточно далеко и не мог их слышать.

— Это и есть Лерой с головы до пят, — возразил ему Гельмгольц. — Погодите, сами увидите, что начнется на площади во время фестиваля, когда

мы подойдем к трибунам и Лерой заиграет на своей флейте!

Лерой возвратился в офис. Вошел он, маршируя, высоко поднимая колени. Затем замер, вытянулся в струнку и прищелкнул каблуками. Подбородок высоко поднят, грудь гордо вздымается при каждом вдохе.

— Хорошо, теперь можешь снять, Лерой, — сказал юноше Гельмгольц. — Если тебе по-прежнему не хочется пройтись маршем на фестивале, так и скажи. И забудем обо всем этом. — И он потянулся через стол и стал расстегивать медные пуговицы.

Тут рука Лероя взметнулась вверх, защищая оставшиеся застегнутыми пуговицы.

— Пожалуйста, не надо! — взмолился он. — Думаю, что все же смогу пройти по площади маршем.

— Это можно устроить, — сказал Гемгольц. — Я пользуюсь определенным влиянием в том, что касается оркестровых дел.

Лерой застегнул одну пуговицу.

— Класс! — прошептал он. — Я прошел мимо спортивного зала. И, завидев меня, тренер Йоргенсон вылетел оттуда пулей.

— И что же сказал этот молчаливый швед?

— спросил Гельмгольц.

— Сказал, что только в колледже с отличным духовым оркестром флейтист может быть сложен, как локомотив, — ответил Лерой. — И его секретарша тоже вышла. И тоже смотрела на меня.

— Ну и как понравился мисс Бирден твой костюмчик? — спросил Гельмгольц.

— Не знаю, — ответил Лерой, — она ничего не сказала. Просто все смотрела и смотрела.

Позже тем же днем Джордж М. Гельмгольц появился в кабинете у Гарольда Крейна, главы английского отделения колледжа. В руках у Гельмгольца была тяжелая позолоченная рама для картины, и выглядел он смущенным.

— Не знаю, как и начать, — сказал Гельмгольц. — Просто подумал… подумал, может, вы купите у меня эту раму для картины?.. — И он завертел рамой, показывая ее то с одной, то с другой стороны. — Неплохая вещица, верно?

— Да, пожалуй, — согласился Крейн. — Часто любовался ей в вашем кабинете. А в раму, если не ошибаюсь, был заключен портрет Джона Филипа Сузы, я прав?

Гемгольц кивнул.

— Просто подумал, может, вы захотите вста-

вить в раму того, кем был для меня Джон Филип Суза. Ну, скажем там, Шекспира или Эдгара Райса Берроуза[60]...

— Что ж, было бы неплохо, — заметил Крейн. — Но, честно говоря, не испытываю в этом такой уж острой необходимости.

— Она стоит тридцать девять долларов. Вам отдаю за двадцать, — сказал Гельмгольц.

— Послушайте, — начал Крейн, — если вы попали в затруднительное материальное положение, могу ссудить вам...

— О нет, нет! — воскликнул Гельмгольц и вскинул руку. Лицо его исказил страх. — Стоит мне начать жить взаймы, и одному богу известно, чем все это может закончиться!

Крейн покачал головой.

— Рама хорошая, даже, можно сказать, отличная рама. И цена приемлемая. Но сколь это ни прискорбно, я в данный момент приобрести ее просто не в состоянии. Сегодня днем мне предстоит купить новую покрышку за двадцать три доллара и...

— Размер? — осведомился Гельмгольц.

— Размер? — переспросил Крейн. — Ну, шесть

---

[60] Примечания: 60

Берроуз, Эдгар Райс (1875–1950) — американский писатель. Автор многочисленных приключенческих и фантастических романов.

на семьдесят, и пятнадцать. А что?

— Продам вам одну за двадцать долларов, — сказал Гельмгольц. — Новехонькая.

— Но где вы достанете эту покрышку? — спросил Крейн.

— Просто рука судьбы, — ответил Гельмгольц. — У меня как раз имеется лишняя, нужного вам размера.

— Надеюсь, вы не запаску имеете в виду? — осторожно спросил Крейн.

— Ее, — ответил Гельмгольц. — Но не волнуйтесь, она мне не понадобится. Я очень осторожно вожу машину, а буду еще осторожнее. Пожалуйста, прошу вас, купите у меня! Деньги нужны не мне. Это все для оркестра.

— Это ясно, для чего ж еще… — беспомощно произнес Крейн.

И извлек из кармана бумажник.

Гельмгольц вернулся к себе в кабинет и как раз занимался тем, что вставлял портрет Джона Филипа Сузы обратно в раму, как вдруг дверь отворилась и, насвистывая какую-то мелодию, вошел Лерой. На нем по-прежнему красовался пиджак с широченными плечами и золотыми эполетами.

— Ты все еще здесь, Лерой? — рассеянно спро-

сил Гельмгольц. — Я уж думал, ты давно ушел домой.

— Просто никак не мог заставить себя снять эту вещицу, — сказал Лерой. — Придумал с ней нечто вроде эксперимента.

— Вот как?

— Несколько раз прошагал в этом наряде по коридору, мимо целой толпы девочек, — сказал Лерой. — И насвистывал при этом партию флейты из марша «Звездно-полосатый навсегда».

— Ну и?.. — спросил Гельмгольц.

— И знаете, ни разу не споткнулся и даже не сфальшивил, — радостно заявил Лерой.

* * *

На главной улице города движение было перекрыто на целых восемь кварталов, тротуары и мостовые, огражденные флажками, чисто подметены — все для того, чтоб по ним могли пройти сливки молодежи, гордость штата, оркестры всех его колледжей. В конце этого пути марширующие должны были попасть на огромную площадь с трибунами для зрителей. А пока что оркестры расположились в узких улочках и переулках и ждали сигнала к выступлению.

Оркестр, который, по мнению судей, смотрится

и играет лучше всех, должен был получить главный приз, пожертвованный ради такого дела торговой палатой. Призу было два года, и на нем было выгравировано название школы Линкольна — как победившей дважды.

Затаившиеся в боковых улочках и проходах двадцать пять руководителей других оркестров готовили свое тайное оружие в надежде, что оно помешает «линкольнцам» выиграть в третий раз — разные там спецэффекты с использованием сверкающей пудры, светящихся жезлов и дирижерских палочек, хорошеньких девушек в ковбойских костюмах и минимум одной трехдюймовой пушки. Но над всеми ними темным облаком нависло предвкушение поражения — достаточно было одного взгляда на яркие плюмажи и стройные ряды оркестрантов.

Неподалеку от этих благодушных и самодовольных рядов прохаживался Стюарт Хейли, помощник директора. Здесь же находился и Джордж М. Гельмгольц, дирижер и руководитель оркестра, одетый, по определению Хейли, в нечто напоминающее униформу адмирала тыловой службы болгарской армии.

«Линкольнцы» делили узкий проход между глухими фасадами зданий с тремя другими ор-

кестрами, и взвизги и рявканье настраиваемых инструментов гулким эхом отражались от каменных стен.

Одолжив у Хейли зажигалку, Гельмгольц поджигал ей куски трута и раздавал каждому четвертому оркестранту, у которого торчала из-за пояса прямая и короткая цилиндрическая трубка хлопушки.

— Сначала поступит команда «Готовьсь!», — объяснял своим подопечным Гельмгольц. — И ровно через десять секунд — «Поджигай!». И как только левая ваша нога ступит на землю, поднесете трут к фитилю, что торчит из конца хлопушки. А вы, все остальные, слушайте внимательно! Как только подойдете к трибунам, вы должны перестать играть, точно в сердце вам ударила пуля. И тут Лерой…

Гельмгольц чуть шею не вывихнул, пытаясь увидеть, где же Лерой. И тут взгляд его упал на тамбурмажора из оркестра соперников, просто жалкого оборванца по сравнению с разодетыми, как павлины, оркестрантами из линкольнской школы. Тот ловил каждое его слово.

— Чем могу помочь? — холодно осведомился Гельмгольц.

— У вас тут что, съезд гостиничных швейцаров?

— насмешливо спросил тамбурмажор.

Гельмгольц даже не улыбнулся.

— Ступайте к своим, окажете мне тем самым большую любезность, — сурово заметил он. — Вам явно недостает репетиций и элегантности, а времени до выступления осталось всего ничего.

Тамбурмажор отошел к своим, насмешливо улыбаясь и дерзко вертя в пальцах барабанную палочку.

— Кто скажет мне, куда подевался Лерой? — громко спросил Гельмгольц. — Как только надел новую форму, так начались проблемы с дисциплиной. Стал просто неузнаваем.

— Вы имеете в виду Болтуна Даггана? — спросил Хейли. И указал на широкую спину Лероя, мелькнувшую в толпе музыкантов-соперников. Лерой оживленно беседовал о чем-то с коллегой-флейтистом, оказавшимся при более пристальном рассмотрении прехорошенькой девушкой с выбивающимися из-под шапочки золотистыми кудряшками. — Вы хотите сказать, где наш Казанова Дагган? — добавил Хейли.

— Все завязано исключительно на нем, — сказал Гельмгольц. — Если с Лероем что-то, не дай бог, случится, мы можем рассчитывать лишь на второе место, да и то если очень повезет… Лерой!

Лерой не обратил на этот призыв ни малейшего внимания.

Лерой был слишком поглощен беседой, чтоб слышать Гельмгольца. Он был слишком занят, чтоб видеть, что наглый тамбурмажор, только что обозвавший оркестр Гельмгольца «съездом швейцаров», теперь с нескрываемым любопытством рассматривает его широкую спину.

Затем тамбурмажор слегка подцепил золотую эполету на плече Лероя резиновым кончиком своей барабанной палочки. Лерой не заметил или сделал вид, что не замечает этого. Тогда тамбурмажор опустил руку на плечо Лерою, и на добрые несколько дюймов вонзил пальцы в пышную золотую эполету. Лерой, как ни в чем не бывало, продолжал разговаривать с девушкой.

Вокруг них уже начали скапливаться любопытные, и тамбурмажор несколько раз потыкал Лероя палочкой в плечо, словно обводя эполету, затем перевел ее чуть ниже, к середине, стараясь отыскать точку, где кончается накладное плечо и начинается собственно Лерой.

И вот наконечник отыскал, наконец, плоть, и Лерой удивленно обернулся.

— В чем дело? — спросил он.

— Просто пытаюсь убедиться, что с набивкой у

вас все в порядке, генерал, — насмешливо ответил тамбурмажор. — Нащупал дырочку, и скоро все мы по колено утонем в опилках, которые оттуда посыпятся.

Лерой покраснел.

— Не понимаю, о чем это вы, — сказал он.

— Попроси-ка своего нового дружка снять жакетик, чтоб все мы узрели его мощную мускулатуру, — сказал тамбурмажор девушке-флейтистке. И начал напирать на Лероя. — А ну, давай снимай!

— А ты попробуй, заставь! — огрызнулся Лерой.

— Перестаньте, ребята, все нормально, все в порядке, — сказал Гельмгольц и встал между ними.

— Думаешь, не смогу? — огрызнулся тамбурмажор.

Лерой судорожно сглотнул слюну и после долгой паузы ответил:

— Знаю, что не сможешь.

Тамбурмажор оттолкнул Гельмгольца и схватил Лероя за плечи. Одна эполета оторвалась тут же, затем в сторону отлетел витой золоченый шнур, затем — пояс. Дождем посыпались медные пуговицы, из прорехи показалась нижняя рубашка.

— А теперь, — сказал тамбурмажор, — мы про-

сто отстегиваем вот это и…

Лерой взорвался. Ударил тамбурмажора прямо в нос, одним рывком сорвал с него пуговицы, медали и золотое шитье, потом резко пнул под дых и выхватил из его рук барабанную палочку — с явным намерением отлупить своего обидчика чуть ли не до смерти.

— Лерой! Прекрати! — отчаянно завопил Гельмгольц. И отнял у Лероя палочку. — Ты только посмотри на себя! Посмотри, во что превратился твой костюм! Боже, все погибло, все безнадежно испорчено!.. — Дрожа с головы до пят, он ощупывал дырки, торчащие в разные стороны нитки от пуговиц, съехавшие набок накладные плечи. Потом с безнадежным видом вскинул руки вверх. — Все кончено. Мы сдаемся. Колледж Линкольна признает свое поражение.

Лерой смотрел на него бешено расширенными глазами.

— А мне плевать! — крикнул он. — Я даже рад, да!

Гельмгольц подозвал одного из оркестрантов и протянул ему ключи от машины.

— Там, на заднем сиденье, запасной костюм, — пробормотал он. — Тащи его сюда, живо! Для Лероя.

Оркестр линкольнской школы под названием «Десять рядов» красивым строем промаршировал по улице, направляясь к площади, где возле трибун развевались яркие знамена. Джордж М. Гельмгольц бодро улыбался, маршируя с края, рядом с обочиной, не отставая от подопечных. Но при этом чувствовал себя вконец опустошенным, отчаяние и страх переполняли, казалось, все его существо. Одним ударом жестокая Судьба лишила его всякой надежды на выигрыш приза, ничего подобного по нелепости в истории оркестра еще не случалось.

Он был просто не в силах взглянуть на молодого человека, на которого поставил все. Он и без того с удивительной ясностью представлял, как выглядит сейчас Лерой — тащится, ссутулясь, неряшливый и ободранный, утонув в бесформенном костюме, нелепый комок нервов и дорогостоящей ткани. Во время прохождения оркестра мимо трибун Лерой должен был играть один. Однако, по мнению Гельмгольца, сейчас Лерой был не только не способен играть, но и вспомнить свое имя не смог бы.

Впереди показалась цепочка меловых отметин, которые Гельмгольц сделал у обочины с раннего утра, они показывали оставшееся до трибун

расстояние.

Проходя мимо первой отметины, Гемгольц свистнул в свисток, и оркестр грянул «Звездно-полосатый навсегда» — громко, гордо. Казалось, от этих звуков замирает сердце, а кровь быстрее бежит по жилам. Эти звуки заставили толпу привстать на цыпочки, а щеки — зацвести румянцем, точно розы. Судьи так и подались вперед, даже перегнулись через барьер, в предвкушении невиданного и неслыханного великолепия.

Гельмгольц достиг второй отметки.

— Готовьсь! — крикнул он. И через секунду выдал вторую команду: — Поджигай!

И улыбнулся стеклянной улыбкой. Еще через пять секунд оркестр поравняется с трибунами, музыка смолкнет, из хлопушек устремятся в небо маленькие звездно-полосатые американские флажки. И тут настанет черед Лероя, и он исполнит свою патетичную партию на флейте, если, конечно, вообще сможет поднести эту самую флейту к губам.

Музыка смолкла. Хлопушки грохнули, вверх взмыли разноцветные парашютики. Оркестр линкольнской школы под названием «Десять рядов» проходил мимо трибун стройными рядами, сверкая медью, с высоко поднятыми головами,

на которых колыхались плюмажи.

Гельмгольц едва не заплакал, когда американские флажки, прикрепленные к парашютикам, повисли в небе. И среди этого взрыва, среди всего этого торжества, алмазными трелями рассыпалась флейта, исполняющая шедевр Сузы. Лерой! Лерой!..

* * *

Оркестры выстроились против трибун. Джордж М. Гельмгольц занял место перед своими воспитанниками, рядом со знаменем колледжа Линкольна, где на алом фоне красовалась огромная черная пантера. О, славный, незабываемый момент!..

Когда его вызвали получать приз, он бодро пересек широкую площадь под звуки мелкой барабанной дроби и призывного пения флейты. А когда шел назад, стараясь не сгибаться под тридцатифунтовой тяжестью бронзы и орехового дерева, из которых был сделан приз, его оркестр заиграл «Сегодня зарыдают все Линкольна враги», слова и музыка Джорджа М. Гельмгольца.

Когда наконец парад закончился, помощник директора Хейли вылетел из толпы — пожать руку Гельмгольцу.

— Лучше пожмите руку Лерою, — сказал ему Гельмгольц. — Это он настоящий герой. — И, сияя улыбкой, начал высматривать Лероя в толпе, и снова увидел его рядом с хорошенькой блондинкой, девушкой-флейтисткой, причем беседа между этими двумя молодыми людьми приобрела еще более оживленный характер.

— А ей, похоже, ничуть не мешает отсутствие широких плеч, верно? — заметил Гельмгольц.

— Это потому, что они *ему* больше не нужны, — сказал Хейли. — Теперь он настоящий мужчина, и совершенно не важно, какая у него фигура, колокольчиком или нет.

— Да он определенно отдал все ради победы школы, — сказал Гельмгольц. — Мне импонирует дух коллективизма в этом мальчике.

Хейли расхохотался.

— Да никакой это не дух коллективизма! А самая настоящая любовная песнь половозрелого американского самца. Вам вообще хоть что-нибудь известно о любви, а, Гельмгольц?

Гельмгольц думал о любви, когда в одиночестве брел к своей машине. Руки ныли от тяжести большого приза. Если любовь способна ослепить, одурманить, загнать человека в ловушку, словом, как утверждают многие, проделать с человеком

тысячи разных самых ужасных и диких вещей, то тогда нет, такой любви он никогда не знал. Гельмгольц вздохнул. Наверное, он все же что-то упустил в этой жизни, так и не смог испытать истинно романтического и глубокого чувства.

Подойдя в машине, он заметил, что левое переднее колесо спустило. И вспомнил, что запаски-то теперь у него нет. Но он не испытывал по этому поводу ни малейшего сожаления или раздражения. Поймал такси, уселся на заднее сиденье, поудобнее пристроил приз на коленях и улыбнулся. В ушах снова звучала музыка.

Юный женоненавистник

© Перевод. Н. Эристави, 2020

Джордж М. Гельмгольц, учитель музыки и дирижер оркестра линкольнской школы, умел изобразить, почитай, любой музыкальный инструмент. Захочет — завопит, точь-в-точь кларнет, а захочет — забормочет на манер тромбона либо заорет, как труба. Надует свой внушительный живот — и заревет фанфарами, вытянет нежно губы, прикроет глаза и засвищет флейтой-пикколо.

Вот, значит, как-то раз в среду, часиков так в восемь вечера, он этим и занимался — маршевым шагом нарезал круги по репетиционному залу школьного оркестра, усиленно выстанывая, выборматывая, вывизгивая, выревывая и высвистывая мелодию «Semper Fidelis».

Труда особого для Гельмгольца в этом не состояло. Сорок лет ему — и едва не двадцать из них он только тем и занимался, что создавал оркестры из полноводного потока мальчишек, струившегося через школьные коридоры — от первого звонка к последнему. Уж в такт им попадать он научил-

ся. Так хорошо научился попадать в такт, так навострился жить радостями и печалями своих оркестров, — всю свою жизнь в музыкальных терминах только и воспринимал.

А рядом с раскрасневшимся с натуги, возбужденным руководителем оркестра вышагивал неуклюжий парнишка лет шестнадцати, бледный от напряжения и серьезности происходящего. Берт Хиггинс его звали — длинноносый, под глазами синяки, и ходил он как-то валко, ни дать ни взять — самка фламинго, представляющаяся раненой, чтоб крокодила от гнезда своего подальше отвести.

— Трам-пам, тарарам, тратам, тарам-пам-пам! — выпевал Гельмгольц. — Левой, правой! Левой, Берт! Локти к корпусу прижми, Берт! Под ноги смотри, Берт! В ногу, Берт, в ногу! Головой не верти, Берт! Левой, правой, Берт, — левой! Стой — раз, два!

С улыбкой Гельмгольц сообщил:

— Можно считать, кое-какого прогресса мы добились. Пожалуй.

— Практиковаться с вами, мистер Гельмгольц, и впрямь очень помогает, — закивал Берт.

— Пока ты готов не жалеть усилий, буду только рад поспособствовать, — сказал Гемгольц.

Перемены, которые произошли с Бертом за последнюю неделю, поражали его невыразимо. Казалось, мальчишка разом помолодел на два года и снова стал таким, каким был в средних классах — неловким, трусоватым, одиноким, унылым…

— Берт, — заговорил Гельмгольц, — ты совершенно уверен, что недавно не падал, не ушибался, не болел? — Уж кого-кого, а Берта он знал хорошо. Два года на трубе играть мальчишку учил! На глазах его рос — и вырос в стройного парня с отличной осанкой. И вдруг — такое падение духа, такая утрата уверенности в себе и координации движений, поверить невозможно!

Всерьез призадумавшийся над вопросом Берт по-детски надул щеки. От этой скверной привычки Гельмгольц, кстати сказать, его тоже давным-давно уже отучил, а теперь — извольте, все по новой.

С шумом выдув воздух, паренек отвечал:

— Да вроде как нет.

— Я научил маршировать тысячи мальчиков, — покачал головой Гельмгольц, — и никто, кроме тебя, еще никогда не забывал, как это делается.

На краткий миг вся эта тысяча чередой прошла перед мысленным взором Гельмгольца: маль-

чишки маршировали стройными, прямыми, словно солнечные лучи, рядами, тянувшимися в светлую даль.

— Может, нам будет лучше обсудить твою проблему со школьной медсестрой? — предположил Гельмгольц, и вдруг его ровно молнией поразило. — Или, может, у тебя неприятности с девочками?

Берт поковырял пол одной ногой, потом — другой.

— Да вроде как нет, — сказал он. — Нет у меня никаких таких неприятностей.

— А ведь она хорошенькая, — похвалил Гельмгольц.

— Кто она-то? — удивился Берт.

— А та куколка со щечками, как розы, которую ты домой провожаешь, — уточнил Гельмгольц.

Берт поморщился.

— А-а, вот вы про кого. Да это ж Шарлотта.

— Что — не по душе тебе Шарлотта? — полюбопытствовал Гельмгольц.

— Сам не пойму. Не-е, она вроде ничего так. Точно, — нормальная девчонка. Не сказать, чтоб она мне чем не нравилась. А вообще… нет, не знаю.

Гельмгольц ласково потряс Берта за плечо — словно надеялся, что выскочившие из пазов

шарики встанут на место.

— Ты вообще помнишь хоть что-нибудь? Помнишь, что чувствовал раньше, когда так замечательно умел маршировать? Ну, до того, как… заболел?

— Сейчас, кажется, кое-что возвращается, — выговорил Берт.

— Ты участвовал в третьем составе оркестра, потом — во втором. Ты научился маршировать преотлично, — настаивал Гельмгольц.

Речь шла об учебных составах — тренировочной стадии, которую обязан был пройти каждый из сотни парней — участников оркестра «Десять рядов».

— Да я сам не врубаюсь, в чем проблема, — признался Берт. — По всему сказать — так это оттого, что нервничаю я, что наконец в «Десять рядов» попал. — Он снова надул щеки. — А может, потому, что вы со мной заниматься перестали.

Три месяца назад, как только игра Берта достигла уровня, подходящего для оркестра «Десять рядов», Гельмгольц передал его лучшему учителю игры на трубе в городке — Лари Финку, на предмет наведения окончательного глянца и изящества.

— Скажи-ка, тебе что — тяжко приходится с

Финком? В этом дело? — спросил Гельмгольц.

— Да нет. Он классный мужик. — Берт вздохнул. Возвел глаза к небу. — Мистер Гемгольц, честно, нам бы с вами еще пару раз помаршировать вместе, потренироваться — и со мной все будет в порядке, точно.

— Господи, Берт, — застонал Гельмгольц, — я ведь даже не представляю себе, куда тебя втиснуть! Как только тобой занялся Финк, я взял на твое время другого мальчика. Просто так вышло — сегодня он плохо себя чувствует. Но на будущей неделе!..

— Что за мальчик? — полюбопытствовал Берт.

— Нортон Шейкли, — сообщил Гемгольц. — Знаешь, маленький такой, губы зеленью обметаны. Точь-в-точь — ты, когда только-только начинал. Никакой уверенности в себе. Сам не верит, что рано или поздно войдет в основной состав оркестра «Десять рядов». А он войдет. Войдет!

— Точно войдет, — согласился Берт. — Тут и сомнений никаких нет.

Гельмгольц потрепал Берта по руке — надо ж хоть как-то приободрить парня.

— Уши торчком! — протрубил он. — Хвост пистолетом! Иди забирай куртку, я тебя домой подброшу.

Пока Берт застегивал куртку, Гельмгольц размышлял: какие неприятные окна у мальчика дома, пустые, словно глаза мертвеца. Отец Берта ушел, бросил семью много лет назад, а мамаша вечно шляется незнамо где. А не в этом ли и следует искать причину случившегося? — осенило его вдруг.

Гельмгольцу стало грустно.

— Хочешь, можем заехать куда-нибудь, попить лимонаду? А потом поедем ко мне, поиграем у меня в подвале в настольный теннис? — предложил он.

Раньше, когда он еще давал Берту уроки игры на трубе, они частенько так и поступали — останавливались в какой-нибудь забегаловке, пили лимонад, а после — резались в настольный теннис.

— Хотя, — поддразнил Гельмгольц, — с Шарлоттой, наверное, интереснее повидаться?

— Вы смеетесь?! — воззвал Берт. — Да она иногда слово скажет — и у меня уши вянут!

Следующим утром Гельмгольц таки переговорил со школьной медсестрой мисс Пич. Вышел этакий военный совет двух полнеющих добродушных полководцев, каждый из которых прямо-таки лучился чистоплотностью и здраво-

мыслием. В дальнем углу, обнаженный по пояс, смущенный и угловатый, маячил Берт.

— Под «отключился» вы подразумеваете, что Берт потерял сознание? — вопросила мисс Пич.

— Вы что же — не видели, как он упал в обморок в прошлую пятницу во время игры в Уайтстоуне? — подивился Гельмгольц.

— Нет, на той игре меня не было, — призналась мисс Пич.

— Это было как раз после того, как мы выстроились буквой «Л» и маршировали по футбольному полю, чтобы перестроиться в фигуру, которая потом разбилась бы на пантеру — герб линкольнской школы — и орла с герба Уайтстоуна, — разъяснил Гельмгольц.

Орлу надлежало закричать, а пантере — его сожрать.

— Так и что же натворил Берт? — напомнила мисс Пич.

— Сначала он маршировал вместе со всеми, так, что любо-дорого было смотреть, — объяснил Гельмгольц. — А потом на него словно затмение какое-то нашло. Оторвался от оркестра и принялся маршировать сам по себе.

— И что ты при этом чувствовал, Берт? — спросила мисс Пич.

— Сначала, — отвечал Берт, — совсем как во сне. Так здорово мне было, понимаете? А потом я вроде как проснулся, смотрю — а я там совсем один. — Он мученически улыбнулся. — И все кругом надо мной смеялись.

— Так, Берт, а аппетит у тебя нормальный? — поинтересовалась мисс Пич.

— Вчера вечером гамбургер в единый миг слопал и стаканом газировки запил, — поклялся Гельмгольц.

— А во время занятий спортом, Берт, как у тебя с координацией движений? — не сдавалась мисс Пич.

— Да я спортом не увлекаюсь, — сказал Берт. — Знаете, сколько времени уроки на трубе отнимают?

— А вместе с отцом вы во дворе никогда мяч не гоняете? — настаивала мисс Пич.

— У меня и отца-то нет, — сообщил Берт.

— Вчера в настольный теннис он меня обставил играючи, — вставил Гельмгольц.

— Ну, не важно. Значит, вчера вы как следует гульнули? — улыбнулась мисс Пич.

— В свое время мы каждую среду так развлекались, — сообщил Берт.

— Мы проводим время подобным образом со

всеми мальчиками, которым я даю уроки, — сказал Гельмгольц.

— И с Бертом, значит, тоже? — мисс Пич заинтересованно вскинула голову.

— А теперь я занимаюсь с мистером Финком, — вздохнул Берт.

— Как только юноша достигает уровня оркестра «Десять рядов», — воскликнул Гельмгольц вдохновенно, — степень его подготовки превосходит ту, которую могут обеспечить индивидуальные занятия со мной. В этот момент он перестает быть ребенком в моих глазах. Я считаю его взрослым человеком. И не просто человеком, а человеком искусства. Отныне право учить его чему-то принадлежит лишь подлинным артистам — таким, как Финк.

— Оркестр «Десять рядов», — задумчиво протянула мисс Пич. — Это из-за того, что в каждом ряду — по десять человек, а всего музыкантов — сто? И все в одинаковых костюмах, и маршируют слаженно, как винтики в отлично отработанном механизме?

— Одинаковые, как почтовые марки! — кивнул Гельмгольц с удовлетворением.

— Ага, понятно, — мисс Пич что-то обдумывала. — И что же, все они занимаются с вами лично?

— Бог ты мой! Нет, конечно! — ужаснулся Гельмгольц. — Откуда у меня столько времени? Я только и могу, что давать индивидуальные уроки пяти мальчикам зараз.

— Повезло же, однако, этой вашей пятерке, — усмехнулась мисс Пич. — Но ненадолго, верно?

Тут, впрочем, дверь распахнулась и в медицинский кабинет пожаловал сам завуч Стюарт Хейли. Когда-то его почитали юношей, подававшим надежды на самую блистательную карьеру. Но… пронеслось десять лет. Десять лет чрезмерных требований и слишком маленьких зарплат. И блеск юности постепенно поблек, словно сияние новой пивной кружки в баре. Немалая же, кстати, часть этой энергии была растрачена как раз в нескончаемых словесных баталиях с Гельмгольцем — по поводу того, во сколько обходится школе его оркестр.

Хейли потрясал зажатым в руке счетом.

— Итак, Гельмгольц, — загремел он, — знай я заранее, что найду вас здесь, не поленился бы прихватить с собой еще одну квитанцию, более любопытную. Пять катушек армейских проводов для полевой связи. Пригодных для действия в боевых условиях. В комплекте с каркасами. Вам это ничего не напоминает?

— Напоминает. — Мистер Гельмгольц был невозмутим. — Однако позвольте вам заметить…

— Чуть позже, — усмехнулся Хейли. — Сейчас предмет моего обсуждения связан не с вами, а с мисс Пич, и ситуация такова, что ваши неправомочные затраты в сравнении с ней — детский лепет.

Грозная длань, сжимающая счет, устремилась к мисс Пич.

— Мисс Пич, это вы на днях заказали ни с чем не сообразное количество бинтов?!

Медсестра побледнела, но устояла.

— Да, я и вправду заказала тридцать ярдов стерильной марли, — ответствовала она холодно. — Заказ прибыл сегодня утром. Все тридцать ярдов. И марля — самая что ни на есть стерильная.

Хейли опустился на белый табурет.

— Странно, — заявил он. — А вот сообразно этой квитанции, кто-то в нашем достопочтенном учебном заведении отправил и получил заказ на двести ярдов серебристой нейлоновой ленты. В три дюйма шириной. Со свойством фосфоресцирования в темноте.

С каждым словом этой речи он взирал на Гельмгольца все невиннее. Однако к финалу взор его сделался острее, а щеки покрылись румянцем.

— Ах, вот оно что, Гельмгольц!

— Что же? — спросил Гельмгольц.

— Кокаинчику вам, стало быть, тогда не хватило? — предположил Хейли.

— Кокаина?! — подивился Гельмгольц.

— Разумеется, кокаина! — взвыл Хейли. — А то где же еще нормальный человек может заработать глюки о том, чтоб обвить все живое нейлоновой лентой? С фосфоресцирующим эффектом?!

— Между прочим, — сообщил Гельмгольц с достоинством, — сияние во тьме стоит совсем не так уж дорого, как представляется большинству из нас.

Хейли вскочил с табурета.

— Так все-таки это были вы!!! — заорал он.

Гельмгольц погладил взбешенного завуча по плечу. Заглянул ему в глаза.

— Стюарт, — сказал он доверительно, — у всех на устах ныне один вопрос: сможет ли оркестр «Десять рядов» превзойти свой прошлогодний триумф на той знаменитой игре в Уэстфилде?

— Э, нет, — фыркнул Хейли. — Вопрос в другом — как может обычная средняя школа со скромным бюджетом позволить себе содержать помпезную музыкальную машину с размахом,

достойным Сесила Демилла[61]? И ответ на сей вопрос, — тут завуч приосанился, — никак не может!

Он яростно замотал головой.

— Форма оркестрантов — по девяносто пять долларов комплект! Огромнейший барабан на весь штат! Светящиеся жезлы, светящиеся шляпы! Черт возьми, еще и что-то с фосфоресцирующим эффектом! Господи милостивый!

Завуч сделал широкий жест.

— Мы что — самый большой на свете музыкальный автомат?!

Сей суровый перечень Гельмгольца, впрочем, лишь обрадовал.

— Да ведь вам это нравится, — улыбнулся он. — И всем нравится. Погодите, вы еще не знаете, что мы собираемся сделать с этими проводами и лентами!

— Ждать, — простонал Хейли, — снова ждать…

— Положим, — сиял Гельмгольц, — составлять живые буквы может сейчас любой оркестр. Это, должно быть, самый древний трюк в нашем деле.

---

[61] Примечания: 61

Демилл, Сесил — величайший режиссер американского немого кино, снимавший на библейские и мифологические темы. Прославился, среди прочего, фантастической дороговизной и масштабностью постановок.

Но — насколько я понимаю — наш оркестр сейчас — единственный, обладающий необходимой экипировкой, позволяющей выписать в воздухе рукописный текст!

Зависло мрачное молчание. Всеми позабытый Берт внезапно встал. Надел рубашку. И спросил:

— А со мной вы как? Закончили?

— Можешь идти, Берт, — заторопилась мисс Пич. — Никаких проблем со здоровьем я у тебя не обнаружила.

— Тогда пока. — Берт взялся за дверную ручку. — Пока, мистер Гельмгольц.

— Увидимся, — отвечал Гельмгольц. — Так, — он обернулся к Хейли, — и что же вы думаете об услышанном? Рукописный текст, а?

За дверью, тем временем, с Бертом, словно случайно, столкнулась Шарлотта — розовощекая красотка, которую он частенько провожал до дома.

— А, Берт, — сказала Шарлотта, — а мне так и сказали, что ты тут, внизу. Я подумала — может, ты упал, ушибся? Ты вообще как?

Берт оттолкнул ее плечом и молча промчался мимо, ссутулившись, словно за дверью его ожидали ледяной ветер и ливень.

— Что я думаю о вашей ленте? — Хейли гля-

дел на Гельмгольца. — Думаю, что с этого места безбожные траты на оркестр «Десять рядов» прекратятся!

— Причем это — не единственное, что расходуется впустую и что необходимо прекратить, — вдруг вставила мрачно мисс Пич.

— Что вы имеете в виду? — удивился Гельмгольц.

— В виду, — заявила мисс Пич, — я имею то, как вы беспощадно играете чувствами этих пареньков. — Она насупилась. — Джордж, я наблюдаю за вами много лет. Я вижу: нет на свете такого способа управлять чужими эмоциями, какого вы не пустили бы в ход, чтоб только заставить своих мальчиков играть и маршировать!

— Я просто стараюсь общаться с ними по-дружески, — сообщил Гельмгольц безмятежно.

— Нет уж. Вы стараетесь добиться много, много большего, — не уступала мисс Пич. — Вы даете ребенку именно то, в чем он больше всего нуждается. Кто бы ни был ему нужен — отец или мать, сестра или брат, собака, раб или Бог — вы готовы сыграть эту роль. Не удивительно, что оркестр наш — лучший на свете. Меня другое удивляет — как это беда, случившаяся с Бертом, стряслась в первый, а не в тысячный раз!

— Так все же — что гнетет Берта? — вскинулся Гельмгольц.

— Вы, — сказала мисс Пич горько, — его заполучили. Вот что случилось. Ставки сделаны, карты на стол — и он ваш, душой и телом.

— Ну, он, конечно, мне симпатизирует, — кивнул Гельмгольц. — По крайней мере смею надеяться, что симпатизирует…

— Да любит он вас, — фыркнула мисс Пич. — Как отца родного любит, честной сыновней любовью. А для вас ведь это — так, обычное дело.

Гельмгольц попросту никак не мог уразуметь, в чем суть спора. Все, о чем толковала мисс Пич, ему представлялось самоочевидным.

— Да ведь это же попросту естественно, разве не так? — удивился он. — У Берта нет отца, вот он и ищет для себя отцовскую фигуру. Конечно же, очень скоро он встретит какую-нибудь девушку, попадет к ней под каблучок, и…

— Не соблаговолите ли вы наконец-то прозреть и осознать, до какой степени искалечили жизнь Берта?! — вскричала мисс Пич. — Вы только взгляните, на что он пошел, чтобы привлечь ваш интерес — после того, как вы ввели его в основной состав оркестра «Десять рядов», а потом бросили на руки мистеру Финку и позабыли о его

существовании! Ему же все равно было — пусть все вокруг его на смех поднимают, лишь бы только вы снова внимание на него обратили!

— Процесс взросления — вообще штука болезненная, это общеизвестно, — заметил Гельмгольц. — Быть малышом — одно, стать мальчишкой — другое, а уж сделаться мужчиной… Переход из каждой предыдущей стадии в последующую — кошмар, кто об этом не знает? — Он изумленно распахнул глаза. — Да если не нам в этом разбираться, — кому тогда?

— Взросление не должно превращаться в кромешный ад, — возразила мисс Пич.

Гельмгольца подобная постановка вопроса ошеломила.

— Так и что же вы мне предлагаете?

— Не мое дело давать вам советы, — огрызнулась мисс Пич. — Это решать вам — и только вам. Причем вы сами позаботились о том, чтоб дела обстояли именно так. Вы же так работаете! Но, полагаю, минимум того, что вы все же способны сделать, — это внушить себе, что привязывать к себе мальчика — это вам не руку лентой обвязать. Ленту вы всегда можете разорвать. Разорвать узы, связавшие вас с мальчишкой, — нет.

— Кстати, к вопросу о ленте, — вступил Хейли.

— Запакуем в коробки и отошлем обратно, — рассеянно ответил Гельмгольц. Лента на данный момент перестала волновать его совершенно. Когда он выходил из медицинского кабинета, уши его горели огнем.

Походка, осанка Гельмгольца — ничто не выдавало того, что он чувствует себя виноватым. Но в действительности чувство вины тяжким грузом легло ему на плечи. В своем крошечном кабинете за дверью репетиционного зала он первым делом отодвинул пюпитры с нотами, загораживавшие дорогу к раковине в углу, и долго плескался под струей ледяной воды, — в тщетной надежде сбросить этот камень с плеч хоть на ближайший час. Ведь на этот самый час было назначено не что-нибудь, а очередная репетиция оркестра «Десять рядов»!

Своему лучшему другу Ларри Финку, учителю игры на трубе, Гельмгольц позвонил по телефону.

— Ну, что на сей раз приключилось, Джордж? — терпеливо спросил Финк.

— Наша школьная медсестра только что раскатала меня в тонкий блинчик — дескать, я чрезмерно добр со своими мальчишками. Она говорит — я слишком крепко привязываю их к

себе. А это очень опасно.

— Что, правда?

— Психология — прекрасная наука, — признал Гельмгольц уныло. — Не будь ее, люди только и делали бы, что совершали одни и те же чудовищные ошибки, снова и снова — то бишь, были бы чрезмерно добры друг к другу.

— И в чем суть сей драмы? — заинтересовался Финк.

— В Берте, — сказал Гельмгольц.

— А, — фыркнул Финк. — На прошлой неделе я не выдержал — отмучился с ним, наконец. Он совершенно не занимался дома, на занятия являлся, не подготовившись. Джордж, хочешь честно? Я знаю: ты ставишь этого парня очень высоко, но талант у него — ниже среднего. Да и музыку, насколько я могу судить, он не так чтоб любил больше всего на свете.

— Этот паренек начал со второго вспомогательного состава, — яростно запротестовал Гельмгольц, — и менее чем за два года поднялся до основного состава «Десяти рядов»! Да для него музыка — все равно что для рыбы — вода!

— На мой взгляд, он в музыке петрит, как свинья в апельсинах, — хмыкнул Финк. — Несчастный парень просто выворачивается наизнанку, чтоб

тебе, Джордж, угодить. А ты потом еще и сердце его вдребезги разбил — мне его отдал. Права ваша школьная медсестра: неплохо бы тебе поосторожнее выбирать, с кем стоит быть добрым, а с кем — не очень.

— Да, но он даже разучился маршировать. Сбился с шага, испортил все построение фигуры. А во время перерыва на игре с Финдлейским техническим училищем забыл, в каком направлении ему надо двигаться, застыл на полушаге.

— Он мне про это рассказывал, — припомнил Финк.

— И что, объяснял он это хоть как-то?

— Он дико удивился, как это вы с медсестрой не догадались, что произошло. Хотя… сестра-то, наверное, разобралась, что к чему, только решила никого больше не посвящать.

— О чем ты — я даже в толк не могу взять, — сказал Гельмгольц.

— Пьяный он был, Джордж. Так и сказал: впервые в жизни напился. И клялся, что этот раз — не только первый, но и последний. Только я, к несчастью, не очень-то верю, что на подобные клятвы можно полагаться.

— Но он не может маршировать и теперь! — вскричал шокированный Гельмгольц. — Даже

когда мы тренируемся только вдвоем и никто нас не видит, он совершенно не способен попасть со мной в ногу. Он что же — постоянно пьян?

— Джордж, — вздохнул Финк, — ты, в своей святой невинности, хотел сделать музыканта из человека, лишенного таланта к музыке, а вместо этого превратил его в актера.

Меж тем из репетиционного зала, неподалеку от кабинета Гельмгольца, доносился грохот и шорохи — участники «Десяти рядов» расставляли стулья для репетиции. Занимались этим, как водится, те из музыкантов, кто сумел прийти пораньше. Обычно последующий час был лучшим временем в жизни руководителя оркестра — он словно парил в невесомости, напевая партию то одного, то другого инструмента, в тон игре остальных оркестрантов. Но сегодня ему было страшно.

Предстояла новая встреча с Бертом — и это после того, как ему успели разъяснить, насколько сильно, должно быть, он обидел мальчика. Или — кто знает — не только его одного? Вот превратится, допустим, Берт в алкоголика — что ж, это — тоже его вина? Гельмгольц вспомнил о тысяче или около того парнишек, с которыми он вел себя по-отечески — без разницы, были у них настоя-

щие отцы или нет. Насколько он знал, некоторые из них, в разное время, и впрямь сделались пьяницами. Двое отбывали срок за наркотики, один — за вооруженный грабеж. А о том, как сложились судьбы почти всех остальных, он и знать не знал. После выпуска его заходили проведать очень немногие. И об этом тоже неплохо бы задуматься.

Пришли, однако, и остальные оркестранты — и Берт среди них. Гельмгольц, словно со стороны услышал, что говорит ему тишайшим шепотом: «Можешь после занятий прийти ко мне в кабинет?» О чем им там говорить — он не имел представления.

После он подошел к режиссерскому пульту в центре зала, постучал по нему палочкой. Оркестр почтительно примолк.

— Давайте-ка начнем с «Сегодня зарыдают все Линкольна враги».

Авторство слов и музыки этого произведения принадлежало самому Гельмгольцу. Создал он его, когда пребывал на посту руководителя школьного оркестра только год, — а количество музыкантов, участвовавших в парадах и спортивных мероприятиях, едва приравнивалось к пятидесяти. Форма оркестра сидела на них ни

шатко ни валко, — а посему и выглядели они, как прямо сказал тогда Гельмгольц, «точь-в-точь — уцелевшие после Вэлли-Фордж»[62]. Но с тех пор пронеслось уже двадцать лет.

— Все готовы? — спросил он. — Отлично. Фортиссимо! С чувством! На раз-два-три-четыре!

На этот раз Гельмгольц никуда не воспарял. Он весил целую тонну.

Когда Берт пришел после занятий к нему в кабинет, Гельмгольц успел уже выработать план действий. Он должен уговорить парня перестать ненавидеть бедняжку Шарлотту. Кажется, девочка она — теплая, добрая, сумеет объяснить Берту, что человеческое времяпрепровождение отнюдь не ограничивается оркестром и Гельмгольцем. А еще, — думал он, — необходимо обсудить с Бертом тему опасности общения с алкоголем.

Увы, разговор пошел вовсе не так, как планировалось, и Гемгольц осознал, что так оно и будет, стоило только Берту усесться. От парня веяло чувством собственного достоинства — да таким мощным, что Гельмгольц у него ничего подобного в жизни не наблюдал. Должно быть, подумал

---

[62] Примечания: 62

Вэлли-Фордж — место легендарной зимовки участников Войны за независимость в 1775–1776 гг., где они страдали и сотнями гибли от холода и голода.

Гельмгольц, произошло что-то важное. Берт смотрел ему прямо в глаза, дерзко и вызывающе, словно на равного, совершенно не как положено мальчишке глядеть на взрослого мужчину.

— Берт, — начал Гельмгольц, — не стану ходить вокруг да около. Мне известно: во время того футбольного матча ты был пьян.

— Это вам мистер Финк сказал?

— Да. И это меня встревожило.

— Что ж вы, когда все случилось, ничего не заметили?! — вскинулся Берт. — Все заметили. Все, кроме вас! Да над вами люди хохотали, когда вы подумали, что мне худо стало!

— Мне на тот момент было о чем подумать, — отрезал Гельмгольц.

— Да уж. О музыке. — Берт выплюнул слово «музыка», точно грязное ругательство.

— Конечно, о музыке, — согласился ошеломленный Гельмгольц. — Но, бог ты мой…

— О музыке — и *только* о ней! — глаза Берта вонзили в Гельмгольца два лазерных луча.

— Чаще всего — именно о ней, а почему бы и нет? — И снова Гельмгольц добавил растерянно: — Но, боже мой…

— Права была Шарлотта.

— Мне казалось, ты ее не выносишь?

— Она мне всегда страшно нравилась — во всем, кроме того, что про вас болтала. А теперь я понял: права она была, во всем права. Она мне не просто нравится — я ее люблю.

Внезапно Гельмгольцу сделалось страшно — совершенно непривычное для него чувство. Мерзкая выходила сцена.

— Что бы она обо мне ни говорила, не думаю, чтоб это меня заботило. Не настолько, чтобы мне захотелось это выслушивать.

— А я вам и не скажу. Все равно вы ничего, кроме музыки своей, не слышите!

Берт положил футляр с трубой на стол руководителя школьного оркестра. Труба была казенная, принадлежала школе.

— Вот. Отдайте, кому захотите. Кому-нибудь, кому она понравится больше, чем мне, — бросил он. — Мне-то она нравилась только из-за вас. Из-за того, что вы меня просили. Из-за того, как добры вы ко мне были.

Берт поднялся.

— До свидания, — сказал он.

Он уже почти подошел к двери, когда Гельмгольц окликнул его и попросил остановиться, обернуться, посмотреть ему в глаза и рассказать, что же все-таки говорила о нем Шарлотта.

Берту только того и надо было. Гнев душил его — словно Гельмгольц в чем-то жестоко его обманул.

— Она сказала — вы знать не знаете, что такое настоящая жизнь. А люди вас на самом деле не интересуют, это вы просто притворяетесь. Она сказала — да плевать вы хотели на все, кроме своей музыки. Даже если рядом с вами никто по-настоящему не играет, музыка у вас все равно в голове звучит. Псих вы — вот что она сказала.

— Псих? — переспросил недоумевающий Гельмгольц.

— Я ей сказал, чтоб не смела болтать такое, — отрезал Берт, — только вы потом сами показали — больной вы на всю голову.

— Прошу тебя — в чем же заключается мое безумие? Мне необходимо знать, — сказал Гемгольц. Но симфонический оркестр у него в мозгу тем временем исполнял увертюру к «1812 году» Чайковского, рокочущую громом пушек. Только на то его и хватило, чтоб не начать подпевать вслух.

— Когда вы маршировать меня тренировали, — горько говорил Берт, — и я пьяного из себя корчил, вы ж не заметили даже, что все это — полный бред. Да чего там, вас ведь со мной и не было!

Музыка, звучавшая в сознании руководителя

школьного оркестра, достигла крещендо — и ненадолго стихла. Гельмгольц вопросил:

— Да откуда эта девчонка вообще что-то обо мне знает?

— А она частенько с вашими оркестрантами гуляет, — ответствовал Берт. — И всегда просит парней рассказывать ей про вас все самое смешное.

В тот же день, на закате, когда настало время отправляться домой, Гельмгольц нанес визит школьной медсестре, сказал, что ему совершенно необходимо кое-что с ней обсудить.

— Что, опять этот ваш Берт Хиггинс? — усмехнулась она.

— Боюсь, на сей раз — тема еще более личная, — вздохнул Гельмгольц. — Речь пойдет обо мне. Обо мне, понимаете? Обо мне.

Песня для Сельмы

© Перевод. О. Василенко, 2020

В школе Эла Шрёдера редко называли по имени, для всех он был просто Шрёдер. То есть не совсем просто Шрёдер: его фамилию выговаривали на немецкий лад, как будто он и есть тот знаменитый немец Шрёдер, который давно умер, хотя на самом деле Эл был стопроцентный американец, вскормленный на кукурузных хлопьях, и в свои шестнадцать очень даже жив.

Хельга Гросс, преподаватель немецкого, первой стала произносить его фамилию с немецким акцентом, и остальные учителя тут же поняли, что так и должно быть: это сразу выделяло Шрёдера среди остальных и напоминало, что он требует особого отношения. Для блага Шрёдера причина такого особого отношения тщательно скрывалась от всех учеников, включая и его самого. Он был первым в истории школы настоящим гением. Невероятный IQ Шрёдера, как и IQ всех остальных учеников, хранился в строжайшей тайне: результаты тестов лежали в кабинете директора, в запертом шкафу с личными делами.

По мнению Джорджа М. Гельмгольца, дородного декана кафедры музыки и дирижера школьного оркестра, Шрёдер вполне мог стать столь же знаменитым, как Джон Филип Суза, автор национального марша «Звездно-полосатый навсегда». Всего за три месяца Шрёдер научился так играть на кларнете, что стал первым кларнетистом, а к концу года уже освоил все инструменты в оркестре. С тех пор прошло два года, за которые Шрёдер успел написать почти сотню маршей.

Сегодня оркестр начинающих практиковался в чтении нот с листа, и в качестве упражнения Гельмгольц выбрал один из ранних маршей Шрёдера под названием «Приветствие Млечному Пути» в надежде, что энергичная мелодия захватит новичков и заставит их играть с энтузиазмом. Сам Шрёдер об этом своем произведении говорил, что от Земли до самой далекой звезды в Млечном Пути почти десять тысяч световых лет, а значит, привет ей нужно посылать очень громко и изо всех сил.

Начинающие музыканты воодушевленно блеяли, вопили, завывали и квакали, посылая привет далекой звезде, но, как это обычно и бывает, один за другим инструменты умолкали и наконец остался только барабанщик.

Бум-бум-бум! — грохотал барабан под ударами Большого Флойда Хайрса — самого большого, самого милого и самого глупого парня в школе. Пожалуй, Большой Флойд был еще и самым богатым, ведь со временем ему предстояло унаследовать папочкину сеть химчисток.

Бум-бум-бум! — колотил в барабан Большой Флойд.

Гельмгольц махнул палочкой, призывая барабанщика к молчанию.

— Спасибо, Флойд, — сказал он. — Твое усердие должно стать примером для всех остальных. А теперь мы начнем сначала — и пусть каждый из вас продолжает играть до конца, несмотря ни на что.

Только Гельмгольц поднял палочку, как в класс вошел школьный гений Шрёдер. Гельмгольц приветственно кивнул.

— Так, ребята, — сказал он оркестру начинающих, — а вот и сам композитор. Постарайтесь его не огорчить.

Оркестр вновь попытался послать привет звездам и вновь потерпел неудачу.

Бум-бум-бум! — грохотал барабан Большого Флойда — сам по себе, в ужасном одиночестве.

Гельмгольц извинился перед композитором,

сидевшим в уголке на складном стуле.

— Извини, — сказал Гельмгольц. — Они всего второй раз его играют, сегодня впервые попробовали.

— Да ничего, я все понимаю, — ответил Шрёдер.

Он был неплохо сложен, но ростом не вышел, всего пять футов и три дюйма, и очень худощав. А лоб у него был выдающийся — высокий и уже изборожденный морщинами тяжелых дум. Элдред Крейн, декан кафедры английского языка, прозвал этот лоб «белыми скалами Дувра». Неизменная гениальность мысли придавала лбу Шрёдера тот самый вид, который лучше всего описал Хэл Бурбо, учитель химии. «Шрёдер, — однажды заметил Бурбо, — выглядит так, словно сосет очень кислый леденец. А когда леденец окончательно растает, Шрёдер всех прикончит». «Всех прикончит» было, конечно же, поэтическим преувеличением. Шрёдер никогда ни на кого и голос не повысил.

— Может, ты расскажешь ребятам, для чего ты написал этот марш, — предложил Гельмгольц.

— Не стану я ничего рассказывать, — ответил Шрёдер.

— Не станешь? — изумился Гельмгольц.

Обычно Шрёдера не приходилось упрашивать, наоборот, он всегда с удовольствием говорил с музыкантами, веселил их и ободрял. — Не станешь рассказывать? — повторил Гельмгольц.

— Лучше им вообще этого не играть, — ответил Шрёдер.

— Ничего не понимаю, — растерялся Гельмгольц.

Шрёдер поднялся, и вид у него был очень усталый.

— Я не хочу, чтобы играли мою музыку, — сказал он. — Верните мне все ноты, если можно.

— Зачем тебе ноты? — спросил Гельмгольц.

— Я их сожгу, — заявил Шрёдер. — Это не музыка, а мусор, полная ерунда. — Он грустно улыбнулся. — Хватит с меня музыки, мистер Гельмгольц.

— Что значит «хватит»? — вскричал пораженный в самое сердце Гельмгольц. — Да ты шутишь!

Шрёдер пожал плечами.

— Не выйдет из меня музыканта. Теперь я понял. — Он слабо махнул рукой. — Я вас очень прошу больше не позорить меня, играя мои дурацкие, бездарные и наверняка смехотворные произведения.

Он попрощался и ушел.

После его ухода Гельмгольц, почти забыв про урок, ломал голову над невероятным и необъяснимым решением Шрёдера бросить музыку. После звонка Гельмгольц направился в столовую — время было обеденное. Погруженный в свои мысли, он не сразу заметил, что рядом шумно топает Большой Флойд Хайрс, тот самый непробиваемо тупой барабанщик. Большой Флойд оказался рядом отнюдь не случайно, а очень даже намеренно. Большой Флойд намеревался сообщить нечто очень важное, и от новизны задачи он весь пылал жаром, как паровоз. И так же пыхтел.

— Мистер Гельмгольц… — пропыхтел Большой Флойд.

— Да? — отозвался тот.

— Я… ну, я просто хотел вам сказать, что больше не буду лодырничать, — пропыхтел Большой Флойд.

— Вот и прекрасно, — ответил Гельмгольц. Он всегда поддерживал тех, кто старался изо всех сил, даже если, как в случае Флойда, проку от стараний никакого.

К изумлению Гельмгольца, Большой Флойд вручил ему собственноручно написанное произ-

ведение со словами:

— Посмотрите, если нетрудно, мистер Гельмгольц.

Записанная жирными черными нотами мелодия была очень короткой, но Флойду наверняка далась не легче, чем Пятая симфония Бетховену. У мелодии даже было название — «Песня для Сельмы». И слова тоже были:

Все цепи разорвал я.
Шутом быть перестал я.
Ведь от тебя узнал я,
Как стать тем, кем мечтал я.
Спасибо тебе, Сельма.
Я никогда не скажу тебе прощай.

Когда Гельмгольц оторвал взгляд от листка, поэт-композитор уже исчез.

За обедом в учительской столовой разгорелась оживленная дискуссия. Ее тема, в формулировке Хэла Бурбо с кафедры химии, звучала так: «Может ли хорошая новость о том, что Большой Флойд Хайрс решил стать музыкальным гением, уравновесить плохую новость о Шрёдере, который решил совсем уйти из музыки?»

Разумеется, дискуссия велась в шутку и лишь

для того, чтобы подразнить Гельмгольца. В данном случае проблема не выходила за пределы оркестра, а оркестр все, кроме Гельмгольца, считали делом несерьезным, потому и веселились. Никто ведь еще не знал, что Шрёдер отчаялся добиться успеха и в остальных областях.

— С моей точки зрения, — говорил Бурбо, — если отстающий ученик решил серьезно заняться музыкой, а гений бросил музыку ради, например, химии, то нельзя сказать, что первый растет, а второй деградирует. В этом случае оба растут.

— Разумеется, — мягко ответил Гельмгольц, — и одаренный мальчик придумает еще один отравляющий газ, а туповатый — еще один популярный мотивчик.

В столовую вошел Эрнст Гропер, учитель физики. Обтекаемый, как торпеда, он отличался прямолинейностью, розовых очков не носил и не прощал неумения мыслить логически. Глядя, как он переставляет тарелки с подноса на стол, можно было подумать, что он с огромным удовольствием и совершенно добровольно подчиняется законам механики Ньютона — просто потому, что это такие замечательные законы.

— Вы уже слышали новость про Большого Флойда Хайрса? — спросил его Бурбо.

— Про этого *ядреного физрика*? — сказал в ответ Гропер.

— Про кого? — удивился Бурбо.

— Сегодня утром Большой Флойд заявил мне, что перестанет лениться и будет ядреным физриком, — пояснил Гропер. — Я думаю, он хотел сказать «ядерным физиком», хотя, возможно, имел в виду физрука.

Гропер взял лежавший на столе листок с «Песней для Сельмы», который Гельмгольц показывал остальным.

— А это что? — поинтересовался Гропер.

— Произведение Большого Флойда, — ответил Гельмгольц.

— Я вижу, он времени даром не теряет! — Гропер приподнял брови, разглядывая листок. — Сельма? Какая Сельма? Риттер, что ли? — спросил он, завязывая салфетку под подбородком.

— Именно о ней мы и подумали, — сказал Гельмгольц.

— Должно быть, и впрямь Сельма Риттер, — подтвердил Гропер. — Они с Большим Флойдом сидят за одним столом на лабораторных по физике. — Он закрыл глаза и потер переносицу. — Хорошенькая компания собралась за этим столом, — устало продолжил Гропер. — Шрёдер,

Большой Флойд и Сельма Риттер.

— Так они втроем сидят? — задумчиво спросил Гельмгольц, пытаясь найти в происходящем какую-нибудь закономерность.

— Я подумал, что Шрёдер поможет подтянуть Большого Флойда и Сельму, — пояснил Гропер. — А ведь и впрямь подтянул! — с восхищением произнес он и вопросительно посмотрел на Гельмгольца. — Джордж, вы случайно не знаете, какой у Большого Флойда IQ?

— Да я понятия не имею, где вообще это можно узнать, — ответил Гельмгольц. — И не верю я во всякие IQ.

— В кабинете директора есть шкаф с секретными папками, — сказал Гропер. — Как-нибудь загляните в личное дело Шрёдера, такого вы еще точно не видели!

— А кто из них Сельма Риттер? — спросил Хэл Бурбо, разглядывая студенческую часть столовой сквозь стеклянную перегородку.

— Крохотная такая девчушка, — отозвался Гропер.

— Тихая, как мышь, и застенчивая, — добавил Элдред Крейн, декан кафедры английского языка. — Остальные ее не очень любят.

— Ну, Большой Флойд, похоже, жить без нее не

может, — сказал Гропер. — Судя по всему, у них теперь любовь до гроба. Пожалуй, надо отсадить этих двоих от Шрёдера. Уж не знаю, как им это удается, но они явно вгоняют его в уныние.

— Что-то я не вижу там Сельму, — сказал Гельмгольц, всматриваясь в лица обедающих учеников. Шрёдера он увидел: одаренный мальчик сидел в одиночестве с видом унылой покорности судьбе. И Большой Флойд тоже сидел в одиночестве — грузный, молчаливый и с выражением непонятной надежды на лице. Он явно о чем-то усиленно думал: морщил лоб, хмурил брови и поднимал тяжелые мысленные гири.

— Сельмы нет в столовой, — повторил Гельмгольц.

— А, вспомнил! — сказал Элдред Крейн. — Сельма же обедает после всех, во время следующего урока.

— А что она делает во время обеда? — поинтересовался Гельмгольц.

— Отвечает на телефонные звонки в кабинете директора, — объяснил Крейн. — Пока сотрудники обедают.

Извинившись перед коллегами, Гельмгольц направился в кабинет директора, чтобы поговорить с Сельмой Риттер. «Кабинет» на самом деле состо-

ял из прихожей, зала заседаний, двух кабинетов и архива. Сначала Гельмгольцу показалось, что в кабинете никого нет: на коммутаторе безнадежно мигали лампочки и гудели сигналы. Затем он услышал слабый шорох в архиве, тихонько подошел к дверям и заглянул внутрь.

Сельма Риттер, стоя на коленях у открытого ящика картотеки, что-то писала в записной книжке. Гельмгольц не ужаснулся и не пришел к скоропалительному выводу, что Сельма заглянула куда-то, куда ей заглядывать не следовало: он просто не верил во всякие секреты. С точки зрения Гельмгольца, в школе ничего секретного быть не могло.

А вот Сельма его точки зрения на секретность не разделяла. Она сунула нос в не предназначенные для постороннего взгляда личные дела, где, помимо всего прочего, указывался коэффициент интеллекта каждого. Когда Гельмгольц застукал ее на месте преступления, она в буквальном смысле слова потеряла равновесие и, не устояв на коленях, рухнула на пол.

Гельмгольц помог ей подняться и при этом нечаянно бросил взгляд на листок, из которого делала выписки Сельма: на карточке, без всякой видимой системы, были написаны какие-то чис-

ла. Эти числа ничего не говорили Гельмгольцу, потому что он никогда карточками не пользовался, хотя и знал, что на них указан не только IQ, но и индекс общительности, развитие моторных навыков, вес, лидерский потенциал, рост, наиболее подходящие профессии, а также уровень способностей в шести различных областях деятельности: в школе имелась детально разработанная программа тестирования учеников. Кстати, довольно знаменитая программа — к ней охотно обращались за материалом соискатели докторской степени, поскольку архивы школы содержали данные за двадцать пять лет тестирования.

Чтобы узнать, что означают числа на карточке, Гельмгольцу пришлось бы использовать карту-ключ, в которой были пробиты в нужных местах отверстия и которая хранилась в сейфе директора. Наложив карту-ключ на личную карточку, Гельмгольц увидел бы, что означает каждое число. Впрочем, карта-ключ вовсе не требовалась для того, чтобы узнать, чью личную карточку переписывала Сельма Риттер: имя ученика было напечатано большими буквами в самом верху. Джордж М. Гельмгольц вздрогнул, прочитав это имя: «Гельмгольц, Дж. М.».

— Это что? — пробормотал Гельмгольц, вытаскивая карточку из картотеки. — Почему здесь стоит мое имя? Какое отношение это имеет ко мне?

Сельма разрыдалась.

— Ой, мистер Гельмгольц! — плакала она. — Я ведь не хотела ничего дурного! Пожалуйста, не говорите директору. Я больше не буду! Только ничего не говорите!

— А что тут говорить-то? — в полном недоумении спросил Гельмгольц.

— Я смотрела ваш IQ, — сказала Сельма. — Честно в этом признаюсь. Вы меня поймали. И, наверное, за это меня могут выгнать из школы. Но, мистер Гельмгольц, я ведь не просто так, у меня есть очень серьезная причина.

— Сельма, я понятия не имею, какой у меня IQ. В любом случае можешь смотреть на него сколько угодно, — ответил Гельмгольц.

Рыдания Сельмы немного стихли.

— Значит, рассказывать про меня директору вы не станете? — спросила она.

— А что ты такого страшного натворила? — удивился Гельмгольц. — Если кому-то интересен мой IQ, так я его на дверях своего кабинета напишу, чтобы все видели.

Сельма посмотрела на него выпученными глазами.

— Так вы не знаете свой IQ?

— Нет, — скромно ответил Гельмгольц. — Думаю, он ниже среднего.

Сельма показала на какое-то число на карточке.

— Вот, — сказала она. — Это ваш IQ, мистер Гельмгольц. — Она сделала шаг назад, словно ожидая, что Гельмгольц от удивления грохнется в обморок. — Вот это он и есть.

Гельмгольц вгляделся в число. Он наклонил голову, и под первым подбородком образовались многочисленные волны последующих. Сельма указала на число 183.

— Я ничего не знаю про IQ, — признался Гельмгольц. — Это много или мало?

Он попытался припомнить, когда его интеллектуальные способности тестировали в последний раз. Кажется, когда он сам учился в этой же школе.

— Мистер Гельмгольц, это очень, очень много! — заявила Сельма. — Неужели вы даже не подозреваете о своей гениальности?

* * *

— А что это вообще за карточка? — спросил Гельмгольц.

— Это ваша ученическая карточка, — ответила Сельма.

Гельмгольц хмуро смотрел на карточку, с нежностью вспоминая серьезного, толстенького коротышку, которым был когда-то: обидно, что того мальчика свели к каким-то цифрам.

— Сельма, даю тебе честное слово, что я не гений и никогда им не был. С чего ты вообще решила заглянуть в мою карточку?

— Вы ведь учитель Большого Флойда, — ответила Сельма. Произнеся имя Большого Флойда, она словно подросла на дюйм и вся засветилась, будто он ей лично принадлежал. — Я знаю, что вы тоже учились в нашей школе, поэтому и решила посмотреть. Хотела узнать, достаточно ли вы умны, чтобы понять, насколько одарен Большой Флойд.

Гельмгольц вопросительно посмотрел на нее, склонив голову набок.

— И насколько же Большой Флойд, по твоему мнению, одарен?

— Почему бы вам самому не посмотреть? — за-

явила Сельма. К ней вернулась потерянная было уверенность в себе. — Похоже, никому, кроме меня, это и в голову не пришло.

— Так ты и его карточку видела? — спросил Гельмгольц.

— Мне надоело слушать, как все называют Большого Флойда тупицей и восхваляют ум этого дурачка Элвина Шрёдера, — ответила Сельма. — Вот я и решила сама все проверить.

— Ну и как результаты проверки?

— Оказалось, что Элвин Шрёдер только делает вид, будто он такой весь из себя умный. А на самом деле тупица тупицей. И еще оказалось, что Большой Флойд вовсе не дурак. Он просто лентяй. А на самом деле он такой же гений, как и вы.

— Гм, — задумался Гельмгольц. — Ты им обоим так и сказала?

Сельма немного растерялась. Впрочем, она уже настолько глубоко увязла, что новое преступление вряд ли могло ужесточить приговор.

— Да… я им все рассказала, — кивнула она. — Для их же блага.

В тот день, с трех до четырех пополудни, Гельмгольц проводил занятия школьного хора. На этот раз голоса шестидесяти хористов были усилены роялем, духовым оркестром из трех труб, двух

тромбонов и одной тубы, а также мелодичным звоном металлофона. Музыканты, рекрутированные на помощь хору, были срочно набраны после обеда: сидя в своем крохотном кабинете, Гельмгольц строил планы и отправлял гонцов, словно генерал на поле боя.

Когда настенные часы показали без одной минуты четыре, Гельмгольц движением пальцев зажал последний великолепный аккорд, исполняемый хором под музыкальное сопровождение. И когда Гельмгольц оборвал этот аккорд, все застыли в изумлении.

Они нашли то, что нужно.

Ничего прекраснее мир еще не слышал.

Последним замер ясный звон металлофона. Высокая нота растворилась в бесконечности, словно обещая, что будет вечно слышна любому, кто захочет как следует вслушаться.

— Да… это именно то, что нужно… — зачарованно прошептал Гельмгольц. — Дамы и господа, у меня нет слов, чтобы выразить вам мою искреннюю благодарность.

Прозвенел звонок: четыре часа дня.

Ровно в четыре часа, как и велел Гельмгольц, Шрёдер, Сельма и Большой Флойд вошли в музыкальный зал. Гельмгольц отвел всех троих в свой

кабинет и закрыл дверь.

— Я думаю, вы знаете, зачем я попросил вас прийти, — сказал Гельмгольц.

— Я не знаю, — возразил Шрёдер.

— Это по поводу IQ, — пояснил Гельмгольц и рассказал о том, как застал Сельму в архиве.

Шрёдер равнодушно пожал плечами.

— Если кто-то из вас расскажет об этом хоть кому-нибудь, то Сельме здорово попадет, да и мне тоже, — сказал Гельмгольц. — Я ведь промолчал о том, что она натворила, и поэтому стал ее соучастником.

Сельма побледнела.

— Сельма, почему ты решила, что именно это число на карточке и есть IQ? — спросил Гельмгольц.

— Ну, я… я прочитала про IQ в библиотеке, — ответила Сельма. — Потом нашла свою карточку и посмотрела, какое число скорее всего означает мой IQ.

— Занятно, — сказал Гельмгольц. — Сразу видно, какая ты скромная девочка. Сельма, то число, которое ты приняла за коэффициент интеллекта, на самом деле означает твой вес. И когда ты посмотрела карточки всех остальных, то узнала лишь, кто из нас тяжелее, а кто легче по весу.

В моем случае ты выяснила, что когда-то я был очень толстым мальчиком. Большой Флойд и я вовсе не гении, а Шрёдер совсем не идиот.

Сельма ойкнула.

Вздох Большого Флойда прозвучал как свисток паровоза.

— Говорил же я тебе, что я тупица и никакой не гений, — уныло сказал он Сельме и показал на Шрёдера. — Это он гений. У него есть способности, есть мозги, чтобы добраться до звезд или куда там еще! Говорил же я тебе!

Большой Флойд зажал виски ладонями, будто пытаясь заставить мозг работать лучше.

— Эх! — тяжело вздохнул он. — Вот я дурак был, когда хотя бы на секунду поверил, будто у меня в голове что-то есть!

— Есть только один тест, который имеет значение, — сказал Гельмгольц. — Это тест жизни. Вот он-то и показывает, чего человек стоит. Это верно и для Шрёдера, и для Сельмы, и для тебя, Большой Флойд, и для меня — это верно для всех.

— Всегда видно заранее, из кого получится что-то путное, а из кого нет, — заявил Большой Флойд.

— Так уж и всегда? — усомнился Гельмгольц. — Я вот не могу предсказать это заранее. Жизнь

не перестает преподносить мне сюрпризы.

— Просто представьте себе, какие сюрпризы в жизни ждут меня, а какие — его, — ответил Большой Флойд, кивая на Шрёдера.

— А представьте себе, какие сюрпризы ждут всех нас! — воскликнул Гельмгольц. — У меня просто дух захватывает!

Он открыл дверь кабинета, показывая, что разговор окончен.

Сельма, Большой Флойд и Шрёдер уныло вышли в музыкальный зал. Разговор с Гельмгольцем на подвиги не вдохновлял, напротив, как и большинство воспитательных бесед в школе, оставил пренеприятный осадок.

Когда Сельма, Большой Флойд и Шрёдер проходили мимо хористов и музыкантов, те встали. По сигналу Гельмгольца звонко запели духовые инструменты. Фанфары пригвоздили троицу к месту, заставив замереть в изумлении.

Трубы, тромбоны и туба продолжали выводить замысловатую мелодию. К ним присоединились рояль и металлофон: они бренчали, грохотали и триумфально звенели, словно церковные колокола, возвещающие великую победу.

Когда колокола и фанфары неохотно затихли, вступили шестьдесят хористов. Сначала они

тихонько загудели, потом мелодия без слов стала возноситься все выше, пока не достигла предела, где и попыталась остаться, но духовые, рояль и металлофон заставляли голоса взлетать все выше и, преодолевая любые препятствия, стремиться к звездам.

Голоса взбирались все выше и выше, на невероятную высоту. Бессловесная мелодия взлетала вверх, словно обязуясь на самой вершине превратиться наконец в слова. В ней также слышалось обещание, что когда слова прозвучат, в них будет явлена великая мудрость.

Голоса достигли предела.

Они упорно пытались подняться еще выше, но их попытки были безуспешны.

И тогда, чудо из музыкальных чудес, вступило сопрано: оно не просто поднялось чуть выше остальных, оно взлетело высоко-высоко над ними и на этой недосягаемой высоте нашло слова.

«Все цепи разорвал я», — звенело сопрано чистым лучом света.

Рояль и металлофон изобразили звук разбиваемых цепей.

Хор в унисон простонал, удивляясь разбитым цепям.

«Шутом быть перестал я», — прогремел бас.

Трубы насмешливо прыснули, затем все духовые инструменты сыграли припев из «Шотландской застольной».

«Ведь от тебя узнал я, — пропел баритон, — Как стать тем, кем мечтал я».

Сопрано исполнило музыкальную фразу из «Однажды я найду тебя», следом хор исполнил фразу из «Этих глупостей», потом рояль сыграл «Из воспоминаний».

«Спасибо тебе, Сельма», — дружно пропели басы.

— Сельма? — повторила настоящая Сельма.

— Да, Сельма, — сказал ей Гельмгольц. — Эту песню Большой Флойд, наш хорошо известный гений, написал для тебя.

— Для меня? — изумилась Сельма.

— Тс! — сказал Гельмгольц.

«Я никогда…» — запело сопрано.

«Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда», — запричитал хор.

«Не скажу…» — прогремели басы.

«Тебе…» — звонко вставило сопрано.

И тут все вместе, включая Гельмгольца, затянули финальную фразу, от которой волосы встали дыбом:

«Прощаааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааай!»

Щелкнув пальцами, Гельмгольц оборвал пение.

По щекам Большого Флойда катились слезы.

— Не может быть, не может быть, — бормотал он. — Чья это аранжировка?

— Одного гения, — ответил Гельмгольц.

— Шрёдера? — спросил Большой Флойд.

— Нет, — запротестовал Шрёдер, — я…

— Сельма, тебе понравилось? — спросил Гельмгольц.

Сельма Риттер не ответила. Она лежала в обмороке.

Раздел 8.
ФУТУРИЗМ

© Перевод. А. Комаринец, 2020

Поколение Курта Воннегута не просто выиграло Вторую мировую, но и вышло из нее изумленное и, возможно, немного заинтригованное новым будущим, которое внезапно оказалось совсем близко. Мировой конфликт дал толчок к развитию военно-промышленного комплекса, подстегивал его становиться все совершеннее и смертоноснее. За каких-то несколько лет такие устройства, как радар и сонар, преобразили методы ведения войны на море и в воздухе. Инверсионные следы реактивных самолетов прочерчивали небо над Германией в начале 1945 года, а к августу того же года ядерные грибы двух атомных взрывов выросли над Японией. Солдаты возвращались с фронта домой, где их ждала новая корпоративная структура, изменилась и сама атмосфера на рабочих местах, которые теперь приходилось делить с женщинами, ведь они заменяли мужчин, пока те были в армии. Исполненный надежд журналист устроился в

отдел по связям с общественностью в корпорации «Дженерал электрик». Здесь, с осени 1947 по 1951 год он писал релизы для средств массовой информации о чудесном новом будущем, которое изобретали его брат Бернард и другие ученые в исследовательских лабораториях «ДжЭ». В более поздние годы Воннегут любил вспоминать, как американцы ждали, что кто-то — и довольно скоро — обнаружит Господа Всемогущего и продаст его цветные снимки в «Популярную механику».

Заметьте: речь не идет о журнале «Научная Америка». Редакторы этого уважаемого журнала прекрасно понимали, что подобное фото никогда не будет опубликовано, во всяком случае в их издании. Зато замысловатые и зловещие фантазии на тему будущего с распростертыми объятиями принимали в журналах, деливших место на полках с «Кольерз», «Космополитэн» и «Сэтерди ивнинг пост». Последние представляли собой рынок, для которого надеялся писать Курт Воннегут. Когда рассказы недотягивали до высоких стандартов этих журналов, он предлагал их в журналы научной фантастики. И потому через два года после защиты диплома по антропологии (на тему парламентского билля, предусматривающего бесплатное образование для ветеранов

Второй мировой войны), который он писал, подрабатывая в Чикагском бюро новостей, и еще после двух с половиной лет пресс-релизов для «ДжЭ» молодой писатель, еще не достигший тридцати лет, взялся описывать будущее.

Кое-какие его прогнозы были намеренно фривольными. Рассказ «Завтра, и завтра, и завтра» имел очень даже шекспировский заголовок, который должен был привлечь внимание редакторов в престижных журналах, но они отказывались от него ради рассказов Воннегута на другие темы. Переработанный в «Большое путешествие ввысь» этот рассказ появился в январском номере «Гэлэкси Сайенс фикшн» за 1954 год. Тут читатели могли узнать про будущее, где существует вечная жизнь, а после удивляться последствиям этого феномена. Хотя посылка рассказа могла бы показаться читателям «Кольерз» и «Пост» слишком невероятной, его персонажи вели себя приблизительно так же, как и герои более традиционных рассказов, — нет сомнений в том, что это классический воннегутовский рассказ.

Другие прогнозы были зловещими. Рассказ «Добро пожаловать в обезьянник» не просто принес Курту Воннегуту известность не меньшую, чем «Бойня номер пять», но и стал заглавным

в сборнике 1968 года, который его издатель Сеймур Лоуренс выпустил в «Делакорт пресс». Этот сборник — первая из трех книг, на которую Воннегут заключил контракт, и первая, которая принесет ему известность на всю страну — был опубликован отдельным изданием в 2014 году. Сборник предваряет литературоведческий анализ Грегори Д. Сумнера ранних версий рассказа (в машинописном варианте их существует около десяти), которые показывают, как старательно искал автор «подходящую аудиторию для будущих салонных игр в этическое самоубийство». В законченном варианте рассказ появился не ранее января 1968 года в журнале, которого еще даже не существовало на тот момент, когда Воннегут начал печататься, а именно в «Плейбое». Учитывая плату за полосу в этом издании, этот рассказ окажется самым прибыльным за всю его жизнь. Сеймур Лоуренс знал, что благодаря своим крепко сработанным рассказам Курт Воннегут за прошедшие годы познакомился с редакторами почти всех американских журналов, но с середины шестидесятых (когда рынок для журнальных рассказов сошел на нет) он и сам оказывал услуги этим редакторам, берясь за рецензии, за которые никто больше не хотел браться. (Классический

тому пример — рецензия на «Новый словарь» для литературного приложения к «Нью-Йорк таймс», которая вошла в тот же сборник и в которой Воннегут шутит на тему непрекращающихся дебатов среди авторов словарей: «Нормативная [лингвистика], насколько я мог судить, сродни честному копу, а дескриптивная — сродни подвыпившему армейскому приятелю из Мобайла».) Могли ли быть сомнения, что его шестой роман, выход которого планировался в следующем году, наконец получит то внимание прессы, которого автор так заслуживал?

Воннегута тревожило, как правительства разных стран будут решать проблему перенаселения Земли. Помимо «Добро пожаловать в обезьянник», этой теме посвящены «Адам» и «2BR02B» — два ранних рассказа, опубликованные в «Космополитэн» и «Уорлдс оф ит» соответственно. Первый из этих журналов не всегда был «пособием по сексу», как напомнил одному журналисту Курт Воннегут, когда сборник с рассказом «Адам» увидел свет в конце 1999 года. В 1950-е это был такой же респектабельный (и консервативный) журнал, как любое другое издание для семейного чтения, пусть и имел более «женский уклон» (в отличие от современных изданий для женщин).

Второй был научно-фантастическим журналом до мозга костей, предпочитавший не размышления на тему научно-технического прогресса, а экзотические фантазии. Читатель, возможно, подметил две вещи: что читатели «Космополитэна» предпочитали одни сюжеты, а любители научной фантастики — другие, но обе эти группы разделяли футуристические страхи Воннегута, а именно, что чьи-то жизни будут принесены в жертву.

Были и прогнозы нелепые. Учитывая презрение Воннегута к рынку научной фантастики, которую в предисловии к сборнику «Вампитеры, фома и гранфаллоны» он сравнил с писсуаром, невольно задумываешься, из каких соображений он написал рассказ в антологию писателя-фантаста Харлана Эллисона, увидевшую свет в 1972 году. Рассказ назывался «Опять опасные виденья». К тому времени Воннегут уже приобрел своими романами известность такую, которой ему хватит до конца его писательской карьеры. Ему не было необходимости писать рассказы ради небольшого, но стабильного дохода. Однако он этот рассказ написал. В сборнике «Вербное воскресенье», в который он наряду с другими рассказами включил «Большую космическую случку», Курт упоминал,

что его рассказ был первым, в названии которого появилось ругательство. Чего этим можно было добиться, — помимо того, что антологию исключили из списка книг для школьных библиотек и списков книг для внеклассного чтения, — не ясно. В это же самое время по менее значимым причинам запретили «Бойню номер пять». Рассказ включен в раздел документальных текстов о «Брани» в сборнике «Вербное воскресенье».

Иронично, что один из наиболее превозносимых и часто включаемых в антологии рассказов впервые увидел свет как раз в журнале научной фантастики — в «Гэлэкси сайенс фикшн». Несколько лет спустя Уильям Ф. Бакли перепечатал его в «Нэшнл ревю» как образчик первоклассного консервативного мышления, — и в то же самое время левое крыло контркультуры превозносило Воннегута как гуру молодежи. «Гаррисон Берджерон» устраивал и тех, и других. Радикально настроенные студенты 1960-х не любили «большое правительство» точно так же, как их сверстники «юные республиканцы» и их старшие товарищи в правом крыле республиканской партии. Всеобщим врагом был «корпоративный либерализм» с его «фальшивыми либералами» (как их называла молодежь). Выведенное в этом

рассказе правительство, которое предписывает всеобщее равенство, не либерально и не консервативно, речь идет скорее об органе власти как таковом. Возможно, в этом рассказе найдется материал для литературоведческого исследования, которое объяснит почти универсальную привлекательность Воннегута для людей из самых разных слоев общества.

Рассказ «Неизвестный солдат» футуристичен лишь отчасти, мир двадцатого столетия уже изобилует разными новыми устройствами. Некоторые из них даже дарят первым новорожденным нового тысячелетия. Эти устройства — почетные премии? Они почитают дитя или позорят себя? Ответ Воннегута кроется в концовке рассказа. Когда много десятилетий назад Воннегут начал писать свои рассказы, эти устройства невозможно было даже вообразить. Теперь они одноразовые. Вот такие дела.

Джером Клинковиц

Гаррисон Бержерон

© Перевод. Е. Романова, 2020

Был год 2081-й, и в мире наконец воцарилось абсолютное равенство. Люди стали равны не только перед Богом и законом, но и во всех остальных возможных смыслах. Никто не был умнее остальных, никто не был красивее, сильнее или быстрее прочих. Такое равенство стало возможным благодаря 211, 212 и 213-й поправкам к Конституции, а также неусыпной бдительности агентов Генерального уравнителя США.

Однако в мире по-прежнему не все ладилось. Апрель, к примеру, до сих пор сводил людей с ума отнюдь не весенней погодой.

Именно в этот ненастный месяц уравнители отняли у Джорджа и Хейзел Бержерон их четырнадцатилетнего сына Гаррисона. Трагедия, конечно, но Джордж и Хейзел не могли долго переживать на этот счет. У Хейзел был безупречно средний ум — то есть думала она короткими вспышками, — а Джордж, умственные способности которого оказались выше среднего, носил в ухе маленькое уравнивающее радио. Закон

запрещал его снимать. Радио было настроено на единственную, правительственную, волну, которая каждые двадцать секунд передавала резкие громкие звуки, не позволяющие людям вроде Джорджа злоупотреблять своим умом.

Джордж и Хейзел смотрели телевизор. По щекам Хейзел текли слезы, но она на какое-то время забыла почему.

По телевизору показывали балерин.

В ухе Джорджа сработал сигнал. Мысли тут же разбежались в разные стороны, точно воры от сработавшей сигнализации.

— Очень красивый танец, — сказала Хейзел.

— А?

— Танец, говорю, красивый.

— Ага, — кивнул Джордж и попытался подумать о балеринах. Танцевали они не очень-то хорошо — да и любой другой на их месте станцевал бы точно так же. На руках и ногах у них висели противовесы и мешочки со свинцовой дробью, чтобы никто при виде изящного жеста или хорошенького лица не почувствовал себя безобразиной. Джорджу пришла в голову смутная мысль, что уж балерин-то не стоило бы уравнивать с остальными. Но как следует задуматься об этом не получилось: очередной радиосигнал

распугал его мысли.

Джордж поморщился. Две из восьми балерин поморщились вместе с ним.

Хейзел заметила это и, поскольку ее мысли ничем не уравнивали, спросила Джорджа, какой звук передали на этот раз.

— Как будто стеклянную бутылку молотком разбили, — сказал Джордж.

— Вот ведь здорово: все время слушать разные звуки, — с легкой завистью проговорила Хейзел. — Сколько они всякого напридумывали!

— Угу, — сказал Джордж.

— А знаешь, что бы я сделала на месте Генерального уравнителя? — Хейзел, кстати, была до странности похожа на Генерального уравнителя — женщину по имени Диана Мун Клэмперс. — Будь я Дианой Мун Клэмперс, я бы по воскресеньям передавала только колокольный звон. Из религиозных соображений.

— Да ведь с колокольным звоном всякий сможет думать, — возразил Джордж.

— Ну… можно сигнал погромче сделать. Мне кажется, из меня бы вышел хороший Генеральный уравнитель.

— Не хуже других, уж точно, — сказал Джордж.

— Кому, как не мне, знать, что такое норма!

— Ну да.

В голове Джорджа забрезжила мысль об их анормальном сыне Гаррисоне, который теперь сидел в тюрьме, но салют из двадцати одной салютной установки быстро ее прогнал.

— Ух, ну и грохот был, наверное! — воскликнула Хейзел.

Грохот был такой, что Джордж побелел и затрясся, а в уголках его покрасневших глаз выступили слезы. Две из восьми балерин рухнули на пол, схватившись за виски.

— Что-то у тебя очень усталый вид, — сказала Хейзел. — Может, приляжешь на диван? Пусть мешок полежит немного, а ты отдохни. — Она имела в виду сорокасемифунтовый мешок с дробью, который с помощью большого замка крепился на шее Джорджа. — Я не возражаю, если мы с тобой чуточку побудем неравны.

Джордж взвесил уравнивающий мешок на ладонях.

— Да ладно, — сказал он, — я его и не замечаю вовсе. Он давно стал частью меня.

— Ты последнее время ужасно усталый… как выжатый лимон, — заметила Хейзел. — Вот бы проделать в мешке маленькую дырочку и вынуть несколько дробинок. Самую малость.

— Два года тюремного заключения и две тысячи долларов штрафа за каждую извлеченную дробинку, — напомнил ей Джордж. — По-моему, игра не стоит свеч.

— Ну, мы бы незаметно их вытаскивали, пока ты дома… ты ведь ни с кем тут не соперничаешь, просто отдыхаешь, и все.

— Если я попробую что-нибудь такое провернуть, остальные люди тоже начнут пытаться — и скоро все человечество вернется к прежним смутным временам, когда каждый соперничал с другим. Разве это хорошо?

— Ужасно, — ответила Хейзел.

— Вот видишь, — сказал Джордж. — Когда люди начинают обманывать законы, что происходит с обществом?

Если бы Хейзел не сумела ответить на вопрос, Джордж бы ей не помог: в голове у него завыла сирена.

— Наверное, оно бы развалилось на части, — сказала Хейзел.

— Что? — непонимающе переспросил Джордж.

— Ну, общество, — неуверенно протянула его жена. — Разве мы не об этом говорили?

— Не помню.

Телевизионная программа вдруг прервалась

на срочный выпуск новостей. Невозможно было сразу понять, что хочет сказать ведущий, поскольку все ведущие на телевидении страдали серьезными дефектами речи. С полминуты он пытался выговорить «Дамы и господа», но наконец отчаялся и протянул листок балеринам.

— Ничего страшного, — сказала Хейзел о ведущем. — Он хотя бы попробовал, а это уже много значит — пытаться превозмочь свои силы. Я считаю, его должны повысить.

— Леди и джентльмены! — прочитала балерина. Видимо, она была необычайно красива, потому что ее лицо скрывала отвратительная маска. А по большим уравнивающим мешкам — такие надевали только на двухсотфунтовых здоровяков — было ясно, что она сильнее и грациознее остальных танцовщиц.

Ей тут же пришлось извиниться за голос — ему могли позавидовать многие женщины. Не голос, а теплая нежная мелодия.

— Простите… — выдавила она и продолжила читать каркающим хрипом: — Несколько часов назад из тюрьмы сбежал четырнадцатилетний преступник, Гаррисон Бержерон, который строил заговор по свержению существующего правительства. Он не носит уравнивающих при-

способлений, чрезвычайно умен, силен и крайне опасен.

На экране появилась фотография Гаррисона из полицейского участка — сначала ее показали вверх ногами, потом перевернули набок, потом наконец выровняли. На фотографии Гаррисон был запечатлен в полный рост рядом с масштабной линейкой. Ростом он был ровно семь футов.

Вся остальная внешность Гаррисона была сплошной свинец и маскарад. Никто еще не носил столько уравнивающих мешков и масок, сколько Гаррисон, никто не вырастал из них быстрее, чем сотрудники из Генерального уравнивающего бюро успевали придумать новые. Вместо крошечного ушного радио он носил огромные наушники, а на глазах у него были очки с толстыми волнистыми линзами: они предназначались не только для того, чтобы испортить Гаррисону зрение, но и чтобы вызвать неутихающие головные боли.

Все его тело обвесили железом и свинцом. Обычно уравнивающие приспособления выглядели симметрично, по-военному строго и аккуратно, но Гаррисон смахивал на ходячую свалку. В гонке жизни он вынужден был носить на себе триста фунтов лишнего веса.

Чтобы никто не догадался, как он привлекателен, уравнители надели ему на нос красный клоунский шарик, сбрили брови, а на ровные белые зубы в случайном порядке нацепили черные колпачки.

— Если вы встретите этого юношу, — сказала балерина, — не пытайтесь — повторяю, не пытайтесь — его вразумить!

Раздался скрип и лязг сорванной с петель двери.

В телевизоре испуганно закричали. Фотография Гаррисона Бержерона на экране запрыгала, словно танцуя под музыку землетрясения.

Джордж Бержерон правильно установил причину этого катаклизма: его собственный дом не раз сотрясала та же сокрушительная мелодия.

— О боже… — выдавил он, — да ведь это, верно, Гаррисон!

Радостную мысль немедленно выдуло из головы оглушительным грохотом автомобильной катастрофы.

Наконец Джордж открыл глаза: фотография Гаррисона исчезла с экрана. Зато в нем появился живой, самый настоящий Гаррисон.

Огромный, лязгающий, в клоунском наряде, его родной сын стоял посреди студии, все еще сжи-

мая ручку сорванной с петель двери. Балерины, технические специалисты и ведущие съежились у его ног, готовясь к смерти.

— Я император! — взревел Гаррисон. — Слышали? Я император! Вы все должны мне подчиняться! — Он топнул ногой, и стены студии содрогнулись. — Даже сейчас, пока я стою здесь покалеченный, хромой и жалкий, я — самый могущественный властелин из когда-либо живших на Земле! А теперь следите за моим преображением!

Легко, точно мокрую туалетную бумагу, Гаррисон сорвал с себя уравнивающую сбрую, способную выдержать груз в пять тысяч фунтов.

Железные грузила рухнули на пол.

Гаррисон запустил пальцы под дужку амбарного замка, которым крепились к шее головные уравнивающие приспособления, и дужка треснула, точно стебелек сельдерея. Он сорвал с себя наушники с очками и разбил их о стену, затем отшвырнул в сторону красный клоунский нос.

Посреди студии стоял юноша, красоте которого мог бы преклоняться сам Тор, бог грома и бури.

— А теперь я выберу себе императрицу! — заявил Гаррисон, оглядывая съежившихся на полу людей. — Первая женщина, которая осмелится

встать на ноги, да станет законной владычицей моего сердца и трона!

В следующий миг, покачиваясь, точно ива на ветру, с пола поднялась одна балерина.

Гаррисон вынул уравнивающее радио из ее уха и с поразительной нежностью убрал с плеч уравнивающие мешки. В последнюю очередь он снял с балерины маску.

Она была ослепительно красива.

— А теперь, — сказал Гаррисон, беря за руку свою избранницу, — мы покажем этим людям, что значит танцевать! Музыку! — скомандовал он.

Музыканты поспешно заняли свои места, и Гаррисон снял с них уравнивающие приспособления.

— Играйте на всю катушку, — велел он музыкантам, — и я сделаю вас баронами, князьями и графами.

Заиграла музыка. Поначалу она была самая обыкновенная: дешевая, глупая, фальшивая. Но Гаррисон схватил в руки по музыканту, замахал ими, точно дирижерскими палочками, и пропел нужную мелодию. Потом водрузил музыкантов на место.

Музыка зазвучала снова — гораздо бойчее.

Гаррисон и императрица сначала просто слушали ее — с серьезным сосредоточенным видом, точно подстраивая сердцебиение под музыкальный ритм.

Затем встали на цыпочки.

Гаррисон обхватил ручищами тонкую талию девушки, давая ей в полной мере прочувствовать свою новую легкость.

А потом грянул взрыв радости и красоты — бах! — и они взлетели в воздух, нарушая не только все законы страны, но и законы физики.

Они порхали, кружились, качались, летали, резвились, прыгали и выделывали коленца.

Они скакали точно лунные лани.

Студия была высотой тридцать футов, но каждый прыжок приближал танцоров к потолку.

Они явно вознамерились его поцеловать.

И поцеловали.

А потом, силой собственной воли и любви уничтожив гравитацию, они зависли под потолком и долго, долго целовались.

Именно в это мгновение Диана Мун Клэмперс, Генеральный уравнитель США, вбежала в студию с двуствольным дробовиком десятого калибра в руках. Она сделала два выстрела, и император с императрицей умерли еще до того, как упали

на пол.

Диана Мун Клэмперс перезарядила дробовик, прицелилась в музыкантов и дала им десять секунд на то, чтобы снова надеть уравнивающие мешки.

Тут телевизор Бержеронов выключился.

Хейзел хотела сказать Джорджу, что отключили электричество, но его не оказалось рядом: он ушел на кухню за пивом.

Джордж вернулся с банкой в руке и на секунду замер от громкого сигнала в ухе. Затем наконец сел.

— Ты плакала? — спросил он Хейзел.

— Угу.

— Почему?

— Забыла… По телевизору что-то очень грустное показывали.

— А что?

— В голове все перемешалось, не вспомнить, — ответила Хейзел.

— Ну и славно, грустное надо забывать, — сказал Джордж.

— Я так и делаю.

— Умница моя! — похвалил ее Джордж и весь съежился: в голове у него прогремел ружейный выстрел.

— Ух… ну и грохот, я вам скажу! — воскликнула Хейзел.

— Можешь сказать еще раз.

— Ух… ну и грохот! — повторила Хейзел.

Добро пожаловать в обезьянник

© Перевод. Е. Романова, 2020

Однажды майским днем Пит Крокер — шериф округа Барнстейбл, то есть всего Кейп-Кода — вошел в приемную салона Федерального агентства по гуманным самоубийствам в Хайаннис-Порте и сообщил двум высоким девушкам-администраторам за конторкой, что в направлении мыса движется отъявленный сорвиголова Билли Поэт, однако паниковать не нужно, все под контролем.

Сорвиголовами называли людей, которые отказывались трижды в день принимать таблетки для гуманного контроля рождаемости. За это им грозил штраф в размере 10000 долларов и 10 лет тюрьмы.

Дело было в ту пору, когда население земного шара составляло 17 миллиардов человек. Наша маленькая планета не могла выдержать столько млекопитающих разом. Люди в буквальном смысле теснились на Земле, как костяночки.

Костяночки — это такие сочные узелки, из которых состоят ягоды малины или ежевики.

Тогда Мировое правительство совершило двойной удар по перенаселению. Первый его этап заключался в том, что всюду стали активно пропагандировать гуманное самоубийство: каждый мог прийти в ближайший салон соответствующего Федерального агентства и попросить администратора безболезненно его умертвить. Вторым этапом правительство ввело обязательный контроль рождаемости.

Шериф сообщил администраторам — красавицам и умницам, — что все дороги уже перекрыты и полиция обыскивает каждый дом, поэтому Билли Поэта обязательно поймают. Беда только в том, что никто не знает, как он выглядит. Видели его одни женщины, и их показания относительно роста, голоса, веса, цвета кожи и волос преступника отчего-то не сходятся.

— Думаю, нет нужды напоминать, — продолжал шериф, — что любой сорвиголова крайне уязвим ниже пояса. Если Билли Поэт все же проскочит сюда и начнет безобразничать, один крепкий пинок по причинному месту научит его уму-разуму.

Здесь стоит пояснить, что законопослушные граждане, принимавшие таблетки для гуманного контроля рождаемости, ниже пояса ничего не

чувствовали.

Мужчинам казалось, что внизу у них чугун или пробковое дерево. Женщинам чудился влажный хлопок или выдохшийся имбирный эль. Таблетки были столь эффективны, что любой принявший их мужчина мог с завязанными глазами прочесть наизусть Геттисбергскую речь Линкольна, пока его от души колошматили по яйцам, и не пропустить ни единого слога.

Введение обязательного контроля рождаемости считалось гуманным, поскольку таблетки не лишали физической возможности продолжения рода — это было бы неестественно и бесчеловечно. Просто люди, которые их принимали, не получали никакого удовольствия от секса.

Так наука и мораль наконец пошли рука об руку.

Девушек-администраторов в Хайаннисе звали Нэнси Маклюэн и Мэри Крафт. Нэнси была рыжеватой блондинкой. Мэри — ослепительной брюнеткой. Обе носили форменную одежду: фиолетовые гимнастические костюмы на голое тело, черные кожаные сапоги, толстый слой туши на ресницах и белая помада. Салон у них был небольшой: всего шесть кабинок. В хорошую неделю, например перед Рождеством, они усыпляли до

шестидесяти человек. Делалось это с помощью специальной подкожной инъекции.

— Самое важное: помните, что все под контролем, — подытожил шериф Крокер. — Спокойно работайте и ничего не бойтесь.

— А вы ничего не забыли сказать? Про самое важное? — спросила его Нэнси.

— Простите?

— Вы не сообщили, что Билли Поэт направляется именно сюда, за нами.

Шериф неловко пожал плечами.

— Наверняка мы этого не знаем…

— Да ведь всем давно известно, чем славится Билли Поэт: он дефлорирует администраторов Федерального агентства по гуманным самоубийствам. — Нэнси была девственницей. Как и все администраторы агентства. Кроме того, все они обязательно защищали кандидатскую или докторскую по психологии и уходу за больными, были фигуристыми, румяными и рослыми — не меньше шести футов.

Америка изменилась во многом, но так и не перешла на метрическую систему.

Нэнси Маклюэн очень задело, что шериф пытается скрыть от них страшную правду о Билли Поэте: можно подумать, они испугаются и запа-

никуют. Она выразила свое недовольство.

— Как по-вашему, пугливая девушка долго продержится в ФАГС? — Она имела в виду Федеральное агентство по гуманным самоубийствам.

Шериф попятился и втянул подбородок.

— Недолго, должно быть.

— Вот именно, — кивнула Нэнси и подошла ближе, дав ему понюхать краешек своей ладони: она выбросила ее вперед, заняв боевую позу каратистки. Все администраторы прекрасно владели дзюдо и карате. — Если хотите узнать, какие мы беззащитные, попробуйте на меня напасть. Представим, что вы Билли Поэт.

Шериф покачал головой и елейно улыбнулся.

— Лучше не стоит.

— Как мудро с вашей стороны, — сказала Нэнси, отворачиваясь. Мэри едва сдерживала смех. — Мы нисколько не боимся. Напротив, мы злы. Впрочем, нет, он не заслуживает даже нашей злости. Нам попросту скучно! Какая тоска — этот негодяй преодолел столько миль, наделал столько шума, а все ради… — Нэнси не закончила фразу. — Несусветная чушь!

— А я злюсь не на него, а на женщин, которые сдаются ему без всякого сопротивления, — сказала Мэри, — сначала позволяют надругаться над

собой, а потом даже не могут сказать полиции, как он выглядит! И ведь это администраторы ФАГС, подумать только!

— Кое-кому надо почаще заниматься карате, — добавила Нэнси.

Не только Билли Поэт имел слабость к администраторам ФАГС, а все сорвиголовы. Они совершенно теряли голову от безумного полового влечения, больше не сдерживаемого таблетками, и все эти обтягивающие трико, сапоги, большие глаза и белые губы значили для них только одно: секс, секс, секс.

В действительности на уме у соблазнительных администраторов никакого секса не было и в помине.

— Если Билли пойдет проторенной дорожкой, то сначала изучит ваши привычки, распорядок дня и окрестности. Затем выберет одну жертву и пришлет ей по почте скабрезный стишок.

— Какой романтик, — сказала Нэнси.

— А иногда он звонит по телефону.

— Какой храбрец! — За плечом шерифа Нэнси разглядела почтальона, который шел к салону.

Над дверью одной из кабинок загорелась синяя лампочка: значит, клиенту что-то понадобилось. Все остальные кабинки в салоне были свободны.

Шериф спросил Нэнси, не может ли человек в кабинке быть Билли Поэтом.

— Если это так, я его сломаю как соломинку!

— Да нет, там же Сладкий Дедуля, — сказала Мэри. Сладкими Дедулями называли всех очаровательных старичков, которые часами болтали, шутили и вспоминали былое, прежде чем позволить администраторам ввести инъекцию.

Нэнси застонала.

— Мы уже два часа ломаем голову, чем ему поужинать напоследок!

Вошел почтальон: он принес единственный конверт, адресованный Нэнси и подписанный жирным карандашом. Она была потрясающе красива в своем негодовании, когда распечатывала его: конечно, письмо от Билли Поэта!

Нэнси оказалась права. В конверте лежал листок с четверостишием, но не его сочинения: то была старинная шуточная песенка, которая после всеобщего внедрения гуманного контроля рождаемости приобрела новый оттенок смысла. Тем же жирным карандашом Билли Поэт вывел такие строчки:

Ночью в парке я гуляю,
Бронзовых коней седлаю.

Вместо крупа конского
Твой воображаю.

Когда Нэнси вошла в кабинку, чтобы узнать, зачем ее позвали, Сладкий Дедуля лежал на изумрудно-зеленом шезлонге, на котором за последние пятьдесят лет мирно покинули этот мир сотни других людей. Он изучал меню из соседнего ресторанчика Говарда Джонсона и притоптывал в такт фоновой музыке, льющейся из динамика на лимонно-желтой шлакоблочной стене. В комнате было единственное окно, забранное решеткой снаружи и подъемными жалюзи изнутри.

Рядом с каждым салоном ФАГС обязательно располагался ресторан Говарда Джонсона — и наоборот. У ресторанов была оранжевая крыша, а у салонов — фиолетовая, но и те и другие принадлежали правительству. Практически все на Земле было правительственное.

И практически все делали машины. Нэнси, Мэри и шерифу повезло: у них хотя бы была работа. Большинство людей не могли этим похвастаться. Средний житель днями напролет торчал дома и смотрел телевизор — единственный правительственный канал. Каждые пятнадцать минут

телевизор призывал его голосовать с умом, потреблять с умом, молиться в любой церкви на выбор, любить ближнего своего, соблюдать законы — или сходить в ближайший салон ФАГС и лично убедиться, какими радушными и внимательными могут быть администраторы.

Сладкий Дедуля был представителем вымирающего вида: старый, лысый, с дрожащими руками в печеночных пятнах. Большинство современных людей независимо от возраста выглядели на двадцать два — благодаря специальным уколам, замедляющим старение, которые им делали дважды в год. Дряхлость старика была верным признаком того, что уколы изобрели уже после того, как улетела легкая птица его юности.

— Ну что, определились с последним ужином? — спросила Нэнси. Она услышала раздраженную нотку в своем голосе и устыдилась. Да, Билли Поэт вывел ее из себя, а старик ужасно надоел, но она не имела никакого права злиться. Это непрофессионально! — Панированные отбивные из телятины очень хороши.

Старик вскинул голову. Он заметил непрофессиональное раздражение в ее голосе и — из жадного старческого коварства — решил наказать администратора.

— Не очень-то вы любезны, — проворчал он. — Я думал, вам полагается быть любезными. Разве салон ФАГС не должен быть приятным и уютным местечком?

— Прошу прощения, — сказала Нэнси. — Если я вдруг показалась вам нелюбезной, то вы тут совершенно ни при чем.

— Мне показалось, я вам надоел.

— Ну что вы! — весело воскликнула она. — Ни капельки! Вы столько интересного рассказываете! — Помимо прочего Сладкий Дедуля якобы знал Дж. Эдгара Нэйшена, фармацевта из Гранд-Рапидса, который придумал контроль рождаемости.

— Тогда хотя бы сделайте вид, что вам интересно, — буркнул старик. Он мог позволить себе любое хамство и даже уйти, пока не попросил сделать укол. Делать укол, не дождавшись просьбы, было запрещено законом.

Искусство Нэнси и всех прочих администраторов ФАГС заключалось в том, чтобы не дать добровольцам уйти: терпеливо выслушивать, поддакивать и льстить до последнего.

Вот Нэнси и пришлось сидеть в кабинке, с напускным восхищением слушая стариковские россказни о том, что и так все знали со школы: как Дж. Эдгар Нэйшен ставил эксперименты по

контролю рождаемости.

— Он понятия не имел, что однажды эти таблетки будут принимать люди, — сказал Сладкий Дедуля. — Он ведь мечтал привить мораль обезьянам в зоопарке Гранд-Рапидса. Вы это знали? — строго вопросил старик.

— Нет-нет! Как интересно!

— Однажды на Пасху он со своими одиннадцатью детьми отправился в церковь. Стоял чудесный день, да и служба удалась на славу, так что сразу после церкви они решили прогуляться по зоопарку. Какие они были счастливые — словами не передать!

— Ага.

Сценка, описанная Сладким Дедулей, была из спектакля, который показывали по телевизору на каждую Пасху.

Сладкий Дедуля, разумеется, не мог не втиснуть себя в эту сцену: прямо перед визитом почтенного семейства в обезьянник он якобы заговорил с Нэйшенами.

— «Доброе утро, мистер Нэйшен!» — сказал я ему. «Утро доброе, — отозвался он. — А ведь и впрямь: какое замечательное утро! Только на Пасху человек чувствует себя таким чистым, переродившимся, воистину созданным по подобию

Божьему!»

— Угу. — Сквозь звуконепроницаемую дверь доносился едва уловимый, надоедливый телефонный звонок.

— Все вместе мы подошли к обезьяннику — и что же, как вы думаете, предстало нашим взорам?

— Понятия не имею! — Кто-то снял трубку.

— Одна обезьяна прямо на наших глазах принялась теребить свои половые органы!

— Да вы что!

— Именно так! И Дж. Эдгар Нэйшен так расстроился, что пошел домой и сразу приступил к созданию таблетки, которая бы не дала обезьянам по весне смущать христианских детей.

Раздался стук в дверь.

— Да?

— Нэнси, тебя просят к телефону, — сказала Мэри.

Когда Нэнси вышла из кабинки, шериф радостно повизгивал и буквально давился от полицейского восторга. Телефонную линию прослушивали его агенты, спрятавшиеся в ресторане Говарда Джонсона. Звонил, несомненно, Билли Поэт. Преступника выследили, и полиция уже мчалась на его поимку.

— Заговорите ему зубы, — прошептал шериф и с торжественным видом вручил Нэнси трубку, как будто это был золотой слиток.

— Слушаю, — сказала Нэнси.

— Нэнси Маклюэн? — спросил сильно искаженный мужской голос. — Я звоню вам от нашего общего друга.

— Неужели?

— Он просил вам кое-что передать.

— Ясно.

— Это стихотворение.

— Очень хорошо.

— Готовы?

— Готова. — Нэнси услышала на заднем плане вой полицейских сирен.

Звонивший тоже их услышал, но прочел стишок без малейшего намека на волнение:

— Обмажься лосьоном от кончиков пальцев до век, Демографический взрыв устроит один человек.

Они его поймали. Нэнси услышала все от начала до конца: грохот, лязг, гомон и крики.

А потом она повесила трубку, и ее охватила депрессия — эндокринные железы брали свое. Ее отважное тело приготовилось сражаться, а драки не случилось.

Шериф выскочил из салона ФАГС в такой спешке, что из кармана его плаща вылетела стопка бумаг.

Мэри подняла их и окликнула шерифа. Он на миг задумался, потом сказал, что в бумагах больше нет нужды, и предложил одной из девушек сходить с ним — посмотреть на Билли. Между девушками вспыхнул спор: Нэнси убеждала Мэри пойти, так как ей самой совершенно не хотелось видеть негодяя. Наконец Мэри ушла, перед этим сунув Нэнси стопку бумаг.

Оказалось, это фотокопии стихотворений, которые Билли рассылал администраторам других салонов. Нэнси прочла самое первое, в котором высмеивался один побочный эффект таблеток для контроля рождаемости: они не только лишали людей чувствительности ниже пояса, но и окрашивали мочу в голубой цвет. Стих назывался «Что рассказал Поэт одной администраторше» и звучал так:

Жил себе — ни жнец, ни швец,
Вот пришел мне и конец.
Я греха, клянусь, не знал,
Синькой травку поливал,
Ел под кровом апельсинным,

Пи́сал только ярко-синим,
А под крышею пурпурной
Попрощаюсь с жизнью бурной.
Дева, скорой смерти вестник!
Жизнь прелестна, ты прелестней.
Жаль, стручок мой в жизни той
Брызгал только бирюзой.

— Вы что же, никогда не слышали историю о том, как Дж. Эдгар Нэйшен изобрел гуманный контроль рождаемости? — осведомился Сладкий Дедуля надтреснутым голосом.

— Никогда, — солгала Нэнси.

— Я думал, это все знают.

— А я впервые слышу.

— Когда мистер Нэйшен навел порядок в обезьяннике, его стало не отличить от Мичиганского Верховного суда. Тем временем в США начинался кризис перенаселения. Люди ученые говорили, что пора прекращать размножаться такими темпами, а люди высокоморальные предрекли скорый конец обществу, в котором занимаются сексом ради удовольствия.

Сладкий Дедуля поднялся с шезлонга, подошел к окну и, раздвинув две планки жалюзи, выглянул на улицу. Смотреть там особо было не на

что: весь вид загораживал огромный термометр высотой в двадцать футов. Делениями обозначалось население Земли в миллиардах: от нуля до двадцати. Вместо красной жидкости у градусника была полоска прозрачного пластика, отмечавшая, сколько человек населяет планету в данный момент. Почти в самом низу на термометре нарисовали черную стрелку — каким должно быть население по мнению ученых.

Сладкий Дедуля посмотрел сквозь красный пластик на закат солнца. Лучи света, проходя через жалюзи, исполосовали его лицо красным и серым.

— А вот скажите, когда я умру, насколько опустится эта полоска? На фут?

— Нет.

— На дюйм?

— Не совсем.

— Вы ведь знаете точный ответ, не так ли? — спросил он, повернувшись к ней лицом. Дряхлость вдруг исчезла из его голоса и взгляда. — Один дюйм равняется 83 333 людям. Вы это знали, верно?

— Н-ну… может, это и правда, — проговорила Нэнси, — но лучше смотреть на нее немного иначе.

Старик не спросил, как именно надо смотреть на правду. Вместо этого он закончил собственную мысль:

— Давайте я открою вам другую правду: я Билли Поэт, а вы — знойная красотка.

Одной рукой он вытащил из-за пояса коротковольный револьвер, а второй сорвал с себя резиновую маску: лысину и морщинистый лоб. Теперь он выглядел на двадцать два, как и все остальные.

— Полиция потом спросит вас, как я выгляжу, — сказал он Нэнси, злодейски улыбаясь. — Поразительно, какая у женщин плохая память на лица! Если вы вдруг тоже не мастер описывать людей, запомните стишок:

Пять футов два дюйма,
Голубые глаза,
Темные длинные кудри.
Статен как клен,
Красив и умен,
От страсти дымится, как угли.

Билли был на десять дюймов ниже Нэнси. Она была тяжелее его фунтов на сорок и сказала, что у него нет шансов, но ошиблась. Билли заранее

снял решетку с окна и заставил Нэнси вылезти на улицу, а там — спуститься в лаз, вырытый под огромным термометром.

Билли повел ее по канализационным ходам Хайаннис-Порта. Он хорошо знал дорогу. У него были фонарик и карта. Нэнси шла первой по узкому выступу, и ее собственная тень насмешливо танцевала впереди. Пытаясь сообразить, где они находятся, Нэнси по звукам догадалась, что они под рестораном Говарда Джонсона: сами машины, готовившие и разносившие еду, работали бесшумно, но чтобы людям не было так одиноко за столиками, разработчики записали на пленку специальные звуковые эффекты. Их-то Нэнси и услышала: звон кухонной утвари, смех негров и пуэрториканцев.

А потом она сбилась с пути. Билли почти ничего не говорил, кроме: «Направо», «Налево» и «Не вздумай фокусничать, детка, не то я разнесу тебе башку».

Правда, однажды между ними завязалось что-то вроде светского разговора. Начал и закончил его Билли.

— На кой черт девушке с такими бедрами торговать смертью, а? — спросил он сзади.

Нэнси хватило храбрости остановиться.

— Я могу ответить, — сказала она, нимало не сомневаясь, что от ее ответа Билли съежится как от напалма.

Но он только пихнул ее в спину и в очередной раз пригрозил снести башку.

— Ты даже не хочешь меня слушать, — поддразнила его Нэнси. — Потому что боишься!

— Я никогда не слушаю женщин, пока не кончилось действие лекарства, — презрительно ответил Билли. Он думал продержать ее в заточении как минимум восемь часов — за это время таблетки переставали действовать.

— Глупое правило.

— Женщина не человек, пока на нее действует лекарство.

— Ну, в твоем присутствии женщина точно не чувствует себя человеком. Скорее вещью.

— Скажи спасибо таблеткам, — ответил Билли.

Под Хайаннисом пролегало 80 миль коммуникаций. Население города составляло 400 000 костяночек, 400 000 душ. Вскоре Нэнси потеряла счет времени. Когда Билли наконец объявил, что они прибыли на место, ей показалось, что прошел год.

Она решила проверить, так ли это, сверившись с химическими часами собственного тела — то

есть ущипнув себя за бедро. Оно по-прежнему ничего не чувствовало.

Билли велел ей забраться наверх по железным кольцам, торчавшим из влажной каменной кладки. Наверху белел кружок болезненного света: оказалось, лунного, — который сочился сквозь пластиковые многоугольники огромного геодезического купола. Нэнси не пришлось задавать традиционный вопрос жертвы похищения: «Где я?» Такой купол был лишь у одного здания на Кейп-Коде: оно находилось в Хайаннис-Порте и венчало собой старинную резиденцию Кеннеди.

Это был музей той жизни, которой жили люди в давние, свободные от контроля рождаемости времена. Музей не работал. Он открывался только на лето.

Лаз, из которого вышли Нэнси и Билли, был проделан в большом участке цемента, крашенном в зеленый цвет, — на этом самом месте когда-то зеленела лужайка Кеннеди. На зеленом цементе перед древними деревянными домами стояли четырнадцать представителей рода Кеннеди, в разное время бывшие президентами США или мира. Они играли в тач-футбол.

Президентом мира на момент похищения Нэнси, кстати, была бывшая администратор ФАГС

Мама Кеннеди. Ее статуя никогда бы не стала частью этой инсталляции. Да, фамилия у нее была Кеннеди, тут уж не поспоришь, но никто не принимал ее всерьез. Люди жаловались, что Маме не хватает стиля, считали ее вульгарной. На стене в ее кабинете висели таблички с такими надписями: «НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ СУМАСШЕДШИМ, ЧТОБЫ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ, НО ЭТО ПОМОГАЕТ», «ДУМАЙ!» и «КОГДА-НИБУДЬ НАМ ПРИДЕТСЯ НАВЕСТИ ТУТ ПОРЯДОК».

Кабинет президента находился в Тадж-Махале.

До самого прибытия в Музей Кеннеди Нэнси Маклюэн была убеждена, что рано или поздно ей представится случай переломать все косточки в жалком тельце Билли Поэта, а если повезет — застрелить мерзавца из его собственной пушки. Нэнси очень хотелось это сделать. Билли внушал ей такое же отвращение, как насосавшийся крови клещ.

Однако с этим планом пришлось повременить, и вовсе не потому, что она вдруг прониклась к Билли теплыми чувствами. Оказалось, что у него есть сообщники, целая банда: вокруг лаза стояло по меньшей мере восемь человек, мужчин и женщин поровну, головы и лица которых скрывали черные чулки. Женщины схватили Нэнси и

велели ей не шуметь. Все они были высокие, подтянутые и держали ее за весьма чувствительные места — чтобы при необходимости причинить чудовищную боль.

Нэнси закрыла глаза, но это не спасло ее от ужасного осознания: эти испорченные женщины были ее сестрами по ФАГС. Она так расстроилась, что не выдержала и прошипела:

— Как же вы посмели нарушить клятву?

Ей тут же сделали так больно, что она согнулась пополам и зарыдала.

Выпрямившись, Нэнси решила помалкивать, хотя ей было что сказать. Какие блага и соблазны могли заставить администраторов ФАГС попрать все моральные устои современного общества? Одной безголовостью этого не объяснишь. Должно быть, их накачали наркотиками.

Нэнси прокрутила в уме все ужасные препараты, о которых ей рассказывали в университете. Вероятно, эти женщины приняли самый страшный из них. Действие препарата было настолько мощным, что даже человек, ничего не чувствующий ниже пояса, готов был с радостью вступать в многочисленные половые акты, выпив всего один стакан. Да-да, наверняка причина крылась в этом: сообщницы Билли (и, вероятно, сообщни-

ки) пили джин.

Они завели Нэнси в деревянный дом, где стояла такая же темнота, как и везде, и сообщили Билли новости. Именно тогда в Нэнси проснулась надежда: похоже, скоро придет подмога!

Полицию им удалось одурачить: непотребный стишок по телефону читал вовсе не Билли Поэт, а один из членов банды. Это, конечно, плохо. Полиция пока не знала, что Нэнси похищена: преступники отправили Мэри Крафт телеграмму от ее имени, в которой сообщили, что Нэнси вызвали в Нью-Йорк по срочному семейному делу.

И вот тут-то в ней проснулась надежда: Мэри не поверит телеграмме. Мэри знает, что у Нэнси нет семьи в Нью-Йорке. Ни один из 63 000 000 жителей не приходился ей родственником.

Банде удалось снять сигнализацию со всего музейного комплекса. И еще они разрезали канаты и цепи, защищавшие ценные старинные вещи от рук посетителей. Нэнси сразу поняла, кто это сделал: у одного из мужчин был огромный секатор.

Нэнси провели в спальню для прислуги и уложили на узкую койку (человек с секатором предварительно разрезал ограждающий канат). Двое мужчин схватили ее за руки, а женщина вколола снотворное.

Билли Поэт куда-то исчез.

Пока Нэнси засыпала, женщина, сделавшая укол, спросила, сколько ей лет.

— Шестьдесят три, — прошептала она.

— И каково это — быть девственницей в шестьдесят три?

Собственный ответ донесся до Нэнси как сквозь бархатный туман и очень ее удивил, она попросту не могла такого сказать:

— Чувствуешь себя никчемной.

В следующий миг, едва выговаривая слова, она спросила женщину:

— Что вы мне вкололи?

— Что я тебе вкололa, лапушка? Ах ты моя лапушка, это называют «сывороткой правды».

Когда Нэнси проснулась, луна уже ушла с неба, однако утро еще не наступило. На окнах висели тяжелые шторы, в комнате горела свеча. Нэнси прежде никогда не видела горящей свечи.

Ее разбудил сон о комарах и пчелах. Комары и пчелы давно вымерли. Птицы тоже. Но Нэнси приснилось, что миллионы насекомых роятся вокруг ее бедер и ног. Они не кусались. Они ее обдували. Нэнси стала сорвиголовой.

Она снова провалилась в сон, а когда очнулась, ее вели в ванную комнату три женщины

— по-прежнему в чулках на голове. В ванной уже клубился пар: кто-то мылся до нее. На полу виднелись влажные следы босых ног, и в воздухе стоял запах хвойного одеколона.

После того как Нэнси выкупали, надушили и одели в белую ночную сорочку, воля и разум наконец вернулись к ней. Женщины немного отступили, чтобы полюбоваться делом своих рук, и тогда Нэнси тихо сказала:

— Пусть я теперь тоже из сорвиголов, но это не значит, что думать и действовать я должна, как они.

Никто не стал с ней спорить.

Нэнси спустили на первый этаж и вывели из дома. Она уже подумала, что снова придется лезть в люк, — а что, ничего удивительного: если Билли решил изнасиловать ее в канализации, обстановка вполне подходящая.

Но нет, ее провели по зеленому цементу, затем по желтому — на месте пляжа — и, наконец, вывели на синий, где раньше находилась пристань. Здесь стояло двадцать шесть яхт, некогда принадлежавших разным Кеннеди, — по ватерлинию в синем цементе. Нэнси повели в самую древнюю из этих яхт, «Марлин», хозяином которой был Джозеф П. Кеннеди.

Наступил рассвет. Из-за высоких многоквартирных домов вокруг Музея Кеннеди солнце проникло бы в этот микрокосм под геодезическим куполом лишь через час, не раньше.

Нэнси подвели к пяти ступенькам, ведущим в носовую каюту, и жестами велели спуститься туда одной.

Она на мгновение замерла, женщины тоже. На мостике яхты помещалось две статуи: за штурвалом стоял Фрэнк Виртанен, капитан «Марлин», а рядом — его сын и старпом Карли. Они не обращали никакого внимания не бедную Нэнси. Они смотрели сквозь стекло на голубой цемент.

Нэнси, босая и в тонкой ночной сорочке, храбро спустилась в носовую каюту, которая была залита светом свечей и запахом хвои. Люк над ее головой тут же закрылся.

Переживания Нэнси и старинная обстановка яхты были такими замысловатыми, что она не сразу различила Билли Поэта среди красного дерева и стекла в свинцовом переплете. Наконец она увидела его: он стоял в дальнем конце каюты, спиной к двери, ведущей на передний кокпит. На Билли была фиолетовая шелковая пижама с воротником-стойкой, красным кантом и золотым драконом на груди. Дракон изрыгал пламя.

Совершенно не увязываясь с антуражем, на носу у Билли сидели очки. Сам он держал в руках книгу.

Нэнси встала в боевую стойку на второй ступеньке снизу, крепко ухватилась за поручни и оскалила зубы. По ее подсчетам, только десять мужчин размером с Билли могли уложить ее на лопатки.

Между ними стоял огромный стол. Нэнси ждала, что в каюте главным предметом мебели окажется постель — в форме лебедя, возможно, — однако «Марлин» была прогулочной яхтой. Каюта не тянула на сераль. Она наводила на непотребные мысли не больше, чем среднестатистическая столовая в Акроне, штат Огайо, году эдак в 1910-м.

На столе горела свеча. Там же стояли ведерко для льда, два стакана и бутылка шампанского. Шампанское было запрещено законом, как и героин.

Билли снял очки, смущенно улыбнулся и сказал:

— Добро пожаловать!

— Я ни на дюйм не сдвинусь с этой ступеньки.

Он не стал возражать.

— Ничего, ты и там очень красивая.

— И что мне полагается говорить? Что ты дьявольски обворожителен и я испытываю непреодолимое желание утонуть в твоих мужественных объятиях?

— Ну, если бы ты захотела меня осчастливить, это был бы прекрасный способ, — скромно ответил Билли.

— А о моем счастье ты подумал?

Вопрос как будто озадачил его.

— Нэнси… ведь ради него все это и задумано.

— А если твои представления о счастье не совпадают с моими?

— И каковы же, по-твоему, мои представления о счастье?

— Я не подумаю кидаться в твои объятия и пить этот яд не подумаю! По собственной воле я не сдвинусь с этого места! — убежденно воскликнула Нэнси. — Так что твои представления о счастье, по-видимому, сводятся к тому, чтобы кликнуть сюда восемь человек, велеть им распластать меня на столе, храбро приставить дуло к моему виску и сделать свое дело! Иначе тебе это не удастся, так что вперед, зови свою шайку, и покончим с этим!

Так он и поступил.

Билли не причинил ей боли. Он лишил ее дев-

ственности с таким хирургическим мастерством, что Нэнси пришла в ужас. А когда все закончилось, он отнюдь не выглядел надменным или гордым. Наоборот, Билли охватило страшное уныние, и он сказал Нэнси:

— Поверь, если бы был другой способ…

Она ответила на это ледяным взглядом — и безмолвными слезами унижения.

Его сообщники откинули койку, крепившуюся к стене, — она оказалась шириной чуть не с книжную полку и держалась на цепях. Нэнси позволила уложить себя на койку, и их с Билли вновь оставили наедине. Крупная и высокая, она чувствовала себя как контрабас на книжной полке — жалкой и глупой вещью. Ее укрыли колючим армейским одеялом. Она взяла один уголок и прикрыла им лицо.

По звукам Нэнси догадывалась, что делает Билли, — впрочем, он почти ничего не делал. Сидел за столом, иногда шмыгая носом, и листал книгу. Потом он закурил сигару, и под одеяло проник вонючий дым. Билли затянулся, и его тут же разбил приступ кашля.

Наконец кашель затих, и Нэнси презрительно сказала сквозь одеяло:

— О, ты такой сильный, такой властный, такой

могучий! Наверное, хорошо быть таким здоровым и мужественным!

Билли только вздохнул.

— Я не такая, как вы, — сказала Нэнси. — Мне ни капельки не понравилось, это было ужасно, хуже некуда!

Билли шмыгнул и перевернул страницу.

— Наверно, все остальные женщины были в восторге, никак не могли насытиться?

— Не-а.

Она сняла с лица одеяло.

— Что значит «не-а»?

— Они все вели себя точно как ты.

От удивления Нэнси села и уставилась на Билли.

— И женщины, которые тебе сегодня помогали?..

— Да.

— Ты с ними так же обошелся?

Он ответил, даже не подняв головы:

— Ну да.

— Тогда почему они не убили тебя, а, наоборот, встали на твою сторону?

— Потому что все поняли, — ответил Билли. И мягко добавил: — Они мне благодарны.

Нэнси встала с койки, подошла к столу, опер-

лась на его край и наклонилась к Билли.

— Я тебе не благодарна! — прошипела она.

— Скоро будешь.

— Кто или что, позволь узнать, сотворит со мной это чудо?

— Время, — ответил Билли.

Он закрыл книгу и встал. Нэнси подивилась его мощному магнетизму: он вдруг снова стал хозяином положения.

— Нэнси… Через то, что ты пережила сегодня, раньше проходила каждая невеста — даже в семьях с самыми пуританскими нравами. Жених, правда, обходился без помощников, поскольку невеста обычно не хотела его изничтожить, но общий дух события почти ничем не отличался. Эту пижаму надел мой прапрадедушка в свою первую брачную ночь на водопаде Ниагара. Если верить его дневнику, невеста рыдала всю ночь и ее дважды вырвало. Но со временем она стала большой любительницей плотских утех.

Пришел черед Нэнси отвечать гробовым молчанием. Она поняла, что он хочет сказать, и пришла в ужас при мысли, что сексуальное влечение может расти и расти, как бы отвратителен ни был первый опыт.

— Если ты отважишься подумать об этом, то

поймешь: ты злишься, потому что я плохой любовник и на вид больше похож на смешную креветку. Теперь все твои мысли будут о достойном партнере, таком же красивом и статном, как ты. И ты найдешь его, поверь: высокого, сильного и нежного. Движение сорвиголов растет не по дням, а по часам.

— Но… — хотела возразить Нэнси и умолкла. Сквозь иллюминатор она увидела восходящее солнце.

— Что «но»?

— Мир погряз в этом хаосе именно из-за сорвиголов. Ты что, не понимаешь? Люди больше не могут позволить себе секс!

— Что ты, секс всегда можно себе позволить. Вот размножение надо прекращать, это да.

— Зачем тогда придумали законы?

— Это неправильные законы, — сказал Билли. — Если вспомнить историю, то люди, которые больше всего хотели властвовать, создавать законы, насаждать их и рассказывать остальным, как на самом деле всемогущий Господь устроил жизнь на Земле, — эти люди спускали себе и своим друзьям любые преступления. Но естественное влечение простых мужчин и женщин друг к другу отчего-то всегда внушало им ужас.

Почему это так, мне непонятно до сих пор. Хорошо бы кто-нибудь задал этот вопрос — в числе многих других — машинам. Но вот что я знаю наверняка: сегодня ужас и отвращение почти победили. Практически все женщины и мужчины на планете чувствуют себя никчемными уродинами. Единственную красоту мужчина видит в лице убивающей его женщины. Секс — это смерть. Вот оно, короткое и поистине страшное уравнение: секс равно смерть, что и требовалось доказать.

— Теперь ты понимаешь, Нэнси, — продолжал Билли, — что я провел эту ночь и много ей подобных в попытке вернуть хотя бы малую толику чистого удовольствия нашему миру, в котором почти не осталось удовольствий.

Нэнси сидела молча, склонив голову.

— Давай я расскажу тебе, что сделал мой дедушка на рассвете после брачной ночи, — сказал Билли.

— Я не хочу слушать.

— Но в этом нет ничего плохого или грязного. Это… очень нежно.

— Может, потому я и не хочу слушать.

— Он прочел своей жене стихотворение. — Билли взял со стола книгу, раскрыл на нужной

странице. — В его дневнике написано, какое именно. Хоть мы с тобой не жених и невеста, да и вряд ли еще когда-нибудь увидимся, я хочу прочесть тебе эти строки, чтобы ты поняла, как я тебя любил.

— Прошу… не надо. Я не выдержу.

— Хорошо, я оставлю книгу здесь — на случай если ты все-таки захочешь его прочесть. Стих начинается так:

Как я тебя люблю? Люблю без меры,
До глубины души, до всех ее высот,
До запредельных чувственных красот,
До недр бытия, до идеальной сферы[63].

Билли поставил на книгу маленький пузырек.

— Еще оставляю тебе эти таблетки. Если принимать по одной в месяц, детей у тебя не будет, но ты по-прежнему останешься сорвиголовой.

С этими словами он ушел. Все ушли, кроме Нэнси.

Она подняла голову и увидела на пузырьке этикетку с надписью: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБЕЗЬЯННИК».

---

[63] Примечания: 63

Сонет № 43 из цикла «Португальские сонеты» Элизабет Баррет-Браунинг. *Пер. В. Савина.*

Адам

© Перевод. С. Лобанов, 2020

Родильный дом в Чикаго. Полночь.

— Мистер Суза, — сказала медсестра, — ваша жена родила дочь. Минут через двадцать ребенка принесут.

— Знаю, знаю, знаю, — мрачно проворчал гориллоподобный мистер Суза, явно не в духе: вновь придется выслушивать утомительные и однообразные пояснения. Нетерпеливо щелкнул пальцами: — Девчонка! Уже седьмая! Теперь у меня семь дочек. Полный дом баб. Я бы легко отдубасил и десятерых здоровяков вроде себя самого, но вот родятся у меня только девки!

— Мистер Кнехтман, — обратилась сестра ко второму посетителю. Фамилию она произнесла небрежно, как и все американцы: Нетман. — Простите, о том, как дела у вашей жены, пока неизвестно. Вот уж кто заставляет нас ждать, правда?

Сестра бросила ему пустую улыбку и ушла.

Суза обернулся:

— Конечно, если наследник нужен какому-ни-

будь сукину сыну вроде тебя, Нетман, то бац! — и мальчишка готов. Потребуется тебе футбольная команда, бац, бац, бац! — и вот тебе одиннадцать.

Суза, сердито топая, вышел из комнаты.

Он оставил Хайнца Кнехтмана, гладильщика из химчистки, в комнате в полном одиночестве. У невысокого, с тощими запястьями гладильщика был больной позвоночник, отчего мистер Кнехтман всегда сутулился, словно устал когда-то давно и на всю жизнь. Смирение и покорность, навеки застывшие на тонкогубом и носатом вытянутом лице, почему-то невыразимо его красили. Огромные карие, глубоко посаженные глаза смотрели из-под длинных ресниц. Ему было всего двадцать два, однако казался он гораздо старше. Он умирал понемногу, умирал каждый раз, когда фашисты забирали и убивали кого-то из его семьи, пока не остался лишь один он, десятилетний Кнехтман, душа, приютившая фамильное семя и искру жизни. Вместе с женой Авхен они выросли за колючей проволокой.

Вот уже двенадцать часов он не отрывал взгляда от стены приемного покоя, с полудня, когда схватки у жены стали постоянными, как накаты огромных морских волн где-то вдалеке, в миле

от них. То был второй ребенок. В прошлый раз Хайнц ждал на соломенной циновке в лагере для перемещенных лиц в Германии. Ребенок, Карл Кнехтман, названный в честь отца Хайнца, умер, и с ним еще раз погибло имя одного из талантливейших виолончелистов мира.

И вот он ждет во второй раз; ждет не смыкая глаз, и лишь на мгновение, когда онемение от изнуряющей мечты отпускает его, в голове Хайнца вихрем проносятся имена — гордость семьи. Этих людей уж нет, никого не осталось. Зато их можно возродить в новом живом существе, только бы оно выжило. Хирург Петер Кнехтман, ботаник Кролль Кнехтман, драматург Фридрих Кнехтман. Он смутно помнил родительских братьев. А если будет девочка и если выживет, то он назовет ее Хельгой Кнехтман, в честь матери, и выучит играть на арфе, как играла матушка. И вырастет Хельга красавицей, хоть отец ее и безобразен. Мужчины Кнехтманы всегда были безобразны, зато женщины — прелестны, как ангелы, хоть и не ангелы. И так было всегда, века и века.

— Мистер Нетман, — наконец-то вернулась сестра, — у вас мальчик, и жена прекрасно себя чувствует. Она сейчас отдыхает. Вы увидитесь утром. Ребеночка вы сможете увидеть через два-

дцать минут.

Хайнц ошалело уставился на нее.

— Пять фунтов девять унций, — сообщила она и ушла, унеся свою деланую улыбку и противно скрипя каблуками.

— Кнехтман, — тихонько произнес Хайнц, поднимаясь и сутуло кланяясь стене, — моя фамилия Кнехтман.

Он поклонился еще раз и улыбнулся — учтиво и в то же время ликующе. Он произнес фамилию по-старомодному, с четким европейским акцентом, словно хвастливый лакей, возвещающий приезд господина, гортанно и раскатисто, непривычно грубо для американского уха:

— КхххххНЕХТ! Маннннн!

— Мистер Нетман?

Доктор, совсем еще юнец, розоволицый, рыжий и коротко стриженный, стоял в дверях приемной. Под глазами темнели круги, он безудержно зевал.

— Доктор Пауэрс! — воскликнул Хайнц, схватив его правую руку обеими своими. — Слава богу, слава богу, слава богу и спасибо вам!

— Угу, — промямлил Пауэрс и вымученно улыбнулся.

— Все ведь прошло как надо?

— Как надо? — Пауэрс зевнул. — Ну конечно, конечно. Все просто прекрасно. У меня такой разбитый вид оттого, что я уже тридцать шесть часов на ногах. — Он закрыл глаза, оперся о дверной косяк. — Нет, с вашей женой все прекрасно, — продолжил он голосом далеким и измученным, — она просто создана рожать детей, печет их как пончики. Для нее это проще простого. Вжик, и готово.

— Правда? — недоверчиво удивился Хайнц.

Доктор Пауэрс помотал головой, пытаясь проснуться.

— У меня мозги совсем набекрень съехали. Это Суза, я перепутал вашу жену с женой мистера Сузы. Они пришли к финишу вместе. Нетман. Вы ведь Нетман. Простите. У вашей жены проблемы с костями таза.

— Это от недоедания в детстве, — ответил Хайнц.

— Ага. Вообще ребенок родился хорошо, но если планируете еще детей, то лучше кесарить. Просто чтоб подстраховаться.

— У меня нет слов, чтобы вас отблагодарить, — с чувством сказал Хайнц.

Доктор Пауэрс облизнул губы, изо всей силы стараясь не закрыть глаза.

— Да ниче. Все норм, — заплетающимся языком ответил доктор. — Спокночи. Удачи.

Волоча ноги, он прошаркал в коридор.

— Теперь можете пойти посмотреть на ребенка, мистер Нетман.

— Доктор, — не унимался Хайнц, поспешив в коридор и снова хватая Пауэрса за руку, чтобы тот понял, какое чудо только что совершил, — это самое восхитительное, что только могло случиться.

Двери лифта скользнули и закрылись между ними раньше, чем Пауэрс нашел силы отреагировать.

— Сюда, пожалуйста, — показала сестра. — До конца коридора и налево, там окно в палату для новорожденных. Напишете свое имя на бумажке и покажете через стекло.

Хайнц прошел по коридору в одиночестве, не встретив ни души до самого конца помещения. Он увидел их — наверное, целую сотню — по ту сторону огромной стеклянной стены. Они лежали в маленьких парусиновых кроватках, расставленных ровными рядами.

Хайнц написал свое имя на обратной стороне талона из прачечной и прижал его к стеклу. Полусонная толстуха сестра мельком глянула на

бумажку, не удосужив самого Хайнца взглядом, а потому не увидела ни его широченной улыбки, ни приглашения разделить восторг.

Выхватив из ряда одну кроватку на каталке, она подошла к прозрачной стене и отвернулась, снова не заметив радости отца.

— Привет тебе, привет, привет, маленький Кнехтман! — Хайнц обратился к лиловой сливке по ту сторону стекла.

Его голос эхом разлетелся по гулкому пустому коридору и вернулся, оглушив смутившегося Хайнца. Тот покраснел и сказал уже тише:

— Маленький Петер, маленький Кролль, — нежно проговорил отец, — малютка Фридрих, и Хельга в тебе тоже есть. По искорке от каждого Кнехтмана, и набралась целая сокровищница. Все, все сохранилось в тебе.

— Потише, пожалуйста! — Откуда-то из соседней комнаты высунулась голова сестры.

— Простите! — смутился Хайнц. — Пожалуйста, простите!

Он прикусил язык и принялся легонько постукивать ногтем по стеклу — так ему хотелось, чтоб ребенок взглянул на отца. Но юный Кнехтман ни в какую не собирался смотреть, ни в какую не соглашался разделить отцовское счастье, и

вскоре сестра унесла новорожденного.

Хайнц лучился радостью, спускаясь в лифте, пересекая вестибюль роддома, однако никто на него и не взглянул. Он миновал телефонные кабинки. В одной из них за открытой дверью стоял солдат, с которым Хайнц час назад ждал вестей в приемном покое.

— Да, ма, семь фунтов шесть унций. Лохматая, как медвежонок. Нет, имя еще не подобрали… Да все как-то времени не было… Это ты, па? Угу, и с мамочкой, и с дочкой все нормально. Семь фунтов шесть унций. Нет, не подобрали… Сестренка? Привет! А не пора ли тебе спать?.. Ни на кого она пока не похожа… Дай-ка мне маму… Ма, ты?.. Ну вот пока и все новости у нас в Чикаго. Ма, ма… Ну ладно тебе… Не волнуйся ты так… Чудесный ребеночек… Просто волосиков — как у медвежонка… Да это я так, в шутку… Да, да, семь фунтов шесть унций…

Остальные пять кабинок пустовали, из любой можно было позвонить куда угодно на Земле. Как же хотелось Хайнцу подойти к телефону, позвонить, сообщить чудесную новость!.. Но звонить было некому, никто не ждал вестей.

Не переставая улыбаться, он пересек улицу и зашел в тихое местечко. В промозглом полумраке

сидели двое, глаза в глаза, — бармен и мистер Суза.

— Что закажете, сэр?

— Позвольте угостить вас и мистера Сузу, — предложил Хайнц с необычной для него щедростью, — лучшим бренди, что у вас есть. Моя жена только что родила.

— Правда? — вежливо поинтересовался бармен.

— Пять фунтов девять унций, — сообщил Хайнц.

— Хм, — ответил бармен, — кто бы мог подумать…

— Ну, — спросил Суза, — и кто у тебя, Нетман?

— Мальчик, — гордо произнес Хайнц.

— Кто бы сомневался, — досадливо поморщился Суза. — У чахлых так всегда, все время только у чахликов вроде тебя.

— Мальчик, девочка, — не согласился Хайнц, — какая разница? Главное — выжил. В роддоме все стоят слишком близко к чуду, чтобы его разглядеть. А там каждый раз творится чудо, возникает новый мир.

— Вот погоди, будет у тебя их семеро, Нетман, — проворчал Суза, — тогда и поговорим о чудесах.

— У тебя семеро? — оживился бармен. — Значит,

я тебя переплюнул на одного. У меня восемь.

Он налил три порции.

— Да по мне, — расщедрился Суза, — так с радостью уступлю первое место.

Хайнц поднял стакан:

— За долгую жизнь, талант и счастье… счастье Петера Карла Кнехтмана!

Он проговорил это на одном дыхании, сам подивившись смелости принятого решения.

— Громко сказано, — заметил Суза, — можно подумать, ребенок весит фунтов двести.

— Петер был известным хирургом, — объяснил Хайнц, — и двоюродным дедом моего сына. Он умер. Карлом звали моего отца.

— Что ж, за Петера Карла Нетмана. — Суза быстро опрокинул стакан.

— За Пита, — выпил и бармен.

— А теперь за вашу дочурку, — предложил Хайнц.

Суза вздохнул и утомленно улыбнулся.

— За нее, дай ей Боже.

— А теперь мой тост, — бармен замолотил кулаком по стойке, — и выпьем стоя. Встаем, встаем, все встаем!

Хайнц поднялся, держа стакан высоко. Каждый сейчас был его лучшим другом, он приготовился

выпить за все человечество, частью которого все еще были Кнехтманы.

— За «Уайт сокс»! — заорал вдруг бармен.

— За Миносо, Фокса и Меле! — поддержал Суза.

— За Фейна, Лоллара и Риверу! — не унимался бармен. Он обратился к Хайнцу: — Пей, парень! За «Уайт сокс»! Только не говори мне, что ты за «Кабз»!

— Нет. — Хайнц не скрывал разочарования от такого поворота. — Я… я не очень-то увлекаюсь бейсболом. — Собеседники вдруг показались ему такими далекими и чужими. — Последнее время я вообще ни о чем, кроме как о ребенке, думать не мог.

Бармен тут же переключил все свое внимание на Сузу.

— Слушай, — с воодушевлением заговорил он, — вот если бы они сняли Фейна с первой и поставили на третью, а Пирса на первую, а потом бы переставили Миносо с левого поля на шорт-стоп… Понимаешь меня?

— Ага, ага. — У Сузы загорелись глаза.

— А потом берем этого бездаря Карраскела и…

Хайнц снова оказался в одиночестве, а между ним и любителями бейсбола вдруг возникли двадцать футов барной стойки. С таким же успехом

они могли оказаться на разных континентах.

Он безрадостно допил бренди и тихо ушел.

На вокзале он ждал поезд домой, в Саут-Сайд. Радость вдруг опять нахлынула — он увидел парня, что работал с ним в гладильной. Парень был с девушкой. Они весело смеялись и обнимали друг друга за талии.

— Гарри, — позвал Хайнц и заспешил к ним, — Гарри, угадай, что случилось?

Хайнц улыбался от уха до уха.

Гарри, высокий щеголеватый курносый юнец, слегка удивившись, взглянул на Хайнца свысока:

— А, Хайнц. Привет. Ну что там у тебя стряслось?

Девица уставилась на него недоуменно, словно спрашивая, чего это в такой неурочный час к ним пристает такой несуразный человек. Хайнц заметил усмешку в ее глазах и отвернулся, чтобы не встречаться с ее взглядом.

— Ребенок, Гарри, мне жена ребеночка родила!

— Ого! — Гарри протянул ему руку. — Ну, поздравляю! — Рука была мягкой. — Вот это здорово, Хайнц, просто здорово.

Он отпустил руку и замолчал, ожидая, что Хайнц скажет что-то еще.

— Да, да, всего час назад. — Хайнц не заставил ждать. — Пять фунтов девять унций. В жизни не был так счастлив!

— Да это же просто здорово, Хайнц. Представляю, как ты рад.

— Вот это да, — добавила девица.

Повисло долгое молчание, все трое переминались с ноги на ногу.

— Чудесная новость, — нашелся наконец Гарри.

— Да, — быстро ответил Хайнц, — и это, в общем, все, что я хотел тебе сказать.

— Спасибо, — поблагодарил Гарри, — рад был узнать.

Вновь повисло неловкое молчание.

— До встречи на работе. — Хайнц с беспечным видом зашагал к своей скамейке, однако побагровевшая шея выдавала: чувствовал он себя по-дурацки.

Девица захихикала.

Дома, в своей маленькой квартирке, в два часа ночи Хайнц разговаривал сам с собой, с пустой колыбелькой, с кроватью. Он говорил по-немецки, на языке, на котором поклялся больше никогда не говорить.

— Им все равно, — ворчал Хайнц. — Они все

слишком заняты, заняты, заняты и не замечают жизни, не чувствуют ее. Ну подумаешь, родился ребенок. — Он пожал плечами. — Что может быть банальнее? Какой глупец захочет говорить об этом, кто хоть на мгновение допустит, что это важно или интересно?

Он распахнул окно в летнюю ночь, выглянул на залитое лунным светом ущелье серых деревянных крылечек и мусорных баков.

— Нас слишком много, мы слишком разобщены, — произнес Хайнц. — Подумаешь, родился еще один Кнехтман, или еще один О'Лири, или Суза. Ну так и что? Не все ли равно? Что изменилось? Да ничего!

Он лег, не раздеваясь и не застилая постели, поворчал, повздыхал и заснул.

Хайнц проснулся в шесть, как всегда. Выпил чашку кофе и под маской анонимной вседозволенности растолкал других пассажиров в пригородном поезде; толкали и его. Ни единому чувству Хайнц не позволил показаться на лице. То было просто лицо, такое же, как у всех, не способное ни удивляться, ни восхищаться, ни радоваться, ни сердиться.

Он прошел по городу и добрался до роддома, безликий, серый, неинтересный человек, такой

же, как все.

В роддоме он вел себя спокойно и целеустремленно, предоставив врачам и сестрам суетиться вокруг него. Его отвели в палату, где Авхен спала за белой ширмой, и здесь, рядом с ней, он почувствовал то же самое, что и всегда, — любовь, захватывающий дух восторг и благодарность.

— Смелее, мистер Нетман, можете осторожно разбудить ее, — сказала сестра.

— Авхен, — легонько коснулся он белого халата на плече. — Авхен. Как ты себя чувствуешь, Авхен?

— М-м-м?.. — пробормотала жена. Приоткрылись узкие щелочки глаз. — Хайнц. Здравствуй, Хайнц.

— Ты хорошо себя чувствуешь, любимая?

— Да, да, — шепнула она. — Чудесно. Как ребеночек, Хайнц?

— Прекрасно, прекрасно, Авхен.

— Им нас не уничтожить, правда, Хайнц?

— Никогда.

— Мы ведь живы, живее некуда.

— Да.

— Ребеночек, Хайнц. — Теперь она широко распахнула темные глаза. — Ведь нет на свете ничего чудеснее, правда?

— Ничего, — сказал Хайнц.

Завтра, и завтра, и завтра…

© Перевод. И. Доронина, 2020

Шел 2158 год от Рождества Христова; Лу и Эмералд Шварц шептались на балконе квартиры, принадлежавшей семье Лу, на семьдесят шестом этаже строения 257 в Олден-виллидж — жилом комплексе Нью-Йорка, занимавшем территорию, некогда известную под названием Южный Коннектикут. Когда Лу и Эмералд поженились, родители Эм чуть не плача утверждали, что их брак — это союз мая с декабрем; но теперь, когда Лу исполнилось сто двенадцать, а Эм — девяносто три, родители Эм вынуждены были признать, что пара состоялась.

Однако жизнь Эм и Лу не была безмятежной, вот и сейчас они, несмотря на мороз, вышли на балкон, чтобы обсудить свои невзгоды.

— Иногда он так бесит меня, что я готова втихую разбавить его антигерасон, — сказала Эм.

— Эм, это было бы против Природы, — сказал Лу. — Чистой воды убийство. А кроме того, если Дедуля заметит, как мы химичим с его антигерасоном, он не только лишит нас наследства, он

мне шею свернет. Ему хоть и сто семьдесят два, но он силен как бык.

— Против Природы, — передразнила его Эм. — Кто теперь знает, какая она, Природа? О-хо-хо! Не думаю, что я в самом деле смогла бы разбавить его антигерасон или сделать еще что-нибудь подобное, но, черт возьми, Лу, мысль о том, что Дедуля никогда не уйдет, если кто-нибудь ему чуточку не поможет, сама собой лезет в голову. Ты же видишь: здесь такая теснота, что повернуться негде, а Верна до смерти хочет ребенка, и у Мелиссы уже тридцать лет не было детей. — Она топнула ногой. — Меня тошнит, когда я вижу его сморщенную от старости рожу, смотрю, как он блаженствует в единственной отдельной комнате, наслаждается лучшим креслом, лучшей едой, единолично решает, что нам всем смотреть по телевизору, и манипулирует нашими жизнями, постоянно меняя завещание.

— Ну, в конце концов, — робко возразил Лу, — Дедуля действительно глава семьи. А что касается морщин, то это не его вина. Когда изобрели антигерасон, ему уже было семьдесят. Он уйдет, Эм. Просто нужно подождать. Дать ему время принять решение. Я знаю, с ним трудно жить под одной крышей, но ты потерпи. Если сердить его,

ничего хорошего не выйдет. Как-никак нам все же лучше, чем другим: у нас хоть кушетка есть.

— И как долго, по-твоему, мы еще проспим на этой кушетке, прежде чем он выберет себе другого домашнего любимчика? Кажется, мировой рекорд составил два месяца?

— Да, вроде бы, мама с папой однажды продержались именно столько.

— Когда же он уйдет, Лу? — воскликнула Эмеральд.

— Ну, он поговаривает о том, чтобы прекратить принимать антигерасон сразу после гонок на пятьсот миль.

— Да, а до того была Олимпиада, а еще раньше — чемпионат США по бейсболу, а до него — президентские выборы, а до них я уж и не помню что. Вот уже пятьдесят лет он находит один предлог за другим. Сомневаюсь, что нам когда-нибудь достанется отдельная комната, или хотя бы яйцо, или вообще что бы то ни было.

— Ладно, можешь считать меня неудачником, — сказал Лу. — Но что я могу сделать? Я пашу как лошадь и неплохо зарабатываю, но практически всё съедают налоги — на оборону и на пенсии старикам. Да даже если бы и не съедали, где, как ты думаешь, мы смогли бы найти свободную

съемную комнату? Разве что в Айове. Но кто же захочет жить в окрестностях Чикаго?

Эм обняла его за шею.

— Лу, милый, я не считаю тебя неудачником. Видит Бог, ты не неудачник. У тебя просто никогда не было возможности стать кем-нибудь или что-нибудь иметь, потому что Дедуля и остальные его ровесники не уходят и никому не дают занять их место.

— Да-да, — уныло согласился Лу. — Но вообще-то их и винить за это нельзя. Хотел бы я знать, как скоро мы сами откажемся от антигерасона, когда доживем до Дедулиного возраста.

— Иногда мне хочется, чтобы никакого антигерасона не существовало! — горячо воскликнула Эмералд. — Или чтобы он изготавливался из чего-нибудь супердорогого и труднодоступного, а не из ила и одуванчиков. И чтобы люди просто безропотно умирали в положенный срок вместо того, чтобы самим решать, сколько еще ошиваться на этом свете. Нужно принять закон, запрещающий продавать это зелье тем, кому перевалило за сто пятьдесят.

— Маловероятно, — ответил Лу, — притом что все деньги и все голоса в руках у стариков. — Он пристально посмотрел на нее. — Вот ты сама, Эм,

готова взять и умереть?

— Господь с тобой, милый! Сказать такое родной жене! Мне еще и ста нет. — Как бы в подтверждение она легко провела ладонями по своей подтянутой моложавой фигуре. — Лучшие годы у меня еще впереди. Но можешь быть уверен: как только впереди замаячат сто пятьдесят, старушка Эм выльет свой антигерасон в раковину и перестанет занимать чужое место, причем сделает это с улыбкой.

— Знаю-знаю, как же, — сказал Лу. — Все так говорят. А слышала ли ты когда-нибудь, чтобы кто-то так поступил?

— Был один человек в Делавэре.

— Тебе не надоело говорить о нем, Эм? Это было пять месяцев тому назад.

— Ладно, тогда… Бабуля Уинклер, прямо отсюда, из этого дома.

— Ее размазало по рельсам в метро.

— Просто она выбрала такой способ уйти, — не сдавалась Эм.

— Тогда с чего бы при ней была упаковка из шести флаконов антигерасона, когда она попала под поезд?

Эмералд устало покачала головой и закрыла глаза.

— Не знаю, не знаю… Единственное, в чем я уверена, так это в том, что надо что-то делать. — Она вздохнула. — Иногда мне хочется, чтобы нам все же оставили одну-две болезни, — можно было бы хоть захворать и немного отлежаться в постели. На Земле слишком много народу! — выкрикнула она, и ее слова, кудахтаньем прокатившись по тысячам залитых асфальтом и зажатых между небоскребами внутренних дворов, замерли вдали.

Лу нежно положил руку ей на плечо.

— Ну же, милая, я так не люблю, когда ты впадаешь в уныние.

— Если бы у нас, как у многих в прежние времена, была машина, — сказала Эм. — Мы могли бы ездить куда-нибудь и хоть немного отдыхать от людей. Эх, *были же* времена!

— Да, — согласился Лу, — до того как извели весь металл.

— Мы бы запрыгнули в нее, подкатили к заправочной станции и скомандовали: «Под завязку!»

— И правда, это было здорово, пока не израсходовали весь бензин.

— И мы бы отправились в беззаботную поездку за город.

— Да… Теперь все это кажется волшебной стра-

ной, правда, Эм? Трудно поверить, что между городами когда-то было столько простора.

— А проголодавшись, — продолжала Эм, — мы бы нашли ресторанчик, вошли в него, и ты, как бывало, сказал бы: «Думаю, я возьму стейк с картошкой фри» или: «Как у вас сегодня свиные отбивные?» — Она облизнула губы, глаза у нее сияли.

— Да уж! — пробасил Лу. — А как насчет гамбургера со всякой всячиной, Эм?

— *Мммммммммммммммммм!*

— Если бы тогда кто-то предложил нам переработанные водоросли, мы бы плюнули ему в лицо, да, Эм?

— Или переработанные опилки, — подхватила Эм.

Лу все же упорно пытался найти хорошие стороны в сложившейся ситуации.

— Тем не менее, теперь все это научились перерабатывать так, что вкус водорослей и опилок почти не чувствуется; к тому же говорят, что наша нынешняя еда гораздо здоровее, чем то, что мы ели раньше.

— Не помню, чтобы я жаловалась на здоровье при старой еде! — задиристо воскликнула Эм.

Лу пожал плечами.

— Ну, надо же понимать, что Земля не смогла бы прокормить двенадцать миллиардов людей, если бы не начала использовать водоросли и опилки. Так что это прекрасный выход. Я так думаю. И все так говорят.

— Да люди-то говорят все, что первым взбредет в голову, — огрызнулась Эм. Она закрыла глаза. — Черт возьми, Лу, ты помнишь тогдашние магазины? Как там все из кожи вон лезли, стараясь угодить, чтобы у них что-нибудь купили. И не нужно было ждать чьей-нибудь смерти, чтобы получить в свое распоряжение кровать, кресло, плиту или еще что-то. Просто входишь и — вуаля — покупаешь что хочешь. Как же здорово было, пока не израсходовали все сырье. Я тогда была еще ребенком, но помню все как сейчас.

Подавленный, Лу лениво подошел к балконным перилам и посмотрел вверх, на холодные яркие звезды, сверкавшие в черной бархатной бесконечности.

— А помнишь, Эм, как мы были помешаны на научной фантастике? «Рейс семнадцать отправляется на Марс, стартовая платформа двенадцать. Всем занять места на борту! Всех, кто не принадлежит к техническому персоналу, просим оставаться в бункере. Десять секунд до старта…

девять… восемь… семь… шесть… пять… четыре… три… две… старт! Режим полной тяги!» Ж-ж-ж-ж-а-х-х-х-х!

— И не нужно тревожиться о том, что происходит на Земле, — подхватила Эм, вместе с ним глядя на звезды, — если через несколько лет мы все будем лететь сквозь космическое пространство, чтобы начать новую жизнь на другой планете.

Лу вздохнул.

— Только выяснилось, что нужна конструкция размером в два Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы доставить на Марс одного хилого будущего колониста. Еще за пару триллионов долларов он мог бы взять с собой жену и собаку. *Только так* можно справиться с перенаселением — посредством *эмиграции*!

— Лу?..

— Что?

— А когда состоятся гонки на пятьсот миль?

— Гм… в День поминовения[64], тридцатого мая.

---

[64] Примечания: 64

День поминовения (англ. *Memorial Day*) — национальный день памяти в США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая и посвященный памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.

Она прикусила губу.

— Ужасно было с моей стороны задавать такой вопрос, правда?

— Да нет, не то чтобы очень. Все насельники этой квартиры, полагаю, уже давно уточнили дату.

— Не хочу показаться бессердечной, — сказала Эм, — но порой, когда проговариваешь эти вещи вслух, они словно бы отпускают тебя на время.

— Конечно. Тебе стало немного легче?

— Да… И я больше не позволю себе распускаться, буду с ним приветлива настолько, насколько это в моих силах.

— Умница. Моя Эм.

Они расправили плечи, храбро улыбнулись друг другу и вошли в квартиру.

Старик Шварц по прозвищу Дедуля, чей подбородок покоился на руках, в свою очередь покоившихся на загнутой крюком ручке трости, раздраженно пялился в пятифутовый телевизионный экран, занимавший главенствующее положение в комнате. Комментатор отдела новостей подводил итог событиям дня.

С интервалом секунд в тридцать Дедуля с размаху втыкал в пол острие трости и вопил:

— Черт! Да мы это делали еще сто лет назад!

Вернувшись с балкона, Лу и Эмералд были вынуждены занять места в последнем ряду, позади родителей Лу, его брата с невесткой, сына со снохой, внука с женой, внучки с мужем, правнука с женой, племянника с женой, внучатого племянника с женой, внучатой племянницы с мужем, правнучатого племянника с женой и, разумеется, самого Дедули, восседавшего впереди всех. За исключением Дедули, дряхлого и согбенного, все — благодаря профилактическому приему антигерасона — казались ровесниками: под тридцать или чуть за тридцать.

— Тем временем, — вещал комментатор, — город Каунсил-Блаффс, Айова, по-прежнему живет в ожидании страшной трагедии. Однако двести изнемогших спасателей не теряют надежды, прилагая все усилия для спасения ставосьмидесятитрехлетнего Элберта Хаггедорна, вот уже двое суток зажатого между…

— Лучше бы доложил что-нибудь более ободряющее, — прошептала Эмералд на ухо Лу.

— Тихо! — заорал Дедуля. — Следующий, кто раззявит свою пасть во время телепередачи, останется ни с чем… — тут его голос неожиданно потеплел и стал сентиментальным: — …когда по взмаху клетчатого флажка начнутся Индианапо-

лисские гонки и старый Дедуля приготовится к Большому путешествию в Неизведанное. — Он растроганно всхлипнул. Его многочисленные наследники замерли, отчаянно стараясь не издать ни малейшего звука. Для них пикантность сообщения о предстоящем Великом Путешествии была смазана тем фактом, что сообщение это доводилось до их сведения Дедулей минимум раз в день на протяжении последних пятидесяти лет.

— Доктор Брейнард Кайз Баллард, — говорил тем временем комментатор, — президент Виендотт-колледжа, в своем сегодняшнем выступлении заявил, будто большинством существующих в мире болезней мы обязаны тому факту, что знания человека о себе не поспевают за его знаниями об окружающем материальном мире.

— Идиоты! — рявкнул Дедуля. — Мы это говорили еще сто лет тому назад!

— В одном из родильных домов Чикаго, — продолжал комментатор, — сегодня состоится особое торжество в честь Лоуэлла В. Хитца — двадцатипятимиллионного младенца, появившегося в нем на свет.

Комментатор исчез с экрана, и вместо него появился новорожденный Хитц, который разрывался от плача.

— Черт! — прошептал Лу на ухо Эмералд. — Мы это говорили еще сто лет назад.

— Я все слышал! — крикнул Дедуля. Он внезапно выключил телевизор, но его окаменевшие от страха потомки продолжали молча пялиться в экран. — Эй, ты там, парень…

— Я ничего такого не имел в виду, сэр, — промямлил Лу.

— Тащи-ка сюда мое завещание. Ты знаешь, где оно лежит. Вы *все*, ребята, знаете, где оно лежит. Неси его сюда, парень!

Лу горестно кивнул и уже в следующий момент, лавируя между матрасами, шел по коридору в комнату Дедули — единственное отдельное помещение в квартире Шварцев. В ней имелись еще ванная, гостиная и широкий холл без окон, изначально задуманный как столовая: на дальнем его конце располагалась маленькая кухня. В холле и гостиной на полу лежало шесть матрасов и четыре спальных мешка, для одиннадцатой пары потомков Дедули, являвшихся в данный момент фаворитами, в столовую была втиснута кушетка.

В комнате Дедули, на бюро, лежало его завещание, замызганное, с загнутыми уголками, протертое кое-где до дыр и испещренное сотнями добавлений, вычеркиваний, обличительных

замечаний, условий, предупреждений, советов и доморощенных «философских» размышлений. Лу пришло в голову, что этот документ представляет собой дневник событий длиной в пятьдесят лет, сжатый до двух страниц, полный подтасовок незаконный журнал регистрации ежедневных распрей. Сегодня Лу будет в одиннадцатый раз лишен наследства, и понадобится не менее полугода безупречного поведения, чтобы снова завоевать обещание доли имущества.

— Эй, парень! — крикнул Дедуля.

— Иду, сэр. — Лу поспешно вернулся в гостиную и вручил Дедуле его завещание.

— Ручку! — потребовал Дедуля.

В тот же миг ему протянули одиннадцать ручек — по одной от каждой супружеской четы.

— Не *эту*, она течет, — сказал Дедуля, отстраняя ручку Лу. — А вот эта — то, что надо. Хороший мальчик, Вилли. — Он взял ручку Вилли. Это был знак, коего все ждали. Значит, новым фаворитом становится Вилли, отец Лу.

Вилли, который выглядел ровесником Лу, хотя ему было сто сорок два года, не смог скрыть своей радости. Он робко взглянул на кушетку, которая теперь переходила в его распоряжение и из которой Лу и Эмералд предстояло переместиться

обратно в коридор, в наихудшее место возле входа в ванную.

Дедуля не упустил ничего из высокой драмы, автором которой являлся, и свою роль сыграл с полной отдачей. Хмурясь и водя пальцем по строчкам, словно впервые видел собственное завещание, он читал вслух глубоким зловещим монотонным голосом — ни дать ни взять басовый регистр церковного орга́на:

— «Я, Харолд Дэ Шварц, проживающий в строении двести пятьдесят семь в Олден-виллидж, Нью-Йорк-сити, настоящим выражаю и довожу до всеобщего сведения свою последнюю волю и этим завещанием отменяю все предыдущие завещания и дополнительные распоряжения к ним, сделанные мною когда-либо прежде». — Он торжественно высморкался и продолжил, не пропуская ни слова, а некоторые пассажи повторяя для пущей важности — особенно те, что касались подробнейших указаний относительно своих похорон.

Когда он закончил перечислять эти указания, он так расчувствовался, что его душили слезы, и Лу даже подумал: может, он забудет, зачем велел принести ему завещание? Но Дедуля героически справился со своими эмоциями и не меньше ми-

нуты что-то вычеркивал в нем, а потом принялся писать, одновременно читая написанное вслух. Лу столько раз все это слышал, что мог и сам продиктовать ему эти строчки.

— «Столько печалей и глубоких разочарований постигло меня здесь, что я покидаю эту юдоль скорби с легким сердцем и отправляюсь в лучший мир, — провозгласил и записал Дедуля. — Но самую глубокую рану нанес мне…» — Он оглядел собравшихся, стараясь вспомнить, кто был этим злодеем.

Все угодливо перевели взгляды на Лу, который покорно поднял руку.

Дедуля кивнул, вспомнив, и закончил фразу:

— «…мой правнук Луи Дж. Шварц».

— Внук, сэр, — поправил его Лу.

— Не юли. Ты и без того уже достаточно наворотил, — сказал Дедуля, однако поправку в тексте сделал. С этого момента он уже без запинок продолжил пассаж о лишении Лу наследства по причине вздорного поведения и проявленного к завещателю неуважения.

В следующем абзаце, том, который в определенный момент времени касался уже каждого из присутствовавших в комнате, имя Лу было вычеркнуто и заменено на имя Вилли в качестве

наследника квартиры и — самый лакомый кусочек! — двуспальной кровати из личной комнаты Дедули.

— Итак! — сияя, воскликнул Дедуля, стирая дату в конце страницы и вписывая новую, даже с указанием времени. — Итак, пора смотреть «Семейку Макгарви». — Это был телесериал, за которым Дедуля следил с тех пор как ему исполнилось шестьдесят, то есть на протяжении ста двенадцати лет. — Мне не терпится узнать, что же случилось дальше, — закончил он.

Отделившись от остальных, Лу прилег на свое печальное ложе перед входом в ванную. Ему хотелось, чтобы Эм пришла и легла рядом, и он недоумевал, куда она подевалась.

Подремав несколько минут, он был разбужен кем-то, переступившим через него, чтобы пройти в ванную. Несколько секунд спустя он услышал тихий звук булькающей жидкости из-за двери — как будто кто-то что-то сливал в умывальник. Его вдруг осенила страшная мысль: Эм не выдержала и делает там нечто, грозящее ужасными последствиями для Дедули.

— Эм? — зашептал он, приблизив лицо к двери.

Никто ему не ответил, и он надавил на дверь.

Старый замок, язычок которого едва входил в гнездо, продержался не долее секунды, дверь распахнулась.

— Морти?! — Лу задохнулся от изумления.

Правнук Лу, Мортимер, который только что женился и привел жену в дом Шварцев, посмотрел на Лу с ужасом и удивлением и захлопнул дверь, но Лу успел рассмотреть то, что было у него в руках, — экономичного объема огромную бутылку антигерасона, наполовину опустошенную, в которую Мортимер доливал воду из-под крана.

Минуту спустя Мортимер вышел, вызывающе посмотрел на Лу и, ни слова не говоря, прошмыгнул мимо него, направившись к своей очаровательной жене.

Ошеломленный, Лу не знал, что делать. Он не мог допустить, чтобы Дедуля пил разбавленный антигерасон, но если он предупредит Дедулю, тот наверняка сделает и без того чудовищную жизнь в квартире вовсе невыносимой.

Заглянув в гостиную, Лу увидел, что Шварцы, в том числе и Эмералд, временно умиротворенные, наслаждаются кошмаром, в который превратили *свою* жизнь Макгарви. Он прокрался в ванную, как сумел запер дверь и стал сливать содержимое Дедулиной бутылки в умывальник. Он собирался

снова наполнить ее неразбавленным антигерасоном из двадцати двух бутылок меньшего объема, стоявших на полке. В большую бутылку входило полгаллона, а горлышко у нее было очень узким, поэтому казалось, что жидкость из нее не выльется до конца никогда. К тому же в его нервозном состоянии ему чудилось, что слабый запах антигерасона, напоминающий запах вустерского соуса, распространяется по всей квартире, просачиваясь через замочную скважину и щель под дверью.

«Буль-буль-буль», — монотонно ворковал испорченный антигерасон. Внезапно из гостиной донеслась музыка, ножки стульев зашаркали по полу, и послышалось глухое бормотание. «Так заканчивается, — возвестил голос диктора, — двадцать девять тысяч сто двадцать первая глава из жизни ваших и моих соседей Макгарви». Чьи-то шаги раздались в коридоре, и кто-то постучал в дверь ванной.

— Одну секундочку, — бодро ответил Лу. От отчаяния он стал трясти бутылку, надеясь, что так жидкость выльется быстрее, но пальцы заскользили по мокрому стеклу, и тяжелая бутылка шарахнулась о кафельный пол.

Дверь распахнулась, возникший на пороге Де-

дуля ошарашенно уставился на кучу осколков.

Лу почувствовал тошноту, заставил себя изобразить обаятельную улыбку, но так и не смог придумать, что сказать, поэтому лишь молча беспомощно смотрел на Дедулю.

— Так-так, парень, — сказал тот наконец, — похоже, ты тут затеял небольшую уборку.

Не произнеся больше ни слова, он повернулся, протолкался через толпу родственников и заперся в своей спальне.

Еще с минуту Шварцы смущенно смотрели на Лу в гробовой тишине, а потом заспешили обратно в гостиную, словно боялись, что, останься они здесь еще немного, его чудовищная вина может запятнать и их. Морти задержался чуть дольше, недовольно-издевательски глядя на Лу, потом тоже удалился в гостиную, и только Эмералд продолжала стоять в дверях.

По щекам у нее текли слезы.

— Бедный ты мой барашек… Ну, не смотри ты на меня так жалобно. Это моя вина. Я тебя подбила на это.

— Нет, — возразил Лу, к которому наконец вернулся дар речи. — Ты тут ни при чем. Честное слово, Эм. Я просто…

— Милый, тебе ничего не нужно мне объяс-

нять. Я на твоей стороне, что бы ни случилось. — Она поцеловала его в щеку и прошептала на ухо: — Это не было бы убийством, родной. Так что ничего ужасного ты не сделал. Его бы это не убило. Он бы просто пришел в естественное состояние, и Бог забрал бы его к себе тогда, когда счел бы нужным.

— Что же теперь будет, Эм? — глухо спросил Лу. — Что он с нами сделает?

С ужасом ожидая того, что предпримет Дедуля, Лу и Эмералд не спали всю ночь. Однако из-за сакральной двери не донеслось ни звука. Часа за два до рассвета сон все же сморил чету.

В шесть они проснулись, потому что это было время их поколения для завтрака в кухоньке. Никто с ними не разговаривал. Им отводилось на еду двадцать минут, но после бессонной ночи они были так заторможены, что едва успели проглотить по две ложки фальшивого омлета из водорослей, как пришло время уступить место поколению их сына.

Затем, как предписывалось только что лишенным наследства, они, стараясь придать себе бодрый вид, начали готовить завтрак Дедуле, который было положено подавать ему в постель на подносе. Труднее всего с непривычки было

управляться с настоящими яйцами, беконом и олеомаргарином, на которые Дедуля тратил почти все доходы от своего имущества.

— Я, — сказала Эмералд, — не собираюсь впадать в панику, пока не удостоверюсь, что есть из-за чего паниковать.

— Может, он не понял, что я там раскокал, — с надеждой спросил Лу.

— Ну да, он ведь мог решить, что это было стекло от твоих карманных часов, — язвительно высказался Эдди, их сын, лениво жевавший якобы гречишный пирог из переработанных опилок.

— Не смей издеваться над отцом! — вскинулась Эм. — И не разговаривай с полным ртом.

— Хотел бы я посмотреть на того, кто смолчал бы, набив рот этой гадостью, — огрызнулся семидесятитрехлетний Эдди и, взглянув на часы, добавил: — Пора нести завтрак Дедуле, не опоздайте.

— Да-да, пора, — слабым голосом сказал Лу и передернул плечами. — Давай поднос, Эм.

— Мы понесем его вместе.

Храбро улыбаясь, они медленно подошли к двери, которую полукольцом окружали Шварцы с вытянутыми лицами. Эм легонько постучала.

— Дедуля, — радостно позвала она, — завтрак готов.

Ответа не последовало, и она хотела постучать снова, на сей раз громче, но не успели костяшки ее пальцев коснуться двери, как та распахнулась. Стоявшая посреди спальни мягкая, глубокая, широкая кровать с балдахином, являвшая собой для всех Шварцев символ вожделенного сладкого будущего, была пуста.

Дух смерти, внятный Шварцам не более чем зороастризм или причины восстания сипаев, всех лишил дара речи, у них даже замедлилось сердцебиение. Потрясенные, наследники принялись опасливо заглядывать под кровать, под стол, за занавески в поисках того бренного, что могло остаться от Дедули, их общего праотца.

Но вместо своей земной оболочки Дедуля оставил им записку, которую Лу в конце концов нашел на комоде, под пресс-папье — драгоценным сувениром Всемирной выставки 2000 года. Нетвердым голосом он прочел вслух:

— «Один из тех, кому я предоставлял кров и защиту, кому все эти годы передавал свои сокровенные знания о жизни, вчера вечером ополчился против меня, словно бешеный пес, и разбавил — или попытался разбавить — мой

антигерасон. Я уже не молод, и мне больше не под силу нести как прежде тяжкое бремя жизни. А посему, пережив вчерашний горький опыт, я прощаюсь с вами. Мирские заботы скоро спадут с меня, словно броня с шипами[65], и я обрету наконец покой. Когда вы найдете эту записку, меня уже не будет».

— Вот это да! Он… даже не дождался… начала Гонок… на пятьсот миль, — прерывисто воскликнул Вилли.

— Или чемпионата мира по бейсболу, — подхватил Эдди.

— И не узнает, вернется ли зрение к миссис Макгарви, — добавил Морти.

— Тут есть еще кое-что, — сказал Лу и продолжил читать вслух: — «Я, Харолд Дэ Шварц, проживающий там-то… настоящим выражаю и довожу до всеобщего сведения свою последнюю волю и этим завещанием отменяю все предыдущие завещания и дополнительные распоряжения к ним, сделанные мною когда-либо прежде»…

— Нет! — перебил его Вилли. — Только не это!

— «…я ставлю условием, — продолжил Лу, — чтобы все мое имущество, любого вида и про-

---

[65] Примечания: 65
Данным тропом обычно изобилует фэнтези.

исхождения, неделимо перешло по наследству в общее пользование всех моих потомков, независимо от возраста, на равных правах и в равной степени».

— Потомков? — переспросила Эмералд.

Лу обвел рукой всех присутствующих.

— Это означает, что теперь мы все одинаково являемся владельцами этих чертовых охотничьих угодий.

Все взоры немедленно обратились к кровати.

— Все? И все одинаково? — подал голос Морти.

— На самом деле, — сказал Вилли, который был старшим из присутствовавших, — это будет та же старая схема, когда старейшины руководят всем, и их штаб находится здесь, и…

— Нет, как вам *это* нравится?! — перебила его Эм. — Лу принадлежит здесь столько же, сколько вам, и, позвольте заметить, руководить должен старший из тех, кто еще работает. Вы слоняетесь здесь все дни напролет в ожидании своего пенсионного чека, а бедный Лу приползает едва живой после работы и…

— А как насчет того, чтобы дать возможность человеку, который никогда не знал, что такое уединение, хотя бы попробовать, что это такое? — горячо воскликнул Эдди. — Черт возьми, вы,

старики, могли сколько угодно наслаждаться уединением, когда были детьми. А я родился и вырос в этой проклятой казарме! Как насчет…

— Да ну? — вклинился Морти. — Не сомневаюсь, что всем вам было несладко, как подумаю, так у меня прямо сердце кровью обливается. А вы попробуйте для потехи провести медовый месяц в коридоре, где полно людей.

— Тихо! — властно прикрикнул Вилли. — Первый, кто откроет рот, проведет следующие полгода в ванной. А теперь вон из моей комнаты. Мне нужно подумать.

В нескольких дюймах над его головой просвистела и, ударившись о стену, вдребезги разбилась ваза. А в следующий момент началась всеобщая свалка: каждая пара отчаянно старалась вышвырнуть другую из комнаты. Боевые союзы создавались и распадались в молниеносно меняющейся тактической обстановке. Эм и Лу вытолкали в коридор, но они сплотились с другими, оказавшимися в такой же ситуации, и штурмом снова овладели комнатой.

После двухчасового сражения, ни на дюйм не приблизившего семейство к какому-либо решению, в квартиру ворвались полицейские.

В течение следующего получаса патрульные

машины и кареты «скорой помощи» увезли всех Шварцев, и квартира стала просторной и тихой.

А спустя еще час кадры финальных сцен этого бунта уже наблюдали на телеэкранах пятьсот миллионов восторженных зрителей Восточного побережья.

В тишине трехкомнатной квартиры Шварцев на семьдесят шестом этаже строения двести пятьдесят семь продолжал работать телевизор. Она еще раз наполнилась звуками драки, криками и ругательствами, теперь безопасно доносившимися из динамиков.

На экране телевизора в полицейском участке шла та же битва, за которой следили и Шварцы, и — с профессиональным интересом — их тюремщики.

Эм и Лу поместили в смежные камеры площадью четыре на восемь футов, где они вольготно растянулись на своих койках.

— Эм, — позвал Лу через перегородку, — у тебя там тоже отдельный умывальник?

— Конечно. Умывальник, кровать, лампа — все удобства. Ха! А мы-то думали, что Дедулина комната — верх мечтаний. Как долго это продлится? — Она вытянула руку перед собой. — Первый раз за сорок лет у меня не дрожат руки.

— Скрести пальцы, — сказал Лу. — Адвокат попробует выторговать для нас год.

— Вот это да-а! — мечтательно протянула Эм. — Это за какие же ниточки надо подергать, чтобы добиться одиночного?

— Хватит, заткнитесь, — сказал надзиратель, — а то вышвырну всю вашу ораву вон. И любому, кто там, на воле, заикнется кому-нибудь, как хорошо в тюрьме, больше не видать камеры как своих ушей!

Заключенные моментально присмирели.

Когда репортаж о драке закончился, гостиная в квартире Шварцев на миг погрузилась в темноту, а потом на экране, словно солнце, вышедшее из-за облака, появилось лицо диктора.

— А теперь, друзья, — сказал он, — специальная информация от производителей антигерасона для тех, кому за сто пятьдесят. Вашей социальной активности мешают морщины, скованность в суставах, седина или выпадение волос, поскольку все это настигло вас до того как был изобретен антигерасон? Вы больше не будете страдать из-за этого и чувствовать себя не такими, как все, вышвырнутыми на обочину. В результате многолетних исследований ученые-медики изобрели суперантигерасон! Уже через несколько

недель, да, всего через несколько недель вы будете выглядеть, чувствовать и вести себя как ваши праправнуки! Неужели вы не заплатите пять тысяч долларов за то, чтобы стать неотличимым от остальных? Да и это не обязательно. Безопасный, прошедший испытания суперантигерасон обойдется вам ежедневно всего в несколько долларов, а средняя стоимость возвращения юношеской живости и привлекательности будет стоить меньше пятидесяти долларов.

*Заказывайте прямо сейчас пробную упаковку. Просто напишите свое имя и адрес на почтовой открытке стоимостью в один доллар и пошлите ее по адресу: «**Супер.** Почтовый ящик пятьсот три нуля, Скенектади, Нью-Йорк». Записали? Я повторю: «**Супер.** Почтовый ящик…»*

Особую значимость словам диктора придавал скрип Дедулиного пера от той самой ручки, которую накануне вечером дал ему Вилли. Несколькими минутами раньше Дедуля вернулся из бара «Свободный час», откуда прекрасно просматривалось строение 257 на противоположной стороне залитого асфальтом квадрата, известного под названием «Олден-виллидж-парк». Он вызвал уборщицу, чтобы она немедленно навела порядок в квартире, и нанял лучшего в городе

адвоката, чтобы тот добился обвинительного приговора для его отпрысков. Потом Дедуля притащил кровать и установил ее перед телевизором, чтобы можно было смотреть передачи лежа. Об этом он мечтал много лет.

— Ске-нек-та-ди, — повторил он по слогам вслед за диктором, записывая адрес. — Есть!

Облик его значительно изменился. Лицевые мышцы расслабились, выпустив на свободу доброту и миролюбие, скрывавшиеся под глубокими морщинами вечного недовольства. Как будто он уже получил свою пробную упаковку суперантигерасона. Когда что-то на телеэкране его забавляло, он легко и широко улыбался, а не растягивал губы всего на какой-то миллиметр, как прежде. Жизнь была хороша. И он с нетерпением ждал: что же дальше?

Большая космическая случка

© Перевод. И. Доронина, 2020

В 1987 году молодые американцы получили право по закону преследовать своих родителей за ущерб, нанесенный их воспитанием. Молодой человек мог теперь через суд требовать материальной компенсации или даже тюремного заключения для родителей за серьезные ошибки, допущенные ими в период, когда он был маленьким беспомощным ребенком. Цель этой юридической акции была двоякой: не только способствовать восстановлению справедливости, но и снизить рождаемость, поскольку ресурсов питания практически не оставалось. Аборты делались бесплатно. Более того, женщина, добровольно согласившаяся на аборт, в порядке поощрения получала напольные весы или настольную лампу — по выбору.

В 1989 году Америка приступила к осуществлению проекта «Большая космическая случка», который должен был стать серьезной попыткой надежно продлить существование человека на гораздо более долгий срок, чем это было возможно

на Земле, где все уже погрязло в отбросах, пивных банках, останках автомобилей и бутылках из-под пятновыводителя «Клорокс». Любопытное событие произошло на Гавайях: там многие годы мусор сбрасывали в кратеры потухших вулканов, а потом парочка из них вдруг ожила и выплюнула всю эту дрянь обратно. Ну и прочее в том же роде.

То были времена полной вседозволенности в вопросах языка, даже президент позволял себе сквернословие, которое никого не оскорбляло и не пугало. Оно было совершенно в порядке вещей. Космическую случку он — как вслед за ним и все остальные — называл именно космической случкой. Речь шла о космическом корабле с восемьюстами фунтами сублимированной и замороженной джиззы в носовой части. Ракету собирались запустить к галактике Андромеды, находящейся на расстоянии двух миллионов световых лет от Земли, и назвали «Артур Ч. Кларк» в честь знаменитого космического первопроходца.

Запуск был назначен на полночь Четвертого

июля[66]. С десяти часов вечера Дуэйн Хублер и его жена Грейс следили за обратным отсчетом времени по телевизору в гостиной своего скромного дома в Лосиной бухте, штат Огайо, на берегу того, что прежде называлось озером Эри, а теперь превратилось в почти полностью высохшее скопище нечистот и где водились гигантские миноги-людоеды тридцати восьми футов длиной. Дуэйн служил надзирателем в исправительном учреждении для взрослых штата Огайо, располагавшемся в двух милях от его дома. Его любимым занятием было мастерить скворечники для птиц из пустых бутылок «Клорокса». Он без конца варганил их и развешивал по двору, хотя никаких птиц уже давно не было и в помине.

Дуэйн и Грейс с изумлением смотрели фильм о том, как замораживают и превращают в сухой порошок джиззу, готовя ее к отправке. На экране маленькая колбочка с содержимым, предоставленным деканом факультета математики Чикагского университета, подвергалась моментальной заморозке, затем помещалась

---

[66] Примечания: 66

День принятия в 1776 году Декларации независимости, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании, празднуется в Соединенных Штатах 4 июля как День независимости. — *Примеч. пер.*

под вакуумный колпак, и из нее выкачивали воздух, после чего замороженная джизза превращалась в тонкую белую пудру. Ее, конечно, было совсем немного, что и отметил Дуэйн Хублер, но в ней содержалось несколько сот миллионов сперматозоидов в состоянии анабиоза. Исходное количество жидкого материала в среднем составляло два кубических сантиметра. По оценке Дуэйна, полученного из него порошка хватило бы разве что на то, чтобы залепить игольное ушко. А к Андромеде его вот-вот должно было полететь восемьсот фунтов!

— Мы тебе вставим, Андромеда! — сказал Дуэйн, и это вовсе не прозвучало скабрезностью. Он просто повторил девиз, красовавшийся на рекламных щитах и плакатах, развешенных по всему городу. Другие плакаты гласили: «Андромеда, мы любим тебя» или «Земля хочет тебя, Андромеда» и тому подобное.

Раздался стук в дверь, и, не ожидая ответа, вошел старый друг семьи, окружной шериф.

— Как дела, старый бабник? — спросил Дуэйн.

— Грех жаловаться, говнюк, — ответил шериф.

Какое-то время они добродушно перекидывались подобными шуточками. Грейс давилась от смеха, восхищаясь их остроумием. Однако она

не смеялась бы так беззаботно, будь она чуть более наблюдательна. Она могла бы заметить, что веселость шерифа была натужной. На самом деле что-то глодало его изнутри. Могла бы она заметить также и то, что в руках у него какие-то официальные бумаги.

— Садись, старый пердун, — сказал Дуэйн, — и посмотри, как мы засадим Андромеде.

— Насколько я понимаю, — ответил шериф, — лично мне пришлось бы лететь туда более двух миллионов лет. Боюсь, моя старуха начала бы волноваться — что со мной приключилось?

Он был куда шустрее Дуэйна, его джизза попала на «Артура Кларка», а джизза Дуэйна — нет. Чтобы твою джиззу приняли, нужно было иметь айкью выше 115. Существовали и некоторые исключения: если мужчина был хорошим спортсменом или умел играть на каком-нибудь музыкальном инструменте или писать картины, но у Дуэйна никаких таких способностей не было. Он надеялся, что сооружение скворечников даст ему привилегию, но оказалось — не тот случай. Между тем, у директора Нью-йоркской филармонии при его желании могли принять и целую кварту. Хотя ему было шестьдесят восемь лет, а Дуэйну только сорок два.

Теперь по телевизору выступал старый астронавт. Он говорил, что, конечно, хотел бы сам отправиться туда, куда посылают его джиззу. Однако вынужден сидеть дома со своими воспоминаниями и стаканом «Тэнга». «Тэнг» был когда-то официальным напитком астронавтов и представлял собой криосублимированный оранжад.

— Двух миллионов лет у тебя, может, и нет, но пять-то минут найдется? — сказал Дуэйн. — Да сядь ты наконец.

— Вообще-то… я тут по службе, — сказал шериф с несчастным видом, которого не сумел скрыть, — а в таких случаях я предпочитаю стоять.

Дуэйн и Грейс это искренне озадачило. Они понятия не имели, что за этим последует. А последовало вот что: шериф вручил обоим по повестке с вызовом в суд и сказал:

— Мой горестный долг сообщить вам, что ваша дочь Ванда Джун обвиняет вас в нанесении ей ущерба в раннем детстве.

У Дуэйна и Грейс словно гром над головой разразился. Они знали, что теперь, когда Ванде Джун исполнился двадцать один год, она имела право подать на них в суд, но никак не ожидали, что она это сделает. Дочь жила в Нью-Йорке, и когда они

поздравляли ее по телефону с совершеннолетием, Грейс действительно сказала ей в шутку: «Ну, теперь, лапушка, ты можешь предъявить нам иск, если захочешь. — Грейс и Дуэйн не сомневались в том, что были хорошими родителями и что дочь лишь посмеется, услышав: — При желании ты можешь упечь своих старых никчемных предков в каталажку».

Ванда Джун была их единственным ребенком. У нее могли быть братья и сестры, но Грейс делала аборты. Вместо других детей у нее имелись три настольные лампы и одни напольные весы.

— И что же мы, по ее мнению, делали неправильно? — спросила Грейс у шерифа.

— У каждого из вас внутри повестки есть отдельный листок, на котором перечислены ее претензии, — ответил тот.

Он не мог смотреть в глаза своим бедным старым друзьям, поэтому говорил, вперив взгляд в телевизор. На экране некий ученый объяснял, почему именно Андромеда была выбрана целью проекта. Между Землей и галактикой Андромеды существовало по меньшей мере восемьдесят семь

хроносинкластических инфундибулумов[67]. Стоит «Артуру Ч. Кларку» пройти через любой из них, как сам корабль и весь его груз умножатся в триллион раз и проникнут повсюду, сквозь пространство и время.

— Если где-нибудь во Вселенной существуют условия, способствующие плодородию, — вещал ученый, — наше семя найдет это место и там прорастет.

Конечно, единственным, что удручало пока в этом космическом проекте, было то, что такое место, как показывала программа исследований, находилось — если вообще существовало — чертовски далеко. Темных людей вроде Дуэйна и Грейс, и даже весьма продвинутых — вроде шерифа, обнадеживали и заставляли верить, что где-то там, далеко, для них существует будущее и что Земля отныне — лишь кусок дерьма, годный только на то, чтобы быть стартовой площадкой.

---

[67] Примечания: 67

«Хроно значит “время”. Синкластический значит “изогнутый в одну и ту же сторону во всех направлениях”, наподобие шкурки апельсина. Инфундибулум — так древние римляне, например Юлий Цезарь или Нерон, называли воронку». «Существует бесконечное множество возможностей быть правым. Однако есть во Вселенной такие места, где… все разные правды соединяются так же ловко, как детали в электронных часах… Такое место мы и называем «хроносинкластический инфундибулум»». — Так объясняет значение термина сам Курт Воннегут в «Сиренах Титана» (Перевод. М. Ковалевой).

Земля и впрямь к тому времени превратилась в кучу дерьма, и даже самые недалекие люди начинали сознавать, что она — вероятно, единственная обитаемая планета, какую суждено было найти человеческим существам, — скоро станет непригодной для жизни.

Грейс рыдала от того, что собственная дочь подала на нее в суд, и список предъявленных ею обвинений, преломляясь в слезах, распадался на множество картинок-воспоминаний.

— О Боже, о Боже, о Боже… — твердила Грейс, — она помнит то, о чем я напрочь забыла. А она, оказывается, не забыла ничего. Даже того, что случилось, когда ей было всего четыре года.

Дуэйн читал список обвинений, выдвинутых дочерью против него, поэтому не уточнил, какие именно страшные прегрешения совершила его жена, когда Ванде Джун было всего четыре года, а случилось тогда вот что: бедная малышка Ванда Джун разрисовала красивыми картинками все обои в только что отремонтированной гостиной, чтобы порадовать маму. Но мама вместо того, чтобы обрадоваться, рассердилась и отшлепала ее. С того дня, утверждала Ванда Джун, ни на какие материалы для художественного творчества она не могла смотреть, не дрожа, как осенний лист,

и не покрываясь холодным потом. «Таким образом, — писал с ее слов адвокат, — она лишилась возможности сделать блестящую и прибыльную карьеру в области искусства».

Дуэйн тем временем узнал, что он разрушил перспективы дочери заключить «выгодный брак», как выражался тот же адвокат, «а следовательно, лишил ее любви и семейного уюта». Утверждалось, будто произошло это из-за того, что всякий раз, когда к Ванде Джун приходил поклонник, Дуэйн появлялся перед ним полупьяным. К тому же зачастую открывал дверь по пояс голым, однако с патронташем через плечо и револьвером на ремне. Она даже приводила имя возлюбленного, которого отец таким образом отвадил от нее: Джон Л. Ньюком, женившийся в конце концов на ком-то другом. Теперь у него очень хорошая работа, он служит начальником охраны арсенала в Южной Дакоте, где хранятся вирусы холеры и бубонной чумы.

У шерифа была еще более скверная новость, и он знал, что вот-вот ему придется выложить ее. Бедолаги Дуэйн и Грейс не могли не спросить его, что *заставило* их дочь так поступить. В этом-то и заключалась самая скверная новость. Ответ на этот вопрос был таков: Ванда Джун находилась

под стражей по обвинению в том, что является главарем шайки магазинных воров. И для нее единственным шансом избежать тюремного срока было доказать: в том, что она стала такой, какой стала, и во всем, что она натворила, виноваты ее родители.

Тем временем на телеэкране появился сенатор от Миссисипи Флем Сноупс, председатель сенатского комитета по освоению космоса. Он был в восторге от запуска проекта Большой космической случки и сообщил, что это та самая цель, к которой долгие годы стремились участники американской программы космических исследований. Я горжусь тем, заявил он, что Соединенные Штаты выбрали именно мой родной город Мейхью для размещения крупнейшего предприятия по сублимированию джиззы.

Слово «джизза», кстати, имело интересную историю. Оно было таким же древним, как слова «трахаться», «дерьмо» и им подобные, однако в отличие от них его до сих пор не включали в словари, ибо многие хотели, чтобы оно — единственное оставшееся — сохраняло свои магические свойства.

И когда Соединенные Штаты объявили, что намерены предпринять поистине магическую

акцию — выстрелить спермой по галактике Андромеды, простой народ внес поправку в формулировку правительства. Коллективное бессознательное постановило: пришло время последнему магическому слову выйти на свет. Народ решил, что «сперма» не годится для того, чтобы выстреливать ею по другой галактике. Здесь подойдет только «джизза». И правительство взяло на вооружение именно это слово, попутно сделав то, чего никогда прежде не делалось: оно установило стандарт его написания.

Человек, интервьюировавший сенатора Сноупса, попросил его встать, чтобы все могли хорошенько рассмотреть его гульфик, что сенатор и сделал. Гульфики были в большой моде, и многие мужчины носили гульфики в форме межпланетных ракет в ознаменование Большой космической случки. Обычно на их острие были вышиты буквы «США», однако на гульфике сенатора Сноупса красовался флаг Конфедерации южных штатов.

Разговор переключился на тему геральдики, и интервьюер напомнил сенатору о его кампании за отказ от лысого орла в качестве символа государства. Сенатор объяснил, что не желает, чтобы его страну представляло существо, которое

совершенно не соответствует современной действительности.

Когда его спросили, какое существо, с его точки зрения, *соответствует* современной действительности, сенатор назвал даже не одно, а два существа: миногу и красного дождевого червя. Ни ему, ни кому бы то ни было другому еще было неведомо, что миноги-людоеды уже считают Великие озера слишком перенаселенными и ядовитыми *даже для них самих*. Пока люди сидели по домам и наблюдали за стартом Большой космической случки, миноги, извиваясь, выползали из жижи на землю. Иные из них были почти такими же длинными и толстыми, как «Артур Ч. Кларк».

Тем временем Грейс Хублер оторвала затуманенный слезами взгляд от того, что читала, и задала шерифу тот самый вопрос, которого он так боялся:

— Что заставило ее *так* поступить с нами?

Шериф ответил, и Грейс залилась слезами, оплакивая теперь еще и жестокую судьбу.

— Это самая ужасная миссия из всех, какие мне довелось выполнять, — отрывисто произнес шериф, — сообщить душераздирающую новость таким близким друзьям как вы… в ночь, которая должна была бы стать самой радостной в истории

человечества.

Всхлипывая, он вышел за дверь и тут же угодил прямо в пасть миноги, которая немедленно — он успел лишь вскрикнуть — сожрала его. Услышав крик, Дуэйн и Грейс Хублер выскочили из дома, чтобы посмотреть, что случилось, и минога сожрала их тоже.

Была некая ирония судьбы в том, что их телевизор продолжал репортаж об обратном отсчете времени до запуска, хотя некому уже было смотреть и слушать его, и никому до него не было никакого дела.

— Девять! — торжественно произносил голос. Потом: — Восемь! — Потом: — Семь!

И так далее.

2BR02B

© Перевод. А. Аракелов, 2020

У вас проблемы?

Наберите наш номер.

Мы предлагаем универсальное решение
— раз и навсегда!

Все было просто здорово.

Никаких тюрем, трущоб, сумасшедших домов, никаких калек и нищих, никаких войн.

Люди победили все болезни. И старость.

Смерть, не считая несчастных случаев, стала добровольным выбором.

Население Соединенных Штатов ограничили сорока миллионами душ.

В это солнечное утро человек по имени Эдвард К. Уэлинг-младший сидел в Чикагском роддоме и ждал, когда его жена разрешится от бремени. Других отцов там не было — роды стали редким событием.

Уэлингу было пятьдесят шесть — просто юноша по меркам общества, средний возраст которого составлял сто двадцать девять лет.

Рентген показал, что у его жены будет тройня. Его первенцы.

Молодой человек сгорбился в своем кресле, обхватив голову руками. Он был бледен, взъерошен и сидел так неподвижно, что сливался с окружающей обстановкой. Тем более, что в приемном покое тоже царили хаос и раздрай: кресла и пепельницы стоят в беспорядке, пол накрыт заляпанной пленкой и тканью.

В комнате шел ремонт. Она должна была превратиться в памятник людям, пожелавшим уйти из жизни.

Саркастичный старик, лет двухсот от роду, сидел на стремянке и рисовал фреску, которая ему не нравилась. Во времена, когда люди еще старели, ему можно было бы дать лет тридцать пять. Столько ему исполнилось, когда изобрели лекарство от старости.

Фреска изображала аккуратный садик. Мужчины и женщины в белом — доктора и медсестры — копали ямы, сажали деревья, травили паразитов, разбрасывали удобрения.

Мужчины и женщины в сиреневой форме пропалывали сорняки, выкорчевывали старые и больные деревья, сгребали опавшую листву и сжигали ее в специальных печах.

Никогда и нигде — даже в средневековой Голландии или древней Японии — не было столь ухоженного, столь безупречного сада. Каждому растению доставалось ровно столько земли, света, воды, воздуха и внимания, сколько ему требовалось.

По коридору шел санитар, напевавший под нос популярную песенку:

Моя красотуля ко мне охладела,

Ну да, так бывает, житейское дело.

Лить по ней слезы не собираюсь

С дамой в лиловом я повстречаюсь.

Чем вечно грустить, что сбежала невеста,

Прощай, злобный мир, я сдаю свое место!

Пусть вместо меня тут родится ребенок,

И пусть повезет ему с самых пеленок.

Санитар осмотрел фреску и самого художника.

— Ты глянь, как взаправду, — сказал он. — Так и представляю, как я там стою, в этом садике.

— А кто сказал, что тебя там нет? — с улыбкой спросил художник. — Картина ведь называется

«Счастливый сад жизни», всем места хватит.

— Доктор Хитц замечательно получился, — отметил санитар.

Он говорил про одного из мужчин в белом, главного акушера родильного дома. Хитц был ослепительным красавцем.

— Тут еще работать и работать. Вон сколько еще пустых лиц. — Санитар имел в виду, что у многих людей на фреске вместо лиц были лакуны. Их следовало заполнить портретами важных людей, сотрудников самого роддома или Чикагского управления Федерального бюро завершения цикла.

— Классно, наверное, уметь рисовать, — сказал санитар.

Художник помрачнел.

— Думаешь, я горжусь этой мазней? — с кривой усмешкой спросил он. — Думаешь, так я себе представляю настоящую жизнь?

— А как ты ее представляешь? — поинтересовался санитар.

Художник показал на грязную подстилку, защищавшую пол от краски.

— Вот тебе образец. Вставь ее в раму, и картина получится намного честнее, чем все, что я тут намалевал.

— Старый ворчун, вот ты кто.

— Это преступление?

Санитар пожал плечами.

— Дедуль, если не нравится… — дальше он произнес номер телефона, который набирали люди, не желавшие жить дальше.

Вот этот номер: 2BR02B[68].

Он принадлежал заведению, которое успело приобрести массу забавных прозвищ:

«Автомат»,

«Дихлофос»,

«Пока, мама»,

«Веселый хулиган»,

«Душегубка»,

«Хватит слез»,

«Вечный сон»,

«Всем пока»,

«И чего париться?»,

«Давай по-быстрому».

Этот номер принадлежал муниципальному управлению газовых камер при Федеральном бюро завершения цикла.

Художник навис над санитаром:

— Когда я решу, что мне пора, — прорычал он,

---

[68] Примечания: 68

Если произнести номер вслух, он будет звучать «To be or not to be»: «Быть или не быть?».

— то не стану звонить в «Душегубку».

— Ага, ты у нас самодельщик, — не унимался санитар. — Грязное это дело, дедуль. Ты бы подумал о людях, которым потом за тобой прибирать.

Художник выразил свое отношение к неприятностям оставшегося человечества весьма неприличным жестом.

— По мне, так миру бы не помешала хорошая порция грязи. Санитар засмеялся и пошел по своим делам.

Уэлинг, будущий отец, что-то пробормотал, не поднимая головы, и снова затих.

Цокая высокими каблучками, в приемный покой вплыла необъятная дама с грубыми чертами лица. Ее туфли, чулки, пальто, сумочка, форменная пилотка — все было фиолетовым. Этот оттенок художник именовал «цветом винограда в Судный день».

На ее фиолетовой сумочке красовался герб Отдела ритуальных услуг Федерального бюро завершения цикла: орел, сидящий на турникете.

На лице женщины присутствовала довольно заметная растительность — сказать по правде, у нее были самые настоящие усы. Почему-то такая беда постоянно творилась с заведующими газовыми камерами: какими бы симпатичными и

женственными ни были женщины, занимающие этот пост, лет через пять трудового стажа у всех пробивались усики.

— Скажите, мне к вам обратиться? — спросила она у художника.

— Зависит от того, что вам нужно, — ответил он. — Рожать, как я понимаю, вы не собираетесь?

— Мне сказали, что нужно позировать для картины. Я Леора Траверс. — Она замолчала, выжидая.

— И вы травите людей.

— Что?

— Нет, ничего.

— Какая замечательная картина, — сказала она. — Просто рай на земле или что-то вроде.

— Что-то вроде, — буркнул художник. Он вынул из кармана листок со списком. — Траверс, Траверс, Траверс. Ага, вот и вы. Да, вам уготовано бессмертие. К какому безлицему телу мне прилепить вашу голову? Выбор уже невелик.

Дама растерянно оглядела фреску.

— Ой… Они какие-то все одинаковые. Я в этом искусстве ничегошеньки не понимаю.

— Тело есть тело, разве нет? Ну ладно. Как автор шедевра я рекомендую вам эту тушку. — Художник ткнул в безликую фигуру женщины,

тащившей к мусоросжигателю охапку сухих стеблей.

— Но, — возразила Леора Траверс, — это, скорее, отдел уборки? А я работаю в ритуалах. Мы уборкой не занимаемся.

Художник зааплодировал в деланом восторге.

— Что же вы говорите, что не разбираетесь в искусстве, если знаете его законы лучше меня?! Разумеется, заведующей не пристало таскать ботву. Обрезчик, вот, кто вам подойдет! — Он ткнул пальцем в фигуру, срезавшую отмершую яблоневую ветку. — Как вам? Нравится?

— Ох, — выдохнула она, покраснев и смутившись. — Это же я… я буду стоять рядом с доктором Хитцем.

— Вы против?

— Господи, нет, конечно! Это… это такая честь.

— Вы им восхищаетесь?

— Разве можно не восхищаться таким человеком? — удивилась дама, не отрывая взгляда от портрета доктора Хитца. На картине он был загорелым, седовласым, всемогущим Зевсом. Ему было двести сорок лет. — Им все восхищаются, все… Благодаря ему в Чикаго открылась первая газовая камера.

— Для меня это огромное удовольствие: по-

местить вас бок о бок на веки вечные, — сказал художник. — Отпиливание конечности — по-моему, весьма подходящий символ?

— Да, чем-то подобным я и занимаюсь. — Она ничуть не смущалась своей профессии. Она просто делала свою работу: помогала людям уйти из жизни спокойно и с удобством.

Леора Траверс еще позировала для портрета, когда в комнату вошел сам доктор Хитц. В нем было больше двух метров росту, и каждый сантиметр из этих двух с лишним метров излучал важность, успех и удовольствие от жизни.

— Мисс Траверс, милая мисс Траверс! Что вы здесь делаете? Люди тут не уходят, они тут появляются! — пошутил он.

— Мы с вами будем рядом на этой картине, — смущенно сказала она.

— Замечательно! — улыбнулся доктор Хитц. — И как вам такой расклад?

— Для меня большая честь попасть на одну фреску с вами, — ответила дама.

— Нет, это я должен быть польщен! Без таких, как вы, этого чудесного мира просто не было бы.

Он в шутку отдал ей честь и пошел в сторону родильного отделения.

— Слышали новость?

— Нет.

— У нас тройня!

— Тройня?! — воскликнула она.

Рождение тройни имело далеко идущие последствия.

Закон гласил, что новорожденного можно оставить в живых только в случае, если родители найдут желающего уйти из жизни. А для того, чтобы выжили все дети из тройни, нужны целых три добровольца.

— И что? У них есть три кандидата? — спросила Леора Траверс.

— Насколько я знаю, только один, — ответил доктор Хитц. — А теперь они пытаются найти еще двоих.

— Вряд ли у них что-то получится. К нам тройной заявки не поступало. Только одиночки… ну, если кто-то не обратился в бюро с тех пор, как я ушла. Как их зовут?

— Уэлинг, — сказал сидящий отец. Он выпрямился, и все увидели его мятую одежду и красные глаза. — Их отца зовут Эдвард К. Уэлинг-младший.

Он поднял правую руку, уставился на стену перед собой и издал хриплый, горький смешок.

— Здесь.

— О, мистер Уэлинг, — удивился доктор Хитц. — Я вас не заметил.

— Человек-невидимка, — произнес Уэлинг.

— Мне только что позвонили, ваша жена разродилась тройняшками. Они здоровы, прекрасно себя чувствуют, как и мать. Я как раз собирался их навестить.

— Аллилуйя, — опустошенно выдохнул Уэлинг.

— Вы как будто не рады? — спросил доктор Хитц.

— Разве можно не радоваться в моей ситуации? — ответил Уэлинг, воздевая руки к небу. — Мне всего-то нужно решить, кого из трех малюток оставить в живых, потом отвезти в Душегубку своего деда и вернуться сюда с квитанцией.

Взбешенный доктор Хитц навис над Уэлингом.

— Мистер Уэлинг, вы сомневаетесь в необходимости регулирования численности населения?

— Нет, даже не думал.

— Вы хотели бы вернуться к старым добрым временам, когда Землю населяло двадцать миллиардов — и должно было стать сорок миллиардов, потом восемьдесят, потом сто шестьдесят миллиардов? Вам знакомо выражение «как сельди в бочке»?

— Да, — буркнул Уэлинг.

— Так вот. Без контроля численности населения люди сейчас толпились бы на поверхности этой планеты, как сельди в бочке. Подумайте об этом!

Уэлинг продолжал таращиться в одну точку на стене.

— К 2000-му году, — не унимался доктор Хитц, — до того, как ученые предложили новый закон, человечество уже умирало от жажды, из еды остались только морские водоросли — и тем не менее люди настаивали на своем праве размножаться как кролики. И на праве жить вечно, если получится.

— Я люблю этих детишек, — прошептал Уэлинг. — Люблю всех троих.

— Никто не спорит, — согласился доктор Хитц. — Мы все, по-человечески, вас понимаем.

— И я не хочу, чтобы умер мой дед.

— Мало кому нравится сдавать родственников в «Дихлофос», — понимающе кивнул доктор Хитц.

— Вот зачем люди выдумывают эти гадкие названия? — сказала Леора Траверс.

— Что?

— Не люблю, когда наше заведение называют «Дихлофосом» и другими нехорошими словами, — объяснила она. — Это создает неправильное

впечатление.

— Вы совершенно правы, я приношу свои извинения, — доктор Хитц поспешил употребить другое, официальное название муниципальных газовых камер, которое никто не употреблял в обычных разговорах. — Мне следовало сказать «Салон этичного суицида».

— Да, так намного лучше, — согласилась Леора Траверс.

— Этот ваш ребенок — кого бы вы ни выбрали, мистер Уэлинг — будет жить на счастливой, просторной, чистой и богатой планете, и все это — благодаря контролю численности населения. Он будет жить в саду, похожем на изображенный на этой фреске. — Доктор Хитц покачал головой. — Двести лет назад, когда я был еще молод, на Земле царил ад, и никто не надеялся, что человечество сможет протянуть еще хотя бы два века. Сейчас же мы видим в будущем тысячелетия спокойствия и изобилия, и только сила воображения ограничивает эту перспективу.

Его лицо осветила улыбка.

Но он перестал улыбаться, когда увидел револьвер в руках Уэлинга.

Уэлинг застрелил Хитца.

— Вот место для одного человека, — сказал он.

Потом он убил Леору Траверс.

— Это ведь только смерть, — произнес он, когда ее тело коснулось пола. — Зато теперь места хватит двоим.

Потом он выстрелил себе в висок, обеспечив место всем своим троим.

Никто не ворвался в комнату. Казалось, никто не слышал выстрелов.

Художник сидел на верхней ступеньке своей стремянки и молча смотрел на скорбную картину внизу.

Он задумался над пугающей загадкой жизни, которая требовала от своих созданий рождаться и, родившись, плодиться… Размножаться и жить как можно дольше — на крошечной планетке, которой придется это все терпеть.

Все решения, приходившие ему в голову, были весьма невеселыми. Они были мрачнее, чем «Дихлофос», «Веселый Хулиган» и «Давай по-быстрому». Он думал о войне. О чуме. О голодоморах.

Он знал, что никогда больше не будет писать. Выпустил из рук кисть, которая шлепнулась на тряпки внизу. Потом решил, что хватит с него жизни в Счастливом саду жизни. Медленно спустился с лестницы и подобрал пистолет Уэлинга.

Художник был полон уверенности покончить

с собой.

Он не смог.

Тогда он вспомнил о таксофоне в углу. Он зашел в будку и набрал номер, который трудно забыть: 2BR02B.

— Федеральное бюро завершения цикла, — сказал мягкий голос на другом конце провода.

— Когда вы сможете меня принять? — спросил он осторожно.

— Скорее всего во второй половине дня, — ответила женщина из бюро. — Может быть, раньше, если от кого-то придет отказ.

— Хорошо, — сказал художник. — Запишите меня, пожалуйста.

Он очень отчетливо, по буквам, продиктовал ей свое имя.

— Спасибо, сэр. Город благодарит вас, страна благодарит вас, планета благодарит вас. Но самую глубокую благодарность к вам испытывают будущие поколения.

Неизвестный солдат

© Перевод. М. Загот, 2020

Все это, разумеется, была чушь собачья — нам сообщили, что наша малышка — первая из тех, кто родился в Нью-Йорке в третьем тысячелетии нашей эры, первого января 2000 года, ровно через десять секунд после полуночи. Однако третье тысячелетие, как уже неоднократно указано, ведет отсчет от первого января 2001 года. В планетарном отношении новому году было уже шесть часов, когда родилась наша малышка, потому что он начался именно шесть часов назад в Королевской обсерватории в английском Гринвиче, откуда и начинается исчисление времени. Да и вообще, число лет, прошедших со дня рождения Иисуса, весьма приблизительно. Точной даты нет. И кто может определенно сказать, в какой именно момент родился ребенок? Когда появилась его головка? Когда он целиком оказался отделен от матери? Когда перерезали пуповину? Поскольку первому новорожденному третьего тысячелетия полагалось много призов, равно как и его родителям и главному дежурному врачу,

заранее договорились не учитывать отсечение пуповины — этот эпизод может затянуть роды и вывести их за критический предел полночи. Доктора со всего города будут во все глаза следить за стрелками часов, а их ножницы застынут в ожидании. Огромное количество свидетелей тоже будет следить и за ножницами, и за часами. Доктор-победитель получит оплаченный отпуск и проведет его на одном из нескольких островов, где турист еще чувствует себя в безопасности, скажем, на Бермудах. Там расквартирован батальон английских десантников. Понятно, что у врачей появится соблазн при возможности как-то передвинуть время рождения в свою пользу.

Независимо от критериев, определить момент рождения было гораздо проще, чем объявить о том, что оплодотворенная яйцеклетка превратилась в человеческое существо во чреве матери. Для целей конкурса моментом рождения решили считать секунду, когда на глаза или веки младенца впервые упал свет окружающего мира, когда их впервые увидели свидетели. Таким образом, младенец, как и произошло с нашим, мог еще не полностью расстаться с матерью. Разумеется, если ребенок идет попкой вперед, глаза появятся на свет почти последними. Вот вам самый абсурд-

ный элемент конкурса, в котором мы победили: родись наша малышка попкой вперед, будь у нее синдром Дауна или расщепление позвоночника, наркотическая деформация или СПИД — приз ей наверняка не дали бы, причем все свалили бы на какую-нибудь якобы техническую погрешность, например на время рождения, но судьи нипочем не сказали бы, что дело в отклонении от так называемой нормы. Как-никак первая новорожденная должна стать символом здоровья и красоты следующего тысячелетия.

Судьи дали гарантию, что цвет кожи, вероисповедание и происхождение родителей никак не повлияют на их решение. Так и произошло: я чернокожий американец, а моя жена, хоть и числится белой, родилась на Кубе. Но у нас были и свои плюсы: я заведую кафедрой социологии в Колумбийском университете, а моя жена — физиотерапевт в нью-йоркской больнице. Уверен: наш ребенок одержал верх над несколькими другими кандидатами, включая младенца, которого нашли в мусорном баке где-то в Бруклине, потому что мы — представители среднего класса.

Нам подарили «форд»-универсал, три пожизненных пропуска в Диснейленд, домашний кинотеатр — шестифутовый экран, видеосистема

и аудиоцентр для проигрывания записи на любом носителе, — оснастку для домашнего спортзала и все такое. Малышка получила облигацию государственного займа — на момент выплаты сумма должна была составить пятьдесят тысяч долларов. Ей также достались детская кроватка, прогулочная коляска, бесплатная доставка пеленок и многое другое. Но через шесть недель она умерла. Доктор, который помог ей появиться на свет, в это время отдыхал на Бермудах и о смерти девочки даже не узнал. Там, да и вообще где-либо за пределами Нью-Йорка, ее смерть не вызвала большого ажиотажа — равно как и ее рождение. И в Нью-Йорке никакого ажиотажа не было: ведь если не считать организаторов этого идиотского конкурса да бизнесменов, давших деньги на призы, шумиху вокруг ее рождения никто не воспринял всерьез. А уж как много болтали о том, сколько всего замечательного она олицетворяет: единение рас в красоте и счастье, возрождение духа, когда-то превратившего Нью-Йорк в величайший город мира в величайшей стране мира, мир во всем мире и неизвестно что еще. Мне кажется сейчас, что она была просто неизвестным солдатом в братской могиле, кусочком из плоти, костей и волос, который кому-то пона-

добилось вознести до небес, совершенно забыв при этом о здравом смысле. Кстати, на похороны почти никто не пришел. Телеканал, породивший идею этого конкурса, прислал какую-то мелкую сошку, даже не телеведущего и уж тем более не съемочную группу. Кому интересно смотреть на похороны следующего тысячелетия? А если телевидение отказывается на что-то смотреть, можно считать, что этого и не было. Ведь телевидение способно стереть все, даже целые континенты, такие как Африка, которая уже давно стала одной большой пустыней, где бесчисленные миллионы младенцев осваивают дороги новехонького тысячелетия, умирая при этом от голода. Нам сказали, что девочка умерла от синдрома внезапной смерти младенца. Мол, есть некий генетический дефект, который с помощью амниосинтеза пока не удается обнаружить — а может, не удастся никогда. Она была нашим первенцем. Что тут поделаешь?

Копирайты

CREDIT LINE: "The Nice Little People," "The Petrified Ants," "Little Drops of Water," "Confido," “Hall of Mirrors," "Look at the Birdie," "Fubar," "Shout About it from the Housetops," "Ed Luby’s Key Club," "King and Queen of the Universe," "Hello, Red," "The Honor of a Newsboy," "The Good Explainer," and "A Song for Selma" from LOOK AT THE BIRDIE: UNPUBLISHED SHORT FICTION by Kurt Vonnegut, copyright © 2009 by The Kurt Vonnegut, Jr. Trust. Used by permission of Delacorte Press, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC. All rights reserved.

"The Big Space Fuck" from PALM SUNDAY: AN AUTOBIOGRAPHICAL COLLAGE by Kurt Vonnegut, copyright © 1981 by Kurt Vonnegut. Used by permission of Dell Publishing, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC. All rights reserved.

"Tom Edison’s Shaggy Dog," copyright © 1953 by Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 1981 Kurt Vonnegut, Jr.; "Who Am I This Time?," and "Harrison

Bergeron," copyright © 1961 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1989 by Kurt Vonnegut; "The Lie," copyright © 1962 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1990 by Kurt Vonnegut; "Adam," copyright © 1954 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1982 by Kurt Vonnegut, Jr.; "The Euphio Question," copyright © 1951 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1979 by Kurt Vonnegut, Jr.; "Long Walk To Forever," copyright © 1960 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1988 by Kurt Vonnegut; "Go Back To Your Precious Wife and Son," copyright © 1962 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed 1990 by Kurt Vonnegut; "Epicac," copyright © 1950 by Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 1978 by Kurt Vonnegut, Jr.; "Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow," copyright © 1954 by Kurt Vonnegut, Jr.; "Deer in the Works," copyright © 1955 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1983 by Kurt Vonnegut.; "Report on the Barnhouse Effect," copyright © 1950 by Kurt Vonnegut Jr.; "Welcome to the Monkey House," copyright © 1968 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright © 1996 by Kurt Vonnegut, Jr.; "Miss Temptation," copyright © 1956 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1984 by Kurt Vonnegut Jr.; "All The Kings Horses," copyright © 1951 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1979 Kurt Vonnegut, Jr.; "Next Door," and "The Foster

Share Portfolio," copyright © 1961 by Kurt Vonnegut Jr.; "The Hyannis Port Story," copyright © 1963 by Kurt Vonnegut Jr.; "D.P.," 1953 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1981 by Kurt Vonnegut, Jr.; "Unready to Wear," 1953 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1981 by Kurt Vonnegut, Jr.; "The Kid Nobody Could Handle," copyright © 1955 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1983 by Kurt Vonnegut; "Manned Missiles," 1958 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1986 by Kurt Vonnegut; and "More Stately Mansions," copyright © 1951 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed © 1979 by Kurt Vonnegut Jr.; from WELCOME TO THE MONKEY HOUSE by Kurt Vonnegut. Used by permission of Dell Publishing, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC. All rights reserved.

"Jenny," "The Epizootic," "Hundred Dollar Kisses," "Ruth," "Out, Brief Candle," "Mr. Z," "With His Hands on the Throttle," "Girl Pool," "10,000 a Year, Easy," "Money Talks," "While Mortals Sleep," "Tango," "The Humbugs," "The Man with No Kidneys," "Guardian of the Person," and "Bomar" from WHILE MORTALS SLEEP: UNPUBLISHED SHORT FICTION by Kurt Vonnegut, copyright © 2011 by The Kurt Vonnegut, Jr., Trust. Used by permission of Delacorte Press, an imprint of Random House, a division of Penguin

Random House LLC. All rights reserved.

"Der Arme Dolmetscher," "Souvenir," "The Cruise of the Jolly Roger," “Thanasphere," "Bagombo Snuff Box," "Lovers Anonymous," "Mnemonics," "A Night for Love," “Find Me a Dream," "Any Reasonable Offer," "The Package," "Poor Little Rich Town," "A Present for Big Saint Nick," "This Son of Mine," "Hal Irwin’s Magic Lamp," "Custom-Made Bride," "Unpaid Consultant," "The Powder-Blue Dragon," "Runaways," "The No-Talent Kid," "Ambitious Sophomore," "The Boy Who Hated Girls" and "2BR02B" from BAGOMBO SNUFF BOX: UNCOLLECTED SHORT FICTION by Kurt Vonnegut, copyright © 1999 by Kurt Vonnegut. Used by permission of G. P. Putnam’s Sons, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. All rights reserved.

"Guns Before Butter," "Great Day," "Unicorn Trap," "Spoils," "Just You and Me, Sammy," "The Commandant’s Desk," "Armageddon in Retrospect," "Happy Birthday, 1951,” "Brighten Up" and "Unknown Soldier" from ARMAGEDDON IN RETROSPECT by Kurt Vonnegut, copyright © 2008 by the Kurt Vonnegut, Jr. Trust. Used by permission of G. P. Putnam’s Sons, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. All rights reserved.

For the stories in SUCKER'S PORTFOLIO:
Copyright © 2012 Kurt Vonnegut, Jr. Copyright Trust

Excerpt from SUCKER'S PORTFOLIO by Kurt Vonnegut, reprinted under a license arrangement originating with Amazon Publishing, www.apub.com [http://www.apub.com/]

Any third party use of this material, outside of this publication, is prohibited. Interested parties must apply directly to Penguin Random House LLC for permission.

Курт Воннегут – культовая фигура в литературе XX века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого прошел чуть ли не весь двадцатый. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века нашли отражение в его произведениях. Творческую манеру Воннегута отличает блистательное сочетание черного юмора и романтики, увлекательного сюжета и философской глубины, безудержной фантазии и реализма.

Предлагаемый сборник представляет собой самое полное собрание короткой прозы писателя, включая рассказы, впервые публикующиеся на русском языке.

ISBN 978-5-17-106687-1